

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. С. П. ЦЕХОВА

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Воспоминания



Annotation

В прозе Леонида Андреева причудливо переплелись трепетная эмоциональность, дотошный интерес к повседневности русской жизни и подчас иррациональный страх перед кошмарами «железного века». Любовь и смерть, жестокосердие и духовная стойкость человека – вот главные темы его повестей и рассказов, ставших одним из высших достижений русской литературы начала XX столетия. В этом томе представлены его лучшие повести и рассказы.

Содержание сборника:

Жизнь Василия Фивейского

Иуда Искариот

Красный смех

Рассказ о семи повешенных

Мысль

Жили – были

Так было

Баргамот и Гараська

Петька на даче

Полет

Мельком

У окна

Большой шлем

Случай

Город

Нет прощенья

Христиане

Иван Иванович

Правила добра

Он

Ослы

Леонид Андреев

Красный смех (сборник)

Автобиографическая справка

Я плохо знаю моих восходящих родных: большинство из них умерло либо безвестно затерялось в жизни, когда я был еще маленьким. Но насколько могу судить по тем немногим данным, которые дало мне наблюдение, мое влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую. Именно в этой стороне я нахожу наибольшее количество людей одаренных, хотя одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня и часто, под неблагоприятными влияниями жизни, принимала уродливые формы. Бескорыстная любовь к вранью и житейскому вредному сочинительству, которой иногда страдают обитатели наших медвежьих углов, часто бывает неразвившимся зародышем того же литературного дарования. И пылкое фантазерство, не находившее себе границ в условиях скудной действительности, составляло характерную черту некоторых моих родственников, повторяю, уже умерших. В смысле обычной талантливости они, оставаясь самоучками, проявляли себя так: одни любили и умели рисовать, но не шли дальше лошадей и турок в фесках; другие имели склонность к музыке, но другого инструмента, кроме трехрядной гармоникки, не знали. Покойный отец мой был человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия, но к художественному творчеству в какой бы то ни было форме склонности не имел. Книжки, однако, любил и читал много, к природе же относился с глубочайшим вниманием и той проникновенной любовью, источник которой находился в его мужичко-помещичьей крови. Был хорошим садоводом, всю жизнь мечтал о деревне, но умер в городе.

Чтобы покончить с вопросом о наследственности, скажу, что отец и мать поженились очень рано, оба были людьми здоровыми и очень крепкими, а отец, кроме того, отличался огромной физической силой. В городе отец умер рано, всего сорока двух лет, скоропостижно, от кровоизлияния в мозг; в деревне он мог бы дожить и до ста лет.

Читать я начал шести лет и читал чрезвычайно много, все, что попадалось под руку; лет с семи уже абонировался в библиотеке. С годами страсть к чтению становилась все сильнее, и уже с десяти-двенадцати лет я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем «В чем моя вера?» Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкнижки «Учение о пище» Молешотта. К двадцати годам я был хорошо знаком со всею русскою и иностранною (переводною) литературою; были авторы, как, например, Диккенс, которых я перечитывал десятки раз. Вообще же любил и до сих пор люблю только толстые книжки; и в библиотеке брал лишь такие, при которых цена была обозначена не меньше рубля.

Но о том, чтобы быть писателем, не думал, ибо чуть ли не с самого младенчества чувствовал страстное влечение к живописи. Рисовал много (первой учительницей была мать, которая держала карандаш в моих руках); но так как в Орле ни школ, ни настоящих учителей не было, то все дело ограничивалось бесплодным дилетантизмом. Бывали удачные рисунки и портреты, за которые меня

хвалили, а учителя гимназии советовали немедленно ехать в академию (обычная форма совета была такова: чем сидеть на камчатке и протирать парту, поезжайте-ка... и т. д.), но еще чаще бывали неудачи, и во всем, что я рисовал, чувствовалось отсутствие школы, иногда простая неграмотность. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки: до сих пор со стыдом вспоминаю лошадь, у которой по какой-то нелепой случайности оказалось всего три ноги. Все уже кончил, «оттушеввал» бока, похожие на колбасу, а четвертую ногу позабыл. И только посторонний критический взгляд открыл мне мою позорную забывчивость. И до чего было обидно, прекрасно оттушеванной колбасы никто не заметил, а над ногою все смеялись. Фантазировал я бесконечно: был у меня огромный альбом «рож», штук триста, и года два или три я провел в мучительных поисках «Демона».

О писательстве задумался впервые лет семнадцати. К этому времени относится очень характерная запись в моем дневнике; в ней с удивительной правильностью, хотя в выражениях и ребяческих, намечен тот литературный путь, которым я шел и иду поныне. Вспомнил о дневнике случайно, когда был уже писателем, с трудом нашел эту страничку – и был поражен точностью и совсем не мальчишеской серьезностью сбывающегося предсказания.

В гимназии к моим «сочинениям» относился очень благосклонно директор, он же преподаватель русского языка И. А. Белоруссов.

Первый мой, однако, литературный опыт был вызван не столько влечением к литературе, сколько голодом. Я был на первом курсе в петербургском университете, очень серьезно голодал и с отчаянием написал прескверный рассказ «О голодном студенте». Из редакции «Недели», куда я самолично отнес рассказ, мне его вернули с улыбкой. Не помню, куда он девался. Потом были и серьезные попытки проникнуть в литературу: посылал я рассказы и в «Северный вестник», и в «Ниву», и уж не помню куда и отовсюду получал отказ, в общем совершенно справедливый – вещи были плохи. Но меня эти неудачи привели к тому, что к окончанию университета, т. е. к 27 годам, я уже совершенно не думал о литературе, серьезно решил стать присяжным поверенным.

Но здесь вмешалась в дело «случайность». Между прочим, сам я «случайности» не признаю и прибегаю к этому выражению только в целях упрощения рассказа. Дело заключалось в том, что один знакомый адвокат, знавший о моих попытках писательства и даже непосредственно знакомый с некоторыми из моих неудачных рассказов, предложил мне место судебного репортера в газете «Московский вестник». Как репортер, я заслужил одобрение, месяца через два перекочевал в только что возникшую газету «Курьер», а дальше все уже пошло по-писаному: сперва репортаж, потом маленькие фельетоны, потом большие, потом робкая пасхально-праздничная беллетристика и так далее. Здесь мой путь, как мне кажется, ничем не отличается от пути всякого иного беллетриста, начавшего свою литературную деятельность в газете. Работал я очень много, но в деньгах нуждался: половину у меня черкала цензура, а за другую половину оставалось по тогдашней построчной плате не так уж много. Помню, что за рассказ «Большой шлем» я получил 18, не то 19 рублей. В редакции «Курьера» ко мне относились хорошо, чувствовал я там себя превосходно и, подпав под гипноз типографской краски, без всякого дела просиживал ночи в типографии с секретарем И. Д. Новиком. Благодарную память храню я и о редакторе нашей газеты Я. А. Фейгине.

Как первым моментом моего сознательного отношения к книге я считаю чтение Писарева, так пробуждением истинного интереса к литературе, сознанием важности и строгой ответственности писательского звания я обязан Максиму Горькому. Он первый обратил серьезное внимание на мою беллетристику (именно на первый напечатанный мой рассказ «Баргамот и Гараська»), написал мне и затем в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом. В этом смысле знакомство с Максимом Горьким я считаю для себя, как для писателя,

величайшим счастьем, и если говорить о лицах, оказавших действительное влияние на мою писательскую судьбу, то я могу указать только на одного Максима Горького – исключительно верного друга литературы и литератора. Только известная сдержанность по отношению к нему заставляет меня удержаться от более горячего выражения чувства признательности и чувства глубокого, единственного уважения.

Постараюсь коротко ответить и на некоторые вопросы второстепенного значения.

Первый мой рассказ, «Баргамот и Гараська», написан под исключительным влиянием Диккенса и носит на себе заметные следы подражания.

Серьезных цензурных препятствий в моей беллетристической работе не встречал. Некоторые гонения испытывал уже после того, как вещь была напечатана или поставлена в театре.

Первый критический отзыв, который, я знаю, принадлежит А. А. Измайлову, – он очень доброжелательно отнесся к моему рассказу «Жили-были». Вообще, до появления первого моего тома критических статей обо мне не было.

Сейчас я материально обеспечен.

Январь 1910 г.

Жизнь Василия Фивейского

1

Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался – и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстанавливал он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою.

И случилось это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадья, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким, солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекачивается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

– Вася! А Вася?

– Что, милая? – покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестриженными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая. – Что, милая? Может быть, чайку бы выпила – ты еще не пила?

– Вася, а Вася? – повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блесит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьею дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным, рассеянным шагам матери, исподлобья, с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий, – и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучее воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же, о тихоньком черненьком мальчике, который жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески-разумная речь. «Вася, – говорю я ему, – Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивою.

Когда о. Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, – он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные: ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые, живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны зыбились на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары, – и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза вверх – они были маленькие, ввалившиеся, черные, как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень, – приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не подались сомкнутые железные челюсти: скрипнув зубами, поп с силою развел их, – и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

– Я – верю.

Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

– Я – верю.

А вернувшись домой, снова хворостинка за хворостинкой принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

2

О. Василия не любил никто – ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмехались. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздновавшиеся 28 ноября, он приглашал к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласием, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

– Никто и идти к нам не хочет, – говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валившие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирыч Копров; он открыто презирал неудачника и, после того как стали известны селу страшные запои попадьи, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон тщетно убеждал его:

– Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирыч упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

– Нестоящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирыч насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал не нравившуюся речь:

– Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

– Ну, погоди: задаст тебе ужотка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

– Посмотрим.

– Посмотрим.

И они поспорили на четверть вишневки, выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирыч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на о. Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирыч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми, выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

– Да и та была старая! – самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги – шаги человека, которому стыдно и страшно, – и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, – эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика – и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на Воздвижение попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

– Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

– Господи, за что? Господи! – тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприятный, как на дворе.

– Что ж с ними поделаешь, Настенька! – оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. – Терпеть надо.

– Господи! Господи! И защитить некому! – плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти.

К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его – воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сгорая в

безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания – и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:

– Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

– Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжело и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами – багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.

– Не хочешь? Не хочешь? – кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. – Не хочешь? Так вот же перед богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, – в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадья он, целомудренный и стыдливый, отвечал такую же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднюю ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень – и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стога. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.

– Я – верю, – сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

3

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишай и не поддавались лечению, – но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем счастье, и все эти неприятности казались ей платой за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболееет Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожною походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, – и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На Крещение, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

4

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя – над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали что приказывают и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывали та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Насти, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадьа все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались – и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытаращенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет – и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити, опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах, вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полурейбенка, полужверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на постилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его – жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадьа. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полурейбенка, полужверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался

молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, – когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

– Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

– Стулья отодвинь! – запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

– Слышишь? Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

– Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

– Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

– Да, видел. Спит.

– А кто же говорит там?

– Никого там нет. Это слышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась – как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, – отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу – в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе – на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

– Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадья. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

– Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

– Нет.

– Ага! – обрадовалась попадья. – Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

– Нет.

– А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

– Так. Нездоров.

Попадья сердито засмеялась.

– Ты? Нездоров? Это ты нездоров? – Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. – Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:

– У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

– А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

– Что знаешь?

– Знаю, о чем ты думаешь. Ты... – Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. – Ты... в бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:

– Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в бога.

И опять молчание, опять тишина, – но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода. И, потупив глаза, она стыдливо просила:

– Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света и людских громких голосов.

– Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

– Поздно. Она уже спит.

Попадья топнула ногой.

– Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча садились они играть в веселую и смешную игру – в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых

вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила. И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздвогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола – два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске – два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый, появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

– Кто тут? – вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.

– Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

– А он?

– Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

– Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

– Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

– Неправда, – сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

– Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

– Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.

5

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинаящейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

– Загордели, батюшка! Кланяться не хотите, – насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

– Извините, Иван Порфирыч: не заметил.

Староста строго, сверху вниз, хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

– Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерил глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о старостиних добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал – думал о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше: он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду – ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полуслове перебивая ее, он спросил:

– А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное – на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор – серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой – печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди – подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

– А дети у тебя есть? – быстро спросил он, снова перебивая старуху.

– Умерли, батюшка.

– Все умерли? – удивился поп.

– Все умерли, – повторила женщина, и глаза ее покраснели.

– Как же ты живешь? – с недоумением спросил о. Василий.

– Какая же наша жизнь, – заплакала старуха. – Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

– Ну, ступай, – прозвучал над нею суровый голос.

...Странные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, – а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества, – но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица; и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом – эту огромную правду о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавилась на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед Рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сенях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

– Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадья, и остановился.

– Я уж час жду тебя. Замерзла вся! – Она лякнула зубами от внезапной дрожи.

– Что случилось? Пойдем.

– Нет! Нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он...

– Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивлявшуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она

рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела: Настя стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению – и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности или ей пригрезилось.

– Позови Настю и уходи сама, – приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назади, как он.

– Настя! Зачем ты делаешь это? – сурово, но спокойно спросил о. Василий.

– Что?

– Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

– Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

– Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

– Не знаю, – ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила:

– Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

– А вам не нравится? – полуутвердительно спросила Настя.

– Нет.

– А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

– Ступай! – резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.

– А обо мне вы не думаете, – сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

– Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

– Нет.

– Пойди и поцелуй меня.

– Не хочу.

– Ты меня не любишь?

– Нет. Я никого не люблю.

– Как и я! – И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

– А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

– А меня?

– Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын – дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

– Скучно, Настя! – задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

– Конечно, скучно.

– А богу ты молишься?

– Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай – сами знаете, сколько дела.

– Как горничная, – неопределенно сказал о. Василий.

– Что вы? – не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

– Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой – раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

– Обнимай за шею. Я отнесу тебя.

– Что вы! Я ведь большая.

– Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, слышалось ей или отец действительно прошептал:

– Жалей маму.

Но, уже помолившись богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

– А я бы ее все-таки убила.

Позднюю ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад,

белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмыслие глаз, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства, – пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

6

Пришел Великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольной в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли – бесконечно повторяли – глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили – глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду. Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.

– А я тебя давно поджидаю, – сказал, усмехаясь, поп. – Зачем пришел, Мосягин?

– Исповедаться, – быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

– Что же, легче станет, когда исповедаешься? – продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:

– Известно, легче.

– А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:

– Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа – точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству – и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому – он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле – и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и

перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутлив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на петровки, дал ему скоромного пирога, и он съел, – и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, – и об этом он говорил долго и мучительно.

– Кончил! – весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

– А кто помогает тебе?

– Кто помогает-то? – повторил Мосягин. – Да никто не помогает. Скучно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог, – мужик осторожно подмигнул попу, – дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

– А бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

– Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно; он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много, должно, сахару ест». И вздохнул.

– Чего ты ждешь?

– Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темно, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

– Так, значит, и будет? – спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.

– Так, значит, и будет. Так, значит, и будет, – повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами – и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознанным движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла она, как осенняя паутинка. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

– А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное.

– Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным

взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

– Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что я могу сделать? – Он ткнул пальцем себе в грудь. – Что я могу сделать? Что я – бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

– Становись на колени.

Мосягин встал.

– Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал:

– Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волосы, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать – ждать нетерпеливо, ждать грозно.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб, и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему – его зовут. Все чаще, с сдержанным гневом, он говорил:

– Его проси! Его проси!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним – и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И

мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадьею случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый – в субботу вечером – потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадья: она плакала и просила прощения; руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, и потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил; рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

– Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

– Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

– Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас, – ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

– Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной мосоложкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед – и страшны были они своею кротостью. И такие глаза были у попадья. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, – тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала:

– Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет ходить – загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заматались в тоске ночные тени, бесшумною толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

– А-а-а! – длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натыкаясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натыкаясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы – первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

– Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

– Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его испуганно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

– Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и испуганно:

– И ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колена, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

– Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот; прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда, – холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, – но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала со своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его

голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

Все так же однозвучно и уныло вызванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собиралось их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями, и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самый воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным, разрозненным движением валились на колени, вздыхали и с неумолимою настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи, – ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он захлебывался ею, этою беспощадною правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское – и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи».

Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

– Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова, как иступленный, повторял он страшные и беспощадные слова:

– Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди, становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полурепбенка, полужверя.

И в церковь, по утрам, он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего бога, – и было палачей столько, сколько людей, и было кнутов столько, сколько доверчивых и ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиной. Все дикое и злое родится за спиною человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров.

Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто щелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным богу человеком и знает, что без него богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, с начала поста, он сердился на о. Василия, что тот так долго исповедует: он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

– Ты думаешь, они это оценят? – говорил он благодушному дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой великопостной работой. – Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приготавливался к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавший на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, сваявшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной ясностью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

– Ступай! Бог отпустит твои грехи, – сказал он.

– Погоди. Еще скажу, – прохрипел нищий, задирая вверх побагровевшее лицо.

И рассказал, как десять лет назад он изнасиловал в лесу подростка-девочку и дал ей, плачущей, три копейки; а потом ему жаль стало своих денег, и он удушил ее и закопал. Так ее и не нашли. Десять раз десяти различным попам рассказывал он эту историю, и от повторения она стала казаться ему простой и обыкновенной и не относящейся к нему, как какая-нибудь сказка. Иногда он разнообразил рассказ: заменял лето осенью и девочку представлял то белокуренькой, то смуглой, – но три копейки оставались неизменными. Некоторые ему не верили и смеялись над ним – утверждали, что за десять лет в округе не было убито и не пропадало ни одной девочки; ловили его в бесчисленных и грубых противоречиях и с очевидностью доказывали, что всю эту страшную историю он выдумал спяна, валяясь в лесу. И это приводило его в ярость: он кричал, божился, поминая черта так же часто, как и бога, и начинал рассказывать такие отвратительные и грязные подробности, что самые старые священники краснели и негодовали. И теперь он ждал, поверит ли знаменский поп или нет, и был доволен, что поп поверил: отшатнулся от него, побледнел и поднял руку, как для удара.

– Правда это? – глухо спросил о. Василий.

Нищий быстро закрестился:

– Ну, ей-богу, правда. Ну вот провалиться мне...

– Так ведь за это же ад! – крикнул поп. – Ты понимаешь, ад!

– Бог милостив, – угрюмо и обиженно пробормотал нищий.

Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада и уж свылся с ним, как и с своею странною историей о задушенной девочке.

– На земле – ад, в небе – ад. Где же твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой, – но ведь ты человек! Человек! Или червь? Да кто же ты, говори! – кричал поп, и волосы его качались, как от ветра. – Где же твой бог? Зачем оставил он тебя?

«Поверил!» – с радостью думал нищий, чувствуя себя под словами попа, как под горячей водой.

О. Василий присел на корточки и, в униженности необычайной позы черпая странную и мучительную гордость, зашептал страстно:

– Слушай! Ты не бойся. Ада не будет. Это я верно тебе говорю. Я сам убил человека. Девочку. Настя ее зовут. И ада не будет! Ты будешь в раю. Понимаешь, со святыми, с праведниками. Выше всех. Выше всех – это я тебе говорю!

В тот вечер о. Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлен и бледен, и до колен мокр, и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к Пасхе, и попадья была занята, но, прибегая на минутку из кухни, она каждый раз с тревогою смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться и скрывала тревогу.

А ночью, когда, по обыкновению, она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, непохожий на голос сурового о. Василия:

– Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастье, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими, лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья стала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо; при слабом синеватом свете лампадки оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной ребенок, которого напугал страшный сон, и он не смеет пошевелинуться.

– Молись, Вася! – прошептала попадья, глядя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

– Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя!

Пока она зажигала лампу, о. Василий начал одеваться, медленно и неловко, как тяжело больной, давно не встававший с постели. Крючки на подряснике он не мог застегнуть сам и попросил жену:

– Застегни.

– Куда ты? – удивилась попадья.

– Никуда. Я так.

И медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметно и ровною дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла; с усилием он подбирал ее, облизывая языком сухие пересыхающие губы, но через минуту она падала снова и открывала

черное отверстие рта. Надвигалось что-то огромное и невыразимо ужасное, как беспредельная пустота и беспредельное молчание. И не было земли, и людей, и мира за стенами дома – там был тот же зияющий, бездонный провал и вечное молчание.

– Вася! Неужели это правда? – спросила попадья, замирая от страха.

О. Василий взглянул на нее тусклыми, без блеска глазами и с минутным приливом силы замахал рукой:

– Не надо... Не надо. Молчи.

И снова заходил, и снова отпала бессильная челюсть. И так ходил он медленно, как само время, а на постели сидела бледная женщина, замирающая от страха, и медленно, как время, двигались ее глаза и следили. И надвигалось что-то огромное. Вот пришло оно, и стало, и охватило их пустым и всеобъемлющим взглядом – огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание.

О. Василий остановился против жены и, тускло глядя на нее, сказал:

– Темно. Зажги еще огонь.

«Он умирает», – подумала попадья и трясущимися руками, роняя спички, зажгла свечу. И снова он попросил:

– Зажги еще.

И она зажигала, все зажигала, и уже много горело ламп и свечей. Как маленькая голубая звездочка, терялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и светлый праздник. И медленный, как время, тихо двигался он в сияющей пустоте. Теперь, когда пустота светилась, увидела попадья и поняла на одно короткое, но ужасное мгновение, – что он одинок, не принадлежит ей и никому, и ни она и никто не может этого изменить. Если бы сошлись добрые и сильные люди со всего мира, обнимали его, говорили бы ему слова утешения и ласки, он остался бы так же одинок.

И снова подумала, холодея: «Он умирает».

Так проходила ночь. И когда уже близилась она к концу, шаги о. Василия стали тверже, он выпрямился, несколько раз взглянул на попадью и сказал:

– Зачем столько огня? Потуши.

Попадья потушила свечи и лампы и нерешительно заговорила:

– Вася!...

– Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Но попадья не уходила и о чем-то умоляла его глазами. И, по-прежнему высокий и сильный, он подошел и, как ребенка, погладил ее по голове.

– Так-то, попадья! – сказал он и улыбнулся.

А лицо его было бледно прозрачной бледностью смерти, и вокруг глаз лежали черные круги: как будто притаилась там ночь и не хотела уходить.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан, и осенью, собравши деньги, они уедут далеко – еще неизвестно куда. А идиот останется: он будет отдан на воспитание. И попадья плакала и смеялась, и в первый раз после рождения идиота поцеловала мужа в губы, краснея и смущаясь.

Было в это время Василию Фивейскому сорок лет и жене его тридцать четыре года.

8

Три месяца отдыхала их душа; и снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силою пережитых страданий поверила попадья в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи; видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. О. Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить, – но она не хотела его слушать: точные и определенные слова отпугивали ее широкую и бесформенную мечту и как-то странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела: чтоб это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась их; верила, что скоро перестанет пить совсем. «Там будет другое, там не нужно будет пить», – думала она, озаренная светом неопределенной и прекрасной мечты.

Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет с сенокоса о. Василий. Неслышно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи; и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня; и только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками, и это – ночь с своей прозрачною и таинственною мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал о. Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь полей и запахов трав и радость продолжительной работы.

– Хорошо на земле, – говорил он и сдержанно смеялся загадочным и темным смехом, как будто насмехался он над кем-то или над самим собою.

– Ну, ну, Вася. Конечно, хорошо! – говорила попадья убедительно, и они шли ужинать.

После простора полей о. Василию казалось тесно в маленькой комнате; он стеснялся своих длинных рук и ног и так неуклюже и смешно двигал ими, что попадья весело шутила:

– Вот бы заставить тебя написать проповедь. Ты сейчас и пера не удержишь, – говорила она.

И они смеялись.

Но когда о. Василий оставался один, лицо его делалось серьезно и строго: наедине с мыслями своими не смел он шутить и смеяться. И глаза его смотрели сурово и с гордым ожиданием, ибо чувствовал он, что и в эти дни покоя и надежды над жизнью его тяготеет все тот же жестокий и загадочный рок.

Двадцать седьмого июля, вечером, о. Василий с работником возил с поля снопы.

Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю отовсюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского принеся жидкий и еле слышный звон, странный своею неурочностью. О. Василий быстро обернулся: там, где темнела среди ветел крыша его домика, неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, и под ним извивалось, словно придавленное, багровое, без свету, пламя. Пока побросали снопы с телеги, пока прискакали в село, уже темнело и пожар кончался: догорали, как свечи, черные обугленные столбы, смутно белела кафлями обнаженная печь, и низко стлался белый дым, похожий на пар. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими смутными тенями.

Вся улица была запружена народом; мужики толкались в свежей грязи, образовавшейся от пролитой воды, возбужденно и громко разговаривали и внимательно присматривались друг к другу, точно не

узнавали сразу ни знакомых лиц, ни голосов. С поля пригнали стадо, и оно тревожно металось. Коровы мычали, овцы неподвижно глядели стеклянными выпуклыми глазами, растерянно терлись между ног и шарахались в сторону от беспричинного испуга, дробно попыливая копытцами. За ними гонялись бабы, и по всему селу слышался однообразный призыв: кыть-кыть-кыть. И от этих темных фигур с темными, как будто бронзовыми лицами, от этого однообразного и странного призыва, от людей и животных, слившихся в одном стихийном чувстве страха, – веяло чем-то дикарским, первобытным.

День был безветренный, и сгорел один только поповский дом. Как рассказывали, пожар начался в комнате, где отдыхала пьяная попадья – вероятно, от зароненного огня с папиросы или от небрежно брошенной спички. Весь народ был в поле; и успели спасти только перепуганного идиота да кое-какие вещи, а сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живую, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему о. Василию, ожидали от него взрыва горя и слез, и были удивлены: вытянув шею вперед, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряженно сомкнутыми губами; и был у него такой вид, точно он уже знал то, что ему рассказывают, и только проверял рассказ. Как будто в этот короткий сумасшедший час, пока он, стоя с разметавшимися волосами и прикованным к огненному столбу взглядом, бешено скакал на подпрыгивающей телеге, он догадался обо всем: и о том, отчего должен был произойти пожар, и о том, что все имущество и попадья должны были погибнуть, а идиот и Настя уцелеть.

Мгновение он стоял молча с опущенными глазами – и, вскинув назад голову, решительно и прямо направился через толпу к дому дьякона, где нашла приют умиравшая попадья.

– Где она? – спросил он громко у молчавших людей. И молча ему указали. Он подошел, низко наклонился к бесформенной, глухо стонущей массе, увидел сплошной белый пузырь, страшно заменивший собой знакомое и дорогое лицо, и в ужасе отшатнулся и закрыл лицо руками.

Попадья глухо заволновалась; вероятно, она пришла в себя, и ей нужно было что-то сказать, но вместо слов из горла ее выходил глухой отрывистый хрип. О. Василий отнял руки от лица: на нем не было слез, оно было вдохновенно и строго, как лицо пророка. И когда он заговорил, отдельно и громко, как говорят с глухими, в голосе его звучала непоколебимая и страшная вера. В ней не было человеческого, дрожащего и в силе своей; так мог говорить только тот, кто испытал неизъяснимую и ужасную близость бога.

– Во имя божие, – слышишь ли ты меня? – воскликнул он. – Я здесь. Настя. Я здесь, около тебя. И дети здесь. Вот Василий. Вот Настя.

По неподвижному и страшному лицу попадья нельзя было понять: слышит она что-нибудь или нет. И, еще повысив голос, о. Василий продолжал, обращаясь к бесформенной, обгоревшей массе:

– Прости меня, Настя. Безвинно погубил я тебя. Погубил. Прости, единая любовь моя. И благослови детей в сердце своем. Вот они: вот Настя, вот Василий. Благослови. И отыди с миром. Не страшись смерти. Бог простил тебя. Бог любит тебя. Он даст тебе покой. Отыди с миром. Там увидишь Васю. Отыди с миром.

Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один о. Василий остался с умирающей – на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадья. Он стал на колени и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, объатой страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она – кричала, билась, звала мужа?

О. Василий дико оглянулся помутившимися глазами и встал. Тихо было – так тихо, как бывает только в присутствии смерти. Он посмотрел на жену: она была неподвижна той особенной неподвижностью трупa,

когда все складки одежд и покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда блекнут на одеждах яркие цвета жизни и точно заменяются бледными искусственными красками.

Умерла попадья.

В открытое окно дышала теплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчеркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечики. Около лампы бесшумно метались налетевшие в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню, то пропадая во тьме, то белея, как хлопья кружащегося снега. Умерла попадья.

– Нет! Нет! – заговорил поп громко и испуганно. – Нет! Нет! Я верю. Ты прав. Я верю.

Он пал на колени, потом приник лицом к залитому полу, среди клочков грязной ваты и перевязок – точно жаждал он превратиться в прах и смешаться с прахом. И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «я», сказал:

– Верую!

И снова молился, без слов, без мыслей, молитвою всего своего смертного тела, в огне и смерти познавшего неизъяснимую близость бога. Самую жизнь свою перестал он чувствовать – как будто порвалась извечная связь тела и духа, и, свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые и таинственные высоты. Ужасы сомнений и пытующей мысли, страстный гнев и смелые крики возмущенной гордости человека – все было повергнуто во прах вместе с поверженным телом; и один дух, разорвавший тесные оковы своего «я», жил таинственной жизнью созерцания.

Когда о. Василий поднялся, уже светло было, и солнечный луч, длинный и красный, ярким пятном лежал на окаменевших одеждах покойницы. И это удивило его, так как последнее, что он помнил, было темное окно и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожженных бабочек темными комочками лежало около лампы, все еще горевшей почти невидимым желтым светом; одна серая, мохнатая, с большой уродливой головой, была еще жива, но не имела сил улететь и беспомощно ползала по стеклу. Вероятно, ей было больно, она искала теперь ночи и тьмы, но отовсюду лился на нее беспощадный свет и обжигал маленькое, уродливое, рожденное для мрака тело. С отчаянием она начинала трепетать короткими, опаленными крылышками, но не могла подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползала и искала.

О. Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и, бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в дьяконский сад. Там он долго ходил по прямой дорожке, заложив руки назад, задевая головой низкие ветви яблонь и черешни, ходил и думал. Солнце начало пригревать его голову сквозь просветы деревьев и на повороте огненным потоком вливалось в глаза и слепило; падали, тихо стукая, подъеденные червем яблоки, и под черешнями, в сухой и рыхлой земле, копалась и кудахтала насадка с дюжиной пушистых желтых цыплят, – а он не замечал ни солнца, ни стука яблок и думал. И чудны были его мысли – яркие и чистые они были, как воздух ясного утра, и какие-то новые: таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучею рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, насильственно отторгая его от дома, от семьи, от суетных забот о жизни вела его могучая рука к великому подвигу, к великой жертве. Всю жизнь его бог обратил в пустыню, но лишь для того, чтобы не блуждал он по старым, изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбрежном и свободном просторе ее искал нового и смелого пути. Вчерашний столб дыма и огня – разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал: «Боже, хватит ли слабых сил моих?» – но ответом был пламень, озарявший его душу, как новое солнце.

Он избран.

На неведомый подвиг и неведомую жертву избран он, Василий Фивейский, тот, что святотатственно и безумно жаловался на судьбу свою. Он избран. Пусть под ногами его разверзнется земля и ад взглянет на него своими красными, лукавыми очами, он не поверит самому аду. Он избран. И разве не тверда земля под его ногою?

О. Василий остановился и топнул ногой. Обеспокоенно закудаhtала и насторожилась испуганная курица, сзывая цыплят. Один из них был далеко и быстро побежал на зов, но на дороге его схватили и подняли большие, костлявые и горячие руки. Улыбаясь, о. Василий подышал на желтенького цыпленка горячим и влажным дыханием, мягко сложил руки, как гнездо, бережно прижал к груди и снова заходил по длинной дорожке.

– Какой подвиг? Я не знаю. Но разве смею я знать? Вот знал я про судьбу мою, жестокой называл ее – и знание мое было ложь. Вот думал я родить сына – и чудовище, без образа, без смысла, вошло в мой дом. Вот думал я умножить имущество и покинуть дом – а он раньше меня покинул, сожженный огнем небесным. И это – мое знание. А она – безмерно несчастная женщина, оскорбленная в самом чреве своем, исплакавшая все слезы, ужаснувшаяся всеми ужасами? Вот ждала она новой жизни на земле, и была бы скорбной эта жизнь, – а теперь лежит она там, мертвая, и душа ее смеется сейчас и знание свое называет ложью. Он знает. Он дал мне много: он дал мне видеть жизнь, и испытать страдание, и острием моего горя проникнуть в страдание людей; он дал мне почувствовать их великое ожидание и любовь к ним дал. Разве они не ждут, и разве я не люблю? Милые братья! Пожалел нас господь, настал для нас час милости божией!

Он поцеловал пушистую головку цыпленка и продолжал:

– Мой путь. Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель – покорная воле пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить – и что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет его святая воля – мой подвиг, моя жертва.

Пригретый теплой рукой цыпленок заволок глаза и заснул – и улыбнулся поп.

– Вот – стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди и спит доверчиво. И разве я – не в руке его? И смею я не верить в божью милость, когда этот верит в мою человеческую благодать, в мое человеческое сердце.

Он тихо засмеялся, открыв черные, гнилые зубы, и на суровом, недоступном лице его улыбка разбежалась в тысячах светлых морщинок, как будто солнечный луч заиграл на темной и глубокой воде. И ушли большие, важные мысли, испуганные человеческою радостью, и долго была только радость, только смех, свет солнечный и нежно-пушистый заснувший цыпленок.

Но вот сгладились морщинки, лицо сделалось строго и важно, и вдохновенно засверкали глаза. Самое большое, самое важное предстало перед ним, и называлось оно – чудо. Туда не смела заглянуть его все еще человеческая, слишком человеческая мысль. Там была граница мысли. Там, в бездонных солнечных глубинах, неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею. Мир любви, мир божественной справедливости, мир светлых и безбоязненных лиц, не опозоренных морщинами страданий, голода, болезней. Как огромный чудовищный брильянт, сверкал этот мир в бездонных солнечных глубинах, и больно и страшно было взглянуть на него человеческим глазам. И, покорно, склонив голову, о. Василий промолвил:

– Да будет святая воля твоя.

В саду показались люди: дьякон, его жена и многие другие. Они издалека увидели попа и,

дружелюбно кивая головами, поспешно направлялись к нему, подошли ближе, замедлили шаги – и остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнем, перед бушующей водою, перед спокойно-загадочным взглядом познавшего.

– Что вы так смотрите на меня? – удивленно спросил о. Василий.

Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек, совсем незнакомый, совсем чужой, и чем-то могуче-спокойным отдалял их от себя. Был он темен и страшен, как тень из другого мира, а по лицу его разбегалась в светлых морщинках искристая улыбка, как будто солнце играло на черной и глубокой воде. И в костлявых больших руках он держал пухленького желтого цыпленка.

– Что вы так смотрите на меня? – повторил он, улыбаясь. – Разве я – чудо?

9

Видимо для всех о. Василий Фивейский поспешно сбрасывал с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суетными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрою своею, жившей в городе, он отослал к ней Настю; и дня одного не промедлил он с отправлением дочери, боясь, что укрепится в сердце его родительская любовь и многое отнимет у людей. Настя уехала без радости и горя; она была довольна, что мать умерла, и жалела только, что не пришлось сгореть идиоту. Уже сидя в повозке, в старомодном платье, перешитом из материного, в криво надетой детской шляпке, больше похожая на странно наряженную некрасивую девушку, чем на подростка, – она равнодушно поглядывала на суетившегося дьякона своими волчьими глазами и говорила отцовским сухим голосом:

– Да бросьте, отец дьякон. Хорошо мне сидеть, и так доеду. Прощайте, папаша.

– Прощай, Настенька. Учись, смотри не ленись.

Телега дернулась, встряхнув Настю, но уже в следующее мгновение она снова стала прямою, как палка, и не покачивалась в стороны на колесах, а только подпрыгивала. Дьякон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась; и, покачав укоризненно головой, дьякон с долгим вздохом высморкался в платок и положил обратно в карман. Так уехала она, чтоб никогда больше не вернуться в Знаменское.

– А вы бы, отец Василий, и сынка бы отправили. А то ведь трудно вам будет с одной кухаркой. Глупая она у вас баба и глухая к тому же, – сказал дьякон, когда уже и пыль улеглась за скрывшейся телегой.

О. Василий задумчиво посмотрел на него.

– Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет, дьякон. Мой грех – со мною ему и быть надлежит. Как-нибудь проживем, старый да малый, – так, отче?

Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, что знает он один, и похлопал дьякона по толстому плечу.

Пользование своею землею о. Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму, «вдовью», как он ее называл.

– А может, и этого брать не стану, – загадочно промолвил он, улыбаясь приятно, с безобидною насмешкою над тем, что знает он один.

И еще одно дело совершил он: определил пухнувшего от голода Мосягина в работники к Ивану Порфирычу. Последний сперва прогнал явившегося к нему с просьбой Мосягина, но, поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому о. Василию прислал тесу на постройку дома. А жене своей, вечно молчаливой и вечно беременной женщине, сказал:

– Помни мое слово: наделает делов этот поп.

– Каких делов? – равнодушно спросила жена.

– А таких. Только как по тому случаю, что мое дело сторона, я и молчу. А то бы... – Он неопределенно посмотрел в окно, на дорогу в губернский город.

И неизвестно откуда – с загадочных ли слов старосты, или из другого источника – по селу, а потом и дальше пошли смутные и тревожные слухи о знаменском попе. Как дымная гарь от далекого лесного пожара, они двигались медленно и глухо, и никто не замечал их прихода, и, только взглянув друг на друга и на потускневшее солнце, люди понимали, что пришло что-то новое, необычное и тревожное.

К половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышею успели только половину; другая половина без стропил и наката, с пустыми незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутою и страшною. Новой обстановки о. Василий заводить не стал: среди голых бревенчатых стен, на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашенные табуретки, стол да постели. Глухая, бестолковая кухарка печи топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угара, сизым облаком ползавшего по грязному, исслеженному полу. И холодно было. В сильные морозы стекла изнутри покрывались белым слоем пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет; на подоконниках намерзли с начала зимы огромные куски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за требами, смущенно и виновато косились на убожество поповского жилья, а дьякон сердито назвал его «мерзостью запустения».

Когда о. Василий впервые вступил в новый дом, он долго и радостно ходил по пустым и холодным, как амбар, комнатам и весело сказал идиоту:

– Важно заживем мы с тобою, Василий!

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими, однообразными и громкими звуками:

– Гу-гу! Гу-гу!

Ему было весело, и он смеялся. Но уже скоро он почувствовал холод, одиночество и скуку заброшенного жилища, сердился, кричал, бил себя по щекам и пробовал сползти на пол, но падал и больно ушибался. Временами он впадал в состояние тяжелого оцепенения, похожего на странную кошмарную задумчивость. Подперев голову тонкими длинными пальцами, слегка высунув кончик языка, он неподвижно смотрел перед собою из-под узеньких звериных век. И тогда чудилось, что он вовсе не идиот, что он думает что-то особенное, не похожее на мысли всех людей; и что он знает что-то тоже особенное, простое и загадочное, чего не знает никто из них. И думалось, глядя на его приплюснутый нос с широкими вывернутыми ноздрями, на его срезанный затылок, животной линией переходивший прямо в спину, что, если бы дать ему крепкие и быстрые ноги, он убежал бы в лес и зажил бы там таинственной лесной жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости.

И бок о бок с ним, вечно вдвоем, вечно наедине, то оглушаемый его злым, бесстыдным криком, то преследуемый окаменевшим загадочным взглядом, зажил о. Василий столь же таинственною жизнью духа, отрекшегося от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига и еще неведомой великой жертвы – и все дни и ночи его стали одною непрерывною молитвою, одним безглагольным излиянием. Со смерти попады он наложил на себя строгий пост: не пил чаю, не вкушал мясного и рыбного и в дни постные, в среду и пятницу, питался одним хлебом, размоченным в воде. И с непонятною суровостью, похожей на месть, такой же строгий пост возложил он на идиота, и тот мучился, как голодное животное: кричал, царапался и даже плакал скупыми собачьими слезами, но не мог добиться ни одного лишнего куска. Людей поп видел мало и только по необходимости, старательно сокращая время пребывания с ними, и все часы, с короткими перерывами для отдыха и сна, посвящал коленопреклоненной молитве. А когда уставал – садился и читал Евангелие, Деяния святых апостолов и жития святых. Обычно церковная служба отправлялась только по праздникам – теперь он ежедневно совершал раннюю литургию. Престарелый дьякон отказался служить с ним, и помогал ему псаломщик, грязный и одинокий старик, давно когда-то лишенный дьяконского сана за пьянство.

Еще затемно, дрожа от утреннего холода, о. Василий пробирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много: часто за ночь наносило сугробы снега, ноги утопали и расползались в сухой

искристой массе, и каждый шаг стоил десяти. В церкви как следует не топили, и холод стоял лютый – тот особенный, пронизывающий холод, какой свойствен нежилым зданиям зимою; при дыхании шел сильный пар, и до металлических вещей больно было дотронуться. Собственно для попа псаломщик, он же и сторож, растапливал одну печку, и у открытой дверцы ее, присев на корточки, о. Василий отогревал руки: иначе крест не держался в негнувшихся, залубневших пальцах. Тут, в эти десять минут, он шутил со стариком относительно холода и цыганского пота, и псаломщик угрюмо и снисходительно слушал его; от постоянного пьянства и от холода нос у псаломщика был багово-синий, а щетинистый подбородок, который начал он брить после разжалования, равномерно двигался, точно при жевании.

Потом о. Василий облачался в старую ризу, на которой, в местах золотой вышивки, торчали обтертые нитки; в кадило бросалась крупинка ладана, и в полутьме, смутно различая друг друга, но двигаясь уверенно, как слепые в знакомом месте, они начинали служить. Два восковых огарка – один у псаломщика, другой на амвоне у образа спасителя – только сгущали тьму; и острое пламя их медленно колыхалось в стороны, подчиняясь движению двух неторопливых людей.

Служили долго, служили медленно и крепко; и каждое слово дрожало и расплывалось в очертаниях своих, подхватываемое холодным эхом пустынной церкви. И было только эхо, и тьма, и двое служащих богу людей; и постепенно разгоралось что-то в груди старого пьяного псаломщика. Подставив ухо, он бережно ловил каждое слово попа и задолго начинал двигать колючим подбородком; и уходила куда-то одинокая и грязная старость, и уходила вся неудачная, тоскливая жизнь, – а то, что являлось на смену, было необычно и радостно до слез. Часто на возглас псаломщика из алтаря долго не слышалось ответа; наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч; потом издали приходил голос, налитый слезами и радостью. И снова уверенно двигались в полутьме две неторопливые фигуры, и пламя колыхалось, подчиняясь их неспешным, размеренным движениям.

Когда служба кончалась, уже светло становилось, и о. Василий говорил:

– Смотри, Никон, как потеплело-то.

А изо рта его шел пар. Морщины на щеках Никона розовели; строго и пытливо он взглядывал на попа и недоверчиво спрашивал:

– А завтра – будем? А то, может, нельзя?

– Как же, Никон, будем, будем.

Почтительно он провожал попа до дверей и шел к себе в сторожку. Там визгом и лаем его встречал десяток собак, взрослых и щенков; окруженный ими, как детьми, он кормил их и ласкал, а сам думал о попе. Думал о попе – и удивлялся. Думал о попе – и улыбался, не разжимая рта и отворачиваясь от собак, чтобы и они не видели его улыбки. И все думал, думал – до самой ночи. А наутро ждал – не обманет ли поп и не сдастся ли перед тьмою и морозом. Но поп приходил, продрогнувший, но веселый, и снова от устья печки в самую глубину темной церкви уходила багово-красная полоса, и по ней тянулась черная тающая тень.

Вначале, прослышав о странностях попа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него, и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, иные умилялись и плакали, но были такие, и их было много, в сердце которых вырастала острая и непреодолимая тревога. Ибо в прямом, безбоязненно открытом и светлом взоре попа они уловили мерцание тайны, глубочайшей и сокровеннейшей, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытные отстали, и церковь долго оставалась пустою в темные предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло еще время – и на возгласы попа стали приходиться из темноты церкви робкие, сдержанные вздохи; чьи-то колени глухо стучали о каменный пол; чьи-то уста шептали; чьи-то руки ставили цельную маленькую свечу, и среди

двух огарков она была как молоденькая стройная березка среди порубленного леса.

И стала крепнуть тревожная, глухая и безликая молва. Она вползала всюду, где только были люди, и оставляла после себя что-то, какой-то осадок страха, надежды и ожидания. Говорили мало, говорили неопределенно, больше качали головами и вздыхали, но уже в соседней губернии, за сотню верст от Знаменского, кто-то серый и молчаливый вдруг громко заговорил о «новой вере» и опять скрылся в молчании. А молва все двигалась – как ветер, как тучи, как дымная гарь далекого лесного пожара.

Позже всего дошли слухи до города – словно больно и трудно им было продираться сквозь каменные стены по шумным и людным улицам. И какие-то голые, ободранные, как воры, пришли они – говорили, что кто-то себя сжег, что открылась новая изуверская секта. В Знаменское приехали люди в мундирах, ничего не нашли, а дома и бесстрастные лица ничего им не сказали, – и они уехали обратно, позвякивая колокольцами.

А слухи, после этого посещения, стали еще упорнее и злее – и каждое утро совершал служение о. Василий Фивейский.

10

Все долгие зимние вечера о. Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу заключенный вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка.

От прошлого он сохранил любовь к яркому свету – и на столе, нагревая комнату, белым огнем пылала большая лампа с пузатым стеклом. Замерзшие окна, запущенные инеем, светлели под огнем и искрились, были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облежала дом, давила на него сверху, искала отверстия, куда бы пропустить свой серый коготь, и не находила. Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих, злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла, – а потом, бесноватая, отбегала в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег, крестообразно обнимая заочневшую землю. Потом поднималась, садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем ненасытимой злобы и тоски и обманывала: у нее не было детей, она сожрала их и схоронила в поле, в поле...

– Метель, – говорил о. Василий, прислушиваясь, и снова опускал глаза на книгу.

Она нашла. Огонь большой лампы проточил кружок в пушистой броне, и заблестело мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным глазом. Их двое, двое, двое... Ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, сияющая пустота воздуха и люди. Их двое.

Склонив маленький и тесный череп, идиот клеил из картона коробочки: мазал клеем, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу, и каждый лязг ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей и отклеивающейся бумагой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под узких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они вились над ним, паутиной пробегали по лицу и входили в голову – шуршание, шорох и протяжные, длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал.

– Бах! – стреляло высыхающее дерево, и, вздрогнув, о. Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он и голые стены, и запущенные окна, и серый глаз ночи, и идиота, застывшего с ножницами в руках. Мелькало все, как видение – и снова перед опущенными глазами разворачивался непостижимый мир чудесного, мир любви, мир короткой жалости и прекрасной жертвы.

– Па-па, – бормотал идиот недавно узнанное слово и исподлобья сердито и тревожно смотрел на отца.

Но человек не слышал и молчал, и вдохновенным было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия; он верил – верю тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали, славословя. И любил он – могучей, несдержанной любовью властелина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость, радость!

– Па-па! Па-па! – еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа и снова взялся за ножницы. Но скоро бросил их – и, уставившись неподвижными глазами, оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение и шорох, визг и свист. И хохот. Она играла. Она садилась на бревна покинутого сруба, качалась и бахалась в снег, и тихо кралась в угол и рыла там могилу – для чужих, для чужих. И пела: для чужих, для чужих. И с радостью взмывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая;

камнем падала вниз и, кружась, проносилась в темные окна заиндевевшего сруба с визгом и свистом. За снежинками гонялась она – и, бледные от страха, вытянувшись вперед, они молчаливо бежали.

– Па-па! – громко кричал идиот. – Па-па!

Человек слышит и поднимает голову – с длинными исседа-черными волосами, как метель и ночь обволакивающими лицо. На минуту перед ним встают голые стены, и злобно-испуганное лицо идиота, и визг разыгравшейся вьюги – и наполняют душу его мучительным восторгом. Сворачивается – свершилось!

– Ну, что, Василий? Чего не клеишь – клей!

– Па-па!

– Что волнуешься? Метель? Да, да. Метель.

О. Василий прильнул к стеклу – глаз в глаз с серою ночью – и смотрит. И шепчет с ужасом:

– Отчего он не звонит? Что, если кто-нибудь блуждает в поле?

Она плачет: в поле, в поле, в поле!..

– погоди, Василий. Я схожу к Никону. Я сейчас вернусь.

– Па-па!

Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей – но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту – по полу, по потолку, по стенам, – заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого.

– Бо-о-м! – откуда-то сверху падает первый тяжелый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки. – Бо-о-м! – падает второй, глухой, вязкий и разорванный, точно захватило ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет.

Убежали маленькие звуки.

– Вот и я! – говорит о. Василий. Он весь белый и дрожит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трет одну о другую, и снова шуршат тихо страницы, и все исчезает: голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные, глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо. Радость, радость!

– Бо-о-ом!

Она играет с колоколом. Она ловит его гулкие, толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает – тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову набок. И снова бежит навстречу новым звукам, неумолимая, злая и такая хитрая, как бес.

– Па-па! – кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы.

– Ну, что?.. Ну, успокойся.

– Па-па!

Молчание в комнате, свист и злое шипение метели и вязкие, глухие удары. Идиот туго ворочает головой, и тоненькие, безжизненные ноги его с согнутыми пальцами и нежной, не знающей земли подошвой слабо шевелятся, бессильно порываясь к бегу. И зовет:

– Па-па!

– Ну, хорошо. Перестань. Слушай, что я прочту тебе.

О. Василий перевернул назад страницу и начал строгим и важным голосом, как в церкви:

– «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения...»

Он поднял руку и, бледнея, взглянул на Васю.

– Понимаешь! Слепого от рождения. Никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких. Явился в жизнь – и тьма объяла его. Бедный человек! Слепой человек!

Голос попа звучит крепкою верою и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо улыбающимся взглядом, точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения, не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость – и жалость и жалость!..

– Бо-о-м!

– Ну, слушай же, сын. «Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил: он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело божие“..»

Крепчает голос попа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами. И его широкие звуки пронизывают тихое шипение, и шорох, и свист, и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идиоту весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула. Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку.

– Па-па! Па-па!

– Слушай, слушай. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать». – «Доколе я в мире – я свет миру». Во веки веков, во веки веков! – посылает он в ночь и метель страстные торжествующие крики. – Во веки веков!

Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый, надорванный голос. И она качается на его черных слепых звуках и поет: их двое, двое, двое! И к дому мчит, колотится в его двери и окна и воет: их двое, их двое!

И о. Василий смутно слышит ее и сурово спрашивает идиота:

– Ты что бурчишь там?

Но идиот молчит, и, еще раз с недоверием взглянув на него, о. Василий продолжает:

– «Я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому – и сказал ему: „Пойди умойся в купальне Силоам“ (что значит посланный). Он пошел и умылся и вернулся зрячим».

– Зрячим, Вася, зрячим! – грозно крикнул поп и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди ее и возопил:

– Верую, господи! Верую!

И тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, ударил в спину попа – и со страхом он обернулся.

– Ты что? – испуганно спросил он, отступая.

Идиот смеялся. Бессмысленный зловещий смех разодрал до ушей неподвижную огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно-пустой, прыгающий хохот: «Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!»

11

Под Троицу, под светлый и веселый праздник весны, брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где знаменские крестьяне уже несколько лет добывали для себя песок, находились верстах в двух от села, среди невысоких и густых вырубков березы, осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметававшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налетела на цветы, и на дно глубокой выемки с осыпающимися и сползающими стенами вливались ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безросных душных ночах; ее звала измученная скотина и просительно мычала, задирая головы. И людям было и душно и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало к движению, к громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху.

Работали двое: псаломщик Никон, бравший песок для церкви, и работник старосты, Семен Мосягин. Иван Порфирыч любил, чтобы песку у него было много и на улице перед домом, и на мощеном дворе, и Семен уже успел с утра отвезти одну телегу, а теперь накладывал другую, бойко швыряя полные лопаты золотистого, красивого песка. Ему было весело от жаркого жужжания, от запаха и приятной работы; он заодно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его:

– Эх, брат, Никон Иваныч, даром наша с тобой красота пропадает!

– Скажи другой раз, – отвечал псаломщик с ленивой и неопределенной угрозой, и, пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала.

– Гляди, соску уронишь! – предостерег Семен.

Никон ничего не ответил, и Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец, и легкая работа не могла взять всех его сил и внимания; он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с ловкостью и быстротой подбирающей зерна курицы собирал рассеянные крупинки золотистого песка, шевеля лопатой, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истощилась, и Семен решительно плюнул в нее.

– Ну, тут немного накопишь. Разве там поковырять? – посмотрел он на низенькую полупещерку, подкопанную в непрочной стене и пестревшую красными и зеленовато-серыми пластами, и решительно направился к ней.

Псаломщик посмотрел на пещерку, подумал: «А ведь завалится», – но ничего не сказал. Но Семен почувствовал эту мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился.

– Как думаешь, не завалится? – спросил он, обертываясь.

– А я почему знаю! – ответил сторож.

В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямой дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое и веселое. Послужив ладони, Семен взял лопату, и когда только второй раз ткнул ею, – что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями да ссохшийся круглый комочек

песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и остановился, такой простой и невинный. Через два часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке обрезанными зубами был туго набит золотистым песком; и по всему лицу – во впадинах глаз, среди белых ресниц, в русых волосах и огненно-рыжей бороде желтел тот же красивый, золотистый песок. И все так же завивались и плясали рыжие волосики, и диким глумлением отзывалась эта нелепо веселая, залихватская пляска вокруг бледного помертвело-го лица.

С собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосягина, Сенька. Его не взяли на лошадь, и во всю дорогу он бежал сзади едущих, так что слышно было его тяжелое дыхание; и, пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне, на куче глины, и так же неподвижны были его глаза, которыми впивался он в тающую песчаную гору.

Мертвеца положили на телегу, поверх накопанного им золотистого песку, прикрыли рогожей и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге; позади враздробь тихо шли мужики, рассыпавшись между деревьями, и рубя их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнем. И когда проезжали мимо двухэтажного дома Ивана Порфирыча, псаломщик предложил поставить покойника к нему:

– Его работник – ему и хоронить.

Ни в окнах, ни около дома никого не было, и лавка была заперта висячим железным замком. Долго стучали в высокие ворота с большими черными шляпками железных гвоздей, потом дергали в большой звонок, и слышно было, как громко и резко звонил он где-то за углом, и заливались на дворе собаки, но никто не показывался. Наконец вышла старуха кухарка и сказала, что Мосягина хозяин велит везти домой и дает на похороны, не в зачет жалованья, десять рублей. А пока она объяснялась с толпой, сам Иван Порфирыч, злой и испуганный, смотрел из-за занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене:

– Запомни мои слова: ежели поп миллион будет давать мне, руки не протяну, пусть лучше отсохнет. Страшный он человек.

И неизвестно откуда – с загадочных ли слов старосты и его отказа принять покойника, или из другого неведомого источника – по селу быстро заползали и всюду зашипели взъерошенные, жуткие слухи. Говорили о Семене, о его неожиданной и страшной смерти, а думали о попе, и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда о. Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный какою-то неясной думою, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем; вспомнили сгоревшую попадью и сына ее, безногого дурачка, и за простыми, ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой и смутной жалости и ушла; оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках и рассказывали страшные сказки о мертвецах, чернея большими расширенными глазами; и уже давно звал их домой знакомый и приятно-сердитый голос, а они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все два дня до похорон непрерывно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары.

И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром, и безросны оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло; и над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды о. Василий вышел из хаты, уже темно было и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, поп снял широкополую черную шляпу и тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. И скорее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху – догадался он,

что сзади, в нескольких шагах кто-то следует за ним. Он оглянулся – кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соразмеряя свои шаги с медленной поступью попа. Поп остановился – тот, сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад.

– Кто это? – спросил о. Василий.

Человек молчал. Потом внезапно повернулся и быстро, не сдерживая шага, пошел назад; и уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его.

На следующую ночь повторилось то же. Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки, и почему-то в походке и складе коренастой фигуры попу показалось, что это Иван Порфирыч, староста.

– Иван Порфирыч, это вы? – окликнул он.

Но человек не отозвался и отошел назад. А когда о. Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно; поп вышел – и возле дома не было ни души. «Что это он мечется, как злой дух?» – с неудовольствием подумал о. Василий, становясь на долгую коленопреклоненную молитву. И в ней он забыл и старосту, и ночь, тревожно лежавшую над землею, и себя самого – об умершем молился он, о его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости божией. И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею.

А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но все еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны, и уже не раз приходилось о. Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у закрытых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головою. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и, приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи. И слушал что-то.

Хоронили Мосягина в понедельник, на Духов день, и начался он зловещий и странный, точно смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими, кроваво-красными жилками – такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землею висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи.

И тишина стояла немая и тяжелая, как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки, с свернувшимися листьями, серыми рядами тянулись по деревне; печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии молоденьких серых деревьев, молчаливо погибавших от жажды и огня и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок, усыпавший дорожки, и вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз; о чем-то мирном, простом и веселом говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в остановившейся природе.

Когда о. Василий облачался, в алтарь вошел Иван Порфирыч. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая землистая бледность; глаза запухли и горели лихорадочным огнем; наскоро причесанные, слипшиеся от квасу волосы местами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколько ночей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то взмочаленный и растерянный был он; забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к попу за благословением и даже не поздоровался.

– Что это с вами, Иван Порфирыч? Вы нездоровы? – участливо спросил о. Василий, выправляя волосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмотря на жару, и сосредоточенный.

Староста попробовал улыбнуться.

– Так. Собственно, не важно. Поговорить с вами хотел, батюшка.

– Это вы вчера?..

– Я-с. И третьего дня – тоже я. Извините. Я без всякого намерения...

Он тяжело передохнул и, снова забыв все тонкости обхождения, ужасаясь, открыто, громко сказал:

– Боюсь. Отроду ничего не боялся. А теперь боюсь. Боюсь.

– Чего ж боитесь? – удивленно спросил поп.

Иван Порфирыч заглянул за плечо попа, как будто там прятался кто-то молчаливый и страшный, и выдохнул:

– Смерти.

Молча смотрели они друг на друга.

– Смерти. Пришла она во двор. Шальная, без рассудку, всех переберет. Всех! У меня, извините, курица и та без причины подохнуть не смеет: прикажу в щи зарезать, тогда и околеет. А это что же такое? Разве так можно? Извините. А я сразу и не догадался. Извините.

– Ты про Семена?

– А про кого же? Про Сидора и Евстигнея? Ты вот что, – грубо заговорил староста, шалея от страха и злости, – ты эти дела оставь. Тут дураков нету. Уходи подобру-поздорову. Уходи!

Он энергично мотнул головой по направлению к двери и добавил:

– Живо!

– Да что ты? С ума спятил?

– Это еще неизвестно, кто спятил: ты или я. Ты зачем каждое утро тут выкидываешь? «Молюсь, молюсь», – прогундосил он по-церковному. – Так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то: «Я молюсь». Поганец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь. Ан вот тебя и загнуло: где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен, говори!

Он резко дернулся к попу – и услышал короткий и строгий приказ:

– Пойди вон из алтаря, нечестивец!

Пунцовый от гнева, Иван Порфирыч сверху взглянул на попа – и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч. Одни глаза. Ни лица, ни тела не видал Иван Порфирыч. Одни глаза – огромные, как стена, как алтарь, зияющие, таинственные, повелительные – глядели на него, – и, точно обожженный, он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впились черные и страшные глаза.

12

Входили молча, опасливо ступая ногами, и становились, где пришлось – не на своем обычном месте, где хотелось и где привычно стоять, как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий, тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Становились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды; и все молчали, и все сумрачно и тревожно ждали, и тесная близость не давала успокоения: локоть прикасался к локтю, а казалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Привлеченные странными слухами, приехали люди из дальних сел, из чужих приходов; они были смелее и говорили громко, но скоро умолкали и они, сердясь, удивляясь, но бессильные, как и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее небо; оно точно переглядывалось угрюмо из окна в окно и на все бросало металлические сухие отсветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком свете старая позолота иконостаса блистала тускло и нерешительно, раздражая глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленел молодой клен, и много глаз неотступно глядело на его широкие, слегка обвиснувшие листья: друзьями казались они, старыми спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих бликов.

И над всеми обычными, спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска царил определенный, отвратительный и страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расплзающуюся массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как самый гроб, стояли четверо: вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему; быть может, они его не слыхали и думали и верили, что хоронят живого – как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого, берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали – и молчало все, и медно-красное, угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы и сеяло сухие, растерянные блики.

Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, и махнул на толпу кадилом толстый и благодушный дьякон, вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся; кое-кто решительно и грузно переступнул затекшими ногами; некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но, куря и спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно спохватывались и пугались, что без них произойдет в церкви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные сигарки и ломились в церковь, раздирая толпу плечами, как клиньями. И останавливались: торжественно и просто шло служение, мирно покряхтывал и откашливался перед началом слов старый дьякон, отыскивал в толпе разговаривающих и грозил им толстым, коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом, со стороны солнца, поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами – и радостно перекрестились. Был среди них и Иван Порфирыч, бледный и как бы больной; он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз.

В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда о. Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал:

– Эх! Хорошо бы ледку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, льду-то. По – моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец – скажите-ка старосте.

– Смердит? – глухо спросил поп, не оборачиваясь.

– А вы не слышите? Ну и нос же у вас. А я так просто изнемог. Теперь, по летнему времени, этого

запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте: даже борода пахнет. Ей-богу!

Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил:

– Экий народ, право!

Началось отпевание. И снова свинцовое молчание придавило толпу и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба; ясно помнил он и невинный кусочек ссохшейся земли, и дубовый куст, качнувшийся резными листьями, – и старые, знакомые, омертвевшие слова оживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе он думал с тревогою и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил о. Василия стыдливою и нежною любовью и близок был его великой, мятежной душе.

– «Воистину суета всяческая, житие же сень и соние: ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече писание, егда мир приобретаем, тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищие. Тем же Христе боже преставльшегося раба твоего упокой, яко человеколюбец...»

В церкви темно – буро-синей беспокойной темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выползло что-то чугуно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше, к кресту.

– «Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть золото и серебро; где есть рабов множество и молва – вся персть, вся пепел, вся сень...» – дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах.

Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окнам. Позади клена небо было черно, и широкие листья перестали зеленеть: бледными сделались они, и уже не было в них, испуганных и оцепеневших, ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие. И всю, казалось, темноту, молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник: так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный и строгий человек. Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежд его казалась светом среди ослепленной позолоты, пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им; он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу, точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один; потом забывал толпу, забывал, что он служит, и рассеянно шел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то; точно ждал он слова, приказа или могучего, разрешающего чувства, – а оно не приходило.

– «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу божию созданную, нашу красоту безобразну, бесславну, не имущу вида. О чуде! Что сие, еже о нас бысть таинство; како предахомся тлению; како сопрягохомся смерти; воистину бога повелением...»

Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые отсветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи – когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и о. Василий, но не понял ее: ему странно почудилось, что это – раннее зимнее утро, когда один он оставался с богом, и одно великое и мощное чувство окрыляло его, как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая. Замедлили свой бешеный бег тысячи разрозненных, сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств: замедлили, остановились, замерли – мгновение страшной пустоты, стремительного падения, смерти, – и всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное. Еще строго и

веско отбивало первые удары на миг остановившееся сердце, а он уже знал. Это оно! Оно – могучее, все разрешающее чувство, повелевающее над жизнью и смертью, приказывающее горам: сойдите с места! И сходят с места старые сердитые горы. Радость, радость! Он смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что! Вот великая разгадка! О радость, радость, радость!

Закинув голову, подняв руки горе, как Моисей, узревший бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими вздохами – видит внизу испуганное лицо дьякона, предостерегающе приподнявшего палец, видит съжившиеся спины людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви, – и стискивает рот с неожиданной и трогательной пугливостью ребенка.

– Не буду! – шепчет он дьякону, а грозный восторг брызжет огнем изо всех пор его лица. И плачет он, закрывая лицо руками.

– Капелек бы! Капелек бы каких-нибудь, отец Василий! – растерянно шепчет на ухо дьякон и с отчаянием восклицает: – Ах, господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!..

Поп отымает слегка от лица сложенные руки и искоса, за их прикрытием, смотрит на дьякона – дьякон вздрагивает, на цыпочках, большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решетку и, ощупью найдя дверцу, выходит.

– «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще бога, сей бо оскуде от сродства своего, и ко гробу тщится, не к тому пекийся о суетных и о многострастной плоти. Где ныне сроднице же и друзи; се разлучаемся...»

В толпе движение. Некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом с остающимися, и уже свободнее становится в потемневшей церкви. Только около черного гроба безмолвно толкуются люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному и с страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мертв, и запах слышит, – но замкнуты для слез ее глаза, и нет голоса в ее гортани. И дети смотрят на нее – три пары молчаливых глаз.

И тут заметили, что дьякон растерянно пробирается сквозь толпу, а о. Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатали в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такою силою держался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого; вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно: он точно наслаждался ее безмерною мукою – так весел, так ликующ, так дерзко-радостен был его стремительный взор.

– «Кое разлучение, о братие, кий плач, кое рыдание в настоящем часе; приидите убо, целуйте бывшего вмале с нами, предается бо гробу, камнем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погребается и всех сродников и друзей ныне разлучается. Его же...»

– Да остановись же, безумец! – прозвучал с амвона стонущий голос. – Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых!

И тут совершилось то мятежное и великое, чего с таким ужасом, так загадочно ожидали все. О. Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд своим черным торжественным одеянием, направился к черному, молчаливо ждущему гробу. Остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу:

– Тебе говорю, встань!

Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к

дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми и Иван Порфирыч. Последний минуту смотрел на попа – и сорвался с места, и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева.

Со светлой и благодной улыбкой сожаления к их неверию и страху, весь блистая мощью безграничной веры, о. Василий возгласил вторично, с торжественной и царственной простотою:

– Тебе говорю, встань!

Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста. И тишина. Ни звука в опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные, испуганные шаги: то уходит вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками – и снова тишина.

«Так лучше будет: нехорошо ему, такому, вставать при жене и детях», – быстро, вскользь думает о. Василий и говорит в третий раз, тихо и строго:

– Семен! Тебе говорю, встань!

Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина, и долгий, мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклоняется к гробу, в опухшем лице он ищет движения жизни; приказывает глазам: «Да откройтесь же!» – наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острые края гроба, почти касается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни – и смрадным, холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп.

Он молча отшатывается – и на мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах; понимает, что народ бежал в страхе, и в церкви только он да мертвец; видит, что за окнами темно, но не догадывается – почему, и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем. Вспоминается вьюга. Колокол и вьюга. И неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое...

И снова исчезает все. Потухшие глаза разгораются холодным, прыгающим огнем, жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И, спрятав глаза под каменную арку бровей, он говорит спокойно-спокойно, тихо-тихо, как будто разбудить кого-то боится:

– Ты обмануть меня хочешь?

И молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо, с той зловещей выразительностью бури, когда уже вся природа в ее власти, а она медлит и царственно нежно покачивает в воздухе пушинку:

– Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость – чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вдоха! Все одним тобою, все для тебя. Один ты! Ну, явись же – я жду!

И в позе гордого смирения он ждет ответа – один перед черным, свирепо торжествующим гробом, один перед грозным лицом необъятной и величавой тишины. Один. Неподвижными остриями вонзаются в мглу огни свечей, и где-то далеко напевает, удаляясь, вьюга: их двое, их двое... Тишина.

– Не хочешь? – спрашивает он все так же тихо и смиренно и внезапно кричит бешеным криком, выкатывая глаза, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души:

– Ты должен! Отдай ему жизнь! Бери у других, а ему отдай! Я прошу.

Обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом, с презрением:

– Ты! Проси его! Проси!

И кричит святотатственно, грозно:

– Ему не нужно рая. Тут его дети. Они будут знать: отец. И он скажет: сними с головы моей венец небесный, ибо там – там сором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет! Он скажет!

Со злобою трясет черный тяжелый гроб и кричит:

– Да говори же ты, проклятое мясо!

Смотрит изумленно, остро – и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена. В гробу нет трупа. Там лежит идиот. Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами – и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит и медленно высовывается из гроба – несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти.

– Назад! – кричит о. Василий, и голова его становится огромной от вздыбившихся волос. – Назад!

И снова неподвижный труп. И снова идиот. И так в чудовищной игре безумно двоится гниющая масса и дышит ужасом. И в диком гневе он хрипит:

– Напугать! Так вот же...

Но слов его не слышно. Внезапно, загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Грохочет, разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека.

О. Василий открывает ослепленные глаза, поднимает голову вверх и видит: падает все. Медленно и тяжело клонятся и сближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнется пол – в самых основах своих разрушается и падает мир.

И тогда с диким ревом он бежит к дверям. Но не находит их и мечется, и бьется о стены, об острые каменные углы – и ревет. С внезапно открывшейся дверью он падает на пол, радостно вскакивает, и – чьи-то дрожащие, цепкие руки обнимают его и держат. Он барахтается и визжит, освободив руку, с железною силою бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногою тело, выскакивает наружу.

Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и всюю гигантскою массою своею падают на потрясенную землю – в самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громopodobный хохот, и треск, и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной коляной ризе, он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, и снова бежит. Улица безлюдна, как ночью – ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа: ни зверя, ни птицы.

«Все умерли!» – мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую торную дорогу. Над головой его черная клубящаяся туча бросает вперед три длинные отростка, как три хищно загнутые когтя; сзади что-то глухо и грозно рокошет – в самых основах своих рушится мир.

Далеко впереди на телеге возвращаются из Знаменского мужик и две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека, на секунду останавливаются, но, узнав попа, бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колесами поднимается на воздух, но трое молчаливых, согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настигают лошадь – и скачут, и скачут.

* * *

О. Василий упал в трех верстах от села, посередине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад напряженно и прямо – как будто и мертвый продолжал он бежать.

19 ноября 1903 г.

Иуда Искарот

1

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота – человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывшие в Иудее, хорошо знали его сами, многие много слышали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно, – говорили они, отплевываясь, – он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота», – говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.

Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору – любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда – дурной человек и не хочет бог потомства от Иуды.

Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей; но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги – а потом снова незаметно появлялся, услужливый, лстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

Но не послушал их советов Иисус; не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уже десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, – слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятия; и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, – все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белою теперь, и не остался белым красный город на красной горе.

И вот пришел Иуда.

Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову – и как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха: и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая: и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающейся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искарриота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою – рядом с собою посадил Иуду.

Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел – и, двигая головой направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а рождаются от несоответствия поступков его с заветами предвечного. Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных взорах.

Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга:

– Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда.

Петр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал.

– Подожди! – сказал он другу.

Еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искарриоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью:

– Вот и ты с нами, Иуда.

Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на учителя, но чувствуя на себе взор его, решительно добавил своим громким голосом, вытесняющим всякие возражения, как вода вытесняет воздух:

– Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадают еще и не такие уродины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбакам господу нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога – только одною половиною.

И громко захохотал, довольный своей шуткой. Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так

твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнаженная грудь, и свободно закинутае руки уже горели в зареве восхода.

Слова Петра, видимо, одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие – и раз! – обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжавшего горячо рассказывать об осьминоге, – и один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.

И только Иоанн Зеведеев упорно молчал да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно морщил прямой, гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появились восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел.

А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою буроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густой и хитрой пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза – остановился – решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел куда-то; Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачал загорелой ногою; ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся – Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица – оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал:

– Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.

Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери.

Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась легкой и неторопливою и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени; и вдруг человек пропадал в чем-то черном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими – как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услышал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух; обиженно и

громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу.

Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда.

2

Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговоры Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожей на смешную, а иногда и страшную сказку.

По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выпросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял с клятвой, что другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так и этак. Так, некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уже десять лет непрестанно хочет украсть вверенное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. И Иуда поверил ему – а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил – а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные; когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой – она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто знает? Может быть, оттого, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегаёт с другими собаками.

Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же, с тою же улыбкой сознавался, что немного солгал; собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше.

Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветой, другие же шутливо спрашивали:

– Ну, а твои отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?

Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

– А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов: про которого вы говорите?

Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона:

– Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.

Иоанн же Зеведеев надменно бросал:

– Ну, а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Кариота?

Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяния у прохожего:

– Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искарриота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав.

– А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? – наклонившись, спросил он громким шепотом. – Только не шути, прошу тебя.

Иуда злобно взглянул на него:

– А ты что думаешь?

Петр испуганно и радостно прошептал:

– Я думаю, что он – сын бога живого.

– Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козел!

– Но ты его любишь? Ты как будто никого не любишь, Иуда.

С той же странной злобою Искарриот бросил отрывисто и резко:

– Люблю.

После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол и там сидел угрюмо, светлея своим белым несмыкающимся глазом. Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искарриота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями:

– Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом, кроме тебя? Как его зовут?

Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которой тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств – с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов – с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою:

– Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все.

– Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом? – с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа.

Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом: увидел длинный, прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

– Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне: дерево, стену, осла?

И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна

свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа – они оба спали теперь вместе на кровле:

– Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?

– А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?

Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп.

Когда, во время странствований Иисуса по Иудее, путники приближались к какому-нибудь селению, Искарriot рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

– Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие: и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!

Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущенный и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил:

– Иуда прав, господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов.

И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор.

– Так вот как! – вскричал Петр, раздувая ноздри. – Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам, и...

Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто не прав оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо, – на него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто.

И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему – и даже упорнее, чем прежде, – искал его глазами всякий раз, когда начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиной и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, – казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розой ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы – как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков.

– Фома! Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза, как у серны? – спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил:

– Розу? Да, мне приятен ее запах. Но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как у серны.

– Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?

Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади него и привязанного к ней понурого осла.

Произошел некоторое время спустя и еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда из Кариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, – потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с камнями руки.

– Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного, – говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду.

И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его, – но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему: и все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, с своим счастливо-возбужденным, но все же еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят.

– Ты хочешь видеть глупцов? – сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. – Посмотри: вот идут они по дороге, кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. А ты, умный, Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином.

– Почему ты называешь себя прекрасным? – удивился Фома.

– Потому что я красив, – убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми камнями.

– Но ты солгал! – сказал Фома.

– Ну да, солгал, – согласился спокойно Искарот. – Я им дал то, что они просили, а они мне вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большею ложью была бы смерть Иисуса?

– Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой – дьявол. Это он научил тебя, Иуда.

Лицо Искарота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому – словно белое облако нашло и закрыло дорогу Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движения, и зашептал в ухо:

– Значит, дьявол научил меня? Так, так, Фома. А я спас Иисуса? Значит, дьявол любит Иисуса, значит, дьяволу нужен Иисус и правда? Так, как, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна?

Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее.

А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучу идущие, и уже нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку – и внезапно все пропало за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось и руки взмывали вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстрым серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком:

– Ты еще, проклятая!..

И, внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, прижал руки, ладонь к ладоню, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезаая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни – словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали – тяжело, безгранично, упорно.

Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх – к светлому побледневшему небу. Наступила ночь со своими мыслями и снами.

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость.

3

Однажды, около полудня, Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер. И он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его веселыми речами и шутками. Но видя, что и речи утомляют его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу; кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камней красивую голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принес ее Иисусу; и ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик.

Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок – и с каждым прикосновением к земле, беря от нее быстроту и крепость, становился легкий, свирепый, всеразрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край – плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжелой задумчивости, округло летел вниз, на дно невидимой пропасти.

– Ну-ка, еще один! – кричал Петр. Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажались, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки, и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

– Что же ты, Иуда? Отчего ты не примешь участие в игре – это, по-видимому, так весело? – спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем.

– У меня грудь болит, и меня не звали.

– А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Петр.

Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота – два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым:

– Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом.

– Нет, ты еще брось! – сказал Петр обиженно.

И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень – Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз – Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облипал его, качался вместе с ним и, леденея, посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Петр откидывался назад и так следил за его падением – Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирали длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень – и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал:

– Господи! Я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить.

И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами:

– Он сказал: а кто поможет Искарриоту?

Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень, и весело засмеялся:

– Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда!

И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличенный в своей лжи, и засмеялись все остальные – даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы, серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал:

– Вот так больной!

Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус – но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку; и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкою шли впереди, а Иуда – Иуда-победитель – Иуда сильный – один плелся сзади, глотая пыль.

Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другою рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую, загорелую руку.

На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом – и никто не вспомнил об Иуде.

Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась однажды учителя, но не беспокоила его. Коснулся – и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса.

Искарриот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукой. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно

растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъяснимом мраке ее, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одну на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное: и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывая одну на другую, и снова поднимал... И нежно звучали где-то далекие и призрачные слова.

Так стоял он, загораживая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк – резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, восторженно воскликнул:

– Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни!

Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона:

– Смотрящий кротко – помилован будет, а встречающийся в воротах – стеснит других.

Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и все у него – глаза, руки и ноги – точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах своих – и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь.

Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил:

– Ты плачешь, Иуда?

– Нет. Отойди, Фома.

– Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров?

Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом.

– Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки?

– Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус?

Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте:

– Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принес ему ящерицу – я принес бы ему ядовитую змею. Петр бросал камни – я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда.

– Ты что-то странно говоришь, Иуда?

– Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, – ведь это я, это обо мне он сказал. Почему же он не рубит? Он не смеет, Фома. Я его знаю: он боится Иуды! Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома, ты слыхал об этом?

Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бранится, и только покачал в темноте головою. И еще сильнее затосковал Иуда; он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело.

– Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает разбойникам на поругание, невесту свою – на непотребство. Но разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!

4

Иуда утаил несколько динариев, и это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, и испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся.

– Учитель, смотри! Вот он – шутник! Вот он – вор! Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор! Негодяй! Если ты позволишь, я сам...

Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на него, Петр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно-угнетенный вид раскаявшегося преступника.

– Так вот как! – сердито сказал Петр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудой, – но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которой слышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные его глаза краснели как бы от недавних слез.

– Учитель сказал... Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Петр сердито засмеялся. Быстро, с укором взглянул на него Иоанн и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул:

– И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжко обидели его – так сказал учитель... Стыдно вам, братья!

В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и легким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли Иаков, Филипп и другие – после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр.

– Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один он видит, один он умный. Мне можно поцеловать тебя?

– Отчего же? Целуй! – согласился Иуда.

Петр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал:

– А я тебя чуть не удушил! Они хоть так, а я прямо за горло! Тебе не больно было?

– Немножко.

– Пойду к нему и все расскажу. Ведь я и на него рассердился, – мрачно сказал Петр, стараясь тихонько, без шума, отворить дверь.

– А что же ты, Фома? – строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников.

– Я еще не знаю. Мне нужно подумать.

И долго думал Фома, почти весь день. Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеною громко и весело кричал Петр, а он все соображал. Он сделал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьезно спрашивавший:

– Ну как, Фома? Как идет дело?

Потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Фому,

стал считать деньги.

– Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах, какие все люди мошенники, они даже жертвуют фальшивые деньги... Двадцать четыре... А потом опять скажут, что украл Иуда... Двадцать пять, двадцать шесть...

Фома решительно подошел к нему – уже к вечеру это было – и сказал:

– Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя.

– Вот как? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать один...

– Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брать, сколько тебе нужно, брат.

– И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова? Не дорожишь же ты временем, умный Фома.

– Ты, кажется, смеешься надо мною, брат?

– И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его? Ведь это он сказал – «свое», – а не ты. Это он поцеловал меня – вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить?

– Ведь он наш учитель. Как же нам не повторять слов учителя?

– Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый и его не за что схватить? Вот уйдет учитель из дому, и опять украдет нечаянно Иуда три динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его?

– Мы теперь знаем, Иуда. Мы поняли.

– А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу – ученики кричат: мы знаем, учитель! А ушел учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут. Сегодня утром ты назвал меня: вор. Сегодня вечером ты зовешь меня: брат. А как ты назовешь меня завтра?

Иуда засмеялся и, легко поднимая рукою тяжелый, звенящий ящик, продолжал:

– Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!

Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся.

– Я рад, что тебе весело, – сказал Фома. – Но очень жаль, что в твоей веселости много зла.

– Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и который так полезен? Если бы я не украл трех динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое восторг? И разве не приятно быть крюком, на который вывешивают для просушки: Иоанн – свою отсыревшую добродетель, Фома – свой ум, поеденный молью?

– Мне кажется, что лучше мне уйти.

– Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома, – я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого, противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице.

– Блуднице? – удивился Фома. – А об этом ты сказал учителю?

– Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блуднице. Но если бы ты знал, Фома, что это была за

несчастливая женщина. Уже два дня она ничего не ела...

– Ты это знаешь наверное? – смутился Фома.

– Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьет только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею...

Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, кинул Иуде:

– По-видимому, в тебя вселился сатана, Иуда.

И, уходя, слышал в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжелый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда.

Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде – так прост, мягок и в то же время серьезен был Искарот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал свое хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде, – точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел их, но бегал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывая свои руки и ноги, и смотрел так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание. И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал, так что сам строгий Матфей считал возможным похвалить его, сказав словами Соломона:

– Скудомный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит.

И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей; и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал своего нерасположения. И сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое почтение, как любимому ученику Иисуса и своему заступнику в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу.

– Как ты думаешь, Иуда, – сказал он однажды снисходительно, – кто из нас, Петр или я, будет первым возле Христа в его небесном царствии?

Иуда подумал и ответил:

– Я полагаю, что ты.

– А Петр думает, что он, – усмехнулся Иоанн.

– Нет, Петр всех ангелов разгонит своим криком – ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса, – но он уже староват, а ты молод, он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом. Не так ли?

– Да, я не оставлю Иисуса, – согласился Иоанн.

И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Петр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвел Иуду в самый дальний угол, за дом.

– Так как же ты думаешь? – тревожно спрашивал он. – Ты умный, тебя за ум сам учитель хвалит, и ты скажешь правду.

– Конечно, ты, – без колебаний ответил Искарот; и Петр с негодованием воскликнул:

– Я ему говорил!

– Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место.

– Конечно!

– Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобой? Ведь ты первый пойдешь туда с Иисусом? Ты не оставишь его одного? Разве не тебя назвал он – камень?

Петр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал:

– Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого. А то ведь и ты мог бы стать любимым учеником, не хуже Иоанна. Но только и тебе, – Петр угрожающе поднял руку, – не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там! Слышишь!

Так старался Иуда доставить всем приятное, но и свое что-то думал при этом. И, оставаясь все тем же скромным, сдержанным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится. Так, Фоме он сказал:

– Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

Матфею же, который страдал некоторым излишеством в пище и питии и стыдился этого, привел слова мудрого и почитаемого им Соломона:

– Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность, а больше молчал, внимательно прислушиваясь ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный смешной и в то же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно и в старые бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу – являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворожающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искарриота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим и неотзывчивым молчанием.

– Опять задумался, Иуда? – кричал Петр, своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание Иудиних дум, отгоняя их куда-то в темный угол. – О чем ты думаешь?

– О многом, – с покойной улыбкой отвечал Искарриот. И, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединенных прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую грудку, из которой вдруг высывались руки и ноги Иуды и слышался его шутиливый голос.

Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в царстве небесном. В присутствии учителя Петр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая свое место возле Иисуса: перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бранились несдержанно, Петр – весь красный от гнева, рокошущий; Иоанн – бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор и начал хмуриться учитель, когда Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал; взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся – каждый из них вспомнил, что говорил ему умный Искарриот. И, уже предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Петр закричал:

– Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса – он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

– Да, – подтвердил снисходительно Иоанн, – скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса.

Не открывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

– Я!

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искарот повторил торжественно и строго:

– Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Пораженные дерзкой выходкой, ученики молчали, и только Петр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом:

– Так вот о чем он думает!.. Ты слышал?

5

Как раз в это время Иуда Искарот совершил первый, решительный шаг к предательству: тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших, тяжелых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назарею вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона.

– А кто он, этот Назарей? – пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса.

Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательнее взглянул на него Анна и лениво сказал:

– Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев?

– Нет, он опасный человек, – горячо возразил Иуда, – он нарушает закон. И пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ.

Анна одобрительно кивнул головой.

– Но у него, кажется, много учеников?

– Да, много.

– И они, вероятно, очень любят его?

– Да, они говорят, что любят. Очень любят, больше, чем себя.

– Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстания?

Иуда засмеялся продолжительно и зло.

– Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они!

– Разве они такие дурные? – холодно спросил Анна.

– А разве дурные бегут от хороших, а не хорошие от дурных? Хе! Они хорошие, и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат его сами, а ты только казни!

– Но ведь они же любят его? Ты сам сказал.

– Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим! Хе!

Анна проницательно взглянул на предателя, и сухие губы его сморщились – это значило, что Анна улыбается.

– Ты обижен ими? Я это вижу.

– Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария, – как будто Иуда не самый честный человек в Израиле!

И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ – но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уже давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слышал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ иерусалимский, боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутая сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падает, – еще сильнее разрастется ересь и в гибких кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искарriot, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий и в четвертый раз пришел к нему Искарriot, настойчивый, как ветер, который и днем и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее.

– Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна, – сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику.

– Я довольно силен, чтобы ничего не бояться, – надменно ответил Анна, и Искарriot раболепно поклонился, простирая руку. – Чего ты хочешь?

– Я хочу предать вам Назарея.

– Он нам не нужен.

Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника.

– Ступай.

– Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна?

– Тебя не пустят. Ступай.

Но вот и еще раз, и еще раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда – точно и сам подсчитывал волоски в седой бородке первосвященника.

– Ну? Ты опять здесь? – надменно бросил, точно плюнул на голову, раздраженный Анна.

– Я хочу предать вам Назарея.

Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искарriot смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

– Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

– А сколько вы дадите?

Анна с наслаждением оскорбительно сказал:

– Вы все шайка мошенников. Тридцать серебряников – вот сколько мы дадим.

И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда – проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.

– За Иисуса? Тридцать серебряников? – закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. – За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебряников? И вы думаете, что вам могу продать Иисуса за тридцать серебряников?

Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

– Ты слышишь? Тридцать серебряников! За Иисуса!

С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:

– Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле.

И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продает.

– А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!

– Если ты... – пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды; но тот беззастенчиво перебивал его:

– А то, что он красив и молод – как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А?

– Если ты... – старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.

– Тридцать серебряников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? – вопил Искарот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.

– За все! За все! – задыхался Анна.

– А сами вы сколько наживаете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!

Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:

– Вон!.. Вон!..

Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками:

– Но если вы так... Зачем же ты сердись на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди...

– Мы другого... Мы другого... Вон!

– Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два обола? За один?

И, кланяясь все ниже, извиваясь и лстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.

– Теперь так много фальшивых денег, – спокойно пояснил Иуда.

– Эти деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, – сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.

– Но разве благочестивые люди умеют отличать фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.

Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он

возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку – но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать серебряников.

Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся – и выполз бесшумно.

– Господи! – сказал он. – Господи!

И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.

...Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый, робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проникательный, как она, – он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности – теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивал об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, – и те приносили амбру, благовонное дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердится, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству; и в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках – первый раз в жизни – маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали; и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг вползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.

По вечерам, когда вместе с тьмою у окон остановилась на страже и тревога, Искарriot искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихой водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у

Иисуса показывались на глазах слезы, и он вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:

– Как он рассказывает! Ты слышишь?

– Слышу, конечно.

– Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.

Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.

И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!

6

Одною рукой предавая Иисуса, другою рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:

– Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.

Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление – пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызвали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:

– Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?

– Но если они захотят умертвить его?

– Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним.

– А если посмеют? Тогда что?

Иоанн говорил пренебрежительно:

– Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.

И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:

– Но вы его любите, да?

И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:

– А ты его любишь? Крепко любишь?

И все отвечали, что любят.

Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:

– Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?

Фома рассудительно ответил:

– Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча – что можно сделать двумя мечами?

– Можно еще достать. Их можно отнять у воинов, – нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:

– Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.

– Это я украл. Можно было еще украсть, но там закричали – и я убежал.

Фома задумался и печально сказал:

– Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?

– Но ведь нет же чужого!

– Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.

И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз проклинали ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.

А рассерженный Иуда после каждого такого разговора шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.

– Разве это люди? – горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. – Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!

– Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, – возражала Мария.

– Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? – удивлялся Иуда. – Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!

– Он так тяжел, я не подниму его, – улыбнулась Мария.

– Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтобы найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?

– Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.

– И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?

– Ты же просил не говорить.

– Нет, не надо, конечно, не надо, – вздохнул Иуда. – Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она хорошая женщина, ты не знаешь?

– Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?

– Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать серебряников – это большие деньги? Или нет, небольшие?

– Я думаю, что небольшие.

– Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять серебряников или десять? Ты была дорогая?

Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.

– Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.

– Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?

– Ведь это грех.

– Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его – чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его.

Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам – он уже старый, сухой, безобразный со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом; она – молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.

А время равнодушно протекало, и тридцать серебренников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на ослиати, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:

– Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!

И так велико было ликование, так неуждержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:

– Не сын ли это божий с нами?

И сами кричали торжествуя:

– Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!

В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивительно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искарот; задумывался и вновь слушал и смотрел; потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывал его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:

– Фома! А что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою – песок только? Тогда что?

– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.

– Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

– Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И, покачивая готовую, Иуда повторил, как эхо:

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И на другой еще день в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал тот же странный вопрос:

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды:

– Тогда не будет Иуды из Кариота. Тогда не будет Иисуса. Тогда будет... Фома, глупый Фома! Хотелось

ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, может быть, бросить потом.

– Это невозможно. Что ты говоришь, Иуда!

– Это возможно, – убежденно сказал Искарот. – И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома! Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!

Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречаемых. Погасло ликование. И уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели; пробовал сумрачный Петр подаренный ему Иудой меч. И все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его.

– Ты знаешь, кто его предаст? – спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

– Да, знаю, – ответил Иуда, суровый и решительный. – Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит! Пора! Пора! Почему он не зовет к себе сильного, прекрасного Иуду?

...Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерилось неумолимое время. И был вечер, вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле – первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил:

– Ты знаешь, куда я иду, господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было долгое молчание, тишина вечера и острые, черные тени.

– Ты молчишь, господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

– Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?

И снова молчание, огромное, как глаза вечности.

– Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве моя – меньше? Повели мне остаться! Но ты молчишь, ты все молчишь? Господи, господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашел! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжелее гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота?

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности.

– Я иду.

Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла – так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела – и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса – точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стучаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра – он клялся, что никогда не оставит учителя своего.

– Господи, – говорил он с тоскою и гневом. – Господи! С тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалявшихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:
– Говорю тебе – Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня.

7

Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил он все последние ночи свои. Но непонятно медлил он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили его; тогда он сказал внезапно:

– Кто имеет мешок, возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному: «И к злодеям причтен».

Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Петр же ответил:

– Господи! Вот здесь два меча.

Он взглянул испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо:

– Довольно.

Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих – и пугались ученики звука шагов своих; на белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени – и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочно-неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей; уродливые тени скал и деревьев, преграждающие дорогу, беспокоили их пестротой своею, и движением казалась их ночная неподвижность. Но по мере того как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе; и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут его, говорил он.

В саду, в начале его, они остановились. Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшей еще от дневного жара, и, пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старались точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город, и Петр, громкою зевотою растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч, а Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не больше десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся.

– Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте, – сказал он и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности теней и света.

– Куда он? – сказал Иоанн, поднявшись на локте. Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил:

– Не знаю.

И, еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжелую дрему Петр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помраченном сознании.

– Симон, ты спишь?

И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа:

– Так ли и одного часа не могли вы бодрствовать со мною?

«Ах, господи, если бы ты знал, как мне хочется спать», – подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных.

– Вы все еще спите и поживаете? Конечно, пришел час – вот предается сын человеческий в руки грешников.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегучим огнем факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрусте ломающихся веток приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными, заспанными лицами и, еще не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали:

– Что это? Что это за люди с факелами?

Бледный Фома, со сбившимся в сторону прямым усом, зябко лясал зубами и говорил Петру:

– По-видимому, это пришли за нами.

Вот толпа воинов окружила их, и дымный тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Кариота и, остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашел его, на миг остановился взором на его высокой, тонкой фигуре и быстро шепнул служителям:

– Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. Но только осторожно, вы слышали?

Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в его спокойные, потемневшие глаза.

– Радуйся, равви! – сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия.

Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искарот их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутых железом у предплечья, – и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков.

– Иуда, – сказал Иисус и молнией своего взора осветил ту чудовищную грудку насторожившихся теней, что была душой Искариота, – но в бездонную глубину ее не мог проникнуть. – Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?

И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом величии, стоял Иуда из Кариота, внутри его все стонало, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов:

«Да! Целованием любви предаем мы тебя. Целованием любви предаем мы тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест – и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь».

Так стоял Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум,

поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооруженной силы, с неловкостью смутно понимаемой цели уже хватили его за руки солдаты и тащили куда-то, свою нерешительность принимая за сопротивление, свой страх – за насмешку над ними и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая – и даже самим себе; и только немногие решались ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон, Петр Симонов с трудом, точно потеряв все свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей – но никакого вреда не причинил. И заметивший это Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув, упало под ноги железо, столь, видимо, лишенное своей колющей и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой.

Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак, – и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому только что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей. Но, когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и нагое тело его странно мелькало под луною.

Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем. И, увидя впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его:

– Иоанн, это ты?

– А, это ты, Петр? – ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем предателя. – Почему же ты, Петр, не убежал вместе с другими?

Петр остановился и с отвращением произнес:

– Отойди от меня, сатана!

Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше, туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчетливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Петр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуро грел над огнем свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр:

– Нет, я не знаю его.

Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил:

– Да нет же, я не понимаю, что вы говорите!

Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал:

– Так, так, Петр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!

И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи его ни одного из учеников; и среди всей этой толпы были

только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий, – тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и нечистые уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света, Искарriot бормотал жалобно и хрипло:

– Как холодно! Боже мой, как холодно!

Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костер, из темной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло:

– Как холодно! Боже мой, как холодно!

Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой, сонно жадной злобы, и хлесткие, короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей, – это били Иисуса.

Так вот оно!

Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательства. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искарriot проворно бежал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивленно натываясь на костры, на стены. Потом прилипал к стене караульни и, вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, с заплеванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись. И видел человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали, как мягкий тюк, с одного конца на другой; и так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами, после напряженного смотрения действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара твердым о твердое, а все то же мягкое, безболезненное. И когда долго смотреть, то становилось похоже на какую-то бесконечную, странную игру – иногда до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек, или кукла, опустился плавным движением на колени к сидящему солдату; тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так еще и еще. Поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся – точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды.

Ночь тянулась, и костры еще тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрел к одному из костров, раскопал уголь, поправил его и, хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнем слегка дрожащие руки. И забормотал тоскливо:

– Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек, сыночек. Больно, очень больно!..

Потом опять пошел к окну, желтеющему тусклым огнем в прорези черной решетки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаще спутавшихся волос. Вот чья-то рука впиалась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом его вытирать заплеванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми блестящими зубами; вот чья-то широкая спина с толстой, голой шеей загрозила окну, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались?

Мгновенно вся голова Иуды, во всех частях своих, наполняется гулом, криком, ревом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это – самый лучший человек? – это так просто, так ясно. Что там теперь? Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорно те – выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, богом...

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

Но нет. Опять крик и шум. Бьют опять. Не поняли, не догадались и бьют еще сильнее, еще больнее бьют. А костры догорают, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

– Что такое день? – спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

– Что такое солнце? – спрашивает Иуда.

8

На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили:

– Смотрите: это Иуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрек он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменяются народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми:

– Иуда Предатель... Иуда Предатель!

Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощенный чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости – одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело свое чувствовал легким; когда его не пропускали вперед, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место; и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головою, бормоча:

– Так! Так! Ты слышишь, Иисус!

Но свободным он не был – как муха, привязанная на нитку: жужжа, летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет ее послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всю свою невообразимой тяжестью – точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда он хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил его утомленный взор и, как-то не отдавая отчета, несколько раз дружелюбно кивнул головою.

– Я здесь, сынок, здесь! – пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пилату, на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица все прибывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: «Осанна!» – и с каждым шагом количество их как будто возрастало.

«Так, так! – быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного. – Все кончено. – Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут...»

Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их; другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения, в громких и иступленных криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой, грязной улице, между двух стен, Иуда нагнал его.

– Фома! Да погоди же!

Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес:

– Отойди от меня, сатана.

Искарот нетерпеливо махнул рукою.

– Какой ты глупый, Фома, я думал, что ты умнее других. Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать.

Опустив руки, Фома удивленно спросил:

– Но разве не ты предал учителя? Я сам видел, как ты привел воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

– Другое, другое, – торопливо сказал Иуда. – Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали: отдайте Иисуса, он наш. Вам не откажут, не посмеют. Они сами поймут...

– Что ты! Что ты, – решительно отмахнулся руками Фома, – разве ты не видел, сколько здесь вооруженных солдат и слугителей храма. И потом суда еще не было, и мы не должны препятствовать суду. Разве он не поймет, что Иисус невинен, и не повелит немедленно освободить его?

– Ты тоже так думаешь? – задумчиво спросил Иуда. – Фома, Фома, но если это правда? Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

– Мы сегодня говорили всю ночь и решили: не может суд осудить невинного. Если же он осудит...

– Ну! – торопил Искарот.

– ...то это не суд. И им же придется худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим Судиею.

– Перед настоящим! Есть еще настоящий! – засмеялся Иуда.

– И все наши проклинали тебя, но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить...

Не дослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по улице, вслед за удаляющейся толпой. Но вскоре замедлил шаги и пошел неторопливо, подумав, что когда идет много народу, то всегда идут они медленно, и одиноко идущий непременно нагонит их.

Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, остриями своими вонзавшемся в лоб; у края возвышения стоял он, видимый весь с головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал, был так ясен в своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого, только безумец не понял бы. И молчал народ – так тихо было, что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле.

«Так. Все кончено. Сейчас они поймут», – подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на ослепительную радость падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянув губы вниз, к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие, короткие слова – так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса:

– Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его...

Иуда закрыл глаза. Ждет.

И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов:

– Смерть ему! Распни его! Распни его!

И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге желая испытать всю беспредельность

падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячью звериных и человеческих голосов:

– Варраву отпусти нам! Его распни! Распни!

Но ведь еще римлянин не сказал своего решающего слова: по его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает, он понял! Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев?

– Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачем?

Вот он моет руки – зачем-то моет свои белые, чистые, украшенные перстнями руки – и злобно кричит, поднимая их, удивленно молчащему народу:

– Неповинен я в крови праведника этого. Смотрите вы!

Еще скатывается с пальцев вода на мраморные плиты, когда что-то мягкое расплывается у ног Пилата и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку – присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз – видит большое извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, так странно непохожие друг на друга, как будто не одно существо, а множество их цепляется за его ноги и руки. И слышит ядовитый шепот, прерывистый, горящий:

– Ты мудрый... Ты благородный!.. Ты мудрый, мудрый!..

И такой поистине сатанинской радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь. И, лежа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он все еще тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюбленный:

– Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фому и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину, видит множество плачущих женщин – распущенные волосы, красные глаза, искривленные уста, – всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на поругание. Оживляется внезапно и, улучив мгновение, подбегает к Иисусу.

– Я с тобою, – шепчет он торопливо.

Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо:

– Я с тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который оборачивается, смеясь, и показывает на него другим. Ищет зачем-то Фому – но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внимательно разглядывая острые, белые, рассыпающиеся камешки.

...Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударило железо о железо, и раз за разом тупые, короткие, низкие удары – слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая частицы его.

Одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно.

Нога, другая нога – неужели все кончено? Нерешительно раскрывает глаза и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается в яме. Видит, как, напряженно содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны – и внезапно уходит под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывертываются в плечах, и раны под гвоздями краснеют, ползут – вот оборвутся они сейчас... Нет, остановилось. Все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким, глубоким дыханием.

На самом темени земли вздымается крест – и на нем распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искарота – он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своем предать все разрушению и смерти и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, еще живой и шумный, но уже призрачный под холодной рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою, видит Искарот ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно. Иисус еще жив. Вот смотрит он зовущими, тоскующими глазами...

Что может удержать от разрыва тоненькую пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем? Вдруг – они поймут? Вдруг все своею грозной массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своей кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нет, лучше Иуда ляжет на землю. Нет, лучше, лежа на земле и ляская зубами, как собака, будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом, как ленивого осла, – то безумно мчится оно с какой-то горы и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина. Вон плачет мать Иисуса. Пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

– Что такое слезы? – спрашивает Иуда и бешено толкает неподвижное время, бьет его кулаками, проклиная, как раба. Оно чужое и оттого так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде – но оно принадлежит всем этим плачущим, смеющимся, болтающим, как на базаре; оно принадлежит солнцу; оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно.

Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит: «Осанна!» так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: «Осанна, осанна!» – как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны... Молчи! Молчи!

Вдруг громкий, оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли?

Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже. Остановилось... Нет, еще вздох, еще на земле Иисус. И еще? Нет... Нет... Нет... Иисус умер.

Свершилось. Осанна! Осанна!

Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искарота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопиют миллионами своих глоток: «Осанна, осанна!» – и моря крови и слез прольют к подножию ее – они найдут только позорный крест мертвого Иисуса.

Спокойно и холодно Искарот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую еще только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, и идет он неторопливо; теперь вся земля принадлежит ему, и ступает он твердо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово:

– Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго еще будут плакать с тобою все матери земли. Дотолы, пока не придем мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть.

Что он – безумен или издевается, этот предатель? Но он серьезен, и лицо его строго, и в безумной торопливости не бегает его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую землю.

Маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами; смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами; смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот, смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить, – и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире, и все их бросил в пропасть.

И дальше идет он спокойными и властными шагами. И не идет время ни спереди, ни сзади; покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримою громадой.

Свершилось.

9

Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед синедрионом Иуда из Кариота – предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы: и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедаемый честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои у памяти людской – богатые и знатные саддукеи, гордые силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и надменные лица их остались неподвижны: как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал кверху свое птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали: как будто не человек вошел, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда из Кариота, чтобы смутиться: они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придется, то и до вечера он будет кланяться.

Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:

– Что надо тебе?

Иуда еще раз поклонился и громко сказал:

– Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назарея.

– Так что же? Ты получил свое. Ступай! – приказал Анна, но Иуда как будто не слышал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:

– Сколько ему дали?

– Тридцать серебряников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнула веселая улыбка; а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:

– Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота. Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят.

Каиафа сказал:

– Выгони этого пса. Что он лает?

– Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, – равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем; и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.

– Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? – крикнул Каиафа.

Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:

– А вы знаете... вы знаете... кто был он – тот, которого вчера вы осудили и распяли?

– Знаем. Ступай!

Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую пленку, что застилает их глаза, – и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа – они лишатся ее; у них была жизнь – они потеряют жизнь; у них был свет перед очами – вечная тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна!

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:

– Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного.

Ждет. И слышит равнодушный, старческий голос Анны:

– И это все, что ты хотел сказать?

– Кажется, вы не поняли меня, – говорит Иуда с достоинством, бледня. – Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного.

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно:

– Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.

– Что! – кричит Иуда, весь наливаясь темным бешенством. – А кто вы, умные! Иуда обманул вас – вы слышите! Не его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать серебряников! Так, так. Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, – зачем ты не дал одним серебряником, одним оболем больше! Ведь в этой цене пойдешь ты вовеки.

– Вон! – закричал побагровевший Каиафа. Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду.

– Теперь все?

– Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям; звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса, что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоюют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море и горы оставят свои места, определенные из века, и придут сюда, и упадут на головы ваши!

– Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! – насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо, и заискивающе взглянул на Каиафу.

– Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек? Я подошел близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и говорил: где же человек, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!

И Искарот громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:

– Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям.

Он бросил что-то, звякнувшее резко. И еще не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжил его: это Иуда горстью бросал серебряники и оболочки в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по

полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с места, кричали и бранились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которую долго шарил в мешке его дрожащая рука, плюнул и гневно вышел.

– Так, так! – бормотал он, быстро проходя по улочкам и пугая детей. – Ты, кажется, плакал, Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее – знаешь ли ты это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:

– Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошел Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал:

– Уходи отсюда, Предатель! Уходи, иначе я убью тебя!

Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:

– Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана.

Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:

– Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы видели сейчас – и вот уже трусливые предатели перед вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?

Было что-то властное в хриплом голосе Искариота, и покорно ответил Фома:

– Ты же сам знаешь, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли.

– Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты – камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

– Что же могли мы сделать, посуди сам, – развел руками Фома.

– Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! – склонил голову набок Иуда из Кариота и вдруг гневно обрушился: – Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих: «Что мне делать? Мой сын утопает!» – а не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!

Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:

– Я обнажил меч, но он сам сказал – не надо.

– Не надо? И ты послушался? – засмеялся Искариот. – Петр, Петр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!

– Кто не повинуется ему, то идет в геенну огненную.

– Отчего же ты не пошел? Отчего ты не пошел, Петр? Геенна огненная – что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел – зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь.

– Молчи! – крикнул Иоанн, поднимаясь. – Он сам хотел этой жертвы. И жертва его прекрасна!

– Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва – это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу и хохочут и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса! И плюют на нее – как я!

Иуда гневно плюнул на землю.

– Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! – настаивал Иоанн.

– Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так – целовать крест обещает вам Иуда!

– Иуда, не оскорбляй! – прорычал Петр, багровея. – Как могли бы мы убить всех врагов его? Их так много!

– И ты, Петр! – с гневом воскликнул Иоанн. – Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искушитель. Ты полон лжи! Учитель не велел убивать.

– Но разве он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мертв, недвижим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда он молчит? Что делать, спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота: умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат. Утопить их в море своей крови – умереть, умереть! Пусть бы сам Отец его закричал от ужаса, когда все вы вошли бы туда!

Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел ее и медленно спросил:

– Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?

– Я спал, – кротко опустив голову, ответил Петр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказать. – Спал и ел.

Фома решительно и твердо сказал:

– Это все неверно, Иуда. Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?

– А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мертвой правды. Засыпает сторож, и приходит вор, и уносит правду с собою – скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фома! Бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним, проклятые!

– Будь сам проклят, сатана! – крикнул Иоанн, и повторил его возглас Иаков и Матфей, и все другие ученики. Только Петр молчал.

– Я иду к нему! – сказал Иуда, простирая вверх властную руку. – Кто за Искариотом к Иисусу?

– Я! Я с тобою! – крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря:

– Безумный! Ты забыл, что он предал учителя в руки врагов!

Петр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал:

– Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти!

Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеяна ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть, и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселины камней, холодом дышала в его спину гора.

– Ты еще, проклятая! – говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головой, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал:

– Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь? Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю. Хорошо?

Опять качал каменеющей головою и опять широко раскрыл глаза, бормоча:

– Но, может быть, ты и сам будешь сердиться на Иуду из Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад! И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твое небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне? Тогда пойдешь со мною назад на землю, Иисус?

Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбралил его, то начал петь мягко и тихо – улетал куда-то ветер и прощался.

– Хорошо, хорошо! А они собаки! – ответил ему Иуда, делая петлю. И так как веревка могла обмануть его и оборваться, то повесил ее над обрывом – если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть. И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса:

– Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус.

И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала: шея Иуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кариота. Предатель.

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом; и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне – точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но, куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросалидохлых лошадей, кошек и другую падаль.

И в тот же вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней; и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все – добрые и злые – одинаково предадут проклятию позорную память его; и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей – Иуда из Кариота, Предатель.

24 февраля 1907 г. Капри

Красный смех

Отрывки из найденной рукописи

Часть I

Отрывок первый

... безумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце не было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слышал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и, когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше – как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно студенисто колыхались – точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чуждой и страшный.

И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике – на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, – остановила меня. Так же торопливо повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно

сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, – что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голый спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченном мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне; где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:

– Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не сможет: сведет руки и они тотчас распадутся.

– Ты что? Ты лучше сядь, – говорю я.

Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены – а у него расплылись они во весь глаз; какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

– Уходи! – кричу я, отступая. – Уходи!

И как будто он ждал только слова – он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать – куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.

Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло – и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.

Я подошел.

Отрывок второй

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия – остальные подбиты, – шесть человек прислуги и один офицер – я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, – и мы, живые, бродили – как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были – как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно – но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот – все поражало меня своей новизной и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате – и я их не вижу – находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын; уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы, – я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убит!» – но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног – и больше ничего. В это время было уже светло, и вдруг – капнул дождь. Дождь – как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал – не то плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало – так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стекают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень и запах взмоченной земли, и тишина – точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и, когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенное тишины; с той же

внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер; грохнуло орудие, за ним второе, снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого обрюзгшего желтого лица скатывалась вода, – вероятно, дождь продолжался довольно долго.

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел блее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

– Вы боитесь? – спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх – и больше ничего. – Вы боитесь? – повторил я ласково.

Губы его дергались, сиюсь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня – и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!

А они, отчетливо и спокойно, как лунатики...

Отрывок третий

...безумие и ужас.

Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне...

Отрывок четвертый

...обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него, – и вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных извивах, их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.

Одни, точно слепые, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся грудку окровавленных живых и мертвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом – восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составилась целый, очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пели – и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.

– Красный смех, – сказал я.

Но он не понял.

– Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навывлет и он упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подпрыгивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспомнил об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то же самое.

– И опять пулю в грудь? – спросил я.

– Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.

Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, – лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.

– А матери послал телеграмму? – спросил я.

Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненные. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.

– Что же это такое, а? Что же это? – пугливо и настойчиво спрашивал он, дергая мою руку.

– Что?

– Да вообще... все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество – разве ей втолкуешь, что такое отечество?

– Красный смех, – ответил я.

– Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты не знаешь, у нее слова – седые. А ты... – Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал: – А ты полысел. Ты заметил?

– Тут нет зеркал.

– Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из лазарета.

В этот вечер мы устроили себе праздник – печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом – как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания, но скоро умолкли, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то странное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и истощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только, за самоваром, увидели друг друга – увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей знакомые лица – и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть, – были новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный; над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, неподвижные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый, непонятный.

– Где мы? – спросил кто-то, и в голосе его были тревога и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.

– На войне, – ответил тот, что смеялся, и снова захохотал глухим, длительным смехом, точно он давился чем-то.

– Чего он хохочет? – возмутился кто-то. – Послушайте, перестаньте!

Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча наседала на землю, и мы с трудом различали желтые, призрачные лица друг друга. Кто-то спросил:

– А где же Ботик?

«Ботик» – так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах.

– Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?

– Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими сапогами.

Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал грубый негодующий голос:

– Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.

– Он только сейчас был здесь. Это ошибка.

– Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона.

– И мне! И мне!

– Лимон весь.

– Что же это, господа, – с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос. – А я только ради лимона и пришел.

Тот снова захохотал глухо и длительно, и никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз – и замолчал. Кто-то сказал:

– Завтра наступление.

И несколько голосов раздраженно крикнули:

– Оставьте! Какое там наступление!

– Вы же сами знаете...

– Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это!

Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.

– Как-то теперь дома? – неопределенно спросил он, и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все – до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колена – и сразу замолчали, уступая непонятному.

– Дома? – закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить. – Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дома? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны – понимаете, ванны с водой – с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какая-то парша, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают... Я с ума схожу от грязи, а вы говорите – дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг, – вы говорите – дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не пошел бы теперь на улицу – мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:

– Это черт знает что. Я пойду домой.

– Вы не понимаете, что такое дом!..

– Домой? Слушайте: он хочет домой!

Поднялся общий смех и жуткий крик – и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно, у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и видно было, что и те, кто играет, и те, кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшуюся над миром. А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную молчаливую тень. Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других – одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпой, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.

Отрывок пятый

...я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

– Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать...

– Пять суток... – пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно подталкивая меня в бока и ноги.

– Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется... Я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненные...

– Какие раненные? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

– Голубчик, не сердитесь, – бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову. – Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю... Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так...

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет – он заснет на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли, – так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд черных силуэтов – паровоз и вагоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет.

– Что это? – спросил я, отступая.

– Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем, – бормотал доктор.

Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.

– Черт вас знает! – закричал я громко. – Не могли вы взять другого...

– Тише, пожалуйста, тише! – Доктор схватил меня за руку.

Кто-то из темноты сказал:

– Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадет.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы влезть, – и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами – и опять заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора:

– На седьмой версте.

– А фонари забыли?

– Нет, он не пойдет.

– Сюда давай. Осади немного. Так.

Вагоны дергались на месте, что-то постукивало. И постепенно от всех этих звуков и оттого, что я лег удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и, когда я взял его руку, она была как у мертвого: вялая и тяжелая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая и точно нащупывая дорогу. Студент-санитар зажег в фонаре свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал сердито:

– Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоуменно поводя глазами. Хотел опять завалиться, но мы не дали.

– Хорошо бы сейчас водки хлебнуть, – сказал студент.

Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем. Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь, покраснел – где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце.

– Это далеко. Верст за двадцать.

– Мне холодно, – сказал доктор, ляскнув зубами.

Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой цепью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц восходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, отчетливо вырезая ломаную и волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студента: лицо его было окрашено в тот же красный призрачный цвет крови, превратившейся в воздух и свет.

– Много раненых? – спросил я.

Он махнул рукой.

– Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

– Настоящих?

– А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара.

– Перестаньте, – сказал я, отворачиваясь.

– Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо пораженное.

– Мне холодно, – сказал он и улыбнулся.

– Ну вас всех к черту! – закричал я, отходя в угол вагона. – Зачем вы меня позвали?

Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разраставшееся зарево, и его затылок с вьющимися волосами был молодой, и, когда я глядел на него, мне почему-то все представлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения.

– Вам сколько лет? – спросил я, но он не обернулся и не ответил.

Доктор покачивался.

– Мне холодно.

– Когда я подумаю, – сказал студент, не оборачиваясь, – когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет...

Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену, и послышались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то, небольшой комок, из которого торчала нога.

– Раненый?

– Нет, убитый. Голова оторвана. Только, как хотите, а я зажгу передний фонарь. А то еще задавишь.

Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону; нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел.

– Послушайте! – с тихим ужасом прошептал кто-то.

Как мы не слышали раньше! Отовсюду – места нельзя было точно определить – приносился ровный, поскребывающий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов, но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и оттого казалось, что стонет сама земля или небо, озаренное невсходящим солнцем.

– Пятая верста, – сказал машинист.

– Это оттуда, – показал доктор рукой вперед.

Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам:

– Что же это? Ведь этого же нельзя слышать!

– Двигаемся!

Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а смутно-красная от тихого, неподвижного света, который молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каждым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий неслышанный стон, не имевший видимого источника, – как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу – ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна – эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшие на месте лежания своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много для этой зловещей ночи, дышавшей холодом и стонавшей каждой частицей своего существа.

– Что же это! – кричал доктор и грозил кому-то кулаком. – Вы – слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны делались определеннее, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу, обманчивую в своем призрачном свете, когда почти рядом, у полотна, внизу кто-то громко застонал призывным, плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза – так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочередно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари, и в его взгляде была безумная радость оттого, что он

видит людей и огни, и безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых; один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Когда их подобрали, доктор, дрожа от злости, сказал мне:

– Ну что? – И отвернулся.

Через несколько шагов мы встретили легкораненого, который шел сам, поддерживая одну руку другой. Он двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видал нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошел вдоль вагонов.

– Ты бы сел! – крикнул доктор, но он не ответил.

Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него, и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страстно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и одиночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дождем, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было разmozжено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и был он почти голый, как из бани. Толкнув меня, он нащупал глазом доктора и быстро левою рукою схватил его за грудь.

– Я тебе в морду дам! – крикнул он и, тряся доктора, длительно и едко прибавил циничное ругательство. – Я тебе в морду дам! Сволочи!

Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, закричал:

– Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер! Ты мне мешаешь работать! Негодяй! Животное!

Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал:

– Сволочи! Я в морду дам!

Я уже терял силы и отошел в сторону покурить и отдохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в черные перчатки, и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным, совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошел ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда, но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я никогда не мог вспомнить, где. Шагал он твердо, точно маршировал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и выше.

– А они спят, – сказал он как будто бы совершенно спокойно.

Я вспыхнул, точно упрек касался меня.

– Вы забываете, что они десять дней дрались, как львы.

– А они спят, – повторил он, глядя сквозь меня и выше. Потом наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно продолжал:

– Я вам скажу. Я вам скажу.

– Что?

Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил пальцем и повторял точно законченную мысль:

– Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им.

И, все так же строго глядя на меня и еще раз погрозив пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив папиросу в левую руку я попробовал пальцем рану и пошел к вагонам.

– Студент-то застрелился. Кажется, еще жив, – сказал я доктору.

Тот схватил себя за голову и простонал:

– А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас тоже застрелится. И даю вам честное слово, – он закричал сердито и угрожающе. – Я тоже! Да! И прошу вас – извольте идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно.

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я подсел к тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упершись лбом в стенку вагона, и плечо его вздрагивало от рыданий.

– Перестаньте, – сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча.

Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него было молодой, как у того, и тоже страшный, и стоял он, нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея у него была в крови – должно быть, хватался руками.

– Ну? – сказал я нетерпеливо.

Он откачнулся от вагона и, опустив голову, по-стариковски сгорбившись, пошел куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не знаю почему, и я пошел за ним, и мы долго шли, все куда-то в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало скучно и захотелось плакать самому.

– Стойте! – крикнул я, остановившись.

Но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огоньков – это ушел поезд. Я был один среди мертвых и умирающих. Сколько их еще осталось? Возле меня все было неподвижно и мертво, а дальше поле копошилось, как живое, – или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле – тонкий, безнадежный, похожий на детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался назад и вперед, назад и вперед...

Отрывок шестой

...это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвертый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность: это были наши. И они, видимо, узнали нас: они подвигались к нам совершенно спокойно; в этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не могли понять, что это значит, и еще улыбались – под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и – я твердо помню это – мы все увидели, что это неприятель, и что форма эта его, а не наша, и немедленно ответили огнем. Минут, вероятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ампутации.

Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой, что я все-таки жив – жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши – и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии, стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга, в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и – это удивительнее всего – чувствовалось, что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки. Вернее, они признают ее, но думают, что она была позднее, а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уверенно сказать, как началось это странное недоразумение, так как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы многие вполне искренние корреспонденции; я их читал уже дома. К нам, раненым в этом бою, отношение было вначале несколько странное – нас как будто меньше жалели, чем других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые случаи, подобные описанному, да то, что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, дает мне право думать, что тут была ошибка.

Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухой, костлявый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и карболкой, вечно чему-то улыбающийся сквозь изжелта-седые, редкие усы, сказал мне, прищурив глаза:

- Счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладно.
- Что такое?
- Да так. Неладно. В наше время было попроще.

Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад, и часто с удовольствием вспоминал ее. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

– Да, неладно, – вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма. – Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:

– Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал:

– Красный смех.

И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил:

– Да. Красный смех.

Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:

– Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые! – Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.

– Так что же? – так же шепотом и испуганно спросил я.

– Ничего. Как здоровые!

– Красный смех, – сказал я.

– Их разлили водой.

Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился:

– Вы с ума сошли, доктор!

– Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.

Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.

– А это вы понимаете? – таинственно спросил он.

Потом так же торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:

– А это вы можете объяснить?

– Раненые, – сказал я. – Раненые.

– Раненые, – как эхо, повторил он. – Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?..

С гибкостью, неожиданной для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:

– А это... вы также... понимаете?

– Перестаньте, – испуганно зашептал я. – А то я закричу.

Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, действительно заметил:

– И никто этого не понимает.

– Вчера опять стреляли.

– И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, – утвердительно мотнул он головой.

– Я хочу домой! – с тоской сказал я. – Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.

Он думал, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачем я поеду! Мне только тридцать лет... Будьте вы прокляты!

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять!

– Слушайте, – сказал доктор, глядя в сторону. – Вчера я видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали – в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад, и вперед, и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком...

– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши.

И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова:

– ...Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся, как герои – всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле – я выйду в поле, я кликну клич – я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и

сумасшедший старик кричал, простирая руки:

– Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов – мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, – мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда, великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, – какой веселый смех огласит вселенную!

– Красный смех! – закричал я, перебивая. – Спасите! Опять я слышу красный смех!

– Друзья! – продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теням. – Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..

Отрывок седьмой

...это было безбожно, это было незаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они увидели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме...

Отрывок восьмой

...вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза, – даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила – она очень славная и добрая женщина.

– Неужели все целы? – недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.

– Одну разбили, – сказала жена рассеянно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.

Я засмеялся.

– Чего ты? – спросил брат.

– Так. Ну, отвезите-ка меня еще разок в кабинетик. Потрудитесь для героя! Побездельничали без меня, теперь баста, я вас подтяну, – и я в шутку, конечно, запел: «Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...»

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не подняла лица: она перетирала чашечки чистым вышитым полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял графин с водой. И он был немного запылен.

– Налейте-ка мне водицы отсюда, – весело приказал я.

– Ты же сейчас пил чай.

– Ничего, ничего, налейте. А ты, – сказал я жене, – возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.

И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.

– Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так поздно не ложится спать?

– Он рад, что ты вернулся. Милый, пойді к отцу.

Но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах.

– Отчего он плачет? – с недоумением спросил я и оглянулся кругом. – Отчего вы все так бледны, и молчите, и ходите за мною, как тени?

Брат громко засмеялся и сказал:

– Мы не молчим.

И сестра повторила:

– Мы все время разговариваем.

– Я похлопочу об ужине, – сказала мать и торопливо вышла.

– Да, вы молчите, – с неожиданной уверенностью повторил я. – С самого утра я не слышу от вас слова, я только один болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменился? Да, так переменился. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало.

– Сейчас я принесу, – ответила жена и долго не возвращалась, и зеркальце принесла горничная. Я

посмотрел в него, и – я уже видел себя в вагоне, на вокзале – это было то же лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. И они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в обморок, – так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

– Что же тут необыкновенного?

Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал уверенно и спокойно:

– Да. Ты мало изменился. Полысел немного.

– Поблагодари и за то, что голова осталась, – равнодушно ответил я. – Но куда они все убегают: то одна, то другая. Повози-ка меня по комнатам. Какое удобное кресло, совершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожалею денег: куплю себе такие ноги, лучше... Велосипед!

Он висел на стене, совсем еще новый, только с опавшими без воздуха шинами. На шине заднего колеса присох кусочек грязи – от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешительность.

– В нашем полку только четыре офицера осталось в живых, – угрюмо сказал я. – Я очень счастлив... А его возьми себе, завтра возьми.

– Хорошо, я возьму, – покорно согласился брат. – Да, ты счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги – это, право...

– Конечно. Я не почтальон.

Брат внезапно остановился и спросил:

– А отчего у тебя трясется голова?

– Пустяки. Это пройдет, доктор сказал!

– И руки тоже?

– Да, да. И руки. Все пройдет. Вези, пожалуйста, мне надоело стоять.

Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мне, когда мне стали готовить постель – настоящую постель, на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло – а я смотрел на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слезы смеха.

– А теперь раздень-ка меня и положи, – сказал я жене. – Как хорошо!

– Сейчас, милый.

– Поскорее!

– Сейчас, милый!

– Да что же ты?

– Сейчас, милый!

Она стояла за моею спиной, у туалета, и я тщетно поворачивал голову, чтобы увидеть ее. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне:

– Что же это! – И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача.

– Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой, красивый был. Что же это! Как жестоки люди. Зачем это? Кому это нужно было? Ты мой кроткий, мой жалкий, мой милый, милый...

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал:

– Я тут с вами с ума сойду. С ума сойду!

А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела только и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завернутым одеялом, стояла кровать, та самая, которую я купил четыре года назад – перед свадьбой...

Отрывок девятый

...Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

– Сам посуди: ведь нельзя безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике, – давать сознание. Главное – сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий – как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познав истину, отказаться от нее? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым; тому же учили меня все книги, какие я прочел, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные возбуждения, – но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны – что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами.

– Красный смех, – весело сказал я, плескаясь.

– И я скажу тебе правду. – Брат доверчиво положил холодную руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернул ее. – Я скажу тебе правду: я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на войне, ты видел – объясни мне.

– Убирайся к черту! – шутливо ответил я, плескаясь.

– Вот и ты тоже, – печально сказал брат. – Никто не в силах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаясь, а потом покрепче, и удушю – что это будет!

– Ты говоришь вздор. Никто этого не делает.

Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал:

– Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли: взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сделаю.

– Надеюсь, – улыбнулся я, плескаясь.

– Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарежу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож острый?

– Основание достаточное. Какой ты, брат, чудака! Пусти-ка еще горяченькой водицы.

Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал:

– Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберется много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... резня. Когда несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат,

бросятся один на другого и начнется убийство. И ты знаешь, – таинственно наклонился он к моему уху, – газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то странных убийствах. Это пустяки, что много людей и много умов, – у человечества один разум, и он начинает мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный омертвелый лед. Я должен сойти с ума, не смейся, брат: я должен сойти с ума... Уже четверть часа – тебе пора выходить из ванны.

– Немножечко еще. Минуточку.

Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

– Го-го-го! – захохотал я, плескаясь.

– Что тобой? – испугался брат и побледнел.

– Так. Весело, что я дома.

Он улыбнулся мне, как ребенок, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, как старик, у которого большие, тяжелые и старые мысли.

– Куда уйти? – сказал он, пожав плечами. – Каждый день, приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я – как щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вишу в воздухе над черной пропастью безумия. И я упаду в нее, я должен в нее упасть. Ты еще не все знаешь, брат. Ты не читаешь газет, много от тебя скрывают – ты еще не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой – это было участием всех тех, кто в безумии своем становится близок безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой – как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там.

– Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала груда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыбка, но я не мог удержать ее, любясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искать, как много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках.

– А теперь надо работать, – серьезно, с уважением к труду, сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок, – и, как лягушка, привязанная на нитке, зашлепала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудержимо скользило в сторону и выводило

безобразные линии, оборванные, кривые, лишенные смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевелился – я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины; а рука прыгала по ярко освещенной бумаге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном живом безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были еще там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отделились от меня, они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы; и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевелинуться, я следил за их дикой пляской по чистому, ярко-белому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все двери, чтобы не помешать звуком, – один, лишенный возможности двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел, как дрожат руки.

– Это ничего, – громко сказал я, и в тишине и одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как голос сумасшедшего. – Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой «Возвращенный рай». Я могу мыслить – это главное, это все.

И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Мильтоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и, когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. Я хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочиняю эту странную, бессмысленную фразу о каком-то Мильтоне, – и не мог.

– «Возвращенный рай», «Возвращенный рай», – твердил я и не понимал, что это значит.

И тут я сообразил, что вообще много я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица, что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения. Мне ясно представился теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обрубленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами – длинными часами потери сознания или бесчувствия, о которых я ничего не могу вспомнить.

Я хотел позвать жену, позабыл, как ее зовут, – это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал:

– Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они боялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо было – настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству. «Милые, как они заботятся обо мне!» – подумал я, умиленный.

...И вдохновение, святое вдохновение осенило меня. Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное – цветы и песни. Цветы и песни...

Часть II

Отрывок десятый

...к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека, весь трясущийся, с разбитою душою, в своем безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим, и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в постель, благодаря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию, окна весь день были занавешены и горела лампа, создавая иллюзию ночи, и он курил папиросу за папиросой и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица – лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал до восковой прозрачности тупа или подвижника, и совершенно поседел; и начал он свою безумную работу еще сравнительно молодым, а кончил ее – стариком. Иногда он торопился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого; в такие минуты его нельзя было трогать, так как, при малейшем прикосновении, с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень редко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня зовут и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память и не может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бессмертный труд о цветах и песнях.

– Конечно, я не рассчитываю на признание современников, – гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на грудь пустых листков, – но будущее, но будущее поймет мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспомнил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь, кроме нее. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выражения страшной напряженности и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он один неумоимо плел бесконечную нить безумия, он казался страшен, и только один я да еще мать решались подходить к нему. Однажды я попробовал дать ему, вместо сухого пера, карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные, кривые, лишенные смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работе, сквозившая еще в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще, все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко вонзились в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмысленностью. К тому

непонятному, что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила еще одну петлю и крепко затянула ее. Вся наша семья уехала в деревню, к родственникам, и я один во всем доме – в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали, иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи, а в остальное время я один, и похож на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна, – мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь, когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит, как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного оцепелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит меня. Потеря рассудка мне кажется почетной, как гибель часового на своем посту. Но ожидание, но это медленное и неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль – еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя, – мне жаль ее, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть:

– Сейчас прекратите войну, или...

Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглашают мир, а разве это хоть что-нибудь дает? Или на их глазах убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно – и разве это хоть что-нибудь дает?

И когда я так чувствую свое бессилие, мною овладевает бешенство – бешенство войны, которую я ненавижу. Мне хочется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с женами, как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и, когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, я встал бы перед ними, черный...

Да, я должен сойти с ума, но только бы скорее. Только бы скорее...

Отрывок одиннадцатый

...пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рявкнула – рявкнула, как один огромный злобный пес, у которого цепь коротка и непрочна. Рявкнула и замолчала, тяжело дыша, – а они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь бледными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сзади под колено их должны ударить длинной палкой. Но один шел несколько в стороне, спокойный, серьезный, без улыбки, и, когда я встретился с его черными глазами, я прочел в них откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня презирает и ждет от меня всего: если я сейчас стану убивать его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться, – он ждет от меня всего.

Я побежал вместе с толпой, чтобы еще раз встретиться с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в дом. Он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей, и еще раз взглянул на меня. И тут я увидел в его черных, больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете.

– Кто этот, с глазами? – спросил я у конвойного.

– Офицер. Сумасшедший. Их много таких.

– Как его зовут?

– Молчит, не называется. И свои его не знают. Так, приبلудный какой-то. Его уж раз вынули из петли, да что!.. – Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью.

И вот теперь, вечером, я думаю о нем. Он один среди врагов, которых он считает способными на все, и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус: он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих, испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния должна быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет назвать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был почему-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтоб защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, легкой.

А может быть, он действительно сумасшедший? Солдат сказал: их много таких...

Отрывок двенадцатый

...начинается... Когда вчера ночью я вошел в кабинет брата, он сидел в своем кресле у стола, заваленного книгами. Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно вначале – пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть, – но потом мне даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если я встану, он тотчас сядет на свое место. И ушел я из комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно было во всех комнатах зажигать огонь – да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете, – так все-таки остается сомнение.

Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале – теперь я каждое утро хожу туда – и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, желтое как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело на меня, все целиком смотрело, и было неподвижно – и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, я, пожалуй, не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два человека привезли? Зараза растет. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты – в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови, и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам найдет виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно, по этому поводу:

– Их нужно вешать без суда, – сказал один, испытующе оглядев всех и меня. – Изменников нужно вешать, да.

– Без жалости, – подтвердил другой. – Довольно их жалели.

Я выскочил из вагона. Ведь все плачут от войны, и они сами плачут, – что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилает взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград?

Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов; и сны мои ужасны и безумны...

Отрывок тринадцатый

...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать, – красная кровь просится наружу и течет так охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенными лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалывшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, под конвоем дисциплинированных солдат, они походили на рабов древнего мира. Их вели на войну, и они шли, повинувшись штыкам, такие же невинные и тупые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шел юноша, высокий, безбородый, с длинной гусиной шеей, на которой неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился вперед, как хворостина, и смотрел вниз перед собою с такою пристальностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шел приземистый, бородатый, уж пожилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась в них, не пускала – и он шел, откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась вперед, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли так – чувствовались усталость и равнодушие в том, как они несли ружья, как они шагали враздробь, по-мужичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное длительное и молчаливое сопротивление крестьян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

– Куда вы их ведете? – спросил я крайнего солдата. Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей.

– Отойди! – сказал солдат. – Отойди, а не то...

Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал – легкой трусцой он отбежал к решетке бульвара и присел на корточки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я видел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И еще собирался народ. Послышался смех, крики...

Отрывок четырнадцатый

...в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы людей, заключенных в тесное пространство. Каждый из них молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-нибудь свое, но оттого, что их было много, в молчании своем они были слышнее громких голосов актеров. Они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их глубокое, неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были страшны, так как каждый из них мог стать трупом, и у всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесанных затылков, твердо опирающихся на белые, крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разразиться каждую секунду.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, как они страшны и как я далек от выхода. Они спокойны, а если крикнуть – «пожар!»... И с ужасом я ощутил жуткое, страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть – привстать, обернуться назад и крикнуть:

– Пожар! Спасайтесь, пожар!

Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоюют, как животные, они забудут, что у них есть жены, сестры и матери, они начнут метаться, точно пораженные внезапной слепотой, и в безумии своем будут душить друг друга этими белыми пальцами, от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и дико-весело заиграет дрожащая обрывающаяся музыка – а они не будут слышать ничего – они будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замысловатым прическам. Они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все еще доверяя их благородству, – а они будут злобно бить их в красивое, поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и их спокойствие, их благородство – спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности.

И когда наполовину они сделаются трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой, – я выйду на сцену и скажу им со смехом:

– Это все потому, что вы убили моего брата.

Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:

– Тише! Вы мешаете слушать.

Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.

– Что такое? – спросил он недоверчиво. – Зачем так смотрите?

– Тише, умоляю вас, – прошептал я одними губами. – Вы слышите, как пахнет гарью. В театре пожар.

Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул. Он тихонько поднялся, даже не поблагодарив меня, и пошел к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасения и жизни.

Мне стало противно, и я тоже ушел из театра, да и не хотелось мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война, – там все было спокойно, и ночные желтые от огней облака ползли медленно и спокойно. «Быть может, все это сон и никакой войны нет?» – подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича:

– Громовое сражение. Огромные потери. Купите телеграмму – ночную телеграмму!

У фонаря я прочел ее. Четыре тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходить в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые, плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хожу, и он заперт на ключ – со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем: тут спокойнее, и воздух как будто хранит еще следы разговоров, и смеха, и веселого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера; и когда ложусь в постель...

Отрывок пятнадцатый

...этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрывку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя понимает мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю: я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела страданиям обнаженного мозга.

Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом – и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой, и ночь настала, – и в огненных грезах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие еще невинные дети превратились в полчища детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнем, и в дыму копошились чудовищные уродцы-дети с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты походили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко; за прозрачную кожей их голых тел угрюмо бежала красная кровь – и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне.

– Я хочу к тебе, – сказал он.

– Ты убьешь меня.

– Я хочу к тебе, – сказал он и побледнел внезапно и странно начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрывался и пищал, и так быстро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями.

«Он может пролезть под дверь», – с ужасом подумал я, и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в темную щель под дверь парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он, маленький, ищет меня по темным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате и вошел; и долго я ничего не слышал, ни движения, ни шороха, как будто возле моей постели не было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одеяла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех сторон; и вот ногам моим стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, оковывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбиравшихся к горлу.

– Я не могу! – простонал я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснул...

– Успокойся! – сказал мне брат, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула: так был он тяжел, мертвый. – Успокойся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душат, а ты крепко спишь в темных комнатах, где нет никого, а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, и

вы осмеяли меня, как безумца, но теперь я скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.

— Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее?

— Да, вижу. Она смеется.

— Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как кровавая каша, и запутался.

— Она кричит.

— Ей больно. У нее нет ни цветов, ни песен. Теперь давай я лягу на тебя.

— Мне тяжело, мне страшно.

— Мы, мертвые, ложимся на живых. Тепло тебе?

— Тепло.

— Хорошо тебе?

— Я умираю.

— Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу...

Отрывок шестнадцатый

...уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, и вновь наступила пятница и прошла – а оно все продолжается. Обе армии, сотни тысяч людей стоят друг против друга, не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды: и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их черные тучи и грозу – а они стоят друг против друга, не отступая, и убивают. Если человек не поспит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От этого им не больно, от этого они не отступают и будут драться, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых частей не хватило снарядов и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вернуться; они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передают шепотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красном смехе! Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие люди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, бьются насмерть против призрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как проявились, и наступает тишина, а на земле являются изуродованные трупы – кто их убил? Ты знаешь, брат: кто их убил?

Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, вдруг, темною ночью, раздается одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших – ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

– Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших! – говорят они, бледнея, и им хочется верить, что теперь, как прежде, и что это мировое насилие над разумом и не коснется их слабого умишка.

– Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба – закон жизни, – говорят они уверенно и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а сами кричат торопливо: – Воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не слышать, как колыхнется их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и много видел этих притворно улыбающихся лиц, уверявших, что война далеко и не касается их. Но еще больше я встретил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез, и иступленных криков отчаяния, когда сам великий разум в напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее свое проклятие:

– Когда же кончится эта безумная бойня!

У одних знакомых, где я не был давно, быть может, несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его; но его

не узнала и мать, которая его родила. Если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он посидел и совсем белый; черты лица его мало изменились, но он молчит и слушает что-то – и от этого на лице его лежит грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так: они стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую атаку. Люди бежали и кричали «ура» так громко, что почти заглушали выстрелы, – и вдруг прекратились выстрелы, – и вдруг прекратилось «ура», – и вдруг наступила могильная тишина: это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет; но стоит наступить минутной тишине – он хватается за голову, бежит на стену, на мебель и бьется в припадке, похожем на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом; но остаются ночи, долгие безмолвные ночи, – и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного сумасшедший. Он увещал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них даже весело. Его одевают очень чисто – не в военное платье, – занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных усталых движениях, он даже красив.

Когда мне рассказали все, я подошел и поцеловал его руку, бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара, – и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был ее жених и она любила меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих темных и пустых комнатах, в которых я хуже чем один, – подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила так, что мы остались вдвоем.

– Какой вы бледный, и под глазами круги, – сказала она ласково. – Вы больны? Вам жалко своего брата?

– Мне жалко всех. И я нездоров немного.

– Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да?

– За то, что он сумасшедший, да.

Она задумалась и стала похожа на брата – только очень молоденькая.

– А мне, – она остановилась и покраснела, но не опустила глаз, – а мне позвольте поцеловать вашу руку?

Я стал перед ней на колени и сказал:

– Благословите меня.

Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала:

– Я не верю.

– И я также.

На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

– Ты знаешь, – сказала она, – я еду туда.

– Поезжай. Но ты не выдержишь.

– Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня?

– Да. А ты?

– Я буду помнить. Прощай!

– Прощай навсегда!

И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый раз вчера я спокойно, без страха вошел в свой дом, и открыл кабинет брата, и долго сидел за его столом. И когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услышал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой:

«Работай, брат, работай! Твое перо – оно обмакнуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми – своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай!»

...А сегодня утром я прочел, это сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозг. Оно идет, оно близко – оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка: я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых...

Отрывок семнадцатый

...в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны...

Отрывок восемнадцатый

Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых, я встретил знакомую фамилию: убит жених моей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе с покойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк убитого: мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишет к живому: мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти – он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мертв и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала верить в его смерть – и, когда прошел без письма один, другой и третий день и наступило бесконечное молчание смерти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива – не знаю, не слышал.

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который называется почтой, и письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро – а оно плыло; он был убит – а оно плыло; он был брошен в яму и завален трупами и землей – а оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призрак в сером штемпелеванном конверте, и теперь я держу его в руках...

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на клочках и не окончено: что-то помешало.

"...Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное наслаждение убивать людей – умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать жизнь – это так же хорошо, как играть в лаун-теннис и звездами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным сердцем. Кровавый пир – в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага – вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы: они знали, что делали...»

«Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит. Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они провожают нас всюду – и всегда мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под движущимся деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клюнуть – он думал, должно быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?

...Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, как на дрохв, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками, чтобы не было крика. Понимаешь: малейший крик – и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его убивают».

«Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придержал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и рубится мясо. Потом мы раздели их догола и

поделили их ризы между собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на...чем на офицера победоносной армии».

«Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать такие вещи. Но... ты понимаешь? Женщины. Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была невеста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты, все плакал, плакал... Как не стыдно офицеру плакать!»

«Воронье кричит. Ты слышишь, друг: воронье кричит. Чего надо ему?..»

Дальше карандашные строчки стерлись, и подписи нельзя было разобрать.

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины: окраска щек, ясность и утренняя свежесть глаз, бородка такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украсить и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи – брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти.

...Воронье кричит...

И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках. Брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда.

...Воронье кричит...

Нет, это правда. Несчастливая земля, ведь это правда. Воронье кричит. Это не выдумка праздного писака, ищущего дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воронье кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный и никому не желал зал. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабоумные звери! Вы звери! За что убили вы моего брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но под перчатками я вижу когти, под шляпою – приплюснутый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаенное безумие, бряцающее ржавыми цепями. И всю силу моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклиная вас, несчастные слабоумные звери!

Отрывок последний

... от вас мы ждем обновления жизни!

Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: «Долой войну!»

– Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливают глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами терялся в этом живом и грозном шуме.

– Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разружьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить... Люди умирают...

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя поднялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, завывало; в воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как живая ревущая волна, подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом понесла назад и куда-то в сторону и, наконец, притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на головы. Что-то сухо и часто затрещало и защелкало по бревнам; мгновенное затишье – и снова рев, огромный, широкозевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза полилась кровь. И тяжелое полено, крутясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и полез куда-то между топочущих ног и выбрался на свободное пространство. Потом я перелезал какие-то заборы, обломав все ногти, взбирался на штабель дров; один рассыпался подо мною, и я упал вместе с водопадом стучающихся поленьев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилу выбрался – а сзади меня, настигая, все грохотало, ревело, выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и в той стороне рев и выстрелы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожем на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, но переулок оказался без выхода; его перегораживал забор, и за ним снова чернели штабеля дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырым деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад; я и так знал, что делается там, по красноватому смутному налету, легшему на черные бревна и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица перестала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или мне это показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди черных, точно вымерших домов и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление, но этого нельзя было сделать: за мною по пятам неслись еще далекий, но все настигающий грохот и вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо, красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма, и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при моем приближении: это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще увидел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я

встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в темноте мы чуть не столкнулись и остановилось в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только темный насторожившийся силуэт.

– Ты откуда? – спросил он.

– Оттуда.

– А куда ты бежишь?

– Домой.

– А! Домой?

Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащупывали мое горло, но путались в одежде. Я укусил его за руку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мной по пустынным улицам, громко стуча сапогами. Потом отстал – должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей, и дома стояли без одного огня, как мертвые, и я пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мертвой улице, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и насилу я нашел его, хотя он был тут же, в наружном кармане. И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице во всех мертвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер все двери и, после некоторого размышления, хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня.

«Буду так ждать смерти. Ведь все равно», – решил я.

В умывальнике была еще вода, очень теплая, и я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажег спичку – и при ее неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

«Теперь все равно, – подумал я. – Никому это не нужно».

Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатков пищи. Я ясно сознавал неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходящую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно, оттого, что езда прекратилась, мне показалось совершенно тихо. И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, трески чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку:

– Нептун!

Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдаленный крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл форточку.

«Идут сюда!» – подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял

шкапы, но все это не годилось. Я обошел все комнаты, кроме кабинета, куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своем кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это было бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти касались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило мой затылок.

– Кто тут? – шепотом спросил я, но никто не ответил.

А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в ознобе. Я пощупал голову: она была горячая, как огонь.

«Пойду лучше туда, – подумал я. – Он все-таки свой».

Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. И они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его: черный, чугунный профиль, очерченный узкой красной полоской.

– Брат! – сказал я.

Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица – и вдруг сразу стало так необыкновенно тихо, как бывает только там, где много мертвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приобрел неуволимый оттенок мертвенности и тишины, стал неподвижный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идет такая тишина, и сказал ему об этом.

– Нет, это не от меня, – ответил он. – Посмотри в окно.

Я отдернул драпри и отшатнулся.

– Так вот что! – сказал я.

– Позови мою жену: она этого еще не видала, – приказал брат.

Она сидела в столовой и что-то шила и, увидев мое лицо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за мной. Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнату светлее: она осталась так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырехугольниками.

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и треугольники подбородков. И было тихо – очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых.

– Их становится больше, – сказал брат.

Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их только по голосу.

– Это кажется, – сказала сестра.

– Нет, правда. Ты посмотри.

Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел,

лежащих рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом.

– Смотрите, им не хватает места, – сказал брат.

Мать ответила:

– Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты.

– Они и в детской, – сказала няня. – Я видела.

– Нужно уйти, – сказала сестра.

– Да ведь нет прохода, – отозвался брат. – Смотрите.

Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевелинулись, и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху.

– Они нас задушат! – сказал я. – Спасемтесь в окно.

– Туда нельзя! – крикнул брат. – Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.

8 ноября 1904 г.

Рассказ о семи повешенных

Посвящается Л.Н. Толстому

1. В час дня, ваше превосходительство

Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасное волнение, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

– Постойте, – удивился министр, – откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

– Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности – как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасли, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и прозрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чуждой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, – громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни.

– Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, – он все еще не верил в свое

спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит – и не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.

– В час дня, ваше превосходительство! – звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то весело – насмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

– В час дня, ваше превосходительство.

В этот завтрашний «час дня», который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

– Ну? Чего тебе надо? – сквозь зубы сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

– В час дня, ваше превосходительство! – и черный столб ухмылялся и кланялся.

Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони, – положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, надевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь – открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

– Ого! – вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали, – и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело такое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подперев рукою взлохмаченную бороду, и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу,

и не уходит, и не может уйти!

– Дураки! – сказал он презрительно и веско.

– Дураки! – повторил он громче и слегка повернул голову к двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

«Ну конечно, – думал он глубоко, внезапно окрепшею и плавною мыслью, – ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну а потом, конечно, эта смерть – но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: „В час дня, ваше превосходительство“.»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И снова, чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старого, больного, много испытавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения, – а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час для самоубийства – а перед самым концом вдруг передумал. И всегда в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство», – сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь и его убьют, но завтра этого не будет – завтра этого не будет, – и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своей идиотской любезностью: «В час дня, ваше превосходительство».

– Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

– Ничего, – ответила тишина. – Ничего.

– Нет, ты говоришь что-то.

– Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он – огни исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окружающих его человеческую жизнь, – а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах.

И страшною казалась короткая, толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие

пальцы, чувствовать, как они коротки, как они полны смертельно влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу – позвонить кого-нибудь. Нервы напряглись. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под потолком ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал – и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки – их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше эти бесчисленные уродливые, молчаливые тени, безгласные души безгласных вещей.

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

2. К смертной казни через повешение

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую – нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкой которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин – всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали – коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему, происходившему на суде, обнаружили они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною, огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, – и снова продолжали думать с того же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помещался один из назвавших себя – Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык; и неотступно, щурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала как предтечу ясный теплый солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше – в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости – но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева: и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на кончиках пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее – и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной

горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она, почти не шевелясь, и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, самым чистым и правдивым – ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреодолимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутством, то на нем его не было видно совсем – так чуждо было платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потные и холодные были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубашка. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия – отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который начал уже разлагаться. По паспорту же ему было всего 23 года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

– Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать – без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

– Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею

Головину все старалась передать свою улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик, – думала она про Головина. – А Вася? Что же это, боже мой, боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь – еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем – была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно, – это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

– Ничего, Вася. Кончится все скоро, – сказал Вернер.

– Да я, брат, ничего, – громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

– Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, – наивно обругался Головин.

– Так и нужно было ожидать, – ответил Вернер спокойно.

– Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, – сказала Ковальчук, утешая. – До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

3. Меня не надо вешать

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости; и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими неуверенными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный дробный, полный боли стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог и так и бросил.

Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходила в сугроб с раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошадедка скакала всеми четырьмя ногами, как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как не разбился насмерть в одну из таких диких поездок – оставалось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о

поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головой и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

– Она меня самого убьет, – сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

– Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками!

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника послали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспамьятстве свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, выбивая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другою тухнущие спички, совершал покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как и всегда: маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнувшимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами – как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

– Она сказала, что меня надо вешать.

– Какая-токая она? – густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, ответил:

– Ты!

– Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбнувшемуся судье, в котором чувствовал

друга и человека, к приговору совершенно не причастного, и повторил:

– Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать.

– Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

– Меня не надо вешать.

Он так был нелеп со своим маленьким, сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему вполголоса, уводя из зала:

– Ну и дурак же ты, парень.

– Меня не надо вешать, – упрямо повторил Янсон.

– Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.

– Ну-ну, помалкивай! – сердито окликнул другой конвойный. Но не утерпел сам и добавил: – Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

– Может, помилуют? – сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

– Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть – с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно:

– Что, брат? Вот и повесили!

– А когда меня будут вешать? – недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

– Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

– Ну, а когда? – настойчиво спрашивал Янсон.

Ему несколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

– Когда, когда! – рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый. – Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

– А я не хочу! – вдруг весело сморщился Янсон. – Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся: скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом

нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признавшему как бы за законы природы, – показалась и она и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

– Тьфу, чтоб тебя! – отплюнулся он. – Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

– А я не хочу – га-га-га! – смеялся Янсон.

– Сатана! – сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного – и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу, – а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только щурился лукаво.

– Ну то-то! – сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел, оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она была такою убедительною, мудрою, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и каждое утро надзиратель сердито отвечал:

– Успеешь еще, сатана. Посиди, – и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов, и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнел и стал немного важничать.

«Теперь она меня и так бы полюбила, – подумал он как-то про хозяйку. – Теперь я толстый, не хуже хозяина».

И только выпить водки очень хотелось – выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы: и на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил.

– Теперь скоро.

Глядел на него спокойно и важно говорил:

– Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.

Янсон побледнел и, точно совсем засыпая, так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил:

– Ты шутишь?

– То дожидаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается, – сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его растянувшаяся, на время разгладившаяся кожа вдруг

собралась в множество мелких морщинок, кое-где даже обвисла как будто. Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго обдумать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра они оставались открыты.

– Ага! – сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день. – Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и подробно оглядел осужденного; теперь все пойдет как следует. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни – и снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился:

– Видеться с кем будешь или нет?

– Зачем видеться?

– Ну, проститься. Мать, например, или брат.

– Меня не надо вешать, – тихо сказал Янсон и искоса поглядел на надзирателя. – Я не хочу.

Надзиратель посмотрел – и молча махнул рукою.

К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное: шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта тишина, и этот мрак и сами по себе были уже как будто смертью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла на землю свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, наполнила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже сознал неизбежность близкой смерти и мертвеей ногою ступил на первую ступень эшафота.

День опять успокоил его, и ночь опять запугала, и так было до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела, – но теперь он почувствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.

Но камера была такая маленькая, что, казалось, не острые, а тупые углы в ней и все толкают его на середину. И не за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь – глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его темный, грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола, и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый, пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать.

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза и остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко проспал. Лежал на

спине с открытым ртом, и громко, заливисто храпел; и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.

А дальше все в мире, и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому: обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты – и того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать: или всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на табурете, или тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт, как бы от непрестанного величайшего удивления: и прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавшие за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу.

– Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего не почувствует, – говорил надзиратель, вглядываясь в него опытными глазами. – Иван, слышишь? А, Иван?

– Меня не надо вешать, – тускло отозвался Янсон, и снова нижняя челюсть его отвисла.

– А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили, – наставительно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах. – А то убить убил, а вешаться не хочешь.

– Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп, глуп, а хитер.

– Я не хочу, – сказал Янсон.

– Что ж, милый, не хоти, дело твое, – равнодушно сказал старший. – Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился – все что-нибудь да есть.

– Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка меховая – франт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в двенадцать часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народу, и какой-то господин с погонами сказал:

– Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.

Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куrivший папироску, сказал кому-то:

– А какой сегодня теплый день. Совсем весна.

Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:

– Ну, ну, живее. Заснул!

Вдруг Янсон остановился.

– Я не хочу, – сказал он вяло.

Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без фонарей

карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.

4. Мы, орловские

Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление; а дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, совершенно искренно он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя «экспроприаторами». О последнем преступлении, где заpirationство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно, на вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

– Ищи ветра в поле!

Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид.

– Мы все орловские, проломленные головы, – говорил он степенно и рассудительно. – Орел да Кромы – первые воры. Крачев да Ливны – всем ворами дивны. А Елец – так тот всем ворами отец. Что ж тут толковать!

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригара на острых татарских скулах; как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

– Верно!

Иногда подчеркивал:

– Вер-р-но!

И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом, вскочил и попросил председателя:

– Дозвольте засвистать!

– Это зачем? – удивился тот.

– А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот. Очень интересно.

Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза – и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий дикий, разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади и бледнеют невольно человеческие лица. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество – все было в этом пронзительном и не человеческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и

самодовольно оглядел присутствующих.

– Вот разбойник! – сказал один из судей, потирая ухо.

Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх Цыганка, улыбнулся и возразил:

– А ведь действительно интересно.

И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести, судьи вынесли Цыганку смертный приговор.

– Верно! – сказал Цыганок, когда приговор был прочитан. – Во чистом поле да перекадинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:

– Ну, идем, что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи – отыму!

Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху – так, поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один – как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и решетками, и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились, сшибались и путались яркие, но незаконченные образы, неслись мимо в неодолимом ослепительном вихре, и все устремлялись к одному – к побегу, к воле, к жизни. То раздувая ноздри, как лошадь, Цыганок по целым часам нюхал воздух – ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точа взглядом потолок, перепиливая решетки. Своею неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять; Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончилось мирно, что препирательство скоро переходило в простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной.

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело: точно в грудь клали кусок натающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, сплевывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их.

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему вошел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал:

– Ишь, запакостил!

Цыганок быстро возразил:

– Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе ничего. Зачем прилез?

Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.

– Ай не находится? Ловко! Вот и повесь поди, ха-ха! И шея есть, и веревка есть, а вешать-то некому.

Ей-богу, ловко!

– Жив останешься зато.

– Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал, дурак!

– Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.

– А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!

– Нет, с музыкой, – огрызнулся надзиратель.

– Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так! – И он запел что-то залихватское.

– Совсем ты, милый, порешился, – сказал надзиратель. – Ну, так как же, говори толком.

Цыганок оскалился:

– Какой скорый! Еще разок приди, тогда скажу.

И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, Цыганок, в красной рубахе разгуливает по нем с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей – то мужики наехали из деревни; а дальше видно поле.

– Ц-ах! – чмокал Цыганок, облизываясь, и сплевывая набегавшую слюну.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта: становилось темно и душно, и куском натающего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь.

Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, Цыганок говорил:

– Какой скорый. Еще разок зайди.

И, наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:

– Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!

– Ну и черт с тобой, вешай сам! – огрызнулся Цыганок. И перестал мечтать о палачестве.

Но под конец, ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимой. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было: все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир. На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами Цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены. И воду пил, как лошадь.

Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном, дрожащем вое; и внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленною; и не кричал он бестолково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле, полном несказанного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь с четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забормотал:

– Голубчики, миленькие... Голубчики, миленькие, пожалейте... Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушается.

Потом вскочил – и целый час, не переводя духа, ругался по матерщине.

– У, такие-сякие, туда-та-та-та! – орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза. – Вешать так вешать, а не то... У, такие-сякие...

И белый, как мел, солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

– Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь!

Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок скрипел зубами, бранился и плевал – его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрившейся глины.

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника:

– Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.

– Об этом вам нечего беспокоиться, – сухо ответил чиновник.

– Как же не беспокоиться, ваше благородие, вешать-то будут меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте.

– Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

– А то он у вас тут все мыло поел, – указал Цыганок на надзирателя, – ишь как рожка-то лоснится.

– Молчать!

– Уже не пожалейте!

Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще, и вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть:

– Карету графа Бенгальского!

5. Поцелуй – и молчи

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день подтвержден. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому как делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или самое позднее, в следующую. И когда им предложили видиться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, – и только двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе – что это будет такое. Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее – представлялась воображению легче и казалась не такою страшною, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить – отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руки, поцеловать, сказать: «Здравствуй, отец», – казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнувший бензином, с новенькими поперечными погонями; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

– Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

– Здравствуй, Сереженька!

Поцеловала в губы – и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей, – а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинете, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал: «Не отягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашего сына», – твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора, каждое движение. Но иногда запутывался, терял и то, что успел приготовить, и горько плакал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснял жене, как нужно держать себя на свидании.

– Главное, поцелуй – и молчи! – учил он. – Потом можешь и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелуя, понимаешь? – а то скажешь не то, что следует.

– Понимаю, Николай Сергеевич, – отвечала мать плача.

– И не плачь. Избавь тебя господи плакать! Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха!

– А зачем же ты сам плачешь?

– С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?

– Хорошо, Николай Сергеевич.

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые и старые, и думали, а город весело шумел: была масленая неделя, и на улицах было шумно илюдно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

– Посиди, Сереженька, – попросила мать.

– Сядь, Сергей, – подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

– Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.

– Напрасно это, мамочка...

Полковник твердо сказал:

– Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло значение и значило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: «Теперь же денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть». И вдруг спросил:

– А как сестра? Здорова?

– Ниночка ничего не знает, – поспешно ответила мать.

Но полковник строго остановил ее:

– Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей знает, что все... близкие его... в это время... думали и...

Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание делалось все чаще и короче и громче.

– Се...Сер...Се...Се... – повторяла она, не сдвигая губ. – Се...

– Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясясь, каждой складкой своего сюртука, каждою морщинкою лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

– Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и

твердил:

– Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми губами:

– Когда?

– Завтра утром, – такими же белыми губами ответил Сергей.

Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

– Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.

– Поцелуй ее от меня, – сказал Сергей.

– Хорошо. Еще. Хвостовы тебе кланяются.

– Какие Хвостовы? Ах, да!

Полковник перебил:

– Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

– Простись! – приказал полковник. – Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головой и твердила бессмысленно:

– Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так.

– Прощай, Сергей! – сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.

– Ты... – начал Сергей.

– Ну? – отрывисто спросил отец.

– Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу? – твердила мать, покачивая головой. Она уже опять успела сесть и все покачивалась.

– Ты... – опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи, сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

– Ты, отец, благородный человек.

– Что ты! Что ты! – испугался полковник.

И вдруг, точно сломавшись, упал головой на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и пушистая, сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно целовали: Сергей – пушистые белые волосы, а он – арестантский халат.

– А я? – вдруг сказал громкий голос.

Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью.

– Что ты, мать? – крикнул полковник.

– А я? – говорила она, качая головою, с безумной выразительностью. – Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?

– Мапочка! – бросился к ней Сергей.

Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать.

Последними словами полковника были:

– Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер.

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили – и вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец – и вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал. Потом устал от слез и крепко уснул.

К Василию Каширину пришла только мать – отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

– Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня измучите.

– Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстяного платка. И с привычкой, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

– Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

– Ну, ну, хорошо. Что тебе – холодно?

– Холодно... – отрезал Василий и зашагал, искоса, сердито глядя на мать.

– Может, простудился?

– Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...

И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: «А наш-то с понедельника велел блины ставить», но испугалась и заголосила:

– Говорила я ему: ведь сын ведь, пойдя, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел...

– Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

– Васенька, это про отца-то! – Старуха вся укоризненно вытянулась.

– Про отца.

– Про родного отца!

– Какой он мне родной отец!

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут выросло что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача – от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико тарщило свои маленькие глупые глаза, Василий закричал:

– Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

– А ты бы не трогал людей, тебя бы... – кричала старуха.

– Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает. Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами одиночества. Мать сказала:

– Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

– Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

– Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горячее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос, и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

– Не могу. Ей же богу, не могу! – отказывалась она, мотая головой, и ползла по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили.

И уж больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса – а ей все лили вино. Все лили.

6. Часы бегут

В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часа вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта старая и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, чокали копыта лошадей, далеко впереди кричали покачивающиеся автомобили; на масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и бубенцы на шее их малорослых лошадемок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял: немного пьяный, веселый масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими, влажными порывами дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются, летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен становился бой часов: чуждая земле, медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая эхо, звенела жалобно и тихо – обрывалась – снова звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину, – уходил незаметно, чтобы снова так же незаметно прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и если в жестокости есть благородство, то была благородна глухая, мертвая, торжественно немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.

7. Смерти нет

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она, как нечто мучительное, для Сережи Головина, для Муси, для других, – ее же самой она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала, как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалостливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не оказаться табаку, а Вернер, может быть, лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что они должны умереть, – мучило ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь – это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это совсем невыносимо. Вспоминала, перебирала милые подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями.

И особенною жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное колечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела Таня Ковальчук на это кольцо как на символ обреченности, и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

– Подари его мне, – упрашивала она.

– Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непременно и в скором времени должна выйти замуж, и это обижало ее – никакого мужа она не хотела. И вспоминая эти полушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась – как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива. Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неумолимо. Рукава халата были ей длинны, и она отвернула их, и тонкие, почти детские, исхудалые руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.

Муся шагала – и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какою умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучаются, как жалеют, – и ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защитника, чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если и другие подумают, что это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шуму еще больше? И торопливо добавила:

– Нет, впрочем, не надо.

И теперь она хотела только одного: объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шума.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рассуждала:

– Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить. Но...

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет оправдания.

Но, быть может, то особенное, что она носит в душе – безграничная любовь, безграничная готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хотела, – убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника.

Но если это так, если человек ценен не только по тому, что он сделал, а и по тому, что он хотел сделать, – тогда... тогда она достойна мученического венца.

«Неужели? – думает Муся стыдливо. – Неужели я достойна? Достойна того, чтобы обо мне плакали люди, волновались обо мне, такой маленькой и незначительной?»

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что из века через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир и покой и безбрежное тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.

«И это – смерть. Какая же это смерть?» – думает Муся блаженно.

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, – они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

– Смотри! Это ты!

Она посмотрела бы и ответила:

– Нет. Это не я.

И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом разложения, что это она – она! – Муся ответила бы с улыбкой:

– Нет. Это вы думаете, что это – я, но это не я. Я та, с которой вы говорите, как же я могу быть этим?

– Но ты умрешь и станешь этим.

– Нет, я не умру.

– Тебя казнят. Вот петля.

– Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я – бессмертна?

И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с содроганием:

– Не касайтесь этого места. Это место – свято.

О чем еще думала Муся? О многом думала она – ибо нить жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно и ровно. Думала о товарищах – и о тех далеких, что с тоскою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вместе взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так испугался, – он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью. Так, еще утром во вторник, когда они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

– Не нужно фамильярничать со смертью.

Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину, – вдруг отчаянно захотелось увидеть Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала – и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И представляя, что Вернер ходит рядом с нею своею четкой, размеренной, вбивающей каблуки в землю походкой, Муся говорила ему:

– Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем неважно, убил ты или нет. Ты умный, но ты точно в свои шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую, тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из «браунинга». Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше, – Вернер теперь и сам понял, наверное. А может, и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном – как легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрестанно, колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звенеть; и музыкою становились плавно скользящие образы. словно тихую темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели. отошли все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недавно: и лица их были ясны, и радостны, и близки – ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили часы непрестанно, колебля немую тишину, и в их звенящих берегах тихо плыли светлые поющие образы. Муся думала:

«Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать».

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазировать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною и на фоне ее из скудных крупниц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и никакой болезни тут нет, – и стала отдаваться им спокойно.

И теперь – вдруг совершенно ясно и отчетливо она услышала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову – за окном стояла ночь, и часы звонили. «Опять значит!» – подумала она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слыша, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! – слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе: совершенно незнакомый, но очень громкий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед – Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину.

«Ушли!» – думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами совсем иные, совсем не те, в кого хотела бы она стрелять из «браунинга».

– Ну, еще! – просит она ласково. И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат, как герольды. Направо, налево, вверх и вниз – кричат, как герольды. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, отвечает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки девичьи исхудалые руки, а на устах улыбка. Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечеловеческой гримасой, зальется густой кровью мозг, и вылезут из орбит остекленевшие глаза – но сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем.

Заснула Муся.

А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не кричал – просто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери – в темном отверстии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно таращит на Мусю глаза – и пропадает бесшумно, как явилось.

Звонят и поют куранты – долго, мучительно. Точно на высокую гору ползут к полуночи усталые часы, и все труднее и тяжелее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном вниз – и вновь мучительно ползут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в черные без фонарей кареты.

8. Есть и смерть, есть и жизнь

О смерти Сергей Головин никогда не думал как о чем-то постороннем и его совершенно не касавшемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезает в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность – все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои смеялись над ним, что, если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сыщик, – Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись.

– Или вы все ослы, или я осел, – говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:

– Ты осел, по голосу слышно.

Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один как следует, с аппетитом, позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:

– А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.

– Не хочется.

– Ну так я съем. Ладно?

– Ну и аппетит же у тебя, Сережа.

Вместо ответа Сергей, с набитым ртом, глухо и фальшиво запел.

Вихри враждебные веют над нами...

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, – умереть», – и развеселился. И, как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

– Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо, – крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо

всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется – и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха.

«Неужели я боюсь? – подумал Сергей с удивлением. – Вот еще глупости!»

Боялся не он – боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений, – тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал:

«Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!»

И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:

– Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.

И действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.

– Я тебе покажу! – грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова – правда, не такой острый, не такой огневой, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что тянут долго, – подумал Сергей, – хорошо бы все это время, до казни, проспаться», и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

«Разве я ее, дьявола, боюсь? – думал он о смерти. – Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»

Покачивал головой грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание – и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание – и снова еще более продолжительный тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть, – стало как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили – не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно.

– Фу ты, черт! – мучительно удивлялся Сергей. – Да что же это такое? Да где же это я? Я... какой я?

Оглядел всего себя внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою – вертится. И это, несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и этого – не будет.

И все сделалось странно.

Попробовал ходить по камере – странно, что ходит. Попробовал сидеть – странно, что сидит. Попробовал выпить воды – странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: «Как это странно, я кашляю».

«Да что я, с ума, что ли, схожу! – подумал Сергей холодея. – Этого еще недоставало, чтобы черт их побрал!»

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения – ибо всякая мысль было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все, и земли, и жизнь, и люди; и все это видимо одним взглядом, все до самого конца, до загадочного обрыва – смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственной рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной – но не сделались они и понятными; как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: «мне страшно» – звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого бога – увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.

– Вот тебе и Мюллер! – вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головой. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. – Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки – ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата – быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивая и растягивая свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

– Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!

Щеки его покраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

– Дело в том, Мюллер, – рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей, – дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение – подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем – Сергея Головина, пеленают его как куклу и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь – приходится.

Перегнулся на правый бок и повторил:

– Приходится, брат Мюллер.

9. Ужасное одиночество

Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий столь тяжело, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распустившимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами – словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был окружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему было легко и весело даже: в чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький, сморщенный, словно старушечий страшок. Опоясанный адской машиной, он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчицких лошадей и трамвая, он казался себе пришельцом из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха.

И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет, куда хочет, а его везут – куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил, слов его не послушают, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят; и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет наземь – его осилит, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполняют люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине: берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог – казались немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях, – и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего.

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его судить: шкаф, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкаф, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи.

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, присужденному к смертной казни через

повешение: его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью; скорее смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того: смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги, обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

Исчез из мира человек.

На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова, на мгновение, увидел людей: сидят и судят его и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке – просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех, которые говорят: «па-па», «ма-ма», но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал:

«Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это – кукла Василия Каширина».

Казалось, еще немного, и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услышал три слова, и они поразили его трепетным волнением и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были:

«Всех скорбящих радость».

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: «всех скорбящих радость» – и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

– Наша жизнь... да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: на, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей «всех скорбящих радости» и даже сам как будто не знал о ней – так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрывал его, как вода в половодье прибрежную лозиночку, – он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал:

– Всех скорбящих радость!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

– Всех скорбящих радость, приди ко мне, поддержи Ваську Каширина.

Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступлением в общество, он называл себя хвастливо и жалко: «Васькой Кашириным» – теперь почему-то

захотелось назваться так же. Но мертво прозвучали слова:

– Всех скорбящих радость!

Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой не то ружьем, солдат в коридоре и продолжительно, с переходами, зевнул.

– Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона, и как отец, сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит исподлобья – молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало еще страшнее, чем до молитвы.

Исчезло все.

Безумие тяжело наползало. Сознание погасало, как потухающий разбросанный костер, холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головой о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может, – и ничего. Будет ничего.

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит – пора ехать на казнь, а просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

– Я не буду! Я не буду! – шептал он неслышно помертвевшими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец.

– Надо ехать.

Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыв глаза, покачался – и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папиросу. И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисунком портсигар.

10. Стены падают

Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог, при желании, говорить как настоящий, прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей своей братии, без риска быть узнанным, смел появляться на великосветских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважения к себе; это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, – было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо – вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-посторонним. Но из организации, как человек единой, нерасщепленной воли, не ушел и внешне остался тот же – только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширина, он жалел, но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое, – но, во всяком случае, решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. И на суде – и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодное бесстрашие и надменность, – он думал не о смерти и не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске.

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его; и утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний, не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности; потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками – даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку – это помогало думать.

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее.

И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

– Нет, зачем же! – отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения; осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, сосчитал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами.

– Ну? – ответил он кому-то полувопросом. – Вот и все. Где же страх?

Страх действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему – чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел он умершим близкого дорогого друга, а друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стул и подумал:

«Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни – и как будто ее нет. Посмотрю на стены – как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?»

Начинали дрожать руки – невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове – наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последние года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом – перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания. Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился великолепию невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор.

– Что это! Какое божественное зрелище! – медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И уничтожая стены, пространство и время стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новою предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезает сор и грязь тесных улиц покинутого городка и красотой становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шеи так, не глядел так – ибо никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым – как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

– Милые вы мои! – вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери. И странно: почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее – даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг заплакал.

– Милые товарищи мои! – шептал он и плакал горько. – Милые товарищи мои!

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы, – не знало и этого его вдруг воскресшее зазеленевшее сердце. Плакал и шептал:

– Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера – ни судьи, ни товарищи, ни он сам.

11. Их везут

Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную. И позволили разговаривать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные как лед и горячие как огонь, – и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою.

Но раз, другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или же слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной – не замечали этого. Все щурились с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

– Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

– Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно далекий ответ: так на многие зовы могла бы ответить могила:

– Да я ничего. Я держусь.

И повторил:

– Я держусь.

Вернер обрадовался.

– Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: «Откуда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал:

– Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.

– И я тебя очень люблю, – ответил, тяжело ворочаясь, язык.

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

– Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь

такой... светлый и мягкий? А, что?

– А, что?

И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер сжал Мусину руку:

– Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю.

Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни и бросает на землю тень самое желтое, тяжелое пламя.

– Да, – сказала Муся. – Да, Вернер.

– Да, – ответил он. – Да, Муся, да!

Было понятно нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею.

– Сережа!

Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.

– Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он – гимнастикой занимается!

– По Мюллеру? – улыбнулся Вернер.

Сергей сконфуженно нахмурился:

– Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился...

Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что все одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайною серьезностью сказал Сергею:

– Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.

– Нет, ты пойми, – обрадовался Головин. – Конечно, мы...

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассестись парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

– Ты, Муся, с ним, – показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.

– Понимаю, – кивнула Муся головой. – А ты?

– Я? Таня с Сергеем, ты с Васей... Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное – просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом – безграничную ширью, зазвенела каплями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш стояло бледное зарево от электрических огней.

– У-ах! – широко вздохнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух.

– Давно такая погода? – осведомился Вернер. – Совсем весна.

– Второй только день, – был предупредительный и вежливый ответ. – А то все больше морозы.

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хлябали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно:

– Тут с вами еще один едет.

Вернер удивился.

– Куда? Куда же он едет? Ах, да! Еще один? Кто же это?

Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое – при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

– Извините, товарищ.

Тот не ответил. И только, когда тронулась карета, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь:

– Кто вы?

– Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN. А вы?

– Я – Янсон. Меня не надо вешать.

Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть, – и знакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

– А что вы сделали, Янсон?

– Я хозяина резал ножом. Деньги крал.

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку.

– Тебе страшно? – спросил Вернер.

– Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом лука и дешевого табака. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад, казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг, после одного поворота, потемнело, и только по этому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С-скому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено Вернера дружески билось о такое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

– Куда мы едем? – спросил вдруг Янсон.

У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка тошнило.

Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в жизни.

– Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

– Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

– Тоже! – неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ними милые, но страшно смешливые люди.

– Жена есть? – спросил Янсон.

– Нету. Какая там жена! Я один.

– Я тоже один. Одна, – поправился Янсон, подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием, и призраки рождала смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги.

– Вот и приехали! – сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку – жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо – и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон – и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо – а скучно огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд зевнул и Янсон.

– Хоть бы поскорее! – сказал Вернер устало.

Янсон молчал и ежился.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

– Ты что говоришь? – спросил Вернер, отвечая также зевотой.

– Фонарь. Лампа в фонаре коптит, – сказал Сергей.

Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно коптила лампа, и уже почернели верху стекла.

– Да, коптит.

И вдруг подумал: «А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда...» То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колени и повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно пьяного, а носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали долго, но молча.

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движения товарищей, – все делал, как они. Но, всходя на площадку, в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть, чтоб поддержать, – Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку:

– Ай!

– Вася, что с тобою? – рванулся к нему Вернер.

Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил:

– Я хотел их поддержать, а они...

– Пойдем, Вася, я поддержу тебя, – сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул:

– Ай!

– Вася, это я, Вернер.

– Я знаю. Не трогай меня. Я сам.

И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия.

– Ну как?

– Плохо, – так же тихо ответила Муся. – Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?

– Не знаю, Муся, но думаю, что нет, – ответил Вернер серьезно и вдумчиво.

– Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала.

– Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет.

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:

– Была, Вернер? Была?

– Была. Теперь нет. Как для тебя.

В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо.

– Тут местов нету, жандарм! – крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму. – Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут, на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети, – разве это карета? Чертова требуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением.

– А! Господа! – протянул он. – Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее.

– Тоже? А?

– Тоже! – улыбнулся Вернер.

– Да неужто всех?

– Всех.

– Ого! – оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:

– Министра?

– Министра. А ты?

– Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем места хватит.

Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке.

– Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать, зеленая дубравушка.

– Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...

– Верно, – с удовольствием согласился Цыганок. – Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто барин-то, – ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. – Э, а вот энтот-то ваш того, не хуже нашего, – указал он глазами на Василия. – Барин, а барин, боишься, а?

– Ничего, – ответил туго ворочающийся язык.

– Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопаухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрерывно, с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер.

– Хозяина зарезал!

– Господи! – удивился Цыганок. – И как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее.

– Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки розовенькие, и смеются. Гляди, она вправду смеется, – схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами. – Гляди, гляди!

Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза.

Все молчали.

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам, и старательно засвистел паровозик – машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым, разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят, а потом будет остановка, как всегда «поезд стоит пять минут».

И тут наступит смерть – вечность – великая тайна.

12. Их привезли

Старательно бежали вагончики.

Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой – запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом.

– Теперь скоро, – сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

Никто не пошевелился, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну. И начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

– Холодно, – сказал Василий Каширин тугими, точно и вправду замерзшими губами; и вышло у него это слово так: хо-а-дна.

Таня Ковальчук засуетилась.

– На платок, повяжи шею. Платок очень теплый!

– Шею? – неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса.

Но так как и все подумали то же, то никто его не слышал – как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же слово.

– Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, – посоветовал Вернер, потом обернулся к Янсону и нежно спросил:

– Милый, а тебе не холодно, а?

– Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть может, хотите курить? – спросила Муся. – У нас есть.

– Хочу!

– Дай ему папиросу, Сережа, – обрадовался Вернер.

Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смотрели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка и изо рта Янсона вышел синий дымок.

– Ну, спасибо, – сказал Янсон. – Хорошо.

– Как странно! – сказал Сергей.

– Что странно? – обернулся Вернер. – Что странно?

– Да вот: папироса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев и бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой ленточкой бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

– Потухла, – сказала Таня.

– Да, потухла.

– Ну и к черту! – сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой висела, как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к

Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

– Барин, а что если бы конвойных того... а? Попробовать?

– Не надо, – так же шепотом ответил Вернер. – Выпей до конца.

– А для ча? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне, и сам не заметил, как порешили. Будто и не помирал.

– Нет, не надо, – сказал Вернер и обернулся к Янсону: – Милый, отчего не куришь?

Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекошились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:

– Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:

– Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился.

– Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, – сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало иссиня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.

– Станция! – сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно – кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса – скользили – опять вертелись – и вдруг стали.

Поезд остановился.

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.

– Разве пешком? – спросил кто-то почти весело.

– Тут недалеко, – ответил другой кто-то так же весело.

Потом большой, черной, молчаливой толпой шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища; и громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:

– Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.

Кто-то виновато оправдывался:

– Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:

«Действительно, не могли дороги прочистить».

То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все – и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор:

– Скоро четыре.

– Говорили: рано выезжаем.

– Светает в пять.

– Ну да, в пять. Вот и нужно было...

В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

– Калошу потерял, – сказал Сергей Головин.

– Ну? – не понял Вернер.

– Калошу потерял. Холодно.

– А где Василий?

– Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий.

– А где Муся?

– Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

– Море, – сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух. – Там море.

Муся звучно отозвалась:

– Мою любовь, широкую, как море!

– Ты что, Муся?

– Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

– Мою любовь, широкую, как море, – подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

– Мою любовь, широкую, как море... – повторил Вернер и вдруг весело удивился: – Муська! Как ты еще молода!

Вдруг близко, у самого уха Вернера, слышался горячий, задыхающийся шепот Цыганка:

– Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

– Надо проститься... – сказала Таня Ковальчук.

– Погоди, еще приговор будут читать, – ответил Вернер. – А где Янсон?

Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.

– Ну что там, доктор? Вы скоро? – спросил кто-то нетерпеливо.

– Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

– Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

– Не читать, – за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас.

От священника также все отказались. И темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры людей, и лес стал реже, печальнее и проще.

– Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах, поддерживаемый двумя жандармами:

– Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

– Хорошо.

– Мы с тобою, Мусечка? – спросила Ковальчук. – Ну, поцелуемся?

Быстро перецеловались, Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы; Янсон – мягко и вяло, полураскрытым ртом, – впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько шагов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

– Прощайте, товарищи!

– Прощай, товарищ! – крикнули ему.

Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума – но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фонарики.

– Ах боже мой! – дико прохрипел кто-то. Оглянулись: это в предсмертном томлении маялся Цыганок. – Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух:

– Как же это так! Господа, а? Мне-то одному, что ль? В компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

Схватил Вернера за руку сжимающими и распадающимися, точно играющими пальцами.

– Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи!

Вернер, страдая, ответил:

– Не могу, милый. Я с ним.

– Ах ты, боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!

Муся шагнула вперед и тихо сказала:

– Пойдемте со мной.

Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки:

– С тобою?

– Да.

– Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!

– Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился.

– Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.

Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинула руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс – и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

– Идем!

Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и, как слепой, зашагал в лес по цельному снегу.

– Куда ты? – испуганно шепнул другой. – Стой!

Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу; должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать.

– Ружье подыми, кислая шерсть! А то я подыму! – грозно сказал Цыганок. – Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсона.

– Прощай, барин! – громко сказал Цыганок. – На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да водицы когда испить принеси – жарко мне там будет.

– Прощай.

– Я не хочу, – сказал Янсон вяло.

Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам; потом видно было – он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос.

И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.

– А я, значит, Мусечка, одна, – печально сказала Таня Ковальчук. – Вместе жили, и вот...

– Танечка, милая...

Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито:

– Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты куда хочешь, одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойника... – понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-богу! А с нею я как... как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

– Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка.

– Поцелуйтесь, поцелуйтесь, – поощрительно сказал женщинам Цыганок. – Дело ваше такое, нужно проститься хорошо.

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь и, по привычке, поддерживая юбки; и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня.

– Одна я, – вдруг заговорила Таня и вздохнула. – Умер Сережа, умер и Вернер и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна...

Над морем всходило солнце.

Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высывался среди губ, орошенных кровавой пеной, – плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.

1908 г.

Мысль

Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.

Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы.

Лист первый

До сих пор, гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И, узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячая рубашка, или кандалы. Тут есть третье – не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое.

Убитый мною Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись: я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому факультету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного; он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах, он не принадлежал к тем людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него, как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, нередко страдавшие от его выходок и вместе с тем, по нелогичности человеческой натуры, очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его «художником». И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправдывает его и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие – потому, что к большим, как ко всему крупному, он был неспособен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения, красив и ничтожен был он сам.

Когда Алексей умер, ему было тридцать один год, – на один с немногим год моложе меня.

Алексей был женат. Если вы видели его жену, теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представления о том, какой красивой была она когда-то: так сильно, сильно она подурнела. Щеки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет – и это будут глубокие борозды и канавы: ведь она так его любила! И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются, а прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с нею у следователя, и был поражен переменной. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая!

Только трое – Алексей, я и Татьяна Николаевна – знали, что пять лет тому назад, за два года до женитьбы Алексея, я делал Татьяне Николаевне предложение и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое, а, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще десяток подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унижительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда засмеялась; вероятно, не помнит – ей так часто приходилось смеяться. И тогда напомните ей: *пятого сентября она засмеялась*. Если она будет отказываться – а она будет отказываться, – то напомните, как это было. Я, этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся, – я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе, она засмеялась и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась.

– Извините, пожалуйста, – сказала она, а глаза ее смеялись.

И я тоже улыбнулся, и если бы я мог простить ей ее смех, то никогда не прощу этой своей улыбки. Это

было пятого сентября, в шесть часов вечера, по петербургскому времени. По петербургскому, добавляю я, потому, что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок: вверх и вниз. Алексей Константинович был убит также ровно в шесть часов. Совпадение странное, но могущее открыть многое догадливому человеку.

Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал? Конечно, это не было ревностью. Последняя предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Месть? Да, скорее мечь, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила меня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне:

– Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?

А она смотрела на меня, говорила: «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну – при мне они не стеснялись – и добавил:

– Да, брат, дал ты маху!

Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю: первоначально я решил убить его восемнадцатого декабря.

Да, брак их оказался счастливым, и счастлива была именно она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело – литература, выводившее его интересы за пределы спальни. А она любила только его и только им одним жила. Потом, он был нездоровый человек: частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним, больным, и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится невменяемой.

И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное. И думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность: она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а побеседовав, – спать шла с ним и была счастлива.

Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея, – я всегда был врагом ненужной жестокости. Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей (у него была к этому склонность), но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры. И, как рабы, они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видал и не увидит.

Признаюсь искренно, не для того чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я осудил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было – не знаю, поймете ли вы это – самого

черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего – безобразие. Помню, как давно еще, когда я только что кончил университет, мне попала в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт. И долго потом было неприятно вспоминать ее.

И если б Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне и до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у него были одни глаза – бледные, без огня и энергии.

Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. *Но Алексей не был талантом.*

Здесь не место для критической статьи, но прочтите в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни, но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он – исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны; я точно и подробно выпытал планы его будущих работ – и пусть утешатся горюющие поклонники: в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна жена не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но, когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала:

– Вы не можете ему простить другого.

– Чего?

– Того, что он мой муж и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия...

Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль:

– Вы меня выгнали бы?

В ее глазах блеснул смех. И, невинно улыбаясь, она медленно проговорила:

– Нет. Оставила бы.

А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал: тем лучше, если она догадывается.

Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, преступление, и только слепой не видит этого. Для тех, кто верит в бога, – преступление перед богом; для других – преступление перед людьми; для таких, как я, – преступление перед самим собой. Было бы большим преступлением, если бы, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие и убийство называют большим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной.

Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях.

Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии, – подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв в расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни.

Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл пятнадцать рублей из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и притом человеком со средствами (почему мне и поверили). Вам, вероятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мною убийство друга, – не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые – и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испытываю угрызений совести, что мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю теплу ненужно-роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел.

И разве теперь я испытываю угрызения совести? Раскаяние в содеянном? Ничуть.

Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют, – но это другое. *Другое*. Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.

Лист второй

Моя задача была такова. Нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня. Не говоря уже о том, что наказание дало бы Татьяне Николаевне лишний повод посмеяться, я вообще совершенно не хотел каторги. Я очень люблю жизнь.

Я люблю, когда в тонком стакане играет золотистое вино; я люблю, усталый, протянуться в чистой постели; мне нравится весной дышать чистым воздухом, видеть красивый закат, читать интересные и умные книги. Я люблю себя, силу своих мышц, силу своей мысли, ясной и точной. Я люблю то, что я одинок и ни один любопытный взгляд не проник в глубину моей души с ее темными провалами и безднами, на краю которых кружится голова. Никогда я не понимал и не знал, что люди называют скукою жизни. Жизнь интересна, и я люблю ее за ту великую тайну, что в ней заключена, я люблю ее даже за ее жестокости, за свирепую мстительность и сатанински веселую игру людьми и событиями.

Я был единственный человек, которого я уважал, – как же мог я рисковать отправить этого человека в каторгу, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование!.. Да и с вашей точки зрения я был прав, желая уклониться от каторги. Я очень удачно врачую; не нуждаясь в средствах, я лечу много бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, чем убитый Савелов.

И безнаказанности можно было добиться легко. Существуют тысячи способов незаметно убить человека, и мне, как врачу, было особенно легко прибегнуть к одному из них. И среди придуманных мною и отброшенных планов долгое время занимал меня такой: привить Алексею неизлечимую и отвратительную болезнь. Но неудобства этого плана были очевидны: длительные страдания для самого объекта, нечто некрасивое во всем этом, глубокое и как-то слишком уж... неумное; и наконец, и в болезни мужа Татьяна Николаевна нашла бы для себя радость. Особенно осложнялась моя задача обязательным требованием, чтобы Татьяна Николаевна знала руку, поразившую ее мужа. Но только трусы боятся препятствий; таких, как я, они привлекают.

Случайность, этот великий союзник умных, пришла мне на помощь. И я позволю себе обратить особенное внимание, гг. эксперты, на эту подробность: *именно* случайность, то есть нечто внешнее, не зависящее от меня, послужило основой и поводом для дальнейшего. В одной газете я нашел заметку про кассира, не то приказчика (вырезка из газеты, вероятно, осталась у меня дома или находится у следователя), который симулировал припадок падучей и якобы во время него потерял деньги, а в действительности, конечно, украл. Приказчик оказался трусом и сознался, указав даже место украденных денег, но самая мысль была недурна и осуществима. Симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления и потом «выздороветь» – вот план, создавшийся у меня в одну минуту, но потребовавший много времени и труда, чтобы принять вполне определенную конкретную форму. С психиатрией я в то время был знаком поверхностно, как всякий врач-неспециалист, и около года ушло у меня на чтение всякого рода источников и размышление. К концу этого времени я убедился, что план мой вполне осуществим.

Первое, на что должны будут устремить внимание эксперты, это наследственные влияния, – и моя наследственность, к великой моей радости, оказалась вполне подходящей. Отец был алкоголиком; один дядя, его брат, кончил свою жизнь в больнице для умалишенных, и, наконец, единственная сестра моя, Анна, уже умершая, страдала эпилепсией. Правда, что со стороны матери у нас в роду все были здоровяки, но ведь достаточно одной капли яда безумия, чтобы отравить целый ряд поколений. По своему мощному

здоровью я пошел в род матери, но кое-какие безобидные странности у меня существовали и могли сослужить мне службу. Моя относительная нелюдимость, которая есть просто признак здорового ума, предпочитающего проводить время наедине с самим собою и книгами, чем тратить его на праздную и пустую болтовню, могла сойти за болезненную мизантропию; холодность темперамента, не ищущего грубых чувственных наслаждений, – за выражение дегенерации. Самое упорство в достижении раз поставленных целей – а примеров ему можно найти немало в моей богатой жизни – на языке господ экспертов получило бы страшное название мономании, господства навязчивых идей.

Почва для симуляции была, таким образом, необыкновенно благоприятна: статика безумия была налицо, дело оставалось за динамикой. По ненамеренной подмалевке природы нужно было провести два-три удачных штриха, и картина сумасшествия готова. И я очень ясно представил себе, как это будет, не программными мыслями, а живыми образами: хоть я и не пишу плохих рассказов, но я далеко не лишен художественного чутья и фантазии.

Я увидел, что провести свою роль я буду в состоянии. Наклонность к притворству всегда лежала в моем характере и была одною из форм, в которых стремился я к внутренней свободе. Еще в гимназии я часто симулировал дружбу: ходил по коридору обнявшись, как это делают настоящие друзья, искусно подделывал дружески-откровенную речь и незаметно выпытывал. А когда разнеженный приятель выкладывал всего себя, я отбрасывал от себя его душонку и уходил прочь с гордым сознанием своей силы и внутренней свободы. Тем же двойственником оставался я и дома, среди родных; как в староверческом доме существует особая посуда для чужих, так и у меня было все особое для людей: особая улыбка, особые разговоры и откровенность. Я видел, что люди делают много глупого, вредного для себя и ненужного, и мне казалось, что если я стану говорить правду о себе, то я стану, как и все, и это глупое и ненужное овладеет мною.

Мне всегда нравилось быть почтительным с теми, кого я презирал, и целовать людей, которых я ненавидел, что делало меня свободным и господином над другими. Зато никогда не знал я лжи перед самим собою – этой наиболее распространенной и самой низкой формы порабощения человека жизнью. И чем больше я лгал людям, тем беспощадно-правдивее становился перед самим собой – достоинство, которым немногие могут похвалиться.

Вообще, мне думается, во мне скрывался недюжинный актер, способный сочетать естественность игры, доходившую временами до полного слияния с олицетворяемым лицом, с неослабевающим холодным контролем разума. Даже при обыкновенном книжном чтении я целиком входил в психику изображаемого лица и – поверите ли? – уже взрослый, горькими слезами плакал над «Хижиной дяди Тома». Какое это дивное свойство гибкого, изощренного культурою ума перевоплощаться! Живешь словно тысячью жизней, то опускаешься в адскую тьму, то поднимаешься на горние светлые высоты, одним взором окидываешь бесконечный мир. Если человеку суждено стать богом, то престолом его будет книга...

Да. Это так. Кстати, я хочу вам пожаловаться на здешние порядки. То меня укладывают спать, когда мне хочется писать, *когда мне нужно писать*. То не закрывают дверей, и я должен слушать, как орет какой-то сумасшедший. Орет, орет – это прямо нестерпимо. Так действительно можно свести человека с ума и сказать, что он и раньше был сумасшедшим. И неужели у них нет лишней свечки и я должен портить себе глаза электричеством?

Ну вот. И когда-то я подумывал даже о сцене, но бросил эту глупую мысль: притворство, когда все знают, что это притворство, уже теряет свою цену. Да и дешевые лавры присяжного лицедея на казенном жалованье мало привлекали меня. О степени моего искусства можете судить по тому, что многие ослы и до сих пор считают меня искреннейшим и правдивейшим человеком. И что странно: мне всегда удавалось проводить не ослов, – это я так сказал, сгоряча, – а именно умных людей; и наоборот, существуют две

категории существ низшего порядка, у которых я никогда не мог добиться доверия: это – женщины и собаки.

Вы знаете, что уважаемая Татьяна Николаевна никогда не верила моей любви и не верит, я думаю, даже теперь, когда я убил ее мужа? По ее логике выходит так: я ее не любил, а Алексея убил за то, что она его любит. И эта бессмыслица, наверное, кажется ей осмысленной и убедительной. И ведь умная женщина!

Провести роль сумасшедшего мне казалось не очень трудным. Часть необходимых указаний дали мне книги; часть я должен был, как всякий настоящий актер во всякой роли, восполнить собственным творчеством, а остальное воссоздаст сама публика, давно изоштившая свои чувства книгами и театром, где по двум-трем неясным контурам ее приучили воссоздавать живые лица. Конечно, неминуемо должны были остаться некоторые пробелы – и это было особенно опасно ввиду строгой научной экспертизы, которой меня подвергнут, но и здесь серьезной опасности не предвиделось. Обширная область психопатологии настолько еще мало разработана, в ней так еще много темного и случайного, так велик простор для фантазерства и субъективизма, что я смело вручал свою судьбу в ваши руки, гг. эксперты. Надеюсь, что я не обидел вас. Я не покушаюсь на ваш научный авторитет и уверен, что вы согласитесь со мною, как люди, привыкшие к добросовестному научному мышлению.

...Наконец-таки перестал орать. Это просто нестерпимо.

И еще в то время, когда мой план находился только в проекте, у меня явилась мысль, которая едва ли могла прийти в безумную голову. *Это мысль о грозной опасности моего опыта.* Вы понимаете, о чем я говорю? Сумасшествие – это такой огонь, с которым шутить опасно. Разведя костер в середине порохового погреба, вы можете чувствовать себя в большей безопасности, нежели тогда, если хоть малейшая мысль о безумии закрадется в вашу голову. И я это знал, знал, знал, – но разве опасность значит что-нибудь для храброго человека?

И разве я не чувствовал своей мысли, твердой, светлой, точно выкованной из стали и безусловно мне послушной? Словно остро отточенная рапира, она извивалась, жалила, кусала, разделяла ткани событий; точно змея, бесшумно вползала в неизведанные и мрачные глубины, что навеки сокрыты от дневного света, а рукоять ее была в моей руке, железной руке искусного и опытного фехтовальщика. Как она была послушна, исполнительна и быстра, моя мысль, и как я любил ее, мою рабу, мою грозную силу, мое единственное сокровище!

...Он опять орет, и я не могу больше писать. Как ужасно, когда человек воет. Я слышал много страшных звуков, но этот всех страшнее, всех ужаснее. Он не похож ни на что другое, этот голос зверя, проходящий через гортань человека. Что-то свирепое и трусливое; свободное и жалкое до подлости. Рот кривится на сторону, мышцы лица напрягаются, как веревки, зубы по-собачьи оскаливаются, и из темного отверстия рта идет этот отвратительный, ревущий, свистящий, хохочущий, воющий звук...

Да. Да. Такова была моя мысль. Кстати, вы обратите, конечно, внимание на мой почерк, и я прошу вас не придавать значения тому, что он иногда дрожит и как будто меняется. Я давно уже не писал, события последнего времени и бессонница сильно ослабили меня, и вот рука иногда вздрагивает. *Это и раньше случалось со мной.*

Лист третий

Теперь вы понимаете, что это за страшный припадок случился со мною на вечере у Каргановых. Это был мой первый опыт, удавшийся даже сверх ожиданий. Точно уже все заранее знали, что так это со мной и будет, точно внезапное сумасшествие вполне здорового человека в их глазах кажется чем-то естественным, таким, чего можно всегда ожидать. Никто не удивился, и все наперебой расцвечивали мою игру игрой собственной фантазии – у редкого гастролера подбирается такая прекрасная труппа, как эти наивные, глупые и доверчивые люди. Рассказывали они вам, как я был бледен и страшен? Как холодный – да, именно холодный пот покрывал мое чело? Каким безумным огнем горели мои черные глаза? Когда они передавали мне все эти свои наблюдения, я был с виду мрачен и подавлен, а вся душа моя трепетала от гордости, счастья и насмешки.

Татьяны Николаевны и ее мужа на вечере не было – не знаю, обратили ли вы на это внимание. И это не было случайностью: я боялся запугать ее или, еще хуже, внушить ей подозрение. Если существовал человек, который мог проникнуть в мою игру, так это только она.

И вообще тут ничего не было случайного. Наоборот, каждая мелочь, самая ничтожная, была строго продумана. Момент припадка – за ужином – я выбрал потому, что все будут в сборе и будут несколько возбуждены вином. Сел я у края стола, подальше от канделябров со свечами, так как вовсе не хотел устроить пожара или обжечь себе нос. Рядом с собою я посадил Павла Петровича Поспелова, эту жирную свинью, которой мне давно хотелось сделать какую-нибудь неприятность. Особенно противен он, когда ест. Когда первый раз я увидел его за этим занятием, мне пришло в голову, что еда есть дело безнравственное. Тут все это приходилось кстати. И, наверное, ни одна душа не заметила, что тарелка, разлетевшаяся под моим кулаком, была сверху покрыта салфеткой, чтобы не порезать руки.

Самый фокус был поразительно груб, даже глуп, но на это именно я и рассчитывал. Более тонкой шутки они не поняли бы. Сперва я размахивал руками и «возбужденно» разговаривал с Павлом Петровичем, пока тот не начал в удивлении таращить свои глазенки; потом я впал в «сосредоточенную задумчивость», дождавшись вопроса со стороны обязательной Ирины Павловны:

– Что с вами, Антон Игнатьевич? Отчего вы такой мрачный?

И, когда все взоры обратились на меня, я трагически улыбнулся.

– Вы нездоровы?

– Да. Немного. Кружится голова. Но не беспокойтесь, пожалуйста. Это сейчас пройдет.

Хозяйка успокоилась, а Павел Петрович подозрительно, с неодобрением покосился на меня. И в следующую минуту, когда он с блаженным видом поднес к губам рюмку портвейна, я – раз! – выбил рюмку из-под самого его носа, два! – трахнул кулаком по тарелке. Осколки летят, Павел Петрович барахтается и хрюкает, барыни визжат, а я, оскалив зубы, тащу со стола скатерть со всем, что на ней есть, – это была преуморительная картина!

Да. Ну вот меня обступили, схватили: кто воды несет, кто усаживает меня в кресло, а я рычу, как тигр в Зоологическом, и глазами выделяю. И все это было так нелепо, и все они были так глупы, что мне, ей-богу, не на шутку захотелось разбить несколько этих морд, пользуясь привилегированностью моего положения. Но я, конечно, воздержался.

Дальше картина медленного успокоения, с бурным вздыманием груди, закатыванием глаз, поскрипыванием зубами и слабыми вопросами:

– Где я? Что со мною?

Даже это нелепо французское: «где я?» – имело успех у этих господ, и не меньше трех дураков немедленно отапортовали:

– У Каргановых. (Сладким голосом.) Вы знаете, дорогой доктор, кто такая Ирина Павловна Карганова?

Положительно они были слишком мелки для хорошей игры!

Через день – я дал время дойти слухам до Савеловых – разговор с Татьяной Николаевной и Алексеем. Последний как-то не осмыслил происшедшего и ограничился вопросом:

– Что это ты, брат, натворил у Каргановых?

Повертел своим пиджачком и ушел в кабинет заниматься. Этак, сойди я действительно с ума, он и не поперхнулся бы. Зато особенно многоречиво, бурно и, конечно, неискренно было сочувствие его супруги. И тут... не то чтобы мне стало жаль начатого, а просто явился вопрос: да стоит ли?

– Вы сильно любите мужа? – сказал я Татьяне Николаевне, провожавшей взором Алексея.

Она быстро обернулась.

– Да. А что?

– Да ничего, так, – и после минутного молчания, осторожного, полного невысказанных мыслей, я добавил: – Почему вы не доверяете мне?

Она быстро и прямо посмотрела мне в глаза, но не ответила. И в эту минуту я забыл, что когда-то давно она засмеялась, и не было у меня зла на нее и то, что я делаю, показалось мне ненужным и странным. Это была усталость, естественная после сильного подъема нервов, и длилась она всего одно мгновение.

– А разве вам можно верить? – спросила Татьяна Николаевна после долгого молчания.

– Конечно, нельзя, – шутливо ответил я, а внутри меня уже снова разгорался потухший огонь.

Силу, смелость, ни перед чем не останавливающуюся решимость ощутил я в себе. Гордый уже достигнутым успехом, я смело решил идти до конца. Борьба – вот радость жизни.

Второй припадок случился через месяц после первого. Здесь не все было так продумано, да это и излишне при существовании общего плана. У меня не было намерения устраивать его именно в этот вечер, но, раз обстоятельства складывались так благоприятно, глупо было бы не воспользоваться ими. И я ясно помню, как все это произошло. Мы сидели в гостиной и болтали, когда мне стало очень грустно. Мне живо представилось – вообще это редко бывает, – как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключенный в эту голову, в эту тюрьму. И тогда все они стали противны мне. И с яростью я ударил кулаком и закричал что-то грубое и с радостью увидел испуг на их побледневших лицах.

– Негодяи! – кричал я. – Поганые, довольные негодяи! Лжецы, лицемеры, ехидны. Ненавижу вас!

И правда, что я боролся с ними, потом с лакеями и кучерами. Но ведь я знал, что борюсь, и знал, что это нарочно. Просто мне было приятно бить их, сказать прямо в глаза правду о том, какие они. Разве всякий, кто говорит правду, сумасшедший? Уверяю вас, гг. эксперты, что я все сознавал, что, ударяя, я чувствовал под рукою живое тело, которому больно. А дома, оставшись один, я смеялся и думал, какой я удивительный, прекрасный актер. Потом я лег спать и на ночь читал книжку; даже могу вам сказать, какую: Гюи де Мопассана; как всегда, наслаждался ею и заснул, как младенец. А разве сумасшедшие читают книги и наслаждаются ими? Разве они спят, как младенцы?

Сумасшедшие не спят. Они страдают, и в голове у них все мутится. Да. Мутится и падает... И им

хочется выть, царапать себя руками. Им хочется стать вот так, на четвереньки, и ползти тихо-тихо, и потом разом вскочить и закричать:

– Ага!

И засмеяться. И выть. Так поднять голову и долго-долго протяжно-протяжно, жалко-жалко.

Да. Да.

А я спал, как младенец. Разве сумасшедшие спят, как младенцы?

Лист четвертый

Вчера вечером сиделка Маша спросила меня:

– Антон Игнатьевич! Вы никогда не молитесь богу?

Она была серьезна и верила, что я отвечу ей искренно и серьезно. И я ответил ей без улыбки, как она хотела:

– Нет, Маша, никогда. Но, если это доставит вам удовольствие, вы можете перекрестить меня.

И все так же серьезно она трижды перекрестила меня, и я был очень рад, что доставил минуту удовольствия этой превосходной женщине. Как все высоко стоящие и свободные люди, вы, гг. эксперты, не обращаете внимания на прислугу, но нам, арестантам и «сумасшедшим», приходится видеть ее близко и подчас совершать удивительные открытия. Так, вам, вероятно, не приходило и в голову, что сиделка Маша, приставленная вами наблюдать за сумасшедшими, – *сама сумасшедшая*? А это так.

Приглядитесь к ее походке, бесшумной, скользкой, немного пугливой и удивительно осторожной и ловкой, точно она ходит между невидимыми обнаженными мечами. Всмотритесь в ее лицо, но сделайте это как-нибудь незаметно для нее, чтобы она не знала о вашем присутствии. Когда приходит кто-нибудь из вас, лицо Маши становится серьезным, важным, но снисходительно улыбающимся – как раз то выражение, которое в этот момент господствует на вашем лице. Дело в том, что Маша обладает странною и многозначительною способностью произвольно отражать на своем лице выражение всех других лиц. Иногда она смотрит на меня и улыбается. Этакая бледная, отраженная, словно чуждая улыбка. И я догадываюсь, что я улыбался, когда она взглянула на меня. Иногда лицо Маши становится страдальческим, угрюмым, брови сходятся к переносью, углы рта опускаются; все лицо стареет на десяток лет и темнеет, – вероятно, таково же иногда мое лицо. Случается, что я ее пугаю своим взглядом. Вы знаете, как странный и немного страшен взгляд всякого глубоко задумавшегося человека. И глаза Маши расширяются, зрачок темнеет, и, слегка приподняв руки, она бесшумно идет ко мне и что-нибудь со мной делает, дружеское и неожиданное: приглаживает мне волосы или поправляет халат.

– Пояс у вас развяжется! – говорит она, а лицо ее все такое же испуганное.

Но мне случается видеть ее одну. И когда она одна, на лице ее странно отсутствует всякое выражение. Оно бледно, красиво и загадочно, как лицо мертвеца. Крикнешь ей: «Маша!» – она быстро обернется, улыбнется своею нежною и пугливою улыбкою и спросит:

– Вам подать что-нибудь?

Она всегда что-нибудь подает, принимает и, если ей нечего подавать, принимать и убирать, видимо, беспокоится. И всегда она бесшумная. Я ни разу не замечал, чтобы она что-нибудь уронила или стукнула. Я пробовал говорить с нею о жизни, и она странно равнодушна ко всему, даже к убийствам, пожарам и всякому другому ужасу, который так действует на малоразвитых людей.

– Вы понимаете: их убивают, ранят, и у них остаются маленькие голодные дети, – говорил я ей про войну.

– Да, понимаю, – ответила она и задумчиво спросила: – Вам не дать ли молока, вы сегодня мало кушали?

Я смеюсь, и она отвечает немного испуганным смехом. Она ни разу не была в театре, не знает, что Россия – государство и что есть другие государства; она неграмотна и Евангелие слышала только то, которое отрывками читают в церкви. И каждый вечер она становится на колени и подолгу молится.

Я долго считал ее просто ограниченным, тупым существом, рожденным для рабства, но один случай заставил меня изменить взгляд. Вы, вероятно, знаете, вам, вероятно, сказали, что я пережил здесь одну скверную минуту, которая ничего, конечно, не доказывает, кроме усталости и временного упадка сил. *Это было полотенце.* Конечно, я сильнее Маши и мог убить ее, так как мы были только вдвоем, и если б она крикнула или схватила меня за руку... Но она ничего этого не сделала. Она только сказала:

– Не надо, голубчик.

Я часто потом думал над этим «*не надо*» и до сих пор не могу понять той удивительной силы, которая в нем заключена и которую я чувствую. Она не в самом слове, бессмысленном и пустом; она где-то в неизвестной мне и недоступной глубине Машин души. Она знает что-то. Да, она знает, но не может или не хочет сказать. Потом я много раз добивался от Маши объяснения этого «не надо», и она не могла объяснить.

– Вы думаете, что самоубийство – грех? Что его запретил бог?

– Нет.

– Почему же не надо?

– Так. Не надо. – И она улыбается и спрашивает: – Вам не принести чего-нибудь?

Положительно, она сумасшедшая, но тихая и полезная, как многие другие сумасшедшие. И вы не трогайте ее.

Я позволил себе уклониться от повествования, так как вчерашний Машин поступок бросил меня к воспоминаниям о детстве. Матери я не помню, но у меня была тетя Анфиса, которая всегда крестила меня на ночь. Она была молчаливая старая дева, с прыщами на лице, и очень стыдилась, когда отец шутил с ней о женихах. Я был еще маленький, лет одиннадцати, когда она удавилась в маленьком сарайчике, где у нас складывали уголья. Отцу она потом все представлялась, и этот веселый атеист заказывал обедни и панихиды.

Он был очень умный и талантливый, мой отец, и его речи в суде заставляли плакать не только нервных дам, но и серьезных, уравновешенных людей. Только я не плакал, слушая его, потому что знал его и знал, что сам он ничего не понимает из того, что говорит. У него много было знаний, много мыслей и еще больше слов; и слова, и мысли, и знания часто комбинировались очень удачно и красиво, но он сам ничего в этом не понимал. *Я часто сомневался даже, существует ли он,* – до того весь он был вовне, в звуках и жестах, и мне часто казалось, что это не человек, а мелькающий в синематографе образ, соединенный с граммофоном. Он не понимал, что он человек, что сейчас он живет, а потом умрет, и ничего не искал. И когда он ложился в постель, переставал двигаться и засыпал, он, наверное, не видел никаких снов и переставал существовать. Своим языком – он был адвокатом – он зарабатывал тысяч тридцать в год, и ни разу он не удивился и не задумался над этим обстоятельством. Помню, мы поехали с ним в только что купленное имение, и я сказал, указывая на деревья парка:

– Клиенты?

Он улыбнулся, польщенный, и ответил:

– Да, брат, талант – великое дело.

Он много пил, и опьянение выражалось только в том, что все у него начинало быстрее двигаться, а потом сразу останавливалось – это он засыпал. И все считали его необыкновенно даровитым, а он постоянно говорил, что если б он не сделался знаменитым адвокатом, то был бы знаменитым художником или писателем. К сожалению, это правда.

И менее всего понимал он меня. Однажды случилось так, что нам грозила потеря всего состояния. И для меня это было ужасно. В наши дни, когда только богатство дает свободу, я не знаю, чем бы я стал, если б судьба поставила меня в ряды пролетариата. Я и сейчас без гнева не могу себе представить, что кто-нибудь осмеливается наложить на меня свою руку, заставляет меня делать то, чего я не хочу, покупает за гроши мой труд, мою кровь, мои нервы, мою жизнь. Но этот ужас я испытал только на одну минуту, а в следующую я понял, что такие, как я, никогда не бывают бедны. А отец не понимал этого. Он искренно считал меня тупым юношей и со страхом смотрел на мою мнимую беспомощность.

– Ах, Антон, Антон, что будешь ты делать?.. – говорил он.

Сам он совсем раскис: длинные, нечесанные волосы свисли на лоб, лицо было желто. Я ответил:

– За меня, папаша, не беспокойся. Так как я не талантлив, то я убью Ротшильда или ограблю банк.

Отец рассердился, так как принял мой ответ за неуместную и плоскую шутку. Он видел мое лицо, он слышал мой голос и все-таки принял это за шутку. Жалкий, картонный паяц, по недоразумению считавшийся человеком!

Души моей он не знал, а весь внешний распорядок моей жизни возмущал его, ибо не вкладывался в его понимание. В гимназии я хорошо учился, и это его огорчало. Когда приходили гости – адвокаты, литераторы и художники, – он тыкал в меня пальцем и говорил:

– А сын-то у меня – первый ученик. Чем прогневал я бога?

И все смеялись надо мною, и я смеялся над всеми. Но еще более, чем мои успехи, огорчало его мое поведение и костюм. Он нарочно приходил в мою комнату, с тем чтобы незаметно для меня переложить книги на столе и произвести хоть какой-нибудь беспорядок. Моя аккуратная прическа лишала его аппетита.

– Инспектор приказывает коротко стричься, – говорил я серьезно и почтительно.

Он крупно ругался, а внутри меня все дрожало от презрительного хохота, и не без основания делил я тогда весь мир на инспекторов просто и инспекторов наизнанку. И все они тянулись к моей голове: одни – чтобы остричь ее, другие – чтобы вытянуть из нее волосы.

Хуже всего для отца были мои тетрадки. Иногда, пьяный, он рассматривал их с безнадежным и комическим отчаянием.

– Случалось ли тебе хоть раз поставить кляксу? – спрашивал он.

– Да, случалось, папаша. Третьего дня я капнул на тригонометрию.

– Вылизал?

– То есть как вылизал?

– Ну да, вылизал кляксу?

– Нет, я приложил пропускной бумаги.

Отец пьяным жестом отмахивался рукой и ворчал, поднимаясь:

– Нет, ты не сын мне. Нет, нет!

Среди ненавистных ему тетрадок была одна, которая могла, однако, доставить ему удовольствие. В ней также не было ни одной кривой строчки, ни кляксы, ни помарки. И стояло в ней приблизительно следующее: *«Мой отец – пьяница, вор и трус»*.

Далее следовали некоторые подробности, которые, из уважения к памяти отца, а также и к закону я не считаю нужным передавать.

Здесь мне приходит на память один забытый мною факт, который, как я вижу теперь, не будет лишен для вас, гг. эксперты, крупного интереса. Я очень рад, что вспомнил его, очень, очень рад. Как я мог его забыть?

У нас в доме жила горничная Катя, которая была любовницей отца и одновременно любовницей моею. Отца она любила потому, что он давал ей деньги, а меня за то, что я был молод, имел красивые черные глаза и не давал денег. И в ту ночь, когда труп моего отца стоял в зале, я отправился в комнату Кати. Она была недалеко от залы, и в ней явственно слышно было чтение дьячка.

Думаю, что бессмертный дух моего отца получил полное удовлетворение!

Нет, это действительно интересный факт, и я не понимаю, как мог я забыть его. Вам, гг. эксперты, это может показаться мальчишеством, детской выходкой, не имеющей серьезного значения, но это неправда. Это, гг. эксперты, была жестокая битва, и победа в ней недешево досталась мне. Ставкой была моя жизнь. Струсь я, поверни назад, окажись неспособным к любви – я убил бы себя. *Это было решено, я помню.*

И то, что я делал, для юноши моих лет было не так-то легко. Теперь я знаю, что я боролся с ветряной мельницей, но тогда все дело представлялось мне в ином свете. Сейчас мне уже трудно воспроизвести в памяти пережитое, но чувство, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. И я ужасно трусил, до смешного, но все-таки справился с собою, и когда вошел к Кате, то был готов к поцелуям, как Ромео.

Да, тогда я был еще, как кажется, романтиком. Счастливая пора, как она далека! Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него. И тут же вздрогнул, испугавшись шевельнувшегося покрывала. Счастливая, далекая пора!

Боюсь думать, но, кажется, я никогда не переставал быть романтиком. И чуть ли я не был идеалистом. Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли, и это было еще так недавно. И мне страшно подумать, что вся моя жизнь была обманом, что всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актер, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом; он выпрашивал их у посетителей, крал и таскал их из клозета, и сторожа грубо шутили, а он искренно и глубоко презирал их. Я ему понравился, и на прощание он дал мне миллион.

– Это небольшой миллиончик, – сказал, – но вы меня извините: у меня сейчас такие расходы, такие расходы.

И, отведя меня в сторону, шепотом пояснил:

– Сейчас я присматриваюсь к Италии. Хочу прогнать папу и ввести там новые деньги, вот эти. И потом, в воскресенье, объявлю себя святым. Итальянцы будут рады: они всегда очень радуются, когда им дают нового святого.

Не с этим ли миллионом я жил?

Мне страшно подумать, что мои книги, мои товарищи и друзья, все так же стоят в своих шкапах и молчаливо хранят то, что я считал мудростью земли, ее надеждой и счастьем. Я знаю, гг. эксперты, что сумасшедший ли я, или нет, но с вашей точки зрения, я негодай, – посмотрели бы вы на этого негодая, когда он входит в свою библиотеку?!

Сходите, гг. эксперты, осмотрите мою квартиру, – это будет для вас интересно. В левом верхнем ящике письменного стола вы найдете подробный каталог книг, картин и безделушек; там же вы найдете ключи от шкапов. Вы сами – люди науки, и я верю, что вы с должным уважением и аккуратностью

отнесетесь к моим вещам. *Также прошу вас следить, чтобы не коптили лампы.* Нет ничего ужаснее этой копоти: она забирается всюду, и потом стоит большого труда удалить ее.

На клочке

Сейчас фельдшер Петров отказался дать мне Chloralamid'у в той дозе, в какой я требую. Прежде всего я врач и знаю, что делаю, и затем, если мне будет отказано, я приму решительные меры. Я две ночи не спал и вовсе не желаю сходить с ума. Я требую, чтобы мне дали хлораламиду. Я этого требую. *Это бесчестно* – сводить с ума.

Лист пятый

После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мною поспешно захлопывались двери; при случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали:

– Ну как, голубчик, здоровье?

Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважения окружающих. Я смотрел на людей и думал: если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет. И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться; словно шелуха какая-то спала с него, он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно.

Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в соответствии с изменившимися обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное отпущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие – научно-медицинское удостоверение моей болезни.

И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж.

– Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьевич, – говорила Татьяна Николаевна.

Она никогда раньше не называла меня «дорогим», и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку.

– Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу, – покорно ответил я.

Мы втроем – Алексей был тут же – сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство.

– Да, Антон, обязательно сходи, – авторитетно подтвердил Алексей. – А то наделаешь чего-нибудь такого.

– Но что же я могу «наделать»? – робко оправдывался я перед своим строгим другом.

– Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь.

Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея и спрашивал:

– Голову? Ты говоришь – голову?

– Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как эта, и готово.

Это становилось интересно. *Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить, а теперь эта самая голова рассуждала, как это выйдет.* Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников, – какая чепуха!

– Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью, – сказал я. – Она слишком легка.

– Что ты говоришь: легка! – возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул. – Попробуй!

– Да я же знаю...

– Нет, ты возьми вот так и увидишь.

Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами, она сказала, скорее закричала:

– Алексей, оставь! Алексей, оставь!

– Что ты, Таня? Что с тобой? – изумился он.

– Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие шутки.

Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол.

У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен; спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя, советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое звание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. Конечно, гг. эксперты, вы не придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев: как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета.

Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели, как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным, нелепым языком, и только один я знал, что я здоров, как никто, и наслаждался отчетливой, могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое – это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад; если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой, – вот величайшее чудо и глубочайшая тайна.

И я наслаждался своей мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как любовница, служила мне, как раба, и поддерживала меня, как друг. Не думайте, что все эти дни, проведенные дома в четырех стенах, я размышлял только о своем плане. Нет, там все было ясно и все продумано. Я размышлял обо всем. Я и моя мысль – мы словно играли с жизнью и смертью и высоко-высоко парили над ними. Между прочим, я решил в те дни две очень интересные шахматные задачи, над которыми трудился давно, но безуспешно. Вы знаете, конечно, что три года назад я участвовал в международном шахматном турнире и занял второе место после Ласкера. Если б я не был врагом всякой публичности и продолжал участвовать в состязаниях, *Ласкеру пришлось бы уступить насиженное место.*

И с той минуты, как жизнь Алексея была отдана в мои руки, я почувствовал к нему особенное расположение. Мне приятно было думать, что он живет, пьет, ест и радуется, и все это потому, что я позволяю. Чувство, схожее с чувством отца к сыну. И что меня тревожило, так это его здоровье. При всей своей хилости он непростительно неосторожен: отказывается носить фуфайку и в самую опасную, сырую погоду выходит без калош. Успокоила меня Татьяна Николаевна. Она заехала навестить меня и рассказала, что Алексей совершенно здоров и даже спит хорошо, что с ним редко бывает. Обрадованный, я попросил Татьяну Николаевну передать Алексею книгу – редкий экземпляр, случайно попавший мне в руки и давно нравившийся Алексею. Быть может, с точки зрения моего плана, этот подарок был ошибкой: могли заподозрить в этом преднамеренную подтасовку, но мне так хотелось доставить Алексею удовольствие, что я решил немного рискнуть. Я пренебрег даже тем обстоятельством, что в смысле художественности моей игры подарок был уже шаржем.

С Татьяной Николаевной в этот раз я был очень мил и прост и произвел на нее хорошее впечатление. Ни она, ни Алексей не видели ни одного моего припадка, и им, очевидно, трудно, даже невозможно было представить меня сумасшедшим.

– Заезжайте же к нам, – просила Татьяна Николаевна при прощании.

– Нельзя, – улыбнулся я. – Доктор не велел.

– Ну вот еще пустяки. К нам можно – это все равно что дома. И Алеша скучает без вас.

Я обещал, *и ни одно обещание не давалось с такой уверенностью в исполнении, как это*. Не кажется ли вам, гг. эксперты, когда вы узнаете обо всех этих счастливых совпадениях, не кажется ли вам, что уже не мною только был осужден на смерть Алексей, а и кем-то другим? А в сущности, никакого «другого» нет, и все так просто и логично.

Чугунное пресс-папье стояло на своем месте, когда одиннадцатого декабря, в пять часов вечера, я вошел в кабинет к Алексею. Этот час перед обедом – обедают они в семь часов – и Алексей и Татьяна Николаевна проводят в отдыхе. Моему приходу очень обрадовались.

– Спасибо за книгу, дружиче, – сказал Алексей, трясая мою руку. – Я и сам собирался к тебе, да Таня сказала, что ты совсем поправился. Мы нынче в театр – едем с нами?

Начался разговор. В этот день я решил совсем не притворяться; в этом отсутствии притворства было свое тонкое притворство, и, находясь под впечатлением пережитого подъема мысли, говорил много и интересно. Если б почитатели таланта Савелова знали, сколько лучших «его» мыслей зародилось и было выношено в голове никому не известного доктора Керженцева!

Я говорил ясно, точно, отделявая фразы; я смотрел в то же время на стрелку часов и думал, что, когда она будет на шести, я стану убийцей. И я говорил что-то смешное, и они смеялись, а я старался запомнить ощущение человека, который еще не убийца, но скоро станет убийцей. Уже не в отвлеченном представлении, а совсем просто понимал я процесс жизни в Алексее, биение его сердца, переливание в висках крови, бесшумную вибрацию мозга и то – как процесс этот прервется, сердце перестанет гнать кровь и замрет мозг.

На какой мысли он замрет?

Никогда ясность моего сознания не достигала такой высоты и силы; никогда не было так полно ощущение многогранного, стройно работающего «я». Точно бог: не видя – я видел, не слушая – я слышал, не думая – я сознавал.

Оставалось семь минут, когда Алексей лениво поднялся с дивана, потянулся и вышел.

– Я сейчас, – сказал он, выходя.

Мне не хотелось смотреть на Татьяну Николаевну, и я отошел к окну, раздвинул драпри и стал. И, не глядя, я почувствовал, как Татьяна Николаевна торопливо прошла комнату и стала рядом со мною. Я слышал ее дыхание, знал, что она смотрит не в окно, а на меня, и молчал.

– Как славно блестит снег, – сказала Татьяна Николаевна, но я не отозвался. Дыхание ее стало чаще, потом прервалось.

– Антон Игнатьевич! – сказала она и остановилась.

Я молчал.

– Антон Игнатьевич! – повторила она так же нерешительно, и тут я взглянул на нее.

Она быстро отшатнулась, чуть не упала, точно ее отбросило той страшной силой, которая была в моем

взгляде. Отшатнулась и бросилась к вошедшему мужу.

– Алексей! – бормотала она. – Алексей... Он...

– Ну, что он?

Не улыбаясь, но голосом оттеняя шутку, я сказал:

– Она думает, что я хочу убить тебя этой штукой.

И совсем спокойно, не скрываясь, я взял пресс-папье, приподнял его в руке и спокойно подошел к Алексею. Он не мигая смотрел на меня своими бледными глазами и повторял:

– Она думает...

– Да, она думает.

Медленно, плавно я стал приподнимать свою руку, и Алексей так же медленно стал приподнимать свою, все не спуская с меня глаз.

– *Погоди!* – строго сказал я.

Рука Алексея остановилась, и, все не спуская с меня глаз, он недоверчиво улыбнулся, бледно, одними губами. Татьяна Николаевна что-то страшно крикнула, но было поздно. Я ударил острым концом в висок, ближе к темени, чем к глазу. И когда он упал, я нагнулся и еще два раза ударил его. Следовательно говорил мне, что я бил его много раз, потому что голова его вся раздроблена. Но это неправда. Я ударил его всего-навсего три раза: раз, когда он стоял, и два раза потом, на полу.

Правда, что удары были очень сильны, но их было всего три. Это я помню наверно. *Три удара.*

Лист шестой

Не старайтесь разобрать зачеркнутое в конце четвертого листа и вообще не придавайте излишнего значения моим пометкам, как мнимым признакам расстроенного мышления. В том странном положении, в котором я очутился, я должен быть страшно осторожен, чего я не скрываю и что вы прекрасно понимаете.

Ночной мрак всегда сильно действует на утомленную нервную систему, и потому так часто приходят ночью страшные мысли. А в ту ночь, первую за убийством, мои нервы были, конечно, в особенном напряжении. Как я ни владел собою, но убить человека не шутка. За чаем, уже приведя себя в порядок, отмывши ноги и переменяя платье, я позвал посидеть с собою Марью Васильевну. Это моя экономка и отчасти жена. У нее, кажется, есть на стороне любовник, но женщина она красивая, тихая и не жадная, и я легко помирился с этим маленьким недостатком, который почти неизбежен в положении человека, приобретающего любовь за деньги. И вот эта глупая женщина первая нанесла мне удар.

– Поцелуй меня, – сказал я.

Она глупо улыбнулась и застыла на своем месте.

– Ну же!

Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря:

– Антон Игнатьевич, душечка, сходите к доктору!

– Чего еще? – рассердился я.

– Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!

А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с нею ласков и ровен. «Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает», – мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Мария Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх.

– Ступайте, – приказал я.

Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние в общем было такое, как у актера после блестяще сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Мария Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли: а вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди!» я был очень доволен. Действительно, это редкий и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения.

– «Погоди!» – повторял я, закрыв глаза, и улыбался.

И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами моей мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то, лице:

«А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Три, четыре раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая:

«Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Но когда я понял... Сперва я подумал, что эту фразу сказала Марья Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея. Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я, – и это был ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал:

– Так. Все кончено. Случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно – сумасшествие.

Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде – взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но господи! Разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несокрушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати: позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же, как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. *Завесьте!*

Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас.

Этот вечер.

Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту.

Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыкою им был чудовищный голос, гулкий, как труба, и несся он откуда-то из неведомой мне глубины. *Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке.* Из головы, где я крепко держал ее, она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности.

«Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!..»

Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли – те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать.

И самое страшное, что я испытал, – это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, *живут*. Живут какие-то загадочные существа, быть может, люди, быть может, что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба.

Я подошел к зеркалу... Завесьте зеркала. Завесьте!

Потом я ничего не помню до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали: девять. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только два часа, а с момента убийства Алексея – около трех.

Простите, гг. эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительной уверенностью, что все так слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню – это мысль, или голос, или еще что-то:

«Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший».

Сейчас я пробовал свой пульс: 180! Это сейчас, только при одном воспоминании!

Лист седьмой

Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора, и, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложное представление о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, гг. эксперты.

Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил потому, что был сумасшедшим; и навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все, есть холодное сознание падения гибели, обмана и неразрешимости.

Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый, и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но, со всею вашею ученостью, вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Превосходная, энергичная мысль – ведь и врагам следует отдавать должное!

Я – сумасшедший. Не угодно ли выслушать – почему?

Первою осуждает меня наследственность, та самая наследственность, которой я так обрадовался, обдумывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве... Виноват, господа. Я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-нибудь опасность для себя. Просто я не хотел загромаждать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обинуясь, передаю ее.

Так вот. Наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась, незаметно для самого меня, много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как *все сумасшедшие*, бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышления, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска. Не так ли?

Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокровии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть все ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность.

Так, раненный насмерть, я в цирке играл,
Гладиатора смерть представляя...

Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль: уж не сумасшедший ли я действительно? Но я как-то отделялся от этой мысли, забывал о ней.

И, доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что *я не сумасшедший* – вот что я увидел. Извольте выслушать.

Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки, – это дегенерация. Я один из вырождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, гг. эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нормального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был бы сложен, как Аполлон, и здоров, как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации – она вводит меня в славную компанию.

Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, одиноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытать свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлезают, рискуя жизнью, на неприступные горы только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими? Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия! В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь.

Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоящими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятие считают безумием.

Мой план... Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости, но разве он не разумен с точки зрения поставленной мною цели? И именно моя склонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли, – но разве гениальность и вправду умопомешательство? Хладнокровие, – но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Труссы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных, и храбрость – разве безумие?

А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый! Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отождествился с изображаемым лицом и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся лицедеев нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить?

Довольно убедительно, не правда ли, гг. ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи: когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего.

Да. Это потому, что вы не верите мне... Но и я не верю себе, ибо кому в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому? Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль!

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет?

Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи?

Я знаю ваш ответ, Маша. *Нет, это не то.* Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии, вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убирая, вертится. А она вертится, Маша, вы тупое существо, почти растение, и я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас.

Нет, Маша, не вы ответите мне. И вы ничего не знаете, это неправда. В одной из темных каморок вашего нехитрого дома живет кто-то, очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. *Он умер, Маша, умер – и не воскреснет.*

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет? Простите, что я с такой невежливой настойчивостью привязываюсь к вам с этим вопросом, но ведь вы «люди науки», как называл вас мой отец, когда хотел польстить вам, у вас есть книги, и вы обладаете ясной, точной и непогрешимой человеческой мыслью. Конечно, половина вас останется при одном мнении, другая – при другом, но я вам поверю, гг. ученые, – и первым поверю, и вторым поверю. Скажите же... А в помощь вашему просвещенному уму я приведу интересный, очень интересный фактик.

В один тихий и мирный вечер, проведенный мною среди этих белых стен, на лице Маши, когда оно попадало мне на глаза, я замечал выражение ужаса, растерянности и подчиненности чему-то сильному и страшному. Потом она ушла, а я сел на приготовленной постели и продолжал думать о том, чего мне хочется. А хотелось мне странных вещей. Мне, д-ру Керженцеву, хотелось выть. Не кричать, а именно выть, как вон тот. Хотелось рвать на себе платье и царапать себя ногтями. Взять рубашку у ворота, сперва немного, совсем немного потянуть, а там – раз! – и до самого низа. И хотелось мне, д-ру Керженцеву, стать на четвереньки и ползать. А кругом было тихо, и снег стучал в окна, и где-то неподалеку беззвучно молилась Маша. И я долго обдуманно выбирал, что мне сделать. Если выть, то выйдет громко и получится скандал. Если разодрать рубашку, то завтра заметят. И вполне разумно я выбрал третье: ползать. Никто не услышит, а если увидят, то скажу, что оторвалась пуговица и я ищу ее.

И пока я выбирал и решал, было хорошо, не страшно и даже приятно, так что, помнится, я болтал ногой. Но вот я подумал:

«Да зачем же ползать? Разве я действительно сумасшедший?»

И стало страшно, и сразу захотелось всего: ползать, выть, царапаться. И я обозлился.

– Ты хочешь ползать? – спросил я.

Но оно молчало, оно уже не хотело.

– Нет, ведь ты хочешь ползать? – настаивал я.

И оно молчало.

– Ну, ползай же!

И, засучив рукава, я стал на четвереньки и пополз. И когда я обошел еще только половину комнаты, мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал.

С привычной и не угасшей еще верой в то, что можно что-то знать, я думал, что нашел источник своих безумных желаний. Очевидно, желание ползать и другие были результатом самовнушения. Настойчивая мысль о том, что я сумасшедший, вызывала и сумасшедшие желания, а как только я выполнил их, оказалось, что и желаний-то никаких нет и я не безумный. Рассуждение, как видите, весьма простое и логическое. Но...

Но ведь все-таки я ползал? Я ползал? Кто же я – оправдывающийся сумасшедший или здоровый, сводящий себя с ума?

Помогите же мне вы, высокоученые мужи! Пусть ваше авторитетное слово склонит весы в ту или другую сторону и решит этот ужасный, дикий вопрос. Итак, я жду!..

Напрасно я жду. О мои милые головастики – разве вы не я? Разве в ваших лысых головах работает не та же подлая, человеческая мысль, вечно лгущая, изменчивая, призрачная, как у меня? И чем моя хуже вашей? Вы станете доказывать, что я сумасшедший, – я докажу вам, что я здоров; вы станете доказывать, что я здоров, – я докажу вам, что я сумасшедший. Вы скажете, что нельзя красть, убивать и обманывать, потому что это безнравственность и преступление, а я вам докажу, что можно убивать и грабить и что это

очень нравственно. И вы будете мыслить и говорить, и я буду мыслить и говорить, и все мы будем правы, и никто из нас не будет прав. Где судья, который может рассудить нас и найти правду?

У вас есть громадное преимущество, которое дает одним вам знание истины: вы не совершили преступления, не находитесь под судом и приглашены за приличную плату исследовать состояние моей психики. И потому я сумасшедший. А если бы сюда посадили вас, профессор Држембицкий, и меня пригласили бы наблюдать за вами, то сумасшедшим были бы вы, а я был бы важной птицей – экспертом, лгуном, который отличается от других лгунов только тем, что лжет не иначе как под присягой.

Правда, вы никого не убивали, не совершали кражи ради кражи, и когда нанимаете извозчика, то обязательно выторговываете у него гривенник, что доказывает полное ваше душевное здоровье. Вы не сумасшедший. Но может случиться совсем неожиданная вещь...

Вдруг завтра, сейчас, сию минуту, когда вы читаете эти строки, вам пришла ужасно глупая, но неосторожная мысль: а не сумасшедший ли и я? Кем вы будете тогда, г. профессор? Этакая глупая, вздорная мысль – ибо отчего вам сходить с ума? Но попробуйте прогнать ее. Вы пили молоко и думали, что оно цельное, пока кто-то не сказал, что оно смешано с водой. И конечно – нет более цельного молока.

Вы сумасшедший. Не хотите ли проползти на четвереньках? Конечно, не хотите, ибо какой же здоровый человек захочет ползать! Ну а все-таки? Не является ли у вас такого легонького желания, совсем легонького, совсем пустячного, над которым смеяться хочется, – соскользнуть со стула и немного, совсем немного, проползти? Конечно, не является, откуда ему явиться у здорового человека, который сейчас только пил чай и разговаривал с женой. Но не чувствуете ли вы ваших ног, хотя раньше вы их не чувствовали, и не кажется ли вам, что в коленях происходит что-то странное: тяжелое онемение борется с желанием согнуть колени, а потом... *Ведь в самом деле: разве кто-нибудь может вас удержать, если вы захотите крошечку проползти?*

Никто.

Но погодите ползать. Вы еще нужны мне. Борьба моя еще не кончена.

Лист восьмой

Одно из проявлений парадоксальности моей натуры: я очень люблю детей, совсем маленьких детей, когда они только что начинают лепетать и бывают похожи на всех маленьких животных: щенят, котят и змеенышей. Даже змеи в детстве бывают привлекательны. И нынешней осенью, в погожий солнечный день, мне довелось видеть такую картинку. Крохотная девочка в ватном пальтеце и капюшоне, из-под которого только и видны были розовые щечки и носик, хотела подойти к совсем уже крохотной собачонке на тонких ножках, с тоненькой мордочкой и трусливо зажатым между ногами хвостом. И вдруг ей стало страшно, она повернулась и, как маленький белый клубочек, покатила к тут же стоявшей няньке и молча, без слез и крика, спрятала лицо у нее в коленях. А крохотная собачонка ласково моргала и пугливо поджимала хвост, и лицо няньки было такое доброе, простое.

– Не бойся, – говорила нянька и улыбалась мне, и лицо у нее было такое доброе, простое.

Не знаю почему, но мне часто вспоминалась эта девочка и на воле, когда я осуществлял план убийства Савелова, и здесь. Тогда же еще, при взгляде на эту милую группу под ясным осенним солнцем, у меня явилось странное чувство, как будто разгадка чего-то, и задуманное мною убийство показалось мне холодной ложью из какого-то другого, совсем особого мира. И то, что обе они, и девочка и собачонка, были такие маленькие и милые, и что они смешно боялись друг друга, и что солнце так тепло светило – все это было так просто и так полно кроткой и глубокой мудростью, будто здесь именно, в этой группе, заключается разгадка бытия. Такое было чувство. И я сказал себе: «Надо об этом как следует подумать», – но так и не подумал.

А теперь я не помню, что же было тогда такое, и мучительно стараюсь понять, но не могу. И я не знаю, зачем я рассказал вам эту смешную, ненужную историйку, когда еще так много нужно мне рассказать серьезного и важного. *Необходимо кончить.*

Оставим в покое мертвецов. Алексей убит, он давно уже начал разлагаться; его нет – черт с ним! В положении мертвецов есть кое-что приятное.

Не будем говорить и о Татьяне Николаевне. Она несчастна, и я охотно присоединяюсь к общим сожалениям, но что значит это несчастье, все несчастья в мире в сравнении с тем, что переживаю сейчас я, д-р Керженцев! Мало ли жен на свете теряют любимых мужей, и мало ли они будут их терять. Оставим их – пусть плачут.

Но вот тут, в этой голове...

Вы понимаете, гг. эксперты, как это ужасно сложилось. Никого в мире не любил я, кроме себя, а в себе я любил не это гнусное тело, которое любят и пошляки, – я любил свою человеческую мысль, свою свободу. Я ничего не знал и не знаю выше своей мысли, я боготворил ее – и разве она не стоила этого? Разве, как исполин, не боролась она со всем миром и его заблуждениями? На вершину высокой горы взнесла она меня, и я видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом перед жизнью и смертью, с их церквями, обеднями и молебнами.

Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своем неприступном замке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины, так непобедим и горд был я в своем замке, за этими черными костями. Царь над самим собой, я был царем и над миром.

И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и – мысли. Мой замок стал моей тюрьмой. В моем замке напали на меня враги. Где же спасение? В неприступности замка, в толщине его

стен – моя гибель. Голос не проходит наружу – и кто сильный спасет меня? Никто. Ибо никого нет сильнее меня, а я – я и есть единственный враг моего «я».

Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в нее и ее любил. Она не стала хуже: та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять ее уже не в моей руке. И меня, ее творца, ее господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других.

Наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Я был тверд на земле, и крепко стояли на ней мои ноги, – а теперь я брошен в пустоту бесконечного пространства. Великое и грозное одиночество, когда я, тот, который живет, чувствует, мыслит, который так дорог и есть единственный, когда я так мал, бесконечно ничтожен и слаб и каждую секунду готов потухнуть. Зловещее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда в самом себе я окружен и задушен угрюмо молчащими, таинственными врагами. Куда ни иду я – я всюду несу их с собою; одинокий в пустоте вселенной, и в самом себе не имею я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокий, когда моими устами, моей мыслью, моим голосом говорят неведомые *они*.

Так жить нельзя. А мир спокойно спит: и мужья целуют своих жен, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке. Безумный, счастливый в своем безумии мир, ужасно будет твое пробуждение!

Кто сильный даст мне руку помощи? Никто. Никто. Где найду я то вечное, к чему я мог бы прилепиться со своим жалким, бессильным, до ужаса одиноким «я»? Нигде. Нигде. О, милая, милая девочка, почему к тебе тянутся сейчас мои окровавленные руки – ведь ты также человек, и также ничтожна и одинока, и подвержена смерти. Жалею ли я тебя или хочу, чтобы ты меня пожалела, но, как за щитом, укрылся бы я за твоим беспомощным тельцем от безнадежной пустоты веков и пространства. Но нет, нет, все это ложь!

О большой, громадной услуге я попрошу вас, гг. эксперты, и, если вы чувствуете в себе хоть немного человека, вы не откажете в ней. Надеюсь, мы достаточно поняли друг друга, настолько, чтобы не верить друг другу. И если я попрошу вас сказать на суде, что я человек здоровый, то менее всего поверю вашим словам я. Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса:

Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?

Но судьи поверят вам и дадут мне то, чего я хочу: каторгу. Прошу вас не придавать ложного толкования моим намерениям. Я не раскаиваюсь, что убил Савелова, я не ищу в каре искупления грехов, и если для доказательства, что я здоров, вам понадобится, чтобы я кого-нибудь убил с целью грабежа, – я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого, чего, я не знаю еще и сам.

Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и снова стану себе другом. Но пусть это неправда, пусть надежда обманет меня, я все-таки хочу быть с ними. О, я знаю вас! Вы трусы и лицемеры, вы больше всего любите ваш покой, и вы с радостью всякого вора, стащившего калач, запрятали бы в сумасшедший дом, – вы охотнее весь мир и самих себя признаете сумасшедшими, нежели осмелитесь коснуться ваших любимых выдумок. Я знаю вас. Преступник и преступление – это вечная ваша тревога, это грозный голос неизведанной бездны, это неумолимое осуждение всей вашей разумной и нравственной жизни, и как бы плотно вы ни затыкали ватой уши, оно проходит, оно проходит! И я хочу к ним. Я, доктор Керженцев, стану в ряды этой страшной для вас армии как вечный укор, как тот, кто спрашивает и ждет ответа.

Не униженно прошу я вас, а требую: скажите, что я здоров. Солгите, если не верите этому. Но если вы малодушно умоете ваши ученые руки и посадите меня в сумасшедший дом или отпустите на свободу, дружески предупреждаю вас: я наделаю вам крупных неприятностей.

Для меня нет судьбы, нет закона, нет недозволенного. Все можно. Вы можете себе представить мир, в котором нет законов притяжения, в котором нет верха, низа, в котором все повинуеться только прихоти и случаю? Я, доктор Керженцев, этот новый мир. Все можно. И я, доктор Керженцев, докажу вам это. Я притворюсь здоровым. Я добьюсь свободы. И всю остальную жизнь я буду учиться. Я окружу себя вашими книгами, я возьму от вас всю мощь вашего знания, которой вы гордитесь, и найду одну вещь, в которой давно назрела необходимость. *Это будет взрывчатое вещество.* Такое сильное, какого не видали еще люди: сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. Я талантлив, настойчив, и я найду его. *И когда я найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного бога.*

На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во все время заседания оставался в одной и той же, ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно, иногда заставляя дважды повторять их. Один раз он насмешил избранную публику, в огромном количестве наполнившую зал суда. Председатель обратился с каким-то приказанием к судебному приставу, и подсудимый, очевидно недослышав или по рассеянности, встал и громко спросил:

– Что? Нужно выходить?

– Куда выходить? – удивился председатель.

– Не знаю. Вы что-то сказали.

В публике засмеялись, и председатель пояснил Керженцеву, в чем дело.

Экспертов-психиатров было вызвано четверо, и мнения их разделились поровну. После речи прокурора председатель обратился к обвиняемому, отказавшемуся от защитника:

– Обвиняемый! Что вы имеете сказать в свое оправдание?

Доктор Керженцев встал. Тусклыми, словно незрячими глазами он медленно обвел судей и взглянул на публику. И те, на кого упал этот тяжелый, невидящий взгляд, испытали странное и мучительное чувство: будто из пустых орбит черепа на них взглянула сама равнодушная и немая смерть.

– Ничего, – ответил обвиняемый.

И еще раз окинул он взором людей, собравшихся судить его, и повторил:

– Ничего.

Апрель 1902 г.

Жили-были

1

Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а сверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье, с черной меткой «Палата № 8», и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

— Уж очень вы велики! — сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных.

Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал и, наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую, отвислую, как у старой женщины, грудь и припухший живот, лежавший на коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое тело, но теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его привычное платье, и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за нею в палату. И ступал он своими медвежьими вывернутыми ногами так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие, — может быть, для наказания. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом няньке, хотя дома, в Саратове, один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей.

— Вот ваше место, — указала нянька на высокую чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик. Это было очень маленькое место, только угол палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человеку. Торопливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял халат, туфли и лег. И с этого момента все, что еще только утром гневило и мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы: неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы; одиночество среди массы алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в Москву, — и так же внезапно потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лаврентий Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полузакрытых глазах снежно-белые стены, луч солнца на одной стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.

На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке: «Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля». Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате; на одной стояло «Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.» на другой — «Студент Константин Торбецкий, 23 лет». Белые меловые буквы красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем, приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича свешали — оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:

– Вы самый тяжелый человек на все клиники.

Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые больные на одобрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он уже давно, между прочим, занимался физиогномикой и по обширной матовой лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер – звали его Иваном Ивановичем – решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств.

Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали доктора; одеты они были в белые балахоны и оттого казались особенно важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда один, и чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней огромной мясистой грудой. Доктора стучали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много работал; и при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов, поступал так нехорошо и вредно для себя. И все старые слова: водка, жизнь, здоровье – становились полны нового и глубокого содержания.

Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили его раздеться, и снова начиналось внимательное и полное интереса рассматривание его тела. С сознанием важности производимого ими дела они вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию няnek он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности, неприспособленности для долгого житья. От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух слишком ровен – в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но, когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят, и их разговоры и расспросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.

– Когда у вас бывают приемные дни? – спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова.

– По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в другие дни, –

словоохотливо ответила нянька.

– А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?

Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо, обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее и хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.

Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на один день раньше Лаврентия Петровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался, и все его слабосильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссера-седые и на концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки выглядывало из них маленькое, темное лицо с правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье, о своих знакомых и так любознательно и наивно расспрашивал о том же других, что никто не мог сердиться и все так же откровенно рассказали. Когда кто-нибудь чихал, о. дьякон издали кричал веселым голосом:

– Исполнение желаний! За милую душу! – и кланялся.

К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по нескольку раз желал выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благополучии проводили время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и приятное. Каждое утро он всех поздравлял: в четверг – с четвергом, в пятницу – с пятницей, и, что бы ни творилось в воздухе, которого он не видел, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал по коленям руками, а иногда даже бил в ладоши. И всех благодарил – иногда трудно было решить, за что. Так, после чая он благодарил угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.

– Так это мы с вами хорошо чайку попили – по-небесному! Верно, отец, а? – говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог.

Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три года назад, а раньше был псаломщиком. И у всех – и у больных, и у проходящих – он спрашивал, какого роста их жены.

– А у меня жена очень высокая, – с гордостью говорил он после того или иного ответа. – И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!

Все в клиниках – чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре – вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и, когда слов не хватало, восклицал:

– За милую душу! Вот как перед богом, за милую душу!

Третьим больным в восьмой палате был черный студент Торбецкий. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная, в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и

понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом: «Радость моя!» – «Я люблю тебя»; иногда они подолгу молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза, как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и двигались. И с той же холодной отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белизне была странная и грустная насмешка.

2

День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых лучей рассвета и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусники, измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее – делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делали больного веселым или печальным. Даже вечно веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

– Вот, отец, штука-то. Аз и ферт, – говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.

– А ты поддержи еще, поторгуйся, – насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.

И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добыть еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Измерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в строжайшем порядке расставил их, а номера – первый, второй, третий... – попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.

С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы – все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил: улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери магазинов – здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы поворотить к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты, вяло бродили по гладким полям; здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но ни он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отпадении желудка у соседа волновала и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая односложно и хмуро; о. дьякон волновался и говорил так громко и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно было понять.

О себе он говорил:

– Когда я пожаловал в клинику...

О няньке передавал:

– Они изволили поставить мне клизму...

Он всегда в точности знал, в каком часу и в какую минуту была у него изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался; благодарил, умилялся и бывал очень доволен собою, если ему удавалось при

прощании сделать не один общий поклон всем докторам, а каждому порознь.

– Так это чинно, – радовался он, – по-небесному!

И еще раз показывал молчавшему Лаврентию Петровичу и улыбающемуся студенту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу и потом доктору Семену Николаевичу.

Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены, но он этого не знал, с восторгом говорил о путешествии в Троице-Сергиеву лавру, которое он совершит по выздоровлении, и о яблоне в своем саду, которая называлась «белый налив» и с которой нынешним летом он ожидал плодов. И в хороший день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными лучами, ни с чем не сравнимыми в своей могучей силе и красоте, когда тени на снежном белье постелей становились прозрачно-синими, совсем летними, о. дьякон напевал трогательную песнь:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую нас от клятвы, владычицу мира песнями почтим!..»

Голос его, слабый и нежный тенор, начинал дрожать, и в волнении, которое он старался скрыть от окружающих, о. дьякон подносил к глазам платок и улыбался.

Потом, пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну и вскидывал глаза к глубокому, безоблачному небу: просторное, далекое от земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавою божественной песнью. И к ее торжественным звукам робко присоединялся дрожащий человеческий голос, полный трепетной и страстной мольбы:

«От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!..»

В определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов электрическая лампочка задерживалась синим матерчатым абажуром, и начиналась такая же длинная и пустая ночь.

Клиники затихали.

Только в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери палат, вязали чулки сиделки и тихо шептались и переругивались, да изредка, громко стуча ногами, проходил кто-нибудь из служителей, и каждый его шаг выделялся отчетливо и замирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно стеклянная, тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из палаты в палату сонное дыхание выздоравливающих, кашель и слабые стоны тяжелых больных. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто в них таилась страшная загадка: хрипит ли больной, или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и холодных стен.

Кроме первой ночи, в которую Лаврентий Петрович забылся крепким сном, все остальные ночи он не спал, и они полны были новых и жутких мыслей. Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на светившуюся сквозь синий абажур изогнутую проволоку и думал о своей жизни. Он не верил в бога, и не хотел жизни, и не боялся смерти. Все, что было в нем, силы и жизни, все было растрчено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове, он воровал у хозяина; его ловили и жестоко, без пощады били, и он ненавидел тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, и они платили ему жгучей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь – и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил их... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти из жизни, позабыть, но тихая ночь была

жестока и безжалостна, и он то смеялся над людской глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы, подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить жизнь, он поворачивал голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях бугорок и темное пятно лица и бороды и злорадно шептал:

– Ду-ррак!

Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, и еще с большим злорадством поправлялся:

– Дура-ки!

А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут, принимало лекарство и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело и скоро было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой обманчивой громадности кажущееся здоровым и сильным.

Слабел и о. дьякон: меньше ходил по палате, реже смеялся, но когда в палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарил всех – и солнце и докторов – и вспоминал все чаще о яблоне «белый налив». Потом он пел «Высшую небес», и темное, осунувшееся лицо его становилось более светлым, но также и более важным: сразу видно было, что это поет дьякон, а не псаломщик. Кончив петь, он подходил к Лаврентию Петровичу и рассказывал, какую бумагу ему дали при посвящении.

– Вот такая огромная, – показывал он руками, – и по всей буквы, буквы. Какие черные, какие с золотой тенью. Редкость, ей-богу!

Он крестился на икону и с уважением к себе добавлял:

– А внизу печать архиерейская. Огромная, ей-богу, – чисто ватрушка. Одно слово, за милую душу! Верно, отец?

И он закатиисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело, и, вздыхая, о. дьякон ложился в постель.

3

В поле и садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных железными решетками, да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту; и от каждой такой лужи в обе стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше редкие и мало заметные, – как будто проходившая здесь толпа разом была подхвачена на воздух и опущена только у следующей лужи. Солнце лило в палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него прятаться, как летом, и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух холоден, свеж и сыр. Сама палата, с ее высокими потолками, казалась при этом свете узким и душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, но когда по утрам в палате открывали большую откидную фортку – внезапно, без переходов, врвался в нее пьяно-веселый и шумный крик воробьев. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он торжествуя разносился по коридорам, подымался по лестницам, дерзко врвался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам. Удаленные в коридор больные улыбались наивному, мальчишески-дерзкому крику, а о. дьякон закрывал глаза, протягивал вперед руки и шептал:

– Воробей! За милую душу, воробей!

Фортка закрывалась, звонкий воробьиный крик умирал так же внезапно, как и родился, но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его, торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали расплывающимися волнами свежего воздуха.

Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простаивали у них, протирая пальцами и без того чистые стекла; неохотно, с ворчаньем ставили градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика из одиннадцатой палаты, который однажды утром был перенесен сторожами в отдельный номер, а затем неведомо куда исчез – «выписался», как говорили няньки. Многие из больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер; несли его головою вперед, и он был неподвижен, только темные впавшие глаза переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое безропотно-печальное и жуткое, что никто из больных не выдерживал их взгляда – и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но никого эта смерть не взволновала и не испугала: здесь она была тем обыкновенным и простым, чем кажется она, вероятно, на войне. Умер за это время и другой больной из той же одиннадцатой палаты. Это был низенький и на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом; ходил он переваливаясь, одним плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту же историю: о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но сам он, видимо, был в восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом – левая сторона тела была у него парализована. Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ неожиданно громким и победным возгласом: «С нами бог!», после чего торопливо уходил, сконфуженно смеясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться. За несколько дней до смерти ему назначили вечером теплую ванну, и он весь тот день восклицал: «С нами бог!» – и смеялся; когда он уже сидел в ванне, проходившие мимо больные слышали торопливое и полное блаженства воркование: это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним сторожу историю о крещении Руси при Владимире Святом. В положении больных восьмой палаты заметных перемен не произошло: студент Торбецкий поправился, а Лаврентий Петрович и о. дьякон с каждым днем слабели: жизнь и сила выходили из них с такой зловещей беспомощностью, что они и сами почти не догадывались об этом, и казалось, что

никогда они и не ходили по палате, а все так же спокойно лежали в постелях.

И все так же регулярно приходили доктора в своих белых балахонах и студенты, выслушивали и выстукивали и говорили между собою.

В пятницу, на пятой неделе великого поста, о. дьякона водили на лекцию, и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый. Он закатисто смеялся, как и в первое время, крестился и благодарил и по временам подносил к глазам платок, после чего глаза становились красными.

– Чего это вы плачете, отец дьякон? – спросил студент.

– Ах, отец, и не говорите, – с умилением отозвался дьякон, – так это хорошо, за милую душу! Посадили меня Семен Николаевич в кресло, сами стали рядом и говорят студентам: «Вот, – говорят, – дьякон...»

Здесь о. дьякон сделал важное лицо, нахмурился, но слезы снова навернулись на его глазах, и, стыдливо отвернувшись, он пояснил:

– Уж очень трогательно читают Семен Николаевич! Так трогательно, что вся душа перевертывается. «Жил, – говорят, – был дьякон...»

Отец дьякон всхлипнул.

– Жил-был дьякон...

Дальше от слез о. дьякон продолжать не мог, но, уже улегшись в постель, из-под одеяла шепнул сдавленным голосом:

– Всю жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал. Про жену также, спасибо им, упомянули. Так трогательно, так трогательно: будто помер ты, и над тобою читают. «Жил, – говорит... – был, – говорит... – дьякон...»

И пока о. дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет, стало видно с такою непреложною и страшною ясностью, как будто сама смерть стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмой повеяло от веселого дьякона, и, когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом, Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо рассмеялся и закашлялся.

Последние дни Лаврентий Петрович сильно волновался и непрестанно повертывал голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу; изменив своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и сердился на няnek. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек и участливо спросил.

– Что с вами?

– Скучно, – сказал Лаврентий Петрович. И сказал он это таким голосом, как говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы. А в его «дневнике», среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхание и сколько раз его слабило, появилась новая отметка: «Больной жалуется на скуку».

К студенту по-прежнему приходила девушка, которую он любил, и щеки ее от свежего воздуха горели такой живой и нежной краской, что было приятно и почему-то немного грустно смотреть на них. Наклонясь к самому лицу Торбецкого, она говорила:

– Посмотри, какие горячие щеки.

И он смотрел, но не глазами, а губами, и смотрел долго и очень крепко, так как стал выздоравливать и

силы у него прибавилось. Теперь они не стеснялись других больных и целовались открыто; дьякон при этом деликатно отвертывался, а Лаврентий Петрович, не притворяясь уже спящим, с вызовом и насмешливо смотрел на них. И они любили о. дьякона и не любили Лаврентия Петровича.

В субботу о. дьякон получил из дому письмо. Он ждал его уже целую неделю, и все в клинике знали, что о. дьякон ждет письмо, и беспокоились вместе с ним. Приободрившийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и благодаря. Всем давно уже было известно об очень высоком росте его жены, а теперь он сообщил о ней новую подробность.

– Здорово она у меня храпит. Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть оглоблей бей – не подымешь. Храпит, да и все тут. Молодец, ей-богу!

Потом о. дьякон плутовато подмаргивал и восклицал:

– А этакую штуку видел? Отец, а отец?

И он показывал четвертую страницу письма, на которой неумелыми, дрожащими линиями был обведен контур растопыренной детской руки и посередине, как раз на ладони, было написано: «Тосик руку приложил». Перед тем как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят каким-нибудь делом, связанным с употреблением воды и грязи, так как на тех местах, что приходились против выпуклостей ладони и пальцев, бумага сохраняла явственные следы пятен.

– Внук-то, хорош? Четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я вам этого выразить. Руку приложил, а? – В восторге от остроумной шутки, отец дьякон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа неудержимого, тихого смеха. И лицо его, давно не видевшее воздуха, изжелта-бледное, становилось на минуту лицом здорового человека, дни которого еще не сочтены. И голос его делался крепким и звонким, и бодростью дышали звуки трогательной песни:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую нас от клятвы, владычицу мира песнями почтим!..»

В этот же день водили на лекцию Лаврентия Петровича. Пришел он оттуда взволнованный, с дрожащими руками и кривой усмешкой, сердито оттолкнул няньку, помогавшую ему ложиться в постель, и тотчас же закрыл глаза. Но о. дьякон, сам переживший лекцию, дождался момента, когда глаза Лаврентия Петровича приоткрылись, и с участливым любопытством начал допрашивать о подробностях осмотра.

– Как, отец, трогательно, а? Тоже небось и про тебя говорили: «Жил, – говорят, – был купец...»

Лицо Лаврентия Петровича гневно передернулось; обжегши дьякона взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза.

– Ничего, отец, ты не беспокойся. Выздоровеешь, да еще как откалывать-то начнешь – по-небесному! – продолжал отец дьякон. Он лежал на спине и мечтательно глядел в потолок, на котором играл неведомо откуда отраженный солнечный луч. Студент ушел курить, и в минуты молчания слышалось только тяжелое и короткое дыхание Лаврентия Петровича.

– Да, отец, – медленно, с спокойной радостью говорил отец дьякон, – если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст – тебя всякий мужик довезет. Ей-богу, приезжай, угощу тебя за милую душу. Квас у меня – так это выразить я тебе не могу, до чего сладостен!

Отец дьякон вздохнул и, помолчав, продолжал:

– К Троице я вот схожу. И за твое имя просфору выну. Потом соборы осмотрю. В баню пойду. Как они, отец, прозываются: торговые, что ли?

Лаврентий Петрович не ответил, и о. дьякон решил сам:

– Торговые. А там, за милую душу – домой!

Дьякон блаженно умолк, и в наступившей тишине короткое и прерывистое дыхание Лаврентия Петровича напоминало гневное сопение паровика, удерживаемого на запасном пути. И еще не рассеялась перед глазами дьякона вызванная им картина близкого счастья, когда в ухо его вошли непонятные и ужасные слова. Ужас был в одном их звуке; ужас был в грубом и злобном голосе, одно за одним ронявшем бессмысленные, жесткие слова.

– На Ваганьково кладбище пойдешь – вот куда!

– Что ты говоришь, отец! – не понимал дьякон.

– На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора, – ответил Лаврентий Петрович. Он повернулся лицом к о. дьякону и даже голову спустил с подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, в кого оно было направлено. – А то в анатомический тебя сволокут и так там тебя взрежут – за милую душу!

Лаврентий Петрович рассмеялся.

– Что ты, что ты, бог с тобой! – бормотал отец дьякон.

– Со мною-то ничего, а вот как тут покойника хоронят, так это потеха. Сперва руку отрежут – руку похоронят. Потом ногу отрежут – ногу похоронят. Так иного-то незадачливого покойника целый год таскают, перетаскать не могут.

Дьякон молчал и остановившимся взглядом смотрел на Лаврентия Петровича, а тот продолжал говорить. И было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдной прямоте его речи.

– Смотрю я на тебя, отец дьякон, и думаю: старый ты человек, а глуп, прямо сказать, до святости. Ну и чего ты ерепенишься: «К Троице поеду, в баню пойду». Или вот тоже про яблоню «белый налив». Жить тебе всего неделю, а ты...

– Неделя?

– Ну да, неделя. Не я говорю – доктора говорят. Лежал я намедни, будто спал, а тебя в палате не было. Вот студенты и говорят: а скоро, говорят, нашему дьякону и того. Недельку протянет.

– Про-тя-не-ет?

– А ты думаешь, она помилует? – Слово «она» Лаврентий Петрович выговорил с страшной выразительностью. Затем он поднял кверху свой огромный бугроватый кулак и, печально полюбовавшись его массивными очертаниями, продолжал: – Вот, глянь-ка! Приложу кого, так тут ему аз и хверт и будет. А тоже... Ну да, тоже. Эх, дьякон пустоголовый: «К Троице, в баню пойду». Получше тебя люди жили, да и те помирали.

Лицо о. дьякона было желто, как шафран; ни говорить, ни плакать он не мог, ни даже стонать. Молча и медленно он опустился на подушку и старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в одеяло и притих. Но тот не мог не говорить: каждым словом, которым он поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным добродушием он повторял:

– Так-то, отче. Через недельку. Как ты говоришь: аз и хверт? Вот тебе аз и хверт. А ты в баню – чудасия! Разве вот на том свете нас с тобой горячими вениками попарят – это, отчего же, очень возможно.

Но тут вошел студент, и Лаврентий Петрович неохотно умолк. Он попробовал закрыться одеялом, как и о. дьякон, но скоро высунул голову из тьмы и насмешливо поглядел на студента.

– А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придут? – спросил он студента с тем же притворным

добродушием и нехорошей улыбкой.

– Да, нездорова, – коротко от окна бросил студент хмурый ответ.

– Какая жалость! – покачал головой Лаврентий Петрович. – Что же такое с ними?

Но студент не ответил: кажется, он не слышал вопроса. Уже три раза девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий; не придет она и сегодня. Торбецкий делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от безделия, но в действительности старался заглянуть влево, где находился невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и часами, глядя то на одно, то на другое, провел он время обычного приема посетителей, от двух до четырех часов. Усталый и побледневший, он неохотно выпил стакан чаю и лег на постель, не заметив ни странной молчаливости о. дьякона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентия Петровича.

– Не пришли сестрица! – говорил Лаврентий Петрович и улыбался нехорошей улыбкой.

4

В эту ночь, томительно-долгую и пустую, так же горела лампочка под синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате № 8 никто не спал в эту ночь, но все лежали тихо и походили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на спину, то ниц, густо вздыхал и поправлял сползавшее одею. Раза два он ходил курить и, наконец, заснул, так как поздоровевший организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь поднималась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие; на губах у него появилась улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой неподвижности тела и закрытых глазах.

Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо начавшего дремать Лаврентия Петровича вошел тихий, дрожащий и загадочный звук. Он родился тотчас за музыкальным боем часов и в первую секунду показался нежным и красивым, как далекая печальная песня. Лаврентий Петрович прислушался: звук ширился и рос и, все такой же мелодичный, походил теперь на тихий плач ребенка, которого заперли в темную комнату, и он боится тьмы и боится тех, кто его запер, и сдерживает бьющиеся в груди рыдания и вздохи. В следующую секунду Лаврентий Петрович проснулся совсем и разом понял загадку; плакал кто-то взрослый, плакал некрасиво, давясь слезами, задыхаясь.

– Кто это? – испуганно спросил Лаврентий Петрович, но не получил ответа.

Плач замер, и от этого в палате стало еще печальнее и тоскливее. Белые стены были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страх и просить защиты.

– Кто это плачет? – повторил Лаврентий Петрович. – Дьякон, это ты?

Рыдание словно пряталось где-то тут же, возле Лаврентия Петровича, и теперь, ничем не сдерживаемое, вырвалось на свободу. Одею, укрывавшее о. дьякона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащим стуком ударила об железку.

– Что ты! Что ты! – бормотал Лаврентий Петрович, сел на постель, задумался и потом медленно спустил на пол затекшие ноги. Когда он встал на них, в голову ему ударило чем-то теплым и шумящим – словно целый десяток жерновов завертелся и загрохотал в его мозгу, – дыхание прервалось, и потолок быстро поплыл куда-то вниз. С трудом удержавшись на ногах от приступа головокружения, ощущая толчки сердца так ясно, как будто изнутри груди кто-то бил молотком, Лаврентий Петрович отдышался и решительно перешагнул пространство, отделявшее его от постели о. дьякона, – полтора шага. Здесь ему снова пришлось передохнуть. Прерывисто и тяжело сопя носом, он положил руку на вздрагивающий бугорок, пододвинувшийся, чтобы дать ему место на постели, и просительно сказал:

– Не плачь. Ну, чего плакать? Боишься умирать?

Отец дьякон порывисто сдернул одею с головы и жалобно вскрикнул:

– Ах, отец!

– Ну, что? Боишься?

– Нет, отец, не боюсь, – тем же жалобным поющим голосом ответил дьякон и энергично покачал головой. – Нет, не боюсь, – повторил он и, снова повернувшись на бок, застонал и дрогнул от рыданий.

– Ты на меня не сердись, что я тебе давеча сказал, – попросил Лаврентий Петрович. – Глупо, брат,

сердиться.

– Да я не сержусь. Чего я буду сердиться? Разве это ты смерть накликал? Сама приходит... – И отец дьякон вздохнул высоким, все подымающимся звуком.

– Чего же ты плачешь? – все так же медленно и недоуменно спрашивал Лаврентий Петрович.

Жалость к о. дьякону начала проходить и сменилась мучительным недоумением. Он вопросительно переводил глазами с темного дьяконова лица на его седенькую бороденку, чувствовал под рукою бессильное трепыхание худенького тельца и недоумевал.

– Чего же ты реवेशь? – настойчиво спрашивал он.

Отец дьякон охватил руками лицо и, раскачивая головой, произнес высоким, поющим голосом:

– Ах, отец, отец! Солнышка жалко. Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии, светит. За ми... за милую душу!

– Какое солнце? – Лаврентий Петрович не понял и рассердился на дьякона. Но тут же он вспомнил тот поток горячего света, что днем вливался в окно и золотил пол, вспомнил, как светило солнце в Саратовской губернии на Волгу, на лес, на пыльную тропинку и поле, – и всплеснул руками, и ударил ими себя в грудь, и с хриплым рыданием упал вниз на подушку, бок о бок с головой дьякона. Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне «белый налив», которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти. Звонкая тишина подхватывала их рыдания и вздохи и разносила по палатам, смешивая их с здоровым храпом сиделок, утомленных за день, со стонами и кашлем тяжелых больных и легким дыханием выздоравливающих. Студент спал, но улыбка исчезла с его уст, и синие мертвые тени лежали на его лице, неподвижном и в неподвижности своей грустном и страдающем. Немигающим, безжизненным светом горела электрическая лампочка, и белые высокие стены смотрели равнодушно и тупо.

Умер Лаврентий Петрович в следующую ночь, в пять часов утра. С вечера он крепко уснул, проснулся с сознанием, что он умирает и что ему нужно что-то сделать: позвать на помощь, крикнуть или перекреститься, – и потерял сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, дрогнули и разошлись ноги, свисла с подушки отяжелевшая голова, и размашисто скатился с груди массивный кулак. Отец дьякон услышал сквозь сон скрип постели и, не открывая глаз, спросил:

– Ты что, отец?

Но никто не ответил ему, и он снова уснул. Днем доктора уверили его, что он будет жить, и он поверил им и был счастлив: кланялся с постели одной головой, благодарил и поздравлял всех с праздником.

Счастлив был и студент и спал крепко, как здоровый. В этот день девушка приходила к нему, горячо целовала его и просидела дольше назначенного часа ровно на двадцать минут.

Солнце всходило.

5–16 февраля 1901 г.

Так было

1

Стояла на площади огромная черна башня с толстыми крепостными стенами и редкими окнами-бойницами. Построили ее для себя рыцари-разбойники, но время унесло их, и стала она наполовину тюрьмой для опасных и важных преступников, наполовину жилищем. Каждое столетие к ней пристраивали новые здания, прислоняя их к толстой стене и друг к другу; и мало-помалу превратилась она в целый городок на скале, с неровным лесом труб, башенок и острых крыш. Когда на западе светлело зеленоватое небо и в окнах кое-где, то высоко, то низко, зажигались огоньки, вся черная громада башни приобретала причудливые и фантастические очертания, и почему-то казалось, что у подножия ее не обыкновенная мостовая, а море, соленый безбрежный океан. И думалось о старом, давно умершем и забытом.

На башне были огромные старые часы, видимые издалека. Их сложный механизм занимал целый этаж, и наблюдал за ним одноглазый человек, которому было удобно смотреть в лупу. От этого он сделался часовщиком и долго возился с маленькими часами, прежде чем ему отдали большие. Тут он почувствовал себя хорошо и часто без надобности, днем и ночью, заходил в комнату, где медленно двигались зубчатые колеса и рычаги и широкими плавными взмахами рассекал воздух маятник. Достигая вершины своего качания, маятник говорил:

– Так было.

Падал, поднимался к новой вершине и добавлял:

– Так будет. Так было – так будет. Так было – так будет. Такими словами передавал одноглазый часовщик однообразный и таинственный звук маятника; от близости с большими часами он сделался философом, как тогда говорили.

Над древним городом, где стояла башня, и над всею страню высоко поднимался один человек, загадочный владыка города и страны, и его таинственная власть – одного над миллионами – была так же стара, как и город. Назывался он королем и прозвище носил «Двадцатый», по числу своих одноименных предшественников, но это ничего не объясняло. Как никто не знал начала города, так не знал никто и начала этой странной власти, и, насколько хватало человеческой памяти, – в самом глубоком прошлом вырисовывался все тот же загадочный образ: одного, который повелевает миллионами. Была немая древность, над которой уже не имела власти человеческая память; но и она изредка раскрывала уста: роняла камень, маленькую плитку, исчерченную какими-то знаками, обломок колонны, кирпич из разрушенной стены – и в этих знаках уже была начерчена повесть об одном, который повелевает миллионами. Менялись титулы, имена и прозвища, но образ оставался неизменным, как будто бессмертным. По тому, что король родился и умирал, как и все, по его виду, присущему всем людям, он был человеком; но когда представляли себе ту неизмеримую громаду власти и могущества, какими он обладал, то легче становилось думать, что он бог. Тем более что и бог всегда изображался похожим на человека, и это не нарушало его совсем особой, непостижимой сущности.

Двадцатый был король. Это значило, что он мог сделать человека счастливым и несчастным; мог отнять имущество, здоровье, свободу, самую жизнь; по его слову десятки тысяч людей шли на войну, убивать и умирать; во имя его творилось справедливое и несправедливое, доброе и злое, жестокое и милосердное. И его законы были не менее повелительны, чем законы самого бога; и еще тем он был

велик, что бог никогда не меняет своих законов, а он мог менять свои постоянно. Далекий или близкий, он всегда стоял над жизнью; рождаясь – человек вместе с природою, городами и книгами находил короля; умирая – с природою, городами и книгами оставлял короля.

История страны, изустная и письменная, являла примеры королей великодушных, справедливых и добрых, и хотя на земле всегда существовали люди лучшие, чем они, все же казалось понятным, почему они повелевают. Но чаще случалось, что король был худшим на земле, лишенным добродетелей, жестоким, несправедливым, даже безумным, – но и тогда оставался он загадочным, одним, который повелевает миллионами, и власть его возрастала вместе с преступлениями. Его все ненавидели и проклинали, а он один повелевал всеми ненавидящими и проклинаящими, – и эта дикая власть становилась загадкой, и к страху человека перед человеком присоединялся мистический ужас неведомого. И от этого происходило, что мудрость, добродетель и человечность ослабляли власть и делали ее спорной, а тирания, безумие и злость укрепляли ее. И от этого происходило, что творчество и добро бывали не под силу самому могущественному из этих загадочных владык, а в разрушении и зле самый слабый из них превосходил дьявола и все адские силы. Жизни он дать не мог, а смерть давал постоянно – этот таинственный ставленник безумия, смерти и зла; и тем выше бывал трон, чем больше костей клалось в основу его.

И в других соседних странах так же сидели на тронах владыки, и власть их терялась в бесконечности времен. Бывали годы и столетия, когда в каком-нибудь из государств исчезал таинственный владыка; но никогда еще не случалось, чтобы вся земля была свободна от них. А потом проходили столетия, и снова неведомо откуда появлялся в государстве трон, и снова сидел на нем некто загадочный, непостижимый в слиянии бессилия и бессмертного могущества. И загадочностью своею он очаровывал людей; во все времена встречались среди них такие, и их было много, которые любили его больше себя, больше, чем жен своих и детей, и покорно, как из руки самого бога, без ропота и сожаления принимали от него и во имя его самую жестокую и позорную смерть.

Двадцатый и его предшественники редко показывались народу, и видели их немногие; но все они любили оделять народ своими изображениями, оставляя его на монетах, высекая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах и всюду украшая его и совершенствуя художественным вымыслом. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица – одного и того же, простого и загадочного лица, множественностью своею насильственно вторгавшегося в память, покорявшего воображение, приобретающего мнимое вездесущее, как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, плохо помнившие своего деда, совсем не знающие лица прадеда, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тысячу лет назад. И от этого, как ни просто, бывало лицо одного, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным и значительным лицо мертвого, ибо сквозь его привычные знакомые черты глядит сама таинственная и могущественная смерть.

Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа у змеи; за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника, отмечающего минуты:

– Так было – так будет.

2

И случилось, что в обширном королевстве, владыкою которого был Двадцатый, произошла революция – столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же Двадцатый – а власть незаметно умерла, и никто не знал часа ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ потерял привычку повиноваться, и только, – и сразу из множества отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений выросло огромное, непобедимое движение. И как только перестал он повиноваться, сразу открылись все его старые, многовековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, несправедливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справедливости. И вдруг стал на дыбы – огромный взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток.

Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу отовсюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все ближе подбирались к трону – уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка.

Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из соседнего покоя вползала из-под дверей черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к кафтану короля прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:

– Да здравствует Двадцатый!

Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пестрого шута, начинал вопить:

– Да здравствует Двадцатый!

Смеялись. А к вечеру – сумрачные лица и подозрительность во взорах: как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый народ? Во дворце темно; огромные окна блестят фальшиво и смотрят мрачно: там задумывают что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил своим прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызвать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.

– Да здравствует Двадцатый!

Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, подтянутые кверху; торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом блистают огромные окна.

– Да здравствует Двадцатый!

Смятый часовой колыхнется в толпе; он потерял ружье и улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на железных дверях; на высоких железных прутьях ограды выросли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протянутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несется груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и

придвинулись к толпе. Что-то заползало по стенам и уходит на крышу. Замок молчит. Решетка вся обросла людьми и вдруг исчезла, и стало ровно – народ движется.

– Да здравствует Двадцатый!

За окнами забежали бледные огни. Чье-то уродливое лицо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни растут, множатся, движутся взад и вперед, похоже на странную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяются – и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет, но лица темны, и, может быть, это не они.

– Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!

Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере выступили два багровых колеблющихся лица. Вопли в дальних рядах:

– Это не они! Король бежал!

Но ближайшие уже кричат с радостью минувшего испуга:

– Да здравствует Двадцатый!

Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то озаряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тени; это они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадцатый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те загадочные существа, у которых так много непонятной, почти божеской власти, и за ними в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие, страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий голос; когда он молит и кланяется своим огненным лицом, на него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней дьявола.

– Говори, Двадцатый! Говори!

Станный жест рукою, призывающий к молчанию, – странный, повелительный жест, такой древний, как сама власть; и тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древние, странные слова:

– Я рад видеть мой добрый народ.

И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад. Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя. Двадцатый, люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова придем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.

– Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да здравствует господин!

– Рабы!

Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обратно движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, наливаются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, облака. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть бы он закричал от испуга или от боли.

Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном топоте ног, полные темных воспоминаний, предчувствий и ужаса. И всю ночь реют над городом страшные сны.

3

Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе, когда верный сын родины узнал его под личиною грязного слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображением того – и зазвонили тревожно колокола, и дома выбросили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне, огромной черной башне, у которой толстые стены и маленькие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступные подкупу, лести и очарованию. Чтобы не было страшно, стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они толстыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, озираясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный смех он превращает в раболепные слезы; сквозь толстые стены она сеет измену и предательство, и черными цветами они всходят в народе, пятная золотой покров свободы, как шкуру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам, сползшие со своих тронов, собираются такие же могущественные владыки и приводят орды диких, одураченных людей, матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В домах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в горных чертогах народного собрания – всюду шипит измена и черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему изменили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерзкий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные чьего-то золота.

Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двенадцати часам дня все находились в своих жилищах; и, когда в назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гулко покатались по опустевшим безмолвным улицам. С тех пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлюдие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного конца ее до другого – ни одного прохожего, ни одного экипажа. Скользят у молчаливых стен встревоженные, изумленные кошки: они не понимают – день это или ночь; и так тихо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль улиц, как невидимые черные метлы, и точно выметают город. Скрылись и кошки, испуганные чем-то. Безлюдье, тишина.

И на всех улицах показываются одновременно небольшие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от них больше идет беспокойного шума, чем производит его весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и экипажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова выбрасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух бледных от злости или красных от гнева людей. Они идут, презрительно заложив руки в карманы, – в эти странные дни никто не боялся смерти, даже изменники, – и пропадают в черной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть: так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предательства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.

И в этот вечер было в городе ликование. Опустели снова дома, и снова наполнились улицы, и черная безграничная толпа закопошилась в странном, одуряющем танце, сплетении резких и неожиданных движений. Танцевали с одного конца города до другого. У редких фонарей, как пенистый прибой у скалы, светились отдельные всплески, переплетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза – все кружащееся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремительно, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то повешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти до тюрьмы. Его

вытянутых ног, жадно стремящихся к земле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий танцами.

Потом ходили к черной башне и, задрав головы, кричали в толстые стены:

– Смерть Двадцатому! Смерть!

В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны народа сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы напугать:

– Смерть Двадцатому!

И уходили, давая место новым крикунам. А ночью снова реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и не исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни и тюрьмы, распертые изменою и предательством.

И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и кос; набрали толстых поленьев и тяжелых камней и двое суток работали в тюрьмах, изнемогая от усталости. Тут же и спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не принимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь тысяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, чтобы очистить город и дать жизнь молодой свободе.

Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отрубленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на них. А в народном собрании царили смятение и ужас: искали приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то приказал. Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать там, где властью пользуется одно лишь народное собрание? Некоторые улыбаются – они что-то знают.

– Убийцы!

– Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.

Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и забирается в самое сердце народа. Столько принято страданий, столько пролито крови – и все напрасно! Сквозь толстые стены он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и очарование. Горе свободе! С запада приходят страшные вести о страшных раздорах – о битвах, об отколовшейся части безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все ближе подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны дыханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с севера или с юга, с радостью отдается в ухе того, кто заключен в башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе народу! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чудовищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой грудой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на минуту прорваться сквозь тучи – и какой это был печальный, и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул большими яркими и страшными глазами – потемнел, растаял, угас, и точно горный взъерошенный хребт опрокинулась туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе народу! Горе свободе!

А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между рычажками и канатами и, склонив голову набок, смотрит на движение огромного маятника.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

Однажды, когда он был еще молод, часы испортились и остановились на целых двое суток. И это было так страшно: как будто все время сразу начало падать куда-то, всю незыримую массу. А когда часы

поправили, стало опять хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по капельке; режется на маленькие кусочки, отпадает по вершочку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движении, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь воркует где-то на карнизе.

— Так было — так будет. Так было — так будет.

4

Уже была низвергнута тысячелетняя монархия. Поименного голосования не нужно было: поднялись все, кто был в народном собрании, и сверху донизу оно наполнялось стоящими, как будто выросшими людьми. Поднялся и тот большой депутат, которого принесли в кресле: поддерживаемый друзьями, он выпрямил старые, разбитые параличом ноги и встал, похожий на высокий высохший пенёк, поддерживаемый двумя молодыми деревцами.

– Республика принята единогласно, – говорит кто-то звонким голосом, ликование которого он напрасно старается сдержать.

Но все стоят. Проходит минута, другая; уже на площади, полной ожидающего народа, поднялся громоподобный, радостный рев – а здесь молчание и тишина, как в церкви, и суровые, величаво-серьезные люди, застывшие в позе гордого почтения. Перед кем стоят они? Короля уже нет; нет и бога, этого короля и тирана неба, – уже давно низвергнут и он с своего небесного престола. Они стоят перед свободой. Старый депутат, у которого много лет старческой дрожью дрожала голова, теперь держит ее молодо и гордо; вот легким движением руки он отстранил друзей – он стоит один, – свобода совершила чудо! Уже давно отвыкли плакать эти люди, живущие среди бурь мятежа и крови, а теперь они плачут. Жестокие орлиные глаза, спокойно, не мигая смотревшие на кровавое солнце революции, не выдержали мягкого блеска свободы – и плачут.

Молчание в зале. Гул за окнами. Вырастая в силе и обширности, он теряет остроту; ровный и могучий, он напоминает гул безбрежного океана. Теперь все эти люди свободны. Свободен умирающий, свободен рождающийся, свободен живущий. Рухнула таинственная власть одного, тысячу лет державшего в оковах миллионы, распались черные своды тюрьмы – и ясное небо над головой.

– Свобода! – шепчет кто-то тихо и нежно, как имя возлюбленной.

– Свобода! – говорит кто-то, задыхаясь от безмерной радости, весь стремление, весь вдохновение и полет.

– Свобода! – звучит железо.

– Свобода! – поют струны.

– Свобода! – грохочет многоголосый океан. Он умер, старый депутат. Не выдержало сердце его безмерной радости и остановилось, и последним биением его было: свобода. Счастливейший из людей! В могильную таинственную сень он унесет с собой бесконечный сон о молодой свободе.

Ожидали в городе безумств, но их не было. Дыхание свободы облагородило людей, и они стали кротки, и нежны, и целомудренны в проявлениях радости, как девушки. Даже не плясали. Даже не пели почти. Только глядели друг на друга, только ласкали друг друга осторожным прикосновением рук: так приятно ласкать свободного человека и глядеть в его глаза! И никого не повесили. Нашелся безумец, который крикнул в толпе: «Да здравствует Двадцатый!» – закрутил усы и приготовился к короткой борьбе и длительной агонии в смертоносных объятиях рассвирепевшего народа. И некоторые уже нахмурились, но другие, большинство, только удивились и с любопытством начали разглядывать крикнувшего, как на пристани толпа зевак рассматривает привезенную из Бразилии обезьяну.

И отпустили его.

О Двадцатом вспомнили только поздней ночью. Кучка граждан, никак не могших расстаться с этим великим днем и решивших бродить до рассвета, случайно вспомнила о Двадцатом и направилась к башне.

Черная, она почти сливалась с небом и в тот момент, когда подошли граждане, глотала какую-то звезду. Маленькая, яркая звездочка подошла близко, сверкнула – и пропала в темном пространстве. Довольно низко над землею тепло светились два маленьких оконца: то бодрствовали стражи.

Пробило два часа.

– Знает он или нет? – сказал один из пришедших, тщетно всматриваясь в черную громаду и пытаясь разгадать ее. От стены отделился какой-то темный силуэт, и вялый, утомленный голос ответил:

– Он спит, граждане.

– Кто вы, гражданин? Вы испугали меня: вы ходите тихо, как кошка.

С разных сторон придвинулись еще несколько темных силуэтов и молча остановились перед пришедшими.

– Что же вы не отвечаете? Если вы призрак, то поскорее проваливайтесь: собрание отменило привидения.

Так же вяло неизвестный ответил:

– Мы сторожим тирана.

– Вас назначила коммуна?

– Нет. Мы сами. Нас здесь тридцать шесть человек. Было тридцать семь, но один умер. Мы сторожим тирана. Два месяца, может быть, больше, мы живем у этих стен. Мы устали.

– Нация благодарит вас. Вы знаете, что произошло сегодня?

– Да, мы слышали что-то. Мы сторожим тирана.

– Что теперь республика – свобода?

– Да. Мы сторожим тирана. Мы устали.

– Поцелуемся, братья!

Холодные губы вяло прикоснулись к горячим устам.

– Мы устали. Он так лукав и опасен. Мы день и ночь смотрим во все окна и двери. Я смотрю вон в то окно: вы его сейчас не найдете. Так вы говорите: свобода? Это хорошо. Но нам нужно идти на свои места. Будьте спокойны, граждане: он спит. Мы получаем сведения через каждые полчаса. Он спит.

Силуэты закачались – отодвинулись – пропали, точно ушли в стену. Черная башня стала как будто еще выше, и от левого зубца к городу протянулась такая же темная бесформенная туча. Казалось, что башня растет и протягивает руки. В сплошном мраке стены вдруг вспыхнул огонь и погас – что-то похожее на сигнал. Туча протянулась над городом и пожелтела от зарева огней; заморосил дождь. Было тихо и беспокойно.

Вправду ли он спит?

5

Прошло еще несколько дней в новых и сладостных ощущениях свободы – и снова, как черные жилы в белый мрамор, всюду протянулись темные нити недоверия и страха. С подозрительным спокойствием тиран принял весть о своем низложении – как может быть спокоен человек, лишаемый царства, если только не задумал он чего-то страшного? И как может быть спокоен народ, если в среде его живет некто загадочный, одаренный пагубной силой очарования? Низверженный, он продолжает быть страшным; заключенный, он свободно проявляет свою дьявольскую власть, возрастающую на расстоянии. Так земля, темная вблизи, кажется яркою звездой, если смотреть на нее из глубины синего пространства. Да и вблизи – над его страданиями плачут. Видели женщину, целовавшую руку у королевы; видели стража, смахнувшего с глаз слезу, слышали оратора, призывавшего к милосердию. Как будто даже теперь он не счастливее тысяч людей, которые никогда не видали света и которых снова и снова хотят принести ему в жертву. Кто поручится, что завтра же стража не вернется к старому безумию и на коленях не поползет умолять его о прощении и снова не воздвигнет трона, разрушенного с таким трудом, с такою болью!

Ощетинившись от ярости страха, многомиллионный народ прислушивается к речам народного собрания. Станные речи, пугающие слова! О его неприкосновенности говорят – о том, что он неприкосновенен, что его нельзя судить, как судят всех, что его нельзя наказывать, как наказывают всех, что его нельзя умертвить, потому что он король. Следовательно, короли еще существуют! И говорят это, клянясь в любви к народу и свободе, говорят люди испытанной честности, ненавистники тирании, сыны народа, вышедшие из глубины недр его, истерзанных беспощадною и святотатственною властью королей. Зловещая слепота!

Уже большинство склоняется на сторону низложенного: словно желтый туман, идущий от башни, ворвался в святые чертоги народного разума, и слепит ясные очи, и душит молодую свободу – молодую невесту в белых цветах, обретшую смерть в час брачного торжества. Тоска и отчаяние закрадываются в сердца, и много рук судорожно нащупывают оружие: лучше умереть вместе с Брутом, чем жить с Октавианом.

Последние возгласы, полные смертельного негодования:

– Вы хотите, чтобы в стране был только один человек и тридцать пять миллионов скотов!

Да, они хотят. Они молчат, потупив глаза, они устали бороться, устали желать – и в их утомлении, в их потягиваниях и зевках, в их бесцветных, но магически действующих холодных речах уже чуются очертания трона. Отдельные возгласы – тусклые речи – и слепое молчание единодушного предательства. Гибнет свобода, бедная невеста в белых цветах, обретшая гибель в час брачного торжества.

Но – чу! Слышен топот. Идут. Словно десятки гигантских барабанов отбивают густую тревожную дробь. Трам-трам-трам. Идут предместья. Трам-трам-трам. Идут защищать свободу! Рам-рам-рам. Горе изменникам. Трам-трам-трам. Горе предателям!

– Народ просит разрешения пройти перед собранием.

Но разве можно удержать падающую лавину? Кто осмелится сказать землетрясению: досюда земля твоя, а дальше не трогай!

Распахиваются двери: вот они, предместья! Землистые лица. Обнаженные груди. Бесконечная фантастика разноцветного тряпья, заменяющего одежду. Восторг порывистых, несдержанных движений. Зловещая стройность беспорядка; марширующий хаос. Трам-трам-трам. Глаза, горящие огнем. Пики, косы, трезубцы. Колья из ограды. Мужчины, женщины и дети. Трам-трам-трам.

– Да здравствуют представители народа! Да здравствует свобода! Смерть изменникам!

Депутаты улыбаются, хмурятся, приветливо кланяются. Голова кружится от этого пестрого бесконечного движения: как будто стремительная река пробегает в пещере. Все лица становятся похожи на одно; все крики сливаются в один сплошной однообразный гул; топот ног делается похож на стук дождя по крыше – усыпляющий, парализующий волю, внедряющийся в сознание. Гигантская крыша, гигантские капли.

– Там-там-там.

Идут час, идут два и три. По-видимому, уже наступила ночь. Чадят багрово-красные огни. Оба отверстия – и то, откуда народ вливается, и то, откуда он пропадает, – черны, как две раскрытые пасти: словно черная, отливающая медью и железом лента продергивается из одной в другую. Утомленные глаза рисуют миражи. То бесконечный ремень; то огромный, распухший, волосатый червяк; тем, кто сидит над дверью, кажется, что они на мосту и они начинают плыть. Минутами ясное и необыкновенное живое сознание: так это народ! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще не виданной свободы. Свободный народ – какое счастье!

– Трам-трам-трам!

Уже восемь часов идут они, и еще не видно конца. С обеих сторон – и с той, откуда народ является, и с той, куда он пропадает, – гремит революционная песня. Слова едва слышны; отчетливо выделяются только музыкальные такты, падения и подъемы, мгновенная тишина и грозные взрывы. К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны! Идем – идем!

Идут.

Голосования не нужно. Еще раз спасена свобода.

6

Настал великий день суда над королем. Таинственная власть, древняя, как мир, должна дать ответ народу, который она поработала тысячи лет, миру, который она позорила, как торжествующая бессмыслица. Лишенная шутовских погремушек и золоченого трона, лишенная громких титулов и всех этих странных символов власти – обнаженная, предстанет она перед народом и даст ясный ответ: почему она была властью, что дало ему силу и право повелевать миллионами и, в лице одного, безнаказанно творить зло и насилие, лишать свободы, причинять смерть и поранения? Двадцатый осужден заранее совестью всего народа; пощады ему нет и не может быть – но пусть перед казнью он откроет свою таинственную душу, пусть ознакомит людей не с делами своими – они всем известны, – но с мыслями и чувствами царей. Мифический дракон, пожиривший девушек и в ужасе державший страну, связан цепями, притащен на городскую площадь, и сейчас увидят люди его чешуйчатую спину, его раздвоенный язык, его жестокую пасть, дышащую огнем.

Чего-то боялись. Уже с ночи по тихим улицам двигались в разные стороны войска, заливая площади, подъезды, одевая весь путь короля щетиной штыков, стеною сумрачных торжественно-строгих лиц. Над черными силуэтами зданий и церквей, острых, квадратных, странно неопределенных в предутреннем сумраке, слабо засветилось желтоватое облачное небо, холодное городское небо, старое, как дома, покрытые копотью и ржавчиной. Точно гравюра в одной из темных зал старого рыцарского замка.

Город спал в суровом ожидании великого и страшного дня, а по улицам, сдерживая грузный топот ног, тихо двигались стройные массы граждан, превращенных в солдат, с наглым грохотом, опустив подбородки к земле, проползали пушки, и у каждой мерцал красноватый огонек фитиля. Командовали отрывисто, вполголоса, почти шепотом – точно боялись разбудить кого-то, кто спит ненадежно и чутко. Боялись ли за короля, за его безопасность, или боялись самого короля – этого не знал никто: но все знали, что нужно подготовиться, нужно вызвать и собрать всю силу, какая есть у народа.

Долго не разгорался день; желтые сплошные облака, пушистые, грязные, точно смазанные мокрой тряпкой, угрюмо висели над колокольнями; и только в тот момент, когда король выходил из башни, в голубом прорыве вспыхнуло солнце. Счастливое предзнаменование для народа, грозное предостережение тирану.

Везли его так: в узком коридоре из сплошной неразрывной линии войск двигались вооруженные отряды: один, другой, десятый – нельзя сосчитать; потом пушки: грохочут, грохочут; потом в тесных объятиях ружей, сабель и штыков еле движется темная карета. И снова пушки и отряды. И на всем многоверстном пути, и впереди кареты, и сзади, и вокруг нее – тишина. В одном месте на площади раздался неуверенный крик нескольких голосов:

– Смерть Двадцатому!

Но, не подхваченный толпою, разрозненно смолк. Так в облаве на кабана тявкают только шавки, а не те, кто будет терзать и будет растерзан, накапливая ненависть и силу.

В собрании сдержанный шум и разговоры. Уже несколько часов ждут они так медленно ползущего тирана и в возбуждении расхаживают по коридорам, ежеминутно меняют места, смеются без повода, болтают оживленно о чем-то. Но многие сидят неподвижно, в позе каменных изваяний – на камень они похожи и лицами своими. Молодые лица, но старые глубокие морщины, точно порубленные топором; жесткие волосы; глаза, то зловеще ушедшие в глубину черепа, то напряженно выдвинутые вперед, широкие, многообъемлющие, как будто лишенные ресниц – факелы в черных нишах тюремной ограды. Нет в мире страшного, на что не могли бы бестрепетно взглянуть эти глаза; нет в мире жестокого,

печального, призрачно-смутного, перед чем дрогнул бы этот взор, добела раскаленный в горниле революции. Те, кто первый начал это великое движение, давно умерли, рассеяны по земле, забыты; забыты их мысли, чаяния и мечты. Бывалый гром их речей кажется побрякушкой в руках ребенка; их великая свобода, о которой они мечтали, кажется постелькою для детей с тонким пологом от мух и яркого света дня. Маленькие, странные люди, пигмеи, подточившие гору. А эти – взрощенные среди бурь и живые в бурях; любимые дети грозных дней – окровавленных голов, которые носят на пиках, как тыквы: мясистых, губчатых сердец, из которых выжимают кровь; могучих, титанических речей, где слово острее кинжала и мысль беспощадней, чем порох. Покорные только воле державного народа, они вызвали призрак таинственной власти – и сейчас, холодные, как ученые-анатомы, как суды, как палачи, они исследуют его голубое сияние, пугающее невежд и суеверцев, разнимут его призрачные члены, найдут черный яд тирании и предадут его последней казни.

Вот стихает шум за стенами, и тишина становится глубокой и черной, как ночное небо; вот громыхают, приближаясь, пушки. Смолкают. У входа легкое движение. Все сидят – они должны встретить тирана сидя. Стараются казаться равнодушными. Грузный топот распределяемых по зданию отрядов, тихое бряцание оружия. За стенами догромыхивают последние пушки. Железным кольцом облегают они здание, жерлами наружу, навстречу всему миру – западу и востоку, северу и югу.

Вошло что-то маленькое.

С верхних, отдаленных скамей – это толстенький, низенький человечек с быстрыми, но неуверенными движениями. Вблизи – это среднего роста толстяк с большим, побагровевшим от холода носом, обвисшею кожей на щеках, маленькими тусклыми глазками – выразительная смесь добродушия, ничтожества и глупости. Он ворочает головою, не зная, кланяться ему или нет, и слегка кланяется; стоит нерешительно на раздвинутых ногах, не зная, можно ему сесть или нет. Все молчат, но сзади стоит стул, по-видимому, для него, и он садится сперва немного, потом больше, потом принимает величественную позу. По-видимому, у него насморк. Торопливо вытаскивает платок и с наслаждением сморкается в два приема, каждый раз издавая носом резкий трубный звук. Оправляется, прячет платок и величественно замирает. Он готов.

Это и был Двадцатый.

7

Ожидали короля, а явился шут. Ожидали дракона, а пришел носатый буржуа с носовым платком. Смешно, и странно, и немного жутко. Уж не произошло ли подмены?

– Это я – король, – говорит Двадцатый.

Да, это он: какой смешной! Вот так король! Улыбались, пожимали плечами, еле сдерживая смех, и посылали друг другу с конца в конец насмешливые улыбки и приветливые жесты, и точно спрашивали:

– Хорош?

Депутаты – те были очень серьезны, ужасно серьезны, даже бледны; вероятно, их подавляла ответственность, но народ тихо веселился. Как удалось ему пробраться в собрание? Так же, как проходит вода: он просочился – в высокие окна, в какие-то щели, чуть ли не в замочные скважины. Сотни оборванных, пестро и фантастических одетых, но чрезвычайно приветливых и вежливых незнакомцев. Тесня депутата, они спрашивают:

– Я не помешаю вам, гражданин?

Очень вежливы. Целыми темными гнездами, как птицы, они лепятся на подоконниках, загораживая свет, и что-то телеграфируют руками вниз, на площадь. По-видимому, что-то смешное.

Но депутаты были серьезны, очень серьезны, даже бледны. Как увеличительные стекла, они наводят свои выпуклые глаза на Двадцатого, смотрят долго и странно – и хмуро отворачиваются. Некоторые совсем закрыли глаза: видимо, им противно смотреть на тирана.

– Гражданин депутат! – с веселым ужасом шепчет один из приветливых незнакомцев. – Вы посмотрите, как горят глаза у тирана.

Не поднимая опущенных век:

– Да.

– Как он упился нашей кровью!

– Да.

– Однако вы не из болтливых, гражданин!

Молчание. А внизу уже бормочет что-то Двадцатый. Он не понимает, в чем можно его обвинить. Он всегда любил свой народ, и народ любил его. И теперь он любит народ, несмотря на все оскорбления, и если думают, что народу лучше республика, то пусть республика: он ничего против этого не имеет.

– Но зачем же тогда ты призвал других тиранов?

– Я их не звал, они сами пришли.

Ответ лживый: найдены в тайнике документы, устанавливающие факт переговоров. Но он запирается – грубо и глупо, как первый попавшийся пройдоха, уличенный в мошенничестве. Он даже обижается: в сущности, он всегда думал только о народе. Неправда, что он жесток, – он всегда миловал кого можно было помирить; неправда, что он разорил государство, – он тратил на себя так мало, как всякий небогатый гражданин. Он никогда не был ни развратником, ни мотом. Он любит греческих и латинских классиков и столярное мастерство; в его рабочем кабинете вся мебель сделана его руками.

Это правда. Да если всмотреться, то и вид он имеет скромного буржуа: таких толстяков с большими носами, издающими трубный звук, много можно встретить по праздникам на реке, где они целыми часами

ловят рыбу. Ничтожные, смешные люди с большими носами.

Но ведь он же был король! Что же это значит? Тогда всякий может быть королем; тогда безграничным повелителем над людьми может стать и горилла? И ей воздвигнут золоченый трон, и ей будут воздавать божеские почести, и она будет устанавливать законы жизни для людей – горилла с волосатым телом, жалкий пережиток, шатающийся по лесам.

Уже кончается короткий осенний день, и народ начинает выражать нетерпение: зачем так долго возятся с тираном? Уж не новая ли измена? В полутемной комнате, где тихо, встречаются два представителя, ушедших из собрания. Они присматриваются, узнают друг друга и молча ходят рядом, почему-то избегая прикосновений. Ходят.

– Но где же тиран? – внезапно вспыхивает один и схватывает другого за плечо. – Скажи мне, где тиран?

– Не знаю. Мне стыдно идти туда.

– Ужасные мысли! Неужели ничтожество и есть тирания? Неужели ничтожные и есть тираны?

– Не знаю. Мне стыдно.

Было тихо в маленькой комнате, но отовсюду – со стороны собрания, с площади, где толпился народ, – приносился ровный гул. Быть может, каждый говорил тихо, а вместе получался стихийный грохот, подобный грохоту далекого океана. На стенах забегали красные полосы и пятна – по-видимому, внизу, за окнами зажгли факелы. Где-то поблизости послышался грозный топот ног и тихое бряцание оружия: сменяли караулы. Кого они караулят: неужели этого?

– Его нужно выбросить из страны.

– Нет. Народ не позволит. Его нужно убить.

– Но ведь это же будет новый обман.

Багровые пятна прыгают по стене, ползут и мечутся смутные дымчатые тени: словно в неясном сне проходят кровавые дни прошлого и настоящего – и нет им конца. Гул на площади растет; уже чуются отдельные вскрики.

– Первый раз в жизни я почувствовал сегодня страх.

– И отчаяние. И стыд.

– И отчаяние. Дай мне руку, брат. Какая холодная!.. Здесь, перед лицом неведомой опасности, в минуту великого стыда поклянемся, что не мы предадим несчастную свободу. Мы погибнем, я это почувствовал сегодня, но погибая, крикнем: «Свобода! Свобода, братья!» Так крикнем, чтобы весь мир рабов содрогнулся от ужаса. Крепче жми руку, брат!

Было тихо, и багровые пятна вспыхивали на стенах, и дымные молчаливые тени двигались куда-то, а за окнами все яростнее грохотала бездна. Словно сорвался страшный ветер – с севера и юга, с запада и востока – и поднял страхом трепещущую массу. Обрывки песен – вой, – и в хаосе звуков огромными зубчатыми черными линиями выведенное слово:

– Смерть!.. Смерть тирану!

Они стояли, и слушали, и думали о чем-то. Время уходило, а они все стояли, неподвижные среди беснующихся теней огня и дыма, и казалось, что уже тысячи лет стоят они. Тысячи прозрачных лет окружали их великим и грозным молчанием вечности, а тени бесновались, а крики поднимались, и падали, и подходили к окнам, как вздыбившаяся вода. Минутами ясно можно было уловить загадочный и жуткий

ритм волны и грохот обрушивающегося прибоя.

– Смерть! Смерть тирану!

Шевельнулись.

– Что же, пойдём туда.

– Пойдем. Глупец! Я думал, что сегодняшний день кончит борьбу с тиранией.

Она только еще начинается. Идем!

Темные коридоры, ступени каменных лестниц, какие-то совсем безмолвные, прохладные залы, глухие, как погреба, – и внезапно блеснул свет, пахнуло жаром, как из раскаленного горна, застучал в уши частый говор, бессвязный и общий, как будто сотни попугаев в клетках наперебой говорили каждый свое. Еще одна раскрытая низенькая дверь – и под ногами огромная яма, пестро унизанная головами, полутемная, чадная: задыхающиеся без воздуха красные язычки света. Где-то говорят, рукоплескания; по-видимому, кончил.

На дне провала, среди двух оплывающих свеч – фигурка Двадцатого. Он вытирает лоб платком, низко нагибается над столом и что-то невнятно бубнит – это он читает свою первую защитительную речь. Как ему жарко! Да ну же, Двадцатый! Ведь ты король. Возвысь свой голос, облагородь топор и палача!

Нет. Бормочет что-то – глупец, трагически-серьезный.

8

На казнь короля многие смотрели с крыш; но и на крышах не хватало места для всех желающих, и некоторым так и не пришлось увидеть, как казнят королей. А высокие узкие дома, с этими странными, черными, шевелящимися волосами вместо крыш, стали как живые; и раскрытые окна у них похожи были на черные мигающие глаза. За домами торчали в небе тупые и острые колокольни, как будто обыкновенные, – но если взглянуть, то некоторые линии у них, поперечные, были слишком черны и словно шевелились. Это тоже был народ. Оттуда уже совсем ничего не видно было, но они – смотрели.

С крыш эшафот казался маленьким, как детская игрушка, – что-то вроде опрокинутой детской тачки со сломанными ручками. Отдельные люди около эшафота – единственные отдельные люди, которые были видны на всей площади, так как остальное слилось в одну неразрывную, слитную массу, похожую на своеобразный черный газон, – отдельные люди смешно напоминали муравьев, поднявшихся на задние ножки. Все казалось плоским, а они медленно и трудно взбирались на какие-то невидимые ступени и суеились. И так странно было, что рядом, на крыше, стоят с большими головами, ртом, носами.

Били барабаны.

Подплыла к эшафоту маленькая черная каретка, и долго ничего нельзя было разобрать. Потом отделилась кучка и очень медленно поднялась на невидимые ступени. Разбилась на части, расползлась, и посредине остался один маленький.

Били барабаны. Сердце замирало. Вдруг хрипло оборванной линией замолкла барабанная дробь. Стало тихо. Одинокая фигурка подняла ручку, опустила, опять подняла. Должно быть, говорит, но ничего не слышно. Что он говорит? Что он говорит? Рванулись барабаны, затрещали, рассыпались, разорвали воздух на миллиарды дрожащих частиц, мешающих смотреть.

На эшафоте какое-то движение. Маленькая фигурка исчезла. Казнят. Трещат барабаны и вдруг сразу, той же хриплой, рассыпающейся линией смолкают. Тихо. На том месте, где только что стоял Двадцатый, новая фигурка с протянутой рукой. А в руке что-то крохотное, светлое с одной стороны, темное – с другой, как булавочная головка, окрашенная в две краски. Это и была голова короля. Наконец-то...

...Куда-то умчали, гикая и давя людей, гроб с телом короля и головою: боялись, что ярость народа не пощадит и останков тирана. А народ был страшен. Проникнутый старым рабым страхом, он все еще не верил, что это могло случиться, что неприкосновенный, недосягаемый, могущественный владыка сложил голову под топором палача, – отчаянно и слепо ломился он к эшафоту: глаза часто обманывают, и слух часто лжет, – нужно пощупать эшафот, нужно вдохнуть запах королевской крови, по локоть омочить в ней руки. Дрались, душили, падали и визжали. Что-то мягкое, как сверток тряпья, упрямо перекачивается под ногами. Задавленный. Еще и еще. Добравшись до груды обломков, оставшихся от эшафота, дрожащими руками отламывали кусочки, отдирали ногтями, ломая их, жадно и слабо хватали целые бревна и тут же в нескольких шагах падали под их тяжестью. И толпа смыкалась над головою упавших, а бревно, как живое, выныривало наверх, плыло по какому-то течению, снова ныряло, выставляя наружу иззубренный конец, и где-то пропадало. Находили лужицу еще не всосавшейся и не растоптанной крови и макали в нее платки, одежду; многие мазали кровью губы и ставили на лбу какие-то странные значки – кровью короля совершали помазание на новое царство свободы.

Опьянели от дикой радости. Без пения, без слов кружились, задыхаясь в танце; бежали куда-то, поднимая к небу окровавленные тряпки, разливались по городу, неся с собою крики, гул и неодолимый странный хохот. Пробовали петь, но песня была слишком медленна, слишком плавна и ритмична, и снова переходили к хохоту и крику. Ходили благодарить собрание за освобождение отечества от тирана, но по

дороге увлеклись преследованием какого-то изменника, крикнувшего: «Король умер – да здравствует кроль! Да здравствует Двадцать Первый!» И разбежались. Кого-то повесили.

Многие из тех, кто продолжал тайно любить короля, не выдержали мысли, что он казнен, и сошли с ума; многие, даже трусы, убили себя. До последней минуты они чего-то ждали, на что-то надеялись и верили в успех своих молитв; а когда казнь совершилась, они впали в отчаяние и – одни угрюмо и тускло, другие яростно, с богохульством – пронизали себя ножами. Были такие, что в дикой жажде мученичества выбегали на улицу, навстречу несущейся лавине народа, и бешено кричали: «Да здравствует Двадцать Первый!» – и погибали.

Кончался день, и подступала к городу ночь – суровая и правдивая ночь, ибо нет у нее глаз на видимое. В городе было еще светло от огней, а река под мостом была черна, как растворенная сажа; и только там, на повороте, где за широкой тупой башней умирал бледный и холодный закат, тускло блестела она холодными отсветами полированного металла. На мосту стояли двое и, облокотившись на камень, смотрели в загадочную и темную глубину.

– Ты веришь, что сегодня наступила свобода? – спросил один, спросил тихо, потому что в городе еще горели огни, а река под мостом чернела.

– Посмотри, вон плывет труп, – сказал другой, сказал тихо, потому что труп был близко и смотрел вверх синим пятном широкого лица.

– Их много теперь плывет по реке. Они плывут в море.

– Я не верю в ихнюю свободу. Они слишком радуются смерти Ничтожного.

Из города, где горели еще огни, пронесся гул голосов, смеха и песен. Там еще было весело.

– Нужно убить власть, – сказал первый.

– Нужно убить рабов. Власти нет – есть только рабство. Вон еще труп и еще. Как их много! Откуда они выплывают? Они так внезапно появляются под мостом.

– Но ведь они любят свободу.

– Нет, они только боятся бича. Когда они полюбят свободу, они станут свободны.

– Пойдем отсюда. Меня тошнит от вида трупов.

И они повернулись, чтобы идти, и тут – когда в городе еще горели огни, а река была черна, как разведенная сажа, они увидели нечто тяжелое и смутное, рожденное тьмою и светом. Со стороны, противоположной закату, где река терялась в черных берегах и густая тьма копошилась, как живая, подымалось что-то огромное, бесформенное, слепое. Поднялось и остановилось неподвижно, и, хотя у него не было глаз, оно смотрело, и, хотя у него не было рук, оно протягивало их к городу, и, хотя оно было мертво, оно жило и дышало. Было страшно.

– Это туман над рекою, – сказал один.

– Нет, это облако, – сказал другой.

Это было и облако и туман.

– Оно как будто смотрит!

Оно смотрело.

– Оно как будто слышит!

Оно слышало.

– Оно идет сюда!

Нет, оно стояло неподвижно. Оно стояло неподвижно, огромное, бесформенное, слепое, и на странных выпуклостях его краснели отблески городских огней, а внизу у его ног терялась в черных берегах черная река, и тьма копошилась, как живая. Угрюмо покачиваясь, плыли туда трупы и пропадали в темноте, и новые безмолвно приходили на их место и, покачиваясь, уходили – бесчисленные, тихо думающие о чем-то своем, таком же черном и холодном, как уносящая их вода.

А на высокой башне, откуда рано утром увезли короля, крепко спал под маятником одноглазый часовщик. В этот день он был доволен тишиною башни и даже пел – одноглазый пел! – и до самой темноты любовно прохаживался между колесами и рычагами. Потрогал канаты, посидел на лесенке, болтая ногами и мурлыча, а на маятник глядеть не стал, так как делал вид, что сердится на него. А потом искоса взглянул и рассмеялся – и хохотом ответил обрадованный маятник. Качался, улыбался широко своею медною рожеею и хохотал:

– Так было – так будет!

– Ну-ну? – поощрял одноглазый, покатываясь со смеху.

– Так было – так будет!

А когда наступила темнота, одноглазый тут же лег спать и крепко заснул; но маятник не спал и всю ночь носился над его головою, навевая странные сны.

Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Баргамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как баргамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительный, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя даже было крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной

и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов; хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднималось в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговленья.

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубаш, в длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благодетную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосует. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-вот разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой – его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, дотянулся задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными

ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот! – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, за здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртной запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно, служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удалство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевков.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремила к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему

за собой легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету нализался.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес...

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из рук засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую штуку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руки вверх. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городской, стараясь со всей неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, того... в участок! Ишь ты!

Тяжело крикнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну, – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в... участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как будто поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддержал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать. Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол, прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его снова вырывается тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимания на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл.

1898 г.

Петька на даче

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

– Вот, погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует», – думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два других, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть крупную драку, и, когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, – и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, не охлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порывшуюся от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скакали, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредалось по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчицкой пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место. Очень хотелось бы. Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа – «молния». И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слышал резкого крика: «Мальчик, воды», и все худел, а на стриженной голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с безразличностью смотрели на этого худенького веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он не мог ничего сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын – и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать,

поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычной дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосой сутолокой, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, – впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был в первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно было видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется...

– Угу!.. – пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от кона, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькиного пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой же страшный в своей бесконечности; полянки, светлые,

зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее и, когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, – конфузливо улыбался и отвечал:

– Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые – так выжгло их солнце. Он ловил в пруду рыбу, когда Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке поддержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей – на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою поддержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже к вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!» – подумал барин.

– Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

– Надобно ехать, сынок!

– Куда? – удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, – уже найдено.

– К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло и язык двигался с трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она...

– Что поделаешь!.. Требуется. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт – удочка, с другой – призрак – Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если был бы способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

– Вот видишь, перестал – детское горе непродолжительно.

– Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Поддержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонаравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно

угрожающий шепот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!

– Кто черти?

– Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным гроыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899 г.

Полет

1

День полета начался при счастливых предзнаменованиях. Их было два: луч раннего солнца, проникший в темную комнату, где спал с женой Юрий Михайлович, и необыкновенно светлый, полный таинственных и радостных намеков, волнующий сон, который приснился ему перед самым пробуждением.

Юрий Михайлович Пушкарев был опытный офицер-пилот; это значило, что в течение полутора лет он уже двадцать восемь раз – ровно столько, сколько было ему лет, – поднимался на воздух и все еще был жив, не разбился, не переломал себе ног и рук, как другие. Лучше, чем все, чем даже жена его, он знал цену этой смешной и маленькой опытности, обманчивому спокойствию, которое после каждого счастливого возвращения на землю точно отнимало память о прежних чужих несчастьях и делало близких людей излишне уверенными, излишне спокойными, – пожалуй, даже жестокими немного; но был он человек мужественный и не хотел думать о том, что расслабляет волю и у короткой жизни отнимает последний ее смысл. «Упаду так упаду, – думал он, – что ж с этим поделаешь; а может быть, до тех пор и машину сделают такой, что падать не надо, вот я и обману смерть, проживу до старости, как другие. О чем же гадать?»

И, думая это про себя, он улыбался той своей спокойной улыбкой, за которую так любили его и уважали товарищи. Но жил в его теле кто-то еще, кто не поддавался увещаниям, твердо знал свое, был не то мудр, не то совсем без разума, как зверь, – и этот другой страшился страхом трепетным и темным, и после удачного полета этот другой становился глупо счастлив, самоуверен и даже нагл, а перед полетом каждый раз мутил душу, наполнял ее вздохами и дрожью. Так же было и в этот раз, накануне июльского полета.

Вечером, перед сном, Юрий Михайлович нежно и тихо погулял с женой по окраинным темным и зеленым улицам маленького городка, где они временно жили; и уже в половине одиннадцатого, когда в доме еще возились, лег в постель и сразу уснул. Он слышал смутно, как через час или полтора пришла жена, разделась тихо и легла, даже не скрипнув кроватью; потом, долго или коротко спустя, что-то широкое заходило над головой и спокойным, из края в край переливающимся гулом раздвинуло пределы узкого, темного комнатного сна. Он догадался, что это зашла ночная гроза, но совсем не проснулся, а только скинул с себя то тяжелое, как узы, тупое и мертвое оцепенение, каким страх боролся против мыслей и неизбежного. Вдруг задышалось глубоко и сладко: как будто следило дыхание за переливами грома в высоте и шло за ним из края в край; и стало казаться в долгой грезе, что он – не человек спящий, а сама морская волна, которая, то падая, то поднимаясь, дыша ровно и глубоко, вольно катится по безбрежному простору. И вдруг открылся тот радостный смысл, что есть в беге волны по безбрежному простору, когда, то падая, то поднимаясь, идет она в глубокую беспредельность. И уже долго он был волной, и уже разгадал все таинственные смыслы жизни, когда зашумел частый дождь по крыше и тихим плеском окропил грудь, поцеловал сомкнутые уста, приник тепло к глазам и принес кроткое забвение. А потом, долго или коротко спустя – уже птицы звенели за окном – привиделся и тот радостный, волнующий сон, который уже третий раз в жизни посещал его и был каждый раз счастливым предзнаменованием.

Будто проснулся он на рассвете в темной комнате, где спал почему-то один, без жены: и хотя жены не было и комната была незнакома, но была она в то же время своей, настоящей, той, в которой он всегда жил и живет. Проснулся он будто от тревожного и страшного сна, с темным взглядом и стесненной грудью: было тяжело и печально. Тогда поднялся он и вышел в соседнюю комнату, где было уже светлее, так как

только на одной стороне ставни были закрыты, а на другой уже пробивался в окна мягкий, розовый, спокойный свет. «Как хорошо и спокойно: все спят», – подумал он, успокаиваясь; и тут внезапно – так всегда было в этом чудесном сне, – внезапно вспомнил, что, кроме этих хороших комнат, у него есть другие, прекраснейшие, в которых он почему-то давно не был, даже совсем забыл о них. С радостным ожиданием он открыл очень высокую белую дверь и тихо, босыми ногами, вступил на гладкий и теплый пол забытых прекрасных комнат. Их было много, и они были тех огромных и торжественных размеров, какими бывают комнаты и залы только во дворце; и всюду, во всех углах, стоял тот же неяркий, но спокойный и радостный розово-утренний свет. «Как хорошо! И как я мог забыть!» – думал он, тихо скользя вперед, в тишину и высь все новых и прекраснейших зал, полных света и умиленной радости; и так дошел он до двери, за которой слышались голоса. Он осторожно заглянул и увидел, что сидят на полу два маляра, что-то делают и тихонько поют.

Тут Юрий Михайлович проснулся, но еще с минуту, радостно и глубоко волнуясь, не мог понять, где кончается сон и начинается настоящее. На ночь окна в их спальне закрывались ставнями, и теперь прямо в глаза ему что-то ослепительно ярко блистало: он отодвинул голову и увидел острый и прямой луч, идущий от круглого отверстия в ставне, где вывалился сучок, увидел круглое пятно на подушке и розовый сумрак, наполнявший комнату. Потом увидел сбоку от себя темное пятно волос, голую руку, услышал тихое дыхание – и сразу все вспомнил и все понял: и что сегодня ему лететь, и что это милое, что так тихо дышит, есть его жена, и что июльское солнце, поднявшись, стоит против окон и, вероятно, весь мир заливают светом. Попробовал себя, не страшно ли ему лететь, но вместо обычного крепко сдерживаемого страха было глубокое и радостное волнение: как будто ждет его сегодня необыкновенное и великое счастье. «Сегодня я полечу!» – впервые со всей чистотой восторга, радости неомрачаемой подумал он о небесном великом просторе, предчувствиями которого всю ночь жила его душа.

Если бы не этот луч солнца, Юрий Михайлович поспал бы еще час или полтора; но теперь невозможно было ни спать, ни оставаться в темноте, душной и тяжелой; и, осторожно сойдя с постели, стараясь даже не глядеть на жену, чтобы не разбудить ее взглядом, он наскоро оделся. Но та спала крепко; с вечера ей долго не давали уснуть беспокойство и нежная любовь, а потом чем-то страшным измучила гроза – иные были сны у женщины. И теперь она отдыхала. Захватив папирос и все так же не глядя на жену, Юрий Михайлович вышел из спальни в тихий свет пустых и неубранных комнат, еще хранивших в углах ночные тени.

В кухне уже возился над самоваром и колол лучину сонный денщик, каждый движением своим перегоняя с места на место тучу ленивых, тяжелых от ночи мух; но на дворе, и в садике, и на улице, обсаженной тополями, как аллея, было безлюдно и тихо. И хотя давно уже звенели птицы, и по двору прошла кошка, старательно выбирая сухие места и избегая холодной и сырой тени от дома, и даже проехал на станцию извозчик – казалось, что никто еще не пробуждался к жизни, а живет во всем мире одно только солнце, и только одно оно есть живое. Так оно было ласково и так грело глаза и усы, что Юрий Михайлович сделал невинное лицо и надолго притих; потом совсем по-детски подумал, что с солнцем можно говорить: правда, ответа не услышишь, но самому говорить можно, и в этом будет не меньший смысл, чем в разговоре с человеком.

И вспомнил он – все еще сохраняя невинное лицо и не торопясь открыть согревшиеся глаза, – как все детство свое он мечтал о полете. Вспомнил, как он подпрыгивал и снова падал на землю, оскорбленный, негодующий, не понимающий, почему же он не полетел; как уже небольшой прыжок с высоты давал робкое впечатление полета и как до слез почти, до настоящей душевной боли хотелось все отдать, всем пожертвовать, от всего отказаться только за то, чтобы перелететь через соседский дом. И именно этот соседский дом, одноэтажный мещанский домишко с прогнившей деревянной крышей, приобрел такую значительность, что при первом настоящем полете, за тысячу верст от родины, когда от волнения ни о чем

не думалось и не вспоминалось, он вдруг вспомнился Юрию Михайловичу.

Но неужели он действительно уже летал и сегодня полетит?

На небе не виделось ни единого облака, и там, где грохотал ночью гром и откуда падал дождь на землю, теперь раскидывалась ясная и бездонная синева. По книгам это называлось воздухом, атмосферой, но по чувству человеческому это было и вечно оставалось небом – извечною целью всех стремлений, всех поисков и надежд. «Всякий человек боится смерти, и кто захотел бы лететь, если бы это было только воздухом каким-то?» – подумал Юрий Михайлович, не отводя глаз от бездонной, таинственно сияющей синевы и на фоне ее рисуя памятью знакомые загорелые близкие и почему-то очень дорогие лица товарищей, офицеров-летчиков. Правда, разговор их пуст и смешно деловит: так же, вероятно, разговаривает и он сам о своих полетах; но кто же не знает, что иногда совсем не нужно слушать разговора людей, которым они невинно и хитро лгут, а надо видеть лица, глубину глаз, чистоту белых, неиспорченных зубов. И от этих мыслей, ясных, простых и чистых, как чисто было утреннее солнце, еще не увеличилось то радостное волнение, с которым он проснулся; и идя к дому, Юрий Михайлович зачем-то еще раз поклялся себе, что всегда будет любить своих товарищей и будет неизменным другом своим друзьям. Но тот, кто умеет не слышать пустого разговора и мыслей, а смотрит в глубину глаз, на чистоту молодых неиспорченных зубов, тот иной смысл открыл бы за этой наивной и ненужной клятвой. И тот и сам бы не сказал ненужного, а молча и крепко поцеловал бы в уста веселого, легкой походкой идущего к дому человека, у которого улыбка так приветлива и спокойна, а в глазах мерцает уже далекий свет.

Войдя в спальню, Юрий Михайлович тихим поцелуем разбудил все еще крепко спавшую жену.

2

Был у Юрия Михайлович один несомненный дар: он умел молчать легко и приятно, и это делало разговор с ним всегда интересным и значительным. Прямых, определенных и в своей определенности всегда немного резких «да» и «нет» он не любил в разговоре и заменял их спокойной и ласковой улыбкой, свое мнение высказывал осторожно и нехотя и больше предпочитал слушать других. Казалось бы, что при этом качестве своим он должен был представляться товарищам загадочной натурой, человеком скрытным, ушедшим в свои сокровенные переживания, а выходило почему-то наоборот: все в полку, кончая молоденькими, только что произведенными подпоручиками, были убеждены, что знают его насквозь, знают гораздо лучше, чем самих себя. Ибо каждый для самого себя был только путаницей сложных, меняющихся настроений, неожиданных мыслей, внезапных переходов, изломов и скачков, а Юрий Михайлович всегда оставался ровен, спокоен и ясен; и так же ясна, проста и понятна была его жизнь с красивой, любившей его молоденькой женой. Когда какой-нибудь поручик проигрывал в карты или в пьяном виде устраивал дебош, после которого стыдно смотреть даже в зеркало, он непременно шел к Пушкареву – посидеть и образоваться; и, сидя и образуясь понемногу, уже начиная видеть возможность новой жизни, он с некоторым великодушным сожалением смотрел на Юрия Михайловича, сравнивал бездны своей души с его ясной плоскостью и думал: экий ты, брат, ясный! И один шутник пустил было удачную кличку: «Наш разъясненный»; но, как ни удачна была кличка, долго держаться, при уважении товарищей к Юрию Михайловичу, она не могла, вскоре перестала возбуждать смех и позабылась.

И в это солнечное утро Юрий Михайлович был приятно молчалив и ясен по обыкновению, разве только особенным светом глаз выдавал свое радостное, все растущее волнение; и, как всегда это случалось, его видимое и ровное спокойствие передалось жене, Татьяне Алексеевне, ровным светом зажгло и ее красивые черные, слишком блестящие глаза, немного по-азиатски приподнятые к вискам. Еще только недавно она была полна ночного ужаса, ужасных предчувствий и видений, а теперь, наливая мужу чай и поглядывая через открытое окно на синее праздничное небо, она никак не могла ни понять, ни вспомнить, что страшного было в этой сияющей, обращенной кверху, знакомой глубине. «Глупости, нелепые сны!» – думала она, передавая стакан и с любовью глядя, чтобы не обжечь, на смуглые, твердые, никогда не дрожащие пальцы мужа; и вдруг засмеялась, сперва весело, потом даже сердито немного.

– Ты, Юра, просто обманщик, гипнотизер!

Он улыбнулся.

– Почему?

– Просто фальшивый человек – не смейся! Когда я с тобой, мне кажется тогда, что ничего не может случиться, а ведь это же неправда, ведь всегда что-нибудь может случиться! Разве можно быть такой спокойной, как я сейчас, ведь это же неправда, а делаешь это ты. Я вовсе не хочу быть спокойной, это просто глупо!

И, уже стараясь взволновать себя, вернуться к потерянным ощущениям страха и беспокойства, она стала припоминать и рассказывать, немного сочиняя, свои темные сны, но страх не возвращался, и чем глубже было спокойное внимание Юрия Михайловича, тем явно несообразнее, просто глупее становились убедительные сны. Точно ребенок, который долго рассказывает взрослому вздорную, самим сочиненную сказку – и вдруг видит толстые волосы на бороде, большие, ласковые, внимательные, но безнадежно умные глаза, сразу обрывает: не хочу больше рассказывать!

– Нет, Юра, ты сегодня еще хуже, чем всегда!

Но еще не отзвучали ласковые слова, как всю ее залило чувство совсем необыкновенного, острого, почти мучительного счастья. Покраснев до самых плеч, белевших в вырезе платья, она закрыла лицо руками и склонилась к столу – ни взглянуть, ни слова промолвить она не могла бы теперь ни за что в мире. А сердце билось все сильнее и томительнее в ожидании первого слова, которое произнесет он, и это будет невыносимо: первое слово! Но он, необыкновенный, как ее счастье, не сказал ничего и только осторожным и тихим поцелуем прикоснулся к ее снова побелевшей шее.

Потом время побежало быстро. Пошли сборы, одевание; Юрий Михайлович сам, как всегда, своими твердыми смуглыми пальцами застегнул ей блузочку на спине, он же ее и расстегнет, когда вернутся. Но что бы ни делалось вокруг, чувство необыкновенного счастья не оставляло Татьяну Алексеевну, укрепились твердо, стало чувством самой жизни; и что бы ни случилось теперь, – упали Юрий Михайлович на самых ее глазах, увидь она его труп, – и тут бы она не поверила ни в смерть, ни в печаль, ни в роковое одиночество свое. Утверждением вечной жизни и отрицанием смерти было счастье, и не бывает счастье другим.

И, как всегда, уходя из дому, Юрий Михайлович забыл зайти проститься с ребенком, и, как всегда, жена напонила с упреком и повела в детскую. Каждая дружная молодая семья создает свой домашний язык; и на их языке мальчик Миша, имевший от роду год и два месяца, назывался Тон-Тоном и пренебрежительно: Тончиком. Никаким отцом Юрий Михайлович себя не чувствовал, и ребенок с своими короткими ножками, беспричинным восторгом и гениальностью вызвал в нем только снисходительное удивление. И вес его был ничтожный, также удивительный. Теперь Тон-Тон был заправлен в конусообразное креслице на колесах, с круглым отверстием посередине, куда его вставляли; когда Тон-Тон падал в какую-нибудь сторону, кресло катилось и не давало ему упасть – и это называлось: он ходит. Носило его по всей комнате, но иногда ему удавалось наметить свою цель и даже достигнуть ее.

Юрий Михайлович засмеялся; засмеялась и жена, но сейчас же обиженно сказала:

– Тебе смешно, а ему это нисколько не легче, чем твоя авиация. И ты летишь только потому, что все время падаешь, чем же он хуже?

– Правда, – согласился Юрий Михайлович. – Нисколько не хуже.

Но нельзя было не смеяться, глядя на Тон-Тона, и Юрий Михайлович сказал:

– А что, Таня, если бы нашим пьяным по выходе из Собрании давать такое же кресло; понимаешь, нельзя ни упасть, ни заснуть – ужасное положение!

Но Татьяна Алексеевна не нашла ничего смешного в этой мысли и коротко ответила:

– Не люблю пьяных. Возьми же его на руки и поцелуй. И ты напрасно презираешь его и думаешь, что он ничтожество, любит только твои пуговицы: он все понимает.

3

Когда Юрий Михайлович с женой подъезжали на извозчике к аэродрому, голубая пустыня неба ожила своею жизнью: от горизонта поднимались и, развертываясь, точно ставя все новые паруса, медленно проплывали в зените округлые, сверкающие белизной, торжественные облака. Будто ярче засверкало солнце, углубилась синева, и очарованием недостижимости манили ее пролеты, бездны синие и наиглубочайшие всех темных бездн морских; и похоже было минутами на великолепный смотр: будто вышла из гавани целая флотилия судов и, распустив сияющие паруса, гордясь, красуясь и затаив восторг, медленно проходит перед высочайшими взорами.

Татьяна Алексеевна заволновалась:

– Не зашла бы гроза, как вчера, тогда как же?

– Нет, – уверенно ответил Юрий Михайлович, – смотри, у них края точеные. Это смотр, они скоро разойдутся.

– Тебе жаль, тебе хочется подняться выше их?

Он внимательно и немного странно – так ей уже потом казалось – посмотрел ей в лицо и глаза и ответил с своей спокойной улыбкой:

– Я тебя люблю ужасно.

На аэродроме уже был народ, и оживленно готовились к полету летчики, выдвигали машины из ангаров, проверяли, подтягивали металлические тросы; кто-то яростно бранился в сарае, что опять привезли не того бензину; у капитана Кострецова забастовал, по неведомой причине, мотор, и он сам, ругаясь и торопясь, презирая смущенного монтера, развинчивал гайки и уже до самых глаз успел замазаться машинным маслом и нагаром. Но в общем все обстояло благополучно, даже хорошо, и волновались, и высказывали недовольство только для того, чтобы оградиться от судьбы, не показаться ей слишком благополучными, умиловать маленькими неприятностями для избежания большой и страшной. И для той же цели никто не хотел даже сознаваться, на какую высоту сегодня он рассчитывает, уверял лживо, что немножко; и только про Пушкарева все знали, что, уже взявший несколько призов за точность спуска, нынче он намерен побить рекорд высоты. И что это удастся ему, никто из товарищей не сомневался; и самое чувство Рока, грозной случайности, зловеще таящейся в прозрачном воздухе, стало слабее в присутствии ясного и твердого человека, не скрывающего своих намерений, спокойно говорящего о них.

Заговорили громче и веселей и толпою окружили Пушкарева; некоторые, здороваясь, целовались с ним, по – дружески открытым и крепким поцелуем в губы. С женою, Татьяной Алексеевной, здоровались так же приветливо и дружески, целовали ей руку, но видно было, что для всех она – второй человек, и постепенно ее оттесняли от мужа. В другое, обычное время около нее всегда кто-нибудь оставался – из вежливости или любви к женскому обществу и разговору; а теперь она стояла одна на зеленой примятой траве и улыбалась с мягкой женской насмешливостью: было так естественно и все же немного смешно, что она, такая красивая женщина, стоит совсем одна, заброшенная, и никто в ней не нуждается, и никому она не интересна, а они собрались своей кучкой загорелых и сильных людей, смеются, сверкая белыми зубами, дружелюбно касаются локтей и плеч и ведут свой особенный мужской, серьезный и значительный разговор. «Как они любят Юрия!» – подумала она и вдруг перестала улыбаться: снова до самого дна колыхнулась душа ощущением великого счастья, неизъяснимой радости, сердечной благодарности к тем, кто так его любит. Но ведь они еще не совсем знают, какой он благородный, какой прекрасный и

необыкновенно милый человек, а если бы знали!..

И когда подошел к ней полковник Пряхин, старый любезник, и стал говорить любезности, она уже сама послала его к мужу:

– Пойдите к Юрию.

– Я уже виделся с Юрием Михайловичем, – ответил полковник и догадался. – Что-нибудь прикажете передать?

– Нет, – она смотрела в глаза полковнику и улыбалась, – пойдите к Юрию.

И тут, глядя в блестящие влажные глаза, полковник Пряхин понял, что перед ним сумасшедшая от любви, от гордости и от счастья женщина, – и ему сделалось страшно, и единственный раз за всю свою жизнь он почувствовал обманчивую призрачность солнца, земли, на которой так твердо стоят его ноги, всего, что окружает и в чем живет человек. «Странно!» – пробормотал он, отходя, и весь тот день, до самого его темного конца, бормотал это слово, не имея других, чтобы выразить всю необыкновенность представившегося ему мира: «Странно, странно!»

Уже разошлись все и начались полеты, когда Юрий Михайлович подошел к жене и взял ее за руку выше локтя.

– Прости, Танечка, я совсем оставил тебя.

– Ничего, – ответила она, улыбаясь, – я рада.

– Но не забыл!

– Ничего, я рада. О чем вы смеялись?

– Я рассказал им о кресле, помнишь, после Собрании – для пьяных. Ты забыла?

Но ей не понравилось это, и она сказала:

– А я думала о другом, Юра! Они очень любят тебя.

– И я их люблю. Смотри, Таня, Рымба идет сюда, сегодня с ним творится что-то ужасное.

– Поговори с ним, Юра.

– А ты? Мне ведь сейчас...

– Ничего, я рада. Поговори с ним, Юра.

Но Рымба – пожилой пухлый офицер с рябым безволосым, блестящим от пота, но бледным лицом – уже сам звал Юрия Михайловича:

– Юра, на одну минуту!

– Ты что, брат, – спросил Юрий Михайлович, отходя с офицером в сторону, – волнуешься?

Рымба первый раз участвовал в состязаниях, и никто не мог понять, зачем он это делает и зачем вообще учиться летать: был он человек рыхлый, слабый, бабьего склада и каждый раз, поднимаясь, испытывал невыносимый страх. И теперь в глубоких рябинках его широкого лица, как в лужицах после дождя, блестела вода, капельки мучительного холодного пота, а блеклые, в редких ресницах, остановившиеся глаза с глубокой верой и трагической серьезностью смотрели на Пушкарева.

– Юра! Нет, Юра, скажи серьезно, как честный человек: ничего? А? Нет, ты серьезно, как честный человек. Юра?

Юрий Михайлович что-то обдумал, заглянул куда-то и серьезно, с твердой убежденностью ответил:

– Ничего, все хорошо. Лети.

Рымба помолчал и с той же серьезностью сказал:

– Спасибо.

И трижды, крепко, словно христосуясь, поцеловал Юрия Михайловича в губы и коротко, но выразительно потряс руку. А когда Рымба проходил мимо Татьяны Алексеевны и кланялся ей – она счастливо улыбалась, а он смотрел на нее как на союзницу и в ответ на ее улыбку тихо, продолжительно и приятно вздохнул: так-то, видите, какое дело! Мятые голенища его высоких офицерских сапог были слишком широки и сползали, сползали и брюки из-под короткой серой тужурки, висели сзади мешком – и уж какой он был авиатор! Татьяна Алексеевна смотрела ему вслед и почему-то не обернулась, когда сбоку подошел и молча встал Юрий Михайлович. И, не оборачиваясь, продолжала улыбаться далеко шагавшему, нескладному Рымбе, она поняла и почувствовала, что муж внимательно, упорно и близко смотрит на ее щеку, на профиль черных ресниц, на улыбающиеся губы; и почувствовал теплый ветер, свежо и мягко прошедший по глазам; и это было счастье.

– Я люблю тебя ужасно, – сказал Юрий Михайлович и осторожно коснулся ее руки выше локтя, где она была горячая и под тонким шелком совсем близкая; и рука в этом месте стала счастливая. Но и тут не обернулась Татьяна Алексеевна, как будто ничего не слыхала; и только улыбка тихо сошла с лица, и стало оно покорным, робким и для самой себя милым: любовью мужа любила себя в эту минуту Татьяна Алексеевна и так чувствовала себя всю, как будто есть она величайшая драгоценность, но страшно хрупкая, но чужая – надо очень беречь! И трава зеленела, прекрасная земная трава, и ветер веял, обвеивал свежо и мягко обнаженную шею. И совсем далеко шагал нескладный Рымба. И трепыхались цветистые флаги на трибуне; хотели оторваться от древка, взвивались и мягко падали.

– Ветер, кажется, – сказала Татьяна Алексеевна и обернулась к мужу: он смотрел на нее. И глаза его сияли.

Прощаться пришлось при народе, и прикосновение губ было легко, как паутина; но самый крепкий поцелуй не ложится так неизгладимо на лицо, как эта тончайшая паутинка любви: не забыть ее долгими годами, не забыть ее никогда. И вот еще чего нельзя забыть: розоватого шрамика на лбу у Юрия Михайловича, около виска, – когда-то, маленький, играя, он ударился о железо, и с тех пор на его чистом лбу остался этот маленький, углубленный шрамик. И его не забыть никогда.

Вдруг явно и немного страшно опустела земля – это значило, что Юрий Михайлович поднялся с земли на своем «Ньюпоре». Но странно! – даже не дрогнуло сердце, не сделало лишнего удара: так непоколебимо было величие счастья. Вот с шумом он пронесся над самой ее головой: делал первый круг, поднимаясь, но и тут не забило сильнее ее сердце. Обратив лицо вверх, как и все на земле, она смотрела на восходящие круги аэроплана и только тихонько, с усмешкой, вздохнула: «Ну конечно, теперь он меня не видит! Высоко!»

4

Там, откуда ночью лил дождь и где перекатывался гром, освещая свой ночной путь среди туч и хаоса, теперь было тихо, лазурно и по-небесному просторно. Безмолвно и широко плыли редкие облака по своим невидимым путям, солнце одиноко царило, и не было ни шума, ни голосов земных и ни единого знака земного, который обозначал бы преграду.

При первых кругах Юрий Михайлович еще смотрел вниз: на зеленую с песочком карту аэродрома, на неподвижную чернь толпы, похожей на чернильное разбрызганное пятно, – все еще считался с землею и привычно ожидал от нее какой-нибудь внезапности, мгновенного препятствия. Но на пятом кругу, вместо того чтобы плавно очерчивать поворот, сделал прямую и решительно вынесся за пределы аэродрома; и уже над лесом, в просторе и тишине, стал подниматься выше. «Хорошо бы теперь погулять в лесу», – подумал он снисходительно и ласково и вдруг ощутил с необыкновенной ясностью знакомый с детства, приятный, сырой запах леса, почувствовал под ногами траву и землю, даже как будто заметил низенький гриб под темной старою листвою. И тут только понял, что лес далеко, а он летит – не идет, как всю жизнь шел на свинцовых подошвах, а летит по воздуху, ни на что не опирается, со всех сторон объемлется прозрачной и светлой пустотою. Только кратчайшее мгновение прошло, как отделился Юрий Михайлович от земли, а уже находится он в мире ином, в иной стихии, легкой и безграничной, как сама мечта; и с ужасающей силой, почти с болью снова почувствовал он то волнующее счастье, что, как жидкость золотая и прозрачная, всю ночь и весь день переливалась в его душе и в его теле. Даже дыхание захватило от счастья и слезы подступили к глазам – с той, с другой, с невидимой стороны глаз, где слезы знают только самим человеком. «Что же такое милое я видел? – подумал он. – Что же такое милое я чувствую? Такое милое, такое милое».

И с этой минуты он почти перестал смотреть на землю: она ушла вниз и далеко, со своими зелеными лесами, знакомыми с детства, низкорослою травой и цветами, со всей своей радостью и робкой, ненадежной земной любовью: и ее трудно понять, и ее трудно, даже невозможно, вспомнить – крепок и ясен жгучий воздух высот, равнодушен к земному. Даже улыбаться здесь не пристало – пусть с той, с другой, с невидимой, стороны, как и слезы, подходит к устам счастливая и скромная улыбка, – но нельзя ее показывать, пусть строго и серьезно остается лицо. «Уже высоко, – подумал Юрий Михайлович. – Уже высоко, но надо еще выше: ведь здесь такой простор, что можно и вперед и вверх, и назад и вниз; можно, как я хочу: все – моя дорога». И на долгое, как ему показалось, время он шел в серьезную и важную работу, весь сосредоточился в радости управления.

Даже на свинцовых подошвах земли он любил всякое произвольное движение, свободные повороты, неожиданные скачки в сторону: оттого и не терпел с самого детства ни улиц, ни тропинок, ни самых широких дорог, где наследственно предначертан путь – как в извилинах мозга стоит, застывши, умершая чужая мысль. Здесь же не было наезженных путей, и в вольном беге божественно свободной сознала себя воля, сама окрылилась широкими крылами. Теперь он и его крылатая машина были одно, и руки его были такими же твердыми и как будто нетелесными, как и дерево рулевого колеса, на котором они лежали, с которыми соединились в железном союзе единой направляющей воли. И если переливалась живая кровь в горячих венах рук, то переливалась она и в дереве и в железе; на конце крыльев были его нервы, тянулись до последней точки, и концом своих крыльев осязал он сладкую свежесть стремящегося воздуха, трепетание солнечных лучей. Он хотел лететь вправо – и вправо летела машина; хотел он влево, вниз или вверх – и влево, вниз или вверх летела машина; и он даже не мог бы сказать, как это делается им: просто делалось так, как он хотел. И в этом торжестве воли хотящей была суровая и мужественная радость – та, что со стороны кажется печалью и делает загадочным лицо воина и триумфатора.

Глубоко внизу дымилась чаша земли, как котел: кажется, то облако внизу проходило; но о земле не хотелось думать и не думалось. И чтобы сильнее почувствовать свою волю, Юрий Михайлович закрыл глаза: на мгновение, как в зеркале, он увидел свое побледневшее светящееся лицо; и дальше ему почудилось, что от головы его стелются назад светлые ленты лучей, отвечаются назад и веют перья блестящего шлема, – будто стоит он на колеснице, крепко зажав в окаменевшей руке стальные вожжи, и уносят его ввысь огненные небесные кони. И дальше показалось ему, что он вовсе и не человек, а сгусток яростного огня, несущийся в пространстве: отлетают назад искры и пламя, и светится по небу горящий след звезды, вуаль голубая. Так долго летел он вверх – странная человеческая звезда, от земли уносящаяся в небо.

В это время он поднялся уже высоко, пропадал из глаз, и долго надо было скитаться взорами по небесному океану, слепнуть от солнечных лучей, искать и разыскивать среди огромных редких облаков, чтобы найти и увидеть высоко летящего. И как ни редки были крупные округлогрудые, постепенно уходящие облака, снизу казалось, что от них на небе тесно; и мнилось минутами, что летящий скользит и ищет прохода между облаками, как ищет между островами прохода мореплаватель: никто не знал внизу, как там просторно, как широки арчатые ворота и безбрежны голубые проливы, как царственно великолепен, широк и свободен небесный архипелаг. Но таяли облака, уходили по склону, синими сфинксами на подвернутых лапах сторожили горизонт, и видимо даже для глаз, смотрящих исподнизу, креп, густел и разливался беспредельно великий небесный простор, пустынный океан.

Юрий Михайлович открыл глаза и взглянул вниз, на землю. И подумал, поднимая глаза от дымящейся земли:

«Вот и сбился мой счастливый сон, вот уже я и в святом жилище моем, хожу среди моих высоких зал, и нет со мною никого, только свет один. Но что же милое я вижу? Я один ведь. Но что же такое милое я чувствую? Такое милое, такое, такое. Счастье мое, моя душа, мое счастье. Я люблю тебя ужасно».

И снова с ужасающей силой, трижды с силой, с болью открытой крови и текущих слез почувствовалось волнующее счастье, трепет блаженнейших предчувствий, блаженство рокового. Далеко, совсем далеко, как последний звук спетой песни для уходящего, неясное слово земной любви, вспомнилось милое лицо, профиль черных ресниц, матово-розовая щека, томящаяся неслышным криком нежности; вспомнилось, как спала она тихо возле, как дышала тихо – совсем возле; и как будто нашлось объяснение восторгу и любви. «Милая, – подумал он нежно и дрогнул сердцем, – милая, я люблю тебя ужасно!» Так подумал он и в следующее мгновение забыл – совсем и навсегда забыл, забыл о любимой. Иному предалось его сердце и в суровой нежности своей на иную встало стражу.

Что думал он в эти последние свои минуты, когда, снова закрыв глаза, он летел безбрежно, не чувствуя и не зная ни единого знака, который означал бы преграду? Чем был в сознании своем? Человеческой звездой, вероятно; странной человеческой звездой, стремящейся от земли, сеющей искры и свет на своем огненном и страшном пути; вот чем был он и его мысли в эти последние минуты.

Колыхалась машина в высоте, как ладья на волнах воздушного моря; на крутых поворотах она кренилась дико, умножая бешеную скорость падением, оглушала себя рокотом и звоном винта, взвизгами и всплесками рассекаемого воздуха; разошлись облака, оголив холодеющую лазурь, и солнце одиноко царило. Одиноко царило солнце, и был между ним и землею только один предмет и один человек; и озаряло оно, не грея, то светлые тонкие крылья, то смуглое побледневшее лицо; играло искрами на металле. И в одну из этих минут, когда солнце близко и огненно блеснуло ему в глаза, всего его, до самого сердца, наливши легким подымающим светом, – Юрий Михайлович громко и странно выговорил:

– Нет!

Слов его не слышно было бы другому за шумом машины, но он слышал себя; и громко он сказал то, что еще в снах ночных волнующих, в тяжелом видении сонного денщика, колющего лучину, в образе милых лиц и милых глаз опозналось взволнованной душою как необыкновенное счастье. Он сказал:

– Нет! На землю я больше не вернусь.

Он сказал эти странные слова, обрекавшие его на смерть, и спокойно замолчал: и здесь он сохранил любовь к молчанию, свой дар приятный. И спокойно продолжал свой бешеный бег в пространстве. Если бы он мог, он увеличил бы быстроту и увеличивал бы ее безгранично: но этого не допускала машина, и он стал делать другое, по виду безумное; и так его и поняли с земли. Он стал резать пространство кривыми линиями, ломаными и причудливыми, неожиданными и прекрасными, как полет ночной птицы, опьяненной лунным сиянием: вверх и вниз, назад и вперед, круто вбок – до ужаса влево и вниз. Задыхаясь от восторга, стиснув белые зубы, чтобы как-нибудь нечаянно не закричать, не петь глупостей, он широкими размахами пронизывал воздух, хотел убедиться, что не таит в себе невидимых и коварных преград светлое пространство: нет, режется мягко и всюду, не таит в себе преград, есть единая светлая бесконечность. Раз чуть не упал – было одно такое мгновение! – но выправился и понесся куда-то вглубь.

Но даже и в игре неприятным казалось терять высоту; и решительно взмыл он вверх, перестал кружиться, громосвистящей ракетой понесся прямо ввысь, к своей высокой последней цели. Он уже давно забыл про себя, кто он и как попал он в воздух, а теперь он снова стал звездой, сгустком яростного огня, несущимся в пространстве, отбрасывающим назад искры и голубое пламя. Вдруг ему чудилось, что волосы его горят огненными прядями, волнуясь стекают вниз к земле; и вдруг понял он, что это есть прямая дорога из одной бесконечности в другую, увидел ясно, что так и влетит он, стремящийся из этой вечности в другую, где широко открытыми стоят и ждут его высокие двери его святого тайного жилища. «И как же я могу вернуться на землю? – пела его душа в блаженном забытьи. – Я вижу милое, такое милое, такое. Счастье мое, моя душа, мое счастье. Я люблю тебя ужасно.

Я был маленький мальчик, и мне хотелось перелететь через крышу: совсем невысокая, смешная, ужасно низкая зеленая крыша, прогнившая. Это моя радость поет о том, что я был маленький мальчик и мама звала меня Юрой, Юрочкой. Были у меня отец и мама, и оба умерли; потом много было еще чего-то прекрасного, как печаль: кого-то я люблю ужасно. Это печаль поет во мне: кого-то я люблю ужасно. Милое дитя мое, дорогой мой мальчик, душа моя. Я буду подниматься все выше. Тело мое отлетит от меня и упадет, а я пойду выше, дорогой мой мальчик, любимое дитя мое, – я пойду выше. Я иду выше. Я иду. Волнуется моя душа, стремится из тела, стремится к горнему и дальнему полету, – я иду выше и без конца. Волнуется моя душа, – о дорогой мой мальчик, о дитя мое любимое, волнуется, волнуется моя душа!»

По лицу его текли слезы, он не знал о них. Нежно белели зубы среди полуоткрытых уст, и глаза, расширенные зрением вечности, неотступно смотрели ввысь, туда, где за синими аркадами неба сияла даль – воистину безбрежная. Слезы текли по его лицу.

– О какое волнение, – какое!

5

На землю он больше не вернулся. То, что, крутясь, низверглось с высоты и тяжестью раздробленных костей и мяса вдавилось в землю, уже не было ни он, ни человек – никто. Тяготение земное, мертвый закон тяжести сдернул его с неба, сорвал и бросил оземь, но то, что упало, вернулось маленьким комочком, разбилось, легло тихо и мертвенно-плоско, – то уже не было Юрием Михайловичем Пушкаревым.

На землю он больше не вернулся.

Мельком

По одному неприятному и скучному делу я был вызван из Москвы и освободился только к десяти часам вечера, развинченный и злой. Другого дела у меня не было, но я торопливо шел на станцию, по привычке человека, у которого лежит в боковом кармане записная книжка, а в ней против каждого дня отмечены десятки мест, куда нужно поспеть, и ругал, ругал... право, не знаю кого. Весь свет ругал: и тех, кто вызвал меня по этому глупому делу, и себя за то, что поехал, и собак, существование которых в этой местности я предполагал, и дождливое лето, и ночной мрак, который уже царил всюду, особенно сгущаясь в узеньких путаных переулках, пролегавших между дачами. Посередине еще светлела дорога, но по краям, где под тенью высоких деревьев проходила пешеходная тропинка, было так же темно, как и у меня на душе. По времени свету полагалось больше – это происходило в последних числах июня, – но перед тем только что пронеслась сильная гроза, с проливным дождем и ветром, и посеревшие тучи еще не успели рассеяться, точно им было так же трудно и неприятно двигаться в теплом и сыром воздухе, как и мне. Минутами они спохватывались, как пьяница, который вспоминает, что в одном из карманов у него еще завалился непропитый пятак, и, возвратившись, с треском бросает его удивленному целовальнику, – и посылали на землю редкие, запоздавшие капли, лениво ударявшиеся о листья и траву и наполнявшие окрестность тихим шуршанием. Деревья не шевелились, и только, когда я с усиленной бранью налетал плечом на темный ствол сосны или задевал ногой кустарник, на меня сыпались частые теплые брызги. У меня уже начинала являться противная догадка о том, что вместо станции я иду к черту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и в нескольких шагах на просветлевшем пространстве тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая крытая платформочка, задавленная окружающим лесом и ежеминутно пугаемая громыхающими поездами, робко прижималась к земле. На ней не было даже кассы, и в продолжительной агонии кончался холостяк-фонарь, не только не рассеивая тьмы, но скорее увеличивая ее. На стене висело большое, оборванное по краям и никогда не читаемое расписание каких-то поездов с мудреными линиями и черными ободами, а в углу стояла единственная лавка, на которую я плотно уселся. До поезда оставалось еще более часу, и я приготовился терпеливо ждать. Для этих случаев у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно, да и не хотелось. Эти чужие и выдуманные люди, о которых будет говорить газета или книга, давно уже вызывали во мне скуку и зависть. Что мне до того, что там где-то гремят витии, кипит жизнью шумная толпа и крики победы и яростные вопли побежденных поднимаются к небу, – когда вокруг меня спит самый воздух, и сам я кисну и буду киснуть в этой неподвижной духоте? А в книге еще хуже: сочиненные Петры будут любить и целовать выдуманных Марий, во имя проклятого реализма порок будет торжествовать, а слюнявая добродетель ныть и киснуть, киснуть и ныть! Да и не все ли равно, быстро или медленно пройдет время? За этим часом пойдут другие, и их тоже нужно будет убивать – так пусть они умирают сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нытьем, я не заметил, как на платформу вышли из разных концов две пары. Первую составляли два подвыпивших господина. Один из них был высокий худощавый старик с желтым лицом и реденькой седой бороденкой, от тонкого и широкого рта спускавшейся клочками на гусиную шею. Из-под котелка, оставлявшего в тени верхнюю часть лица, спускался тонкий и длинный нос, на конце острый, как у покойника. Спутник его обладал широким и красным лицом, подобным ломтю зрелого арбуза – причем роль зерен выполняли маленькие черные глазки, – стриженной круглой головой, на которой торчал белый картуз. Над пухлыми губами чернели маленькие усики. От всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимым блаженством и какой-то обидной кротостью. Старик уселся возле меня и заговорил высоким, хриплым фальцетом, которому он старался придать язвительность и иронию:

– Будьте, Семен Семеныч, солидарнее! Вас немного намочило, вы и починяйтесь.

– Но чем же я починюсь, Василь Игнатыч? Буфета нет.

– Это дело ваше. Толцые и отверзется.

– Чему отверзаться-то? Стена.

Молодой человек в подтверждение своих слов стукнул кулаком в тонкую стену, издавшую звук пустого пространства, и откатнулся назад, но сделав при этом такой вид, как будто ему давно уже хотелось откатнуться и он только пользуется удобным случаем.

– Но зачем утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? – спросил старик.

Весь он был преисполнен вежливости, иронии и яда, которым особую силу придавали частые знаки препинания.

– Сердце у меня золотое, с хорошим человеком поговорить желательно. Покурим, старина?

– Это дело ваше. А только я не старина, я – Василь Игнатыч и всякой пьяной свинье не товарищ.

– А сами-то вы не пили? – оскорбился тот.

– Это дело наше.

Другая пара стояла между тем в нерешимости.

– Уйдем, Саша, тут пьяные.

– Ничего, они тихие, сядем вон там в углу.

Высокая женская фигура в сером клеенчатом плаще медленно тронулась, и за ней последовал тот, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свет упал на красивое женское лицо и юношу с длинными волосами и в синей с косым воротом рубашке. Видом своим он напоминал интеллигентного рабочего или студента, снявшего форму. Девушка держалась спокойно и говорила решительно, мало придавая значения тому, что ее услышат. Голос ее – чистый и мягкий – звучал лаской в самом простом слове. Такие женщины, с ласковым голосом и уверенными движениями, особенно хорошо ухаживают за больными.

Разостлав на полу клеенчатый плащ, они уселись, тесно прижавшись друг к другу, и из-за лохматой головы на плечо легла тонкая белая рука.

– Милый, тебе не холодно?

– Конечно, нет, – ответил он с тем пренебрежением, каким мужчины отвечают на женскую заботливость.

А мне уже становилось холодно, и я зябко ежился в своем одиноком и жестком углу.

– А как нас знатно вымочило! – продолжал тот же ласковый голос со скрытым смехом. – И как страшно в лесу, когда гроза.

– Ну, что там страшного. Скорее – приятно. А твои там, дома, не будут беспокоиться о тебе? Запропала неведомо куда.

– Пусть их, – ответила девушка и счастливо рассмеялась, но тотчас же перешла в серьезный тон: – А странно, правда, что время так долго тянется без тебя. Ты когда был здесь?

– Вчера.

– Вчера? – протянул голос. – И то ведь вчера. Вот потеха-то! Я думала, что они врут.

– Кто они?

– Да вот те, что романы пишут.

– Кстати, кончила ты Каутского? У меня просили его.

Ответа я не слышал. Уже давно доносился издали гул, тихий и неотзывчивый в сером воздухе, поглощающем звуки. То шел не то пассажирский, не то курьерский поезд, не останавливающийся на этой платформе. Постепенно гул возрастал, и из-за стены, закрывавшей от меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, как вихрь, с громом и лязгом, таща за собой тяжелые вагоны. Освещенные окна сливались в одну блестящую полосу с мелькающими силуэтами голов. С низенькой платформы, стоявшей почти на одном уровне с рельсами, видно было, как торопливо вертятся колеса, кажущиеся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженным молодым человеком, в котором этот пронесшийся ураган, видимо, пробудил новые силы. Отчаянно фальшивым голосом он запел:

Бледный месяц... плывет над ре-е-кою...

– Врешь, – комментировал старик с язвительностью. – Возьмите глаза в зубы, и вы увидите тучи.

...Все в а-объятьях... ночной тишины...

– Хороша тишина! Орет как пришпандоренный.

...Ничего мне на свете... не нада-о-о...

– И опять врете. Полбутылки надо.

...Только видеть... тебя одное!..

– Эту рожу-то? Тьфу! – с омерзением плюнул старик.

– Послушайте! Почему вы говорите, что у нее рожа? Вы сами видели, какая у нее прелестная личность.

– К вашей пьяной роже никакая личность не подойдет.

Молодой человек задумался и решительно произнес:

– За эти слова я больше с вами незнаком.

– Дело ваше.

С другой стороны слышалось:

– Ты понюхай, Саша, как хорошо пахнет: листьями и еще чем-то.

– Да уж нюхал.

– Нет, пожалуйста, еще.

Юноша с шипением потянул воздух, и оба рассмеялись. На блаженного молодого человека молчание действовало удручающе, и он заговорил, подражая ироническому тону старика:

– А вот с каким поездом мы поедем?

– Ни с каким.

– Н-ну? – изумился молодой человек и икнул. – Почему же это, хотел бы я знать?

– Потому что не пустят. Скажут: куда, пьяная морда, лезешь?

– Это кто же морда-то? Скажем: две пьяные морды.

– Да еще по шее наладут, – ехидничал старик.

– О?

– Да протокол составят.

– О? – все больше таращились глаза молодого человека.

– Да в титы. Посиди, голубчик, охладись, а то чувствителен больно.

Молодой человек задумался и торжественно провозгласил:

– Я с вами больше незнаком, потому что вы вредный человек.

Несмотря на то что эту торжественную формулу он заключил новой звучной икотой, видно было, что он огорчился и весь как-то потускнел, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понял теперь и причину этого омраченного блаженства: оно было тем впечатком, который накладывают на человека ласки и поцелуи любимой женщины. Но на что злился старик?

– Какой мрачный господин, – сказала шепотом девушка, очевидно, намекая на меня.

Мне было приятно, что я замечен и что, главное, замечена моя мрачность. Пусть хоть пожалеют меня эти милые люди – меня, у которого нет любви.

– Бабушку схоронил, – предположил юноша.

Это предположение было поразительно глупо. Кто бывает так мрачен, схоронив бабушку, и почему именно бабушку, а не дедушку?

– Ха-ха-ха! – звонко рассмеялась девушка, но сейчас же, со своим обычным переходом к милой серьезности, добавила раскaiвающимся голосом: – Быть может, он болен, а мы смеемся.

Это была эпитафия, с которой меня снова опустили в пучину небытия, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттенила их светлое счастье. И снова повелся ими серьезный, деловой разговор о загранице, о медицинском институте, о правилах приема в него, о книжках прочитанных и тех, которые нужно еще прочесть, а в этот разговор вривалась шаловливым лучом милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно белая пена на поверхности золотистого крепкого вина. Весь мир казался им пустяком, и каждый пустяк был целым миром. Чувствовалось то благоговейное внимание, с которым эта высокая, красивая девушка ловила каждое слово, которое скупно, как драгоценность, выпускал длинноволосый юноша. Каким благодарным смехом отвечала она, когда это слово оказывалось умным и острым! Рассыпь сейчас перед ней Цицерон все самые пышные цветы из своего неувядаемого венка, блистай перед ней Гейне всеми перлами язвительной насмешки и мистически-страстной нежности, плачь и хмурься перед нею Данте, соберись тут наконец все великие умы и сердца и положи к ногам ее дары свои, она, эта красивая девушка, не обернула бы к ним головы и жадным ухом ловила бы каждое слово длинноволосого молодца. Она смеется, счастливая и благодарная, точно все это: и ее возлюбленный, и смешные пьяные, и сумрачный господин, схоронивший свою бабушку, существуют лишь для полноты ее счастья. Мы не были живые люди, мы были лишь тени, картинки.

– Как быстро бежит время! – жаловалась она.

А я не знал, как убить это время!

– Может быть, мои часы спешат?

Маленькие золотые часики сблизались с большими серебряными часами, и обе головы склонились

над ними. Но, вероятно, кроме часов, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишком уж долго не определялся настоящий час.

– Кажется, верно? – смущенно сказал женский голос с легкой дрожью.

– Верно! – авторитетно сказал юноша.

Верно! Как слепы эти счастливые люди. Неверно! Тысячу раз неверно! И проклянете тот день, когда ваши часы пойдут так правильно, что ни в одной убитой минуте вы не ошибетесь, и маленькие часики далеко от вас будут отбивать такие же грустные и пустые секунды!

Тучи уже проходили, и на западе, прямо против платформы, светлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На нем чернели, как вырезанные из плотной бумаги, силуэты разбросанных деревьев. Свежее и суше стал воздух, на ближайшей даче глухо зарокотал рояль, и к нему присоединились согласные, стройные голоса.

– Пойдем слушать, – быстро вскочила девушка и потащила за рукав неуклюже поднимавшегося юношу.

Пойдём и мы – пусть до конца оттаивает застывшее сердце. Пели хорошо, как редко поют на дачах, где каждая безголосая собака считает себя обязанной к вытью. И песня была грустная и нежная. Мягкий, красивый баритон гудел сдержанно и взволнованно, как будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокий и звучный тенор. А жаловался он на то, что дни и ночи думает все о ней одной.

– Об одной тебе думу думаю, – плакал тенор.

– Думу думаю, – грустно соглашался баритон.

– Об одной тебе, моя душечка, – звенел слезами тенор.

– Душечка, – мягко подтверждал баритон.

– И умру я, жизнь проклиная, об одной тебе вспоминаючи...

– Об одной тебе вспоминаючи, – с глубокою тоскою подтвердил баритон, и все стихло.

Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка и, когда песня кончилась, разом вздохнула – и поцеловалась. Я отправился на платформу, откуда слышался отчаянно фальшивый голос, беззаботно обходившийся всего двумя нотами, одинаково скверными: простым криком и диким криком. Молодой человек с золотым сердцем не мог остаться нечувствительным к любовному призыву и отвечал как умел...

Ничего мне... на свете... не нада-а.
Только видеть тебя одное...

– Врете! – шипел старик, пытаясь заглушить кричащего. – Дубину хорошую надо!

Бедный старик! Теперь я понял, почему он так злился. Он завидовал, как и я.

Затрещал звонок, извещающий о выходе поезда, и вскоре слышался тот же ровный и тихий гул. Сейчас поезд унесет меня отсюда, и навеки исчезнет для меня эта низенькая и темная платформочка, и только в воспоминании увижу я милую девушку. Как песчинка, скроется она от меня в море человеческих жизней и пойдет своею далекой дорогой к жизни и счастью.

Снова из-за стены вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздрагивая, свой стремительный бег. Находя друг на друга и треща и скрипя тормозами, проползали вагоны и остановились с глухим стуком. Стало тихо, и только шипел воздух, выходя из тормозных труб.

Пьяных действительно на поезд не пустили, и старик с злорадством говорил:

– Что? Поехали?

– Нич-чево. Поедем на следующем.

– А на следующем и по шее накладывают.

Я стоял на площадке вагона, против длинноволосого юноши, пристально смотревшего на высокую, стройную фигуру, таким же продолжительным взглядом впившуюся в него. Поезд дернулся и плавно пошел, отрывисто стуча и покачиваясь на стыках рельсов.

– До свиданья, Саша, – сказала девушка.

– До свиданья, – ответил он.

– Прощай, – тихо молвил я, склоняя голову.

– До завтра! – донеслось уже издали и глухо.

– До завтра! – крикнул он.

«Навсегда», – ответил тихо я. «Навсегда», – прощались со мной черные силуэты деревьев и убегали назад. «Навсегда», – сказала платформа и скрылась за поворотом.

Однако пойти в вагон, а то становится холодно: мечты мечтами, а насморк насморком. Да заглянуть заодно и в записную книжку: куда и куда бежать мне завтра спозаранку.

У окна

Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискосок, в потемневшем кривом домике, отвязалась ставня и с тупым упорством захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась о гнилые бревна. И остававшаяся открытой другая половинка, со стоявшей на ней бутылкой желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом.

За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, слышался голос, глухо и неторопливо бурчавший:

- Дело вот в чем – две копейки потерял.
- Да брось ты их, Федор Иванович, – умолял женский голос.
- Не могу.

Под тяжелыми шагами заскрипели половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что это потерянные, но Федор Иванович не верил, и приходилось перерывать всю комнату.

Вздыхнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна, на противоположной стороне, высился красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начинаясь от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши со стоящим на ней таким же вычурным шпилем. Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными, точно для них никогда не умирала весна и сами они обладали тайной вечнозеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там красиво, уютно и чисто.

В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома, красивый высокий брюнет с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно – веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца и, смеясь, скрываются за дубовой дверью, а толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощеный двор, в отдаленном конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрызгивая резиновыми шинами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил, но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин в фуражке с бархатным околышем и кокардой, и он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич.

– Вот в чем дело, – говорил за перегородкой хозяин, раздумчиво и вразумительно, – это не те две копейки. Те две копейки щербатые.

– Господи, да когда же ты приберешь меня?

Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе.

Вот распахнулись ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. «Это барыня сейчас поедет», – подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина и с нею сын, семилетний пузырь, с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами, и с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевич называл про себя «вашим превосходительством» и искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, рождаются тем же простым способом, как и другие дети? И, когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худенький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце, сделала гримасу и скрылась за дверь. Снова опустела и затихла мокрая улица, и только отвязавшаяся ставня хлопала с таким безнадежным видом, точно просила, чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покривившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека.

Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за красивым домом и так сжился с ним, что, сгори дом – он не знал бы, что ему делать. Он изучил все привычки его обитателей, и, когда в прошлом году, весной, пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходил со стенами, в треугольничке находилось место, которое он особенно любил за его уютность, и ему сделалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнате, и стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто лежит на илистом дне глубокого моря и тяжелая, темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный, стоит он посередине, словно на площади, по которой он так не любит ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали бы и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать

приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топтать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным, – и при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всякий раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное.

В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его, все один и тот же за пятнадцать лет, – крытый клеенкой стол притиснут в самый угол, и, когда проходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко, и лишь после того, как советник пройдет и согнутые спины распрямятся, словно колосья ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполнительный и скромный чиновник, пишущий «д» с большим росчерком и «р», похожее на скрипичный знак, и что зовут его Андреем Николаевичем, товарищи дразнят его «Сусли-Мысли», а фамилия известна одному казначею. В свою очередь, чиновник этот знает, что он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником – и что это за страшные были дни!

Надвинулась туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево или нет и чувствуются ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий блик его лысины. Так медленно проползает секунда, две. Подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей.

– Ну, что еще? – замечает его советник, уже отдавший все необходимые приказания.

Голос его гремит, как труба на страшном суде, и ноги Андрея Николаевича сейчас же сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а танцуют на одном месте. Язык, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами.

– Н-ну? – протянула труба.

– А... если Агапов к двум часам не перепишет?

– Да... – задумался начальник. – Ну, дайте тогда на дом. Что еще? Ясно?

– Ясно, – отвечает Андрей Николаевич в тон вопросу, резко и отрывисто. Он плохо понимает, что ему говорят, потому что новый и страшный вопрос возникает в его мозгу.

– Так... чего же вам еще? – рычит труба.

– А... если у него есть другая спешная работа?

Это была правда. У Агапова могла быть другая спешная работа, и советник об этом не подумал. Снова, с неудовольствием оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать.

– Ну, дайте кому-нибудь еще.

– А если...

– Что-с? – рванул советник. Глаза его стали огромные и круглые, как кегельные шары.

Андрей Николаевич обомлел от страха.

– Нет, нет, не то, – скороговоркой проговорил он и из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него, – похоже было на разговор людей, разделенных широким оврагом. – Я вам говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаем, тогда что?

Остальное представляется Андрею Николаевичу в виде одного звука: ф-фа! Через неделю советник говорил секретарю:

– Откуда вы достали этого господина, который по горло заряжен всякими «если»? Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило. Но ведь и дом этот может провалиться! – вдруг рассердился он. – Ведь может?

– Казенной постройки, – пошутил секретарь и серьезно добавил: – Никак не полагал: он такой исполнительный...

– Дерзкий еще такой, кричит. Уберите его на старое место.

И Андрея Николаевича убрали, а у него целую еще неделю руки и ноги были мягкими, как у дешевой куклы, набитой отрубями.

На улице слышались гнусавые и резкие звуки гармоники. По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые, как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело. Когда уличные ребята, подражая взрослым, играли в пьяных и вместо гармоник держали в руках чурки, они изображали этот мотив так:

– Ган-на-нидар, ган-на-нидар – ган-на-нидар, най-на.

Против красивого дома на мостовой было единственное сравнительно сухое место на всей улице, и один из пьяных выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всем телом. Лицо его, молодое, дерзкое, с небольшими светлыми усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным, как будто давным-давно ему наскучило быть пьяным и плясать на грязной мостовой под этот трескучий, невеселый мотив. Остальные смотрели на него так же равнодушно и вяло, не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то бесприсветно тоскливым веяло от этого странного веселья под хмурым осенним небом среди покосившихся домишек.

«Ванька Гусаренок! – подумал Андрей Николаевич. – Пляшет – значит, будет сегодня жену бить».

Когда пьяные прошли, уныло-зазорные звуки гармоники стихли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед за прошедшими. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на том месте, где округло выступала молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры, и вся она, с босых маленьких ножек до гордо повернутой головки, походила на античную статую, жестокой волей судьбы брошенную в грязь провинциального захолустья. Правильное, красивое лицо с крутым подбородком было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них странно сочетались гнев и боязнь, тоска и презрение. Долго еще стояла на крылечке Наташа и так пристально смотрела вслед мужу, идущему из одного кабака в другой, точно всей своей силой воли хотела вернуть его обратно. Рука, которой она держалась за косяк двери, замерла; волосы от ветра

шевелились на голове, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, с каждым разом повторяя: нет, нет, нет.

«Вот баба-то! – ужаснулся Андрей Николаевич, когда Наташа ушла, не бросив взгляда на окно, за которым он прятался. – И слава богу, что я на ней не женился».

Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщинки, образовавшиеся от смеха, как в потаенную калиточку ворвались враги. Образ Наташи, еще не сошедший с сетчатки его глаза, вырос перед ним яркий и живой, а рядом выступила другая картинка, без всякого предупреждения, внезапно. Стены раздвинулись и исчезли, на него пахнуло полем и запахом скошенного сена. Над черным краем земли неподвижно висел багрово-красный диск луны, и все кругом было так загадочно, тихо и странно.

«Господи, – сказал Андрей Николаевич с мольбой, – разве мало того, что это было когда-то, нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Мне совсем этого не нужно, я не хочу этого».

Желтыми от табаку пальцами он оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестянки щепотку мелкого табаку и свернул папироску, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпел Федор Иванович. Обессиленный водкой и поисками двух копеек, он заснул и проснется только вечером, когда стемнеет. Воздух изнутри с силой поднимался к горлу спящего, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату запахом перегорелой водки. Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять выворачивающим все внутренности кашлем, выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печи, а в праздник задышается от водки.

Он обратился к улице. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скупым, желтым светом озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли. Но Андрей Николаевич не видел его. Он видел то, что было когда-то и что так упорно продолжало являться назло всем стенам и запорам.

Наташа никогда не была веселой, даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с ней Андрей Николаевич испытал неприятное чувство стеснения и робости. Он с тревогой следил за ее резкими и неожиданными движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет совестно. Вместе с другими девушками она пела песни, но не старалась кричать вместе с ними как можно выше и громче, а шла в одиночку со своим низким и несколько грубоватым контральто и как будто пела для одной себя. Когда Гусаренок, также бывший на этой вечеринке и по обыкновению несколько пьяный, игриво обнял ее за талию, она грубо оттолкнула его и, покраснев, сказала что-то, от чего его светлые усики запрыгали и глаза стали жесткими и вызывающими. С дерзким смехом, не оборачиваясь, он показал пальцем на Андрея Николаевича – Наташа молча повернула голову, и ее черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сделать что-то сейчас, немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза и не мог, и испытывал то же состояние безволия, порабощения, как и в ту минуту, когда он глядел не отрываясь на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ее глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И, все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрой, уверенной походкой прошла комнату и села с ним рядом так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая.

– Мы вам попомним это, Наталья Антоновна, – сказал, проходя, Гусаренок.

На Андрея Николаевича он не взглянул, но в его вздрагивающих усиках чувствовалась угроза.

– Счастливо оставаться, век не расставаться, – проговорил Гусаренок, не получая от Наташи ответа, и вышел, залихватски заломив картуз.

Через секунду под окнами послышалась гармоника и высокий приятный тенор:

Она, моя милая,
Сердце мое вынула,
Сердце мое вынула,
В окно с сором кинула...

– Он вас побьет, вы берегитесь, – сказала Наташа.

– Не смеет, я чиновник, – возразил Андрей Николаевич и действительно нисколько не боялся. На него точно просветление какое нашло. Он не только отвечал на вопросы Наташи, но говорил и сам, и даже спрашивал ее, и не удивлялся, что говорит так складно и хорошо, как будто всю жизнь только этим делом и занимался. И, думая и говоря, он в то же время с особенной отчетливостью видел все окружающее, и грязный пол, усыпанный шелухой от подсолнухов, и хихикающих девушек, и небольшую прихотливую морщинку на низком лбу Наташи.

Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или остаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам.

Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но, когда за перегородкой, у хозяйки, он услышал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «ура!»... Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса. Но, едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черных алмаза, страх тотчас пропал, и стало легко и спокойно.

Промчалось невидных два месяца, и вышло так, что Наташа и Андрей Николаевич любят друг друга. Это видно было из того, что он целовал Наташу в щеки и в эти черные страшные глаза, щекотавшие губы своими ресницами. При этом Наташа подтверждала существование любви, говоря:

– Не нужно целовать в глаза – примета нехорошая.

– Какая же такая примета? – смеялся Андрей Николаевич и чувствовал, насколько он, человек образованный, прошедший два класса реального училища, выше этой темной девушки, верящей во всякие приметы.

– Такая. Разлюбите меня, вот что.

Раз есть возможность разлюбить – значит, любовь существует. Но откуда же она взялась? И куда она девалась на то время, когда Андрей Николаевич не видел Наташи? Тогда девушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой от него, и в поцелуи ее так же трудно верилось, как если бы он стал думать о поцелуях той богатой барыни, что живет напротив. В самом слове «Наташа» звучало для него что-то странное, чужое, точно он до сих пор не слышал этого имени и не встречал подобного сочетания звуков. Наташа... Он ничего не знал о Наташе и о ее прошлой жизни, о которой она не любила говорить.

– Жила, как и люди живут, – говорила она. – Вы лучше о себе расскажите.

Эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, потому что рассказывать было не о чем. Ему тридцать четыре года, а в памяти от этих лет нет ничего, так, серенький туман какой-то да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит серая, непроницаемая стена. Был у него отец, маленький рыженький чиновник в больших калошах и с огромным свертком бумаг под мышкой; была мать, худая, длинная и рано умершая вместе со вторым ребенком. Потом, с шестнадцати лет, Андрей Николаевич стал также чиновником и ходил вместе с отцом на службу, и под мышкой у него был также большой сверток бумаг, а на ногах старые отцовские калоши. Отец умер от холеры, и он стал ходить на службу один. В молодости он очень любил играть на бильярде, играл на гитаре и ухаживал за барышнями. Пытался он тогда переменить свою участь, бросить казенную службу, но как-то все не удавалось. Раз уже ему обещали хорошее место, да пришел кто-то другой и сел на это место, так он ни при чем и остался. Да, может быть, это и к лучшему было, потому что тот, похититель, и года не просидел на своем месте, а он вот до сих пор – ничего, служит.

– И только? – спрашивала с недоверием Наташа.

– И только. Чего же еще?

– А я не так думала. Я думала, у вас другая жизнь, не так, как у нас. Книжки читаете и все говорите так тихо, благородно, и все о хорошем, чувствительном.

– Читал я и книжки, да что в них толку? Все выдумка одна.

– А божественное?

– Кто же теперь читает божественное? Купцы одни, как нахапают побольше, так божественное читают. А у нас и без того грехов мало.

– И не скучно вам так-то, все одному да одному?

– Чего же скучать? Сыт, одет, обут, у начальства на хорошем счету. Секретарь прямо говорит: примерный вы, говорит, чиновник, Андрей Николаевич. Кто губернатору доклады переписывает – я небось!

– Да вам же скучно без людей?

– Да что в них, в людях? Свара одна да неприятности. Не так скажешь, не так сядешь. Один-то я сам себе господин, а с ними надо... А то пьянство, картеж, да еще начальству донесут, а я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже ведь не кто-нибудь я, а коллежский регистратор – вон какая птица, тебе и не выговорить. Другие вон и благодарность принимают, а я не могу. Еще попадешься грешным делом.

Но Наташа не удовлетворялась. Она хотела знать, как живут у них, у чиновников, жены, дочери и дети. Пьют ли мужья водку, а если пьют, то что делают пьяные и не бьют ли жен, и что делают последние, когда мужья бывают на службе. И по мере того, как Андрей Николаевич рассказывал, лицо Наташи застывало, и только прихотливая морщинка на низком лбу двигалась с выражением упорной мысли и тяжелого недоумения.

– Прощайте, – тихо говорила Наташа и уходила. А он целовал ее холодную, неподвижную щеку, думал: «Чего ей надо? Только тоску на людей нагоняет».

Раз летом они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облака, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая на завтра ветер. Вода была неподвижна, и им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу на много верст тянулись бакши, и соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшейся черной от контраста со светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось вверх прямым и тонким лезвием, как от восковой свечи. Со стороны садов пахло лежалыми яблоками и свежескошенным сеном.

На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, и галки, облепившие высокие ракиты, зашумели листьями и подняли долгий, несмолкающий крик. И снова настала тишина.

– В каком ухе звенит? – спросила Наташа и наклонила голову, боясь потерять этот тоненький, звенящий голосок.

– В левом, – невнимательно ответил Андрей Николаевич и не угадал. Но он и не старался об этом – тихий вечер расположил его к такой же тихой грусти и размышлениям о жизни. Следя прищуренными глазами за костром, он ощупью достал портсигар и закурил, и дым легкими колечками поднимался и таял в воздухе, полном прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами молчания, Андрей Николаевич стал говорить о том, какая это и странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного. Живут люди, и умирают, и не знают нынче о том, что завтра умрут. Шел чиновник в погребок за пивом, а на него сзади карета наехала и задавила, и вместо пива к ожидавшим приятелям принесли еще не остывший труп. Получил чиновник награду, пошла его жена бога благодарить, а в церкви деньги у нее и вытащили. И куда ни сунься, всё люди грубые, шумные, смелые, так и прут вперед и все побольше захватить хотят. Жестокосердые, неумолимые, они идут напролом со свистом и гоготом и топчут других, слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!

В голосе Андрея Николаевича звучал ужас, и весь он казался таким маленьким и придавленным. Спина согнулась, выставив острые лопатки, тонкие, худые пальцы, не знающие грубого труда, бессильно лежали на коленях. Точно все груды бумаг, переписанных на своем веку и им, и его отцом, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью.

– Так вот всю жизнь и проживешь, – сказал он после долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль.

– Вы бы... ушли куда-нибудь.

– Куда идти-то?

Наташа помолчала и вдруг обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его голову к своей груди.

– Голубчик ты мой!

Первый раз говорила она Андрею Николаевичу «ты». При порывистом движении Наташи фуражка с бархатным околышем свалилась с головы и теперь катилась вниз, подскакивая на неровностях обрыва. Твердая рука Наташи крепко прижимала голову Андрея Николаевича к упругой груди, и ему было тепло и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Он хотел сказать что-нибудь сильное, хорошее и такое жалостливое, чтобы Наташа заплакала, но таких слов не находилось на его языке, и он молчал. Согнутой шее становилось больно от неудобного положения, и Андрей Николаевич попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнее прижала ее к горячей груди. Вдыхая запах молодого здорового тела, он скосил глаза и из-под руки Наташи увидел очистившееся и потемневшее небо со слабо мерцавшими звездами. Немного ниже, там, где черный край земли сливался со смутно-черным небом, неподвижно висел красный диск луны, казавшийся близким и страшным. Безмолвный, угрюмый, он не издавал лучей и висел над землей как исполинская угроза каким-то близким, но неведомым бедствием. В немом ужасе застыли река, и болтливый тростник, и черная даль. Костер на том берегу давно уже потух, и ни один звук не нарушал грозной тишины.

Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича.

– Ну, пойдете.

Охваченный свежим воздухом, он поднялся и, сделав шаг к Наташе, приготовился сказать ей то

важное и значительное, для чего у него не находилось слов.

– Наташа... – начал он нерешительно, приподняв брови и выпятив губы.

Гладко прилизанная голова его была на этот раз всклокочена, и редкие волосики стояли, как у дикобраза.

– Ну?

– Наташа... – повторил он, забыв, что хотел сказать. – Наташа, дело вот в чем...

– Две копейки потеряли? Какой вы смешной! – И Наташа рассмеялась. Смеялась она неприятно, каким-то чужим и неестественным голосом.

Андрей Николаевич обиделся и молча достал фуражку, а дорогой домой выговаривал Наташе за ее смех и упрекал за неумение держаться в приличном обществе.

Андрей Николаевич сидел у окна и настойчиво смотрел на улицу, но она была все так же безлюдна и хмура, и в покосившемся домике продолжала ударять о стену отвязавшаяся ставня, точно загоняя гвозди в чей-то свежий гроб. «Привязать не может!» – подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, взглянув на часы, убедился, что ему время обедать и даже прошло уже лишних пять минут. После обеда он лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен. А за перегородкой, точно назло, храпел Федор Иванович, и воздух бурлил в его горле и с шипением выходил наружу.

После вечера на берегу, на другой же день, начался разлад, и был так же малопонятен, как и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась неприятная догадка и к этому времени перешла в уверенность: Наташа хочет выйти замуж и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит: «теперича», «поемши»; она по ремеслу папиросница, и часто, когда она делает папиросы на дому, ей приходится терпеть наглые любезности и заигрывания. И вот она ищет мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником, а таких на всей улице только один и есть он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. А так как до сих пор эта тактика ни к чему не привела и Андрей Николаевич оставался тверд как гранит, Наташа начала прибегать к другому средству, которым опытного человека, в молодости ухаживавшего за барышнями, никак не проведешь: делает вид, что ни на грош не любит Андрея Николаевича, и нарочно расхваливает Гусаренку за его силу и молодчество. А этого Гусаренку на днях вели в участок; рубашка его была разорвана сверху донизу, и по белому как мел лицу текла красная струйка крови. Сзади бежали и улюлюкали мальчишки, а один из городских, такой же бледный, как и Гусаренок, методически ударял его кулаком, и белая голова откатывалась. И такого-то она может полюбить!

Для Андрея Николаевича начались страшные терзания и появились вопросы, от которых он обмякал по нескольку раз в день. Когда он смотрел на Наташу и прикасался к ней, ему хотелось жениться, и эта женитьба казалась легкой, но в остальное время мысль о браке нагоняла страх. Он был человеком, который болеет от перемены квартиры, а тут являлось столько нового, что он мог умереть. Идти к священнику, искать шаферов, которые могут не явиться, и тогда за ними надо ехать, а с извозчиком торговаться; потом идти или ехать в церковь, которая может быть заперта, а сторож потерял ключ, и народ смеется. А там нужно искать новую квартиру и переходить в нее, и все пойдет по-новому. И обо всем необходимо думать, заботиться, говорить. А если дети пойдут? И притом, не дай бог, двоешки, и все девочки, которым нужно приданое. А если новая квартира будет сырая и угарная? И Андрей Николаевич отчаянным жестом ворошил волосы и готов был завтра же сказать Наташе все, если бы не боязнь, что она убьет себя или пожалуется дикарю Гусаренку, и тот изувечит Андрея Николаевича или просто посмотрит на него так, что хуже всякого увечья. Люди, которые женятся, начали казаться Андрею Николаевичу героями, и он с уважением смотрел на Федора Ивановича и хозяйку, которые сумели жениться и остались живы. Раз

даже он написал Наташе:

«Милостивая государыня,

Наталия Антониевна!

Сим письмом от 22 августа текущего года имею честь поставить вас, милостивая государыня, в известность о том, что по слабости здоровья, изможденного трудами и бдением на пользу престола и отечества, будучи чиновником тринадцатого класса и похоронив родителей, папеньку Николая Андреевича и маменьку Дарью Прохоровну, во блаженном успении вечный покой...»

Но так как Наташа была неграмотна, то он письма не послал, но несколько раз перебелил его для себя и прибавлял новые пункты. По счастью, никаких объяснений не понадобилось: Наташа перехитрила самое себя. Сперва не позволила себя целовать – Андрей Николаевич ни гу-гу. Потом раза два не пришла на свидание. Андрею Николаевичу было обидно, но он даже и виду не показал, а держался развязно, с достоинством, и только слегка дал ей понять о неприличии ее поведения. Потом совсем перестала ходить, и однажды хозяйка принесла радостную весть, что Наташа выходит замуж за Гусаренка.

– Этакого гуся выбрала! – негодовала хозяйка и сочувственно смотрела на Андрея Николаевича, думая: «Вишь, гордец какой: нарочно веселость из себя изображает». А чиновники, глупые люди, смотрели на него в этот день с изумлением; думали, что он женится, поздравляли его и говорили:

– Ай да Сусли-Мысли: какую штуку выкинул!

А он именно не женился!

На Красной горке была Наташина свадьба. Это был второй радостный день, когда Андрей Николаевич сидел по обыкновению у окна и видел, как трясется от топота пляшущих покосившийся домик, и слушал доносившийся оттуда веселый гомон и визг гармоники. Подумать только, что он мог быть центром этого буйного сборища! И с особенной радостью он услышал, уже поздно ночью, как в покосившемся домике зазвенели разбиваемые стекла, понеслись дикие крики и визгливые женские вопли. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробежал кто-то, и вслед за этим послышались звуки борьбы, тяжелое дыхание и падение тела.

– Стой, не уйдешь! – хрипел с натугой голос, чередуясь со шлепкими ударами по чему-то мягкому и мокрому. И чуть ли голос тот не принадлежал герою торжества – Гусаренку.

– Караул!

Точно проснувшись, испуганно затрещала колотушка сторожа, и ей завторил журчащий свисток городского Баргамота. Словно эхом ответили ему вдали другие свистки.

«Вот так первая ночь новобрачного – в участке, – со злорадством усмехнулся Андрей Николаевич, не торопясь, с ленивым комфортом повернулся в своей одинокой и свободной кровати на другой бок и заключил так: – Вы там себе деритесь, а я – засну!»

И это «засну», ехидное, шипящее, вырвалось из его груди как крик победного торжества и было последним гвоздем, который вбил он в крышку своего гроба. Улица продолжала шуметь, и Андрей Николаевич накрыл голову подушкой. Стало тихо как в могиле.

На следующий день Андрей Николаевич узнал причину ссоры на свадьбе Наташи: Сергей Козюля, когда напился пьян, сказал, что Наташа имела любовника – Андрея Николаевича, который получил с нее что нужно и потом бросил ее. За эти слова Гусаренок побил Козюлю и других, вступившихся за него, потом

был побит сам и действительно ночевал в участке. Узнав все это, Андрей Николаевич обрадовался, что его в какой бы то ни было форме, но вспомнили, и что Наташа будет теперь знать, как отказываться от любящего человека ради одного женского вероломства; к этому времени совсем как-то забылось, что не Наташа, а он главным образом хотел разрыва.

Андрей Николаевич ворочался на кровати и думал:

«Как нехорошо это устроено, что не может человек думать о том, о чем он хочет, а приходят к нему мысли ненужные, глупые и весьма досадные. Прошло четыре года с того вечера, как я сидел с Наташей на берегу, а я об этом вечере думаю, и мне неприятно, и особенно неприятно оттого, что я вполне явственно вижу красную луну. При чем здесь эта луна? А если бы я стал думать о том, сколько „барин“ получает денег в год, потом в час и минуту, мне стало бы хорошо, и я бы заснул, но я не могу».

Но вскоре веки начали тяжелеть, и красная луна внезапно превратилась в красную рожу швейцара Егора. «В каком ухе звенит?» – спрашивает он, наклонясь и нагло тараща выпуклые глаза. Андрей Николаевич хотел дать ему гривенник, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствие Гусаренку, который сидел тут же, заложив ногу за ногу, и играл на гармонике. «Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка», – сказал он и вытащил из кармана большой, блестящий и острый как бритва нож. Андрей Николаевич бросился бежать. Ему нужно было пробежать все комнаты правления, и этих комнат было ужасно много, и все они были пусты, так как чиновники ушли и все столы вынесли. Хотя Андрею Николаевичу бежать было легко и ноги его скользили по полу, но он задыхался. А сзади, за несколько комнат, гнался, не отставая, Гусаренок, и шаги его, ровные, тяжелые, гулко отдавались под сводами. Внезапно пол под Андреем Николаевичем провалился, и он летел, все приближаясь к своей постели, и наконец проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно.

В комнатке было темно, и только неясно желтел четвероугольник окна, в которое падал свет от фонаря, стоявшего у богатого дома. На хозяйской половине также горел огонь, так как от узенькой щели в перегородке на пол ложилась светлая полоса, опоясывая кончик стоптанной туфли. Успокоившись от страшного сна, Андрей Николаевич услышал за стеной тихий шепот и узнал голос хозяйки. В нем сквозило сострадание и боязнь, что ее услышит тот, о ком она говорила, хотя он был отделен от нее расстоянием улицы и толстыми стенами.

– Ах, кровопивец, ах, аспид! – шептала хозяйка. – Ушла бы ты от него совсем, ну его к ляду!

Наташа ответила, и ее низкий голос звучал громко и размеренно, и слабое трепетание в нем не было замечено ни хозяйкой, ни притихшим за перегородкой жильцом.

– Куда уйти-то?

«Ага, нашла коса на камень! – подумал Андрей Николаевич, вспоминая свой сон. – Он тебе спуску не даст, не то что я».

– И вправду, куда идти? – с готовностью согласилась хозяйка. – Вот и мой тоже. Пропasti нет на эту водку.

Хозяйка оборвала речь, и в жутко молчащую комнату с двумя бледными женщинами как будто вползло что-то бесформенное, чудовищное и страшное и повеяло безумием и смертью. И это страшное была водка, господствующая над бедными людьми, и не видно было границ ее ужасной власти.

– Отравлю его, – сказала Наташа так же громко и размеренно.

– Что ты, что ты! – забормотала хозяйка. – Не для себя терпишь, а для ребенка – его-то куда денешь? Ты оставайся ночевать у нас, я тебе в кухне постелю, а то мой опять будет колобродить. А к глазу, на вот, ты пятак приложи – ишь ведь как изуродовал, разбойник... Постой, кажись, жилец проснулся...

– Эта кикимора-то? – спросила Наташа громко, точно желая, чтоб ее слышали за перегородкой.

– И впрямь кикимора, – шепотом согласилась хозяйка. – Пойду самовар ставить и тебе в чайнике заварю. Ах, разбойник, что наделал-то!

«То Сусли-Мысли, то кикимора – вот дурачье-то, – рассердился Андрей Николаевич. – Вот пожалуйсь Федору Ивановичу, он тебе покажет кикимору. Дура полосатая!»

Он подошел к окну и открыл половинку. В комнату ворвался теплый ветер, пахнувший сыростью и гниющими листьями, и зашелестел бумагой на столе. Слышно стало, как скрипит дерево о железную крышу и шуршит мокрая зелень. К богатому дому подъезжали один за другим экипажи, и из них выходили мужчины в цилиндрах и дамы в широких ротондах и с белыми платками на головах. Подбирая шумящее платье, они входили на крыльцо. Массивная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу столб белого света, зажигавшего блески на металлических частях экипажа и упряжи. Дом стоял безмолвный и темный, но чудилось, как сквозь тяжелые ставни, закрывающие высокие окна, сияют зеркальные стекла и вечно живые цветы радуются свету, движению и жизни. Несколько экипажей остались ждать господ, и кучера, раскормленные, важные, с презрением смотрели с высоты своих козел на темные покосившиеся домишки.

Напившись чаю и четким, красивым почерком переписав казенную бумагу, Андрей Николаевич начал готовиться к новому сну, для чего перестлал постель и взбил подушки. За перегородкой Федор Иванович бурчал сокрушенно и раздумчиво:

– Дело вот в чем: двух копеек я так-таки и не разыскал.

– О господи!..

Нужно было закрыть ставню, и Андрей Николаевич прошел на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и сонными массаами темнели на козлах. В большом доме глухо рокотали ритмические звуки рояля и минутах стихали, относимые порывом ветра. И этот же ветер приносил на крыльях своих новые звуки, явственно слышные, когда переставало скрипеть дерево. То были печальные и странные мелодические звуки, и не руками живых людей вызывались они в эту черную ночь. Легкие, как само дуновение ветра, они то нежно молили и плакали и умолкали с жалобным стоном, то, гневно ропщущие, поднимались к небу с угрозой и гневом. Словно чья-то страдающая душа молила о спасении и жизни и гневно роптала.

«Противная штука!» – рассердился Андрей Николаевич. В одном этом отношении он не разделял вкусов владельца большого дома, и когда тот поставил на крышу арфу и ветер начал играть свои печальные песни, он никак не мог понять, зачем нужны эти песни человеку с белыми зубами и яркой улыбкой.

«Ужасно противная штука! – повторил Андрей Николаевич и, понизив голос, добавил: – Чего только полиция смотрит?»

С чувством человека, спасающегося от погони, он с силой захлопнул за собой дверь кухни и увидел Наташу, неподвижно сидевшую на широкой лавке, в ногах у своего сынишки, который по самое горло был укутан рваной шубкой, и только его большие и черные, как и у матери, глаза с беспокойством таращились на нее. Голова ее была опущена, и сквозь располосованную красную кофту белела высокая грудь, но Наташа точно не чувствовала стыда и не закрывала ее, хотя глаза ее были обращены прямо на вошедшего.

– Сколько лет, сколько зим! – проговорил Андрей Николаевич, бегая глазами по комнате и совершенно размякнув, точно из него вынули все мускулы и кости. – Как поживаете?

Наташа молчала и смотрела на него.

– Я ничего, слава богу.

Наташа молчала. Андрей Николаевич хотел передать поклон супругу, к чему его обязывало чувство вежливости, но сейчас это было неудобно. Наташа, очевидно, нуждалась в утешении, и потому он сказал:

– Какой у вас хорошенький мальчик. Ваня, кажется? Иван Иванович, значит. У нас тоже есть чиновник, которого зовут Иван Иванович. И вообще, знаете ли, милые ссорятся, только тешатся, а перемелется, все мука будет.

Наташа молчала, а мальчик, смотря с недоверием на неловкую фигуру чиновника, затаил ноющим голосом:

– Мамка-а, боюсь.

– Убирайтесь вон! – сказала Андрею Николаевичу Наташа и, когда он быстро прошмыгнул, подбирая полы халата, добавила вслед: – Тоже лезет, кикимора!

«Почему именно кикимора? – размышлял Андрей Николаевич, располагаясь спать и опуская огонь в лампе. – Этакое глупое слово, ничего не обозначает. И как непостоянны женщины: то милый, неоцененный, а то – кикимора! Да, с норовом баба, недаром учит ее Гусаренок. Спокойной ночи, маркиза Прю-Фрю».

Так развеселял он себя и иронически кривил бескровные губы. Но лишь только мигнула в последний раз лампа и комната окунулась в густой мрак, невидимой силой раздвинуло стены, сорвало потолок и бросило Андрея Николаевича в чистое поле. Огненные, искрящиеся круги прорезывали темноту; светлые, веселые огоньки вспыхивали и плясали, и всюду, то далеко, то совсем надвигаясь на него, показывались и бледное лицо Гусаренка с красной полоской крови, и страшный диск месяца, и лицо Наташи, прежнее милое лицо. Жалость к себе и обида охватили Андрея Николаевича.

«Как нехорошо все это устроено, – стонал он. – Не нужно мне Наташи, ну ее к черту, эту Наташу! Так и знайте – к черту!»

Энергичным жестом Андрей Николаевич надвинул на голову толстую подушку и почти сразу успокоился. И образы и звуки исчезли, и стало тихо как в могиле.

С улицы проникал слабый свет фонаря. Экипажи еще стояли, и сонные кучера с презрением смотрели с высоты своих козел на низкие покосившиеся домишки и лениво зевали, двигая бородами. Непривязанная ставня продолжала хлопать, и в минуты, когда переставало скрипеть дерево, неслись жалобные звуки и роптали, и плакали, и молили о жизни.

8 июня 1899 г.

Большой шлем

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой – существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, – а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наващенном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

– Но почему же вы не играли большого шлема? – вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

– Я никогда не играю больше четырех, – сухо ответил старичок и наставительно заметил: – Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного

существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

– Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготавливал мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю.

– Да, вероятно, – погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а летом говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо – летом они играли на террасе – и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

– Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич – легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

– Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Евпраксии Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и

преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестерки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом – опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постоянно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и с разрешения домовладельца был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и

молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

– Ну и везет вам сегодня, – мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущенным видом – и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение – не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся – у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

– Два без козыря, – начал он, с трудом справляясь с голосом.

– Три пики, – ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все пики, начиная от короля.

– Четыре черви, – сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

– Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крикнул:

– Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол еще не был убран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим непрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер – умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

– Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, – и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ког-да, – медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшное и бессмысленно-жестокое будет и с ним, и со всеми. Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

– Вы здесь, Яков Иванович? – сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустила на рядом стоящий стул и заплакала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване,

лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

– Вы послали сказать? – спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

– Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру – ведь мы адреса не знаем.

– А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? – рассеянно спросил Яков Иванович.

– Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

– Найдут через полицию, – успокоил старичок. – У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

– А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

– А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

1899 г.

Случай

Левой рукой доктор прижимал к груди купленную лампу, а в правой нес тоненькую трость и весело помахивал ею. Походка у него была размашистая, свободная, как у всех людей, которые уверены в себе и своем счастье; голову он держал закинутой назад, и глаза его улыбались. Случалось, что доктор толкал локтем кого-нибудь из прохожих, которых было много на этой людной улице, и тогда он особенно явственно и особенно ласково произносил:

– Извините, пожалуйста!

Прохожий, которого толкнул доктор, часто не слышал извинения или не обращал на него должного внимания, но самому доктору оно было очень приятно и всякий раз вызывало любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются, и их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый и поэтому его любят все: жена, знакомые и пациенты, доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал к груди покупку, в которую также была заключена частица его доброты.

Лампа стоила недорого, всего двенадцать с полтиной, но жена давно уже мечтала о ней и теперь, сидя дома, и не подозревала, что мечта ее осуществлена. И попалась лампа хоть и дешевая, но очень хорошая: доктор мысленно сравнивал ее со всеми другими лампами, какие приходилось ему видеть у своих знакомых и у пациентов, и те лампы были хуже. В них не было ни изящества, ни той особенной симпатичности и привлекательности, какими отличалась эта, двенадцатирублевая. Очень красивая лампа имелась у Ивановых – на высоком хрустальном стержне, с роскошным абажуром, – но та стоила шестьдесят, а за такие деньги в деревне можно купить пару хороших лошадей, не только что лампу. Были две хорошие лампы у Потаниных...

– Ох! – воскликнул доктор от толчка и торопливо добавил: – Извините, пожалуйста!

Толчок был так силен, что доктор немного пошатнулся, но улыбка не сошла с его уст и даже тогда, когда он вполне разглядел толкнувшего: это была простая баба, невысокая, худая и страшно суетливая. Бежала она словно на пожар, и Александр Павлович остановился посмотреть, как она разбрасывает на ходу прохожих.

– Ай да баба! – похвалил он ее вслух, но потом вспомнил, что баба могла выбить у него из рук лампу и разбить ее, и рассердился.

– Сумасшедшая! На людей бежит... Но, может быть, у нее кто-нибудь болен?

От последней мысли Александру Павловичу стало жаль бабу, и он снова развеселился, но сделался осторожнее и внимательнее и говорил уже не «извините, пожалуйста», а просто «извините».

«Довольно с них и этого», – думал он.

Уже надвигались осенние ранние сумерки, и, как это всегда бывает в сумерках, ближайшие предметы виделись с большей отчетливостью, глаз легко различал всякую подробность и мелочь, но вдали все сливалось в черные и серые пятна. Дождя не было, не было и ветра, и сор в углублениях мостовой лежал неподвижно и тихо; возле самой панели валялась пустая коробка от папирос, ярко белея своими боками и вызывая странные мысли о том, кто был человек, выкуривший ее, и где он теперь. Кое-где в магазинах засветились огни, улица стала неприветливой и холодной, и в неумолкающем грохоте ее слышались нотки усталости и беспокойной жалобы.

Доктор крупно набавил шаг, молча толкая сам и молча принимая толчки. Лицо его стало серьезнее,

но в голове у него проходили все те же радостные мысли: о жене и ребенке, о том времени, когда в кабинете у него будет камин и он будет сидеть и греться у камина. Толково и основательно доктор перечислил все, что было приобретено для дома в последний год. Приобретено много. Заново обставлен весь кабинет: письменный стол, кушетка и книжный шкаф. Куплена гостиная мебель, куплена она дешево, по случаю, но выглядит как новая и дорогая. Выписан, кроме того, журнал «Врач» и другой толстый журнал, так как Александр Павлович всегда интересовался литературой и признавал за ней значение воспитательное. Для жены сделано новое осеннее пальто с золотым галуном, а для ребенка нанята нянька. А вот теперь лампа – очень дешевая, но красивая лампа.

До дому оставалось уже недалеко, когда на противоположной стороне улицы сильнее закопошилось черное пятно прохожих и из него послышались неясные крики. Люди толкались, казалось, на одном месте, двигали беспорядочно руками и что-то кричали. За грохотом улицы слов разобрать было невозможно, но в повышенном тоне голосов звучало беспокойство и странная злоба – странная потому, что в ней чувствовалась радость. На улице все становятся любопытны, и доктор остановился, напряженно вглядываясь в колышущуюся и быстро нарастающую массу.

– Что бы это такое было? – догадывался он.

Внезапно черное пятно яростно завозилося, загрохотало громче, чем улица, и все разом быстро тронулось в одну сторону, расплываясь и выкидывая из себя отдельных бегущих людей. И ясно выделилась одна громкая и отчетливая фраза:

– Вор! Держите вора!

Впереди всех, не особенно быстро, как показалось Александру Павловичу, бежал невысокий человек, ловко и спокойно лавируя между встречных, – по-видимому, вор.

«Если он будет бежать все так же вдоль улицы, то его поймают. Ему бы свернуть сюда, в переулок», – подумал доктор про длинный и глубокий переулок, открывавшийся в нескольких шагах от него. И когда вор, точно услышав его мысль, свернул с панели и бросился через улицу, напрямик на доктора, он обрадовался – и тотчас же болезненно сморщил лицо. Поверх голосов преследующей толпы выделился и словно пронзил воздух острый, высокий свист. Непрерывный, резкий, проходил он сквозь темную стаю звуков как длинное сверкающее лезвие, и было страшно его слушать, и холодной, неумолимой жестокостью веяло от него. В самую глубину души проходил он, и хотелось бежать самому, махать руками, кричать, что-то делать безумное и злое. И еще свист, и еще; целый десяток ртов выпускал острые, змеящиеся стрелы, и жадно зывала разноголосая толпа:

– Держите вора!

Вытянув шею и быстро двигая головой, как ищущая собака, доктор прикованным взглядом следил за вором, то теряя его за экипажами, то вновь охватывая одним взглядом всего его, от быстро перебегающих ног до непокрытой головы, при каждом прыжке словно распухавшей от разметавшихся волос.

– Держите вора! – вопила толпа, и острый свист, еще более разросшийся, сверлил и терзал мозг. Преследуемый уже подбежал к доктору, и, хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразительной ясностью рассмотреть его лицо. Оно было молодое, с тоненькими светлыми усиками, и такое простое и обыкновенное в своем выражении, как будто человек этот вовсе не спасался от погони, а делал какое-то простое и неважное дело. Вместо бороды у вора были редкие желтенькие пушинки, и выглядели они со своего места просто, смирно и даже немного скучно, напоминая о чем-то далеком от улицы с ее жестоким свистом и беспощадной травлей.

Нерешительно, как человек, который еще сам в точности не знает, как он намеревается поступить, Александр Павлович сделал полшага навстречу бегущему и слегка приподнял и растопырил руки, в одной

из которых осталась завернутая в бумагу лампа. С разбегу вор ударился о его грудь, охнул всем нутром, вышиб из рук лампу и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше. Но уже в следующую секунду в ворот его впиалась железная рука.

– Стой, каналья! Не уйдешь! – проговорил сквозь зубы доктор и сильно встряхнул его. Вор попробовал рвануться, но тотчас понял бесполезность попытки: он был невысокий, щедедушный, почти юноша, а доктор высокий, сильный и, как показалось вору, свирепый. И он сразу успокоился. Дышал он часто, коротенькими и неглубокими вздохами, и тихо попросил:

– Пустите!

– Как бы не так! – ответил доктор и сильнее закрутил ворот.

Лицо юноши краснело, ворот, видимо, душил его, и, шевельнув болезненно плечами, он хрипло сказал:

– Ведь больно же! Пустите!

Александр Павлович немного отпустил, и так молча стояли они и рассматривали друг друга с необыкновенным любопытством, прямым, спокойным и властным. Быть может, когда-нибудь они встречались в толпе и проходили мимо, не видя друг друга, но теперь один из них был пойманный вор, а другой – человек, который поймал его, и это крепко и странно соединило их. Доктору казалось, что первый раз в жизни видит он человеческую физиономию и впервые понимает, что такое глаза, нос и губы. И когда он понял, что такое глаза, нос и губы, они представились ему такими милыми, простыми и жалкими в своих потребностях видеть, дышать и целовать, что ему захотелось ласково погладить их рукой. И пушинки на подбородке желтели все так же мирно, по-домашнему, и при взгляде на них доктору сделалось бесконечно грустно и еще более жалко, – и в ту же минуту с загадочной и непередаваемой ясностью почувствовал он, как чужую, свою правую руку, которою держал вора. От плеча до стиснутых пальцев чувствовал он ее и мучился желанием снять, но она была как деревянная и с виду все так же спокойно лежала на шее человека с пушинками.

– Что же ты молчишь? – просительно сказал доктор.

Вор, не отрываясь взглядом, быстро ответил:

– А что же я буду говорить?

И опять они замолчали. И уже не только руку, но всего себя почувствовал доктор: почувствовал глаза, как они глядят, почувствовал платье, облегающее тело, и папиросы в левом кармане пальто. Как будто мозг его расплылся по всему телу, и всякая частица тела стала глазами и умом, и не нужно было глядеть и думать, чтобы от головы до ног увидеть себя и почувствовать. И не только себя, но и вора почувствовал он так же ясно и странно, словно оба они, и доктор и вор, были ему посторонние, и словно оба они были он. Не глядя, видел он вора с опущенными руками и себя с широко расставленными ногами и протянутой рукой, и эта поза была проста и дика до ужаса: человек держал другого человека.

– Послушай! – начал доктор, но кончить ему не удалось.

Грохочущей волной налетели преследователи, закружили и разъединили их, затопили криком, говором и торжествующим смехом, ослепили сверканием зубов и возбужденных глаз и шумным, болтливым потоком тронулись в участок. И тогда все стало опять просто и понятно, и доктор медленно стал припоминать лампу, извлекая представление о ней из какой-то глубокой дали, пока оно не сделалось ясным, живым, почти осязаемым.

«Разбилась! – с горем подумал Александр Павлович. – А я даже кусков не посмотрел».

Он обернулся назад и в последний раз взглянул в том направлении, где осталась разбитая лампа. И опять ему стало жаль вора, а потом лампу, и так поочередно он жалел то человека, то вещь. И пока он жалел одно, другое вызывало в нем злобу, и так дошел он до участка.

– Это вы его схватили? – спросил его околоточный надзиратель.

– Я, – ответил Александр Павлович и обернулся: все глаза глядели на него, и лица обидно улыбались. И поспешно, запинаясь, доктор оправдывался: – Сам не знаю, как это вышло. Он бежал, а я... Так это неприятно.

– Нет, почему же? Это даже очень приятно, – утешил его околоточный надзиратель.

И когда доктор вновь оглянулся на окружающих, все они были серьезны и смотрели на него ласково и поощрительно. Потом человека с пушинками заперли в грязную камеру вместе с другими ворами, пьяницами и проститутками, а доктора околоточный надзиратель вежливо проводил до дверей, благовоспитанно говоря:

– Очень приятно познакомиться с образованным человеком. Такая, знаете, грандиозная масса жуликов, что очень, очень приятно...

Хотя новая лампа была разбита, но в квартире Александра Павловича и без нее света было достаточно: в кабинете горела большая «министерская» лампа, приобретенная еще в то время, когда доктору впервые пришла мысль о диссертации; в столовой бросала яркий свет висючая лампа; были лампы и в гостиной, и в двух других комнатах, и вся квартира выглядела оттого веселой и приветливой. Особенно заметно становилось это, когда взгляд падал на полузадернутое окно: там была тьма и шумел начавшийся дождь.

– Так это неприятно, – говорил Александр Павлович, качая головой.

– И никак нельзя было бы починить ее? – отвечала жена его, Варвара Григорьевна.

Она тоже была огорчена, но старалась скрывать это от мужа: она очень любила его.

– Не в том дело. Зачем я схватил его!

– Не ты, так другой. Вот пустяки. Пойдем посидеть в гостиной.

Они очень любили свою гостиную и освещали ее даже в те вечера, когда никого не было посторонних. Вначале им больше нравился кабинет, но теперь с новой мебелью и цветами гостиная стала уютнее и приятнее.

– Вообрази, как хорошо было бы с новой лампой, – сказала Варвара Григорьевна.

Она сидела на диване, и голова ее лежала на плече мужа.

– Да, хорошо бы, – вообразил доктор и вздохнул.

– Мне бы только посмотреть, как бы это было. А там пусть бьется! – размышляла Варвара Григорьевна.

Александр Павлович засмеялся, поцеловал жену в щеку и спросил:

– Ты счастлива?

– А ты?

– И я. Знаешь, мне все этого жалко. Вора. Ужасно жалко!

– Ну вот! Ты уж очень добр. И потому ему, наверно, в тюрьме лучше. Ты слышишь, какой дождь. Брр... скверно. И Ивановы, должно быть, не придут.

Доктор ясно увидел тюрьму и человека с пушинками, как он там сидит. Темно, так как горит только маленькая, скверная лампочка; ползают клопы, и на двери висит большой железный замок. И, запертый, сидит человек с пушинками и о чем-нибудь думает, может быть, о человеке, который его схватил.

– Главное, зачем я его схватил? – раздумчиво говорит Александр Павлович. – Как это нелепо! Выйди я из магазина на пять минут раньше, и ничего бы этого не случилось.

– Никогда не нужно вмешиваться в эти уличные истории, – замечает жена поучительным тоном. – Когда я жила у тети, к нам тоже залез вор, и его судили... Ты замечаешь, Саша, как за последний год мы обставились?

– Я уже думал. И ведь совсем молодой парень этот вор. И лицо истощенное!

– Нужно еще хороший книжный шкаф, – продолжала Варвара Григорьевна. – Твой мал. Ты записываешь книги, которые у тебя берут?

– Ну, кто там берет?

– Нет, все-таки. А то и не заметишь, как ни одной книги не останется.

Оба задумались и, тепло прижавшись друг к другу, рассеянно обводили глазами светлую и красивую комнату. Варвара Григорьевна вспоминала о том, сколько книг было у ее тети и как все они распропали. Доктор старался припомнить вора с его особенными глазами, носом и ртом и не мог. Ясно представлялись многие лица, знакомые и совсем чужие, а этого лица, нужного для жалости, не появлялось. Тогда доктор попытался вообразить тюрьму с ее мраком и грязью и тоже не мог.

– А знаешь, чего я тебе купила закусить? – спросила Варвара Григорьевна, разглаживая рукой волосы мужа.

– Чего?

Доктору уже хотелось есть, и он начал угадывать, но не угадал.

– Омаров! – с гордостью воскликнула Варвара Григорьевна и пояснила: – Я думала, придут Ивановы, но тем лучше – ты сам съешь.

И они несколько раз поцеловались. Потом они пили чай, и доктор ел омары, а после чаю они перешли в кабинет, и доктор читал жене вслух. Дождь ровно и еще слышно сквозь толстые стекла шумел за окном, ровно и успокоительно звучали фразы романа, и было так светло от большой «министерской» лампы.

– Довольно. Спать пора! – решительно сказала Варвара Григорьевна и захлопнула в руках доктора книгу.

Лениво поднявшись с дивана, она закинула руки за голову и потянулась, извиваясь всем телом и выставляя вперед грудь. Не давая опустить рук, Александр Павлович обнял ее и поцеловал в шею.

– А все-таки жалко... – сказал он.

– Ну, оставь. Купим новую.

Доктор говорил о человеке, но после слов жены подумал, что говорит о лампе. И, обнявшись, они пошли в спальню.

Город

Это был огромный город, в котором жили они: чиновник коммерческого банка Петров и тот, другой, без имени и фамилии.

Встречались они раз в год – на Пасху, когда оба делали визит в один и тот же дом господ Василевских. Петров делал визиты и на Рождество, но, вероятно, тот, другой, с которым он встречался, приезжал на Рождество не в те часы, и они не видели друг друга. Первые два-три раза Петров не замечал его среди других гостей, но на четвертый год лицо его показалось ему уже знакомым, и они поздоровались с улыбкой, – а на пятый год Петров предложил ему чокнуться.

– За ваше здоровье! – сказал он приветливо и протянул рюмку.

– За ваше здоровье! – ответил, улыбаясь, тот и протянул свою рюмку.

Но имени его Петров не подумал узнать, а когда вышел на улицу, то совсем забыл о его существовании и весь год не вспоминал о нем. Каждый день он ходил в банк, где служил уже десять лет, зимой изредка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу, и два раза был болен инфлюэнцей – второй раз перед самой Пасхой. И, уже всходя по лестнице к Василевским, во фраке и с складным цилиндром под мышкой, он вспомнил, что увидит там того, другого, и очень удивился, что совсем не может представить себе его лица и фигуры. Сам Петров был низенького роста, немного сутулый, так что многие принимали его за горбатого, и глаза у него были большие и черные, с желтоватыми белками. В остальном он не отличался от всех других, которые два раза в год бывали с визитом у господ Василевских, и когда они забывали его фамилию, то называли его просто «горбатенький».

Тот, другой, был уже там и собирался уезжать, но, увидев Петрова, улыбнулся приветливо и остался. Он тоже был во фраке и тоже с складным цилиндром, и больше ничего не успел рассмотреть Петров, так как занялся разговором, едой и чаем. Но выходили они вместе, помогали друг другу одеваться, как друзья; вежливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтиннику. На улице они немного остановились, и тот, другой, сказал:

– Дань! Ничего не поделаешь.

– Ничего не поделаешь, – ответил Петров, – дань!

И так как говорить было больше не о чем, они ласково улыбнулись, и Петров спросил:

– Вам куда?

– Мне налево. А вам?

– Мне направо.

На извозчике Петров вспомнил, что он опять не успел ни спросить об имени, ни рассмотреть его. Он обернулся: назад и вперед двигались экипажи, тротуары чернели от идущего народа, и в этой сплошной движущейся массе того, другого, нельзя было найти, как нельзя найти песчинку среди других песчинок. И опять Петров забыл его и весь год не вспоминал.

Жил он много лет в одних и тех же меблированных комнатах, и там его очень не любили, так как он был угрюм и раздражителен, и тоже называли «горбачом». Он часто сидел у себя в номере один и неизвестно, что делал, потому что ни книжку, ни письмо коридорный Федот не считал за дело. По ночам Петров иногда выходил гулять, и швейцар Иван не понимал этих прогулок, так как возвращался Петров всегда трезвый и всегда один – без женщины.

А Петров ходил гулять ночью потому, что очень боялся города, в котором жил, и больше всего боялся его днем, когда улицы полны народа.

Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял, и улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паническим страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги, и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замершим в страшной судороге, и все не выйти из линии толстых каменных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной и жидкой кровью свежего кирпича, то окрашенные темной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по сторонам, равнодушно встречали и провожали, теснились густой толпой и впереди и сзади, теряли физиономию и делались похожи один на другой – и идущему человеку становилось страшно: будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бесконечной и грозной вереницей.

Однажды Петров шел спокойно по улице – и вдруг почувствовал, какая толща каменных домов отделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем свободная земля и далеко окрест видит человеческий глаз. И ему почудилось, что он задыхается и слепнет, и захотелось бежать, чтобы вырваться из каменных объятий, – и было страшно подумать, что, как бы скоро он ни бежал, его будут провожать по сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в первый ресторан, какой попался ему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза.

Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди. Их было множество, и все они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью, непрерывно рождались и умирали – и не было начала и конца этому потоку. Когда Петров шел на службу или гулять, он видел уже знакомые и приглядевшиеся дома, и все представлялось ему знакомым и простым; но стоило, хотя бы на миг, остановить внимание на каком-нибудь лице – и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их первый раз, что вчера он видел других людей, а завтра увидит третьих, и так всегда, каждый день, каждую минуту он видит новые и незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрылся за углом – и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, то может искать всю жизнь и не найдет.

И Петров боялся огромного, равнодушного города. В этот год у Петрова опять была инфлюэнца, очень сильная, с осложнением, и очень часто являлся насморк. Кроме того, доктор нашел у него катар желудка, и, когда наступила новая Пасха и Петров поехал к господам Василевским, он думал дорогой о том, что он будет там есть. И, увидев того, другого, обрадовался и сообщил ему:

– А у меня, батенька, катар.

Тот, другой, с жалостью покачал головой и ответил:

– Скажите пожалуйста!

И опять Петров не знал, как его зовут, но начал считать его хорошим своим знакомым и с приятным чувством вспоминал о нем. «Тот» – называл он его, но когда хотел вспомнить его лицо, то ему представлялись только фрак, белый жилет и улыбка, и так как лицо совсем не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фрак и жилет. Летом Петров очень часто ездил на одну дачу, носил красный галстук, фабрил усики и говорил Федоту, что с осени переедет на другую квартиру, а потом перестал ездить на дачу и на целый месяц запил. Пил он нелепо, со слезами и скандалами: раз выбил у себя в номере стекло, а

другой раз напугал какую-то даму – вошел к ней вечером в номер, стал на колени и предложил быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и сперва внимательно слушала его и даже смеялась, но, когда он заговорил о своем одиночестве и заплакал, приняла его за сумасшедшего и начала визжать от страха. Петрова вывели; он упирался, дергал Федота за волосы и кричал:

– Все мы люди! Все братья!

Его уже решили выселить, но он перестал пить, и снова по ночам швейцар ругался, отворяя и затворяя за ним дверь. К Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 рублей в год, и он переселился в соседний номер, который был на пять рублей дороже и выходил окнами во двор. Петров думал, что здесь он не будет слышать грохота уличной езды и может хоть забывать о том, какое множество незнакомых и чужих людей окружает его и живет возле своей особенной жизнью.

И зимой было в номере тихо, но, когда наступила весна и с улиц скололи снег, опять начался грохот езды, и двойные стены не спасали от него. Днем, пока Петров был чем-нибудь занят, сам двигался и шумел, он не замечал грохота, хотя тот не прекращался ни на минуту; но приходила ночь, в доме все успокаивалось, и грохочущая улица властно врывается в темную комнату и отнимала у нее покой и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стук отдельных экипажей; негромкий и жидкий стук зарождался где-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихал, а на смену ему являлся новый, и так без перерыва. Иногда четко и в такт стучали одни подковы лошадей и не слышно было колес – это проезжала коляска на резиновых шинах, и часто стук отдельных экипажей сливался в мощный и страшный грохот, от которого начинали подергиваться слабой дрожью каменные стены и звякали склянки в шкапу. И все это были люди. Они сидели в пролетках и экипажах, ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведомой глубине огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди, и не было конца этому непрерывному и страшному в своей непрерывности движению. И каждый проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем, – и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого. И в эти черные, грохочущие ночи Петрову часто хотелось закричать от страха, забиться куда-нибудь в глубокий подвал и быть там совсем одному. Тогда можно думать только о тех, кого знаешь, и не чувствовать себя таким беспредельно одиноким среди множества чужих людей.

На Пасху того, другого, у Василевских не было, и Петров заметил это только к концу визита, когда начал прощаться и не встретил знакомой улыбки. И сердцу его стало беспокойно, и ему вдруг до боли захотелось увидеть того, другого, и что-то сказать ему о своем одиночестве и о своих ночах. Но он помнил очень мало о человеке, которого искал: только то, что он средних лет, кажется, блондин и всегда одет во фрак, и по этим признакам господа Василевские не могли догадаться, о ком идет речь.

– У нас на праздники бывает так много народу, что мы не всех знаем по фамилиям, – сказала Василевская. – Впрочем... не Семенов ли это?

И она по пальцам перечислила несколько фамилий: Смирнов, Антонов, Никифоров; потом без фамилий: лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; совсем седой. И все они были не тем, про которого спрашивал Петров, но могли быть и тем. Так его и не нашли.

В этот год в жизни Петрова ничего не произошло, и только глаза стали портиться, так что пришлось носить очки. По ночам, если была хорошая погода, он ходил гулять и выбирал для прогулки тихие и пустынные переулки. Но и там встречались люди, которых он раньше не видал, а потом никогда не увидит, а по бокам глухой стеной высились дома, и внутри их все было полно незнакомыми чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились. Кто-нибудь умирал за этими стенами, а рядом с ним новый человек рождался на свет, чтобы затеряться на время в его движущейся бесконечности, а потом навсегда

умереть. Чтобы утешить себя, Петров перечислял всех своих знакомых, и их близкие, изученные лица были как стена, которая отделяет его от бесконечности. Он старался припомнить всех знакомых швейцаров, лавочников и извозчиков, даже случайно запомнившихся прохожих, и вначале ему казалось, что он знает очень много людей, но когда начал считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь он узнал всего двести пятьдесят человек, включая сюда и того, другого. И это было все, что было близкого и знакомого ему в мире. Быть может, существовали еще люди, которых он знал, но он их забыл, и это было все равно, как будто их нет совсем.

Тот, другой, очень обрадовался, когда увидел на Пасху Петрова. На нем был новый фрак и новые сапоги со скрипом, и он сказал, пожимая Петрову руку:

– А я, знаете, чуть не умер. Схватил воспаление легких, и теперь тут, – он постучал себя в бок, – в верхушке не совсем, кажется, ладно.

– Да что вы? – искренно огорчился Петров.

Они разговорились о разных болезнях, и каждый говорил о своих, и когда расставались, то долго пожимали руки, но об имени спросить забыли. А на следующую Пасху Петров не явился к Василевским, и тот, другой, очень беспокоился и расспрашивал г-жу Василевскую, кто такой горбатенький, который бывает у них.

– Как же, знаю, – сказала она. – Его фамилия Петров.

– А зовут как?

Госпожа Василевская хотела сказать, как зовут, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, где Петров служит: не то в почтамте, не то в какой-то банкирской конторе.

Потом не явился тот, другой, а потом пришли оба, но в разные часы, и не встретились. А потом они перестали являться совсем, и господа Василевские никогда больше не видели их, но не думали об этом, так как у них бывает много народу и они не могут всех запомнить.

Огромный город стал еще больше, и там, где широко расстиралось поле, неудержимо протягиваются новые улицы, и по бокам их толстые, распертые каменные дома грузно давят землю, на которой стоят. И к семи бывшим в городе кладбищам прибавилось новое. На нем совсем нет зелени, и пока на нем хоронят только бедняков.

И когда наступает длинная осенняя ночь, на кладбище становится тихо, и только далекими отголосками приносится грохот уличной езды, которая не прекращается ни днем, ни ночью.

1902 г.

Нет прощения

Курсистка. Молоденькая, такая молоденькая – совсем еще девочка. Нос тонкий, красивый, но по-детски еще незаконченный: не то он прямой, не то с горбинкой, не то просто вздернутый; и такие же незаконченные, пухлые губы, от которых как будто пахнет шоколадными конфетами и красной карамелью. И так щедры, так пышны тонкие волосы, густой и ласковой волной окутавшие голову, что при взгляде на них приходят мысли обо всем самом хорошем и светлом, что есть на земле: о золотом утре на голубом море, о весенних жаворонках, о ландышах и пахучей разросшейся сирени. Безоблачное небо и сирень, огромные, бесконечные кусты сирени и жаворонки над ними. Или вот еще вспоминается что. Когда в майский полдень проходишь под цветущими яблонями, то с них падают бело-розовые лепестки и нежно ложатся на плечо, на шляпу, на черный рукав – бело-розовые нежные лепестки.

И глаза у нее были молодые, яркие, наивно-бесстрастные – и, только приглядевшись, можно было заметить на лице легкие тени усталости, недоедания, бессонных поздних вечеров за разговорами в накуренных тесных комнатках, под иссушающим огнем ламп. Быть может, и слезы бывали на этих щеках – какие-то особенные, не детские, ядовитые слезы, и сдержанной тревожностью дышали движения: лицо было весело и чуть-чуть улыбалось, а нога в маленькой, забрызганной грязью калоше нетерпеливо притоптывала – как будто торопила медленную конку и гнала ее вперед, быстрее, быстрее.

Все это успел рассмотреть наблюдательный Митрофан Васильевич Крылов, пока прошла полстанции тягучая конка. Он также стоял на площадке, против девушки, и от нечего делать рассматривал ее, слегка брезгливо и враждебно, как очень простую и знакомую алгебраическую формулу, которая выведена мелом на черной доске и настойчиво лезет в глаза. Вначале ему стало весело, как и всякому, кто взглядывал на девушку, но ненадолго: были причины, убивавшие всякое веселье. Возвращался он из своей гимназии, после пятого урока, был утомлен и очень голоден, а вагон был набит битком и негде было присесть и почитать газету. И погода была скверная, ноябрьская, и город был надоевший, скверный, и дешевая жизнь – как коночный билет с надорванным углом. От дома до гимназии и обратно: все дни можно сосчитать по билетам, а сама жизнь похожа на клубок, из которого грязные пальцы вытягивают бумажную ленту и отрывают по билету – по дню. И уже скоро девушка опротивела ему, и он с радостью перестал бы на нее смотреть, но некуда было девать глаза.

«Недавно из провинции, – сурово отметил он. – И какого они черта лезут сюда, я бы вот с радостью удрал в Чухлому, к дьяволу на рога. И тоже, конечно, всякие разговоры, убеждения, а тесемки на юбке подшить не может. До того ли! Обидно, главное, что такая хорошенькая».

Девушка заметила косой взгляд и смутилась – смутилась больше, чем полагается, из глаз ее исчезла улыбка, на молоденьком лице явилось выражение детского страха и растерянности, и левая рука быстро потянулась к груди и остановилась там, что-то придерживая.

«Ишь ты! – удивился Митрофан Васильевич, отводя глаза и делая равнодушное учительское лицо. – Это она моих синих очков испугалась. Думает, сыщик: под кофточкой-то, должно быть, бумажонки какие-нибудь. Прежде любовные записки на груди носили, а теперь какие-то там бюллетени. И название-то нелепое: бюллетени».

Он снова бросил осторожный взгляд, чтобы проверить впечатление, и отвернулся: курсистка во все глаза, как очарованная, глядела на него и крепко прижимала руку к левому боку. Крылов рассердился:

«Вот дурища! Раз очки синие, так непременно шпион. А что у человека от занятий глаза могут болеть, этого она не понимает. И этакая наивность, вся на виду: пожалуйста. Также ведь дело берутся делать, отечество спасают. Соску ей надо, а не отечество. Нет, не дозрели мы. Лассаль, например, – вот это голова!

А то тоже: всякая козявка. Уравнения с двумя неизвестными решить не умеет, а туда же: финансы, политика, бумажки. Попугать бы тебя как следует – тогда узнала бы, как надо!»

И еще не успел он окончить своей мысли, как внезапно вдохновение осенило его. От ноябрьского темного неба, с мокрых и грязных камней мостовой, из пустоты голодного и злого желудка пришло оно – это внезапное повелительное вдохновение. Каким-то чрезвычайно подлым жестом втянув голову в плечи, Митрофан Васильевич придал своей физиономии то особенное, хитро-пакостное выражение, какое, по его мнению, должно быть у настоящего шпиона, и бросил такой косой взгляд, что чуть не вывернул глаза. И доволен остался: девушка вздрогнула и затрепетала неуволнимым трепетом страха, и глаза ее тревожно забегали.

«Да, вот именно: а бежать-то и некуда! – толковал ее движения Митрофан Васильевич. – Попрыгай, попрыгай, голубушка, а мы еще жарку поддадим».

И, вдохновляясь все более и более, забывая о голоде и скверной погоде от творческой горделивой радости, он так искусно начал изображать шпиона, как будто настоящим был актером или действительно служил в сыщиках. Тело неуволнимо извивалось скользкими змеиными изгибами, глаза сияли предательством, и правая рука, опущенная в карман, сжимала надорванный билет так энергично и сурово, точно это был не кусок бумаги, а револьвер, заряженный шестью пулями, или агентская книжка. И уже не одна девушка, а и многие другие обратили на него внимание: толстый рыжий купец, один занимавший треть площадки, как-то незаметно сжался, точно сразу похудел, и отвернулся. Высокий малый в фартуке поверх драпового пальто поморгал на Митрофана Васильевича кроличьими глазами и внезапно, толкнув девушку, соскочил и завертелся среди экипажей.

«Отлично!» – похвалил себя Митрофан Васильевич, радуясь глубоко и сосредоточенно, скрытной и злой радостью желчного человека. В отрешении от своей личности, в том, что он притворился именно такой гадостью, как шпион, и люди боялись и ненавидели его, было что-то острое, приятно-тревожное и захватывающее. В серой пелене обыденщины открывались какие-то темные, жуткие провалы, полные намеков и бесшумно реющих теней. Он вспомнил свой класс, опротивевшие физиономии учеников, их синие тетради, закапанные, грязные, исчерканные, полные нелепых, идиотских ошибок, от которых скучно становится жить и перестаешь любить математику, – и подумал:

«А в сущности, очень, должно быть, интересное это дело – шпионское. Шпион-то ведь тоже рискует, да еще как. Ой-ой как! Одного шпиона даже убили, рассказывал кто-то. Так и зарезали, как свинью».

На минуту ему стало, страшно и захотелось перестать быть шпионом, но та учительская шкура, в которую подлежало вернуться, была так голодна, скучна, противна, что он внутренне махнул на нее рукой, даже плюнул, и дал лицу самое пакостное выражение, какое только мог. Курсистка уже не смотрела на него, но вся ее молодая фигурка, кончик красного уха, выглядывавший из-под вьющихся волос, слегка наклонившийся вперед корпус и медленно и глубоко работающая грудь выражали страшное напряжение и одну сверлящую мысль о побеге. О крыльях, вероятно, мечтала она – о крыльях. Раза два она нерешительно переступала ногами, положила руку на столбик и слегка повела головой к Митрофану Васильевичу, – но сбоку покрасневшей щекою почувствовала его пронизывающий взгляд и замерла. И рука ее так и осталась лежать на перилах, и черная перчатка, прорвавшаяся на среднем пальце, слегка дрожала. И стыдно было, что все видят прорванную перчатку и высунувшийся палец, такой маленький, такой сиротливый и робкий, но снять руку не было силы.

«Ага! – думал Митрофан Васильевич. – То-то вот! Уйти-то некуда. Вперед наука: будешь знать, как дела делать. А то словно на бал собралась; нет, брат, шалишь, не все тебе одни удовольствия. Попрыгай-ка теперь, да!»

Он представил себе жизнь преследуемой девушки – и она была такая же интересная, такая же полная и разнообразная, как и у шпиона. И было в ней еще что – то, чего не хватало в жизни сыщика, какая-то обидная гордость, какая-то стройная гармония борьбы, тайны, быстрого ужаса и быстрой мужественной радости. За ней гонятся – а разве нет в этом особенной, огневой радости, когда кто-то злой, враждебный и опасный простирает к горлу хищные руки, нить за нитью вьет убийственную веревку? Как бьется сердце, как ярка жизнь, как хочется жить!

Брезгливо, боком, Митрофан Васильевич оглядел свое поношенное, потертое на рукавах пальто, вспомнил пуговицу, внизу вырванную с мясом, представил себе свое желтое, кислое лицо, которое он так не любит, что бреет только раз в месяц, синие очки – и с ядовитой радостью нашел, что он действительно похож на шпиона. Особенно пуговица: у шпионов некому пришивать пуговиц, и у каждого из них обязательно должна быть одна такая надорванная, уныло обвисшая пуговица, на которую нельзя застегивать. И шевельнулось глухое чувство какого-то особенного, жуткого, шпионского одиночества, и грустно стало, и все – и небо, и люди, и жизнь – расцветилось черными, суровыми красками, стало глубоко, загадочно и содержательно.

Теперь он смотрел на все одними глазами с девушкой, и ново было все. Ни разу в жизни он не задумывался над тем, что такое вечер и ночь – эта таинственная ночь, родящая мрак, прячущая людей, безмолвная, неотвратимая, – теперь он видел ее молчаливое шествие, удивлялся загорающимся фонарям, что-то прозревал в этой борьбе света с мраком и поражался спокойствием снующей по тротуарам толпы – неужели они не видят ночи? Девушка жадно смотрела в пробегающие черные отверстия еще не освещенных переулков – и он смотрел теми же глазами, и были красноречивы зовущие во тьму коридоры. Она с тоской глядела на высокие дома, камнем отгородившие себя от улицы и бесприютных людей, – и новыми казались эти тесные громады, эти злые крепости.

На остановке, где кончалась станция, Митрофану Васильевичу нужно было сходить, но девушка ехала дальше, и он громко сказал кондуктору:

– Позвольте мне билет и на эту станцию.

И очень был доволен, что удалось найти в кошельке пятак: почему-то казалось ему, что у шпионов бывает только медь и старые, засаленные и даже склеенные бумажки – хорошими, красивыми деньгами нельзя платить шпионам, иначе они похожи будут на обыкновенных людей. И молчаливый кондуктор тоже понимал это: так гадливо-почтительно взял монету, что к удовольствию у Митрофана Васильевича прибавилось чувство обиды и возмущения.

«Брезгуешь, мерзавец! – подумал он, наводя синие очки, как пушки, на лицо кондуктора и медленно принимая билет. – А сам небось здорово поворочиваешь. Знаю я вас! Жалованьишко-то маленькое, ну а контролер тоже небось не дурак. Рука руку моет, да».

И он замечтался о том, как он выследит кондуктора и контролера, соберет точные данные, и в один прекрасный день – пожалуйста в управление. Вы воровать, а? Вот изумится-то! А он будет продолжать выслеживать других кондукторов, будет искоренять воровство...

«Где же эта, молоденькая? Слава богу, еще тут... Хорош шпион! – добродушно упрекает себя Митрофан Васильевич. – Немножко бы – и выпустил птичку».

Пользуясь рассеянностью учителя, курсистка сняла с перил руку в разорванной перчатке – это сделало ее смелее, – и на углу большой улицы, где пересекались коночные пути, она соскочила. Тут слезало и садилось много публики, и какая-то худощавая женщина с огромным узлом загородила Митрофану Васильевичу выход. Он говорил: «Позвольте», – и пробовал пролезать, но застревал и бросался к другой стороне. Но там закрывали дорогу кондуктор и давешний рыжий купец. Последний даже взялся обеими

руками за поручни и точно не слышал, как учитель сперва двумя пальцами, потом всей рукой теребил его за рукав.

– Да пустите же! – крикнул Митрофан Васильевич. – Кондуктор, что за безобразие! Я жаловаться буду!

– Они не слышали, – кротко заступился кондуктор. – Господин, позвольте им пройти.

Купец, не оглядываясь, нехотя разжал пухлую руку, но не подвинулся, и Митрофану Васильевичу, с трудом пробиравшемуся в узкое отверстие, почувствовалось даже, что купец нарочно стискивает его и душит. Задыхаясь, он высвободился, прыгнул так неловко, что чуть не свалился, и погрозил кулаком вслед удаляющемуся красному огню.

Девушку Митрофан Васильевич настиг в маленьком глухом переулке, куда он завернул по догадке. Она быстро шла и оглядывалась, и когда увидела преследователя, почти побежала, наивно открывая полную свою беспомощность. Побежал за ней и Митрофан Васильевич, и теперь в темном незнакомом переулке, где были они только двое, бегущие, он почувствовал себя совсем необычно, как-то уже слишком по-шпионски, даже страшно немного стало. «Нужно поскорее кончить», – подумал он, быстро перебирая ногами и задыхаясь от этой неестественной рыси, но не решаясь почему-то на крупный шаг.

У подъезда многоэтажного дома курсистка остановилась, и, пока дергала за ручку тяжелой двери, Митрофан Васильевич нагнал ее и с великодушной улыбкой заглянул в лицо, чтобы показать ей, что шутка кончилась и все благополучно. И, тяжело дыша, еле продираясь в полуотворенную дверь, она бросила в улыбающееся лицо:

– Подлец!

И скрылась. Сквозь стекло на площадке мелькнул еще ее силуэт – и все исчезло. Все еще великодушно улыбаясь, Митрофан Васильевич с любопытством потрогал холодную ручку, попробовал приотворить, но в глубине подъезда, под лестницей, блеснул галун швейцара, и он медленно отошел. В нескольких шагах остановился и минуты две без мыслей пожимал плечами. С достоинством поправил очки, закинул голову назад и подумал:

«Как это глупо! Не дала слова сказать, и сейчас же ругаться. Девчонка, дрянь. Не могла понять, что это шутка. Для нее стараешься, и... Очень она мне нужна со своими бумажонками. Сделайте милость, ломайте шею сколько хотите. Теперь сидит небось и разным там студентам и лохматым рассказывает, как за ней шпион гнался. А они охают. Идиоты! Я сам университет окончил и тоже не хуже вас. Да. Не хуже».

После быстрой ходьбы ему стало жарко, и он распахнулся. Но вспомнил, что может простудиться, и застегнулся, с ненавистью дернув надорванную пуговицу.

«У, дьявол!.. Да, не хуже-с. А может быть, лучше. Поди-ка повози на шее восемь душ, да еще глухую бабку, черта-кочерыжку. Конечно, так оставить нельзя, нужно объяснить ей, что я окончил университет и тоже – против всего этого. Да где ее взять? Не до свету же тут шататься? Слуга покорный. Я еще не обедал».

Он потоптался на месте, безнадежно окинул глазами ряды освещенных и темных окон и продолжал:

«А лохматые небось и рады и верят. Дурачье. Я ведь тоже студентом лохматым был – вот какие волосищи носил. Я и теперь стричься бы не стал, если бы не лезли волосы. Лезут, удивительно лезут, скоро лысый буду. Не могу же я, сами посудите, вытягивать волосы, когда их нет. Ex nihilo nihil fieri potest^[1]. Не парик же мне носить, как... шпиону».

Он закурил папироску и чувствовал, что это уже лишняя папироска: так горек и неприятен был ее дым.

«Войти и сказать: господа, это была шутка, просто шутка. Да нет, не поверят. Господи! Еще побьют».

Митрофан Васильевич быстро отошел шагов на двадцать и остановился. Делалось холодно. Пожимаясь в негреющем пальто, он почувствовал в боковом кармане газету – и стало так горько, так обидно, что захотелось плакать. От чего он отказался? Пришел бы домой, пообедал бы, чайку бы выпил, потом лег бы на диван и почитал газетку – на душе так мирно, безоблачно; тетрадки поправлены, завтра, в субботу, у инспектора винт. А там в своей комнатке сидит глухая бабушка и чулки вяжет – милая старушка, добрая, внимательная, ему две пары носков связала. «И лампадка небось у нее горит – я еще за масло ругался. – А тут? Какой-то переулочек. Какой-то дом. Какие-то лохматые студенты... Господи, этого еще не доставало!»

Из освещенного подъезда, громко хлопнув дверью, вышли два студента и решительно направились в сторону Митрофана Васильевича. Дальше – туман, обрывки улиц, фонари, какие-то темные фигуры, настойчиво загораживающие путь, длинный обоз, морда лошади над самым ухом и одно повелительное, невыносимое чувство страха. Опамятовался он где-то на бульваре и долго не мог узнать местности. Было пустынно и тихо. Накапывал дождь. Студентов не было.

Он выкурил две папиросы, одну за другой, и руки его, когда он зажигал спичку, дрожали.

«До чего добегался? Недостает только воспаление легких схватить, а потом чахотку. Слава богу, что не догнали. А славно, кажется, гнались. Кто-то все время кричал: „Стой“. И как страшно было, господи!»

На бульвар, шлепая калошами, вошли три студента. Митрофан Васильевич выкатил на них помутившиеся от страха глаза и куда-то зашагал. И, только пройдя бульвар и зарывшись в темноту кривого и горбатого переулочка, сообразил, что тех студентов было двое, что нельзя же бегать от всех студентов, какие встречаются на улице. Покружил по незнакомым переулочкам, снова вышел на бульвар и долго разыскивал скамью, на которой сидел. Нужно было почему-то сесть именно на эту скамью. Тут, он думал, что-то очень утешительное.

«Нужно успокоиться и смотреть на дело трезво, – думал он. – Дело вовсе не так плохо. Черт с ней, с девчонкой! Думает, что шпион, ну и пусть думает. Знать-то она меня не знает. Да и те двое меня не видели. Воротник-то я – не дурак – поднял!»

Он было засмеялся от радости и даже рот раскрыл – и замер от ужасной мысли.

«Господи! А она-то видела! Ведь я нарочно целый час свою рожу демонстрировал. Встретит теперь где-нибудь...»

И Митрофану Васильевичу представился целый ряд ужасных возможностей: он человек интеллигентный, любит науки и искусства, бывает в театре, на всяких собраниях и лекциях, три раза был в университете на защите магистерской диссертации, – и везде он может встретиться с девушкой! Она, наверное, никогда не бывает одна, такие девушки никогда не бывают одни, а всегда с целой компанией таких же курсисток и дерзких студентов, – и что может произойти, когда она покажет на него пальцем: вот шпион! – подумать страшно.

«Необходимо снять очки и обриться, – думает Митрофан Васильевич. – Черт с ними, с глазами, да, может быть, доктор еще врет. Но разве что-нибудь изменится, если снять такую бороду? Разве это борода?»

Он почесал пальцем реденькую бородку и везде пощупал тело.

«Даже борода как у людей не растет! – подумал он с отвращением и тоской. – Но все это вздор. И то, что она может узнать, тоже вздор. Нужно доказать. Нужно спокойно и логично доказать, как доказывают теоремы».

Ему представлялось собрание лохматых, и он перед ними твердо и спокойно доказывает. Буквы ясны

и круглы, одно выражение идет за другим, везде спокойные, торжествующие знаки равенства. «Таким образом, вы видите... что...»

Митрофан Васильевич с достоинством, строгим жестом поправляет очки и презрительно усмехается. Потом начинает доказывать – и убеждается с холодным ужасом, что все эти буквы, и логика, и равенства – одно, а жизнь его – другое, и в этой жизни нет логики, нет равенства, нет никаких доказательств, что он, Митрофан Васильевич Крылов, – не шпион. Пусть кто-нибудь, та же девушка, обвинит его в шпионстве, – найдется в его жизни что-нибудь определенное, яркое, убедительное, что мог бы он противопоставить этому гнусному обвинению? Вот смотрит она наивно-бесстрашными глазами, – говорит: «Шпион», – и от этого прямого взгляда, от этого жестокого слова тают, как от огня, лживые призраки убеждений, порядочности. Пустота. Митрофан Васильевич молчит, но душа его полна криком отчаяния и ужаса. Что это значит? Куда ушло все? На что опереться, чтобы не упасть в эту черную и страшную пропасть?

– Мои убеждения, – бормочет он. – Мои убеждения. Все знают. Мои убеждения. Вот, например...

Он ищет. Он ловит в памяти обрывки разговоров, ищет чего-нибудь яркого, сильного, доказательного – и не находит ничего. Попадают нелепые фразы: «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Но разве это убеждения? Пробегают отрывки газетных статей, чьи-то речи, как будто и убедительные, – но где то, что говорил он сам, что думал он сам? Нету. Говорил, как все, думал, как все: и найти его собственные слова, его собственные мысли так же невозможно, как в куче зерен найти такое же ничем не отмеченное зерно. С другими счастливыми людьми случается, что они или нечаянно, не подумавши, или спяну скажут что-нибудь такое резкое, что надолго останется в памяти у других; как-то несколько лет тому назад ихний учитель чистописания, скромный старичок, на обеде у директора после акта напился пьян и закричал: «Требую реформы средней школы!» И произвел скандал. И до сих пор все помнят этот случай и при встрече обязательно спрашивают у старичка: «Ну как насчет реформы?» – и искренно считают его скрытым радикалом. А он? – когда выпьет, тотчас же засыпает или плачет и лезет целоваться; раз даже со швейцаром поцеловался; заговариваться не заговаривается и никогда ничего не требует. Другой человек бывает религиозный или не религиозный, а он...

– Постой, а есть бог или нет? Не знаю, ничего не знаю. А я кто – учитель? Да и существую ли я?

Руки и ноги у Митрофана Васильевича холодеют. И на этот счет, существует он или не существует, у него нет твердых убеждений. Сидит кто-то на бульваре и курит папиросу. Какие-то деревья, мокрые, скользкие. Какой-то дождь. Какой-то фонарь мигает, и по стеклу бегут капли. Пусто, непонятно, страшно.

Митрофан Васильевич вскакивает и идет.

– Вздор, вздор! Нервы просто развинтились. Да и что такое убеждения? Одно слово. Вычитал слово, вот тебе и убеждения. Катет, логарифм! Поступки, вот главное. Хорош шпион, который...

Но и поступков нету. Есть действия – служебные, семейные и безразличные, а поступков нету. Кто-то неумоимо и настойчиво требует: скажите, что вы сделали?.. И он ищет с отчаянием, с тоской. Как по клавишам, пробегает по всем прожитым годам, и каждый год издает один и тот же пустой и деревянный звук – б-я-а... Ни содержания, ни смысла. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Не то, не то.

– Послушайте, послушайте же, сударыня... – бормочет Митрофан Васильевич, опустив голову и умеренно и прилично жестикулируя. – Как глупо, извините, думать, что я шпион. Я – шпион! Какой вздор! Позвольте, я докажу. Итак, мы видим...

Пустота. Куда девалось все? Он знает, что он делал что-то, – но что? Все домашние и знакомые считают его умным, добрым и справедливым человеком – ведь есть же у них основания! Ах да, бабушке ситцу на платье купил, и жена еще сказала: «Слишком уж ты добр, Митрофан Васильевич». Но ведь и

шпионам свойственна любовь к бабушкам, и они покупают бабушкам ситцу, – наверное, такого же черного с крапинками, дрянного ситцу. А еще что? В баню ходил, мозоли срезывал. Нет, не то. Карпову вместо двойки тройку поставил. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу...» Вздор, вздор!

Бессознательно Митрофан Васильевич проделывает обратный путь от бульвара к дому, где скрылась курсистка, но не замечает этого. Чувствует только, что поздно, что он устал и ему хочется плакать, как Иванову, уличенному в списывании.

Митрофан Васильевич останавливается перед многоэтажным домом и с неприятным недоумением смотрит на него.

– Какой неприятный дом? Ах да. Тот самый.

Он быстро отходит от дома, как от начиненной бомбы, останавливается и что-то соображает.

«Лучше всего написать. Спокойно обдумать и написать. Имени, конечно, называть не буду. Просто: „Некий человек, которого вы, сударыня, приняли за шпиона...“ По пунктам. Так и так, так и так. Дура будет, если не поверит, да».

Потоптавшись у подъезда, потрогав несколько раз холодную ручку, Митрофан Васильевич с усилием в два приема открыл тяжелую дверь и с решительным, суровым видом вошел. Под лестницей из дверей каморки показался швейцар, и лицо его выражало услужливость.

– Послушайте, дружище, тут недавно девушка-курсистка... в какой номер она прошла?

– А вам на что?

Митрофан Васильевич стрельнул очками, и швейцар понял: как-то особенно мотнул головой и протянул руку для пожатия.

«Хам!» – с ненавистью подумал Митрофан Васильевич и крепко пожал руку, прямую и твердую, как доска.

– Пойдем ко мне, – позвал швейцар.

– Зачем же?... Мне только...

Но швейцар уже повернул к своей каморке, и Митрофан Васильевич, поскрипывая зубами, покорно последовал за ним. «Поверил! Сразу поверил! Мерзавец!»

В каморке было тесно, стоял один стул, и швейцар спокойно занял его.

«Хам! Хам! Даже сесть не предлагает», – с тоской думал Митрофан Васильевич, хоть в обычном состоянии сидеть не только в чужой швейцарской, но и в собственной кухне считал ниже своего достоинства.

«Хам!» – повторил он и добродушно спросил:

– Холостой?

Но швейцар не счел нужным ответить. Окинув учителя с ног до головы равнодушно-нахальным взглядом, равнодушно помолчал и спросил:

– Тут тоже третьего дня один из ваших был. Блондинчик с усами. Знаете?

– Как же, знаю. Этакый... блондин.

– А много, должно быть, вашего брата шатается, – равнодушно заметил швейцар.

– Послушайте, – возмутился Митрофан Васильевич. – Я вовсе не желаю. Мне нужно...

Но швейцар не обратил внимания и продолжал:

– А жалованья вам много идет? Блондинчик сказывал пятьдесят. Маловато.

– Двести, – соврал Митрофан Васильевич и с злорадством увидел на лице швейцара выражение восторга.

«То-то, голубчик», – подумал он.

– Ну? Двести. Это я понимаю. Папироску не желаете?

Митрофан Васильевич с благодарностью принял из пальцев швейцара папиросу и с тоской вспомнил о своем японском ящичке с папиросами, о кабинете, о синих милых тетрадках. Тошнило. Табак был едкий, вонючий, шпионский. Тошнило.

– А бьют вас часто?

– Послушайте...

– Блондинчик сказывал, что его ни разу не били. Да, поди, врет. Как можно, чтобы не били. Но ежели редко и с осторожностью, чтобы без членовредительства, так оно ничего. Деньги немалые. Верно, ваше благородие?

Швейцар дружески улыбнулся.

– Мне нужно...

– Способности только надо иметь и чтобы лицо подходящее. Без примет. А то видел я одного, вся рожа на стороне и глаза нету. Разве такой годится, сами посудите! Всю рожу так и свернуло, как от ветру, и глаза нет, одна дырка. Вот у вас...

– Да послушайте! – тихо закричал Митрофан Васильевич. – Мне некогда. Мне еще нужно!

Неохотно оставляя интересную тему, швейцар подробно расспросил, какова на вид девушка, и сказал:

– Знаю. Часто ходит. № 7. Иванова. Зачем папиросу на пол бросаешь? Вон печка. Мети тут за вами.

И последнее, что доносилось до слуха учителя, было:

– Шантрапа, понимаешь?

«Хам!» – мысленно ответил Митрофан Васильевич и быстро зашагал по переулку, отыскивая глазами извозчика. Домой, скорее домой! Господи, как он раньше об этом не вспомнил, – что значит растерянность. Ведь у него есть дневник, а в дневнике давно когда-то, еще студентом первого курса, он записал что-то очень либеральное, очень смелое, и свободное, и даже красивое. Он живо помнит и вечер тот, и свою комнатку, и рассыпанный табак на столе, и то чувство гордости, упоения, восторга, с каким набрасывал он энергичные, твердые строки. Вырвать странички и послать – и все тут. Она увидит, она поймет, она умная и благородная девушка. Как хорошо!.. Как хочется есть!

В передней Митрофана Васильевича встретила обеспокоенная жена:

– Где ты был? Что с тобой? Отчего ты такой?

И, поспешно сбрасывая пальто на ходу, он кричал:

– С вами не такой будешь! Полон дом народу, а пуговицу пришить некому. Черт вас знает, что вы тут делаете! Сто раз говорил: пришить. Безобразие, распущенность!

И зашагал в кабинет.

– А обедать?

– Потом. Не лезь! Не ходи за мной.

Было много книг, много тетрадей, но дневник не попадался. Попалась связка ученических тетрадей за первый год его учительства, сохраненная как воспоминание, – к черту! Сидя на полу, он выкидывал из нижнего отделения шкапа бумаги, книги, тетради, отчаивался и вздыхал, сердился на застывшие тугие пальцы – и наконец! Вот он, голубенький, немного засаленный переплет, еще не установившийся старательный почерк, засохшие цветы, старый кисловатый запах духов – как он был молод!

Митрофан Васильевич сел к столу и долго перелистывал дневник, но желаемое место не находилось. Посередине между страницами был перерыв, и торчали коротенькие тщательные обрезки. И он вспомнил: пять лет тому назад, когда у Антона Антоныча был обыск, он очень испугался, вырезал из дневника все компрометирующие его страницы и сжег. Нечего искать – их нет – они сгорели.

Понурился, закрыв лицо руками, он долго, без движения, сидел над опустошенным дневником. Горела одна только свеча – лампы он не успел зажечь, – в комнате было непривычно темно, и от черных бесформенных кресел веяло холодом, заброшенностью, скукой. Далеко, в тех комнатах, играли дети, кричали и смеялись; в столовой звенели чайной посудой, ходили, разговаривали – а тут было безмолвно, как на кладбище. Если бы заглянул сюда художник, почувствовал бы эту холодную, угрюмую темноту, увидел бы на полу груды разбросанных бумаг и книг, темную фигуру человека с закрытым лицом, в безнадежной тоске склонившегося над столом, – он написал бы картину и назвал бы ее «Самоубийца».

«Но ведь можно вспомнить, – с мольбой думает Митрофан Васильевич. – Можно вспомнить. Пусть сгорела бумага, но ведь то, что было, оно осталось где-то. Оно есть, оно существует, нужно только вспомнить».

И он вспоминает все ненужное: и формат страницы, и почерк, и даже запятые и точки, но то нужное и дорогое, то любимое, светлое, оправдывающее, – оно погибло навсегда. Оно жило и умерло, как умирают люди, как умирает все. Бесследно исчезло оно в огромной пустоте, и никто не знает о нем, никто о нем не помнит, и ни в чьей душе не осталось от него следа. Если бы он стал на колени, плакал, умолял вернуть его к жизни, грозил, скрежетал зубами, – огромная, безначальная пустота осталась бы безгласной, ибо никогда не отдаст она того, что раз попало в ее руки. Разве когда – нибудь слезы и рыдания могли вернуть к жизни умершего, убитого? Нет прощения, нет пощады, нет возврата – таков закон жестокой смерти.

Оно умерло, оно убито. Подлый убийца! Сам своими руками сжег лучшие цветы, что, быть может, раз в жизни в тихую святую ночь распустились в бесплодной, нищенской душе. К кому пойти, если сам себе не друг? Бедные погибшие цветы! Быть может, не ярки были они и не было в них силы и красоты творческой мысли, но они были лучшим, что родила душа, и теперь их нет, и никогда не зацветут они снова. Нет прощения, нет пощады, нет возврата – таков закон жестокой смерти.

– Что же это? Позвольте, – шепчет бессмысленно Митрофан Васильевич. – Я убедился, что вы, Иванов, списали... Нет. Вздор. Нужно жену. Маша! Маша!

Пришла Марья Ивановна. Лицо у нее круглое, доброе; не завитые, по-домашнему, волосы кажутся жидкими и бесцветными. В руках у нее работа – детское платьице.

– Что, Митроша, обедать сказать? Перестоялось все.

– Нет, погоди. Мне нужно поговорить.

Марья Ивановна обеспокоенно откладывает работу и заглядывает мужу в лицо. Тот отворачивается и говорит:

– Сядь.

Марья Ивановна села, оправила платье, сложила руки на коленях и приготовилась слушать. И как

всегда бывало в этих случаях, еще со школьной скамьи, лицо ее сразу приняло выражение бестолковости и готовности все перепутать.

– Я слушаю, – сказала она и еще раз оправила платье.

Но Митрофан Васильевич молчал и изумленно вглядывался в лицо жены. Чужое оно было и незнакомое, как лицо нового ученика, поступившего в класс; и странно было думать, что эта женщина – его жена, какая-то Марья Ивановна, Маша. И новая мысль ворвалась в его взбудораженный мозг, и шепотом, дрогнувшим голосом, он сказал:

– Ты знаешь, Маша? Я – шпион.

– Что?

– Шпион, понимаешь, да.

Марья Ивановна вся как-то оседает, как проколотое тесто, и, всплеснув тихо руками, произносит:

– Так я и знала, несчастная, господи ты боже мой!

Подскочив к жене, Митрофан Васильевич машет кулаком у самого ее лица, с трудом удерживается от желания ударить и кричит так громко, что в столовой перестает звенеть посуда и во всем доме становится тихо...

– Дура! Дурища! Так и знала. Господи! Да как же ты могла знать? Двенадцать лет! Двенадцать лет! Господи! Жена-друг, все мысли, деньги, все...

Становится к печке и плачет. Марья Ивановна еще не сообразила, отчего он плачет: оттого ли, что он шпион, или оттого, что не шпион, но ей жалко мужа и обидно за ругань, она плачет сама и говорит:

– Ну вот. Сейчас же и ругаться. Всегда я виновата. Если дура, так зачем женился на дуре, брал бы умную.

Не оборачиваясь, прильнув лбом к холодной кафле, Митрофан Васильевич шепчет, захлебываясь:

– Так и знала! Господи! Двенадцать лет! Уже если и жена и та так, значит, и вправду шпион. Так и знала! Дура, дурища!

– Да что ты в самом деле, я только и слышу: дура, дура, – рассердилась Марья Ивановна. – Сами выкидывают, а тут за них отвечай.

Митрофан Васильевич яростно обернулся:

– Что выкидывают? Что же, я шпион? Ну! Говори, шпион я или нет?

– А я почему знаю? Может, и шпион.

Горя ненавистью и гневом, оба обиженные, оба несчастные, они долго и бессмысленно бранились, в чем-то друг друга упрекали, плакали, призывали бога, пока не охватила обоих глухая, тяжелая усталость и равнодушие. И тогда с полным спокойствием, совершенно забыв только что разыгравшуюся ссору, они сели рядом и заговорили, и снова зазвенела в столовой чайная посуда, и снова забежали и зашумели дети. Конфузясь и избегая некоторых подробностей, Митрофан Васильевич передал жене историю с курсисткой и свои опасения насчет случайной встречи.

– Эка! – беззаботно воскликнула Марья Ивановна. – А я думала, что. Стоит беспокоиться. Обрился, снял очки, вот тебе и все. А в гимназии на уроке можно и очки надевать.

– Ты думаешь? Да разве это борода?

– Ну уж это ты оставь. Говори что хочешь, а бороду оставь. Всегда говорила, что хорошая, и сейчас

скажу.

Митрофан Васильевич вспомнил, что гимназисты зовут его «козлом», и совсем развеселился. Если бы не была хорошей борода, не звали бы «козлом», это верно. И в радости крепко поцеловал жену и даже, шутя, пощекотал за ухом бородой.

Часов в двенадцать, когда весь дом уgomонился и жена легла спать, Митрофан Васильевич принес в кабинет зеркало, теплой воды и мыльницу и сел бриться. Пришлось, кроме лампы, зажечь две свечи, и было немного стыдно и от яркого света беспокойно, но он смотрел только на ту часть лица, которой касалась бритва, и полбороды снял благополучно. Но потом нечаянно взглянул себе в глаза и остановился. И прежде было тихо, а теперь наступила такая глухая и мертвая тишина, как будто раньше вся комната полна была крику и разговоров. Когда ночью человек один остается перед зеркалом, ему всегда бывает немножко жутко и странно от мысли, что он видит себя. И Митрофану Васильевичу стало жутко, и с суровым любопытством, как посторонний, он подумал: «Так вот ты какой!»

Дряблoе лицо уже пожилого человека с морщинами, следами сошедших угрей и белой сухой кожей. На переносье красная полоска от очков, бесцветные, моргающие глаза; одна щека обрита и блестит лоснящейся кожей, другая покрыта мыльной пеной – так, вероятно, и шпионы совершают свой туалет, когда идут на работу. Что-то безнадежно – плоское, серое, застывшее – не лицо живого человека, а маска, снятая с покойника. Ни шпион, ни тот, кого шпионы преследуют.

– Так вот ты какой! – бормочет Митрофан Васильевич, и то лицо, в зеркале, странно шевелит губами и принимает выражение кислоты, растерянности и трусливой злобы. Кто дал ему это лицо? Кто смел дать такое лицо?

По щеке, бороздя мыльную пену, скатывается слеза. Стиснув зубы, Митрофан Васильевич бреет щеку, потом задумывается, намыливает усы – и снимает их. И снова глядит. Завтра над этим лицом будут смеяться. А когда-то, давно, другим оно было.

Решительно сжав бритву, Митрофан Васильевич запрокидывает голову – и осторожно тупой стороной бритвы два раза проводит по шее. Хорошо бы убить себя – да разве он может?

– Трус, подлец! – говорит он громко и равнодушно. Но лицо в зеркале шевелит губами и остается плоским и серым. Да, его можно ударить, можно наплевать в него, а оно останется все такое же, и только глаза заморгают чаще. Завтра над ним будут смеяться – товарищи, ученики. И жена – она тоже будет смеяться.

Ему хочется прийти в отчаяние, заплакать, ударить зеркало, что-нибудь сделать, – но на душе пусто и мертво, и хочется спать. «Должно быть, от того, что долго на воздухе был», – думает он и зевает. И тот, в зеркале, тоже зевает.

Убирает бритвенный прибор, тушит лампу и свечи и, шаркая туфлями, идет в спальню. И скоро засыпает, уткнувшись в подушку бритым лицом, над которым завтра будут смеяться все: товарищи, жена и он сам.

1904 г.

Христиане

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы – они так и назывались «судебные драмы», – и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили, разговаривали, ели. Если встречались пасмурные лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни и особенно там, где изо дня в день разыгрываются «судебные драмы». Вон в той комнате застрелился как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то бренчат кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во втором уголовном отделении много публики – слушается большое дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортер, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любитесь. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликает свидетелей:

- Ефимов! Как ваше имя, отчество?
- Ефим Петрович Ефимов.
- Согласны принять присягу?
- Согласен.
- Отойдите к стороне! Карасев!
- Андрей Егорыч... Согласен.
- Отойдите к... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отходят к стороне; других вопрос застает врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с другими не смешивались.

Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья. Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.

Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель с разбега наткнулся на неожиданность:

- Согласны принять присягу? Отойдите...
- Нет.

Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом, председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко – голос был женский, – но все женщины казались одинаковы и одинаково

почтительно и готовно глядели на него. Посмотрел список:

– Пелагея Васильевна Караулова! Вы согласны принять присягу? – повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.

– Нет.

Теперь он видит ее. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпу и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, нелепым напуском на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижны.

– Да вы православная?

– Православная.

– Отчего же вы не хотите присягать?

Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит. Стоявшие впереди ее расступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

– Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите, – вам ничего за это не будет. Суд примет во внимание ваши объяснения.

– Нет.

– Не сектантка?

– Нет.

– Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично, – понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать – понимаете? Теперь согласны?

– Нет.

Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шепотом:

– Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

– Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет?

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко отвечает, но так тихо, что ничего нельзя разобрать.

– Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидетельница откашливается и очень громко говорит:

– Я проститутка...

Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт каким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. «Нужно бы зажечь электричество»... – думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи, привыкшие

к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу:

– С сумочкой...

Тот молча кивает головой.

– Ну так что же, что проститутка? – говорит председатель и слово «проститутка» произносит так же привычно, как произносит он другие не совсем обыкновенные слова: «убийца», «грабитель», «жертва». – Ведь вы же христианка?

– Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель совещается с членом суда налево и хочет говорить; но вспоминает про существование члена суда направо, который все время улыбается, и спрашивает его согласия. Та же улыбка и кивок головы.

– Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон. Но это ошибка – вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятия, это дело вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора, господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.

Член суда с левой стороны шепчет:

– Теперь вы хватили... Разбойник – а потом товарищ прокурора! И потом, торгует – кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..

– Так вот, – говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена, – свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

– Нет.

– Нет? Почему же?

– Как же я такая пойду в церковь?

– Но у исповеди и у святого причастия бываете?

– Нет.

Свидетельница отвечает не громко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом «нет» в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах, по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой тонкой шее, радостно шепчет для всеобщего сведения:

– Вот так загвоздила!

– Ну а богу-то вы молитесь, конечно?

– Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

– Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких... Спросите, согласны они?

Председатель неохотно берет список и говорит:

– Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...

– Проститутка!.. – быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.

Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником; тот подумал: «Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...»

– Вы согласны принять присягу?

– Согласна.

– Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

– Согласна! – густым контральто, почти басом, отвечает толстая, с двумя подбородками, Кравченко.

– Ну вот, видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же?

Караулова молчит.

– Не согласны?

– Нет.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой и снова становится серьезна. Суд совещается, и председатель, сделав любезное, несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове, в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.

– Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.

– Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.

Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень тихо говорит:

– Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли христианские чувства...

– Я и говорю: какая я христианка?

Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:

– Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.

– Все мы, сударыня, грешны перед господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас господь, памятуя, что без воли его ни один волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более тяжкий, как покусительство на применение воли божией. Быть может, грех ваш послан вам во испытание, как посылает господь болезни и потерю имущества; вы же в гордыне вашей...

– Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!

– ...Предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со святой православной

церковью. Вы знаете символ веры?

– Нет.

– Но вы веруете в господа нашего Иисуса Христа?

– Как же, верую.

– Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

– Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во Христа... – подтверждает председатель.

– Нет! – решительно отвечает Караулова. – Так что же из того, что я верю, когда я такая? Когда б я была христианка, я не была бы такая... Я и богу-то не молюсь.

– Это правда... – подтвердила свидетельница Пустошкина. – Она никогда не молится. К нам в дом – дом у нас хороший, пятнадцатирублевый – икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего не легко.

– Господь наш Иисус Христос, – продолжал священник, взглянув на председателя, – простил блудницу, когда она покалась...

– Так она покалась; а я разве каялась?

– Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.

– Нет. Разве когда старая буду и помирать начну, тогда покаюсь – да уж это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покалась. Нет уж, дело конченное.

– Какое уже тогда покаяние! – басом подтвердила внимательно слушавшая Кравченко. – Пела-пела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там – хватъ, и покалась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж, дело конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевелинулась.

«Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом, – подумал защитник, – у этой грудь, как кузнечные мехи, с тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню».

Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо, отпустил священника:

– Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побеспокоили.

Священник поклонился и стал на свое место, у аналая, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у которого борода за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду, где шепчутся, и счастливо улыбался.

– Вот так загвоздила! – шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.

Подсудимый, недовольный задержкой, безглаголиво смотрел на Караулову, поспешно крутил усики и что-то соображал.

Суд совещался.

– Ну что же делать? Ведь это же идиотка! – гневно говорил председатель. – Ее люди в царство небесное тащат, а она...

– По моему мнению, – сказал член суда, – нужно было освидетельствовать ее умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.

– Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделяет!

Товарищ прокурора, молодой человек в высоком воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался привлечь на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на пюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать.

– Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!

– Позвольте мне...

И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову:

– Обвиняемая, – виноват, свидетельница, – как вас зовут?

– Груша.

– Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, называли Аграфеной. Следовательно...

– Нет. Когда крестили, так называли Пелагеей.

– Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?

– Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.

– Но вы же...

Председатель перебил:

– Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей. Вы поглядите!

– Тогда я ничего не имею...

Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив строгий взгляд на обвиняемого и защитника.

Караулова ждала. Получалось что – то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на залу и поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин пристав! Если кто будет разговаривать, то удалите его из залы.

Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик, в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:

– Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?

– Восемь лет.

– А до того чем занимались?

– В горничных служила.

– А кто обольстил? Сынок или хозяин?

– Хозяин.

– А много дал?

– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на платье. У них свой магазин в

рядах.

- Стоило из-за этого идти!
- Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.
- Дети были?
- Один был.
- Куда девала?
- В воспитательном помер.
- А больна была?
- Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:

- И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.
- Бывают старички и больше дают! – вступилась за подругу Пустошкина. – Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...

В публике засмеялись.

– Свидетельница, молчите, вас не спрашивают! – строго остановил председатель. – Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? Тоже спросить?

– Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло... – тонким, почти детским голосом сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы. – Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: «не христианка я», а завтра воровать по этой же причине пойдешь либо кого из гостей сонным зельем опиешь – вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены, а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, тогда хуь на свете не живи.

- Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христианка.

Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

- Вот попадется такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не сдвинешь...

– Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают... – вступилась Пустошкина. – Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти – спасибо, застрял. «Я, – говорит, – воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на такое поганое дело ишли», а сам-то пьян-распьянехонек. А по – моему...

- Молчите, свидетельница!

- Просто они жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!

- Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести. Вам что еще угодно, господин прокурор?

– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили по установленному обряду, то вы христианка, как это и значит, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

Прокурор, овладевая темой, становился все строже.

– Сейчас заговорит о паспорте... – шепнул председатель и перебил прокурора: – Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка. Вы согласны?

– Нет.

– Ну вот видите, прокурор, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: «Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!» Сосед, не глядя, отвечает: «А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!» – «Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от господа дан». – «А бороду где выщипали?» – «Где бы ни выщипали, а выщипали»... Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.

– Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! – возмущается член суда. – Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

– Да вы-то что? Что ж я нарочно, по-вашему? – покраснел председатель. – Вы глядите на эту, на толстую, на Кравченко, – ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объявят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче – мы и так потеряли уже полчаса.

Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится страдание.

– Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалять сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с богом...

– Виноват... – перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

– Нет.

– Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова «мистический». Выражайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот – вот эмбрион всех сфинксов...

– Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

– Проще я не могу... – грустно сказал заседатель. – Мистическое требует особого языка... Одним словом – нужна близость к богу.

– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к богу – и больше ничего.

– Нет. Какая уж тут близость при таком деле! Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

– Намедни, – басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: «Сукин ты сын, а еще лысый». А он говорит: «Молчи, говорит, мурзик, – свет Христов и во тьме сияет». Так и сказал.

– Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

– Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

– Это зачем еще?

– Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет.

– Нет, – сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.

Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

– Нет, примете!

– Нет.

– Посмотрим...

– Посмотрите...

– Довольно, довольно!.. – сердито крикнул председатель. – А вы, господин пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся.

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: «Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят – как самовар заблестят». – «Ну это вы слишком!» – «Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!» – «Бороду-то где выщипали?» – «Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы божьей Палагеи».

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин судебный пристав! Примите меры!

Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.

– Как хотите, а нужно кончить! – говорит член суда. – Получается скандал.

– Пожалуй что... Ну что еще вам нужно, господин защитник? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:

– Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...

– Так и вам нужно? – с безнадежной иронией покачал головой председатель. – Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!

Защитник поворачивается к присяжным заседателям:

– Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного пристава в богословии... – начинает он медленно.

– Господин защитник! – строго перебивает председатель. – Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

– Слушаю-с.

Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно, по частям: сперва упали бессильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из уст выпали проникновенные слова:

– Господа судьи и господа присяжные заседатели!

И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не ответит глаз.

– Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны – ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

– Господин защитник, что же это такое! – возмущается председатель. – Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. Я лишу вас слова.

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

– Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.

– Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные заседатели, что госпожа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря «нет», в сущности говорит «да»!

Какой-то большой и красивый образ смутно и пристально блеснул в голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

– Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может, только что оторванная от деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...

– Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала, что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом, она не крестьянка, а мещанка города Воронежа.

– Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же – с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорблениями, быть может, побоями – разрушает и оскверняет этот чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы

видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию – в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти в святилище... И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

– Нет! – перебила Караулова. – Неправда это! И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

– За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а шляпка, а серьги – все за это за самое. Раздень меня до самого голого тела, так ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое – на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь – жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что? Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал, – выходит, что и живот не мой. Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеться – разденусь; прикажете на крест наплевать – наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.

– А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки донышками кверху, за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она, – Караулова показала на плачущую Кравченко, – за мать мне была, плакала, разливалась, как будто всерьез. Она поплакать-то любит. А я смеялась – ведь и правда очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: «Молиться», – а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то что мужчины; а настоящих не знаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь, – хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать, – родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил, – а пришлось в воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил, – он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым людям – отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начала говорить и о моем детстве, и о прочем, и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: господи, да унеси ты меня отсюда! А студент говорит: «Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовное занятие иметь». Отучил. Конечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она, но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господа судьи, зачем пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такую меня и берите.

Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:

– Двугривенный я тут уронила, поднять можно?

Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкого пола.

– Ну а вы-то, – с горечью обратился председатель к Пустошкиной и Кравченко, – вы-то согласны принять присягу?

– Мы-то согласны... – ответила Кравченко, плача. – А она нет!

– Господин председатель! – поднялся прокурор, строгий и величественный. – Ввиду того, что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имен?..

– Ну, какое там кощунство! – ответила Караулова. – Просто пьяны были. Да и не помню я – разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: «Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги».

Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом.

Пристав громко говорит:

– Прошу встать!

Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

– Поднимите руки!

Все подняли руки.

– Повторяйте за мною, – говорит он одним голосом и другим продолжает: – Обещаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто Кравченко.

– Обещаюсь и клянусь...

– Перед всемогущим богом и святым его Евангелием...

– Перед всемогущим богом... и святым... его Евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно. Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

– Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

– Ну что же нам с вами делать? – разводит руками председатель. – Ну, правду-то понимаете, правду говорить будете?

– Скажу что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок.

– ...Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение ее таково. 13-го марта прошлого года я зашел в велосипедный магазин Мархлевского...

– ...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре раза: 21-го декабря, 7-го января, 25-го того же января и 1-го февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ, Протасов. Относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

1905 г.

Иван Иванович

1

На Иване Ивановиче было новое пальто – совершенно новое, великолепного сукна, серого, с нежным серебристым оттенком. Ему не советовали брать такой цвет – марок и вообще непрактичен, но он был молодой человек и желал быть красивым. И он был красив, и на душе было радостно и гордо; и если нельзя было вообразить себя генералом или гвардейским офицером, то во всяком случае ясно чувствовалось, что он лучший из всех околоточных надзирателей, какие есть в Москве и, быть может, даже в других городах. Сзади, в двух шагах за Иваном Ивановичем, шли трое городских в черных шинелях, башлыках и с ружьями. Ружей они не умели держать, они им мешали и только нагоняли страх; и лица были у них мрачные, недовольные, а шаги они делали короткие, точно сберегали пространство и старались сохранить запас его позади себя. Они боялись дружинников. Но Иван Иванович не боялся и шел молодцевато, с легким вывертом. В городе уже стреляли, но в ихнем участке было тихо, и только в двух-трех местах достраивали запоздалые баррикады. И на нем было новое пальто.

Из-за угла показалась чья-то голова и скрылась; и вдруг сразу высыпала черная кучка народу, и из середины ее кто-то выстрелил прямо в Ивана Ивановича – как будто вся черная кучка сказала ему: ах! Городовые убежали, Иван Иванович тоже повернулся, чтобы бежать, но сзади крикнули:

– Стой! Застрелим!

Ноги от страху онемели, затряслись, и он остановился. От всего себя он чувствовал одну только спину, неподвижную, серую, широкую, как глухой забор, мимо которого не пролетит ни одна пуля. И повернуть ее он не мог, так спиной и встретил дружинников, которые сзади несколькими парами рук схватили его за плечи, за руки и даже за шиворот. Повернули.

– Как фамилия? – спросил один. В руке у него был револьвер «браунинг».

– Товарищи! – сказал Иван Иванович.

– Ну-ну! – грозно окрикнул кто-то.

– Граждане, – поправился Иван Иванович. Некоторые засмеялись, но тот суровый, что окрикнул, так же сурово и с отрицанием сказал:

– Дай ему по харе, чтобы не брехал. Дурак!

Иван Иванович закрыл глаза, но его не ударили, а снова спросили о фамилии.

– Авдеев, – солгал он.

Дружинники переглянулись: такого, с такой фамилией не знали, – ничем не был замечателен. Обыскали его, но ничего не нашли в новеньких, чистых карманах – ни бумаг, ни писем; только в одном нашли гребешочек и зеркальце и без сожаления бросили их в снег. Иван Иванович приободрился и сам помогал вывертывать карманы, а вначале не мог.

– А револьвер-то? – сказал кто-то. – Забыли?

– Давай револьвер. Живее!

Околоточный торопливо начал отстегивать кобуру, исподлобья дружелюбно оглядел дружинников и улыбнулся.

– Сделайте одолжение. Но только разве это оружие? Вот у вас револьверы настоящие, а у нас что, казенные, в двух шагах собаку не застрелишь. Честное слово! Извольте! Да шашку-то, шашку не забудьте, или как она называется – селедку.

Но шашка была свежееотпущена, остра, и на шутку Ивана Ивановича никто не отозвался. Один из дружинников, молодой, краснощекий, сияющий, схватил шашку и перепоясал ее через плечо.

– Вот так!

– Оставь, Василий! Зачем на глаза лезть!

– Ну вот! Пригодится.

Иван Иванович тоже покачал головой и скромно спросил:

– Можно идти теперь?

– Что?! – удивился тот, суровый. И удивление его было так тяжело, зловеще и страшно, что снова смертельный ужас охватил околоточного, и снег перед его глазами точно почернел, а вокруг черных фигур появились какие-то странные, светлые ореолы. И все закачалось.

– Неужели? – нелепо сказал он, и рот его чему-то смеялся, а побелевшие глаза вылезли из-под лба и дико таращились.

– Не стоит, – сказал первый, тот, что допрашивал Ивана Ивановича. Но суровый настаивал.

– А по-моему, стоит. Всех их стоит. А если вам уж так его жалко, так давайте я. Ну-ка, ты, пойдем, поговорим!

– Не стоит! – поддержали другие. – Ну его! Оставьте его, Петров.

Петров сердито пожал плечами, посмотрел прямо в вытаращенные глаза околоточного и отошел в сторону.

– Делайте как хотите, – равнодушно сказал он.

– Господи! – сказал Иван Иванович, провожая его глазами, и перекрестился. Посмотрел на всех и еще раз перекрестился. – Ну и человек. Вот так человек!

Дружинники собрались в кружок и стали советоваться, как поступить с околоточным. Это был первый их пленный, и они не знали, что с ним делать. И молодой, сияющий, с шашкой через плечо, засмеялся, хлопнул Ивана Ивановича по плечу и предложил:

– Пусть-ка идет строить баррикаду. Народу у нас мало, а он парень здоровый. Верно? – И он подмигнул Ивану Ивановичу.

– Как же это? – удивился тот. – В моем положении, и вдруг...

– Вы, быть может, предпочитаете поговорить с товарищем? – вежливо осведомился первый дружинник, указывая на Петрова.

– Нет уж, бог с ним! – отмахнулся рукою околоточный; дружинник засмеялся, и только Петров нахмурился еще больше и отвернулся. – Я ведь, собственно, ничего не имею. Помочь так помочь, с большим удовольствием. Вот только костюм у меня неподходящий...

– Мы вас не уговариваем...

– Да нет же, господа, я с большим удовольствием. Пальто вот действительно жалко, вы сами понимаете, – а я что же!

Он говорил развязно и с большим достоинством, но страх не покидал его и маленькой мышкой бегал

по телу, а минутами воздух точно застревал в груди и земля уходила из-под ног. Хотелось скорее к баррикаде, казалось, что, когда он возьмется за работу, никто уже не посмеет его тронуть. Дорогою – нужно было пройти с четверть версты – он старался быть дальше от Петрова и ближе к молодому, сияющему, и даже вступил с последним в беседу:

– Вот, говорят, полицейский, такой-сякой, крючок и прочее. А только как же без полиции, сами рассудите. Когда господь бог изгнал из рая Адама и Еву, кого он у дверей поставил?.. Вот оно откуда еще началось!

– Товарищ, вы слышите? – смеясь, окликнул молодой Петрова.

Петров остановился и, не глядя на товарища, сказал околоточному:

– Ты свое остроумие оставь. Они тебя помиловали, а я тебя не миловал. Услышу твой голос, видишь, – он показал «браунинг», – так в голову и всажу. Гадина!

Иван Иванович обиженно замолчал и всю дорогу шел молча, скучный и подавленный. Оглядываться он боялся, и на себя поглядеть как следует боялся, и было страшно и за себя и за пальто, которое он разорвет или испачкает. Так и шел, стараясь только не ускорять и не замедлять шага против остальных, а они шли неровно, то быстро, то тихо, как нарочно. Один раз молодой, сияющий, потихоньку от Петрова подмигнул ему, но Иван Иванович угрюмо отвернулся: ему было очень нехорошо. А молодой нагнал Петрова и тихо сказал ему:

– Напрасно вы так, товарищ. Он, ей-богу, ничего. Конечно, невежественный, темный, а когда-нибудь и он поймет... Все поймут.

Петров хмуро повернул костлявую голову с темными запавшими глазами – и встретил задумчивые, тихо сиявшие глаза. Они сияли тихо, до самой глубины своей и глядели широко, с радостью и удивлением. И было мучительно глядеть в их светлую глубину, и хотелось разбудить его и крикнуть.

– Все поймут, товарищ, поверьте, – повторил молодой, и Петров кротко согласился:

– Может быть, – и шутливо крикнул околоточному: – Ну что, крючок, очухался?

– Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки, – обиженно ответил Иван Иванович и, испугавшись своей дерзости, добавил: – Сами же велели молчать, а теперь... Это, что ль, баррикада-то? Ну и нагородили!..

2

В действительности народу было много, работа шла веселая и живая, и Иван Иванович долго не мог никуда приткнуться. Пробовал и тащить, и подпихивать, и вязать проволокой, но все у него выходило не так, и его прогоняли. Просто он не понимал назначения баррикады – она казалась ему странной и нелепой игрушкой, сооружаемой какими-то баловниками для непонятного баловства, и что нужно сделать для того, чтобы она стала лучше, он не догадывался. И вид имел бестолковый, растерянный и даже печальный, так как очень беспокоился к тому же за пальто. Одну полу он уже успел испачкать, и по серебристому сукну проходила скверная, темная полоса. Подумал – и пошел жаловаться к Петрову.

– Не знаешь? – презрительно сказал тот. – Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.

– Да у меня и пилы нет.

– Поищи.

И опять его гоняли от одного к другому, но наконец он нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.

– А ты бы шинель-то снял, – посоветовал рабочий. – Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.

– Боюсь, украдут, – сказал околоточный.

– Ну вот! – удивился старик. – Кому оно нужно. Тут, брат, граждане, а не воры...

– Рассказывай! – не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком изнанкой наверх и осторожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось на виду.

Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятнее. Пригляделся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким он привык и умел обращаться; рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.

– Смотри-ка, – сказал Иван Иванович, – и бабы тут. Тоже работают.

– А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.

– Выдрать бы их за эту лепту, вот что.

– Ну и гадюка же ты! – удивился рабочий. – Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.

– Граждане, а деретесь, – упавшим голосом возразил околоточный.

– Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?

И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пятидесяти, у лавки, стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович осклабился и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забежал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выставшую баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.

– Ага! – сказал околоточный.

– Ты что?

– Ничего, так. Рано вы в граждане записались.

– Ты опять?

Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребрами своими она расползлась в стороны, как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех.

– Попробуй-ка перескочи!

Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работающих, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. «Привязался», – подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:

– Даже и смотреть нельзя, скажите, пожалуйста, какие цацы!

– Глаз-то у тебя нехороший, – серьезно заметил старик. – Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде вместо красного знамени. И дешево и сердито!

– Что же тут хорошего!

Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иванович совсем успокоился и за себя, и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:

– Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О господи, вот же народ бестолковый!

Теперь он понимал, что такое барригада.

– Упри его концом сюда, так, чтобы острием оно вперед. Так, верно!

И уже развязно подходил к Петрову:

– Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.

Петров, не оборачиваясь, коротко ответил:

– Убирайся вон.

– Как же это так? – пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то исподнизу, как побитая собака. А потом снова овладел положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.

– А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались, – сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду. – Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.

Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.

– Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!

И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук

вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.

– Я не виноват! Она... Я не виноват, честное благородное слово! Я ей сказал...

Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал – плюнул.

– Гуманность! – сказал он презрительно.

– Господин Петров! Господин Петров! – звал его околоточный. – Я ей сказал...

– Молчать!

И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

– Ну его к богу.

Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.

– Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят – всех доставляйте сюда. Хорошо!

– Что хорошо? – спросил Петров.

– Так. Все хорошо. Погода хорошая.

Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:

– А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.

Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.

– Послушайте, вы, – сказал он молодому, – как вы шашку нацепили? Разве так носят?

– А что? – спросил тот.

– А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.

– Сойдет и так, – засмеялся молодой. – Сие не есть важно.

«Сие, – подумал Иван Иванович. – Вот еще дурак: сие», – и с отвращением сплюнул.

– Куда вы меня ведете-то? – грубо спросил он.

Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:

– Молчать!

И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.

– Надо свернуть, – сказал один.

– Ничего, пройдем, – ответил молодой.

– Лучше свернуть, – поддержал другой и вынул револьвер. – А у вас есть револьвер, товарищ?

– Нет, – беззаботно ответил Василий. Оказалось, что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злорадно улыбнулся. «Так, так», – подумал он.

Свернули в коротенький, безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все изменилось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его товарищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.

Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо вскрикивал что-то непонятное и все порывался ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова:

– Этот самый! Этот самый!

Он бесконечно повторял: «Этот самый!» – вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду... Толстый офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника.

– Так как же? – сказал он, задыхаясь. – Расскажи, как там было. Покороче!

Иван Иванович рассказал, но не так, как было, а по-своему, и главным виновником нападения выставил Василия. И все время тыкал в него пальцем и кричал:

– Этот самый!

Василий молчал, был страшно бледен, и губы его дрожали. Снизу лицо его озарял чистый, еще не загрязненный снег, сверху падал на него отсвет холодного, белого зимнего неба, и не было уже молодости в этом лице, а только смерть и томление смерти. Сразу все кончилось. Сразу обрывалась жизнь, которая еще сегодня цвела так пышно, так радостно, так полно. Все и навсегда кончалось: глаза не увидят, и уши не услышат, и мертвое сердце не почувствует. Все кончилось.

– Так как же? – сказал офицер. – Надо его расстрелять. Он вас расстрелять хотел, а мы его расстреляем. Вот и будет хорошо.

Солдаты уже прицелились, когда офицер широко раскрыл глаза и закричал:

– Стой! Вы куда же это его поставили, а?

Солдаты не понимали.

– К окнам поставили, идиоты! Стекла побьете. К стенке поставить. Ну, так. Валяй. Нет, погоди. Ты, слушай, отвернись! Не понимаешь? Спиной стань.

Он тихо ответил:

– Не хочу.

– Что? Что ты там бормочешь?

Он так же тихо повторил:

– Не хочу.

Иван Иванович громко засмеялся. Толстый офицер перевел на него тусклые и странно-добродушные глаза и сказал:

– Чего вы смеетесь? Это его дело. Не хочет так не хочет. Ну валяйте.

Когда все кончилось, офицер приказал одному солдату отдать свою лошадь Ивану Ивановичу, а самому сесть позади товарища. Уже тронулись и перешли на рысь, когда офицер внезапно закричал:

– Стой!

Остановились. Офицер тяжело повернулся к околоточному и озабоченно спросил:

– А шашку-то вы взяли?

– Вот она! – весело ответил Иван Иванович.

– Ну то-то. Трогай!

Теперь Иван Иванович чувствовал себя еще лучше, чем утром. В том же новом пальто он ехал на лошади, рядом с настоящим офицером, и хоть сильно подпрыгивал, но держался крепко. Жаль только, что публики не было: улица была пуста, и где-то за белыми крышами бухали пушки.

1908 г.

Правила добра

1

Кто не любит добра?

Случилось так, что некий здоровенный пожилой черт, по тамошнему прозвищу Носач, вдруг возлюбил добро. В молодости своей, как и все черти, он увлекался пакостничеством, но с годами вступил в разум и почувствовал святое недовольство. Хотя по природе он был чертом крепкого здоровья, но излишества несколько пошатнули его, и пакостничать уже больше не хотелось; склонность же к порядку – добродетель, весьма распространенная среди чертей, – твердый, положительный, хотя несколько и туповатый ум, некая беспредметная тоска, особенно овладевавшая им по праздникам, и, наконец, неимение опоры в семье и детях, так как Носач остался холостяком, – постепенно поколебали его убеждение, будто ад и адские порядки есть окончательное воплощение разума в бессмертную жизнь. Он с жадностью искал работы, чтобы отвлечься от своих тяжелых сомнений, и перепробовал ряд профессий, прежде чем надолго и окончательно не устроился при одной маленькой католической церкви во Флоренции в качестве соблазнителя. Тут он, выражаясь его словами, отдохнул душою; и тут же, по времени, было положено начало его новой подвижнической жизни.

Церковь была маленькая, и работы Носачу представлялось немного. От мелких пакостей, на которые так склонны юные черти, как-то: задувание восковых свечей, подставление ножки псаломщику и нашептывание молящимся старухам беспричинных гадостей, он уклонялся, чувствуя скуку, серьезное же дело не наворачивалось. Молящиеся всё были люди скромные, тихие и дьявольским наветам поддавались туго: ни золотом, которого они не видали, ни огневой любовью, которой они не знали никогда, ни гордыми мечтаниями высокого честолюбия, совершенно чуждого их непритязательной жизни, не удавалось Носачу поколебать мир и тишину их неглубоких душ. Пустяковые же грехи они охотно творили сами, и не было у черта ни надобности, ни охоты даром тратить воображение на приискивание новых, тем более что круг маленьких грехов весьма ограничен. Пытался он первоначально ввергнуть в бездну соблазна самого попа, но и тут потерпел естественную неудачу: поп был старенький, беззубый, наполовину впавший в детство – и, как дитя, невинный. Если черту и удавалось во время богослужения вышибить у попа из памяти необходимые слова и заменить их неподходящими и даже соблазнительными; если удавалось обкормить попика кашей или заставить проспать утреннюю мессу – то и в этом был только внешний, формальный грех, а грех настоящий отсутствовал: разницу между тем и другим прекрасно чувствовал прирожденный черт. И мало-помалу в свои прямые обязанности соблазнителя он начал вносить равнодушие и холод формализма: наскоро расскажет старухе неприличный анекдот, плюнет раза два-три в угол, заставит попика каждый раз в одном и том же месте перепутать слова и поскорее усядется на свое излюбленное место в тени колонны – по украденному молитвеннику внимательно следит за службой.

Такое времяпровождение, хотя и приятное, было, однако, враждебно деятельной натуре пожилого черта; и, незаметно для себя, он втянулся в обиход церковный, разделил интересы домоправительства, стал чем-то вроде второго сверхштатного сторожа. По утрам подметал церковь и чистил медные ручки, во время службы поправлял лампы и вместе с верующими гнусаво подтягивал клиру: «Ora pro nobis»^[2]. И, входя в церковь снаружи, он уже привычным жестом окунал лапу в кропильницу со святой водой и кропил себя, а когда все шли под благословение, то шел и он, слегка толкаясь, по своей грубоватой дьявольской привычке. В редкие свои посещения ада, куда он являлся, как и все черти, с фальшивыми докладами, Носач все больше и больше преисполнялся отвращением к его шуму, гвалту, грязи и дикой неразберихе.

Визгливые ведьмы, которым в свое время он отдал полную дань восторга, ныне преисполняли его чувством омерзения; и не одной из них со своею былою ловкостью он прищемил хвост в дверях, радуясь страху и мучениям несчастной.

И так как все непрерывно лгали и каждое слово каждого было ложью, и сатана лгал впереди всех и за всех, то начинала, с непривычки, болеть голова и скорее хотелось на воздух.

После одной из таких побывок Носач с особым удовольствием вернулся в тихую церковь и двое суток как убитый спал за колонной; проснувшись же, принял видимость и решительно направился к попику в исповедальню: был именно тот час, когда верующие исповедовались.

Попик очень удивился, что незнакомый пожилой господин с тщательно выбритым, сухим лицом, имевшим постное и даже мрачное выражение благодаря огромному отвислому носу и резким складкам вокруг тонких губ, есть самый настоящий черт. Но когда Носач клятвенно подтвердил свое заявление, стал с детским любопытством расспрашивать его об адских делах. Но черт только отмахивался рукой и угрюмо ворчал:

– Ах, и не говорите, святой отец, это не жизнь, а чистый ад.

– А где же твои рога? – спрашивал поп. – И где же твои копыта? И ты зачем ко мне пришел: соблазнить меня хочешь или покаяться? Если соблазнить, то напрасно – меня, сударь, соблазнить нельзя.

Попик засмеялся и похлопал его по плечу.

– А кашу помните? – угрюмо спросил черт.

– Какую кашу? – удивился попик.

– А на той неделе, в субботу, помните? Вы еще много съели, помните?

Попик заволновался:

– Так это ты мне? Ай-ай-ай-ай-ай! Поди прочь! Поди прочь отсюда, не хочу тебя и видеть! Надевай свои рога и уходи, а то сторожа позову.

– Я покаяться пришел, а вы меня гоните! – уныло сказал черт. – Аще, сказано, одну заблудшую овцу...

– Так ты и Евангелие знаешь! – удивился старичок.

Черт строго и гордо ответил:

– Проэкзаменуйте.

– Так, так, так! Ты, значит, серьезно, а?

– Проэкзаменуйте.

– Ну и удивил же ты меня... не знаю, как тебя назвать, ах, удивил. Пойдем же ко мне, я тебя поэкзаменую: тут тебе пока не место. Скажите, пожалуйста, черт, а Евангелие знает!.. Пойдем! Пойдем!..

И целый вечер у себя на дому попик экзаменовал Носача и восторженно удивлялся:

– Да ты богослов! Ей-богу, богослов. Ты занимался, что ли, этими вопросами?

– Занимался-таки, – скромно подтвердил черт. Вообще хотя он держался и скромно, но с большим достоинством, не лебезил, не забежал вперед, и сразу видно было, что это – черт строгий и положительный. Своими огромными познаниями он нисколько не кичился и все больше и больше нравился добродушному старому попику.

– Так чего же ты хочешь? – спросил поп.

Черт с размаху бухнул на колени и завопил:

– Святой отец, разрешите и научите меня творить добрые дела! Стосковался я о добре, святой отец. Жить не могу без добра, а как его творить, еще не ведаю. От сатаны же и от дел его отрекаюсь вовеки: тьфу, тьфу, тьфу!

Когда волнение поулеглось, попик благодушно потрепал черта по плечу, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки: Носач чуть не вдвое был выше ростом. От прикосновения черт устранился – он не любил фамильярного обращения – и с угрюмостью, составлявшей главную черту его характера, настойчиво спросил:

– Так как же, святой отец, научите?

– Добру-то? Можно. Это можно! Но только знаешь ли ты творения святых отцов? В Библии ты силен, но этого, дружок, пожалуй, маловато. Да, маловато! Иди-ка погуляй, а я тебе вечером составлю списочек: что читать.

Черт уже выходил, когда попик, с любопытством глядевший на его широкую спину, остановил его вопросом:

– Послушай, милейший: ты всегда это носишь?..

– Одежду?

– Нет, все это, – попик неопределенно очертил рукою фигуру дьявола, – вот у тебя нос этакой грушей... у тебя всегда так? И лицо у тебя очень постное, как будто ты мало кушаешь, и одежда у тебя черная... Мне это нравится, но всегда у тебя так, или же ты имеешь и другой вид? Если имеешь, то покажи, пожалуйста: я хоть и стар, а чертей еще никогда не видал.

Дьявол мрачно солгал:

– Другого вида не имею.

– Нет? Ну, что ж поделаешь: нет так и нет. Иди же погуляй, а я поработаю. Хоть я давеча и сказал тебе комплименты, что ты богослов, но ты еще мало... – попик значительно поднял палец, – очень еще мало знаешь. Да!

– А про добро узнаю? Мне главное про добро узнать.

Попик успокоительно сказал:

– Про все узнаешь. Столько книг прочесть, да не узнать: какой ты, брат, мнительный!

Два года сидел черт над книгами и мучительно доискивался: что есть добро и как его делать так, чтобы не вышло зла. С древнееврейским языком черт и раньше был хорошо знаком, а теперь изучил еще и греческий: все читал в подлиннике, сверял, отыскивал ошибки, доселе ускользавшие от общего внимания, не без остроумия и даже убедительности создавал новые богословские схемы, впадая в несомненную ересь. Совсем измучился и даже похудел, но ответа на свой вопрос так-таки найти не мог и впал под конец в отчаяние. Два года терпел, ничего, а тут так вдруг загорелось и так страшно стало, что пошел к попу среди ночи и разбудил его: помогите!

– Ну, говори, несчастный, что такое у тебя случилось?

– Да то и случилось, что прочел я все ваши книги, а как допрежде не знал добра, так и теперь не знаю. Жить мне тошно, святой отец, и тьма ночная пугает!

– Да все ли ты прочел? Ой, не пропустил ли чего? Тороплив ты, сударь.

– Сейчас последнюю кончил. Умен я, святой отец, вот в чем мое горе: ум у меня дьявольский, тонкий,

не терпящий противоречия: и раньше я других на противоречиях ловил, а теперь вот и сам попался!

Попик укоризненно покачал головою.

– Мудрствуешь?

– То-то и беда, что мудрствую. Вон у добрых людей, рассказывают, голос такой есть внутренний, указующий пути добра, а какой может быть у дьявола голос? Только от ума и действует дьявол. А как начал я с умом читать эти ваши книги, так только одни противоречия и вижу: и то можно, и другое можно, и того нельзя, и другого нельзя. Вот хочу я для начала земной моей жизни вступить с хорошей женщиной в брак и совместно с нею творить добро, а как начитался ваших книг, так и не знаю теперь: добро есть брак или зло.

– Могий вместити...

– Вместить-то я много могу, да не знаю, что вмещать. Вот вы, святой отец, безбрачны, и в этом даже ваша святость, а патриархи не хуже вас были, а жен имели даже по несколько. И не будь бы в браке святые отцы Иоаким и Анна, то не было бы у них дочери...

Попик даже испугался и замахал рукой отчаянно:

– Молчи, молчи, грешник! С тобой и говорить опасно – того и гляди, сам в ересь впадешь! Уж лучше женись, если не можется.

– Да разве это ответ?

– А что же тебе надобно, горделивый?

– А мне такого ответа надо, чтобы годился он на все времени и для всяких случаев жизни, и чтобы не было никаких противоречий, и чтобы всегда я знал, как поступить, и чтобы не было никаких ошибок, – вот чего мне надо. Жениться я погожу, а вы пока подумайте. Даю вам семь дней сроку, а не позовете меня через семь дней, вернусь я в ад – поминай как звали!

Даже рассвирепел черт: вот до чего захотелось ему добра! Понял это добрейший попик и, не рассердившись нисколько, старательно думал шесть дней, а на седьмой позвал к себе дьявола и сказал:

– Черт ты внимательный, а главное-то в книгах и проморгал, да. Читал, что сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Ясно ведь, а? – торжествовал попик, – возлюби – вот тебе и все.

Но измученный черт нимало не обрадовался и мрачно ответил:

– Нет, не ясно. Раз я про себя не знаю, что мне нужно, и желания мои неясны и даже противоречивы, то как же другому буду я благодеяния оказывать? Живым манером в ад его вгоню, опомниться он не успеет.

– Экий ты – не знаю, как тебя назвать, – раскоряка! Ну, не можешь ты как самого себя, то просто возлюби. И когда возлюбишь, то все и увидишь, и все поймешь, и добро без усилий сотворишь: узенькая будет у тебя тропочка по виду, как канат натянутый, а никуда с нее не упадешь и ни в какую трясины не взвалишься.

– Возлюби! – мрачно ухмыльнулся Носач. – Возлюбить-то я и не могу. Какой же был бы я черт, если бы мог возлюбить?... Не черт бы я был, а ангел, и не я тогда у вас, а вы бы у меня учились. Поймите же меня, святой отец, потрудитесь: не могу я по природе своей любить ангельской любовью, но и зла делать не желаю, а хочу творить добро – вот вы этому самому меня и научите.

Сказал попик сокрушенно:

– Природа твоя гнусная.

– На что гнуснее! – согласился черт угрюмо. – Вот потому-то и бороться с нею хочу, а не камнем на дно

идти. Не для одних же ангелов небо, имею же и я право стремиться к небесам? – Вот вы мне и помогите. Даю вам еще семь дней срока, а не поможете – махну на все рукою и провалюсь в тартарары!

Прошло еще семь дней, и, позвав мрачного черта, сказал ему попик следующее:

– По многом размышлении нашел я для тебя, несчастный, два весьма вразумительных правила: полагаю, что не промахнешься. Сказано: если кто попросит у тебя рубашку, то ты и последнюю отдай. И еще того лучше сказано: если кто тебя по одной щеке ударит, то ты и другую подставь. Делай так, как сказано, вот тебе и будет урок на первый раз, и сотворишь ты добро. Видишь, как просто!

Черт подумал и радостно осклабился:

– Это другое дело. Не знаю, как и благодарить вас, святой отец: теперь я знаю, что такое добро.

Но оказывается, что и тут не узнал он добра. Прошло две недели, и уже стал успокаиваться обрадованный попик, как снова явился к нему черт; и был он мрачнее прежнего, на лице же имел кровоподтеки и ссадины, а на плечах, поверх голого и темного тела, трепалась совсем новенькая рубашка.

– Не выходит, – мрачно заявил он.

– Что не выходит? – встревожился попик. – Лицо у тебя такое неприятное – ах, боже ты мой, – и над глазом синяк... а нос-то, нос-то!.. Что же это ты, милейший, пошел добро творить, а вместо того – подрался. Или, может быть, ты с лестницы упал? Ничего я не понимаю.

– Нет, подрался.

– Да я же тебе говорил: еще кто ударит тебя по левой щеке, подставь правую. Помнишь?

– Помню. Две недели ходил я, святой отец, по городу и все искал, чтобы меня по щеке ударили, но никто меня не ударил, и не мог я, святой отец, выполнить заветы добра.

– А драка-то? А это что же такое?

– Это совсем другое дело. Заспорил я с одним гражданином, и он меня ударил тростью по голове, вот по этому месту, – черт указал на темя. – Тогда я его – так мы и подрались: и скажу вам, не хвастаясь: я ему два ребра сломал.

Попик отчаянно замотал головой.

– Ах, господи, да ведь сказано же тебе: «Аще кто ударит тебя по левой щеке...»

Но черт кричал еще громче:

– Говорю же вам: не по щеке, а вот по этому месту! Сам знаю, что когда по щеке, то нужно другую, а он по этому месту. Вот шишка, – попробуйте.

Руки опустились у несчастного попаки. Отдышавшись, сколько следовало, сказал он с горечью:

– Ну и дурень же ты. Ум у тебя глубокий, человек ты, или, как бы это сказать, высокообразованный, а в отношении добра любая курица больше тебя понимает. Как же ты не понял, что святыя слова сии имеют распространительное толкование. Дурень ты, дурень!

– Вы же сами говорили – толкований никаких не надо.

– Да, – горько усмехнулся попик, – толкований никаких не надо – ты так думаешь! Ну, что я буду с тобой делать, сам ты сообрази, ведь не могу же я с тобой по городу ходить. Сидел бы ты лучше дома. А что это за рубашка у тебя – подарил кто-нибудь?

– Сам я хотел ее подарить, да никто так ни разу и не попросил. Две недели ходил по городу среди самых бедных людей, и чего только у меня не просили, а рубашки так никто и не догадался попросить, –

уныло вздохнул черт. – Видно, сами они не понимают, что такое добро.

– Ах, несчастный, – снова заволновался поп, – вижу я, что наделал ты большого зла. Просили тебя, говоришь, о многом?

– Просили.

– И хлеба, например, просили?

– Просили.

– А ты ничего и не дал?

– Я все ждал, чтобы рубашку попросили. Не ругайте же меня, святой отец, и я сам вижу, что плохо мое дело. Да ведь хочу же я добра, подумайте, недаром же я от сатаны отрекся, недаром же я два года, как студент, сидел над книгами. Нет, видно, не будет мне спасения.

– Ну, ну, погоди, не отчаивайся, я тебя еще поучу. А скажи, за что тебя гражданин-то этот палкой ударил? Может быть, ты невинно пострадал, за это много прощается.

Черт развел руками.

– Уж и не знаю: тогда думал, что невинно, а теперь начинаю и в этом сомневаться. Так было дело.

После долгих моих скитаний по городу, утомленный, но по-прежнему пылающий жаждою добра, присел я на берегу Арно отдохнуть, чтобы набрать сил для нового хождения. И вижу: утопает в реке неведомый человек, закружило его водоворотом, и носится он с необыкновенной быстротой. Раз он проплыл мимо меня, и другой, и третий...

– И четвертый?

– Да, и четвертый. И пока я размышлял, отчего он не тонет, приписывая это чудесное явление силе невиданных подводных течений, собрался на его крик народ, и тут – теперь мне стыдно об этом рассказывать – произошла эта самая скверная драка. Должен вам пожаловаться, святой отец: меня не один этот гражданин – меня и другие били.

Стоял черт, опутив длинные руки, бессильные творить добро, и отвислый нос его, пораненный ударом, выражал уныние и крайнюю тоску. Посмотрел на него попик искоса и недружелюбно, еще раз взглянул, радостно вздохнул почему-то и, подойдя близко, наклонил к себе тугую голову дьявола и поцеловал его в лоб. И тут еще заметил: на темени, у самого корня седых волос, запеклась кровь. Дьявол покорно принял поцелуй и шепотом сказал:

– Страшно мне, святой отец! Видел я в аду крайние ужасы, до последнего страха касалась моя душа, но не трепетала столь мучительно, как теперь. Есть ли что страшнее: стремиться к добру так неуклонно и жадно и не знать ни облика, ни имени его! Как же люди-то на вашей земле живут?

– Так и живут, миленький, как видишь. Одни в грешном сне почивают, а кои пробудились, те мучатся и ищут, как и ты, с природой своей борются, мудрые правила сочиняют и по правилам живут.

– И спасаются? – недоверчиво спросил черт.

– А это уж одному богу известно, и нам с тобой в этот конец даже и заглядывать не годится. Да ты не отчаивайся, миленький, я уж тебя не оставляю, я тебя и еще поучу, у меня много времени свободного. Черт ты старательный, и все у тебя пойдет по-хорошему, только в уныние не впадай да ранку на голове промой холодной водой, как бы не разболелась.

Так кончили они разговор; и не знали они оба, ни огорченный унылый дьявол, ни сам попик с благостной душой, когда он лобызанием любви касался противного дьявольского чела, а дьявол в свою

очередь жалел жалостью любовной мечущихся людей, что как раз в эту минуту совершалось то самое добро, имени и порядка которого тщетно доискивались оба.

Так и разошлись, не зная: попик – к себе, приискивать новые правила добра для поучения, а дьявол – к себе, в темноту запыленных углов, чтобы там зализывать раны и тщетно допрашивать бога об его грозных и непонятных велениях.

2

Вот и снова начал благостный поп обучать добру непокорную дьявольскую душу – но тут-то и начались для обоих самые тяжкие мучения.

Пробовал попик давать подробные наставления на разные случаи жизни, и выходило хорошо, пока случаи совершались в том самом виде и в том порядке, в каком предначертал их его наивный ум. Не только со старательностью, а даже и со страстью, проявляя силу воли необыкновенную, черт выполнял предписанное. Но всего многообразия жизненных явлений не мог уловить в свои плохонькие сети человеческий ум, и ошибался черт ежеминутно. В одном месте сделает, а рядом пропустит, потому что вид другой и слова у просящего не те; а то бывает, что и черт не дослышит либо не так поймет, – и опять ошибка, человеку обидно, а добру поправление. Уже и у попики начал мутиться разум: никак он до тех пор не предполагал, чтобы столько было у жизни лиц, темных загадок, вопросов неразрешенных.

«И откуда это все берется? – думал попик, пока черт в углу зализывал новую рану или тяжело вздыхал от гнетущего бессилия. – То ничего не было, а то вдруг так все и полезло, так все и полезло. Тут не только черт, а и священнослужитель не разберется. Но как же я раньше разбирался? – удивительно! Боюсь я этого, а ничего не поделаешь: надо попробовать распространительное толкование. Дам ему этикие общие законы, а он их пусть распространяет... Только бы не вышло чего, о господи!»

И на распространительное толкование черт покорно согласился: измучился он к этому времени до последней крайности и готов был на всякие жертвы – да не принимались его жертвы. Били его столько, что за одно это он мог бы попасть в мученики, а выходило так, что и побои не только его не украшали, а налагали ярмо все нового и нового греха. Ибо за дело его били, и не могли этого не признать ни он сам, ни его великодушный покровитель. Уже и плакать черт научился, а раньше совсем как будто и слез не имел. Плакал он столько, что, казалось бы, за одни эти одинокие слезы и неутолимую тоску о добре мог бы попасть он в угодники, а выходило так, что и слезы не помогали, ибо не было в них творческой к добру силы, а только грешное уныние. Только и надежды теперь оставалось, что на распространительное толкование.

И совсем приободрился черт и даже с некоторою гордостью сказал попу:

– Теперь вы за меня, святой отец, не бойтесь: теперь я и сам могу. Это раньше мне трудно было, а раз теперь вы допускаете толкование, я уже не собою. Ум у меня положительный, твердый, пить я уж давно ничего не пью, и никаких ошибок теперь уже быть не может. Только вы не таитесь от меня, а прямо скажите самый важный и самый первый закон, по которому жить. Когда этот закон исполню, тогда вы и другие мне скажете.

Собрал всю свою науку, все свои соображения старый попик, взглянул и в душу к себе – вздохнул радостно и не совсем решительно сказал:

– Есть один такой закон, но только боюсь я тебе его открыть: очень он, как бы это сказать, опасен. Но так как на все есть воля божия, то, так и быть, открою, ты же смотри не промахнись. Вот, смотри.

И, раскрыв книгу, трепетно указал черту на великие и таинственные слова:

НЕ ПРОТИВЬСЯ ЗЛУ.

Но тут и черта покинула его гордыня, как увидел он эти страшные слова.

– Ох, боюсь, – сказал он тихо. – Ох, промахнусь я, святой отец!

Было страшно и попу; и молча, объятые страхом, смотрели друг на друга черт и человек.

– Попробуй все-таки, – сказал наконец поп. – Тут, видишь ли, хоть то хорошо, что тебе самому ничего делать не нужно, а все с тобой будут делать. Ты же только молчи и покоряйся, говоря: прости им, господи, не ведают, что творят. Ты эти слова не забудь, они тоже очень важны.

Вот и ушел черт в новые поиски добра; два месяца пропадал он, и два месяца, день за днем, час за часом, в волнении чрезвычайном поджидал его возвращения старый поп. Наконец вернулся.

И увидел поп, что черт совсем исхудал – одна широкая кость осталась, а от мяса и след пропал. И увидел поп, что черт голоден, жаждет, до голого тела обобран придорожными грабителями и много раз ими же избит. И обрадовался поп. Но увидел он и другое: из-под закосматившихся бровей угрюмо и странно смотрят старые глаза, и в них читается все тот же непроходящий испуг, все та же неутолимая тоска. Насилу отдышался черт, харкнул два раза кровью, точно по каменной мостовой бочонок из-под красного вина прокатили, посмотрел на милого попа, на тихое место, его приютившее, и горько-прегорько заплакал. Заплакал и попик, еще не ведая, в чем дело, и наконец сказал:

– Ну, уж говори, чего наделал!

– Ничего я не наделал, – печально ответил черт. – И было все так, как и надо по закону, и не противился я злему.

– Так чего же ты плачешь и меня до слез доводишь?

– От тоски я плачу, святой отец. Горько мне было, когда я уходил, а теперь еще горше, и нет мне радости в моем подвиге. Может быть, это и есть добро, но только отчего же оно так безрадостно? Не может так быть, чтоб безрадостно было добро и тяжело было бы его творящему. Ах как тяжело мне, святой отец. Присядьте, а я вам расскажу все по порядку, вы уж сами разберете, где тут добро, – я не знаю.

И долго рассказывал черт, как его гнали и били, морили жаждою и грабили по пустынным дорогам. А в конце пути случилось с ним следующее:

– Лежу я, святой отец, отлеживаюсь на камне, что при дороге. И вижу я: идут с одной стороны два грабителя, злых человека, а с другой стороны идет женщина и несет в руках нечто, как бы драгоценное. Говорят ей грабители: отдай! – а она не отдает. И тогда поднял грабитель меч...

– Ну! – вскричал попик, прижимая руки к груди.

– И ударил ее мечом грабитель, и рассек ей голову надвое, и упало на дорогу нечто драгоценное, и когда развернули его грабители, то оказалось оно младенцем, единым и последним сокровищем убитой. Засмеялись грабители, и один из них, тот, что имел меч, взял младенца за ножку, поднял его над дорогою...

– Ну! – дрожал поп.

– Бросил и разбил его о камни, святой отец!

Поп закричал:

– Так что же ты! Так как же ты! Несчастный! Ты бы его палкой, палкой!

– Палку у меня раньше отняли.

– Ах, боже мой! Ведь ты черт, ведь у тебя же есть рога! Ты его бы рогами, рогами! Ты бы его огнем серным! Ведь ты же, слава богу, черт!

– Не противься злему, – тихо сказал черт.

Было долгое молчание.

Побледневший попик как стоял, так и пал на колени и покорно сказал:

– Моя вина. Не ты, не грабители убили женщину и ребенка – я, старый, убил женщину и ребенка. Отойди же в сторону, мой друг, пока я помолюсь за наш великий человеческий грех.

Долго молился поп; окончивши молитву, разбудил уснувшего черта и сказал ему:

– Не для нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни толкований, ни даже правил. Вижу я, что иногда хорошо любить, а иногда хорошо и ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя били, а иногда хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то.

– Тогда я пропал, – решительно и мрачно заявил черт. – Для себя вы как хотите, а мне дайте правила.

– А ты и опять промахнешься и меня подведешь: нет, сударь, довольно! – Попик даже рассердился. – Нету правил. Нету и нету.

– А раз правил нет, так и добра никакого нет.

– Что? Добра нет? А что я с тобой, с чертом, разговариваю, что я тебя, черта, учу, это – не добро? Поди, сударь, неблагодарный ты это, как бы сказать, господин!

Но то ли озлобился черт, то ли вновь до отчаяния дошел – уперся мрачно и ворчит:

– То-то много вы меня научили, есть чем похвалиться!

– Да разве черта научишь?

– А раз черта не научишь, так чего же ваше добро стоит? Ничего оно не стоит!

– Эй, прогоню!

– Прогоняйте, если не жалко. Я в ад пойду.

Помолчали. Черт спросил:

– Так как же, святой отец, идти мне в ад?

Даже прослезился попик: так жалобно спросил его черт и поклонился низко, говоря:

– Прости меня, миленький, обидел я тебя. А относительно добра вот что я тебя спрошу: черт ты любознательный, и во многих ты бывал храмах и хранилищах искусств, и много ты видел творений великих мастеров – нравятся ли они тебе за красоту?

Черт подумал и ответил:

– Какие нравятся, а какие нет.

– А слышал ли ты, чтобы для красоты были правила?

– Какие-то, говорят, есть.

– Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии какие-то правила, сотворить красоту?

– Какой у меня талант? Нет, не могу.

– А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький, для добра-то таланта требуется еще больше, да. Тут такой талант нужен!

Черт даже засвистал:

– Вот оно что! Нет, святой отец, это вы уж через край хватили! Если я плохую картинку напишу, меня за это в ад не пошлют, а если я ближнему голову сверну, так ведь какой содом подымется! Да картинку-то меня никто писать и не понуждает, а добро, говорят, твори. Твори – а правил не дают; твори – а в чем дело,

не объясняют, да за каждую промашку в потылицу!

– Талант нужен, миленький!

– А если его у меня нет, так в ад мне и идти?

Поп покачал головою и руками развел:

– Уж и не знаю, голубчик, сам голову с тобою потерял.

– Знать не хочу вашего таланта! Правила мне давайте! Я не картинки писать хочу, а добро творить – вот вы меня и учите, хоть сами выдумайте, а учите!

Совсем разбушевался несчастный дьявол, под конец пригрозил даже пойти к другому попу. Старик даже обиделся и укоризненно сказал:

– Вот уж это нехорошо, дружок! Сколько я на тебя труда положил, вот, думал, приведу к богу новую овцу, полюбил тебя как сына, а ты хочешь к другому. У меня тоже самолюбие есть, за что же ты меня обижаешь? Ты меня лучше не обижай. А я тебе вместо правил, с которыми и человеку-то опасно, дам урок на каждый день. Времени у меня свободного много, и сяду я за труд: с самого раннего утра очерчу тебе каждый день, сколько их есть в году, что и как делать. Но только от писаного не отступай ни на единую черточку, а то ты сейчас же промахнешься; если же будут сомнения у тебя или что позабудешь, то в этих случаях бездействуй. Как бы тебе это сказать: закрой глаза, заткни уши и стой как истукан. Нынче же сажусь за работу, а ты иди наверх, приютись где-нибудь под крышей и бездействуй, пока не скажу. Если же скучно будет, то помогай звонарю – он совсем у меня от старости ослабел и не в те веревки дергает. Звони себе во славу господню!

Вот и сел старый поп за свой великий труд, а черт начал бездействовать. Для этой цели разыскал он среди темных чердачных переходов, поблизости от колокольни, комнату не комнату, а так, помещение: четыре стены глухих, вместо двери низкий сводчатый лаз, и только на одной стене, высоко над полом, светлело глубокое, запыленное, крытое паутиною оконце. Раз в два или в три дня приносил ему попик скудную пищу и присаживался для недолгой душевной беседы, а в остальное время, никого не видя, черт бездействовал и размышлял. Против этих размышлений напрасно предостерегал его попик, говоря, что у дьявола его размышления есть действие; и притом вредное, – черт хоть и соглашался, но ничего поделать с собою не мог. Трудно было не думать об испытанном, а как начнет думать, так и покажутся со всех сторон мутящие разум противоречия: скользит прекрасное добро, как тень от облачка над морской водою, видится, чувствуется, а в пальцы зажать нельзя. Кому же верить, как не богу, а сам бог нынче одно говорит, завтра другое, а то и сразу говорит и то и другое; в каждой руке у него по правде, и на каждом пальце по правде, и текут все правды, не смешиваясь, но и не соединяясь, противореча, но где-то такое в своем противоречии странно примиряясь. Но где? – не может найти этого места несчастный черт. И от этого овладевает им крайний человеческий ужас, и страшно не только двинуть рукою, да и вздохнуть-то страшно.

– Ну как, – спрашивает попик, – соскучился? Ничего не поделаешь, потерпи, миленький, скоро авось и кончу, тогда вот как заживешь. Здоровье у меня только плохое, и смерть близко – ну, уж как-нибудь доведу, не оставлю тебя, сирого.

Черт еле слышно шепчет:

– Противоречия.

– Опять! – ужасается попик. – И где ты их только находишь? Это в разуме, брат, да в словах всякие противоречия, так на то он и разум, и не может без того, чтобы все четыре колеса не в одну сторону вертелись; а в совести, брат, все течет согласно.

Черт криво усмехнулся:

– Хорошо вы говорите, святой отец: так, значит, не бывает, что три колеса в одну сторону вертятся, а четвертое в другую?

– Ну и дурень! Конечно, не бывает.

– А вы говорите, что бывает.

– Я говорю? Да что ты на меня, миленький, валишь? Сам запутался, а на меня валишь. У меня и то после каждого разговора с тобою голова болит, а мне голова нужна, я для тебя же, дурака, работу сочиняю. Какой ты, брат, неприятный, как бы это сказать, господин. Лучше скажи-ка: строго бездействуешь или допускаешь послабления?

Черт угрюмо вздохнул.

– Строго. Вчера вот только муху убил, очень она на лицо липла, и не знаю, можно это или нельзя?

– Муху-то? – засмеялся попик. – Муху можно! Постой... Ну, вот и опять сбил ты меня, несчастный: то ли можно, то ли нет – теперь уж и сам не знаю. Не взыщи, брат: сам меня запутал. Пока ты меня не спрашивал об мухе – знал я хорошо, что бить их можно, и неоднократно бил, а вот теперь...

– Живая она, – мрачно сказал черт.

– Да, да, живая! – огорчился попик. – Так и я, значит, живых мух бил? Вот грешник! Ай-ай-ай, вот грешник!

Но черту этого мало. Ему нужны вывод и твердое решение.

– Значит, нельзя мух бить? Вы прямо скажите.

– Мух-то? – недоумевает попик. – Ты про мух говоришь?

И до того, случалось, они договорятся, что оба впадут в полное одурение и долго, не мигая, смотрят друг на друга. Но только у черта одурение было надменное и как бы снисходительное, а у попа тихое и скоропреходящее: еще до своей келейки после разговоров не успеет дойти, как все противоречия забыл, развеселился, а потом в благостном настроении уселся за тяжелую для дьявола работу. И мух опять бьет, и даже не без злорадства.

Но что за мухи для дьявола! Стоит он со своею непомерною дьявольскою силой, готовый сокрушить горы, и не знает, как поступить с ничтожной мухой, надоедливо ползающей по мрачному, изборожденному лицу, еще хранящему темный отблеск адских неугасимых огней. Что за муки для дьявола! Тонкий ум, изощренный в упражнениях, способный одним колебанием своим создать как бы новый, великий мир, в ужасном бессилии останавливается перед ничтожнейшим вопросом. А муха ползает, а муха надоедливо жужжит, забирается в волосатое ухо, глупо и нагло щекочет мрачно стиснутые губы, бесстыжая, нелепая, даже не подозревающая о тех страшных безднах, над которыми издевается бессмысленно! Многих и многого ненавидел дьявол; много и многого он страшился, но так и не узнала его душа образа более ненавистного и страшного, нежели образ ничтожной мухи, ползающей по лицу.

Но все хуже здоровье попа, одолевает его белая старость. Попишет немного и полежит, и больше лежит, чем работает, а уже три года томится заключенный в бездействие дьявол и ждет обещанного добра. Поняв свою выгоду, уже не тревожит попа противоречиями, а только жалобно торопит:

– Ах, поскорей бы, святой отец!

– Не бойсь, миленький, не умру, – успокаивает его попик. – По моему расчету, мне еще с полгодика осталось. Да, брат, с полгодика! А работа уже к концу подходит. Не пугайся, не волнуй себя. А я тебя

сегодня как раз порадовать пришел: нынче одного еретика жечь будут, так пойдем с тобою, посмотрим, повеселимся.

«Сказано: не убий», – мрачно подумал черт, глядя на улыбающегося попа, но вслух ничего не сказал и охотно собрался в путь, так как очень соскучился от долгого заключения.

Еретика долго жгли, и народ радовался. Приятно было и черту: немного напоминало ад; но вдруг вспомнилась муха, которой он не смел тронуть, и сразу затрещали в голове противоречия. Взглянул с тоскою на попа: тот покачивается от слабости, от волнения бледен, дрожат старческие руки, на голубеньких глазах слезы, а весь лик радостен и светится неземным светом. Жгли в аду и черти, но не было же святости в их лице! Ничего не может понять обезумевший дьявол. А попик-то радуется, даже светится весь! И от волнения, как только домой пришли, в постель слег, ослабел очень от радости. Не выдержал черт и, насупившись, вступил в диспут:

- Хотел бы я знать, чему вы радуетесь, святой отец?
- А как же? Еретичка сожгли! – ответил попик тихо и умильно.
- Так ведь сказано же: не убий! А вы человека убили и радуетесь.
- Никто его не убивал, что ты, миленький!
- Да ведь сожгли же его или нет?
- Слава богу, сожгли, сожгли, миленький!

Даже глаза закрыл от умиления и лежит себе, такой беленький, чистенький, невинный, как младенец. «Неужто и здесь противоречие только в разуме да словах, а в совести его все течет согласно? – думал дьявол, беспомощно потирая рукой шишковатый лоб. – Ничего не понимаю! Видно, не в том добро, что делать, а в том, как делать... Нет, ничего я не понимаю, пусть он пишет свои уроки, а я уж до времени притаюсь, пальцем не шевельну!»

И с того времени в одиночество свое уже не возвращался, а остался при ослабевшем старце в качестве прислужника: подавал ему пищу, убирал келейку и с дьявольской силой и упоением чистил старое попиково платье, будучи уверен, что уже здесь-то наверное греха нет. Когда же, преодолевая слабость, садился поп за продолжение своего труда, черт вытягивал свою длинную, жилистую шею и через плечо с жадным любопытством заглядывал: ох, не промахнуться бы попу! Ох, не подвести бы ему несчастного черта: ведь последняя надежда.

Но вот и кончена рукопись, а с нею как будто кончена и жизнь старенького попа. Уже не поднимается он с постели и последние строки начертал лежа: неразборчивы они и кривы, но тем дороги, что последние. На коленях принял черт великий дар и громко, с истинным наслаждением поцеловал сухую руку.

– Что, рад небось? – спросил попик. – Ну, радуйся, радуйся, давно пора. Только смотри, опять не промахнись!

– Теперь не промахнусь, – уверенно ответил черт. – Если только вы там в чем-нибудь не промахнулись, но это уж ваше дело; а я буду исполнять точно, как сказано.

– Черт ты старательный, это верно. И рукопись смотри не потеряй, другой не будет. Где ты думаешь подвизаться? Если поблизости, то загляни как-нибудь, навести, мне без тебя будет скучно. Привык я к тебе, дружок. Прежде я все твоему носу удивлялся, а теперь, знаешь ли, мне даже и нос твой нравится. Это ничего, что он отвислый: у многих людей бывают отвислые носы. Так где же ты думаешь подвизаться?

– Пойду по всему миру! – самонадеянно ответил черт. – Эх, пожил бы вы еще с полгодика – много тогда хорошего рассказал бы я вам, святой отец! Вот до чего я хочу творить добро, – черт сжал огромные

кулаки и яростно потряс ими, – что это только видеть надо, как я начну работать!

Так и ушел черт в ликование, но вот что дальше случилось. Вместо того чтобы сразу начать действовать по наставлениям, что, конечно, было бы самое лучшее, он отправился в ад для проповеди. Потерял ли он соображение от радости, гордыня ли его обуяла и захотелось похвастаться перед своими, или просто потянуло его к родным местам – но только от попики прямою дорогою, мимо, не колеблясь полетел он в ад. И что же вышло? Только начал он проповедовать, а другие черти выскакивают вперед его и тоже проповедуют и даже с еще большей силой, так как свободно лгут. И в одно мгновение вся правда превратилась в ложь, и самые святыя слова, яростно выкликаемые чертовскими глотками, приняли непристойный и страшный вид. Минуты, кажется, не прошло, а уж весь ад наполнился проповедниками и святыми; и впереди всех, обрадованный новой потехой, гнусавил псалмы вдребезги пьяный сатана. Визгливые истасканные ведьмы разыгрывали целые комедии на тему о благочестии и высоких подвигах; и никогда еще ад, даже в большие свои праздники, не был таким адом, как в этот несчастный день! А потом начались откровенные непристойности и всеобщая драка – и больше всего попало Носачу, давно не упражнявшемуся и в значительной степени потерявшему ловкость. Но что самое печальное – в драке у него порвали рукопись, и когда, отбившись от стаи шаловливых ведьм, он взглянул на свое сокровище – горю и стенаниям его не было предела. В ярости он оскорбил самого сатану, назвал его лжецом и еле унес ноги: так разгневался пьяный оклеветанный владыка!

Со всею прытью, какая только доступна была его старым ногам, прижимая к груди истерзанную рукопись, примчался Носач к старенькому попику, но – увы! – попик уже умирал.

– Да погодите же минутку – у меня рукопись порвали, – завопил черт, падая на колени.

3

Еще с добрый десяток минут, не сообразившись, вопил черт, и жаловался, и требовал новой рукописи взамен попорченной, потом стих и, бережно отложив рукопись, сам опустился на пол у поповской постели. После долгого молчания разжал попик сухие, запавшие губы, бессильно пожевал ими и с трудом вымолвил:

– Опять промахнулся?

Черт мрачно взглянул на истерзанную рукопись и великодушно солгал:

– Так, пустяки, святой отец. Мне вас жалко: вы и вправду умираете или еще с полгодика поживете?

Попик ответил:

– Ни единого даже дня, дружок. Я уже вчера собрался умереть, да думаю: дай подожду денек – авось и ты придешь. Вот ты и пришел! Спасибо тебе, дружок. Открой мне, пожалуйста, занавес на окне: хочу я последним взглядом проститься с дорогими местами.

Но в открытое окно только и видно было, что угол крыши, крытый красной черепицей, да уголок синего неба с проходящим облаком. Попик смотрит с радостью, а черт думает: «На что он смотрит?.. Тут и смотреть не на что: красная крыша да неба кусочек... Или он на облачко смотрит? Так понесу же я его на колокольню и покажу ему все облака, какие будут, и все красные крыши его возлюбленной Флоренции».

Так и сделал. Даже не спрашиваясь, подхватил он на свои жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее сопротивления, и с величайшей осторожностью донес до высокой площадки, где дух захватывало от высоты и сердце радовалось красоте города и божьего мира.

– Смотрите-ка, святой отец: это не то, что из окошка, – сказал он с гордостью.

И оба стали смотреть и радоваться. А уже близилось к закату солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы, готовые своими острыми вершинами как бы пронзить падающее светило. На востоке же, откуда сегодня утром поднялось ликующее солнце, воздушной цепью залегли недалекие горы; и мнилось, будто гигантскими гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан прекрасный город. Розовыми цветочками казались далекие виллы, расположенные по склонам, и в ущельях прохладно синела вечерняя тень.

Попик тихо радовался и вспоминал:

– Вот за теми горами я родился, дружок. Там и сейчас находится моя деревня; там была прекрасная девушка, которую я полюбил и оставил для бога. И долго не было для меня иной радости, как смотреть на те далекие горы и тихо вздыхать. Давно это было, дружок, не помню когда.

Солнце заходило.

– А вот и милый город, по которому я ходил, много ходил. И нет, дружок, более приятного чувства, как ощущать под ногою горячие родные плиты, – как бы матерью становится земля, когда походишь по ней лет семьдесят, и смягчается твердость острого камня. Но там, куда я пойду сейчас, будет еще лучше, дружок.

Черт вздохнул, колебанием груди своей приподняв легонькое тело. Попик понял его тоску и сказал гаснущим голосом:

– Ты... не вздыхай. Очень возможно, дружок, что ты также пойдешь со мною в рай. Ты... черт старательный.

Красною, жаркою кровью разбрызгалось солнце за черными кипарисами и погасло. И, не отстав от него ни на единое мгновение, умер старенький попик, ушел из родного города, покинул родимую прекрасную землю. Долго и напрасно будил его встревоженный черт, взывал грубым голосом:

– А звезды-то! Вы еще звезд не посмотрели, святой отец. Вы еще на луну не взглянули, а уже идет она, святой отец, поднимается, вот-вот бледным светом ляжет на ваши родные плиты. Откройте же глаза, святой отец, и взгляните, умоляю вас!

Когда же убедился, что покровитель его и друг умер навсегда, то отнес его и положил на холодную постель. И когда нес по лестнице, то думал: «Вот вверх я нес живого, а вниз несу мертвого!» И великая скорбь овладела душой дьявола: метался он по комнате, и вопил, выл, как зверь, бился о стены, – не привык он к человеческому горю и не умел выражать его тихо. И до того дошел, что, схватив свое единственное сокровище, цель долгих поисков и страданий – изорванную рукопись, – с яростью швырнул ее в угол как нечто негодное. Сделав же это, так и не понял, что именно в эту самую минуту им и совершалось то самое таинственное и недостижимое добро, имени которого он столь тщетно и мучительно доискивался. Так и не понял никогда!

* * *

Но какой неприятный вид имела драгоценная рукопись! Измятая, оборванная, растрепанная, испятнанная потными лапами чертей, лежала она перед угрюмыми глазами постаревшего дьявола, вновь вернувшегося к своим стремлениям и надеждам. С трепетом раскрыл он первую страницу и надолго погрузился в изучение добродушно-неразборчивых, старательных строк. И по мере того, как читал, все больше таращил глаза, пугался, недоумевал, пока, наконец, с последнею страницей весь не превратился в одно сплошное недоумение и страх. Даже в самые тяжелые минуты жизни черт не имел такого растерянного и глупого вида, как теперь.

Что это – глумление? Насмешка над добром? Издевательство над бедным чертом, стремящимся к добродетели? Или же потерял свой последний разум старенький попик и с детской серьезностью лепечет наивные пустяки, придает характер важности ничтожным мелочам, путается в них, как в длинном, не по росту, платье? Но черт обманут – черт в неистовстве и страхе: потеряна последняя надежда.

Вся книга, с начала своего до последней оборванной страницы, состояла из коротеньких деловых рецептов, точнейшего описания тех действий, которые надо совершать по дням недели, по часам дня. И ни единого закона, ни единого правила, ни единого общего начала, – даже самое слово «добро» не упоминалось ни разу. Делай то-то (точное описание поступка) – и больше ничего. Что-то вроде нынешних поваренных книг, с тою только разницей, что даже и в поваренных книгах у составителей их видно иногда старание дать общее начало: ешь только овощи, а мяса ни в каком случае не ешь! А тут – ничего.

И что особенно и больно укололо черта: во всей книге не было ни одной из тех прекрасных истин, что в таком огромном количестве собраны за тысячи лет существования человеческого разума и служат к украшению и прославлению добра. Он сам знал их немало и мог, казалось бы, ожидать, что старенький поп не поскупится на этот предмет, – не даром же он столько учился и так прекрасно чувствовал добро. Но нет ничего! Сухой перечень голых действий, иногда тщательно зализанная клякса, свидетельствующая только о трудолюбии писавшего, – и все.

Но вдруг появилась надежда: может быть, попик нарочно не сделал общих выводов, предоставляя это уму и трудолюбию самого черта, – о, он был достаточно хитер, этот старый, невинный попик! И снова садится старый черт за работу и взглядывается в каждое слово сквозь круглые огромные очки, выписывает, сверяет, грубыми пальцами ловит тонкую нить неназванного добра. Обрывается нитка – но что до того

старательному черту, возлюбившему добро! Отыскивает концы, вяжет хитрые узелки, путает и распутывает, складывает и вычитает, – вот-вот доберется до итогов, твердо и на все времена и для всех людей, какие были, есть и будут, установит неизменные начала добра. Черт не честолобив, сейчас ему дело только до своей шкуры, но минутами овладевает им истома гордости: не для всех лиц, ищущих добра, работает он так неутомимо, не ему ли некогда воздвигнется новый и великолепный храм?

Какими же словами можно описать отчаяние и последний ужас несчастного дьявола, когда, подведя последние итоги, не только не нашел в них ожидаемых твердых правил, а наоборот, и последние утратил в смуте жесточайших противоречий. Подумать только, какие оказались итоги:

когда надо – не убий; а когда надо – убий;

когда надо – скажи правду; а когда надо – солги;

когда надо – отдай; а когда надо – сам возьми, даже отними;

когда надо – прелюбы не сотвори; а когда надо – то и прелюбы сотвори (и это советовал старенький поп!);

когда надо – жены ближнего не пожелай; а когда надо – то и жену ближнего пожелай, и вола его, и раба его.

И так до самого конца: когда надо... а когда надо, – и наоборот, не было, кажется, ни одного действия, строго предписанного попиком, которое через несколько страниц не встречало бы действия противоположного, столь же строго предначертанного к исполнению; и пока шла речь о действиях, все как будто шло согласно и противоречий даже не замечалось, а как начнет дьявол делать из действия правило – сейчас же ложь, противоречия, воистину безумная смута. И самое страшное и непонятное для дьявола было то, что наряду с действиями положительными, согласными с известным уже дьяволу законом и, стало быть, добрыми, – старый попик с блаженным спокойствием предписывал убийство и ложь. Черт никак не мог допустить, что не попик его обманывал, а обманывают слова; и вот наступил для него миг совершенного безумия, – вдруг показалось, что старый попик есть не кто иной, как самый величайший грешник, быть может, сам сатана, в виде сатанинской забавы пожелавший искутить черта.

Забившись в темный угол, черт горящими глазами глядел на дверь и думал:

«Да, да, это он! Он узнал, что я хочу добра, и нарочно оделся попом и даже богом, как я оделся человеком, – и погубил меня. Никогда не узнаю я правды и никогда не пойму, что такое добро. Быть же мне вовеки несчастным и в жажде добра вовеки неудовлетворенным. Проклят я вовеки».

И все ждал, что раскроется дверь, и покажется смеющийся сатана, и, простив, позовет его в ад. Но не приходил сатана, и дверь молчала; и, подумав, так решил несчастный старый черт:

«Буду жить в отчаянии и творить предписанное, никогда не зная, что я такое творю. Проклят я вовеки!»

Так и жил черт, стареясь. Когда требовалось рукописью – спасал, а когда требовалось убивать – убивал. И было ли противоречие только в словах, а в действиях все уживалось согласно, но постепенно наступил для черта покой, и почувствовал он даже как бы некоторое удовлетворение. И хоть и верил твердо, что проклят вовеки, но настоящего живого огорчения от этого не испытывал; и о добре перестал думать. Но были для него и черные дни, – обрывалась рукопись, и в зияющей пустоте вставал ужасный образ бездействия; и поднимали голову ядовитые сомнения и, как призрак манящий, звало в неведомую даль неведомое Добро.

Тогда удалялся черт в свой темный чердачный угол и там застывал в бездействии. Заложив уши, чтобы ничего не слышать, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, стоял он, черный, подобно истукану; и

были крепко сложены на груди жилистые руки, способные сокрушить горы и обреченные на бездействие. Стар уж он был в это время: завивали голову космы седых волос, лезли из широких ноздрей, мшистым кровом крыли и лицо, и грудь, и застывшие руки; и, увидя его, не подумал бы ты, что это некто живой, обреченный на страдания, а сказал бы: вот и еще одна старая колонна в храме, которой я раньше не заметил. Ползали по лицу его мухи, серая пыль ложилась на голову, и пауки неторопливо плели на нем свои тенета, – и время стояло неподвижно, как проклятое.

...Кто не любит добра?

1911 г.

Он

Рассказ неизвестного

1

Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа – еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, – я уже имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне, как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром получать пятьдесят рублей в месяц.

– А море вы любите? – спросил меня Норден («господин» я не буду прибавлять в рассказе).

Я мог только пробормотать:

– Море? О господи...

Он даже засмеялся:

– Ну, конечно, кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море... немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться, и улыбаться. Вы будете довольны.

Ну еще бы! Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил:

– В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка, Елена. Пять лет тому назад.

На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка – говорит о смерти дочери, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии; в другое время я несколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы.

Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Нордена, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевой студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и несколько не шуточных формах.

Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Нордена. Только шаг за шагом проникая в тайники этого

странного дома и этой странной семьи, – вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом.

Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приبلудному студенту, гольтепе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды.. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан; было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу; и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев⁷ – слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, – что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.

Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках.

Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся – я не мог понять, отчего он смеется, – осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал:

– А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.

И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей, – но мне не понравилось и это.

Разве только и есть следы, что от ног? Ребенок мог забыть игрушку – дети всегда разбрасывают игрушки, рабочий мог оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забывал, никто ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувшиеся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию, – но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все было пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они – эти темные воспоминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.

И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде событий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего – в прячущегося, из преследователя – в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам – у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность, – заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод, и когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспросветных потемок, я

смеялся над вымыслами своими; но вот шли туманы с моря, низко опускалось, придушая свет, тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.

Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада, не указал мне на груды камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились, несколько нарушая правильность формы: быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания.

– Видите пирамиду? – сказал Норден. – Хотя и меньше Хеопса, но все же пирамида.

Он засмеялся – чему он постоянно смеялся? – и продолжал:

– Здесь я хотел построить церковь в норманнском стиле. Вы любите норманнский стиль? Но мне не позволили... такая узость взглядов!

Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив. Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и охотно пояснил:

– Как раз на этом месте был найден труп моей дочери, Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил.

– Как же это случилось?

– А как тонут молодые люди? – улыбнулся Норден. – Поехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку перевернуло... как это обычно случается?..

Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно поблескивала – просвечивало дно.

– Здесь очень мелко, – сказал я.

– А она уехала далеко.

– А зачем она уехала далеко?

– А зачем молодые люди уезжают далеко? – засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. – У меня есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а весной снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?

– А ту лодку тоже прибило на берег?

Норден сперва не понял:

– Какую ту лодку? Ах да, ту? Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать: прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.

После этого разговора, открывшего, как мне казалось, многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда головой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдирающий следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которой утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям?

Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море – мне показалось, что оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было...

2

Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей.

По утрам я занимался с Володей. Это был благонравный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирает ног на стол, как другие мои ученики, не ковыряет в носу, не пачкает бумаги и стола и не делает мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне или только притворялся, что верит, – но было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов над столом появлялась его стриженная светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два больших, светлых, широко расставленных глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-либо из моих учеников, настолько мало, что как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно исполняющий обязанности ребенка, – он и шалил, но только по приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости. Ибо у других двух детей – мальчика семи лет и девочки пяти – он ничему научиться не мог: они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом.

Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гулял он отвратительно деланно, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонравного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По-видимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание и он плакал – сидел один и плакал. Но как только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность.

– Ты ушибся, Володя?

– Да, немножко.

– Отчего же ты не плачешь?

Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:

– Я уже плакал.

Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже добавил: «Благодарю вас!» – так был вежлив этот странный и жалкий человечек.

Весь день я был свободен: гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей

комнате: все свои книги, а их было множество, Норден любезно предоставил в мое распоряжение, и это вначале было одной из величайших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Иногда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позволил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие диваны, большие столы, заваленные журналами, множество книг в дорогих переплетах, тишина, как в Публичной библиотеке, – комната находилась во втором этаже, и никакой шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам Норден, заставляя собак лаять, детей танцевать и петь, и всех, у которых был рот, – хохотать.

Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Гостей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появлялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал его Норден; кажется, это был управляющий его имением не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись – трудно сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало, – тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно расспрашивал:

– Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным? Но ведь это же очень остроумно.

И объяснял, почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал волноваться, настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла; и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни прохихотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать, как все, – помню до сих пор тот конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело.

В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но однажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия – я всегда путаю эти приличия, – спросил:

– Кто это играет?

Норден весело ответил:

– Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите, если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.

Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспокоиться.

– Удивительно играет, – повторил он, отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побежал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы весело кричал:

– Дети! Мисс Молль! Приготовьтесь, мама хочет, чтобы вы веселились.

Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорожно-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил:

– Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаровательный танец, его сейчас танцует вся Европа.

И весело закричал:

– Танцирен, мейне киндер, танцирен. Мисс Молль!

И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренно весела и смеялась от всей своей маленькой души. Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня:

– А что же вы, что же вы?

Потом остановился и начал упрашивать:

– Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите всем нам огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас очень быстро научит.

Но танцевать я отказался наотрез. Когда раскрасневшихся детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь, сказал:

– Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?

С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху, иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него там были какие-то большие дела, но ненадолго – на день, на два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое делается с женою Нордена, – теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей, но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несомненно, лжив.

– Ну что, как мама сегодня? – спросил я его. – Вы были у нее сегодня.

– Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познакомиться.

– Она очень больна?

– Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант.

– А часто она плачет? – резко спросил я.

– Мама? – удивился Володя. – Нет, она никогда не плачет.

– Смеется? – сердито усмехнулся я.

– А разве смеяться нехорошо? – виновато спросил почтительнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции, засмеяться или загрустить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили.

Как-то ночью, вернее, на рассвете – те трое уже скребли железом, сдирая следы, – в доме случился переполох, связанный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши. Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или боли, в доме забежали огни, и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил:

– Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло.

Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на газоне и обвивал себя свистом и дикой песнью – но ставни все были целы, я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые

увидел и его жену: я поднял глаза к ее окнам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом, в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью – я теперь иногда становился дерзким с Норденом – я спросил, сколько лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.

3

Мой дневник, который я вел у Нордена, кем – то украден: по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. Кто бы ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, отпечатленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.

Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта, – и серой, бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так малоподвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень, и это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, не ощущаемых вблизи, но всю даль крывших безразличной мглой и полдень превращавших в серые сумерки; и вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материи песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях, и, когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю.

Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее – грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности песка я начертил чистое имя *Елена*, и маленькие буквы имели вид гигантских иероглифов, взывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида – по случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.

– Зачем вы здесь поселились? – в тот же вечер дерзко я спросил Нордена. – Здесь ужасно скучное море!

Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна.

– Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас.

Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование тоски и страха, опасный и смертельный яд, – от которого надо бежать... но разве поймет это Норден – он уже рассказывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим глаз на глаз и смеемся – боже мой, как это было глупо и унижительно!

Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал в тоскливом, без сновидений сне, а пятого декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй,

пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в строгой последовательности их можно если не объяснить, то понять чувство нестерпимого, под конец болезненного страха, постепенно овладевавшее мной.

Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило в себе все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Нордена и меня, дотоле постороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот.

Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и когда после занятий с Володией я вышел наружу – было тихо, мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная, исковерканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегодня все было ровно, не было никаких границ, малейших задержек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок, а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, которая является у людей перед всякой ровной нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу:

Елена.

Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами... Нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педелю. А сам Норден представился просто чудачком, правда, неприятным, почему-то несчастным, но безобидным и во всяком случае чужим: заработаю денег, а там уеду, пусть живут как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют.

«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» – весело думал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепанный. И это было так приятно: оставлять след и помнить завтра, что сегодня я здесь шагал; и еще, быть может, много дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыден: в холодной ласке спокойного снега исчезли отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие деревянные футляры, которыми Норден одел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерванное воскресение мертвых», – подумал я, с недоброжелательством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практической и веселой выдумкой.

Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних комнатах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но читать не хотелось – было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная

г-жа Норден. Двери были открыты; торопливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею вниз – про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью, находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но одна не подавалась – так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право!

Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась все глубже, проникала во все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького защищенного крытого уголка.

Вечером по обыкновению я занимался в своей комнате, писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за окном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно белела ночь, – по-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто – то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.

Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две стены здания и окна были довольно низко над землею: ничего не стоило, поднявшись на носки или просто будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом», – подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску... Да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу – та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.

– Что вам надо? – негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.

И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну погоди же, – подумал я сердито. – Я тебя поймаю!» Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить – медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямые и необыкновенно широкие и что на голове у него невысокий котелок, но вообще в нем не было ничего необыкновенного и странного – разве только загадочность появления среди ночи под чужим окном. На всякий случай я решил выйти наружу и посмотреть, но, пока я одевался, решение мое ослабело, и я остался, думая с притворным равнодушием: «Завтра узнаю, в чем дело».

Утром я расспросил прислугу и домашних: оказалось, никто в течение ночи не приезжал, никого не видали, кто был бы похож на моего незнакомца. При расспросах моих дворник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и некоторую тревогу; еще раз заставив повторить рассказ о появлении незнакомца и под конец сразу успокоившись, решительно заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал впоследствии, в доме многие боялись призрака, но все почему-то были убеждены, что таким призраком является утонувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, неглубокий и несерьезный, носил все признаки тех поверий, что роятся в несчастных домах,

возбуждающих мнительность и любопытство.

Ничего не добившись, я пошел заглянуть на мое окно, в надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случившегося, — но то, что я увидел и заметил, меня крайне смутило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было никаких следов — это первое, что бросилось мне в глаза; далее, я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превышающей обычного человеческого роста: в действительности я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост имею выше среднего. Это обстоятельство имело для меня особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышался над подоконником по грудь, другими словами: либо он был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого роста, либо висел в воздухе, как... галлюцинация. Да, галлюцинация — вот что я подумал в конце моих наблюдений и вот что так неприятно меня взволновало.

И объяснение это было довольно правдоподобное: то напряженное внимание и беспокойство, с которым я приглядывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных и мрачных чудес, пошатнули-таки мою нервную систему и подарили меня чудом, естественным, которое осталось на долю нашего скептического и образованного века. Да, несомненно, это была галлюцинация... если только это не был случайный прохожий, или какой-нибудь безумец, или... Но как же тогда следы? Но если это действительно галлюцинация, то почему же я чувствую себя таким здоровым, крепким, нисколько не нервным, все предметы вижу с полной отчетливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тревога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда, довольно мрачную, но простую и обыденную и никакого отношения к моим догадкам не имеющую? Как и многие в доме, я скорее ожидал бы увидеть *Елену*, но этот молчаливый господин в котелке — какое мне дело до его котелка!

Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успокоился легко и быстро: чувство здоровья давало мне уверенность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны ни подходить к явлению. По обычной колее прошел день, а к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты какого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружилась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезающимися от смеха глазами я взглянул в окно, мне показалось, что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательнее взгляделся: было темно и пусто за окном, да и никого там не могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился Норден:

— Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец? Этого не может быть, что бы вам не нравилось, — я буду жаловаться мисс Молль, и она вас накажет, как дурного мальчика. А! Вы уже испугались.

Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс Молль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо, в виде наказания, ударить ее рукою по моей руке. Но и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить: было и стыдно и противно, а то, что это только шутка, совершенно связывало меня и делало немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо лакея Ивана, а через минуту и он, во фраке, как был, и в белых перчатках, также стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а танцую и кружась перед темными бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я? что со мною?

Долго еще не мог успокоиться Норден и, когда дети уже ушли спать, все еще держал меня в столовой

и по мелочам перебирал все воспоминания вечера: как кружилась мисс Молль и как вертелся Володя, как это было смешно, когда они все встали на колени упрашивать меня. И, доверчиво касаясь моего колена своею выхоленной барской рукою, близко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не успел ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно:

– Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как это, наконец, культурно! Да, культурно. Мы живем в глуши, в деревне, вокруг нас сейчас на десять километров нет ни единого огонька, а в ту сторону – он протянул руку по направлению к морю, – может быть, и на сотни километров, и что же мы делаем, однако! Мы смеемся. И еще что мы делаем! Мы танцуем! Мои друзья в Петербурге спрашивают меня, как я могу жить в таком уединении и не скучать? Да, но если б они видели наш сегодняшний день!

Он расхохотался и, трепля меня рукою по колену, хохотал очень долго, что-то очень долго, невыносимо долго. И пошел радоваться дальше:

– Да, если б они видели – они все бы приехали сюда, чтобы танцевать с нами! Но позвольте: почему же нам этого не устроить? Да, да, вот мысль! Вот блестящая мысль!

Он в волнении заходил по комнате, утрированно изображая человека, осененного гениальной мыслью: прижимал пальцы ко лбу, разводил руками, поднимал вверх глаза.

– А сегодня ночью...

Но он перебил меня:

– Да, да, конечно: мы позовем пятьдесят, сто человек, и мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культурно!..

– А сегодня ночью...

Норден быстро обернулся и продолжительно, не улыбаясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что не в силах произнести слово, – точно замок железный повис у меня на губах.

– Вы хотели сказать?.. – вежливо наклонился он в мою сторону.

Но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал.

Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то разбудил меня громко прозвучавшими словами: пора вставать! Голос был так громок, что я даже привстал на постели, – но было в комнатке пусто и тихо, и дверь заперта, и я сразу понял, что это один из тех обманов слуха, что бывают у спящих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать дальше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном... Да, за окном по-вчерашнему стоял кто-то.

Это был он. Я погрозил ему пальцем, но, как и вчера, он ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле; и, вместо того чтобы испугать, это как-то странно успокоило меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать его, и опять при этой мысли, точно услышав ее, он повернулся от окна и не торопясь пошел вдоль дома. Одеваться? – Нет, не стоит, все равно не успею.

«Если только это... если только это, то, пожалуй, это уж и не так страшно!» – подумал я, укрываясь одеялом, почти веселый от сознания, что на сегодня все кончилось.

Но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение одной ноги к другой причиняло почти боль: казалось, что это не мои, а чьи-то другие, ледяные ноги лежат под одеялом. И понемногу я весь начал дрожать мелкой дрожью, как от лихорадочного озноба.

4

В следующую затем ночь, седьмого декабря, я лег спать одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схватить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения неприятной и странной загадки. Чувства страха я не испытывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не дали мне уснуть; однако ожидание мое было бесплодно, и ни единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие две ночи: никто не являлся, и с необыкновенной легкостью, удивительной при данных обстоятельствах, я почти совсем забыл о своем странном посетителе; редкие попытки вспомнить создавали почти болезненное чувство – так упорно отказывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и спокойный, как всегда.

В субботу (Нордена снова не было: он уехал в город) я весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматривал заграничные, весьма ценные художественные альбомы и с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о способах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о времени, и когда заглянул на библиотечные, без боя, часы, было уже начало двенадцатого, а лег я в постель редко после одиннадцати. Я заторопился и, собирая свои листочки с заметками, равнодушно и случайно заглянул в темное окно: там, возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и смотрел в комнату. От неожиданности я выронил заметки и, нагнувшись, стал собирать их с ковра – не без надежды, что, когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет... Однако надежда моя не оправдалась.

Теперь при свете лампы, падавшем в окно, я смог довольно хорошо рассмотреть его лицо: спокойное и даже равнодушное, само по себе оно не было страшно. На вид ему было лет тридцать пять, черты лица крупные и правильные, ни бороды, ни усов, – лицо даже лоснилось, как будто от тщательного и недавнего бритья; только одного я не мог рассмотреть – его глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать: он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения; и впечатление от него было ужасно. Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня? Эта мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернула мне силы: он показался мне просто наглым негодяем, и, сделав шаг к окну, я что-то угрожающе крикнул. И как тогда, у окна моей комнаты, он медленно повернулся и отошел, сразу пропав в темноте ночи.

Я засмеялся и, возбужденно ходя по комнате, несколько раз громко повторил:

– Какой негодяй! Нет, только подумать, какой негодяй!

Продолжая возмущаться все более и более, я уже решил, несмотря на поздний час, разбудить лакея Ивана и работников и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уничтожила и ярость мою, и эти нелепые планы: я вдруг вспомнил, что библиотека, а следовательно, и окна ее находятся во втором этаже дома!

Этот вечер – в субботу, в библиотеке – стал началом дикого, лишнего цели и смысла, но упорного и систематического преследования. Я не могу точно восстановить в памяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная последовательность и даже осторожность в том, как он медленно и постепенно приближался ко мне, завладевал все новыми окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и упорным вездесущием. Недели полторы он приходил только ночью, потом вечером, потом в сумерки, – вернее сказать, начиная с сумерек, так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался.

Да и можно ли было называть посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном,

то за другим, к которому я переходил в стремлении избавиться от настойчивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел комнату с одной ее стороны на противоположную – и меня удивило, что он уже был там, успел обогнуть большое расстояние вокруг дома и уже снова поджидает меня.

По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал, и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами нелепого норденовского веселья. Почему в этом доме никогда громко не плакали и не капризничали дети? Только раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я услышал где-то близко плачущий голос самой маленькой: это было так необычно, так не в порядке дома, что я остановился и наконец открыл тихо дверь, за которой находилась девочка. К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитанника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голосом шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув тряпичные ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая маленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом.

– Тебя наказала мисс Молль? – спросил я девочку, наклонившись, но не смея повернуть ее к себе лицом: так почему-то неприкосновенна и страшна показалась мне печаль самой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить вопрос, пока не услышал тихого ответа:

– Нет. Я сама.

– Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по комнате.

Ответа не было, но кукла снова медленно сползла на пол, и вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, завиточки русых волос на затылке выразили колебание; и я уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом и уехать.

5

Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже немедленным, быть может, в этот же самый день, в ту же минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то сильнее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом, приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже вводило в круг таинственных и мрачных переживаний: у печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, думал ли я так или отыскал какие-нибудь лживые предлоги, но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий.

Возможно, что отчасти меня удержали наступившие прекрасные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные морозные туманы опушали инеем деревья, проволоку мимо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и прутик превращали в белый мохнатый отросток какого-то невиданного красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем, словно покрылся новой, белой листвою; и тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путанице. Но вот посмотришь еще – и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире. Это было прекрасно и необыкновенно, а когда еще солнечные желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную игру, тихо гасли, и вспыхивали, и терялись где-то в отдаленнейших переходах инея, глазам и душе становилось даже больно от красоты.

Во все эти дни он не появлялся, сам Норден с его смехом и анекдотами находился в городе, а без него некому было шуметь – и чувство тишины было так сильно, как будто во всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных, когда земля также переставала быть той, какой я всегда знал ее, когда также царила *тишина*. И каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего моря, к могильному холму, и смотрел на большие и глубокие буквы, выведенные в снегу и обозначающие чистое имя: *Елена*.

А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смотрел в окна, за которыми жила и томилась невидимая госпожа Норден, в надежде хоть мельком увидеть явившееся однажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у окна, и можно было подумать, что там нет живых и что совсем нет на свете никакой госпожи Норден, странной женщины с бледным лицом, о которой никто не говорит, – как нет на свете Елены. О ней не говорят, но ежедневно к ней водят детей, и редко – правда, очень редко – я слышу из своей комнаты, как в людской раздается нерешительный и слабый звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие звонки: это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к ней открывается, как всякая другая дверь, и навстречу горничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит тихим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное лицо. А горничная равнодушна, называет ее «барыня» и ничего не может рассказать о ней – или не хочет?

Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден, а вскоре затем круто изменилась погода, потемнели дни, повалил густой и словно серый снег и покрыл холодной и плотной пеленой начертанное имя *Елена*. И вместе с дурной погодой вернулся он, и в новую фазу вступили мои отношения с невыносимым посетителем.

Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака, когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна и смотрел в сад на падающий снег, когда появился *он*. Это было первый раз, когда он пришел днем и при посторонних. Стоял *он* в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном котелке его и

на плечах белел снег; я ясно видел две-три снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное платье и спокойно остались там. Но главное внимание мое обратил на себя Володя: его глаза сузились, и взор приобрел ту определенность, какую дает рассматривание близкого предмета; несомненно, Володя видел то же, что и я. Более того, когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть. Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и строго спросил:

– Вы видели его?

И он спокойно, как взрослый, солгал:

– Я не понимаю, про кого вы спрашиваете, и я не вижу ничего, кроме падающего снега. А разве вы видите что-нибудь еще?

– Да.

– Что же вы видите еще?

Я знал, что он будет лгать до конца, и бросил попытку узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Володей, а с его не менее лживым родителем, и так же, постояв несколько секунд на полном виду, отошел он и скрылся за углом. И так же следил за ним глазами г. Норден.

– Каково? – сказал я и с некоторым усилием засмеялся.

– Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем дело? – с видом искреннего удивления спросил меня Норден и осторожно коснулся рукой моего плеча.

Но ведь он же видел, видел, я это знаю!

– Вы видели?

– Нет.

– Нет, это неправда, самая форма вашего ответа показывает, что вы видели. Что это значит?

Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охваченный чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяния, я глупо крикнул:

– Я буду жаловаться!

– Жаловаться?

И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяческой выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось, стало внимательным и до приторности любезным; чуть не обнимая меня, – казалось, еще минута, и он осыплет меня поцелуями, – Норден забросал меня вопросами о причинах моего недовольства.

– Вас кто-нибудь оскорбил, быть может, прислуга? Но я не могу допустить этого в моем доме! Назовите имя виновного, и я немедленно... о, в этих случаях быть строгим даже культурно! Нет? Но тогда вы, вероятно, скучаете, – да, да, не отпирайтесь, я догадываюсь. Когда-то я также был молод... Ах, молодость, молодость!

Он еще долго болтал, и трудно было понять, насмехается ли он явно надо мною или же и сам хочет избавиться от беспокойства, – настойчивые просьбы быть веселым и сейчас, немедленно, начать смеяться временами переходили почти в угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, колоссально веселой елки, которую мы с завтрашнего же утра начнем готовить; сейчас же он закажет дерево – особенное, колоссальное дерево, сейчас же составит список покупок, сейчас же кто-то поедет в город...

Так нелепо кончился наш разговор. И последующие затем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душою, запестрели проблесками какой-то искусственно веселой суеты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, которые никого не веселят, громкого смеха, похожего на треск раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действительно очень большую ель, наполнившую комнату пряным, смолистым, немного похоронным запахом хвои, чадили восковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились; и я с мисс Молль и детьми что-то навешивал, лазал по лестнице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колючим, неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танцевали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые песни, и снова играла нам невидимая музыкантша.

А ночью происходило следующее. Разговор с Норденом, вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дела так, сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь, я лег спать в постель не раздеваясь и нетерпеливо ждал минуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие: в этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов был позвать своего странного и беспощадного преследователя. Но *он* медлил, и было уже около часа ночи, когда обычное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне, что *он* тут. Я быстро подошел к окну и отдернул занавеску: да, здесь. С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти, – и *он* также повернулся от окна. Шагая быстро, но осторожно и без шума, я прошел ощупью две темные комнаты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в прихожей; тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихожую от наружной двери. Железный засов был холоден и обжигал руки; в темноте, не имея возможности зажечь спичку, я довольно долго возился с ним, наконец распахнул дверь и решительно шагнул в темноту – и почти столкнулся с *ним*. Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной площадке всего в одном шаге от меня, был неподвижен и молчал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы так друг против друга; он не делал попыток войти, не двигался, но с каждым мгновением мне становилось все страшнее, – и, тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливостью закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно задвигал засов, мне почудилось, что *он* слабо тянет ручку двери к себе, но, несомненно, это было только воображение.

В темной прихожей было тепло и уютно и опять сильно пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою комнату.

6

Тогда меня еще не покинул разум; и наутро, после долгой и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происходящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуганного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я, под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в дальнейшем, еще не законченном убранстве елки и пошел пройтись по широкой, накатанной дороге, ведущей к станции. День был морозный и хмурый.

Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякий знает, что людей одиноких, несчастных, потрясенных внезапным горем или совершивших преступление посещают фантастические видения. Но я не совершал преступления, и не было у меня такого горя, и, что самое главное, непонятное, бессмысленное и нелепое: и никакой вообще связи с *моей жизнью* не имел и не мог иметь этот уличный и в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня у окон, полюбивший меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня? Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той печальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступлении, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуждое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляюсь в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу поехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репетитор в доме.

Я несколько раз вслух – на дороге не было никого – повторил, как заклинание, эту фразу: я только репетитор в доме; и она была настолько убедительна и ясна, что на мгновение даже явилось желание поговорить с призраком и объяснить ему, что он ошибается, что я – только репетитор в доме. Но разве с призраками говорят, разве им доказывают что-нибудь? Бессмыслица, бессмыслица!

И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном и том же порядке, что я мыслю по кругу, соответствующему бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том же месте, одним и тем же словом: бессмыслица. Надо сойти с круга, надо думать как-то иначе, но как? – я не знаю. А круг повторялся снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой линии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и силы; и тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака, нет, он как-то потерял значительность, а от того, что делается и что *может* делаться в бедной человеческой голове. Помню, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро зашагал домой: даже *это* казалось домом рядом с призраком пустоты, явившимся сознанию.

И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно; и что было совсем радостно и заставило меня смеяться: без меня приехали приглашенные на Рождество два студента, племянники Нордена, очень милые и очень вежливые молодые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Норденом они возились около елки, кончая ее убранство, и тут же были дети, а сверху звучала музыка, в этот раз также показавшаяся мне непритворно-веселой, – играла невидимая г-жа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню, что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пили вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже совсем по-настоящему танцевали, так как приехала какая-то толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками, очень веселыми и любезными. Забегая несколько вперед, упомяну, что в последующие дни приехало еще много гостей, приглашенных на Рождество, очень милых и приветливых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, исчезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, собственно, не знаю; и еще я должен указать на некоторый курьез памяти: я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные, очень ясно вижу до сих пор даже один генеральский мундир, но над ним настолько бессилен вызвать памятью хоть какое-нибудь лицо, словно

это не было настоящим и живым, а только вывеской у военного портного.

Возвращаясь к тому дню, когда приехали студенты и толстая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых я принимал самое оживленное участие и всех смешил своей неловкостью, у меня сильно кружилась голова; и, придя в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бросился на постель и тотчас же уснул. Проснулся я часа через два или три среди глубокой ночи: томила жажда и что-то еще другое, беспокойное и повелительное, звало меня проснуться и встать; было мертвенно-тихо в спящем доме, и за окном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял *он*. Помню, что я еще пожал плечами и не торопясь, но в то же время не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана воды и выпил. Но *он* не уходил. И, уже леденя от холода, словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи, совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой, весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медленно показал *ему* рукой на дверь и по-вчерашнему, в темноте, направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом в передней, и был холоден железный засов, долго не поддававшийся усилиям моих дрожащих слегка рук; и снова, как вчера, уже стоял на площадке *он* и молча ждал. Я также молчал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому звуку, нарушавшему безмолвие ночи; не знаю, сколько прошло времени, когда *он* вдруг шагнул в дверь, сильно толкнув меня плечом. Я последовал за ним и еще видел, когда *он* открывал дверь из передней в комнаты, его темный силуэт, мелькнувший на фоне далекого окна; и меня несколько не удивило, что *он* вошел в мою комнату – именно в мою комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой дверь, но дальше порога не двинулся: было очень темно, я не знал, где *он*, и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое, довольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумраком комнаты, я увидел темное, высокое неподвижное пятно у стены; если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я мог бы принять это пятно за какую-то мебель или грудку висящего платья. Дыхания не было слышно.

Времени прошло так много и неподвижность *его* была так ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг вперед, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна: на мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и чему-то за ней твердому, плечу или руке. Я отдернул пальцы и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше; наконец я пересилил сухость в горле и громко, хотя и хриплым голосом, сказал:

– Что вам надо? Я только репетитор в доме.

Но *он* молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы». Но все же я понял из его молчания, что мне надо ложиться в постель; и я сделал это, медленно и по порядку раздевшись под его невидимым в темноте, но угадываемым взглядом, – сидел я на своей кровати, сильно скрипевшей при моих движениях, что меня почему-то очень смущало. И уже ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил за дверь ботинок, но решил: теперь все равно. Лег я навзничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же минуту *он* сел – осторожно подвинув меня к стене – на край постели и положил свою руку мне на голову.

Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно: сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его, но дальше все: и сознание, и страх, и отрывочные мысли о происходящем – все погасло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все

образы, все мысли и воспоминания, и отошла молодость; погасли все желания, сама жизнь погасла, и было душе так больно, такая тоска овладела ею, для какой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Уже стало совсем неинтересно, что возле сидит он и держит на голове свою страшную руку; и медленно, тоскуя смертельно, тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов, какие полагает ограниченная действительность, – медленно я погрузился в сон без сновидений.

Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была пуста, и все было на своем месте, как всегда. В окно светило красноватое, морозное солнце; чувствовал я себя ни плохо, ни хорошо, а как-то пусто и плоско, и в зеркале, одеваясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо – серое и некрасивое лицо часто голодавшего человека, которого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда, но одно я знал твердо: что-то изменилось в мире, и прежнего, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет. Тут же, еще не выходя из комнаты, я сделал одно интересное и как-то тускло меня поразившее наблюдение: от недавнего страха перед загадочным призраком, терзавшего меня все это время, не осталось и следа. А выйдя в столовую, где уже собрались гости и Норден рассказывал при общем смехе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвращение ко всем этим людям. Настолько было велико отвращение, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я испытывал чисто физическое ощущение томительной, подступающей к горлу тошноты. Правда, в течение шумного и разнообразного дня чувство отвращения сгладилось, почти исчезло, но каждое следующее утро начиналось для меня томительной тошнотой, идущей за каждым крепким пожатием незнакомой руки.

В то же утро, возвратившись с прогулки, во время которой все мы под предводительством господина Нордена играли в снежки, я ушел на несколько минут в свою комнату и написал письмо товарищу-студенту, жившему в городе. Друзей в жизни у меня не было, и этот студент не был моим другом, но относился он ко мне лучше других, был добрый и хороший человек, всегда готовый помочь. Смысл письма и чувство, с которым я писал его, было то, что я нахожусь в ужасной опасности и он должен приехать и спасти меня; но выражено все это было в очень вялой форме, звучало скукой, почти равнодушием и едва ли достигло бы цели, пошли я письмо. Но почему-то я даже не послал его, и уже долго спустя, после выздоровления, я нашел его в кармане тужурки запечатанным и без адреса. Может быть, я тогда забыл адрес? – не знаю. Даты на письме нет; и вот что в нем написано: «Дорогой М. И., если вы не очень заняты, то приезжайте сюда. Здесь что-то происходит, и меня надо взять». И подпись.

И вообще надо думать, что с этого именно дня у меня началось то странное ослабление памяти, а временами почти полная потеря ее, вследствие которой на весь последний период моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица многочисленных гостей Нордена и вижу только платья без голов: как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и затанцевал платяной шкаф; но должен добавить, что и речей я не помню, ни одного слова, хотя знаю твердо, что все, и я с ними, очень много говорили, шутили и смеялись. Совершенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько времени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я покинул дом, – и иногда мне кажется, что прошло не менее нескольких недель, а иногда – что все совершилось в два-три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства и храню ощущение от того периода не беспамятства, а, наоборот, памяти твердой и сознания вполне ясного, как будто только теперь, после болезни, я забыл, что происходило, а тогда помнил все и все создавал.

Так, первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные часы, когда приходил *он* и клал мне на голову свою холодную и тяжелую руку. Эти посещения стали как бы порядком моей жизни и каждый раз происходили при одних и тех же обстоятельствах: с вечера, когда гости расходились по своим комнатам, я одетый бросался в постель и несколько часов спал; потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь и впускал *его*, уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в мою комнату, я раздевался и ложился навзничь под холодное одеяло, а *он* садился возле и клал мне на голову свою руку. И от руки исходили сон и тоска – сон и тоска. Страх перед незнакомцем совершенно исчез; правда, я никогда не пытался сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а от какого-то чувства ненужности всяких слов; и все делалось по виду так спокойно и просто, словно *он* не был величайшим злом и смертью моею, а простым, аккуратным, молчаливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккуратного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна.

А потом начиналось короткое утро, лишенное света, и долгий, шумный, беспорядочный и, по-видимому, веселый вечер – очень быстро, одно за другим. Не знаю, что сделали без меня с елкой, но с каждым вечером она горела все ярче и ярче, заливала светом потолок и стены, бросала в окна целые снопы ослепительного огня. И целый день с утра до ночи раздавался непрерывный смех Нордена и его приглашающий возглас:

– Танцирен! Танцирен!

Я не помню других голосов, но этот крик до сих пор стоит у меня в ушах, преследует меня во сне, врывается в глубину моих мыслей и разгоняет их. Покрывая музыку, смех, топот ног, весь тот шум, который

производят люди, собравшись для веселья, резкий, как голос попугая, он звучал во всех углах и становился невыносим. И иногда Норден кричал весело и шутливо, но часто – как мне помнится – голос становился хриплым, почти угрожающим; казалось порою, что и сам он устал, но уже не может остановиться и кричит с угрозой, почти со слезами:

– Танцирен! Танцирен!

Один такой случай я хорошо помню. Не знаю, почему вдруг смолкла музыка наверху и наступила тишина, необычайная для этого времени; не знаю, не обратил внимания, вероятно, что делали гости, собравшись у стены, залитой светом елки. Помню только самого Нордена. Вероятно, он был пьян, потому что и борода его, и волосы были в беспорядке, и выражение лица у него было дикое и странное. Он стоял посередине комнаты и, потрясая кулаками, яростно вопил:

– Танцирен!

И кому-то грозил. Дальше была снова музыка и танцы; и в этот, кажется, вечер, именно в этот, состоялся тот самый большой, даже грандиозный бал, от которого у меня в памяти сохранился образ множества движущихся людей и необыкновенно яркого света, похожего на свет пожара или тысячи смоляных бочек. Положительно невозможно, чтобы на балу присутствовали только обычные гости Нордена: людей было так много, что, вероятно, были и другие, только на этот вечер приглашенные гости, потом разъехавшиеся. И с этим же вечером у меня связано очень странное чувство – чувство близости *Елены*: словно и она присутствовала на балу. Очень возможно, что в саду и на дворе действительно горели смоляные бочки и что я случайно или умышленно пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная снегом пирамида, и долго думал там о Елене, но в тогдашнем состоянии моем вообразил себе иное – другого объяснения я не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близости *Елены* было и остается до сих пор таким убедительным и несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему; я помню даже те два стула, на которых мы сидели рядом и разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица... но тут все кончается, и теперь мне кажется минутами: стоит мне сделать какое-то усилие над памятью – и я увижу ее лицо, услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происходило вокруг меня, но нет – я не могу, да и не хочу почему-то сделать это усилие. Пусть лучше будет так, как оно есть. Потом *Елена* ушла и больше уже не возвращалась.

Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно: будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий, совершающихся возле меня, какой-то огромной мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь, эти существа, колыхался так сильно, размахи были так широки и властны, что и меня захватило в круговорот... Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня; и если он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее слепым, чем я как свидетель. Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали только днем, а ночью приходил *он* – и все: волнения и догадки, желания и воля – все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса живого мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от ощущения собственного тела – и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограниченная действительность.

Не знаю, сколько прошло дней после необыкновенного бала, когда неумолчный крик Нордена: «Танцирен! Танцирен!» – вдруг оборвался внезапно, был поглощен хаосом каких-то других громких, беспокойных и многочисленных голосов. Так же внезапно оборвался и танец, был поглощен потоком

какого-то нового движения, беспорядочного, хаотичного и печального, как печальны были голоса. Произошло это ночью, около того часа, когда должен был прийти *он*, и по характеру напоминало мне ту ноябрьскую ночь, когда была буря и с невидимой госпожой Норден случился припадок. Я проснулся и, не знаю – почему, не счел нужным выходить из комнаты; и так же равнодушно, с непонятной, но твердой уверенностью, что сегодня *он* не придет, я позволил себе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движение по дому продолжались еще долго, и особенно настойчив был один звук: кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх и вниз. Вздвигался вверх и тотчас же, с той же стремительностью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал вниз: и снова вверх, и снова вниз. В другое время этот беспокойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть, но теперь я не думал о значении его и был даже рад: он давал мне эту уверенность, что, пока в доме шумят, *он* не посмеет прийти и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без тоски и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокойной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что *он* больше никогда не придет и никогда больше я не увижу широких плеч с маленькой темной головой.

Утром, когда я проснулся в обычный час, в доме было необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась жизнь, но теперь, после беспокойной ночи, все, даже прислуга, вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкновенная тишина. Я оделся и вышел в столовую, и тут увидел: на том столе, где вчера мы ужинали, лежала мертвая женщина, обряженная так, как обыкновенно обряжают покойников.

Хотя я никогда не видал госпожи Норден, но тут сразу узнал – это была она.

Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом ненарушимая тишина; и от этого мне показалось в первую минуту, что никто еще в доме не знает о смерти – так одинока была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они действительно спят, и перестал думать о них. Это было не от недостатка сознания: наоборот, именно в этот час вернулось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-нибудь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они стали не нужны.

Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрасна, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее, не зная, что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку – я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее тонких ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть их живыми, такими я их знал всегда, и не нужно было поднимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, живое сияние дорогих и вечно любимых глаз. Мне жаль только ее дорогих и милых пальцев, которые должны были играть веселые, незнакомые танцы, пока там, внизу, смеялся и танцевал – смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его, он не знал. Прости и меня, что я чертил на песке пустое имя *Елена*: я не знал тогда твоего имени – как не знаю и сейчас.

Нет, она не была прекрасна, и никто не мог бы сказать, какая она. Но она была та, которую я любил всю жизнь, не зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о ней не подумал ни разу – и оттого все мысли мои были ложью; всю жизнь я видел другие лица, слышал другие голоса, а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал, – и оттого ненастоящими казались мне все люди. Только тебя одну я знал, и только тебя одну не видел ни разу.

Я не могу припомнить вполне точных выражений, но так приблизительно думал я, стоя перед мертвой. Теперь я не знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство мое, и больше того: я не могу вспомнить отчетливо бледного лица, на которое смотрел так долго и которое – тогда – я знал так хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо, и так же глубока была начавшаяся тихо, но все растущая печаль. Кажется, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, видя неподвижность труп, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать

горькую и неутолимую печаль. Я заплакал и плакал долго, и так, продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из норденовского дома.

Я вышел раздетый, только в одном сюртуке, без фуражки, но холода не почувствовал, да и день был не особенно морозный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не так глубок, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко от берега, в центре пустынного, ровного и белого пространства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безграничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не было передо мною и вокруг меня; и когда я, начиная уставать и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и озираясь кругом – всюду было то же пустынное, ровное белое пространство, почти сама пустота, какую ее можно видеть только во сне. И скоро мое движение вперед приобрело все черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной борьбы с неодолимым пространством; так, вероятно, грезят измученные оглохшие лошади к концу далекого пути и те особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от времени слой снега утолщался, ноги вязли в глубоких сугробах, и я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил:

– Какое горе! Какое несчастье!

Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеждал кого-то, и глаза мои, которыми я смотрел на бесконечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми, мертвыми, ничего не отражающими, как снег. Но это было еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил, – потом я совсем умолк и двигался и останавливался молча.

Долгое время холод совсем не был замечен, и голове и груди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платье от тела, и просто, без боли и неприятного, стали неметь руки в локтях и ноги в коленях – трудно становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что замерзаю, и все шел, внимательно разглядывая снег под ногами, и снег был все один и тот же. И сколько я ни поднимал и ни опускал ногу, снег был все один и тот же. И наступила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня – все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно-белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что смотреть. А когда совсем не на что смотреть, то это слепота: я так тогда это и понял и дальше, не знаю сколько, шел уже слепой. Момента, когда я упал и началось беспамятство, я не помню.

Больше сказать мне нечего.

Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки: случайно я упал на ихней дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в беспамятстве. У Нордена умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слышал. Также не появлялся с той ночи *он* и, я знаю, больше никогда и не появится. Хотя, приди он теперь, я, может быть, встретил бы его с некоторым удовольствием.

Дело в том, что я почему-то умираю. Они все допрашивают меня, что со мной и почему я молчу и отчего я умираю, и эти вопросы – сейчас самое трудное для меня и тяжелое; я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь мне, но я этих вопросов боюсь ужасно. Разве всегда знают люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я сейчас с М. И. – товарищем, которому я писал, – он очень любезен и через неделю, в конце мая месяца, хочет взять меня куда-то в деревню. Это все хорошо, я ничего не возражаю, но не нужно все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне объяснить ему, что молчание есть естественное состояние человека, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова, любит их ужасно.

Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо, было много гуляющих. Вышла в море, несмотря на ночь, какая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась на горизонте.

Да: кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Елены, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь все.

Ослы

Новелла

1

Знаменитый Энрико Спаргетти по справедливости считался любимцем богов и людей. Сильный и прекрасный собою, он обладал чарующим голосом, несравненным *bel canto*^[3], и уже при первом выступлении своем затмил всех других известных певцов и получил прозвище Орфея; а к тридцати годам жизни его слава распространилась по всему Старому и Новому Свету, от солнцепламенного Рио-де-Жанейро до холодных гиперборейских стран.

Родители его были людьми простого звания и жили в бедности, но Энрико божественным даром своим приобрел неисчислимые богатства и сделался другом многих весьма высокопоставленных особ: английских пэров, немецких графов и даже тогдашнего владетельного принца Монако. И многие философы, чуждые дешевых обольщений, вступали в близость с великим певцом, стремясь разгадать тайну его необыкновенного дарования, живописцы же и скульпторы соревновались друг с другом в изображении и увековечении его прекрасной головы и лица, в чертах которого явственно виделась печать избранничества. Излишне упоминать, что и женщины всего света дарили его своей благосклонностью, порой доходившей до неистовства ничем не сдерживаемой страсти; но, будучи человеком благоразумным и больше всего любя свое искусство, Энрико часто оставлял без ответа их неосторожные домогательства и сумел, наряду с турецким многоженством, сохранить всю прелесть и удобства холостой жизни. Многочисленные дети, бывшие плодом этих случайных любовных связей, не оставлялись им, однако, без попечения и богато содержались в пансионах Парижа, Лондона, Петербурга, Нью-Йорка и других городов.

В ту пору, когда подвизался Энрико Спаргетти, еще не были изобретены граммофоны, и мы не имеем возможности хотя бы отдаленно судить о свойствах и силе его голоса, но в мемуарах современников и тогдашних журналах находим многочисленные указания на то, что голос этот обладал обольстительностью, превосходившей всякое вероятие, и казался принадлежащим всемогущему чародею. Рассказывают, что тысячи собравшихся, слушая Энрико, теряли всякую волю над собою и покорно переходили, послушные чародею, от горьких слез к неудержимому смеху, от отчаяния к ослепительному восторгу и почти безумному экстазу. Первым же звуком своего голоса, возносящимся к небу на крыльях свободного вдохновения, он подчинял себе самую непокорную душу и вел за собою человека, как поводырь слепца или магнит железные опилки; правда, многие гордецы пытались сопротивляться таинственным чарам, но еще не было случая, чтобы такое сопротивление увенчивалось успехом и несчастный не становился самым горячим поклонником Энрико Спаргетти.

Так, передают, что один государственный муж, великий в своей области, создатель царств и железных легионов, но совершенно равнодушный к музыке и красоте, долго не соглашался послушать Спаргетти, уверяя, что он немедленно при первых же звуках заснет в своем кресле, как некогда засыпал под пение няньки.

— За бочонком вина и под аккомпанемент барабана — пожалуй, я готов его послушать и даже могу и сам подтянуть, как бывало на наших студенческих пирушках; но эти трели и пиано... извините, я слишком занят! — сердито отвечал он приближенным, которые уговаривали его посетить концерт приехавшего певца.

И что же оказалось? Приглашенный в свою ложу царственной особой и не смея отказаться от приглашения, равного приказу, великий муж не только не заснул, но впал в состояние, близкое к экстазу и потере сознания. Красный от восторга, он так выразился по окончании концерта в беседе с царственной особой:

– Ваше величество! Если бы мне дать такой голос, я без единой капли крови завоевал бы и сложил к вашим стопам Францию, Австрию и Великобританию. Одним я спел бы: марш за мной! другим я спел бы: вы мною покорены! Смирно! – и дело было бы в шляпе с позволения вашего величества. Должен сознаться, что это сильнее штыка и даже – сильнее пушки!

А Энрико, награжденный высоким знаком отличия, поехал дальше, всюду сея очарование и не видя границ своей чудодейственной власти. Ибо то, о чем только грезил государственный муж, уже отчасти сбылось с великим певцом, однажды имевшим случай испытать свою власть над грубой толпой. Это было в Лондоне, в одном из его темных и опасных кварталов, куда Энрико один, без спутников, пробирался на свидание: внезапно окруженный толпой грабителей, угрожавших его жизни, он пением заставил их отказаться от своего преступного намерения и, продолжая петь, довел их, как рачительная бонна ведет послушных детей, до самых ворот полицейского участка, куда и сдал их, немых от восхищения и неожиданности.

Вполне естественно, что при таких условиях Энрико Спаргетти проникся верою в свою сверхъестественную мощь и порою, глядя на себя в зеркало, не на шутку задумывался о своем божественном происхождении.

2

Как и все певцы, не имеющие времени для литературных занятий, Энрико долгое время совсем не знал, кто такой Орфей, именем которого часто называли его поклонники и журналы; и однажды он обратился с вопросом по этому поводу к своему секретарю и другу, Гонорию ди-Виетри.

– Скажи мне, кто был этот Орфей, имя которого я так часто слышу как похвалу? Мне это надоело. Когда он жил? И неужели этот тенор был настолько лучше меня, что меня украшают его именем? Я в этом сильно сомневаюсь.

Почтенный и высокообразованный Гонорий в ответ рассказал певцу миф об Орфее, который своей песней чаровал леса, скалы и диких зверей пустыни.

– Деревья, – повествовал Гонорий, – привлекаемые силою прелестных звуков, толпились вокруг певца и давали ему тень и прохладу; очарованные скалы теснились к нему; птицы лесные оставляли свою чашу, а звери – свои трупы и тихо и кротко внимали сладким песням Орфея...

– Так это сказка! – со вздохом облегчения сказал гордый певец. – Ну а как же окончил Орфей свою жизнь?

– Очень дурно, Энрико, – отвечал Гонорий, – он был безучастен к женщинам, которых привлекал своими песнями, и за это был насмерть растерзан фракиянками. Берегись, Энрико!

Певец засмеялся:

– Да, в этом мы похожи, и я также буду когда-нибудь растерзан. А скажи, мой друг, этот Орфей мог бы покорить того графа, который дал мне орден?

– Мог бы, я полагаю.

– А мог бы он пением привести грабителей в полицию?

– Также мог бы, я думаю. Но ведь это сказка, а ты живешь, и тебе не в чем завидовать ему, несравненный.

Энрико задумался и, помедлив, сказал:

– Да, я живу. А хочешь, я завтра утром выйду на площадь и подниму восстание в Италии?

– Не сомневаюсь, что ты можешь это сделать, – ответил осторожный и расчетливый Гонорий ди-Виетри, – но не знаю, что ты дальше будешь делать с восставшими. Чтобы ими управлять, ты должен будешь петь непрерывно, днем и ночью, а это едва ли выдержит твое здоровье!

Оба посмеялись шутке, и на том окончился их разговор. Но самолюбивый и гордый Энрико не мог примириться с тем, что, хоть и сказочный, Орфей стоит во мнении людей выше его, и, снова слыша его имя, произносимое в похвалу, каждый раз чувствовал как бы укол в самое сердце. Если бы еще он мог хоть раз услышать пение Орфея и сравнить голоса и манеру! Очень возможно, что это сравнение указало бы преувеличенность славы Орфея и рассеяло предрассудок, от которого теперь он должен так несправедливо страдать. Но скалы, которые теснились к певцу? Конечно, скалы – это глупость, о которой не стоит говорить, но птицы и звери? Правда, теперешние птицы напуганы человеком и не так доверчивы, как были тогдашние; да и зверей теперь можно найти только в зверинцах – но все же?

Уже совсем позабыл о разговоре занятый делами Гонорий, когда певец неожиданно спросил его, по привычке руководиться его знаниями и советами:

– Послушай... а этот Орфей мог своим пением укрощать и увлекать домашних животных? Например,

коров, собак и кур.

Гонорий подумал и ответил осторожно:

– Я не знаю, существовали ли тогда домашние животные, которых ты перечислил, но если существовали, то, конечно, и их Орфей очаровывал своим пением. Но ведь это сказка, Энрико, и ты напрасно так много об этом думаешь.

– Мне все равно, сказка это или нет! – сердито ответил певец. – Но мне это раз и навсегда надоело. Чтобы я никогда больше не слышал об этом Орфее, о котором столько лгут!

Испуганный секретарь поспешно согласился, но это лишь по виду успокоило взволнованного и оскорбленного певца. И чем выше были его успехи, чем больше несла ему судьба цветов, денег, любви и поклонения, тем ненавистнее становился лживый образ непревзойденного Орфея, чаровавшего не только людей, но и животных. Здоровье знаменитого певца заметно портилось, и часто удивленные и испуганные поклонницы не знали, чему можно приписать внезапные вспышки гнева и раздражения, с каким встречал несчастный Энрико их нежные взгляды, цветы и лобзания. А он, хмурый и печальный, скупко отвечая на поцелуи горячих и душистых губ, думал в отчаянии: «Ах, если бы ты была корова, очарованная мною! А теперь чего стоит твое поклонение? Ничего».

Наконец терпение Энрико истощилось, и в один знаменательный день он сухо сказал своему секретарю Гонорию ди-Виетри:

– Слушай меня и, пожалуйста, не возражай и не спорь. Это мое решение. Я хочу доказать Орфею и его поклонникам, что я, Энрико Спаргетти, могу сделать не меньше, чем он, и что мой дар очарования не ограничивается только людьми. К следующему воскресенью собери в моем загородном саду три или четыре дюжины ослов...

– Ослов! – воскликнул изумленный и ужаснувшийся Гонорий, но певец гневно топнул ногой и закричал на высоких нотах своего прекрасного голоса:

– Ну да, ослов! Ослов, я говорю тебе! Если ты и тебе подобные понимают меня, то почему ты смеешь думать, что и ослы не поймут! Они очень музыкальны.

Гонорий почтительно склонил голову:

– Твое желание будет исполнено, несравненный. Но я первый раз слышу, чтобы ослы были музыкальны – наоборот: и пословицы, и опыт народов учит нас, что животные этой породы совершенно лишены слуха и критического чутья. Так, в басне о соловье...

– А ты сам очень любишь вульгарного соловья? – возразил певец и добавил: – Оставь, Гонорий, эту жалкую клевету на ослов, в которой, как я убежден, столько же преувеличения и неправды, как и в славе этого проклятого Орфея. Несчастье ослов не в том, что они лишены голоса, но не слуха и потребности в пении; самая их потребность кричать, которая обходится им так дорого и придает их крику сильно драматический характер, свидетельствует о их глубокой музыкальности. Кого они слышат в своей жизни? Только погонщиков, голос которых груб и отвратителен. И ты увидишь, мой друг, что будет с ними, когда их слуха коснется мой вдохновенный голос: я им спою все то, что я пел бразильскому императору, грабителям и английской королеве.

Напрасны были уговоры трусливого и благоразумного Гонория: непоколебимо веря в свою чародейскую мощь и всеисилie, Энрико ничего не хотел слушать и под конец даже поколебал самого секретаря: быть может, Энрико и прав, думал последний, отправляясь нанимать ослов, и в этих животных не все еще погасло для искусства, сила же Энрико воистину безгранична!

Уверенный в своем торжестве, Энрико пожелал придать состязанию особую пышность и велел

пригласить синдика и многих других почетных лиц города, не считая обычного состава поклонниц и поклонников, которые были неизбежны и появлялись во всякий момент, как только раскрывал он рот для пения. Но первые три ряда кресел он, с надлежащим извинением перед почтенными гостями, предоставил ослам, желая иметь их непосредственно перед своими глазами, остальным же слушателям оставил боковые и задние места.

Одно только обстоятельство несколько удивило и даже огорчило славного певца: оказалось, что за каждого приглашенного осла его собственнику надо платить от трех до пяти лир. Это был первый случай из жизни Энрико, когда не публика ему платила, а он платил публике; но здесь его успокоил Гонорий, сказав, что это недорого сравнительно с обычными ценами на первые места в его концертах; и, молитвенно вздохнув, добавил:

– А если ты победишь в состязании, в чем я теперь не сомневаюсь, я с полным правом подниму плату на следующие твои концерты, и, таким образом, ты останешься в выгоде. Главное – победить!

– А в этом уже положиись на меня, – ответил Энрико, смеясь и почти любовно думая об ослах, еще не подозревающих, какое ждет их наслаждение.

3

Тем временем, пока рабочие спешно строили в саду певца эстраду для приглашенных и раковину для самого артиста и призванные декораторы украшали все это гирляндами цветов, флагами и фонариками, пока весь город взволнованно говорил о дерзкой затее гениального Спаргетти и спорил, разбившись на партии, об исходе состязания, – сам Энрико и озабоченный Гонорий каждый делали свое дело.

Поколебленный в традиционном взгляде на ослов, но все еще окончательно не уверенный, Гонорий ди-Виетри принимал все возможные меры к тому, чтобы хоть несколько приготовить этих непривычных слушателей к предстоящему удовольствию; решив затратить даже лишние деньги, он уже три дня выдерживал ослов в саду, перед раковиной, чтобы приучить их к обстановке, и старательно оберегал их от всего волнующего, печального и раздражающего, способного нарушить их столь необходимое душевное равновесие. В справедливом предположении, что, будучи сыты, ослы приобретут большую способность к сосредоточению и вниманию, он усиленно питал их и даже по совету врача тайно примешивал в их пищу значительные дозы брома и других успокоительных лекарств.

Усилия его увенчались успехом, и к воскресенью хорошенькие, тщательно вычищенные ослики с их маленькими детскими ножками и задумчивыми, даже печальными глазами напоминали скорее группу превращенных ангелов, нежели упрямых и грубых животных; одолеваемые бромом и сытостью, они почти перестали и кричать, и лишь при восходе солнца, на рассвете воскресного дня, два или три ослика с мучительными потугами выразили громкий привет лучезарному светилу, разбудив и слегка напугав чутко дремавшего Гонория.

Со своей стороны, Энрико Спаргетти тщательно приготовил и обдумал то, что в противоположность утилитарным заботам Гонория можно было назвать «духовною пищею» для ослов. Перебрав весь свой богатый репертуар, артист остановился на таком подборе песен: для первого отделения – нечто лирическое, любовно-мечтательное и задумчивое, погружающее душу как бы в некий волшебный и нежно-печальный сон.

Для второго, после краткого антракта, – каскад веселых и ликующих звуков, игривых песенок, капризных трелей, как бы знаменующих восхождение солнца после лунной ночи и щебетание птиц; и, наконец, для третьего, решительного, – трагический взрыв страсти, вопли жизни, побеждаемой смертью, томление вечных разлук, любви безнадежной и горькой... нечто такое, над чем может зарыдать и камень! И, если скалы, приходившие к Орфею, еще не потеряли окончательно способности к передвижению, они придут, чтобы вместе со всеми приветствовать победоносного певца!

Наступило воскресенье. Концерт был назначен днем, и весеннее солнце ослепительно сияло, когда приглашенные заняли свои места, восхищаясь сказочною красотою сада и с трепетом ожидая появления на эстраде своего кумира, Энрико Спаргетти.

Первые четыре ряда, предназначенных для ослов, были превращены в маленькие изящные стойлица, обитые красным бархатом; и когда животные, украшенные пучками лент и высокими перьями, заняли свои места, остальная публика встретила их шепотом восхищения; кроткие и задумчивые, со своей мышиною блестящей шерстью, отливавшей серебром под лучами солнца, они были прекрасны! На всякий случай, дабы кто-нибудь из ослов не выскочил раньше, они были привязаны к своим местам толстыми шелковыми шнурами.

И вот – при громе аплодисментов появился на эстраде Энрико Спаргетти, несколько бледный, несколько взволнованный, но решительный и прекрасный в своей смелости; как он рассказывал потом, даже перед императорами он не испытывал такого волнения, как в этот раз. Обычным низким поклоном

ответив на приветствия, он с легкой насмешливостью, оцененной журналистами, послал несколько воздушных поцелуев ослам и, сделав бесстрастное лицо, приказал аккомпаниатору начинать.

И все смолкло.

При первых же звуках чарующего голоса, превратившего все земное в небесное, слушатели были покорены и совершенно забыли об ослах, ранее вызывавших такое тревожное любопытство; и когда кончилась первая песенка, за нею вторая и третья, никто и не заметил, с какою трогательной задумчивостью, с каким глубоким вниманием слушали певца ослы. Но Энрико и Гонорий торжествовали, переглядываясь, и Энрико даже шепнул аккомпаниатору значительно:

– Это – победа!..

– Si, signor!..[\[4\]](#) – ответил аккомпаниатор восторженно и покорно.

Надо думать, что молчание ослов обуславливалось скорее какими-то их собственными соображениями, нежели прелестью и очарованием звуков, ибо при четвертом, как раз наиболее трогательном романсе, два осла сразу взревели, – в начале, как всегда, беспомощно захлебываясь и стеная, в середине возвышая голос почти до раскатов пророческого крика и кончая теми же беспомощными и страдальческими выдохами. Крик этот был настолько неожиданный, что задние ряды, забывшись, закричали: «Тише!», а Энрико, бледный, но вежливый, сделал аккомпаниатору знак переждать и дать гг. ослам откричаться.

Но лишь только Энрико снова открыл рот, уже не два, а десять, двадцать ослов нестройно взревели, путаясь в голосах друг друга и своими громовыми раскатами покрывая не только нежнейшее пианиссимо певца, но и самые его отчаянные форте. Напрасно расстроенный Энрико повышал голос и вкладывал всю силу выразительности в свою изящную мимику – лишь моментами, в случайные прорывы ослиного крика улавливало ухо его божественные трели, рыдания и слезы: уже все четыре дюжины ослов, взаимно заражаясь, мрачно ревели, как в последний день земли.

Так, при гробовом молчании оскорбленных поклонников и замирающем ослином вопле, закончилось первое неудачное отделение.

– Это же невозможно! – говорил в уборной Энрико, в слезах припадая на грудь также потрясенного Гонория. – У меня чуть не лопнули голосовые связки! Хотя ты-то слышал меня? Я себя не слышал!..

– Конечно, я слышал тебя, мой бедный друг. Но я говорил же тебе, что ослы...

– Ах, оставь! – воскликнул Энрико. – Но почему они начинают выть как раз тогда, когда я открываю рот, и умолкают вместе со мною? Ты слышишь: сейчас они тихи, как ангелы. Отчего это?

Гонорий нерешительно ответил:

– Да, молчат. По-видимому, на них все-таки действует твое пение, и как только ты...

– Но ведь это же глупо! Ведь так они ничего не могут слышать! Ах, Гонорий, а ведь над этой песенкой рыдал сам император бразильский! – горестно восклицал певец, роняя крупные алмазные слезы. – А как я для них старался! Я сам – сам! – плакал для этих ослов, чего не делал даже для английской королевы... Нет, я их проберу: долой лирику – я дам им драму, и тогда мы увидим. Я их перекричу!

– Пожалей голос, Энрико, я умоляю тебя! – плакал Гонорий, поддерживаемый рыдающим аккомпаниатором:

– Пожалейте, синьор!

– А Орфей жалел? Нет, я их перекричу! Я их перереву, если с ними нельзя иначе. Звонок!

При могильном молчании людей и ослов началось второе отделение; и люди казались взволнованными и утомленными, а ослы свежими и спокойными, как будто они только что искупались. Но и в этот раз все усилия Энрико оказались бесплодными; дружно взревев при первых же нотах, ослы поднялись почти до пафоса, и трудно было понять, откуда столько дикой мощи в этих маленьких ангелоподобных животных! Они ревели, как горная лавина, и напрасно, бегая по сцене, поднимаясь на носки и краснея от натуги, старался перекричать их божественный певец – слушателям был виден только его открытый рот, безмолвный, как колодец.

Пользуясь минутным затишьем, Энрико прокричал аккомпаниатору:

– Посмотри на того, с левого края: он все время молчит!

– Si, signor.

– Он будет моим первым учеником! Начинай!

– Si, signor.

И снова дружно заревели ослы, и – о ужас! – к ним присоединился и тот, кого Энрико в тщетной надежде приготовил в свои первые ученики; более того: именно он оказался тем воистину несравненным по мощности горлодером, который сделал дальнейшее состязание невозможным без опасности для жизни и здоровья присутствующих. Полный свежих сил и бодрости, он, шутя, покрывал голос уже охрипшего Энрико в то время, как остальной хор мучительно терзался и захлебывался, а через цветы и кресла уже пробирались погонщики с палками и дубинами, ведомые что-то кричащим Гонорием.

Так печально окончилось состязание Энрико Спаргетти с Орфеем, и молчаливо разъезжались приглашенные, когда Энрико сказал едва слышно ужаснувшемуся секретарю:

– Гонорий, пригласи доктора. Кажется, я сорвал голос.

Эпилог

К счастью, тревога оказалась ложною, и через месяц утомленный голос знаменитого певца восстановился до прежнего блеска и силы. В то же время благодаря стараниям Гонория самому случаю было придано лестное для певца толкование, и журналы вполне согласно объяснили непрерывный рев ослов именно тем, что они были восхищены и покорены чарующим *bel canto* великого артиста. И прозвище Орфея утвердилось за ним навсегда.

Сам же Энрико говорил, улыбаясь, что ослы хороши для перевозки тяжести и других работ, но как слушатели оставляют желать многого, и безумен тот, кто захочет перекрыть осла.

Так он шутил с друзьями, прекрасный и сияющий. И никто не знал, даже Гонорий, что душа его всю остальную жизнь страдала от обиды и что вид мирного ослика, трудолюбиво везущего повозку, вызывал в нем дрожь и чувство, близкое к паническому страху.

Примечания

1

Из ничего ничего не получится (*лат.*).

2

Молись за нас (грешных). У католиков – завершающие слова молитв, обращенных к богородице и святым (*лат.*).

3

Прекрасное пение (*ит.*).

4

Да, господин! (*ит.*).

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Дневник Саяны



Annotation

Роман Леонида Андреева «Дневник Сатаны» (1919) относят и к жанру «философского романа», и к «интеллектуальному», и к «модернистскому», и к «неомифологическому» роману, и к «синтетическому». Разнообразие мнений доказывает сложность и оригинальность последнего романа писателя, в котором сходятся все прежние темы, мотивы, образы, идеи.

Верно отмечая агрессивные человеконенавистнические черты идеологии милитаризма, изобретающего новые, невиданные еще по мощи средства истребления людей (в «Дневнике Сатаны» Андреев предсказывает изобретение атомной бомбы), писатель предупреждает все человечество о грозящей ему смертельной опасности.

Сашка Жегулёв

Часть 1

Саша Погодин

1. Золотая чаша

Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответных слез. И когда тоскует душа великого народа, — мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на заклятие.

Так было и с Сашею Погодиным, юношею красивым и чистым: избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещей зовов, которых не слышат другие, и жертвенной кровью его до краев наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жаждущими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и нет ему имени доброго, и нет креста на его безвестной могиле.

Кто закроет глаза убийце? До последнего суда остаются открыты они и смотрят в темноту покорно. Кто осмелится закрыть глаза Сашке Жегулеву?

Но мать жива, и мать зовет его:

— Мой нежный Саша.

2. Детство Саши

Того, что называют ясным детством, кажется, совсем не было у Саши Погодина. Хотя был он ребенком, как и все, но того особого чувства покоя, безгрешности и веселой бодрости, которое связано с началом жизни, не хранила его память. Казалось, не родился он, как другие, а проснулся: заснул старым, грешным, утомленным, а проснулся ребенком; и все позабыл он, что было раньше, но чувство тяжелой усталости и неведомых тревог лежало бременем уже на первых отроческих днях его. Давно, еще в Петербурге, когда был жив отец, подошел Саша к матери и странно-серьезным голосом пожаловался:

— Ах, мамочка, как я устал, если бы ты знала.

— Набегался, вот и устал, — сказала мать: она видела, как Саша с другими детьми только что носился дико по большому казенному двору и визжал от восторга, — поменьше шалить надо, тогда и не будешь уставать. Смотри, как измазался!

— Нет, я не от этого.

— А от чего же? — вот смешной!

— Так. Я так устал! Как же ты не понимаешь: просто так.

Тут Елена Петровна первый раз в жизни, как ей показалось, взглянула сыну в глаза и испугалась: «Умрет он от скарлатины!» — подумала она, так как в эту пору особенно боялась для детей скарлатины. Но эпидемия прошла мимо, и вообще Саша был совершенно здоров, рос крепко и хорошо, как и его младшая сестренка, нежный и крепкий цветочек на гибком стебельке, — а то темное в глазах, что так ее испугало, осталось навсегда и не уходило. Как и сестренка, Саша был отчаянно и неудержимо смешлив, и отец его, генерал, иногда нарочно пользовался слабостью: вдруг за чаем, когда у Саши полон рот, скажет что-нибудь смешное: Саша крепится, надует щеки, но не хватает сил — брызнет чаем на скатерть и бежит отсмеиваться в соседнюю комнату. Генерал хохочет и дразнит, а Елена Петровна всматривается в глаза вернувшегося Саши и думает: «Ну, конечно, он будет убит на войне» — в это время Сашу как раз отдали, по желанию отца, в кадетский корпус.

И, вероятно, от этого вечного страха, который угнетал ее, она не оставила Сашу в корпусе, когда генерал умер от паралича сердца, немедленно взяла его; подумав же недолго, распродала часть имущества и мебели и уехала на жительство в свой тихий губернский город Н., дорогой ей по воспоминаниям: первые три года замужества она провела здесь, в месте тогдашнего служения Погодина. Женщина она была твердая, умная, и ей казалось, что в мирной и наивной провинции она вернее сохранит сына, нежели в большом, торопливом и развращенном городе.

Приятный, несколько не изменившийся Н. не обманул надежд и с готовностью покрыл их своей ненарушимой тишиной. Перестал быть страшным и Саша: в своей мирной гимназической одежде, без этих ужасных погон, он стал самым обыкновенным мальчуганом; и от души было приятно смотреть на его большой пузатый ранец и длинное до пяток ватное пальто. Как это ни странно, но, кажется, ни одна гадалка, ни один прорицатель не могли бы так успокоить Елену Петровну, как это длинное не по росту ватное, точно накрахмаленное пальто; взглянет из окна, как плетется Саша по немощеной улице, еле двигает глубокими галошами, подгибая ватные твердые фалды, и улыбнется: «А я-то боялась... Какие же могут быть ужасы? Вот бы посмотрел генерал!»

Теперь ей казалось, будто и генерал — как она и после смерти называла мужа — разделял ее страхи, хотя в действительности он не дослушал ни одной ее фразы, которая начиналась словами: «Я боюсь, генерал...»

— А ты не бойся! — говорил он строго и отбивал охоту к тем смутным, женским излияниям, в которых страх и есть главное очарование и радость.

Были и еще минуты радостного покоя, тихой уверенности, что жизнь пройдет хорошо и никакие ужасы не коснутся любимого сердца: это когда Саша и сестренка Линочка ссорились из-за переводных картинок или вопроса, большой дождь был или маленький, и бывают ли дожди больше этого. Слыша за перегородкой их взволнованные голоса, мать тихо улыбалась и молилась как будто не вполне в соответствии с моментом: «Господи, сделай, чтобы всегда было так!»

Но ссорились дети очень редко, были нежно влюблены друг в друга, целые дни проводили в тихой влюбленности. Когда-то сильная любовь отца и матери вторично переживала себя в них — но уже лишенная материальности, ставшая лишь отзвуком отдаленным, прекрасным и чистым. И так странно перемешались черты: Линочка всем внешним обликом своим и характером повторяла отца-генерала; крепкая, толстенькая, с румяным, круглым, весело-возбужденным лицом и сильным, командирским голосом — была она вспыльчива, добра, в страстях своих неудержима, в любви требовательна и ясна. Если она плакала, то это не были тихие слезы в уголке, а громкий на весь дом, победеносный рев; а умолкала сразу и сразу же переходила в тихую, но неудержимо-страстную лирику или в отчаянно-веселый смех. Была ли она радостна, гневна или печальна — об этом знали все. Но у генерала, на которого она так походила, при всех его достоинствах, не было никаких талантов, — Линочка же вся была прожжена, как огнем, яркой и смелой талантливостью. Возьмет в толстенькие, короткие пальчики карандаш — бумага оживает и смеется; положит те же коротенькие пальчики на клавиши: старый рояль с пожелтевшими зубами вдруг помолодел, поет, весело завирается; а то сама выдумает страшную сказку, сочинит веселый анекдот.

Рядом с нею молчаливый Саша казался неприметным и даже бледным. Лицом своим он и действительно был бледен и смугл, этим, как и всем остальным, походя на Елену Петровну: по матери своей Елена Петровна была гречанкой, лицо имела смуглое и тонкое, глаза большие, темные, иконописные — точно обведенные перегоревшим, но еще горячим, коричнево-черным пеплом. Такие же глаза были и у Саши, а смуглостью своей он удивлял даже и мать: лицо еще терпимо, а начнет менять рубашку — смотреть смешно и странно, точно и не сын, а совсем чужой и далекий человек. Удивляло это; а что еще удивляло и даже до глубины души огорчало Елену Петровну — это полное, казалось, отсутствие талантливости, прискорбное сходство с генералом. Первое время ихней жизни в Н., когда Елена Петровна всеми силами стремилась установить в своей жизни культ красоты, эта Сашина бездарность казалась ей ужасным горем, даже оскорбляла ее, точно ее самое лишили талантов или сказали, что она в своей талантливости ошибается и нет ее совсем.

— Ах, Саша, хоть бы у тебя слух был, а то и слуха нет! — несправедливо упрекала она сына и, чувствуя несправедливость, еще увеличивала ее: — Смотри, как играет Линочка.

А Линочка всплескивала руками и в бурном отчаянии стонала:

— Да и не говори же, родная моя мамочка! У него слуху, как у этой тумбы, нет на копейку. Учю я его, учу, а он даже собачьего вальса не знает!

— Собачий вальс я знаю, — серьезно говорил Саша, не поднимая темных, жутко обведенных глаз.

— Сашка! не зли меня, пожалуйста; под твой вальс ни одна собака танцевать не станет! — волновалась Линочка и вдруг все свое негодование и страсть переносила на мать. — Ты только напрасно, мама, ругаешь Сашеньку, это ужасно — он любит музыку, он только сам не может, а когда ты играешь эту твою тренди-бренди, он тебя слушает так, как будто ты ангельский хор! Мне даже смешно, а он слушает. Ты еще такого слушателя поищи! За такого слушателя ты Бога благодарить должна!

— Ну, понесла! — радовалась упрекам Елена Петровна, чуть-чуть краснея от удовольствия.

При всех своих талантах она сама была в музыке горестно бездарна и за всю свою жизнь только и научилась играть, что «тренди-бренди» — случайный, переиначенный отрывок из неведомой пьесы, коротенькую вещицу, наивную и трогательную, как детский первый сон. И то, что этот странный Саша так любит эту вещицу, постоянно требует ее, льстило ей, а в неприязнительности звуков заставляло угадывать какой-то новый смысл, непонятную значительность. А для обреченного Саши, когда вступил он в череду страшных событий и познал ужас одиночества, эта пьеска стала как бы молитвой, источником чистой печали, тихой скорби о навеки утраченном.

Но, как видит глаз сперва то, что на солнце, а потом с изумлением и радостью обретает в тени сокровище и клад, — так и Линочкина яркая талантливость только при первом знакомстве и на первые часы делала Сашу неприметным. И менялось все с той именно минуты, как увидит человек Сашины глаза, — тогда вдруг и голос его услышит, а то и голоса не слышал, и почувствует особую значительность самых простых слов его, и вдруг неожиданно заключит: а что такое талант? — да и нужен ли талант? Но неохотно открывал Саша свой взгляд, как будто знал важность и святость хранящейся в нем тайны, обычно смотрел вниз, на стол или на руки. Эту его особенность хорошо знала Елена Петровна и в материнской гордости, чтобы не дать гостю несправедливо подумать о Саше, заставляла его взглянуть широко и прямо.

Вдруг неожиданно спрашивала:

— Голова не болит у тебя, Сашенька?

Знала, что после этого неожиданного и нелепого-таки вопроса Саша непременно взглянет широко открытыми глазами, несколько секунд будет смотреть удивленно, а потом открыто и ясно улыбнется:

— Отчего же ей болеть? — нет, не болит.

И знала, что после этого взгляда и улыбки гость обязательно подумает: «Какой у нее хороший сын!», а вскоре, уйдя из-под Линочкиных чар, подсядет к Саше, и начнет его допытывать, и не допытает ничего, и за это еще больше полюбит Сашу, и, уходя, уже в прихожей, непременно скажет Елене Петровне:

— Какие у вас хорошие дети, Елена Петровна!

— Да, славные ребятки! — спокойно ответит она и нарочно запустит сухую, но ласковую руку в Линочкины русые кудряшки, прижмет к себе ее горячую, красную щеку; и этим мнимым непониманием окончательно добьет провинившегося и жалкого гостя.

Но Линочка и сама разделяет чувство матери и, ласкаясь, смотрит на глупого гостя с явной насмешкой и страстно думает: «Вот дурак!» А потом, прощаясь с братом на ночь, шепчет ему громким на весь дом шепотом:

— Она тобою гордится! — И еще громче: — Я тоже!

«Она» между детьми называлась мать, а покойный и наполовину забытый отец назывался, по примеру матери, «генералом».

3. Наставник мудрый

Взаимной влюбленности детей, как и проявлению в них всего доброго, очень помогала та жизнь, которую с первых же дней пребывания в Н. устроила Елена Петровна. Труднее всего вначале было найти в городе хорошую квартиру, и целый год были неудачи, пока через знакомых не попало сокровище: особнячок в пять комнат в огромном, многодесятичном саду, чуть ли не парке: липы в петербургском Летнем саду вспоминались с иронией, когда над самой головой раскидывались мощные шатры такой зеленой глубины и непроницаемости, что невольно вспоминалась только что выученная история о патриархе Аврааме: как встречает под дубом Господа.

А в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия. Даже Линочка в такие ночи не сразу засыпала и, громко жалуясь на бессонницу, вздыхала, а Саша, приходилось, слушал до тех пор, пока вместо сна не являлось к нему другое, чудеснейшее: будто его тело совсем исчезло, растаяло, а душа растет вместе с гулом, ширится, плывет над темными вершинами и покрывает всю землю, и эта земля есть Россия. И приходило тогда чувство такого великого покоя, и необъятного счастья, и неизъяснимой печали, что обычный сон с его нелепыми грезами, досадным повторением крохотного дня казался утомлением и скукой.

Первое время петербургские дети боялись сада, не решались заходить в глубину; и особенно пугала их некая недоконченная постройка в саду, кирпичный остов, пустоглазый покойник, который не то еще не жил совсем, не то давно умер, но не уходит. Весь он пророс бурьяном, крапивой и красными цветами, а в одной из беззащитных комнат, где должны были жить люди, спокойно зеленела березка — хоронила кого-то. Но прошло время, и к саду привыкли, полюбили его крепко, узнали каждый угол, глухую заросль, таинственную тень; но удивительно! — от того, что узнавали, не терялась таинственность и страх не проходил, только вместо боли стал радостью: страшно — значит хорошо. И у каждого из детей уже появилось свое любимое тихое местечко, недоступное и защищенное, как крепость; только у девочки Линочки ее крепости шли по низам, под кустами, а у мальчика Саши — по деревьям, на высоте, в уютных извивах толстых ветвей. Ходили друг к другу в гости, и Линочка ужасалась.

И о чем бы ни задумывались дети, какими бы волнениями ни волновались, — начала всех мыслей и всех волнений брались в саду, и там же терялись концы: точно наставник мудрый, источающий знание глубокими морщинами и многдумным взором, учил он детей молчанием и строгостью вида. Без него, пожалуй, не узнал бы Саша так хорошо, ни что такое Россия, ни что такое дорога с ее чудесным очарованием и манящей далью. И если Россию он почувствовал в ночном гуле мощных деревьев, то и к откровению дороги привел все тот же сад, привел неумышленно, играя, как делают мудрые: просто взлез однажды Саша на забор в дальнем углу, куда никогда еще не ходил, и вдруг увидел — дорогу. Две стены ветхого забора и свесившихся деревьев, а посередине две теплые, пыльные, пробитые в ползучей траве колеи идут далеко, зовут с собою. И никого живого — тишина в глухой улочке: то ли уже проехал, то ли еще проедет. И как Саша ни старался, так и не удалось ему поймать неведомого, который проезжает, оставляя две теплые колеи; когда ни взлезет на забор, — на улочке пусто, тишина, а колеи горят: то ли уже проехал, то ли еще проедет. Так и не увидел неведомого и оттого свято поверил в дорогу, душою принял ее немой призыв; и впоследствии, когда развернулись перед Сашей все тихие проселки, неторопливые большаки и стремительные шоссе, сверкающие белизною, то уже знала душа их печальную сладость и радовалась как бы возвращенному.

Радовалась саду и Елена Петровна, но не умела по возрасту оценить его тайную силу и думала главным образом о пользе для здоровья детей; для души же ихней своими руками захотела создать

красоту, которой так больно не хватало в прежней жизни с генералом. Начала с утверждения, что красота есть чистота, — и что же она делала для чистоты! Знала она, что все дети любят грязь, и прямо, как умная, с грешной страстью не боролась, но мыла детей немилосердно, шлифовала их, как алмазы, и таки приучила: самостоятельно, два раза, утром и вечером, вытираться холодной водой, — уже они и сами не могли без этого обходиться. И, не любя животных, кошку даже с котятами терпела только за то, что она всегда чиста и умывается. Говорила:

— Смотри, Линочка! — с Линочкой ей было много труда, — смотри: и где только сегодня она ни была, сейчас после дождя бежала по двору, а какая чистая! Оттого, что умывается.

А кошка с темным прошлым мерцала загадочно желтыми глазами, жила еще в прошлом; но вдруг опомнилась и начала свой длительный и приятный обряд.

И всю квартиру свою Елена Петровна привела к той же строжайшей чистоте, сделала ее первым законом новой жизни; и все радовалась, что нет денщиков, с которыми никакая чистота невозможна. Потом занялась красотой вещей. Со вкусом, составлявшим неразрешимую загадку для захоластного Н., вдруг изменила обычный облик всех предметов, словно надышала в них красотой; нарушила древние соотношения, и там, где человек наследственно привык наткаться на стул, оставила радостную пустоту. Сама расшила занавеси на окнах и дверях, подобрала у окон цветы, протянула по стенам крашеную холстину — что-то зажелтело, как солнечный луч, а там ушло в мягкую синеву, прорвалось красным и радостно ослепило. Наружу зима, а в комнатках весна и осень, цветы цветут, и на блестящем полу, золотых пятнах солнечных, хочется играть как котенку.

И всем, кто видел, нравилось жилище Погодиных; для детей же оно было родное и оттого еще красивее, еще дороже. И если старый сад учил их Божьей мудрости, то в Красоте окружающего прозревали они, начинающие жить, великую разгадку человеческой трудной жизни, далекую цель мучительных скитаний по пустыне. Так по-своему боролась с Богом Елена Петровна. Но одного все же не предусмотрела умная Елена Петровна: что наступит загадочный день, и равнодушно отвернутся от красоты загадочные дети, проклянут чистоту и благополучие, и нежное, чистое тело свое отдадут всечеловеческой грязи, страданию и смерти.

Было одно неудобство, немного портившее квартиру: ее отдаленность от центра и то, что в гимназию детям путь лежал через грязную площадь, на которой по средам и пятницам раскидывался базар, наезжали мужики с сеном и лыками, пьянствовали по трактирам и безобразничали. Трактирами же была усажена площадь, как частоколом, а посередине гнила мутная сажалка, по которой испокон веку плавали запуганные утка и селезень с обгрызанным хвостом; и если развеенное сено и соломинки и давали вид некоторой домовитости, то от конской мочи и всяких нечистот щипало глаза в безветренный день. Линочка, в первый раз пройдя по площади, сразу возненавидела мужиков, Саша же отнесся с крайним любопытством, хотя и испугался немного и задышал чаще. Но скоро привык, и что-то даже понравилось: запах ли дегтя или даже конской мочи, окладистые ли бороды, полушубки, пьяные песни — он и сам не знал. Одно он видел: они были совсем другие, чем все, как будто из другого царства, и это и есть их главный и огромный интерес. Очень возможно, что тут была обычная романтика ребенка, много читавшего о путешествиях; но возможно и другое, более похожее на странного Сашу: тот старый и утомленный, который заснул крепко и беспмятно, чтобы проснуться ребенком Сашей, увидел свое и родное в загадочных мужиках и возвысил свой темный, глухой и грозный голос. Его и услышал Саша.

По воскресеньям Елена Петровна ходила с детьми в ближайшую кладбищенскую церковь Ивана Крестителя. И Линочка бывала в беленьком платье очень хорошенькая, а Саша в гимназическом — черный, тоненький, воспитанный; торжеством было для матери провести по народу таких детишек. И особенно блестела у Саши медная бляха пояса: по утрам перед церковью сам чистил толченым углем и зубным

порошком.

Нищенки-старухи у кладбищенских белых ворот относились к Елене Петровне враждебно и звали ее между собой: «генеральша-то!». Но когда показывалась она с детьми, то высыпали ей навстречу и пели льстивыми голосами:

— Матушка! Деточки-то! И даст же Господь! Матушка!..

От знакомств Елена Петровна уклонялась: от своего круга отошла с умыслом, а с обывателями дружить не имела охоты, боялась пустяков и сплетен; да и горда была. Но те немногие, кто бывал у нее и видел, с каким упорством строит она красивую и чистую жизнь для своих детей, удивлялись ее характеру и молодой страстности, что вносит она в уже отходящие дни; смутно догадывались, что в прошлом не была она счастлива и свободна в желаниях.

Но даже и дети не знали, что задолго до их рождения, в первую пору своего замужества, она пережила тяжелую, страшную и не совсем обычную драму, и что сын Саша не есть ее первый и старший сын, каким себя считал. И уж никак не предполагали они, что город Н. дорог матери не по радостным воспоминаниям, а по той печали и страданию, что испытала она в безнадежности тогдашнего своего положения.

Это было за семь лет до Саши, и генерал тогда сильно и безобразно пил — даже до беспамятства и жестоких, совершенно бессмысленных поступков, не раз приводивших его на край уголовщины; и случилось так, что, пьяный, он толкнул в живот Елену Петровну, бывшую тогда на седьмом месяце беременности, и она скинула мертвого ребенка, первенца, для которого уже и имя мысленно имела: Алексей. И хотя Погодин и уверял, что ударил нечаянно, — и, кажется, это была правда, — оскорбленная женщина решительно отказалась от детей и всякой близости с мужем, пока он совсем и навсегда не бросит пить. Целый год генерал выдерживал пытку и жил с женой в одном доме, но как посторонний; потом на три года разъехался с Еленой Петровной и все три года отчаянно пил и путался с женщинами. И снова поселился с женой, пробуя обмануть ее, и снова разъехался — пока, наконец, побледневший от злобы и неутолимой любви, не расплакался у ее ног и не дал страшной клятвы, обета трезвости.

И вторично стала женою его Елена Петровна, и родила ему Сашу, а через полтора года и Линочку; и даже не знали дети, что отец их пил когда-нибудь. Твердо держал свою клятву генерал, но уже незадолго до смерти, после одного из страшных своих сердечных припадков, вдруг прохрипел жене:

— Ты думаешь, я для тебя не пью? Ну так знай же, что я тебя ненавижу и проклинаю... изверг! Убить тебя мало за то, что ты мне сделала.

Но тут поняла и она, что нет и у нее прощения и не будет никогда — и сама смерть не покроет оскорбления, нанесенного ее чистому, материнскому лону. И только Саша, мальчик ее, в одну эту минуту жестокого сознания возрос до степени высочайшей, стал сокровищем воистину неоцененным и в мире единственным. «В нем прощу я отца», — подумала она, но мужу ничего не сказала.

С тем и умер генерал. И ничего не знали дети.

4. Дети растут

Года три жила Елена Петровна спокойно и радостно и уже перестала находить в Саше то особенное и страшное; и когда первую в череде великих событий, потрясших Россию, вспыхнула японская война, то не поняла предвестия и только подумала: «Вот и хорошо, что я взяла Сашу из корпуса». И многие матери в ту минуту подумали не больше этого, а то и меньше.

Но уже близилось страшное для матерей. Когда появились первые подробные известия о гибели «Варяга», прочла и Елена Петровна и заплакала: нельзя было читать без слез, как возвышенно и красиво умирали люди, и как сторонние зрители, французы, рукоплескали им и русским гимном провожали их на смерть; и эти герои были наши, русские. «Прочту Саше, пусть и он узнает», — подумала мать наставительно и спрятала листок. Но Саша и сам прочел.

— Отчего ты такой бледный, Сашенька? Устал в гимназии?

— Устал.

— Тебе не хочется говорить? А я думала прочесть тебе про «Варяга».

— Мы уже читали.

Она не расслышала слова «мы» и видела только хмурую бледность, вдруг заметила, что обвод глаз стал словно чернее и сами глаза глубже. И не успела еще осмыслить замеченного, как поднял Саша эти самые свои пугающие глаза и строго сказал:

— Ты не имела права. Зачем ты взяла меня из корпуса? Ты не имела права. Отец не позволил бы брать, если бы не умер.

Она чуть не закричала, но сдержалась и сухо, избегая взгляда, сказала:

— Тебе четырнадцать лет! Этого слишком еще мало, чтобы судить о поступках матери. И ты сам никогда не хотел военной службы.

— Ты не имела права. Люди там умирают, а ты меня бережешь. Ты не имеешь права меня беречь.

— Саша!

Но он не стал говорить и ушел в сад, на узенькую дорожку в снегу, которую прочистил сам; и ходил до самых синих сумерек раннего зимнего заката. Если бы он заплакал, знала бы, как поступить, чтобы утишить детское горе, но страдание молчаливое и сдержанное делало ее бессильною и пугало: слишком много чувствовалось в нем непонятной мужской силы. «Говорит такое, а сам и не волнуется как будто», — подумала Елена Петровна про Сашины жуткие глаза. Но когда подошла к зеркалу, чтобы оправиться, как по женской своей привычке делала после каждого сильного волнения, то увидела, что и она по внешности совсем спокойна и даже незачем оправляться. Долго смотрела Елена Петровна на свое отражение и многое успела передумать: о муже, которого она до сих пор не простила, о вечном страхе за Сашу и о том, что будет завтра; но, о чем бы ни думала она и как бы ни колотилось сердце, строгое лицо оставалось спокойным, как глубокая вода в предвечерний сумрак. Отходя, она провела рукой по гладким волосам и решила: «Это у нас характер такой... что ж, я очень рада».

Тяжелый и опасный разговор не возобновлялся по тайному соглашению матери и сына, а вскоре Елена Петровна и совсем позабыла о холодной и странной вспышке. К тому времени с Дальнего Востока потянуло первым холодом настоящих поражений, и стало неприятно думать о войне, в которой нет ни ясного смысла, ни радости побед, и с лёгкостью бессознательного предательства городок вернулся к прежнему миру и сладкой тишине. Успокоились и городские дети, и хотя по-прежнему играли в войну, но

охотнее именовали себя японцами; но увлекались японцами и взрослые, ставили в пример их отношение к смерти и даже маленький рост.

Как-то вечером, уже в первых числах марта, разразилась последняя свирепая метель, и голый сад загудел напряженно и страстно; казалось, будто весь он поднялся на воздух и летит стремительно, звеня крылами и тяжело вздыхая обнаженной грудью. Мамы не было дома, она ушла еще после обеда куда-то в гости, и Линочка рисовала, когда в тихую комнатку ее тихо вошел Саша и сел у стола, в зеленой тени абажура. Та же зеленая тень крыла и Линочкино лицо, делая его худее и воздушней; а короткие пальчики, ярко освещенные и одни как будто живые, проворно и ловко работали карандашом и резинкой. На Сашу она не взглянула, так как привыкла к таким посещениям, и только через минуту сказала, не поднимая глаз от рисунка:

— Теперь в лесу волки.

— Что-то не хочется читать, — сказал Саша. — У тебя в комнате теплее, а у меня снег бьет прямо в окна.

— Ну и сиди, грейся.

Замолчали. Саша слушал, как в звоне и гуле улетает сад; и странно было, что сквозь его мощный рев пробивается тихое, уютное поскрипывание карандаша по бумаге — странно и приятно.

— Лина!

— Ну?

— Ты любишь называть меня греченочком. Пожалуйста, не называй меня так, я не хочу быть похожим на грека.

— Да родной же мой Сашечка...

Крепко потерла резинкой и продолжала:

— Да родной же мой Сашечка! — отчего не называть? Греки бывают разные. Ты думаешь, только такие, которые небритые и с кораллами... а Мильтиад, например? Это очень хорошо, я сам, я сама хотела бы быть похожей на Мильтиада.

— Нет, я не хочу. Я хочу быть похожим на русского.

— Ну как хочешь! Русский так русский.

Снова помолчали. Саша сказал:

— Байрон был великий поэт. Он умер, сражаясь за свободу греков.

— Я знаю, — ответила Линочка, хотя в первый раз услышала, что Байрон умер за свободу. — Не мешай, Сашечка, а то навру.

— А она похожа на гречанку.

— Мама?

Вопрос был нов и интересен, и Линочка положила карандаш. Оба, нахмурившись, смотрели друг на друга, вспоминая, что видели греческого, но только и могли вспомнить, что гимназическую гипсовую Минерву с крутым подбородком и толстыми губами.

— Нет, не похожа! — решила Линочка, вздыхая от натуги.

Саша улыбнулся в своей зеленой тени:

— А я знаю, на кого она похожа. Сказать? Она похожа на одну бабу с базара, которая продает

селедки, такая закутанная в платок.

— Ну вот глупости, нашел с кем сравнить! Мама такая... — Линочка искала слова, но не нашла, — такая... барыня.

— Нет, правда. Я не могу тебе объяснить, но она ужасно, ужасно похожа! Особенно, когда никто не покупает и она сидит так, сложив руки, и совсем не шевелится, а из-под платка такие ужасно огромные глаза. Ты не думай, я ее уважаю.

— погоди, не мешай, я припоминаю.

Линочка совсем спрятала глаза в брови и полураскрыла рот; и вдруг задохнулась и зловещим шепотом сказала:

— Сашенька! Я нашла!

И все более таинственным шепотом, округлив глаза, шептала:

— В нашей церкви... знаешь? — есть на левой стороне картина... знаешь? — и там нарисована одна святая, и ну вот! Она похожа на икону!

— Правда? — поверил Саша.

— Нет, ты подумай, как это страшно: на икону!

Оба испугались. Мама, обыкновенная мама, такой живой человек, которого только сейчас нет дома, но вот-вот он придет, — и вдруг похожа на икону! Что же это значит? И вдруг она совсем и не придет: заблудится ночью, потеряет дом, пропадет в этом ужасном снегу и будет одна звать: — Саша! Линочка! Дети!..

— Куда ты, Саша?

— Встречать маму.

— Иди, иди! Какой ветер!

— Она сказала, что зайдет к Добровым.

— А калоши?

— Я без калош.

В прихожей не было огня, и в окно смотрела вечно чуждая людям, вечно страшная ночь.

— Где моя тужурка?

— Вот. Я держу. Иди, иди!

После этого страшного вечера, закончившегося, однако, совсем благополучно: Елена Петровна уже подъезжала к дому на извозчике и встретила Сашу у самой калитки, — связь между детьми и матерью как будто еще окрепла, а в обращении Саши появлялась особая мягкость, сдержанная нежность и какое-то своеобразное джентльменство. словно в этот именно вечер, сознав себя взрослым, Саша по-мужски услуживал матери, провожал ее по вечерам и уже пробовал, насилуя свой рост, вести ее под руку. Но делал он это с таким достоинством, что не пришло в голову улыбнуться ни Линочке, ничего неестественного не заметившей, ни самой Елене Петровне. Ходил Саша тайно от Линочки и в церковь, где была картина, и нашел, что сестра права: какое-то сходство существовало; но он не долго думал над этим, порешив с прямолинейностью чистого ребенка: «Все матери святые». Но то, что всегда знала мать: боязнь утраты — почувствовал и Саша, узнал муку любви, томительность безысходного ожидания, всю крепость кровных уз... Ибо суждено ему было теми, кто жил до него, поднять на свои молодые плечи все

человеческое, глубиной страдания осветить жестокую тьму. Только те жертвы принимают жизнь, что идут от сердца чистого и печального, плодоносно взрыхленного тяжелым плугом страдания.

Так жили они, трое, по виду спокойно и радостно, и сами верили в свою радость; к детям ходило много молодого народу, и все любили квартиру с ее красотой. Некоторые, кажется, только потому и ходили, что очень красиво — какие-то скучные, угреватые подростки, весь вечер молча сидевшие в углу. За это над ними подсмеивался и Саша, хотя в разговоре с матерью уверял, что это очень умные и в своем месте даже разговорчивые ребята.

— Чего же они тогда молчат? — негодовала Елена Петровна, имевшая, как и Линочка, среди гимназистов своих врагов и друзей.

— Не знаю, боятся, что ли! Ты не сердись на них, мама. Они говорят, что только у нас и видят настоящую жизнь.

— Врут! — определяла Линочка, — Тимохин даже танцевать не умеет, я ему предложила, а он смотрит на меня, как бык с рогами.

— Тимохин один у нас во всем классе сам учится английскому языку, почти уже выучился, — сказал Саша.

— Какой англичанин!

Но Елена Петровна уже примиряла:

— Конечно, это хорошо, но только как же он с произношением?.. И совсем не надо всем танцевать, а ведь можно же спорить, как другие... Впрочем, не знаю, ты их лучше знаешь, Сашенька!

И в следующий раз усиленно любезничала с нелюбимцами, а те от этого крепче замолкали, и она снова негодовала и жаловалась. Но это были пустяки, а, в общем, все дети были так хороши, что хотелось только глядеть на них из уголка и радоваться. И тем особенно были они хороши, что не было ни одного лучше Саши: пусть и поют и поражают остроумием, а Саша молчит; а как только заспорят, сейчас же каждый тянет Сашу на свою сторону: ты согласен со мною, Погодин? И с кем Погодин согласился, тот считает спор окончанным и только фыркает — точно за Сашиным тихим голосом звучат еще тысячи незримых голосов и утверждают истину.

Но этому свойству Сашиного голоса удивлялась и не одна Елена Петровна; и только сам он, кажется, ничего не подозревал.

5. Сны

...Но откуда эта тайная тоска, когда все так хорошо и жизнь прекрасна! Не радуется ли утро дню и день вечеру? — и не всегда ли плывут облака, и не всегда ли светит солнце и плещется вода? Вдруг среди веселой игры, беспричинного смеха, живого движения светлых мыслей — тяжелый вздох, смертельная усталость души. Тело молодо и юношески крепко, а душа скорбит, душа устала, душа молит об отдыхе, еще не отведав работы. Чьим же трудом она потрудилась? Чьею усталостью она утомилась? Томительные зовы, нежные призывы звучат непрестанно; зовет глубина и ширь, открыла вещие глаза свои пустыня и молит: Саша! Линочка! Дети! Или спит Саша крепко, и этот ночной гул мощных деревьев навеивает ему сны о вечной усталости, о вечной жизни и беспредельной широте?

Открывает глаза и видит в светлеющее окно: машут ветви, и это они гонят в комнату тьму, и от самой постели тьма и от самой постели Россия.

Но зачем так яркие сны? Видит Елена Петровна, будто ночью забеспокоилась она о Саше и в темноте, босая, пошла к нему в комнату и увидела, что смятая постель пуста и уже охолодала. Подогнулись ноги, села на постель и тихо позвала:

— Саша!

И откуда-то издалека Саша ответил:

— Мама!

Позвала еще:

— Иди сюда, ко мне... Саша!

Но уже не было ответа на этот зов.

Проснулась Елена Петровна и видит, что это был сон и что она у себя на постели, а в светлеющее окно машут ветви, нагоняют тьму. В беспокойстве, однако, поднялась и действительно пошла к Саше, но от двери уже услышала его тихое дыхание и вернулась. А во все окна, мимо которых она проходила, босая, машут ветви и словно нагоняют тьму! «Нет, в городе лучше», — подумала про свой дом Елена Петровна.

6. Трудное время

Но уже наступило страшное для матерей, пришло незаметно, стало тихо, оперлось крепко о землю своими чугунными ногами. Кто думает, отрывая ежедневно листки календаря, что время идет? Красная кровь уже хлынула с Востока на Россию, вернулась к родным местам, малыми потоками разлилась по полям и городам, оросила родную землю для жатвы грядущего. Было спокойно, и вдруг стало беспокойно; и кто из живущих мог бы назвать тот день, тот час, ту минуту, когда кончилось одно и наступило другое? Когда пришла кровь? Что было раньше, а что было позже? И было ли?

Когда это было, что Саша вернулся домой в четыре часа ночи и перепугал Елену Петровну своим видом — до убийства министра или после? И в этот ли именно раз напугал ее своим видом, или в другой, похожий, или совсем непохожий? Нет, в этот. Нет, в другой. Это было уже тогда, когда начались казни... а когда начались казни? До именин Линочки, когда пили почему-то шампанское, и Елена Петровна пила, и все пели, и было так весело, что и вспомнить трудно, — или после? Нет, конечно, раньше, тогда, когда к ним еще все ходили, и дети по вечерам бывали дома, и Саша вслух читал «Видение Вальтасара»:

Падут твердыни Вавилона,
Неотразим судьбы удар...

Но дома ли читал Саша байроновские стихи или же на вечеринке? Да, кажется, на какой-то вечеринке или вообще в гостях; и ему еще много аплодировали.

А когда к ним перестали ходить, — когда был этот ужасный вечер, эта несчастная суббота, в которую никто не явился? Выскочивший из связи времен — как ярко помнится этот вечер со всеми его маленькими подробностями, вплоть до лампы, которая чуть-чуть не начала коптить.

Уже пробило девять, а никто не являлся, хотя обычно гимназисты собирались к восьми, а то и раньше, и Саша сидел в своей комнате, и Линочка... где была Линочка? — да где-то тут же. Уже и самовар подали во второй раз, и все за тем же пустым столом кипел он, когда Елена Петровна пошла в комнату к сыну и удивленно спросила:

— Что же это значит, Саша? Никого еще нет.

Саша положил брошюрку — да, это была брошюрка в красной обложке! — и как будто совсем равнодушно ответил:

— Они, вероятно, и не придут.

— Вероятно?

— Нет, наверное. Сегодня собрание у Тимохина.

— А почему же не у нас? Я ничего не понимаю... и ты меня даже не предупредил!

И вдруг у нее мелькнула тяжелая и обидная догадка, и сухо она спросила:

— Может быть, впрочем, я вам мешаю? Тогда мне все понятно. Но почему же ты не идешь к Тимохину? Иди, еще не поздно.

— Не огорчайся, мама. И не то, чтобы ты так уже мешала, это пустяки, но они говорят, что у нас слишком уж красиво.

— Нельзя окурки на пол бросать?

И Саша строго, — да, именно строго, — ответил:

— Да. Нельзя окурки на пол бросать.

— Тимохин же все равно бросает на пол!

Саша неприятно улыбнулся и, ничего не ответив, заложил руки в карманы и стал ходить по комнате, то пропадая в тени, то весь выходя на свет; и серая куртка была у него наверху расстегнута, открывая кусочек белой рубашки — вольность, которой раньше он не позволял себе даже один. Елена Петровна и сама понимала, что говорит глупости, но уж очень ей обидно было за второй самовар; подобралась и, проведя рукой по гладким волосам, спокойно села на Сашин стул.

— Я говорю глупости, — сказала она и даже улыбнулась. — В чем же дело? Объясни мне, Саша!

— Ты не знаешь, я не умею говорить, но приблизительно так они, то есть я думаю. Это твоя красота, — он повел плечом в сторону тех комнат, — она очень хороша, и я очень уважаю в тебе эти стремления; да мне и самому прежде нравилось, но она хороша только пока, до настоящего дела, до настоящей жизни... Понимаешь? Теперь же она неприятна и даже мешает. Мне, конечно, ничего, я привык, а им трудно.

— Красота никогда не может помешать.

— Да, может быть, какая-нибудь другая красота и не помешает, но эта... Я не хочу тебя обидеть, мамочка, но мне все это кажется лишним, — ну вот зачем у меня на столе вот этот нож с необыкновенной ручкой, когда можно разрезать самым простым ножом. И даже удобнее: этот цепляется. Или эта твоя чистота — я уж давно хотел поговорить с тобою, это что-то ужасное, сколько она берет времени! Ты подумай...

Но Елена Петровна даже уж и не удивилась, когда в свою очередь попала и чистота; только смотрела, как краснеет у Саши лицо, и некстати подумала: «А начинают-таки виться волосы, я всегда ждала этого».

— Нет, ты только подумай! Проснувшись, я прежде всего чищу зубы, уже привык, не могу без этого...

— Зато у тебя прекрасные зубы и нет ни одного порченого!

— Когда-нибудь все равно вывалятся! Считай: три, а то и пять минут.

— Да зачем тебе так нужно время?

— Нет, погоди! Потом я занимаюсь гимнастикой — как же, привык! — вот тебе еще пятнадцать — двадцать минут. Потом я обмываюсь холодной водой и докрасна — непременно докрасна! — растираю свое благородное тело. Потом...

И выходило так по его словам, что весь день он только и делает, что чистит себя. Но тут пришла Линочка, и разговор пошел уже втроем, и Линочка тоже на что-то жаловалась, кажется, на свои таланты, которые отнимают у нее много времени.

— Да на что вам время? — все изумлялась Елена Петровна, а те двое говорили свое, а потом пошли вместе пить чай, и был очень веселый вечер втроем, так как Елена Петровна неожиданно для себя уступила красоту, а те ей немного пожертвовали чистотой. И то, что она так легко рассталась с красотой, о которой мечтала, которой служила, которую считала первым законом жизни, было, пожалуй, самое удивительное во весь этот веселый вечер. И в этот же вечер, а может быть, и в другой такой же веселый и легко разрушительный вечер, она позволила Линочке бросить за чем-то уроки рисования, не то музыки... Когда была брошена музыка?

Когда перестали дети ходить в церковь?

Когда было раньше, а когда было позже? Выскикивают дни без связи, а порядок утерян — точно рассыпал кто-то интересную книгу по листам и страничкам, и то с конца читаешь, то с середины. Когда это было, что они с Сашей смотрели, как по базару гонят бородатых запасных и режут бабы с детьми, и Елена

Петровна плакала и куда-то рвалась, а Саша дергал ее за руку и говорил плачущим голосом: мамочка, не надо! Что не надо? Конечно, это было еще до манифеста, а вместе с тем совершенно рядом с этим днем, как продолжение его, выскакивает вечер у того самого угреватого Тимохина, англичанина, жаркая комнатка, окурки на полу и подоконниках, и сама она не то в качестве почетной гостьи, не то татарина. Но одно несомненно, что времени между этими двумя случаями не меньше двух, или даже трех лет, а вспоминается и чувствуется рядом.

Вообще, когда она стала ходить, как девочка, по митингам и собраниям, и ее любезно проводили в первые ряды? Даже в газету раз попала, и репортер придавал ее появлению на митинге очень большое значение, одобрял ее и называл «генеральша Н.». Тогда же по поводу заметки очень смеялись над нею дети.

Однажды звал к себе директор гимназии и заявил, что Саша исключен за какие-то беспорядки, а потом оказалось, что Саша не исключен и оставался в гимназии до самого своего добровольного ухода, — когда это было? Или это не директор звал, а начальница женской гимназии, и речь шла о Линочке, — во всяком случае, и к начальнице она ездила объясняться, это она помнила наверное.

И когда в ихнем городе появились на улицах казаки? И когда произошел первый террористический акт: был убит жандармский ротмистр? Нет, еще раньше был убит городской, а еще, кажется, раньше околоточный надзиратель, и на торжественных похоронах его черная сотня избила на полусмерть двух гимназистов, и Елена Петровна думала, что один из изувеченных — Саша. И когда она начала бояться этой черной сотни — до ужаса, до неистовых ночных кошмаров?

Когда приделан железный засов к двери?

7. Отец

Но вот это, к сожалению, Елена Петровна помнит ясно, знает даже день: четвертое декабря, за шесть месяцев до ухода Саши.

Утром за чаем — они еще пили чай! — Саша прочел в газете фамилию нового губернатора, который только недавно к ним был назначен и уже повесил трех человек, и Елене Петровне вдруг что-то вспомнилось:

— Телепнев... Телепнев... Постой, Саша, я что-то припоминаю. Ну-ка, а как инициалы? П. С.? Ну да: Петр Семенович, папин товарищ! Ты подумай, Сашенька, этот Телепнев, наш губернатор, был лучший папин товарищ, вместе учились...

— Да?

— Да как же! А я и забыла — стареется твоя мать, Саша. Как же это я забыла: ведь друзья были!

Задумчиво, с тем выражением, которое бывает у припоминающих далекое, она смотрит на Сашу, но Саша молчит и читает газету. Обе руки его на газете, и в одной руке папироса, которую он медленными и редкими движениями подносит ко рту, как настоящий взрослый человек, который курит. Но плохо еще умеет он курить: пепла не стряхивает и газету и скатерть около руки засыпал... или задумался и не замечает?

Осторожным движением, чтобы не помешать, Елена Петровна пододвигает пепельницу и, забыв о Телепневе, вдруг поражается тем, что Саша задумался, как поражается всем, что свидетельствует об его особой от нее, самостоятельной, человеческой, взрослой жизни. Иногда это смешит ее самое: вдруг поразится, что Саша читает, или что он, как мужчина, поднял одной рукой тяжелое кресло и переставил, или что он подойдет к плевательнице в углу и плюнет, или что к нему обращаются с отчеством: Александр Николаевич, и он отвечает, нисколько не удивляясь, потому что и сам считает себя Александром Николаевичем.

Александр Николаевич!..

Но теперь к обычному удивлению матери, не могущей привыкнуть к отделению и самостоятельности ее плода, примешивается нечто новое, очень интересное и важное: как будто до сих пор она рассматривала его по частям, а теперь увидела сразу всего: Боже ты мой, да он ли это, — где же прежний Саша?

Этому скоро исполнится девятнадцать лет, он высок, — это видно, даже когда он сидит, — правда, немного худ и юношески узковата грудь, но смуглое лицо крепко и свежо; и в четко и красиво изогнутых губах, твердом подбородке чувствуется сила и даже властность: эка, даже властность! Все так же жутко обведены глаза и даже на газету опущенные смотрят строго, но как это непохоже на прежнюю усталость взгляда, где-то в себе самом черпавшего вечную тревогу! Как будто давно не видала Саши: припоминает Елена Петровна его теперешний взгляд — да, этот смотрит смело и красиво, и разве только чуть-чуть тяжело, когда надолго остановится, забудет перевести глаза.

И как приятно, что нет усов и не скоро будут: так противны мальчишки с усами, вроде того гимназиста, кажется, Кузьмичева, Сашиного товарища, который ростом всего в аршин, а усы как у французского капрала! Пусть бы и всегда не было усов, а только эта жаркая смуглота над губами, чуть-чуть погуще, чем на остальном лице.

«Не надо говорить ему, что он красив», — думает Елена Петровна и поспешно опускает глаза.

Недолгое молчание — и точно силою заставляет их вновь подняться холодный и хмурый вопрос:

— А он у нас и в доме бывал?

Елена Петровна уже догадывается о значении вопроса, и сердце у нее падает; но оттого, что сердце пало, строгое лицо становится еще строже и спокойнее, и в темных, почти без блеска, обведенных византийских глазах появляется выражение гордости. Она спокойно проводит рукой по гладким волосам и говорит коротко, без той бабьей чистосердечной болтливости, с которой только что разговаривала:

— Да, бывал. Он часто бывал у папы.

— И вы были ему рады?

— Генерал любил его. Хочешь еще чаю?

— Спасибо, — говорит Саша и еще раз повторяет: — Спасибо! Ну, а скажи, как ты думаешь, ты хорошо знала генерала... — Губы Саши кривятся в веселую, не к случаю, улыбку. — Ведь наш генерал-то был бы теперь, пожалуй, губернатором и тоже бы вешал... Как ты думаешь, мама?

Прошел длинный, мучительный день, а ночью Елена Петровна пришла в кофточке к Саше, разбудила его и рассказала все о своей жизни с генералом — о первом материнстве своем, о горькой обиде, о слезах своих и муке женского бессильного и гордого одиночества, доселе никем еще не разделенного. При первых же ее серьезных словах Саша быстро сел на постели, послушал еще минуту и решительно и ласково сказал:

— Выйди, мамочка, на минуту, я сейчас оденусь.

И помнит же она эти несколько минут! За дверью, в щель которой вдруг пробилась острая полоска света, — скрипела постель, стукнула уроненная ботинка, звякала чашка умывальника: видно было, что Саша торопливо и быстро одевается; а она, готовясь и ожидая, тихо скользила по темной комнате и беззвучно шептала, заламывая руки:

«Пойми меня, Саша! Пойми меня, Саша!» И все ходила и сама не слышала себя, серая в темноте, бесшумная, плененная, — как насмерть испуганная ночная птица.

— Нет, нет! Бога ради, потуши свечку! — взмолилась она, тихо позванная Сашей; и вначале все путала, плакала, пила воду, расплескивая ее в темноте, а когда Саша опять зажег-таки свечу, Елена Петровна подобралась, пригладила волосы и совсем хорошо, твердо, ничего не пропуская, по порядку рассказала сыну все то, чего он до сих пор не знал. И когда Саша, слушавший очень внимательно, подошел к ней в середине рассказа и горячей рукой несколько раз быстро и решительно провел по гладким, еще черным волосам, она сделала вид, что не понимает этой ласки, для которой еще не наступило время, отстранила руку и, улыбнувшись, спросила: «Что, растрепалась?» И сделала вид, будто сама поправляет не нуждающиеся в этом волосы. Но, кончив рассказ, перед страшным выводом из него: что до сих пор она не простила мужа и не может простить, — запнулась, глотнула воздух и выжидательно, в страхе, замолчала.

Молчал и Саша, обдумывая. Поразил его рассказ матери; и то, что мать, всегда так строго и даже чопорно одетая, была теперь в беленькой, скромной ночной кофточке, придавало рассказу особый смысл и значительность — о самой настоящей жизни шло дело. Провел рукой по волосам, расправляя мысли, и сказал:

— Ну что ж, мамочка: так, так так! И не скажу даже, чтобы все это очень меня удивило, что-то такое я чувствовал уже давно. Да, генерал... Лине, пожалуй, пока не говори, потом как-нибудь расскажешь.

— Хорошо. Саша, Сашенька... Ну, а как же отец?

— Генерал? Генерал умер.

— Не называй его так.

— Это правда. Отец? Отец, да... Ты боишься сказать, что не простила его, не можешь простить?

Елена Петровна утвердительно кивнула головой; и в висках стукнули набегающие слезы.

— Я люблю его.

— А простить — нет?

Елена Петровна мотнула головой: нет! Набегали горячие слезы, и она не мигала, не мешала глазам наливаясь, пока не наполнились они; и уже перелилось, потекло по щеке, защекотало — и точно просветлела комната, оделась искристым туманом и трогательно заколыхалась. Саша что-то говорил, мелькал в тумане.

Плохо доходили до сознания слова, да и не нужны они были: другого искало измученное сердце — того, что в голосе, а не в словах, в поцелуе, а не в решениях и выводах. И, придавая слову «поцелуй» огромное во всю жизнь значение, смысл и страшный и искупительный, она спросила твердым, как ей казалось, голосом, таким, как нужно:

— Можно поцеловать тебя, Сашенька?

И в ожидании, полном страха, закрыла мокрые от слез глаза. Что было потом?

То, о чем надо всегда плакать, вспоминая. Царь, награждающий царствами и думающий, что он только улыбнулся; блаженное существо, светлейший властелин, думающий, что он только поцеловал, а вместо того дающий бессмертную радость, — о, глупый Саша! Каждый день готова я терпеть муки рождения, чтобы только видеть, как ты вот ходишь и говоришь что-то невыносимо-серьезное, а я не слушаю! Не слушаю!

— Говори, говори, Сашечка!

— Да ты не слушаешь, мама? Я тебя спрашиваю, а ты...

— Говори, говори, Сашечка!

Ну и пусть довел до комнаты, как пьяную: да и пьяна же я материнской радостью моею!

Вот еще чего не знала о той ночи Елена Петровна.

Когда мать уснула, Саша вернулся в комнату и разделся, чтобы спать, но не мог забыться даже на минуту и все курил и думал. Ему казалось, что он теперь разгадал что-то в своей судьбе, но он никак не мог точно и ясно определить угаданное и только твердил: «Ну, конечно, ну, конечно, так! Теперь все ясно». И образ покойного отца, точно с умыслом во всей неприкосновенности сбереженный памятью до этого дня, впервые предстал его сознанию и поразил его своею как бы чуждостью, а вместе чем-то и своим. Увидел ясно в каждом волоске его четырехугольную широкую бороду и плешину среди русых и мягких волос, крутые, туго обтянутые плечи; почувствовал жесткое прикосновение погона, не то ласковое, не то угрожающее — и вдруг только теперь осознал ту тяжесть, что, начинаясь от детства, всю жизнь давила его мысли.

Да, это он, отец — этот важный, порою ласковый, порою холодно-угрюмый, мрачно-свирепый человек, занимающий так много места на земле, называемый «генерал Погодин» и имеющий высокую грудь, всю в орденах. И такие же высокие в орденах груди у его друзей или подчиненных: кланяются, звякая шпорами, блестят золотом шитья, точно поднимают потолки в комнатах и раздвигают стены, — в мрачном великолепии и важности застыла холодная пустота. Гулки, как во сне, шаги отца: за много комнат слышно, как он идет, приближается, грузно давит скользкий, сухо поскрипывающий паркет; далеко слышен и голос его — громкий без натуги, сипловатый от водки, бухающий бас: будто не слова, а кирпичи роняет

на землю. Это отец, да.

А у денщика Тимошки рожа испитая и часто в синяках; и такие же рожи у других, постоянно меняющихся денщиков — почему рожи, а не лица? Нет, это нельзя назвать лицом, и это не слезы — то, что с любовью и странным удовольствием размазывает Тимошка по скуластым щекам своим. И память ли обманывает, или так это и было: однажды сам Саша своим тогдашним маленьким кулаком ударил Тимошку по лицу, и что-то страшно любопытное, теперь забытое, было в этом ударе и ожидании: что будет потом? А старый облезлый кот, повешенный денщиками за сараем? А лошадь, которая боится отца, и косит на него глазом, и широко расставляет ноги, как раздавленная, когда отец, пошатнув ее, становится в стремя, а потом грузно опускается в седло? Сильна мать, что так долго боролась с отцом и победила его, но почему же и она и дети замолкают, когда издали послышатся гулкие приближающиеся шаги и вдруг, точно от предчувствия идущей тяжести, тихонько скрипнет паркет в этой комнате? И этот жест Елены Петровны: торопливое и ненужное приглаживание волос, начался как раз оттуда, от этих минут ожидания, когда уже заранее поскрипывал паркет.

И она сказала, что любит его — не прощает и любит. И это возможно? И как, какими словами назвать то чувство к отцу, которое сейчас испытывает сын его, Саша Погодин, — любовь? — ненависть и гнев? — запоздалая жажда мести и восстания и кровавого бунта? Ах, если бы теперь встретиться с ним... не может ли Телепнев заменить его, ведь они друзьями были!

Однажды на смотре, на каком-то маленьком, не особенно важном смотре был и Саша с матерью, и генерал, бывший на лошади, посадил Сашу к себе. И когда оторвался он от земли чьими-то руками, а потом увидел перед самыми глазами толстую, вздрагивающую, подвижную шею лошади, а позади себя почувствовал знакомую тяжесть, услышал хриплое дыхание, поскрипывание ремней и твердого сукна — ему стало так страшно обоим, и отца и лошади, что он закричал и забился. И чем крепче сжимала его рука невидимого человека, тем сильнее он бился, и кто-то снял его. На земле он сразу перестал плакать и увидел выпуклые, серые, орлиные, теперь яростные глаза отца, который, низко свесившись с лошади, кричал на него:

— Трус-мальчишка! Дрянь! Стыдно! Трус-мальчишка!

А тяжелая, как отец, страшная лошадь топталась обросшими волосатыми ногами, косила глазом и тоже фыркала: трус-мальчишка, трус!

«Это ему было стыдно за меня перед солдатами! — думал Саша, стискивая зубы. — Нет, ваше превосходительство, я не трус, я нечто другое, ваше превосходительство, и вы это узнаете! Ваша кровь в моих жилах, и рука моя, пожалуй, не менее тяжела, чем ваша, и вы узнаете... Впрочем, спокойной ночи, ваше превосходительство!»

Потом Саша думал, уже засыпая:

«Можно отречься от отца? Глупо: кто же я тогда буду, если отрекусь! — ведь я же русский. А в гимназию-то я не пошел, хоть и русский. Вообще русским свойственно... что свойственно русским? Ах, Боже мой — да что же русским свойственно? Встаньте, Погодин!»

И, уже совсем засыпая, Саша увидел призрачно и смутно: как он, Саша, отрекается от отца. Много народу в церкви, нарочно собрались, и священник в черных великопостных одеждах, и Саша стоит на коленях и говорит: «...Не лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя...» Хор запел: — Аминь!

И так страшен был его рев, что Саша очнулся и увидел, что за окнами уже светло, а во рту у него потухшая папироса. Вынул папиросу и крепко, без сновидений, уснул.

8. Бесталанные

Это было в марте, в воскресенье.

Был уже двенадцатый час, когда некто Колесников подходил к дому, где жили Погодины. «Ну и улица!» — думал он, прыгая из одного сухого протоптанного гнезда в другое и подолгу отыскивая камни, брошенные добрыми людьми для перехода и неуловимо темневшие среди нестерпимого блеска воды, жидкой грязи и островков искристого снега. Шел он против солнца, и каждая лужица, каждая налитая колея горела, как окаянная. «Ну и дом!» — подумал он огорченно, когда в отворенную калитку вместо двора увидел целое озеро весенней воды; и в этом озере, как в настоящем, отражались деревья, белый низенький домик и крыльцо. На крыльце стояла барышня, глядела на Колесникова и тоже отражалась в воде. «Вот и барышня стоит и смотрит — как неловко! А Погодина-то, может быть, и дома нет, ну да уж все равно пропадать».

— Что же вы стоите? — крикнула барышня. — Вы к Саше? Идите налево около забора, там дорожка. Да левее же, еще, да еще же!

Покорно забирая влево, Колесников увидел, что на крыльцо вышла худая, красивая, немолодая барыня и тоже смотрит на него, и так было неловко от одной барышни, а тут еще и эта. Но все-таки дошел и даже поклонился, а то все боялся, что забудет.

— Погодин, гимназист, здесь живет?

— Здесь, я его мать. Вы к Саше по делу? Он сейчас только встал, пьет чай.

— Нет, почему же по делу? Я его знакомый, Колесников.

— Знакомый? Очень рада. Пожалуйста!

Слова были любезные, а в голосе открыто звучало недоверие и тревога, и глаза слишком разглядывали. «Ну что ж я поделаю, — покорно подумал Колесников, уже привыкший слышать эту тревогу в голосе всех матерей, — я ничего поделать не могу: тревожишься, ну и тревожешься». А Елена Петровна рассматривала его и думала: «Вот и еще знакомый!.. Разве такие знакомые бывают. И калоши текут, и борода, как у разбойника, только детей пугать; а если его обрить, то, пожалуй, и добряк, — только он сам никогда об этом не догадается. Ох, Господи, все они добряки, а мне от этого не легче!»

— Мама! — сказала Линочка, зная мысли матери и не одобрявшая их. — Надо же показать, куда идти. Сюда идите... Саша, к тебе знакомый.

Но и Саша как будто удивился при виде черной бороды, желтых скул и шершавой вихрастой головы, и даже слегка нахмурился: заметно было, что видит он Колесникова чуть ли не в первый раз. Однако было в круглых, черных, также как будто удивленных глазах посетителя что-то примиряющее с ним, давно и хорошо знакомое: только взглянул, а словно всю жизнь свою рассказал и ждет вечной дружбы.

— У вас тут, того-этого, совсем Венеция, — сказал Колесников глухим басом и, поискав лица, с улыбкой остановил круглые глаза на Линочке, — только гондолы-то у меня текут, вон как, того-этого, наследил!

Линочка с упреком взглянула на мать: видишь, какой он! — и ответила:

— Мы с Сашей, когда были маленькие, каждую весну плавали ко двору на плотках.

— Пойдемте ко мне, — сказал Саша, вставая.

Елена Петровна с жалостью к Саше взглянула на недоеденный хлеб и сурово промолвила:

— Ты лучше, Саша, чай бы допил. Я и гостю налью.

— Нет, не хочу. Или дай к нам в комнату два стакана.

После столовой в комнате у Саши можно было ослепнуть от солнца. На столе прозрачно светлела хрустальная чернильница и бросала на стену два радужных зайчика; и удивительно было, что свет так силен, а в комнате тихо, и за окном тихо, и голые ветви висят неподвижно. Колесников заморгал и сказал с какой-то особой, ему понятной значительностью:

— Весна!

Саша спокойно молчал; и молча передвинул в тень чернильницу, и зайчики погасли.

— Ваша мама меня боится, а сестра нет, — сказал Колесников и снова со вздохом повторил, — весна!

— Мы с вами где-нибудь встречались? Я что-то плохо помню.

— Как же, разок встретились. Только там, того-этого, были другие не знакомые вам люди, и вы меня не заметили. А я заметил хорошо. Жалко вот, что мамаша ваша меня боится, да чего ж поделаешь! Теперь не такое время, чтобы разбирать.

Саша слегка покраснел:

— Где же это было? Я не помню.

— Там! — ответил Колесников, придвигая стакан чаю. — Вы, того-этого, предложили убить нашего Телепнева, а наши-то взяли и отказались. Я тогда же из комитета и вышел: «Ну вас, говорю, к черту, дураки! Как же так не разобрать, какой человек может, говорю, а какой не может?» Только они это ввали, они просто трусили.

Лицо Саши потемнело:

— Мне неприятно об этом вспоминать. Но я очень рад, что вы ко мне пришли, теперь я вас помню. Пейте, пожалуйста, чай.

— Меня зовут Василий Васильевич, — сказал Колесников, — я уж два раза, если вам интересно, из ссылки бегал. Только вот беда, того-этого, не оратор я, и талантов у меня нет никаких.

— У меня тоже нет талантов, — сказал Саша и впервые с улыбкой поднял на Колесникова свои жуткие, но теперь улыбающиеся глаза.

И как с первого раза знакомился своими глазами Колесников, так своими с первого раза и навсегда убеждал Погодина; так и теперь сразу и навсегда убедил он только что пришедшего в чем-то радостном и необыкновенно важном. Заерзав на стуле, Колесников в широкой улыбке открыл черные, но крепкие зубы и пробасил:

— Вот удивили вы меня! А чьи ж это картинки на стене? Неужто не ваши?

— Нет, сестры.

— Сестры? Молодец сестра!

Но сразу же нахмурился и с искренним огорчением произнес:

— Экое горе, того-этого, какие мы с вами бесталанные! Только вы, я думаю, ошибаетесь, нельзя этого допустить, чтобы у вас не было таланта. Может, не обнаружился еще? Это часто бывает с молодыми людьми. Таланты-то ведь бывают разные, того-этого, не только что карандашиком или пером водить.

— Никакого. Я и говорить не умею.

— Вот удивляете вы меня! Но погодите, еще откроется! Да, того-этого, еще откроется!

Колесников вдруг заволновался и заходил по комнате; и так как ноги у него были длинные, а комната маленькая, то мог он делать всего четыре шага. Но это не смущало его, видимо, привык человек вертеться в маленьком помещении.

— Боже ты мой! — гудел он взволнованно и мрачно, подавляя Сашу и несуразной фигурой своей, истово шагающей на четырех шагах, и выражением какого-то доподлинного давнишнего горя. — Боже ты мой, да как же могу я этому поверить! Что не рисует да языком не треплет, так у него и талантов нет. Того-этого, — вздор, милостивый государь, преподлейший вздор! Талант у него в каждой черте выражен, даже смотреть больно, а он: «Нет, это сестра! Нет, мамаша!» Ну и мамаша, ну и сестра, ну и вздор, преподлейший вздор!

Саше уже тяжело становилось, когда Колесников внезапно стих, сделал еще два оборота по комнате и сел, сказав совершенно спокойно:

— Чай-то уж остыл. И ни разу это у меня не бывало, чтобы я попал на настоящий чай: то горяч, а то уж и остыл.

— Давайте стакан, я принесу горячего.

— Чего там, и этот хорош, это я так, к слову. Вот что, товарищ, денек-то сегодня славный! Пойдемте за кирпичные сараи пострелять из браунинга. Я и браунинг принес.

— У меня свой есть, — сказал Саша и вынул из стола никелированный, чистенький, уже заряженный револьвер.

У Колесникова браунинг оказался черный, и оба долго и с интересом разглядывали оружие, и Колесников вздохнул.

— Да! — сказал он со вздохом, — времена крутые. У меня знакомая одна была, хорошо из браунинга стреляла, да не в прок ей пошло. Лучше б никогда и в руки не брала.

— Повешена?

— Нет, так. Зарубили. Ну, того-этого, идем, Погодин. Вы небось по голосу думаете, что я петь умею? И петь я не умею, хотя в молодости дурак один меня учил, думал, дурак, что сокровище открыл! В хоре-то, пожалуй, подтягивать могу, да в хоре и лягушка поет.

Овраги и овражки были полны водою, и до кирпичных сараев едва добрались; и особенно трудно было Колесникову: он раза два терял калоши, промочил ноги, и его серые, не новые брюки до самых колен темнели от воды и грязи.

— Славные у вас сапоги! — сказал он Саше и сам себя спросил: — Отчего я и себе, того-этого, таких не куплю? Не знаю.

Простором и тишиною встретило их поле; весенним теплом дымилась голубая даль, воздушно млели в млечной синеве далекие леса. В безветрии начавшийся, крепко стоял погожий день, обещаая ясный вечер и звездную, с морозцем, ночь. Было так празднично все, что и стрельба из револьверов казалась праздничной, веселой забавой, невинным удовольствием. Для цели Саша выломал в гнилой крыше заброшенного сарая неширокую, уже высохшую доску и налепил кусочек белой бумаги; и сперва стреляли на двадцать пять шагов. Из трех пуль Колесников всадил две, одну возле самой бумажки, и был очень доволен.

— Не всякий может, — сказал он внушительно; и, расставив длинные ноги и раскрыв от удовольствия рот, критически уставился на Сашу. И с легким опасением заметил, что тот немного побледнел и как-то медленно переложил револьвер из левой руки в правую: точно лип к руке холодный и тяжелый,

сверкнувший под солнцем браунинг: «Волнуется юноша, — думает, что в Телепнева стреляет. Но руку держит хорошо».

Однако все три пули всадил побледневший Саша, и две из них в самый центр. Колесников загудел от удовольствия, а он, все еще бледный, но, видимо, чрезвычайно довольный, переложил липнувший револьвер в левую руку и сказал:

— Да, я хорошо стреляю. Попробуем на сорок шагов?

— Попробуйте вы. Я, того-этого, и патронов тратить не хочу.

Все же, когда цель перенесли, сделал один выстрел и промазал, а Саша и в этот раз попал — две пули, одна возле другой.

— И это не талант? — воодушевился Колесников, — подите вы, Погодин, к черту! Да с этим талантом, того-этого, целый роман написать можно.

— А они вот отказались, — сухо промолвил Саша, намекая на комитет. — Посидим, Василий Васильевич, здесь очень хорошо!

Выбрали сухое местечко, желтую прошлогоднюю траву, разостлали пальто и сели; и долго сидели молча, парясь на солнце, лаская глазами тихую даль, слушая звон невидимых ручьев. Саша курил.

— Ручьи текут, а мне, того-этого, кажется, будто это слезы народные, — сказал Колесников наставительно и вздохнул.

И Саше, ждавшему ответа относительно Телепнева, не понравились и наставительность эта, и напыщенность фразы, и самый вздох. Молчал и, уже скучая, ждал, что скажет дальше. Вдруг Колесников засмеялся:

— Смотрю на вас, Александр Николаевич, и все удивляюсь, какой вы, того-этого, корректный! Не знаю я вас так хорошо, так хоть домой иди, ей-Богу!

— А откуда ж вы меня так хорошо знаете?

— Не знал бы, так и не пришел бы, — уже серьезно сказал Колесников. — Но вот что вы мне скажите: почему вы избрали Телепнева? Не такая уж он птица, чтобы из-за него вешаться. Так и у нас говорили... в вас-то они не очень уж сомневались.

Саша вдруг смутился.

— Телепнева? — нерешительно переспросил он. — Я думаю, основания ясны. Впрочем... у меня были и свои соображения. Да, свои соображения, личные...

И, уже забыв о Колесникове, он сразу всей мыслью отдался тому странному, тяжелому и, казалось, совсем ненужному, что давило его последние месяцы: размышлению об отце-генерале. Тогда, после разговора с матерью, он порешил, что именно теперь, узнав все, он по-настоящему похоронил отца; и так оно и было в первые дни. Но прошло еще время, и вдруг оказалось, что уже давно и крепко и до нестерпимости властно его душою владеет покойный отец, и чем дальше, тем крепче; и то, что казалось смертью, явилось душе и памяти, как чудесное воскресение, начало новой таинственной жизни. Все забытое — вспомнилось; все разбросанное по закоулкам памяти, рассеянное в годах — собралось в единый образ, подавляющий громадностью и важностью своею. И теперь, в смутном сквозь грезу видении обнаженного поля, в волнистости озаренных холмов, вблизи таких простых и ясных, а дальше к горизонту смыкавшихся в вечную неразгаданность дали, в млечной синеве поджидающего леса, — ему почудились знакомые теперь и властные черты. И как было все это время: острая, как нож, ненависть столкнулась с чем-то невыносимо похожим на любовь, вспыхнул свет сокровеннейшего понимания, загорелись и

побежали вдаль кроваво-праздничные огни. Вдруг, не поднимая глаз, Саша спросил Колесникова:

— Вы русский?

Колесников, разглядывавший Сашу с таким вниманием, что оно было бы оскорбительно, замечай его Саша, не сразу ответил:

— Русский. Не в этом важность, того-этого.

— У меня мать гречанка.

— Что ж!.. И это хорошо.

— Почему хорошо?

— Хорошая кровь. Кровь, того-этого, многих мучеников.

Саша ласково взглянул в его черные глаза и подумал:

«Вот же чудак, при таком лице носит велосипедную фуражку. Но милый». Вслух же сказал:

— Байрон умер за свободу греков.

— Ну и вздор! Кто, того-этого, нуждается в свободе, тому незачем ходить в чужие края. И где это, скажите, так много своей свободы, что уж больше не надо? И вообще, того-этого, мне совсем не нравится, что вы сказали про Телепнева, про какие-то личные ваши соображения. Личные! — преподлейший вздор.

Колесников взволнованно заходил и, хотя места было много, по-прежнему кружился на своих четырех шагах; и при каждом шаге громко, видимо, раздражая его, хлюпали калоши.

— Вот я, видите? — гудел он в высоте, как телеграфный столб. — Весь тут. Никто меня, того-этого, не обидел, и жены моей не обидел — нет же у меня жены! И невесты не обидел, и нет у меня ничего личного. У меня на руке, вот на этой, того-этого, кровь есть, так мог бы я ее пролить, имей я личное? Вздор! От одной совести сдох бы, того-этого, от одних угрызений.

Быстро подошел к Саше и, наклонившись, с высоты, сердито замахал на него пальцем:

— Эй, юноша, того-этого, не баламуть! Раз имеешь личное, то живи по закону, а недоволен, так жди нового! Убийство, скажу тебе по опыту, дело страшное, и только тот имеет на него право, у кого нет личного. Только тот, того-этого, и выдержать его может. Ежели ты не чист, как агнец, так отступись, юноша! По человечеству, того-этого, прошу!

Уже исступленное что-то загоралось в его остановившихся глазах; и вдруг Колесников закричал полным голосом, как в бреду:

— Хочешь, на колени стану? Хочешь, мальчишка, на колени стану? Отступись!

— Нет! — сказал Саша, быстро вставая и рукой отстранив Колесникова, бледный и строгий. — Вы напрасно кричите, вы меня не поняли. У меня не было и нет личного ничего. Слышите вы, ничего!

Колесников угрюмо извинился:

— Извините, Погодин. Такие времена, что, того и гляди, в сумасшедший дом попадешь, того-этого.

Но уже через десять минут, когда они возвращались домой, Колесников весело шутил по поводу своих гондол; и слово за словом, среди шуток и скачков через лужи, рассказал свою мытарственную жизнь в ее «паспортной части», как он выражался. По образованию ветеринар, был он и статистиком, служил на железной дороге, полгода редактировал какой-то журнальчик, за который издатель и до сих пор сидит в тюрьме. И теперь он служит в местном железнодорожном управлении.

— А кто был ваш отец? — спросил Саша.

— Отец-то? Вопрос не легкий. Род наш, Колесниковых, знаменитый и древний, по одной дороге с Рюриком идет, и в гербе у нас колесо и лапоть, того-этого. Но, по историческому недоразумению, дедушка с бабушкой наши были крепостными, а отец в городе лавку и трактир открыл, блеск рода, того-этого, восстанавливает. И герб у нас теперь такой: на зеленом бильярдном поле наклоненная бутылка с девизом: «Свидания друзей»...

— Он жив?

— Опасаюсь. И ежели не сдох, так в союзе председателем, — человек он честлюбивый и глубокомысленный. Он меня, того-этого, потому и в ветеринары отдал, что скота всегда лучше чувствовал, нежели человека. Ну, и братья у меня — тоже, того-этого, сволочь удивительная!

— Зачем вы так говорите! — поежился Саша.

— А что — густо? Из песни, того-этого, слова не выкинешь. Да они ж меня давно и похоронили: по некоему приговору, к счастью для моей шеи — не совершившемуся, меня давно уж повесили, — добродушно заключил Колесников.

Сбивал он Сашу своими переходами от волнения к покою, от грубости, даже как будто цинизма, к мягкому добродушию, чуть ли не ребячьей наивности; и — что редко бывало с внимательным Сашей — не мог он твердо определить свое отношение к новому знакомцу: то чуть ли не противен, а то нравится, вызывает в сердце что-то теплое, пожалуй, немного грустное, напоминает кого-то милого. Трогало и то, что после своей странной, почти болезненной вспышки Колесников смирился и не только как равный с равным говорил с Сашей, хотя на целых двадцать лет был старше, но даже как будто преклонялся, каждое слово слушал с необыкновенным вниманием и чуть ли не с почтительностью.

Проводил он Сашу до самого дома и уже у калитки — точно именно у порога дома, когда люди расстаются и уходят к своим мыслям, и нужно было бросить этот мостик — посмотрел Саше в глаза и спросил:

— Газету читали?

— Нет, не успел.

— Шестнадцать повешено. Ну, до свиданья, Погодин. А стреляете-то вы чудесно, мне от вашего таланта, того-этого, даже жутко стало; не наследственное это у вас?

Саша опять было нахмурился, но увидел открытые, наивные глаза, с любопытством глядевшие на него, и засмеялся:

— Нет, не думаю. Я мало что наследовал от отца. Впрочем... я его не помню, он умер восемь лет назад. Прощайте.

Так состоялось их знакомство. И, глядя вслед удалявшемуся Колесникову, менее всего думал и ожидал Саша, что вот этот чужой человек, озабоченно попрыгивающий через лужи, вытеснит из его жизни и сестру и мать, и самого его поставит на грань нечеловеческого ужаса. И, глядя на тихое весеннее небо, голубевшее в лужах и стеклах домов, менее всего думал он о судьбе, приходившей к нему, и о том, что будущей весны ему уж не видать.

9. Весна

Во весь этот день Саша был чрезвычайно весел; после обеда взял газету, уже прочитанную домашними, но взглянул на заголовок, поймал глазами слово «шестнадцать»... и отложил в сторону: не надо почему-то читать, не следует. А вечером, когда высыпали звезды и зазвенел под ногами ледок, взял Линочку под руку и пошел на Банную гору, откуда днем открывался широкий вид на разлившуюся реку. И дорогой ломал такого дурака, что Линочка хохотала, как от щекотки: представлял, как ходит разбитый параличом генерал, делал вид, что Линочка — барышня, любящая танцы, а он — ее безумный поклонник, прижимал руки к сердцу и говорил высокопарные глупости. Брат и сестра, они невинно и смешно играли в любовь, не подозревая в себе актеров, которые шутя готовятся к завтрашнему трагическому спектаклю, не зная, сколько правды в их веселой игре.

Совсем развеселился Саша: изображая крайности безумного, не помнящего себя влюбленного, он раскачивал ее по всей панели, и уже раза два на них оглянулись прохожие, не то с улыбкой, не то сердито; и Линочка захлебывалась бессильным смехом:

— Да родной же мой Сашечка! Ой, не могу!.. Ой, колики!

— А-а-а, толстая! — рычал он от зверской любви. — Полюбишь ты меня или нет? Сознавайся, пресловутая!

— Сашка, оставь... ой, упаду!

И кончилось тем, что столкнул ее в незамерзшую лужу, и Линочка промочила правую ногу и минуты на две серьезно рассердилась. Но тотчас же и отошла, вскинула глаза к звездам и сказала:

— Держи меня крепче, Саша: я так буду идти.

Казалось, что бледные звезды плывут ей навстречу, и воздух, которым она дышит глубоко, идет к ней из тех синих, прозрачно-тающих глубин, где бесконечность переходит в сияющий праздник бессмертия; и уже начинала кружиться голова. Линочка опустила голову, скользнув глазами по желтому уличному фонарю, ласково покосилась на Сашу и со вздохом промолвила:

— Ах, Сашечка, если б ты всегда был такой!

— А что? Ухаживателей не хватает?

Линочка кротко ответила:

— Ты говоришь глупости. Про тебя вчера Женя Эгмонт опять спрашивала.

Саша в темноте покраснел и сердито сказал:

— Я уже просил тебя про Эгмонт мне не передавать.

— Я знаю. Я и говорю: если бы ты всегда был такой, как сегодня. Тебе скоро девятнадцать лет, Сашенька.

— Это мамыны слова?

— А если и мамыны? — упрямо сказала сестра. — Мама знает, что говорит.

— Ну и я знаю! Вот что, Лина: бросим-ка это, я не хочу сегодня ссориться.

Как-то так случилось, что за последнее время они несколько раз серьезно поссорились, и каждый раз настоящая причина оставалась неизвестна, хотя начинался разговор с Сашиного характера: с упреков, что в чем-то он изменился, стал не такой, как прежде. А он ясно сознавал, что перемена не в нем, а именно в

Линочке, которую потянуло в сторону от прежнего пути. Какие-то разговоры о пустяках; с месяц назад Линочка вдруг яростно схватилась за рисование, которое давно бросила, и все жаловалась, даже плакала, что отвыкшая рука не слушается ее. И не с одной Линочкой он начал ссориться: то же было и в гимназии, и так же неясна оставалась настоящая причина, — по виду все было, как и прежде, а уже веяло чем-то раздражающим, и в разговорах незаметно воцарялся пустяк. Еще только вчера, в субботу, Громан рассказал на перемене скверный анекдот, и все смеялись; правда, что потом Громана жестоко изругали, и он, жидкий немец, чуть ли не в слезах дал клятву, что пошлостей рассказывать не будет, но факт остался: в первую минуту смеялись. «Разорвусь, а аттестат получу! — подумал Саша, вдруг снова очаровываясь ночью и весной, — там в университете будет по-другому».

На Банной горе, как и днем, толпился праздничный народ, хотя в темноте только и видно было, что спокойные огоньки на противоположной слободской стороне; внизу, под горой, горели фонари, и уже растапливалась на понедельник баня: то ли пар, то ли белый дым светился над фонарями и пропадал в темноте. В толпе заволновались: пробежал первый в году маленький, неизвестно чей катер, показал красный огонь, потом зеленый, и бесшумно скатился в темень реки — маленький, неизвестно чей, такой бодрый и веселый в своем бесцельном ночном скитании. На горке закричали:

— Пароход! Пароход!

По женскому смеху и бубнящему голосу Тимохина разыскали свою компанию, гимназистов и гимназисток, заседавших на скамейке и на перилах, за которыми темнел крутой обрыв и точно падали в реку голые еще деревья.

— Свалишься, Тимохин, слезь! — уговаривал кто-то, а Тимохин, видимо, хмельной, самостоятельно бубнил:

— Оставь! Я, брат, в равновесии собаку съел. Хочешь, по гипотенузе пройду?

Вот и это: стал запивать честный, молчаливый, когда-то застенчивый, угреватый Тимохин, приобрел развязность и склонность к шутовству: над ним смеются, а он доволен и усиленно выставляется. «Эх, напрасно я сюда пошел!» — подумал Саша и снова покраснел: ему многозначительно жала руку молчаливая, сдержанная, тревожная в своем молчании и красоте Женя Эгмонт.

К гимназисткам, подругам Линочки, и ко всем женщинам Саша относился с невыносимой почтительностью, замораживавшей самых смелых и болтливых: язык не поворачивался, когда он низко кланялся или торжественно предлагал руку и смотрел так, будто сейчас он начнет служить обедню или заговорит стихами; и хотя почти каждый вечер он провожал домой то одну, то другую, но так и не нашел до сих пор, о чем можно с ними говорить так, чтобы не оскорбить, как-нибудь не нарушить неловким словом того чудесного, зачарованного сна, в котором живут они. Так, бывало, и молчат всю дорогу и торжественно шагают; и разве только почтительно предупредит:

— Осторожнее, пожалуйста: здесь выворочены камни!

Мучением была эта дорога; и особенно трудно доставалась Женя Эгмонт, задумчивая Женя Эгмонт, прекрасная Женя Эгмонт, стройная и певучая, как нильская тростинка. После первого же раза, когда они промолчали всю дорогу, Саша решительно сказал сестре:

— Если хочешь, чтобы я ее провожал, ходи вместе с нами.

Линочка попылила, но согласилась на условие, и так втроем они и ходили: Линочка болтала, а те двое торжественно шествовали под руку и молчали, как убитые; а что Женя Эгмонт временами как будто прижимала руку, то это могло и казаться, — так легко было прикосновение твердой и теплой сквозь кофточку руки. Но каждый раз сердце у Саши выпадало из груди и ноги совсем переставали чувствовать

мостовую: попадись по дороге камень, Саша упал бы. И в жутком чувстве забвения он плыл по воздуху, по воздуху же неся твердую и теплую сквозь кофточку руку.

Поздоровавшись, Женя Эгмонт спросила:

— Сейчас прошел пароходик. Вы видели?

— Да, видел, — ответил Саша и вдруг поднялся на воздух.

Робко вскинул он свои жуткие глаза обреченного, и навстречу ему из-под полей шляпы робко метнулось что-то черное, светлое, родное, необыкновенное, прекрасное — глаза, должно быть? И уже сквозь эти необыкновенные глаза увидел он весеннюю ночь — и поразился до тихой молитвы в сердце ее чудесной красотой. Но подошел пьяный Тимохин и отвел его в сторону:

— На два слова, Саша. Саша, товарищ!.. Не осуждай меня за пьянство. Они не понимают, а ты все можешь понять и простить, Саша!

Отвел еще на два шага и таинственно забурчал, дыша водкой в самое лицо:

— Слушай: все силы революции разбиты. Это я только тебе по секрету: все силы революции разбиты.

— Брось пить, противно.

— Саша! ты чистый, ты этого не поймешь. Читал сегодня газету?.. Ну то-то, тсс! Молчи! Ты веришь Добровольскому, я знаю, — не верь, Саша. Клянусь! Все они подлецы, я их тонко постиг и взвесил. Послушай меня, Саша, товарищ: иди в монастырь, как Офелия, а я знаю свою дорогу.

Надо было тут же уйти, но Саша остался; и нарочно сел так, чтобы не могла подойти Женя Эгмонт. Слушал вполслуха разговор, раза три уловил слово «порнография», звучавшее еще молодо и свежо. Остановил внимание громкий голос Добровольского:

— Нет, вы скажите, почему у русской революции только и есть похоронный марш? Поэтов у нас столько, что не перевешать, и все первоклассные, а ни одна скотина не догадалась сочинить свою русскую марсельезу! Почему мы должны довольствоваться объедками со стола Европы или тянуть свою безграмотную панихиду?

Из темноты предостерегающе пробубнил Тимохин:

— Саша! Слышишь? Еще сапог не износила, в которых шла за гробом мужа вся в слезах, как Ниобея...

— Башмаков, Тимоша, а не сапог.

— Сам ты, Тимоша, сапог!

— Ну-ка, Тимоша: быть или не быть!

— Слышишь, Саша?

Но смех смолк. От реки потянуло холодом, и несколько минут все сидели молча. На въезде около бань кто-то невидимый тушил фонари, из трех оставляя гореть один; зачернели провалы. Женский голос спросил:

— Читали газеты?

— Да. Шестнадцать.

После короткого молчания кто-то сказал молодым басом, как бы заканчивая цепь размышлений:

— Да, ребята, придется нам сесть за учебу!

Некоторые засмеялись, Тимохин снова трагически пробубнил: «Слышишь, Саша?» — и кто-то назвал

его за это Кассандрой и начался какой-то спор, — но Саша уже быстро шел по обезлюдевшей горке, накидывая шаг, словно за ним гнались, и с каждой минутой одиночества чувствуя себя все лучше. И опять что-то чудесное померещилось в весенней ночи, и глаза потянуло к звездам, как давеча у Линочки; но вспомнился Колесников, и радость тихо погасла, а шаги стали медленнее и тяжелее. «Надо будет о нем разузнать, — подумал Саша и прибавил: — Нет, ни ему и никому другому в мире про Женю Эгмонт я не расскажу».

Елена Петровна удивилась, что Саша вернулся один, и ее иконописные глаза вечной матери с тревогой устремились на сына:

— А Лина? Уж не поссорились ли вы опять?

— Да нет, мама, — улыбнулся Саша и нежно поцеловал еще черную голову матери. — Ее проводят, не беспокойся. Почему ты не допускаешь, что мне захотелось побыть с тобой вдвоем? Ведь мы же влюбленные!

Темное лицо Елены Петровны осветилось:

— Правда?

— Да. Дай чаю, мамочка.

Уже от порога она, обернувшись, спросила:

— Этот, ну, Колесников — ничего плохого не сказал тебе?

— Только хорошее. Он чудак.

Линочка долго не возвращалась, и после чая Саша попросил мать сыграть ему «тренди-бренди». Краснея и все чему-то не веря, она села за рояль и сперва стеснялась, что у нее тугие и непослушные пальцы, но уже вскоре, к своему удивлению, вся целиком отдалась наивной трогательности звуков. Нет имени у того чувства, с каким поет мать колыбельную песню — легче ее молитву передать словами: сквозь самое сердце протянулись струны, и звучит оно, как драгоценнейший инструмент, благословляет крепко, целует нежно. Раз через плечо бросила взгляд на Сашу и увидела: сидит, опустив голову на ладони рук, и слушает и думает — родной сын Саша.

Когда прощались, Саша поднял на мать глаза и спросил:

— Мама! Неужели у тебя нет ни одного портрета отца? Подумай: я ни разу не видал его.

Елена Петровна молча посмотрела на него. Молча пошла к себе в комнату — и молча подала большой фотографический портрет: туго и немо, как изваянный, смотрел с карточки человек, называемый «генерал Погодин» и отец. Как утюгом, загладил ретушер морщины на лице, и оттого на плоскости еще выпуклее и тупее казались властные глаза, а на квадратной груди, обрезанной погонами, рядами лежали ордена.

10. Колесников

На другой день Саша навел справки о Колесникове, и вот что узнал он: Колесников действительно был членом комитета и боевой организации, но с месяц назад вышел из партии по каким-то очень неясным причинам, до сих пор не разъясненным. Одни говорили, что виноват Колесников, уже давно начавший склоняться к большим крайностям, и партия сама предложила ему выйти; другие обвиняли партию в бездеятельности и дрязгах, о Колесникове же говорили, как о человеке огромной энергии, имеющем боевое прошлое и действительно приговоренном к смертной казни за убийство Н-ского губернатора: Колесникову удалось бежать из самого здания суда, и в свое время это отчаянно-смелое бегство вызвало разговоры по всей России. Рассказывали также, что Колесников — участник того знаменитого случая, когда трое революционеров почти десять часов отстреливались от полиции и войск, окруживших дом, и кончили тем, что все трое бежали из подожженного дома.

«Ну и фигура! — думал очень довольный Саша, вспоминая длинные ноги, велосипедную шапочку и круглые наивные глаза нового знакомого, — я ведь предположил, что он не из важных, а он вот какой!» В одном, наиболее осведомленном месте к Колесникову отнеслись резко отрицательно, даже с явной враждебностью, и упомянули о каком-то чрезвычайно широком, но безумном и даже нелепом плане, который он предложил комитету; в чем, однако, заключался план, говоривший не знал, а может быть, и не хотел говорить. О том же плане и так же смутно, недоумевая, рассказал Саше присяжный поверенный Ш., сам не принадлежавший ни к какой партии, но бывший в дружбе и постоянных сношениях чуть ли не со всей подпольной Россией.

— Не знаю, не знаю, Господь с ним! — торопливо говорил Ш. и пальцами, которые у него постоянно дрожали, как у сильно пьющего или вконец измотанного человека, расправлял какие-то бумажки на столе. — Вероятно, что-нибудь этакое кошмарное, в духе, так сказать, времени. Но и то надо сказать, что Василий Васильевич последнее время в состоянии... прямо-таки отчаянном. Наши комитетчики...

Ш. улыбнулся и, скрывая улыбку, потер дрожащими пальцами свой длинный, утинообразный нос.

— Наши боевики... люди местные, мирные и, так сказать, уже отдали дань. Вы слышали, Александр Николаевич, что на днях из комитета вышли еще двое?

— Я мало осведомлен, — сказал Саша и покраснел.

— Да, да, ну, конечно! Да это и не важно, этого уже давно следовало ожидать. А скажите, Александр Николаевич, зачем собственно...

Но в эту минуту в прихожей раздался звонок, и уже пожилой, плешивый, наполовину седой адвокат вздрогнул так сильно, что Саше стало жалко его и неловко. И хотя был приемный час и по голосу прислуги слышно было, что это пришел клиент, Ш. на цыпочках подкрался к двери и долго прислушивался; потом, неискусно притворяясь, что ему понадобилась книга, постоял у книжного богатого шкапа и медленно вернулся на свое место. И пальцы у него дрожали сильнее.

— Ужасные времена! — сказал он, точно оправдываясь перед юношей. — Да, так что я хотел вас спросить? Кажется...

— О Колесникове — зачем мне понадобились справки, — предупредил Саша, с тоскою глядя на дрожащие, бледные пальцы с синеватыми шлифованными ногтями. — Меня просто заинтересовал этот человек.

— Да, да, ну, конечно, он человек интересный. Я, собственно, и не желаю вмешиваться... — Он виновато опустил глаза и вдруг решительно сказал: — Я хочу только предупредить вас, Александр

Николаевич, что во имя, так сказать, дружбы с Еленой Петровной и всей вашей милой семьей — будьте с ним осторожны! Он человек, безусловно, честный, но... увлекающийся.

И уже у двери, провожая Сашу, он сказал:

— Странное явление: я уже два месяца не имею известий от моего Франца. Положим, и вся ваша братия, студенты — ведь вы почти уже студент! — неохотно пишут родителям, но сегодня вдруг получаю обратно денежный перевод. Придется, пожалуй, самому отвезти, а? — Он неестественно засмеялся и закашлялся. И, откашлявшись, с хрипотою в голосе уже серьезно прошептал: — Да, все силы революции разбиты.

Несколько дней Саша напрасно поджидал Колесникова — сам идти не хотел, хотя узнал и адрес — и уже решил, что встреча и разговор их были чистою случайностью, когда на пятый день, вечером, показалась велосипедная шапочка. Выяснилось, что от промоченных ног Колесников простудился и два дня совсем не выходил из дома. К огорчению Саши, ни о своем загадочном плане и ни о чем важном и интимном Колесников говорить не стал, а вел себя как самый обыкновенный знакомый: расспрашивал Погодина о гимназии и подшучивал над гимназистами, которые недавно сели в лужу с неудавшейся забастовкой. Под конец даже заскучал и откровенно зевнул. «Успокою маму!» — подумал Саша и предложил ему пойти пить чай в столовую. Колесников оживился.

— С удовольствием, того-этого. Я и сам хотел попроситься, да знаю, как у вас в семье строго насчет знакомств. С удовольствием, с удовольствием!

«И откуда он все знает?» — нахмурился Саша и с некоторой тревогой повел гостя в столовую. Но с первых же слов, с неловкого, но почтительного поклона и вопроса о здоровье Елены Петровны гость повел себя так просто и даже душевно, как будто век был знаком и был лучшим другом семьи. Станным было то любопытство, с которым он оглядывал квартиру: не только в гостиной изучил каждую картинку, а для некоторых лазил даже на стул, но попросил показать все комнаты, забрел в кухню и заглянул в комнату прислуги. Впрочем, и все, первый раз бывавшие у Погодиных, также любопытствовали; и было неприятно только то, что свой инспекторский осмотр Колесников мог заключить какой-нибудь нетактичной фразой и даже упреком — бывало и это в последние года. И у всех отлегло от сердца, когда, вернувшись в столовую и берясь за охолодавший чай, Колесников решительно и твердо заявил:

— Хорошо, того-этого, чудесно! Молодец вы, Елена Петровна. А это что? — шкаф! То-то в вашей комнате и книг мало, а они здесь. Ну-ка, ну-ка! Посмотрим, того-этого.

И со свечкой полез смотреть книги, а Елена Петровна и Линочка переглянулись с улыбкой.

— Так, так! — гудел он, — всегда надо знать, что люди читают. Здорово, того-этого. Ого! — а вы и по-французски читаете?

— Читаю, — ответил Саша.

— Вот что значит хорошее-то воспитание! Искренно завидую. А я пробовал в тюрьме учить итальянский...

— Почему итальянский? — улыбнулась Елена Петровна.

— Не знаю, того-этого, посоветовали, да все равно не выучил. Пока учу, ничего, как будто идет, а начну думать, так, батюшки мои: русские-то слова все итальянские и вышибли. Искал я, кроме того, как по-итальянски «того-этого», да так и не нашел, а без «того-этого» какой же, того-этого, разговор?

Все засмеялись, а Саша смотрел на мать, на ее темные, без блеска, теперь повеселевшие глаза, и думал: «А если бы ты знала про энского губернатора, смеялась бы ты?»

И то понравилось, что за ужином Колесников плотно покушал: Елена Петровна боялась людей, которые мало едят; и то было приятно, что он обратил внимание на Линочкины таланты и после ужина попросил ее поиграть на рояле.

— Ну, а меня извините, — сказал Саша, — я пойду займусь.

— А как же музыка, того-этого?

— Я ее не слышу. Говорил же я вам, Василий Васильевич, что у меня нет талантов.

Елена Петровна недовольно заметила:

— Зачем так говорить, Саша? Я не люблю, когда ты даешь о себе неверное представление.

И музыку Колесников слушал внимательно, хотя в его внимании было больше почтительности, чем настоящего восторга; а потом подсел к Елене Петровне и завел с нею продолжительный разговор о Саше. Уже и Линочка, зевая, ушла к себе, а из полутемной гостиной все неся гудящий бас Колесникова и тихий повествующий голос матери.

— Да, трудно с детьми, — скромничала Елена Петровна, а глаза у нее светились, и в красной тени шелкового абажура лицо казалось молодым и прекрасным.

— Хороший мальчик! — убежденно гудел Колесников. — Главное, того-этого, чистый.

— Да, уж такой чистый! — вздохнула Елена Петровна. — Ах, если бы вы знали, Василий Васильевич!

И замолчала, задумавшись о муже. Колесников быстро, искоса взглянул на нее, но сейчас же сделал равнодушное лицо и даже засвистал потихоньку. Слышно было, как в своей комнатке ходит Саша. Еще раз искоса Колесников взглянул на задумавшуюся мать и почувствовал, что думы ее надолго, и внимательно начал оглядывать незнакомую квартиру. И, взгляни на него в эту минуту Елена Петровна, она поразились и, пожалуй, испугалась бы того вида оценщика, с каким гость как бы вторыми гвоздями прибивал к стене своим взглядом каждую картинку, каждую, расшитую ее руками, портьеру. «А папашиного портрета нет», — подумал Колесников и улыбнулся в бороду. Вдруг Елена Петровна, продолжая что-то свое, спросила:

— Вы видели его глаза?

Колесников несколько замялся.

— Хорошие глаза, того-этого.

— Нет, — а выражение?.. Ну да что, Василий Васильевич: видно, вам никогда не приходилось разговаривать с матерью, а то знали бы, что мать не переслушаешь. Ого, уже час, а Сашенька еще не спит. Учится, — улыбнулась она, — как он не скрытничает, а знаю я, до чего ему хочется в университет!

И с этого вечера, о котором впоследствии без ужаса не могла вспомнить Елена Петровна, началось нечто странное: Колесников стал чуть ли не ежедневным гостем, приходил и днем, в праздники, сидел и целые вечера; и по тому, как мало придавал он значения отсутствию Саши, казалось, что и ходит он совсем не для него. Первое время Елена Петровна была очень довольна, но уже скоро стала задумываться и тревожиться; и тревожило ее все то же ненасытимое любопытство, с каким Колесников продолжал присматриваться к вещам и людям. «И чего он высматривает? И чего он ищет?» — волновалась Елена Петровна, и однажды пожаловалась даже Линочке.

— Ах, да мало ли кто к нам ходит, мамочка. Ты только вспомни, сколько у нас опять народу бывает.

— Народу бывает много! Но только почему он все расспрашивает о Саше, а приходит тогда, когда Сашеньки и дома нет. Мне это не нравится.

— Очень просто: потому что Саша самый интересный человек. Вот и Женя Эгмонт...

— Бедная Женя!

— Бедная Женя.

Обе они улыбнулись, и в улыбке сестры было столько же гордости, как и в улыбке матери. Бедная Женя Эгмонт! Но хоть и засмеялась Линочка, а сама почувствовала беспокойство и также с тревогой начала приглядываться к Колесникову, — но, сколько ни глядела, ничего понять не могла. И временами успокаивалась, а минутами в прозрении сердца ощущала столь сильную тревогу, что к горлу поднимался крик — то ли о немедленном ответе, то ли о немедленной помощи. А Елена Петровна со стыдом и раскаянием думала о своем грехе: этому незнакомому и в конце концов подозрительному человеку, Колесникову, она рассказала о том, чего не знала и родная дочь — о своей жизни с генералом.

Смущало и то, что Колесников, человек, видимо, с большим революционным прошлым, не только не любил говорить о революции, но явно избегал всякого о ней напоминания. В то же время, по случайно оброненным словам, заметно было, что Колесников не только деятель, но и историк всех революционных движений — кажется, не было самого ничтожного факта, самого маленького имени, которые не были бы доподлинно, чуть ли не из первых рук ему известны. И раз только Колесников всех поразил.

Саша был дома, и все сидели в столовой, когда зашла речь о каком-то провокаторе, только что объявленном газетами. Елена Петровна кончала брезгливую фразу, когда Колесников вдруг вскочил и завертелся на четырех шагах.

— Как это можно? Как это можно? — неистово загудел он, как придорожный в поле столб, на который с размаху налетел бурный ветер. — Боже ты мой, какое, того-этого, наказание, глазам ведь смотреть стыдно. Какое наказание! А оттого, что народ забыли, руки не чисты, что все бабники, того-этого, сластены, приходы делят! А что такое революция? Кровь же народная, за нее ответ надо дать — да какой же ты ответ дашь, если ты не чист? Какой же в тебе, того-этого, смысл! Жизнью жертвуешь, да? А жандарм не жертвует? А сыщик не жертвует? А любой дурак на автомобиле не жертвует?

Саша хмуро смотрел вниз и вздрогнул, когда голос загудел прямо над его головою:

— Нет, ты будь чист, как агнец! Как стеклышко, чтобы насквозь, того-этого, светилось! Не на гульбище идешь, а на жертву, на подвиг, того-этого, мученический, и должен же ты каждому открыто, без стыда, взглянуть в глаза!

Саша поднял глаза; и твердо приняли эти жуткие, обведенные самой смертью глаза суровый и жестокий взгляд круглых, почти безумно горящих глаз Колесникова. И уже говоря прямо в чистую глубину юношеского взора, забыв о побледневшей Елене Петровне, он иступленно продолжал:

— Дай мне чистого человека, и я с ним на разбой пойду...

— Ох, Господи! — даже вскрикнула Елена Петровна и замахала руками. — Молчите вы — молчите!

— Да, на разбой, и самый разбой, того-этого, его чистотой освящу. Из кабака церковь сделаю, вот как, того-этого! А с пьяным попом и церковь — кабак!

— Да замолчите же вы! — задохнулась Елена Петровна. — Поймите, поймите же вы, сумасшедший же вы человек, что и дела, дела должны быть чисты!

Стихий Колесников угрюмо покосился на нее своим лошадиным глазом и проворчал:

— Дела? А дела, того-этого, кто же делает? Люди же. Взор! Ну да ладно, увлекся, я человек увлекающийся, того-этого. Только вы меня извините, Елена Петровна, а мое мнение такое, что только на чистой крови вырастают цветы... будь бы я поэт, стихи бы на эту тему написал. Да что стихи! Вот вы

засмеетесь, а я вам под видом шутки такие слова скажу: если террорист не повешен, так он, того-этого, только половину дела совершил, да и то худшую. Убить-то и дурак может, да и вообще дураку убивать сподручнее. Верно, Александр Николаевич?

Но тут удивил всех Саша. Вдруг громко рассмеялся и, подойдя к Колесникову, положил как будто нерешительным движением руку на его плечо. И, ласково глядя в суровые, еще не потухшие глаза, так же нерешительно сказал:

— Василий Васильевич!..

— Ну?

Глаза светились все ласковее и насмешливее, и что-то потерянное, одинокое, давно ждущее ласки испуганно метнулось в ответном взоре Колесникова.

— Василий Васильевич! А чай-то ваш опять остыл!

Елена Петровна укоризненно качнула головой, не зная, как принять Сашину выходку; Колесников же с обиженным, как ей показалось, видом встал и несколько раз прошелся по комнате.

— Ну ладно: остыл, так и пить, того-этого, не стоит. Прощайте, пойду в свою одиночку.

И вдруг, чего не бывало никогда, неловко поцеловал руку у Елены Петровны; и пока она так же неловко искала губами его лоб среди колючих шершавых волос, тихо буркнул:

— За сына!

И что ей еще показалось: будто черные, круглые, еще недавно такие свирепые глаза были влажны от слезы. «А я в Сашеньке усомнилась, — подумала она благодарно, — нет, никогда мне, глупой, его не оценить».

— Я вас провожу, Василий Васильевич! — предложил Саша. — Вы ничего не имеете против?

— Пожалуйста. Буду рад.

В передней Елена Петровна хотела спросить сына, когда он вернется, но не решилась и вместо того заботливо сказала:

— А ты в весеннем пальто, Саша. Не было бы холодно.

— Ночь теплая. Одну минутку, Василий Васильевич, папиросу забыл.

Уже одевшийся Колесников стоял боком к выходной двери и, опустив голову, молча ждал. Что-то спросила Елена Петровна, но он не ответил, не слышал, должно быть; и так же молча, не оборачиваясь, вышел, как только показался Саша.

Все это было беспокойно, и до часу Елена Петровна не ложилась, поджидала сына; потом долго молилась перед иконой Божьей Матери Утоли Моя Печали и хотела уснуть, но не могла: вспоминался разговор и с каждой минутой пугал все больше. «Говорит, что теплая ночь, а как деревья шумят. Не могу я привыкнуть к ихнему шуму, и все кажется: идет что-то страшное. Это тогда меня черная сотня напугала. Какое время, Богородица, какое время! И как это можно, чтобы сын Саша один бродил где-то в темноте, один в темноте, — а деревья шумят...»

Уже сквозь тяжелую дрему услышала Сашины шаги и через дверь окликнула.

— Ты не спишь, мама?

— Приоткрой дверь. Нет, не сплю. Ты у него был?

— Нет. Мы ходили по улице.

- Ты не озяб? Молоко в столовой.
- Спасибо, я знаю. За рекой, на той стороне, огромное зарево, какая-то деревня, не то усадьба горит.
- Какая?
- Не знаю. Огромный пожар. Ты что говоришь?..
- Я сказала: Господи! Ну иди, я буду спать...
- Не слышу.
- Как деревья шумят! Деревья шумят. Спокойной ночи.

11. Ночами

...Когда Саша предложил себя для совершения террористического акта над губернатором, он и сам как-то не верил в возможность убийства и отказ комитета принял, как нечто заранее известное, такое, чего и следовало ожидать. И только на другой день, проснувшись и вспомнив о вчерашнем отказе, он понял значение того, что хотел сделать, и почувствовал ужас перед самим собою. И особенно испугала его та легкость, почти безумие, с каким пришел он к решению совершить убийство, полное отсутствие сомнений и колебаний.

Когда он решил убить Телепнева? Да в ту же, кажется, ночь, когда мать плакала в его комнате и рассказывала о генерале — чуть ли не в ту же самую минуту, как услышал слово: «отец»... И, решив, уже не думал о решенном, а только искал пути; и действовал так настойчиво, осторожно и умно, что добрался-таки до комитета — и только воля других, чуждых, почти незнакомых людей отклонила его от убийства и смерти: спастись Саша не думал и даже не хотел. И странно было то, и особенно страшно, как во сне: каждый день, видя мать, поцеловавшись с нею перед тем, как идти в комитет, он нисколько не думал о ней, упускал ее из виду просто, естественно и страшно.

Потрясение было так сильно, что на несколько дней Саша захворал, а поднявшись, решил во что бы то ни стало добыть аттестат: казалось, что все запутанные узлы, противоречия и неясности должен разрешить университет. И действительно, сел заниматься и с необыкновенным чувством удовольствия зажег в тот вечер лампу; но как только раскрыл он книгу и прочел первую строчку — ощутил чувство столь горькой утраты, что захотелось плакать: словно с отказом от убийства и смерти он терял мечту о неизъяснимом счастье. Словно именно в эти дни безумия и почти сна, странно спокойные, бодрые, полные живой энергии, он и был тем, каким рожден быть; а теперь, с этой лампой и книгой, стал чужим, ненужным, как-то печально-неинтересным: бесталанным Сашей... В характере его было не отказываться от раз принятого решения, пока не станет невозможно; и он упорно работал, но все безрадостнее и фальшивее становился бесцельный, ненужный труд. Вдруг стало стыдно читать газеты, в которых говорилось о казнях, расстрелах, и из каждой строки глядела безумно-печальными глазами окровавленная, дымящаяся, горячая, истерзанная Россия. Дня по три и по четыре не развертывал он газеты, — но те, кто прочитывал ее от строки до строки, не были мрачнее и сердцем осведомленнее, нежели несчастный юноша, в крови своей чуявший созвучья проливаемой крови.

И стало так: по утрам, проснувшись, Саша радостно думал об университете; ночью, засыпая — уже всем сердцем не верил в него и стыдился утешной радости и мучительно доискивался разгадки: что такое его отец-генерал? Что такое он сам, чувствующий в себе отца то как злейшего врага, то любимого, как только может быть любим отец, источник жизни и сердечного познания? Что такое Россия?

Но все меньше спал Саша, охваченный острым непреходящим волнением, от которого начиналось сердцебиение, как при болезни, и желтая тошнота, как тревога предчувствия, делала грудь мучительно и страшно пустою; и уже случалось, что по целым ночам Саша лежал в бессоннице и, как в детстве, слушал немолчный гул дерев. Давно уже смолк этот могучий, ровный, вещий гул, размененный на понятную человеческую речь, и с удивлением, покорностью и страхом слушал Саша забытый голос, звавший его в темную глубину неведомых, но когда-то испытанных снов. Гасли четкие мысли, такие твердые и общие в своей словесной скорлупе; теряли форму образы, умирало одно сознание, чтобы дать место другому. Обнаженный, как под ножом хирурга, лежал Саша навзничь и в темноте всем легким телом своим пил сладостную боль, томительные зовы, нежные призывы. Зовет глубина и ширь: открыла вещие глаза пустыня и зовет материнским, жутким голосом: Саша! Сын!

Осторожно, чтобы не разбудить кого-то, Саша раздергивает на груди ночную сорочку, все шире обнажает молоденькую, худую, еще не окрепшую грудь и подставляет ее под выстрелы ружей. Молчит и ждет. И плачет так тихо, что не услыхала бы и мать, сказала бы, улыбаясь, что спит тихо сын ее Саша. Однажды в такую ночь Саша бесшумно спустился с кровати, стал на колени и долго молился, обратив лицо свое в темноте к изголовью постели, где привешен был матерью маленький образок Божьей Матери Утоли Моя Печали. Уже несколько лет не молился Саша, но по вернувшейся привычке крестился, стараясь захватывать плечи: звал Бога на помощь и предавал Ему жизнь свою и дух. Наутро Саше стало неловко, и больше он не молился; но радостную и светлую память об этой ночной молитве он донес до самой своей ранней могилы.

В это сумеречное время, короткое по дням, но такое долгое по чувству, Саша пережил несколько почти счастливых мгновений: это когда он жертвовал своей любовью к Жене Эгмонт. «Будет такая пошлость, если я ее люблю», — подумал он совсем неподходящими словами, а по острой боли сердца понял, что отдает драгоценное и тем искупает какую-то, все еще неясную вину. И эту острую боль, такую немудрую и солнечно-простую, он с радостью несколько дней носил в груди, пока ночью не придушила ее грубая и тяжелая мысль: а кому дело до того, что какой-то Саша Погодин отказывается любить какую-то Евгению Эгмонт? «Как купец, который накрал, а потом жертвует гривенник», — подумал Саша опять-таки неподходящими словами, чувствуя, как снова охватывает душная ночная хмара.

И только одно спасло его в эти дни от самоубийства: та желтая тошнота, тревога предчувствия, знак идущего, верная подруга незавершенной жизни, при появлении которой не верилось ни в университет, ни в свое лицо, ни в свои слова. Нужно только подождать, еще немного подождать: слишком грозен был зов взволнованной земли, чтобы остаться ему гласом вопиющего в пустыне.

Тут и пришел Колесников...

12. Дальнейшее об отце

После ночной прогулки Елена Петровна с тревогой смотрела на Сашу и поджидала Колесникова; но Колесников три дня не приходил, а Саша все три дня сидел дома и был очень нежен, — все, что и требовалось для короткого спокойствия. Явился Колесников в субботу, когда у Погодиных собрались гимназисты и гимназистки, среди них и Женя Эгмонт. Бродили по подсохшему саду, когда среди голых кустов показалась велосипедная шапочка и черная борода неприятного гостя и загудел издалека его глухой, словно из-под земли, ворчащий бас; и сам Саша с видимой холодностью пожал ему руку.

— Чудесный закат! — сказал Колесников, спокойно усаживаясь на скамейке как раз посередине между Линочкой и Женей Эгмонт.

— К моему лицу идет, того-этого, как нельзя лучше!

Небо между голыми сучьями было золотисто-желтое и скорей походило на осеннее; и хотя все лица, обращенные к закату, отсвечивали теплым золотом и были красивы какой-то новой красотой, — улыбающееся лицо Колесникова резко выделялось неожиданной прозрачностью и как бы внутренним светом. Черная борода лежала как приклеенная, и даже несчастная велосипедная шапочка не так смущала глаз: и на нее пала крупница красоты от небесных огней.

— Да вы в зеркало смотрите! — крикнула Линочка, которой в эту минуту очень понравился Колесников.

— Смотрюсь, того-этого. Лицо — зеркало души.

— Глаза, а не лицо, — поправила гимназистка, и начался пустой, легкий и веселый разговор, в котором Колесников оказался не последним. Он беззаботно шутил, звал всех летом по грибы, и только знавший его Саша заметил два-три долгих взгляда, искоса брошенных на Женю Эгмонт. «Если бы я знал, о чем с ней говорить, я бы к ней подошел: пусть он не думает глупости», — сердито, почти гневно подумал Саша и отправился в дом, куда уже звали пить чай. И еще раз взглянул на желтое небо, горевшее между неподвижными теперь и молчаливыми деревьями, и, подумав про сад, улыбнулся тихо: «Да, для вас он молчит!»

Вслед за ним и все тронулись к дому, к его приветно засветившимся окнам, когда Колесников остановил Лину:

— На два слова, дорогая. Что это за барышня, что сидела рядом со мною? Очень красивая, того-этого, девица.

— Еще бы не красивая! — сказала Линочка с гордостью. — Ее фамилия Эгмонт.

— Так, так, Эгмонт! Из каких же она?

— Отец ее директор банка. Да неужто же вы не знаете: Эгмонт? Их весь город знает.

— Как же, как же, теперь и я знаю. Строгая, того-этого, семья, в карете нашу грязь месит. Как же это они ее к вам пускают?

Линочка вспыхивает:

— Ну и глупости! Это вы забываете, что папа был генералом, а они прекрасно помнят. Все-таки ваша правда: препротивные они люди.

— И часто она у вас бывает?

«Чего он выпрашивает?» — подумала Линочка, и ее снова охватила та мучительная тревога за Сашу,

от которой хотелось кричать. Покраснев, она отбросила ногой темневший на дорожке прошлогодний листок, хотела промолчать, но не выдержала и взглянула прямо в глаза Колесникову:

— Вы, Василий Васильевич, должно быть, ужасно злой человек! Ужасно!

Широкие плечи Колесникова съежились, как от неожиданного удара, в глазах его, устремленных на Линочку, снова метнулось что-то потерянное, одинокое, давно и напрасно ждущее ласки. И уже начала раскаиваться Линочка, когда Колесников грузно поднялся и сказал тихо и печально:

— Что ж, того-этого, может быть, вы и правы. Только, если это злость, то...

Он махнул рукой, не окончив фразы, и пошел к дому; и широкая спина его гнулась, как у тяжело больного или побитого. В столовой, однако, под светом лампы он оправился и стал спокоен и ровен, как всегда, но уже больше не шутил и явно избегал смотреть на Женю Эгмонт. Когда же все разошлись, попросился в комнату к Саше. «Ах, если бы я смела подслушивать!» — мелькнуло в голове у Елены Петровны.

— Мне не нравится, Василий Васильевич, — начал Саша прямо, — что вы шутите и вообще притворяетесь таким простаком. Этим вы вводите в заблуждение всех... всех наших. И значение ваших взглядов я понимаю: тоже нехорошо!

Колесников уныло подумал: «Боже ты мой! То сестра, а то этот: вот она, чистота!» — и покорно ответил:

— Что ж, того-этого, и это правда! Только я полагаю, Александр Николаевич, что негоже петлю раньше времени накидывать, успеют, того-этого, ваши-то намучиться. Что же касается моих поглядок, то я же вам откровенно объяснил причину: ведь я вас сватать пришел, и нужно же мне было повидать женихову, того-этого, родню.

Саша не ответил. Он сидел у стола в своей любимой позе: ногу положив на ногу и опустив глаза на кончики сложенных на коленях пальцев, и красивое лицо его было спокойно, холодно и непроницаемо. Можно было сколько угодно смотреть на это холодное лицо, — и ни одна черта не дрогнет, не выразит того волнения, которое вызывает человеческий пристальный взгляд. «Так он и смерть встретит», — почувствовал Колесников и на одно мгновение в нерешимости остановился. Потер под бородою горло, и словно этот жест, облегчавший дыхание, успокоил его и обычную твердость придал слегка размякшим чертам. И холодно начал:

— Да, того-этого, родня... Вот и еще хотел я вас спросить, да случая не представлялось. Скажите, Александр Николаевич, как, собственно, звали вашего отца? — Николай...?

— Николай Евгеньевич.

— Эн Е, значит? Да, того-этого, так и тот офицер назван: Н. Е. Погодин. Это я в одной старой газетке прочел про некий печальный случай: офицер Н. Е. Погодин зарубил шашкой какого-то студентика. Лет двадцать назад, того-этого, давно уж!

— Как это произошло?

— А так произошло, что стоял этот офицер в охране — особы, того-этого, проезжали, — ну, и, конечно, толпа, и студентик этот выразился довольно непочтительно, а он его шашкой. Насмерть, однако.

— Офицер был пьян?

— Нет, того-этого, не сказано. А студентик-то, действительно, был выпивши, трезвый-то кто ж на охрану полезет. А может, и дурак был, а его за пьяного приняли, не знаю, того-этого. Всяко бывает.

— Вы, наверное, помните его фамилию?

— Помню. Фамилия очень простая: Стеков. Судя по вопросам вашим, не видно, чтобы вы этот случай помнили или знали... может быть, того-этого, тут просто совпадение? Всяко, говорю, бывает.

Саша взглянул на Колесникова и ответил со спокойной рассудительностью:

— Не думаю, чтобы совпадение. Да отчего же такому случаю и не быть? Офицера судили?

— Нет.

— Да и не все ли равно, отец это или кто-нибудь другой? Не вам, Василий Васильевич, удивляться таким случаям... да и не мне, пожалуй, хоть я на двадцать лет вас моложе. Вы что-то еще хотели мне рассказать.

Уже обманут был Колесников спокойствием голоса и холодом слов, и что-то воистину злобное уже шевельнулось в его душе, как вдруг заметил, что Саша медленно потирает рукой свою тонкую юношескую шею — тем самым жестом, освобождающим от петли, каким он сам недавно. И потухло злобное, и что-то очень похожее на любовь смутило жестокое сердце, одичавшее в одиночестве, омертвевшее в боли собственных ран: «Бедный ты мой мальчик, да за что же такое наказание! Боже ты мой, Боже ты мой!» Опустил голову, чтобы не видеть руки, медленно потирающей юношескую тонкую шею, и услышал, как в гостиной под неуверенными пальцами тихо запел рояль: что-то нежное, лепечущее, наивное и трогательное, как первый детский сон. Издалека донесся стук посуды: должно быть, в кухне перемывали на ночь после гостей тарелки — шла в доме своя жизнь.

Саша приоткрыл дверь и громко сказал:

— Не надо, мамочка. Потом!

Музыка смолкла.

— Саша, пойдی сюда на минутку.

Извинился и вышел. Над постелью, крытой белым тканевым одеялом, поблескивал маленький золоченый образок, был привязан к железному пруту — сразу и не заметишь. В порядке лежали на столе книги в переплетах и тетради; на толстой, по-видимому, давнишней, оправленной в дерево резине было вырезано ножичком: «Александр Погодин, уч...» — дальше состругано. Так хорошо изучил дом Колесников, а теперь, казалось, что в первый раз попал.

— Так вот, Василий Васильевич, — сказал Саша, входя и закрывая дверь, — я хотел вас попросить продолжить наш разговор, что тогда на горе. Горела-то действительно усадьба, вы знаете?

Колесников поднялся и коротко простился с Сашей:

— Прощайте.

— Куда же вы? Вы хотели поговорить.

— А теперь, того-этого, домой захотел.

Саша вспомнил его «дом» — заходил раз: комнатку от сапожника, грязную, тухлую, воняющую кожей, заваленную газетами и старым заношенным платьем, пузырек с засохшими чернилами, комки весенней грязи на полу... Помолчали.

«Солгать бы ему, что фамилию офицера перепутал?.. Да нет, не стоит: от судьбы все равно не уйдешь».

«Пойти проводить его? — Ведь все равно не усну. Да нет, пускай: от судьбы не уйдешь. Но какая страшная будет ночь!»

— Прощайте.

— Прощайте.

13. Нельзя ждать

На Фоминой неделе, в воскресенье, в апрельский погожий и теплый, совсем летний день, Колесников и Саша, захватив еды, с утра ушли за город и возвращались только поздней ночью.

Уже стемнело, и шоссе, по которому они быстро шагали, едва светилось. Справа от дороги земля пропадала в неподвижной, теплой мгле, и нельзя было увидеть, что там: лес или поле; и только по душному, открытому, ночному запаху вспаханной земли да по особенной бархатной черноте чувствовалось поле. Но еще чернее, до слепоты, была левая сторона, над которою зеленел запад; и горизонт был так близок, что, казалось, из самой линии его вырастают телеграфные столбы. Разогревшийся от быстрой ходьбы Саша расстегнул куртку и сорочку и голой грудью ловил нежную и мягкую свежесть чудесной ночи, и ему чудилось, будто свершается один из далеких, забытых, прекрасных снов — так властны были грезы и очарование невидимых полей. А, главное, почему было так хорошо, и ночь, даже не чувствуемая спящими людьми, была единственной и во всем мире, во все года его прекраснейшей — это главное было в Сашиной душе: исчез холодный стыд бесталанности и бесцельного житья, и закрыла свой беззубый зев пустота — Саша уже целых двадцать четыре часа был тем, каким он рожден быть. Легко идет по земле, когда скоро умрешь за нее.

— Да, родной мой!.. — мягко-певучим голосом говорил Колесников, и только теперь, слушая его, можно было понять того дурака, который когда-то учил его пению. — Да, родной мой, очень виноват я перед вами. Хоть и поверил сразу, с первого же вашего взгляда, а все думаю, надо, того-этого, проверить. Много и жестоко меня били, и нет у меня настоящего доверия к людям, — две ноги ясно вижу, а дальше, того-этого, начинаются сомнения. Может, и сейчас — что вы думаете! — сомневался бы да гадал на гуще, не увидь я тогда при зареве ваши глаза. Хотите узнать человека? Соорудите, того-этого, пожарчик и посмотрите, как отразится огонь в его глазу.

— Обо мне не стоит. Говорите лучше о деле.

— Да как же не стоит? Вы же и есть самое главное. Дело — вздор. Вы же, того-этого, и есть дело. Ведь если из бельэтажа посмотреть, то что я вам предлагаю? Идти в лес, стать, того-этого, разбойником, убивать, жечь, грабить, — от такой, избави Бог, программы за версту сумасшедшим домом несет, ежели не хуже. А разве я сумасшедший или подлец?

Некоторое время шли молча. Заговорил Саша:

— Моя жизнь, Василий Васильевич, никогда не была особенно веселой. Конечно, главная причина — моя бесталанность, без таланта очень трудно быть веселым, но есть и другое что-то, пожалуй, поважнее. И вы подумайте, Василий Васильевич, этого важного я как раз и не помню! Как странно: самого главного, без чего и жизнь непонятна, и вдруг не помнить! Это все равно, что потерять ключ от своего дома. А знаю, что было оно, что это не сон мне представился; нет, скорее вроде того, как крикнуть или выстрелить над сонным человеком: он и выстрела не слышал, а проснулся весь в страхе или в слезах. Впрочем... я совсем не умею говорить.

— Говорите, того-этого.

— Может быть, это произошло тогда, когда я был совсем еще ребенком? И правда, когда я подумаю так, то начинает что-то припоминяться, но так смутно, отдаленно, неясно, точно за тысячу лет — так смутно! И насколько я знаю по словам... других людей, в детстве вокруг меня было темно и печально. Отец мой, Василий Васильевич, был очень тяжелый и даже страшный человек.

— Жестокий?

— Да, и жестокий. Но главное, тупой и ужасно тяжелый, и его ни в чем нельзя было убедить, и что бы он ни делал, всегда от этого страдали другие. И если б хоть когда-нибудь раскаивался, а то нет: или других обвинял, или судьбу, а про себя всегда писал, что он неудачник. Я читал его письма к матери... давнишние письма, еще до моего рождения.

Опять некоторое время молча шагали в темноте.

— Когда я так шагаю, — вдруг громко и густо загудел Колесников, — я ясно чувствую, что я мужик и что отец мой мужик. А когда бываю в комнате или, того-этого, еду на пролетке, то боюсь насмешек и все думаю о двери: как бы не забыть, того-этого, где дверь. А когда падаю или локтем ударюсь, то непременно обругаюсь по-матерну, хотя ругательство ненавижу. Уронил я раз Милля, толстенная, того-этого, книжища, и тоже обругался; и так, того-этого, стыдно стало: цивилизованный, думаю, англичанин, а я его такими словами!

Колесников засмеялся и продолжал:

— А раз в опере заснул, ей-Богу, правда! Длинная была какая-то, как пороссячья, того-этого, кишка. А раз на выставку меня повели, так я три дня как очумелый деспот ходил: гляжу на небо да все думаю — как бы так его перекрасить, того-этого, не нравится оно мне в таком виде, того-этого!

Колесников остановился и неистово захохотал — точно телега по шоссе загрохотала. Засмеялся, глядя на него, и Саша. Внезапно Колесников стих и совершенно спокойным голосом сказал:

— Идем! Зря я вас своими анекдотами перебил. Говорите, того-этого. Ночь-то какая чудесная!

— Я про отца.

— Про отца так про отца. Я вас, Саша, без отчества буду звать.

— Завтра я, пожалуй, расскаюсь в том, что говорил сегодня, но... иногда устаешь молчать и сдерживаться. И ночь, правда, такая чудесная, да и весь день, и вообще я очень рад, что мы не в городе. Прибавим ходу?

— Прибавим.

— Что я люблю и уважаю мать как ни одного в мире человека, это понятно...

— Понятно. Слушай, Саша... погоди, идем тише! Я тоже, брат, никогда этого не повторю. Она меня боится и, того-этого, не любит, а я... ее...

В голосе Колесникова что-то ухнуло — точно с большой высоты оборвался камень и покатился, прыгая по склону. Замолчали. Саша старался шагать осторожно и неслышно, чтобы не мешать; и когда смотрел на своидвигающиеся ноги, ему казалось, что они коротки и обрезаны по щиколотку: въелась в сапоги придорожная известковая пыль и делала невидимыми.

— Нет, того-этого, точка! Не могу сказать. Только вот что, Саша: когда буду я умирать, нет, того-этого, когда уже умру, наклонись ты к моему уху и скажи... Нет, не могу. Точка.

— Я...

— Молчи! — знаю. Молчи.

Снова молча шагали. Казалось, уж не может быть темнее, а погас зеленый запад, — и тьма так сгустилась, словно сейчас только пришла. И легче шагалось: видимо, шли под уклон. Повеяло сыростью.

— Но вот что мне удивительно, — заговорил Саша, — я люблю и отца. И смешно сказать, за что! Вспомню, что он любил щи — их у нас теперь не делают, — и вдруг полюблю и щи, и отца, смешно! И мне неприятно, что мама... ест баклажаны...

— Вздор! Нашел, чем упрекнуть, того-этого! Свинство!

— Конечно, вздор!.. Не стоит говорить. Или вот борода его тоже нравится. Борода у него была совсем мужицкая, четырехугольная, окладистая, русая, и почему-то помню, как он ее расчесывал; и когда вспомню эту бороду, то уж не могу ненавидеть его так, как хотел бы. Смешно!

Оба шли и мечтательно смотрели перед собою; круто поднималось шоссе, и в темноте чудилось, будто оно отвесно, как стена.

— Борода, конечно. У моего батки борода тоже вроде дремучего леса, а подлец он, того-этого, преестественный. Вздор! Мистика!

— Нет, не мистика! — уже серьезно и даже строго сказал Саша, и почувствовал в темноте Колесников его нахмурившееся, вдруг похолодевшее лицо. — Если это мистика, то как же объяснить, что в детстве я был жесток? Этому трудно поверить, и этого не знает никто, даже мама, даже Лина, но я был жесток даже до зверства. Прятался, но не от стыда, а чтобы не помешали, и еще потому, что с глазу на глаз было приятнее, и уж никто не отнимет: он да я!

— Кто он?

— Кто-нибудь, мало ли на свете живого! Хотите, расскажу вам про кота? Был у нас кот — это еще при жизни отца в Петербурге, — и такой несчастный кот: старый, облезлый, его даже котята не уважали и когда играли, то били его по морде. Несчастный кот! И всего несчастнее был он через меня: мучил я его ежедневно, систематически, не давая отдыху ни на минуту — хожу, бывало, и все его ищу. На людях делаю вид, что даже не замечаю, а как одни, или во дворе за сараем поймаю, — был такой глухой угол, и он, дурак, ходил туда спасаться, — так или камнем его, или прижму поленом и начну волоски выдергивать. И вы подумайте, до чего дошел его страх: даже кричать перестал, точно не из живого, а из меха дергаю! И вот раз вечером вошел я в кухню, а там никого, и сидит на полу кот, опустил облезлую морду, дремлет, должно быть, в тепле. Увидел он меня — а я нарочно медленно подхожу и так улыбаюсь, руки расставил — и так испугался, что впал в столбняк: сидит и смотрит, и ни с места. И вдруг пришла мне бессовестная мысль: а что, если я его приласкаю? — что с ним будет? И вместо того чтобы ударить или щипать, сел на корточки, поглаживаю по голове и за ухом и самым сладким голосом: котенька, котик, миленький, красавец! — слов-то он и не понимает.

Саша замолчал, и губы его в темноте передернуло улыбкой.

— Ну? Что же кот?

— Кот? А кот сразу поверил... и раскис. Замурлыкал, как котенок, тычется головой, кружится, как пьяный, вот-вот заплачет или скажет что-нибудь. И с того вечера стал я для него единственной любовью, откровением, радостью, Богом, что ли, уж не знаю, как это на ихнем языке: ходит за мною по пятам, лезет на колена, его уж другие бьют, а он лезет, как слепой; а то ночью заберется на постель и так развязно, к самому лицу — даже неловко ему сказать, что он облезлый и что даже кухарка им гнушается!

— Больше его вы уж не били?

— Разве можно при таком доверии?

— Ну что же кот: подход, того-этого?

— Отец докончил: велел повесить за старость. И, по правде, я даже не особенно огорчился: положение для кота становилось невыносимым: он уже не только меня, а и себя мучил своею бессловесностью; и только оставалось ему, что превратиться в человека. Но только с тех пор перестал я мучить.

— То-то! Понял?

— Понял. Но ведь был же я жесток? Откуда это?

Саша мрачно задумался, и уж не так тепла казалась ночь, и потяжелела дорога, и земля словно отталкивала — недостойн, не люблю, чужой ты мне! И не чувствовал Саша, что Колесников улыбается не свойственной ему улыбкой: мягко, добродушно, по-стариковски.

— Вот так кот, того-этого! Профессор, а не кот.

Но Саша как будто не слышал и тихо промолвил:

— Кто я? Правда, мне девятнадцать лет, и у нас было воспитание такое, и я... до сих пор не знаю женщин, но разве это что-нибудь значит? Иногда я себя чувствую мальчиком, а то вдруг так стар, словно мне сто лет и у меня не черные глаза, а серые. Усталость какая-то... Откуда усталость, когда я еще не работал?

Уже серьезно и даже торжественно Колесников сказал:

— Народ, Саша, работал. Его трудом ты и утомился.

— А тоска, Василий?

— Его тоскою тоскуешь, мальчик! Я уже не говорю про теперешнее, ему еще будет суд! — а сколько позади-то печали, да слез, да муки, того-этого, мученической. Тоска, говоришь? Да увидь я в России воистину веселого человека, я ему в морду, того-этого, харкну. Ну и нечего харкать: нет в России веселого человека, не родился еще, время не довлеет веселости.

— Ах, Василий, Василий, сам ты хороший человек...

— Как же: и умница, и красавец!

— Молчи! Ты ошибаешься во мне: не чист я, как тебе нужно. Ничего я не сделал, правда, а чувствую иногда так, будто волочится за мною грех, хватает за ноги, присасывается к сердцу! Ничего еще не сделал, а совесть мучит.

— И грех не твой, того-этого. И грех позади.

— А если грех позади, то как же я могу быть чист! И не может, Василий, родиться теперь на земле такой человек, который был бы чист. Не может!

— Вздор! Ты чист. Недаром же я тебя как ягненок, того-этого, среди целого стада выбрал. Нет на тебе ни пятнышка. И что иконка у тебя над кроватью — молчи! — и это хорошо. Сам не верю, а чтоб ты верил, хочу. А что грех на тебе отцов, так искупи! Искупи, Саша!

Они уже давно остановились и стояли посередь дороги, но не замечали этого. Исступленно кричал Колесников:

— Искупи, Саша!

Он широким взмахом обвел рукою тьму:

— Смотри, вот твоя земля, плачет она в темноте. Брось гордых, смирись, как я смирился, Саша, ее горьким хлебом покормись, ее грехом согреши, ее слезами, того-этого, омойся! Что ум! С умом надо ждать, да рассчитывать, да выгадывать, а разве мы можем ждать? Заставь меня ждать, так я завтра же, того-этого, сбешусь и на людей кидаться начну. В палачи пойду!

— Нельзя ждать! — также крикнул Саша и не заметил, что он кричит.

— Ни минуты, ни секундочки! Пусть они, умные да талантливые, делают по-своему, а мы,

бесталанные, двинем по низу, того-этого! Я мужик, а ты мальчишка, ну и ладно, ну и пойдем по-мужичьему да по-ребячьему! Мать ты моя, земля ты моя родная, страданица моя вековая — земно кланяюсь тебе, подлец, сын твой — подлец!

И он действительно стал на колени и с силою потянул за собою Сашу, крича, как в бреду:

— Сашка, на колени! Сашка, не гнушайся пылью. Смирись, Сашка, — а то убью!

Но и сила же была у мальчика: оттолкнув Колесникова, он повелительно и страшно крикнул:

— Встань!

— Гнушаешься, генеральский сын?

— Гнушаюсь. Встань!

— Смотри, убью!

Скорей почувствовал, чем увидел Саша, что Колесников полез в карман за револьвером. Зловеще молчала неподвижная тьма — точно ждала огня и выстрела; и призраки страха бесшумно реяли над темными полями. «Первый не буду стрелять», — подумал Саша, вынув браунинг и неслышно спуская предохранитель. Но прошли минута и другая, а выстрела не следовало, и все так же на коленях стоял Колесников. «Да что с ним?» Но вдруг поднялся Колесников и, колыхнув воздух около Саши, быстро и молча двинулся вперед по шоссе. Дав пройти ему шагов десять, двинулся и Саша; и так с версту молча шли они, и перед юношей, все на одном и том же расстоянии, смутно колыхалась высокая молчаливая фигура. Уже засветилось небо над далью шоссе — приближался город, когда Колесников остановился, поджидая товарища, и сказал совершенно спокойно:

— Извини меня, Саша, я и впрямь, того-этого, начинаю на людей кидаться. Находит на меня, что ли... Ты не обиделся, парень?

— Нет, — сдержанно ответил Саша, — на крик и даже на плохие слова я обидеться не могу. Только заметь, пожалуйста, Василий, что и сам я... с прахом мешаться никогда не буду, да и другим не позволю.

— Как ты повернул, того-этого: с прахом! — невесело улыбнулся Колесников и, вздохнув, добавил: — Но ты прав. Теперь понимаешь, Саша, почему я не мог стать в первую голову, а двигаю тебя?

— Понимаю, пожалуй.

— Зверь я, Саша. Пока с людьми, так, того-этого, соблюдаю манеры, а попаду в лес, ну и ассимилируюсь, вернусь в первобытное состояние. На меня и темнота действует того-этого, очень подозрительно. Да как же и не действовать? У нас только в городах по ночам огонь, а по всей России темнота, либо спят люди, либо если уж выходят, то не за добром. Когда будет моя воля, все деревни, того-этого, велю осветить электричеством!

Он засмеялся, но невесело.

— Ты мне про кота рассказал, а хочешь, я тебе про некоего медведя расскажу? Добродетельный был медведь, знал все штуки и под конец, того-этого, проникся альтруизмом до высокой степени. Ну и случилось, что на вожака в лесу волки напали и уж совсем было загрызли, да медведь как двинет, того-этого, всю стаю расшвырял. Расшвырял и давай вожаку по своей привычке раны зализывать — все от добродетели, не иначе как-нибудь. Лизнул раз — что за черт, того-этого, сладко! Он другой, да третий, да до самого станового хребта и долизал! Съел, того-этого.

Рассказывал Колесников весело и даже как будто со смешком, но видно было, что ответа ждет беспокойно и возлагает на него какие-то свои надежды. И облегченно вздохнул, когда Саша промолвил со строгим упреком:

— Зачем ты чернишь себя, Василий? Эта сказка совсем к тебе не идет. И вообще ты напрасно весь день сегодня бросал слово «разбойник»: мы не в разбойники идем. У разбойника личное, а где оно у тебя? Что тебе нужно: богатство? — слава? — вино и любовь?

Колесников засмеялся так, будто сама душа его смеялась, и долго не мог успокоиться.

— Ну и сказал, того-этого! Вино, карты и любовь — хо-хо-хо!

Но Саша был серьезен и даже не улыбнулся на его неистовую веселость.

— Это вовсе не так смешно, Василий. И не знай я, что ты бескорыстнейший в мире человек и честнейший и самый нежный...

Колесников, вытиравший рукою глаза, — должно быть, от смеха слезились они, — коротко оборвал:

— Буде! Ходу!

Минут пять шли молча.

— Вот еще, Василий, чтобы не было недоразумений: мой отец... все-таки он был человек честный. По-своему, конечно, но очень честный, это я наверное знаю.

— Верю. А я, Саша, себе все-таки такие же сапоги куплю, как у тебя: в калошах по болотам не напрыгаешься. Можно бы, конечно, подешевле, ну да уж кутну напоследок, того-этого!

— Сегодня у нас воскресенье? Ну, так деньги я добуду не позже, как к четвергу. Эта тысяча положена отцом в банк до моего совершеннолетия, и я могу ею распоряжаться, но только трудно будет с векселем; надо узнать, как это делается. Ты знаешь?

— Нет.

— Все равно, деньги эти мне уже не понадобятся, так что можно дать большие проценты...

Было ли это юношеское, мало сознательное отношение к смерти, или то стойкое мужество, которое так отличало Сашу в его последние дни, но о смерти и говорил он и думал спокойно, как о необходимой составной части дела. Но так же, впрочем, относился к смерти и Колесников.

— Дело только за маузерами, — сказал он. — Карты и все, того-этого, сведения у меня есть. Да, Саша, а от винных-то лавок нам придется отказаться: трудно будет народ, того-этого, оторвать от пойла; а ежели жечь, деревню спалишь.

— Жалко! А когда ты меня с Андреем Ивановичем сведешь?

— С матросиком-то? Уж и не знаю, Саша. Берегу я его, как клад, того-этого, драгоценнейший, на улицу не выпускаю. Вот, Саша, чистота! Пожалуй, и тебе не уступит. Я б и тебя тревожить не стал, одним бы матросиком обошелся, да повелевать он, того-этого, не умеет. О, проклятое рабье племя — даже и тут без генеральского сына не обойдешься! Не сердись, Саша, за горькие слова.

Саша, краснея, согласился:

— Что ж, это отчасти правда.

— Проклятое племя! Ну долго ли мой отец был крепостным, а я всю жизнь, того-этого, послушанием страдаю. Ты вон давеча на меня крикнул, а я сейчас же за револьвером — от послушания, того-этого, оттого, что иначе возразить не умею, от стыда! Эх, Саша, много еще ты молиться должен, пока свой грех замолишь.

Молчали; и уже чувствовали, как немеют ноги от дальнего пути. Справа от шоссе то ли сгустилась, то ли посерела тьма, обрисовав кучу домишек; и в одном окне блестел яркий и острый, как гвоздь, огонь —

один на всю необъятную темноту ночи. Колесников остановился и схватил Сашу за руку:

— Смотри, Саша! Ну не сразу ли видно, что рабий огонь. Воззрился в темноту, а сам, того-этого, дрожит и мигает, как подлец. Нет, будь ему пусто, пойду напугаю его. Много, думаешь, ему нужно? Попрошу воды, а он уж и готов...

Но Саша, смеясь, удержал его. Начинала томить усталость. Сели на краю канавки, лицом к далекому огоньку, уже расплывшемуся в желтизне окна; Саша закурил.

— Последняя, — сказал он про папиросу, — всю дорогу берег.

Остальной путь шли молча: устала душа от пережитого, и хотелось думать в одиночку. Только уже у шлагбаума Колесников поставил точку над своими размышлениями и грустно сказал:

— Да, того-этого, никакой дурак в трубе углем не пишет, а мелом. Так-то, Саша, мел ты мой белейший.

— Завтра придешь?

— Нет. Больше к вам я не приду.

Он сказал «к вам», а не «к тебе», и Саша понял это и одобрил. И вдруг, при мысли о матери, которой он с утра не видал и которая ждет его, сердце его сжалось невыносимой, почти физической болью: даже захватило дыхание. И на мгновение все это показалось страшным сном: и ночь, и Колесников, и те чувства, что только что до краев наполняли его и теперь взметнулись дико, как стая потревоженного воронья. И особенно похоже было на сон полосатое бревно шлагбаума, скупое озаренное притушенным фонарем: что-то невыносимо ужасное, говорящее о смерти, о холоде, о беспощадности судьбы, заключали в себе смутные полосы черной и белой краски. Но это было только мгновение.

И по улице шли молча, торопясь дойти до перекрестка, где разветвлялись пути. Звякнула за углом в переулке подкова и вынырнули возле фонаря два стражника на тяжелых, ленивых лошадях. Хотели повернуть направо, но, увидев на пустынной улице двух прохожих, повернули молча в их сторону. Колесников засмеялся:

— Вот вздумают они нас, того-этого, обыскать, тут нашему громкому делу и конец. Смотри, как целятся.

Но, должно быть, этот смех успокоил стражников; все же один, подав коня к тротуару, наклонился и заглянул в лица, увидел блестящие пуговицы Сашиного гимназического пальто и, либо спросонок, либо по незнакомству с мундирами, принял его за офицера: выпрямился и крикнул сипловатым басом:

— Здравия желаю, ваше благородие!

Саша коротко и сухо бросил:

— Здорово!

14. Господа гимназисты

Дома Сашу встретило нечто неожиданное: со двора он поразился тем, что окна в столовой, несмотря на позднюю ночь, ярко освещены, и уже с предчувствием чего-то недоброго ускорил шаг. А на пороге с ним почти столкнулась, видимо, поджидавшая его Линочка и торопливо сказала:

— Сашечка, родной мой, не волнуйся, случилось несчастье.

— Мама?..

— Ну что ты! Да нет же, Тимохин. Сегодня утром, то есть, должно быть, ночью, повесился Тимохин. Иди скорее, у нас Добровольский, Штемберг и другие, ждут тебя.

И вдруг охватила его шею руками, спряталась ему на грудь и заплакала: разрешалось отчаянными слезами какое-то волнение, более глубокое, чем могла вызвать смерть малознакомого Тимохина.

— Да родной же мой Сашечка!.. — всхлипывала она и судорожно цеплялась за шею и за руки, точно боялась, что он снова уйдет. — Мы так ждали тебя, отчего ты не приходил! Родной мой Сашечка...

— Ну что ты, Лина! — спокойно сказала подошедшая Елена Петровна и начала отцеплять от Сашиных пуговиц запутавшиеся в них русые волоски. — Успокойся, девочка. Там тебя ждут, Саша, иди.

И вдруг — и Саша даже не знал до сих пор, что это может быть у людей! — Елена Петровна раза три громко и четко лязгнула зубами. «Как собака, которая ловит блох», — дико подумал Саша, холодея от страха и чувствуя, как на губах его выдавливается такая же дикая, ни с чем не сообразная улыбка.

Тяжелая была ночь! До утра бледные гимназисты сидели у Погодиных и растерянно, новыми глазами, точно со. страхом рассматривали друг друга и два раза пили чай; а утром вместе с Погодиными отправились в богоугодное заведение, куда отвезен был Тимохин, на первую панихиду.

Вздутое лицо покойника было закрыто кисеей, и только желтели две руки, уже заботливо сложенные кем-то наподобие крестного знамения — мать и отец Тимохина жили в уезде, и родных в городе у него не было. От усталости и бессонной ночи у Саши кружилась голова, и минутами все заплывало туманом, но мысли и чувства были ярки до болезненности.

Перед глазами двигалась черная с серебром треугольная спина священника, и было почему-то приятно, что она такая необыкновенная, и на мгновение открывался ясный смысл в том, что всегда было непонятно: в синих полосках ладана, в странности одежды, даже в том, что какой-то совсем незначительный человек с козлиной реденькой бородкой шепчет: «Раздавайте!», а сам, все так же на ходу, уверенно и громко отвечает священнику:

— Господу помолимся! Господу помолимся!

Саша думает, покорно принимая свечу: «Только сейчас он сидел дома и пил чай с женой, и борода у него козлиная, а теперь он необыкновенный, имеет власть и знание, и это понимает священник и ждет ответа — какая это правда!»

И все правда, и все делается именно так, как нужно. Открыто окно в маленький заведенский садик, где гуляют больные, и пахнет из окна тополем и распускающейся березкой — так и нужно, чтобы было открыто и чтобы пахло. И чтобы весна была, апрель, тоже нужно. Увидел в синем дыму лицо молящейся матери и сперва удивился: «Как она сюда попала?», — забыл, что всю дорогу шел с нею рядом, но сейчас же понял, что и это нужно, долго рассматривал ее строгое, как бы углубленное лицо и также одобрил: «Хорошая мама: скоро она так же будет молиться надо мною!» Потом все так же покорно Саша перевел глаза на то, что всего более занимало его и все более открывало тайн: на две желтые, мертвые, кем-то

заботливо сложенные руки. И уверенно подумал, что и он так же будет лежать и так же будут сложены руки, и от тихой жалости к себе защипали в носу слезы: так нужно.

Что-то сдвинулось в мозгу: на несколько минут словно затмилось сознание, и это уже не Тимохин лежит и не над ним служат, а лежит он, Саша, и эти руки его; так очевидно и так страшно было замещение одного другим, что Саша зашевелил пальцами и подумал, холодея: «Скорее, скорее надо убедиться, что это мои руки и шевелятся». И так же внезапно успокоился и задумался о Тимохине и в одно мгновение необыкновенно быстрыми мыслями понял всю его жизнь.

Какое-то волнение пробежало среди молящихся; послышался сдержанный шепот:

— Сумасшедший! Прогоните сумасшедшего!

Как и все, кто еще не видел, Саша быстро повернулся к раскрытому окну и вздрогнул: повисши руками на подоконнике, в часовенку заглядывал один из гулявших в садике сумасшедших, стриженный, темный, без шапки, — темная и жуткая голова. Он торопливо улыбался, стараясь поскорее выразить какое-то свое отношение, а глаза с сверкающим белком бегали по лицам и горели ненасытимым отчаянным любопытством. Часто крестясь, поспешно прошел Добровольский, и через минуту голова скрылась, а через несколько минут кончилась и панихида.

Но нерешительно медлил священник, то ли собираясь разоблачаться, то ли сделать что другое; по-видимому, ему хотелось сказать гимназистам слово, но не знал, насколько это будет прилично. Наконец обернулся и все так же нерешительно обвел присутствующих старческими, заплаканными, очень простыми, добрыми стариковскими глазами. Саша, привыкший видеть только своего гимназического о. Алексея и как-то забывший о существовании других священников, удивился, что это не о. Алексей, и с дружелюбным недоумением разглядывал незнакомое, растроганное, бледное стариковской бледностью лицо и красные от слез веки. И вдруг смутился, почувствовав в глазах старика не только страдание, но и робость, даже испуг. Были смущены и другие.

«Да скоро ли он?» — думал Погодин, мучась. Слегка расставив ноги в мягких, без каблуков, сапогах, — точно не смел стать спокойнее и тверже, — священник нерешительно касался рукою наперсного креста; вдруг заморгал часто выцветшими глазами и сказал добрым, дрожащим от доброты и желания убедить голосом:

— Господа гимназисты! Как же это можно? А как же родители-то ваши, господа гимназисты? Как же это так, да разве это можно? Ах, господа гимназисты, господа гимназисты!

Он еще что-то хотел прибавить, но не нашел слова, которое можно было бы добавить к тому огромному, что сказал, и только доверчиво и ласково улыбнулся. Некоторые также улыбнулись ему в ответ; и, выходя, ласково кланялись ему, вдруг сделав из поклона приятное для всех и обязательное правило. И он кланялся каждому в отдельности и каждого провожал добрыми, внимательными, заплаканными глазами; и стоял все в той же нерешительной позе и рукою часто касался наперсного креста.

А через несколько минут уже шли по садику, пугливо сторонясь гуляющих сумасшедших, и Тимохин со своим вздутым лицом и желтыми руками остался один. Дорогой Штемберг сердито говорил Саше:

— Этот Добровольский! Отдал его записку в младшие классы, чтобы списывали. Он мог сам сделать копию и вообще не имел на это права, так как записка принадлежит всему нашему классу. И что там списывать — так можно запомнить, если не дурак. Такое свинство!

Саша вспомнил эту коротенькую предсмертную записку:

«Бороться против зла нет сил, а подлецом жить не хочу. Прощайте, милорды, приходите на панихиду». Было что-то тимохинское, слегка шутовское в этой ненужной добавке: «приходите на

панихиду», и нужно было вспомнить кисею, желтые мертвые руки, заплаканного священника, чтобы поверить в ужас происшедшего и снова понять.

Домой пошел только Штемберг, а остальные отправились на обычное место, на Банную гору, и долго сидели там, утомленные бессонной ночью, зевающие, с серыми, внезапно похудевшими лицами. Черный буксирный пароходик волок пустую, высоко поднявшуюся над водой баржу, и, казалось, никогда не дойти ему до заворота: как ни взглянешь, а он все на месте.

— Славный поп! — сказал кто-то из гимназистов и тихо улыбнулся.

Ему не ответили, но та же тихая и ласковая улыбка пробежала и по всем молодым, утомленным лицам.

15. На распутье

К четвергу Саша действительно достал деньги: пятьсот рублей за тысячу, а на воскресенье ночью был назначен уход — приходился день на второе мая.

— А не лучше ли днем уйти? — усомнился Колесников. — Ночью, того-этого, еще хватятся.

— Нет. Если я уйду днем, мать узнает ночью... пусть лучше утром узнает, тогда народ. Я в окно уйду, никто не услышит.

— Сестре письмо оставь.

Саша промолчал и с неудовольствием подумал: «Какой нетактичный, не понимает, что об этом не надо говорить и что я сам все знаю». Вообще, в эти последние дни, проведенные дома, он был крайне холоден с Колесниковым и ни разу прямо не взглянул на него, как-то слишком даже гордо обособился в своем горе и думах. И Колесников, не находивший себе места от бурного волнения и безысходных мыслей об Елене Петровне, уже со злобой поглядывал на его спокойно-замкнутое лицо и белые, спокойно положенные на колени руки: «Какой же ты, братец, гордый, недаром генеральский сынок!» Но прямо высказаться не смел и даже, наоборот, относился с особой предупредительностью и, чувствуя ее, еще больше возмущался Сашей и собой.

Что-то путаное появилось в его мыслях, поступках и даже желаниях, и насколько тверды были последние Сашины шаги, настолько у него все колебалось и прыгало лихорадочно. То без толку хохотал и сыпал «того-этого», то мрачно супился и свирепо косил своим круглым, лошадиным глазом; по несколько раз в день посылал Саше записки и вызывал его за каким-нибудь вздорным делом, и уже не только Елене Петровне, а и прислуге становились подозрительны его посланцы — оборванные городские мальчишки, вороватые и юркие, как мышата. Раз, блаженно улыбаясь, пошел к Саше в новых сапогах, чтобы показаться, но на полдороге плюнул и повернул назад: «Еще подумает, обрадовался деньгам, — о, чтоб черт всех вас побрал!» Перестал спать по ночам. А когда пробовал задуматься о дальнейшем или твердо установить смысл ухода, то оказывалось, что все прежние мысли забыты, остались какие-то кончики, обглоданные селедочные хвостики; и начиналась такая дикая неразбериха, что хоть в сумасшедший дом. Службу бросил и, рискуя подвести глубоко запрятанного Андрея Ивановича, матросика, почти каждый день шатался к нему.

— Беспокоит меня Погодин, — говорил он солидно, — не знаю, как и быть, того-этого.

— Что, боится?

— Ну вот, боится!.. Конечно нет. Не нашего он поля ягода, того-этого, вот что.

Андрей Иванович молчал и ждал. Был он среднего роста крепкий человек, одетый в хорошую пиджачную пару, до чрезвычайности по виду спокойный и сдержанный. И молодое лицо его с черными усиками — подбородок он брил — было спокойное, и красивые глаза смотрели спокойно, почти не мигая, и походка у него была легкая, какая-то незаметная: точно и не идет, а всех обгоняет; и только всмотревшись пристально, можно было оценить точность, силу, быстроту и своеобразную ритмичность всех его плавных движений, на вид спокойных и чуть ли не ленивых. И стоял он так легко, будто не касался земли.

— Совсем вы интеллигент, Андрей Иванович! — мрачно сказал Колесников, с ненавистью оглядывая чистенькую, почти как у Саши, в порядке содержимую комнату.

Андрей Иванович улыбнулся, но ничего не ответил. И ждал более ясного. На рваных, подмоченных

обоях стены висела чистенькая балалайка с раскрашенной декой: наляпал художник, свой брат матрос, зеленеющих листьев, посадил голубя или какую-то другую птицу и завершил плоской, точно раздавленной розой; покосился Колесников и спросил:

— Неужто и эту возьмете?

— Возьму-с.

— Оставьте, Андрей Иванович.

— Почему же, Василий Васильевич? Пронес, можно выразиться, сквозь огонь и медные трубы, а теперь чего же оставлять! Она же и не обидна, — спокойно ответил Андрей Иванович.

— Ну так сыграйте, того-этого.

— Что прикажете?

Колесников рассердился.

— Прикажете, того-этого, прикажете! И отчего у вас, Андрей Иванович, своих желаний нет, а все «прикажете»? Надо же и достоинство иметь.

— Я достоинство имею, и желания у меня есть, Василий Васильевич.

— Вот вы молчите всегда, тоже, того-этого, нехорошо. Человек, который себя уважает, любит обмениваться мыслями, а не молчит.

Андрей Иванович улыбнулся:

— Кому мои мысли интересны, тот и без слов их знает. Что прикажете сыграть, Василий Васильевич?

Но Колесников уже не хотел музыки: мутилась душа, и страшно было, что расплечется — от любви, от остро болячей жалости к Саше, к матросику с его балалайкой, ко всем живущим. Прощался и уходил — смутный, тревожный, мучительно ищущий путей, как сама народная совесть, страшная в вековечном плену своем.

16. Душа моя мрачна

Темнел впереди назначенный для ухода день и, вырастая, приближался с такой быстротой, словно оба шли друг к другу: и человек, и время, — решалась задача о пущенных навстречу поездах. Минутами Саше казалось, что не успеет надеть фуражки — так бежит время; и те же минуты тянулись бесконечно, растягиваясь страданиями и жутким беспокойством за Елену Петровну.

И одной из самых мучительных мыслей была та: как держать себя с матерью в последние дни. Чаше уходить из дому, чтобы привыкла к отсутствию? Да разве она привыкнет! Быть холоднее и суше, чтобы не так жалела, когда уйдет? Да разве она поверит! А если и поверит, то зачем же эта ненужная, оскорбительная боль, рожденная недоверием и к любви, и к силе: в ней есть неуважение и обида. А если быть таким, как хочется, и все сердце открыть для любви и нежности сыновней, — то как же она будет потом, когда он уйдет навсегда? Мать, мать! Одна ты и здесь можешь научить меня, когда о твоей душе состояются жизнь и смерть. Мать, мать! На крови твоего сына создается храм будущего — раскрой же мне сердце твоей чудесной властью и благослови на смерть. Мать, мать!

И ответила мать: «Ты же радовал меня, сын? Порадуй и теперь. А когда пойдешь на муку, пойду и я с тобою; и не смеешь ты крупинки горя отнять от меня — в ней твое прощение, в ней жизнь твоя и моя. Разве ты не знаешь: кого любит мать, того любит и Бог! Радуй же, пока не настала мука».

Так и было. Последние дни Саша провел так:

В четверг только на час уходил к Колесникову и передал ему деньги. Остальное время был дома возле матери; вечером в сумерки с ней и Линочкой ходил гулять за город. Ночью просматривал и жег письма; хотел сжечь свой ребяческий старый дневник, но подумал и оставил матери. Собирал вещи, выбрал одну книгу для чтения; сомневался относительно образа, но порешил захватить с собою — для матери.

В пятницу с утра был возле матери. Странно было то, что Елена Петровна, словно безумная или околдованная, ничего не подозревала и радовалась любви сына с такой полнотой и безмятежностью, как будто и всю жизнь он ни на шаг не отходил от нее. И даже то бросавшееся в глаза явление, что Линочка сидит в своей комнате и готовится к экзамену, а Саша ничего не делает, не остановило ее внимания. Уж даже и Линочка начала что-то подозревать и раза два ловила Сашу с тревожным вопросом:

— Да когда же ты сядешь готовиться, Саша? В понедельник у тебя экзамен.

— Отстань. В понедельник русский язык.

— Ой, смотри, Сашка! Ой, провалишься в тартарары!

Так было до вечера. Вечером Линочка ушла к Жене Эгмонт вместе заниматься, а Саша читал матери любимого обоими Байрона; и было уже не меньше десяти часов, когда Саше прислуга подала записку от Колесникова: «Выйди сейчас же, очень важно».

— Опять мальчишка принес, — сказала горничная. — Просит ответ.

— Передайте, что сейчас.

Елена Петровна вдруг побледнела и встала:

— Кто это? Колесников?

Саша утвердительно кивнул головой.

— Почему он не идет сюда? Почему он шлет какие-то записочки?.. Саша! Ты идешь к нему?

— На час. Он какой-то странный эти дни, — хмуро ответил Саша.

— Скажи прямо: за ним следят?

Саша кивнул головой и сказал:

— Я приду через час. Не закрывай книгу, мамочка. И не бойся: я вернусь... через час.

Даже в темноте видно было, как взволнован Колесников — весь, всем своим большим телом. Дышал он хрипло и с жадностью схватил Сашину руку. Бормотал неразборчиво:

— Я рад. Погоди, сейчас, сейчас все скажу. Пойдем. Полпереулка молча тащил его — и, вдруг остановившись, положил обе руки на Сашины плечи и с силою, очевидно, не сознавая, что делает, начал трясти его:

— Саша! Останься. Я тебе говорю. Все вздор! Ничего нет. Я обманул тебя, Саша! Меня следует убить. У-у-у, собака!

Саша освободил плечи — руки Колесникова отвалились с странною легкостью — и решительно сказал:

— Говори толком. У тебя бред!

От Сашиной строгости он точно совсем размяк. Вдруг скрипнул зубами, вспыхнул и припал к юноше, бормоча:

— Саша, это во сне пришло. Все мы спим, Саша. Боже ты мой, какое наказание. Сашечка, ты мне... как сын.

Он снова всхлипнул:

— У меня никого нет. Проснись, Саша! Проснись!

— Тише!.. Ты с ума сошел. Идем. Ну, ну, шагай...

— Саша...

— Шагай, тебе говорю!

Оба быстро зашагали, и с каждым шагом Колесников, видимо, успокаивался. Саша с ненавистью взглянул на его сгорбившуюся, сутулую фигуру и сухо начал отчитывать:

— Вы, Василий Васильевич... — поправился и продолжал, — ты, Василий, очевидно, не совсем ясно отдаешь себе отчет в происходящем. В воскресенье, как сказано, я ухожу. Слышишь?

«Не любит», — покорно подумал Колесников и сгорбился еще больше.

— Ты, очевидно, думаешь, что я иду потому, что ты меня позвал. Так знай, что с тобой я бы не пошел и зовешь меня не ты, — у тебя и голоса такого нет, — а... народ, или ты это забыл? И если это сон, как ты говоришь, то не ты его наваял, а... народ. Я не буду становиться на колени, как ты... — Голос юноши звучал сухо и даже злобно:

— Но я отдам ему все, что имею: чистоту. С гордостью скажу тебе, Василий, что я чист — тогда я вздор говорил о каком-то грехе. Если и есть грех, то не мой, и с тем иду, чтобы его сложить. Что будет, я не знаю. Но я люблю тех, к кому иду, и верю... в правду. И если даже только то удастся мне сделать, чтобы честно умереть, то и тогда я буду счастлив. Не может быть, чтобы бесплодно осталась моя крестная смерть! Не может быть, клянусь тебе, Василий, всею правдой, какая есть на земле. Ах, Василий, Василий!..

Исчезли в голосе сухость и злость; мягко, почти молитвенно звучали слова:

— Только сейчас, сию минуту, я смотрел на чистое лицо моей матери, и совесть моя была спокойна. А кто с чистою совестью смотрит в лицо матери, тот не может совершить греха, хотя бы не только все люди,

Василий, а сам Бог осудил его!

Долго шли молча. Колесников сказал:

— Значит, в воскресенье, того-этого.

— Да, как сказано.

Внезапно Колесников рассмеялся, правда, надтреснутым смехом, но весело и добродушно: даже детское что-то откликнулось в ночном неурочном смехе:

— Что ты?.. Какой ты... несуразный человек, Василий.

— А может, и я, того-этого, за тобой пройду? Бочком, того-этого? А?

— Куда?

— Да в правду? Ну ладно, не гневайся... генерал. То подумай, что я сегодня, чего доброго, спать буду. Уж мой сапожник беспокоиться начал: уж вы, Василий Васильевич, не лунатик ли, того-этого? Ну и дурак, говорю; какой же лунатик без луны — солнцевик я, брат, солнцевик, это похуже. Прощай, Саша, до воскресенья не услышишь.

Уже один Саша вернулся домой, Колесников и провожать не пошел. Да Саша и рад был, что остался один — приятно шлось по темным, тихим улицам, где знаком был каждый забор и во мраке угадывались неровности и особенности пути. От нависших над тротуаром, облиствевших деревьев шел запах, такой ясный, многозначительный, зовущий, как будто он и есть весенняя жизнь; немой и неподвижный, он владел городом, полем, всею ширью и далью земли и всему давал свое новое весеннее имя. «Опоздаю на полчаса, надо же одуматься», — решил Саша, сворачивая в глухой переулок, в котором сама темнота и глушь казались запахом и весной.

Но не по совести решил Саша: не думать ему хотелось, а в одиночестве и тьме отдаться душой тому тайному, о чем дома и стены могут догадаться. Эта потребность уйти из дому и блуждать по улицам являлась всякий раз, как сестра уходила к Жене Эгмонт — и так радостно и беспокойно и волнующе чувствовалось отсутствие сестры, словно в ее лице сам Саша таинственно соприкасался с любовью своею. И как поздно Линочка ни возвращалась, Саша не ложился спать и ждал ее; а услышит звонок — непременно выглянет на минутку, но не спросит о Жене Эгмонт, а сделает такой хмурый и неприветливый вид, что у сестры пропадет всякое желание говорить, — и уйдет в свою комнату, радостный и горький, богатый и нищий.

И теперь, кружась по улочкам, Саша странным образом думал не о той, которою дышала ночь и весна, а о сестре: представлял, как сестра сидит там, догадывался о ее словах, обращенных к той, переживал ее взгляд, обращенный на ту, видел их руки на одной тетради; и мгновениями с волнующей остротой, задерживая дыхание, чувствовал всю ту непостижимую близость незаметных, деловых, рабочих прикосновений, которых не замечали и не ценили, и не понимали обе девушки. И если бы не человек, а Бог, которому нельзя солгать, спросил юношу, о чем он думает, он чистосердечно и уверенно ответил бы: думаю о Линочке — она очень милая, и я ее люблю, — и о Колесникове: он очень тяжелый, и я его не люблю. Ибо как черная мозаика в белый мрамор, так и во все думы и чувства Саши въедалось воспоминание о разговоре и связанные с ним образы; и как не знал Саша, кому принадлежат его мысли, так не понимал и того, что именно черный Колесников принес ему в этот раз спокойствие и своей тревогой погасил его тревогу. Что-то очень важное, все объясняющее, сказано, и не только сказано, а и решено, и не только решено, а и сделано, — одно это твердо знал и чувствовал успокоившийся юноша.

Мать даже не упрекнула за опоздание — а опоздал он на целый час; и опять было хорошо, и опять читали, и яркие страницы книги слепили глаза после темноты, а буквы казались необыкновенно черны,

четки и красивы.

...Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая.
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес —
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются...

— Как ты хорошо читаешь, Сашенька! Если ты не устал...

— Нет, мамочка, не устал.

— Прочти мне «У вод вавилонских». Когда я слышу эту песнь, мне кажется, Сашенька, что все мы — бедные евреи, томимые печалью... Ты без книги?

— Я знаю так.

Саша читает, закрыв глаза, и гудят, как струны певучие, строфы:

...Повесили арфы свои мы на ивы,
Свободное нам завещал песнопенье
Солим, как его совершилось паденье;
Так пусть же те арфы висят молчаливы:
Вовек не сольете со звуками их,
Гонители наши, вы песен своих!..

Около часу пришла Линочка; и, хотя сразу с ужасом заговорила о трудностях экзамена, но пахло от нее весною, и в глазах ее была Женя Эгмонт, глядела оттуда на Сашу. «И зачем она притворяется и ни слова не говорит о Эгмонт!.. Меня бережет?» — хмурился Саша, хотя Линочка и не думала притворяться и совершенно забыла и о самой Жене, и о той чудесной близости, которая только что соединяла их. Впрочем, вспомнила:

— А меня Женя провожала, до самой калитки довела. Велела тебе, мамочка, ландышки отдать, а я и забыла. Сейчас отколю.

«Так вот где она сейчас была!» — колыхнулся Саша.

— С кем же она пошла? — равнодушно спросила Елена Петровна, равнодушно нюхая ландыши.

— Нас ее брат провожал, двоюродный, из Петербурга, он у них гостит, гвардеец, с усами. Да, родная моя мамочка! — он прямо в ужасе: как вы здесь живете? Но до того вежлив, что мне, ей-Богу, за нашу улицу стыдно стало — хоть бы разъединый поганый фонаришко поставили!

Прощаясь и целуя Сашу, Линочка сонно шепнула что-то, и показалось ему, что это о Жене Эгмонт. Сурово переспросил:

— Что ты там шепчешь?

— Тише, Сашка! Я говорю, какая наша мама красавица! Такая молодая, и глаза у нее... ах, да родной же мой Сашечка, посмотри сам глазами, я спать хочу. У-ух, глазыньки мои... геометрические.

Несмотря на вежливого гвардейца, эту ночь Саша спал спокойно и крепко.

В субботу утром под весенним и радостным дождем ходил в аптекарский магазин Малчевского — купить йодоформу, бинтов и других перевязочных средств: знал Саша, что Колесников об этом не

позаботится. Вечером гимназисты назначили маевку, но Саша от участия отказался под тем предлогом, — для матери, — что не хочет видеть пьяных. Но так как после дождя погода стала еще лучше, вдвоем с Еленой Петровной гулял по берегу реки до самой ночной черноты; и опять ни о чем не догадывалась и ничего не подозревала мать. Линочка была у Жени Эгмонт и по-вчерашнему вернулась около часу, но не смеялась, а была рассеянна, задумчива, как будто чем-то расстроена. Вздыхала.

— Ты веришь в предчувствия, мама? — спросила наконец Линочка, закинув голову и вздыхая.

— Да что с тобою, Линочка?.. Какие еще предчувствия? Ну, конечно, наверно, о Тимохине опять говорили; этот несчастный Тимохин скоро всех вас с ума сведет. Говорили?

— Говорили. Но какая глупая Женя Эгмонт, я никогда от нее этого не ожидала! Впрочем, мы обе с ней плакали.

— Еще о чем?

— Ах, мама: раз плакали, значит, нужно.

Закинула голову вверх и, не мигая, смотрела на светлый круг от лампы; и влажно блеснули глаза. Елена Петровна знала, что теперь от нее ничего не добьешься, и коротко сказала:

— Иди-ка ты спать лучше.

— Пусть Саша меня проводит.

Мать улыбнулась:

— Проводи ее, Сашенька.

Все так же не глядя, Линочка подставила матери щеку и устало поплыла к двери, поддерживаемая улыбающимся Сашей; но только что закрылась дверь — схватила Сашу за руку и гневно зашептала:

— Сашка! Если ты... если ты, Сашка, то ты будешь такой!.. Вот письмо, да бери же!

— Какое письмо?

— От Жени.

— Это еще зачем?

— Если ты не возьмешь, Сашка, то клянусь Божьей Матерью... Ты такой дурак, Саша, что мне даже стыдно, что ты мой брат. Ах, родной мой Сашечка, если бы ты тоже мог поклясться...

— Давай письмо.

— И ответ?.. Скорее, а то мама.

— И ответ. Завтра вечером.

Линочка быстро и крепко поцеловала брата и поплыла, как актриса, по коридорчику.

В эту первомайскую ночь Саша не ложился до рассвета. Полночи, последней, которую он проводил дома, он решал: вскрывать ему письмо или нет — и не вскрыл; полночи он писал бесконечный ответ на письмо, которого не прочел, и кончил записочкой в два слова: «Не нужно. А.П.». И так и не заметил этой ночи, последней в этой жизни, не простился с нею, не обласкал глазами, не оплакал — вся она прошла в биении переполненного сердца, взрывах ненужных слов, разрывавших голову, в чуждой этому дому любви к чуждому и далекому человеку. И о матери ни разу не подумал, а что-то собирался думать о ней — изменил матери Саша; о Линочке не подумал и не дал ни любви, ни внимания своей чистой постели, знавшей очертания еще детского его, тепленького тела — для любви к чужой девушке изменил и дому и сестре. Только ужасной мечте своей не изменил Саша. Хоть бы на краешек, на одну линию поднялась

завеса будущего — и в изумлении, подобном окаменению страха, увидел бы юноша обреченный, что смерть не есть еще самое страшное из всего страшного, приуготовленного человеку.

Но не поднялась завеса, и вовеки темным стояло будущее, таинственно зачинаясь от последнего сказанного слова.

В воскресенье...

А в воскресенье происходило следующее. Шел уже третий час ночи; накрапывал дождь. В глухом малоезжем переулке с двумя колеями вместо дороги стояла запряженная телега, и двое ожидали Сашу: один Колесников, беспокойно топтался около забора, другой, еле видимый в темноте, сидел согнувшись на облучке и, казалось, дремал. Но вдруг также забеспокоился и певучим, молодым душевным тенорком спросил:

— Да то ли место, Василь Василич? Не прогадать бы.

— Да то самое, Петруша. Молчи, того-этого.

— Можно.

— Что можно?

— Помолчать можно. А вы бы часы поглядели, Василь Василич.

— Глядел уж. Сиди!

Место действительно было то самое, что условлено: та часть низенького, светившегося щелями забора, откуда в давние времена Саша смотрел на дорогу и ловил неведомого, который проезжает. Уже серьезно забеспокоился Колесников, когда зашуршало за оградой и, царапнув сапогами мокрые доски, на верхушку взвалился Саша.

— Держи! — шепнул он сдавленно, протягивая маленький чемоданчик и нащупывая в темноте поднятые руки Колесникова.

— Заждались! — сказал Колесников, принимая.

Саша не ответил и легко спрыгнул, слегка задев его плечом.

— Здравствуй, Саша.

— Здравствуй. А это кто? — Андрей Иванович?

— Как можно! Андрея Ивановича я вчера отправил. Это Петруша. Петруша, это ты?

Петруша засмеялся:

— Я!

— Все готово?

Когда расселись на телеге, Саша, касавшийся плеча Петруши, но все же не могший его рассмотреть, сказал:

— Ну здравствуйте, Петруша.

Колесников поправил:

— Не говори ему «вы», он не любит. Петруша! Вот тебе и атаман, того-этого. Знакомься.

— Очень рады. А как вас звать?

Саша покраснел и твердо ответил:

— Сашка Жегулев.

Петруша дернул вожжами: но, караковая! — и, подумав, сказал:

— Значит, Александр Иваныч. Ну здравствуйте, Александр Иванович!

Часть 2

Сашка Жегулёв

1. Сеятель щедрый

Грозное было время.

Еще реки не вошли в берега, и полноводными, как озера, стояли пустынные болота и вязкие топи; еще не обсохли поля, и в лесных оврагах дотаивал закрупевший, прокаленный ночными морозами снег; еще не завершила круга своего весна — а уж вышел на волю огонь, полоненный зимою, и бросил в небо светочи ночных пожаров. Кто-то невидимый вызвал его раньше времени; кто-то невидимый бродил в потемках по русской земле и полной горстью, как сеятель щедрый, сеял тревогу, воскрешал мертвые надежды, тихим шепотом отворял завороченную кровь. Будто не через слово человеческое, как всегда, а иными, таинственнейшими путями двигались по народу вести и зловещие слухи, и стерлась грань между сущим и только что наступающим: еще не умер человек, а уже знали о его смерти и поминали за упокой. Еще только загоралась барская усадьба и еще зарева не приняло спокойное небо ночи, а уже за тридцать верст проснулась деревня и готовит телеги, торопливо грохочет за барским добром. Жестоким провидцем, могучим волхвом стал кто-то невидимый, облаченный во множественность: куда протянет палец, там и горит, куда метнет глазами, там и убивают — трещат выстрелы, льется отворенная кровь; или в безмолвии скользит нож по горлу, нащупывает жизнь.

Кто-то невидимый в потемках бродит по русской земле, и гордое слово бессильно гонится за ним, не может поймать, не может уличить. Кто он и чего он хочет? Чего он ищет? Дух ли это народный, разбуженный среди ночи и горько мстящий за украденное солнце? Дух ли это Божий, разгневанный беззаконием закон хранящих и в широком размахе десницы своей карающий невинных вместе с виновными? Чего он хочет? Чего он ищет?

Мертво грохочут в городе типографские машины и мертвый чеканят текст: о вчерашних по всей России убийствах, о вчерашних пожарах, о вчерашнем горе; и мечется испуганно городская, уже утомленная мысль, тщетно вперяя взоры за пределы светлых городских границ. Там темно. Там кто-то невидимый бродит в темноте. Там кто-то забытый воет звериным воем от непомерной обиды, и кружится в темноте, как слепой, и хоронится в лесах — только в зареве беспощадных пожаров являя свой искаженный лик. Перекликаются в испуге:

— Кто-то забыт. Все ли здесь?

— Все.

— Кто-то забыт. Кто-то бродит в темноте?

— Не знаю.

— Кто-то огромный бродит в темноте. Кто-то забыт. Кто забыт?

— Не знаю.

Грозное и таинственное время.

2. Накануне

Вечерело в лесу.

К Погодину подошел Еремей Гнедых, мужик высокий и худой, туго подпоясанный поверх широкого армяка, насупил брови над провалившимися глазами и сурово доложил:

— Александр Иваныч! Построечку-то надо бы расширить, не вмещат, народу обидно.

— Ну и расширь.

— Федот работать не хочет. Я, говорит, сюда барином жить пришел, а не бревна таскать, пускай тебе медведь потаскает, а не я.

Около костра засмеялись. Петруша, смеясь, крикнул певучим, задухевшим тенорком:

— Гоните-ка его, Александр Иваныч. Ему говорят, завтра соорудим шалаш, не лезть же на ночь за хворостом, глаза выколешь, а он страдать: построечку да построечку!

Еремей, не глядя в ту сторону, мрачно сказал:

— Холодно без прикрышки, сдохнешь.

— Привык с бабой-то на печке! — засмеялся Федот и уже сердито добавил: — Не сдохнешь, недохнут же люди.

— Да и врет он, Александр Иваныч!.. Какой холод, раз костер не угасат. А уж так, не может, чтобы знака своего не поставил землевладелец! Нынче только пришел, а уж построечку, — помещик!

Опять засмеялись у костра; ни разу не улыбнувшийся Еремей повернул прочь от Саши и привалился к огню. Еще синел уходящий день на острых скулах и широком, прямом носу, а вокруг глаз под козырьком уже собиралась ночь в красных отсветах пламени, чернела в бороде и под усами. Как замороженный, уставился он на огонь, смотрел не мигая; и все краснее становилось мрачное, будто из дуба резаное лицо по мере того, как погасал над деревьями долгий майский вечер. И будто не слышал, как про него говорил слабым голосом заморенный, чуть живой бродяжка Мамон, от голоду еле добравшийся до становища:

— Сколько я видал на земле людей, все люди, братцы, глупые. Нашему брату, вольному человеку, крыша над головой все равно, что гроб, а они этого никогда не понимают, заживо хоронятся да тухнут.

Федот, молодой, по виду чахоточный парень, недоверчиво кашлянул:

— А зимой?.. То-то хорошо ты вчера пришел. Тут люди, брат, за делом собрались, а не лясы точить. Шел бы ты дальше, не проедался.

Петруша певуче поддержал:

— Равнодушный человек!.. Тут люди по всей России маются, за Бога-истину живот кладут, а он только и знает, что скулит: беспорядок, много-де стражников по дорогам скачут, моему-де хождению мешают...

И крикнул:

— Александр Иваныч, надо нам такой порядок установить, чтобы как только бродяга, так его в шею. Ненужный он зверь, вроде суслика.

Бродяга покраснел от обиды и непонимания; и, хотя собирался еще денек погостить и покормиться, обиженно пробормотал:

— Завтра проследую дальше. Господи, и с силой-то собраться не дадут, так и гонют, так и гонют.

Много я вашего хлеба наел.

— Никто тебя не звал.

— Господи, слышу, молва идет: объявились лесные братья. Ну, а если братья, так не мимо же идти, а они, братья-то, на манер волков. И все гонют, все гонют.

Долго скулил голодный и обиженный бродяга. Под кручею шумел и дымился к ночи весенний ручей, потрескивал костер в сырых ветвях и крючил молодые водянистые листочки, и все, вместе с тихой и жалобной речью бродяги, певучими ответами Петруши, сливалось в одну бесконечную и заунывную песню. «Вот кого я люблю!» — думал Саша про Еремея, не отводя глаз от застывшего в огненном озарении сурового лица, равнодушного к шутке и разговору и так глубоко погруженного в думу, словно весь лес и вся земля думали вместе с ним. Только раз шевельнулись усы, и в Петрушину плавную речь, как камни в воду, упали громкие и словно равнодушные слова:

— Без меня меня женили, я на мельнице был.

Саша заинтересованно окликнул:

— Что ты говоришь, Еремей?

— А то и говорю: без меня меня женили.

— Это я про Государственную Думу рассказываю, — подхватил Петруша, — что решила Дума мужичкам землю дать... в газетах писали, Александр Иванович.

Петруша был грамотный, но не столько читал газеты, которые трудно было достать, сколько произвольно сочинял; сочинив же, немедленно сам верил, что это из газет. На слова его отзывался Федот, закричав громко и гневно:

— Врут, не дадут!.. Пока тонут, топор сулят, а вынырнут — и топорища жаль., один с ними разговор, мать их...

«И на что им земля? — думал с неодобрением бродяжка, — вот дадут им землю, а они первым делом забором огородаются, лазай тут. Нет, душно мне, завтра уйду».

И опять шумел в овраге ручей, и лесная глушь звенела тихими голосами: чудесный месяц май! — в нем и ночью не засыпает земля, гонит траву, толкает прошлогодний лист и живыми соками бродит по деревьям, шуршит, пришептывается, гукает по далям. Склонив голову на руки, сидел на пенечке Саша и не то думал, не то грезил — под стать текли образы, безболезненно и тихо меняя формы свои, как облака. Думал о том, как быстро ржавеет оружие от лесной сырости и какое лицо у Еремея Гнедых; тихо забеспокоился, отчего так долго не возвращаются с охоты Колесников и матрос, и сейчас же себе ответил: «Ничего, придут, я слышу их шаги», — хотя никаких шагов не слышал; вдруг заслушался ручья. Но, что бы ни приходило в голову его, одно чувствовалось неизменно: певучая радость и такой великий и благодатный покой, какой бывает только на Троицу, после обедни, когда идешь среди цветущих яблонь, а вдалеке у притвора церковного поют слепцы. Или и это представлялось Саше? — Минутами и сам удивлялся тихо: не пора ли беспокойства настала, откуда же покой и радость? Хорошо бы также найти какие-то совсем особые слова и так сказать их Еремею, чтоб осветилось его темное лицо и тоска отпала от сердца, — вот и костер его не греет, снаружи озаряет, а в глубину до сердца не идет. Погоди, Еремей.

Высоким голосом испуганно закричал Петруша:

— Кто идет? Откликайся, что прешь, как медведь!

Саша схватился за маузер, стоявший возле по совету Колесникова: даже солдат может свое оружие положить в сторону, а мы никогда, и ешь и спи с ним; не для других, так для себя понадобится. Но услышал

как раз голос Василия и приветливо в темноте улыбнулся. Гудел Колесников:

— Свои, свои, Петруша.

В круг от костра вступило четверо: еще мужик Иван Гнедых, однофамилец Еремея, и Васька Соловьев, щеголь; и сразу стало шумно и весело. Даже Еремей повеселел, во все стороны заулыбался и вздернул на лоб картуз.

— Много настреляли? — спросил Саша, тоже улыбаясь и за руку здороваясь с Соловьевым, которого еще не видал.

— Никак нет, Александр Иванович, — ничего, — ответил Андрей Иванович. — Да разве с пулей можно? У меня тетерка из-под ног ушла.

— Стрелять не умеете, Андрей Иванович, — пошутил Колесников, так как матрос был лучшим стрелком в отряде и уступал только Погодину. — Но как, Саша, чудесно, того-этого, вот вовремя на дачу выбрались.

Федот захохотал и закашлялся; во всю бороду ухмыльнулся Еремей и сказал:

— Шутят.

— Иван хлеба да селедок купил. Вонючие, того-этого. Садись, Соловьев, иль ноги не отмахались? Потом, Саша, расскажу.

Соловьев, подбористый малый, с пронзительными, то слишком ласковыми и почтительными, то недоверчивыми глазами, по манере недавний солдат, откинул полы чистенькой поддевки и сел, поблагодарив:

— Покорно благодарю, Василь Василич.

Запел Петруша:

— Нет, вы вот что скажите, Василь Василич: опять ведь баба с яйцами приходила!

Мужики засмеялись.

— Вчерась одна, нынче другая, — и откуда они, сороки, проводали? Словно и впрямь дачники понаехали. Даром, говорят, бери, а бери, назад не понесу.

— Далеко молва идет, — отозвался слабо бродяга, — я еще где услышал! Так и говорят: у нас ничего нет, а иди, брат, к Жигалеву...

— Жегулеву, — поправил матрос.

— Жигулеву, Александру Ивановичу, он тебя к делу приспособит и поесть даст. И за хлеб-соль, братцы, спасибо, а что касается дела, то уж не невольте, не по моей части кровь...

Нахмурились. Федот взмахнул кулаком и крикнул:

— Молчи, гусыня!

Бродяжка робко отстранился, бормоча:

— Меня и саратовские лесные братья уважили, меня и...

— Не тронь его, — приказал Саша, слегка покрасневший, когда упомянулось его новое имя. — Завтра он уйдет.

Колесников смотрел с любовью на его окрепшее, в несколько дней на года вперед скакнувшее лицо и задумался внезапно об этой самой загадочной молве, что одновременно и сразу, казалось, во многих местах выпыхнула о Сашке Жегулеве, задолго опережая всякие события и прокладывая к становящемуся

невидимую тропу. «Болтают, конечно, — думал он, — но не столько болтают, сколько ждут, носом по ветру чуют. Зарумянился мой черный Саша и глазами поблескивает, понял, что это значит: Сашка Жегулев! Отходи, Саша, отходи».

А там смеялись над рассказом Ивана Гнедых, как он в селе пищу покупал:

— Говорю ему, Идолу Иванычу: для лесных братьев получше отпущай, разбойник, знаешь, какой народ!

— Верно! — подтвердил Еремей. — Так ему и надо. А он что?

— Чтоб вы сдохли, говорит, анафемы, с вами я скоро от одного страху жизни лишусь. Да и обсчитал меня на гривенник, только в лесу я догадался, как считать стал.

Еремей молча качнул головой:

— Ах ты, поди ты — ну и сволочь же человек!

— Бесстрашный, дьявол!

— Нет, погоди!

— Надо б тебе вернуться да в морду ему плюнуть.

— Нет, погоди, — кричал Иван, — дальше-то слушай. Ка-а-к нюхну я селедку, это в лесу-то, да ка-а-к чкну: весь нос от вони разодрало! Ах ты, думаю...

Петруша забренчал балалайкой.

— Ах, душа Андрей Иваныч, матросик мой отставной — играем?

И при смехе мужиков, знавших, что Петруша в деревне оставил невесту, зачастил:

Пали снега, снега белые,
Да растаяли, —
Лучше брата бы забрили,
Милого б оставили! А — юх, йух, йух, йух!..

Колесников поманил пальцем Соловьева, с ним и с Погодиным отошел к шалашу.

— Ну, Саша: завтра. Тезка тебе расскажет, он три дня, того-этого, на путях работал, все высмотрел. Расторопный он человек!

При слове «завтра» лицо Саши похолодело — точно теперь только ощутило свежесть ночи, а сердце, дрогнув, как хороший конь, вступило в новый, сторожкий, твердый и четкий шаг. И, ловя своим открытым взглядом пронзительный, мерцающий взор Соловьева, рапортовавшего коротко, обстоятельно и точно, Погодин узнал все, что касалось завтрашнего нападения на станцию Раскосную. Сверился с картой и по рассказу Соловьева набросал план станционных жилищ.

— Я думаю, Саша...

— Не мешай, Василь Василич! Жандарм, говоришь, здесь... — Он незаметно перешел на ты.

— Так точно. И два стражника. А вот тут телеграф... — при свете огарка не совсем уверенно бродил по бумаге короткий с черным ногтем палец.

Погодин решил: до утра своим ничего не говорить, да и утром вести их, не объясняя цели, а уже недалеко от станции, в Красном логу, сделать остановку и указать места. Иван и Еремей Гнедых с телегами должны поджидать за станцией. Федота совсем не брать...

— Отчего же? — почтительно осведомился Соловьев. — Все не лишний для начала человек.

— Слабосилен и стрелять не умеет, — сказал Колесников.

— У него ярости много, — настаивал Соловьев, — пусть на случай около выхода орет: наши идут! Кто не бежал, так убежит, скажут, тридцать человек было. Боткинский Андрон таким-то способом сам-друг целую волость перевязал и старшину лозанами выдрал.

Колесников покосился:

— Да ты, того-этого, по правде говори: нигде раньше в делах не был? Чтой-то ты, дядя, много знаешь — нынче мне всю дорогу анекдоты рассказывал! Ну?

Соловьев усмехнулся и щеголевато козырнул глазами:

— Кабы где был, так уж наверняка б слышали! — Но встретил суровый взгляд Саши, съежился, точно выцвел, и заторопился. — Между прочим, можно Федота и не брать, человек они неопытный, это правда.

Решили, однако, Федота взять и даже дать ему маузер, но незаряженный: был один в партии испорченный, проглядел, когда принимал, Колесников. На том и покончили до завтра.

— Ну, ступай пока, Соловьев, — приказал Саша.

— Слушаю-сь, Александр Иванович, но, между прочим, позвольте присовокупить: с народом нашим надо поосторожнее. Слух идет... бабы эти разные... и вообще. Конечно, пока они за нас, так хоть весь базар говори, ну, а на случай беды или каких других соображений... Народ они темный, Александр Иванович!

— Ладно, ступай, — сухо приказал Саша, но встретил покорные, слегка испуганные, темные, как и у тех, глаза Соловьева и стыдливо добавил: — Иди, голубчик, я все сделаю. Нам поговорить надо.

3. Рябинушка

— Неприятный человек! — сказал Колесников про ушедшего, но тотчас же и раскаялся. — А, впрочем, шут его знает, какой он. В городе, Саша, я каждого человека насквозь, того-этого, вижу, как бутылку с дистиллированной водой, а тут столько осадков, да и недоверчивы они: мы ему не верим, а он нам. Трудно, Саша, судить.

— Привыкнут! — уверенно ответил Погодин, прислушиваясь к веселому говору около костра и улыбаясь. — Ах, Вася, чудесный какой вечер! Постой, Петруша петь хочет...

Как Елена Петровна в то жестокое утро, когда зашла, речь о губернаторе Телепневе, увидела вместо привычного Сашеньки новое и удивительное, в одно мгновение осознала и как бы сложила в сумму весь ряд незаметных перемен, — так и Колесников в эту минуту. Куда девалось все прежнее?.. Как меняется человек! Отяжелел подбородок, а лоб словно убавился, — или это костер играет тенями? Но вот что несомненно: резко очертился нос и выпуклости бровей, и четко изогнулась линия от носа к верхней губе — точно впервые появился у Саши профиль, а раньше и профиля не было. И еще: исчезла бесследно та бледная хрупкость, высокая и страшная одухотворенность, в которой чуткое сердце угадывало знамение судьбы и билось тревожно в предчувствии грядущих бед; на этом лице румянец, оно радостно радостью здоровья и крепкой жизни, — тот уже умер, а этот доживет до белой, крепкой старости. У того была мать, благородная и несчастная Елена Петровна, а этот словно никогда не знал матери и ее слезами не плакал — и как белеют зубы в легкой улыбке! Мысленно приделал Колесников бороду к Сашиному этому лицу — получился генерал Погодин, именно он, хотя даже карточки никогда не видал. Вздохнул с укором.

— Так вот, Саша, — значит, завтра.

— Да. Завтра. Но, Василий, милый, ты хотел о чем-то говорить — не надо! Не надо вообще говорить. Ты присматривался к Еремею, нет? — Присмотрись. Он все время молчит, и я целый вечер за ним слежу: он все мне открыл. Я знаю, ты сейчас же спросишь, что открыл, а я тебе что-нибудь навру — не надо, Вася.

— Нет, не спрошу. Прости меня, Саша.

Погодин удивленно обернулся, сдвинув тени:

— За что?

— Так. За некоторые мысли, того-этого.

— Ну вот!.. Разве это не разговор? «Прости», «за мысли», — чтоб черт нас побрал, мы только и делаем, что друг у друга прощения просим. И этого не надо, Василий, уверяю тебя, никому до этого нет дела. Не обижайся, Вася, я, честное слово, люблю тебя... Постой, идем ближе, поют!

«Кость бросил, чтобы отвязаться: любит, да еще „честное слово!“» — горько думал Колесников, идя за Сашей. И вдруг обозлился на себя: «Да я-то что? Разве не весело? — разве не поют? Эх, да и хорошо же на свете жить, пречудесно!»

Жить было пречудесно, и это знала вся ночь. Полыхал костер, и тени плясали, взвивались искры и гасли, и миллионы новых устремлялись в ту же небесную пропасть; и ручей полнозвучно шумел: если бросить теперь в него чурку, то донесет до самого далекого моря. Притихли мужики, пригревшись у огня, и, как нечто самое серьезное и важное, слушали подготовительные переборы струн и певучую речь радостно взволнованного Петруши. Веснушчатое, безусое лицо его покраснелось, серые, почти ребячьи глаза сладко щурились; в обеих руках нежно, как пушинку, держал он матросикову балалайку с разрисованной декой и стонал:

— Ах, ну и балалаечка! Ну и балалаечка! Это инструмент, эта уж до самой смерти заговорит, эта уж не выпустит, н-е-т!

Иван серьезно и с участием спросил:

— Завидно, Петруша?

— Ка-а-кая зависть!

Андрей Иванович протянул руку за балалайкой, но Еремей остановил его:

— Погоди, матрос! Дай подержаться. Не съест твоего инструменту.

Наконец сыгрались обе балалайки. В тихом переборе струн, в кроткой смиренности их однозвучия — что бы ни говорили слова — не пропадала чистая, почти молитвенная слеза: дали и шири земной кланялся человек, вечный путник по высям заоблачным, по низинам сумеречно-прекрасным. Как бы далеко ни уходили слова — дальше их уносила песня; как бы высоко ни взлетала мысль — выше ее подымалась песня; и только душа не отставала, парила и падала, стоном звенящим откликалась, как перелетная птица... «Боже мой — и это не во сне? — думал Саша. — И это не церковь? И это музыка? Но ведь я же не понимаю музыки, я бесталаный Саша, но теперь я все понял!»

Сидел, склонив голову, обеими руками опершись на маузер, и в этой необычности и чудесной красоте ночного огня, леса и нежного зазыва струн самому себе казался новым, прекрасным, только что сошедшим с неба — только в песне познает себя и любит человек и теряет злую греховность свою. Радостно оглянулся на Колесникова — и у того преобразилось лицо, в глазах смешное удивление, а весь, как дитя, и не одинок уже, хотя близок к слезам и бороду дергает беспомощно. А дальше Еремей — ест горящими глазами певцов и истово кланяется дали и шири земной; серьезен, как в смерти, не шевельнется, словно летит — для него это не шутки. А дальше...

— Рябинушку! — коротко кинул Андрей Иванович, — уже не матрос, а власть чудесную имеющий; перебрал пальцами, тронул душу балалайки и степенным, верующим баском начал:

— Ты, рябинушка, ты, зеленая...

По низу медлительно и тяжело плывут слова; оковала их земная тяга и долу влечет безмерная скорбь, — но еще не дан ответ, и ждет, раскрывшись, настороженная душа. Но ахает Петруша и в одной звенящей слезе раскрывает даль и ширь, высоким голосом покрывает низовый, точно смилившийся бас:

— Ах! — ты когда выросла, ах, когда выросла...

«Это я, рябинушка, — думает каждый. — Это я та рябинушка, та зеленая, и про меня это спрашивают: ты когда выросла, когда выросла».

— Ты, рябинушка...

Что это? — оглянулись все. А это Колесников запел. Свирепе нахмурился, злобно косит круглым глазом и на свой могучий голос перенял у матроса безмерную скорбь и тягу земли:

— Ты, рябинушка, ты, зеленая...

Что-то грозное пробежало по лицам, покраснелось в буйном пламени костра, взметнулось к небу в вечно восходящем потоке искр. Крепче сжали оружие холодные руки юноши, и вспомнилось на мгновение, как ночью раскрывал он сорочку, обнажал молодую грудь под выстрелы. — Да, да! — закричала душа, в смерти утверждая жизнь. Но ахнул Петруша высоким голосом, и смирился мощный бас

Колесникова, и смирился гнев, и чистая жалоба, великая печаль вновь раскрыла даль и ширь.

— Ах — да когда же ты, ах — да покраснелась?
Ах, когда же ты покраснелась...

Подтягивает и бродяжка слабым тенорком, вместе с Петрушей отвечает Колесникову и словно борется с ним. Едва слышно его за сильным и высоким голосом Петруши, но все одобрительно улыбаются: это хорошо, что он подтягивает. И снова вступает точно осиливший бас, и смолкают покорно высокие голоса:

— Я, рябинушка, покраснелась...

«Обо мне!» — думает каждый и, замирая, ждет ответа. И в звонкой печали отвечает задушевный голос, в последний раз смертельно ахнув:

— Ах! — да поздней осенью — ах, да под морозами.
Ах, поздней осенью, под морозами.

Было долгое молчание, и только костер яростно шумел и ворочался, как бешеный. Луна всходила: никто и не заметил, как посветлело и засеребрились в лесу лесные чудеса. Еремей тряхнул головой и сказал окончательно:

— Хорошо у нас поют.

А Саша уволок в серебро ветвей распрямившегося Колесникова и в волнении, первый раз открыто выражая свой восторг, тряс его опущенную тяжелую руку и говорил:

— Да как же это, Василий!.. Ведь у тебя такой голосили ты сам не знаешь, чудак!

Колесников, все еще свирепый, тяжело водя грудью, с гордостью ответил:

— Знаю. Так что?

— Да ведь с таким голосом... Боже мой, Вася! Ты мог бы... У тебя слава, чудак!

— Мог бы. Ну?

Подошел Андрей Иванов и развел руками:

— Ну, Василь Василич, благодарю. Как рывкнули вы у меня над ухом — что такое, думаю, дерево завалилось? Да и свирепо же вы поете...

— Разболтались вы, Андрей Иванов! — сердито сказал Колесников.

— Да всякий разболтается! Иван до чего додумался? Леший, говорит, с ним ночью страшно.

В несколько дней закосмаевший Колесников, действительно похожий на лешего, вдруг закрутился на четырех шагах и загудел, как труба в ночную вьюгу:

— Стыдно вам! Стыдно вам! Чему удивились, того-этого? Боже ты мой, какое непонимание! Как вдовица с лептой, того-этого, хоть какое-нибудь оправдание, а он в нос тычет: слава, того-этого! Преподлейший вздор, стыдно! Ну леший и леший, в этом хоть смысл есть... да ну вас к черту, Андрей Иванов, говорил: оставьте балалайку. Нет, не может, того-этого, интеллигент!

Не зная, пугаться ему или смеяться, матрос тихо сбежал; а Саша поймал за руку кружившегося Колесникова и сказал:

— Нет уж, видно, никак нам не избавиться, чтобы не просить прощения. Прости меня, Вася.

И крепко, прямо в губы поцеловал его. Колесников, будто с неохотою принявший поцелуй и даже пытавшийся отвернуться, сжал до хруста в костях Сашину руку и прошептал в ухо:

— Саша! Завтра идти. Саша, знай одно: грудью перед тобою стану. Ладно, точка, молчи, тебе говорю! Айда к нашим — сейчас плясать будем! Ходу!

И гулко загоготал, пугая ночную птицу:

— Го-го-го!

Видимо, понравилось быть лешим; да и просила душа простору. На что широк был лес, а и он стал тесен после тех далей, что открылись взору душевному; взыгрались невыплаканные слезы, и сладкою отравой, как вино, потекла по жилам крепкая печаль, тревожа тело. Вдруг жарок стал костер, и тяжестью повисла одежда на поширевших плечах: в сладкой и истомной тревоге шевелились мужики и поахивали. Кто лежал раньше, тот сел; а кто сидел — поднялся на ноги, расправляет спину, потягиваясь и неправдиво позевывая. Широко расставив ноги в блестящих сквозь грязь сапогах и заложив за спину под поддевкой руки, раздраженно поплеывает в огонь Васька Соловьев, томится той же жаждою. Обернулся на гиканье подходящего Колесникова и усмехается криво: жуткая душа у Васьки Соловьева.

Заахал восторженно Петруша:

— Ах, ну и голосок же у вас, Василь Василич; смола горящая!

Иван Гнедых, шутник, сморщил смешливо печеное свое лицо и поправил:

— Для грешников смола, а праведнику на многие лета. Поджарый ты, Василий, тебе бы в дьяконы идти, а не с нами околачиваться, вот бы брюхо и отрастил, чудак человек, ей-Богу, на этом месте провалиться!

Еремей сурово крикнул:

— Пусти, бродяжка, что разлегся! Место ослобони для Александра Иваныча. Сюда иди, Александр Иваныч!

Бродяжка, после пения отошедший душою и заулыбавшийся, снова скис: «И все гонют, и все гонют...»

— Спасибо, Еремей, я постою. Ну-ка, Андрей Иваныч, плясовую. Вася, не ерепенься, Вася, не косись!

Мужики засмеялись дружелюбно: все еще словно не отошел Колесников и неуживчиво ворочал глазами, но при словах Саши и мгновенном блеске белых зубов его захохотал и топнул ногою:

— Пожарче, Андрей Иваныч!

Ошибался Колесников, когда боялся для себя леса: если и уподобился он лесу, то лишь в его свободной силе и дикой статности. На городских улицах, в своих вечно шлепающих калошах и узком пальто, стягивающем колени, он был неуклюж и смешон и порою жалок: другой он был здесь. От высоких сапог сузился низ, а плечи раздались, развернулась грудь; и широкий тугой пояс с патронами правильно делил его туловище на две половины: одну для ходу, другую для размаха и действия. И только одно было совсем уж не у места: полосатая велосипедная шапочка, — но ничего не поделаешь с заблуждением!

Но не две ли души у балалайки? Так удивительно, что на одних и тех же струнах может звучать столь разное. Еще слеза не высохла, а уж раскатывается смешок, тихим шепотом зовет веселье, воровской шутливою повадкою крадется к тому самому месту, где у каждого человека таится пляс. Как на ниточках, подергивается душа, а под коленом что-то сокращается, и чем больше дергает и чем резвее сокращается, тем степеннее бородатые и безбородые лица. Это не цыганский злой разгул, когда в страсти каменеет и стынет лицо, — тут хитрая усмешка, чудесная недоговоренность и тонкая граница: все дал, а могу и еще! Все тронул, а могу и еще! Глухой подумает, что вот и наступило когда настоящее горе, а слепой — тот и сам

задрывает ногами: так строги и степенны лица при ярко-звонком гуле струн.

Все чаще и круче коварный перебор; уж не успевает за ним тайный смех, и пламя костра, далеко брошенное позади, стелется медленно, как сонное, и радостно смотреть на две пары быстрых рук, отбрасывающих звуки. Не столь искусный Петруша еще медлителен: пальцы нет-нет, да и прилипнут, а матрос так отхватывает руку, словно под нею огонь; и еще позволяет улыбнуться своим глазам неопытный Петруша, а Андрей Иванович строг до важности, степенен, как жених на смотринах. И, только метнув в сторону точно случайный взгляд и поймав на лету горящий лукавством и весельем глаз, улыбнется коротко, отрывисто и с пониманием, и к небу поднимет свехравнодушное лицо: а луна-то и пляшет! — стыдно смотреть на ее отдаленное веселье.

«Да что же это? Вот я и опять понимаю!» — думает в восторге Саша и с легкостью, подобной чуду возрождения или смерти, сдвигает вдавившиеся тяжести, переоценивает и прошлое, и душу свою, вдруг убедительно чувствует несходство свое с матерью и роковую близость к отцу. Но не пугается и не жалеет, а в радости и любви к проклятому еще увеличивает сходство: круглит выпуклые, отяжелевшие глаза, пронзает ими безжалостно и гордо, дышит ровнее и глубже. И кричит атамански:

— Соловьев! Выходи.

Торопливые голоса подхватывают:

— Васька! Соловей, выходи. Оглох, что ли! Выходи, Васька!

Колесников, выдвинувший плечо и глухо притоптывающий с носка на каблук, подбоченился правой рукой и ждет: плясать он не может, тяжел, но сам бог пляса не явил бы в своей позе столько дикой выразительности. Кричит свирепо:

— Выходи, Соловьев, девки ждут!

— Про девок вы напрасно, Василь Василич... — говорит Соловьев щеголевато и, не договорив, соколом вылетает в готовый круг, легко отбрасывает Ивана, старательно приминающего невысокую травку, и дает крутого плясу. Жуткая душа у Васьки Соловьева, а пляшет он легко и невинно, кружит, как птица, и, екнув, рассыпается в дробь, и снова плывет, не касаясь земли:

Д-эх, милашка моя-т,
Распотешь-ка меня-т,
У тебя широкий пояс,
Подпояшь-ка меня-т!..
Эх!..

И талантливо содействует вновь воскресший бродяга: засунул четыре пальца в рот и высвистывает пронзительно, режет воздух под ногами у пляшущего. Спуталось что-то в плывущих мыслях бродяги, и уже кажется, что не бродяга он мирный, чурающийся крови, а разбойник, как и эти, как и все люди в русской земле, жестокий и смелый человек с крутою грудью и огненным пепелящим взором. Встают в обширной памяти его бесчисленные зарева далеких пожаров — близко не подходил к огню осторожный и робкий человек; дневные дымы, кроющие солнце, безвестные тела, пугающие в оврагах своей давней неподвижностью, — и чудится, будто всему оправданием и смыслом является этот его пронзительный свист. Совсем под конец запутался бродяга, смотрит на Погодина и думает наскоро: «Ах, да и хорош же у нас атаман, даром, что молод! — картина!»

Все чаще переборы струн, все неистовее пляс, уже теряющий невинность свою в сочетании с злым свистом, — и глубже раскрывается ночь в молчании и ненарушимой тайне. Пригасает забытый костер, и ложатся тревожные тени, уступая место черным, спокойным и вечным теням луны; взошла она в зените и

смотрит без волнения. Отойдешь на шаг от пляшущих — и уже тихо; а на версту уйдешь — ничего, кроме леса, и не слышно. А на опушку далекую выйдешь, — томится у края земли еле видимое в луне зарево: не дождался кто-то Сашки Жегулева и на свой разум пустил огонь. Кто-то невидимый бродит по русской земле; кто-то невидимый полной горстью, как сеятель щедрый, сеет в потемках тревогу, тихим шепотом отворяет замороженную кровь.

В эту ночь, последнюю перед началом действия, долго гуляли, как новобранцы, и веселились лесные братья. Потом заснули у костра, и наступила в становище тишина и сонный покой, и громче зашумел ручей, дымясь и холодея в ожидании солнца. Но Колесников и Саша долго не могли заснуть, взволнованные вечером, и тихо беседовали в темноте шалашика; так странно было лежать рядом и совсем близко слышать голоса — казалось обоим, что не говорят обычно, а словно в душу заглядывают друг к другу.

— Да, Саша, — тихо повествовал Колесников, — голос у меня и тогда был славный, он так его и называл: американский, того-этого. Да и ученье у меня шло успешно, пустяки, в сущности, ну и авансы он мне предлагал, вообще готовился барышничать мной, как лошадью...

— А ты мне соврал, что и петь не умеешь, — улыбнулся голосом Саша.

— А то так надо было: «Сей колокол, того-этого, пожертвован ветеринарным врачам Василием Васильевым Колесниковым в лето...»

Оба засмеялись. Колесников продолжал:

— Раз я и то промахнулся, рассказал сдуру одному партийному, а он, партийный-то, оказалось, драмы, брат, писал, да и говорит мне: позвольте, я драму напишу... Др-р-раму, того-этого! Так он и сгинул, превратился в пар и исчез. Да, голос... Но только с детства с самого тянуло меня к народу, сказано ведь: из земли вышел и в землю пойдешь...

Саша улыбнулся:

— Хоть и из другой оперы, а верно.

— И создал я себе такую, того-этого, горделивую мечту: человек я вольный, ноги у меня длинные — буду ходить по базарам, ярманкам, по селам и даже монастырям, ну везде, куда собирается народ в большом количестве, и буду ему петь по нотам. Год я целый, ты подумай, окрылялся этой мечтой, даже институт бросил... ну, да теперь можно сказать: днем в зеркало гляделся, а ночью плакал, как это говорится, в одинокую подушку. Как подумаю, как это я, того-этого, пою, а народ, того-этого, слушает...

Колесников замолк. В щель глянул диск луны и потянул к себе. Саша зажмурился и спросил:

— Ну?

— Ну — и с первого же базара меня повезли, того-этого, в участок и устроили триумф: если хотите, того-этого, петь по нотам, то вот вам императорский театр, пожалуйста! «А если без нот, того-этого?» А если без нот, то будет это нарушение тишины и порядка, и вообще вам надо вытрезвиться... Шучу, но в этом роде нечто было, сейчас стыдно вспомнить. Но вытрезвили.

— Теперь попоешь, Вася.

— Попую уж. Тебе не холодно?

— Нет. Ты как мама.

— Мне сорок лет, а ты мальчишка.

— Мне и то странно было, что я тебе «ты» говорю. Я всю ночь не засну, я очень счастлив, Вася. «Ты, рябинушка, ты, зеленая...» И что удивительно: ведь я мальчишка, и такой и есть, и вдруг я почувствовал в

себе такую силу и покой, точно я всего достиг или завтра непременно достигну. Отчего это, Василий?

— Оттого, что за народом стоишь. Трудно на этот постамент взобраться, а когда взберешься и подымет он тебя, то и стал ты герой. И я сейчас твою силу чувствую.

— Какая огромная Россия! Закрою глаза, и все мне представляются леса, овраги, реки, опять леса и поля. «Ты, рябинушка, ты, зеленая...» Сейчас мне ничего не стыдно: скажи, Василий, ты веришь, что наш народ — великий народ?

— Верю.

— Что бы то ни было?

— Что бы то ни было.

— Ну ладно, так помни. Знаешь, Вася, я даже о маме...

— Молчи, не надо. Спи.

— Нет, ничего. Я даже о маме думаю без всякой боли, но это не равнодушие! Но думаю: ведь не одна она, отчего же ей быть счастливее других? Впрочем... Правда, не стоит говорить. Не стоит, Вася?

— Не стоит. Спи, Сашук.

— Сплю. «Ах, когда же ты покраснела? Я, рябинушка, покраснела поздней осенью, под морозами...» Вася?

Но Колесников не ответил. А через час он услышал, что Саша подымается и лезет к выходу, и спросил:

— Куда ты?

— Спи, ничего. Я хочу подбросить сучьев в огонь, им холодно.

Уже светало. И не знал Саша, что он провел без сна единственную в своей короткой жизни ночь, которую мог спать спокойно.

4. Первая кровь

Белый, курчавый, молоденький, лет восемнадцати телеграфист вдруг опустил, словно от усталости, поднятые вверх руки и бросился к выходу. Опустилось и еще несколько рук, и в затихшей было комнате зародилось движение. Колесников, возившийся около кассы, отчаянно крикнул:

— Стреляй, Саша!

Погодин выстрелил. Точно брошенный, телеграфистик вдавился в дверь, ключа которой так и не успел повернуть, мгновение поколебался в воздухе и, как живой, ринулся обратно на Сашу, — так остро была подрезана жизнь. Но уже по низу летел он, а потом мякотью лица проехал по полу и замер неподвижно у самых ног убийцы. За ухом взрылось что-то очень страшное, красное, исподнее и замочило русые кудряшки, но ворот шитой шелками косоворотки оставался еще чистым — как будто не дошло еще до рубашки ни убийство, ни смерть.

В зале III-го класса и на перроне царил ужас. Станция была узловая, и всегда, даже ночью, были ожидающие поездов, — теперь все это бестолково металось, лезло в двери, топталось по дощатой платформе. Голосили бабы и откуда-то взявшиеся дети. В стороне первого класса и помещения жандармов трещали выстрелы. Саша, несколько шагов пробежавший рядом с незнакомым мужиком, остановился и коротко крикнул Колесникову:

— На пути!

Прыгнули. Сразу потемнело, и под ногами зачастили, точно лоя, поперечные рельсы; но уже и тут, опережая, мелькали темные, испуганные молчаливые фигуры; двое, один за другим, споткнулись на одном и том же месте и без крика помчались дальше.

Носился по путям с тревожными свистками паровоз; и так странно было, что машина так же может быть испугана, может метаться, кричать и звать на помощь, как и человек. Дохнув тяжестью железа и огня, паровоз пробежал мимо и вмешался в пестроту стрелочных фонариков и семафоров, жалобно взывая.

— Стой! — остановился Саша. — Деньги?

— Здесь. Задохнулся. Надо помочь!

— Это стражники стреляют. Передохни.

Он поднял маузер и три раза выстрелил вверх.

— Айда!

С полчаса колесили по путям — в темноте словно перевернулся план и ничего не находилось.

С размаху влетели в темный коридор, тянувшийся между двумя бесконечными рядами товарных молчаливых вагонов, и хотели повернуть назад; но назад было еще страшнее, и, задыхаясь, пугаясь молчания вагонов, бесконечности их ряда, чувствуя себя, как в мышеловке, помчались к выходу. Сразу оборвался ряд, но все так же не находилась дорога. Колесников начал беспокоиться, но Погодин, не слушая его, быстро ворочал вправо и влево и, наконец, решительно повернул в темноту:

— Прыгай, Василий, тут канава.

— Где? Я совсем ослеп! — И ухнул тяжело, как мешок с мукой.

Потянулся бесконечный заборчик, потом опять канава, и, как темная пахучая шапка, надвинулся на голову лес и погасил остатки света. За деревьями, как последнее воспоминание о происшедшем, замелькали в грохоте колес освещенные оконца пассажирского поезда и ушли к станции.

— Вовремя! — засмеялся Погодин.

— Да туда ли идем?

— Туда.

Дорогой Саша несколько раз принимался возбужденно смеяться и повторял:

— Как я его! Василий, а? Как я его? Я уж раньше заметил, что он пошевеливается и смотрит в окно... Нет, думаю! И какой хитрый мальчишка, ведь мальчишка совсем, а?

— Мальчишка. И черт его дернул, нужно было лезть!

— И черт его дернул, правда! А тут ты кричишь...

— Я не успел бы.

— Знаю, да я уж и поднял маузер, когда ты крикнул. — Саша снова рассмеялся, и уже трудно становилось слышать этот плещущийся, словно неудержимый смех. — Нет, как я его!.. Василий, а?

— Не болтай, того-этого; дорогу-то знаешь?

— Знаю. Я даже не поверил, что он убит, как он на меня кинулся. Ты как думаешь, сколько ему лет?

— Ну что, оставь! Сразу видно было, что убит.

— Тебе сразу видно, а я не поверил. Вася?

— Ну что?

— Вот я и убил человека: как просто!

И опять засмеялся:

— Убить просто, а раньше нужно долго...

«Да и потом нужно долго, — мысленно закончил Колесников, — нет, плохой ты атаман, ведешь без дороги, а сам, того гляди, в истерику... с другой же стороны, и хорошо, что так начал, сразу в омут». Но оказалось, что Саша вел верно, и уже через пять минут засветлела опушка, и испуганный голос окликнул:

— Кто идет?

— Жегулев.

Колесников даже обернулся: Саша ли это сказал? — так тяжело и резко прозвучало слово. А тут обрадовались и радостно заволновались, и Петрушка пел, как на именинах:

— Александр Иванович, Василь Василич, да вы ли это? А мы уж думали...

— Андрей Иванович, это вы? Все здесь? — перебил его Саша и, схватив руку матроса, долго и с каким-то особым выражением пожимал ее.

— Так точно, все.

— Ну как, Андрей Иванович, голубчик, я так рад, что вижу вас.

— Благодарствуйте, Александр Иванович, благополучно. Мы...

Колесников толкнул его под руку, и он в недоумении замолчал, а Соловьев сухо и четко промолвил:

— Жандарм оказал сопротивление, и я его прикончил. А стражники, как сидели в комнате, так и не вышли, через дверь стреляли.

Все засмеялись, возбужденные, взволнованные, как всегда волнуются люди, когда в обычную, мирную, плохо, хорошо ли текущую жизнь врывается убийство, кровь и смерть. И только Соловьев смеялся

просто и негромко, как над чем-то действительно смешным и никакого другого смысла не имеющим; да и не так уж оно смешно, чтобы стоило раздирать рот до ушей!

Смеясь и бросая отрывистые фразы, торопливо рассаживались, как раньше было уговорено. На Иванову телегу, запряженную двумя конями, сели матрос, Соловьев и Петруша, а к Еремею — Саша и Колесников; и знакомый с местами и дорогами Соловьев наскоро повторял:

— Так помни же, Ерема: через Собакино на Троицкое, на Лысом косогоре не сбейся, бери налево от дубка...

— Да знаю, чего там. Трогай!

— На шоссе передышку сделаешь, слышь?

— Да слышу.

— Трогай. Эй, голубчики!

С версту обе телеги тряслись вместе, и на задней телеге молчали, а спереди, где шел в голове Соловьев, доносился говор и смех. Вдруг передние круто рванули влево, и Соловьев из мрака бросил:

— Значит, до утра прощайте. Никаких приказаний не будет, Александр Иванович?

— Нет, поезжай.

— Прощайте, Василь Василич. Смотри, Еремей, не сбейся, держи глаз остро! — и что-то добавил тихо, от чего на той телеге засмеялись.

Смолкло.

Молча кружились то по лесу, то среди беззащитного поля и снова торопливо вваливались в темень, хрюскали по сучьям, на одном крутейшем косогоре чуть не вывалились, хотя Еремей и ночью, казалось, видел, как днем. И чем больше завязывали узлов и петель, тем дальше отодвигалась погоня и самая мысль о ней. Что-то засветлело, и Еремей сказал:

— Шаше. Надо мост переходить, будь бы летом, так брод есть, а теперь крутить. Да нас теперь, два года скачи, не догонишь, разве только ворона так летает, как я вез.

Колесников крякнул:

— Все бока обломало, того-этого. Саша, ты жив?

— Жив.

— Такой экипаж, мать...

Еремей матерно выругался; да и вообще через каждые пять слов в шестое он вставлял ругательство, но не бессмысленно и вяло, как это делается по простой привычке, а с озлоблением и даже яростью, заметно растущей к концу каждой фразы.

— А много денег взяли, Василь Василич?

— Не считано. На избу хватит.

Дернуло спину, потом вдавило живот — и ровно застучали колеса по белому камню: въехали на шоссе. Лошадь пошла шагом, и сразу стало тихо, светло и просторно. В лесу, когда мчались, все казалось, что есть ветер, а теперь удивляла тишина, теплое безветрие, и дышалось свободно. Совсем незнакомое было шоссе, и лес по обеим сторонам чернел незнакомо и глубоко. Еремей молчал и думал и, отвечая Колесникову, сказал:

— Какая тут изба, когда свою сжечь, так и то впору. Мне твоих денег не надо, да нехай им... А ты бы,

милый человек, раз напрямки дело пошло, станцию бы лучше запалил. Спичек пожалел, что ли?

— Чудак человек, да как же ее запалишь, это тебе не твоя солома! Слышишь, Саша?

Погодин не ответил.

— И ехать светлее было бы! Вон от восковой свечки вся Москва, рассказывают, сгорела, а ты: солома! Сами знаем, что не солома. А ты инструмент имей, раз напрямки дело пошло, на то ты и учен, чтобы инструмент иметь.

Саша молчал, как неживой, и тихо было. Еремей обернулся совсем и бросил вожжи. Скулы его еще светлели, а под козырьком, где глаза, не было ни взгляда, ни человеческого, как будто — один стоячий мрак. Хмыкнул:

— Ты на плотника погляди, какое его дело? А и то мешок за спиной с инструментом. А ты: пистоля! Много с твоей пистолей делов сделаешь, и похвастать нечем.

Колесников хмыкнул ответно:

— Гм! Чего же тебе надо: бомбы?

Еремей еще с минуту подержал свой загадочный мрак перед глазами Колесникова, отвернулся и ответил неопределенно:

— И ехать светлее было бы, а то что! Не знаю, как это по-вашему: бомбы так бомбы, мне все равно. Но, проклятая!

Мост был полукаменный, высокий, и подъем к нему крутой — Колесников и Саша пошли пешком, с удовольствием расправляясь. Восходила вчерашняя луна и стояла как раз за деревянными перилами, делясь на яркие обрезки; угадывалось, что по ту сторону моста уже серебрится шоссе и светло.

— Я думаю, теперь не нагонят, — сказал Колесников, — а ты как думаешь, Саша?

— Я то же думаю.

На гулком мосту остановились, и Саша наклонился над перилами, точно окунул голову в воздух и низкий басовый хор лягушек. Среди лугов и свисшего лозняка уходила в небо неширокая вода, и когда плюнул подошедший Колесников, шлепок звякнул, как ладонь по голому телу.

— Что за речонка? Ты по карте не помнишь, Саша?

— Нет.

— Лягушки-то стараются.

Сказал это Колесников и подумал, что не только он, а и вся ночь не верит в то, что произошло на станции, и никогда не поверит. И никогда, даже в ту минуту, как под его рукой упал убитый энский губернатор, ни в другие, казалось, более тяжелые минуты не испытал Колесников такого ясного и простого чувства сердечной боли, как теперь, над сонною рекой, когда кричали лягушки. Позади чиркнула спичка, закуривал Еремей.

— Ты бы закурил, Саша, или папиросы забыл?

— Нет, не забыл. Не хочу.

Но подумал и, вынув портсигар, закурил, — Колесников стыдливо отвернулся от осветившегося на миг страшного лица; и оба, казалось, с интересом следили за брошенной спичкой: зашипит или нет. Не зашипела, или не слышно было. Колесников шепотом спросил:

— Тебе ужасно больно, Саша?

Саша молчал. Потом вынул папиросу изо рта, как-то деловито скрипнул крепкими зубами и снова положил папиросу.

— Мальчик ты мой! — шептал Колесников, почти плача. — Как ты вчера радовался... Я понимаю тебя, Саша, но ведь должны же страдать и невинные. Я сам убил человека, и, ей-Богу, он не был виноватее твоего телеграфиста. И именно невинные-то и должны страдать, помни это, Саша. Когда грешный наказывается, то молчит земля, а гибнет невинный, то не только земля, а и небо, брат, содрогается, солнце меркнет. Скажу тебе нечто, от чего ты, пожалуй, содрогнешься: люди кричат, а я радуюсь, когда вешают невинного, именно невинного, а не подлеца какого-нибудь, которому веревка, как мать родная!

Нетерпеливо топтался на мосту Еремей, но тактично, не хотел мешать, понимал важность тихого, в шепот, разговора: «о мамаше говорит!»

Гудел Колесников:

— А сам-то ты, мальчик, не невинен? И разве я что тебе говорю: не мучься? Нет, мучься, сколько есть у тебя муки, всю отдай, иначе был бы ты подлец, и смысла б в тебе не было, хоть головой в воду! Этим ты землю потрясешь, Саша, совесть в людях разбудишь, а совесть — я мужик нехитрый, Саша, — она только и держит народ. Будь ты распро-Рим или распро-Греция, а без совести пропадешь, того-этого, как кошка, и будет место твое пусто! Но, мучась, не падай, Саша, — зато смерть, когда она подойдет к тебе и в глаза заглянет, примешь ты с миром. Клянусь тебе, мальчик.

Саша тряхнул головой и несколько раз быстро закрыл глаза, точно протирая их; выдохнул с шумом воздух, в одном вздохе соединяя множество их. Едва ли он слышал все, что говорил Колесников, но было в самом голосе отпускающее. И сказал:

— Ладно, Василий. Буду жить и мучиться — так, что ли? И тоже клянусь тебе...

Закричал Еремей:

— Скачут! Эх, теперь и до лесу не догонишь, беда!

И в смутном, как сон, движении образов началась погоня и спасание. Сразу пропал мост и лягушки, лес пробежал, царапаясь и хватая, ныряла луна в колдобинах, мелькнула в лунном свете и собачем лае деревня, — вдруг с размаху влетели в канаву, вывернулись лицом прямо в душистую, иглистую траву.

— Теперь ушли! Теперь ищи ветра в поле! — говорил Еремей, подымая телегу, а Колесников хохотал и тер лицо:

— Всю рожу зазеленил, того-этого, совсем теперь лешим стал. Еремей! Леший какой в ваших местах: зеленый?

— А как раз такой, как вы, покрасивше, пожалуй.

Смеялся и Саша: и его опьянила погоня. Но, видно, еще не совсем ушли: снова заметалась луна и заахали колдобины, и новый лес, родной брат старого, сорвал с Колесникова его велосипедную шапочку, — но такова сила заблуждения! Остановил лошадь и в темноте нашарил-таки свое сокровище. А потом сразу угомонилась луна и тихо поплыла по небу, только изредка подергиваясь, но тотчас же и снова оправляясь; и уже в настоящем полусне, в одно долгое и радостное почему-то сновидение превратились поля, тающие в неподвижном свете, запахе пыли и грибной сырости, обремененные крупным майским листом, сами еще не окрепшие ветви.

Где-то остановили лошадь и телегу, и опять брехали собаки: и, продолжая сновидение, втроем зашагали в сребротканую лесную глубину его, настолько утомленные, что ноги отдельно просили покоя и сна, и колени пригибались к земле. Потом неистово закричал назябшийся, измученный одиночеством и

страхом Федот, которого-таки не взяли с собой.

И вот уже вчерашний, но теперь навсегда другой шалашик: стал он домом и родным приютом. И крепкий до полудня сон, глухой снаружи, но беспокойный внутри в своих томительных позывах воскресит разорванную, окровавленную, точно чьими-то когтями в клочки изодранную явь. Не слышали, как пришли вконец измученные Андрей Иванов с товарищами, потоптались у пылающего огня — и молча завалились спать. К утру и совсем успокоился Саша: к нему пришла Женя Эгмонт и все остальное назвала сном, успокоила дыханием, и ужасным, мучительным корчам луны дала певучесть песни, — а к пробуждению, сделав свое дело, ушла из памяти неслышно. С улыбкой проснулся Саша.

Но с этого дня в его душу вошел и стал навсегда новый образ: падающий к его ногам телеграфистик с русыми кудряшками, кровавая яма возле уха и ворот чистенькой, расшитой косоворотки. Так стал убийцею Саша Погодин, отныне воистину и навсегда — Саша Жегулев.

За короткое время, не больше, как за месяц, шайка Жегулева совершила ряд удачных грабежей и нападений: была ограблена почта, убит ямщик и два стражника; потом троицкое волостное правление, причем сами уже мужики, не участвовавшие в шайке, насмерть забили старшину и подожгли правление, хотя поджог грозил явной опасностью самому селу; да так и вышло: полсела под пеньки да под трубы подчистил огонь. Дотла опустошили и сожгли две экономии и помещика с братом нагнали и зарезали в лесу, а управляющего повесили на воротах; разбили винную лавку, и мужики, перепившись, подожгли-таки дом, и опять жестоко пострадало село.

Что здесь шло до Жегулева, а что родилось помимо его, в точности не знал никто, да и не пытался узнать; но все страшное, кровавое и жестокое, что в то грозное лето произошло в Н-ской губернии, приписывалось ему и его страшным именем освещалось. Где бы ни вспыхивало зарево в июньскую темень, где бы ни лилась кровь, всюду чудился страшный и неуловимый и беспощадный в своих расправах Сашка Жегулев.

И уже стал он появляться одновременно в разных местах, и сбились с ног власти, гоня стражников и солдат на каждое зарево, вечно находя и вечно теряя его след, запутанный, как клубок размотавшейся пряжи. Только что был, только что ушел, только что, только что-куда ни придешь, все только что, и след его дымится, а самого нет. И если искал его друг, то находил так быстро и легко, словно не прятался Жегулев, а жил в лучшей городской гостинице на главной улице, и адрес его всюду пропечатан; а недруг ходил вокруг и возле, случалось, спал под одной крышей и никого не видел, как околдованный: однажды в Каменке становой целую ночь проспал в одном доме с Жегулевым, только на разных половинах; и Жегулев, смеясь, смотрел на него в окно, но ничего, на свое счастье, не разглядел в стекле: быть бы ему убиту и блюдечка бы не допить.

И уже на другую губернию перекинулось страшное имя Сашки Жегулева, и, точно в самом имени, в одном звуке его заключался огонь, куда ни падало оно, там вспыхивал пожар и лилась кровь. Казалось, жутко трепетал сам воздух, пропитанный едкой гарью, и в синем дымном тумане своем нес над землею и сеял грозное имя, кровью кропил поля, и лес, и одинокие жилища. Целую ночь горели огни в помещичьих усадьбах, и звонко долдонила колотушка, и собаки выли от страха, прячась даже от своих; но еще больше стояло покинутых усадеб, темных, как гробы, и равнодушно коптил своей лампою сторож, равнодушно поджидая мужиков, — и те приходили, даже без Сашки Жегулева, даже днем, и хозяйственно, не торопясь, растаскивали по бревну весь дом. Остатки все же поджигали, и сторож помогал. Некоторые помещики, побогаче и покруче нравом, завели белозубых, черномазых, свирепо перетянутых черкесов, и там днем мужики кланялись, и бабы, как добрые, носили землянику, а ночью все зывали к святому имени Сашки Жегулева и терпеливо ждали огня. И огонь приходил неведомо откуда — вдруг без причины вспыхивала рига! И уезжали восвояси свирепо перетянутые черкесы, и помещик перебирался в городскую гостиницу,

радуясь дорогому покою и хорошему столу.

В эту пору расцвета славы и силы Сашки Жегулева шайка его разрасталась с такой быстротой, что порою терялись всякие границы: кто в шайке, а кто так? Все тот же спокойный, с начисто выбритым подбородком, старательный Андрей Иванович первое время вел мысленные списки и наблюдал дисциплину, но и он не выдержал, бросил: одних Гнедых набралось столько, что путалось всякое соображение. Жаловался самому Александру Ивановичу Жегулеву, и тот, суровый и мрачный, никогда не улыбающийся, порою страшный даже для своих, отвечал спокойно:

— Оставьте их, Андрей Иванович, они сами себя найдут.

— Никак нет, Александр Иванович, этого нельзя оставить. Сами посудите: поставил я вчера в пикет Ивана Гнедых и приказал ему глаз не смыкать, и он, подлец, даже побожился. Ну, думаю, я тебя накрою: прихожу, а он и спит, для тепла с головой укрылся и тут себе задувает! Ах ты... толкнул его в зад, а оттуда совсем неизвестное лицо, мальчишка лет шестнадцати. — «Ты кто?» — «Да Гнедых». — «А Иван где?» — «А батьке завтра в волость надо». — «Так что ж ты спишь, такой ты этакий...»

— У нас две деревни, и все Гнедых, — серьезно и пояснительно сказал Еремей.

— А если ты Гнедых, так и спи на карауле? — Андрей Иванович даже слегка покраснел от волнения.

— Никто тебя за... не укусит, — сердито ответил Еремей, — тут тебе не карапь, чего взъелся?

Колесников несмело забасил:

— А все-таки, Саша, и по-моему не мешало бы...

— Оставь. А вот бродяг, Андрей Иванович, вы действительно гоните.

Еремей согласился со своей стороны:

— Верно. Теперь им самый ход, сырости он не любит.

— И если увидите, что пошаливает, пристреливайте.

— Слушаю, Александр Иванович. А Кузьму Жучка можно оставить? Он просится.

— Жучка оставьте.

Еще то сбивало, что одни и те же мужики то приходили и некоторое время работали с шайкой, то так же внезапно и неслышно уходили, и никогда нельзя было знать, постоянный он или гостящий. Какими-то своими соображениями руководились они, приходя и уходя, и нельзя было добиться толку вопросами, да под конец и спрашивать перестали — махнули рукой, как и на дисциплину.

И странно было то, что среди всей этой сумятицы, от которой кругом шла голова, крови и огня, спокойно шла обычная жизнь, брались недоимки, торговал лавочник, и мужики, вчера только гревшиеся у лесного костра, сегодня ехали в город на базар и привозили домой бублики. Вообще, сам собой создавался какой-то особый порядок, и, только следуя и подчиняясь ему, Жегулев чувствовал себя сильным; всякая же попытка повернуть на свое русло вызывала незримый отпор и создавала чувство мучительной и странной пустоты. На самой вершине своей славы и могущества Жегулев не раз ощущал в себе эту страшную пустоту, но, еще не догадываясь об истинных причинах, объяснял чувство усталостью и личным. Настоящих причин он никогда, впрочем, и не узнал.

Захаживали в шайку и гощевали беглые солдаты, находившие в Андрее Ивановиче покровителя, но оставались недолго; один, красноносый пьяница, чуть ли не добрый десяток лет бегающий от своего года солдатчины, который тянулся за ним, как тячайший, неискупимый грех, дня три покомандовал хрипло над Гнедыми, был одним из Гнедых жестоко побит и обиженно побежал дальше — жить и бегать оставалось

долго. Другой солдат, тоже не молодой, бывший на японской войне, Косарев, остался в шайке и всем полюбился за кротость, но в одной из первых же стычек был убит шальной пулей.

Раз приткнулись к становищу два беглых арестанта, уголовных, но немедленно были прогнаны Еремеем, — а наутро один из них был найден в лесу зарезанным. Арестантики были голодны; и эта ненужная и дикая жестокость, виновник которой так и не обнаружился, смутила даже спокойного, чистого и молчаливого Андрея Ивановича: как раз он наткнулся в лесу на мертвое тело. Целый день он косился на коричневое, из дуба резанное лицо Еремея и все поглядывал на голенище, где тот прятал нож — ножик, как он сам называл. Но Еремей был непроницаем, еще более спокоен и молчалив, чем сам Андрей Иванович, и только вскользь бросил:

— Кому ж зарезать? На такое добро не всякий польстится. Товарищ же и зарезал, больше некому.

И странно было то, что этот скверный, как думалось, случай вдруг еще выше поднял значение Сашки Жегулева и был поставлен ему в какую-то особую заслугу. Сам Жегулев, недоумевая, поводил плечами, а матросик вдруг запечалился и сказал следующее:

— Скажите мне, Василь Василич, как это так происходит: в каком бы глухом месте, в лесу или в овраге, ни лежало мертвое тело, а уж непременно обнаружится, дотлеть не успеет. Если мне не верите, любого мужика спросите, то же вам скажет.

— А черт его знает! — угрюмо ответил Колесников. — Почем я знаю, как падаль находят.

Погодин же взгляделся в начисто выбритый подбородок Андрея Иваныча, в его задумчивые, спокойно-скрытые глаза — и весь передернулся от какого-то мучительного и страшного то ли представления, то ли предчувствия. И долго еще, день или два, с таким же чувством темного ожидания смотрел на матросиково лицо, пока не вытеснили его другие боли, переживания и заботы.

Беспокоил, между прочим, и Васька Соловьев, щеголь. Через него в шайку вошли четверо: два односелка, молодых и поначалу безобразно пивших парня, бывший монах Поликарп, толстейший восьмипудовый человек, молчаливо страдавший чревоугодием (все грехи, по монастырскому навыку, он делил на семь смертных; и промежуточных, а равно и смешения грехов, не понимал); Поликарп хорошо стрелял из маузера. Четвертым был темный человек Митрофан Петрович, что-то городское, многоречивое и непонятное; лицо у него и бороду словно мыши изгрызли, и туго, как мешок с картошкой, был набит он по самое горло жалобами, обидой и несносной гордыней; и всякому, кто поговорит с ним пять минут, хотелось и от себя потрепать его за бороду и дать коленом в зад. Но был у него и свой талант: от злости ли, либо от несносной гордыни своей не признавал он опасности и страха и действительно с полной готовностью полез бы к самому черту в пекло. Из города он принес и городское, несколько странное прозвище свое: Митрофан-Не пори горячку.

И в первые же дни вся эта компания, с большой неохотой допущенная Жегулевым, обособилась вокруг Васьки Соловьева; и хотя сам Васька был неизменно почителен, ни на шаг не выходил из послушания, а порою даже приятно волновал своей красивой щеголеватостью, но не было в глазах его ясности и дна: то выпрет душа чуть не к самому носу, и кажется он тогда простым, добрым и наивно-печальным, то уйдет душа в потемки, и на месте ее в черных глазах бездонный и жуткий провал. Но разве не такие же глаза и у всех людей? — думалось порою, и не темнее других казался тогда Васька Соловьев, щеголь.

Даже неприятности начались было, и первым заявил себя Митрофан-Не пори горячку: еще не принявшись, как следует, пошел к атаману своей вихляющейся, прирожденно пьяной походкой и заявил, что тут самое подходящее место для литья фальшивых двугривенных. Правда, над ним только посмеялись, да и сам он своего проекта не отстаивал и сразу же горячо понес какую-то другую чепуху, но

было неприятно, и Еремей презрительно окрестил его чучелой. Другой случай был похуже: один из Васькиных парней, где-то напившись, начал похабничать и говорить свинство, а когда Жегулев прикрикнул, полез на него с ругательствами и кулаками.

Поблудневший Саша молча вынул из кобуры револьвер, но не успел поднять его, как пьяный повергся наземь от тяжелого удара Еремеева кулака; и тут в первый раз увидели, каков Еремей в гневе.

— Не погань рук, Александр Иванович! — промолвил он совсем как бы спокойно, и только лицо почернело, как чугун. — Мы его и так... сделай-ка петельку, Федот, а то не ушел бы, гляди, колышется.

Пожалуй, и повесили бы пьяного, не вступись Жегулев; но не успокоились мужики, пока собственноручно не выдрали парня, наломав тут же свежих березовых веток, — а потом миром пришли к Жегулеву просить прощения и стояли без шапок, хотя обычно шапок не ломали, и парень кланялся вместе с ними.

— Миром тебя просим, Александр Иванович, прости нашу темноту. Ты что ж, Евстигнейка, не кланяешься? Кланяйся, сукин сын, и благодари за науку.

И уж совсем дурацки парень благодарил:

— Благодарю, Александр Иванович, за науку.

Колесников мрачно смотрел на эту церемонию, ухмыляясь не то злобно, не то иронически, и, когда мужики ушли, косил глаз на задумавшегося Сашу и тихо сказал Андрею Ивановичу:

— Вот оно, того-этого, что значит генеральский сын: никак без порки любви своей ему не выразишь. Вы думаете, для себя они пороли? Нет, а думают, что он иначе не поймет и не оценит.

— Темнота, Василь Василич.

— А вы, Андрей Иванович, интеллигент!

Матрос тихо улыбнулся:

— А вы знаете, как они об Александре Ивановиче выражаются, — от вас, конечно, они скрывают, а при мне не стесняются. Трудно без слез слушать: он, говорят, как ангел чистый, он нам Богом за нашу худобу послан, за ним ходи чисто... Барашек он беленький...

— Барашек? — поднял брови Колесников.

— Мы, говорят, что? Мы мужики, и задница у нас не купленная, а он генеральский сын — это действительно говорят, но без всякого умысла, Василь Василич, а от души. Помните арестанта зарезанного? Как вам сказать — и не знаю, а ведь они его для Александра Ивановича зарезали.

Колесников ужаснулся:

— Кто зарезал?

— Кто, не знаю, не говорят, но рассуждение у них было такое: показалось им, будто Александр Иванович разгневался на арестанта и сам хочет его казнить, так вот, чтоб от греха его избавить, они и забежали... нам, говорят, все едино, всех грехов не учесть, а его душеньке будет обидно.

Что-то совсем страшное, далеко уходящее за пределы обычного, встало перед Колесниковым, и даже его мистически-темная душа содрогнулась; и чем-то от древних веков, от каменного идола повеяло на него от неподвижной фигуры Саши, склонившего голову на руки и так смотревшего в лесную глубину, будто весь его, все его темные силы звал он на службу. Зашептал Андрей Иванович, и не был прост и спокоен его обычный ровный голос:

— Вот что еще доложу, Василь Василич, надо бы Александру Ивановичу смотреть осторожнее, а то ведь

они и этого, Митрофана-то, чуть на тот свет не отправили, ей-Богу, уж совет держали, да я отговорил.

— Совет, того-этого, — и когда они совещаются?

— Кто их знает, говорят, совет. Конечно, так, болтают.

Всмотрелся Колесников в тихие глаза матроса и сердито качнул лохматой головой:

— Эй, Андрей Иванов, интеллигент, а вы ведь знаете, кто арестанта зарезал... Еремей, ну?

Андрей Иванов вильнул глазами и вытянулся:

— Никак нет, Василь Василич, не знаю.

Но с этого случая недоразумения с Васькой Соловьевым и его присными прекратились, парни были трезвы, а если напивались, то подальше от глаз, и сам Щеголь двигался покорно, неслышно и ловко; и уже несколько раз, будучи расторопен, самостоятельно по поручению Жегулева выполнял некоторые дела и назывался в этих случаях также Сашкой Жегулевым.

И не совсем понятный, но твердый царил порядок.

6. Жегулев

В новой лесной жизни с каждым днем менялся Саша Погодин, и на вид имел уже не девятнадцать лет, а двадцать три-четыре — не меньше; странно ускорился процесс развития и роста. Быстро отрастали волосы на голове, и, хотя усов по-прежнему не было, по щекам и подбородку запушилась смолянисто-черная рамочка, траурная кайма для бледного лица; вместе с новым выражением глаз это делало его до боли красивым — не было жизни в этой красоте, ушла она с первой кровью. Исхудал Саша до крайности: почти не спал, ел мало; но в плечах раздался, и поднялась грудь — в прежней груди не уместилось бы новое сердце. Окаменел, — не улыбается, молчит и решительно противится всякому разговору и близости с Колесниковым. Не любит.

— Я тебе не помешаю, Саша? — подходит Колесников, большой, от смущения нескладный и басистый.

— Нет, не помешаешь. Ты что-нибудь хочешь сказать?

— Да ничего особенного. Так, того-этого, поболтать.

«Глупое слово: „поболтать“!» — с отвращением думает Колесников и присаживается, крякнув:

— Так-то, Саша, и вообще, того-этого... Ты доволен, Саша?

— Доволен.

Тяжелое и глупое молчание. Лицо Саши неподвижно, черты резки и как-то слишком пластичны; не мягкою была рука того неведомого творца, что из белого камня по ночам высекал это мертвое лицо.

— Тебе тяжело, Саша?

Саша поворачивает голову и улыбается, как старый на вопрос ребенка.

— Да. Мучусь. Но ведь так, кажется, и надо?

Колесников не знает, куда деваться от этой улыбки, и мается в бессильном молчании. Жалеет его Саша и, чтобы нарушить молчание, говорит:

— Папиросы на исходе, не забыть бы взять. А, в общем, я все-таки меньше стал курить, от воздуха, что ли?

— Отчего ты со мной, мальчик, и поговорить не хочешь? — морщится и гудит Колесников. — Подхожу сейчас и думаю, того-этого: каменный ты стал какой-то. Я, Саша, не люблю фальшивых положений, и если ты что-нибудь имеешь против меня, так и говори, брат, прямо. Бей наотмашь, как ведьм, того-этого, в Киеве бьют. Ну?

— Я ничего против тебя не имею... Зачем ты, Василий, думаешь пустяки!

— Честное слово?

Саша снова улыбается, но уже по-настоящему смешливо и ласково, тихонько похлопывает двумя пальцами Колесникова по жесткому колену и незаметно вздыхает. Колесникову тоже хотелось бы улыбнуться, но вместо того он хмурится еще больше и говорит с упреком:

— Бесчувственный ты человек, Саша! Или у тебя анестезия?

— А ты требовательный человек, Василий: то много мучусь, то мало! Теперь, как врач, ты хочешь сказать, что жертвы под хлороформом не принимаются, — так я тебя понял?

— Какой я врач: лошадиный доктор! Смеешься, Саша?

— Нет. И не смеюсь, и не плачу. Но ты напрасно беспокоишься: мне не так плохо, как ты думаешь, или не так хорошо, не знаю, чего тебе больше надо. Все идет, как следует, будь спокоен. И, пожалуйста, прошу тебя, к случаю: не заставляй Андрея Ивановича торчать около меня и загораживать, да и сам тоже. Боишься, что убьют? Пустяки, Василий, я проживу долго, тебя, брат, переживу. Не бойся!

Колесников встал и многозначительно протянул руку:

— Руку!

Саша ответил пожатием — и рука была твердая, сухая и холодная: лучше бы не касался ее Колесников!

Но и с друзьями-мужиками Жегулев разговаривал неохотно и скупое, больше сидел в одиночку. И это нравилось: придавало ему вид суровой значительности и выделяло из круга, как одинокое дерево на лесной прогалине — и вместе, и одно. Выпадали для лесных братьев свободные и все еще веселые вечера, даже более шумные, так как прибавилось народу; тогда, не стеснясь жарким временем, разводили костер на почерневшем, выгоревшем и притоптанном месте, пели песни, ровным однозвучием многих балалаек навевали тихую думу и кроткую печаль. Завелась и гармоника, и музыкальных дел мастер, Андрей Иванович, играл вальс «На сопках Маньчжурии», подпевая слова. Мужики растроганно сопели и слезливо шмурыгали носами, и даже шутник Иван Гнедых чувствительно высказывался:

— Вот бы наших баб сюда, ах ты, батюшки мои!

И особенно трогали слова:

Кости солдат давно уж в земле поистлели,
А мы же могилы не видели их
И вечную память не пели...

— Хорошие слова, книжные, — говорил Еремей внушительно и окончательно и ободряюще похлопывал Андрея Ивановича по спине, — не робей, матрос, тут тебе не карап!

Попробовал ту же песню спеть Петруша звонкоголосый, и хотя у него вышло лучше и одобрил сам Василий Васильевич, но мужикам не понравилось: много ты понимаешь, Петрушка, брось, дай матросу. Даже обиделся Петруша и несколько дней совсем отказывался петь, — был он ребячлив, как все истинные таланты, и непрестанно нуждался в сочувствии. И если находила добрая полоса, то пел без усталости, не для людей, а для себя, — звучала в нем песня прирожденно, как в певчей птице. Любили его за это и за кротость души: в горячий мятеж мыслей бессонных и тяжело-кровавых дум вносил он успокоение и тихую ласку.

Случалось, долго не может заснуть Жегулев, ищет безнадежно, на чем бы успокоиться мыслью, вызывает о забвении — и все напрасно; и только одна милая картина, вызываясь из памяти настойчиво, давала под конец облегчение и легкий сон. Идут они будто бы перелесочком; среди широких кустов березняка и дуба заворачивает дорога, и Саша отстал, не торопится. А впереди, виднеясь одними спинами, идут какие-то люди, они же и разбойники, они же и друзья, они же и вольная воля; идут и потренькивают балалайками, задумчиво и стройно, и в ровном гуле струн будят певчую душу самой дороги. Идут люди и играют, идет дорога и поет грустно и длительно, кротко нисходит в овражек. Одни уж головы да звуки над тихой зеленью невинно и одиноко возрастающих кустов. Идут. Уходят.

От шума гармоники, порою нескладного пения и отчаянного пляса, в котором по-прежнему отличался Васька Щеголь, прирожденный плясун, Саша обычно уходил. Зажигал в шалашике огарок и читал ставшую невыносимой книгу «Крошка Доррит», которую взял за толщину и неизвестно за что: горькой нелепостью казались все эти мистеры и мистрис. А чаще уходил он в лес, в глухое и мертвое одиночество. В десятке

саженной от стана, над глубоким лесным обрывом, торчал из земли, на самом крутогоре, старый, позеленевший пень: тут и находил Саша свое одиночество; и еще долго спустя это место было известно ближайшим деревням под именем «Сашкиного крутогора». За ним редко кто следовал, и постепенно установился такой порядок, чтобы и не лезть к атаману, раз он удалился на свое место. И про эти часы Сашиного одинокого сидения Еремей выражался так:

— Мозгует Александр Иванович, мозгами ворочает.

Но одну песню Саша слушал постоянно: это милую свою зеленую рябинушку, — отходило сердце в тихой жалости к своей горькой и мучительной доле. А иногда и мучила песня. Как-то случилось, что особенно хорошо пели Колесников и Петруша, — и многим до слез взгрустнулось, когда в последний раз смертельно ахнул высокий и чистый голос:

Ах, да поздней осенью, ах, да под морозами!..

Было молчанье. И в молчанье осторожно, чтобы не шуметь, поднялся Жегулев и тихонько побрел на свое гордо-одинокое атаманское место. А через полчаса к тому же заповедному месту подобрался Еремей, шел тихо и как будто невнимательно, покачиваясь и пробуя на зуб травинку. Присел возле Саши и, вытянув шею, поверх куста заглянул для какой-то надобности в глухой овраг, где уже густились вечерние тени, потом кивнул Саше головой и сказал просто и мягко:

— Об мамаше думаешь, Александр Иваныч?

И, хотя Саша в эту минуту думал как раз о другом, вопрос мужика точно раскрыл истинную сущность мыслей, и, помедлив, Саша взглянул открыто и ответил:

— Да, о матери.

— Так... Подумай, подумай, Александр Иваныч, мы против этого не говорим. Думаешь, так думай, ничего, брат, на то ты человек, а не зверь. Верно?.. Я и говорю, что верно. А достатки-то есть у мамыши?

— Да, она получает пенсию за отца, отец у меня давно умер.

— Вишь, как хорошо, и достаток есть! Я и говорю, что хорошо; и братья, поди, учатся?

— Братьев у меня нет, а сестра учится.

— Вишь, как хорошо, душа радуется, ей-Богу! Прости, Александр Иваныч, если в чем помешал, дай, думаю, пойти покалякать, сидит человек один. Подумай, подумай, это ничего, паренек ты душевный. Сидит человек один, дай, думаю...

Поизвинялся еще, осторожно, как стеклянного, похлопал Сашу по спине и вразвалку, будто гуляет, вернулся к костру. И показалось Погодину, что люди эти, безнадежно глухие к словам, тяжелые и косные при разговоре, как заики, — в глубину сокровенных снов его проникают, как провидцы, имеют волю над тем, над чем он сам ни воли, ни власти не имеет.

И вдруг на мгновение почувствовал себя тем маленьким Сашей, который в ночную пору слушает мощный гул дерев, — вздохнулось легко и печально.

7. Огонь

Плохо обернулось дело: еще человека убил своей рукой Сашка Жегулев; и второе — погиб в перестрелке, умер страшной смертью кроткий Петруша. Произошло это следующим образом.

Довольно рано, часов в десять, только что затемнело по-настоящему, нагрянули мужики с телегами и лесные братья на экономию Уваровых. Много народу пришло, и шли с уверенностью, издали слышно было их шествие. Успели попрятаться; сами Уваровы с детьми уехали, опустошив конюшню, но, видимо, совсем недавно: на кухне кипел большой барский, никелированный, с рубчатыми боками самовар, и длинный стол в столовой покрыт был скатертью, стояли приборы.

— Вот-то чудесно! Чайку попьем, давно, того-этого, за столом не сиживал! — засмеялся Колесников, бывший с утра в хорошем и веселом настроении. — Маша!

— Кого зовешь? — спросил Жегулев.

— Горничную. Маша!

За окнами грабили хозяйственно и тихо, еще не о чем было кричать, разве только под топором затрещит дверь в амбар и около ледника чему-то хохочут; плавают по двору запасенные фонарики. В главном доме было светло и так же тихо, не шумнее, чем при обыкновенных гостях, и в одно из раскрытых, темных окон сильно пахло жасмином, только что расцветшим, сиренью и табаком. Митрофан-Не пори горячку с Васькой Щеголем безнадежно царапался в спальне около несгораемой кассы, пытаясь открыть и горделиво ругаясь, и над ними подсмеивались; восьмипудовый, сонный Поликарп с тоской вынюхивал еду. Явилась откуда-то успевшая до красноты заплакаться горничная Глаша в фартучке и, признав в Саше барина, стала к нему под покровительство; и уже через пять минут привычно забежала возле стола, привычно кокетничая.

Тронуло Глашу, что ведут себя так хорошо, и, уж не зная, кто она, горничная или хозяйка, нерешительно угощала, — но вдруг расплакалась, глядя на мужиков, и стала их закармливать:

— Ешьте, голубчики, ешьте! Голубчики вы мои, да разве у нас не хватит? Не все пожрали господа, сейчас и еще принесу.

И Еремей за всех благодарил:

— Много вами благодарны.

Наскоро и голодно куснув, что было под рукою, разбрелись из любопытства и по делу: кто ушел на двор, где громили службы, кто искал поживы по дому. Для старших оставались пустые и свободные часы, час или два, пока не разберутся в добре и не нагрузятся по телегам; по богатству экономии следовало бы остаться дольше, но, по слухам, недалеко бродили стражники и рота солдат, приходилось торопиться.

— Ты что же не идешь, Еремей? — удивленно спросил Колесников. — Сделал бы запасец, того-этого.

— Не. Не хочу, нехай им будет пусто, — ответил матерно Еремей и равнодушно покосился в окно.

Станный был человек: прилип к шайке и деятельно помогал, но сам ничем не пользовался, а дома голодали, был самый несчастный мужик на всех Гнедых.

Колесников мягко упрекнул:

— Не для себя, чудак. Хороший ты мужик, а детей, того-этого, голодом моришь.

Еремей нехотя повернул свое темное лицо, и странно — что-то вроде великолепного, барского пренебрежения и к самому Колесникову и к его словам мелькнуло на этом мужицком лице; и равнодушно

сказал:

— Чего хлопчешь? Не сдохнут щенки.

— У него, Василь Василич, жена с телегой приехала, — пояснил матрос, — она уж его бранила. Шел бы ты и вправду, Еремей, не гордился бы.

Уже с презрением посмотрел мужик на Андрея Ивановича, ничего не сказал и, переваливаясь, вышел. А Колесников подумал: «Как странно бывает сходство: Елена Петровна — гречанка и генеральша, а этот — мужик, а как похожи!.. Словно брат с сестрой. Слава Богу, сегодня все идет хорошо и приятно, и пьяных мало».

— Плескните-ка еще стаканчик, Андрей Иванович. Пей, Петруша, что не пьешь?

— Не хочется мне пить, Василь Василич, все будто душа не спокойна: не нагрянули бы!

— Далеко, успеем уйти. Пей!

Саша, не оставляя маузера, пошел осматривать комнаты: интересно было чужое жилище в его не успевшей остынуть жизни. Видно было по всему, что жили люди богатые, культурные, ценившие чистоту и порядок; и что-то в красоте убранства напоминало Елену Петровну. А наверху одна комнатка совсем смутила Сашу: была и по размеру, и по белизне похожа на его городскую, и постель с наискось отвернутым для ночи одеялом была его, только не хватало образа. И на несколько минут поколебался каменный облик, и с ним отошло все настоящее; Саша бесшумно и крепко притворил дверь и, не желая входить дальше, остановился у порога. Пахло чем-то прежним, кажется, чистым бельем или даже духами. И в темноте — он погасил свечу — его сердце, покинутое ужасом, затеплилось такой радостью, такой любовью и нежной грустью, словно вышел он на свидание к любви своей. Не думалось об утрате, и невозможность раскрыла двери: вышел он на свидание к любви своей, дал ей первый поцелуй, сказал слова нежности, встречи и прощания, всю уместил ее в сердце, широком, теплом и любовном, как июньская ночь, когда только что распустился жасмин. Совсем забывшись, Саша шагнул к окну и крепким ударом ладони в середину рамы распахнул ее: стояла ночь в саду, и только слева, из-за угла, мерцал сквозь ограду неяркий свет и слышалось ровное, точно пчелиное гудение, движение многих живых, народу и лошадей. Но не понял их значения Саша и, легши на подоконник руками и грудью, прикрыл веками глаза и капля за каплей стал пить пьяный и свежий воздух.

Обеспокоился на минуту, услышав в коридорчике крепкие шаги и ищущий голос Колесникова:

— Эй, дядя, не видал Александра Ивановича?

— Туды прошел, — ответил кто-то, и снова стало тихо.

И снова ушел в свою мечту Саша. Было с ним то странное и похожее на чудо, что как дар милостивый, посылается судьбою самым несчастным для облегчения: полное забвение мыслей, поступков и слов и радостное ощущение настоящей, скрытой словами и мыслями, вечной бестелесной жизни. Остановилось и время.

Но досадно захотелось курить; а когда закуривал и зажег спичку, то вспомнил маузер, и — исчезла тишина. Пытался Саша, повторив позу, вызвать ушедшее, но ничего не вышло, противно заскакали мысли, и потянуло на народ.

— Куда ты запропал, Саша? Нигде тебя не найдешь! — обрадовался Колесников. — На дворе был?

— Да. Налей-ка чаю, Вася, — сказал Жегулев, быстро и весело садясь. — Как у вас тут светло!

— Много пьяных?

— Не видал.

— Здорово! Тебе покрепче, Саша?.. — взглянул Колесников, как из-за очков, поднял удивленно голову и уставился прямо. — Да ты, Саша... чему ты рад, Сашка? Что пьяных мало?.. Ну и чудак же ты, Сашук!

Оба улыбались друга на друга, пока не закричал и не заплясал Колесников, обжегшись кипятком. Подвернулась Глаша в фартучке:

— Позвольте, я налью. А если не крепко, то можно еще подварить, у нас чаю много.

Рояль был раскрыт, и на пюпитре стояли ноты — чуждая грамота для Саши! Нерешительно, разинув от волнения рот, постукивал по клавишам Петруша и, словно боясь перепутать пальцы, по одному держал крепко и прямо, остальные ногтями вжимал в ладонь; и то раскрывался в радости, когда получалось созвучие, то кисло морщился и еще торопливее бил не те. Солидно улыбался Андрей Иванович и вкривь и вкось советовал:

— А ну-ка сразу по этим!

И тайно конфузился, когда выходило еще хуже, поправляя:

— Да не те, эх, Петруша!

— Александр Иванович, Василь Василич! — пел Петруша, страдая. — Какая вещь драгоценная, да, ключ-то потерявши, и подступиться не дает.

Саша засмеялся и, подойдя быстро и перегнувшись через Петрушу, заиграл «собачий вальс».

— Это что же такое?

— Собаки танцуют. Слушай!

Попрыгали собачки и сразу на одной ножке сели: не кончив, бросил Саша, — не стоит вспоминать! — и вернулся к столу.

Пришел Еремей, что-то пряча в руке, и за ним хмельной, недовольный и огорченно ругающийся Иван Гнедых:

— Ну и сторонка! Живут люди богато, а взять нечего. И тут наставили, и тут нагородили, и тут без ума намудрили, а взять ни синь пороха не возьмешь, как пригвожденное. Ну и хитрый народ! Михей, вот-то дурак! Зонтик взял, а теперь мается, в дверь пролезть не может, застрял, как в верше. Смехота!

За окнами стало шумнее и набегала тревога: кричали во многие голоса, стукались ободьями и колесами, ругали лошадей. Еремей сурово глянул в сторону окна и сказал:

— Ну и жадный у нас народ, не может порядку установить. Запалить бы, не мигаючи, чего тут!

Но, не договорив, расплылся в широчайшей улыбке и как сиянием окружил себя бородой; и протянул к Колесникову крепко зажатый кулак:

— Глянь-кась, Василь, и что это за штучка?

— Да кулак-то раскрой, вцепился. Ну? Печатка, свою фамилию печатать.

С хрустальной, кругло-граненой ручкой и серебряным штампом печатка — нечто бесценное, загадочное и блестящее, что могло бы понравиться и вороне, очаровательное тем, что мало, блестит и непонятно.

— А мою фамилию она может? — спросил Еремей, принимая обратно.

— Нет. Брось лучше. Попадешься, худо будет, того-этого.

— Ладно, Василь, брошу, — кротко успокоил Еремей и, улучив минуту, быстро сунул в карман штучку да еще сверху прижал ладонью; поправил бороду и насупился.

Беспокойнее шумел двор — вдруг почувствовалось, что дом чужой, и потянуло ближе к шуму; колеблясь, толкались по комнате, сразу принявшей вид беспорядка и угрюмости. Встревоженная Глаша сперва жалась к столу, где сидели Колесников и Саша, потом исчезла куда-то. Гоготали около найденного граммофона и, смешливо морщась и покачиваясь на нетвердых ногах, божился Иван:

— Эта самая, провалиться на месте, эта самая! Куда пришла, а? Принесла ее летось учительша, повертела маломало за хвост, да и пусти!.. Аж дрогнул народ! Тут тебе гнусит, как дьячок, тут тебе кандычит, тут тебе слезьми заливаается — смехота!

Смеялись уже не от рассказа, а на него глядя.

— А тут урядник с старостой — шасть: слова, что ли, не те, кто ее разберет, да и в холодную, только и пожила. Несут ее, матушку, мужики жалеют, да мне и самому жалко, я и говорю: не бойсь, машинка! теперь не секут. Ей-Богу, правда, на этом месте провалиться!

К удивлению и пущему смеху смотревших, Иван прослезился, а потом с матерным ругательством хотел ногой ударить граммофон, но не осилил тяжести ноги и чуть не завалился. Запахло в комнате спиртом — видно, не один Иван успел где-то зарядиться, чаще матюкались и точно невзначай пытались что-нибудь разбить или повалить, усиленно харкали и плевались: нарастало жуткое и безобразное. Подтянувшийся Андрей Иванович внимательно посматривал по сторонам, прислушивался к гудевшему окну и несколько раз, соображая, поглядел на свои серебряные, наградные за стрельбу часы. Свирепо косил глазами и хмурился Колесников: пропало хорошее настроение, и вновь начала томить глухая тоска, под тяжестью которой в последние недели медленно и страшно мертвела его душа...

Жегулев отошел к книжному шкапу и, зажав под мышкой маузер, торопливо перелистывал Байрона, искал страницу и, найдя, остановился глазами:

...Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес —
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются

Заглянул через плечо Колесников и усмехнулся угрюмо и злобно:

— Байрон! Вот, Саша, того-этого, и тут читали Байрона. Жегулев холодно взглянул на него, неторопливо закрыл толстую в переплете книгу и бросил в угол. И вместе с звуком от падения книги, непонятно смешавшись с ним, пронесся далекий женский вопль. Еще крик — теперь ясный зов на помощь, неудержимый женский визг, противно сверлящий уши, злой и жалкий. Короткий перерыв, точно закрыли ладонью рот — и опять с той же высокой и хриплой ноты. Затопал ногами; кто-то, свалившись, захохотал по лестнице — и комната пропала из глаз. Толкнув кого-то и еще кого-то, на долгое мгновение запутавшись в незнакомых переходах, Саша вылетел к запертой двери, за которой словно дохрипывал голос. Потряс: заперто.

— Отвори!

Сзади поддержали, дышит много народу, кричат. Заревел Колесников, но за дверью тихо и ответа никакого, и, напрягшись, высадил Саша дверь. Навстречу ему из полумрака, освещенный только дверью, смутно двинулся толстый, разъяренный Поликарп, а позади него на постели снова противно завизжала Глаша. Что-то крикнул Поликарп, но Саша не слышал: с яростью, мутившей рассудок, и невыносимым

отвращением он раз за разом выпустил десять зарядов маузера, вертя стволом, как жалом, последние пули кидая вниз, в мертвую уже, залитую кровью, разметавшуюся тушу. Пороховую вонюю наполнилась комната, как от взрыва. Щелкнув по-пустому, Жегулев обернулся, оскалил зубы на Колесникова и, после короткой борьбы, выхватил у него оружие, повернулся — и тут только понял, что больше не надо.

Заверещала притихшая под выстрелами Глаша и, придерживая выскочившую грудь, выбросилась наружу и бестолково заметалась в толпе мужчин, плакала и кричала, уже никого не боясь:

— Разбойники! Насильники! Га-а-ды! На бабу польстились! Разбойники, Сашки Жегулевы! Га-а-ды!

С отвращением аскета, увидевшего мерзость, с ненавистью любящего, увидевшего в грязи любовь, Саша дернул маузером и дико закричал:

— Молчать, дрянь! У-бью!

Чей-то узловатый кулак ударил Глашу по уху, она упала в дверь и, уже молча, на четвереньках поползла; и дверь захлопнулась. Саша сузил глаза, отчего казалось, что он улыбается, оглядел всех и спросил:

— Ну?

Молчали и, как стена, не имели глаз. Вдруг, все так же пряча взор, шагнул блестящими сапогами Васька Соловей и по первому звуку покорно спросил:

— Не очень ли уж круто, Александр Иванович?

— Ну? — как масленичная маска, улыбалось лицо Жегулева.

— Не очень ли уж круто, Александр Иванович? Если за всякую бабу...

К счастью для себя, поднял воровские глаза Соловьев — и не увидел Жегулева, но увидел мужиков: точно на аршинных шеях тянулись к нему головы и, не мигая, ждали... Гробовую тесноту почувствовал Щеголь, до краев налился смертью и записил, топчась на месте, даже не смея отступить:

— Так точно, Александр Иванович, ваша воля...

Жегулев крикнул:

— Собрать своих, Андрей Иванович! Выгнать из кухни баб. Запаливай, Еремей!

Из сада смотрели, как занимался дом. Еще темнота была, и широкий двор смутно двигался, гудел ровно и сильно — еще понаехали с телегами деревни; засветлело, но не в доме, куда смотрели, а со стороны служб: там для света подожгли сарайчик, и слышно было, как мечутся разбуженные куры и поет сбившийся с часов петух. Но не яснее стали тени во дворе, и только прибавилось шуму: ломали для проезда ограду.

— Александр Иванович, Василь Василич, гляньте-ка, окошечко покраснело, — повернул головой Петруша.

Во многих окнах стоял желтый свет, но одно во втором этаже вдруг покраснело и замутилось, замигало, как глаз спросонья, и вдруг широко по-праздничному засветилось. Забелели крашенные в белую краску стволы яблонь и побежали в глубину сада; на клумбах нерешительно глянули белые цветы, другие ждали еще очереди в строгом порядке огня. Но помаячило окно с крестовым четким переплетом и — сгасло.

Кто-то из глядящих огорченно выругался и вздохнул:

— Эх ты! Сгасло, проклятое!

Но не успел кончить — озарилась светом вся ночь, и все яблони в саду наперечет, и все цветы на клумбах, и все мужики, и телеги во дворе, и лошади. Взглянули: с той стороны, за ребром крыши и трубою, дохнулся к почерневшему небу красный клуб дыма, пал на землю, колыхнулся выше — уже искорки побежали.

Торопливо затолковали голоса:

— С той стороны зажгли! С той стороны!

И тихо взвился к небу, как красный стяг, багровый, дымный, косматый, угрюмый огонь, медленно свирепея и наливаясь гневом, покрутился над крышей, заглянул, перегнувшись, на эту сторону — и дико зашумел, завыл, затрещал, раздирая балки. И много ли прошло минут, — а уж не стало ночи, и далеко под горою появилась целая деревня, большое село с молчаливою церковью; и красным полотнищем пала дорога с тарахтящими телегами.

И кто с этой стороны, опоздавший и ослепленный пламенем, встречал скачущих мужиков, тот в страхе прыгал в канаву; смоляно-черные телеги и кони в непонятном смешении оглобель, голов, приподнятых рук, чего-то машущего и крутящегося, как с горы валились в грохот и рев.

8. Смерть Петруши

Разбившись на маленькие отряды, как было принято, рассеялись в ночи лесные братья. С Жегулевым остались коренные, Колесников, матрос и Петруша, да еще Кузьма Жучок, тихий и невзрачный по виду, но полезный человек. Бесконечно долго уходили от зарева, теряя его в лесу и снова находя в поле и на горках: должно быть, загорелись и службы, долго краснелось и бросало вперед тени от идущих. Наконец закрылось зарево холмом, и тут только почувствовали идущие, что они устали и что над землею стоит тихая, летняя, пышная, уже глубокая ночь.

Присели у межи; Петруша потер руку о траву и сказал:

— Росная.

Ржавым криком кричал на луговой низине коростель; поздний опрокинутый месяц тающим серпчком лежал над дальним лесом и заглядывал по ту сторону земли. Жарко было от долгой и быстрой ходьбы, и теплый, неподвижный воздух не давал прохлады — там в окна он казался свежее. Колесников устало промолвил:

— Скоро и рассвет: долго нам еще идти. А все-таки приятно, что дом, того-этого... Петруша, ты рад?

— Рад, Василь Василич.

— Теперь, пожалуй, и наскакали, головешки подбирают, — сказал Андрей Иванович про стражников и протянул папиросу Жучку, — возьми, Жучок.

Жегулев прикинул глазами небо и вслух задумался:

— Не знаю, пересекать ли нам большак или уж прямо?.. Прямо-то версты на две дальше. Как вы думаете, Андрей Иванович?

— Пойдем через большак, чего там, — сказал Колесников.

— Рассветит к тому времени, как бы не наткнуться, — нерешительно ответил матрос.

— Сами говорите, наскакали, а теперь боитесь. Вздор! Решил вопрос Кузька Жучок, человек с коротким шагом:

— Ну, а встретятся, в лес стреканем, — эка!

Охая и поругиваясь, тронулись в путь, но скоро размялись и зашагали ходко. С каждой минутой бледнела жаркая смуглота ночи, и в большак уперлись уже при свете, — правда, неясном и обманчивом, но достаточно тревожном. Тридцатисаженной аллеей сбегали по склону дуплистые ракиты и чернел узенький мостик через ручей, а за ним лезла в кручу облысевшая дорога и точно готовила засаду за неясным хребтом своим. За ручьем, в полуверсте налево начинался огромный казенный лес, но, в случае чего, до него пришлось бы бежать по открытому, голому, стоявшему под паром полю.

— Долго будем думать? — сердито сказал Колесников и крупно зашагал по склону, вихляя щиколоткой в многочисленных глубоких, еще не разбитых в пыль колеях и колчах; за ним, не отставая, двигались остальные. И уже у самого мостика за шумом своих шагов слышали они другой, более широкий и дружный, несшийся из-за предательской кручи. Сразу догадавшийся Жегулев остановил своих и тихо скомандовал:

— Слушать! Через мост бегом, на подъем, не дойдя до верху, налево до лесу. В случае — залп! Живыми не сдаваться! Двигай!

Сонно и устало подвигались солдаты и стражники — случайный отряд, даже не знавший о разгроме

уваровской экономии, — и сразу даже не догадались, в чем дело, когда из-под кручи, почти в упор, их обсеяли пулями и треском. Но несколько человек упало, и лошади у непривычных стражников заметались, производя путаницу и нагоняя страх; и когда огляделись как следует, те неслись по полю и, казалось, уже близки к лесу.

— Гони! — отчаянно крикнул офицер на казачьем седле и выскакал вперед, скача по гладкому пару, как в манеже; за ним нестройной кучей гаркнули стражники — их было немного, человек шесть-семь; и, заметая их след, затрусили солдаты своей, на вид неторопливой, но на деле быстрой побегой.

Лес был в семидесяти шагах.

— Стой! Пли! — крикнул Жегулев.

Через голову убитой лошади рухнул офицер, а стражники закружились на своих конях, словно танцуя, и молодецки гикнули в сторону: открыли пачками стрельбу солдаты. «Умницы! Молодцы, сами догадались!» — восторженно, почти плача, думал офицер, над которым летели пули, и не чувствовал как будто адской боли от сломанной ноги и ключицы, или сама эта боль и была восторгом.

Колесников, бежавший на несколько шагов позади Петруши, увидел и поразился тому, что Петруша вдруг ускорил бег, как птица, и, как птица же, плавно, неслышно и удивительно ловко опустился на землю. В смутной догадке замедлил бег Колесников, пробежал мимо, пропустил мимо себя Жучка, торопливо отхватывавшего короткими ногами, и остановился: в десяти шагах позади лежал Петруша, опершись на локоть, и смотрел на него.

«Жив!» — радостно сообразил Колесников, но сообразил и другое и... С лицом, настолько искаженным, что его трудно было принять за человеческое, не слыша пуль, чувствуя только тяжесть маузера, он убийцею подошел, подкрался, подбежал к Петруше — разве можно это как-нибудь назвать?

Не мигая, молча, словно ничего даже не выражая: ни боли, ни тоски, ни жалобы, — смотрел на него Петруша и ждал. Одни только глаза на бледном лице и ничего, кроме них и маузера, во всем мире. Колесников поводит над землею стволом и крикнул, не то громко подумал:

— Да закрой же глаза, Петруша! Не могу же я так!

Понял ли его Петруша, или от усталости — дрогнули веки и опустились.

Колесников выстрелил.

9. Фома Неверный

...Это было еще до смерти Петруши.

В один из вечеров, когда потренькивала балалайка, перебиваясь говором и смехом, пришел из лесу Фома Неверный. Сперва услышали громкий, нелепый, то ли человеческий голос, то ли собачий отрывистый и осипший лай: гау! гау! гау! — а потом сердитый и испуганный крик Федота:

— Куда лезешь, черт! Напугал, черт косолапый, чтоб тебе ни дна ни покрывки!

И в свете костра, по-медвежьи кося ногами, вступил огромный, старый мужик, без шапки, в одном рваном армяке на голое тело и босой. Развороченной соломой торчали в стороны и волосы на огромной голове, и борода, и все казалось, что там действительно застряла с ночевки солома, — да так оно, кажется, и было. И весь он был взъерошенный, встопыренный, и пальцы торчали врозь, и руки лезли, как сучья, — трудно было представить, как такой человек может лежать плоско на земле и спать. Сумасшедшим показался он с первого взгляда.

— И впрямь черт! — сказал Иван Гнедых и пододвинулся к матросу.

Мужик заговорил, и опять стало похоже на собачье гау! гау! Неясно, как обрубленные, вылетали громкие слова из-под встопыренных усов, и с трудом двигались толстые губы, дергаясь вкривь и вкось.

— Где атаман? Атаман тау, атамана тау мне надо, Жегулева, Жегулева тау!

Ему показали на Сашу. Всеми ершами своими он повернулся на Сашу и несколько раз фукнул:

— Фу, фу, фу! Ты атаман? Фу — ну, Рассея-матушка, плохи дела твои, коли мальчишек, тау, тау, спысывает! Гляди!

И всеми ершами своими повалился на колени и стукнул лбом; быстро встал.

— Чего тебе надо? — спросил Жегулев.

— Я Фома Неверный. Слушай, тау, тау! Бога нет, ...не надо, душа клеточка. Вот тебе мой сказ!

И быстро оглянулся кругом, ища одобрения, и Еремей строго и одобрительно подтвердил:

— Верно, Фома, садись, гость будешь.

Как-то подвернув ноги, Фома быстро сел наземь и неподвижно уставился на Сашу; но как бы ни тихо сидел он, что-то из него беспокойно лезло в стороны, отгоняло близко сидящих-глаза, что ли!

— Так чего же тебе надо, Фома?

— Я барыню зарезал.

— Какую барыню? За что?

— Не знаю, тау, тау!

Мужики закивали головами, некоторые засмеялись; усмехнулся и Фома. Послышались голоса:

— Чудак человек, да за что-нибудь же надо! Курицу, и ту, а ты барыню.

— Она, эта барыня, что-нибудь тебе сделала? Обидела?

— Не. Какая обида, я ее дотоль и не видал. А так и зарезал, жизнь свою, тау, тау, оправдать хотел. Жизнь, тау, тау, оправдать. С мальчонком.

Замолк нелепо; молчали и все. Слово сам воздух потяжелел и ночь потемнела; нехотя поднялся

Петруша и подбросил сучьев в огонь — затрещал сухой хворост, полез в клеточки огонь, и на верхушке сквозной и легкой кучи заболтался дымно-красный, острый язычок. Вдруг вспыхнуло, точно вздрогнуло, и засветился лист на деревьях, и стали лица без морщин и теней, и во всех глазах заблестело широко, как в стекле. Фома гавкнул и сказал:

— Поисть дали бы, братцы. Исть хоцца.

Жарко стало у костра, и Саша полулег в сторонке. Опять затренькала балалайка и поплыл тихий говор и смех. Дали поесть Фоме: с трудом сходясь и подчиняясь надобности, мяли и крошили хлеб в воду узловатые пальцы, и ложка ходила неровно, но лицо стало, как у всех — ест себе человек и слушает разговор. Кто поближе, загляделись на босые и огромные, изрубцованные ступни, и Фома Неверный сказал:

— Много хожу, тау, тау. Намеднись на склянку напоролся.

Евстигней подтвердил:

— Это бывает. Работали мы мальчишкой на стеклянном заводе, так по битому стеклу босой ходил. Как мастеру форма не понравится, так хрясь об пол, а пол чугунный. Сперва резались, а потом и резаться перестало, крепче твоего сапога.

Петруша затренькал балалайкой, лениво болтая пальцами.

— Спой, Петруша.

— Нет, не хочется мне петь.

— Так сыграй, чего форсишь. А Фома попляшет!

Мужики засмеялись, и сам Фома охотно хмыкнул — словно подавился костью и выкашливает. Иван Гнедых оживился, сморщился смешливо и начал:

— Нет, погоди, что я на базаре-то слышал! Будто раскапывали это кладбище, что под горой, так что ж ты думаешь? — все покойники окарач стоят, на четвереньках, как медведи. И какие барины, так те в мундирах, а какие мужики и мещане, так те совсем голые, в чем мать родила, так голой задницей в небо и уставились. Ей-Богу, правда, провалиться мне на этом месте. Смехота!

Некоторые засмеялись, Еремей сказал:

— Врешь ты! И откуда в городе мужики?

«Интересно бы узнать, что теперь у нас в городе рассказывают?» — подумал тогда Колесников, привычно, вполслуха, ловя отрывки речей. И вдруг, как далекая сказка, фантастический вымысел, представился ему город, фонари, улицы с двумя рядами домов, газета; как странно спать, когда над головою крыша и не слышно ни ветра, ни дождя! И еще страннее и невероятнее, что и он когда-то так же спал. Взглянул Колесников в ту сторону, где красными черточками и пятнами намечался Погодин, и с тоскою представил себе его: лицо, фигуру, легкую и быструю поступь. Вчера заметил он, что шея у Саши грязная.

«Эх, того-этого!.. — подумал со вздохом Колесников и свирепо скосил глаз на тренькавшего Петрушу. — Еще запоет младенец!» Что-то зашевелилось, и всей своей дикой громадой встопорщился над сидящими Фома Неверный: тоже сокровище!

Шагнул через чьи-то ноги и озирается; как сучья лезут руки, и в волосах стоит солома... или это сами волосы так стоят? Гавкает.

— Да куда ты? — спрашивает кто-то тревожно. — Мамон набил, теперь спать ложись.

— Он постели ищет. Фома, постели ищешь?

— Вся тебе земля постеля, куда прешь? Взвизгнул, черт немазанный!

— А к атаману, тау, тау! К атаману. К Жегулеву, Александру Ивановичу, Жегулеву!

«Завтра же его прогоню, надо Андрею Ивановичу сказать», — решил Колесников и видит, что Саша уже встал и Фома закрывает и будто теснит его своей фигурой. Тревожно шагнул ближе Колесников.

— Еще чего? — спрашивает Жегулев. — Спать иди, завтра скажешь.

Фома затурчал:

— Поел я, а за хлеб-соль не благодарю. Ничей он. Слыхал мой сказ?

И оглянулся кругом, ища одобрения, но все молчали. Саша ответил:

— Слыхал.

— А теперь гляди! — С этими словами Фома быстро опустился на колени и стукнул землю лбом. Так же быстро встал и ждет.

— За что ты мне кланяешься, Фома?

Фома ответил:

— Я всем убивцам в землю кланяюсь, тау, тау. Хожу по Рассее и ищу убивца, как увижу, так и поклонюсь. Прими мой поклон и ты, Александр Иванович.

И ушел, как пришел, только его и видели, только его и знали. Дернул ершами, захрустел сучьями в лесу, как медведь, и пропал.

— Экая образина, черт его подери! Какую комедию развел, комедиант, — прогудел Колесников и неправдиво засмеялся. — Сумасшедший, таких на цепь сажать надо.

Но никто не откликнулся на смех и на слова никто не ответил. И что-то фальшивое вдруг пробежало по лицам и скосило глаза: почуял дух предательства Колесников и похолодал от страха и гнева. «Пленил комедиант!» — подумал он и свирепо топнул ногой:

— Ты что молчишь, Еремей: тебе говорю или нет, подлец!

Еремей, по-прежнему кося глаза, нехотя отозвался:

— Ну и сумасшедший!.. Чего орешь?

Услужливые голоса подхватили:

— Сумасшедший и есть! На ем и халат-то больничный, ей-Богу!

— Дать бы ему хорошего леща... Тоже, хлебца просит, а благодарить не хочет, хлеб, говорит, ничей.

— Поди-ка, сунься к нему, он тебе такого леща даст! Черт немазанный! И голова же у него, братцы; не голова, а омет. Смехота!

— То-то ты и посмеялся!

Андрей Иванович крикнул:

— Смирно! Тут вам не кабак.

Примолкли, посмеиваясь и подмигивая Андрею Ивановичу: ну-ка еще, матрос, гаркни, гаркни! Но чей-то голос явственно отчеканил:

— Какой кабак! Храм запрестольный! Всех разбойников собор!

Неласково засмеялись. И опять забалакала балалайка в ленивых руках Петруши, и зевал Еремей, истово крестя рот. Притаптывали костер, чтобы не наделать во сне пожара, и не торопясь укладывались на покой.

Кто приходил и кто ушел? Кто поклонился земно Сашке Жегулеву? Ушел Фома Неверный, и тишиной лесною уже покрылся его след.

10. Васька плясать хочет

На следующий день после смерти Петруши в становище проснулись поздно, за полдень. Было тихо и уныло, и день выпал такой же: жаркий, даже душный, но облачный и томительно-неподвижный-слепил рассеянный свет, и даже в лесу больно было смотреть на белое, сквозь сучья сплошь светящееся небо.

Благополучно вернувшийся Васька Соловей играл под березой с Митрофаном и Егоркой в три листика. Карты были старые, распухшие, меченые и насквозь известные всем игрокам, — поэтому каждый из игроков накрывал сдачу ладонью, а потом приближал к самому носу и, раздернув немного, по глазку догадывался о значении карты и вдумывался.

— Прошел.

— Двугривенный с нашей.

— С нашей тоже. Не форси!

— Полтинник под тебя; видал?

— А это видал: замирил, да под тебя... двугривенный?

— Ходи!

Колесников, помаявшись час или два и даже посидев возле игроков, подошел к Жегулеву и глухо, вдруг словно опустившимся басом, попросил:

— Можно мне, Саша, уйти с Андреем Иванычем? Нехорошо мне, того-этого, мутит.

— Конечно! Куда хочешь пойти?.. Осторожно только, Василий.

— Да пойду на то место, ну, на наше, — он понизил голос, покосившись на игроков. — Землянку копать будем. Тревожно что-то становится...

— Вчерашнее?

— Не столько оно, сколько, того-этого, вообще недоверие, — он понизил голос, — помнишь этого сумасшедшего, как он поклонился тебе? Пустяки, конечно, но мне Еремей тогда, того-этого, не понравился.

— Пустяки, Василий. Когда вернешься?

— Да завтра к полудню. Будь осторожен, Саша, не доверяй. За красавцем нашим, того-этого, поглядывай. Да... что-то еще хотел тебе сказать, ну да ладно! Помнишь, я леса-то боялся, что ассимилируюсь и прочее? Так у волка-то зубы оказались вставные. Смехота!

Еще в ту пору, когда безуспешно боролись с Гнедыми за дисциплину — матрос и Колесников настояли на том, чтобы в глуши леса, за Желтухинским болотом, соорудить для себя убежище и дорогу к нему скрыть даже от ближайших. Место тогда же было найдено, и о нем говорил теперь Колесников.

Ушли, и стало еще тише. Еремей еще не приходил, Жучок подсел к играющим, и Саша попробовал заснуть. И сразу уснул, едва коснулся подстилки, но уже через полчаса явилось во сне какое-то беспокойство, а за ним и пробуждение, — так и все время было: засыпал сразу как убитый, но ненадолго. И, проснувшись теперь и не меняя той позы, в которой спал, Жегулев начал думать о своей жизни.

Уже много раз со вчерашней ночи он вспоминал свое лицо, каким увидел его в помещичьем доме в зеркале: здесь у них не было осколочка, и это оказалось лишением даже для Колесникова, полушута утверждавшего, что вместе с электричеством он введет в деревне и зеркала «для самоанализа». Зеркало у Уваровых было большое, и сразу увидел себя Саша во весь рост: от высоких сапог, перетянутых под

коленом ремнем, до бледного лица и старой гимназической, летней без герба фуражки; и сразу понравилась эта полужнакомая фигура своей мужественностью. Лица он тогда не рассматривал, но твердо до случая запомнил и теперь, вызвав в памяти, внимательно и серьезно оценил каждую черту и свел их к целому — бледность и мука, холодная твердость камня, суровая отрешенность не только от прежнего, но и от самого себя. «Хорошее лицо, такое, как надо», — решил Жегулев и равнодушно перешел к другим образам своей жизни: к Колесникову, убитому Петруше, к матери, к тем, кого сам убил.

Так же холодно и серьезно, как и свое лицо, рассмотрел убитого телеграфиста, вчерашнего Поликарпа, отвратительную, истекающую кровью сальную тушу, и солдата без лица, в которого вчера бил с прицела, желая убить. Солдат свалился, наверное, убитый. Бесстрастно вставляли образы, как на экране, и вся теперешняя жизнь прошла вплоть до Петрушиной осиротевшей балалаечки, но странно! — не вызывали они ни боли, ни страдания, ни даже особого, казалось, интереса: плывет и меняется бесшумно, как перед пустой залой, в которой нет ни одного зрителя. Даже мать, о которой он думал долго, соображая, что она делает теперь, даже Женя Эгмонт, даже покойный отец: видится ясно, но не волнует и не открывает своего истинного смысла. А попробует размыслить и доискаться ускользающего смысла, — ничего не выходит: мысли коротки и тупы, ложатся плоско, как нож с вертящимся черенком. И прошлое хоть вспоминается, а будущее темно, неотзывчиво, совсем не мыслится и не гадается — даже не интересуется.

— Окаменел я! — равнодушно заключает Саша и, решив шелохнуться, с удовольствием закуривает папиросу.

И с удовольствием отмечает, что руки у него особенно тверды, не дрожат нимало, и что вкус табачного дыма четок и ясен, и что при каждом движении ощущается тяжелая сила. Тупая и покорная тяжелая сила, при которой словно совсем не нужны мысли. И то, что вчера он ощутил такой свирепый и беспощадный гнев, тоже есть страшная сила, и нужно двигаться с осторожностью: как бы не раздавить кого. Он — Сашка Жегулев.

Уже смеркается без заката — или был короток сумрачный закат и невидимо догорел за лесом. В отверстие двери заглядывает темная голова и осторожно покашливает, по удальской линии картуза — Васька Соловей.

— Что надо, Соловьев? — спросил Саша.

— Не спите, Александр Иванович? Поговорить бы надо, дело есть.

— Погоди, сейчас выйду. Еремей не приходил?

— Нет, да и не придет он нынче. Я тут погожу. Жегулев вышел и, глядя на темнеющее небо, потянулся до хруста в костях. Недалеко куковала кукушка; скоро совсем стемнеет, не видно станет неприятного неба, и наступит прекрасная ночь.

— Пойдем пройтись, Соловьев, дорогой расскажешь.

— Да мне всего два слова, позвольте здесь, — уклонился Соловьев и, показалось, бросил взгляд в ту сторону, где сидели под деревом его двое и маленький Кузька Жучок. Поглядел в ту же сторону и Жегулев и почему-то вспомнил слова Колесникова об осторожности. Не понравился ему и слишком льстивый голос Соловья.

— Говори, — сухо приказал он, спиной прислонившись к дереву и плохо в сумерках различая лицо.

Соловьев раза два перешагнул на месте и, точно выбрав, наконец, ногу, оперся на нее и заложил руку за спину, на сборы поддевки.

— Да я все об том, Александр Иванович, что надо бы вам отчитаться.

Жегулев не понял и удивился:

— Как отчитаться? Первый раз слышу.

— Первый-то оно первый, — сказал Соловей и вдруг усмехнулся оскорбительно и дерзко, — все думали, что сами догадаетесь. А нынче, вижу, опять Василь Василич с матросом ушел деньги прятать, неприятно это, шайке обидно.

Жегулев молчал.

— Деньги-то кровные! Конечно, что и говорить, за вами они не пропадут, как в банке, а все-таки пора бы... Кому и нужда, а кто... и погулять хочет. Вот вы вчера Поликарпа ни много ни мало как на тот свет отправили, а за что? Монастырь какой-то завели... не понимай я вашей хитрости, давно б ушел, человек я вольный и способный.

— Хитрости?

— Можно и другое слово, это как вам понравится.

— Подлости?

— Почему же подлости? Я, Александр Иванович, таких слов не признаю: вы человек умный, да и мы не без ума. Мы уж и то посмеиваемся на мужиков, как вы их обошли, ну, да и то сказать — не всех же и мужиков! Так-то, Александр Иванович, — отчитаться бы миром, а что касается дальнейшего, так мы вас не выдадим: монастырь так монастырь! Потом отгуляем!

Соловьев засмеялся и молодецкато переставил ногу и сплюнул: в ответе он был уверен. И вздрогнул, как под кнутом, когда Жегулев тихо сказал:

— Денег у меня нет.

— Нет?! А где же они?

— Роздал. Выбросил.

— Выбросил?

Соловей задохнулся от ярости и, сразу охрипши, обрываясь, забился в бессознательных выкриках:

— Эй, Сашка, остерегись! Эй, Сашка, тебе говорю!

Жегулев зажал в кармане браунинг и подумал, охваченный тем великим гневом, который, не вмещаясь ни в крик, ни в слова, кажется похожим на мертвое спокойствие:

«Нет, убить мало. Завтра придут наши, и я его повешу на этой березе, да при всем народе. Только бы не ушел».

— Потихе, Соловьев. Будешь кричать, убью, а так, может, и сговоримся.

— Кто кого! — кричал Соловей. — Нас трое, а ты один! Сволочь!

Но крикнул еще раз и смолк недоверчиво:

— Отчитывайся, жулик.

— Деньги у Василя.

— Врешь, подлец!

— Ей-Богу, я тебя пристрелю, Соловьев.

Было несколько мгновений молчания, в котором витала смерть. Соловьев вспомнил вчерашние рожи мужиков на аршинных шеях и угрюмо, сдаваясь, проворчал:

— Убивать-то ты мастер; такого поискать.

— Папироску хочешь?

— Свои есть.

Помолчали.

— А ты когда догадался, что я хитрю?

— Да тогда же и догадался, когда увидел, — угрюмо и все еще недоверчиво ответил Соловьев, — сразу видно.

Саша засмеялся, думал: «завтра повешу!» — и слукавил несколько наивно, по-гимназически:

— Ну и врешь, Васька: мужики-то до сих пор не догадались!

— Какие не догадались, а какие...

«Или сейчас убить?»

— А какие?.. И все ты, Васька, врешь. Жаден ты, Васька!

— А ты нет? Я в Румынию уйду. Разбойничий век короток, сам знаешь, до зимы дотяну, а там и айда.

Сам же думал: «Хитрит барин, ни копейки не отдаст, своего дружка ждет. Эх, плакали наши сиротские денежки!»

— А совесть, Вася? — тихо засмеялся Жегулев, и даже Соловей неохотно ухмыльнулся, — Совесть-то как же?

— Ты барин, генеральский сын, а и то у тебя совести нет, а откуда ж у меня? Мне совесть-то, может, дороже, чем попу, а где ее взять, какая она из себя? Бывало, подумаю:

«Эх, Васька, ну и бессовестный же ты человек!» А потом погляжу на людей, и даже смешно станет, рот кривит. Все сволочь, Сашка, и ты, и я. За что вчера ты Поликарпа убил? Бабьей... пожалел, а человека не пожалел? Эх, Сашенька, генеральский ты сынок, был ты белоручкой, а стал ты резником, мясник как есть. А все хитришь... сволочь!

— Ты опять?

Соловьев отошел на несколько шагов и через плечо угрожающе бросил:

— Завтра отчитываться... сволочь!

И, презрительно подставляя спину, точно ничего не боясь, неторопливо пошел к своим. Заговорили что-то, но за дальностью не слышно было, и только раз отчетливо прозвучало: сволочь! А потом смех. Отделился Кузька Жучок, подошел сюда и смущенно, не глядя Жегулеву в глаза, спросил:

— Костер-то надо или нет?

— Нет.

— А Соловей приказывает, что надо, — и все так же смущенно и не глядя, заскреб руками по земле, сбирая остатки хвороста, — я разожгу. Пусть погорит.

В той стороне бестолково и нескладно в неумелых руках задребезжала балалайка. Жегулев спросил:

— Это что?

— Васька плясать хочет. Петрушина балалаечка. Ушел бы ты куда, Александр Иванович, — раньше он говорил «вы», — у Митрофана две бутылки с водкой.

— Ты пил?

— Я непьющий. Обыск у тебя хочут сделать, не верю, что деньги у Василия.

— А ты веришь?

Жучок поднял на него свое маленькое покорное лицо и, вздохнув, ответил:

— Мне ваши деньги не нужны.

Уходя на свое место на крутогоре, Жегулев еще раз услышал смех и протяжный выкрик: сво-о-лочь! А вскоре за сеткою листьев и ветвей покраснелся огненный, на расстоянии неподвижный глаз, и вверху над деревьями встал дымный клуб. Не ложились и безобразничали, орали песни пьяными голосами.

Саша еще не знал, какой ужас брошен в его душу и зреет там, и думал, что он только оскорблен: только это и чувствовалось, — другое и чувствоваться не могло, пока продолжались под боком пьяный гомон, наглые выкрики, безобразные песни, притворные в своем разгуле, только и имеющие целью, чтоб еще больше, еще въедчивее оскорбить его. «Только бы дожждаться утра и повесить!» — думал он гневно, не имея силы не слышать; и с одной этой мыслью, не отклоняясь, загораживая путь всему, что не эта мысль, проводил час за часом. Но не двигалась ночь, остановилась, темная, как и мысль. Интересно, что бы подумал и сказал отец-генерал, если бы слышал, как его сыну нагло и безнаказанно кричали: сволочь! «Ах, только бы дожждаться утра и повесить!»

Но не двигалась ночь, и один был, не было возле руки. Раз зашуршало в кустах, и тихий, испуганный голос Жучка окликнул:

— Александр Иванович! Александр Иванович, где вы? Я их боюсь.

Ответа не было, и, закрыв на мгновение красный глаз огня, Жучок ушел. И опять потянулась нескончаемая ночь; наконец-то замерзжил нерешительный, нескончаемо-долгий рассвет. Костер едва дымился, и стихли песни: должно быть, ложатся спать. Но вдруг шарахнуло в ветвях над головой и прозвучал выстрел — что это? Жегулев приложил холодное гладкое ложе к щеке и тщетно искал живого и движущегося. Тихо и немо, и в тишине, возвращаясь из мрака и небытия, медленно выявляются стволы деревьев, торчком стоящая трава. Неужели ушли?

Почти бегом побежал к потухшему костру: пусто. Зазвенели под сапогом склянки от разбитой бутылки; везде кругом белеют снежно разорванные, смятые страницы с мистерами и мистрис. Заглянул в шалаш: разворочено, разграблено — а на подстилке, у самого изголовья, кто-то нагадил. Либо с ними, либо от страху сбежал Жучок и где-нибудь прячется.

Один.

И тут только, избавившись от плена единственной и чуждой мысли, Саша почувствовал ужас и понял впервые, что такое ужас. Закружился, как подстреленный, и громко забормотал:

— Воры! Что же это такое? Воры, воры, ушли... Га-а-ды!

И встало перед глазами лицо вчерашней Глаши и ее полное отвращения, стонущее:

— Га-а-ды! Сашки Жегулевы!

Захотелось пить так, словно только в этом был весь смысл и разгадка настоящего. Но бочонок опрокинут, видимо, нарочно, кувшин также разбит. Догадавшись, полез с кручи к еле бежавшему ручью и только внизу почувствовал неловкость в пустых руках и вспомнил о маузере — куда его бросил? Но когда напился и намочил лицо и волосы, стал соображать и долго смотрел на крутой, поросший склон, по которому сейчас то полз он, то катился, ударяясь о стволы. Нашупал, не глядя, разорванную ткань на колене, а под ней тихо ноющую ссадину. Что это за ручей — был он здесь когда-нибудь?

Еще много часов оставалось до прихода Колесникова, и за эти часы пережил Саша ужаснейшее — даже самое ужасное, сказал бы он, если бы не была так бездонно-неисчерпаема кошница человеческого страдания. Все еще мальчик, несмотря на пролитую кровь и на свой грозный вид и имя, узнал он впервые то мучительнейшее горе благородной души, когда не понимается чистое и несправедливо подозревается благородное. Справедлива совесть, укоряя: он пролил кровь невинных; справедлива будет и смерть, когда придет: он сам разбудил ее и вызвал из мрака; но как же можно думать, что он, Саша, бескорыстнейший, страдающий, отдавший все — хитрит и прячет деньги и кого-то обманывает! Чего же тогда нельзя подумать про человека? И чего же стоит тогда человек — и все люди — и вся жизнь — и вся правда — и его жертва!

Жить рядом и видеть ежедневно лицо, глаза, жать руку и ласково улыбаться; слышать голос, слова, заглядывать в самую душу — и вдруг так просто сказать, что он лжет и обманывает кого-то! И это думать давно, с самого начала, все время — и говорить «так точно», и жать руку, и ничем не обнаруживать своих подлых подозрений. Но, может быть, он и показывал видом, намеками, а Саша не заметил... Что такое сказал вчера Колесников об Еремее, который ему не понравился?

О, ужас! Кто скажет, что все они не думают так же, но молчат и ждут чего-то, а потом придут и скажут: вор! Мать... а она знает наверное? А Женя Эгмонт?..

На мгновение замирает мысль, дойдя до того страшного для себя предела, за которым она превращается в голое и ненужное безумие. И начинает снизу, оживает в менее. страшном и разъяряется постепенно и грозно — до нового обрыва.

...А те бесчисленные, не имеющие лица, которые где-то там шумят, разговаривают, судят и вечно подозревают? И если уж тот, кто видел близко, может так страшно заподозрить, то эти осудят без колебаний и, осудив, никогда не узнают правды, и возьмут от него только то гнусное, что придумают сами, а чистое его, а благородное его... да есть ли оно, благородное и чистое? Может быть, и действительно — он вор, обманчик, гад?

Останавливается мысль. Спокойно, как во сне, Саша закуривает папиросу и громко, разговорно, произносит:

— Сегодня опять будет облачно.

О том, что он произнес эту фразу, он никогда не узнал. Но где же недавняя гордая и холодная каменность и сила? — ушла навсегда. Руки дрожат и ходят, как у больного; в черные круги завалились глаза и бегают тревожно, и губы улыбаются виновато и жалко. Хотелось бы спрятаться так, чтобы не нашли, — где тут можно спрятаться? Везде сквозь листья проникает свет, и как ночью нет светлого, так днем нет темного нигде. Все светится и лезет в глаза-и ужасно зелены листья. Если побежать, то и день побежит вместе...

Ах? Кто-то идет.

Все ближе и ближе подходит странный Еремей. Почему-то улыбается и почему-то говорит:

— Здравствуй, Александр Иванович.

И повторяет:

— Здравствуй, Александр Иванович.

Но уже заметил, по-видимому, в каком состоянии Саша, хотя и не совсем понимает: остановился и смотрит жалостливо, с участием... или это кажется Саше, а на самом деле тоже думает, что он вор и попался? Саша улыбается, чистит испачканный бок и говорит, немного кривя губами:

— Ах, это ты, Еремей. А я тут... бок испачкал. Показалось мне...

— Сашенька!

Это он сказал: Сашенька... Кто же он, который верит теперь — лучший человек на земле или сам Бог? И так зелены листья, вернувшиеся к свету, и так непонятно страшна жизнь, и негде укрыться бедной голове!

В бреду Саша. Вскрикнув, он бросается к Еремею, падает на колени и прячет голову в полах армяка: словно все дело в том, чтобы спрятать ее как можно глубже; охватывает руками колени и все глубже зарывает в темноту дрожащую голову, ворочает ею, как тупым сверлом. И в густом запахе Еремея чувствует осторожное к волосам прикосновение руки и слышит слова:

— Сашенька, миленький... Головушка ты кудрявенькая, душенька ты одиноченькая. Испужался, Сашенька?

Васька Соловьев, назвавшись Жегулевым, собрал свою шайку и вплотную занялся грабежом, проявляя дикую и зверскую жестокость. Одновременно с ним появился и другой, никому неведомый самозванец, плетшийся в хвосте обеих шайк и всех сбивавший со следа.

11. Елена Петровна

Елену Петровну вызвал к себе губернатор, назначив время вечером в неприятный час.

Задолго до назначенного времени послали за Извозчиком — поблизости от Погодиных и биржи не было — и наняли его туда и обратно. Линочка помогла матери одеться и со всех сторон оглядела черное шелковое, на днях сшитое платье, и они остались довольны: платье было просто и строго. Вынули драгоценности; на отвыкших похудевших пальцах покраснелись и засверкали камешки; густая брильянтовая брошь, тяжелая от камня, долго с непривычки чувствовалась выпершими старческими ключицами сквозь тонкий шелк. На левой стороне груди Елена Петровна приколола, как жетон, маленькие, давно не идущие часики на короткой бантиком цепочке и уж больше ничего не могла надеть, так как все остальное годилось только для декольте и пышной молодой прически. Надевая же, о каждой вещице рассказала Линочке давно известную историю.

Готова Елена Петровна была за целый час, но на извозчика села с таким расчетом, чтобы опоздать на десять минут; и эти добровольные, искусственные десять минут показались обоим самыми долгими, губернатор же о них даже и не догадался.

— А очки? — спохватилась Линочка уже в передней и незаметно смахнула с глаз слезу. — А очки-то и забыла, старушечка.

Очки, действительно, забыла Елена Петровна, только недавно стала носить и еще не привыкла к ним, постоянно теряла. Наконец нашлись и очки, и уже поспешно сели обе, поправляясь на ходу: Линочка должна была ждать Елену Петровну на извозчике. Смеркалось и было малоллюдно; пока ехали по своей улице и через пустынный базар, сильно пылили колеса, а потом трескуче, по-провинциальному, запрыгали по неровному камню мостовой. Мелькнул справа пролет на Банную гору и скрытую под горой реку, потом долго ехали по Московской улице, и на тротуарах было оживление, шаркали ногами, мелькали белые женские платья и летние фуражки: шли на музыку в городской сад.

— Так смотри же, мамочка! — неопределенно попросила Лина, помогая матери слезть. — Я тебя жду.

В пустом кабинете губернатора, куда прямо провели Елену Петровну, стояла уже ночь: были наглухо задернуты толстые на окнах портьеры, и сразу даже не догадаться было, где окна; на столе горела единственная под медным козырьком неяркая лампа. Глухо, как за стеной, прогремит извозчик, и тихо. Но внутри, за дверью, шла жизнь: говорили многие голоса, кто-то сдержанно смеялся, тонко звякали стаканы — по-видимому, только что кончался поздний, по-столичному, губернаторский обед. Не торопясь, дрожащими руками Елена Петровна открыла футляр с золотыми очками и осмотрела комнату, но ничего не увидела в темноте. Мебель и какие-то картины.

Внезапно распахнулась дверь, и быстрыми шагами вошел Телепнев, губернатор. Елена Петровна медленно привстала, но он, пожимая тонкую руку, поспешно усадил ее.

— Прошу вас, прошу вас, Елена?..

— Елена Петровна.

От Телепнева сильно пахло вином, толстая шея над тугим воротником кителя краснела, как обваренная кипятком, и лицо с седыми подстриженными усами было вздуто и апоплексически красно. На несвежем, зеленовато-желтом кители пристал пепел от сигары, и вообще что-то несвежее, равнодушное к себе было во всем его генеральском облике. Говорил он громко и очень быстро, округляя губы и недоговоренные слова заменяя пожатием плеч под погонами или наивным вздергиванием бровей; легко с виду становился свирепым, но не страшным. Много кашлял и после каждого припадка кашля мучительно

краснел, и в глазах появлялось выражение испуга и беспомощности.

— Вам угодно было пригласить меня...

— Да, да! Бога ради, простите, Елена Петровна, что... Но мое положение хуже губернаторского!

Он засмеялся, но не встретил ответа и подумал: «Какая икона, не люблю с такими разговаривать!» И, внезапно рассвирепев, двигая погонами и бровями, торопливо заговорил:

— Я шучу, Елена Петровна, но!.. Только из уважения к памяти вашего супруга, моего дорогого и славного товарища, я иду, так сказать, на нарушение моего служебного долга. Да-с!

И строго добавил, поднимая брови и толстый палец:

— Он был святой человек! Мы все, его однокашники, чтим его память, как!.. Скажу без преувеличения: доживи он до сегодняшнего дня — да-с! — и он был бы министром, и, смею думать, дела шли бы иначе! Но!..

Он развел руками и вздохнул:

— Честнейший человек, и жаль, что... Вы мне разрешите курить, Елена Петровна? Только табаком и живу.

— Пожалуйста, вы у себя дома, — сухо ответила Елена Петровна, а про себя подумала: «невежа!».

— Да-с, нарушение долга, но что поделаешь? Ужасные времена, ужасные времена! Искренно страдаю, искренно боюсь, поверьте, нанести жестокий удар вашему материнскому сердцу... Но не прикажете ли воды, Елена Петровна?

Елена Петровна слабо ответила:

— Благодарю вас, не надо.

Телепнев болезненно сморщился и, понизив голос, сказал:

— Искренно страдаю, но, Боже мой!.. Вам известно... но нет, откуда же вам знать? Вам известно, что этот... знаменитый разбойник, о котором кричат газеты — Сашка Жегулев! — при перечислении он с каждым словом свирепел и говорил все громче. — Сашка Жегулев есть не кто иной, как сын ваш, Александр?

До этой минуты Елена Петровна только догадывалась, но не позволяла себе ни думать дальше, ни утверждать; до этой минуты она все еще оставалась Еленой Петровной, по-прежнему представляла мир и по-прежнему, когда становилось слишком уж тяжело и страшно, молилась Богу и просила его простить Сашу. До этой минуты ей казалось, и это было чуть ли не самое мучительное, что она умрет от: стыда и горя, если ее страшные подозрения подтвердятся и кто-нибудь громко скажет: твой сын Саша — разбойник. А с этой минуты весь мир перевернулся, как детский мяч, и все стало другое, и все понялось по-другому, и разум стал иной, и совесть сделалась другая; и неслышно ушла из жизни Елена Петровна, и осталась на месте ее — вечная мать. Что это за сила, что в одно мгновение может сдвинуть мир? Но он сдвинулся, и произошло это так неслышно, что не услышали ничего ни Телепнев, ни сама Елена Петровна. Просто: на миг что-то упало и потемнело в глазах, а потом стало совершенно так же, как всегда, и была только тихая радость, что Сашенька жив. И еще, вскользь, определилась и мелькнула мысль, что надо будет сегодня, когда вернется домой, помолиться сыну Сашеньке.

Губернатор, чтобы дать оправиться, нагнул и с притворным гневом фыркал над какими-то бумагами, но все большее становилось молчание.

— Вы молчите, Елена Петровна?

Она шевельнулась в полумраке, хрустнув шелком, мысленно пригладила волосы и с достоинством ответила:

— Благодарю вас, генерал, за любезность.

«Какая любезность?» — с недоумением подумал Телепнев, но все же обрадовался, что миновало, и так благополучно. Но ведь еще не все! И снова бурно застрадал:

— Ужасные времена, что делается! Но, дорогая Елена Петровна, это еще не все, что я имею доложить, и только в память дорогого Николая Евгеньевича... Ваш Саша, насколько мне известно, хороший мальчик и...

— Да, Сашенька хороший мальчик. Я вас слушаю, генерал.

— Хороший мальчик! — повторил Телепнев и в ужасе поднял обе руки. — Нет, подумать только, подумать только! Хороший мальчик — и вдруг разбой, гр-р-рабительство, неповинная кровь! Ну пойдешь там с бомбой или этим... браунингом, ну это делается, и как ни мерзко, но!.. Ничего не понимаю, ничего не понимаю, уважаемая, стою, как последний дурак, и!..

Уже не думая о посетительнице, болея своей болью, он отбросил кресло и заходил по комнате, кричал и жаловался, как с женою в спальне, и было страшно за его красное, вздутое лицо:

— Говорят: зачем вешаешь, зачем вешаешь? Эта дура барабанная, болонка африканская тоже: у тебя, Пьер, руки в крови, а? Виноват... здесь интимное, но!.. Да у меня, милостивые государи и всякие господа, голова поседела за восемь месяцев, только и думаю, чтобы сдохнуть, одна надежда на кондрашку! Да у меня, милостивые государи, у самого дети...

Он остановился и кулаком гулко ударил себя в грудь:

— Дети! А что будет с ними завтра, я знаю? Нет: я знаю, что будет с ними завтра?

Елена Петровна что-то вспомнила из далекого прошлого и неуверенно спросила:

— Кажется, Петя? — думая, — «ровесник моему Сашеньке».

Телепнев свирепо ответил:

— Да-с, Петя! Именно Петя! Каждый день просыпаюсь и жду, что... Вчера приходит этот адвокат, плачет, старая каналья — виноват! — похлопочите, Петр Семенович, у вас связи, завтра моего, как его... Сашу, Петю, вешают! Ве-е-шают? Ну и пусть вешают. Пусть, пусть, пусть!

Что-то еще хотел крикнуть, но обиженно замолчал. Вынул одну папиросу, — сломал и бросил в угол, вынул вторую и с яростью затянулся, не рассчитав кашля: кашлял долго и страшно, и, когда сел на свое кресло у стола, лицо его было синее, и красные глаза смотрели с испугом и тоской. Проговорил:

— Да-с!

Помолчали.

— Так вот, Елена Петровна, — заговорил Телепнев устало и тихо, — дело в следующем. Этот ваш хороший мальчик... ведь он хороший мальчик! — наверное, захочет повидать вас, да, да, конечно, как-нибудь воровски, ну там через забор или в окно... Так вот, Елена Петровна, — он многозначительно понизил голос, — за вашей квартирой установлено наблюдение, и его схватят. Уезжайте.

Елена Петровна тяжело дышала, хватаясь за грудь, где приколоты были часики. Покачивалась взад и вперед, и тугий шелк поскрипывал.

— Елена Петровна!..

— Се... Сейчас.

Дыхание стало не так шумно.

— Конечно, надо бы предупредить, но... Надеюсь, впрочем, вы не имеете сношений с преступником, негодяем, иначе!..

— Сейчас.

— Уезжайте, Елена Петровна, совсем из города, совсем.

— Нет, я не уеду.

— Что-с? Впрочем, воля ваша. Не смею настаивать... но подумайте же, сударыня, подумайте! Или вы хотите?..

— Я перемену квартиру. Он не узнает. Сашенька, придешь ты, а мать-то твоя убежала, убежала мать, мать-то.

Откровенно, по-старушечьи, она подставила глазам губернатора свое искаженное слезами лицо и, смотря на него, как на Сашеньку, повторяла, покачивая головой:

— А мать-то убежала... убежала.

Телепнев оперся головой на руки, оставив на виду только морщинистый, бритый, дрожащий подбородок, и молчал. Глухо, как за стеной, прогремывал извозчик. Тишина стояла в губернаторском доме, было много ненужных комнат, и все молчали, как и эта.

Елена Петровна вытерла под очками глаза, потом сняла очки и положила в футляр, вздыхая. Опустила футляр в сумочку и встала. Встал и Телепнев и приготовился к поклону. Но, к удивлению его, Елена Петровна посмотрела на него задумчиво и с достоинством, сухо и гордо, как генеральша, спросила:

— Я очень вам благодарна, Петр Семенович... но не ответите ли вы мне на мой женский вопрос: по какой вашей морали допустимо, чтобы подстерегали мальчика, идущего на свидание к матери?

Телепнев угрюмо и нетерпеливо повел погонями:

— Оставим это, Елена Петровна. Ваш вопрос, извините, действительно женский.

— Да? не спорю. Но по какой вашей мужской морали сын, идущий к матери, должен быть схвачен? Не должны ли вы все склониться и закрыть глаза, пока он проходит? А потом уж хватайте, там, где-нибудь, где хотите, я этого не знаю.

— Он не сын, а... преступник, злодей! Убийца!

— Вы думаете? Но, когда он идет к матери, он только сын. Сын не может быть убийца, опомнитесь, генерал!

Телепнев сердито притворился смеющимся:

— С такой логикой, сударыня... Все негодяи от кого-нибудь да родились же!..

— От отцов.

— Тогда черт — виноват! — возьми отцов. Но, позвольте! — это чепуха, вы сами виноваты, раз не даете детям вашим воспитания.

— Нет, это вы виноваты. Зачем заставляете нас рожать? чтобы потом их вешать?

— Чепуха! Бабья логика!

Они бранились, как старики, и никто бы не подумал, войдя со стороны, что он губернатор, а она

просительница, мать разбойника Сашки Жегулева. Телепнев, краснея, кричал:

— Честных людей мы не вешаем, а разбойников будем вешать всегда, сам Бог установил Страшный суд! Страшный суд — подумайте-ка, это вам не наша скорострелка, да-с!

Елена Петровна вдруг совсем тихо, почти шепотом сказала:

— Это неправда: Страшного суда нет.

Теперь уж не притворно, но еще сердитее засмеялся губернатор:

— Так-с, теперь и Страшный суд не надо! Для Сашеньки с Петенькой, может быть, и Бога не надо? Нет-с, ваш Сашенька зверь, и больше ничего! Вы читали, нет, вы читали, что этот самый Сашка Жегулев на днях помещика пытал, на огне, подлец, жег подошвы, допытывался денег. Это как вы назовете?

Елена Петровна села.

— А стрелочника с детьми кто зарезал? Я или вы? А... да что! Впрочем... Вам не дать воды? Ну, не надо воды... Эх, Николай Евгеньич, Николай Евгеньич, хорошо, друг, что не дожил ты до!.. Хороший мальчик... Нет, ничего не понимаю, хоть самого повесьте.

Елена Петровна встала и спокойно промолвила:

— Это не Саша сделал.

— Не спорю!

— А если Саша, то, значит, так надо, и это хорошо.

— Что-с?!

Шагнул даже вперед и — вдруг ему стало страшно. И даже не мыслями страшно, а почти физически, словно от опасности. Вдруг услышал мертвую тишину дома, ощутил холодной спиной темноту притаившихся углов; и мелькнула нелепая и от нелепости своей еще более страшная догадка:

«Сейчас она выстрелит!» Но она стояла спокойно, и проехал извозчик, и стало совестно за свой нелепый страх. Все-таки вздрогнул, когда Елена Петровна сказала:

— До свидания. Будьте добры, генерал, проводите меня, я не знаю дороги.

— Виноват! К вашим услугам.

У первой ступеньки на каменную лестницу, красневшую своей суконной дорожкой, он простился с Еленой Петровной и на мгновение, пожимая холодную, прозрачную старую руку, задумался в нерешимости: не поцеловать ли? Но мысленно махнул рукой и в отчаянии подумал: «Все равно! Эх, кондрашка бы поскорее!»

Линочка издали увидела, — ближе не позволили извозчику остановиться, — как вышла из стеклянной двери мать, поддерживаемая почтительно швейцаром, и долго копалась в сумочке, чтобы дать на чай. И когда села наконец мать и тронулся извозчик, Линочка взглянула на нее и, громко плача, спросила:

— Мамочка, ну что?

12. Пустые дни

В июле для Сашки Жегулева и его лесных братьев наступил неожиданный роздых.

Отяжелел хлебный колос — и земля, горько проклиная за бесплодие, ненавидимая за тесноту, вечно обманывающая земля властно потянула к себе: и ушла в труд, рассеялась по полям трудолюбиво взволнованная рать Гнедых, добровольных Жегулева приспешников. Прекратились поджоги и разгромы усадеб; выполз с жатвенной машиной осмелевший помещик, приказчик осипшим от молчания голосом закричал на баб — наступило перемирие. Васька Соловей со своими злодеями ушел в дальний, сплошь лесной уезд и там промышлял около железной дороги и почты, собираясь, по слухам, перекинуться на реку — по старому доброму разбойничьему обычаю. Из пребывания своего у Жегулева он вынес опыт, что без мужика долго не проживешь, а пожалуй, и страх перед мужиком, и для доброго имени совершил несколько нехитрых фокусов: в одном дружественном селе, на праздник, притворяясь пьяным, с разными чувствительными словами, щеголяя, выбросил толстый бумажник на драку; и по примеру воткинского Андрона добыл-таки волостного старшину и среди бела дня, под хохот мужиков, выдрал его розгами. Это действительно дало ему доброе имя. А так как жил он разгульно и весело и вся шайка купалась в вине, то шли к нему охотно, и вся голытьба, не сживавшаяся с Жегулевым, липла к нему, как мухи на падаль. И так возросла его сила, что грозился он при встрече перерезать горло самому Жегулеву, презрительно называл его барином и кричал об обмане и подлости.

Но на страдную пору притих и Соловей, а Жегулеву с его немногими коренными пришлось и совсем побездействовать; и уже казалось порою, что прежнее кончилось и больше не вернется. Словно в полузабытьи, теряли они счет пустым и скучным дням, похожим друг на друга, как листья с одного дерева; начались к тому же невыносимые даже в лесу жары и грозы, и во всей природе наступило то июльское бездействие и роздых, когда перестает видимо расти лист, остановились побеги, и лесная, редкая, никому не нужная трава словно тоскует о далекой острой косе. Что делали? Прятались от проливных с грозой дождей и выкопали землянку; одно время повадились мирно ломать грибы, но те скоро в жаре прошли; говорили о пустяках, местных мужицких делах, слушали рассказы о Ваське Соловье. Но не говорили ни о прошлом, ни о будущем. Да и вообще стали молчаливы, незаметно уподобляясь лесу, как-то научились ничего не делать, как не делает ничего ожидающий ездока извозчик, или — заряженный браунинг.

Колесников с неделю помучился от острого ревматизма ног и еще более пожелтел и высох; был ровно мрачен и минутами задумывался почти до столбняка. Чуть ли не большее, чем Сашу, поразила его история с Соловьевым, перепутала все его расчеты и соображения, загнала в какой-то дикий, сумасшедший тупик. То, что издали, в широком обхвате глаза, казалось понятным и достижимым, вблизи утеряло свой ясный смысл, разменялось на тысячу маленьких действий, разговоров, смутных настроений, частичных выкладок и соображений. Так с берега смотрит пловец на бушующее море и видит ясный порядок, в котором движутся валы, и соображает, как плыть; но вот он в воде — все изменилось, на месте порядка хаос, взамен закона — своеволие.

Не то страшно в Соловьеве, что он подлец, даже и не то, что он не поверил в ихнюю чистоту, а то — что действия его похожи и называется он также Сашка Жегулев. Так же отдает деньги бедным, — такая идет о нем молва, — так же наказывает угнетателей и мстит огнем, а есть он в то же время истинный разбойник, грабитель, дурной и скверный человек. Еще различают Сашек Жегулевых мужики, но, видимо, с каждым днем стираются границы и теряется понимание: уже похваливают иронически Соловья и с меньшим уважением относятся к Саше, говорят: твой-то Соловей!.. Зачем же тогда чистота, зачем бескорыстие и эти ужасные муки? — кто догадается о жертве, когда потерялся белый агнец в скопище хищных зверей и убойного скота, погибает под ножом безвестно!

— За что погубил я Сашу? Предатель я! — часто думает Колесников, но еще не решается признать своих мыслей за последнюю истину, колеблется, надеется, на лицах ищет ответа. Что же будет с ним, когда признает? — Об этом и гадать страшно.

Задумывается и Андрей Иванович. По-прежнему молчаливый, услужливый, скромный, словно совсем не имеющий своих радостей, своего горя и воспоминаний, порою он так удивленно оглядывался красиво-спокойными глазами, как будто искал что-то ненайденное; и, снова ничего не найдя, покорно отдавался ожиданию и темной воле других. Из всех троих он один сохранил чистоту одежды и тела: не говоря о Колесникове, даже Саша погрязнул и, кажется, не замечал этого, а матрос по-прежнему через день брил подбородок и маленькой щеточкой шмурыгал по платью; смешал порошу с салом, чтобы чернело, и смазывал сапоги. И было у него одно тайное мученье, нечто вызывавшее чувство нестерпимого стыда и чуть ли не отчаяния: это маленькая незаживающая рана на левой ноге, под коленом, у кости. Задела как-то шальная пуля, и показалось, что завтра заживет, а вместо этого прикинулось, въехало в кость, стало нехорошо пахнуть. Уходя в лес, он подолгу возился с гниющей раной и по-своему врачевал ее: поливал керосином, раз прижег даже порохом, но не помог и порох. При других он не купался, чтобы не увидели, и на ходу, выдерживая боль, старался не хромать. Главное, в чем стыд, — пахло нехорошо.

Считалось их в эту затишную пору всего семеро: они трое, Федот, никуда не пожелавший идти со своим кашлем, Кузька Жучок, Еремей и новый — кривой на один глаз, неумный и скучный парень, бывший заводской, по кличке Слепень. Еремей было ушел, потянувшись за всеми, но дня через три вернулся с проклятьями и матерной руганью.

— Да стану я ее тревожить? — кричал он презрительно про свою полосу, — да нехай она, как стояла, так и стоит до самого Господнего суда. Колоса тронуть не позволю, нет моей воли, пусть сам посмотрит, на чем Еремей сидит! Нет моего родительского благословения, три дня пил и еще три дня пить буду! — если деньжонок дадите, Александр Иваныч.

Но денег ему не дали, и он остался в лесу лежать.

— Ляжать буду! — заявил он угрюмо и лег на спину, чтобы виднее с неба было, что он именно лежит и ничего не делает. И как над ним ни смеялись, как ни ругал его матрос, — он замкнулся в презрительное молчание и лежал истово, с ненавистью, с тоскою, с бунтом. Мужички веруя в труд, он в этом состоянии нарочитого безделья самому себе казался ужасным, невероятным, более грешным и бунтующим, чем если бы каждый день резал по человеку или жег по экономии: резать — все-таки труд. Этого не понимал Колесников и ругательски ругался:

— Иди землянку копать, черт!

Снизу вверх пренебрежительно, даже без досады смотрел Еремей и кратко отвечал:

— Не пойду.

— Да для народа же, чучело, сам же под крышу лезешь, как дождь идет. Иди, того-этого.

— А... мне на твой народ.

— Ну и не пушу под крышу!

— Брешешь, Василь, пустишь.

Даже не улыбается, а говорит себе просто и с легким сожалением, нехотя беседует. Так и остался лежать, а в дождь забирался под крышу и иронически ухмылялся, — совсем рехнулся мужик.

Но точно и все лежали — бесконечно тянулось пустое и бездеятельное время. Раз невольготу стало и, подумав, отправились втроем в гости, в Каменку, к одному знакомцу, верному и хорошему человеку. Там

мирно пили чай с баранками и уже решили было заночевать, но воспротивился Колесников. Он вышел посмотреть, что делается на улице, и понравилось черное на западе небо, тревога туч, побелевшие в жутком ожидании ракиты. Днем под солнцем деревня с своими прогнившими соломенными крышами казалась черною, а теперь точно выбелили ее и вымели начисто, вылепили как игрушку из серой глины. Пройди человек, и он показался бы глиняным, но попряталось все живое.

— Идем, ребята, пречудесно! — сказал Колесников, сгибаясь в низенькой двери и внося с собою крепкий запах свежего перед дождем воздуха. — Душа радуется.

И от слов, и от радостного лица, а главное, от этого крепкого и вольного запаха, которым сразу зарядилось платье и борода Колесникова, — в избе стало душно и скучно, и показалось невозможным не только ночевать, а и час лишний провести. Весело заторопились.

— Замочит! — уговаривал знакомец, — а то и громом зашибет, на большаке беда, намедни три ракиты выжгло. Оставались бы, Александр Иванович, да и ты, матрос, пусть Василь один идет!

Посмеялись, но внезапное решение сложилось так твердо, как это, кажется, только и бывает с внезапными, да еще и причудливыми решениями; и уже через пять минут шагали между плетнями, пьяные от тяжелого и возбужденного запаха конопли; выбирались на большак.

— Ну и хорошо же! — повторял Колесников и как-то особенно на ходу выгибал колена, чувствуя в себе что-то лошадиное, способное к бесконечному ходу и резвости.

— А ведь время-то совсем раннее! — весело подтвердил матрос, пряча часы в замшевый футляр.

— Да ну? а сколько?

— Тридцать пять минут восьмого! — Да ну! А я думал, что девять, не меньше... Ночевать, нет уж, спасибо, того-этого. Хо-хо-хо!

Засмеялись; и все трое вспомнили почему-то кроткого Петрушу, но без обычной боли, а с тихим умилением и отпускающей жалостью. Вздохнули — и еще резвее заработали ногами.

— Саша! хорошо?

— Хорошо, Вася.

Радовало все: и то, что не идут по делу и не уходят от погони, а как бы гуляют свободно; и то, что нет посторонних, одни в дружбе и доверии и не чувствуют платья, как голые. После кривых и узких переулков, затемненных огорожей и деревьями, большак удивил шириною и светом, и щедрыми представились те люди, что могли так много места отвести под дорогу. Но и тут, как на деревне, все казалось выбеленным, вылепленным из серой глины и навеки в ожидании застывшим. Застыла как будто и грозная туча, в безветрии еле подвигаясь на своих невидимых крылах; забеспокоился Колесников:

— Да еще будет ли? Не прошло бы так!

— Будет! — уверенно ответил Саша, серый, как все кругом. — Ну и безлюдье же!

— Стой! подметка оборвалась, — крикнул Колесников сердито и запрыгал на одной ноге, стараясь оторвать закруглившуюся, тонкую, отставшую кожу. Хохотали, на него глядя, и Андрей Иванович сказал:

— Да вы садьте, Василь Василич... ну и чудак!

— А вы лучше ножик дайте, чем... Эх!

Колесников сел и, ругательски ругая сапоги, те самые, что были гордостью когда-то, отрезал вьющийся кончик и почувствовал удовольствие, как настоящий оператор: ловко!

Саша серьезно сказал:

— Надо новые, Василий, в случае беды бежать в этих...

— Хороши и эти, я их поправил. Ходу!

Быстро угасал свет, как под чьею-то рукою; и уже в полной темноте, чернильном мраке, разразилась запоздавшая медленная гроза и хлынул потоками проливной теплый дождь: пречудесно! Мгновенно налились водою колдобины и колеи, под ногами размокло, поползло, зашлепало, до нитки промокло платье, и щекотали лицо и губы крепкие струи — трубою гудел дождь, теплейший ливень. Зевали молнии, нагоняя одна другую, ветвясь дрожаще и тонко; ломаясь коленами — вверх и вниз, поспешая, катался гром, грохотал по лестнице, всю черную высь заполнил ревом. Если бы не молнии — не только не найти дороги, а и друг друга потеряли бы в плещущей темноте, изначальном хаосе. Колесников не то пел, не то так ревел от восторга, но при свете был виден только открытый рот, а в темноте только голос слышен: разделился надвое.

В промежутках темноты весело перекликались; долго стояли перед мостиком, никак не могли понять при коротких ослепляющих вспышках: вода ли это идет поверху, или блестят и маячат лужи. В темноте, пугая и веселя, редела вода; попробовал сунуться Колесников, но сразу влез по колена — хоть назад возвращайся!

— Пройдем, ничего! — возбужденно говорил матрос. — Перильца-то держатся!

— Снесет, того-этого, за ноги тащит!

— Идем!

Проскочили: шатались под ногами мостовины, и вода тащила коварно, сбивая под ножку, и упал-таки Колесников, поскользнувшись, но, по счастью, при выходе — только искупался.

Еще чудесный час шли они под грозою, а потом в тишине и покое прошли густо пахнущий лес, еще подышали сонной коноплею на задворках невидимой деревни и к двум часам ночи были в становище, в своей теплой и почти сухой землянке.

— Какое блаженство: культура! — гудел Колесников, укладываясь спать. — Тебе нравится, Сашук?

— Я еще прошелся бы.

— Можно простудиться. Но какой чудесный вечер!

И, когда Саша уже засыпал, вдруг запел несносным фальцетом, подражая знаменитому тенору:

— Привет тебе, приют невинный, привет тебе, приют... Было так глупо, что оба захохотали.

— Буде, того-этого. Спать!

13. Ярость

— Что? наработали? — злорадствовал, лежа, Еремей, с приятностью встречая возвращающихся, словно побитых мужиков, — ложись-ка, брат, да полежи, мне земли не жалко!

Обманула земля. Еще уборка не отошла, а уж повалил к Жегулеву народ, взамен надежд неся ярость и точно ослепший, ко всему равный и беспощадный гнев. Кончились дни затишья и ненужности. Многие из пришедших точно стыдились, что их удалось обмануть, избегали взгляда и степенничали, смягчая неудачу; но были и такие, что яростно богохульствовали, орали как на сходке, в чем-то попрекая друг друга:

— Я у тебя хлеба прошу, а ты мне что даешь? Ты мне что даешь, я тебя спрашиваю!

— Только и остается, что...

— Нет, ты мне ответь: я у тебя чего прошу?..

Колыхнулось первое после затишья зарево, и вновь закружил огонь, страшный и послушный бог бездельного человечества. И если раньше что-то разбиралось, одного жгли, а другого нет, держали какой-то свой порядок, намекающий на справедливость, то теперь в ярости обманутых надежд палили все без разбора, без вины и невинности; подняться к небу и взглянуть — словно сотни и тысячи костров огромных раскинулись по темному лону русской земли. И если раньше казалось Жегулеву, что он чем-то управляет, то теперь, подхваченный волной, он стремительно и слепо неся в огненную темноту — то ли на берег, то ли в пучину.

Вначале даже радостно было: зашумел в становище народ, явилось дело и забота, время побежало бездумно и быстро, но уже вскоре закружилась по-пьяному голова, стало дико, почти безумно. Жгли, убивали — кого, за что? Опять кого-то жгли и убивали: и уже отказывалась память принимать новые образы убитых, насытилась, жила старыми.

Разбивали винные лавки, и мужики опивались до смерти; и все пили, и появилась в стану водка, и всегда кто-нибудь валялся пьяный и безобразный; только характером да отвращением к памяти пьяного отца удержался Саша от соблазнительного хмеля, порою более необходимого, чем дыхание. Удержался и Колесников, но Андрей Иванович был два раза пьян, в хмелю оказался несносным задирой и подрался, и несколько дней, умирая от стыда, ходил с синяками и опухлостями на чисто выбритом лице. После этого, впрочем, он больше не пил. Опился и сгорел на пожаре Иван Гнедых, шутник, то ли мертвый уже, то ли крепко до самой смерти уснувший.

Что-то дикое произошло при встрече с Васькой Соловьевым. В яростном и безумном, что теперь творилось, Соловьев плавал, как рыба в воде, и шайка его росла не по дням, а по часам. Ушли к нему от Жегулева многие аграрники, недовольные мягкостью и тем, что ничего Жегулев не обещал; набежали из города какие-то темные революционеры, появились женщины. Раз при нападении на поезд, вообще кончившемся неудачей, Ваське удалось щегольнуть бомбами — доставил кто-то из городских: и многие пленились его удалью. Точно колеблясь, он именовал себя то Жегулевым, то по-настоящему с некоторой робостью заявлял, что он Васька Соловьев, и вновь прятался за чужое, все еще завидное имя. Вообще же чувствовал себя великолепно, жил как в завоеванной земле и в пьяном виде требовал от мужиков, чтобы приводили девок. Непослушных таскал за бороды — осмелел. Через Митрофана-Не пори горячку завел сношения с полицией, говоря великодушно: всем хватит! И сознавал себя благодетелем, о чем, пьяный, заявлял со слезами.

Встретились обе шайки случайно, при разгроме одной и той же винной лавки, и, вместо того чтобы вступить в пререкания и борьбу, побратались за бутылкой. А обоих атаманов, стоявших начеку с небрежно

опущенными маузерами, пьяные мужики, суя в руки бутылки с отбитыми горлышками, толкали друг к другу и убеждали помириться. И Васька, также пьяный, вдруг прослезился и отдал маузер Митрофану, говоря слезливо:

— Господи, да разве я что! Я понимаю. Александр Иванович так Александр Иванович!

Он был уже не в черной, а в синей поддевке с серебряными цыганскими круглыми пуговицами и уже вытирал рот для поцелуя, когда вдруг вскипевший Колесников кинулся вперед и ударом кулака сбил его с ног. На земле Васька сразу позабыл, где он и что с ним, и показалось ему, что за ним гонятся казаки, — пьяно плача и крича от страха, на четвереньках пополз в толпу. И мужики смеялись, поддавая жару, и уступками толкали его в зад — тем и кончилось столкновение.

— Успокойся, Саша! Тебе говорю, успокойся! — глухо говорил Колесников, своей широкой ладонью закрывая дуло маузера и сам весь дрожа от гнева. — Я... я его ударил, с него довольно, успокойся, Саша!

— Он без оружия. Но если он еще...

— Нет, нет, успокойся, его убрали.

Странно во всех делах вел себя Еремей: созерцателем. Всюду таскался за шайкой, ничему не мешал, но и не содействовал; и даже напивался как-то снисходительно. Но в одном он всех опережал: смотрел, позевывал — и, не ожидая приказа, рискуя поджечь своих, тащил коробок со спичками и запаливал; и запаливал деловито, с умом и расчетом, раньше приняв широкую ладонь к ветру. Если был поблизости народ, то и пошучивал.

И захваченные волной, ослепшие в дыму пожаров, не замечали они, ни Саша, ни Колесников, того, что уже виделось ясно, отовсюду выпирало своими острыми краями: в себе самой истощалась явно народная ярость, лишенная надежд и смысла, дотла, вместе с пожарами, выгорала душа, и мертвый пепел, серый и холодный, мертво глядел из глаз, над которыми еще круглились яростные брови. И не видели они того, что уже других путей ищет народная совесть, для которой все эти ужасы были только мгновением, — ищет других путей и готовит проклятие на голову тех, кто сделал свое страшное дело.

Жертва уже принесена. А принята ли? — тому судьей будет сам народ.

14. В лесу

Кто-то выдал Сашку Жегулева.

Вечером он, Колесников и матрос были опять в гостях в Каменке, у своего знакомого, а на обратном пути попали под выстрелы стражников, притаившихся в засаде. Спасла их только темнота да лес. Но Колесников был смертельно ранен: пуля прошла под правой лопаткой и остановилась по другую сторону, под ребрами. Саша и матрос решили лучше самим погибнуть, но Василия не оставлять, и в темноте под слепыми пулями поволокли его, часто останавливаясь в изнеможении. Тяжел был Колесников, как мертвый, и Саша, державший его под мышки и чувствующий на левой руке свинцовую, безвольно болтающуюся голову, перестал понимать, живого они несут или мертвого. Сомневался и Андрей Иванович, но говорить некогда было.

В версте от дороги совсем остановились, и Андрей Иванович сказал:

— Не могу больше! Положим.

Положили на землю тяжелое тело и замолчали, прислушиваясь назад, но ничего не могли понять сквозь шумное дыхание. Наконец услышали тишину и ощутили всем телом, не только глазами, глухую, подвальную темноту леса, в которой даже своей руки не видно было. С вечера ходили по небу дождевые тучи, и ни единая звездочка не указывала выси: все одинаково черно и ровно.

— Как бы дождь не пошел, — сказал Саша, прислушиваясь.

— Лучше будет, следы закроет. Мне все лицо ветками исцарапало, чуть глаз не выколол. Беда, Александр Иванович!

— Беда. Как же мы теперь? Как вы думаете: он опасно?

Саша хотел сказать другое, но слишком страшно и больно было выговорить. И, думая то же, что и Саша, матрос сказал:

— Надо посмотреть.

— Молчит.

— Это ничего. Эх!

— Что вы?

— Фонарик потерял, должно, веткой с пояса сорвало. Такая темень! Попробую со спичкой... Василь Василич!

— Молчит. Вася!

— И не стонет! — вдруг испугался матрос. — Уж не помер ли, Господи помилуй!

Наконец отлегло от сердца: Колесников дышал, был без памяти, но жив; и крови вышло мало, а теперь и совсем не шла. И когда переворачивали его, застонал и что-то как будто промолвил, но слов не разобрали. Опять замолчал. И тут после короткой радости наступили отчаяние: куда идти в этой темноте?

— Ничего не понимаю! — говорит Саша, безнадежно ворочая головой, — я теперь и назад дороги не найду. Откуда мы пришли?

— Беда! До дому нам далеко, надо к леснику: до него версты четыре, а то и меньше.

— К леснику! А как его найти? — ничего не вижу; ничего не понимаю.

Оба замолчали в отчаянии и, не видя друг друга, безнадежно ворочали головами. Матрос сказал:

— А вы так попробуйте, Александр Иванович: ляжьте наземь и молчите, ничего про дорогу не думайте, она себя покажет.

Попробовал Саша и так и как будто нашел: в смутных образах движения явилось желание идти-и это желание и есть сама дорога. Нужно только не терять желания, держаться за него крепко.

Пошли. Набрав в легкие воздуха, подняли молчащее тяжелое тело и двинулись в том же порядке: Андрей Иванович, менее сильный, нес ноги и продирался сквозь чащу, Саша нес, задыхаясь, тяжелое, выскальзывающее туловище; и опять трепалась на левой руке безвольная и беспамятная, словно мертвая, голова. Уже через сотню саженей решили, что заблудились, и круто повернули вправо, потом влево; а потом перестали соображать и доискиваться и кружились без мыслей. Зашуршал по листьям редкий теплый дождь, и вместе с ним исчезла всякая надежда найти лесную сторожку: в молчаливом лесу они шли одни, и было в этом что-то похожее на дорогу и движение, а теперь в шорохе листвы двинулся весь лес, наполнился звуком шагов, суетою. И, казалось, что, уставая с каждым новым шагом до изнеможения, они не подвигаются с места. Мутилось в голове. Несколько раз осматривали Колесникова, не умер ли, и, кроме страха и жалости, был в этом расчет: если умер, то можно не нести.

Сильнее накрапывал дождь. Все ждали, когда почувствуется под ногами дорога, но дорога словно пропала или находилась где-нибудь далеко, в стороне. Вместо дороги попали в неглубокий лесной овраг и тут совсем лишились сил, замучились до полусмерти — но все-таки выбрались. От дождя и от боли, когда втаскивали наверх, Колесников пришел в себя и застонал. Забормотал что-то.

— Вася, ты что?

— Са... са... Я са...

Насилу разобрали, что он сам хочет идти, и Андрей Иванович, чувствовавший неподвижность и полное бессилие его ног, заплакал тихонько, пользуясь скрывающей темнотою. А Колесников, оживая от дождя и боли, стал выворачиваться и мешать; и с тоскою сказал Саша:

— Вася, милый, лежи тихо, очень трудно, когда шевелишься.

Покорно обвис, но сознание, видимо, просветлялось. Глухо сказал:

— Брось.

— Знаешь, что не брошу, и лежи. Сейчас дойдем.

— Шапку.

Плакать или смеяться? Должно быть, и Колесников сквозь туман сознания и боль почувствовал смешное; и, чтобы увеличить его, пробормотал нечто, имевшее, как ему казалось, ужасно смешной смысл:

— Того-этого...

И был уверен, что они смеются, а они не поняли: от усталости сознавали чуть ли не меньше, чем он сам. У Андрея Ивановича к тому же разболелась гниющая ранка на ноге, про которую сперва и позабыл-невыносимо становилось, лучше лечь и умереть. И не поверили даже, когда чуть не лбом стукнулись в сарайчик — каким-то чудом миновали дорогу и сзади, через отросток оврага, подошли к сторожке.

И только тут, в сторожке, когда обмытый и кое-как перевязанный Колесников уже лежал на лавке и не то дремал, не то снова впал в забытие — понял Жегулев ужасное значение происшедшего. Восстановилось нарушенное равновесие событий и то, что в первые полубезумные минуты казалось пустяками: то, что их, несомненно, предали, то, что завтра же утром их могут застигнуть в сторожке, то, наконец, что Колесников умирает и умрет, — встало перед сознанием, окружило и сознание, и жизнь кольцом безысходности. Был

тут один такой момент, когда Жегулев просто почувствовал себя мертвым, не живущим, как повешенный в тот короткий миг, когда табуретка уже выдернута из-под ног, а петля еще не стянула шеи, — настолько очевидно было видение замкнутого круга. Жизнь, потеряв надежду и смысл, отказывалась чувствовать себя жизнью.

«Этого не может быть, чтобы он умер. Хотя я всегда ожидал и знал, что это будет, но этого не может быть, чтобы он умер. Если он умрет, это будет значить, что он и раньше не жил, и не жил и не живу я, и вообще ничего не существует, кроме очень длинного, непонятного, зачем оно, и легкого, как паутина, сна. А если это сон, то ничего не страшно, и, следовательно, он не умрет», — опоминаясь, подумал Саша: чтобы снова стать собою, жизнь утверждала чудо, как естественное, признавала бессмыслицу, как истину, логически законченную. И вместе с жизнью вернулись к юноше ее волнения, ее живые заботы и страх, и томление надежды, и безутешная скорбь. Боясь, что может услышать Колесников, Саша вызвал матроса в сенцы и шепотом спросил:

— Андрей Иванович, кто нас выдал?

В шуме разошедшегося дождя не расслышал ответа и переспросил:

— Я говорю: нас выдали?

— Так точно, полагаю, что выдали.

— Кто?

Не увидел, но догадался, что матрос пожимает плечами.

Молча думали оба и, не найдя лица, молча вернулись в избу. Хозяин, один из Гнедых, равнодушный ко всему в мире, одинокий человек, раздумчиво почесывался со сна и вопросительно смотрел на Жегулева. Тот спросил:

— Ты что?

— Уйти бы мне. Стражники не пришли бы.

— Боишься?

— Выходит, что боюсь. Уйти бы мне, а?

Жегулев и матрос переглянулись: «выдаст!», но как-то все равно стало, пусть уходит. Может быть, и не выдаст.

— Ступай, только хлеба да воды оставь.

Ушел, равнодушный к темноте и дождю, к тому, кто умирает на его лавке, пожалуй, и к себе самому: скажи ему остаться, остался бы без спора и так же вяло укладывался бы спать на полу, как теперь покрывался от дождя рогожей. Нет, этот не выдаст. Но когда остались вдвоем и попробовали заснуть — Саша на лавке, матрос на полу — стало совсем плохо: шумел в дожде лес и в жуткой жизни своей казался подстерегающим, полным подкрадывающихся людей; похрипывал горлом на лавке Колесников, может быть, умирал уже — и совсем близко вспомнились выстрелы из темноты, с яркостью галлюцинации прозвучали в ушах. Матрос поднял голову.

— Что вы, Андрей Иванович? — шепотом, пугаясь, спросил Саша.

— Стеляют где-то.

Долго слушали оба: нет, показалось.

— Вот что, Андрей Иванович: вы спите, а я пойду караулить.

— Лучше я!

Оба встали: уже нельзя было без страха вспомнить, как это они чуть не заснули, не выставив караула. От страха начинало биться сердце. Матрос торопливо снаряжался и уже у двери шепнул:

— Огонь загасите!

От самой постели начиналась темнота, от самой постели начинался страх и непонятное. Андрею Иванычу лучше наружи, он хоть что-нибудь да видит, а они как в клетке и вдвоем — вдвоем. Под углом сходятся обе лавки, на которых лежат, и становится невыносимо так близко чувствовать беспамятную голову и слышать короткое, частое, горячее и хриплое дыхание. Страшен беспамятный человек — что он думает, что видит он в своей отрешенности от яви?

Темно и мокро шумит лес, шепчется, шушукается, постукивает дробно по стеклу и по крыше. Почему-то представляются длинные, утопленнические волосы, с которых стекает вода, неведомые страшные лица шевелят толстыми губами... уж не бредит ли и он? Липы в саду шумели иначе: они гудели ровно и могуче, и седой Авраам встречал под дубом Господа, в зеленом тенистом шатре приветствовал Его. Праздничное солнце озаряло пустыню, и в белых ангельских одеждах светло улыбался Господь: и Ему приятно было, что тень, что холодна ключевая вода...

— Пить, — просит Колесников.

Напился, роняя капли с почерневших сухих губ, и снова хрипит, тускло бормочет: сколько ни слушать, слов не разберешь. Это они двое в темноте: те, что ходили весною стрелять из браунинга, а потом по шоссе, те, что спокойно сидели в спокойной комнате и разговаривали. Кто этот, называемый Колесников, Василий Васильевич, Вася? Где его близкие и кто они? — кого известить о его кончине? — кому пожаловаться о его смерти: такому, чтобы понял и почувствовал горе? Не может быть, чтобы так кончилось все: закопают его в лесу, и уйти навсегда из этого места, и больше никогда и нигде не будет никакого Колесникова, ни его слов, ни его голоса, ни его любви.

Темнота кажется необычной: положительно нельзя поверить, что и прежде, дома, Саша видел такой же мрак, мог видеть его в любую ночь, стоило погасить свечу, — этот теперешний угольный мрак, душный и смертельно тяжкий в своей непроницаемости, есть смерть. Боже мой! — что такое жизнь? Почему он, Саша, вместо того чтобы лежать в своей комнате на своей постели, находится здесь в какой-то сторожке, слушает хрип незнакомого умирающего человека, ждет других людей, которые придут сейчас и убьют его? Если он в своей комнате, то справа — протянуть руку — будет столик, спички и свеча... Пусто. Нет ни столика, ничего — пусто. Саша садится и, не в силах совладать со страхом, жжет одну за другою спички и старается смотреть в самый огонь, боится увидеть, что по сторонам. Приотворяется дверь, и матрос шепчет торопливо:

— Выйдите-ка, Александр Иваныч!

Дождь сильнее: так же шуршит и шепчет листва, но уже гудят низкие, туго натянутые басовые струны, а в деревянные ступени крыльца льет и плещет тяжело. Мгновениями в лесу словно светлеет... или обманывает напряженный глаз...

— Вслушайтесь-ка! — шепчет матрос.

Как будто идут... или обманывает слух? Погодин говорит решительно:

— Никого. Идите, Андрей Иваныч, в избу, я подежурю.

— Измучился я тут, — незнакомым, робким и доверчивым голосом отвечает матрос, — все чудится что-то. Должно гроза идет, погромыхивает будто.

— Скоро рассвет?

— Ой нет: часа еще три ждать. Так я пойду... в случае, стукните в дверь, я спать не буду. Как Василь Василич?

— Все так же. Плохо!

Тут действительно лучше: понятнее и проще все, приятен влажный воздух, пахнувший грозовым запахом и лесным гнильем. И все чаще безмолвные голубые вспышки, за которыми долго спустя весь шум леса покрывается ровным, объединяющим гулом: либо вдалеке проходит сильная гроза, либо подвигается сюда. Погодин закуривает папиросу и глубоко задумывается о тех, кто его предал.

Все ближе надвигается гроза.

15. Бред Колесникова

К утру Колесникову стало лучше. Он пришел в себя и даже попросил было есть, но не мог; все-таки выпил кружку теплого чая. От сильного жара лошадиные глаза его блестели, и лицо, покраснев, потеряло страшные землистые тени.

Открыли нижние половинки обеих окон: после отшумевшей на рассвете грозы воздух был чист и пахуч, светило солнце. И хотя именно теперь и могли напасть стражники — при солнечном свете не верилось ни в нападение, ни в смерть. Повеселели даже.

От жара у Колесникова путались мысли, и он не все понимал, всеми интересами отошел куда-то в сторону и приятно грезил. Он даже не спросил, где они находятся, и, видимо, не догадывался о засаде, как-то иначе, по-своему, представлял вчерашнее. Насколько можно было догадаться, ему казалось, что вчера произошло нападение на какую-то экономию, пожар, потом удачная и счастливая перестрелка со стражниками; теперь же он считал себя находящимся дома, в городской комнате, и почему-то полагал, что около него очень много народу. Так как говорил он при этом связно, глядел сознательно, то очень трудно было понять эти странные перемещения в мозгу и освоиться с ними. Несколько раз, начиная раздражаться, он спрашивал о каком-то сапожнике — насилу уразумел Саша, что речь идет о бывшем его хозяине. Вдруг спросил:

— А Петруша не ранен?

Наклонившийся к нему Андрей Иванович — говорил он тихо и слабо, запинаясь, — едва сумел не отшатнуться и ответил:

— Нет, Василь Василич, не ранен.

Что-то очень долго соображал Колесников, раздумчиво глядя прямо в близкие глаза матроса, и сказал:

— Надо ему балалайку подарить.

— Я... свою подарю.

— Ну? — обрадовался Колесников и с тихой насмешкой улыбнулся одними глазами: интеллигент!

К этой балалайке и все к одним и тем же вопросам, забывая, он возвращался целое утро и все повторял понравившееся: интеллигент; потом сразу забыл и балалайку и Петрушу, и начал хмуриться, в каком-то беспокойстве угрюмо косился на Погодина и избегал его взгляда. Наконец подозвал его к себе и заставил наклониться.

— Тебе больно, Вася?

— Да. Прогони тех, — указал на тех многочисленных, которые двигались, шумели, говорили громко до головной боли, создавали праздник, но очень утомительный и минутами страшный. — Прогони!

— Я их прогнал. Тебе дать воды?

— Нет. Наклонись. Отдай мои сапоги Андрею Ивановичу.

— Хорошо.

Видимо, он помнил прежние сапоги, какими гордился, а не теперешнюю рвань.

— Наклонись, Саша! Иди к матери, к Елене Петровне. Как ее зовут?

— Елена Петровна. Хорошо, я пойду.

— Пойди. Непременно.

— Да.

Колесников улыбнулся. Снова появились на лице землистые тени, кто-то тяжелый сидел на груди и душил за горло, — с трудом прорывалось хриплое дыхание, и толчками, неровно дергалась грудь. В черном озарении ужаса подходила смерть. Колесников заметался и застонал, и склонившийся Саша увидел в широко открытых глазах мольбу о помощи и страх, наивный, почти детский.

— Вася!

Но умирающий уже забыл о нем и молча метался. Думали, что началась агония, но, к удивлению, Колесников заснул и проснулся, хрипло и страшно дыша, только к закату. Зажгли жестяную лампочку, и в чернеющий лес протянулась по-осеннему полоса света. Вместе с людьми двигались и их тени, странно ломаясь по бревенчатым стенам и потолку, шевелясь и корча рожи. Колесников спросил:

— Ушли?

— Да, ушли.

— Пить!

Но немного выпил и, отказываясь, стиснул зубы; потом просил есть и опять пить и от всего отказывался. Волновался все сильнее и слабо перебирал пальцами, — ему же казалось, что он бежит, прыгает, вертится и падает, сильно размахивает руками. Бормотал еле слышно и непонятно, — а ему казалось, что он говорит громко и сильно, свободно спорит и смеется над ответами. Прислонился к горячей, печке спиной, приятно заложил ногу за ногу и говорит, тихо и красиво поводя рукою:

— Теперь зима, и за окнами бегут сани, сани, сани...

Но подхватили сани и понесли по скользкому льду, и стало больно и нехорошо, раскатывает на поворотах, прыгает по ухабам — больно! — больно! — заблудились совсем и три дня не могут найти дороги; ложатся на живот лошади, карабкаясь на крутую и скользкую гору, сползают назад и опять карабаются, трудно дышать, останавливается дыхание от натуги. Это и есть спор, нелепые возражения, от которых смешно и досадно. Прислонился спиной к горячей печке и говорит убедительно, тихо и красиво поводя легкою рукою:

— Если я умер, то это еще не доказательство.

Все смеются, и больше всех он сам. Саша наклонился и говорит:

— Тише! За нами гонятся. Бежим!

Все, задышав, побежало, запрыгало, и все по лестницам, все вверх, через заборы и крыши. С крыши виден огонь, а внизу темнота, скользкие мокрые камни, каменные углы, и из водосточной трубы льет вода: надо скорее назад! Все шире разливается вода, и у берега покачивается белая лодка. А на высоком берегу стоит село, и там сегодня Пасха, и в белой церкви звонит колокол, много колоколов, все колокола. Гладко, без единой морщинки, легла вода и не струится, не дышит; покойно и надолго светит солнце. Саша сел на корточки и пьет прямо горстью, смеется:

— Россия.

Елена Петровна, молодая и прекрасная, совсем не та, которая была по ошибке, гладит Сашину голову и смеется:

— Вы видите, какой он мальчик: пьет кровь и говорит, что это Россия.

Все замутилось кровью и дымом и в ужасе заметалось. Необходимо пить, иначе умрешь, а пить

нельзя, все кровь: в стакане, водопроводе и во рту — кислая и пахнет красным вином. Саша наклонился и кричит:

— Нет, ты пей!

И нельзя отвести головы, тычет прямо в зубы, льет насильно и кричит:

— Пей, Вася!

Стихло. Прислонился спиной к горячей печке и говорит степенно, тихо и красиво поводя легкой рукою:

— Вы не так меня поняли, Елена Петровна, — и, подумав, добавляет: — Того-этого! Раз я отдаю сапоги Андрею Ивановичу, то, следовательно, он ходит, а я умираю. Я никогда ничего не имел, Елена Петровна, и вся моя душа, вся моя любовь, вся нежность моя...

Тут оба они плачут тихо и радостно, и Елена Петровна говорит:

— Позвольте, я вас поцелую в лоб, как тогда.

— Пожалуйста, я буду очень рад.

Целует, и губы у нее нежные, молодые, прекрасные, — даже стыдно. Но стыдиться не надо, так как она его невеста и скоро будет свадьба, она и сейчас в белой фате и с цветами.

— Надо ехать, — говорит он торопливо и беспокойно, — мы можем опоздать.

— Но ведь это вы умираете, а не Саша?

— Саша здоровехонек!

Оба смеются, и дышится так легко и глубоко... даже совсем не дышится, не надо.

— Спой мне, мама. Я умираю.

Колесников скончался, не приходя в себя, около двух часов ночи. Саша и матрос, работая по очереди, в темноте выкопали глубокую яму, засыпали в ней мертвеца и ушли.

16. Пробуждение

Бывают такие полосы в жизни, когда от сильного горя и усталости либо от странности положения здоровый и умный человек как бы теряет сознание. Для всех окружающих, да и для себя, он все тот же: так же и ест, и пьет, и разговаривает, и делает свое дело, плачет или смеется, — ничего особенного и не заметишь: а внутри-то, в разуме и совести своей, он ничего не помнит, ничего не сознает, как бы совершенно отсутствует. Так бывает со многими вдовами, с женихами на свадьбе, с полководцами во время отступления; так же, пожалуй, бывает с плохими, останавливающимися часами, которые некоторое время надо подталкивать рукою, чтобы шли. Очень часто из этого опасного состояния возвращаются к жизни, даже не заметив его и не узнав, как не узнается опасность за спиною; но бывает, что и умирают, почти неслышно для себя переходят в последний мрак.

Как раз в таком состоянии был Жегулев после смерти Колесникова. Умер Колесников второго августа, и с этого дня почти целый месяц Саша жил и двигался в бездумной пустоте, во все стороны одинаково податливой и ровной, как море, покрытое первым гладким ледком. На вид он был даже оживленнее прежнего и деятельность проявлял неустойчивую; жег, что показывали жечь, шел, куда звали, убивал, на кого намекали, — ветром двигался по уезду, словно и не слыша жалоб измученной, усталой шайки. Но если кто-нибудь решительно заявлял, что надо передохнуть, Жегулев отдавал приказание об отдыхе, и дня три-четыре послушно отдыхал и сам. Андрей Иванович, матрос, почувствовавший смерть Колесникова, как смертельный удар всему ихнему делу, недоумевал и смущался, не зная, как понимать этого Жегулева; и то в радости и в вере приободрялся, а то начинал беспокоиться положительно до ужаса.

Пугало его то, что Жегулев совсем как будто не видел и не понимал перемен в окружающем; а перемены были так широки и ощутительны, что и не наблюдательный Андрей Иванович не мог не заметить их и не встревожиться. В чем дело, трудно было сказать, но словно переменился сам воздух, которым дышит грудь.

Все еще много народу было в шайке, но с каждым днем кто-нибудь отпадал, не всегда заменяясь новым: только по прошествии времени ясно виделась убыль; и одни уходили к Соловью, другие же просто отваливались, расходились по домам, в город, Бог весть куда — были и нет. Те бесчисленные Гнедые, которые в свое счастливое время путали всякое соображение, каждодневно сокращались в числе, уже значились по пальцам наперечет, — в окружающем безразличии или даже вражде, как в холодной воде масло, резко очерчивались контуры шайки, ее истинный объем. Случаев прямой вражды было еще мало, но словно ослепла и оглохла деревня: никто не слышит, никто не видит, как ни кричи. При редких встречах «бывшие» не отвертываются, но беседуют нехотя и нехотя подшучивают: «Вот вас скоро морозцем-то прихватит!» — а разумеет эти слова так: «А к нам в тепло и не суйся, не зовем». И все чаще вместо привычного наименования «лесных братьев» бросают резкое и укорительное: разбойники. «Эй, матрос, долго еще разбойничать будете? Бабы жалуются, что собак по ночам тревожите».

Пока все это только шутки, но порой за ними уже видится злобно оскаленное мертвецкое лицо; и одному в деревню, пожалуй, лучше не показываться: пошел Жучок один, а его избили, придрались, будто он клеть взломать хотел. Насилу ушел коротким шагом бродяга. И лавочник, все тот же Идол Иванович, шайке Соловья отпускает товар даже в кредит, чуть ли не по книжке, а Жегулеву каждый раз грозит доносом и, кажется, доносит.

— Не выдержу, один пойду, у Александра Ивановича не спрошусь, а уж распорю ему живот! — темнея от гнева, говорит Андрей Иванович.

— Распори, матрос, распори! Я тебе подмогу, за ноги держать буду! — иронически поддакивает

Еремей: он еще держится в шайке, но порою невыносим становится своей злобной ко всему иронией и грубыми плевками. Плюет направо и налево.

— Ну и скот же ты, Ерема! — горько упрекает его матрос, — для кого стараемся, а?

Еремей с трудом складывает в смешливую гримасу свое дубовое лицо, подмигивает выразительно и хлопает его по колену.

— Андрюша! матросик! пинжачок ты мой хорошенький! А с кем ты намерен солому приминал, жмыхи выдавливал, а? Ну-ка, матрос, кайся!

Андрей Иванов краснеет: по слабости человеческой он завел было чувствительный роман с солдаткой, со вдовой, но раз подсмотрели их и не дают проходу насмешками. Не знают, что со вдовой они больше плакали, чем целовались, — и отбили дорогу, ожесточение и горечь заронили в скромное, чистое, без ропота одинокое сердце. До того дошло с насмешками, что позвал его как-то к себе сам Жегулев и, стесняясь в словах, попросил не ходить на деревню.

— Так точно, я не хожу. Еще чего не прикажете?

— Я ничего не приказываю, Андрей Иванович... Голубчик мой, вспомните Василь Васильича... да я сам...

Словно колокол церковный прозвучал в отдалении и стих. Опустил голову и матрос, слышит в тишине, как побаливает на ноге гниющая ранка, и беспокоится: не доходит ли тяжкий запах до Жегулева? И хочется ему не то чтобы умереть, а — не быть. Не быть.

И от осеннего ли похолодевшего воздуха и темных осенних ночей, от вражды ли мужичьей и насмешек грубых — начинают ему мерещиться волчьи острые морды.

Правда, появились уже и волки в окрестных лесах, изредка и воют тихонько, словно подучиваясь к зимнему настоящему вою, изредка и скотинку потаскивают, но людей не трогают, — однако боится их матрос, как никогда ничего не боялся. Свой страх он скрывает от всех, но уже новыми глазами смотрит в темноту леса, боится его не только ночью, но и днем далеко отходить от стана не решается. И ночью, заслышав издали тихий неуверенный вой, холодеет он от смертельной тоски: что-то созвучное своей доле слышит он в одиноком, злом и скорбном голосе лесного, несчастного, всеми ненавидимого зверя. А утром, осторожно справившись о волках, удивляется, что никто этого воя и не слышал.

Все резче с каждым часом намечались зловещие перемены, но, как в мороке живущий, ничего не видел и не понимал Жегулев. Как море в отлив, отходил неслышно народ, оставляя на песке легкие отбросы да крохи своей жизни, и уже зияла кругом молчаливая пустота, — а он все еще слепо жил в отошедшем шуме и движении валов. До дна опустошенный, отдавший все, что призван был отдать, выпитый до капли, как бокал с драгоценнейшим вином, — прозрачно светлел он среди беспорядка пиршественного стола и все еще ждал жаждущих уст, когда уже к новым пирам и горько-радостным отравам разошлись и званные и незванные. С жестокостью того, кто бессмертен и не чтит маленьких жизней, которыми насыщается, с божественной справедливостью безликого покидал его народ и устремлялся к новым судьбам и новые призывал жертвы, — новые возжигал огни на невидимых алтарях своих.

Даже того как будто не замечал Жегулев, что подозрительно участились встречи и перестрелки со стражниками и солдатами, и всегда была в этих встречах неожиданность, намеков на засаду. Действительно выдавал ли их кто, или естественно лишились они той незримой защиты, что давал народ, — но временами положение становилось угрожающим. Мало-помалу, сами того не замечая, перешли они из нападающих в бегущие и все еще не понимали, что это идет смертный конец, и все еще искали оправдания: осень идет, дороги трудны, войск прибавили, — но завтра будет по-старому, по-хорошему. Укрепляла еще в надеждах шайка Васьки Щеголя, по-прежнему многолюдная, разгульная и удачливая: не

понимали, что от других корней питается кривое дерево, поганый сук, облепленный вороньем.

Но только мертвый не просыпается, а и заживо похороненному дается одна минуточка для сознания, — наступил час горького пробуждения и для Сашки Жегулева. Произошло это в первых числах сентября при разгроме одной усадьбы, на границе уезда, вдали от прежнего, уже покинутого становища, — уже с неделю, ограниченные числом, жили братья в потайном убежище за Желтухинским болотом.

Все шло по обычаю, только с большею против обычного торопливостью, гамом и даже междоусобными драками — озлобленно тащили, что попало, незнакомые незнакомой деревни мужики ругались и спорили. Вдруг неизвестно откуда пробежала страшная весть, что скачут стражники, — в паническом бегстве, ломая телеги, валясь в канавы, оравой понеслись назад. Напрасно кричал матрос, знавший доподлинно, что стражники далеко, грозил даже оружием: большинство разбежалось, в переполохе чуть не до смерти придавив слабосильного, но по-прежнему яростного и верного Федота. Не ушли только те, у кого не было телег, да были две бабы, у которых угнали лошадей, пока не цыкнул на них свирепый Еремей. Но все же осталось в разгромленной усадьбе человек до тридцати, и было среди них наполовину пьяного народа; а вскоре вернулся кое-кто с пустыми телегами, опомнились дорогой и постыдились возвращаться порожняком.

— Время, Александр Иванович! — сказал матрос, глядя на свои часики.

И Жегулев привычно крикнул:

— Запаливай, ребята!

Но уже трудился Еремей, раздувая подтопку, на самый лоб вздергивая брови и круглясь красными от огня, надутыми щеками; и вскоре со всех концов запылала несчастная усадьба, и осветилась осенняя мглистая ночь, красными дымами поползли угрюмые тучи, верст на десять озаряя окрестность. В ту ночь был первый ранний заморозок, и всюду, куда пал иней, — на огорожу, на доску, забытую среди помертвевшей садовой травы, на крышу дальнего сарая — лег нежный розовый отсвет, словно сами светились припущенные снегом предметы. Галдели и ругались не успевшие нагрузиться, опоздавшие мужики.

Уже уходили лесные братья, когда возле огромного хлебного скирда, подобно часовне возвышавшегося над притоптанным жнивьем, в теневой стороне его заметили несколько словно притаившихся мужиков, точно игравших со спичками. Вспыхнет и погаснет, не отойдя от коробки. Озабоченный голос Еремея говорил:

— Эх, куда сернички способней: тухнет, сволочь!

Саша в изумлении и гневе остановился:

— Андрей Иванович, что это? Неужели хлеб хотят?

— Видно, что так. Не трогайте их, Александр Иванович.

— Помутился разум человеческий, — сказал Жучок, прячась на случай за матроса.

Слепень, кривой, глупо захохотал и сплюнул:

— Мужики!

Но захохотали и некоторые из мужиков, то ли конфузливо, то ли равнодушно отходя от скирда и смешиваясь с братьями; и только Еремей оглянулся на мгновение, словно лякнул по-волчьи, и зажег новую спичку, наскоро бросив:

— Ставь-ка от ветру, Егорка.

Жегулев шагнул вперед и, коснувшись согнутой трудолюбиво спины, крикнул:

— Ты что делаешь, Еремей! Хлеб нельзя жечь, ты с ума спятил! Отдай другим, если самому... голодным! Тебе говорю!

Еремей не быстро оглянулся и коротко сказал:

— Не твой хлеб. Отойди!

Короток был и взгляд запавших голодных глаз, короток был и ответ, — но столько было в нем страшной правды, столько злобы, голода ненасытимого, тысячелетних слез, что молча отступил Саша Жегулев. И бессознательным движением прикрыл рукою глаза — страшно показалось видеть, как загорится хлеб. А там, либо не поняв, либо понимая слишком хорошо, смеялись громко.

Жарко затрещало, и свет проник между пальцами — загорелся огромный скирд; смолкли голоса, отодвигаясь — притихли. И в затишье человеческих голосов необыкновенный, поразительный в своей необычности плач вернул зрение Саше, как слепому от рождения. Сидел Еремей на земле, смотрел, не мигая, в красную гущу огня и плакал, повторяя все одни и те же слова:

— Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!

Опустились головы и глаза — то ли в тяжком раздумье и своих слезах, то ли из желания не стыдить плачущего взглядами. Накапились соломинки и млели, как проволока светящаяся, плавилась золото хлебное и превращалось в тлен.

Покачивался Еремей и, как тогда Елена Петровна с губернатором, плакал в святой откровенности горя и повторял бесконечно:

— Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко...

Всею душою вздохнул Саша и, подойдя к Еремею, нежно коснулся его рукою, нежно, как матери бы своей, сказал вздохами:

— Еремеюшка... родной мой... Не плачь, Еремеюшка!

Точно не расслышал Еремей всех слов, но замолк, хлипнул носом и, обернувшись, с ядовитой улыбкой четко и раздельно сказал следующее:

— Подлизываешься, барин?.. Много денег нагребил, разбойник?.. Много христианских душ загубил, злодей непрощенный?

...Так проснулся Саша. И ночью в своей холодной землянке, зверином нечистом логове лежал он, дрожа от холода, и думая кровавыми мыслями о непонятности страшной судьбы своей. Нужна ли была его жертва? Кому во благо отдал он всю чистоту свою, радости юношеских лет, жизнь матери, всю свою бессмертную душу? Неужели все это — драгоценное и единственное, что есть у человека — так никому и не нужно, так никому и не пригодилось? Брошено в яму вместе с мусором нечистым, сгибло втуне, обернулось волею Неведомого в бесплодное зло и бесцельные страдания! Нет и не будет ему прощения ни в нынешнем дне, ни в сонме веков грядущих. Кто может и смеет простить его за убийство, за пролитую кровь? Господи! И Ты не можешь простить, иначе не всех Ты любишь равно. Кто же?

— Мать?

Кто-то в темноте копошится в ногах, чем-то тяжелым и теплым прикрывает озябшее тело: кто это?

— Спите, Александр Иванович, спите, это я ноги вам прикрыл, холодно. Спите!

— Спасибо, Андрюша. Спасибо. Спасибо, голубчик.

В первый раз с тех пор, как вышел из дому, — заплакал Сашка Жегулев.

17. Любовь и смерть

Великий покой — удел мертвых и неимеющих надежд. Великий и страшный покой ощутил в душе Погодин, когда отошли вместе с темнотою ночи первые бурные часы.

Хорошо или плохо то, что он сделал и чего не мог не сделать, нужно оно людям или нет — оно сделано, оно свершилось и стоит сзади него во всей грозной неприкосновенности совершившегося: не изменить в нем ни единой черточки, ни одного слова не выкинуть, ни одной мысли не изменить. Примет жизнь его жертву или с гневом отвергнет ее, как дар жестокий и ужасный; простит его Всезнающий или, осудив, подвергнет карам, силу которых знает только Он один; была ли добровольной жертва или, как агнец обреченный, чужой волею приведен он на заклание, — все сделано, все совершилось, все осталось позади, и ни единого ничьей силою не вынуть камня. А впереди — только смерть.

Это была безнадежность, и ее великий, покорный и страшный покой ощутил Саша Погодин. Ощувив же, признал себя свободным от всяких уз, как перед лицом неминуемой смерти свободен больной, когда ушли уже все доктора и убраны склянки с ненужными лекарствами, и заглушенный плач доносится из-за стены. С того самого дня, как было возвращено Жене Эгмонт нераспечатанным ее письмо и дан был неподозревавшей матери последний прощальный поцелуй, Саша как бы закрыл душу для всех образов прошлого, монашески отрекся от любви и близких. «Если я буду любить и тосковать о любимых, то не всю душу принес я сюда и не чиста моя чистота», — думал Погодин с пугливой совестливостью аскета; и даже в самые горькие минуты, когда мучительно просило сердце любви и отдыха хотя бы краткого, крепко держал себя в добровольном плену мыслей — твердая воля была у юноши. Теперь же, когда вместе со смертью пришла свобода от уз, — с горькой и пламенной страстностью отдался он грезам, в самой безнадежности любви черпая для нее нужное и последнее оправдание. «Теперь я могу думать, о чем хочу», — строго решил он, глядя прямо в глаза своей совести, — и думал.

Как раз в эту пору, предвещая близкий конец, усилились преследования. Словно чья-то огромная лапа, не торопясь и даже поигрывая, ползала по уезду вдогонку за лесными братьями, шарила многими пальцами, неотвратимо проникала в глубину лесов, в темень оврагов, заброшенных клетей, нетопленых холодных бань. Куда только не прятались братья? — И отовсюду приходилось убегать; и снова прятаться, и снова бежать дальше. Все короче становились опасные переходы, и все на меньшем месте, незаметно сужая круг, кружилась шайка Жегулева, гонимая страхом, часто даже призрачным. Едва ли кто из них боялся смерти, скорее жаждали ее, но в самом обиходе прятанья и постоянного бегства было нечто устрашающее, ослаблявшее волю и мужество. Тревожным стал слух, вообще склонный обманывать, и зрение обострилось болезненно, и сон сделался пуглив и чуток, как у зверя, и движения порывисты — круты повороты, внезапны остановки, коротки и бессловесны вскрики.

Осень была, в общем, погожая, а им казалось, что царит непрестанный холод и ненастье: при дожде, без огня, прели в сырости, утомлялись мокротою, дышали паром; не было дождя — от страха не разводили огня и осеннюю долгую ночь дрожали в ознобе. Днем еще согревало солнце, имевшее достаточно тепла, и те, кто мирно проезжал по дорогам, думали: какая теплынь, совсем лето! — а с вечера начиналось мучение, не известное ни тем, кто, проехав сколько надо, добрался до теплого жилья, ни зверю, защищенному природой. Скучно кормились, и не будь неизменно и загадочно верного, кашляющего Федота, — пожалуй, и умерли бы с голода или начали, как волки, потаскивать мужицкую скотину.

К ощущениям холода, пустоты и постоянного ровного страха свелась жизнь шайки, и с каждым днем таяла она в огне страданий: кто бежал к богатому и сильному, знающемуся с полицией Соловьё, кто уходил в деревню, в город, неизвестно куда. И Сашка Жегулев, все еще оставаясь знаменем и волею

шайки, внешне связанный с нею узами верности и братства, дрожа ее холодом и страхом, — внутренне так далеко отошел от нее, как в ту пору, когда сидел он в тихой гимназической комнатке своей. И чем несноснее становились страдания тела, чем изнеможеннее страдальческий вид, способный потрясти до слез и нечувствительного человека, тем жарче пламенел огонь мечтаний безнадежных, бесплотных грез: светился в огромных очах, согревал прозрачную бледность лица и всей его юношеской фигуре давал ту нежность и мягкую воздушность, какой художники наделяют своих мучеников и святых.

Старательно и добросовестно вслушиваясь, весьма плохо слышал он голоса окружающего мира и с радостью понимал только одно: конец приближается, смерть идет большими и звонкими шагами, весь золотистый лес осени звенит ее призывными голосами. Радовался же Сашка Жегулев потому, что имел свой план, некую блаженную мечту, скудную, как сама безнадежность, радостную, как сон: в тот день, когда не останется сомнений в близости смерти и у самого уха прозвучит ее зов — пойти в город и проститься со своими.

В те долгие ночи, когда все дрожало в мучительном ознобе, он подробно и строго обдумывал план: конечно, ни в дом он не войдет, ни на глаза он не покажется, но, подкравшись к самым окнам, в темноте осеннего вечера, увидит мать и Линочку и будет смотреть на них до тех пор, пока не лягут спать и не потушат огонь. Очень возможно, что в тот вечер будет у них в гостях и Женя Эгмонт... но здесь думать становилось страшно. Страшно было и то, что занавески на окнах могут быть опущены... но неужели не догадается мать, не почувствует за окнами его сыновних глаз, не услышит биения его сердца? Оно и сейчас так бьется, что слышно, кажется, по ту сторону земли!

Поймет. Догадается. Откроет!

Тихо и красиво умирает лес. То, что вчера еще было зеленым, сегодня от края золотится, желтеет все прозрачнее и легче; то, что было золотым вчера, сегодня густо багровеет; все так же как будто много листьев, но уже шуршит под ногою, и лесные дали прозрачно видятся; и громко стучит дятел, далеко, за версту слышен его рабочий дробный постук. Вокруг милые и печальные люди смотрят на него с тоскою и жадной: но чем их напоить? Отдал бы, пожалуй, и мечту свою, ко не нужна им чужая, далекая, даже обидная мечта. Даже стыдно временами: какой он богач. Смутно проходит перед глазами побледневшее лицо матроса, словно издали слышится его спокойный, ласково-покорный голос.

— У вас жива мать, Андрей Иванович?

— Не могу знать.

Станный и словно укоризненный ответ, но дольше спрашивать нельзя... или можно, но не хочется?

— Плохи наши дела, Андрей Иванович.

— Так точно, Александр Иавыч, плохи. Одежи теплой нет, вот главное.

— Да, одежды нет. А что же Федот обещал полушубков достать?

— Да не дают мужики, говорят, какие были, все Соловьев забрал. Врут.

— Надо достать.

— Да надо уж.

Молчат и думают свое, и Саша убежден, что матрос думает о полушубках, как их достать.

— Что это вы последнее время хромаете, Андрей Иванович? Ушиблись?

Матрос как будто конфузится и отвечает виновато:

— Разве хромаю? Не замечаю что-то, показалось, верно.

— Да нет же, заметно.

— А может быть, и ушибся, да ничего не почувствовал... надо будет ногу посмотреть. Ничего не прикажете, Александр Иванович?

И в тот день матрос действительно не хромал, очевидно, ошибся Погодин. Многие замечалось одними глазами, и во многом ошибались глаза, и слабой болью отвечало на чужую боль в мечте живущее сердце. Все дальше уходила жизнь, и открывался молодой душе чудесный мир любви, божественно-чистой и прекрасной, какой не знают живые в надеждах люди. Как ненужная, отпадала грубость и суета житейских отношений, томительность пустых и усталых дней, досадная и злая сытость тела, когда по-прежнему голодна душа — очищенная безнадежностью, обретала любовь те свои таинственнейшие пути, где святостью и бессмертием становится она. Почти не имела образа Женя Эгмонт: никогда в грезах непрерывных не видел ее лица, ни улыбки, ни даже глаз; разве только услышит шелест платья, мелькнет на мгновение узкая рука, что-то теплое и душистое пройдет мимо в слабом озарении света и тепла, коснется еле слышно... Но, не видя образа, сквозь тленные его черты прозревал он великое и таинственное, что есть настоящая бессмертная Женя, ее любовь и вечная красота, в мире бестелесном обручался с нею, как с невестой, — и сама вечность в ее заколдованном круге была тяжким кольцом обручения.

Но странно: не имела образа и мать, не имела живого образа и Линочка — всю знает, всю чувствует, всю держит в сердце, а увидеть ничего не может... зачем большое менять на маленькое, что имеют все? Так в тихом шелесте платьев, почему-то черных и шелестящих, жили призрачной и бессмертной жизнью три женщины, касались еле слышно, проходили мимо в озарении света и душистого тепла, любили, прощали, жалели — три женщины: мать — сестра — невеста.

Но вот уже и над ухом прозвучал призывный голос смерти: ушел из шайки на свободу Андрей Иванович, матрос.

С вечера он был где-то тут же и, как всегда, делал какое-то свое дело; оставалось их теперь всего четверо помимо Жегулева — матрос, Кузьма Жучок, Федот; и невыносимо глупый и скучный, одноглазый Слепень. Потом развел костер матрос — уже и бояться перестали! — и шутливо сказал Саше:

— Теперь в лесу волки, а огня они боятся.

— В этих местах волков нет, — поправил Федот, — я знаю.

— Ты свое знаешь, а мы свое знаем: хворосту жалко?

— Жги, мне-то что. Теплей спать будет. Ложился бы и ты с нами, Александр Иванович, а то сыро в землянке, захвораешь.

Но Саша лег в землянке: мешали люди тихой мечте, а в землянке было немо и одиноко, как в гробу. Спал крепко — вместе с безнадежностью пришел и крепкий сон, ярко продолжавший дневную мечту; и ничего не слышал, а утром спохватились — Андрея Ивановича нет. На месте и балалайка его с раскрашенной декорацией, и платяная щеточка, и все его маленькое имущество, а самого нет.

Долго не знали, что думать и что предпринять, тем более, что и артельные деньги, оставшиеся пустяки, Андрей Иванович унес с собой, как и маузер. Терялись в беспокойных догадках. Глупый Слепень захмыкал и ляпнул:

— К Соловью улет.

— Ну и дурак! — сказал Федот и нерешительно высказал догадку: — Не объявляться ли пошел?

И странно было, что Саша также ничего не мог придумать: точно совсем не знал человека и того, на

что он способен — одно только ясно: к Соловью уйти не мог. Выждали до полудня, а потом, томясь бездейтельностью, отправились на поиски, бестолково бродили вокруг стана и выкрикали:

— Андрюша! Матрос!

Саша безнадежно бродил среди деревьев, смотря вниз, точно грибы искал; и по завету матроса о мертвом теле, которое всегда обнаружится, нашел-таки Андрея Иваныча. Боясь ли волков, или желание убить себя пришло внезапно и неотвратимо и не позволило далеко уйти — матрос застрелился в десятке саженей от костра: странно, как не слышали выстрела. Лежал он на спине, ногами к открытому месту, голову слегка запрятав в кусты: будто, желая покрепче уснуть, прятался от солнца; отвел Саша ветку с поредевшим желтым листом и увидел, что матрос смотрит остекленело, а рот черен и залит кровью; тут же и браунинг — почему-то предпочел браунинг. И еще заметил Саша, что на щеке возле уха и в тех местах подбородка, которых не залила кровь, проступила щетинка бороды: никогда не видел на живом.

— Так-то, Андрей Иваныч! Ловко! — сказал Жегулев, по звуку голоса совсем спокойно, и опустил ветку: качаясь, смахнула она мертвый лист на плечо матроса.

Откуда-то подошли те трое и из-за спины смотрели.

— Надо портмонеет достать, — сказал Федот и укоризненно обратился к Слепню: — А ты говоришь — к Соловью! К этому Соловью и ты скоро пойдешь.

— Ты-то раньше пойдешь, у тебя из горла кровь идет.

— Ну и дурак! — удивился Жучок и сплюнул.

— Ничего он не понимает. Помоги, Жучок!

Пока ворочали и обыскивали мертвеца, Жегулев находился тут же, удивляясь, что не чувствует ни особенной жалости, ни тоски: немного страшно и донельзя убедительно, но неожиданного и необыкновенного ничего — так и нужно. Главное же, что завтра он пойдет в город.

Но что-то досадное шевелилось в мыслях и не давалось сознанию — иное, чем жалость, иное, чем собственная смерть, иное, чем та страшная ночь в лесу, когда умер Колесников... Но что? И только увидев матросов вывернутый карман, прежде чужой и скрытый, а теперь ничей, этот странный маленький мешочек, свисший у бока, — вдруг понял, чего не понимал: он, Жегулев, совершенно не знает этого мертвого человека, словно только сегодня он приехал в этом своем неразгаданно-мертвецком виде, с открытыми глазами и черным ртом. Потом, припоминая дальше, вдруг слабо ужаснулся, горько усмехнулся над человеческой слепотою своей: ведь он и совсем не знает Андрея Иваныча, матроса, никогда и не видал его! Было возле что-то услужливое, благородное, деликатное, говорило какие-то слова, которые все позабыты, укрывало, когда холодно, поддерживало под руку, когда слабо, — а теперь взяло и застрелилось, самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись, без слов ушло из жизни. Старается Жегулев вспомнить прежнее его живое лицо — и не может; даже то, что он брился аккуратно, вспоминается формально, недоверчиво: точно и всегда была теперешняя неаккуратная щетинка. И все горше становится сознанию: оказывается, он даже фамилии его не знает, никогда ни о чем не расспрашивал — был твердо убежден, что знает все! А знает только то, что видит сейчас: мало.

Уже зарыли мертвеца, когда удалось Жегулеву вызвать из памяти нечто до боли и слез живое: лицо и взгляд Андрея Иваныча, когда играл он плясовую, тайно улыбающийся и степенный, как жених на смотринах. И вспомнилась тогдашняя весенняя луна с ее надземным покоем, ровный шум ручья, бегущего к далекому морю, готовый к пляске Колесников в его тогдашней дикой и сумасшедшей красоте. Потом разговор в шалашике, когда голоса звучали так близко и в маленькую щель крыши блестел серебряный, ослепительно яркий диск. Умер Петруша. Умер Колесников, а сейчас зарыт и матрос.

— Помнишь рябинушку, Федот?.. — спросил Саша, умиленно улыбаясь; и с такой же умиленной улыбкой на своих синих тонких губах, тесно облипавших желтые большие зубы, ответил Федот:

— Как же, Александр Иванович, помню.

«Ну и страшно же на свете жить!» — думает Кузьма Жучок, глядя в беспросветно-темные, огромные, страдальческие глаза Жегулева и не в силах, по скромному уму своему, связать с ним воедино улыбку бледных уст. Забеспокоился и одноглазый Слепень, но, не умея словами даже близко подойти к своему чувству, сказал угрюмо:

— А балалайку матросову я себе возьму.

— Вот-то дурак! — удивился Федот и перестал улыбаться.

Поговорив с Федотом о возможностях, Жегулев решил на следующий же день идти в город и проститься: дальше не хочет ждать смерть и требует поспешности.

18. Прощание

Одетый в валяный, мужицкого сукна, коричневый армяк, Жегулев с утра прятался на базаре, а базар шумел торговой жизнью, пил, ругался, шатался по трактирам и укрывал приспособившегося. Как соломинка среди соломинок, втоптанная в грязь площади конями, колесами и тяжелыми мужицкими сапогами, терялся Саша в однотонно галдящем, коричневом царстве, никому не нужный и никому не ведомый. Постаивал около возов с соломой, имея вид что-то продающего, помогал вводить чужих коней на весовой помост для сена и всячески старался приобрести невидимость, а больше просиживал в трактирах, где пьяный шум и сутолока вскоре отбивали слух и память у всякого входящего. Больше всего боялся он встречи с каменецкими мужиками и на одного наткнулся-таки, но тот поглядел равнодушно и, не признав, пошел дальше: меняла Жегулева и одежда его, и смолянистая отросшая борода. И ни в ком не возбуждал подозрений молодой высокий мужик, и разве только удивляла и трогала худоба и бледность его; но и тут для любопытных и слишком разговорчивых было оправдание: только что выписался из больницы и ждет земляка, вместе поедут.

Был короток и звонко шумлив осенний базарный день, но для Жегулева тянулся он долго и плоско, порою казался немым и безгласным: точно со всею суетою и шумом своим базарные были нарисованы на полотне, густо намазаны краской и криком, а позади полотна — тишина и безгласие.

Скоро и солнце запало за крыши и только с минутку еще блестело в окнах высокого, в три этажа, трактира; и караваном телег потянулись в сумерки поля мужики-однодеревенцы, снимаясь гнездами, как грачи. В рядах, под сводами каменной галерейки, зазвенели железные болты на дверях и окнах, и всякий огонь окна становился теплее и ярче по мере того, как сгущался на глазах быстрый и суровый сумрак; как ряды пассажирских вагонов, поставленных один на другой, светился огнями высокий трактир, и в открытое окно разорванно и непонятно, но зазывающе бубнил и вызывал орган. Пустела площадь, и уже неловко становилось бродить в одиночку среди покинутых, задраенных досками ларей, — сам себя чувствовал Жегулев похожим на вора и подозрительного человека.

И все острее становилась тревога; и пяти минут невозможно было просидеть на месте, только и отдыхала немного мысль, как двигались ноги хотя бы в сторону противоположную. Набегали невыносимо-страшные мысли и предположения, для далекого путешественника отравляющие приближение к дому: мало ли что могло случиться за эти четыре месяца?.. До сих пор Жегулеву как-то совсем не приходило в голову, что мать могла умереть от потрясения и горя, и даже без всякого потрясения, просто от какой-нибудь болезни, несчастного случая. В детстве даже часы, когда отсутствовала мать, тревожили сердце и воображение населяли призраками возможных бед и несчастий, а теперь прошло целых четыре месяца, долгий и опасный срок для непрочной человеческой жизни.

Зажав в кулак золотые часы, наследство от отца-генерала, Погодин под фонарем разглядывает стрелки: всего только семь часов, и стрелки неподвижны, даже маленькая секундная словно стоит на месте — заведены ли? Забыл, что уже два раза заводил, и пробует сдвинуть окаменевший завод, пока догадывается, что с ним. Один только раз, не желая подходить к фонарю, нажал пружину, и старинные дорогие с репетицией часы послушно зазвонили в ухо, — но так громко в безлюдье площади показался их певучий, робкий звон, что поскорее сунул в карман и крепче, словно душа, зажал кулак.

Можно бы и сейчас идти, но держит принятое решение и парализует волю: возле окон своих решил быть ровно в девять, когда пьют чай в столовой — единственный час, в который может оказаться с ними и Женя Эгмонт.

Наконец возмутился против себя и своего решения Жегулев:

— Да что я: с ума хочу сойти? Почему в девять, а не сейчас? Там подожду.

И круто, на полшага повернув, проплыл как бы по воздуху пустынную площадь и окунулся в темноту тихой, немощеной улицы, еле намечаемой в перспективе несколькими тусклыми фонарями. Далеко на середине знакомо светлело: там угол, где сворачивать на их улицу, и на углу, светя на обе улицы, помещается Самсонычева лавка. И при первых же шагах, прямо ведущих к цели, стихла тревога, и явилась спокойная уверенность, что мать жива и увидит ее, и не захотелось торопиться, а идти медленно и вдумчиво, капля за каплей пить драгоценнейший напиток.

Какая радость: идти по знакомым и родным местам, где каждый столбик и канавка и каждая доска забора исписана воспоминаниями, как книга, и все хранит ненарушимо, и все помнит, и обо всем может рассказать! Пусть для других невидимы следы его детских ног, но Саша их чувствует под своей подошвой, нежно прижимает их к земле и новый, теперешний свой ставит след. Идет Саша по-хоженому, тихо присматриваясь и прислушиваясь, — стал он тем сложным существом, в котором исчезли призрачные границы времени и противное мигание настоящего сменилось ровным, негаснущим светом безвременности.

Вот и Самсонычева лавка: в обе стороны прорезала осеннюю тьму и стоит тихонько в ожидании редкого вечернего покупателя, — если войти теперь, то услышишь всегдашний запах постного масла, хлеба, простого мыла, керосина и того особенного, что есть сам Самсоныч и во всем мире может быть услышано только здесь, не повторяется нигде. Дальше!.. Вдруг идет за хлебом ихняя горничная и встретит и узнает!..

Уже с противоположной стороны оглядывается на лавку Саша и прощается с Самсонычем; потом снова в темноте перебирается на эту сторону улицы: всю жизнь ходил по ней и другую сторону с детства считает чужой, неведомой, чем-то вроде иностранного государства.

Потом снова идет на чужую сторону, — подошел ихний забор, придавленный гущиною высокого и черного сада, и ихняя калитка: опасно, можно встретить кого-нибудь из своих. И долго смотрит Саша на калитку, тысячекратно отворенную его рукой, и ждет не дыша: вдруг откроется!

Обойдя кругом, переулками, Саша добрался до того места в заборе, откуда в детстве он смотрел на дорогу с двумя колеями, а потом перелезал к ожидавшим Колесникову и Петруше. Умерли и Колесников, и Петруша, а забор стоит все так же — не его это дело, человеческая жизнь! Тогда лез человек сюда, а теперь лезет обратно и эту сторону царапает носками, ища опоры, — не его это дело, смутная и страшная человеческая жизнь!

В недостроенном, без крыши каменном флигельке, когда-то пугавшем детей своими пустыми глазницами, Жегулев с полчаса отдыхал, — не мог тронуться с места от волнения. То всколыхнуло сердце до удушья, что увидел между толстыми стволами свои окна — и свет в окнах, значит, дома, и резок острый свет: значит, не спущены занавески и можно смотреть. Так все близко, что невозможно подняться и сделать шаг: поднимается, а колена дрожат и подгибаются — сиди снова и жди!

— Ну! — улыбаясь, шепчет Саша и гладит колена. — Ну!

Собрался наконец с силами и, перестав улыбаться, решительно подошел к тем окнам, что выходят из столовой: слава Богу! Стол, крытый скатертью, чайная посуда, хотя пока никого и нет, может быть, еще не пили, еще только собираются пить чай. С трудом разбирается глаз от волнения, но что-то странное смущает его, какие-то пустяки: то ли поваленный стакан, и что-то грязное, неряшливое, необычное для ихнего стола, то ли незнакомый узор скатерти...

Что-то здесь есть! Что-то странное здесь есть!

И вдруг, непонятный в первую минуту до равнодушия, вступает в поле зрения и медленно проходит через комнату, никуда не глядя, незнакомый старик, бритый, грязный, в турецком с большими цветами халате. В оттянутых книзу губах его потухшая папироса в толстом и коротком мундштуке, и идет он медленно, никуда не глядя, и на халате его огромные с завитушками узоры.

Уже догадываясь, но все еще не веря, Жегулев бросается за угол к тому окну, что из его комнаты, — и здесь все чужое, может быть, по-своему, и хорошее, но ужасное тем, что заняло оно родное место и стоит, ничего об этом не зная. И понимает Жегулев, что их здесь нет, ни матери, ни Линочки, и нет уже давно, и где они — неизвестно.

Три часа сидел Саша в каменном, недостроенном флигельке.

Не его это дело, человеческая жизнь: лез человек сюда, а теперь лезет обратно и уходит в темноту: навсегда.

Но что за странный характер у юноши! Там, где раздавило бы всякого безмерное горе, согнуло бы спину и голоду пригнуло к земле, — там открылся для него источник как бы новой силы и новой гордости. Правда, на лицо его лучше не глядеть и сердца его лучше не касаться, но поступь его тверда, и гордо держится на плечах полумертвая голова.

Так и не простившись, обманутый, идет он по дороге к смерти и думает:

«Вот и кончилось все: как просто и как необходимо! Да, соблазнился я, помутился ум, я и думал: побуду еще прежним Сашей, отдохну в прежнем перед смертью, — а кровь не пускает. Это она стала стеною и не пускает: конечно, они все там, и мать, и Женя, и все их видят, а я нет — стала стеною кровь и застит. И должен я остаться Сашкой Жегулевым, Александром Ивановичем: не Николай у меня отец, а какой-то Иван, и матери нет совсем — я Сашка Жегулев, Александр Иванович. Что ж! — я принимаю: аминь! Помутился ум, унизился я и попросил милостыни, а мне и не дали милостыни: иди, Жегулев, откуда пришел. Вот я и иду, Жегулев, откуда пришел: аминь и во веки веков. И уж не хочу я быть Сашей, я уж не прошу я милостыни ни у кого: буду идти как иду, хотя бы на миллионы и биллионы веков протянулся мой путь: сказано идти без отдыха Сашке Жегулеву».

Легко идет по земле тому, кто полной мерой платит за содеянное. Вот уже и шоссе, по которому когда-то так легко шагал какой-то Саша Погодин, — чуть ли не с улыбкой попирает его незримые отроческие следы крепко шагающий Сашка Жегулев, и в темной дали упоенно и радостно прозревает светящийся знак смерти. Идет в темноту, легкий и быстрый: лица его лучше не видеть и сердца его лучше не касаться, но тверда молодая поступь, и гордо держится на плечах полумертвая голова.

С пригорка, обернувшись, видит Жегулев то вечное зарево, которое по ночам уже стоит над всеми городами земли. Он останавливается и долго смотрит: внимательно и строго. И с тою серьезностью и простотою в обряде, которой научился у простых людей, Жегулев становится на колена и земно кланяется далекому.

19. Смерть Жегулёва

Завтра поплывут по небу синие холодные тучи, и между ними и землею станет так темно, как в сумерки; завтра придет с севера жестокий ветер и разметет лист с деревьев, окаменит землю, обесцветит ее, как серую глину, все краски выжмет и убьет холодом. Согнувшись зябко, подставят ветру спину, и к югу обернут помертвелое лицо свое и человек, и ломкие стебли засохших трав, и вершины деревьев, и мертвые в лугах поблекшие цветы. Согнется в линию бега все, что может согнуться, и затреплются по ветру конские гривы, концы одежд, разорванные на клочья столбики обесцвеченного дыма из низеньких и закоптелых труб. Уныло и длительно заскрипят стволы и ветви деревьев, и на открытой опушке тоскливо зашуршит сгорающий, свернувшийся дубовый лист — до новой весны всю долгую зиму он будет цепляться за ненужную жизнь, крепиться безнадежно и не падать. Закружатся в темной высоте гонимые ветром редкие хлопья снега и все мимо будут лететь, не опускаясь на землю, — а уже забелели каменные следы колес, и в каждой ямочке, за каждым бугорком и столбиком собираются сухие, легкие как пух снежинки.

Но сегодня в высоком лесу, как в храме среди золотых иконостасов и бесчисленных престолов, — тихо, бестрепетно и величаво. Колонками высятся старые стволы, и сам из себя светится прозрачный лист: на топкое зеленое стекло лампадок похожи нижние листья лапчатого резного клена, а верх весь в жидком золоте и багреце. Стекает золото на землю, и у подножья больших деревьев круглится лучистый нимб, а маленькие деревца и кустики, как дети лесные, уж отряхнулись наполовину от тяжелого золота и подтягивают тоненько. Как под высокими гулками сводами звонок шаг идущего, а голос свеж и крепок; отрывист и четок каждый стук, случайный лязг железа, певучий посвист то ли человека, то ли запоздалой птицы — и чудится, будто полон прозрачный воздух реющих на крыльях, лишь до времени притаившихся звуков.

И те вооруженные, что подкрадываются к убежищу Сашки Жегулева, отбивают дружный шаг на крепкой дороге, вразбродку подползают по оврагу, гнут спины на тропинках — себе самим кажутся слишком шумными и тяжелыми. Словно оттягивает руки смерть, которую несут к обреченному, вот-вот уронишь, и нашумит, побежит шорохами и лязгами, оброненная, и спугнет. Тише, тише! А лес бестрепетен и величав, и вся в бесчисленных и скромных огоньках стоит береза, матерински-темная, потрескавшаяся внизу, свечисто-белая к верхам своим, в сплетенье кружевном ветвей и тонких веточек.

Не поскупилась смерть на убранство для Сашки Жегулева.

Весь день и всю ночь до рассвета вспыхивала землянка огнями выстрелов, трещала, как сырой хворост на огне. Стреляли из землянки и залпами и в одиночку, на страшный выбор: уже много было убитых и раненых, и сам пристав, командовавший отрядом, получил легкую рану в плечо. Залпами и в одиночку стреляли и в землянку, и все казалось, что промахиваются, и нельзя было понять, сколько там людей. Потом, на рассвете, сразу все смолкло в землянке и долго молчало, не отвечая ни на выстрелы, ни на предложение сдаться.

— Хитрят! — говорил пристав, бледный от потери крови, от боли в ране, от бессонной и мучительной ночи.

Высокий, костлявый, с большой, но неровной по краям черной бородою, был он похож на Колесникова и, несмотря на револьвер в руке и на полувоенную форму, вид имел мирный и расстроенный.

— Пожалуй, что и хитрят! — отвечал молодой, но водянисто-толстый и равнодушный подпоручик в летнем, несмотря на прохладу, кителе: жалко было портить более дорогое сукно.

— Как же тогда быть? — недоумевал пристав, морщась от боли. — Еще пострелять?.. Видно, уж так.

Постреляйте еще, голубчик!

— Павленков отошел, ваше благородие, — доложил солдат.

— Ах, негодяи! — возмутился пристав. — Жарьте их в хвост и гриву... негодяи!

Постреляли и еще, пока не стало совсем убедительным ровное молчание; вошли наконец в страшную землянку и нашли четверых убитых: остальные, видимо, успели скрыться в ночной темноте. Один из четверых, худой, рыжеватый мужик с тонкими губами, еще дышал, похрипывал, точно во сне, но тут же и отошел.

— Говорил, убегут, вот и убежали! Надо же было целую ночь... эх! — страдальчески горячился пристав, наступая на толстого, равнодушно разводящего руками офицера. — Выволоките их сюда!

Трупы выволокли и разложили в ряд на месте от давнишнего костра. Пристав, наклонившись и придерживая здоровой рукой больную, близоруко осмотрел убитых и, хоть уже достаточно светло было, ничего не мог понять.

— Ну, конечно, — бормотал он, — ну, конечно, Жегулева-то и нет! Благодарю, значит, покорно: опять бегай по уезду и ищи. Эх!

— А этот не подойдет? — спросил офицер и слегка ткнул ногой один из трупов.

— Вы полагаете? — усомнился пристав. — Посмотрим, посмотрим!

В обезображенном лице, с выбитыми пулей передними зубами и разорванной щекой, трудно было признать Жегулева; но было что-то городское, чистоплотное в одежде и тонких, хотя и черных, но сохранившихся руках, выделявшее его из немой компании других мертвецов, — да и просто был он значительнее других.

— Если не убежал, то, пожалуй, и этот, — соображал пристав, переходя от надежды к сомнению.

Из разорванной щеки белели уцелевшие зубы, словно улыбался насмешливо убитый, — и вдруг вспылil мирный пристав.

— Смеешься, подлец? Посмейся, посмейся! — Но было бесцельно грозить мертвому, и, обернувшись, пристав закричал: — Егорку сюда! Где Егорка? Спрятался, сукин сын!

Пришел действительно прятавшийся Егорка и стал боком, стараясь не глядеть на трупы.

— Ты куда спрятался, а? Как до тебя дело, так ты в кусты?

— Покойников я боюсь.

— Покойников боишься, а разбойничать не боишься?! Я-т тебя!.. Признавай, подлец, Жегулева.

Егорка наскоро, точно купаясь в холодной воде, обежал глазами убитых и ткнул пальцем на Жегулева:

— Этот самый.

— Врешь, подлец!

— То не врал, а то врать стану: говорю, этот!

— Обыскать!

Обыскали мертвого, но ничего свидетельствующего о личности не нашли: кожаный потертый портсигар с одной сломанной папиросой, старую, порванную на сгибах карту уезда и кусок бинта для перевязки — может быть, и Жегулев, а может, и не он. В десятке шагов от землянки набрали на золотые, старые с репетицией часы, но выбросил ли их этот или, убегая, обронил другой, более настоящий Сашка Жегулев, решить не могли.

Потом пристав, совсем ослабевший, уехал на перевязку; ушла и рота, захватив своих убитых и раненых, а разбойников на самодельных носилках, а кое-где и волоком, доставили стражники в Каменку для опознания. Прибыл туда другой пристав, здоровый, молодой, сильно надушенный скверными духами, наехало большое и маленькое начальство, набрались любопытные — народу собралось, как на базаре, и сразу вытоптали траву около убитых. По предложению пристава, во всем любившего картинность, убитых стоймя привязали к вбитым в землю четырем колам и придали им боевую позу: каждому в опущенную руку насильственно и с трудом вложили револьвер, предварительно разрядив его.

И издали действительно было похоже на живых и страшных разбойников, глубоко задумавшихся над чем-то своим, разбойничьим, или рассматривавших вытоптанную траву, или собирающихся плясать: колена все время сгибались под тяжестью тела, как ни старались их выпрямить. Но вблизи страшно и невыносимо было смотреть, и уже никого не могли обмануть мертвецы притворной жизнью: бессильно, по-мертвому, клонились вялые, точно похудевшие и удлинившиеся шеи, не держа тяжелой мертвой головы.

Трое суток в бессменном дежурстве стояли над Каменкой мертвецы, угрожая незаряженными револьверами; и по ночам, когда свет костров уравнивал мертвых с живыми, боялись близко подходить к ним и сами охранявшие их стражники. Но так и оставался нерешенным вопрос о личности убитого предводителя: одни из Гнедых говорили, что Жегулев, другие, из страха ли быть замешанными или вправду не узнавая, доказывали, что не он. К тому же, как раз в одну из этих ночей разлилось зарево за лесом, и сразу распространился неведомо откуда слух, что это жжет новые усадьбы Сашка Жегулев.

Собрались на горке мужики без шапок и босиком, смотрели на далекий разгоравшийся пожар и, боясь и стражников и тех четырех, что неподалеку молчали и тоже как будто смотрели на пожар, тихо и зябко перешептывались:

— Вот тебе и поймали!

— Его поймашь! Ты его здесь пригвоздил, а он на тебе: жгет.

— Чего ж не жечь, когда само горит... Эх, и сапожки хороши у разбойничка, то-то бы погреться. А то, пляши не пляши, нет тебе настоящего ходу.

Говоривший зябко перебрал и топнул ногами, словно и вправду собирался плясать. Тихо засмеялись.

— Поди да сыми.

— Сам поди, а я и тут хорош. Надо быть, у Плыновых горит.

— Сказал! Плыновы вон где, а он: у Плыновых! Плыновых еще погоди.

Засмеялись тихо. Кто-то громко, чтобы слышали стражники, сказал:

— Сам помещик и жгет, для страховки, а на других только слава. В дубье их надо!

Из молчаливой кучки стражников, смотревших на пожар, донесся угрюмый окрик:

— Поговори там! Храбер ты, как темно, а ты днем мне скажи, чтоб морду твою видеть.

— Моя морда запечатанная, ввек тебе ее не увидеть!

Уже громко засмеялись, и другой насмешливый голос крикнул стражнику:

— То-то ты не трус! Эй, гляди назад: Жегулев стрелять хочет!

Оглянулись.

В призрачном свете, что бросали на землю красные тучи, словно колыхались четыре столба с привязанными мертвецами. Чернели тенью опущенные лица тех трех, но голова Жегулева была слегка

закинута назад, как у коренника, и призрачно светлело лицо, и улыбался слишком большой, разорванный рот с белеющими на стороне зубами.

Так в день, предназначенный теми, кто жил до него и грехами своими обременил русскую землю, — умер позорной и страшной смертью Саша Погодин, юноша благородный и несчастный.

20. Эпилог

На другое утро после визита к губернатору обе женщины вместе отправились искать по городу квартиру, и Елена Петровна, медленно переходя с одной стороны на другую, сама читала билетики на окнах и воротах. И взяли квартирку в центре города, на одной из больших улиц, нарочно там, где ходит и ездит много народу — в нижнем этаже трехэтажного старого дома, три окна на улицу, остальные во двор. Темноватая была квартира, хотя не вешали ни драпри, ни занавесей, и только на уличных, квадратных, глубоких в толстой стене окнах продернули на веревочке короткие занавесочки от прохожих. У этих окон были почему-то мраморные, холодные подоконники, а в одной комнате находился серый мраморный камин, больше похожий на умывальник: по-видимому, предназначалась когда-то квартира для роскоши, или жил в ней сам владелец.

Переехав, начали было расставлять мебель, но на половине бросили, и через два месяца комнаты имели такой же вид, как и в первый день переезда: в передней стояли забитые ящики и сундуки, завернутые в мочалу вешалки — платья вешали на гвоздиках в стене, оставшихся от кого-то прежнего; стоял один сундук и в столовой, и горничная составляла на него грязную посуду во время обеда. Чай пили и обедали вдвоем только на кончике большого стола, и только кончик этот застилался скатертью — словно так велик был Саша, что один занимал всю ту большую голую половину стола. И часто весь день, не убираясь, стоял холодный самовар и грязные чашки: обленилась горничная, увлеченная жизнью большой и людной улицы со многими лавками, только потому и оставалась, что служит у генеральши.

Никто у Погодиных не бывал: сперва и приезжали, но Елена Петровна никого не принимала, и вскоре их оставили в покое, и одиноко, только друг с другом, жили обе женщины, одетые в черное. Когда в половине августа наступило учебное время, Линочка не пошла в гимназию, и так получилось, что она гимназию бросила, хотя ни мать, ни она сама об этом не говорили и не вспоминали: так вышло. За лето Линочка выросла до одного роста с матерью и так сильно похудела, что больше стала похожа на другого, нового человека, чем на себя. И исчезло куда-то сходство с покойным отцом, генералом, а вместо того с удивительной резкостью неожиданно проступили и в лице, и в манерах, и в привычках материнские черты. Тот легкий, полудетский сон, оставшийся от детства, что даже плачущим глазам Линочки придавал скрытое выражение покоя и счастья, навсегда ушел: глаза раскрылись широко и блестяще, углубились и потемнели; и лег вокруг глаз темный и жуткий обвод страдания, видимый знак печали и горьких дум. Еще странность и новизна: русые волосы, особенно напоминавшие генерала, в одно лето потемнели почти до черноты и, вместо мелких и веселых завитушек, легли на красивой и печальной головке тяжелыми без блеска волнами.

Изредка, в хорошую погоду и обычно в тихий час сумерек, обе женщины ходили гулять, выбирая без слов и напоминаний те места, где когда-то гуляли с Сашенькой; обе черные, и Елена Петровна приличная и важная, как старая генеральша, — ходили они медленно и не спеша, далеко и долго виднелись где-нибудь на берегу среди маленьких мещанских домишек в мягкой обесцвеченности тихих летних сумерек. Иногда Линочка предлагала присесть на крутом берегу и отдохнуть, но Елена Петровна отвечала:

— Ты знаешь, Линочка, что я люблю сидеть только на лавочке.

Нашлась одна такая старая без спинки лавочка, поставленная на берегу любителем природы, и там иногда сидели, смотря на реку и проходящие пароходы. И когда проходил пассажирский пароход, спозаранку расцветившийся огнями, Елена Петровна не спеша рассматривала его в очки, которые для дали, и говорила:

— Надо бы нам, Линочка, поехать по реке.

Линочка смотрела, делая вид, что ей тоже очень интересно, и думала молча: «Отчего я теперь не умею говорить? Мне надо бы сказать сейчас, что на пароходе очень интересно и что надо бы поехать, а я не знаю, что говорить, и молчу».

Но гуляли женщины редко, — и день и вечер проводили в стенах, мало замечая, что делается за окнами: все куда-то шли и все куда-то ехали люди, и стал привычен шум, как прежде тишина. И только в дождливую погоду, когда в мокрых стеклах расплывался свет уличного фонаря и особенным становился стук экипажей с поднятыми верхами, Елена Петровна обнаруживала беспокойство и говорила, что нужно купить термометр, который показывает погоду.

— Барометр, мамочка, — поправляла Линочка, а Елена Петровна соглашалась:

— Да, да, барометр.

Случалось, что с утра обе они начинали ходить по столовой, которая была больше других комнат, и ходили до самой ночи, только на короткое время присаживаясь для обеда и чая. Вносила горничная лампу, — висячую лампу над столом все только собирались достать из ящика, — и тогда ходили при свете, а забывала горничная внести — ходили в растущей темноте, все более приближавшейся к цвету ихних платьев, пока не становилось трудно различать предметы. И хотя обе все время только и думали что о Саше, но почти не говорили о нем: сами мысли казались разговором, и Линочка, забываясь, даже боялась думать страшное, чтобы не услышала мать. И по комнате Елена Петровна ходила с крайней медленностью, смотрела вниз, слегка склонив голову, и перебирала прозрачными пальцами тоненькую домашнюю цепочку от часов, старушечьи заострив локти в черном блестящем шелку. И однажды сказала, продолжая вслух свои мысли:

— Помнишь, Линочка, я говорила как-то, что у Сашеньки нет никаких талантов?

— Это я говорила, мамочка, ты ошибаешься.

— Нет, дружок, это ты ошибаешься, и говорила я. Теперь ты видишь, какой у Сашеньки талант?

— Да.

— Очень, очень большой талант. Но только, конечно, совсем особенный, мужской, и нам с тобой никогда его не понять, Линочка.

Спали обе женщины в одной комнате, и мать никогда не узнала, каким это было ужасом для измученной, в своем огне горевшей Линочки. И ужас начинался с той минуты, как тушилась свеча, и Линочка знала, что мать не спит и не заснет, и думает свое, и лежит тихонько, чтобы не мешать Линочкиному сну. Невыносимо было молчание и притворство, а в нем проходили часы, — и вот начинала громче вздыхать Елена Петровна, думая, что заснула дочь и она теперь одна и никому не мешает. И вздыхала не торопясь, надолго; потом, забывая окружающее, начинала тихонько со вздохами шептать, и шептала долго, неразборчиво, как скребущаяся мышь. Минут на пять переставала шептать и вздыхать и неопределенно замолкала: и в эти пять минут переставало биться сердце у Линочки в мучительном ожидании. И снова начинались в постепенности вздохи и шепот, велись какие-то бесконечные разговоры; видимо, Елена Петровна все-таки сознавала окружающее — вдруг белым призраком в своей ночной кофточке поднимется и поправит начавшую коптить лампадочку за зеленым стеклом. Подняв голову, испуганно следит за ней Линочка и бесшумно прячется в одеяло: и тихонько поскрипывает постель, давая место старому телу, и снова в постепенности зарождаются вздохи и шепот, точно какую-то стену прогрызает осторожная и пугливая мышь. Иногда прозвучит и разборчивое слово, малоговорящая фраза, озабоченный вздох:

— Дождь-то какой... ай-ай-ай. Дождь-то какой...

И непременно наступит после этого пятиминутное молчание: словно испугалась мышь громкого голоса и притаилась... И снова вздохи и шепот. Но самое страшное было то, когда мать белым призраком вставала с постели и, став на колени, начинала молиться и говорила громко, точно теперь никто уже не может ее слышать: тут казалось, что Линочка сейчас потеряет рассудок или уже потеряла его.

— Сын мой, Сашенька!..

Так начиналась молитва, а дальше настолько безумное и неповторяемое, чего не воспринимали ни память, ни слух, обороняясь, как от кошмара, стараясь не понимать страшного смысла произносимых слов. Сжавшись в боязливый комок, накрывала голову подушкой несчастная девочка и тихо дрожала, не смея повернуться лицом к спасительной, казалось, стене; а в просвете между подушками зеленоватым сумерком безумно светилась комната, и что-то белое, кланяясь, громко говорило страшные слова.

Только к рассвету засыпала мать, а утром, проснувшись поздно, надевала свое черное шелковое платье, чесалась аккуратно, шла в столовую и, вынув из футляра очки, медленно прочитывала газету.

И чай наливала Линочка, печальная, красивая и спокойная девушка в черном платье.

Эта газета, которую по утрам читала мать, была опять-таки мучением для дочери: нужно была проснуться раньше и каждое утро взглянуть, нет ли такого, чего не может и не должна читать Елена Петровна. И однажды утром, — это было еще в конце июля месяца, — просматривая газету, Линочка нашла известие, что вчера убит в перестрелке знаменитый разбойник Сашка Жегулев. Так до самого выхода Елены Петровны она и не решила, что делать ей с собой и с газетой, и в спальню поздороваться с матерью, как обычно, не пошла и, держа в груди всю буйную толпу задержанных рыданий, молча, не здороваясь, подала газету. Елена Петровна взглянула на дочь, потом на газету и, сразу заторопившись, не попадая за уши тонкой оправой очков, молча трясла головою, искала строки, еще не видя. Наконец прочла и не спеша сняла очки дрожащими пальцами и внимательно посмотрела на Линочку:

— Это не Сашенька... успокойся, не плачь, это не Сашенька.

Но уже вырвались на свободу рыдания: билась в черных коленях у матери плачущая девушка и кричала:

— Откуда ты знаешь! Да родная же моя мамочка, я сейчас умру, умру, умру. Откуда ты знаешь?

Тихо плакала — за дочь, а не за себя — Едена Петровна и успокаивала бережно:

— Успокойся, деточка, не плачь, это не Сашенька. Я знаю, не плачь, это не Сашенька, нет, нет...

И весь день в тоске, не доверяя предчувствиям матери, провела Линочка, а следующий номер газеты принес чудесное подтверждение: убит, действительно, не Сашка Жегулев, а кто-то другой. И снова без отмет и счета потянулись похожие дни и все те же страшные ночи, вспоминать которые отказывались и слух, и память, и утром, при дневном свете, признавали за сон.

К концу августа что-то новое появилось в мыслях Елены Петровны: медленно, как всегда, прохаживаясь с дочерью по комнате, она минутами приостанавливалась и вопросительно глядела на Линочку; потом, качнув головой, шла дальше, все что-то думая и соображая. Наконец решила:

— Ты замечаешь, Лина, что уже давно не слышно о Сашеньке? Ты, девочка, должна была это заметить, это так заметно.

Линочка нерешительно возразила:

— Нет, мамочка, в газетах пишут.

— Ах, мало ли что пишут в этих газетах, как ты можешь этому верить. И знаешь ли, что я думаю, Линочка?

И с строгим достоинством, точно поглубже стараясь скрыть тихую радость, Елена Петровна высказала догадку, скорее, утверждение:

— Я думаю, Линочка... и не думаешь ли ты, что Сашенька мог уехать в Америку? Тише, тише, девочка, не возражай, я знаю, что ты любишь возражения. Америка достаточно хорошая страна, чтобы Сашенька мог остановить на ней свой выбор, я же хорошо помню, он что-то рассказывал мне очень хорошее об этой стране. Неужели ты не помнишь, Линочка?

Но больше к этой мысли, на некоторое, по крайней мере, время, она не возвращалась: была ли обижена недоверием, или же сама еще недостаточно твердо решила вопрос. Когда в конце октября появилось известие о смерти Сашки Жегулева, то и к этому известию Елена Петровна отнеслась с тем же спокойным недоверием и на несколько часов поколебала даже Линочку. Но было что-то неувлимо-страшное в черных строках, в каких-то маленьких подробностях, — и, мучаясь неизвестностью, Линочка пошла в город, к Жене Эгмонт. Вернулась она довольно скоро, и глаза у нее были странные, но день прошел обычно; а на следующее утро она снова уходила, и так несколько дней подряд, и глаза у нее были странные, — но в остальном все шло по-обычному.

Только обеспокоила Елену Петровну как раз в эти дни разразившаяся буря: гремело на вывесках железо от ледяного северного ветра, уныло-сумрачен был короткий день, и, хотя настоящего снега не было, — около тротуарных тумбочек, и у стен, и в колдобинах мостовой забелелось, намело откуда-то. Весь день Елена Петровна посылала смотреть на градусник, ужасаясь растущему холоду, а ночью, в свисте ветра, в ударах по стеклу то ли сухих снежинок, то ли поднятого ветром песку, зашептала раньше обыкновенного, потом стала кричать и с криком молиться.

Но буря пронеслась, наступил день, и Елена Петровна успокоилась и снова, останавливаясь, начала вопросительно поглядывать на Линочку. Уже давно никто не нарушал их одиночества даже звонком, и, когда в прихожей среди тишины резко звякнул звонок, Елена Петровна вздрогнула и, трясаясь, сразу зашпешив с очками, обратилась к двери; молчала Линочка, не трогаясь с места, и кто-то тихо раздевался в прихожей.

— Кто это? — воскликнула Елена Петровна. — Зачем вы меня пугаете?

И в высокой стройной девушке, одетой в черное, не сразу узнала Женю Эгмонт, а та стояла в дверях и плакала, и плакала навзрыд Линочка, и стало так страшно!..

Неслышно шагнула вперед Женья и, склонившись на колена, припала к прозрачным, дрожащим рукам своей мокрой, холодной щекой; и говорила вздохами и слезами:

— Мамочка! Мамочка!

Но Елена Петровна отталкивалась и трясла головой:

— Саша умер? Саша умер?

— Да нет же! — кричала Линочка и кричала Женья. — Он жив, он жив!

— А, жив, так что же вы! — как будто даже со злобой говорила Елена Петровна и в другое перенесла свою тоску, боль, мучительный испуг, — вцепилась обеими руками в худенькие, податливые плечи Жени, сильная и безжалостная, трясла ее и кричала:

— Нет, ты веришь! Ты пришла... нет, ты веришь, что он поступает хорошо, хорошо? Говори же, ты веришь! Женья!

— Верю, мамочка. Я его невеста. Я с тобою буду ждать его!

С этого дня три в черном шелестом своих платьев будили тишину темных комнат, тихо ходили, еле

слышно касаясь друг друга, говорили ласковыми словами. Мелькнет узкая рука, в озарении любви и душистого тепла колыхнется что-то нежное: шепот ли, слившийся с шелестом платья, или заглушенная слеза: мать — сестра — невеста.

Пал на землю снег, и посветлело в комнатах. И уже не те стали комнаты: занялись обе девушки уборкой и раскрыли ящики, расставили мебель, повесили драпри и гардины — при равнодушном внимании Елены Петровны. Одну комнату оставили для Саши.

По вечерам все сидели вместе, разговаривали о разном и много читали: теперь Елена Петровна совсем поверила, что Саша уехал в Америку, и каждый вечер, надевая очки, — она и слушала почему-то в очках, — просила:

— Ну-ка, Линочка, почитай мне об Америке... ты ничего не имеешь против, Женечка? Это очень хорошая страна.

— Я и сама буду читать, мама, — отвечала Женя весело, — мы будем по очереди.

— Вот все и устраивается прекрасно. Читай же, Линочка.

Читали по очереди девушки: и пока ходила плакать одна, читала другая. И, шутя утверждая бессмертие жизни и бесконечность страдания, Елена Петровна вытирала под очками глаза, потом снимала и прятала в футляр, говоря со вздохом:

— Теперь Сашеньке хорошо. Америка очень хорошая страна, очень!

19 октября 1911 года

Иго войны

Признания маленького человека о великих днях

*Илье Ефимовичу Репину
с любовью и глубоким уважением
посвящает
автор*

Часть первая

1914 год

С.-Петербург, августа 15 дня

Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство: почему я тогда так сильно испугался?

Ну, война и война, – конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое... давно ли была хоть бы та же японская? Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил: служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях.

Положим, нельзя отрицать и того, что в душе есть-таки довольно сильное беспокойство или тревога... не знаю, как это назвать; или даже вернее: некоторая сосущая тоска, наиболее заметная и ощутимая по утрам, за чаем. Как прочтешь эти газеты (теперь я беру две большие газеты, кроме «Копейки»), как вспомнишь, что делается там, обо всех этих несчастных бельгийцах, о детишках и разоренных домах, так сразу точно холодной водой обольют и голым выгонят на мороз. Но опять-таки и здесь нет никакого страха, а одна только человеческая жалость и сочувствие к несчастным.

А тогда я испугался чрезвычайно, положительно до смешного, теперь не только рассказать, но и наедине вспомнить стыдно. Представить себе только одно: 20-го июля я заплатил тридцать рублей за дрянную подводку, чтобы из Шувалова, с дачи, добраться до города, а через каких-нибудь пять дней со всею семьею ехал по жел. дороге обратно на дачу и жил там преспокойнейшим образом до 17-го августа. Стыдно вспомнить, что тогда с нами делалось! Жена, немытая и нечесаная, совсем обестолковела и имеет вид безумной, дети трясутся на телеге, а я, отец семейства, марширую рядышком по шоссе и чувствую так, будто позади меня началось светопреставление и надобно всем нам бежать, бежать без оглядки, бежать бесконечно... не до Питера только, а до самой неведомой границы земли.

Во всех лавках по дороге хлеб продают, сколько хочешь, а у меня – в кармане за каким-то дьяволом сухая корка! На всякий случай, предусмотрительность и расчет. О Господи!

Погода была превосходная, чудесная, а нам и в погоду-то не верилось, все казалось, что либо польет дождь, как в потоп, либо внезапно выпадет снег и ударит мороз – это в июле-то! – и всех нас погубит на полпути; уж как мы все гнали нашего извозчика! Помню одно еще обстоятельство, самое постыдное: сорвал я около дороги какой-то голубенький цветочек, колокольчик, и дал его Лидочке, моей девочке, пошутил с нею; и это бы ничего, вполне естественно, так как я очень люблю моих детей и особенно Лидочку... но что я думал про себя, когда шутил? Думал: «вот до чего я мало потерялся и вполне владею собой, не то что другие: даже цветочки еще рву, шучу, детей и жену ободряю»!

Вот какой герой сверхъестественный!

А что было, когда мы к вечеру ввалились в нашу квартиру, какая Пасха необыкновенная! Истинный восторг, блаженство и ликование! А когда свечку зажгли (электричество еще было закрыто по случаю отъезда) и всей семьей за самоваром расселись!

Но что самое удивительное: решительно не могу припомнить, когда прошел у меня этот дурацкий страх и как это случилось, что всего через пять дней мы спокойнейшими дачниками ехали обратно и, главное, нисколько себя не стыдились! Положим, половина вагона состояла из таких же героев, как и мы, но как мы друг на друга смотрели? Не помню. Просто никак и не смотрели, а ехали обратно, и все тут. Герои! Да еще рассказывали друг другу, сколько каждый дурак за подводу отвалил, и тоже без всякого стеснения.

Конечно, в значительной степени меня подвинула жена, Александра Евгеньевна, своим почти что бессловесным ужасом, и так я теперь знакомым объясняю тогдашнее наше бегство «в Египет», но для совести моей этого объяснения недостаточно. Сдрейфил! Главное: будь бы я от природы трус, баба – тогда и все бы понятно, и совесть бы моя не тревожилась... какая совесть у труса, трусу ничего не стыдно! Но я вовсе от рождения не трус, скорее смелый человек и за себя всегда постоять могу, и нашло же на меня какое-то затмение! Словно какая-то судорога случилась у меня в мозгу и помутился белый свет. Ведь если со стороны поглядеть, как я по шоссе маршировал и весьма храбро собирал цветочки, так ведь истинный дурак, трус и подлец, а я себя не на шутку умным почитал: как же – и телегу достал, и вот детей спасаю, и в кармане у меня корка... не как-нибудь, а с запасом человек!

Но отчего же все это?

Теперь я так это объясняю. По-видимому, мне, как и всем другим, в тот день что-то представилось, какое-то сверхъестественное видение, настолько поразительное, страшное и необыкновенное, что даже и на войну оно не было похоже. Положительно, как ни стараюсь, не могу припомнить, в чем тут дело, что это за сон приснился наяву... да, именно что-то вроде светопредставления, конца земли и полной гибели всего живущего. Точно где-то гром прогремел и со звоном раскололась земля, дала трещину, от которой надо бежать и спасаться.

Одно я вполне отчетливо помню: самих немцев с их кайзером я нисколько не боялся и даже вовсе позабыл о них, как будто и не в них дело; да и как могли немцы в один день прилететь в Шувалово – всякий дурак понимал, что это невозможно, глупо даже думать.

Да и кто такие немцы? В конце концов все такие же люди, как и мы, и нас они, вероятно, боятся ни больше, ни меньше, чем мы их. Дело, так сказать, обоюдное... А здесь – не то звери допотопные гнались по пятам и голали по земле своими ножищами, не то... нет, и не звери! Что такое – зверь? Какие звери? Кто их теперь боится? Пустяки, не в этом причина, а в том, что произошла в мозгу какая-то судорога и помутился белый свет. Именно: помутился и весь перевернулся, днищем вверх, точно я не на ногах, а на руках иду, как акробат.

Вот еще помню я, как тогда, на шоссе, меня удивляло все, самое обыкновенное и ни в каком отношении не замечательное. Идет, например, навстречу человек, а я гляжу, как он ногами перебирает, и удивляюсь: ишь, идет! Или курица выскочила на дорогу, или котенок под лопухом сидит – тоже удивительно: котенок. Или я говорю лавочнику «здравствуйте!», а он мне тоже отвечает «здравствуйте», а не какое-нибудь совсем непонятное: бала-бала.

Улицы в городе увидели – опять все удивились, точно двести тысяч выиграли; городской на углу стоит (даже еще знакомый) – опять все заахали от изумления и радости! Как будто от двух слов Вильгельма: «война объявлена» все это должно было провалиться в преисподнюю: и котенок, и улица, и городской; и самый язык человеческий должен был замениться звериным мычанием или непонятным лопотом. Какие дикие вещи могут представиться человеку, когда он испугался!

Теперь я уж ничего не понимаю в этом страхе своем и только стыжусь. Есть и еще один факт, кроме Лидочкиного цветочка, который очень больно колет мою совесть. Трус я или нет, об этом ввиду

вышеизложенного можно теперь говорить только с догадкой, но в честности своей я всегда был уверен. Здесь, в дневнике, наедине с Богом и моею совестью, могу сказать даже больше: я не только честный, а замечательно честный человек, чем по справедливости горжусь. Впрочем, таким меня и люди знают.

И вот я, по совести моей столь замечательно честный и порядочный человек, 20-го проклятого июля оставил в Шувалове нашу кухарку Анисью, несмотря на ее слезы и мольбы.

Разумеется, теперь и это только смешно и может вызвать только улыбку: ну что могло сделаться с этой душой Анисьей в Шувалове? Да ничего и не сделалось, и через два же дня она сама явилась, как писаная, на нашу городскую квартиру, ухитрилась как-то попасть на поезд и даже банку с малосольными огурцами привезла. Но тогда это было совсем иное дело: ведь я бежал и вывозил семью, спасая ее от какой-то гибели, а ее оставил потому, что и места не хватало на телеге и, главное, нужно было оставить человека убрать и постеречь вещи. О вещах-то не забыл, буржуй!

Одно можно сказать в утешение: Анисья хоть и плакала тогда и просилась с нами, но нисколько не обиделась, что ее не взяли, и никогда никого из нас не упрекает. Дура баба.

Август 16 дня

Этот дневник мой я пишу по вечерам и ночам под видом служебных бумаг, которые якобы беру на дом из конторы. Александра Евгеньевна, моя жена, во всех отношениях чудесный и даже редкий человек, интеллигентный, добрый и отзывчивый, но все же между нами есть некоторая разница, какая есть между собою и всяким другим самым близким человеком; и для меня крайне важно и необходимо, чтобы никто не читал написанного мною, иначе я потеряю свободу в выражении моих мыслей. Не считая того, что о многом говорить стыдно даже с близкими и любимыми людьми, в моих теперешних мыслях я усматриваю даже опасность некоторого соблазна для менее сдержанных натур, нежели моя. Не буду мешать людям думать свое, но не хочу, чтобы и мне мешали.

Начну с великого признания: какой я среди всеобщего несчастья бессовестно счастливый человек! Там война, кровь и ужасы, а здесь моя Сашенька только что выкупала в теплой воде ангелочка Лидочку и бурбона Петьку, а теперь докупывает Женю и чего-то смеется; потом она будет делать что-то свое, прибираться к завтрашнему воскресенью, может быть, поиграет на пианино. Вчера мы получили открытку от Павлуши, и теперь неделю Сашенька будет весела и спокойна; конечно, нельзя знать, что случится, но если не очень заглядывать в будущее, то наша жизнь одна из самых счастливых. Пианино мы берем напрокат, для Сашеньки, которая очень любит музыку и готовилась в консерваторию; ввиду военного времени, для сокращения расходов, Сашенька хотела отказаться от инструмента, но я решительно настоял на том, чтобы его оставить: что такое пять рублей в месяц, когда музыка всему дому дает такое приятное настроение! Да и Лидочка уже начинает подучиваться, у нее несомненный талант, даже удивительный в ее шесть с половиною лет.

Да, я счастлив, и вот главные причины моего счастья, о которых никому, кроме дневника, сказать не решусь. Мне сорок пять лет, и, следовательно, что бы там ни случилось, я ни в каком случае призыву не подлежу. Конечно, как об этом скажешь вслух! Наоборот, приходится слегка притворяться, как и всем, что будь я помоложе да здоровее, так непременно пошел бы добровольцем и прочее, но, в сущности, я невыразимо счастлив, что могу, нисколько не нарушая закона, не идти на войну и не подставлять себя под какие-то дурацкие пули.

Здесь я еще соткровенничаю. Когда у нас в конторе рассматривают карту и кричат, что эта война необыкновенная, кому-то до крайности необходимая, я, собственно, не спорю: кому нужны мои маленькие возражения? Или засмеют, или еще начнут стыдить, как недавно до слез застыдили конторщика Васю. Наконец, ввиду общего подъема мои неосторожные слова могут быть просто вредны – мало ли как их истолкуют!

Но что бы ни говорили в конторе и как бы ни кричали и ни распинались за войну газеты, про себя я твердо знаю одно: мне ужасно не нравится, что война. Очень возможно (да это так и есть), что более высокие умы: ученые, политики, журналисты способны усмотреть какой-то смысл в этой безобразной драке, но моим маленьким умом я решительно не могу понять, что тут может быть хорошего и разумного. И когда я представляю, что я пошел на войну и стою среди чистого поля, а в меня нарочно стреляют из ружей и пушек, чтобы убить, прицеливаются, стараются, из кожи вон лезут, чтобы попасть, то мне даже смешно становится, до того это пахнет какою-то сверхъестественной глупостью.

Вот сейчас я нарочно всего себя осмотрел сверху донизу: что во мне такого соблазнительного, чтобы целиться, и где этот соблазн сидит: во лбу? в груди? в животе? И сколько я себя ни осматриваю и сколько ни ощупываю, вижу только одно: человек я как человек, и только дураку придет в голову стрелять в меня. Поэтому я и пули, нисколько не снесаясь, назвал дурацкими. И когда я представляю дальше, что против

меня на другой стороне сидит немец и так же ощупывает свой живот и считает меня с моим ружьем форменным дураком, мне становится не только смешно, но и противно.

Ну, – а если немец не ощупывает своего живота и совершенно серьезно целится, чтобы убить, и понимает, зачем это надо? И если выходит так, что дурак-то я с моим непониманием, да мало того, что дурак, а еще и трус? Что ж – очень возможно. Возможно, что и дурак. Возможно, что и трус. Вдруг не один я в Питере, а тысяча, сто тысяч ведет такие же дневники, и тоже радуются, что их не призовут и не убьют, и рассуждают точь-в-точь так же, как и я?

Ну, и пускай. Разумеется, гордости очень мало в том, чтобы бояться за свою жизнь и ощупывать живот, как кубышку, и Георгия с бантом за это не получишь, но я и не гонюсь за Георгием и в герои Малахова кургана не лезу. Вся мою жизнь я никого не трогал и, что бы там ни пели, имею полное право желать, чтобы и меня не трогали и не стреляли в меня, как в воробья! Не я хотел войны, и Вильгельм ведь не прислал ко мне посла с вопросом, согласен ли я драться, а просто взял и объявил: дерись!

Само собой понятно, что я люблю мою родину, Россию, и раз на нее напали, то будь это хоть дурак или сумасшедший, я должен защищать ее, не щадя этого своего живота. Это само собою понятно, и говорю по чистой моей совести, клянусь Богом, что если бы я подлежал призыву, я и не подумал бы уклоняться, притворяться больным или, пользуясь протекцией, прятаться где-нибудь в тылу, за тетенькиной юбкой. Но и тогда вперед, на рожон, я не полез бы, а ждал бы на своем месте заодно с другими, пока меня убьют или я убью кого там надо.

Все это само собою понятно, и дело в том, что мне, по счастью, сорок пять лет, и я имею полное право не трогаться с места, думать и рассуждать, как хочу, быть трусом и дураком, а может быть, и не дураком – мое право. Судьба! Вместо того чтобы называться Ильей Петровичем Дементьевым и жить в городе Петербурге, на Почтамтской, я мог быть каким-нибудь бельгийцем, Меттерлинком и теперь уже погиб бы под немецкими снарядами. Но я именно Илья Петрович, которому сорок пять лет и который живет на Почтамтской, в Петербурге, куда никогда не прийти озверелым германцам, и я счастлив.

Да и мало ли что могло быть! Могло быть и то, что вместо нашего банкирского дома, который крепок, как стена, и выдержит всякую войну, я мог бы служить в каком-нибудь жиденском дельце, которое сейчас уже рухнуло бы, как рухнули многие... вот и остался бы я на улице с моей Лидочкой, выигрышным билетом и пятью сотнями рублей из сберегательной кассы – тоже положение! А мог бы быть поляком из Калища, или евреем, и тоже бы лежал сейчас во рву, как падаль, или болтался на веревке! У всякого своя судьба.

Но гадать о том, чего нет, совершенно бесполезно, и сколько бы я ни жалел бельгийца или нашего солдата, который погибает в окопах, я не могу радоваться тому, что я есть то, что я есть. Господи! – вместо моей чудесной Сашеньки у меня и жена могла бы быть какой-нибудь дрянью, каких достаточно на свете, и это также была бы судьба, и не могу я не радоваться своему счастью, раз оно есть.

...Сейчас Сашенька играла бельгийский гимн, и я слушал. Какая прекрасная музыка! Сколько в ней воодушевления и любви к родине и свободе! Слушаешь ее, и даже слезы навертываются на глаза, и так жаль становится бедных бельгийцев, которым не помогла ни эта прекрасная музыка, ни любовь к родине, задушит их проклятый немец.

Нет! Сколько ни доказывай наши конторские политики, а никогда не соглашусь я, что эта война хороша. Какие глупости! Людей режут и душат, а они уверяют, что это и надобно, что это и хорошо – потом, дескать, возьмем мы Берлин и справедливость восторжествует. Какая справедливость? Для кого? А если среди погибших бельгийцев был вот такой же Илья Петрович, как и я (а почему ему и не быть?), то очень ему пригодится эта справедливость!

Сашенька говорит, что поздно, зовет спать. Или мне и тому не радоваться, что после дня честной

работы я иду спать?

Петроград, августа 19 дня, вторник.

День исторический: переименовались в Петроград. Отныне я петроградец.

Оно красиво, да и трудно будет привыкать. Контора наша радуется новизне, а мне от души жаль старого Петербурга, да еще Санкт-Петербурга. В этом Петрограде чувствуешь себя так, будто в новом сюртуке весь день торчишь в приемной у начальства; и хорош сюртук, а все жаль старого пиджачка, в котором каждое пятно говорит о приятном уюте.

Августа 22 дня

Мы продолжаем побеждать. Пруссия занята нашими войсками, и прошел слух, что не нынче завтра будет взят Кенигсберг. Это важно! А сегодня сообщение от штаба, что взяты Львов и Галич и австрийцы совершенно разбиты.

Нечего греха таить: как я ни миролюбив, а все-таки приятно и самому поздравлять и принимать поздравления. Если уж воевать, так лучше бить, нежели самому быть битым. Но как разгорается война, как быстры ее огнедышащие шаги! Мне это напоминает один пожар, который я видел в детстве, живя в большом селе: только что загорелся один дом, а через час все уже соломенные крыши полыхают, конца-краю нет огненному морю.

Любопытно для моралистов некоторое свойство человеческой души: что хорошего в пожаре? – а чем яростнее разгорается огонь, тем несомненное какое-то праздничное ощущение. Или это так празднично действует звон колоколов, блеск пожарных и суетливые толпы? Юность мою я провел в провинции, где и гимназию окончил, и помню, с какой быстротой летали мы на всякий пожар, где бы он ни случился. Мастеровые бросали работу и неслись туда же, и никто не стеснялся своего костюма и неумытого лица; и только, бывало, пронесется крик: «пожар!», все мужчины и мальчишки лезут на крыши, гремя железными листами, и стоят, еле держатся, протягивают вдаль указательные персты, как полководцы на памятнике. И даже в гимназии, когда мимо проезжал с колокольцами пожарный обоз, учителя не запрещали всем бросаться к окнам, да и сами смотрели.

Конечно, о несчастных погорельцах мало кто думал в эту минуту. Признаться, я и сейчас испытываю некоторое возбуждение и с огромным любопытством смотрю на картину европейского пожара, гадая о каждом новом дне. Хотя лично я предпочел бы мир, но утверждение наших конторских, что мы, современники и очевидцы этой необыкновенной войны, должны гордиться нашим положением, – несомненно, имеет некоторые основания. Гордиться не гордиться, а интересно.

Один тяжелый камень на сердце – это Павлуша. Пока все благополучно и он где-то в Пруссии шагает победителем, но кто может поручиться за завтрашний день? А где был бы я теперь, да и был бы, если бы не сорок пять лет мне считалось от роду, а двадцать – тридцать? Вот охлаждающая мысль, к которой почаше следует возвращаться, не увлекаясь чрезмерно интересными картинами.

Сентября 7 дня, воскресенье

Вот уже две недели и два дня, как от Павлуши нет никаких известий. По последним его письмам можно было заключить, что он где-то в Пруссии, где так ужасно были разбиты Самсоновские корпуса. Конечно, Сашенька в страшном беспокойстве, а тут еще каждый почти день приходит ее мама, моя теща, Инна Ивановна, и видом своего старушечьего горя как бы весь дом наш одевает в траур. Вот и сейчас она пришла от обедни прямо к нам, и Сашенька поит ее кофе в столовой, пока я тут пишу.

У Инны Ивановны, кроме младшего, Павлуши, есть еще сын, семейный, у которого она, собственно, и живет, так как своих средств не имеет; но оттого ли, что Николай порядочно суховатый человек, или по самой природе вещей ее больше тянет к дочери, всякое свое горе и беспокойство она несет к нам. Само собою понятно, что я всем сердцем люблю безобидную старушку, но не могу утаить, насколько лично для меня бывают порою тягостны эти скорбные посещения. То она придет с жалобами и слезами по поводу Николая, который скверно живет с своей женой, то вот теперь с Павлушей; всегда у нее что-нибудь найдется, чем она сумеет расстроить Сашеньку и внести дисгармонию в наше маленькое счастье.

Я и сам люблю Павлушу и без содрогания не могу подумать, что, быть может, сейчас, в эту самую минуту, как я пишу его имя, его убивают или уже давно он мертв и похоронен; вчера ночью, случайно проснувшись, я долго потом не мог уснуть от какой-то нелепой и мучительной раздвоенности в душе: решительно не могу думать о Павлуше как о живом и в то же время не имею никакого права думать о нем как о мертвом. И то ли мне жалеть его, что он в окопах и подвергается опасности, и обдумывать вопрос о теплых вещах, которые мы собираемся послать ему, – то ли уже оплакивать его... неизвестно!

И я знаю, что если не теперь (мне почему-то кажется, что сейчас Павлуша жив), то в близком или далеком будущем его почти наверное убьют в этой ужасной войне, больше похожей на сплошное живодерство, чем на торжество какой-то справедливости. Хотя многие в конторе утверждают, что война кончится уже в ноябре, и я не спорю с ними, но мне этот оптимизм кажется чрезмерным, и раньше Рождества мира ожидать нельзя: значит, еще почти четыре месяца. А так как каждый месяц убивается около двухсот тысяч, то можно представить, каковы шансы у нашего Павлуши!

Но я мужчина, у меня мужские силы и ум, я могу вполне осознать силу неизбежности; и удар, если он постигнет нашу семью, прийму с твердостью. Да – но что будет с нашим домом? Что будет с Сашенькой? Что будет с мамашей, которая может сама умереть от одного только слова?

Вчера во время бессонницы, ночью, я обдумывал следующее: как об этом сказать мамаше, если случится? И кто скажет? У меня даже сердцебиение сделалось, так это невыносимо представить только, только подумать! Сказать первое слово, ведь это значит сразу весь мир перевернуть в глазах человека: до этой минуты все было одно и мир один, а с этой минуты все другое и мир другой. И первому принять на себя ужасный взрыв горя, тем более ужасного, что решительно неизвестно наперед, в каких формах он выльется... слезы ли, крик ли какой-нибудь неслыханный, смерть ли!

Сейчас, в столовой, посмотрел я на сухарик, который мамаша подносила ко рту, и подумал: а что будет с этим сухариком, если вдруг сказать: Павлуша убит! И мне так ясно представилось, как валяется на полу половина этого несчастного сухарика, даже место на полу увидел, где он лежит, и как потом подберет его Анисья и съест, ничего не зная.

По-видимому, еще очень дурно влияет на всех нас осенняя петроградская погода. Дети капризничают, и даже моя небесная Лидочка нарушила свои ангельские обычаи и подралась с Петькой. Какое она очаровательное маленькое существо!

Того же числа, вечером

Только сейчас вернулся с прогулки, часа три гулял по набережным и Невскому. Боже мой! – какая это красота, наша северная столица, какое богатство, какое могущество! Многие не любят нашего Петрограда, и даже в конторе часто можно бывает слышать этот глупый спор, что лучше: Питер или Москва? Конечно, я молчу по моему обыкновению, да и стоит ли убеждать людей, которые либо просто слепы, либо нарочно не хотят видеть; особенно противен по этой части наш поляк Зволянский, который чему-то учился полгода в Париже и ничему не научился, кроме умения делать презрительные гримасы. «Дурак ты, дурак! – думаю, – заставить бы тебя построить такой город!»

Когда я вышел сегодня на Невский, то как раз попал к тому необыкновенному моменту, когда внезапно по всей его линии бесшумно вспыхивают электрические фонари и сероватые сумерки сразу становятся синей ночью. Самое здесь удивительное, что какая бы ни стояла погода, моросит ли дождь или падает снег, вместе с фонарями сразу меняется и погода, становится какой-то особенной превосходнейшей погодой! Просто с наслаждением влез я в толпу, которая показалась мне сегодня особенно велика и оживленна, и так с нею и проплыл до Адмиралтейства, не замечая дороги, словно все мы летели по воздуху; и все время любовался огнями – сколько их, зеленых, белых, малиновых! Текут трамваи непрерывнейшим потоком, нельзя сосчитать их зеленых и красных фонарей, заходящих друг за друга, автомобили множеством парных лучистых глаз своих точно выметают гладкую мостовую, на черном небе вспыхивают транспаранты, а толпы людей движутся, шумят, идут, плетутся извозчицьи кони (кто-то едет в гости!), скачут рысаки... нет, не мне описать это сверхъестественное зрелище!

А на набережной безмолвные громады дворцов, черная вода с огнями редких пароходиков, чуть видная Петропавловская крепость с гробницами наших царей и заунывным звоном, глаголом времен... и на круглых гранитных скамейках молчаливые парочки: как и я когда-то посиживал с Сашенькой, запуская, под предлогом холода, свои руки в ее тепленькую муфточку. Долго, между прочим, смотрел я на строящийся Дворцовый мост и соображал, как еще и он украсит нашу дивную столицу.

Возвращаясь же домой все среди такой же бесчисленной и оживленной толпы, я думал о том, как далека от нас ужасная война и как при всей своей ярости она бессильна над человеческой жизнью и созданиями человека. Каким прочным, точно вылитым из стали, казалось мне все: и трамваи, и извозчики, и эти парочки на круглых скамейках, и весь обиход нашей жизни... и еще смешнее стал мой тогдашний первоначальный постыдный страх. Нам ли бояться?

А в Берлине, говорят, уже наполовину погашены городские огни и немцы уже начинают голодать. Несомненно, что они сами виноваты в этой дикой войне, и мне, как русскому, надо радоваться их несчастью, но... Скажу то, чего опять-таки я не решился бы высказать в нашей конторе: если их Берлин хоть немного похож на наш Петроград, мне их жаль. Когда темно, тогда и холодно, и как, должно быть, холодно теперь этим несчастным зарвавшимся тевтонам; и думают они теперь: зачем мы начали эту проклятую войну, зачем свершили столько убийств и злодеяний, если в результате всех наших преступлений только холод, и темнота, и позор? Нет, хоть распни меня – не могу понять и никогда не пойму, зачем люди стремятся убивать друг друга. Какая выгода? Какой смысл?

Пора спать. Но вот что значит непривычка к дневнику: о пустяках болтаю, а главного-то и не сказал – от Павлуши открытка: жив и здоров. И получилась она как раз в ту минуту, когда мамаша уже собиралась домой и стояла в передней, копалась в своих платках и платочках. Радость, конечно, и я с ними счастлив.

Но как все-таки ненадежно наше человеческое счастье!

Сентября 12 дня

Или мне это кажется... но что-то фальшивит народишко. С одной стороны, все как будто и впрямь проклинаят войну с ее жестокостями и кровью, а с другой – причмокивают губами от какого-то странного удовольствия. От наших ли побед в Галиции, или самая новизна эффектных военных событий действует на умы, но что-то слишком много веселого шума и в газетах, и в нашей конторе. Конечно, бельгийцы герои и король Альберт высокая личность, достойная своей короны, – но все-таки героям горлышко-то режут да режут?.. И чего тут особенно ликовать, я решительно не понимаю, хотя и молчу.

Однако не удержался и сам купил портрет короля Альберта, отдал дань общему увлечению. Но войной все-таки увлечься не могу и, когда читаю в газетах огромные, словно оскаленные заголовки: «Ярослав горит» или «Сандомир в огне» – каждый раз испытываю в мозгу какое-то мучительное ощущение; похоже на острый толчок или на присутствие в мозгу какого-то постороннего предмета. Какое требуется воображение, чтобы вполне ясно представить себе такую картину: Ярослав горит! Сандомир в огне! Поневоле еще раз благословишь судьбу, что наш Питер так далек от всех этих ужасов и треволнений.

Сентября 14 дня

После серьезного размышления решил дать этот дневник для прочтения Андрею Васильевичу, если, конечно, его не убьют и он вернется с войны. Он никогда со мною не соглашался, пусть рассудит и здесь, прав я или нет. Особенно неприятно мне стало, когда я перечитал мои рассуждения о сорока пяти годах и о моем счастье: когда о таких вещах пишешь скрытно и один, то становится очень похоже на подлость. А я не подлец, и скрывать мне нечего; и одно дело – не болтать и не лезть ко всякому со своими мнениями, и другое дело – таиться и скрывать. Мне скрывать нечего, моя жизнь у всех на виду.

Был болен Петя, ангина, и насилу раздобыли врача. Наш Казимир Вячеславович на войне, а другие все заняты по лазаретам, утомлены, не разыщешь. Что же: мне и этому радоваться и в этом находить высочайший смысл, что больной ребенок остается без помощи? Нет, как я имел, так и буду иметь на этот счет свое собственное мнение.

Сентября 27 дня

Все эти дни, содрогаясь от ужаса, читаю в газетах о том, как немцы осаждают Антверпен. Тысячи тяжелых орудий осыпают его снарядами, все разрушается и горит, народ бежал, и по опустелым улицам перебегают только отряды солдат. «Над Антверпеном все небо в огне», – пишет газета, и просто нельзя вообразить, что это значит: все небо в огне! А из этого огненного неба огромные цеппелины бросают вниз бомбы... каким надо быть человеком или чертом во образе человека, чтобы летать над таким адом, над пожарами, взрывами и крышами и еще подбрасывать туда огня и разрушения!

Сегодня всю ночь, начитавшись газет, летал во сне таким манером над горящим городом, и должен со стыдом признаться: наряду со страхом и отвращением испытываю невероятную зависть к этим бесстрашным и безжалостным летающим людям. Что они – другой породы, что ли? Отчего они не боятся? Отчего им не жаль? Отчего не дрожат их руки и не замирает сердце? Какие у него глаза и как он смотрит, когда, склонившись через перила цеппелина (или как там), разглядывает он ночной, освещенный пожарами, дымящийся город, прицеливается, соображает?

Не могу представить, читаю, как сказку, а в душе все где-то не верю, что это правда. А если правда – то зачем я на свете? Отсталая баранья порода. Во сне летаю, а наяву все ищу места, куда бы я мог спрятаться в случае чего, с вожделием смотрю на проходные ворота. Помню, давно, еще до войны, пролетал над Невским наш дирижабль, и мы все выскочили из конторы, любовались его блеском в солнечных лучах и парением в воздухе, на этой головокружительной высоте; остановились и прохожие, задрали головы, и среди них один хмельной чиновничек в форменной фуражке, с горлышком водочной бутылки, торчащим из кармана. Поглядел он, прищурившись, на дирижабль, примерился, видимо, и сказал громко:

– Тут нужен человек непьющий!

И убежал. Тогда мы все смеялись, а сейчас я представляю себе это «небо в огне над Антверпеном» и думаю: какой же здесь нужен человек? Пьющий или непьющий? Нет, не могу принять этой новой фигуры, взлетевшей под облака, чтобы оттуда зажаривать бомбами. Вижу в его образе какого-то нового деспота, который все и всех презирает и всем желает помыкать. Мало ли их и прежде было на свете, этих безжалостных, которым все едино, что яйцо разбить, что человеческую голову! И если уж на то пошло, то предпочитаю остаться бараном, отсталой породой – режьте, если вам угодно, вот мое горло. Пожалуйста, не стесняйтесь!

А мысли все возвращаются к Антверпену. По-видимому, этот город похож на наш Петроград, большой и красивый, и много в нем воды, которая теперь отражает пожары и течет кровью среди ночного мрака. И небо в огне. Боже ты мой, боже ты мой, что делается на свете!

28 сентября

Взяли Антверпен.

Октября 2 дня

От осенней ли слякоти и темноты, от всей ли этой чепухи, но последнее время ужасно дурное настроение. Ничто не радует, и под ложечкой ощущение непрерывной тошноты, как при болезни. На трамваях каждое утро отвратительная хамская давка, то ли народу прибавилось, несмотря на войну, то ли трамваев меньше пускают, но всякий раз выходишь помятым и оскорбленным, как из пьяной драки. Крайне неприятно действуют и эти бесчисленные и порою довольно-таки нагловатые сборщики и сборщицы со своими флажками и цветочками. Особенно наглы подростки, которых родителям следовало бы дома держать, а не пускать на улицу.

Господи! Само собою понятно, что я отнюдь не отказываюсь вносить мою лепту, делаю это даже с удовольствием, насколько позволяют мои ограниченные средства рабочего человека, но меня оскорбляет именно это недоверие к моему чувству долга и гуманности, эта неприличная назойливость, с какою некоторые, чуть не все, заглядывают в глаза, в самый зрачок и допрашивают тебя о кошельке. Идешь по улице, и впечатление получается такое, будто всем стыдно смотреть друг на друга, и все поскорее отворачиваются, чтобы чего-то не заметить; а между прочим, я и сам не пропущу ни одного человека, чтобы искоса не заглянуть: а приколот ли у него значок? Так же, вероятно, и на меня косятся.

Это уж даже и не в кошелек заглядывание, а в самую душу, чего я решительно не могу ни одобрить, ни допустить. Моя душа – это моя душа, и единственный ее господин это я. Государство или отечество, как там угодно, может распоряжаться моим телом, поскольку это предусмотрено законом, но никто, даже сам Петр Великий не имеет права влезать ко мне в душу и там наводить свои порядки, как бы великолепны они ни были. А вместе с тем необходимо признать это печальное явление, что с моей душой вообще как-то перестали стесняться и разгуливают по ней, как по Невскому.

Например, наш сегодняшний дикий спор с Сашей. Я всегда гордился своей гуманностью, которую считаю обязательной для интеллигентного человека, и никогда не делал различия между национальностями, немец ли это, француз или даже еврей. А между тем и эти газеты, и вся наша контора вот уже два месяца стараются внушить мне, что я должен ненавидеть немцев, и вот сегодня то же самое в чрезвычайно грубой форме заявила Саша: «если ты еще и теперь любишь немцев, то ты настоящий подлец!»

– Но позволь, – говорю я, – кто тебе сказал, что я их люблю? Просто как гуманный и культурный человек я не могу ненавидеть человека, кто бы он ни был.

И она засмеялась!

– Хороша гуманность! А будь Павлуша не мой, а твой брат, так заговорил бы иначе. И я удивляюсь, зачем мама ходит сюда, где так горячо любят ее сына!

И при дальнейшем разговоре с невероятной грубостью бросила мне оскорбление, что я трус, предатель и счастлив, что могу не идти на войну по моему возрасту. И это – после всех наших разговоров о войне, которую она осуждает так же, как и я, после того, как только еще на днях она советовала мне полечиться ввиду моего желудка и частых перебоев сердца... хорош воин!

Само собою понятно, что я с ней нынешний вечер не говорю и буду два дня молчать в виде наказания, но толку от этого получится немного.

Вообще эта война начинает слишком сильно действовать на нервы, нет никакой возможности избавиться от нее хоть на день. Пробовал я не читать газет, но оказалось совершенно невозможным, да и газетчики кричат, да и в конторе целый день разговор около карты, и все это прямо ужасно. Уехал бы куда-

нибудь, имей я средства, ведь есть же такие уголки на свете! А здесь, среди этого всеобщего ошаления, нет никакой возможности сохранить себя и спасти свою душу от мучительной заразы. Повторяю, не я хотел этой войны, я осуждаю и проклинаю ее со всем «смыслом» – и почему я обязан все-таки думать о ней, знать, каждый Божий день читать об этих бесчеловечных ужасах?

Будь я бесчувственный негодяй, но я, при всей моей скромности, человек порядочный, обладающий большой чувствительностью, и я не могу не только оставаться равнодушным, но и не страдать ужасно от всех этих невыносимых терзаний. Ведь мало того, что убивают тысячами, сотнями тысяч, а еще и убивают как-то особенно, с каким-то дьявольским вывертом, грохотом, ревом, огнем; пока придет смерть, еще тысячу раз напугают человека до сумасшествия, всю его душу измочалят своими фокусами и неожиданностями! Что из того, что я живу на Почтамтской и ни разу не видал, как стреляют из пушки, когда все равно – мне и так становится все известно через газеты, через рисунки, через разговоры.

И зачем я должен страдать, кому это надо? Осуждайте меня как хотите, но будь у меня такая сила... заколдовать себя, заморозить, загипнотизировать, я без колебаний сделал бы это и ни разу даже не взглянул бы в ту сторону, где война. Кому нужно, чтобы и я, не участвуя в войне, тоже страдал, терял сон и здоровье, способность работать?

И как прискорбно, как мучительно, что Саша этого не понимает! Ведь если бы она вдумалась, она поняла бы, что мое здоровье нужно для всех нас, что если я начну ненавидеть немцев и так же, как и они с мамашей, каждую минуту дрожать за Павлушу, то что от меня останется? Вот и сейчас она заснула с чувством обиды и несправедливости, а я ведь не сплю и мучаюсь в моем невольном одиночестве! Ах, Саша, Саша! Разве мне легко? Называешься человеком, а всякой собаке завидуешь, что она лает себе на прохожих и не знает, что там господа немцы выделывают с господами русскими, и наоборот.

И нет такого темного чулана или чердака, куда бы спрятаться, как маленьким, бывало, прятался от вотчима. Камо бегу от духа твоего? Можно еще порадоваться, что снов я с детства не вижу и хоть во сне черпаю некоторый отдых и забвение, но зато с первой же минуты пробуждения порою уже готов лезть на стену от этого невыносимого раздражения, зудящей какой-то, по всему телу ползающей тоски. Да и плох становится сон, все точно прислушиваешься к чему; кстати же, и Саша спит беспокойно, вздрагивает, стонет, раскидывает руки. В конце концов, женщина – и жалко ее.

От Павлуши известие, что он в каком-то прикрытии, и хоть с этой стороны мы можем на некоторое время успокоиться; и сегодня я даже рассердился немного на мамашу, Инну Ивановну, которая, по-видимому, не понимает, что такое прикрытие, и продолжает с нелепым упорством читать списки убитых, ожидая встретить там Павлушу. И напрасно ей говорить, что списки эти старые, она ничему не верит, а может, уже и помешалась слегка, что-то похоже.

Вообще на редкость неприятный день. В конторе поляк Зволянский горячо ораторствовал по поводу возможного выступления Турции и выражал глупейшую радость, что проливы и Царь-Град будут наши. А я глядел на него молча, с легкой улыбкой, и думал: «дурак ты, дурак! Радуйся, что еще Петроград-то твой, а уж с Царь-Градом заботы оставь!». И тут же представилось мне, что сидит в Константинополе какой-нибудь турок Ибрагим-бей, по-нашему Илья Петрович, и в ус себе не дует, что не нынче завтра наши умники и его толстый живот возьмут на прицел. Но попробуй, скажи им это!

В нашем доме за счет квартирантов открывается небольшой лазарет, на пятнадцать кроватей; я, конечно, тоже вношу свою лепту.

Ах, Саша, Сашенька ты моя!

Октября 16 дня, Петроград

Турция открыла военные действия против России. Война!

Октября 17 дня

Как это случилось, не могу взять в толк и до сих пор, но вчера я примкнул к манифестантам, носившим по поводу войны с Турцией флаги и портрет, и часа три шатался с ними по всем улицам, пел, кричал «ура» и вообще отличался. Герой! Боюсь только, что герой наш простудился: сегодня что-то побаливает шея и затылок, было холодно без фуражки. А дома застал целое собрание: Николая Евгеньевича с женой и адвокатом Киндяковым, с которым они неразлучны, Сашенькину подругу, акушерку Фимочку, и еще кой-кого, всего человек семь.

На радостях достал четыре бутылки вина, которое мне еще в августе добыл пан Зволянский, и мы блестяще его распили. Конечно, не от вина, а от событий все были необыкновенно возбуждены, спорили, кричали, смеялись над Турцией, потом под пианино, на котором играл Киндяков, пели гимны. Лег только около трех часов, так как пришлось еще провожать домой Фимочку. Хорошо, что хоть днем сегодня прикурнул, а то бы совсем раскис.

Первый раз в жизни участвовал я в народной манифестации и, нужно признаться, испытал весьма интересное и сложное чувство, которое навсегда останется в моей памяти. И как это ни смешно покажется людям опытным, для меня самым интересным и необыкновенным было то, что шли мы не по панели, а по мостовой, где никогда не ходят, и что не только извозчики, но даже трамваи и автомобили давали нам дорогу. Это обстоятельство, а также флаги, наше громкое и самоуверенное пение и то, что нам козыряли городовые и военные, придавало нам большую важность и создавало такое впечатление, будто и мы так же воюем и похожи на какое-то внутреннее войско. Среди манифестантов были и военные, и один из них, отставной адмирал, старичок, все пытался командовать нами и заставить нас идти в ногу; иногда это удавалось ему сделать с ближайшими, и тогда и пение становилось ровнее и еще больше становились мы похожи на солдат, идущих в сражение. А как хорошо пелось! И какая испытывалась уверенность в победе, в нашей несокрушимости и силе!

Но оттого ли, что мы так необыкновенно шествовали по мостовой и город представлялся взорам с какой-то новой стороны, во мне опять, как и в первый день объявления войны, произошло внутреннее перемещение и наряду с восторгом все время чувствовался тот же самый, необыкновенный и ни на что не похожий страх. Отдаленная Турция и самая война так приблизились, что буквально рукой подать, и вместе с приближением этим все стало непрочное, ненадежное, точно каждую минуту готово провалиться в преисподнюю. И опять не сами турки были страшны, мы их до последней степени презирали и даже жалели за глупость, а что-то другое, чего я положительно не умею объяснить. Вот эта самая непрочность, что ли. Сегодня, идя утром на службу, я видел, как на полке везли куда-то, очевидно для посадки, небольшие деревца, у которых корни с землею были заключены в маленькие корзинки; они покачивались на полке и, вероятно, тоже удивлялись, что едут, испытывали, как и мы, эту самую непрочность. Когда их снова посадят в землю и они укрепятся, их положение станет естественным, а пока, между той землей и этой, они должны чувствовать себя очень странно.

И положительно, не могу с уверенностью сказать, от чего я громче орал «ура»! – от восторга или от страха. Сам ору во всю глотку, со всею добросовестностью, а сам думаю: «Боже мой, Боже мой! – где же всему этому конец?»; взгляну на дома и людей, взгляну на небо, откуда начало моросить, а там все серо и мглисто... и ничего нельзя понять в происходящем на свете! Как будто и то же небо, и дома те же, что знаю с детства... но что же тогда случилось, если и дома, и люди, и небо все те же? Дошло под конец до того, что сам себе стал казаться удивительным и даже незнакомым, и захотелось в зеркало посмотреть, чтобы увидеть, как я раскрываю рот и ору, какая у меня физиономия.

Сегодня я уже не восторгаюсь и не боюсь, и меня колом не заставишь разинуть рот для пения или крика, но зато появилась в душе какая-то тянущая тоска, почти болезненная меланхолия. Господи! Кому это нужно? Конечно, как русский, любящий свою родину, я не могу не радоваться, что проливы и Царь-Град будут наши, но и здесь в глубине сердца не могу не чувствовать некоторых сомнений: ведь жили же мы без Царь-Града и не жаловались. А что моего турка, пузатого Ибрагим-бея, убьют, в этом нет ни малейших сомнений, и мне его ото всего сердца жаль.

Почему-то этот толстый турок мне кажется похож на меня, хотя я сам вовсе и не толстый; и как-то обидно, что он никого не трогал, а его самого все-таки тронули. Конечно, теперь он разъярится, как и все, турки народ свирепый, но ведь так и самую тихую собаку можно раздражить до бешенства, станет бросаться и на хозяина. Но зачем было разъярять? Нет, что бы ни пела наша контора, а все больше мне не нравится, что война.

Сделал сегодня глупость и пробовал объяснить моей Лидочке, что такое война и что такое Турция, даже показал ей на карте. Конечно, она ровно ничего не поняла, и больше всего ее заинтересовало, что так много воды, а потом она и меня отвлекла от газеты, настойчиво требуя, чтобы посмотрел, как она прыгает. Прыгай себе, прыгай, Божье дитя, и радуйся, что ты не бельгийская или не польская девочка, погибающая в огне или от бомбы из облаков.

Стыдно подумать, что и детей так же убивают.

Октября 20 дня

В городе ходят ужасные слухи, что Варшава взята немцами. В конторе все приуныли, а на пана Зволянского прямо жалко смотреть.

Дома также большие неприятности. Во-первых, к нам совсем переехала на житье мамаша, Инна Ивановна: у Николая Евгеньевича вышел грандиозный скандал с женой и с адвокатом Киндяковым, и они разъехались; от Сашеньки знаю, что Николай стрелял из револьвера в Киндякова, но, слава Богу, не попал, и дело замяли. И еще счастье, что в тот вечер мамаша была у нас и почему-то осталась ночевать, так что всей истории не видала. Не могу понять, как в такое время можно заниматься ревностью и всякими любовными счетами; на душе и так уже не остается живого места, а тут еще один интеллигентный человек палит в другого... возмутительно! Позорно! Теперь Николай Евгеньевич уехал на Кавказ, а жена его треплется с Киндяковым, хочет в актрисы или что-то в этом роде.

А так как уже три недели нет известий от Павлуши, то можно представить, что за настроение в нашем доме. Сам по себе срок этот не велик (принимая в расчет медленность и неисправность военной почты), но Инна Ивановна ничего не хочет или не может соображать и производит ужасное впечатление своей подавленностью. Вдобавок она еще очень стесняется, не то даже боится меня, ей все чудится по ее старушечьему самолюбию, что она не имеет права жить у нас, и когда я от всего сердца начинаю успокаивать ее относительно Павлуши, указывать на неисправность почты и прочее, она поспешно соглашается и смотрит на меня так пугливо, словно я в замаскированной форме предлагаю ей выехать из нашего дома. Раз не выдержал и сказал ей:

— Да как же вам не стыдно, мамаша, так думать? И в какое положение вы ставите меня? Я вам единственно добра хочу, а вы смотрите на меня такими глазами, будто я германец из Берлина!

Испугалась еще больше... вот чепуха! И без меня, как рассказывают, она по целым часам плачет, а при мне даже улыбается и шутит, хотя по тому одному, как она путает слова и предметы, видно, что у нее на душе. Вот и сейчас: сама принесла мне и подала стакан кофе, а сахар забыла, и просто мучительно принимать услуги от такой древней старушки, которая и сама-то еле передвигается на своих исхоженных ногах.

Но самое мучительное, до глубины души волнующее меня, это моя добрейшая Сашенька, с которой просто не знаю, что и делать. Вот тема, о которой только и возможно говорить что в дневнике. Дело в лазарете, устроенном в нашем доме на средства квартирантов, в том числе и мои. Но горе не в деньгах, хотя их таки маловато, а в том, что с первой же прибывшей партии раненых Сашенька всем своим женским сердцем прилепилась к лазарету и ныне уже считается штатной сестрой милосердия или, вернее, сиделкой, так как никакого курса не проходила.

Казалось бы — что можно возразить против такой доброты и истинно христианского милосердия? И все знакомые хвалят Сашеньку, и солдаты ее любят, и сама она испытывает известное удовлетворение... и я молчу и соглашаюсь. Что же мне делать, как не молчать и соглашаться? Ибо, что я ни говори и как ни велика будь моя правда, мне не только не поверят, а еще осудят, оскорбят тяжкими подозрениями, немедленно возведут в чин эгоиста и самодура. Человек, который запрещает своей жене работать в лазарете! Да и как это докажешь. Раз людям выгодно, чтобы женщина не своей семьей занималась, а на них служила и штопала рвань, которую они изволят создавать.

А между тем, говоря по самой строгой моей совести, не могу не заявить, что Сашенькин подвиг в лазарете — есть чистая безнравственность, дурной и предосудительный поступок: нельзя целиком отдавать себя милосердию, оставляя близких своих в пренебрежении. Нельзя! И какое же это будет милосердие,

если одних она жалеет, а других, не менее беспомощных и безвинных, она забывает.

Даже здесь как-то неловко говорить со всеми подробностями. У меня дурной желудок, и, чтобы оставаться для семьи настоящим работником, а не инвалидом, я нуждаюсь в нормальном питании, а наша Аксинья, предоставленная самой себе, кормит меня сплошь такую дрянью, что уже два раза у меня делалась холерина, колики и спазмы. Конечно, что такое желудок какого-то Ильи Петровича перед громами и ужасами войны, перед страданиями раненых, обездоленных и осиротевших... стыдно даже говорить! Теперь даже и доктора к таким болезням относятся пренебрежительно. Но если принять в расчет, что Илья Петрович такой же человек, как и те, и что всю свою жизнь он честно работал не только на себя, но и на других, и теперь продолжает содержать семью и маленьких детей, то и его желудок, смею это утверждать, заслуживает серьезного внимания и попечения.

Допустим, однако, что я как-нибудь устроюсь с своим презренным желудком, буду слегка голодать или что-нибудь такое – но дети? Ведь у нас трое, и старшей, Лидочке, нет полных и семи лет (я поздно женился), а бонна наша, она же и горничная, безграмотнейшее и бестолковейшее существо, способное с чистой совестью отравить или простудить ребенка. Недавно так и было с Петей, промочившим ноги и потом три дня пролежавшим в жару; младший, Женя, тоже не хорош: отказывается почему-то есть, заметно похудал и побледнел, а что я могу сделать с ним, когда я ничего не умею с детьми? Когда же я указываю Сашеньке на детей, на их воистину жалкое положение, она коротко говорит: «скажи мамаше, она все устроит». Это мамаша-то! Инна Ивановна, которую ветром качает, как белую пушинку, которая и во сне и наяву видит только своего Павлушу в окопах! Не спорю, была во время оно и мамаша работницей в доме, но куда ж ей теперь... да и не бессовестно ли взваливать на старуху такую непосильную тяжесть? На ее старушечьи бесплодные старания мучительно смотреть. На днях вздумали с нею поиграть детишки, или она сама затеяла это, но вышло так, что они повалили ее на пол и чуть, самым невинным образом, не удушили ее, не заиграли, как котенка. Когда я освободил ее, она заплакала, да и я взволновался, глядя на ее взлохмаченную детьми, трясущуюся голову.

Плохо, плохо! Нехорошо поступает Сашенька, не по совести к не по праву. Не мы с нею хотели и затеяли войну, и не имеет права эта проклятая война врываться в наш дом, как грабитель, и опустошать его. Достаточно и тех мучений и жертв, которые мы покорно несем, будучи совсем неповинны, и нет смысла самим еще бросаться ей под ноги, как индусы бросаются под колесницу Джагернаута, своего злого бога. Не признаю я злых богов, не признаю войны, и чем больше твердят мне о каком-то ее «великом смысле», тем меньше вижу я смысла вокруг меня, даже в самом доме моем. Или и это смысл, что моя золотая крошка, кроткая Лидочка, уже носит тени печали на своем детском личике и, видя меня скучным и недовольным, старается своим маленьким умишком и слабыми ручками принести пользу по хозяйству, моет стаканы и нянчится с Женей? Ей самой нужна нянька и уход.

Плохо, плохо! Да и жизнь дорожает с каждым часом, про извозчика и театр уже и не помышляем, да и с трамваем приходится осторожничать, больше уповая на собственные ноги; теперь уж не для притворства беру на дом дополнительную работу, спасибо, что еще есть такая. Пришлось и пианино отдать. А проклятая война как будто только еще начинается, только еще во вкус входит, и что там происходит, что делается с людьми, нельзя представить без ужаса.

Я уже не говорю про низшие необразованные классы, но и профессора, ученые, адвокаты и другие деятели с высшим образованием режутся насмерть, грызутся, как звери, совершенно осатанели и потеряли всякую человечность. Что стоит после этого наука и даже религия? Прежде, бывало, смотришь на профессора и думаешь: вот человек, который не выдаст, за которым как за каменной стеной – и не убьет, и не украдет, и не оскорбит, потому что все понимает. А теперь и он стал таким же ужасным, как и все, и решительно не на кого положиться. Воистину, как говорится, вся душа трясется, словно бараний хвост!

Решительно протестую я и против того утверждения, будто все мы виноваты в этой войне, а стало быть, и я. Смешно даже спорить! Конечно, по их мнению, я должен был всю жизнь не пить и не есть, а только орать на улице «долой войну!» и отнимать ружья у солдат... но интересно знать, кто бы меня услышал, кроме городского? И где бы я теперь сидел: в тюрьме или в сумасшедшем доме? Нет, отрицаю всякую мою вину, страдаю напрасно и бессмысленно.

Маленькая новость: Андрей Васильевич, мой будущий читатель, сразу получил два Георгиевских креста. Сашенька по дружбе к Андрею Васильевичу до крайности гордится этим обстоятельством, а я только осмеливаюсь спросить: вы сами довольны, Андрей Васильевич?

Ноября 2 дня

Вот извольте: поговорил по душам!

С некоторого времени, сколько я ни покупаю папирос, а их все у меня нет; никто из домашних не курит и, следовательно, – Саша таскает их в свой лазарет, раненым. Не запирать же мне столов как от вора! Но попробовал я сегодня только намекнуть Саше и в ответ получил:

– Можешь сам не курить, а раненым носить я буду!

И так жутко посмотрела на меня, что не любовь, а ненависть, словно к врагу, прочел я в этих родных глазах. Так стало мне тоскливо и холодно, будто сижу я в самом настоящем окопе под дождем и прямо в меня целится проклятый немец. Конечно, завтра же куплю две тысячи папирос и разложу по всем столам, пусть не думает, что я жаден... но как она не понимает, что здесь не в жадности дело? Ах, Сашенька, Сашенька!

Ноября 6 дня

Довольно часто захожу в наш лазарет, который теперь расширен на средства города и занимает целых два этажа, и бесполезно отравляю сердце видом раненых, безногих, безруких, слепых. Ужасное зрелище, после которого часа на два зубом на зуб не попадаешь, особенно когда прибывают свежие, как их называют сестры. А не зайти, не посмотреть – опять-таки прослывешь черствяком и мерзавцем; вот и отправляюсь в угоду общественному мнению!

Поразил меня своим рассказом один раненый, уже не молодой человек, из запасных. По его словам, он заранее, идя в строй, порешил никого не убивать, и вот, когда они бросились на немецкий окоп, в штыковую атаку, он во избежание соблазна по дороге бросил свое ружье. Прекрасно. Но когда он вместе с другими перешагнул эту роковую черту, то им овладела такая ярость и иступление, что он зубами – буквально! – загрыз какого-то немца, прокусил ему горло. Какой ужас! Но всего ужаснее то, что теперь по ночам, когда им овладевает бред, он яростно грызет свою подушку, воображая, что это немец, грызет и плачет, грызет и плачет.

Боже мой! – не случится ли и со мной того же! Недавно ночью, раздумавшись о войне и о немцах, которые ее начали, я пришел в такое состояние, что действительно мог бы загрызть человека. А Сашеньки нет, она и по ночам дежурит в лазарете, и так мне страшно стало от себя самого, от ее пустой кровати, от мамыши Инны Ивановны, которая больше похожа на мертвеца, нежели на живого человека, от всей этой пустоты и разорения, что не выдержал я: оделся и, благо лазарет тут же в доме, пошел к Сашеньке.

Сашенька нисколько не удивилась моему ночному приходу и только попросила меня тише; даже добыла откуда-то и принесла мне стакан чаю. Улыбнулась мне. А кругом тихий ночной стон, и лампочки притушены, и только слышишь, как слабые голоса зовут: сестра! сестра! Потом повела меня к тому раненому, который грызет воображаемого немца; действительно, что-то бормочет, вся голова у него забинтована, и пальцами обеих рук тискает одеяло: «душит!» – сказала Сашенька. Дала ему попить, и на время успокоился, сложил руки невинно, как дитя, и затих.

Почти до рассвета оставался я с ними, а дома, на своей постели, долго не мог заснуть и несколько раз принимался плакать от жалости. Как представлю его забинтованную голову и эти бледные руки... тяжело!

Но неужели Сашенька права и это от жадности я не хотел давать папирос? Боже мой, какая гнусность! Ведь когда ночью тою я смотрел на раненого, я бы на колени перед ним стал, только бы он попросил у меня папироску, захотел курить своей измученной душою! Коротка память у человека.

Декабря 4 дня

От Павлуши пришло сразу четыре письма, жив, здоров. Он опять в Пруссии. Конечно, и мамаша, и Сашенька, и сам я – все в радости и восторге, а вместе с тем подумать: до чего неразумен человек! Ведь после своего последнего письма Павлуша сто раз уже мог быть ранен или убит, а мы этого точно не желаем соображать и радуемся письму так, словно эта мятая бумажка с слабыми карандашными знаками и есть сам Павлуша.

Вот что он пишет между прочим:

«Что тебе еще сказать, милая Сашенька? Все здесь чрезвычайно интересно. В снежных сумерках смотришь на движущуюся массу людей и думаешь... снег... поле... Германия... великие события, великая война, – вот она передо мною, и я в ней. Приходит с позиции офицер, в полушубке, в валенках, в капюшоне – весь в снегу, все течет, и опять смотришь, как, раздевшись, греется он чаем, и думаешь: вот она, великая война, вот она, великая русская армия! И в последней, самой незначительной черточке нашего походно-военного быта чувствуется эта великость происходящего. Надо заметить, что всюду, кажется, на нашем фронте все военные операции приняли более медленный темп. Со снегом, с холодом все точно отяжелело, и особенно отяжелели люди. Закутанные, стали малоподвижны, медлительны. И тяжелое, самое тяжелое время наступает. Вот сейчас я сижу у офицеров, пишу письмо и пью чай из стакана с подстаканником, но вот-вот затрещит телефон и... все меняется, как сон: переведут батарею на версту в сторону или вперед, придется рыть тугую, холодную землю, вырыть к ночи холодную землянку – ох, как холодно теперь в окопах! – и завалиться в ней спать, сырому и голодному. И это не выдумка, не воображение, – таковы почти ежедневные смены декораций. И ничего нет верного, и ни одного часа! Между прочим: ты знаешь, Сашенька, на что похож снег, на котором кровь? На арбуз... вот странно!»

А в другом пишет, как ночью, на позициях, в оттепель прикрывшись мокрой соломой, а к утру хватил мороз, насилу отодрался от земли с своей соломой. Бедный Павлушенька! А мы прочли письма и радуемся.

18 декабря

Ну и вьюга сегодня! Несется по всем улицам, горы насыпала, все карнизы и стены побелила – стоят дома с белыми глазами, как промороженные судаки; и словно нет никакого города, а стоят эти дома нелепой шеренгой посередь чистого снежного поля. Проходил я мимо Исакия: на ступенях и за колоннами сугробы, и так холодны эти гранитные полированные колонны, что жутко на них смотреть. А людишки закутались и прут себе, натужившись, против ветра и по ветру, но больше дома сидят. И пришла мне мысль: что, если бы совсем не было у меня никакого дома и навсегда я должен бы остаться на улице? – можно с ума сойти. Каково теперь там?

Некогда писать дневник. Так завален сдельной работой, что и вздохнуть полной грудью не имею времени. Да и здоровье плохо, усталость, сонливость какая-то, сердце словно льдом обложено, насилу к утру согреешься под двумя тяжелыми одеялами. Хорошо еще, что квартира теплая.

Вот уже и Рождество на носу, а где конец войне? Вместо продажных елок на площадях маршируют и учатся солдаты, куда ни пойдешь, все они. Веселые, однако, и сам как-то подтягиваешься с ними. А на Дворцовой площади видел на днях прямо-таки странное зрелище, в первую минуту рассмешившее меня. Учится их человек пятьдесят, и когда издали взглянул я – будто все они освещены солнцем. А солнца нет, что за чудо? Подхожу ближе и невольно смеюсь: все до одного рыжие, с рыжими бородами, действительно, точно солнцем освещены. Но взгляделся я внимательнее, и затих мой глупый смех: бороды рыжие, а лица старые и бледные, в морщинах, и в глазах не веселье, а самая форменная тоска; должно быть, запасные, семейные. Потом узнал, что рыжих подбирают для какого-то полка или гвардии.

Зарабатываю денег побольше, чтобы на Рождество вытащить Сашеньку из лазарета, взять детей и проехаться дня на три куда-нибудь в Финляндию. Хоть от газет отдохнуть. Устал. И такая темень в комнатах, словно все мы слепнуть начали; едва желтые лица разглядываешь. Устал, устал.

Понедельник, 22 декабря

Павлуша убит. Господи!

Ночью

Павлуша ты мой, Павлушенька! Мальчик ты мой неоцененный, братик мой миленький! Был ты мне чужой, и мало я ласкал тебя, не знал, что умрешь ты, не поживши, а теперь на что тебе мои горькие слезы. Где твои кроткие серые глаза, твой смех нерешительный, твои усики, над которыми мы смеялись? Убит, и никак я не пойму, что это значит, что это значит. Убит!

Голубчик ты мой! Друг мой! Защитник мой! Лежишь ты и не слышишь. Ты писал, что холодно тебе... взял бы я и обнял тебя крепко обеими руками моими, все тело бы твое закрыл, все тепло отдал бы тебе, мальчик ты мой одинокий! И не узнать тебе, чем кончится эта война, а как ты интересовался...

Павлуша! Павлуша!

Часть вторая

1915 год

5 января 1915 г

О смерти Павлуши мне сообщил его товарищ, вольноопределяющийся Петров. Видимо, боясь поразить внезапною мать и Сашеньку, Павлуша заранее дал товарищу мой конторский адрес, чтобы уже я передал его близким родным ужасную весть. Никогда я не забуду того ужасного момента, когда, раскрыв конверт «из действующей армии» с незнакомым почерком и уже предчувствуя несчастье, я прочел эти короткие строки. Это было в конторе, и все мне сочувствовали, но что мне было от их сочувствия?.. Я сейчас же ушел домой, терзаемый мыслью: как я скажу Сашеньке и маме?

Уже дойдя до лазарета, где Сашенька, я внезапно повернул обратно и часа два без толку и понимания окружающего слонялся по улицам, даже зашел зачем-то в кофейню Филиппова. Или это день был такой снежный, но помню, что мне все казалось необычайно и сверхъестественно бледным; и еще странно было смотреть на людей и на трамваи, а когда трамвай звонил, то звон его мучительно отдавался в самом мозгу. Будто все люди молчат, а один трамвай звонит и звонит, как сумасшедший. Но плакать я тогда еще не мог, мысль о Сашеньке и маме как бы сушила слезы.

Но что расписывать, и так понятно! Одно только скажу: лучше смертная казнь, лучше какие угодно пытки, чем матери сказать первое слово о том, что сын ее убит, умер. Случись это другой раз, кажется, скорее наложил бы на себя руки, чем пошел говорить и хоть раз взглянул бы в эти глаза, которые еще ничего не знают и смотрят на тебя с вопросом и верою. И как ни печально сейчас, как ни жаль мне до постоянных ночных слез кроткого Павлуши, я не могу не радоваться, что это все осталось позади и больше не повторится. И не знаю, насколько легче умереть самому, чем только видеть это!

Конечно, ни в какие Финляндии мы не поехали. На это время Сашенька покинула свой лазарет и, преодолевая собственное горе, все часы свои проводит возле Инны Ивановны. А про старушку что сказать? Не умерла, но и не живет. Я не понимаю этого состояния. Часа два аккуратно поплачет где-нибудь в уголку, потом либо пойдет вместе с Сашенькой панихидку служить, либо так без цели бесшумно ползает по квартире; а то вдруг примется стирать пыль там, где ее и не было. Кофе мне по-прежнему подает без сахара. Но вчера вдруг пропала, нету полчаса и час, что и думать, не знаем – а это она, оказывается, заперлась в ватерклозете: и не умеет открыть, но молчит. Ведь звали ее, кричали – притаилась и молчит, только когда дверь чуть не выламывать начали, отозвалась и подала голос. Но сколько ни учили ее через дверь, как открыть, сколько ни объясняли, она так и не сумела, пришлось идти в контору и звать домового слесаря. Сашенька упрекает:

– Да ты бы отозвалась, мама, ведь охрипли, тебя звали!

Молчит – а потом плакать начала. Теперь еще стыдится, что ее Лидочка или бонна туда провожает, а одну пускать невозможно.

И это называется – праздники, Рождество! Ужасно. И днем еще терпимо, а ночью ляжешь и начинаешь, затаив дыхание, прислушиваться: кто первый заплачет на своей постели – Сашенька или мамаша за перегородкой. Случается, что до самого света тишина, будто спят, и сам успеешь заснуть, как вдруг задрожит и застучает кровать от рыданий... началось!

Последний раз видели мы Павлушу 4-го августа, еще на даче когда и мамаша гостила у нас. Их полк из глубины Финляндии, где они стояли, отправляли на позиции, и вот Павлуша, между двумя поездами, на полтора часа забежал к нам. Было это уже к ночи, и как мы удивились тогда, расстроились, потерялись! Одет он был в тяжелую походную форму, с котелком и мешком, весь черный, запыленный, особенно пахнувший, неузнаваемый в своем солдатском виде, с короткими, но уже немного подросшими волосами. Лес они где-то там рубили, землю копали, и скорее пах он мужиком-лесовиком, нежели солдатом! Нам успел шепнуть: поздравили с походом, идем к Варшаве – а от мамаша на первое время скрыли.

Рассмотрел я и винтовочку его: стройная была, как барышня, а номера не запомнил, хоть он и говорил. Да что номера: я и лица его не запомнил, знаю только, что было особенное; еще и другого я не сделал, о чем все время думал: не провел его по всей даче и не дал ему проститься с нею. Но как сказать:

– Павлуша, простись со всем... ведь тебя могут убить и больше никогда ты этого не увидишь!

Да и он, вероятно, думал о том же, но тоже сказать не решился; так на одной террасе, как с посторонним, и просидели, в комнаты даже не входили. Потом все провожали его на станцию, от нас недалеко, целовались крепко, но наскоро, и видели, как он старался влезть в отверстие товарного вагона, где в темноте копошились солдаты, шутили и смеялись... его новые товарищи. Очень скоро длинный поезд тронулся, солдаты из всех дверей кричали «ура!» – и все кончилось, наступила тишина. Почему я так помню именно этот красный удаляющийся огонек на последнем вагоне? Именно этот. И еще помню, как тихо было на дачах, когда мы возвращались домой.

А теперь он убит, и где его зарыли, мы не знаем. Не могу я этого вместить, не могу! Ничего не понимаю в происходящем, ничего не понимаю в войне. Чувствую только, что раздавит она всех нас и нет от нее спасения ни малому, ни большому. Все мысли повышибло, и живу я в своей собственной душе, как в чужой квартире, нигде места себе не нахожу. Какой я был прежде? Не помню.

Взял меня кто-то в свои огромные лапищи и лепит из меня какую-то фигуру странную... где тут сопротивляться!

17 января

Ну и набрались мы страху сегодня! Вдруг пропала из дому мамаша, ушла с утра, и до самого вечера ее нет. Я был на службе, Сашенька по-прежнему стала посещать лазарет, а бестолковая бонна ничего объяснить не умеет, сама не заметила, когда ушла Инна Ивановна, и никому из нас не дала знать. Совершенно естественно было предположение, что ее, при ее рассеянности и невнимании к окружающему, задавил на улице трамвай или автомобиль.

Вызвал я Сашеньку, и принялись мы пороть горячку; пошел я на телефон, всех знакомых перебрал и уже во всех участках успел справиться, как вдруг явилась мамаша. Оказывается, она изволила, ни слова никому не сказав, отправиться на конец Васильевского острова в гости к какой-то своей подруге, такой же старушке, как и она сама, и просидела у нее до вечера. Ведь придет же в голову!

Конечно, Сашенька сгоряча ее побранила, а мамаша обиделась и расплакалась, насилиу потом успокоили ее; ужасно стала обидчивая. Придется теперь караулить ее.

20 января

Немцы вплотную принялись топить пароходы. Только и остается, что пожать плечами перед этими сумасшедшими поступками, выходящими за пределы всякого человеческого разума. Есть какая-то злость в самих этих подводных лодках, которая принуждает их кусаться и разрушать даже без всякого смысла; дуреют, что ли, там люди от темноты и духоты, отравляются ядами и теряют всякое человеческое сознание? Наша контора возмущается, а я только в недоумении пожимаю плечами и чувствую свое лицо таким же дурацким, как и у немца, который топит. Что скажешь?

14 февраля

Простудился и целую неделю сидел дома в жестокой инфлюэнце. Несмотря на болезнь, пожалуй, даже отдохнул бы, если бы не газеты, которые от безделья читал запоем, вдумываясь во все обстоятельства этого ужасного времени. Что пишут, что делается... невыносимо!

Особенно возмутил меня один милостивый государь, по какому-то недоразумению считающийся одним из корифеев нашей литературы. По самой строгой совести моей, его подлую статью я могу назвать только подлой и преступной, как бы ни восторгалась ею наша бестолковая контора. Безбожная статья! В самых трескучих и пышных выражениях, виляя языком, как адвокат, этот господин уверяет нас, что война принесет необыкновенное счастье всему человечеству, конечно, будущему. А про настоящее человечество он говорит, что оно со всею покорностью должно погибать для счастья будущего. Нынешняя война – это-де что-то вроде болезни, которая убивает отдельные клеточки в теле и вместе с тем весь организм ведет к обновлению; и пусть на том клеточки и утешатся. А кто же эти клеточки? А это, по видимости, я, Инна Ивановна, наш несчастный убитый Павлуша и все те миллионы убитых и истерзанных, кровь и слезы которых скоро затопят несчастную землю.

Недурно?

И выходит так, что мы, клеточки, не только не должны протестовать и возмущаться и чувствовать боль, а немедленно погрузиться в самое бешеное ликование, по тому случаю, что и мы пригодились. Ну, а если мы не захотим ликовать? Все равно, это дело наше, а война возьмет, сколько ей надо, пять или десять миллионов, и тогда наступит выздоровление и счастье. При этом особенно еще важно то – по словам господина писателя, – что и оставшиеся, перемучившись, в чем-то раскаются, поймут какие-то необыкновенные вещи, возлюбят друг друга и станут чуть-чуть не ангелами во плоти... Эх, взял бы я этого благовестника – да всыпал бы ему горячих, пока есть еще розги, пока еще ангелами не сделались! А то ведь ангела-то и неудобно будет разложить!

Так, значит, отныне я не Илья Петрович Дементьев, а клеточка, не смеющая даже рассуждать, чтобы не испортить общего дела. Нет, милостивый государь, я не клеточка, а Илья Петрович Дементьев, таким был, таким и останусь. Человек, со всеми естественными правами человека! И сколько бы вы ни приглашали меня весело умирать – вприсядку я умирать не стану, а если это и случится, если вы таки доведете меня до смерти или до желтого дома, то умру я с проклятием, с непримиримой ненавистью к убийцам. Нет, я не клеточка и ангелом по вашему рецепту делаться не хочу, а лучше останусь грешным Ильей Петровичем, который за свои грехи даст ответ Богу, а не тебе, ничтожный писателишка.

И для будущего человечества я не хочу погибать, не имею на это ни малейшего желания! Если вчерашний человек страдал для меня, а я должен страдать для завтрашнего, а завтрашний будет страдать для послезавтрашнего, то где же конец, где смысл в этой бессмыслице? Нет, довольно этого обмана. Сам хочу жить и пользоваться всеми благами жизни, а не навозить собою землю для какого-то будущего джентльмена-белоручки... ненавижу его со всем его блаженством! Не нужно мне этого барина.

Клеточка! Так и знай, Павлуша, в твоей безвестной могиле на чьем-нибудь прусском огороде, что ты был не больше, как клеточкой; и вы, Инна Ивановна, пожалуйста, успокойтесь и нарумяньте щеки; это не сын ваш умер и убит, а просто клеточка кончилась, и туда ей и дорога.

Нет, до чего надо возомнить о себе, до какого безбожия надобно дойти, чтобы человека с его святым именем приравнять какой-то клеточке! Даже только называть меня так ты не смеешь, бессовестный писатель, а если я умру, лишусь рассудка, погибну, то не выплясывай на моей могиле, не кощунствуй, а оплачь меня! Каждого оплачь, потому что больше не вернется он! Не возносись, что ты гордый писатель, а

я маленький и никому не известный человек Илья Петрович – а всеми слезами твоими оплачь, всюю жалостью пожалей, цветами укрась мою безвременную могилу!

Сколько бестолковой глупости в этой ихней арифметике: считать людей на миллионы, как зерно на меру. Самих себя этим дурацким счетом сбивают с толку: миллионы! Это для зерна и огурцов есть счет, а для человека нет числа, это дьяволов обман. Всякий, кто людей не по имени называет, а считает, тот есть дьяволов слуга и обманщик: сам себе лжет и других обманывает – как только начнут людей считать, тотчас же теряют и всякую жалость, всякий рассудок. Для примера тут же в газете про одно боевое столкновение буквально напечатано: «Наши потери ничтожны, двое убитых и пятеро раненых».

Интересно знать: для кого это «ничтожны»? Для тех, кто убит? И интересно, что бы он сам ответил по этому поводу, если бы поднять его из могилы: считает он эту потерю ничтожной или же думает несколько иначе? Пусть бы он вспомнил все, с самого начала: и детство свое, и семью, и женщину любимую, и как он шел и боялся, и сколько было у него разных мыслей и чувств – и как все это прервалось смертным ужасом... а оказывается, все это и есть «ничтожная потеря». Так опомнись же, безбожный писатель, и пойми, кому ты служишь с твоей мудрой арифметикой, не ври относительно всеобщего благоденствия, в котором ты, как я вижу, ничего не понимаешь!

Разволновал он меня, черт его возьми совсем!

Дети здоровы. У Лидочки моей сразу выпали впереди два молочных зуба, и от этого ее личико стало еще милей и роднее. Приятно иметь ученую дочку: пока я хворал, она читала мне по складам свои сказки.

26 февраля

Акушерка Фимочка сделала интересное наблюдение, что будто бы перед самой войной был в особенной моде красный цвет: и красные дамские платья, и ленты, и шляпки и что там еще носится этим прекрасным полом. Насколько могу и я припомнить, это совершенно верно, и невольно приходит в голову мысль: не было ли здесь какого-то страшного предчувствия, некоего многозначительного намека на предстоящие нам кровавые ужасы? Но если это так, то как были слепы те, кто считал красный цвет веселым, и в каком вообще мраке бродит человек! Зато теперь красного уже нигде не встретишь, точно все его повымело ветром или переокрасило дождями. В каком мраке бродит человек, даже одежду свою избирающий невольно!

Устал я. К дневнику не тянет, да и некогда, работы много. Проклятая война жрет деньги, как свинья апельсины, не напасешься. И как-то странно я себя чувствую: не то привык к душегубству, не то наконец притерпелся, но смотрю на все значительно спокойнее, прочтешь: десять тысяч убитых! двадцать тысяч убитых!.. и равнодушно закуришь папироску. Да и газет почти не читаю, не то что в первое время, когда за вечерним прибавлением сам бегал на угол в дождь и непогоду. Что читать!

Сашенька по-прежнему в лазарете, мало и вижу ее, и, конечно, все те же беспорядки в доме. Но и к этому привык, должно быть, почти уж и не замечаю, что ем. Мамаши как будто и в доме нет, перестал замечать и ее; да и тиха она, словно мышь. При общем невеселом настроении отвожу душу в занятиях с Лидочкой, сам с ней занимаюсь и читаю сказки. Прекрасная она девочка, истинное дыхание Божие, и в самые темные ночи наши теплится в доме, как лампадка. Миленькая моя.

Наконец открою еще одну тайну, за которую серьезные люди отнюдь не похвалят меня... но и не сильно нуждаюсь я в их похвале, ей-Богу! Акушерка Фимочка, бывши у нас без Сашеньки, видевав мою скуку, научила меня раскладывать пасьянс. Правду говоря, занятие совершенно глупое и бесплодное, но, при дурном настроении, когда ни чтение, ни разговор не идут в голову, очень помогает и позволяет забыться. А иногда и увлечешься, про сон позабудешь! Пробовал я Инну Ивановну научить, да куда ей, ничего не понимает и почему-то даже сопротивляется, точно видит в этом какое-то насильственное совращение с ее страдальческого пути. Вместе с тем прочел я в календаре замечательное изречение: «Кто смолodu не научился играть в карты, тот готовит себе печальную старость». Да тут не только картам научишься!

Устал я.

6 марта

Получил письмо от Андрея Васильевича. Выразив глубокое сожаление о смерти Павлуши, которого он очень любил, Андрей Васильевич извиняется, что не может много писать, очень занят и утомлен, а по поводу некоторых моих идейных сомнений и вопросов преподает неожиданный совет: поучиться у немцев! Вот выдержка из его удивительного письма:

«Германцев я не люблю, но поучиться у них нахожу для всякого не лишним, и особенно это полезно вам, тыловым. Полюбуйтесь, как строят немцы здание своей государственной жизни, какая у них мудрая способность самоограничения: зная, что из предмета, имеющего неправильную форму, стены выйдут плохими и непрочными, каждый немец добровольно придает себе форму как бы кирпича, стирает углы и выпуклости, мешающие кладке. А кирпич по самой своей форме уже дает устойчивость, если же прибавить еще цементу, то и получится настоящая крепкая стена, а не дырявая загорожа, как у нас. Не сомневайтесь, а учитесь у них, Илья Петрович!»

Слушаю-с. То был клеточкой, а теперь предлагают превратиться в кирпич. О том же, что я человек, настойчиво рекомендуют позабыть и Ильей Петровичем величают только за неимением номера: кирпич номер такой-то.

Допустим, наконец, что я стал кирпичом, — а кто будет архитектором? А кто будет вором подрядчиком? И должен ли я лежать спокойно, если г. архитектор вместо церкви или дворца вдруг пожелает построить публичный дом? Нет, Андрей Васильевич, не клеточка я и не кирпич, а как был Ильей Петровичем, так до самой смерти им и останусь. Клеточек много и кирпичей много совершенно одинаковых, а я один и единственный, и другого такого Ильи Петровича на свете не было, нет и не будет. И сколько есть у меня силы, столько я и буду себя отстаивать, не поддамся войне, не дам себя обкорнать, как ворону, на вашем трескучем барабане!

Очень сожалею, что был нетактичен и позволил себе обратиться с вопросом к человеку, столь занятому военным делом и не могущему не презирать нас, героев тыла.

10 марта, вторник

Ура! Нашими войсками взята крепость Перемышль, и весь Петроград полон ликования. Какой счастливый, какой прекрасный день!

Когда еще по телефону из редакции мы узнали в конторе, что Перемышль взят, меня охватила такая радость, что я немедленно оделся и отправился на улицу... и еще никогда я не видал наш Невский таким красивым и веселым. Шел очень сильный снег, валил белыми хлопьями и засыпал прохожих, но из-под этого белого покрывала отовсюду глядели розовые щеки и смеющиеся, особым светом сияющие глаза. Да – даже порозовел петроградец! Конечно, немедленно образовались толпы, запели гимн и отправились к дворцу манифестировать; к сожалению, я не мог принять участия, так как надобно было возвращаться в контору.

Но какая радость! И только сегодня я понял, до чего были тягостны все предшествующие дни и месяцы, до чего все мы привыкли к безнадежному и длительному сумраку жизни и стали уже считать его вполне естественным состоянием. Даже странно оглянуться назад, на вчерашний день, который еще так близко: сумрак, длинные дни и ночи, потерявшие смысл: днем не живешь, ночью не отдыхаешь. Дурацкий пасьянс, Инна Ивановна, грязная и беспорядочная квартира, темная тоска и темный страх за завтрашний день: как ни плох нынешний, а дай Господи, чтобы завтрашний не был хуже!

И в первый раз за всю войну (не знаю, чем это объяснить) я понял, что значит слово «победа». Да, это не кот наплакал, это возвышает, это всего человека со всеми его потрохами поднимает на необыкновенную высоту! Победа... и слово какое простое, и сколько раз его слышал и сам произносил, а только теперь вижу, что это за сокровище... победа! Так и хочется кричать на весь дом: победа, победа!

Само собою понятно, что я и до сих пор нахожусь в волнении. И странное дело: волнение радостное, а к глазам все время подступают горячие слезы: как вспомню, что мы русские, что есть на свете страна, которая называется Россия, так вдруг в носу и защиплет! Да что: увижу солдата на улице – и уже готов плакать от нежности к его серой шинели, улыбаюсь ему, глупейшим образом подмигиваю, вообще веду себя дурак дураком. Но все же особенно волнует меня слово «Россия», как будто и его я услышал впервые, а раньше жил и не догадывался, что живу в России и сам русский.

Очень странное и, несмотря на слезы, радостно волнующее ощущение.

И все мне представляется почему-то поле и рожь. Закрою глаза и вижу ясно, как в кинематографе: колышутся колосья, колышутся, колышутся... и жаворонок где-то звенит. Люблю я эту птичку за то, что не на земле поет она, не на деревьях, а только в небе: летит и поет; другая непременно должна усестись с комфортом на веточке, оправиться и потом уже запеть в тон с другими, а эта одна и в небе: летит и поет! Но я уж поэтом становлюсь: вдруг ни с того ни с сего заговорил о жаворонке... а, все равно, только бы говорить!

Еще одно странное обстоятельство: сегодня впервые после смерти Павлуши вслух и довольно много говорили о нем с Сашенькой. Как будто и его коснулась эта победа и он снова, в образе незримом, вернулся к нам, занял свое вечное место у нашего очага. Конечно, Сашенька немного поплакала, но это уже не были те одинокие и страшные слезы, от которых ночью дрожала и постукивала ее кровать. Решили завтра вместе сходить в церковь и отслужить панихиду; не люблю я этой процедуры, но в этот раз она мне кажется приятной и должной.

Наконец и еще одно приятное обстоятельство: в очень мягких выражениях я высказал Сашеньке мое неудовольствие по поводу лазарета, отнявшего ее у семьи; к удивлению, Сашенька не только не

рассердилась и не вспыхнула, чего можно было ожидать по ее характеру, но обещала больше времени посвящать детям, жаловалась даже на усталость. Да и устала же она! – только сегодня я заметил, насколько она похудела и побледнела, сердце мое беспокойное. Но от этого стала она еще красивее, моя Сашенька, и теперь лишь я понял, что это так и надо для ее служения: когда умирает воин, то в образе склонившейся над ним прекрасной сестры он прощается со всею красотой и любовью, уносит этот образ, как бессмертную мечту. И кто знает, сколько умиравших воинов, уже готовых проклясть погубившую их землю, даровали ей оправдание и прощение за один взгляд прекрасных заплаканных глаз!

Первый раз не жалею я сегодня, что Сашенька на дежурстве около своих раненых, и я один. Есть у меня к тому же и занятие: все думаю о победе... вот счастье! Трудно сосчитать, сколько раз читал я это слово в романах, исторических книгах и вот теперь в газетах, а лишь сегодня сообразил я, что это за обольстительный зверь, за которым охотятся люди с сотворения мира. Это самое: победа. И все ее хотели, и все ее хотят, и вот она у нас. Опять бы, кажется, пошел на улицу и на весь город затрубил в медную трубу: вставайте, победа! победа!

11 марта

Заболела Лидочка. Что это, Господи!

14 марта

Умерла.

10 июня

Два месяца не касался я дневника, совсем позабыл о его существовании. Но сегодня достал и вот уже полчаса сижу над ним, но не пишу, а все рассматриваю последнюю страницу, где написано одно слово: умерла. Да, умерла, одно только слово, а кругом него обыкновенная белая бумага, и на ней ничего нет, гладко. Боже мой, до чего ничтожен человек!

А я помню, как я тогда писал одно это слово. И что было бы, если бы вместо этой гладкой белой бумаги, на которой нет ничего, кроме слабых каракуль, начертанных чьей-то человеческой рукой, – было бы зеркало? Такое зеркало, которое навеки отразило бы лицо человека, писавшего со всем его отчаянием и нестерпимой душевной мукой! А что здесь видно?

Друг ты мой, дневник! На твоих страницах стоит имя Лидочки, которое есть частица ее существа, и ты мой единственный друг и товарищ.

11 июня

Скончалась Лидочка 14 марта, через четыре дня после взятия Перемышля, а заболела на другой день после этого ликования; и всего ее страшной болезни было трое суток. Аппендицит в острой форме. Но выяснился аппендицит, когда уже поздно было, а целые сутки я не мог достать доктора: все заняты в лазаретах. Пришел какой-то с улицы, посмотрел, повертелся и успокоил, сказал, что надо еще подождать, а пока опасного нет. Ребенок умирает, а он сказал, что надо подождать – и мы ждали. Еще кланялись ему и извинялись с глупым лицом, что напрасно побеспокоили и оторвали от важнейших дел. И в душе отчаяние, а ждем, все неловко беспокоить – а вдруг действительно пустяки? Друг другу улыбаемся, ободряем и, как дураки, сами себя улыбками обманываем. Наконец пришел хирург из Сашиного лазарета (тоже неловко было звать!) и сказал, что аппендицит и что поздно.

И как я мог поверить, и как я мог ждать! Это мою Лидочку, мою деточку оставить лежать в жару, стонать, страдать, умирать доверчиво – и самому ждать! Подлость, безумие. Смотрю в ее черные доверчивые глазки, целую осторожно ее пересмякшие от жара губки, поправляю ей волосики разметавшиеся, раз даже с одеколоном вытер ей мокрым полотенцем личико – и будто все сделал, что надо, даже успокоение чувствовал. А как она страдала, как ей было больно. Ей, маленькой, и такую боль!

Правда, на третий день я был как бешеный, я кричал на докторов, я в морду бросал деньги и вопил: заплачу! заплачу! – я на глазах у какой-то дамы, думая ее разжалобить, бился головой о притолоку... даже не помню, где это, в какой-то приемной.

Да что!

Полдня я пропадал где-то, все искал, а дома уж и хирург два раза был, и уже сказал, что поздно. И операцию поздно, не стоит мучить ребенка. Потом я сам ее в гробик клал, нес от постельки до стола.

Вот и живу теперь, ничего, живу. На службу хожу, с знакомыми раскланиваюсь. Про войну читаю. Нас бьют и отовсюду гонят: и из Польши, и из Галиции. И Перемышль взяли обратно, даже поиграть как следует не дали. Жандарм Мясоедов Россию за 30 серебряников продал. Ничего! И не то чтобы ненавижу всех, а около того.

Но молчу! Молчу!

16 июня

Как мне выразить мою тоску, мою тоску, мою тоску! Нет ни слов, нет ни слез, нет ни соображения, ни сознания. Так, что-то мучительное. Зачем-то в зеркало на себя подолгу смотрю, все стараюсь по лицу понять, что такое происходит. Смотрю и хныкаю, и ничего не уясняю. И там седой дурак, и здесь седой дурак. Поседел я.

17 июня

Когда умирает высокая особа, то вывешивают черные флаги до самой земли, весь город затемяют, и всем понятно, что произошло. Или будь я настоящий человек с сильным голосом и даром высокого красноречия, я бы весь свет заставил плакать о моей Лидочке. А что я, ничтожество?.. только и могу, что мычать, как корова; да и корова больше себя покажет, всю ночь будет мычать, хоть спать кому-то не даст – а что я? Скулю себе полегоньку, повизгиваю за барской дверью... до первого барского окрика.

До чего я презренен. Клеточка!

Но позвольте вам рекомендовать один достопримечательный день, я бы памятник этому дню воздвиг, бронзовый монумент для назидания потомству. Это когда, пропустивши неделю после кончины Лидочки, я явился, как честный рабочий, в свою проклятую контору. Что и говорить, у нас все люди добрые и даже заметили, что я поседел: ах, как вы осунулись! И сочувствие горю выразили... но не то чтобы слишком сильно и неумеренно, а в привычной форме вежливости: ах, у вас, кажется, дочка умерла? Скажите, какая жалость!

Да, большая жалость. Ничего, работаю, пишу, считаю. Но вот заметили господа сочувствующие, что у меня на руке креп: ах, что такое? У вас опять кого-нибудь на войне убили?

– Нет, почему же непременно на войне? Это относится к моей умершей дочери Лидии.

– А!..

Разочаровались. А пан Зволянский в самой вежливой и приличной форме, под видом общего разговора, выразил ту мысль, что даже (даже!) и по убитым не следует носить траура, чтобы не действовать на общее настроение. Например: разрядился человек на прогулку, галстух и лакированные туфли, а тут на панели какая-то мрачная фигура седого человека в трауре... неприятно, все настроение портит! Конечно, такого примера г. Зволянский не осмелился привести, но смысл его совета был достаточно ясен: если уж по убитым, которые только и есть настоящие умершие, траура носить не следует, то чего заслуживает какая-то шестилетняя девочка, умершая своей естественной смертью. Мало ли их, этих шестилетних девочек!

И вообще в самой мягкой форме дали мне понять, что я совершаю явно неприличный поступок, вроде того, как если бы среди всеобщей трезвости я ханжи нализался. То же дали понять и встречные знакомые на Невском: ах, девочка!..

Но разве я порчу? Ни малейше. Наоборот, подчиняясь голосу общественного мнения, немедленно спорол креп и теперь ношу его в боковом кармане, чтобы никого не беспокоить и не портить чудесного настроения. Не смею беспокоить. Не имею ни малейшего права, как гражданин. Гражданин – или гадина?.. что-то я не совсем понимаю.

Но молчу! Молчу!

20 июня

Льет дождь, а я хожу под зонтиком и размышляю, в чем самое главное? Самое главное в том, чтобы зарыть. Убить – это пустяки, это случается, главное, чтобы зарыть. Как только зарыт, так ничего не видно, и все хорошо. Нет, вы только подумайте, что бы это было: убито и зарыто сейчас что-то четыре или пять миллионов... и вдруг бы их не зарывали. Какая вонь? Сколько скелетов в разорванных мундирах! Какая тоска, и ничем не могу выразить ее. Все не то говорю, как дурак. И какой-то я длинноногий стал, иду и сам чувствую, что у меня длинные ноги. С ума я, что ли, схожу?

Того же числа, ночью.

Пусть я преступник, пусть я сволочь, злодей, все, что угодно, но, клянусь Богом! – мне нисколько не жаль ваших убитых и нет до них никакого дела. Не я велел убивать, сами убиваете и рвете на части друг друга, и пожалуйста! Сколько угодно!

До чего пуста наша квартира, и сколько в ней ужаса незримого. Прошлый год мы в это время на даче жили и ничего не предчувствовали. Лидочка была.

Смотрю я на своих Петьку и Женьку, что еще остались, и думаю: а не взять бы мне веревочку и, связавшись одним узелком, не прыгнуть бы нам сообща с Троицкого моста – да в воду? Ведь, ей-Богу, они ни на что и никому не нужны. Так, клеточки какие-то, грязные и заброшенные. Чего-то плачут, Петя сегодня чуть голову себе о край стола не пробил, приходил ко мне, чтобы я его шишку поцеловал и пожалел, а я и жалеть не могу. Несчастные дети. Маменька их в лазарете за ранеными ухаживает, долг исполняет, папенька, как сатана, по улицам рыщет, покоя ищет, и сидят они с дурой бонной да с полоумной Инной Ивановной... существование!

Плакать не могу, вот мое мучение. Везде ищу слез и не нахожу. И как это странно устроен человек: кровь у себя могу открыть, стоит ножом кольнуть, а слезы единой ничем не выдавишь. Оттого и спать не могу, и дивана своего боюсь. Я теперь в кабинете на диване сплю, т. е. корчусь и сохну целую ночь под белым светом. Окна у меня не завешены.

Вчера от бессонницы встал и с трех до пяти утра сидел на подоконнике, курил и глядел на мертвый город: светло, как днем, а ни единой души. Напротив нас другой такой же дом, и во множестве окон вверху и внизу ни единого движения, ни единого хотя бы намека на живое. Был я раздет, в одних кальсонах и рубашке, босой; так сидел, потом в таком же виде ходил по кабинету и казался себе сумасшедшим.

А днем – кабинет как кабинет, и я человек как человек. А если бы кто посмотрел на меня ночью? Я и сейчас босой и в одних подштанниках. Но зачем я все это пишу?

23 июня

До чего я весь другой стал, даже удивительно! Никого мне не жаль, никого я не люблю, даже детей; и живет во мне одна только голая ненависть. Хожу по улицам, гляжу на людей и дома и думаю тихонечко, даже улыбаюсь: хоть бы вы все провалились сквозь землю! Сегодня протянул ко мне руку какой-то нищий, а я так на него взглянул, что от одного этого взгляда у него язык отнялся и рука опустилась. Хорошо посмотрел, должно быть! И плакать все не могу, даже не могу припомнить, как это делается. Да что слезы... так высох, что даже не потею, в самую жаркую погоду хожу без испарины. Весьма странное явление, докторов бы спросить.

Сегодня Саша обратила на меня свое внимание. Плакала, что я такой. А какой я? Удивилась, что я газет не читаю, а что нового могу я узнать в газетах? Про Мясоедова? Что убивают, жгут и топят, так это я без газет давно уже догадываюсь. Просто – не хочу читать. Спрашивает:

– Как твой желудок?

– Какой желудок? А разве у меня есть желудок? Ах да – ничего, благодарю. А как твои раненные?

– Они и твои.

– Нет, не мои, я их не делал.

– Отчего ты такой злой? – плачет. – Иленька!..

– Что, добрая моя Сашенька?

Рассердилась – и ушла в лазарет, даже дверью не забыла хлопнуть, как истинная любящая жена. Мне решительно все равно, но на детей такие выходки едва ли могут действовать воспитательно. Надо о них помнить.

Вообще даже странно подумать, что у меня есть жена – так редко мы видимся и говорим. Совсем закопалась в лазарет. В субботу к ним привезли так много раненных, что пришлось их класть даже на полу, и домой, к купанью детей, Саша не пришла. Это уже не первый раз. Обыкновенно в таких случаях их купает бонна, но тут почему-то вздумалось мне самому искупать Женю. Какой он худенький, все ребрушки под рукой, и такие мелкие косточки! Вытираю я это худенькое тельце и жиденькие волосенки, а сам все думаю: отчего я не плачу?

А тут, по неловкости моей, я как-то причинил ему боль, царапнул, что ли, и он заплакал; и вместо того чтобы хоть здесь почувствовать жалость, я рассердился и отдал его бонне. Что со мною? Прежде таких, рассказывают старики, в церкви отчитывали и приводили в прежние чувства... а кто сможет меня отчитать? Пустяки.

И России мне не жаль, пусть кряхтит. И себя не жаль. И умри сейчас Саша, я, кажется, бровью не поведу. Вот, говорят, что-то вроде холеры у нас начинается... что ж, пускай холера. Пускай и чума, и мор, и землетрясение, мне-то какое дело?

26 июня

Сенсационное происшествие в нашей конторе: поляк Зволянский пошел на войну добровольцем, чтобы собственноручно, так сказать, защищать свою Варшаву. Сперва думали, что это обыкновенная его сенсация, но оказалось вполне серьезно... кто бы мог ожидать от такого болтуна! Не из тучи гром, как говорится. Конечно, служащие устроили ему пышные проводы, на которых я не присутствовал, отговорившись нездоровьем. Пусть патриотствуют без меня, а косых взглядов и усмешек я не боюсь.

В частном разговоре со мною Зволянский в весьма высокопарных выражениях высказал ту мысль, что если он теперь не пойдет стрелять, то впоследствии его замучит совесть. Совесть! Положим, ему действительно очень больно за свою Польшу и строго судить его нельзя, но про совесть лучше бы и промолчать.

То-то много ее кругом, куда ни посмотришь, все совесть! Проходу нет от совестливых людей, даже оторопь берет меня, дурака. И грабят, и предают, и детей морят – и все по самой чистой совести, ничего возразить нельзя. Надо так, война! И кому война и слезы, а мошенникам купцам и фабрикантам все в жир идет... каких домов потом понастроят, на каких автомобилях закатывать будут – восторг и упоение! Их бы перевешать всех, а нельзя – а совесть-то?

Заметил я, что Инна Ивановна, старушка наша Божья, все ноги под юбку прячет, когда садится, поджимает их, как гусь. В чем дело? А оказывается, у нее башмаки до того растрепались, что пальцы наружу лезут: ползает ведь старушка! Говорю ей: да как же вам не стыдно, мамаша, отчего вы мне или Саше не скажете? Ну!

Заплакала и молчит. Так ни слова и не добился от нее; видимо, нарушил какие-то ее коммерческие соображения. Нет, право, смешно: экономить, рассчитывать, биться за каждую копейку, когда на твоих же глазах эта копейка, как по манию фокусника, сама лезет в купеческий карман. Фокусники!

Сам купил Инне Ивановне прюнелевые ботинки и торжественно преподнес, чувствуя себя благодетелем. Конечно, она опять прослезилась, а я смотрю на текущие слезы и думаю: хоть бы мне одну слезинку!

3 июля

Получил тяжкую рану и скончался в Варшавском госпитале Андрей Васильевич, мой предполагаемый читатель. Царство небесное!

Вот и последнего читателя потерял, ни разу его не выдавши. Оно и хорошо. Один я, как в преисподней, среди танцующих чертей и грешников завывающих. И кому я нужен с моим дневником? Смешно даже подумать. Моя Саша, моя жена, давно уже знает, что я веду дневник, но ни единого раза не только не пожелала посмотреть, но даже малейшего любопытства не обнаружила... что дневник пишет человек, что подсолнухи лузгает, одна статья! Даже на мышь больше внимания обращается: хоть пустят в нее сапогом, когда скребется.

Да и какое право имею я, тля ничтожная, требовать к себе внимания и участия, когда там погибают ежечасно тысячи людей, да еще каких, не Илье Петровичу чета! И что бы это было, если бы каждая клеточка, приговоренная к гибели, вздумала кричать и устраивать скандал, как настоящий человек?

Видел сегодня на Морской беженцев из Польши... тоже фигуры!

4 июля

Не могу я так существовать. Не создан я для зла и злобных чувств, а других нет в моей несчастной душе. И сна нет. Тлею внутри себя белым пламенем, как дерево, высыхающее на корню, на лицо свое искаженное опасаюсь взглянуть. Хожу до усталости, до полного изнеможения, до того, что ноги немеют и виснут, как чугунные; и сразу засыпаю, а в три часа, точно по барабану, вскакиваю испуганный и до пяти или шести сижу на подоконнике, вглядываюсь бессмысленно в такую же бессонную петроградскую ночь. Ужасный свет, ужасная ночь! И льет ли дождь и мочит стены, или солнце освещает трубы, все одинаково страшно для взгляда в этом мертвом и недвижимом городе: будто уже исполнилось пророчество и все люди погибли, и над погибшими напрасно и ни для кого светит ненужный день.

У противоположного дома очень гладкая и высокая стена, и если полетишь сверху, то решительно не за что зацепиться; и вот не могу отделаться от мучительной мысли, что это я упал с крыши и лечу вниз, на панель, вдоль окон и карнизов. Тошнит даже. Чтобы не смотреть на эту стену, начинаю ходить по кабинету, но тоже радости мало: в подштанниках, босой, осторожно ступающий по скрипучему паркету, я все больше кажусь себе похожим на сумасшедшего или убийцу, который кого-то подстерегает. И все светло, и все светло.

Не могу я так существовать. Вот оно что значит: «прошу никого не винить, жизнь надоела». Нет, пустяки, пустяки. Я нездоров, мне просто надо лечиться, что-нибудь принимать.

Лидочка, ангелочек мой, отпусти меня, дай мне слез, я о тебе плакать хочу. Я не могу быть такой. Умоли за меня Бога, ты к нему близко, ты в его глаза смотришь, попроси за отца. Девочка моя нежная, душенька моя, ангелочек мой, вспомни, как я тебя нес от постельки до стола и крепко, крепко, крепко...

8 июля

Трудные дела. Спаси, Господи, Россию! Сегодня вся она с края и до края молится за свое спасение.

Стыдно теперь сказать, каким дураком отправился я сегодня к Казанскому собору на всенародное молебствие; и когда это со мною случилось, что я стал вдруг понимать и видеть, совершенно не могу припомнить. Помню, что поначалу я все улыбался скептически и разыскивал в народе других таких же интеллигентов, как и я, чтобы обменяться с ними взорами взаимного высокого понимания и насмешки, помню, что обижался на тесноту и давку и сам, не без ума, подставлял ближнему острые локти – но когда я поумнел?

Нет, никаким самым искусным языком нельзя описать этого зрелища, когда сотни тысяч людей отовсюду стекаются по улицам и переулкам и все к одному месту, чтобы сообща обратиться к Богу с своей молитвою. Вначале все невольно думаешь, что это какая-то шутка, что это нарочно, для какого-то парада, но когда людей все прибывает, а новые все идут, и уже трудно дышать, а они все идут – то начинает становиться так серьезно, что у меня холодными иголками закололо спину. В чем дело? – спрашиваешь себя, испытывая содрогание, а они и не слушают и не отвечают, а все идут... люди, люди, люди. И даже то, что они толкаются, не обращая на тебя особенного внимания, как и ты на них, становится таким серьезным и важным, что всякая критика и вопросы невольно умолкают, и трепет обнимает душу. Значит, важно и нужно, если столько людей и с таким беспокойством собираются вкуче и зовут Бога – и мне ли, с моим маленьким умишком, спорить против них и допрашивать!

А тут, по соседству, многие плачут и не стыдятся, так что даже и слез не вытирают, как будто нынче было разрешено всем плакать при всех. «Какое наивное простонародие!» – еще успел дурачки подумать я, глядя на какого-то здоровенного плачущего мужика, должно быть дворника или извозчика, и вдруг чувствую, что-то помокрели и у меня глаза мои высохшие! И еще стыдись, что кто-то заметит, еще не оценив, что и я плачу, наконец, – мошеннически перевел я глаза вверх... а там такие небеса! Господи, Господи! – подумал я, – как ты далеко и как же ты близко.

И тут содрогнулся я весь, всего меня пронзило небесным огнем. Будто на невидимых крыльях поднялся я на высоту белых облачков и оттуда увидел всю ту землю, что называется Россией... и это ей, а не кому другому, угрожают такие бедствия, и это на нее идут враги с своим огнем и бомбами, и это за нее мы молимся, за ее спасение! А посмотрел опять на землю – и вижу людей, которые плачут, и такое множество их, и я с ними, и они меня не прогоняют прочь, а доверчиво прижимаются к моей груди... да где же я прежде был, безумный! И вдруг так я их всех полюбил, так люблю, что чувствую всем телом: нет, не могу больше, сейчас кричать начну от любви. Мне и сейчас кричать хочется, как вспомню.

Да разве это выразишь? Напрасное старание. Вот сейчас, по прошествии всего нескольких часов, я уже не так ясно представляю себе, что такое Россия, и опять на географическую карту смахивает – а тогда так ясно понимал, и видел, и все чувствовал. Нет, я и сейчас понимаю, но рассказать не могу. Спаси, Господи, Россию, спаси ее, глупую!

Теперь пора бы и перестать, но слезы все навертываются. Пускай себе! А когда, придя домой, увидел я тишайшую Инну Ивановну, своими дрожащими руками вытиравшую Пете носишко, вспомнил ее Павлушу – не вытерпел я и зарыдал как ребенок. Стал на колени перед нею (в присутствии бонны, которая, впрочем, тоже плакала) и стал целовать ее немощные старческие руки... ох, как нуждаюсь я в прощении со стороны всех честных людей, которых столько оскорблял! Да, поплакали мы все основательно, основательно.

Бросаю писать по причине явной бестолковости, с какой растекаются мои мысли. И пускай их!

Ночью того же.

Опять не сплю, и так тревожно на душе. Холодно и знобит. Все о России думаю.

Но как остроумно устраивается человек и изо всего извлекает для себя выгоду. Научившись от народа любви к нему и России, что же я сделал первым делом? Поспешно направился домой, чтобы поскорее приласкать своих собственных Петю и Женичку, как будто в этом все дело и заключается. Впрочем, это желание было для меня уже чудом после всей этой холодности и жестокой сухости, с какою забывал я о самом ихнем существовании.

Накупил им ягод с лотка, чего уже давно не делал, и теперь боюсь, как бы не разболелись животики. Смущает меня Женичка: такой худенький и в глазах что-то Лидочкино, задумчивое. А какой был веселый ребенок... или и его коснулось?

Опять стало страшно. Нет, лучше в такую ночь лежать, если спать не можешь, а то ужасные мысли лезут в голову. Дети, Россия.

А Сашеньки так и не видал. Заходила днем, когда меня не было, а теперь, вероятно, дела не пустили. Жаль все же. Хотел я сам зайти к ней в лазарет, но так давно не был там, что показалось неловко. Ах, Сашенька, Сашенька ты моя!..

Так вот оно что значит: Россия.

16 июля

Опять тоска и уныние. Словно просыпался я на минуту, увидел что-то, и опять забыл, и опять все тот же бесконечный и тягостный сон. Читаю газеты – страшно. А по городу ходят еще более страшные слухи, и в конторе рассказывают невероятные вещи, что Варшава уже взята, и многое другое, о чем лучше помолчать. Не верю я в нашу Думу, но все-таки хорошо, что созывают.

Жутко.

19 июля

В городе уныние, и все прохожие такие скучные. Разве только какой-нибудь хулиган засмеется во все горло да с видом надменного равнодушия проплывет на толстых ногах грабитель купец или подрядчик. Эдакие жирные скоты!

Быть может, сейчас, ночью, когда я пишу эти строки, германцы как раз вступают в нашу Варшаву. Закрою глаза и ясно, как в кинематографе, вижу их остроконечные каски, вижу, как идут они гордыми победителями по опустелым улицам, среди разрушенных зданий, освещенные этим вечным заревом пожаров. А сколько в нашей конторе смеялись над Вильгельмом с его притязаниями на Варшаву и т. д.! И пока дураки смеялись, немцы-то и пришли – вот они. Что теперь будет? И стыдно, и жутко, и не хочется никому прямо в глаза взглянуть.

Но как можно было прозевать и не заметить, что все это так опасно? Закрою глаза и вижу – идут остроконечные каски, пылают пожары, и прячутся по домам испуганные люди... а что прятаться! Вот сейчас представилось мне, что это не Петроград, где я сижу и пишу среди полной тишины, а Варшава, и за окнами по мостовой шагают немцы, входят в город... как это было бы страшно и невыносимо! И вдруг – дерзкий и громкий стук в дверь, открывайте, это немец пришел; осматривается, ходит по всем комнатам моим, как у себя дома, расспрашивает, а в руках ружье, из которого не стреляет в меня только из милости. Как бы я смотрел ему в его голубые тевтонские глаза? И неужели я улыбнулся бы ему... правда, только из вежливости, но все-таки улыбнулся бы? Нет!

Чувствую, что не засну в эту ночь.

26 июля

Собралась и заседает Государственная Дума – но что это, о Господи всех сил! Читаю я эти ужасные отчеты, перечитываю, глазами ем каждую строку... и все никак не могу поверить, что это не нарочно, а самая настоящая правда. Снарядов нет. Сказали, что будут снаряды, и обманули! Подумать только: снарядов нет... хороши вояки, голыми руками хотят удержать германца! Голыми руками, это только представить себе надо.

Но позвольте, господа: неужели это и есть Россия? Тут что-то не так, не могу я этого принять, не вмещаю. А как же молящиеся-то, те, кто молился и плакал на Казанской площади, звал Бога... как же смели они звать, если так? Или и они обманывали? А они звали, я сам звал, и слышал зовущих, и видел горячие слезы, и видел трепет души, но не тот позорный страх, который испытывает разбойник перед всевидящим оком. Или те, кто молились, само по себе, а те, кто обманывали, те само по себе? Ничего не понимаю, но одно знаю твердо и готов поклясться жизнью моих детей: это не Россия. Тут что-то не так.

Не могу передать того ощущения, какое я испытал, впервые читая речи наших депутатов. Точно немецкий чемодан разорвался у меня в самом мозгу и все вдребезги разнес, оглушил, ослепил и потряс до самого основания. Я и сейчас словно не говорю человеческим языком, а бессмысленно лопочу и больше глаза таращу, чем правильно выражаюсь. Да и все, положим, таращат, не один я, грешный. Даже наша болтливая контора, где все вопросы решаются так легко и просто, ходит с вытаращенными глазами; почти и работу совсем забросили, сидят без пиджаков, как вареные раки, облитые кипятком, и только по десяти раз газету перечитывают и мальчика гоняют за прибавлениями. А потом начинают орать, стучать кулаками по столу и вопить:

– Нет, я говорил!

– А я что говорил? Не слушали!..

– Нет, это вы не слушали! Я говорил...

Я говорил, я говорил – все, оказывается, говорили, и беда только в том, что никто не слушал. А говорили все, и все знали, что так будет, все предсказывали... пророки конторские! А кто Царь-Град брал? А кто уже по Берлину гулял и даже галстуки себе выбирал на какой-то Фридрих-штрассе? – я ведь помню.

И что для меня любопытно в наших конторских: накричат, наругают, наговорят таких ужасов и страстей, что, кажется, ночь потом не заснешь – а через минуту и развеселятся, любезничают друг с другом, почти хвастают: вот как у нас! И кто «Сатириконом» займется, а кто в складчину пошлет за какой-нибудь особо вкусной закуской и дружески поделит ее в задней нашей комнате, вдали от глаз начальства. Спасибо, что водки не достанешь... эх, контора!

Но кто меня еще удивил, так это моя Сашенька. Чувствуя неодолимую потребность поделиться этими новыми и страшными впечатлениями, я, естественно, прежде всего подумал о ней и даже успел представить себе, какой произойдет у нас разговор, серьезный, вдумчивый и какой-то важный; может быть, даже не говорить, а молчать будем, сидя рядом, но в этом молчании и откроется для нас самое главное. Оказалось же... что-то очень странное. Спрашиваю, вытаращив глаза: ну! читала? Она даже испугалась моего лица и голоса.

– Что?!

– Как что? Отчеты о заседании.

– Какие отчеты? Ах, да, читала... да некогда мне читать, так, просмотрела только. Бог знает что!

Сгоряча, еще не заметив, сколько было равнодушия в ее искусственном восклицании, я пустился в объяснения, говорил долго и очень обстоятельно, когда вдруг понял по всему ее задумчивому лицу, по опущенным глазам и какой-то незнакомой складке около рта, что она просто меня даже и не слышит и думает о чем-то о своем. Это меня обидело и даже возмутило... не лично, конечно, а в отношении того важного для всей России дела, о котором я говорил.

– В тебе совершенно отсутствуют гражданские чувства, Саша, – сказал я холодно и внушительно. Она покраснела, и так больно мне стало увидеть эту краску на ее бледном и утомленном лице.

– Не сердись на меня, Иленька, голубчик. Правда, я немного задумалась и не слыхала... да ведь и не так важно все это.

Я опять рассердился, даже крикнул:

– Как не важно! Одумайся, что ты говоришь. Только изменники, которые радуются гибели, могут говорить, что это не важно. Ведь у нас нет снарядов! Ты представь только: вооруженный немец походя, даже с улыбочкой, бьет нашего безоружного, покорного и кроткого солдата... или тебе не жаль?

Видимо, это поразило ее, и, широко взглянув на меня, она тихо и со страхом сказала: да, это ужасно! Но как же быть?

– Вот об этом все и думают, как быть, а ты говоришь: не важно. Страшно важно, Сашенька, важно до того, что можно с ума сойти.

Но в это время ее позвали к ампутированному, безрукому солдату, который отказывается есть, если не Сашенька его кормит; и, словно опять все позабыв, она равнодушно и виновато улыбнулась мне, поцеловала и наскоро, в ухо шепнула: не сердись, голубчик, я не могу... И ушла.

Что не могу?

29 июля

Вот неожиданное происшествие: отыскался в Москве Николай Евгеньевич, наш дорогой инженер и свояк, и мало того, что отыскался, но еще прислал любезное письмо с предложением денег. Вспомнил почти через год, что у него есть мамаша, Инна Ивановна, и предлагает мне разделить материальные заботы о ее существовании. Но ни о Саше, ни о брате Павлуше, ни о моей Лидочке – ни слова.

Вскипел я – и уж такое письмецо ему закатил, даже Сашеньке ни слова о нем не сказал, не хочу огорчать ее. Ну и что же за мерзавец такой! По слухам, дошедшим до нашей конторы, я уже знал, что он занялся какими-то подрядами и поставками и заработал чуть ли не миллион... это тоже называется: заработал. И вот теперь этот грязный и бессердечный человек, погубитель России, великодушно предлагает мне один из своих тридцати серебреников – нет, Николай Евгеньевич, с голоду умру, если придется, но от вас копейки не возьму! В крови ваши деньги, гнусны они и липки, рук потом не отмоешь. И Инне Ивановне, матери вашей, непригоже существовать на ваши кровавые деньги: она сына потеряла в этой войне, милого, дорогого и честного Павлушу.

Боже! За что ты на нас, маленьких, обрушиваешь твой гнев. Накажи вот этих, накажи богатых и сильных, воров и предателей, лжецов и мошенников! До каких же пор будут они глумиться над нами, скалить свои золотые зубы, давить автомобилями, открыто и нагло смеяться в лицо. Можно самому себе голову разбить от бессилия и отчаяния, видя, как они неприступны в своем бесстыдстве. Им говорят – а они смеются! Их стыдят – а они потешаются. Их умоляют – а они хохочут! Ограбили Россию, предали – и спят себе спокойно, как на самой лучшей подушке из гагачьего пуха.

Страшно подумать, что для них не будет наказания. Не должно быть в жизни того, чтобы подлец торжествовал, это недопустимо, тогда теряется всякое уважение к добру, тогда нет справедливости, тогда вся жизнь становится ненужной. Вот на кого надо идти войной, на мерзавцев, а не колотить друг друга без разбору только потому, что один называется немцем, а другой французом. Человек я кроткий, но объяви такую войну, так и я взял бы ружье и – честное слово! без малейшей жалости и колебания жарил бы прямо в лоб!

Какой смысл терпеть? Возмутило меня это письмо, всю душу перевернуло до дна. За что умерла и убита моя Лидочка, невиннейшая из невинных. Твой же цветок, Господи, из твоего же сада? Девочка моя милая, любимая бесконечно, дорогая бесконечно, разве ты была миллионом награбленным или плотской грязью, что взяли тебя и отняли, вырвали из моих нищенских рук?

Какое мучение, какое мучение... И как подумаешь, сколько сейчас человеческих сердец охвачено такими же муками, сколько возносится проклятий... а что дальше? Мучения – а что дальше? Возносится... а дальше? Да ничего. Сдыхай, тля ничтожная, вот и все, что у тебя есть. Сдохнешь, тогда и отдохнешь. Мало ли их сдохло, этих Дементьевых, а тоже, небось – проклинали! Роптали! Требовали! Думали, что так вот сейчас их и послушают и справедливость дадут, в золотую корону голову их оправят... а кто их помнит? Сдохни, только и всего!

30 июля

Слежу за речами в Государственной Думе и каждый день точно все выше поднимаюсь на гору, откуда открываются перспективы. Но какие перспективы! А немцы, заняв Варшаву, идут все дальше... и где будет конец их страшному нашествию? Военные обозреватели говорят, что дальше крепостей Ковно и Гродны они не пойдут, застрянут перед их стенами, – но разве этого мало? Любопытное явление: мне кажется, что я почти физически ощущаю близость немцев и к каждому углу на улице подхожу с нелепым ожиданием: вдруг оттуда выскочит немец. И так ясно вижу его немецкое лицо, его каску с этим острием... почти слышу его наглые и требовательные слова. Избави, Господи!

Да, перспективы, перспективы, волосы дыбом встают от этих перспектив. Но почему я такой... ничтожный? Ведь я честный человек, но почему я раньше ничего не знал и не понимал, глядел на все с каким-то идиотским доверием, как зачарованный осел, если можно так выразиться? Почему я такой ничтожный? «Отечество в опасности» – какие невыразимо страшные слова: отечество в опасности. А при чем я тут, на кой дьявол нужен я этому отечеству? Любая лошадь в это страшное время полезнее отечеству, нежели я со всей моей гнусной честностью. Гнусно, гнусно.

Теперь уже со всех сторон слышится, даже в нашей скептической конторе: Господи, спаси Россию. Ну – а если Бог и не захочет вступить за Россию и спасти ее? Вдруг да и скажет: раз ты такая дура, и воровка, и мошенница, то и пропадай ты с твоими Мясоедовыми.

Что же: так тогда и пропадать всей этой земле, которая называется Россией? Жутко. Всеми силами души борюсь против этой мысли, не допускаю ее... а на сердце такая жуть, такой холод, такая гнетущая тоска. Но что я могу? Здесь нужны Самсоны и герои, а что такое я с моей доблестью? Стою я, как голый грешник на Страшном суде, трясущийся от озноба и страха, и слова не могу промолвить в свое оправдание... на Страшном суде не солжешь и адвоката защищать не возьмешь, кончены все твои земные хитрости и уловки, кончены!

Это называется: при мировой войне присутствовал Илья Петрович Дементьев, петербургский бухгалтер и счетовод.

Часть третья

5 августа

За последние дни я слишком разволновался и наговорил о себе много несправедливого. Волнение плохой помощник в рассуждениях, когда нужен трезвый и ясный взгляд на вещи; но слишком расстроили меня эти неожиданные разоблачения, которые, как из рога изобилия, полились из уст наших думских Цицеронов. Любопытный вопрос: если я проморгал, что следует, то куда же смотрели сами думские Цицероны? Им-то уже, во всяком случае, следовало быть поглазастее.

Конечно, я бессилен, охотно с этим соглашаюсь и не спорю, но разве от меня зависит моя сила? Какой я есть, такой я и есть, а родился я Самсоном или Жоффром, то и был бы я Жоффром. И если никакой дурак, зная, что я не математик, не предложит мне решить задачу на интегральное исчисление, то еще менее разумно требовать от меня, чтобы именно я разрешил эту задачу о мировой войне и русских безобразиях. Не я хотел и начал эту войну, не я создаю и создал всю эту неурядицу, и смешно все это взваливать на мои плечи. Смешно и несправедливо. Поставили гору перед тобою и даже лопату в руки не сунули, а говорят: чтобы скрыта была в полчаса! Нет – не угодно ли самим!

В конторе, слава Богу, все успокоилось и идет своим чередом. Здоровы и дети, что меня несказанно радует; прихворнула было желудком Инна Ивановна, но уже поправилась; в конце концов, очень крепкая и выносливая старушка, нас еще переживет. Но беспамятна ужасно!

Задумал я раскошелиться и на свой счет оклеить к зиме новыми обоями детскую комнату и свой кабинет. Особенно невыносимы для меня обои в кабинете: как взгляну на них, так тотчас вспомню эти белые ночи июньские, когда я раздетый сживал на подоконнике или ходил босой по комнате и чувствовал себя сумасшедшим. В те часы я каждый цветок в обоях рассмотрел, выучил наизусть каждую черточку и пятно. Усумнился я было стоит ли в такое тревожное время заниматься отделкой квартиры, но, подумав, решил, что именно в такое время и стоит: нет надобности до такой степени поддаваться обстоятельствам, чтобы и личную свою жизнь обращать в хаос и свинушник. Война может себе быть войной, а мой дом остается моим домом и дети – детьми.

Вчера вечером невольно рассмеялся, глядя на своего Женичку, как он укладывался спать. Он пополнел и посвежел и такой хитрый! Очень милый мальчик. Бонна по своему разумению научила его разным молитвам, тут, конечно, и за папу с мамой и за солдатиков, а кончается молитва неожиданно так:

– Боже, милостив буди мне, грешному.

И вот, произнося эти страшные слова, грешник стал на голову, весь заголившись, и с наслаждением кувыркнулся. Да, хорошо, если бы все грешники были такими!

Сашенька одобрила мой ответ Николаю Евгеньевичу и нашла его благородным. Молчит он, не отвечает – да и не ответит!

7 августа

Прибираюсь с квартирой, оказалась ужасно запущенной и грязной, стыдно взглянуть; много моли, свившей себе целые гнезда в суконных занавесках, на диване и креслах в моем кабинете. Решил для некоторого разнообразия перевести свой кабинет на место прежней столовой; не скажу, чтобы вышло красивее, но уюта больше и приятно, что другие окна с другим видом. В прежние мои окна просто смотреть не могу: как увижу этот дом с его бесчисленными окнами и гладкими стенами, так снова начинаю испытывать тоску, доходящую даже до головокружения и перебоев в сердце. Словно я когда-нибудь уже падал с этой крыши, летел головой вниз вдоль этих гладких, отвратительных стен.

Перетаскивая с дворником мебель, думал о том, как хитро устроен человек: птица к зиме летит на юг, а человек испытывает влечение и любовь к дому своему, коробочке, копошится, устраивает, готовится к дождям и метелям. Сейчас у меня это носит характер даже увлечения, и только мелькающий в глазах образ моей Лидочки, которая в прежние года по-своему помогала мне в уборке, пронизывает сердце острой и безнадежной болью. Ее-то уж не будет!

Да и многого не будет, и в самую сердцевину моего гнезда проникает разорение. Пришлось отказаться от мысли о переклейке комнат: как-то вдруг обнаружилась такая страшная дороговизна, что у малосостоятельного человека волосы поднимаются дыбом от предчувствий: тут и дрова, тут и хлеб... впрочем, не стану заполнять дневника этими прозаическими подробностями нашего теперешнего житья-бытья. Ах война, война, какое же ты чудовище!

Немцы, взяв Варшаву, продолжают подвигаться вперед, т. е. к нам поближе. Все молчат и ждут, что будет дальше; и только искоса поглядывают друг на друга: не знает ли чего нового и настоящего? А кто может знать! Я думаю, что и сами немцы ничего не знают, и никто на свете ничего не знает и не понимает... замутился белый свет!

8 августа

Взята Ковна, наша крепость, которую военные авторитеты считали неприступною, разгрызена, как орех, и скушана почти моментально.

12 августа

Взят Оссовец.

15 августа

Взята крепость Брест.

Как хорошо, что у меня есть вот этот дневник и я могу, не корча из себя рыцаря без страха и упрека, вполне откровенно сознаться в чувстве невыносимого страха, овладевшего мною. Конечно, на людях приходится скрываться и делать храброе лицо... да и что бы это было, если бы все мы в Петрограде стали орать от страха и трястись, как каждую минуту готов заорать и затрястись я! Да, вот этот страх – это уж настоящий страх, не фантазия и не болтовня, в которую пускаются больше для того, чтобы других напугать, а сами испытывают даже удовольствие. И так хочется бежать и укрыться... а куда? А на чем? А на какие деньги? Стоишь, как дерево на опушке леса, к которому подходит ураган, и только листики к себе прижимаешь, внутренне содрогаешься до самых последних корней. Есть еще надежда, что нашу контору эвакуируют, там что-то шепчутся таинственно все эти дни и возятся с книгами... ах, хотя бы!

Оттого ли, что так страшно за себя и детей, совершенно перестал соображать и ничего не понимаю. Даже самое слово «война» стало бессмысленным. Война – это мертвое, это пустой звук, к которому мы все давно привыкли, а тут что-то живое с ревом приближается к тебе, живое и огромное, все потрясающее. «Идут!» – вот самое страшное слово, с которым ничто не может сравниться. Идут. Идут.

Теперь я уже начинаю жалеть о белых ночах, столь измучивших меня после смерти Лидочки: свет все-таки является какой-то защитой, а что делать в осенние темные ночи, которые страшны и сами по себе, без всяких немцев? Вчера ночью бессонница, разволновался я, и вот полезли мне в голову фантастические картины того, как приближаются немцы, как они идут с своей незнакомой речью, с своими незнакомыми немецкими лицами, с своими пушками и ножами для убийства. Отчетливо, словно во сне, представилось мне и то, как они суетятся около повозок, кричат по-своему на лошадей, теснятся и топчут на мостах, грохочут по их живым доскам... чуть ли не голоса их услышал, так это ясно все представилось!

И их целое множество, их миллионы, этих озабоченно хлопочущих людей с ножами по наше горло, и все их неумолимые лица обращены к нам, к Петрограду, к Почтамтской, ко мне. Идут по шоссе и проселкам, ползут на автомобилях, едут по железным дорогам в набитых вагонах, залетают вперед на аэропланах и бросают бомбы, перескакивают от кочки к кочке, прячутся за бугорками, выглядывают, перебегают еще на шаг, еще на версту ближе ко мне, скалятся, ляскают зубами, волокут ножи и пушки, прицеливаются, видят вдали дом и поскорее зажигают его – и все идут, все идут! И так мне страшно стало, словно живу я где-нибудь в деревне, в глуши, в одиноком доме среди леса, а какие-то грабители и убийцы в темноте подкрадываются к дому и сейчас всех нас перережут.

Под конец дошел до такого состояния, что лежу и прислушиваюсь, отодравши уши от подушки, к каждому ночному шороху и треску... все кажется, что кто-то забрался, кто-то ходит и ищет. Невыносимо! Да, теперь я вижу, какой я трус, но как же мне быть, чтобы не трусить? Я не знаю, не знаю. Страшно.

А я еще комнаты оклеивать хотел, дурак!

16 августа

Немного успокоился и бодрее смотрю на наше положение. И газеты, и наши стратеги в конторе уверяют, что до Петрограда немцам не дойти. Верю им, верю – иначе что же делать? А на улицах такая скука, и только, когда позабудешь немного о немцах, все кажется похожим на прежнее: и так же идет трамвай, и те же извозчики, и магазины. Но только везде больше сору и поднявшийся ветер слепит глаза, лошадиным мелким навозом засыпает рот. Голыми почему-то и грязными кажутся дома и дворцы, а над Невою точно дым от ветра и пыли, движется клубами и полосами и туманом застилает Петроградскую сторону.

С волнением читаю думские отчеты, но из естественного чувства осторожности ничего не пишу о своих впечатлениях. Одно только по-прежнему удивляет меня: это моя слепота, с какою относился я ко всему, всему доверяя и ощущая только внешность предметов. Ну и гражданин же ты, Илья Петрович! В порядочном государстве тебя, такого, и на порог не пустили бы, а тут ты ничего... честный человек, семейственная курица, которая к другим в гости ходит и во все горло кудахчет о разбитых яйцах.

Нет, мне это решительно нравится: я – курица. И мой Женька не кто иной, как курицын сын... теперь я понимаю язвительность этой ругани. И по улицам все тоже разгуливают куры и курицыны дети в то время, как сукины дети... стоп машина!

Илья Петрович Дементьев, бухгалтер и курицын сын. Честь имею.

21 августа

Случилось самое ужасное, что только может быть и о чем вот уже четыре дня не смею написать даже в дневнике. В сущности, этого давно уже следовало ожидать по сокращению операций и по затруднению в наших делах, которые я прекрасно знал, и только моя обычная слепота и доверие к людям оставляли меня беззаботным. Наша контора ухнула и закрыта; Иван Авксентьич внезапно умер (вероятно, покончил с собою, но это скрывают родственники), и все мы, служащие, получили расчет. Как дар особого великодушия, старым служащим, в том числе и мне, выдано месячное жалованье; если принять в расчет полный крах дома, то это действительно великодушно.

Но как же теперь я буду кормить себя и детей? От этой мысли страшнее, чем от немцев; те еще придут ли, нет ли, а это факт: по прошествии недолгого времени мне нечем будет кормить ни себя, ни детей.

От Сашеньки пока скрываю, не могу найти слов, чтобы сказать прилично. И дома ничего не знают: каждое утро в обычный час я выхожу, шатаюсь по дальним улицам, чтобы кого-нибудь не встретить или сижу в Таврическом саду, а в пять возвращаюсь якобы со службы. Надо что-нибудь придумать, предпринять.

22 августа

Первый раз в жизни я остаюсь без работы. В молодости, конечно, случалось, что я недели две, месяц оставался без занятий, но тогда это переживалось как-то по-другому, даже не помню, как именно. Легко и без размышлений, как и все в молодости, вероятно. Но теперь, в сорок шесть лет, с семьей...

Кому я нужен теперь? Какое имею я право на существование? Что есть за мною оправдывающего, кроме труда? Пока я трудился и давал людям малым и беспомощным кров и пропитание, я все же был человеком, личностью, которая имеет право на уважение и даже заботы, а что я теперь?

Совершенный дармояд, полное и оскорбительное ничтожество, до того полное и совершенное, что не только других, но и себя, свою маленькую жизнь, оно поддерживать не может. Любой воробей, который на улице поклеветает навоза, стоит выше меня и больше прав имеет на существование.

Пока работал, до тех пор и существовал, именовался, был видим и осязаем, хоть пальцем одним вертел какое-то общее колесо, а теперь... странно: я словно уже и не существую. Мучительное и невыносимое состояние, когда будучи живым среди других живых людей, внутренне ощущаешь себя чем-то вроде призрака невещественного явления. У меня и голос изменился, стал тихим и заискивающим, у меня и походка другая, точно я ночью хожу один по спящему дому и стараюсь не шуметь; и только то обстоятельство, что сейчас и все по-разному не похоже на самих себя, не позволяет заметить той же Инне Ивановне, что каждое утро уходит из дому и возвращается домой не живой человек, а призрак. А как я играю перед Сашенькой в редкие наши свидания, которые я старательно укорачиваю под предлогом работы... работы!

Конечно, я понимаю, что я не виноват в происходящем со мною и являюсь только жертвой, но разве это что-нибудь значит? Только совсем не уважающий себя человек может находить утешение и даже гордиться тем, что он жертва: я здесь никакой гордости не усматриваю. Наоборот: чем больше я размышляю о себе, тем ненавистнее становится мне этот человек, ни к чему не способный, ограниченный, висевший в жизни на одной какой-то ниточке, которую всякий прохожий может оборвать. Что я совершил такое, чтобы теперь спокойно держать руки сложенными на груди? Полторы дюжины стульев, кровати, и стол, да еще тряпье, которое на мне и детях, – вот и все. Нет, что же я говорю: все – а комоды, а пуховые подушки, четыреста рублей в сберегательной кассе и билет, по которому собираюсь не нынче завтра выиграть двести тысяч? Правда, очень интересно было бы составить реестрик всему, что я имею и добыл трудом всей жизни, очень интересно и поучительно.

Воистину, смешно, но когда подумать, что это все, то становится и страшно и стыдно. Проживу еще месяц на этой квартире, а потом куда? Деточки мои, деточки, хорош же у вас отец.

25 августа

Обегал всех знакомых, обил сотни две порогов, всюду совал свои рекомендательные письма – никому и ни на какой черт не нужен «честный и добросовестный работник». А советов много. Одни с высоты своего патриотического величия рекомендуют работать для войны и «мобилизовать промышленность» вместе с богачом Рябушинским; другие же, более практичные, советуют примазаться к войне и сосать ее подобно тому, как невинный младенец сосет грудь матери... судя по Николаю Евгеньевичу, занятие весьма питательное.

Рад бы послушаться мудрых и патриотичных советов, но одно соображение останавливает порывы: а кто будет «мобилизовать» моих Петьку и Женьку? На второе же могу ответить с полным сокрушением сердца: решительно не знаю, в каком месте находятся благодетельные сосцы, в которые должен я вцепиться зубами.

Глуп я и не расторопен, только одно и умею что свою работу. Но Боже мой, Господи! – с какою завистью, с каким отчаянием, с какой подлой жадностью смотрю я на богатых, на их дома и зеркальные стекла, на их автомобили и кареты, на подлую роскошь их одеяния, бриллиантов, золота! И вовсе не честен я, это пустяки, я просто завидую и несчастен от того, что сам не умею так устроиться, как они. Раз все грабят, то почему я должен умирать с голоду во имя какой-то честности, над которою не смеется только ленивый!

26 августа

Легче на смерть пойти, нежели сознаться Сашеньке в том, что я потерял работу и теперь ничего не значу. Если бы раньше я еще вел себя иначе, а то ведь сколько гордости! сколько важности и требований! «Убедительно прошу тебя позаботиться о моем столе, потому что мой желудок важен не только для меня, а и для всех вас: если я заболею, кто будет?..» и т. д. Прошу не шуметь, я ложусь отдыхать. Почему чай не горячий? Почему пиджак не вычищен и на рукаве я усматриваю пушинку – эй, вы!

Экономлю на том, что меньше ем и совсем перестал ужинать под предлогом все этого же драгоценного желудка; впрочем, голода не ощущаю. А вчера вдруг сообразил, что своим мышиным беганьем по городу быстро стираю дорогие подметки, и часа два сидел в Румянцевском сквере, поджавши ноги, оберегая подметки. Надо бы еще голым раздеться, чтобы платья не изнашивать.

Нет, до каких же пределов будут продолжаться мои страдания? Нет им конца и края, живого места во мне не осталось, куда не вонзился бы шип. Мысленно представляю себе свое сердце, когда начинает оно болеть, и вижу не живое человеческое сердце, обитель возвышенных чувств и желаний, а что-то вроде собачьей кровяной колбасы. Что я совершил, чтобы так мучаться, днем и ночью терпеть такое бесчеловечное наказание?

Ведь это же издевательство над человеком! И до каких же пор я буду терпеть его, принижаясь все больше, от громкого голоса переходя к лакейскому шепоту и низким поклонам? Разве я боюсь?

Вчера в сквере, глядя на его запыленные дорожки с окурками, на умирающую листву деревьев, на дальние дома на той стороне Невы, – я вдруг подумал, что могу через несколько минут оказаться там же, где моя нежная Лидочка, дитя мое, навеки любимое. И такое при этой мысли осияло меня счастье, такой небесный свет озарил мою несчастную голову, что был я на одно мгновение богаче и свободнее самых богатых людей на свете.

Так чего же я борюсь, все еще борюсь с невзгодами и берегу подметки, как честный нищий? Освобождение и счастье так близки от всякого несчастного там, где есть глубокая и быстрая вода.

27 августа

Ничего.

28 августа

Сегодня по совету одного из наших бывших конторских, уже недурно пристроившегося около какого-то подряда на армию, отправился в кафе на Невском, где собираются «деловые люди». Вся удача зависела от развязности: надо заговорить, рассказав какой-нибудь анекдот, познакомиться и потом примазаться.

Конечно, ничего у меня не вышло, ни развязности, ни анекдота. Сначала я все улыбался, думая этим привлечь к себе симпатии, покашливал и развязно заказывал пирожки и чай, а потом очень быстро скис и пришел в состояние такой каменной немоты, что просто-напросто потерял голос. Ошеломили меня эти люди, затуркали своим громким говором, ослепили и почти лишили сознания быстротою и легкостью своих движений: как он войдет, как он сядет, как он на всех сверкнет глазами и тотчас же наведет их на подходящего субъекта! И смотришь: минуты не прошло, а они уже вместе, курят, шепчутся, соткнувшись головами, ругаются и чуть не целуются, как самые старые друзья! В разговор их, часто довольно громкий и откровенный, вникнуть было очень трудно, но смысл был ясен: что-то продают, что-то покупают, кого-то грабят, кого-то топят и предают. Этим и зарабатывают.

Но не густо, видимо, и зарабатывают: в большинстве одеты грязно и дешево, и только у двоих заметил я настоящие бриллианты в запонках и перстнях, а то все нет. Бумажники, однако, изрядно толстые, многие показывали, и не с газетной бумагой, а настоящими кредитками... очень возможно, что и грязь вся эта нужна для формы, служит этим господам ихним мундиром. Ужасная сволочь!

Нечего греха таить: вошел я в кафе с полной на все готовностью и без всяких моральных соображений; и скажи мне кто-нибудь прямо, четко и ясно:

– Вот, Илья Петрович, надо сегодня же взломать кассу или подделать фальшивую ассигновку, не угодно ли за приличное вознаграждение – я без заминки принял бы поручение или заказ. Я так думаю. Но посидев час и дойдя до каменной немоты, приглядевшись к лицам ихним и галстукам, к грязным ногтям и бриллиантам, я проникся постепенно невыразимым отвращением к этим людям. Даже не к делам ихним, о которых я и до сих пор не имею полного представления, а именно к ним самим, к их лицам, ко всему их грязному и позорному существу. Ужасная сволочь!

Особенно поразил меня один господин с черными усами и даже на некоторое время заставил меня позабыть о собственном моем безвыходном положении. Это был еще не старый мужчина великолепного здоровья и крепости, действительно богато одетый и державший себя среди этой мелкоты с такой важностью и спокойствием, что невольно чувствовался к нему какой-то страх. Говорил он мало, больше слушал, изредка улыбался и одному грязному субъекту совсем равнодушно не протянул руки, на что ни субъект, ни другие не обратили никакого внимания, словно это в порядке вещей. Один раз он взглянул на меня своими черными, равнодушными и жестокими глазами, и странно! – ясно чувствуя, что он величайший мошенник, может быть, злодей, я испытал рабскую потребность поклониться ему и сделать приятное лицо. А меня, вероятно, он даже и не заметил или сразу оценил в грош, в мою настоящую цену, и отвернулся. Когда господин выходил, никому не позволив заплатить за свой чай, человек пять провожали его до дверей, молясь на его спину; а потом из разговора оставшихся я понял, что господин этот нажил каким-то образом несколько миллионов. Говорили о трех и четырех, но если половину и скинуть, отнеса на долю их восторга, то все же получается достаточно: два миллиона!

Остальную часть дня, уйдя из кафе, я все думал о нем. Что он сделал, чтобы нажить эти миллионы? Какие грабежи? Какие предательства он совершил? И что это за человек, что это за особенная человеческая душа, которая может быть так спокойна, которой не страшны ни кровь, ни война, ни Бог, ни дьявол? И мне трудно было представить, что он сделан из такого же материала, как и я. Вижу его лицо,

вижу его крепость и здоровье, спокойствие его духа и тела – и поражаюсь. Дома, за нашим обедом, я нарочно все время представлял его сидящим рядом с Инной Ивановной, которая конфузится каждого куска, каждой ложки, считая их незаслуженными, вспоминал ее Павлушу и ту минуту ужасную, когда я сообщил ей о его смерти, – и все больше поражался тайнами человеческой жизни.

Надобно признаться, что никакие добродетельные рассуждения не могли бы так полно и сразу, как этот господин, погасить мою глупую и скверную надежду: что-нибудь уворовать и для себя. Куда мне! Хорошим вором надо родиться, а для мелкого воришки нет у меня ни юркости, ни развязности, ни веселой бессовестности. Кому миллионы, а кому совесть... воистину, мудрое распределение богатств!

29 августа

Вдруг потянуло на роскошь. Только что с аппетитом поужинал, а днем зашел к Елисееву, с жестом миллионера, заработавшего четыре миллиона, выбросил рубль за фунт московской колбасы, которую любят дети и Инна Ивановна: пусть повеселятся и прославят могущество Ильи Петровича! Кроме того, купил и отнес Сашеньке два фунта хороших конфет и две тысячи папирос для солдат и бессовестно, не краснея, принял ее благодарственный и нежный поцелуй. Там не смог, так хоть здесь уворовал!

А сейчас, несмотря на сытое брюхо, каюсь и раскаиваюсь, словно совершил какое-то убийство на большой дороге. Но, видно, сытость сильнее совести и раскаяния: хочу спать и зеваю во весь рот, как миллионер. Это первый раз с закрытия конторы захотел я спать.

30 августа

Спать-то захотелось, а как лег на постель, так сон и прошел; и снова до утра ворочался и курил, придумывая себе честные и подходящие занятия. Два отыскал как будто и подходящих: лакеем в ресторане (сейчас мужчин мало) или кондуктором на трамвае. Но днем, при свете солнца и ума, понял вздорность этих предложений, совершенно несовместимых с моим слабым здоровьем и непривычкой к лакейскому трудовому делу. Куда уж!

1 сентября

Изучаю Петроград наподобие туриста или философа. Интересно. Часами осматриваю памятники, как будто никогда их не видал, и вхожу в их глубочайший смысл. Разглядываю дворцы и новые здания, поощряю искусство архитектуры. Очень внимательно со всех сторон рассмотрел новую турецкую мечеть, что около Троицкого моста, и тут совсем почувствовал себя свободным путешественником, заехавшим в далекие восточные земли. Тут же в сквере на лавочке с удовольствием и позавтракал, думая о различных верах. Заходил в музей Александра III и любовался картинами. Только знакомых не выношу и, увидев издали, поспешно шмыгаю в ближайший переулок.

О немцах знаю только то, что напечатано на уличных сообщениях от Штаба, газет не покупаю. Но, судя по виду улиц и прохожих, дела наших плохи и немцы продолжают надвигаться. Не знаю, чем это кончится, да и мало забочусь о конце: для меня он наступит раньше. Как-то прозевал, что 21-го взята Гродна.

Будучи призраком среди живых людей, предаюсь подолгу странным и призрачным размышлениям, на всю жизнь смотрю сбоку, как посторонний, или даже сверху, с птичьего полета. Философствую и устраиваю людей и государства. Глядя на грузовые грохочущие автомобили, на лошадей, вытягивающих тяжести, на всю эту кипучую и напряженную деятельность, вдруг понял, почему война. Война потому, что каждый человек хочет, чтобы у него было всего больше всех. Одобрил это его желание. С величайшим любопытством, которое будет непонятно живым, рассматриваю город: как он сделан, из чего, почему площади, улицы и переулки. Понял значение трамвая. Нравится мне, что дома поделены на квартиры и что швейцары. Нравится набережная в граните; смотрел, как разводится новый Охтинский мост, пропуская пароходы, и тоже понравилось. Ужасно нравится суeta людей на вокзалах, куда захожу каждый день.

В то же время, как философ и посторонний человек, ничего не имею возразить против того, чтобы все это взорвали: и мосты, и здания, и набережные. Тоже будет интересно. Отчетливо представляю, как все это горит и рушится и какой вид будет иметь город потом, когда все развалится. Будет очень низенький.

Сегодня смотрел с Крестовского, как летали два наших аэроплана и один из них осторожно облетал по краю огромного облака; мысленно, не без удовольствия, полетал с ними. Вообще чувствую себя лордом и – я не шучу – испытываю минутами приятнейшее настроение. Денег не жалею и, как лорд, все делаю подарки и сюрпризы, опять детям накупил закусок, а Сашеньке отнес фруктов, подал ей с изящнейшим поклоном.

Лорд!..

3 сентября, четверг

Весь город шумит, как улей, крик, недовольные разговоры даже на улице: распущена Государственная Дума. Только и надежды было что на нее. Даже странно, до чего осмелел петроградец: такое во весь голос кричит на улице, чего прежде и в спальне не решился бы прошептать! Боятся беспорядков. Хожу я по улице, слушаю весь этот раздраженный и бессильный гомон и думаю: эх, храбрецы... а впрочем, мне-то какое дело?

Увлекаемый бездельем, прошелся к Таврическому дворцу. Ничего, стоит. Вместе с небольшой толпою любопытных глазел на выходивших и входивших депутатов... ничего, люди как люди. Как будто и мрачны, а как будто и довольны, что такая историческая роль выпала на их долю: быть распущенными в то время, когда «отечество в опасности». Ногами семянят значительно. И в экипаже хорошо сидят: такой профессорский вид, будто тяжелобольного только что уморили.

А когда я улыбнулся и что-то пошутил, некий молодой человек назвал меня черносотенцем. Да и чего я лезу, в самом деле? Решил уйти от греха, пока не побили еще, и долго стоял на Охтинском мосту, а потом затратил шесть копеек и на пароходике проплыл всю Неву, до Васильевского острова.

Тянет меня теперь к воде. И есть что-то успокоительное в брызгах и в ветерке, который обвеивает лицо, когда сидишь на носу... а вместе и безнадежность какая-то, печаль и тоска.

4 сентября

Еще я понял, что такое пустота. Это очень страшно и необыкновенно. Она всюду и во все стороны, от меня и до самой луны, на которую я вчера смотрел с Английской набережной. Особенно страшно и необыкновенно, что она захвачена домами, квартирами и обведена стенами и потолком. В каждой квартире, в каждой комнате есть немного пустоты.

Но если повалить стены, то между мною, месяцем и звездами ничего не останется.

Чрезвычайно ясно стало это вчера, еще на рассвете. С ночи я заснул и что-то страшное видел во сне; потом пришла во сне Лидочка, и я проснулся. Дальше не мог спать, овладело мною беспокойство, и я вышел в свой новый кабинет и сел на подоконник. Уже светало, но шел дождик и все казалось серым и одноцветным, не имеющим ни начала, ни конца. И тихо было. И тут я глубоко и тревожно ощутил пустоту, которая в комнате и из комнаты, через окна, идет наружу и до бесконечности. Все пустота. Разница только в том, что эту пустоту, которая в комнате, нагревают, чтобы человек не умер от вечного холода. А это, что сидит на подоконнике (думал я дальше), это и есть человек, вокруг которого такая пустота. И нагретая пустота называется квартирой, и скоро у меня не будет квартиры.

И тут я заметил, что опять я сижу в одних кальсонах, как тогда, и еще больше похож на сумасшедшего. Такой длинноногий и борода с сединой. Илья Петрович. Капут тебе, Илья Петрович!

Совсем собрался сейчас ложиться, уже час ночи, но в окно глянула луна, и я решил идти гулять и смотреть на луну. Неприятно, что каждый раз, ночью, входя и выходя, надо будить швейцара; от квартирной двери у меня ключ свой. Если со мной что-нибудь случится, то не надо обращать внимания. Женичка славный мальчик.

6 сентября

Какой тяжелый сон я видел наяву! Зашел я случайно на Финляндский вокзал и видел, как встречали какую-то партию наших инвалидов из Германии... обработали и вернули, теперь, значит, не страшны! Что же это такое?..

Как слепой и глухой дурак, углубленный в свое ничтожество, я не сразу понял, зачем собралась такая толпа на вокзале, думал, что какое-нибудь веселье, праздник. Видимо, сбили меня с толку цветы, флаги и оркестр, как для встречи молодых; а когда узнал, то сразу похолодел и с ужасом стал поджидать поезда: решительно не мог представить, что ужасное предстанет моим глазам, какое оно.

А когда понесли их, безногих и безруких, и заковыляли слепые и одноножки, и заиграла музыка, и стали отдавать честь военные – оборвалось у меня сердце, и заплакал я со всею толпою. Закрыв глаза и слышу: ни одного голоса, а топочут ноги и деревянные по платформе, да музыка играет... трудно понять, что происходит. А открою глаза, тоже не сразу разберешь, в чем дело: в самых ярчайших рубашках инвалиды, в синих и красных, как женихи, а глаз нет, а ног нет... или это и есть наши теперешние, матушки-России, женихи? Кто же я, смотрящий?

Потом посадили их обедать, тоже картина! Сами едят родной хлеб своей земли, а сами плачут, слезами его солят, жутко и невыносимо смотреть на их истомленные лица, такие знакомые, будто с каждым из этих людей всю жизнь был знаком и дружил. Речи им говорят, приветствуют... а я смотрю на ближайшего рябенького солдата, слепого, как у него скула рябая дрожит и как он все не может попасть ложкой в рот, и чувствую себя так, словно плывет и расступается у меня под ногами земля, как у нечистого. А тут молодой красивый офицер только что нашел и увидел своего брата молоденького, безрукого, и как начали они улыбаться, глядя друг на друга, и как начали улыбаться... не выдержал я и вышел из толпы, не помню, как выбрался. И, зайдя за угол вокзала, где не было никого, трижды в землю поклонился.

Женихи вы мои, женихи, красные рубашечки! Тяжел на головах ваших брачный венец и докрасна раскалено обручальное кольцо, которым навеки сочетались вы с родимую землю. Простите меня, окаянного.

7 сентября

Сашенька, друг мой! Из коротенького письма, оставленного для тебя на столе, ты увидишь, что разгадку моей смерти ты должна искать в этом дневнике. Прочти его дружески и внимательно и ты поймешь, а быть может, даже и одобришь мое решение уйти из жизни, в которой я лишний и никому не нужный человек и в которой я так страдал. Я знаю, что ты любишь меня, свято верю в твою драгоценную любовь, и эту веру я отнесу к нашей Лидочке, в ее печальное одиночество, которое я готовлюсь ныне с восторгом и упоением разделить.

Да, Сашенька, с восторгом и упоением. Не думай, голубчик, не терзай своего сердца мыслями, что я умирал со страхом и страданиями, что мне было больно или тяжело... нет, с радостью сбрасываю с себя непосильное бремя жизни. Слабый я человек, Сашенька! Уже три недели я таю от тебя, что потерял службу и что всем нам грозит нищета и голод, мне было стыдно сознаваться в моем бессилии и ничтожестве. Конечно, всякий другой, более способный человек, сумел бы выйти из этого положения и найти себе работу, но я не умею и не сумел этого сделать, и на что же я нужен?

А быть предметом общественной благотворительности я не хочу и не имею на это права: вчера я видел на вокзале наших инвалидов, плакал над их горьким несчастьем, и вот кому должны послужить люди, а не мне.

И что я для тебя, моя печальная красавица, мое сердце золотое? Годами я не молод, и внешность моя не привлекательна, и любить меня ты могла только от своей неисчерпаемой доброты: уйду я, и тебе станет легче и свободнее на этом свете, на котором я только мешал тебе. Разве я был мужчиною? Разве я вел тебя сильною рукою по трудной дороге жизни и светом ума озарял ее темноту? Нет, дружок, плох я был, мелок душою и эгоистичен. Не я ли взывал к тебе с дурацкими требованиями о моем желудке... ай, как мне стыдно только вспомнить это, Сашенька. Не я ли мешал твоей самоотверженной работе в лазарете, тащил тебя в дом, гордо заявлял о своем неумении обращаться с детьми, не желая замечать, что ведь ты научилась же обращаться с ранеными, что много потруднее детей. Мне стыдно вспомнить, с каким лицом, попросту – с какой мордой недовольства встречал я тебя, когда ты заходила домой, или сам я заявлялся в лазарет, наводя критику на ваши порядки. Но одно, я умоляю тебя, забудь и никогда не вспоминай: то, что говорил я тебе после смерти Лидочки. Если ты будешь помнить эти мои гнусные и жестокие упреки, то и в могиле я не найду себе покоя. Забудь и прости!

Но есть и еще одно, что сама ты узнай и навсегда запомни, но от детей моих, когда вырастут, скрой, чтобы не позорить их отца. Сашенька... Россия прокляла меня! Я это услышал вчера, когда взорам моим представились несчастные, слепые, искалеченные инвалиды, наши, твои и мои защитники, и сердце мое оборвалось от невыносимого страдания. И плача ненужными и случайными слезами, которых не было бы, не попади я случайно на вокзал, я услышал проклинающий голос России: будь ты проклят, злой сын мой! Это не фантазии, Сашенька, и не бред: я слышал голос.

Ты можешь сказать, что это сумасшествие, и мне будет горько, если ты скажешь: нет, друг мой, я раньше был сумасшедшим, пока не слышал этого голоса и бил себя в грудь, как фарисей, хвастался своей непорочностью и осуждал воюющих. Будь я германец, меня и Германия прокляла бы, потому что и там есть свои безногие, безрукие и слепые инвалиды, защищающие других. Да и рассуди спокойно, Сашенька: что я сделал для России в эту тяжкую для нее годину? Только что не крал, но разве этого достаточно! А знал я, как и все, что отечество в опасности, сам твердил эти страшные слова, как ученый попугай, а что сделал? Ничего. Страшно подумать, какое беспощадное осуждение заключено в этом коротеньком слове.

Бестрепетно, своею рукою я казню себя, как казнятся шпионы и предатели, которым нет места на

земле. Россия прокляла меня своим материнским голосом, и я не могу, просто не смею жить. В глаза стыдно глядеть, Сашенька! Ведь даже места пустого не останется там, где я прежде существовал, так я ненужен никому, и не заметит никто, что меня уже нет. И только одно сомнение, один страх смущает меня: не отвернется ли и там от меня моя Лидочка, найду ли я ее среди ангелов небесных. Нет, там понимают больше, чем здесь, и там зачтутся мои хоть и пустые, но невольные и жестокие страдания, какими заплатил я за мое ничтожество. Там нет сильных и слабых, там все равны, там и для меня найдется убежище под ризою Христовой. На земле мой счет оплачен, а там уже пойдет иная бухгалтерия.

Будь счастлива, моя милая, моя дорогая, единственная. Благослови тебя Бог за всю любовь, что ты дала мне, за твою нежность и снисходительность, за каждое прикосновение твоей милой и любимой руки. Не плачь обо мне. Панихиду отслужи одну за троих: за Лидочку, за Павлушу, – воина убиенного, и за меня. Тела моего не жди и не ищи, его далеко унесет в глубокое море. Прощай. Прощай!

9 сентября

Произошли такие чудесные и божественные вещи, что я должен рассказывать о них по порядку, иначе спутаюсь.

Это было третьего дня. Решив покончить самоубийством, я весь этот день провел с детьми, ходил с ними гулять в Александровский сад, купил им конфет, вообще доставлял удовольствия; и к обеду кое-чего прикупил для Инны Ивановны. Между прочим, о ней я написал письмо Николаю Евгеньевичу, ее сыну, но, по счастью, не успел послать. Вечером, когда дети легли и при мне помолились, я привел в порядок все мои маленькие денежные дела (как хорошо, что нет у меня долгов!), написал письмо в полицию и Сашеньке и около часа ночи отправился к Троицкому мосту, откуда решил броситься в Неву, пользуясь пустынною и безлюдием этого часа. Чтобы меньше мучиться и для верности, в карманы пальто я положил две тяжелые свинцовые гири от детских часов с кукушкой, давно уже испорченных и не идущих; дорогой думал еще прибавить камней, какой-нибудь тяжести. Скажу совершенно правдиво, что ни страху, ни особенных сожалений о жизни я не ощущал; только немного поплакал, когда писал Сашеньке, да и то скрывая официальными слезами.

Больше всего меня занимала мысль, как они, мои дорогие, устроятся без меня, и казалось мне, что устроятся сравнительно хорошо: дети без отца всегда могут и имеют право рассчитывать на помощь; имел я некоторые надежды и на Николая Евгеньевича, к которому лично я, опять-таки, обращаться не мог. Все, одним словом, улаживалось, и полдороги я только об этом и размышлял, пока, пройдя через Мошков переулок, я не увидел перед собою пустынной и темной Невы; ночь была облачна и темна, и Петропавловской крепости на той стороне почти совсем не было видно, светил слабо один какой-то фонарик, должно быть, у крепостных ворот, и от этой темноты река казалась в этом месте широкою, как море. А справа висели над водой, не мигая, яркие огни недалекого Троицкого моста, и было совершенно безлюдно и тихо. «Вот я и дошел», – подумал я, сжимая в кармане холодные гири и всем лицом ощутив влажность и запах воды, неслышно крутившейся и бежавшей за гранитным парапетом. Куда мне торопиться? Подожду и посмотрю кругом.

И вот здесь, с этой минуты, и началось со мною особенное, что мне очень, очень трудно передать. Вообще я человек не глупый, но и не умный: многого не вижу, многого не знаю, а еще больше не понимаю... да и некогда понимать, одолевают суета и заботы; и никогда, сколько себя помню, не бывало у меня настоящих длинных мыслей. А тут произошло со мной превращение, удивительное, как в сказке: словно открылись у меня тысячи глаз и ушей и потекли такие длинные мысли в голове, что всякое движение стало невозможным: надо было сидеть либо стоять, но никак не идти. И всякие слова в голове замолчали, даже названия самих предметов как бы позабылись, а только безмолвные и длительные мысли, такие длинные, словно каждая по нескольку раз обнимает весь земной шар. Нет, не могу я этого выразить.

И первое, что я понял, это то, что я и есть человек, о котором говорится, когда произносят слова: люди, человечество, человек. Именно я и есть, вот этот, что с гирями в кармане, одетый в пальто, думающий такие мысли, стоящий над текучей водой среди полного безмолвия ночного города. Где же все другие люди? – подумал я длинно и увидел по всему миру всех других людей. Есть ли разница между живыми и мертвыми людьми? Куда уходят мертвые? Откуда приходят живые? И, опять-таки думая очень длинно, увидел всех, и мертвых, и живых, и будущих, все их необыкновенное множество, проносящееся подобно видениям, летящее вместе с облаками под луною, вместе с солнечными лучами, дождем, вместе с ветром и рекою. И понял – теперь не знаю почему, – что я бессмертен совершенно, даже до смешного: Петербург может тысячу раз провалиться, а я все буду жив.

Это было уже на Троицком мосту, как раз на том месте, которое заранее я наметил себе для прыжка в воду; но тут мне стало так глупо самоубийство, что спокойнейшим образом я вместо себя кинул в воду обе гири, даже не всплеснувшие при падении. И опять долго о чем-то думал, глядя на приходящую с верхом воду, озарявшуюся фонарями. Потом глядел на темное бесконечное небо и опять что-то думал... не могу припомнить, что, но все очень ясное и огромное, точно был я в эту минуту настоящим мудрецом, который видит всю вселенную и все понимает. Сзади меня, по мосту, прошумело несколько автомобилей, и тут я нечто уразумел; повернувшись, долго ждал еще автомобиля и обрадовался, когда за склоном моста показались два ярких электрических огня. Пронесся, и дал гудок.

И вдруг я – смирился. Не могу иначе как смирением назвать чувство, которое вместе с холодом от реки легким ознобом проникло в меня... нет, не знаю, как это случилось, но от самых вершин мудрости и понимания, на которых я только что был, я внезапно спустился в такой трепет, в такое чувство малости своей и страха, что пальцы мои в кармане сразу высохли, застыли и согнулись, как птичьи лапы. «Струсил!» – подумал я, чувствуя жестокий страх перед смертью, которую готовил себе, и забывая, что гири я бросил раньше, и от самоубийства отказался раньше, нежели почувствовал страх. Теперь я думаю, что и струсь я по-настоящему, по самому обыкновенному, то и в этом не было большой беды, но тогда мой страх показался мне ужасным. Где моя мудрость и длинные мысли? Стою на мосту, даже на воду не решаюсь опустить глаза и трясусь, форменно трясусь, зубами ляскаю, а в это же время и какую-то попытку делаю, сам в отчаянии, а сам телом измеряю и щупаю высоту перил. «Сейчас брошусь!» – думаю в отчаянии и слышу, как пальцы на ноге легки и ничем крепким не прикреплены к панели, сейчас от нее отделятся, сейчас...

И вот здесь-то, испытывая этот ужас неописуемый, я вспомнил так ярко, будто солнце взошло – как мы тогда, в начале войны, бежали на телеге из Шувалова, и Лидочку мою, и цветочки, которые сорвал я ей около дороги, и тогдашний необъяснимый страх мой... так вот чего я боялся тогда! Так вот что предчувствовала и знала моя душа! Так вот отчего и цветочки, и поспешность наша, и боязнь оглянуться, и стремление уйти подальше, скрыться, найти какой-то свой дом на земле... знала душа, что ей готовится, и трепетала в слабом человеческом теле!

– Боже мой! Так это все война! Война! – подумал я и сразу увидел всю войну, какая она ужасная, какая гибельная. Забыл, что я в Петербурге, забыл, что стою на мосту, все забыл окружающее – и вижу только войну, всю ее. Нет, нельзя передать и этого, нельзя передать ни этого нового страха, ни этих внезапных слез, которые полились у меня из глаз – и вот все льются, все льются, до сих пор льются. К счастью, какой-то прохожий обратил на меня внимание, прошел было мимо, но вернулся и что-то сказал мне. Близко, как в зеркале, увидел я его незнакомое и почему-то страшное лицо и страшные глаза – отшатнулся от него, что-то крикнув, и поспешно, почти бегом, зашагал с моста, к Сашеньке.

Не помню, где я сел на извозчика, не помню, сколько заплатил, не помню даже, как и в лазарет вошел – помню только, как я стал на колени перед Сашенькой и, захлебываясь слезами, дрожа всем телом, начал мою бессвязную сумасшедшую исповедь... И вот что я скажу и вот в чем клянусь я перед Богом и перед всеми людьми: моя Сашенька святая, и не моя она, а Божья! Она всех людей, и святость ее такова, что не смею я к руке ее прикоснуться, всю мою жизнь должен молиться Создавшему ее, всю жизнь плакать у ее ног. Непорочная моя, сердце всех людей, душа всех душ, Сашенька благовестная!

Подлец, я ожидал упреков! А вот что услышал я, когда сделался в состоянии, сквозь слезы мои и рыдания, различать ее святые слова:

– Ну и ничего, ну и не надо работы. Мне обещали жалованье, и я не хотела брать его, а теперь возьму, и мы проживем, и дети проживут, а ты будешь со мною, будем делать вместе, что можем. А теперь ты как тяжело раненный, и я отведу тебя домой, посмотри на детей, как они спят, поцелуй маму. Пусть

успокоится, пусть отдохнет твоя душа. Бедный мой, бедный мой, Иленька-голубчик!..

И она еще зовет меня Иленькой! А потом сама заплакала надо мною, стала целовать мои волосы седые. Бормочу ей:

– Не целуй, они пыльные, я месяц в бане не был, не целуй!

А ей хоть бы что! Вот женщина. Но гнусная память, не те передаю слова ее, не помню в полной точности... разве такие они были, как у меня выходит! Да и ослабел я сильно от слез, голова кружилась так, что нужно было за стенку или стул придерживаться, чтобы не упасть. На несколько минут Сашенька вышла, чтобы устроиться с своими обязанностями, и я впервые обвел глазами комнатку, где все это случилось, вытер лицо, как будто успокоился; но увидел на стене белый халатик с уголком красного креста, который отныне для меня священен, как и моя Сашенька, – и опять весь залился слезами. Таким и повела меня Сашенька домой, и я все отворачивался, пока швейцар открывал двери, мы живем на другой лестнице. И все пытался я говорить, и, конечно, чепуху, но Сашенька нежно останавливала меня: не надо, не говори сегодня, успокойся. Завтра поговорим. Оказалось, что она на несколько дней отпросилась домой.

Плохо помню, что и дома было. Почему-то было очень светло, и я ходил по комнатам как именинник, глупо и счастливо улыбаясь, целовал по порядку спящих детей, целовался и плакал с Инной Ивановной, которую Сашенька разбудила. Потом был самовар, и я пил горячий чай, и капали в блюдце слезы, которые все начинали беспричинно течь у меня: подумаю, что чай горячий, – и готово, плачу от жалости и счастья.

Сашенька сама постлала мне постель в кабинете, находя, что здесь мне будет спокойнее, достала чистое белье и меня обрядила во все чистое. И когда лег я, такой чистый и белый, на белую и чистую постель, лег навзничь и руки сложил на одеяле, а она поставила возле столик с зеленой лампочкой и села и взяла книжку, чтобы мне читать вслух, – я действительно почувствовал себя так, будто я был ранен тяжело и теперь выздоравливаю. И так приятна была слабость, с какою у меня едва поднимались отяжелевшие веки, чтобы взглянуть на светлый кружок от лампы на потолке, на лампу, на Сашенькин подбородок, который был виден мне.

Читала она Гоголя, и хотя слышал я отрывками, но было интересно и приятно волновало, как хороший сон о каких-то других людях, о полях, о дороге. И сам слышу: «Селифан, Петрушка, бричка» и даже вижу их, а в голове тут же, словно рядом, протекает темная Нева, автомобиль несется и прохожий хватает меня за руку. А потом опять бричка, и колокольчики, и долгая-долгая дорога... так я заснул, проснулся на мгновение, вздрогнув от чего-то всем телом, увидел кружок, услышал Сашенькин голос – и окончательно погрузился в крепчайший сон.

А наутро, проснувшись, увидел над столом Сашеньку, в слезах дочитывающую мой глупый дневник, такую бледную и такую милую от бессонной ночи, которую она провела всю для меня. Сашенька моя, Сашенька, святая ты моя!

12 сентября

Перебрались на квартиру к Фимочке, Сашиной подруге, взяли у нее две комнатки, которые раньше занимал какой-то беженец. Беженца бессовестно выпроводили, сами беженцы. Фимочка – это хохотушка. Но Боже мой! до чего мне приятны эти комнатки маленькие, эти безобидные насмешки Фимочки над моей чувствительностью!

Словно во дворец я переехал, богат и свободен, как царь. У Фимочки есть канарейка, и я, как дурак, по полчаса сижу перед клеткой и любуюсь ее движениями.

О главном потом, не могу сейчас. Немцы продолжают наступать.

13 сентября

С трудом узнаю себя в описании Сашеньки, но верю ей в каждом слове, моей праведнице. Фотография ужасная! И вполне понятно, почему я был таким чужим: ведь я, в надменности моего собственного горя, и слез ее не замечал, на ласковое слово отвечал злым рычанием дворового пса, у которого отняли кость. А мой страх, что я потерял работу, моя глупая гордость, что я теперь недостоин жить... какая невероятная глупость! Точно все могут оставаться безработными и милостыню просить, а я один не могу, такая исключительная натура и высокий титул: Илья Петрович Дементьев. И точно все люди могут детей терять, а я один и этого не могу, я непременно должен восстать и кого-то оклеветать, бесстыдно бия себя в грудь; и точно у всех могут быть пожары, лишения имущества, несчастья всякого рода, а один я в этом свете недотрога, священная персона. И все воюют, берут на себя и грех и муку, а я один, как отставной учитель, сижу по ночам и наставления пишу, преподаю уроки, которых никто не слушает, и баллы ставлю за поведение. Два с минусом – иди в угол, Германия! И все, дураки, идите в угол, пока я, умный, буду здесь на кафедре сидеть и возноситься. Но откуда все это так поняла моя Сашенька? Отвечает, что ниоткуда, а все это, дескать, и так ясно. Может быть. Но тогда откуда же была моя слепота? Вероятно, оттуда же, откуда и эти ненужные вопросы. И самому теперь все ясно, а по привычке все допрашиваю, знаки вопросительные ставлю... глупо!

Ни с чем не могу сравнить той легкости душевной, которую теперь ощущаю. И главное: не чувствую никакого страха, ни перед чем, что бы ни случилось. Нет страшного, сам я его придумал. Ну немцы и немцы, ну и бежать так бежать, а умереть так умереть! Никогда еще не любил я так моих Петьку и Женьку, но даже и ихняя смерть не страшит меня... плакать буду горько, а не преклонюсь перед смертью, к себе ее не позову и в гости к ней напрашиваться не стану. Вообще смерть – это форменное идиотство. Кого любишь, те всегда живут, говорит Сашенька.

Вчера Фимочка весь вечер все «старичком» меня звала: старичок мой да старичок мой! Сашенька даже оскорбилась несколько и замечание ей сделала, хотя мне самому это не было обидно нисколько: ведь она же шутила. А все-таки захотелось в зеркало взглянуть... и что же, правда! Не скажу, чтобы так стар был я видом, но старше моих сорока шести во всяком случае, а есть что-то в глазах и улыбке... да и в слезах, которые так часто у меня выступают. Но проживу я долго, это факт, и силу чувствую необыкновенную. Фимочка говорит, что это так закалил меня мочион по городу – пускай смеется!

Все мы рады новому месту, и на кого только переезд подействовал нехорошо, так это на Инну Ивановну: даже трудно понять, что так огорчило ее. Сразу захирела и вот уже второй день лежит лицом к стенке, молчит и не то дремлет от слабости, не то умирает. А когда ей, не догадываясь, без приготовлений, сказали, что я потерял должность, то даже испугались мы – так она заволновалась, побледнела, задрожала вся; и уже всю мебель повывезли, а она все не хочет из своей комнатки выходить, плачет, когда возьмешь ее за руку. Что-нибудь представилось, вероятно; вчера вечером подозвала Сашеньку и тихонько шепчет: позови ко мне Павлушу; конечно, Сашенька ответила, что сейчас позовет, но, по счастью, больше своей ужасной просьбы несчастная старушка не повторяла. Сейчас заглянул – все спят, и она, и Сашенька, и дети; пока Сашенька здесь, нянька спит в Фимочкиной гостиной.

Выгодно удалось продать лишнюю мебель, обуза с рук. Сашенька пробудет с нами еще день, а потом отправляется в свой лазарет, будет искать и для меня какое-нибудь полезное занятие. Ну как мне сказать, до чего я ее уважаю! Ведь из такой угольной ямы вытащить человека, в какую я изволил залезть...

Пришла из гостиной Фимочка и, найдя меня не спящим, час целый сидела у меня и с ужасом рассказывала о немецком нашествии. Из ее бледности и бессвязных женских речей больше, чем из газет,

понял и почувствовал, в каком трепетном ожидании вражеского нашествия находится вся наша столица, да и весь народ. Спаси, Господи, Россию и ее города, ее людей, ее дома и домишки. Не по заслугам, не по богатству и силе помилуй ее, Господи, а по малоумию нашему, по нищете нашей, которую так возлюбил ты в земной жизни твоей!

Не могу уснуть, так стремлюсь хоть к какому-нибудь делу. Раздражительно болтаются пустые руки, кажется, пол бы сейчас подмести, и то радость... да уж выметено! Нет, завтра же пошлю Сашеньку в лазарет, я здоров, и немислимо откладывать.

Будь бы у меня грудь шириной верст в триста, без колебания подставил бы ее под немецкие снаряды, чтобы загородить других!

15 сентября

Уже есть два обещания: одно – счетоводом в комитет о беженцах, на небольшое жалованье; другое – на фронт, для ухода за ранеными на передовых позициях. Я настойчиво прошу второе, но, конечно, приму и первое, если так нужно.

Инна Ивановна плоха, все зовет Павлушу.

18 сентября

Хожу с кружкой сборщиком для раненых.

20 сентября

Мог ли я когда-нибудь представить, чтобы в слезах таилось такое неизреченное счастье! И как это странно: прежде от самых непродолжительных слез начинала болеть голова, во рту являлась горечь и грудь ломило тяжелой и тупой болью, а теперь плачется легко и радостно, как любитесь. Особенно испытал я это во время двухдневного хождения по Петрограду с кружкой, когда каждое даяние, каждый знак симпатии к раненым вызывал во мне неопишное волнение. И сколько добрых людей, сколько золотых сердец прошло перед моими счастливыми глазами!

Пользуясь своими длинными ногами и тем, что в товарищи мне дали хоть и маленького, но юркого и неутомимого гимназистика, я пробрался на Охту и там, среди бедных людей, рабочих и мастеровых, провел часы безмерного ликования.

– Вот это дают! – говорил мне гимназистик Федя. – Вот это так дают! Только бери.

– Да, Федечка, дают, только бери, – смеялся я на его наивную речь, а у самого просто-таки не высыхали глаза. Смотрю на рабочего или бородача-ломового, как он, туго разворачиваясь, достает свою копейку или пятак, а сам так люблю его, что даже стыдно в глаза взглянуть, люблю его руку, его бороду, люблю все в нем, как самую драгоценную истину о человеке, которую никаким войнам не затмить! И еще приятно, что эти не конфузятся и не извиняются, когда дают, не то что те, на Невском и Морской. Многие спрашивали про Федю:

– Сынок ваш, что ли?

– Нет, мы знакомые! – отвечал Федя, всегда почему-то немного обижаясь: он уже казался себе таким большим, что ничьим сыном быть не может. Он и тяжелую кружку у меня отобрал, пока не ослабел, а мне велел прикалывать значки, вообще командовал мною с полным достоинством.

Два раза меняли мы полную кружку и, оба увлекшись, доработались до такой усталости, что еле ноги волокли, особенно Федю. Уже совсем смеркалось, когда каким-то переулочком выползли мы на берег Невы, наискосок от Ниточной мануфактуры с ее дымящими трубами, и уселись на бревнышке.

И тут долго мы наслаждались тишиной прекрасного вечера, барками и пароходами, ширью Невы, красотой розового в дымных облаках заката... никогда не забуду этого вечера. От прошедшего буксира набегали волночки на плоский берег и тихо плескались, охтинские ребятишки в тени выползших на берег огромных барок доигрывали вечернюю игру, а на том берегу уже зажглись кое-где голубые огни фонарей, и было на душе такое спокойствие и чистота, как будто и сам я стал ребенком. Я молчал, и Федя, сперва горячо болтавший о германцах, также затих и задумался; потом прошли куда-то по Охтинскому мосту солдаты – до нас, среди грохота езды по далекому мосту, донеслась только отрывками их песня.

– Солдаты поют? – встрепенулс Федюк. – Где это они?

– На мосту... слушай, слушай!

Как хорошо, что поют солдаты без искусства, природными голосами, так и узнаешь в этих голосах и их молодость, и Россию, и деревню, и весь народ. Уже и песня смолкла, уже стемнело и весь тот берег покрылся огоньками в окнах и фонарях, а я все думал о том невыразимом, что есть солдаты и Россия... Россия. Словно во сне увидел лес осенний и осеннюю дорогу, ночные огоньки в избах, мужика на телеге. Представил себе лошадиную морду – и в ней открывалось что-то милое, и с нежной благодарностью думалось о ее вековой работе, о других лошадях, о других деревнях, селах и городах... Оказалось же, что я попросту задремал, а Федюк – вот горе-то! – не только задремал, а и крепко-накрепко заснул, прижавшись ко мне головой. Слава Богу, хоть вечер был теплый, совсем летний. Поднял я его свалившийся

картузик, а самого никак не могу привести в чувство, валится на меня, да и только! Насилу заставил глаза открыть. Бормочет:

– Ей-Богу, не могу идти.

– Я бы тебя донес, да силы не хватит. Дойдем хоть до парохода, а потом по Суворовскому на трамвае поедем.

– До парохода пойдем, – согласился Федюк: очень любит пароходы мой уважаемый товарищ.

Так два дня мы с ним работали. К сожалению, вчера был дождь и поневоле приходилось сокращать сборы; но чувство то же и радость та же, и еще ярче светил человек среди осенней грязи и ненастья.

Кажется, получаю назначение на фронт.

24 сентября

Схоронили Инну Ивановну. Уже давно только притворялась она, что живет, и ушла-таки к своему Павлуше. Не знаю, встретятся ли они там, но оба они в одном отныне, что нам неведомо; там же и Лидочка моя, там и я буду.

Но сколько умирает! Как просеку вырубает кто-то, и с каждым днем редет знакомый лес.

Ходят упорные слухи, да и газеты говорят, что немецкое наступление приостановлено. С весны непрерывно, шаг за шагом, двигались они на Россию и, наконец, остановились перед Ригой и Двинском; но по-прежнему, точно через невысокий заборчик, смотрят на нас их угрожающие глаза и в темной неизвестности таятся наступающие дни.

30 сентября, среда

Со скорбью и нестерпимой жалостью смотрю я на людей. Какая тяжкая их доля на этом свете, как трудно им жить со своею неразгаданной душой! Чего хочет эта темная душа? Куда стремится она через слезы и кровь?

Все дни слушаю рассказы о беглецах из Польши и Волыни, о их необыкновенном шествии по всем дорогам. Кто-то назвал их «беженцами» и этим словом сразу внес успокоение: занесли беженца в книгу, поставили на счет, вычислили и теперь так говорят о нем, будто эта порода давно уже существует и мало кому нравится. А я этого спокойствия не понимаю, и мне больно представить, как шли они по дорогам и сейчас еще идут, со скрипом возов, с плачем и кашлем простуженных детей, с мычанием и ревом голодной домашней скотины. И сколько их – ведь точно целые страны переселяются с места на место, оглядываясь, как жена Лотова, на дым и пламя горящих городов и сел. Лошадей не хватает, и многие, как рассказывают, запрягают коровенок и даже собак покрупнее, а то и сами впрягаются и везут, как в древнейшие времена, когда впервые кто-то погнал человека... да и до сих пор гоняет его. Трудно представить, говорят, что делается на дорогах: идут такими толпами, в таком множестве, что скорее на Невский в праздник похоже, нежели на пустынное, осенне-грязное шоссе. И долго еще будет гонять нас эта неведомая сила?

А тут сегодня еще новое печальное известие: напали болгары на сербов у какого-то Княжевца... и значит, не понимали мы этого: зарежет-таки брат брата? Вся душа содрогается, когда подумаешь, что и этот народ погибнет, что и этот луг скудный выкосят косари; каково им ждать теперь и прислушиваться: идут, идут! А что стоит вырезать и этих – ведь вырезали же турки 800 тысяч армян, как пишут газеты. Да что говорить: плачу и плачу, всех мне жаль и каждую минуту надрывается сердце над новым несчастьем. И не знаю я, молить ли мне Бога, чтобы он наказал предателей-болгар, или и здесь склониться перед непонятной мне тайной человеческой души?

А вчера было близко к тому, что вместо жалости и слез чуть не разразился проклятиями, еле-еле смирил себя за целую бессонную ночь. Попалась мне газета, где речь как раз идет о несчастных армянах; и вот что рассказывает очевидец, привожу его слова с точностью, как они напечатаны черным по белому:

«Но самые ужасные картины этот редкий очевидец наблюдал в Битлисе. Еще не доходя до Битлиса, в лесу он увидел группу свежезарезанных мужчин и возле них трех женщин, – совершенно голых – повешенных за ноги. Около одной из них ползал годовалый ребенок и тянулся ручками к матери, а мать с налитым кровью лицом, еще живая, протягивала руки к ребенку; но они не могли дотянуться друг до друга».

Мог ли я заснуть, однажды представив себе такую картину? Конечно, не мог, всю ночь прерывалось у меня дыхание и кровь прилиwała к мозгу, точно самого меня повесили за ноги и тянут вверх. Минутами начиналось настоящее удушье. Но любопытно, что и слезы у меня высохли за эту ночь: все покрывал собою гнев, потребность проклинать убийц и еще какое-то чувство. Главное, оно. Я не говорю уже о «свежезарезанных» мужчинах... уже одно то, что о людях говорят, как о баранах, показывает шаблонность этого зрелища и привычность ощущения. Да ведь и сколько их, этих «свежезарезанных», в нашей теперешней мясницкой. Но женщина и ребенок, женщина и ее ребенок...

Она была еще жива, висая головой вниз, может, уже и полчаса, может, и час, но как заливала кровь ее мозг, какие страшные кроваво-красные круги должны были ходить перед ее налитыми глазами! Как она дышала? Как билось еще ее сердце? И среди всего этого мутно-красного, темного темнотою смерти, она еще различала образ своего ползающего мальчика, только его и видела остатками зрения; изгибаясь с нечеловеческой силой, тянулась к нему синими руками и синим вздутым лицом. Другого бы напугало это

страшное синее лицо, а он, годовалый несмышлениш, и сам тянулся к ней, все еще признавал в ней мать... «Но они не могли дотянуться друг до друга». Или расстояние велико было, или просто глупенький мальчик не умел подползти, где следует, и подать руки. А что ей нужно было? Не жизнь и не спасение, на которые невозможно было рассчитывать, а лишь одно: чтобы на миг соединить руки и в этом прикосновении обрести что-то великое для ее сердца. «Но они не могли дотянуться друг до друга».

И всю эту ночь в каком-то бреде, диком кошмаре, сам задыхаясь от удушья, я мысленно старался соединить эти безнадежно протянутые руки. Вот, кажется, сейчас соединю, сейчас они коснутся друг друга – и тогда наступит что-то вечное, что-то солнечное, какая-то немеркнущая жизнь... и нет, не вышло, что-то потянуло назад, неведомая сила оттягивает и меня. Встряхну головой, опомнюсь на минутку (тут я пожалел, что бросил курить, ужасно хотелось!)... и снова начинаю эту кошмарную работу, в которой нет ни начала, ни конца, снова соединяю, и вот уже близко опять... и опять неведомая и невидимая сила разъединяет, растаскивает, душит кровью, удушьем и отчаянием. Под конец стало грезиться что-то совсем чудовищное: эти руки, вместо того чтобы стремиться к соединению, уже тянутся ко мне с намерением удушить, кольцом охватывают горло, и уже не четыре их, а множество, множество...

Мои громкие стоны услышала Фимочка и в испуге прибежала, потом, узнав, в чем дело, дала мне эфирно-валерьяновых и вообще подействовала на меня успокаивающе одним видом своим живого человека. Но как только ушла, опять началось то же, хотя и не в таких страшных формах: меня не душили, но соединиться руки по-прежнему не могли, и я по этому поводу что-то горячо ораторствовал в нашей конторе, сам размахивал длиннейшими руками: и только к самому утру на полчаса забылся без сновидений.

Сегодня много странных мыслей и непроходящее волнение. Смотрю на каждую пару рук, чем-нибудь занятых или зря болтающихся в рукавах, и все мечтаю о соединении. Думал об Инне Ивановне и матерях. Как они не понимают, что каждая из них, оплакивая своего сына, сама стреляет в сына другой матери, а та наоборот, и все плачут? Нет, понимают, вероятно, это так просто, – здесь сила в чем-то другом. Кто к кому тянется, чтобы соединиться? И кто вечно этому мешает? «Но они не могли дотянуться друг до друга» – говорит очевидец.

И прошел мой гнев, и снова стало мне печально и грустно, и опять текут у меня тихие слезы. Кого прокляну, кого осужу, когда все мы таковы, несчастные! Вижу страдание всеобщее, вижу руки протянутые и знаю: когда прикоснутся они друг к другу, мать Земля к Сыну своему, то наступит великое разрешение... но мне его не видать. Да и чем заслужил? Жил я «клеточкой» и умру такой же клеточкой, и только об одном молю судьбу свою: чтобы не была напрасной моя смерть и страдания, которые принимаю покорно и со смирением. Но не могу совсем успокоиться в этой безнадежности: горит у меня сердце, и так я тянусь к кому-то руками: приходи! дай прикоснуться! Я так люблю тебя, милый, милый ты мой!..

И все плачу, все плачу, все плачу.

Дневник Сатаны

I

18 января 1914 г.

На борте «Атлантика»

Сегодня ровно десять дней, как Я вочеловечился и веду земную жизнь.

Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях, но Мне надо говорить о себе, и Мне не с кем говорить. Одних мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы и точны, пока Я не выражу их словом: их надо выстроить в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть, как железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, построить насыпи и закругления, сделать в известных местах остановки – и лишь тогда все становится ясно. Этот каторжный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и последовательностью и обязателен для тех, кто хочет быть умным; для всех остальных он не обязателен, и они могут блуждать, как им угодно.

Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто привык единым... не знаю, как это назвать, – единым дыханием схватывать все и единым дыханием все выражать. И недаром они так уважают своих мыслителей, а эти несчастные мыслители, если они честны и не мошенничают при постройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попадают в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а уж не раз предо Мною мелькали его желтые стены и приветливо раскрытая дверь.

Да, чрезвычайно трудно и раздражает «нервы» (тоже хорошенькая вещь!). Вот сейчас – для выражения маленькой и обыкновенной мысли о недостаточности их слов и логики Я принужден был испортить столько прекрасной паровой бумаги... а что же нужно, чтобы выразить большое и необыкновенное? Скажу заранее, – чтобы ты не слишком разевал твой любопытный рот, мой земной читатель! – что необыкновенное на языке твоего ворчания невыразимо. Если не веришь Мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послушай тех: они все познали что-то и хотели выразить его... и ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти свалившиеся паровозы, ты замечаешь, с каким трудом они удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумленных и пораженных лиц?

Вижу, как ты и сейчас уже готов закидать Меня вопросами, узнав, что Я – вочеловечившийся Сатана: ведь это так интересно! Откуда Я? Каковы порядки у нас в аду? Существует ли бессмертие, а также каковы цены на каменный уголь на последней адской бирже? К несчастью, мой дорогой читатель, при всем моем желании, если бы таковое и существовало у Меня, Я не в силах удовлетворить твое законное любопытство. Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историй о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению, но ты имеешь их уже достаточно, и Я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь, и это будет интереснее для нас обоих.

А правду – как ее скажу, если даже мое Имя невыразимо на твоём языке? Сатаной назвал меня ты, и Я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую: пусть Я – Сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе! Оно звучит необыкновенно, и Я никак не могу втиснуть его в твоё узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами: пусть Я – Сатана, и только.

И ты сам виноват в этом, мой друг: зачем в твоём разуме так мало понятий? Твой разум как нищенская сума, в которой только куски черствого хлеба, а здесь нужно больше, чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании: жизнь и смерть – как же Я объясню тебе третье? Все существование твоё является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого третьего, и где же Я возьму его? Ныне Я человек, как и ты, в моей голове твои мозги, в моем рту мешкотно толкутся и колются углами твои кубические слова, и Я не могу рассказать тебе о Необыкновенном.

Если Я скажу, что чертей нет, Я обману тебя. Но если Я скажу, что они есть, Я также обману тебя... Видишь, как это трудно, какая это бессмыслица, мой друг! Но даже о моем вочеловечении, с которого десять дней назад началась моя земная жизнь, Я могу рассказать тебе очень мало понятного. Прежде всего забудь о твоих любимых волосатых, рогатых и крылатых чертях, которые дышат огнем, превращают в золото глиняные осколки, а старцев – в обольстительных юношей и, сделав все это и наболтав много пустяков, мгновенно проваливаются сквозь сцену, – и запомни: когда мы хотим прийти на твою землю, мы должны вочеловечиться. Почему это так, ты узнаешь после смерти, а пока запомни: Я сейчас человек, как и ты, от Меня пахнет не вонючим козлом, а недурными духами, и ты спокойно можешь пожать мою руку, нисколько не боясь оцарапаться о когти: Я их так же стригу, как и ты.

Но как это случилось? Очень... просто. Когда Я захотел прийти на землю, Я нашел одного подходящего, как помещение, тридцативосьмилетнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера, и убил его... конечно, ночью и без свидетелей. Но притянуть Меня к суду, несмотря на Мое сознание, ты все-таки не можешь, так как американец жив, и мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя: Я и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение, понимаешь – да и то не все, черт его побери! И вернуться обратно Я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя ведет к свободе: через смерть.

Вот главное. Но в дальнейшем и ты можешь кое-что понять, хотя говорить о таких вещах твоими словами – все едино, что пытаться засунуть гору в жилетный карман или наперстком вычерпать Ниагару! Вообрази, что ты, дорогой мой царь природы, пожелал стать ближе к муравьям и силою чуда или волшебства сделался муравьем, настоящим крохотным муравьем, таскающим яйца, – и тогда ты немного почувствуешь ту пропасть, что отделяет Меня бывшего от настоящего... нет, еще хуже! Ты был звуком, а стал нотным значком на бумаге... Нет, еще хуже, еще хуже, и никакие сравнения не расскажут тебе о той страшной пропасти, дна которой Я еще сам не вижу. Или у нее совсем нет дна?

Подумай: Я двое суток, по выходе из Нью-Йорка, страдал морской болезнью! Это смешно для тебя, привыкшего валяться в собственных нечистотах? Ну, а Я – Я тоже валялся, но это не было смешно нисколько. Я только раз улыбнулся, когда подумал, что это не Я, а Вандергуд, и сказал:

– Качай, Вандергуд, качай!

...Есть еще один вопрос, на который ты ждешь ответа: зачем Я пришел на землю и решился на такой невыгодный обмен – из Сатаны, «всемогущего, бессмертного, повелителя и властелина», превратился в... тебя? Я устал искать слова, которых нет, и я отвечу тебе по-английски, французски, итальянски и немецки, на языках, которые мы оба с тобою хорошо понимаем: мне стало скучно... в аду, и Я пришел на землю, чтобы лгать и играть.

Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо знаешь, и об игре ты можешь несколько судить по твоим театрам и знаменитым актерам. Может быть, ты и сам играешь какую-нибудь маленькую вещичку в парламенте, дома или в церкви? – тогда ты кое-что поймешь и в чувстве наслаждения игрою. Если же ты вдобавок знаешь таблицу умножения, то помножь этот восторг и наслаждение игры на любую многозначную цифру, и тогда получится мое наслаждение, моя игра. Нет, еще больше! Вообрази, что ты океанская волна, которая вечно играет и живет только в игре, – вот эта, которую сейчас я вижу за стеклом и

которая хочет поднять наш «Атлантик»... Впрочем, я опять ищу слов и сравнений!

Просто Я хочу играть. В настоящую минуту Я еще неведомый артист, скромный дебютант, но надеюсь стать знаменитым не менее твоего Гаррика или Ольриджа – когда сыграю, что хочу. Я горд, самолюбив и даже, пожалуй, тщеславен... ты ведь знаешь, что такое тщеславие, когда хочется похвалы и аплодисментов хотя бы дурака? Далее, Я дерзко думаю, что Я гениален, – Сатана известен своею дерзостью, – и вот вообрази, что мне надоел ад, где все эти волосатые и рогатые мошенники играют и лгут почти не хуже, чем Я, и что Мне недостаточно адских лавров, в которых Я пронизательно усматриваю немало низкой лести и простого тупоумия. О тебе же, мой земной друг, я слыхал, что ты умен, довольно честен, в меру недоверчив, чуток к вопросам вечного искусства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен высоко оценить чужую игру: ведь неспроста у тебя столько великих! Вот Я и пришел... понятно?

Моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой Рим, куда я еду, этот «вечный» город, как его здесь называют с глубоким пониманием вечности и других простых вещей. Труппы определенной Я еще не имею (не хочешь ли и ты вступить в нее?), но верю, что Судьба или Случай, которому Я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достойных партнеров... старая Европа так богата талантами! Верю, что и зрителей в этой Европе найду достаточно чутких, чтобы стоило перед ними красить рожу и мягкие адские туфли заменять тяжелыми котурнами. Признаться, раньше Я подумывал о Востоке, где уже не без успеха подвизались когда-то некоторые мои... соотечественники, но Восток слишком доверчив и склонен к балету, как и яду, его боги безобразны, он еще слишком воняет полосатым зверем, его тьма и огни варварски грубы и слишком яркие, чтобы такому тонкому артисту, как Я, стоило идти в этот тесный и вонючий балаган. Ах, мой друг, Я ведь так тщеславен, что и этот Дневник начинаю не без тайного намерения восхитить тебя... даже моим убожеством в качестве Искателя слов и сравнений. Надеюсь, что ты не воспользуешься моей откровенностью и не перестанешь мне верить?

Есть еще вопросы? О самой пьесе Я сам толком не знаю, ее сочинит тот же импресарио, что привлечет и актеров, – Судьба, – а Моя скромная роль для начала: человека, который так полюбил других людей, что хочет отдать им все – душу и деньги. Ты не забыл, конечно, что Я миллиардер? У Меня три миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного эффектного представления? Теперь еще одна подробность, чтобы закончить эту страницу.

Со Мною едет и разделит Мою судьбу некто Эрвин Топпи, Мой секретарь, личность весьма почтенная в своем черном сюртуке и цилиндре, с своим отвислым носом, похожим на незрелую грушу, и бритым пасторским лицом. Не удивлюсь, если в кармане у него найдут походный молитвенник. Мой Топпи явился на землю – оттуда, то есть из ада, и тем же способом, как и Я: он также вочеловечился, и, кажется, довольно удачно – бездельник совершенно нечувствителен к качке. Впрочем, даже для морской болезни нужен некоторый ум, а Мой Топпи глуп непродоходимо – даже для земли. Кроме того, он груб и дает советы. Я уже несколько раскаиваюсь, что из богатого нашего запаса не выбрал для себя скотины получше, но Меня соблазнила его честность и некоторое знакомство с землею: как-то приятнее было пускаться в эту прогулку с бывалым товарищем. Когда-то – давно – он уже принимал человеческий образ и настолько проникся религиозными идеями, что – подумай! – вступил в монастырь братьев францисканцев, прожил там до седой старости и мирно скончался под именем брата Винцента. Его прах стал предметом поклонения для верующих, – недурная карьера для глупого Черта! – а сам он снова со Мною и уже нюхает, где пахнет ладаном: неискоренимая привычка! Ты его, наверное, полюбишь.

А теперь довольно. Пойди вон, мой друг. Я хочу быть один. Меня раздражает твое плоское отражение, которое Я вызвал на этой сцене, и Я хочу быть один, или только хоть с этим Вандергудом, который отдал Мне свое помещение и в чем-то мошеннически надул Меня. Море спокойно, Меня уже не

тошнит, как в эти проклятые дни, но Я чего-то боюсь.

Я – боюсь! Кажется, Меня пугает эта темнота, которую они называют ночью и которая ложится над океаном: здесь еще светло от лампочек, но за тонким бортом лежит ужасная тьма, где совсем бессильны Мои глаза. Они и так ничего не стоят, эти глупейшие зеркала, умеющие только отражать, но в темноте они теряют и эту жалкую способность. Конечно, Я привыкну и к темноте, Я уже ко многому привык, но сейчас Мне нехорошо и страшно подумать, что только поворот ключа – и Меня охватит эта слепая, вечно готовая тьма. Откуда она?

И какие они храбрые с своими тусклыми зеркальцами, – ничего не видят и говорят просто: здесь темно, надо зажечь свет! Потом сами тушат и засыпают. Я с некоторым удивлением, правда холодноватым, рассматриваю этих храбрецов и... восхищаюсь. Или для страха нужен слишком большой ум, как у Меня? Ведь это не ты же такой трус, Вандергуд, ты всегда слыл человеком закаленным и бывалым!

Одной минуты в Моем вочеловечении Я не могу вспомнить без ужаса: когда Я впервые услышал биение Моего сердца. Этот отчетливый, громкий, отсчитывающий звук, столько же говорящий о смерти, сколько и о жизни, поразил Меня неиспытанным страхом и волнением. Они всюду суют счетчики, но как могут они носить в своей груди этот счетчик, с быстротою фокусника спроваживающий секунды жизни?

В первое мгновение Я хотел закричать и немедленно ринуться вниз, пока еще не привык к жизни, но взглянул на Топпи: этот новорожденный дурак спокойно рукавом сюртука чистит свой цилиндр, Я захохотал и крикнул:

– Топпи! Щетку!

И мы чистились оба, а счетчик в Моей груди считал, сколько секунд это продолжалось, и, кажется, прибавил. Потом, впоследствии, слушая его назойливое тиканье, Я стал думать: «Не успею!» Что не успею? Я сам этого не знал, но целых два дня бешено торопился пить, есть, даже спать: ведь счетчик не дремлет, пока Я лежу неподвижной тушей и сплю!

Сейчас Я уже не тороплюсь. Я знаю, что Я успею, и Мои секунды кажутся Мне неистощимыми, но Мой счетчик чем-то взволнован и стучит, как пьяный солдат в барабан. А как, – эти маленькие секунды, которые он сейчас выбрасывает, – они считаются равными большим? Тогда это мошенничество. Я протестую, как честный гражданин Соединенных Штатов и коммерсант!

Мне нехорошо. Сейчас Я не оттолкнул бы и друга, вероятно, это хорошая вещь, друзья. Ах! Но во всей вселенной Я один!

7 февраля 1914 г.

Рим, отель «Интернациональ»

Я каждый раз бешусь, когда Мне приходится брать палку полицейского и водворять порядок в Моей голове: факты направо! мысли налево! настроения назад! – дорогу его величеству Сознанию, которое еле ковыляет на своих костылях. Но нельзя – иначе бунт, шум, неразбериха и хаос. Итак – к порядку, джентльмены-факты и леди-мысли! Я начинаю.

Ночь. Темнота. Воздух вежлив и тепел, и чем-то пахнет. Топпи внюхивается с наслаждением, говоря, что это Италия. Наш стремительный поезд подходит уже к Риму, мы блаженствуем на мягких диванах, когда – крах! – и все летит к черту: поезд сошел с ума и скovyрнулся. Сознаюсь без стыда, – Я не храбрец! – что Мною овладел ужас и почти беспамятство. Электричество погасло, и когда Я с трудом вылез из какого-то темного угла, куда Меня сбросило, Я совершенно забыл, где выход. Всюду стены, углы, что-то колетса, бьется и молча лезет на Меня. И все в темноте! Вдруг под ногами труп, Я наступил прямо на лицо; уже потом Я узнал, что это был Мой лакей Джордж, убитый наповал. Я закричал, и здесь Мой неуязвимый Топпи выручил Меня: схватил Меня за руку и повлек к открытому окну, так как оба выхода были разбиты и загромождены обломками. Я выпрыгнул наземь, но Топпи что-то застрял там; Мои колена дрожали, дыхание выходило со стоном, но он все не показывался, и Я стал кричать.

Вдруг он высунулся из окна:

– Чего вы кричите? Я ищу наши шляпы и ваш портфель.

И действительно: скоро он подал Мне шляпу, а потом вылез и сам – в цилиндре и с портфелем. Я захохотал и крикнул:

– Человек! Ты забыл зонтик!

Но этот старый шут не понимал юмора и серьезно ответил:

– Я же не ношу зонтика. А вы знаете: наш Джордж убит и повар тоже.

Так эта падаль, которая не чувствует, как ступают по его лицу, – наш Джордж! Мною снова овладел страх, и вдруг Я услышал стоны, дикие вопли, визг и крики, все голоса, какими вопит храбрец, когда он раздавлен: раньше Я был как глухой и ничего не слышал. Загорелись вагоны, появился огонь и дым, сильнее закричали раненые, и, не ожидая, пока жаркое поспеет, Я в беспамятстве бросился бежать в поле. Это была скачка!

К счастью, пологие холмы римской Кампаньи очень удобны для такого спорта, а Я оказался бегуном не из последних. Когда Я, задохнувшись, повалился на какой-то бугорок, уже не было ничего ни видно, ни слышно, и только далеко позади топал отставший Топпи. Но что это за ужасная вещь, сердце! Оно так лезло Мне в рот, что Я мог бы выплюнуть его. Корчась от удушья, Я прильнул лицом к самой земле – она была прохладная, твердая и спокойная, и здесь она понравилась Мне, и как будто она вернула Мне дыхание и вернула сердце на его место, Мне стало легче. И звезды в вышине были спокойны... Но чего им беспокоиться? Это их не касается. Они светят и празднуют, это их вечный бал. И на этом светлейшем балу Земля, одетая мраком, показалась Мне очаровательной незнакомкой в черной маске. (Нахожу, что это выражено недурно, и ты, Мой читатель, должен быть доволен: Мой стиль и манеры совершенствуются!)

Я поцеловал Топпи в темя – Я целую в темя тех, кого люблю, – и сказал:

– Ты очень хорошо вочеловечился, Топпи. Я тебя уважаю. Но что мы будем делать дальше? Это

зареве огней – Рим? Далеко!

– Да, Рим, – подтвердил Топпи и поднял руку. – Вы слышите – свистят!

Оттуда неслись протяжные и стонущие свистки паровозов; они были тревожны.

– Свистят, – сказал Я и засмеялся.

– Свистят! – повторил Топпи, ухмыляясь, – он не умеет смеяться.

Но мне снова стало нехорошо. Озноб, странная тоска и дрожь в самом основании языка. Меня мучила эта падаль, которую я давил ногами, и Мне хотелось встряхнуться, как собаке после купанья. Пойми, ведь это был первый раз, когда Я видел и ощущал твой труп, мой дорогой читатель, и он Мне не понравился, извини. Почему он не возражал, когда Я ногой попираю его лицо? У Джорджа было молодое, красивое лицо, и он держался с достоинством. Подумай, что и в твое лицо вдавится тяжелая нога, – и ты будешь молчать?

К порядку! В Рим мы не пошли, а отправились искать ночлега у добрых людей поближе. Долго шли. Устали. Хотелось пить – ах, как хотелось пить! А теперь позволь тебе представить Моего нового друга, синьора Фому Магнуса и его прекрасную дочь Марию.

Вначале это было слабо мерцающим огоньком, который «зовет усталого путника». Вблизи это было маленьким уединенным домиком, еле сквозившим белыми стенами сквозь чащу высоких черных кипарисов и еще чего-то. Только в одном окне был свет, остальные закрыты ставнями. Каменная ограда, железная решетка, крепкие двери. И – молчание. На первый взгляд это было подозрительное что-то. Стучал Топпи – молчание. Долго стучал Я – молчание. И наконец суровый голос из-за железной двери спросил:

– Кто вы? Что надо?

Еле ворочая высохшим языком, Мой храбрый Топпи рассказал о катастрофе и нашем бегстве, он говорил долго, – и тогда лязгнув железный замок, и дверь открылась. Следуя за суровым и молчаливым незнакомцем, мы вошли в дом, прошли несколько темных и безмолвных комнат, поднялись по скрипящей лестнице и вошли в освещенное помещение, видимо, рабочую комнату незнакомца. Светло, много книг и одна, раскрытая, лежит на столе под низкой лампой с зеленым простым колпаком. Ее свет мы заметили в поле. Но Меня поразило безмолвие дома: несмотря на довольно ранний час, не слышно было ни шороха, ни голоса, ни звука.

– Садитесь.

Мы сели, и Топпи, изнемогая, снова начал свою повесть, но странный хозяин равнодушно перебил его:

– Да, катастрофа. Это часто бывает на наших дорогах. Много жертв?

Топпи залопотал, а хозяин, полуслушая его, вынул из кармана револьвер и спрятал в стол, небрежно пояснив:

– Здесь не совсем спокойная окраина. Что ж, милости просим, оставайтесь у меня.

Он впервые поднял свои темные, почти без блеска, большие и мрачные глаза и внимательно, как диковинку в музее, с ног до головы осмотрел Меня и Топпи. Это был наглый и неприличный взгляд, и Я поднялся с места.

– Боюсь, что мы здесь лишние, синьор, и...

Но он неторопливым и слегка насмешливым жестом остановил Меня.

– Пустое. Оставайтесь. Сейчас я дам вам вина и кое-что поесть. Прислуга приходит ко мне только днем, так что я сам буду вам прислуживать. Умойтесь и освежитесь, за этой дверью ванна, пока я достану вино. Вообще, не стесняйтесь.

Пока мы пили и ели, – правда, с жадностью, – этот неприветливый господин читал свою книгу с таким видом, словно никого не было в комнате и будто это не Топпи чавкал, а собака возилась над костью. Здесь Я хорошо рассмотрел его. Высокий, почти моего роста и склада, лицо бледное и как будто утомленное, черная смоляная, бандитская борода. Но лоб большой и умный и нос... как это назвать? – Вот Я снова ищу сравнений! – Нос как целая книга о большой, страстной, необыкновенной, притаившейся жизни. Красивый и сделанный тончайшим резцом не из мяса и хрящей, а... – как это сказать? – из мыслей и каких-то дерзких желаний. Видимо – тоже храбрец! Но особенно удивили Меня его руки: очень большие, очень белые и спокойные. Почему удивили, Я не знаю, но вдруг Я подумал: как хорошо, что не плавники! Как хорошо, что не щупальцы! Как хорошо и удивительно, что ровно десять пальцев; ровно десять тонких, злых, умных мошенников!

Я вежливо сказал:

– Благодарю вас, синьор...

– Меня зовут Магнус. Фома Магнус. Выпейте еще вина. Американцы?

Я ждал, чтобы Топпи по английскому обычаю представил Меня, и смотрел на Магнуса. Нужно было быть безграмотной скотиной и не читать ни одной английской, французской или итальянской газеты, чтобы не знать, кто Я?

– Мистер Генри Вандергуд из Иллинойса. Его секретарь, Эрвин Топпи, ваш покорнейший слуга. Да, граждане Соединенных Штатов.

Старый шут выговорил свою тираду не без гордости, и Магнус – да, – он слегка вздрогнул. Миллиарды, мой друг, миллиарды! Он долго и пристально посмотрел на Меня:

– М-р Вандергуд? Генри Вандергуд? Это не вы, сударь, тот американец, миллиардер, что хочет облагодетельствовать человечество своими миллиардами?

Я скромно мотнул головой:

– Уйес, Я.

Топпи мотнул головой и подтвердил... осел:

– Уйес, мы.

Магнус поклонился нам обоим и с дерзкой насмешливостью сказал:

– Человечество ждет вас, м-р Вандергуд. Судя по римским газетам, оно в полном нетерпении! Но мне надо извиниться за свой скромный ужин: я не знал...

С великолепной прямоотой Я схватил его большую, странно горячую руку и крепко, по-американски, потряс ее:

– Оставьте, синьор Магнус! Прежде чем стать миллиардером, Я был свинопасом, а вы – прямой, честный и благородный джентльмен, которому Я с уважением жму руку. Черт возьми, еще ни одно человеческое лицо не будило во Мне... такой симпатии, как ваше!

Тогда Магнус сказал...

Ничего Магнус не сказал! Нет, Я не могу так: «Я сказал», «он сказал» – эта проклятая последовательность убивает Мое вдохновение, Я становлюсь посредственным романистом из бульварной

газетки и лгу, как бездарность. Во Мне пять чувств, Я цельный человек, а толкую об одном слухе! А зрение? Поверь, оно не бездельничало. А это чувство земли, Италии, Моего существования, которое Я ощутил с новой и сладкой силой. Ты думаешь, Я только и делал, что слушал умного Фому Магнуса? Он говорит, а Я смотрю, понимаю, отвечаю, а сам думаю: как хорошо пахнет земля и трава в Кампанье! Еще Я старался вчувствоваться в весь этот дом (так говорят?), в его скрытые молчаливые комнаты; он казался Мне таинственным. А еще Я с каждой минутой все больше радовался, что Я жив, говорю, могу еще долго играть... и вдруг Мне стало нравиться, что Я – человек!

Помню, Я вдруг протянул Магнусу Мою визитную карточку: Генри Вандергуд. Он удивился и не понял, но вежливо положил карточку на стол, а Мне захотелось поцеловать его в темя: за эту вежливость, за то, что он человек, – и Я тоже человек. Еще Мне очень нравилась Моя нога в желтом ботинке, и Я незаметно покачивал ею: пусть покачается, прекрасная человеческая американская нога! Я был очень чувствителен в этот вечер! Мне даже захотелось раз заплакать: смотреть прямо в глаза собеседнику и на своих открытых, полных любви, добрых глазах выдавить две слезинки. Кажется, Я это и сделал, и в носу приятно кольнуло, как от лимонада. И на Магнуса Мои две слезинки, как Я заметил, произвели прекраснейшее впечатление.

Но Топпи!.. Пока Я переживал эту чудную поэму вочеловечения и слезился, как мох, он мертвецки спал за тем же столом, где сидел. Не слишком ли он вочеловечился? Я хотел рассердиться, но Магнус удержал Меня:

– Он переволновался и устал, м-р Вандергуд.

Впрочем, было уже позднее время. Мы уже два часа горячо говорили и спорили с Магнусом, когда это случилось с Топпи. Я отправил его в постель, и мы продолжали пить и говорить еще долго. Пил вино больше Я, а Магнус был сдержан, почти мрачен, и Мне все больше нравилось его суровое, временами даже злое и скрытное лицо. Он говорил:

– Я верю в ваш альтруистический порыв, м-р Вандергуд. Но я не верю, чтобы вы, человек умный, деловой и... несколько холодный, как мне кажется, могли возлагать какие-нибудь серьезные надежды на ваши деньги...

– Три миллиарда – огромная сила, Магнус!

– Да, три миллиарда – огромная сила, – согласился он спокойно и нехотя, – но что вы можете сделать с ними? Я засмеялся:

– Вы хотите сказать: что может сделать с ними этот невежда американец, этот бывший свинопас, который свиней знает лучше, нежели людей?..

– Одно знание помогает другому.

– Этот сумасбродный филантроп, которому золото бросилось в голову, как молоко кормилице? Да, конечно, что Я могу сделать? Еще один университет в Чикаго? Еще богадельню в Сан-Франциско? Еще одну гуманную исправительную тюрьму в Нью-Йорке?

– Последнее было бы истинным благодеянием для человечества. Не смотрите на меня так укоризненно, м-р Вандергуд: я несколько не шучу, во мне вы не найдете той... беззаветной любви к людям, которая так ярко горит в вас.

Он дерзко насмехался надо Мною, а Мне было так его жаль: не любить людей! Несчастный Магнус, Я с таким удовольствием поцеловал бы его в темя! Не любить людей!

– Да, я их не люблю, – подтвердил Магнус. – Но я рад, что вы не собираетесь идти шаблонным путем всех американских филантропов. Ваши миллиарды...

– Три миллиарда, Магнус! На эти деньги можно создать новое государство...

– Да?!

– Или разрушить старое. На это золото, Магнус, можно сделать войну, революцию...

– Да?

Мне таки удалось поразить его: его большая белая рука слегка вздрогнула, и в темных глазах мелькнуло уважение: «А ты, Вандергуд, не так глуп, как я подумал вначале!» Он встал и, пройдя раз по комнате, остановился передо Мною и с насмешкой, резко спросил:

– А вы знаете точно, что нужно вашему человечеству: создание нового или разрушение старого государства? Война или мир? Революция или покой? Кто вы такой, м-р Вандергуд из Иллинойса, что беретесь решать эти вопросы? Я ошибся: стройте богадельню и университет в Чикаго, это... безопаснее.

Мне нравилась дерзость этого человечка! Я скромно опустил голову и сказал:

– Вы правы, синьор Магнус. Кто я такой, Генри Вандергуд, чтобы решать эти вопросы? Но Я их и не решаю. Я только ставлю их, Я ставлю и ищу ответа, ищу ответа и человека, который Мне его даст. Я неуч, невежда, Я не читал как следует ни одной книги, кроме гроссбуха, а здесь Я вижу книг достаточно. Вы мизантроп, Магнус, вы слишком европеец, чтобы не быть слегка и во всем разочарованным, а мы, молодая Америка, мы верим в людей. Человека надо делать! Вы в Европе плохие мастера и сделали плохого человека, мы – сделаем хорошего. Извиняюсь за резкость: пока Я, Генри Вандергуд! делал только свиней, и мои свиньи, скажу это с гордостью, имеют орденов и медалей не меньше, нежели фельдмаршал Мольтке, но теперь Я хочу делать людей...

Магнус усмехнулся:

– Вы алхимик от Евангелия, Вандергуд: берете свинец и хотите превращать в золото!

– Да, Я хочу делать золото и искать философский камень. Но разве он уже не найден? Он найден, только вы не умеете им пользоваться: это – любовь. Ах, Магнус, Я еще сам не знаю, что буду делать, но Мои замыслы широки и... величественны, сказал бы Я, если бы не эта ваша мизантропическая улыбка. Поверьте в человека, Магнус, и помогите Мне! Вы знаете, что нужно человеку.

Он холодно и угрюмо повторил:

– Ему нужны тюрьмы и эшафот.

Я воскликнул в негодовании (негодование Мне особенно удастся):

– Вы клевете на себя, Магнус! Я вижу, что вы пережили какое-то тяжелое горе, быть может, измену и...

– Остановитесь, Вандергуд! Я сам никогда не говорю о себе и не люблю, чтобы и другие говорили обо мне. Достаточно сказать, что за четыре года вы первый нарушаете мое одиночество, и то... благодаря случайности. Я не люблю людей.

– О! Простите, но Я не верю.

Магнус подошел к книжной полке и с выражением презрения и как бы гадливости взял в свою белую руку первый попавшийся том.

– А вы, не читавший книг, знаете, о чем эти книги? Только о зле, ошибках и страдании человечества. Это слезы и кровь, Вандергуд! Смотрите: вот в этой тоненькой книжонке, которую я держу двумя пальцами, заключен целый океан красной человеческой крови, а если вы возьмете их все... И кто пролил эту кровь? Дьявол?

Я почувствовал себя польщенным и хотел поклониться, но он бросил книгу и гневно крикнул:

– Нет, сударь: человек! Ее пролил человек! Да, я читаю эти книги, но лишь для одного: чтобы научиться ненавидеть и презирать человека. Вы ваших свиней превратили в золото, да? А я уже вижу, как это золото снова превращается в свиней: они вас слопают, Вандергуд. Но я не хочу ни... лопать, ни лгать: выбросьте в море ваши деньги, или... стройте тюрьмы и эшафот. Вы честолюбивы, как все человеколюбцы? Тогда стройте эшафот. Вас будут уважать серьезные люди, а стадо назовет вас великим. Или вы, американец из Иллинойса, не хотите в Пантеон?

– Но, Магнус!..

– Кровь! Разве вы не видите, что кровь везде? Вот она уже на вашем сапоге...

Признаюсь, что при этих словах сумасшедшего, каким в ту минуту показался мне Магнус, Я с испугом дернул ногою, на которой лишь теперь заметил темное красноватое пятно... такая мерзость!

Магнус улыбнулся и, сразу овладев собою, продолжал холодно и почти равнодушно:

– Я вас невольно испугал, м-р Вандергуд? Пустяки, вероятно, вы наступили на... что-нибудь ногою. Это пустяки. Но этот разговор, которого я не вел уже много лет, слишком волнует меня и... Спокойной ночи, м-р Вандергуд. Завтра я буду иметь честь представить вас моей дочери, а сейчас позвольте...

И так далее. Одним словом, этот господин самым грубейшим образом отвел меня в мою комнату и чуть сам не уложил в постель. Я и не спорил: зачем? Надо сказать, что в эту минуту он Мне очень мало нравился. Мне было даже приятно, что он уходит, но вдруг у самой двери он обернулся и, сделав шаг, резко протянул ко Мне обе свои белые большие руки. И прошептал:

– Вы видите эти руки? На них кровь! Пусть кровь злодея, мучителя и тирана, но все та же красная человеческая кровь. Прощайте!

...Он испортил Мне ночь. Клянусь вечным спасением, в этот вечер Я с удовольствием чувствовал себя человеком и расположился, как дома, в его тесной шкуре. Она всегда жмет мне под мышками. Я взял ее в магазине готового платья, а тут мне казалось, что она сшита на заказ у лучшего Портного! Я был чувствителен. Я был очень добр и мил, Мне очень хотелось поиграть, но Я вовсе не был склонен к такой тяжелой трагедии! Кровь! И нельзя же совать под нос полужнакомому джентльмену свои белые руки... у всех палачей очень белые руки!

Не думай, что Я шучу. Мне стало очень нехорошо. Если днем Я еще пока побеждаю Вандергуда, то каждую ночь он кладет Меня на обе лопатки. Это он заселяет темноту моих глаз своими глупейшими снами и перетрясает свой пыльный архив... и как безбожно глупы и бестолковы его сны! Всю ночь он хозяйничает во мне, как вернувшийся хозяин, перебирает брезгливо, что-то ищет, хнычет о порче и потерях, как скупец, кряхтит и ворочается, как собака, которой не спится на старой подстилке. Это он каждую ночь втягивает Меня, как мокрая глина, в глубину дряннейшей человечности, в которой Я задыхаюсь. Каждое утро, проснувшись, Я чувствую, что вандергудовская настойка человечности стала на десять градусов крепче... подумай: еще немного, и он просто выставит Меня за порог, – он, жалкий владелец пустого сарая, куда Я внес дыхание и душу!

Как торопливый вор, Я влез в чужое платье, карманы которого набиты векселями... Нет, еще хуже! Это не тесное платье, это низкая, темная и душная тюрьма, в которой Я занимаю места меньше, нежели солитер в желудке Вандергуда. Тебя с детства запрятали в твою тюрьму, мой дорогой читатель, и ты даже любишь ее, а Я... Я пришел из царства Свободы. И Я не хочу быть глистом Вандергуда: один глоток этого чудесного цианистого кали, и Я – снова свободен. Что скажешь тогда, негодяй Вандергуд? Ведь без Меня тебя тотчас слопают черви, ты лопнешь, ты расползешься по швам... мерзкая падаль! Не трогай Меня!

Но в эту ночь Я весь был во власти Вандергуда. Что Мне человеческая кровь! Что Мне эта жидкая условность ихней жизни! Но Вандергуд был взволнован сумасшедшим Магнусом. Вдруг Я чувствую, – подумай! – что весь Я полон крови, как бычий пузырь, и пузырь этот так тонок и непрочен, что его нельзя кольнуть. Кольни здесь – она польется, тронь там – она захлещет! Вдруг Мне стало страшно, что в этом доме Меня убьют: резнут по горлу и, держа за ноги, выпустят кровь.

Я лежал в темноте и все прислушивался, не идет ли Магнус с своими белыми руками? И чем тише было в этом проклятом домишке, тем страшнее Мне становилось, и Я ужасно сердился, что даже Топпи не храпит, как всегда. Потом у Меня начало болеть все тело, быть может, Я ушибся при катастрофе, не знаю, или устал от бега. Потом то же тело стало самым собачьим образом чесаться, и Я действовал даже ногами: появление веселого шута в трагедии!

Вдруг сон схватил Меня за ноги и быстро потащил книзу, Я не успел ахнуть. И подумай, какую глупость Я увидел, – ты видишь такие сны? Будто Я бутылка от шампанского с тонким горлышком и засмоленной головкой, но наполнен Я не вином, а кровью! И будто все люди – такие же бутылки с засмоленными головками, и все мы в ряд и друг на друге лежим на низком морском берегу. А оттуда идет Кто-то страшный и хочет нас разбить, и вот Я вижу, что это очень глупо, и хочу крикнуть: «Не надо разбивать, возьмите штопор и откупорьте!» Но у Меня нет голоса, Я бутылка. И вдруг идет убитый лакей Джорж, в руке у него огромный острый штопор, он что-то говорит и хватает меня за горлышко... ах, за горлышко!

Я проснулся с болью в темени: вероятно, он так пытался Меня откупорить! Мой гнев был так велик, что я не улыбнулся, не вздохнул лишний раз и не пошевелился, – Я просто и спокойно еще раз убил Вандергуда. Я стиснул спокойно зубы, сделал глаза прямыми, спокойными, вытянул мое тело во всю длину – и спокойно застыл в сознании моего великого Я. Океан мог бы ринуться на Меня, и Я не шевельнул бы ресницей – довольно! Пойди вон, мой друг, Я хочу быть один.

И тело смолкло, обесцветилось, стало воздушным и снова пустым. Легкими стопами Я покинул его, и моему открытому взору предстало необыкновенное, то, что невыразимо на твоём языке, мой бедный друг! Насыть твоё любопытство причудливым сном, который Я так доверчиво рассказал тебе, – и не расспрашивай дальше! Или тебе недостаточно «огромного, острого» штопора – но ведь это так... художественно!

Наутро Я был здоров, свеж, красив и жаждал игры, как только что загримированный актер. Конечно, Я не забыл побриться – этот каналья Вандергуд обрастает щетиной так же быстро, как его золотиносные свиньи. Я пожаловался на это Топпи, с которым мы, в ожидании еще не выходявшего Магнуса, гуляли по садику, и Топпи, подумав, ответил, как философ:

– Да. Человек спит, а борода у него растет и растет. Так надо для цирюльников!

Вышел Магнус. Он не стал приветливее вчерашнего, и бледное лицо его носило явные следы утомления, но был спокоен и вежлив. Какая днем у него черная борода! С холодной любезностью он пожал Мне руку и сказал (мы стояли на высокой каменной стене):

– Любуетесь римской Кампаньей, м-р Вандергуд? Прекрасное зрелище! Говорят, что Кампанья опасна своими лихорадками, но во мне она родит только одну лихорадку: лихорадку мысли!

По-видимому, Мой Вандергуд был довольно-таки равнодушен к природе, а Я еще не вошел во вкус земных ландшафтов: пустое поле показалось мне – просто пустым полем. Я вежливо окинул глазами пузырь и сказал:

– Люди больше меня интересуют, синьор Магнус.

Он внимательно посмотрел на меня своими темными глазами и, понизив голос, промолвил сухо и

сдержанно:

– Два слова о людях, м-р Вандергуд. Сейчас вы увидите мою дочь, Марию. Это мои три миллиарда. Вы понимаете?

Я одобрительно кивнул головой.

– Но этого золота не родит ваша Калифорния и никакое иное место на нечистой земле. Это – золото небес. Я человек неверующий, но даже я – даже я, м-р Вандергуд! – испытываю сомнения, когда встречаю взор моей Марии. Вот единственные руки, в которые вы спокойно могли бы отдать ваши миллиарды.

Я старый холостяк, и Мне стало несколько страшно, но Магнус продолжал строго и даже торжественно:

– Но она их не возьмет, сударь! Ее нежные руки никогда не должны знать этой золотой грязи. Ее чистые глаза никогда не увидят иного зрелища, нежели эта безбрежная и безгрешная Кампанья. Здесь ее монастырь, м-р Вандергуд, и выход отсюда для нее только один: в неземное светлое царство, если только оно есть!

– Простите, но я этого не понимаю, дорогой Магнус! – радостно запротестовал Я. – Жизнь и люди...

Лицо Фомы Магнуса стало злым, как вчера, и с суровой насмешливостью он перебил Меня:

– А я прошу вас это понять, дорогой Вандергуд. Жизнь и люди не для Марии и... достаточно того, что я знаю жизнь и людей. Мой долг был предупредить вас, а теперь, – он снова принял тон холодной любезности, – прошу вас к моему столу. Мистер Топпи, прошу вас!

Мы уже начали кушать, болтая о пустяках, когда вошла Мария. Дверь, в которую она вошла, была за моею спиною, ее легкую поступь Я принял за шаги служанки, подававшей блюда, но Меня поразил носатый Топпи, сидевший напротив. Глаза его округлились, лицо покраснело, как от удушья, и по длинной шее волной проплыл кадык и нырнул где-то за тугим пасторским воротничком. Конечно, Я подумал, что он подавился рыбьей костью, и воскликнул:

– Топпи! Что с тобою? Выпей воды.

Но Магнус уже встал и холодно произнес:

– Моя дочь, Мария. Мистер Генри Вандергуд.

Я быстро обернулся и... Как Мне выразить ее, когда необыкновенное невыразимо? Это было более чем прекрасно – это было страшно в своей совершенной красоте. Я не хочу искать сравнений, возьми их сам. Возьми все, что ты видел и знаешь прекрасного на земле: лилию, звезды, солнце, но ко всему прибавь более. Но не это было страшно, а другое: таинственное и разительное сходство... с кем, черт возьми? Кого Я встречал на земле, кто был бы так же прекрасен – прекрасен и страшен – страшен и недоступен земному? Я знаю теперь весь твой архив, Вандергуд, и это не из твоей убогой галереи!

– Мадонна! – прохрипел сзади испуганный голос Топпи.

Так вот оно! Да, Мадонна, дурак прав, и Я, сам Сатана, понимаю его испуг. Мадонна, которую люди видят только в церквах, на картинах, в воображении верующих художников. Мария, имя которой звучит только в молитвах и песнопениях, небесная красота, милость, всепрощение и вселюбовь! Звезда морей! Тебе нравится это имя: звезда морей? Осмелюсь сказать: нет!..

И мне стало дьявольски смешно. Я сделал глубочайший поклон и чуть – заметь: чуть! – не сказал:

«Сударыня! Я извиняюсь за мое непрошеное вторжение, но Я никак не ожидал, что встречу вас здесь. Усерднейше извиняюсь, что Я никак не ожидал, что этот чернобородый чудаковатый имеет честь называть вас

своей дочерью. Тысячу раз прошу прощения, что...»

Довольно. Я сказал другое:

– Здравствуйте, синьорина. Очень приятно.

Ведь она же ничем не показала, что уже знакома со Мною? Инкогнито надо уважать, если хочешь быть джентльменом, и только негодяй осмелится сорвать маску с дамы! Тем более что отец ее, Фома Магнус, продолжает насмешливо угощать:

– Кушайте же, м-р Топпи. Вы ничего не пьете, м-р Вандергуд, вино превосходное.

В течение дальнейшего Я заметил:

1. что она дышит;
2. что она моргает;
3. что она кушает,

и что она красивая девушка лет восемнадцати, и что платье на ней белое, а шейка ее обнажена. Мне становилось все смешнее. Я бодро нес чепуху в черную бороду Магнуса, а сам кое-что соображал. Глядел на голую шейку и... Поверь, мой земной друг: Я вовсе не обольститель и не влюбчивый юнец, как твои любимые бесы, но Я еще далеко не стар, не дурен собою, имею независимое положение в свете и – разве тебе не нравится такая комбинация: Сатана – и Мария? Мария – и Сатана! В свидетельство серьезности моих намерений Я могу привести то, что в эти минуты Я больше думал о нашем с ней потомстве и искал имя для нашего первенца, нежели отдавался простой фривольности. Я не вертопрах!

Вдруг Топпи решительно двинул кадыком и хрипло осведомился:

– С вас кто-нибудь писал портрет, синьорина?

– Мария не позирует для художников! – сурово ответил за нее Магнус, и Я хотел засмеяться над глупым Топпи, и Я уже раскрыл рот с моими первоклассными американскими зубами, когда чистый взор Марии вошел в мои глаза, и все полетело к черту, – как тогда, при катастрофе! Понимаешь: она вывернула Меня наизнанку, как чулок... или как бы это сказать? Мой превосходный парижский костюм ушел внутрь, а Мои еще более превосходные мысли, которых, однако, Я не хотел бы сообщать даме, вдруг вылезли наружу. Со всем Моим тайным Я стал не больше скрыт, чем номер «Нью-Герольда» за пятнадцать центов.

Но она простила Меня и ничего не сказала, и ее взор, как прожектор, отправился дальше в темноту и осветил Топпи. Нет, здесь и ты бы засмеялся, увидев, как вспыхнули и озарились бедные внутренности этого старого глупого Черта... от молитвенника вплоть до рыбьей кости, которую он подавился!

К счастью для нас обоих, Магнус встал и пригласил нас в сад:

– Пройдемте в сад, – сказал он, – Мария покажет вам свои цветы.

Да, Мария! Но не жди от Меня песнопений, ты, поэт! Я был в бешенстве, как человек, у которого взломали его бюро. Я хотел смотреть на Марию, а вынужден был глядеть на эти дурацкие цветы – потому что не смел поднять глаз. Я джентльмен и не могу являться даме... без галстука! А когда ее взор настигал-таки мои бедные скромные мысли, мои милые маленькие мыслишки, как поджимали они хвост – свой маленький хвостик. Каким смирением проникался Я весь, и Мой талантливейший грим сползал с Меня неудержимо, как краска с потного актера. Ты любишь быть смиренным? Я – нет.

Не знаю, что говорила Мария. Но клянусь вечным спасением! – ее взор и весь ее необыкновенный образ был воплощением такого всеобъемлющего смысла, что всякое мудрое слово становилось бессмыслицей. Мудрость слов нужна только нищим духом, богатые же – безмолвны, заметь это, поэт,

мудрец и вечный болтун на всех перекрестках! Довольно с тебя, что Я унизился до слова.

Ах, но Я забыл о смирении моем! Это она ходила, а мы с Топпи ползали за ней, и Я ненавидел себя, ненавидел широкозатянутого Топпи за его позорный отвислый нос и вялые уши. Здесь нужен был по меньшей мере Аполлон, а не пара американцев, да и то из композиции.

Но как нам стало хорошо, когда Она ушла и мы остались только с Магнусом – Магнус, это так мило и просто! Топпи перестал религиозно гундосить, как заштатный пономарь, а Я заложил ногу за ногу, закурил сигару и к самому зрачку Магнуса приставил свой стальной и острый взгляд. Но что он встретил: пустоту или такую же стальную кирасу?

– Вам надо ехать в Рим, м-р Вандергуд, о вас, наверно, беспокоятся, – спокойно сказал любезный хозяин. Я сильнее нажал клинок.

– Но я могу послать Топпи...

Он улыбнулся с дерзкой насмешкой:

– Едва ли этого будет достаточно, м-р Вандергуд!

Я поискал глазами, где большая белая рука, чтобы дружески пожать ее, но рука была далеко и приблизиться не намеревалась. А все-таки Я поймал ее и пожал ее, и он должен был ответить пожатием!

– Хорошо, синьор Магнус, я сейчас уеду.

– Я уже послал за экипажем. Не правда ли, как хороша Кампанья при этом вечернем солнце?

Я еще раз вежливо осмотрел пустырь и с чувством подтвердил:

– Да, превосходна! Эрвин, мой друг, оставьте нас на минуту, мне надо сказать два слова синьору Магнусу...

Топпи вышел, а синьор Магнус сделал большие и совсем не радостные глаза. И, пробуя свою сталь, Я наклонился к его мрачному лицу и спросил:

– Вы не замечали, дорогой Магнус, некоторого, даже очень большого сходства вашей дочери, синьоры Марии, с одной... весьма известной особой? Вам не кажется, что она похожа – на Мадонну?

– Мадонну? – протянул Магнус так длинно, что всего меня обмотал этим словом. – Нет, дорогой Вандергуд, не замечал. Я не бываю в церкви. Но боюсь, что вам поздно будет ехать. Римская лихорадка...

Я опять поймал его белую руку и с дружеским остервенением потряс ее... нет, Я ее не оторвал! И на моих добрых глазах снова выступили те две слезинки:

– Будем говорить прямо, синьор Магнус. Я человек прямой, и Я полюбил вас. Хотите ехать со Мною и быть распорядителем моих миллиардов?

Магнус молчал. Рука его лежала неподвижно в моей руке, темные глаза опустились, и что-то темное, как они, прошло по бледному лицу и скрылось. Наконец он сказал серьезно и просто:

– Я вас понимаю, м-р Вандергуд... но я должен ответить вам отказом. Нет, я с вами не поеду. Я еще не сказал вам одной вещи, но ваша прямота и доверчивость понуждает меня к откровенности: я должен до известной степени скрываться от полиции...

– Римской? Мы ее купим.

– Нет, скорее... международной. Конечно, вы не думаете, что я совершил какое-нибудь позорное преступление?... Да, да, хорошо. Но дело не в полиции, которую можно купить. Вы правы, м-р Вандергуд, что все люди продаются. Дело в том, что я не могу быть для вас полезен. Зачем я вам? Вы любите

человечество – я его презираю, и в лучшем случае равнодушен. Пусть его живет и не мешает жить мне. Оставьте мне мою Марию, оставьте мне право и силу презирать людей, читая историю их жизни, оставьте мне эту Кампанию – и это все, чего я хочу... и на что я способен. Все масло во мне выгорело, Вандергуд: перед вами потухшая лампада на пустой стене, где когда-то... Прощайте.

– Я не прошу вас об откровенности, Магнус...

– Простите, но вы ее никогда и не получите, м-р Вандергуд. Мое имя вымышленно... но оно единственное, которое я могу предложить своим друзьям.

Скажу правду: в эту минуту «Фома Магнус» Мне понравился. Он говорил смело и просто, в его тяжелом лице читалось упрямство и воля. Этот человек знал, чего стоит человеческая жизнь, и имел вид осужденного на смерть, но гордого и непримиряющегося преступника, который уж не пойдет к попу за утешением! У Меня даже мелькнула догадка: у Моего Отца много побочных детей, лишенных наследства и праздно болтающихся по свету – не один ли из этих скитальцев и Фома Магнус? И неужели Я на этой земле встречу – брата? Очень интересно. Но и с чисто человеческой, деловой точки зрения нельзя не уважать человека, у которого руки в крови!

Я отсалютовал шпагой, переменял позицию и самым скромным образом попросил Магнуса разрешения изредка приезжать к нему за советом. Он несколько мгновений колебался, но потом очень прямо взглянул на Меня и выразил согласие.

– Хорошо, м-р Вандергуд, приезжайте. Я надеюсь услышать от вас много интересного, что отчасти заменит мне мои книги. И м-р Топпи очень понравился моей Марии...

– Топпи?!

– Да. Она нашла в нем сходство с каким-то из святых; Мария часто посещает церковь, м-р Вандергуд.

Топпи – святой?! Или это походный молитвенник перевесил его широкий зад и рыбью кость в горле? А Магнус смотрел на Меня почти нежно, и лишь его тонкий нос слегка вздрагивал от сдержанного смеха... приятно, что за такой суровой внешностью скрывается столько тихого веселья!

Уже вечерело, когда мы уехали. Провожал нас только Магнус, Мария более не выходила. Белый домик за кипарисами был, как и вчера, тих и безмолвен, но теперь эта тишина показалась Мне иною: ею была душа Марии.

Скажу правду, Мне было грустно уезжать, но вскоре другие впечатления охватили и рассеяли Меня: начинался Рим. Через какой-то пролом в толстой стене мы въехали на освещенные людные улицы, и первое, что Я увидел в Вечном городе, был вагон трамвая, со скрипом и стоном пролезавший в ту же стену. Топпи, уже знакомый с Римом, блаженно внюхивался в каждую темную громаду церкви и своим длинным пальцем показывал Мне остатки старого Рима, влипшие в огромные и гладкие стены новых домов: как будто настоящее бомбардировали снарядами прошлого и они застряли в кирпиче.

Кое-где темнели целые кучи этого старья. Через низенький каменный парапет мы увидели какую-то темную неглубокую яму и толстые триумфальные ворота, до колен ушедшие в землю. «Форум!» – торжественно возгласил Топпи, и извозчик на козлах поспешно и одобрительно закивал головой в помятой шляпе. С каждой новой грудой старого кирпича и щебня мой чудака преисполнялся все большей важностью, а Я жалел о моем высоком Нью-Йорке и рассчитывал, сколько нужно обыкновенных мусорных телег, чтобы к утру вывезти вон весь старый Рим. Когда Я сказал об этом Топпи, он обиделся и угрюмо возразил:

– Вы ничего не понимаете. Лучше закройте глаза и только думайте, что вы в Риме.

Я так и сделал и еще раз убедился, что зрение большая помеха для ума, как и слух: недаром на земле

мудрецы слепы, а лучшие музыканты глухи. В Мой нос, когда Я, подобно Топпи, стал внюхиваться в воздух, вошло гораздо больше Рима и его ужасно длинной и крайне занимательной истории: так старый гниющий лист в лесу пахнет сильнее и крепче, чем молодая зеленая листва. Поверишь ли: в одном месте Я ощутил явственный запах Нерона и крови? А когда Я в восторге открыл глаза, Я увидел обыкновенный газетный киоск и будку с лимонадом!

– Ну как? – проворчал Топпи, все еще недовольный.

– Пахнет.

– Ну да, конечно, пахнет! И с каждым часом будет пахнуть все сильнее: это старые, крепкие духи, м-р Вандергуд.

И точно: пахло все крепче и... – не могу найти сравнения! – все частицы Моего мозга зашевелились и тихо жужжали, как пчелы, разбуженные дымом. Странно, но в архиве этого нелепого Вандергуда, кажется, есть и Рим: уж не отсюда ли он родом? По крайней мере, на какой-то шумной площади Я ощутил явный запах родственников, а вскоре я получил твердое убеждение, что по этим улицам Я уже ходил когда-то сам. Уж не случилось ли Мне и раньше вочеловечиваться, как и Топпи? Все громче жужжали пчелы, весь мой улей гудел – и вдруг тысячи лиц, смуглых и белых, красивых и страшных, завертелись передо Мною, – вдруг тысячи тысяч голосов, шумов, криков, смеха и стонов оглушили Меня. Нет, это уже не был улей: это была огромная огненная кузница, в которой тяжкие молоты ковали оружие и разбрасывали красные искры. Железо!

Конечно, если Я уже раньше жил в Риме, то Я был одним из его императоров. Я помню выражение моего лица, Я помню движение моей голой шеи, когда Я поворачиваю голову и смотрю, Я помню прикосновение золотого венка к моему плешивому темени... Железо! Это шаги железных римских легионов, это их железный голос:

– Vivat Caesar!

Но мне становится все жарче. Я горю. Или я не был императором, а лишь одной из «жертв» пожара, когда горел Рим по великолепному замыслу Нерона? Нет, это не пожар – это костер, на котором стою Я. Слышу, как змейками шипят язычки огня у Моих ног. Помню, как, напрягаясь, вытягивается вперед Моя жилистая шея и в гортани нарастает последний крик проклятия... или благословения? Подумай: Я помню даже ту римскую рожу в первом ряду зрителей, которая еще тогда не давала Мне покоя своим идиотским выражением и сонными глазами: Меня жгут, а он спит!

– Отель «Интернациональ», – возгласил Топпи, и Я открыл глаза.

Мы поднимались в гору по тихой улице, и в конце ее сиял огнями огромный дом, достойный, пожалуй, даже Нью-Йорка: это был отель, в котором еще давно по телеграфу для Меня было заказано помещение. Вероятно, там считали нас погибшими при катастрофе. Мой костер погас, Мне стало весело, как негру, удравшему от работы, и Я шепнул Топпи:

– Ну, Топпи, а как... Мадонна?

– Д-да, интересно. Я сразу даже испугался и подавился...

– Костью? Ты глуп, Топпи: она вежлива и не узнала тебя, просто приняла тебя за одного из своих знакомых святых. Но как жаль, старина, что мы выбрали для себя такие унылые американские рожи: ведь, поискав хорошенько, мы могли бы вочеловечиться в красавцев!

– Я своею доволен, – угрюмо сказал Топпи и отвернулся, и на его уныло свисшем глянцевитом носу мелькнул отблеск тайного самодовольства... ах, Топпи! Ах, святой!

Но нас уже восторженно встречали.

14 февраля,

Рим, отель «Интернациональ»

Я не хочу ехать к Магнусу, Я слишком много думаю о нем и о его Мадонне из мяса и костей. Я пришел сюда, чтобы весело лгать и играть, и Мне вовсе не нравится быть тем бездарным актериком, что горько плачет за кулисами, а на сцену выходит с сухими глазами, И просто Мне некогда разъезжать по пустырям и ловить там бабочек, как мальчику с сеткой!

Весь Рим шумит вокруг Меня. Я необыкновенный человек, который любит людей, и Я знаменит, ко Мне текут на поклонение не меньшие толпы, чем к самому наместнику Христа. Два Папы сразу... Да, счастливый Рим не может назваться сиротою! Сейчас Я живу в отеле, где все стонет от восторга, когда Я выставлю на ночь ботинки, но для Меня уже реставрируется и отделявается дворец: историческая вилла Орсини. Художники, скульпторы и поэты. Один мазилка уже пишет с Меня портрет, уверяя, что Я напоминаю ему одного из Меддичисов, остальные мазилки острят кисти, чтобы насмерть проткнуть его.

Я спрашиваю его:

– А вы можете написать Мадонну?

Конечно, он может. Это он, если синьор помнит, написал того знаменитого турка на коробке с сигарами, который известен даже в Америке. Если синьор желает... Теперь уже три мазилки пишут Мне Мадонну, остальные бегают по Риму и ищут оригинал, «натуру», как они выражаются. Одному я сказал с самым грубым, варварским, американским непониманием задач высокого искусства:

– Но если вы найдете такую натуру, синьор художник, то просто приведите ее ко мне. Зачем тратить краски и полотно?

Он даже скорчился от невыносимой боли и еле пробормотал:

– Ах, синьор!.. Натуру?!

Кажется, он принял Меня за торговца или покупателя «живого товара». Но, глупый, зачем Мне твое посредничество, за которое Я должен платить комиссионные, когда в Моих передних целая витрина римских красавиц? Они все обожают Меня. Им Я напоминаю Савонаролу, и каждый темный угол в гостиной с мягкой софой они стремятся немедленно превратить в... исповедальню. Мне нравится, что эти знатные дамы, как и художники, так хорошо знают отечественную историю и сразу догадываются, кто Я.

Радость римских газет, узнавших, что Я не погиб при катастрофе и не потерял ни ноги, ни миллиардов, равнялась радости иерусалимских газет в день неожиданного воскресения Христа... впрочем, у тех было меньше основания радоваться, насколько Я помню историю. Я боялся, что напомню журналистам Ю. Цезаря, но, к счастью, они мало думают о прошлом, и все ограничилось только Моим сходством с президентом Вильсоном... Мошенники, они льстили Моему американскому патриотизму! Однако большинству Я напоминаю пророка, но какого, они скромно умалчивают, во всяком случае только не Магомета: Мое отвращение к браку известно во всех телеграфных конторах.

Трудно представить ту дрянь, которой Я кормлю моих голодных интервьюеров. Как опытный свиновод, Я с ужасом смотрю на эту ядовитую бурду, но они едят – и живы, хотя это правда – не толстеют нисколько! Вчера, в чудесное утро, Я летал на аэроплане над Римом и Кампаньей... Ты хочешь спросить, видел ли я домик Марии? Нет. Я его не нашел: как можно найти песчинку среди других песчинок, хотя бы эта единственная песчинка и... Впрочем, Я и не искал: Мне просто было страшно на этой высоте.

Но Мои славные интервьюеры, перебивавшие внизу ногами от нетерпения, были поражены моим мужеством и хладнокровием. Один здоровенный и сердитый бородач, напомнивший Мне Ганнибала, первый овладел Мною и спросил:

– Не правда ли, м-р Вандергуд, – сознание, что вы парите в воздухе и завоевали эту непокорную стихию, наполнило вас чувством гордости за человека, который завоевал...

Он повторил сначала, чтобы Я лучше запомнил: они все, кажется, не особенно доверяют Моему уму и подсказывают приличные ответы. Но Я развел руками и горестно воскликнул:

– Представьте, синьор, нет! Я раз только испытал чувство гордости за человека, и это было... в уборной парохода «Атлантик».

– О!! В уборной! Но что же случилось? Буря, и вы были поражены гением человека, который завоевал...

– Особенного ничего не случилось. Но я был поражен гением человека, который из такой отвратительной необходимости, как уборная, сумел сделать истинный дворец!

– О?!

– Истинный храм, в котором вы первосвященник!

– Позвольте записать? Это такой... такое оригинальное освещение вопроса...

А сегодня это кушал весь Вечный город. И Меня не только не выслали из города, но как раз сегодня Мне были сделаны первые официальные визиты: что-то вроде министра, или посла, или другого придворного повара долго посыпало Меня сахаром и корицей, как пудинг. Сегодня же Я возвратил визиты: эти вещи неприятно задерживать у себя.

Надо ли говорить, что у Меня уже есть племянник? У каждого американца в Европе есть племянник, и Мой не хуже других. Его также зовут Вандергудом, он служит в каком-то посольстве, очень приличен, и его плешивое темя так напояжено, что мой поцелуй мог бы стать целым завтраком, если бы я любил пахучее сало. Но надо кое-чем и жертвовать, и особенно обонянием. Мне поцелуй не стоит ни цента, а молодому человеку он открыл широкий кредит на новые духи и мыло.

Но довольно! Когда Я смотрю на этих джентльменов и леди и припоминаю, что они были такими еще при дворе Ашурбанипала и что все две тысячи лет серебреники Иуды продолжают приносить проценты, как и его поцелуй, – Мне становится скучным участвовать в старой и заезженной пьесе. Ах, Я хочу великой игры, где само солнце было бы рампой, Я ищу свежести и таланта, Мне нужна красивая линия и смелый излом, а с этой трупой Я веселюсь не больше старого капельдинера. Или это только статисты? Но порою Мне начинает казаться, что решительно не стоило для этого предпринимать такое далекое путешествие и менять... старый пышный, красочный ад на его дряннейшую репродукцию. Как жаль, говоря правду, что Магнус и его Мадонна не хотят немного поиграть со Мною... мы бы поиграли немножко... совсем немного!

Лишь одно утро Мне удалось провести с интересом и даже в волнении. Какая-то «свободная» церковка, собрание очень серьезных дам и мужчин, желающих верить по-своему, пригласила Меня прочесть воскресную проповедь. Я надел черный сюртук, в котором Я напоминаю... Топпи, и проделал перед зеркалом несколько особенно выразительных жестов и выражений лица, потом в автомобиле, как пророк-модерн, примчался в собрание. Темой Моей, или «текстом», было обращение Иисуса к богатому юноше с предложением раздать все свое имение нищим – и в полчаса, как дважды два четыре, Я доказал, что любовь к ближним наилучшее помещение для капитала. Как практичный и осторожный американец, Я указал, что нет надобности хвататься за целое Царство Небесное и сразу бросать весь капитал, а можно небольшими взносами и рассрочкой приобретать в нем участки – «сухой, на высокой горе, с дивным видом

на окрестности». Лица верующих приобрели сосредоточенное выражение: видимо, они вычисляли – и сразу прояснились: Царство Божие на этих условиях приходилось каждому по карману. К несчастью, в собрании присутствовало несколько слишком сообразительных Моих соотечественников, и один уже поднялся, чтобы предложить акционерную компанию... целым фонтаном чувствительности Я с трудом загасил его религиозно-практический жар! О чем Я не говорил? Я ныл о моем грустном детстве, проведенном в труде и лишениях. Я завывал о Моем бедном отце, погибшем на спичечной фабрике, Я тихо скулил о всех моих братьях и сестрах во Христе, и здесь мы развели такое болото, что журналисты запаслись утками на полгода. Как мы плакали!

Дрожь прохватила Меня от сырости, и решительным жестом Я хватил в барабан моих миллиардов: дум-дум! Все для людей, ни одного цента себе: дум-дум! С наглостью, достойной палок, Я закончил «словами незабвенного Учителя»:

– Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас!

Ах, как жаль, что Я лишен возможности творить чудеса! Маленькое и практическое чудо, вроде превращения воды в графинах в кисленькое кианти или нескольких слушателей в паштеты, было совсем не лишним в эту минуту... Ты смеешься или негодуешь, Мой земной читатель? Не надо ни того, ни другого. Помни, что необыкновенное невыразимо на твоём чревоуказательском языке, и Мои слова только проклятая маска моих мыслей.

Мария!

О моем успехе прочти в газетах. Но один шут несколько испортил Мне настроение: это был член Армии Спасения, предложивший Мне немедленно взять трубу и вести Армию в бой... это были слишком дешевые лавры, и Я выгнал его и его Армию вон. Но Топпи!.. Всю дорогу домой он торжественно молчал и, наконец, сказал Мне угрюмо и почтительно:

– Сегодня вы были в большом ударе, м-р Вандергуд. Я даже заплакал. Жаль, что вас не слышал Магнус и его дочь... та, понимаете? Она изменила бы о нас свое мнение.

Ты понимаешь, что Мне искренне захотелось выбросить неудачного поклонника из кареты! Я снова почувствовал в своем зрачке всепроникающий взгляд Ее очей – и буфетчик в баре не открывает так быстро коробку с консервами, как снова Я был вскрыт, разложен на тарелке и предложен вниманию всей публики, наполнявшей улицу. Я нахлобучил цилиндр, поднял воротник и, напоминая с треском провалившегося трагика, молча, не отвечая на поклоны, удалился в свои апартаменты. Как я мог отвечать на поклоны, когда со Мною не было трости?

Я отклонил все сегодняшние приглашения и вечер сижу дома: Я «занят религиозными размышлениями, – так придумал сам Топпи, начавший, кажется, уважать Меня. Передо мною виски и шампанское. Я неторопливо нализываюсь и слушаю отдаленную музыку из обеденного зала, там сегодня какой-то знаменитый концерт. По-видимому, Мой Вандергуд был изрядным пьяницей и каждый вечер тащит Меня в кабак, на что Я соглашаюсь. Не все ли равно?

К счастью, его хмель веселого свойства, а не мрачного, и мы проводим часы недурно.

Сперва мы тупыми глазами осматриваем обстановку и нехотя соображаем, сколько все это – бронза, ковры, венецианские зеркала и прочее – может стоить? Пустяки! – решаем мы и самодовольно погружаемся в созерцание наших миллиардов, нашей силы и нашего замечательного ума и характера. С каждой рюмкой наше блаженство все полнее и ярче. С наслаждением мы купаемся в дешевой роскоши отеля, и – подумай! – Я уже действительно начинаю любить бронзу, ковры, стекло и камни. Мой пуританин Топпи осуждает роскошь, она напоминает ему Содом и Гоморру, но Мне уже трудно было бы расстаться с этими маленькими чувственными удовольствиями... как глупо, подумай!

Дальше мы тупо и самодовольно слушаем музыку и не в тон подпеваем незнакомым вещам. Маленькое назидательное размышление о декольте дам, если они есть, и слишком твердыми ногами мы наконец идем в опочивальню. Но что иногда случается со Мною?

Вот сейчас... мы уже собирались спать, как вдруг какой-то неосторожный удар смычка, и Я мгновенно весь наполняюсь вихрем бурных слез, любви и какой тоски! Необыкновенное становится выразимым, Я широк, как пространство, Я глубок, как вечность, и в едином дыхании Моем Я вмещаю все! Но какая тоска! Но какая любовь! Мария!

Но ведь Я только подземное озеро в животе Вандергуда, и Мои бури нисколько не колеблют его твердой поступи. Но ведь Я лишь солитер в его желудке, от которого он тщетно ищет лекарства! Мы звоним и приказываем камерьере:

– Соды!

Я просто пьян. А риведерчи, синьор, буона notte![\[1\]](#)

18 февраля 1914 г.

Рим, отель «Интернациональ»

Вчера я был у Магнуса. Он довольно-таки долго заставил Меня ждать в саду и вышел с таким видом холодного равнодушия, что Мне сразу захотелось уехать. В черной бороде я заметил несколько седых волос, которых не видел раньше. Или Мария нездорова? Я обеспокоился. Здесь все так непрочно, что, расставшись с человеком на час, можешь потом разыскивать его в вечности.

– Мария здорова, благодарю вас, – холодно ответил Магнус, и в глазах его мелькнуло удивление, как будто Мой вопрос был дерзостью или неприличием. – А как ваши дела, м-р Вандергуд? Римские газеты полны вами, вы имеете успех.

С горечью, усиленной отсутствием Марии, Я поведал Магнусу о Моем разочаровании и скуке. Я говорил недурно, не без сарказма и остроумия: Меня все более раздражали невнимание и скука, всеми буквами написанные на утомленном и бледном лице Магнуса. Он ни разу не улыбнулся, не переспросил Меня, а когда Я дошел до Моего «племянника» Вандергуда, он брезгливо поморщился и нехотя вымолвил:

– Фи! Но ведь это простой фарс из «Варьете». Как вы можете заниматься такими пустяками, м-р Вандергуд?

Я горячо возразил:

– Но ведь это не Я занимаюсь, синьор Магнус!

– А интервьюеры? А этот ваш полет? Вы должны их гнать, м-р Вандергуд, это унижает... ваши три миллиарда. Это правда, что вы читали какую-то проповедь?

Воодушевление игры покинуло Меня. Нехотя, как нехотя слушал Магнус, Я рассказал ему о проповеди и этих серьезно верующих, которые глотают кощунство, как мармелад.

– А разве вы ожидали чего-нибудь другого, м-р Вандергуд?

– Я ожидал, что меня побьют палками за наглость. Когда Я кощунственно пародировал эти красивые слова Евангелия...

– Да, это красивые слова, – согласился Магнус. – Но разве вы до сих пор не знали, что всякое богослужение и всякая ихняя вера кощунство? Если простая облатка у них называется телом Христовым, а какой-нибудь Сикст или Пий спокойно и с доброго согласия всех католиков зовет себя Наместником Христа, то отчего же и вам, американцу из Иллинойса, не быть его... хотя бы губернатором? Это не кощунство, м-р Вандергуд, это просто аллегории, необходимые для грубых голов, и вы напрасно расточаете ваш гнев. Но когда же вы приступите к делу?

С хорошо сделанной грустью Я развел руками:

– Я хочу делать, но Я не знаю, что делать. Вероятно, не приступлю до тех пор, пока вы, Магнус, не решитесь оказать мне помощь.

Он хмуро взглянул на свои большие, неподвижные, белые руки, потом на Меня:

– Вы слишком доверчивы, м-р Вандергуд, это большой недостаток... при трех миллиардах. Нет, я для вас не гожусь. У нас разные дороги.

– Но, дорогой Магнус!..

Мне показалось, что он ударит Меня за это нежнейшее «дорогой», которое Я пропел наилучшим фальцетом. Но раз дело доходит до бокса, то отчего не говорить дальше? Со всею сладостью, какая скопилась у Меня в Риме, Я посмотрел на хмурую физиономию Моего друга и еще более нежным фальцетом пропел:

– А какой вы национальности, дорогой... синьор Магнус? Мне почему-то кажется, что вы не итальянец.

Он равнодушно ответил:

– Да, я не итальянец.

– Но ваше отечество...

– Мое отечество?... *omne solum liberum libero patria*. – Вы, вероятно, не знаете латыни? Это значит, м-р Вандергуд: всякая свобода – отечество для свободного человека. Не хотите ли позавтракать со мною?

Приглашение было сделано таким ледяным тоном и отсутствие Марии было так густо подчеркнуто, что Я был вынужден вежливо отказаться. Черт его возьми, этого человечка!

Мне было вовсе не весело в то утро. Мне искренне хотелось дружески поплакать в его жилет, а он на корню сушил все Мои благородные порывы. Вздыхнув и сделав лицо содержательным, как уголовный роман, Я перешел на другую роль, приготовленную, собственно, для Марии, – понизив голос, Я сказал:

– Хочу быть откровенным с вами, синьор Магнус. В Моем... прошлом есть темные страницы, которые я хотел бы искупить. Я...

Он быстро перебил Меня:

– Во всяком прошлом есть темные страницы, м-р Вандергуд, и я сам не настолько безупречен, чтобы принять исповедь такого достойного джентльмена. Я плохой духовник, – добавил он с самой неприятной усмешкой, – я не прощаю кающихся, а при этом условии где же сладость исповеди? Лучше расскажите мне что-нибудь еще о... вашем племяннике. Он молод?

Мы поговорили о племяннике, и Магнус вежливо улыбался. Потом мы помолчали. Потом Магнус спросил, был ли Я в Ватиканской галерее, – и Я откланялся, передав мой привет синьорине Марии. Признаться, Я имел довольно жалкий вид и почувствовал живейшую благодарность к Магнусу, когда он сказал на прощанье:

– Не сердитесь на меня, м-р Вандергуд. Я несколько нездоров сегодня и... немного озабочен своими делами. Просто некоторый припадок мизантропии. В другой раз надеюсь быть более приятным собеседником, а за сегодняшнее утро извините. Я передам ваш привет Марии.

Если этот чернобородый молодец играл, то надо признаться, Я нашел достойного партнера! Дюжина негритянских ребят не могла бы слизать с Моего лица той патоки, которую вызвало на нем одно только скупое обещание Магнуса – передать мой привет Марии. До самого отеля Я идиотски улыбался кожаной спине моего шофера и осчастливил Топпи поцелуем в темя; каналья все еще пахнет мехом, как молодой чертенок!

– Вижу, что вы съездили недаром, – многозначительно сказал Топпи. – Как поживает та... дочь Магнуса, вы понимаете?

– Прекрасно, Топпи, прекрасно. Она нашла, что я напоминаю красотой и мудростью царя Соломона!

Топпи благосклонно ухмыльнулся на мою неудачную остроуту, а с Меня сразу сползла вся патока, и сахар заменился уксусом и желчью. Я заперся у себя и на долгое время предался холодному гневу на Сатану, который влюбляется в женщину.

Когда ты влюбляешься в женщину, Мой земной товарищ, и тебя начинает трясти лихорадка любви, ты считаешь себя оригинальным? А Я нет. Я вижу все легионы пар, начиная с Адама и Евы, Я вижу их поцелуи и ласки, слышу их слова, проклятые проклятием однообразия, и Мне становится ненавистным Мой рот, смеющийся шептать чужие шепоты, Мои глаза, повторяющие чужие взоры, Мое сердце, покорно поддающееся дешевому заводному ключу. Я вижу всех спарившихся животных в их мычании и ласках, проклятых проклятием однообразия, и Мне становится омерзительной эта податливая масса Моих костей, мяса и нервов, это проклятое тесто для всех. Берегись, Вочеловечившийся, на Тебя надвигается обман!

Не хочешь ли взять себе Марию, земной товарищ? Возьми ее. Она твоя, а не Моя. Ах, если бы Мария была Моей рабыней, Я надел бы ей веревку на шею и, нагую, вывел бы на базар: кто покупает? Кто даст Мне больше за неземную красоту? Ах, не обижайте бедного слепого торговца: шире раскрывайте кошельки, громче звените золотом, щедрые господа!..

Что, она не хочет идти? Не бойся, господин, она пойдет и будет любить тебя... это просто девичий стыд, господин!

Вот Я подстегну ее этим концом веревки – хочешь, Я доведу ее до твоей опочивальни, до самого твоего ложа, добрый господин? Возьми ее с веревкой, веревку Я отдаю даром, но избавь Меня от небесной красоты! У нее лицо пресветлой Мадонны, она дочь почтеннейшего Фомы Магнуса, и они оба украли: один свое имя и белые руки, другая – свой пречистый лик! Ах!..

Но, кажется, Я начинаю играть уже с тобой, Мой дорогой читатель? Это ошибка: Я просто взял не ту тетрадку. Нет, это не ошибка, это хуже. Я играю оттого, что мое одиночество очень велико, очень глубоко, – боюсь, что оно не имеет дна совсем! Я становлюсь на край пропасти и бросаю туда слова, множество тяжелых слов, но они падают без звука. Я бросаю туда смех, угрозы и рыдания. Я плюю в нее, Я свергаю в нее груды камней, глыбы утесов, Я низвергаю в нее горы – а там все пусто и глухо. Нет, положительно, у этой пропасти нет дна, товарищ, и мы напрасно трудимся с тобой и потеем!

...Но я вижу твою улыбку и твое хитрое подмаргиванье: ты понял, почему Я так кисло заговорил об одиночестве... ах, эта любовь! И ты хочешь спросить: есть ли у меня любовницы?

Есть. Две. Одна русская графиня, другая итальянская графиня. Они различаются духами, но это такая несущественная разница, что Я одинаково люблю обеих.

Ты еще хочешь спросить, поеду ли Я к Фоме Магнусу?

Да, Я поеду к Фоме Магнусу, Я очень люблю его. Это пустяки, что у него вымышленное имя и что дочь его имеет дерзость походить на Мадонну. Я сам недостаточно Вандергуд, для того чтобы быть особенно придирчивым к именам, – и Я сам слишком вочеловечился, чтобы не простить другому попытки обожествиться.

Клянусь вечным спасением, одно вполне стоит другого!

1 февраля 1914 г.

Рим, вилла Орсини

Меня посетил кардинал Х., ближайший друг и наперсник папы и, как говорят, его наиболее вероятный преемник. Его сопровождали два аббата, и, вообще, это очень важная особа, визит которой приносит Мне немалую честь.

Я встретил его преосвященство в приемной Моего нового дворца и успел заметить, как нырял Топпи под руками священников и кардинала, срывая благословения быстрее, чем ловелас поцелуи у красоток. Шесть благочестивых рук едва успевали справиться с одним Чертом, которым овладело благочестие, и уже на пороге в Мой кабинет он еще раз успел ткнуться в живот кардиналу. Экстаз!

Кардинал Х. говорит на всех европейских языках и, из уважения к звездному флагу и миллиардам, наш разговор вел по-английски. Начался разговор с того, что его преосвященство поздравил Меня с приобретением виллы Орсини, во всех подробностях за двести лет рассказал Мне историю Моего жилища. Это было неожиданно, очень длинно, местами не совсем понятно и заставило Меня, как истинного американского осла, уныло хлопать ушами... но зато Я хорошо рассмотрел Моего важного и слишком ученого посетителя.

Он еще совсем не стар, широк в плечах, приземист и, видимо, вообще крепкого телосложения и здоровья. Лицо у него крупное и почти квадратное; слегка оливковый цвет и густая синева на бритых местах, такие же смуглые, но очень тонкие и красивые руки свидетельствуют о его испанской крови, – до того, как посвятить себя Богу, кардинал Х. был испанским грандом и герцогом. Но черные глаза очень малы и слишком глубоко посажены под густые брови, но расстояние между коротким носом и тонкими губами слишком велико... и Мне это напоминает кого-то. Но кого? И что это за странная манера непременно кого-нибудь напоминать? Какого-нибудь святого, конечно?

На мгновение кардинал задумался, и вдруг Я ясно вспомнил: да это просто старая обезьяна! Это ее торжественно-печальная бездонная задумчивость, это ее злой огонек в узеньком зрачке! Но уже в следующее мгновение кардинал смеялся, играл лицом и жестами, как неаполитанский лаццароне, – он не рассказывал Мне историю дворца, он играл, он представлял ее в лицах и драматических монологах! У него короткие, совсем не обезьяньи ручки, и, когда он взмахивает ими, он похож скорее на пингвина, а голос его напоминает говорящего попугая, – кто же ты, наконец?

Нет, обезьяна! Вот он снова засмеялся, и Я вижу, что он не умеет смеяться. Словно только вчера он научился этому человеческому искусству, очень любит смех, но каждый раз с трудом находит его в своей неприспособленной гортани, давится звуками, кудяхтает, почти стонет. Нельзя не вторить этому странному смеху, он заразителен, но уже скоро начинает ломить челюсти, зубы и мускулы деревенеют.

Это было замечательно, Я положительно увлекся созерцанием, когда кардинал Х. внезапно оборвал свою лекцию о вилле Орсини припадком стонущего смеха и спокойно замолчал. Перебирал четки тонкими пальцами, спокойно молчал и смотрел на Меня с выражением глубочайшей преданности и нежнейшей любви: что-то вроде слез засветилось в его черных глазках – так Я ему нравился, так он любил Меня! Сбитый с мысли внезапной остановкой, когда поезд гнал под уклон, Я тоже молчал и – что же делать! – также нежно смотрел на его квадратное обезьянье лицо. Нежность переходила в любовь, любовь становилась страстью, а мы все молчали... еще мгновение, и мы задушим друг друга в объятьях!

– Вот вы и в Риме, м-р Вандергуд, – сладко пропела старая обезьяна, не меняя своего любовного

взора.

– Вот я и в Риме, – покорно согласился Я, продолжая смотреть с тою же греховной страстью.

– А вы знаете, м-р Вандергуд, зачем я к вам приехал? – кроме, конечно, удовольствия познакомиться и т. д.?

Я подумал и с тем же пылким взглядом ответил:

– За деньгами, ваше преосвященство?

Кардинал коротко взмахнул крылышками, засмеялся, похлопал себя по коленке и снова застыл в любовном созерцании Моего носа. Это немое обожание, на которое Я отвечал удвоенной страстью, начало приводить Меня в очень странное состояние. Я нарочно рассказываю тебе так подробно, чтобы ты понял Мое желание в эту минуту пойти колесом, запеть петухом, рассказать наилучший арканзасский анекдот или попросту предложить его преосвященству снять сутану и дружески поиграть в чехарду!

– Ваше преосвященство...

– Я очень люблю американцев, м-р Вандергуд.

– Ваше преосвященство! В Арканзасе рассказывают...

– Но вы хотите скорее к делу? Я понимаю ваше нетерпение – денежные дела любят поспешность, не так ли?

– Смотря по тому, на каком стуле вы сидите, ваше преосвященство.

Квадратное лицо кардинала стало серьезным, и в глазах мелькнул любовный укор:

– Не гневайтесь на мое увлечение, м-р Вандергуд. Я так люблю историю нашего великого города, что не мог отказать себе в удовольствии... Разве то, что вы видите теперь, есть Рим? Рима нет, м-р Вандергуд. Когда-то это было вечным городом, а теперь это лишь большой город, и чем он больше, тем он дальше от вечности. Где тот великий Дух, который осенял его?

Я не стану передавать тебе всей болтовни фиолетового попугая, его нежно-каннибальских взглядов, крикляний и смеха. Вот что сказала Мне старая бритая обезьяна, когда наконец уgomонилась:

– Ваше несчастье в том, м-р Вандергуд, что вы слишком любите людей...

– Возлюби ближнего...

– Ну и пусть ближние любят друг друга, учите их этому, внушайте, приказывайте, но зачем это вам? Когда слишком любят, то не замечают недостатков любимого предмета, и еще хуже: их охотно возводят в достоинства. Как же вы будете исправлять людей, делать их счастливыми, не зная их недостатков, пороки принимая за добродетели? Когда любят, то и жалеют, а жалость убивает силу. Видите, я вполне откровенен с вами, м-р Вандергуд, и еще раз скажу: любовь – это бессилие. Любовь вытащит у вас деньги из кармана и потратит их... на румяна! Предоставьте тем, кто на низу, любить друг друга, требуйте от них этого, но вы, вознесенный так высоко, одаренный таким могуществом!..

– Но что же мне делать, ваше преосвященство? Я теряюсь. С детства, и именно в церкви, мне твердили о необходимости любви, я поверил, и вот...

Кардинал задумался. Как и смех, задумчивость приходила к нему внезапно и сразу делала его квадратное лицо немым, скорбно-унылым и немного наивно-торжественным. Выпятив вперед и склеив свои тонкие губы, опершись подбородком на ладонь, он неподвижно уставил на Меня свои острые запавшие глаза, и в них была печаль. Он словно ждал окончания моей фразы и, не дождавшись, вздохнул и замигал глазами.

– Детство, да... – пробормотал он, все так же печально моргая, – дети, да. Но ведь теперь вы не дитя? Забудьте, вот и все. Чудесный дар забвения, знаете?

Он слегка оскалил белые зубы и многозначительно почесал нос тонким пальцем. И продолжал серьезно:

– Но это все равно, м-р Вандергуд, вы сами ничего сделать не можете... да, да! Надо знать людей, чтобы сделать их счастливыми, – ведь это ваша благородная задача? – а знает людей только Церковь. Она мать и воспитательница я течение многих тысяч лет, и ее опыт единственный и, могу сказать, непогрешимый. Насколько я знаком с вашей жизнью, вы опытный скотовод, м-р Вандергуд? И, конечно, вы знаете, что такое опыт даже по отношению к таким несложным существам, как...

– Как свиньи.

Он испуганно мигнул на Меня глазами – и вдруг залаял, закудаhtал, завыл: это он смеялся.

– Свиньи? Это очень хорошо, это великолепно, м-р Вандергуд, но не забудьте, что в них иногда вселяются бесы!

Покончив с своим смехом, он продолжал:

– Уча, мы учимся сами. Я не скажу, чтобы все методы воспитания и исправления, которые применяла Церковь, были одинаково удачны. Нет, мы часто ошибались, но каждая наша ошибка вела к упорядочению наших приемов... Мы совершенствуемся, м-р Вандергуд, мы совершенствуемся!

Я намекнул на быстрый рост рационализма, который в самом близком будущем грозит гибелью «усовершенствованной» церкви, но кардинал Х. снова замахал короткими обрубками крыльев и положительно завыл от смеха:

– Рационализм! Да у вас несомненный талант юмориста, м-р Вандергуд! Скажите, известный Марк Твен не ваш ли соотечественник?.. Да, да! Рационализм! А вы припоминаете, от какого слова это происходит и что значит ratio? An nescis, mi fili, quantilla sapientia regitur orbis?^[2] Ах, дорогой Вандергуд, говорить на этой земле о рацию еще более неуместно, нежели упоминать о веревке в доме повешенного!

Я смотрел на эту старую обезьяну, как она веселилась, и мне самому становилось весело. Я вглядывался в эту смесь мартышки, говорящего попугая, пингвина, лисицы, волка, – и что еще там есть? – и Мне самому стало смешно: Я люблю веселых самоубийц. Мы еще долго потешались над несчастным рацио, пока его преосвященство не успокоился и не перешел в наставительный тон:

– Как антисемитизм есть социализм дураков...

– А вы знакомы и?..

– Ведь мы же совершенствуемся!.. так и рационализм есть ум глупцов. Только безнадежный глупец останавливается на рацио, а умный идет дальше. Да и для отпетого глупца его рацио лишь праздничное платье, этот всеобщий пиджак, который он надевает для людей, а живет он, спит, работает, любит и умирает, воя от ужаса, без всякого рацио. Вы боитесь смерти, м-р Вандергуд?

Мне не хотелось отвечать, и Я промолчал.

– Напрасно стесняетесь, м-р Вандергуд: ее и следует бояться. А пока есть смерть...

Вдруг лицо бритой обезьяны стало плаксивым и в глазах выразились ужас и злоба: точно кто-нибудь схватил ее за шиворот и сразу бросил назад, в глушь, тьму и ужас первобытного леса. Он боялся смерти, и страх его был темен, зол и безграничен. И Мне не надо было слов и доказательств: достаточно было только взглянуть на это искаженное, помутневшее, потерянное лицо человека, чтобы низко и всеподданнейше поклониться Великому Иррациональному. Но какова сила ихней стадности: мой Вандергуд также

побледнел и скорчился... ах, мошенник! Теперь он просил защиты и помощи у Меня!

– Не хотите ли вина, ваше преосвященство?

Но преосвященство уже опомнилось. Оно скривило тонкие губы в улыбку и отрицательно помотало головой – по виду тяжеловатой таки. И вдруг воспрянуло с неожиданной силой:

– И пока есть смерть, Церковь незыблема! Качайте ее все, подкапывайтесь, валите, взрывайте – вам ее не повалить. А если бы это и случилось, то первыми под развалинами погибнете вы. Кто тогда защитит вас от смерти? Кто тогда даст вам сладкую веру в бессмертие, в вечную жизнь, в вечное блаженство?.. Поверьте, м-р Вандергуд, мир вовсе, вовсе не хочет вашего рации, это недоразумение!

– А чего же он хочет, ваше преосвященство?

– Чего он хочет? *Mundus vult decipi*... Вы знаете нашу латынь? Мир хочет быть обманут!

И старая обезьяна снова развеселилась, замигала, закривлялась, ударила себя по коленям и захлебнулась в стонущем смехе. Я тоже засмеялся: так потешен был этот старый шулер, раскладывающий пасьянс крапленными картами.

– И именно вы, – сказал Я, смеясь, – и хотите обмануть его?

Кардинал Х. стал снова серьезен и печально сказал:

– Святой престол нуждается в деньгах, м-р Вандергуд. Мир если и не стал рационалистом, то сделался недоверчивее, и с ним трудненько-таки ладить. – Он искренне вздохнул и продолжал: – Вы не социалист, м-р Вандергуд?.. Ах, не стесняйтесь, мы все теперь социалисты, мы теперь на стороне голодных. Пусть кушают побольше: чем они будут сытее, тем смерть, понимаете?..

Он широко, насколько мог, развел руки, изображая вершу, в которую бежит рыба, и оскалился:

– Ведь мы рыбаки, м-р Вандергуд, скромные рыбаки!.. А скажите: стремление к свободе вы почитаете пороком или добродетелью?

– Весь цивилизованный мир считает стремление к свободе добродетелью, – возмущенно отозвался Я.

– Я и не ожидал иного ответа от гражданина Соединенных Штатов. А вы лично не думаете ли, что тот, кто принесет человеку безграничную свободу, тот принесет ему и смерть! Ведь только смерть развязывает все земные узы, и не кажутся ли вам эти слова – свобода и смерть – простыми синонимами?

В этот раз старой обезьяне удалось довольно-таки ловко кольнуть меня под седьмое ребро. Я вспомнил Моего Вандергуда, справился с Моим счетчиком и уклончиво ответил:

– Я говорю о политической свободе.

– О политической? О, это пожалуйста! Это сколько угодно! Конечно... если они сами захотят ее. Захотят, вы уверены? О, тогда пожалуйста, сколько угодно! Это вздор и клевета, что Св. Престол всегда за реакцию, и как там... Я имел честь присутствовать на балконе Ватикана, когда Его Святейшество благословил первый французский аэроплан, показавшийся над Римом, а следующий папа – я убежден – с охотой благословит баррикады. Времена Галилеев прошли, м-р Вандергуд, и мы все теперь хорошо знаем, что Земля вращается!

Он повертел пальцами, изображая, как вращается Земля, и дружески подмигнул, давая и Мне долю в своей шулерской игре, Я с достоинством сказал:

– Позвольте Мне подумать о вашем предложении, ваше преосвященство.

Кардинал Х. быстро вскочил с кресла и нежно, двумя аристократическими пальцами, коснулся Моего плеча:

– О, я не тороплю вас, добрейший м-р Вандергуд, это вы меня торопили. Я даже уверен, что вначале вы откажете мне, но когда вы маленьким опытом убедитесь, что нужно для счастья человека... Ведь я и сам его люблю, м-р Вандергуд, правда, не так страстно и...

И с теми же кривляниями он удалился, торжественно волоча свою сутану и раздавая благословения. Но в Мое окно Я еще раз увидел его у подъезда, пока подавалась замедлившая карета: он что-то говорил вполоборота одному из своих аббатов, в его почтительно склоненную черную тарелку, и лицо его уже не напоминало старой обезьяны: скорее это было мордой бритого, голодного и утомленного льва. Этот талантливый малый не нуждался в уборной для грима! А позади него стоял высокий, весь в черном лакей, похожий на молодого английского баронета, и всякий раз, когда взор его преосвященства случайно скользил по его лицу и фигуре, он слегка приподнимал свой черный матовый цилиндр.

По отъезде его преосвященства Меня окружили радостной толпой Мои друзья, которыми Я, во избежание одиночества и скуки, набил задние комнаты Моего дворца. Топпи был горд и спокойно счастлив; он так насытился благословениями, что казался даже пополневшим. Художники, декораторы, реставраторы и как их там еще? – были польщены визитом кардинала и с чувством говорили о необыкновенной выразительности его лица, о величественности его манер: о, это гранде синьор! Сам папа... Но когда Я с наивностью краснокожего заметил, что Мне он напоминает старую бритую обезьяну, эти хитрые каналы разразились веселым смехом и кто-то быстро набросал превосходный портрет кардинала Х... в клетке. Я не моралист, чтобы судить людей за их маленькие грешки: им и так порядочно достанется на Страшном суде! И Мне искренне понравилась талантливость насмешливых бестий. Кажется, все они не особенно верят в Мою необыкновенную любовь к людям, и если покопаться в их рисунках, то можно, без сомнения, найти недурного Осла-Вандергуда, и это Мне нравится. С Моими маленькими и приятными грешниками Я слегка отдыхаю от большого и неприятного праведника... у которого руки в крови.

Потом Топпи спросил Меня:

– А сколько он просит?

– Все.

Топпи решительно сказал:

– Всего не давайте. Он обещал сделать меня пономарем, но все-таки много не давайте. Деньги надо беречь.

С Топпи каждый день случаются неприятные истории: его наделяют фальшивыми лирами. Когда это произошло с ним в первый раз, он имел вид крайнего смущения и покорно выслушал Мой строгий выговор:

– Ты Меня положительно удивляешь, Топпи, – строго сказал Я. – Такому старому Черту неприлично получать фальшивые бумажки от людей и оставаться в дураках. Стыдись, Топпи! И Я боюсь, что ты под конец простопустишь Меня с сумой.

Теперь Топпи, по-прежнему путаясь среди настоящего и поддельного, старается беречь то и другое: в денежных делах он щепетилен, и кардинал напрасно пытался подкупить его. Но Топпи пономарь!..

А бритой обезьяне очень хочется трех миллиардов; видно, у Св. Престола живот подвело не на шутку. Я долго всматривался в талантливую карикатуру, и она все меньше нравилась Мне; нет, это не то. Хорошо схвачено смешное, но нет того огонька злобы, который непрерывно пробегает под серым пеплом ужаса. Схвачено звериное и человеческое, но оно не слито в ту необыкновенную маску, которая теперь, на расстоянии, когда Я не вижу самого кардинала Х. и не слышу его трудного хохота, начинает крайне

неприятно волновать Меня. Или необыкновенное невыразимо и карандашом?

В сущности, он довольно дешевый мошенник, немного больше простого карманника, и ничего нового не сказал Мне; он не только человекоподобен, но и умоподобен, и оттого так яростен его презрительный смех над истинным рацио. Но он показал Мне себя, и... не обижайся на Мою американскую невежливость, читатель, где-то за его широкими плечами, вогнувшимися от страха, мелькнул и твой дорогой образ. Нечто вроде сна, понимаешь: как будто кто-то душил тебя и ты придушенным голосом кричал в небо: караул, стража! Ах, ты не знаешь третьего, что не есть ни жизнь, ни смерть, и Я понимаю, кто душил тебя своими костлявыми пальцами!

А Я разве знаю?

О, посмейся над насмешником, товарищ, кажется, наступает твоя очередь веселиться. А Я разве знаю? Из великих глубин Я пришел к тебе, веселый и ясный, одаренный знанием моего Бессмертия... и вот Я уже колеблюсь, и вот Я уже ощущаю трепет перед этой бритой обезьянней рожей, которая смеет так нагло-величаво выражать свой низкий страх. Ах, Я даже не продал моего Бессмертия: Я просто приспал его, как глупая мать до смерти присыпает своего грудного младенца, – оно просто вылиняло под твоим солнцем и дождями, – и оно стало прозрачной материей без рисунка, неспособной прикрыть наготы приличного джентльмена! Гнилое вандергудовское болото, в котором Я сижу до самых глаз, обволакивает Меня тиной, дурманит Мое сознание своими ядовитыми парами, душит нестерпимой вонью разложения. Когда ты начинаешь разлагаться, товарищ: на второй, на третий день или смотря по климату? А Я уже разлагаюсь, и Меня тошнит от запаха Моих внутренностей. Или ты только принюхался от времени и привычки и работу червей принимаешь просто – за подъем мыслей и вдохновения?

Боже мой, но Я забыл, что у Меня могут быть и прекрасные читательницы! Усердно прошу прощения, уважаемые леди, за это неуместное рассуждение о запахах. Я неприятный собеседник, миледи, и Я еще более скверный парфюмер... нет, еще хуже: Я отвратительная помесь Сатаны с американским медведем, и Я совсем не умею ценить вашей благосклонности...

Нет! Я еще Сатана! Я еще знаю, что Я бессмертен, и, когда повелит воля Моя, сам притяну к своему горлу костлявые пальцы. Но если Я забуду?

Тогда я раздам Мое имение нищим и с тобою, товарищ, поползу на поклонение к старой бритой обезьяне, прильну Моим американским лицом к ее туфле, от которой исходит благодать. Я буду плакать, Я буду вопить от ужаса: спаси Меня от Смерти! А старая обезьяна, тщательно удалив с лица все волосы, облекшись, сверкая, сияя, озаряя – и сама трясясь от злого ужаса, будет торопливо обманывать мир, который так хочет быть обманутым.

Но это шутки. Я хочу быть серьезен. Мне нравится кардинал Х., и Я позволю ему слегка позолотиться около Моих миллиардов. И Я устал. Надо спать. Меня уже поджидают Моя постель и Вандергуд. Я закрою свет и в темноте еще минуту буду слушать, как утомленно стучит Мой счетчик, а потом придет гениальный, но пьяный пианист и начнет барабанить по черным клавишам Моего мозга. Он все помнит и все забыл, этот гениальный пьяница, и вдохновенные пассажи мешает с икотой.

Это – сон.

II

22 февраля,

Рим, вилла Орсини

Магнуса не оказалось дома, и Меня приняла Мария. Великое спокойствие снизошло на Меня, великим спокойствием дышу Я сейчас. Как шхуна с опущенными парусами, Я дремлю в полуденном зное заснувшего океана. Ни шороха, ни всплеска. Я боюсь шевельнуться и шире открыть солнечно-слепые глаза, Я боюсь, неосторожно вздохнув, поднять легкую рябь на безграничной глади. И Я тихо кладу перо.

23 февраля, вилла Орсини

Фомы Магнуса не оказалось дома, и Меня, поразив неожиданностью, приняла Мария.

Право, это неинтересно, как Я кланялся и что Я там бормотал в первые минуты. Скажу, пожалуй, что Я бормотал несколько невнятное, чем мог бы, и что Мне ужасно хотелось смеяться. Я долго не поднимал глаз на Марию, пока не передел свои мысли в чистое белье и не высморкал всех своих шаловливых детишек – как видишь, соображение не совсем покинуло Меня!

Но Я напрасно готовил этот плац-парад и тревожил вахмистра: того испытания не последовало. Взор Марии был прост и ясен, и не было в нем ни пронизывающей силы смертельного света, ни божественного допроса, ни убивающего всепрощения. Он был спокоен и ясен, как небо над Кампаньей, и – Я не знаю, как это случилось, – тою же ясностью озарилась и вся Моя преисподняя. Как смутные тени ночного смотра, всколыхнулись и уплыли Мои прекрасно построенные солдаты, и стало во Мне светло, пустынно и тихо, стало во Мне радостно радостью пустыни, где доселе не был человек. Милый, прости, что Я становлюсь поэтом, и поблагодари за нежное обращение: милый – это дар Марии, который она шлет через Меня!

Она встретила Меня в саду, и Мы сели у ограды, откуда так хорошо видна Кампанья. Когда смотришь на Кампанью, тогда можно и не болтать пустяков, не правда ли? Нет, это она смотрела на Кампанью, а Я смотрел в Ее глаза, где Я видел и Кампанью, и небо, и еще другое небо – вплоть до седьмого, где ты кончаешь счет всем твоим небесам, человеке. Мы молчали – или говорили, если ты хочешь считать разговором такие вопросы и ответы:

– Это горы синеют?

– Да, это синеют Альбанские горы. Там – Тиволи.

Потом она разыскивала маленькие, как крупинки, белые домики и показывала их Мне, и Я смотрел, и Мне казалось, что и там чувствуют внезапное спокойствие и радость от взора Марии. Подозрительное сходство Марии с Мадонной уже не тревожило Меня: как Я могу тревожиться, что ты похожа на тебя! И наступила минута, когда великое спокойствие снизошло на Меня. У Меня нет слов и сравнений, чтобы Я понятно рассказал тебе об этом великом и светлом покое... Мне все лезет в голову эта проклятая шхуна с опущенными парусами, на которой Я никогда не плавал, так как боюсь морской болезни! Не потому ли, что и в этот ночной час моего одиночества мой путь озаряет Звезда Морей! Ну да, Я был шхуной, если хочешь, а если не хочешь, то я был всем. Кроме того, Я был ничем. Видишь, какая это получается чепуха, когда Вандергуд ищет сравнений и слов?

Я так был спокоен, что вскоре перестал даже смотреть в глаза Марии: Я просто верил им, – это глубже, чем смотреть. Когда нужно будет, Я их найду, а пока буду шхуной с опущенными парусами, буду всем, буду ничем. Один раз только легонький ветерок колыхнул Мои паруса, да и то ненадолго: когда Мария указала на Тибуртинскую дорогу, белой ниткой рассекавшую зеленые холмы, и спросила: ездил ли Я по этой дороге?

– Да, неоднократно, синьорина.

– Я часто смотрю на эту дорогу и думаю, что по ней приятно мчаться в автомобиле. У вас быстрый автомобиль, синьор?

– О да, синьорина, очень быстрый! Но для тех, – продолжал Я с нежным укором, – для тех, кто сам

есть пространство и бесконечность, всякое движение излишне.

Мария – и автомобиль! Крылатый ангел, сажающийся в метрополитен для быстроты! Ласточка, седлающая черепаху! Стрела на горбатой спине носильщика тяжестей! Ах, все сравнения лгут: зачем ласточка и стрела, зачем самое быстрое движение для Марии, в которой заключены все пространства! Но это Я сейчас придумал про метро и черепаху, а тогда спокойствие Мое было так велико и блаженно, что не вмещало и не знало иных образов, кроме образа вечности и немеркнувшего света.

Великое спокойствие снизошло на Меня в тот день, и ничто не могло возмутить его бесконечной глади. Вероятно, мы были очень недолго с Марией, когда вернулся Фома Магнус и приветствовал Меня – и летающая рыба, на мгновение мелькнувшая над океаном, не больше возмутит его синюю гладь, нежели сделал это Магнус. Я принял его в глубь себя, – Я спокойно проглотил его и ощутил так же мало тяжести в желудке, как кит, проглотивший селедку. Но мне было приятно, что Магнус приветлив и весел, что он так крепко жмет Мою руку и смотрит ясными и добрыми глазами. Даже лицо его показалось Мне менее бледным и утомленным, чем обычно.

Меня оставили завтракать... скажу заранее, чтобы ты не очень волновался, что я пробыл у них до поздней ночи. Когда Мария удалилась, Я рассказал Магнусу про посещение кардинала Х. Веселое лицо Магнуса слегка потемнело, и в глазах блеснул прежний враждебный огонек.

– Кардинал Х.? Он был у вас?

Я подробно передал нашу беседу с «бритой обезьяной» и скромно заметил, что он кажется Мне мошенником не из крупных. Магнус заметно поморщился и строго сказал:

– Вы напрасно смеетесь, м-р Вандергуд. Я давно знаю кардинала Х. и... слежу за ним. Это злой, жестокий и опасный деспот. Несмотря на свою смешную внешность, он коварен, беспощаден и мстителен, как Сатана!..

И ты, Магнус! Как Сатана! Этот синий бритый орангутанг, эта ляскающая горилла, эта мартышка, кривляющаяся перед зеркальцем! Но Я превозмог чувство оскорбления – оно пошло камнем на дно моего блаженства – и слушал дальше.

– Его заигрывания с социалистами, его шутки над Галилеем – ложь. Как враги повесили Кромвеля после его смерти, так и кардинал Х. с наслаждением сжег бы кости Галилея: вращение Земли он до сих пор переживает, как личное оскорбление. Это старая школа, м-р Вандергуд; для устранения препятствий на своем пути он не остановится перед ядом, перед убийством из-за угла, которое будет иметь все черты несчастной случайности. Вы улыбаетесь, но я не могу смотреть с улыбкой на Ватикан, пока есть в нем такие... а в нем всегда есть кто-нибудь, подобный кардиналу Х. Будьте настороже, м-р Вандергуд: вы попали в поле его зрения и его интересов, и теперь уже десятки глаз следят за вами... а может быть, и за мной. Берегитесь, мой друг!

Мне он показался даже взволнованным, и с неподдельным жаром Я потряс его руку.

– Ах, Магнус!.. Но когда же вы согласитесь помочь мне?

– Но ведь вам же известно, что я не люблю людей. Это вы их любите, м-р Вандергуд, но не я! – В глазах его мелькнула прежняя насмешливая улыбка.

– Кардинал говорит, что вовсе не надо любить людей, чтобы сделать их счастливыми... наоборот!

– А кто вам сказал, что я хочу делать людей счастливыми? Это опять вы хотите, но не я. Отдайте ваши миллиарды кардиналу Х., его рецепт счастья несколько не хуже других патентованных средств. Правда, его средство в одном отношении несколько неудобно: давая счастье, оно уничтожает людей... но разве это важно? Вы слишком деловой человек, м-р Вандергуд, и я вижу, что вы недостаточно знакомы с миром

наших изобретателей Наилучшего Средства Для Счастья Человечества: этих средств больше, нежели наилучшей мази для ращения волос. Я сам был фантазером и кое-что изобретал в молодости... так, немного химии... одним неудачным взрывом мне опалило даже волосы, и я очень радуюсь, что тогда не встретился с вашими миллиардами. Я шучу, м-р Вандергуд, но если хотите, то вот мой серьезный совет: растите и множьте ваших свиней, делайте из трех миллиардов четыре, продавайте не совсем гнилые консервы и оставьте заботы о счастье человечества. Пока мир будет любить хорошую ветчину, он не оставит вас... своею любовью!

– А те, кто не имеет средств кушать ветчину?

– А какое вам дело до тех? Это у них – извиняюсь за резкость – бурчит в животе, а не у вас... Когда же бурчание станет слишком громким, то не один вы его услышите, не беспокойтесь. Поздравляю вас с новым жилищем: я знаю виллу Орсини, это прекрасный остаток старого Рима...

Еще он прочтет Мне лекцию о Моем дворце! Да, Магнус снова отстранял Меня и делал это резко и грубо, но в голосе его не было суровости, и темные глаза смотрели мягко и добродушно, что ж, черт его возьми, человечество с его счастьем и ветчиной! Потом Я найду лазейку в упрямую голову Магнуса, а пока никому не отдам Моего великого покоя и... Марии, Великое спокойствие и... Сатана! – разве это не великолепный трюк в моей игре? И что за великий лжец, который умеет обманывать только других? Солги себе так, чтобы поверить, – вот это искусство!

После завтрака мы втроем бродили по пологим холмам и скатам Кампаний. Была еще ранняя весна, и только белые маленькие цветочки нежно озаряли молодую и слабую зелень, и ветер был нежен и пахуч, и четко рисовались домики в далеком Альбано. Мария шла впереди, изредка останавливаясь и божественными очами своими окидывая все видимое, – и Я непременно закажу моему мазилке, чтоб он так написал Мадонну: на ковре из слабой зелени я маленьких беленьких цветочков. Магнус был так весел и прост, что Я снова повторил ему о сходстве Марии с Мадонной и рассказал о моих несчастных мазилках, которые ищут натуру. Он засмеялся и потом серьезно подтвердил Мою догадку о необыкновенном сходстве, и лицо его стало печально.

– Это роковое сходство, м-р Вандергуд. Помните, что я в одну тяжелую минуту говорил вам о крови? У ног моей Марии уже есть кровь... одного благородного юноши, память которого мы чтим с Марией. Не для одной Изиды необходимо покрывало: есть роковые лица, есть роковые сходства, которые смущают наш дух и ведут его к пропасти самоуничтожения. Я отец Марии, но я сам едва смею коснуться устами ее лба – какие же неодолимые преграды воздвигнет сама себе любовь, когда осмелится поднять глаза на Марию?

Это была единственная минута в том счастливом дне, когда на мой океан набежали страшные тучи, косматые, как борода сумасшедшего Лира, и дикий ветер бешено рванул паруса. Но Я поднял глаза на Марию, Я встретил Ее взор, он был спокоен и ясен, как небо над нашими головами, – и дикий вихрь бежал и скрылся бесследно, унося за собою частицу мрака. Не знаю, говорят ли тебе эти морские сравнения, которые Я сам считаю неудачными, и поэтому поясню: Я снова стал совершенно спокоен. Что Мне благородный римский юноша, так и не нашедший сравнений и свалившийся через голову с своего Пегаса? Я белокрылая шхуна, и подо мною целый океан. И разве не про Нее сказано: несравненная!

День был долг и спокоен, и Мне очень понравилась спокойная правильность, с какою солнце с своей вышины скатывалось к краю Земли, с какою высыпали звезды на небо, сперва большие, потом маленькие, пока все небо не заискрилось и не засверкало, с какою медленно нарастала темнота, с какою в свой час вышла розовая луна, сперва немного ржавая, потом блестящая, с какою поплыла она по пути, освобожденному и согретому солнцем. Но больше всего Мне понравилось, когда мы сидели с Магнусом в полутемной комнате и слушали Марию: она играла на арфе и пела.

И, слушая арфу, Я понял, почему человек для своей музыки так любит туго натянутые струны: Я сам был туго натянутой струной, и уже не касался Меня палец, а звук все еще дрожал и гудел, замирая, и замирал так медленно, в такой глубине, что и до сих пор Я слышу его. И вдруг Я увидел, что весь воздух пронизан напряженно дрожащими струнами, они тянутся от звезды к звезде, разбегаются по земле, соединяются – и все проходят через мое сердце... как телефонные провода через центральную станцию, если ты хочешь более понятных сравнений! И еще Я понял кое-что, когда слушал голос Марии...

Нет, ты просто животное, Вандергуд! Когда Я припоминаю твои крикливые жалобы на любовь и ее песни, проклятые проклятием однообразия, – ты, кажется, так выразился? – Мне хочется отправить тебя в хлев. Ты просто грязное и скучное животное, и Мне стыдно, что в течение целого часа Я вежливо слушал твоё тупое мычание. Презирай слова и ласки, проклинай объятия, но не коснись Любви, товарищ: только через нее тебе дано бросить быстрый взгляд в самое Вечность! Пойди прочь, мой друг. Оставь Сатану, который в самой черной глубине человечности вдруг наткнулся на новые неожиданные огни. Уйди, ты не должен видеть удивления и радости Сатаны!

Был уже поздний час и луна стояла полночно, когда Я покинул дом Магнуса и приказал шоферу ехать по Но-ментанской дороге: Я боялся, что Мое великое спокойствие ускользнет от Меня, и хотел настичь его в глубине Кам-паньи. Но быстрое движение разгоняло тишину, и Я оставил машину. Она сразу заснула в лунном свете, над своей черной тенью она стала как большой серый камень над дорогой, еще раз блеснула на Меня чем-то и претворилась в невидимое., Остался только Я с Моей тенью.

Мы шли по белой дороге, Я и Моя тень, останавливались и снова шли. Я сел на камень при дороге, и черная тень спряталась за моей спиной. И здесь великое спокойствие снизошло на землю, на мир, и моего холодного лба коснулся холодный поцелуй луны.

2 марта, Рим, вилла Орсини

Все эти дни Я провожу в глубоком уединении.

Мое вочеловечение начинает тревожить Меня. С каждым часом Меня покидает память о том, что Я оставил за стеною человечности. С каждой минутой слабеет Мое зрение: стена почти непроницаема, еле движутся за нею слабые тени, и Я уже не различаю их очертаний. С каждой секундой тупеет Мой слух: Я слышу тихий писк мыши, скребущейся под полом, и Я глух к громам, обвевающим Мою голову. Лживое безмолвие объемлет Меня, и тщетно ловлю Я напряженным слухом голоса откровения', они остались за той же непроницаемой стеною. С каждым мгновением удаляется от Меня истина. Напрасно Я шлю ей вдогонку стрелы Моих слов: они пролетают мимо. Напрасно Я окружаю ее тесными объятиями Моих мыслей, оковываю железом цепей: пленница ускользает, как воздух, и Моими объятиями Я душу пустоту. Еще вчера Мне казалось, что Я настиг Мою добычу, и Я пленил ее, и толстой цепью Я приковал ее к стене, а когда взглянул поутру – к стене был прикован скелет. На позвонках его шеи свободно висела ржавая цепь, и нагло смеялся оскаленный череп.

Как видишь, Я снова ищу слов и сравнений, беру в руки плетъ, от которой убегает истина! Но что же Мне делать, если все Мое оружие Я оставил дома и могу пользоваться только твоим негодным арсеналом? Вочеловечь самого Бога, если ты его осилишь, Иаков, и он тотчас же заговорит с тобою на превосходном еврейском или французском языке, и не скажет больше того, что можно сказать на превосходном еврейском или французском языке. Бог!.. а Я только Сатана, скромный, неосторожный, вочеловечившийся Черт!

Конечно, это было совсем неосторожно. Но когда Я смотрел оттуда на твою человеческую жизнь... нет, постой,– вот Мы сразу и попались с тобою во лжи, человеке. Когда Я сказал оттуда – ты сразу понял, что это очень далеко, да? Может быть, ты уже определил приблизительно и мили, ведь в твоём распоряжении сколько угодно нулей? Ах, это неверно: мое оттуда так же близко отсюда, как и самое настоящее здесь,– видишь, какая это бессмыслица и ложь, в которой мы танцуем с тобою! Брось метр и весы и слушай так, как будто за твоей спиной не тикают часы, а в твоей груди не отвечает им счетчик. Так вот: когда Я смотрел на твою жизнь оттуда (пойдем на компромисс и назовем это «из-за границы»), она виделась Мною как славная и веселая игра неумирающих частиц.

Ты знаешь, что такое театр кукол? Когда одна кукла разбивается, ее заменяют другою, но театр продолжается, музыка не умолкает, зрители рукоплещут, и это очень интересно. Разве зритель заботится о том, куда бросают разбитые черепки, и идет за ними до мусорного ящика? Он смотрит на игру и веселится. И Мне было так весело – и литавры так зазывно звучали – и клоуны так забавно кувыркалились и делали глупости,– и Я так люблю бессмертную игру, что Я сам пожелал превратиться в актера... Ах, Я еще не знал тогда, что это вовсе не игра и что мусорный ящик так страшен, когда сам становишься куклой, и что из разбитых черепков течет кровь,– ты обманул Меня, мой теперешний товарищ!

Но ты удивлен, ты презрительно шуришь твои оловянные глаза и спрашиваешь: что же это за Сатана, который не знает таких простых вещей? Ты привык уважать чертей, ты самого глупого беса считаешь достойным любой кафедры, ты уже отдал Мне твой доллар как профессору белой и черной магии,– и вдруг Я оказываюсь таким невеждой в самых простых вещах! Я понимаю твое разочарование, Я сам ныне чту гадалок и карты, Мне очень стыдно сознаваться, что Я не умею сделать ни одного плохонького фокуса и блоху убиваю не взглядом, а просто пальцем,– но правда для Меня всего дороже: да, Я не знал твоих простых вещей! По-видимому, всему виной граница, которая отделяет нас: как ты не знаешь Моего и не можешь произнести такой пустой вещи, как Мое истинное Имя, так и Я не знал твоего, Моя земная тень, и

лишь теперь с восторгом разбираюсь в твоём огромном богатстве. Подумай: даже простому счету Меня научил только Вандергуд, и Я сам не сумел бы застегнуть пуговиц на моем платье, если бы не привычные и ловкие пальцы того же молодца – Вандергуда!

Теперь Я человек, как и ты. Ограниченное чувство Моего бытия Я почитаю Моим знанием и уже с уважением касаюсь собственного носа, когда к тому понуждает надобность: это не просто нос – это аксиома! Теперь Я сам бьющаяся кукла на театре марионеток, Моя фарфоровая головка поворачивается вправо и влево, мои руки треплются вверх и вниз, Я весел, Я играю, Я все знаю... кроме того: чья рука дергает Меня за нитку? А вдали чернеет мусорный ящик, и оттуда торчат две маленькие ножки в бальных туфельках...

Нет, это не та игра бессмертных, к которой Я стремился, и это так же мало напоминает веселье, как корчи эпилептика хороший негритянский танец! Здесь каждый есть то, что он есть, и здесь каждый хочет быть не тем, что он есть, – и этот бесконечный процесс о подлогах Я принял за веселый театр: какая грубая ошибка, какая глупость для «всемогущего, бессмертного»... Сатаны. Здесь все тащат друг друга в суд: живые – мертвых, мертвые – живых, История тех и других, а Бог Историю – и эту бесконечную кляузу, этот грязный поток лжесвидетелей, лжеприсяг, лжесудей и лжемошенников Я принял за игру бессмертных? Или Я не туда попал? Скажи Мне, уважаемый туземец: куда ведет эта дорога? Ты бледнеешь, твой палец, дрожа, указывает на что-то... ах, это мусорный ящик!

Вчера Я расспрашивал Топпи о его прежней жизни, когда он впервые вочеловечился: Мне хотелось лучше узнать, что чувствует кукла, когда у нее лопается головка или обрывается нить, которая приводит ее в движение? Мы закурили по трубочке и за кружкой пива, как два добрые немца, занялись немного философией. Оказалось, однако, что эта тупая голова почти все уже забыла, и Мои вопросы приводили ее в стыдливое смущение.

– Неужели ты все забыл, Топпи!

– Сами станете умирать, тогда узнаете. Я не люблю об этом вспоминать, что хорошего!

– Значит, нехорошо?

– А вы слышали, чтобы кто-нибудь это хвалил?

– Да, это верно. Никто не хвалил.

– Да и не похвалит. Я уж знаю!

Мы помолчали.

– А ты помнишь, Топпи, откуда ты?

– Из Иллинойса, откуда и вы.

– Нет, я говорю про другое. Ты помнишь, откуда ты? Ты помнишь твое настоящее Имя?

Топпи странно посмотрел на Меня, слегка побледнел и долго в молчании выколачивал свою трубку. Потом поднялся и сказал, не поднимая глаз:

– Прошу вас так со мной не говорить, м-р Вандергуд. Я честный гражданин Соединенных Штатов и ваших намеков не понимаю.

Он еще помнит, он неспроста так побледнел, – но уже стремится забыть, и скоро забудет! Ему не по силам эта двойная тяжесть: земли и неба, к он весь отдается земле! Пройдет еще время, и если Я заговорю с ним о Сатане, он отвезет Меня в сумасшедший дом... или напишет донос кардиналу Х.

– Я тебя уважаю, Топпи. Ты очень хорошо вочеловечился, – сказал Я и поцеловал Топпи в темя. Я

целую в темя тех, кого люблю.

И Я снова отправился в зеленую пустынную Кампанию: Я следую лучшим образцам, и, когда Меня искушают, Я удаляюсь в пустыню. Там Я долго заклинал и звал Сатану, и Он не хотел Мне ответить. Вочеловечившийся, долго я лежал во прахе, умоляя, когда отдаленно зазвучали во Мне легкие шаги и светлая сила подняла Меня ввысь. И вновь увидел Я покинутый Эдем, его зеленые кущи, его немеркнущие зори, его тихие светы над тихими водами. И вновь услышал Я безмолвные шепоты бестелесных уст, и к очам Моим бестрепетно приблизилась Истина, и Я протянул к ней Мои скованные руки: освободи!

– Мария.

Кто сказал: Мария? Но бежал Сатана, погасли тихие светы над тихими водами, исчезла испуганная Истина, – и вот снова сижу Я на земле, вочеловечившийся, тупо смотрю нарисованными глазами на нарисованный мир, а на коленях Моих лежат Мои скованные руки.

– Мария.

...Мне грустно сознаваться, что все это Я выдумал: и пришествие Сатаны с его «легкими и звучными» шагами, и эдемские сады, и скованные руки. Но Мне нужно было твое внимание, и Я не знал, как обойтись без Эдема и кандалов, этих противоположностей, которыми ты замыкаешь разные концы твоей жизни. И райские сады – это так красиво! Кандалы – как это ужасно! И насколько это значительнее, чем просто сидеть на пыльном бугорке с сигарою в свободных руках, размышлять лениво и, зевая, поглядывать на часы и дорогу в ожидании шофера. А Марию Я приплел просто потому, что с этого бугорка видны черные кипарисы над белым домиком Магнуса, и невольная ассоциация идей... понимаешь?

Может ли человек с таким зрением увидеть Сатану? Может ли человек с таким отупевшим слухом услышать какие-то «бестелесные шепоты» или как там? Вздор! И пожалуйста, Я прошу тебя: зови Меня просто Вандергудом. Отныне и до того дня, как Я разобью себе голову игрушкой, что отворяет самую узкую дверь в самый широкий простор, – зови Меня просто Вакдергудом, Генри Вандергудом из Иллинойса: Я буду послушно и быстро отзываться.

Но если, человеке, ты увидишь в некий день Мою голову раздробленной, то внимательно взглядишь в осколки: там в красных знаках будет начертано гордое имя Сатаны! Согни шею и поклонись Ему низко, – но черепков до мусорного ящика не провожай: не надо так почтительно сгибаться перед сброшенными цепями!

9 марта 1914 г.

Рим, вилла Орсини

Вчера ночью у Меня был важный разговор с Фомой Магнусом.

Когда Мария удалилась к себе, Я, по обыкновению, почти тотчас же собрался ехать домой, но Магнус удержал Меня.

– Куда вам ехать, м-р Вандергуд? Оставайтесь ночевать. Послушайте, как беснуется сумасшедший Март!

Уже несколько дней над Римом бродили тяжелые тучи и косой дождь порывами сек стены и развалины, и в это утро Я прочел в какой-то газетке выразительный бюллетень о погоде: *cielo nuvoloso, il vento forte e mare molto agitato*^[3]. К вечеру ненастье превратилось в бурю, и взволнованное море перекинуло через девяносто миль свой влажный запах в стены самого Рима. И настоящее римское море, его волнистая Кампанья запела всеми голосами бури, как океан, и мгновениями чудилось, что ее недвижные холмы, ее застывшие извека волны уже поколебались на своих основаниях и всем стадом надвигаются на городские стены. «Сумасшедший» Март, этот расторопный делатель страха и бурь, стремительно носился по ее простору, каждую бледную травинку за волосы пригибал к земле, задыхался, как загнанный, и целыми охапками, поспешно, бросал ветер в стонущие кипарисы. Иногда он бросался чем-то и потяжелее: черепитчатая крыша домика дрожала под ударами, а каменные стены гудели так, будто внутри самих камней дышал и искал выхода пойманный ветер.

Весь вечер мы слушали бурю. Мария была спокойна, но Магнус заметно нервничал, часто потирал свои большие белые руки и осторожно прислушивался к талантливым имитациям ветра: к его разбойничьему свисту, крику и воплям, смеху и стонам... расторопный артист ухитрялся одновременно быть убийцей и жертвой, душить и страстно молить о помощи! Если бы у Магнуса были подвижные уши зверя, они все время стояли бы напряженно. Его тонкий нос вздрагивал, темные глаза совсем потемнели, как будто и на них легли отражения туч, тонкие губы кривила быстрая и странная усмешка. Я был также взволнован: во все дни Моего вочеловечения Я впервые слышал такую бурю, и она подняла во Мне все былые страхи: почти с ужасом ребенка Я старался избегать глазами окон, за которыми стояла тьма. «Почему она не идет сюда? – думал Я. – Разве стекло может ее удержать, если она захочет ворваться?..»

Несколько раз кто-то громко стучал и с силою потрясал железные ворота, в которые когда-то стучались и мы с Топпи.

– Это Мой шофер приехал за мною, – сказал Я, – надо ему открыть.

Магнус искоса взглянул на Меня и угрюмо ответил:

– С той стороны нет дороги. Там только поле. Это сумасшедший Март просится сюда.

Точно слова его были услышаны: узнанный Март рассмеялся и удалился, насвистывая. Но вскоре новые удары сотрясли железную дверь, и несколько голосов, крича и перебивая друг друга, беспокойно и тревожно говорили о чем-то; слышно было, как плачет маленький ребенок.

– Это заблудившиеся... вы слышите, ребенок! Надо открыть.

– А вот мы посмотрим, – сердито отозвался Магнус.

– Я с вами, Магнус.

– Сидите, Вандергуд. Мне достаточно этого товарища. – Он быстро достал из стола тот револьвер и с особенным чувством любви и даже нежности мягко охватил его широкой ладонью и бережно сунул в карман. Он вышел, и слышен был крик, которым его встретили у ворот.

В тот вечер Я избегал почему-то ясных взоров Марии, и Мне сделалось неловко, когда мы остались одни. И вдруг Мне захотелось упасть на пол, подползти к Ней на коленях и тихонько свернуться у Ее ног, так, чтобы Ее платье тихо-тихо касалось Моего лица: Мне казалось, что на спине у Меня растут волосы, и если их погладить, то посыплются искры, и тогда Мне станет легче. Так Я мысленно все подползал, все подползал к Ней, когда вошел Магнус и молча положил револьвер обратно. Голоса у дверей утихли, и стук прекратился.

– Кто это?.. – спросила Мария.

Магнус сердито стряхнул с себя капельки дождя.

– Сумасшедший Март. Кому же больше?

– Но вы, кажется, говорили с ним? – пошутил Я, скрывая неприятную дрожь холода, который вошел вместе с Магнусом.

– Да. Я сказал ему, что это неприлично – таскать за собою такую подозрительную толпу. Он извинился и больше не придет. – Магнус усмехнулся и добавил: – Убежден, что сегодня все разбойники Рима и Кампании грезят засадами и кровью и целуют свои стилеты, как возлюбленных...

Послышался снова неясный и как будто робкий стук.

– Опять? – сердито крикнул Магнус, словно сумасшедший Март и вправду обещал ему не стучать больше. Но за стуком послышался и звонок: это приехал мой шофер. Мария удалилась, а Мне, как сказано, Магнус предложил остаться, на что Я после небольшого колебания и согласился: Мне совсем мало нравился Магнус с его револьвером и усмешками, но еще меньше нравилась глупая тьма.

Любезный хозяин сам пошел, чтобы отпустить шофера. В одно из окон Я видел, как широко и ярко блеснули при повороте электрические прожектора машины, и на минуту Мне ужасно захотелось домой, к Моим приятным грешникам, которые теперь потягивают винцо в ожидании Меня... Ах, Я уже давно отказался от добродетели и веду порочную жизнь пьяницы и игрока! И опять, как в ту первую ночь, тихий белый домик, эта душа Марии, показался Мне подозрительным и страшным: этот револьвер, эти пятна крови на белых руках... а может быть, и еще где-нибудь найдутся такие пятна?

Но было уже поздно раздумывать: машина ушла, и возвратившийся Магнус имел при свете не синюю, а очень черную и красивую бороду, и глаза его приветливо улыбались. В широкой руке он нес не оружие, а две бутылки вина, и еще издали весело крикнул:

– В такую ночь только и остается, что пить вино. Мне и Март при разговоре показался пьяным... гуляка! Ваш стакан, Вандергуд!

Но когда стаканы были налиты, этот веселый пьяница едва коснулся вина и глубоко уселся в кресло, предоставив Мне пить и разговаривать. Без особого воодушевления, слушая шум ветра и думая о том, как длинна предстоящая ночь, Я рассказал Магнусу о новых настойчивых посещениях кардинала Х. Кажется, кардинал действительно приставил ко мне шпионов, но, что еще более удивительно и странно, сумел чем-то подействовать на неподкупного Топпи. Он остался все тем же преданным другом, но сделался мрачен, почти каждый день ходит на исповедь и сурово убеждает Меня принять католичество.

Магнус спокойно слушал Мое повествование, и еще с большей неохотой Я рассказал о множестве неудачных попыток развязать Мой кошелек: о бесконечном количестве прошений, написанных дурным языком, где правда кажется ложью от скучного однообразия слез, поклонов и наивной лести, о

сумасшедших изобретателях, о торопливых прожекторах, стремящихся со всевозможной быстротой использовать свой недолгий отпуск из тюрьмы, – обо всем этом обглоданном человечестве, которое запах слабо защищенных миллиардов доводит до иступления. Мои секретари, а их теперь работает целых шесть человек, едва успевают справляться со всей этой массой слезливой бумаги и бешено говорливых людей, стерегущих каждую дверь Моего дворца.

– Боюсь, что Мне придется сделать для себя подземный ход: они стерегут Меня и по ночам. Они устремились на Меня с лопатами и мотыгами, как на Клондайк, и втыкают в меня заявки. Болтовня этих проклятых газет о миллиардах, которые Я готов отдать предъявителю любой язвы на ноге или пустого кармана, свела их с ума. Думаю, что в одну прекрасную ночь они просто поделят Меня на порции и съедят. Они уже открыли ко Мне паломничество, как Лурд, и приезжают с чемоданами. Мои дамы, которые считают Меня своей собственностью, нашли для Меня небольшой дантевский ад, где мы ежедневно гуляем всем обществом: вчера мы целый час созерцали какую-то безмозглую старуху, все достоинство которой в том, что она сумела пережить своего мужа, детей и всех внуков и теперь нуждается в нюхательном табаке. А еще один сердитый старик не хотел успокоиться и не брал даже денег до тех пор, пока все мы не понюхали, как пахнет старая рана на его ноге. Пахнет действительно скверно. Этот сердитый старик – гордость моих дам и, как все фавориты, капризен. А еще... вам не скучно Меня слушать, Магнус? Я могу рассказать вам еще про целую уйму оборванных отцов, голодных детей, зеленых и гнилых, как некоторые сорта сыра, про благородных гениев, презирающих Меня, как негра, про остроумных пьяниц с веселыми красными носами... Мои дамы неохотно показывают пьяниц, но Мне они нравятся больше всего остального товара. А вам, синьор Магнус?

Магнус молчал. Мне надоело говорить, и Я тоже замолчал. Один безумный Март продолжал неумолимо разыгрывать свои шутки: теперь он сидел на крыше и старался прогрызть ее по самой середине, хрустел черепицей, как сахаром. Магнус прервал молчание:

– Последние дни о вас очень мало пишут газеты. Что случилось?

– Я плачу интервьюерам, чтобы они не писали. Сперва я просто прогнал их, но они стали интервьюировать Моих лошадей, и теперь Я плачу им за каждую строчку молчания. Не найдется ли у вас покупатель на Мою виллу, Магнус? Я ее продаю вместе с художниками и остальным инвентарем.

Мы снова основательно помолчали и прошлись по комнате: сперва прошелся Магнус и сел, потом прошелся Я и также сел. Кроме того, Я еще выпил два стакана вина, а Магнус ни одного... о, у этого господина нос никогда не покраснеет! Вдруг он решительно сказал:

– Не пейте больше вина, Вандергуд.

– О! Хорошо, я больше не буду пить вина. Это все?

Дальнейшие вопросы свои Магнус предлагал с большими промежутками молчания. Тон его голоса был суров и резок, Мой... мелодичен, сказал бы Я.

– В вас произошла большая перемена, Вандергуд.

– Очень возможно. Благодарю вас, Магнус.

– Прежде вы были живее. Теперь вы почти не шутите. Вы стали очень мрачным субъектом, Вандергуд.

– О!

– Вы даже похудели, и лоб у вас желтый. Это правда, что вы каждую ночь напиваетесь с вашими... друзьями?

– Кажется.

– Играете в карты, бросаете золото и недавно за вашим столом чуть не произошло убийство?

– Боюсь, что правда. Я припоминаю, что один джентльмен действительно хотел проткнуть вилкой другого джентльмена. А откуда вам это известно, Магнус?

Он ответил сурово и многозначительно.

– Вчера у меня был м-р Топпи. Он добивался свидания с... Марией, но я принял его сам. При всем моем уважении к вам, Вандергуд, я должен отметить что секретарь ваш на редкость глуп.

Я холодно согласился.

– Вы совершенно правы. Вам следовало выгнать его.

Должен отметить, в свою очередь, что при имени Марии два последних стакана мгновенно испарились из Меня, и при дальнейшем разговоре вино улетучивалось так же быстро, как эфир из открытой банки... Я всегда думал, что это непрочная вещь! Снова мы послушали бурю, и Я сказал:

– Ветер, кажется, сильнееет, синьор Магнус.

– Да, ветер, кажется, сильнееет, м-р Вандергуд. Но вы должны признать, что я своевременно предупреждал вас, м-р Вандергуд!

– В чем вы меня своевременно предупреждали, синьор Магнус?

Он охватил колена своими белыми руками и устремил на Меня взор заклинателя змей... ах, он не знал, что Я сам вырвал у себя ядовитые зубы и теперь безвреден, как чучело в музее! Наконец он понял, что нет смысла так долго фиксировать простые бутылочные стекла, и перешел к слову:

– Я вас предупреждал относительно Марии, – медленно и внушительно промолвил он. – Вы помните, что я не хотел... знакомства с вами и выражал это довольно ясно? Вы не забыли, что я говорил вам о Марии, о ее роковом влиянии на души? Но вы были настойчивы, смелы, и я уступил. Теперь вы желаете представить нам, мне и дочери, чувствительное зрелище разлагающегося джентльмена, который ничего не просит и даже не упрекает, но не может успокоиться до тех пор, пока всеми не будет осмотрена его рана... Я не хочу повторять точно ваших выражений, м-р Вандергуд, в них слишком много дурного запаха. Да, сударь, вы достаточно откровенно говорили о ваших... близких, и я искренне рад, что вы бросили наконец эту дешевую игру в любовь и человечество... у вас так много других забав! Но, признаюсь, меня совсем не радует ваше щедрое намерение подарить нам останки джентльмена. Мне кажется, сударь, что вы напрасно уехали из Америки и не продолжаете вашего дела с... консервами; общение с людьми требует совсем иных способностей.

Он насмеялся! Он почти выгонял Меня, это человек, и Я, который пишет себя с большой буквы, Я – покорно и смиренно выслушал его. Это было божественно смешно! Одна комическая подробность для любителей веселого чтения: перед началом его тирады Мои глаза и Моя сигара в зубах были довольно бодро и небрежно подняты вверх – к концу они опустились... Я до сих пор чувствую на зубах этот горький вкус уныло свисшей потухшей, выскользающей сигары. Я задышался от смеха... точнее, Я еще не знал: задохнуться ли Мне от смеха или от гнева? Или – не задыхаясь ни от того, ни от другого, попросить зонтик от дождя и удалиться? Ах, он был дома, он был на своей земле, этот сердитый человек с черной бородой, он знал, что надо делать в этих случаях, и он пел соло, а не дуэтом, как эти неразлучные Сатана из вечности и Вандергуд из Иллинойса!

– Сударь! – сказал Я с достоинством. – Здесь произошло печальное недоразумение. Перед вами вочеловечившийся Сатана... вы понимаете? Он вышел на вечернюю прогулку и неосторожно заблудился в лесу... в лесу, сударь, в лесу! Не будете ли добры, сударь, и не укажете ли ему ближайшей дороги к вечности? Ага! Благодарю вас, я так и думал. Прощайте!

Конечно, Я этого не сказал. Я молчал, предоставив слово Вандергуду, и вот что сказал этот почтенный джентльмен, выпустив изо рта потухшую и мокрую сигару:

– Черт возьми! Вы правы, Магнус. Благодарю вас, старина. Да, вы честно предупреждали меня, но я пожелал играть в одиночку. Теперь я банкрот и в вашем распоряжении. Ничего не имею против, если вы распорядитесь вынести останки джентльмена.

Я думал, что, не ожидая носилок, Магнус просто выбросит останки в окно, но великодушие этого господина было поистине изумительно: он взглянул на Меня с состраданием и даже протянул руку для пожатия.

– Вы очень страдаете, м-р Вандергуд?

Вопрос, на который довольно трудно ответить знаменитому дуэту! Я моргнул глазами и поднял плечи. Кажется, это удовлетворило Магнуса, и на несколько минут мы погрузились в сосредоточенное молчание. Не знаю, о чем думал Магнус, но Я не думал ни о чем: Я просто разглядывал с большим интересом стены, потолок, книги, картинки на стенах, всю эту обстановку человеческого жилища. Особенно заинтересовала Меня электрическая лампочка, на которой Я остановил надолго Мое внимание: почему это горит и светит?

– Я жду вашего слова, м-р Вандергуд.

Он еще ждет Моего слова? Хорошо.

– Дело очень просто, Магнус... ведь вы предупреждали Меня? Завтра Мой Топпи укладывает чемоданы, и Я еду в Америку продолжать дело с... консервами.

– А кардинал?

– Какой кардинал? Ах да!.. Кардинал Х. и миллиарды?

Как же, я помню. Но – не смотрите на Меня так удивленно, Магнус, – Мне это надоело.

– Что именно вам надоело, м-р Вандергуд?

– Это. Шесть секретарей, безмозглые старухи, нюхательный табак и Мой дантевский ад, куда Меня водят на прогулку. Не смотрите на Меня так строго, Магнус. Вероятно, из Моих миллиардов можно было приготовить зелье покрепче, но я сумел сделать только кислое пиво. Отчего вы не захотели помочь мне? Впрочем, вы ненавидите людей, я забыл.

– Но вы их любите?

– Как вам сказать, Магнус? Нет, скорее, Я к ним равнодушен. Не смотрите на Меня с таким... чувством, ей-Богу, не стоит! Да, Я к ним равнодушен. Их так много, знаете ли, было, есть и еще будет, что положительно не стоит...

– Значит, вы лгали?

– Смотрите не на Меня, а на Мои упакованные чемоданы. Нет, не совсем. Мне, знаете ли, хотелось создать нечто интересное для игры, ну вот, для завязки, Я и пустил в обращение эту... это чувство...

– Следовательно, вы только играли?

Я снова моргнул глазами и поднял плечи: Мне понравился этот способ ответа на слишком сложные вопросы. И Мне очень нравилось это лицо синьора Фомы Магнуса, его удлинившийся овал несколько вознаграждал Меня за все Мои театральные неудачи... и Марию. Замечу, что в Моих зубах была новая сигара.

– В вашем прошлом, вы говорили, есть какие-то темные страницы... В чем дело, м-р Вандергуд?

– О! Это маленькое преувеличение. Ничего особенного, Магнус. Извиняюсь, что напрасно потревожил вас, но тогда мне казалось, что этого требует стиль...

– Стиль?

– Да, и законы контраста. При темном прошлом светлое настоящее... понимаете? Но Я уже сказал вам, Магнус, что из Моей затеи ничего не вышло. В наших местах имеют не совсем верное представление об удовольствиях, доставляемых здешней игрою. Надо будет это растолковать, когда вернусь. На несколько минут Мне понравилась бритая обезьяна, но ее способ околпачивать людей слишком стар и слишком верен... как монетный двор. Я люблю риск.

– Околпачивать людей?

– Ведь мы же их презираем, Магнус? Так не будем отказывать себе в удовольствии, если игра не удалась, говорить прямо. Вы, кажется, улыбнулись? Я очень рад. Но я устал болтать и с вашего разрешения выпью стакан вина.

Фома Магнус вовсе не был похож на улыбающегося человека, и Я сказал про улыбку так... для стиля. Прошло не меньше получаса в полном молчании, нарушаемом только взвизгами и возней сумасшедшего Марта да ровными шагами Магнуса: заложив руки за спину и не обращая на Меня никакого внимания, он методично измерял комнату: восемь шагов вперед, восемь шагов назад. По-видимому, он когда-нибудь сидел в тюрьме, и немало: у него было умение опытного арестанта создавать пространство из нескольких метров. Я позволил себе слегка зевнуть и этим обратил на себя внимание любезного хозяина. Но еще с минуту молчал Магнус, пока следующие слова не прозвучали в воздухе и не сбросили Меня с места:

– Но Мария любит вас. Вы, конечно, не знаете этого?

Я встал.

– Да, это правда: Мария любит вас. Этого несчастья я не ожидал. Убить вас я опоздал, м-р Вандергуд, это нужно было совершить вначале, а теперь я не знаю, что делать с вами. Как вы сами думаете на этот счет?

Я выпрямился и...

...Мария любит Меня!

Я видел в Филадельфии неудачную казнь электричеством. Я видел в миланской «Скала», как мой коллега Мифисто корчился и прыгал по всей сцене, когда статисты двинулись на него с крестами, – и мой безмолвный ответ Магнусу был довольно искусным воспроизведением того и другого трюка: ах, в ту минуту в Моей памяти не оказалось лучших образцов? Клянусь вечным спасением, еще никогда Меня не пронизывало столько смертельных токов, еще никогда Я не пил такого горького напитка, еще никогда не овладевал Моей душой такой неудержимый смех!

Сейчас Я уже не смеюсь и не корчусь, как пошлый актер, – Я один, и только Моя серьезность слушает и видит Меня. Но в ту минуту торжества Мне понадобились все силы, чтобы громко не расхохотаться и не надавать звонких пощечин этому суровому и честному человеку, бросавшему Мадонну в объятия... Дьявола, ты думаешь? Нет, американца Вандергуда с его козлиной бородкой и мокрой сигарой в золотых зубах! Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех, горький, как полынь, – вот чем до краев была налита поднесенная Мне чаша... нет, еще хуже, еще горче, еще смертельнее! Что Мне обманутый Магнус со всей тупостью его глаз и ума, но как могли обмануться чистые взоры Марии? Или Я такой искусный донжуан, которому достаточно нескольких почти безмолвных встреч, чтобы обольстить невинную и доверчивую девушку? Мадонна, где ты? Или Она нашла во Мне сходство с одним из своих святых, как и у Топпи, но ведь со Мной же нет походного молитвенника! Мадонна, где Ты? Уста ли твои тянутся к Моим

устам, как пестики к тычинкам, как все эти миллиарды похотей цветов, людей и животных? Мадонна, где Ты? Или?..

Я еще корчился, как актер, Я еще душил в приличном бормотанье Мою ненависть и презрение, когда это новое или вдруг наполнило Меня новым смятением и такой любовью... ах, такой любовью!

– Или, – подумал Я, – твое бессмертие, Мадонна, откликнулось на бессмертие Сатаны и из самой вечности протягивает ему эту кроткую руку? Ты, обожествленная, не узнала ли друга в том, кто вочеловечился? Ты, восходящая ввысь, не прониклась ли жалостью к нисходящему? О Мадонна, положи руку на мою темную голову, чтобы узнал Я тебя по твоему прикосновению!..

Слушай, что было дальше в эту ночь.

– Я не знаю, за что полюбила вас Мария. Это тайна ее души, недоступной моему пониманию. Да, я не понимаю, но я преклоняюсь перед ее волей, как перед откровением. Что мои человеческие глаза перед ее всепроникающим взором, м-р Вандергуд!..

(И он говорил то же!)

– Минуту назад, в горячности, я сказал что-то об убийстве и смерти... нет, м-р Вандергуд, вы можете навсегда быть спокойны: избранный Марией неприкосновенен для меня, его защищает больше, чем закон, – его покровом служит ее чистая любовь. Конечно, я немедленно попрошу вас оставить нас и – я верю в вашу честность, Вандергуд, – поставить между нами преградою океан...

– Но...

Магнус сделал шаг ко Мне и гневно крикнул:

– Ни слова дальше!.. Я вас не могу убить, но если вы осмелитесь произнести слово «брак», я!..

Он медленно опустил поднятую руку и продолжал спокойно:

– Вижу, что мне еще не раз придется извиняться за мою вспыльчивость, но это лучше, чем та ложь, образцы которой вы нам дали. Не оправдывайтесь, Вандергуд, это лишнее. А о браке позвольте говорить мне: это будет звучать менее оскорбительно для Марии, чем в ваших устах. Он совершенно немыслим, запомните это. Я трезвый реалист, в роковом сходстве Марии я вижу только сходство, и меня вовсе не поражает мысль, что моя дочь, при всех ее необыкновенных свойствах, когда-нибудь станет женою и матерью... мое категорическое отрицание брака было лишь одним из способов предупреждения. Да, я трезво смотрю на вещи, но, м-р Вандергуд, не вам суждено стать спутником Марии. Вы вовсе не знаете меня, и теперь я вынужден несколько приподнять завесу, за которою я скрываюсь уже много лет: мое бездействие лишь отдых, я вовсе не мирный селянин и не книжный философ, я человек борьбы, я воин на поле жизни! И моя Мария будет наградой только герою, если... когда-нибудь мне встретится герой.

Я сказал:

– Вы можете быть уверены, синьор Магнус, что я ни слова не позволю себе сказать относительно синьорины Марии. Вы знаете, что я не герой. Но о вас мне позволено будет спросить: как мне сочетать ваши теперешние слова с вашим презрением к людям? Помнится, вы что-то очень серьезно говорили о эшафоте и тюрьмах.

Магнус громко рассмеялся:

– А вы помните, что вы говорили о вашей любви к людям? Ах, милый Вандергуд: я был бы плохим воином и политиком, если бы в мое образование не входило и искусство маленькой лжи. Мы играли оба, вот и все!

– Вы играли лучше, – признался Я довольно мрачно.

– А вы играли очень скверно, дорогой, не обижайтесь. Но что мне было делать, когда вдруг ко мне является джентльмен, нагруженный золотом, как...

– Как осел. Продолжайте.

– ...и на всех языках начинает объясняться в своей любви к человечеству, причем его уверенность в успехе может равняться только количеству долларов в его кармане? Главный недостаток вашей игры, м-р Вандергуд, в том, что вы слишком явно жаждете успеха и стремитесь к немедленному эффекту, это делает зрителя недоверчивым и холодным. Правда, я не думал, что это только игра, – самая плохая игра лучше искренней глупости... и я опять должен извиниться: вы представились мне просто одним из тех глупых янки, которые сами верят в свои трескучие и пошлые тирады, и... вы понимаете?

– Вполне. Прошу вас, продолжайте.

– Только одна ваша фраза – что-то о войне и революции, которые можно создать на ваши миллиарды, показалась мне несколько интереснее остального, но дальнейшее показало, что это лишь простая обмолвка, случайный кусок чужого текста. Ваши газетные триумфы, ваше легкомыслие в серьезных вещах, – вспомните кардинала Х.! – ваша дешевая благотворительность совершенно дурного тона... нет, м-р Вандергуд, вы не созданы для серьезного театра! И ваша болтовня сегодня, как она ни цинична, понравилась мне больше, чем ваш дутый балаганный пафос. Скажу искренно: если бы не Мария, я от души посмеялся бы сегодня с вами и без малейшего укора поднял бы прощальный бокал!

– Одна поправка, Магнус: я искренне хотел, чтобы вы приняли участие...

– В чем? В вашей игре? Да, в вашей игре недоставало творца, и вы искренно хотели взвалить на меня нищету вашего духа. Как вы нанимаете художников, чтобы они расписывали и украшали ваши дворцы, так вы хотели нанять мою волю и воображение, мою силу и любовь!

– Но ваша ненависть к людям...

До сих пор Магнус почти не выходил из тона иронии и мягкой насмешки: мое замечание вдруг переродило его. Он побледнел, его большие белые руки судорожно забегали по телу, как бы отыскивая оружие, и все лицо стало угрожающим и немного страшным. Словно боясь силы собственного голоса, он понизил его почти до шепота; словно боясь, что слова сорвутся и побегут сами, он старательно ровнял их.

– Ненависть? Молчите, сударь. Или у вас совсем нет ни совести, ни простого ума? Мое презрение! Моя ненависть! Ими я отвечал не на вашу актерскую любовь, а на ваше истинное и мертвое равнодушие. Вы меня оскорбляли как человека вашим равнодушием. Вы всю жизнь нашу оскорбляли вашим равнодушием! Оно было в вашем голосе, оно нечеловеческим взглядом смотрело из ваших глаз, и не раз меня охватывал страх... страх, сударь! – когда я проникал глубже в эту непонятную пустоту ваших зрачков. Если в вашем прошлом нет темных страниц, которые вы приплели для стиля, то там есть худшее: там есть белые страницы, и я не могу их прочесть!..

– Ого!

– Когда я смотрю на вашу вечную сигару, когда я вижу ваше самодовольное, но красивое и энергичное лицо, когда я люблюсь вашими непритязательными манерами, в которых кабацкая простота доведена до пуританской высоты, мне все понятно и в вас, и в вашей наивной игре. Но стоит мне встретить ваш зрачок... или его белую подкладку, и я сразу проваливаюсь в пустоту, мною овладевает тревога, я уже не вижу ни вашей честной сигары, ни честнейших золотых зубов, и я готов воскликнуть: кто вы, смеющийся нести с собою такое равнодушие?

Положение становилось интересным. Мадонна любит Меня, а этот каждое мгновение готов произнести Мое имя! Не сын ли он моего Отца! Как мог он разгадать великую тайну Моего беспредельного

равнодушия: Я так тщательно скрывал ее от тебя!

– Вот! Вот! – закричал Магнус, волнуясь, – в ваших глазах снова две слезинки, которые я уже видел однажды, – это ложь, Вандергуд! Под ними нет источника слез, они пали откуда-то сверху, из облаков, как роса. Лучше смейтесь: за вашим смехом я вижу просто дурного человека, но за вашими слезами стоят белые страницы. Белые страницы!.. или их прочла моя Мария?

Не сводя с Меня глаз, словно боясь, что Я убегу, Магнус прошелся по комнате и сел против Меня. Лицо его погасло и голос казался утомленным, когда он сказал:

– Но я напрасно, кажется, волнуюсь...

– Не забудьте, Магнус, что сегодня Я сам говорил вам о равнодушии.

Он небрежно и устало махнул рукой.

– Да, вы говорили. Но здесь другое, Вандергуд. В этом равнодушии нет оскорбления, а там... Я почувствовал это сразу, когда вы явились с вашими миллиардами. Не знаю, будет ли вам понятно, но мне сразу же захотелось кричать о ненависти, требовать эшафота и крови. Эшафот – дело мрачное, но любопытные возле эшафота, м-р Вандергуд, – вещь невыносимая! Не знаю, что «в ваших местах» говорят о нашей игре, но мы за нее расплачиваемся жизнью, и когда вдруг появляется любопытный господин в цилиндре и с сигарой, его хочется, понимаете, взять за шиворот и... Ведь все равно он никогда не досиживает до конца. Вы также ненадолго изволили заглянуть к нам, м-р Вандергуд?

Каким длительным стоном пронеслось во Мне имя: Мария!.. И Я не играл нисколько и уже не лгал нисколько, когда давал свой ответ мрачному человеку:

– Да, Я к вам ненадолго, синьор Магнус, вы угадали. По некоторым, довольно уважительным причинам я не могу ничего рассказать о белых страницах, которые вы также угадали за моим кожаным переплетом, но на одной из них было начертано: смерть – уход. Это не цилиндр был в руках у любопытного посетителя, а револьвер... вы понимаете: смотрю, пока интересно, а потом кланяюсь и ухожу. Из уважения к вашему реализму выражусь яснее и проще: на ближайших днях, быть может, завтра, Я отправляюсь на тот свет... нет, это недостаточно ясно: на ближайших днях или завтра Я стреляюсь, убиваю себя из револьвера. Сперва думал выстрелить в сердце, но в голову, кажется, будет надежнее. Задумано это давно, еще в самом начале Моего.. появления у вас, и не в этой ли готовности к уходу вы усмотрели Мое «нечеловеческое» равнодушие? Ведь правда: когда одним глазом смотришь на гот свет, то в глазу, обращенном на этот, едва ли может гореть особенно яркое пламя... как в ваших глазах хотя бы. О! у вас удивительные глаза, синьор Магнус.

Магнус помолчал и спросил:

– А Мария?

– Разрешите отвечать? Я слишком высоко ставлю синьорину Марию, чтобы не считать ее любви ко Мне роковой ошибкой.

– Но вы хотели этой любви?

– Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Вначале да, пожалуй, у Меня мелькнули кое-какие мечты, но чем дальше Я вникал в это роковое сходство...

– Это только сходство, – с живостью поправил меня Магнус, – вы не должны быть ребенком, Вандергуд! Душа Марии возвышенна и прекрасна, но она живой человек из мяса и костей. Вероятно, у нее также есть свои маленькие грешки...

– А Мой цилиндр, Магнус? А мой свободный уход? Чтобы смотреть на синьорину Марию с ее

роковым сходством, – пусть это будет только сходство, – Мне достаточно заплатить за кресло, но чем Я могу заплатить за ее любовь?

Магнус сурово промолвил:

– Только жизнью.

– Вы видите: только жизнью! Как же Я мог хотеть такой любви?

– Но вы не рассчитали: она уже любит вас.

– О! Если синьорина Мария действительно любит меня, то моя смерть не может быть препятствием... впрочем, я выражаюсь не совсем понятно. Хочу сказать, что Мой уход... нет, лучше Я ничего не скажу. Одним словом, синьор Магнус: теперь вы не согласились бы взять мои миллиарды в ваше распоряжение?

Он быстро взглянул на меня:

– Теперь?!

– Да. Теперь, когда мы уже не играем: Я в любовь, а вы в ненависть. Теперь, когда Я совсем уйду и уношу с собою «останки» джентльмена? Выразюсь совсем точно: вы не хотите ли быть Моим наследником?

Магнус нахмурился и гневно взглянул на меня: видимо, слова Мои он почел за насмешку. Но Я был серьезен и спокоен. Мне показалось, что большие белые руки его несколько дрожат. С минуту он сидел отвернувшись и вдруг круто обернулся:

– Нет! – крикнул он громко. – Вы снова хотите... нет!

Он топнул ногой и еще раз крикнул: нет! Его руки дрожали, дыхание было тяжело и прерывисто. Потом было долгое молчание, свист бури, шорохи и шепоты ветра. И тогда снова снизошло на Меня великое спокойствие, великий, мертвый, всеобъемлющий покой. Все стало вне Меня. Я еще слышал земных демонов бури, но голоса их звучали отдаленно и глухо, не трогая Меня. Я видел перед собою человека, и он был чужд Мне и холоден, как изваяние из камня. Один за другим прошли предо Мною, погасая, все дни Моей человечности, мелькнули лица, прозвенели слабо голоса и непонятный смех – и стихли. Я обратил взоры в другую сторону – и там встретило Меня безмолвие. Я был точно замурован между двумя каменными глухими стенами: за одной была ихняя, человеческая, жизнь, от которой Я отделился, за другой – в безмолвии и мраке простирался мир Моего вечного и истинного бытия. Его безмолвие звучало, его мрак сиял, трепет вечной и радостной жизни плескался, как прибой, о твердый камень непроницаемой Стены, – но были глухи Мои чувства и безмолвствовала Мысль, Из-под слабых ног Моей Мысли выдернули память, – и она повисла в пустоте, недвижимая, мгновенно онемевшая. Что оставил Я за стеной моего Беспамятства?

Мысль не отвечала. Она была недвижна, пуста и молчала. Два безмолвия окружали Меня, два мрака покрывали мою голову. Две стены хоронили Меня, и за одною, в бледном движении теней, проходила ихняя, человеческая, жизнь, а за другою – в безмолвии и мраке простирался мир Моего истинного и вечного бытия. Откуда услышу зовущий голос? Куда шагну?

И в эту минуту прозвучал далекий и чуждый голос человека. Он становился все ближе, в нем звучала ласка. Это говорил Магнус. С усилием, содрогаясь от напряжения, Я старался услышать и понять слова, и вот что Я услышал:

– А не остаться ли вам жить, Вандергуд?

18 марта,

Рим, палаццо Орсини

Вот уже три дня как Магнус и Мария живут в Риме, в Моем палаццо. Теперь он странно пуст и безмолвен и кажется действительно огромным. Нынче ночью, утомленный бессонницею, Я бродил по его лестницам и залам, по каким-то комнатам, которых раньше не видал, и количество их удивило Меня. Кое-где остались подмости и леса, мольберты и краски, но Моих беспутных приятелей уже нет. Душа Марии изгнала все суетное и нечистое, и только благообразнейший Топпи торжественно болтается в пустоте, как маятник церковных часов. Ах, до чего он благообразен! Если бы не этот его широкий зад с расходящимися фалдами и не запах меха от головы, Я сам принял бы его за одного из святых, почтивших Меня своим знакомством.

Моих гостей Я почти не вижу. Я перевожу все Мое состояние в золото, и Магнус с Топпи и всеми секретарями целый день заняты этой работой; наш телеграф работает непрерывно. Со Мною Магнус говорит мало и только о деле. Марии... кажется, ее Я избегаю. В Мое окно Я вижу сад, где она гуляет, и пока этого с Меня достаточно. Ведь ее душа здесь, и светлым дыханием Марии наполнена каждая частица воздуха. И Я уже сказал, кажется, что у Меня бессонница.

Как видишь, друг, Я остался жить; мертвою рукою не написать даже таких мертвых слов, какие Я пишу, – мертвою рукою ничего написать нельзя, решительно ничего! Забудем прошлое! – как говорят помирившиеся любовники, – и станем с тобою друзьями. Дай Мне руку, товарищ! Клянусь вечным спасением, Я не буду больше ни выгонять тебя вон, ни смеяться над тобою: если Я потерял мудрость змия, то взамен получил кротость голубицы. Немного жаль, что Я выгнал Моих интервьюеров и художников: Мне не у кого спросить, кого Я напоминаю теперь моим просветленным ликом? Себе Я напоминаю напудренного негра, который боится рукавом стереть пудру и показать свою черную кожу... ах, у Меня все еще черная кожа!

Да, Я остался жить, но еще не знаю, насколько это удастся Мне: тебе известно, насколько трудны переходы из кочевого состояния в оседлое? Я был свободным краснокожим, веселым номадом, который свое человеческое раскидывает, как легкую палатку. Теперь Я из гранита закладываю фундамент для земного жилища, и Меня, маловерного, заранее охватывает холод и дрожь: будет ли тепло, когда белые снега опояшут мой новый дом! Что ты думаешь, друг, о различных системах центрального отопления?

В ту ночь Я обещал Фоме Магнусу, что не убью себя. Этот договор мы скрепили дружеским пожатием. Мы не открывали вен, мы не писали кровью, мы просто сказали «да», но этого достаточно: как тебе известно, только люди нарушают свои договоры, черти же всегда их исполняют... вспомни всех твоих волосатых и рогатых героев с их спартанской честностью! К счастью (назовем это «к счастью»), Я не назначил... срока. Клянусь вечным спасением! – Я был бы плохим королем и владыкою, если бы, строя дворец, не оставил для себя тайного хода наружу, маленькой дверки, скромной лазейки, в которую исчезают умные короли, когда их глупые подданные восстанут и врываются в Версаль.

Я не убью себя завтра. Быть может, еще очень долго Я не убью себя: из двух стен Я перешагнул за самую низкую и ныне человечеству вместе с тобою, товарищ. Мой земной опыт еще не велик, и кто знает? – вдруг человеческая жизнь Мне очень понравится! Ведь дожил мой Топпи до седых волос и мирной кончины – отчего же и Мне, перейдя все возрасты, как времена года, не превратиться в почтенного седовласого старца, мудрого наставника и учителя, носителя заветов и склероза? Ах, этот смешной

склероз, эти старческие немощи – это сейчас они пугают Меня, но разве Я не могу к ним привыкнуть за долгий совместный путь и даже полюбить их? Все говорят, что к жизни легко привыкнуть, – попробую привыкнуть и Я. Здесь все так хорошо устроено, что после дождя всегда приходит солнце и сушит мокрого, если он не поторопился умереть. Здесь все так хорошо устроено, что нет ни одной болезни, против которой не было бы лекарства... это так хорошо, можно всегда болеть, если близко аптека!

А на всякий случай – маленькая дверка, тайный ход, короткий, мокрый и темный коридор, за которым звезды и вся ширь моего необъятного пространства! Друг мой, Я хочу быть с тобою откровенен: в моем характере есть непокорство, и вот этого Я опасюсь. Что такое кашель или катар желудка? – а вдруг Мне так не захочется кашля или каких-нибудь пустяков, что Я возьму и убегу! Сейчас ты Мне нравишься. Я готов заключить с тобою продолжительный и крепкий союз, но вдруг в твоём милом лице мелькнет что-то такое, что... нет, нельзя без тайной дверки для того, кто так капризен и непокорен! К несчастью, Я еще очень горд, это старый и всем известный порок Сатаны. Как рыба ударом в голову, Я оглушен моею человечностью, роковое Беспамятство гонит Меня в твою жизнь, но одно Я знаю твердо: Я из рода свободных, Я из племени владык, свою волю претворяющих в законы. Победленных царей часто берут в плен, но никогда цари не делаются рабами. И когда над Моею головою Я увижу бич грязного надсмотрщика и мои скованные руки будут бессильны отвести удар... что же: Я останусь жить с рубцами на спине? Буду торговаться с судьями за лишний удар плети? Поцелую руку палача? Или в аптеку пошлю за примочкой?

Нет, пусть не осудит меня честный Магнус за маленькую неточность в нашем договоре: Я буду жить, но лишь до тех пор, пока хочу жить. Все блага человечности, которые он сулил Мне в ту ночь, когда искушался Сатана человеком, не вырвут оружия из моей руки: в нем единый залог моей свободы! Что все твои княжества и графства, все твои грамоты на благородство, твое золото на свободу, человеке, рядом с этим маленьким и свободным движением пальца, мгновенно возносящим тебя на Престол всех Престолов!..

– Мария!

Да, Я боюсь ее. Взор ее очей так повелителен и ясен, свет ее любви так могуч, чарующ и прекрасен, что все дрожит во Мне, колеблется и стремится к немедленному бегству. Неведомым счастьем, смутными обещаниями, певучими грезами она искушает Меня! Крикну ли: прочь! – или, непокорному и злему, покориться ее воле и идти за нею?

Куда? Не знаю. Но все ли Я знаю? Или есть еще иные миры, кроме тех, которые Я забыл и знаю? Откуда этот неподвижный свет за моей спиной? Он становится все шире и ярче, его теплым прикосновением уже согревается моя душа, и ее полярные льды крошатся и тают. Но Я боюсь оглянуться. Не горит ли это проклятый Содом, и Я окаменею, оглянувшись? Или это новое солнце, которого Я еще не видал на земле, восходит за моей спиной, а Я бегу от него, как глупец, подставляю вместо сердца спину, вместо высокого чела – низкий и тупой затылок испуганного зверя?

Мария! Что ты дашь Мне за револьвер? Я заплатил за него десять долларов вместе с футляром, а с тебя – не возьму и царства! Но только не смотри на Меня, Владычица, иначе... иначе Я все отдам тебе даром: и револьвер, я футляр, и самого Сатану!

26 марта,

Рим, палаццо Орсини

Уже пятую ночь Я не сплю. Когда погасает последний огонь в моем безмолвием палаццо, Я тихо спускаюсь по лестнице, тихо приказываю машину – почему-то Я боюсь даже шума своих шагов и голоса – и на всю ночь уезжаю в Кампанию. Там, оставив автомобиль на дороге, Я до рассвета брожу по гладкому шоссе или неподвижно сижу у каких-нибудь темных развалин. Меня совсем не видно, и редкие прохожие, какие-нибудь крестьяне из Альбано, говорят громко, не стесняясь. Мне нравится, что Меня не видно, это напоминает что-то, что Я забыл.

Как-то, сев на камень, Я потревожил ящерицу, – вероятно, это она слегка прошуршала травой у моих ног и скрылась. Может быть, это была змейка, не знаю. Но Мне ужасно захотелось стать ящерицей или маленькой змейкой, которой не видно под камнем: Меня неприятно волнует мой большой рост, все эти размеры ног и рук, с ними так трудно превратиться в невидимое. Еще Я избегаю смотреть в зеркало на свое лицо: больно думать, что у Меня есть лицо, которое все видят. Почему вначале Я так боялся темноты? Она так хорошо скрывает, и в ней можно растворять все ненужное. Должно быть, все животные, когда меняют кожу или броню, испытывают такой же смутный стыд, страх и беспокойство и ищут уединения.

Значит, Я меняю кожу? Ах, все это прежняя ненужная болтовня! Все дело в том, что Я не избежал взоров Марии и, кажется, готовлюсь замуровать последнюю дверь, которую Я так берег. Но Мне стыдно! – клянусь вечным спасением, Мне стыдно, как девушке перед венцом, Я почти краснею. Краснеющий Сатана... нет, тише, тише: его здесь нет! Тише!..

Магнус рассказал ей все. Она не повторила, что любит Меня, но взглянула и сказала:

– Обещайте мне, что вы не убьете себя.

Остальное сказал ее взор. Ты помнишь, как он ясен? Но не думай, что Я ответил поспешным согласием. Как саламандра в огне, Я быстро прошел все цвета пламени, и Я не повторю тебе тех огненных слов, которые извергла моя раскаленная преисподняя: Я забыл их. Но ты помнишь, как ясен взор Марии? И, целуя руку ее, Я сказал покорно:

– Сударыня! Я не прошу у вас сорока дней размышления и пустыни: пустыню я сам найду, а для размышления мне довольно недели. Но неделю Мне дайте и... пожалуйста, не смотрите на меня больше, иначе...

Нет, Я сказал не так, а как-то другими словами, но это все равно. Теперь Я меняю кожу. Мне больно, стыдно и страшно, потому что всякая ворона может увидеть и заклевать Меня. Какая польза в том, что в кармане у Меня револьвер? Только научившись попадать в себя, сумеешь убить и ворону: вороны это знают и не боятся трагически отдутых карманов.

Вочеловечившийся, пришедший сверху, Я до сих пор только наполовину принял человека. Как в чужую стихию, Я вошел в человечность, но не погрузился в нее весь: одной рукою Я еще держусь за мое Небо, и еще на поверхности волн мои глаза. Она же приказывает, чтобы Я принял человека всего: только тот человек, кто сказал: никогда не убью себя, никогда сам не уйду из жизни. А бич? А проклятые рубцы на спице? А гордость?

О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!

Смотрю в прошлое Земли и вижу мириады тоскующих теней, проплывающих медленно через века и

страны. Это рабы. Их руки безнадежно тянутся ввысь, их костлявые ребра рвут тонкую и худую кожу, их глаза полны слез и гортань пересохла от стонов. Вижу безумство и кровь, насилие и ложь, слышу их клятвы, которым они изменяют непрерывно, их молитвы Богу, где каждым словом о милости и пощаде они проклинают свою землю. Как далеко ни взгляну, везде горит и дымится в корчах земля; как глубоко ни направлю мой слух, отовсюду слышу неумолчные стоны: или и чрево земли полно стонающих? Вижу полные кубки, но к какому ии протянулись бы мои уста, в каждом нахожу уксус и желчь: или нет других напитков у человека? И это – человек?

Я знал их и прежде. Я видел их и раньше. Но Я смотрел на них так, как Август из своей ложи смотрел на вереницу жертв: «Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя», И Я глядел на них глазами орла, и даже кивком не хотела почтить их стонущего крика моя мудрая златовенчанная голова: они появлялись и исчезали, они шли бесконечно – и бесконечно было равнодушие моего цезарского взгляда. А теперь... неужели это Я торопливо шагаю, поднимая песок арены? И это Я, этот грязный, худой, голодный раб, что задрал вверх свое тюремное лицо и хрипло орет в равнодушные глаза Судьбы:

– Аве, Цезарь! Аве, Цезарь!

Вот острый бич взвился над моей спиной, и я с криком боли падаю ниц. Господин ли это бьет меня? Нет, это другой раб, которому велели бичевать раба: ведь сейчас же плеть будет в моей руке, и его спина покроется кровью, и он будет грызть песок, который еще скрипит на моих зубах!

О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!

III

29 марта, Рим

Купи самой черной краски, возьми самую большую кисть и широкой чертой раздели мою жизнь на вчера и сегодня. Возьми жезл Моисея и раздели текучее время, как поток, осуши дно времени – лишь тогда ты почувствуешь мое сегодня.

Ave, Gaesar, moriturus te salutat![\[4\]](#)

2 апреля,

Рим, палаццо Орсини

Я не хочу лгать. Во мне еще нет любви к тебе, человеке, и если ты уже успел раскрыть объятия, то, пожалуйста, закрой их: еще не настало время для жарких лобзаний. Потом, когда-нибудь мы и обнимемся с тобою, а пока будем сдержанны и холодны, как два джентльмена в несчастье. Не скажу, чтобы и уважение мое к твоей личности заметно возросло, хотя твоя жизнь и твоя судьба стали моей жизнью и моей судьбою: достаточно того, что я добровольно подставил шею под ярмо, и теперь один и тот же кнут будет полосовать наши спины.

Да, пока достаточно и этого. Ты заметил, что большая буква снята с моего «я»? – она выброшена мною вместе с револьвером. Это знак покорности и равенства, ты понимаешь? Быть равным с тобою – вот клятва, которую я принес себе и Марии. Как король, я присягнул на верность твоей конституции, но не изменю клятве, как король: от прежней жизни моей я сохранил уважение к договорам. Клянусь, я буду верным твоим товарищем по общей каторге нашей и не убегу один!

За эти последние ночи перед решением я много думал о нашей жизни. Она гнусна, это правда? Тяжело и оскорбительно быть этой штучкой, что называется на земле человеком, хитрым и жадным червячком, что ползает, торопливо множится и лжет, отводя головку от удара, – и сколько ни лжет, все же погибает в назначенный час. Но я буду червячком. Пусть у меня родятся дети, пусть и мою размышляющую головку в назначенный час раздавит неразмышляющая нога – я покорно принимаю все это. Мы оба оскорблены с тобою, товарищ, и в этом уже есть маленькое утешение: ты будешь слушать мои жалобы, а я твои, а если дойдет дело до суда, то вот уже готовы и свидетели! Это хорошо, когда убивают на площади, – всегда есть очевидцы и свидетели.

Буду и лгать, если придется. Не той свободной ложью игры, которою лгут и пророки, а той вынужденной заячьей ложью, когда приходится прятать уши и летом быть серым, а на зиму белеть. Что поделаешь, когда за каждым деревом прячется охотник с ружьем! Это со стороны кажется неблагородным поступком и вызывает осуждение, а нам с тобою надо жить, товарищ. Пусть сторонние осуждают нас и дальше, но, когда понадобится, будем лгать и по-волчьи: выскакивать внезапно и хватать за горло; надо жить, брат, надо жить, и виноваты ли мы, что в горячей крови так много соблазна и вкуса! В сущности, ведь ни ты, ни я не гордимся ни ложью, ни трусостью, ни свирепостью нашей, и кровожадны мы отнюдь не по убеждению.

Но как ни гнусна наша жизнь, еще более она несчастна – ты согласен с этим? Я еще не люблю тебя, человеке, но в эти ночи я не раз готов был заплакать, думая о твоих страданиях, о твоём измученном теле, о твоей душе, отданной на вечное распятие. Хорошо волку быть волком, хорошо зайцу быть зайцем и червяку червячком, их дух темен и скуден, их воля смиренна, но ты, человеке, вместили в себя Бога и Сатану – и как страшно томятся Бог и Сатана в этом тесном и смрадном помещении! Богу быть волком, перехватывающим горло и пьющим кровь! Сатане быть зайцем, прячущим уши за горбатой спиной! Это почти невыносимо, я с тобой согласен. Это наполняет жизнь вечным смятением и мукой, и печаль души безысходна.

Подумай: из троих детей, которых ты рождаешь, один становится убийцей, другой жертвой, а третий судьей и палачом. И каждый день убивают убийц, а они все рождаются; и каждый день убийцы убивают совесть, а совесть казнит убийц, и все живы: и убийцы и совесть. В каком тумане мы живем! Послушай все

слова, какие сказал человек со дня своего творения, и ты подумаешь: это Бог! Взгляни на все дела человека с его первых дней, и ты воскликнешь с отвращением: это скот! Так тысячи лет бесплодно борется с собою человек, и печаль души его безысходна, и томление плененного духа ужасно и страшно, а последний Судья все медлит своим приходом... Но он и не придет никогда, это говорю тебе я: навсегда одни мы с нашей жизнью, человеке!

Приму и это. Еще не нарекла меня своим именем Земля, и не знаю, кто я: Каин или Абель? Но принимаю жертву, как принимаю и убийство. Всюду за тобою и всюду с тобою, человеке. Будем сообща вопить с тобою в пустыне, зная, что никто нас не услышит... а может, и услышит кто-нибудь? Вот видишь: я уже вместе с тобою начинаю верить в чье-то Ухо, а скоро поверю к в треугольный Глаз... ведь не может быть, честное слово, чтобы такой концерт не имел слушателя, чтобы такой спектакль давался при пустом зале!

Думал я о том, что меня еще ни разу не били, и мне страшно. Что будет с моей душою, когда чья-то грубая рука ударит меня по лицу... что будет со мною! Ведь я знаю, что никакая земная расплата не вернет мне моего лица, и что будет тогда с моею душою?

Клянусь, приму и это. Всюду за тобой и всюду с тобой, человеке. Что мое лицо, когда ты своего Христа бил по лицу и плевал в его глаза? Всюду за тобой! А надо будет, сам ударю Христа вот этой рукой, что пишу: всюду за тобой, человеке. Били нас и будут бить, били мы Христа и будем бить... ах, горька наша жизнь, почти невыносима!

Еще недавно я оттолкнул твои объятия, сказал: рано. Но сейчас говорю: обнимемся крепче, брат, теснее прижмемся друг к другу – так больно и страшно быть одному в этой жизни, когда все выходы из нее закрыты. И я еще не знаю, где больше гордости и свободы: уйти ли самому, когда захочешь, или покорно, не сопротивляясь, принять тяжелую руку палача? Сложить руки на груди, одну ногу слегка выставить вперед и, гордо закинув голову, спокойно ждать:

– Исполни свою обязанность, палач!

Или:

– Вот моя грудь, солдаты: стреляйте!

В этой позе есть пластичность, и она мне нравится. Но еще больше нравится мне то, что в ней каким-то странным образом снова возрождается мое большое Я. Конечно, палач не замедлит исполнить свою обязанность, и солдаты не опустят ружей, но важна линия, важно мгновение, когда перед самою смертью я вдруг почувствую себя бессмертным и стану шире жизни. Странно, но лишь одним поворотом головы, одной фразочкой, сказанной или подуманной вовремя, я как бы изъеблю мой дух из оборота, и вся неприятная операция происходит вне меня. И когда смерть щелкнет выключателем, ее мрак не покроет света, который ранее отделил себя и рассеялся в пространстве, чтобы снова собраться где-то и засиять... но где?

Странно, странно... Я шел от человека – и оказался у той же стены Беспамятства, которую знает один Сатана. Как много значит поза, однако! Это надо запомнить. Но будет ли так же убедительна поза и не потеряет ли она в своей пластичности, если вместо смерти, палача и солдат придется сказать иное... хотя бы так:

– Вот мое лицо: бейте!

Не знаю, почему так заботит меня лицо, но оно меня очень заботит, сознаюсь тебе, человеке, – беспокоит чрезвычайно. Нет, пустяки, Изъеблю дух из оборота. Пусть, пусть бьют! Когда дух изъят, то это не больнее и не оскорбительнее, чем если бы ты стал бить мое пальто на вешалке...

...Но я совсем забыл, что я не один, и, находясь в вашем обществе, впадаю в неприличную задумчивость. Уже полчаса, как я молчу над этой бумагой, а казалось мне, что я все время говорю – и очень оживленно! Забыл, что мало думать, а надо еще говорить! Как жаль, человеке, что для обмена мыслями мы должны прибегать к услугам такого скверного и вороватого комиссионера, как слово, – он крадет все ценное и лучшие мысли портит своими магазинными ярлыками. Скажу по правде: это огорчает меня больше, нежели смерть и побои.

Меня пугает необходимость умолкать, когда я дохожу до необыкновенного, которое невыразимо. Как реченька, я бегу и движусь вперед только до океана: в его глубинах кончается мое журчание. В себе самом, не двигаясь и не уходя, взад и вперед колыхается океан. На землю он бросает только шум и брызги, а глубина его нема и неподвижна, и бестолково ползает по ней легкие кораблики. Как выражу себя?

До того, как принять решение и зачислиться в земные рабы, я не говорил ни с Марией, ни с Магнусом... зачем говорить мне с Марией, когда воля ее ясна, как и взор? Но, став рабом, пошел к Магнусу жаловаться и советоваться – по-видимому, с этого начинается человеческое.

Магнус слушал меня молча и, как показалось, несколько рассеянно. Он работает день и ночь, почти не зная отдыха, и сложное дело ликвидации так быстро подвигается в его энергичных руках, как будто вею жизнь он занимался только этим. Мне нравится его размах и великолепное презрение к мелочам: в запутанных случаях он выбрасывает спорные миллионы с легкостью и грацией вельможи... Но он очень устал, его глаза кажутся теперь больше и темнее на бледном лице, и, кроме того, – как я только теперь узнал от Марии – его мучат частые головные боли.

Мои жалобы на жизнь, боюсь, не вызвали в нем особенного сочувствия. Какие обвинения я ни возводил на человека и его жизнь, Магнус нетерпеливо соглашался:

– Да, да, Вандергуд, это и есть – быть человеком. Ваше несчастье в том, что вы догадались об этом несколько поздно и теперь излишне волнуетесь. Когда вы испытаете хоть часть того, что теперь так пугает вас, вы будете говорить иначе. Впрочем, я радуюсь, что равнодушие уже оставило вас: вы стали значительно нервнее и подвижнее. Но откуда в ваших глазах этот чрезмерный страх? Встряхнитесь, Вандергуд!

Я засмеялся.

– Благодарю вас, я уже встряхивался. По-видимому, это смотрит из моего глаза раб, ожидающий плети... потерпите, Магнус, я еще не совсем привык. Скажите, мне придется совершать или совершить... убийство?

– Очень возможно.

– А вы не скажете мне, как это происходит?

Мы оба одновременно взглянули на его большие белые руки, и Магнус ответил слегка иронически:

– Нет, этого я вам не скажу. Но если хотите, я расскажу вам другое: о том, что значит до конца принять человека, – ведь именно это вас волнует?

И с большой холодностью, с каким-то тайным нетерпением, как будто другая мысль поглощала все его внимание, он коротко рассказал мне об одном невольном и страшном убийце. Не знаю, передавал ли он факт или нарочно для меня сочинил эту мрачную побасенку, но дело заключалось в следующем. Это было давно; один русский, политический ссыльный, человек очень образованный и в то же время религиозный, что еще встречается в России, бежал с каторги и, после долгого и мучительного блуждания по сибирским лесам, нашел приют у каких-то сектантов-изуверов. Огромные бревенчатые свежие хижины в дремучем лесу, высокие заборы, огромные бородатые люди, огромные злые собаки – что-то в этом роде.

И как раз в его присутствии должно было совершиться чудовищное преступление: эти сумасшедшие мистики под влиянием каких-то диких религиозных представлений должны были заковать невинного агнца, то есть на самодельном алтаре, при пении гимнов, убить ребенка. Всех мучительных подробностей Магнус не передал, ограничившись только кратким указанием, что это был семилетний мальчик в новой рубашечке и что здесь же присутствовала его еще молодая мать. Все разумные доводы, все убеждения ссыльного, что они готовятся свершить величайшее кощунство, что не милость господня ждет их, а страшнейшее мучение ада, оказались бессильны перед тупым и страстным упорством фанатиков. Он становился на колени, умолял, плакал, хватался рукою за нож – в эту минуту жертва, уже обнаженная, лежала на столе и мать старалась утишить ее слезы и крики, – но этим привел фанатиков только в бешенство: они пригрозили убить и его... Магнус взглянул на меня и как-то особенно холодно и медленно произнес:

– А как бы вы поступили в этом случае, мистер Вандергуд?

– Конечно, я боролся бы, пока не был бы убит!

– Да? Он поступил лучше. Он предложил свои услуги и своей рукою, при соответствующем пении, перерезал мальчику горло. Вас это удивляет? Но он сказал: лучше на себя возьму этот страшный грех и кару за него, нежели отдам аду этих невинных глупцов. Конечно, такие вещи случаются только с русскими, и мне кажется, что и сам он был несколько сумасшедшим. Он и умер впоследствии в сумасшедшем доме.

После некоторого молчания я спросил:

– А как бы вы поступили, Магнус?

И еще холоднее он ответил:

– Право, не знаю. Это зависело бы от минуты. Очень возможно, что просто ушел бы от этих зверей, но возможно, что и... Человеческое безумие весьма заразительно, м-р Вандергуд!

– Вы называете это только безумием?

– Я сказал: человеческое безумие. Но здесь дело в вас, Вандергуд: как вам это нравится? Я иду работать, а вы подумайте, где граница человеческого, которое вы сполна хотите принять, и потом скажите мне. Ведь вы не раздумали, надеюсь, остаться с нами?

Он усмехнулся с снисходительной ласковостью и вышел, а я остался думать. И вот думаю: где граница?

Признаюсь еще, что я начал как-то нелепо побаиваться Фомы Магнуса... или и этот страх – один из новых даров моей полной человечности? Но когда он так говорит со мною, мною овладевает странное смущение, мои глаза робко мигают, моя воля сгибается, как будто на нее положили неизвестный мне, но тяжелый груз. Подумай, человеке: я с почтением жму его большую руку и радуюсь его ласке! Раньше этого не было со мною, но теперь при каждом разговоре я ощущаю, что этот человек во всем может идти дальше меня.

Боюсь, что я ненавижу его. Если я не испытывал еще любви, то я не знаю и ненависти, и так странно будет, если ненависть я должен буду начать с отца Марии!.. В каком тумане мы живем, человеке! Вот я произнес имя Марии, вот духа моего коснулся ее ясный взор, и уже погасла и ненависть к Магнусу (или я выдумал ее?), и уже погас страх перед человеком и жизнью (или я выдумал и это?), и великая радость, великий покой нисходят на мою душу.

Будто снова я белая шхуна на зеркальном океане. Будто, все ответы я держу в своей руке и мне только лень разжать ее и прочесть. Будто вернулось ко мне бессмертие мое... ах, я больше не могу говорить, человеке! Хочешь, я крепко пожму твою руку?

4 апреля 1914 г.

Добрейший Топпи одобряет все мои поступки. Он очень развлекает меня, этот добрейший Топпи. Как я и ожидал, он совершенно забыл свое истинное происхождение: все мои напоминания о нашем прошлом он считает шуткой, иногда смеется, но чаще обиженно хмурится, так как очень религиозен, и даже шуточное сопоставление его с «рогатым» чертом кажется ему оскорбительным, – он сам убежден теперь, что черти рогаты. Его американизм, вначале бывший бледным и слабым, как карандашный набросок, теперь налился красками, и я сам готов поверить всей чепухе, которую Топпи выдает за свою жизнь, – так она искренна и убедительна. По его словам, он служит у меня уже около пятнадцати лет, и особенно смешно послушать его рассказы о моей молодости.

По-видимому, и его коснулись чары Марии: мое решение отдать все деньги ее отцу удивило его меньше, нежели я ожидал. С минуту он молча пососал свою сигару и спросил:

– А что он будет делать с вашими деньгами?

– Не знаю, Топпи.

Он удивленно и хмуро поднял брови:

– Вы шутите, м-р Вандергуд?

– Видишь ли, Топпи: пока мы, то есть Магнус занят тем, что все мое состояние превращает в золото и распикивает его по банкам – на свое имя, ты понимаешь?

– О! Как не понять, м-р Вандергуд.

– Это предварительные, необходимые шаги. А что будет дальше... я пока еще не знаю.

– О! Вы опять шутите?

– Вспомни, старина, что я и сам не знал, что мне делать с моими деньгами. Мне нужны не деньги, а новая деятельность: ты понимаешь? Магнус же знает. Мне еще неизвестен его план, но мне важно то, что сказал мне Магнус: я заставлю вас самого работать, Вандергуд! О, Магнус великий человек, ты это увидишь, Топпи!

Топпи хмуро ответил:

– Вы хозяин вашим деньгам, м-р Вандергуд.

– Ах, ты все забыл и все перепутал, Топпи! Но ты помнишь об игре? о том, что я хотел играть?

– Да, вы что-то говорили. Но мне и тогда казалось, что вы шутите.

– Нет, я не шутил, но я ошибся. Здесь играют, но это не театр. Это игорный дом, Топпи, и я отдаю деньги Магнусу: пусть он мечет банк. Ты понимаешь? Он банкомет, он создает всю игру, а я буду ставить... ну, жизнь, что ли!

Видимо, старый шут ничего не понял. С усилием раза три передвинув брови вверх и вниз, он вдумчиво спросил:

– А как скоро ваше венчание с синьориной Марией?

– Еще не знаю, Топпи. Но дело не в этом. Я вижу, ты чем-то недоволен. Ты не доверяешь Магнусу?

– О! Синьор Магнус достойный человек. Но одного я боюсь, м-р Вандергуд, если позволите быть откровенным: он человек неверующий. Мне это странно, как отец синьорины Марии может быть человеком неверующим, но это так. Позвольте спросить: вы что-нибудь дадите его преосвященству?

– Это теперь зависит от Магнуса.

– О! От синьора Магнуса? Так, так. А вы знаете, что его преосвященство уже был у синьора Магнуса? Приезжал на днях и пробыл в кабинете около часу, вас тогда не было дома.

– Нет, не знаю. Мы об этом еще не говорили, но ты не бойся: что-нибудь мы дадим твоему кардиналу. Сознайся, старина: ты совсем очарован этой старой обезьяной?

Топпи сурово взглянул на меня и вздохнул. Потом задумался... и странное дело! – в его чертах появилось что-то обезьянье, как у кардинала. Потом где-то очень глубоко в нем засветилась улыбка, озарила свисший нос, поднялась к глазам и вспыхнула в них двумя острыми огоньками, не лишенными блудливого ехидства. Я смотрел с удивлением и даже радостью: да это мой старый Топпи вылезал из своей человеческой могилы... убежден, что и волосы его вместо ладана снова пахнут мехом! С большой нежностью я поцеловал его в темя – старые привычки неискоренимы! – и воскликнул:

– Ты очарователен, Топпи! Но что так обрадовало тебя?

– Я все ждал, покажет ли он кардиналу Марию?

– Ну?

– Не показал!

– Ну?!

Но Топпи молчал. И тем же путем, как пришла, медленно исчезла усмешка: сперва потух и потемнел свисший нос, потом сразу погасли живые огоньки в глазах – и снова то же обезьянье уныние, кислота и запах церковного притвора погребли на мгновение воскресшего. Было бесполезно тревожить этот прах дальнейшими вопросами.

Это было вчера. Днем был теплый дождь, но к вечеру прояснело, и утомленный Магнус, – кажется, у него болела голова, – предложил втроем проехать в Кампанию. Как всегда бывало при наших интимных поездках, шофера мы не брали: его обязанности с необыкновенным искусством и смелостью исполнял Магнус. В этот раз свою обычную смелость он довел до дерзости: несмотря на сгущавшиеся сумерки и грязноватую дорогу, Магнус вел автомобиль с такой бешеной быстротой, что я не раз с беспокойством поглядывал на его широкую неподвижную спину. Но это было только вначале: близость Марии, которую я поддерживал рукою (не смею сказать: обнимал!), скоро привела меня к потере всех земных ощущений. Я не могу тебе рассказать, человеке, так хорошо, чтобы ты это почувствовал – ни о пахучем воздухе Кампании, который обвеивал мое лицо, ни о прелести и чарах стремительного бега, ни об этой потере материального веса, почти полном исчезновении тела, когда самому себе кажешься только стремящейся мыслью, летящим взглядом...

Но еще меньше я могу рассказать тебе о Марии. Ее лик Мадонны белел в сумерках, как мрамор; таинственным безмолвием мрамора, его совершенной красоты было ее кроткое, милое и мудрое молчание. Я еле касался рукою ее тонкого и гибкого стана, но если бы я обнимал и держал в руке всю твердь земную и небесную, я не испытал бы более полного чувства обладания всем миром\ Ты знаешь, что такое линия в мерах? Немного, правда. И всего только на линию склонялось ко мне божественное тело Марии, – нет, не больше! – но что бы ты сказал, человеке, если бы солнце, сойдя с своего пути всего на линию, на эту линию приблизилось к тебе? Разве ты не сказал бы, что это чудо?

Мое существование казалось мне необъятным, как вселенная, которая не знает ни твоего времени, ни твоего пространства, человеке! На мгновение мелькнула передо мною черная стена моего Беспамятства, та неодолимая преграда, пред которою смущенно бился дух вочеловечившегося, – и скрылась так же мгновенно: ее без шума и борьбы поглотили волны моего нового моря. Все выше

поднимались они, заливая мир. Мне уже нечего было ни вспоминать, ни знать: все помнила и всем владела моя новая человеческая душа. Я человек!

Откуда я выдумал, что я ненавижу Магнуса? Я взглянул на эту неподвижную, прямую твердую человеческую спину, подумал, что за нею бьется сердце, и о том, как трудно, больно и страшно ей быть прямой и твердой, и о том, сколько боли и страданий уже испытало это человеческое существо, как оно ни гордится и ни хмурится, – и вдруг почувствовал, что я до боли, до слез люблю Магнуса, вот этого Магнуса! Он так быстро едет и не боится! А в ту минуту, как я думал это, на меня обратились взоры Марии... ах, ночью они так же ясны, как и днем! Но теперь в них было легкое беспокойство, они спрашивали: о чем эти слезы?

Что мог я ответить какими-то дурацкими словами! Я молча взял руку Марии и приложил к губам. И все так же не сводя с меня своих ясных очей, светлея мрамором и холодом своего лица, она тихо отвела руку – я смутился – и вновь дала ее мне, сняв перчатку. Позволишь дальше не продолжать, человек? Я не знаю, кто ты, читающий эти строки, и немного боюсь тебя... твоей слишком быстрой и смелой фантазии, да и неудобно такому джентльмену, как я, рассказывать о своем успехе у дам. Тем более что и возвращаться пора: на горе уже заблестели огни Тиволи, и Магнус замедлил ход машины.

Обратно мы ехали совсем тихо, и повеселевший Магнус, вытирая платком потный лоб, изредка обращался к нам с короткими замечаниями. Не скрою одной своей мысли: ее несомненная человечность интересно отмечает всю полноту моего перерождения, – когда мы поднимались по широкой лестнице моего палаццо, среди его царственной красоты и богатства, я вдруг подумал: «А не послать ли мне к черту всю эту авантюру с человечностью? Просто – жениться и жить князем в этом дворце. Будет свобода, будут дети и их смех, будет простое земное счастье и любовь. Зачем я отдал деньги этому господину? Как глупо!»

Искоса я взглянул на Магнуса, – и он показался мне чужим: «отберу деньги!» Но дальше я увидел строгий лик моей Марии, – несоответствие ее любви с этим планом маленького скромненького счастья было так велико и разительно, что даже не потребовалось ответа. И сейчас эта мыслишка вспомнилась случайно, как один из курьезов «топпизма» – я буду называть это «топпизмом» в честь моего совершеннейшего Топпи.

И вечер был очарователен. По желанию Магнуса, Мария пела, и ты не можешь представить того благоговения, с каким слушал ее Топпи! Самой Марии он ничего не посмел сказать, но, уходя спать, долго и с выражением тряс мою руку, потом так же долго и с выражением раскачивал большую руку Магнуса. Я также поднялся, чтобы идти к себе.

– Вы еще будете работать, Магнус?

– Нет. Вы не хотите спать, Вандергуд? Пойдемте ко мне поболтаем. Кстати, вам надо подписать одну бумагу. Хотите вина?

– О! С удовольствием, Магнус. Я также люблю ночные беседы.

Мы выпили вина. Магнус, что-то насвистывая без звука, бесшумно ходил по ковру, я, по обыкновению, полулежал в кресле. Палаццо был безмолвен, как саркофаг, и это напомнило ту беспокойную ночь, когда за стеною бесновался сумасшедший Март. Вдруг Магнус громко сказал, не останавливаясь:

– Дело идет прекрасно.

– Да?

– Через две недели все будет кончено. Ваше пухлое и разбросанное состояние, в котором можно заблудиться, как в лесу, превратится в ясный, отчетливый и тяжелый золотой комок... вернее, в небольшую

гору. Вы точно знаете цифру ваших денег, Вандергуд?

– Оставьте, Магнус. Я не хочу знать. И это ваши деньги.

Магнус быстро взглянул на меня и резко подчеркнул:

– Нет, это ваши.

Я покорно пожал плечами: мне не хотелось спорить. Было так тихо, и мне так нравилось смотреть на этого сильно и бесшумно шагающего человека – я еще помнил его неподвижную и суровую спину, за которой впервые мне так ясно представилось его сердце. Он продолжал после некоторого молчания:

– Вы знаете, Вандергуд, что кардинал был здесь?

– Старая обезьяна? Знаю. Что ему понадобилось?

– То же. Он хотел видеть вас, но я не стал отрывать вас от ваших мыслей.

– Благодарю. Вы его выгнали?

Магнус сердито проворчал:

– К сожалению, нет. Не гримасничайте, Вандергуд.

Я уже говорил вам, что с ним необходимо быть осторожным, пока... мы здесь. Но в том, что он старая, бритая, негодная, злая, жадная, трусливая обезьяна, – вы совершенно правы!

– Ого! А выгнать нельзя?

– Нельзя.

– Я вам верю, Магнус. А чего надо этому королю, который благоволит на днях посетить нас?

– Экс-король? Вероятно, того же. Вы сами должны его принять, конечно.

– Но в вашем присутствии? Не иначе. Поймите, дорогой друг, что с той ночи я только ваш ученик. Вы находите, что нельзя выгонять старой обезьяны? Прекрасно, пусть остается. Вы говорите, что надо принять какого-то экс-короля? Прекрасно, примем. Но я позволю линчевать себя на первом фонаре, если я знаю, зачем это надо.

– Вы опять несерьезны, Вандергуд.

– Нет, я очень серьезен, Магнус. Но, клянусь вечным спасением, я решительно не знаю, что мы делаем и что будем делать? Я не упрекаю вас, я вас даже не спрашиваю: как я уже сказал, я вам верю и всюду следую за вами. Чтобы вы снова не упрекнули меня в легкомыслии и непрактичности, добавлю деловую подробность: залогом служит мне Мария и ее любовь. Да, я еще не знаю, куда вы обратите вашу волю, на что вы захотите истратить вашу энергию, в неистощимости которой я убеждаюсь с каждым новым днем, к каким замыслам и целям приведет вас или уже привел ваш опыт и ум, – но одно для меня несомненно: это будут огромные дела, это будут великие цели. И возле вас всегда найдется дело и для меня... во всяком случае, это будет лучше моих безмозглых старух и шести слишком умных секретарей. Почему вы не хотите верить в мою скромность, как я верю в ваш... гений? Вообразите, что я пришелец с какой-то другой планеты, с Марса, например, и теперь хочу самым серьезным образом проделать опыт человека... это очень просто, Магнус!

Несколько мгновений Магнус хмуро смотрел на меня – и вдруг рассмеялся:

– Нет, вы действительно пришелец с какой-то планеты, Вандергуд!.. А если ваше золото я употреблю на зло?

– Зачем? Разве это так интересно?

– Гхм... Вы думаете, что это неинтересно?

– Да и вы думаете так же. Для маленького зла вы слишком большой человек, как и миллиарды слишком большие деньги, а большое зло... честное слово, я еще не знаю, что это значит большое зло? Может быть, это значит: большое добро? Среди недавних моих размышлений, когда я... одним словом, пришла такая странная мысль: кто приносит больше пользы человеку: тот, кто ненавидит его, или тот, кто любит? Вы видите, Магнус, как я еще несведущ в человеческих делах и как я... готов на все.

Уже без смеха и с крайним, как мне показалось, любопытством Магнус всего меня измерял глазами, будто решая вопрос: сидит ли перед ним сплошной дурак или первейшая умница Америки. Судя по его вопросу, он был ближе ко второму мнению:

– Значит, если я верно понял ваши слова, – вас ничто не устроит, м-р Вандергуд?

– Думаю, что ничто.

– А убийство... много убийств?

– Вы помните, где вы наметили вашим рассказом о мальчике границу человеческого? Чтобы не произошло ошибки, я еще на несколько километров отодвинул ее вперед – этого хватит?

В глазах Магнуса выразилось что-то вроде уважения... черт его возьми, однако! – он, кажется, действительно принимал меня за простофилю. Продолжая быстро ходить по комнате, он несколько раз пытливо, точно желая вспомнить и проверить мои слова, взглянул на меня – и быстрым движением коснулся моего плеча:

– Вы занятная голова, Вандергуд. Жаль, что я не знал этого раньше.

– Почему жаль?

– Так, пустое. Нет, мне интересно, как вы будете говорить с королем: наверное, он предложит вам очень большое зло. А большое зло – большое добро, не так ли? – Он рассмеялся и дружески кивнул мне:

– Не думаю. Скорее, он предложит мне большую глупость.

– Гхм!.. А большая глупость не есть ли большой ум? – И, он снова рассмеялся, но вдруг нахмурился и серьезно добавил: – Не обижайтесь, Вандергуд. Мне очень понравилось, что вы говорили, и это хорошо, что вы ни о чем меня не спрашиваете: сейчас я не мог бы ответить на ваши вопросы. Но кое-что могу сказать и сейчас... в общих чертах, конечно. Вы слушаете?

– С большим вниманием.

Магнус сел против меня и, отхлебнув вина, спросил с видом странной сосредоточенности:

– Как вы относитесь к взрывчатым веществам?

– С большим уважением.

– Да? Похвала холодная, но большего они и не стоят. А было время, когда я готов был молиться динамиту, как откровению... этот шрамик на лбу один из следов моего юношеского увлечения. С тех пор я сделал большие успехи в химии и во многом другом, – и это охладило мою страсть. Недостаток всякого взрывчатого вещества, начиная с пороха, заключается в том, что взрыв действует на ограниченном пространстве и поражает только ближайшие предметы: для войны этого, пожалуй, достаточно, но этого мало для более широких задач. Кроме того, как сила узкоматериальная, динамит или порох требует для себя непрерывно направляющей руки: сам по себе он глуп, слеп и глух, как крот. Правда в mine Уайтхеда есть попытка скопировать сознание, позволяющая снаряду самому исправлять свои небольшие ошибки и как бы видеть цель, но это лишь жалкая пародия на глаза...

– А вы хотели бы, чтобы ваш «динамит» имел сознание, волю и глаза?

– Вы правы, я этого хотел. И мой новый динамит все это имеет: волю, сознание и глаза.

– Я еще не знаю цели, но это... страшно.

Магнус хмуро улыбнулся:

– Страшно? Боюсь, однако, что ваш страх перейдет в смех, когда я назову вам имя моего динамита. Это человек. Вы еще не рассматривали человека под этим углом, Вандергуд?

– Сознаюсь, что нет. Как и динамит под углом психологии. Но мне вовсе не смешно.

– Химия! Психология! – сердито воскликнул Магнус. – Это все оттого, что знания разделены и рука с полными десятью пальцами сейчас редкость. Вы, и я, и ваш Топпи – все мы снаряды, одни уже начиненные и готовые, другие – еще нуждающиеся в зарядке. И весь вопрос в том, вы понимаете, как зарядить снаряд, а главное: как взорвать его? Вы знаете, конечно, что для различных препаратов требуются и особые способы взрыва.

Я не стану приводить здесь той лекции о взрывчатых веществах, что с величайшим жаром и увлечением прочел мне Магнус: мне впервые пришлось увидеть его в таком волнении. Несмотря на захватывающий интерес темы, как выражаются мои друзья-журналисты, я слушал только наполовину и больше разглядывал череп, вмещающий в себе столь обширные и опасные знания. В силу ли внушения, которое шло от Магнуса, или от простого утомления этот круглый череп, сверкающий огнями глаз, постепенно стал превращаться в моих глазах в настоящий взрывчатый снаряд, в готовую бомбу с светящимся фитилем... Я вздрогнул, когда Магнус небрежно бросил на стол тяжелый предмет, похожий на брусок серо-желтоватого мыла, и невольно вскрикнул:

– Что это?

– По виду – мыло или воск. По силе – это Дьявол. Достаточно половины этого бруска, чтобы стереть с поверхности храм святого Петра. Но это капризный Дьявол. Его можно бить, рубить на части, жечь в печке, и он останется безмолвным: динамитный патрон разорвет его, но не вызовет гнева. Я могу бросить его на улицу, под ноги лошадей, его будут грызть собаки, им станут играть дети, – и он останется равнодушным. Но стоит мне кольнуть его током высокого напряжения – и ярость его взрыва будет чудовищна, безмерна! Сильный, но глупый Дьявол!

С той же небрежностью, почти презрением Магнус бросил своего Дьявола обратно в ящик стола, откуда его достал, и сурово уставил на меня свои темные глаза. Я слегка развел бровями:

– Вижу, что вы знаете ваш предмет в совершенстве, и этот капризный дьявол мне очень нравится. Но я хотел бы слышать от вас о человеке.

Магнус засмеялся:

– А разве не о нем я говорил? Разве история этого куска мыла не есть история вашего человека, которого можно бить, жечь, рубить, бросать под ноги лошадей, отдавать собакам, разрывать на части, не вызывая в нем ни ярости, ни разрушающего гнева? Но кольните его чем-то – и его взрыв будет ужасен... как вам это известно, мой милый Вандергуд!

Он снова засмеялся и с наслаждением потер свои большие белые руки: едва ли он помнил в эту минуту, что на них уже есть человеческая кровь. Да и надо ли это помнить человеку? Помолчав, сколько требовало уважение к предмету, я спросил:

– А вам известно средство, как взрывать человека?

– Известно.

– А вы не нашли бы возможным сообщить его мне?

– К сожалению, это не так легко и не так удобопонятно, как ток высокого напряжения... пришлось бы слишком много говорить, дорогой Вандергуд.

– А коротко?

– А коротко... Надо обещать человеку чуда.

– И это все?

– И это все.

– Опять обман? Старая обезьяна?

– Опять обман. Но не старая обезьяна, не крестовые походы, не бессмертие на небе. Теперь время иных чаяний и иных чудес. Он обещал воскресение всем мертвым, я обещал воскресение всем живым. За Ним шли мертвые, за мною... за нами пойдут живые.

– Но мертвые не воскресли. А живые?

– Кто знает? Надо сделать опыт. Я еще не могу посвятить вас в деловую сторону, но предупреждаю: опыт должен быть в очень широких размерах. Вас это не страшит, м-р Вандергуд?

Я неопределенно пожал плечами. Что мог я ответить? Этот господин, носящий на плечах бомбу вместо головы, снова расколол меня на две половины, из которых человек – увы! – был меньшей половиной. Как Вандергуд я испытывал – сознаюсь без стыда – жестокий страх и даже боль: как будто сила и ярость чудовищного взрыва уже коснулась моих костей и ломает их... ах, где же мое безоблачное счастье с Марией, где великое спокойствие, где эта чертова белая шхуна? Но как великое и бессмертное любопытство, как гений игры и вечного движения, как жадный взор никогда не закрывающихся глаз я почувствовал – сознаюсь также без стыда – сильнейшую радость, почти восторг! И, ежась от сладкого холода, я невольно пробормотал:

– Как жаль, что я не знал этого раньше.

– Почему жаль?

– Так, пустое. Не забывайте, что я пришлец с другой планеты и только знакомлюсь с человеком. Так как же мы поступим с этой планетой, Магнус?

Он снова рассмеялся:

– Вы большой чудак, Вандергуд! С этой планетой? Мы устроим на ней небольшой праздник. Но довольно шуток, я их не люблю. – Он сердито нахмурился и строго, как старый профессор, посмотрел на меня... Манеры этого господина не отличались легковесностью. Когда ему показалось, что я стал достаточно серьезен, он благосклонно кивнул головой и спросил: – Вы знаете, Вандергуд, что вся Европа сейчас в очень тревожном состоянии?

– Война?

– Возможно, что и война, ее все тайно ожидают. Но война, как преддверие в царство чуда. Понимаете: мы слишком долго живем простой таблицей умножения, мы устали от таблицы умножения, нас охватывают тоска и скука от этого слишком прямого пути, грязь которого теряется в бесконечности. Сейчас мы уже все хотим чуда, а скоро наступит день, когда мы потребуем чуда немедленно! Не я один хочу опыта в больших размерах – его готовит сам мир... ах, Вандергуд, поистине не стоило бы жить, если бы не эти крайне любопытные моменты! Крайне любопытные! – Он жадно потер руки.

– Вы довольны?

– Как химик, я в восторге. Мои снаряды уже начинены, сами того не зная, – но они узнают это, когда я приложу мой фитиль к затравке. Вы представляете себе это зрелище, когда начнет взрываться мой динамит с его сознанием, волей и глазами, находящими цель?

– А кровь? Быть может, мое напоминание неуместно, но когда-то вы с большим волнением говорили о крови.

Магнус остановил на мне долгий взгляд: что-то вроде страдания выразилось в его глазах. Но это не было страдание совести или жалости – это была боль взрослого и умного человека, мысли которого перебиты глупым вопросом ребенка:

– Кровь? – сказал он. – Какая кровь?

Я повторил ему тогдашние его слова и рассказал мой странный и неприятный сон о бутылках, наполненных кровью вместо вина и так легко бьющихся. Утомленно, с закрытыми глазами, он выслушал мой рассказ и продолжительно вздохнул.

– Кровь! – пробормотал он. – Кровь! Это глупости. Тогда я много наболтал вам пустяков, Вандергуд, и их не следует вспоминать. Впрочем, если это страшит вас, то еще не поздно.

Я решительно возразил:

– Меня ничто не страшит. Как уже сказано, я всюду иду за вами. Это протестует моя кровь – понимаете? – а не сознание и воля. Вероятно, я буду первым, кого вы обманете: я также хочу чуда. Разве не чудо – ваша Мария? За эти дни и ночи я повторил всю таблицу умножения, и она мне ненавистна, как тюремная решетка. С точки зрения вашей химии я вполне начинен и прошу вас только об одном: поскорее взорвите меня!

Магнус сурово согласился:

– Хорошо. Через две недели. Вы довольны?

– Благодарю вас. Могу я надеяться, что тогда и синьорина Мария станет моей женою?

Магнус усмехнулся:

– Мадонна?

– О! Я не понимаю вашей улыбки... и она не вполне совместна с моим уважением к вашей дочери, синьор Магнус.

– Не волнуйтесь, Вандергуд. Моя улыбка относилась не к Марии, а к вашей вере в чудеса. Вы славный малый, Вандергуд, я начинаю любить вас, как сына. Через две недели вы получите все, и тогда мы заключим новый и крепкий союз. Вашу руку, товарищ!

Впервые он так дружески и крепко жал мою руку. Если бы на его плечах была не бомба, а простая человеческая голова, я, пожалуй, поцеловал бы его... но прикладываться к бомбе! При всем уважении!

Это первая ночь, когда я спал как убитый и каменные стены дворца не давили на меня. Стены уничтожила взрывчатая сила слов Магнуса, а крыша растаяла под высоким звездным покровом Марии: в ее царство безмятежности, любви и покоя унеслась моя душа. Гора Тиволи и ее огоньки – вот что я видел, засыпая.

8 апреля,

Рим

Прежде чем постучаться ко мне, его величество экс-король Э. обил немало порогов в Европе. Верный примеру своих апостолических предков, веривших в золото Израиля, он с особой охотой прибегал к еврейским банкирам: кажется, и я был обязан честью посещения его непоколебимой уверенности, что я также иудей. Хотя его величество пребывал в Риме инкогнито, я, предупрежденный о визите, встретил его на нижней ступени лестницы и поклонился очень низко, – кажется, так полагается по этикету. Затем, по тому же этикету, мы представили друг другу: он – своего адъютанта, я – Фому Магнуса.

Сознаюсь, я не был высокого мнения о бывшем короле, и тем более поразил он меня своим высоким мнением о себе. Он вежливо, но с таким великолепным пренебрежением подал мне руку, он с такой спокойной уверенностью смотрел на меня как на существо низшего порядка, он так естественно шагал впереди меня, садился без приглашения, по-королевски откровенно рассматривал стены и мебель, что вся моя неловкость от незнания этикета мгновенно исчезла: надо только следовать за этим малым, который так прекрасно все знает. По виду это был еще совсем молодой человек с несвежим цветом лица и великолепной прической, в меру истасканный, достаточно сохранившийся, с глазами бесцветными и спокойными и надменно выдвинутой нижней губой. Прекрасны были его руки. Он нисколько не скрывал, что мое американское лицо, казавшееся ему еврейским, и необходимость просить у меня денег наводили на него непроходимую скуку: он слегка зевнул, усевшись в кресло, и сказал:

– Садитесь же, господа.

И легким жестом предложил своему адъютанту изложить причину посещения.

На Магнуса он не обращал никакого внимания и, пока толстый, красневший, любезный адъютант вкрадчиво повествовал о «недоразумении», удалившем его величество из отечества, – спокойно и скучно рассматривал свои ногти. Наконец перебил плавную речь своего поверенного нетерпеливым замечанием:

– Говорите короче, маркиз. Мистер... Вандергуд не хуже нас с вами знает эту историю. Одним словом, эти дураки выгнали меня. Как вы смотрите на это, милейший Вандергуд?

Как я смотрю на это? Я низко поклонился:

– Я рад служить вашему величеству.

– Ну да, это все говорят. Но дадите ли вы мне денег? Продолжайте, маркиз.

Маркиз, нежно улыбнувшись мне и Магнусу (несмотря на толщину, у него был очень голодный вид), продолжал плести свое тончайшее кружево о «недоразумении», пока заскучавший король снова не прервал его:

– Понимаете: эти глупцы думают, что все их несчастья от меня. Не правда ли, как это глупо, м-р Вандергуд? А теперь им стало еще хуже, и они пишут: возвращайтесь, Бога ради, мы погибаем! Прочтите письма, маркиз.

Вначале король говорил с некоторым оживлением, но, видимо, всякое усилие быстро утомляло его. Маркиз послушно достал из портфеля пачку бумаг и довольно долго мучил нас жалобами осиротевших подданных, умолявших своего господина вернуться. Я смотрел на короля: он скучал не меньше нас. Ему так ясно было, что народ не может существовать без него, что всякие подтверждения казались излишними... а мне было так странно: откуда у этого ничтожного человека так много этой счастливой уверенности? Не

было сомнения, что этот цыпленок, не умеющий сам найти и зерна, искренне верит в особые свойства своей личности, способной дать целому народу чаемые блага. Глупость? Воспитание? Привычка? А в эту минуту маркиз читал: стенание какого-то корреспондента, где сквозь официальную бездарность и ложь, пышных выражений сквозила та же уверенность и искренний призыв. Также глупость и привычка?

– И так далее, и так далее, – равнодушно прервал чтение король, – Достаточно, маркиз, закройте ваш портфель. Так как же вы смотрите на это, любезный Вандергуд?

– Осмелюсь сказать вашему величеству, что я представитель старой демократической республики и...

– Оставьте, Вандергуд! Республика, демократия! Это глупости. Вы сами хорошо знаете, что король всегда необходим. У вас, в Америке, также будет король. Как можно без короля: кто же ответит за них Богу? Нет, это глупости.

Этот цыпленок собирался отвечать Богу за людей! А он продолжал все так же спокойно и невозмутимо:

– Король все может. А что может президент! Ничего. Вы понимаете, Вандергуд: ни-че-го! Зачем же вам президент, который ничего не может? – Он соблаговолил сделать нижней губой насмешливую улыбку. – Это все глупости, это газеты выдумали. Разве вы сами станете слушаться вашего президента, м-р Вандергуд?

– Но народное представительство...

– Фи! Извините, м-р... Вандергуд (он с трудом вспомнил мое имя), но какой же глупец станет слушаться какого-то народного представительства? Гражданин А. будет слушаться гражданина Б., а гражданин Б. будет слушаться гражданина А., не так ли? А кто же их заставит слушаться, если они оба умные? Нет, я также изучал логику, м-р Вандергуд, и вы мне позволите немного посмеяться!

Он немного посмеялся и сделал привычный жест рукою:

– Продолжайте, маркиз... Нет, впрочем, я буду сам. Король может все, вы понимаете, Вандергуд?

– Но закон...

– Ах, и этот чудака о законе – вы слышите, маркиз? Нет, я решительно не понимаю, зачем им всем так понадобился этот закон! Чтобы всем было одинаково плохо?.. Извините, но вы очень эксцентричны, м-р Вандергуд. Впрочем, если вы уж так хотите, пусть будет закон, но кто же вам его даст, если не я?

– Но народное представительство...

Король почти с отчаянием поднял на меня свои бесцветные глаза:

– Ах, опять этот гражданин А. и Б.! Но поймите же, любезный Вандергуд: какой же это закон, если они сами его делают? Какой же умный человек станет его слушаться?

Нет, это глупости. Неужели вы сами слушаетесь вашего закона, Вандергуд?

– Не только я, ваше величество, но вся Америка...

Он с сожалением измерял меня глазами:

– Извините, но я этому не верю. Вся Америка! Ну, значит, они просто не понимают, что такое закон, – вы слышите, маркиз, вся Америка! Но дело не в этом. Мне надо вернуться, Вандергуд, вы слышали, что они пишут, бедняги?

– Я счастлив видеть, что дорога вам открыта, государь.

– Открыта? Вы думаете? Гхм! Нет, мне надо денег. Одни пишут, а другие не пишут, вы понимаете?

– Может быть, они просто не умеют писать, государь?

– Они-то?! Ого!! Вы посмотрели бы, что они писали против меня, я был даже расстроен. Их просто надо расстрелять.

– Всех?

– Почему всех? Некоторых довольно. Другие просто испугаются. Понимаете, Вандергуд, они просто украли у меня власть и теперь, конечно, не захотят отдать. Не могу же я сам следить, чтобы меня не обкрадывали? А эти господа, – он кивнул на покрасневшего маркиза, – не сумели, к сожалению, оберечь меня.

Маркиз смущенно пробормотал:

– Государь!..

– Ну, ну, я знаю твою преданность, но ты же прозевал, это правда? А теперь столько хлопот, сколько хлопот! – Он слегка вздохнул. – Вам не говорил кардинал Х., что мне надо дать денег, м-р Вандергуд? Он обещал сказать. Конечно, я потом все возвращу и... но об этом вам следует поговорить с маркизом. Я слышал, что вы очень любите людей, м-р Вандергуд?

По мрачному лицу Магнуса пробежала легкая усмешка. Я молча поклонился.

– Мне говорил кардинал. Это очень похвально, м-р Вандергуд. Но если вы любите людей, то непременно дадите мне денег, я не сомневаюсь. Им необходим король, газеты говорят глупости. Почему в Германии король, в Англии король, в Италии король и еще сто королей, а у нас не нужен король?

Адъютант пробормотал:

– Недоразумение...

– Конечно, недоразумение, маркиз прав. Газеты называют это революцией, но лучше поверьте мне, я знаю мой народ: это простое недоразумение. Теперь они сами плачут. Как можно без короля? Тогда совсем не было бы королей, вы понимаете, какие глупости! Они ведь говорят, что можно и без Бога. Нет, надо пострелять, пострелять!

Он быстро встал и в этот раз с благосклонной улыбкой пожал мою руку и кивнул головой Магнусу.

– До свидания, до свидания, любезный Вандергуд. У вас прекрасная фигура... о, какой молодец! На этих днях маркиз заедет к вам. Что я еще хотел сказать? Ах да: желаю вам, чтобы и у вас в Америке был поскорее король... Это необходимо, мой друг, этим все равно кончится! О ревуар!

С тем же торжеством мы проводили его величество до выходной двери. Маркиз следовал сзади, и в его наклоненной голове, точно разрубленной до шеи пробором среди реденьких волос, в ее покрасневшей коже выражались голод и чувство постоянной неудачи... ах, он уже столько раз и так бесплодно говорил о «недоразумении»! Что-то вспомнилось и королю о бесплодно обитых порогах: его бескровное лицо снова залилось серой скукой, и на мой последний поклон он удивленно вскинул глаза, откровенно выражавшие: что еще надо этому дураку? Ах да, у него деньги. И лениво попросил:

– Так не забудьте же, м-р... любезнейший!

А автомобиль был великолепен, и так же великолепен был рослый гайдук, похожий на переодетого жандарма. Когда мы поднялись по лестнице (среди наших почтительных лакеев, смотревших на меня как на коронованную особу) и вошли к себе, Магнус погрузился в долгое и ироническое молчание. Я спросил:

– Сколько лет этому цыпленку?

– А вы этого не знали, Вандергуд? Плохо. Ему тридцать два года. Кажется моложе.

– Кардинал действительно говорил о нем и просил дать денег?

– Да. То, что останется после самого кардинала.

– Почему они так цепляются за монархию?

– Вероятно, потому, что монархический образ правления и на небе. Вы можете представить себе республику святых и управление миром на основе выборного права? Подумайте, что тогда и черти получат право голоса. Король необходим, Вандергуд, поверьте.

– Вздор! Этот не стоит даже шулки.

– Я не шучу. Вы ошибаетесь. И, простите за прямоту, мой друг: в своих суждениях о короле он в этот раз был выше вас. Вы видели только цыпленка, образ, узкоматериальный и только смешной, – он самосозерцал себя, как символ. Оттого он так спокоен, и, нет сомнения, – он вернется к своему излюбленному народу.

– И постреляет?

– И постреляет и напугает. Ах, Вандергуд, как вы упорно не хотите расстаться с таблицей умножения! Ведь ваша республика есть простая таблица, а король, – вы чувствуете, – а король чудо! Что проще, глупее и безнадежнее, как миллион бородатых людей, управляющих собою, – и как удивительно, как чудесно, когда этим миллионом бородачей управляет цыпленок! Это чудо! И какие возможности открываются при этом! Мне было смешно, когда вы, даже с чувством, упомянули закон, эту мечту дьявола. Король необходим как раз для того, чтобы нарушать закон, чтобы была воля, стоящая выше закона!

– Но законы меняются, Магнус.

– Менять значит подчиняться только необходимости и новому закону, которого раньше вы не знали. Только нарушая закон, вы ставите волю выше. Докажите, что Бог сам подчинен своим законам, то есть, попросту говоря, не может свершить чуда, – и завтра ваша бритая обезьяна останется в одиночестве, а церкви пойдут под манежи. Чудо, Вандергуд, чудо – вот что еще держит людей на этой проклятой земле!

При этих словах Магнус с силой ударил по столу сжатым кулаком. Лицо его было мрачно, в темных глазах горело необычное возбуждение. Точно угрожая кому-то, он продолжал:

– Вот он верит в чудо, и я завидую ему. Он ничтожен, он действительно только цыпленок, но он верит в чудо – и он уже был королем и будет королем! А мы!..

Он презрительно махнул рукой и заходил по ковру, как рассерженный капитан по палубе своего корабля. Я с почтением глядел на его тяжелую взрывчатую голову и сверкающие глаза: только впервые мне ясно представилось, сколько сатанинского честолюбия таил в себе этот странный господин. «А мы!» Мой взгляд был замечен Магнусом и вызвал гневный окрик:

– Что вы так смотрите на меня, Вандергуд? Глупо! Вы думаете о моем честолюбии? Глупо, Вандергуд! Разве вам, господин из Иллинойса, также не хотелось бы стать... ну хотя бы императором России, где воля пока еще выше закона?

– А на какой престол метите вы, Магнус? – отозвался я, уже не скрывая иронии.

– Если вам угодно так лестно думать обо мне, мистер Вандергуд, то я мечу выше. Глупости, товарищ! Лишь бескровные моралисты никогда не мечтали о короне, как одни евнухи никогда не соблазнялись мыслью о насилии над женщиной. Вздор! Но я не хочу престола, даже русского: он слишком тесен.

– Но есть еще один престол, сеньор Магнус: Господа Бога.

– Почему же только Господа Бога? А про Сатану вы извоили забыть, м-р Вандергуд?

И это было сказано Мне... или уже вся улица знает, что престол мой вакантен?! Я почтительно склонил голову и сказал:

– Позвольте мне первому приветствовать вас...– ваше величество.

Магнус свирепо взглянул на меня и оскалился, как собака над спорной костью. И эта сердитая крошка хочет быть Сатаной! И эта щепотка земли, которой едва хватит Дьяволу на одну понюшку, мечтает венчаться моей короной! Я еще ниже опустил голову к потупил глаза: я чувствовал, как разгорается в них лучистое пламя презрения и божественного смеха, и этого смеха не должен был знать мой почтенный преемник. Не знаю, сколько времени мы молчали, но когда наши взоры снова встретились, они были ясны, чисты и невинны, как два луженых таза в тени. Но первый заговорил Магнус.

– Итак? – сказал он.

– Итак, – ответил я.

– Прикажете дать денег королю?

– Деньги в вашем распоряжении, дорогой друг.

Магнус задумчиво посмотрел на меня.

– Не стоит, – решил он. – Это слишком старое чудо, надо слишком много полиции, чтобы в него поверили. Мы сотворим чудо получше.

– О, без сомнения! Мы сотворим гораздо лучше. Через две недели?

– О да, приблизительно! – любезно ответил Магнус.

Расставаясь, мы обменялись горячим рукопожатием, а часа через два милостивейший король прислал нам по ордену: мне – какую-то звезду, Магнусу – что-то вообще. Мне стало немного жаль бедного идиота, продолжавшего игру в одиночку.

16 апреля,

Рим

Мария слегка нездорова, и я почти не вижу ее. Про ее нездоровье мне доложил Магнус – и солгал: он почему-то не хочет, чтобы я виделся с нею. Чего он боится? И опять у него, в мое отсутствие, был кардинал Х. О «чуде» мне ничего не говорят.

Но я терпелив – и жду. Вначале это показалось мне несколько скучным, но на днях я нашел новое развлечение, и теперь я даже доволен. Это – римские музеи, в которых я провожу каждое утро как добросовестный американец, недавно научившийся отличать живопись от скульптуры. Но со мной нет Бедекера, и я странно счастлив, что решительно ничего не понимаю в этом деле: мраморе и картинах. Мне просто нравится все это.

Мне нравится, что в музеях так хорошо пахнет морем. Почему морем? – я не знаю: море далеко, и я скорее ждал запаха гнили. И там так просторно – просторнее, нежели в Кампанье. В Кампанье я вижу только пространство, по которому бегают поезда и автомобили, здесь я плаваю во времени. Здесь так много зато времени! И еще мне нравится, что здесь так почтительно сохраняют обломок мраморной ноги, какую-то каменную подошву с кусочком пятки. Как осел из Иллинойса, я совершенно не понимаю, что в ней хорошего, но уже верю, что это хорошо, и меня трогает твоя осторожная бережливость, человеке. Береги! Ломай живые ноги, это ничего, но эти ты должен сохранять. Очень хорошо, когда две тысячи лет живые, умирающие, постоянно меняющиеся люди берегут холодный осколочек мраморной ноги.

Когда с римской улицы, где каждый камешек залит светом апрельского солнца, я вхожу в тенистый музей, его прозрачная и ровная тень мне кажется особым светом, более прочным, нежели слишком экспансивные солнечные лучи. Насколько помню, именно так должна светиться вечность. И эти мраморы! Они столько поглотили солнца, как англичанин виски, прежде чем их загнали сюда, что теперь им не страшна никакая ночь... и мне возле них не страшно проклятой ночи. Береги их, человеке!

Если это называется искусство, то какой же ты, Вандергуд, осел! Конечно, ты культурен, ты почтительно смотрел на искусство, но как на чужую религию и понимал в ней не больше, чем тот осел, на котором мессия вступал в Иерусалим. А вдруг пожар? Вчера эта мысль весь день тревожила меня, и я пошел с нею к Магнусу. Но он слишком занят чем-то другим и долго не понимал меня.

– В чем дело, Вандергуд? Вы хотите застраховать Ватикан – или что? Скажите яснее.

– О! Застраховать! – воскликнул я с негодованием. – Вы варвар, Фома Магнус!

Наконец он понял. Улыбнувшись весьма добродушно, он потянулся, зевнул и положил перед моим носом какую-то бумажку.

– А вы действительно господин с Марса, милый Вандергуд. Не возражайте и лучше подпишите эту бумажку. Последняя.

– Подпишу, но с одним условием. Ваш взрыв не коснется Ватикана?

Он снова усмехнулся:

– А вам жаль? Тогда лучше не подписывайте. Вообще, если вам чего-нибудь жаль – чего бы то ни было, Вандергуд, – он нахмурился и сурово посмотрел на меня, – то лучше расстанемся, пока не поздно. В моей игре нет места для жалости, и моя пьеса не для сентиментальных американских мисс.

– Если вам угодно...– Я подписал бумагу и отбросил ее. – Но, кажется, вы не на шутку вступили в обязанности Сатаны, дорогой Магнус!

– А разве у Сатаны есть обязанности? Жалкий Сатана. Тогда я не хочу быть Сатаной.

– Ни жалости, ни обязанностей?

– Ни жалости, ни обязанностей.

– А что же тогда?

Он быстро взглянул на меня блестящими глазами и ответил одним коротким словом, рассекшим воздух перед моим лицом:

– Воля.

– И... и ток высокого напряжения?

Магнус снисходительно улыбнулся:

– Я очень рад, что вы так хорошо запомнили мои слова, Вандергуд. Это может вам пригодиться в свое время.

Проклятая собака! Мне так захотелось ударить его, что я – поклонился особенно вежливо и низко. Но он удержал меня, радушным жестом указывая на кресло:

– Куда же вы, Вандергуд? Посидите. Последнее время мы так мало видимся. Как ваше здоровье?

– Благодарю вас, чудесно. А как здоровье синьорины Марии?

– Все еще неважно. Но это пустяки. Еще несколько дней ожидания, и вы... Так вам понравились музеи, Вандергуд? Когда-то и я отдал им много времени и чувства. Да, помню, помню... Вы не находите, Вандергуд, что человек в массе своей существо отвратительное?

Я удивленно поднял глаза:

– Я не вполне понимаю этот переход, Магнус. Наоборот, музеи открыли мне человека с новой и довольно приятной стороны...

Он засмеялся:

– Любовь к людям?.. Ну, ну, не сердитесь на шутку, Вандергуд. Видите ли: все, что делает человек, прекрасно в наброске – и отвратительно в картине. Возьмите эскиз христианства с его Нагорной проповедью, лилиями и колосьями, как он чудесен! И как безобразна его картина с пономарями, кострами и кардиналом Х.! Начинает гений, а продолжает и кончает идиот и животное. Чистая и свежая волна морского прибоя ударяет в грязный берег – и, грязная, возвращается назад, неся пробки и скорлупу. Начало любви, начало жизни, начало Римской империи и великой революции – как хороши все начала! А конец их? И если отдельному человеку удавалось умереть так же хорошо, как он родился, то массы, массы, Вандергуд, всякую литургию кончают бесстыдством!

– О! А причины, Магнус?

– Причины? По-видимому, здесь сказывается самое существо человека, животного, в массе своей злого и ограниченного, склонного к безумию, легко заражаемого всеми болезнями и самую широкую дорогу кончающего неизбежным тупиком. И оттого так высоко над жизнью человека стоит его искусство!..

– Я не понимаю.

– Что же здесь непонятного? В искусстве гений начинает и гений кончает. Вы понимаете: гений! Болван, подражатель или критик бессилён что-нибудь изменить или испортить в картинах Веласкеса,

скульптуре Андже́ло или стихах Гомера. Он может их уничтожить, разбить, сжечь, сломать, но принизить их до себя не в силах – и оттого он так ненавидит истинное искусство. Вы понимаете, Вандергуд? Его лапа бессильна!

Магнус помотал в воздухе белой рукой и рассмеялся.

– Но почему же он так тщательно охраняет и бережет?..

– Это не он охраняет и бережет. Это делает особая порода верующих сторожей. – Магнус снова рассмеялся. – А вы заметили, как им неловко в музее?

– Кому им?

– Ах, ну этим, которые приходят смотреть! Но самое смешное в этой истории не то, что дурак – дурак, а то, что гений неуклонно обожает дурака под именем ближнего и страстно ищет его убийственной любви. Самым диким образом гений не понимает, что его настоящий ближний – такой же гений, как и он, и вечно раскрывает свои объятия человекоподобному... который туда и лезет охотно, чтобы вытащить часы из жилетного кармана! Да, милый Вандергуд, это очень смешная история, и я боюсь...

Он умолк и задумался, тяжело глядя в пол: так, вероятно, смотрят люди в глубину собственной могилы. И я понял, чего боялся этот гений, и еще раз преклонился перед этим сатанинским умом, знавшим в мире только себя и свою волю. Вот Бог, который даже с Олимпом не пожелает разделить своей власти! И сколько презрения к человечеству! И какое открытое пренебрежение ко мне! Вот проклятая щепотка земли, от которой способен расчихаться даже дьявол!

И ты знаешь, чем кончил я этот вечер? Я взял за шиворот моего благочестивого Топпи и пригрозил его застрелить, если он не напьется вместе со мною, – и мы напились! Началось это в каком-то грязненьком «Гамбринусе» и продолжалось в ночных темных тавернах, где я щедро поил каких-то черноглазых бандитов, мандолинистов и певцов, певших мне про Марию: я пил, как ковбой, попавший в город после годичной трезвой работы. Долой музеи! Помню, я много кричал и размахивал руками, но еще никогда я не любил мою чистую Марию так нежно, так сладко и больно, как в этом угарном чаду, пропитанном запахами вина, апельсинов и какого-то горящего сала, в этом диком кругу чернобородых, вороватых лиц и жадно сверкающих глаз, среди мелодичного треньканья мандолин, открывшего мне самую преисподнюю рая и ада!

Смутно помню каких-то ласковых, но торжественных убийц, которых я целовал и прощал во имя Марии. Помню, что я предлагал всем идти пьянствовать в Колизей, на то самое место, где когда-то умирали мученики, но не знаю, почему это не вышло, – кажется, по техническим затруднениям. Но как хорош был Топпи! Вначале он напивался долго и молча, как архиепископ. Потом вдруг стал показывать интересные фокусы. Поставил себе на нос огромную фляжку кианти и весь облился красным вином. Пробовал передергивать карты, но был немедленно уличен ласковыми убийцами, с блеском исполнившими тот же фокус. Ходил на четвереньках, пел в нос какие-то духовные стихи, плакал и вдруг откровенно заявил, что он – Черт.

Домой мы шли пешком, шатаясь по всей улице, стучаясь о стены и фонари и блаженствуя, как два студента. Топпи пробовал задира́ть полисменов, но, тронутый их вежливостью, кончал суровым благословением, мрачно говоря:

– Иди и больше не греш!

Потом со слезами сознался, что он влюблен в одну синьору, пользуется взаимностью и потому должен отказаться от духовного звания. Сказав это, лег на чей-то каменный порог и упрямо заснул, там его я и оставил.

Мария, Мария, как испытываешь ты меня! Я еще ни разу не касался твоих уст, вчера я целовал только красное вино... но откуда же на моих губах эти жгучие следы? Только вчера я коленопреклоненно венчал тебя цветами, Мадонна, только вчера я с робостью касался края твоих одежд, а сегодня ты только женщина и я хочу тебя! Мои руки дрожат; с тяжелым бешенством я думаю о препятствиях, о комнатах, шагах и порогах, разделяющих нас, — я хочу тебя! В зеркало я не узнал мои глаза: на них лежит какая-то странная пленка, и дышу я тяжело и неровно, и весь день моя мысль похотливо блуждает около твоей обнаженной груди. Я все забыл.

В чьей я власти? Она гнет меня, как мягкое раскаленное железо, я оглушен, я слеп от собственного жара и искр. Что ты делаешь, человеке, когда это случается с тобою? Идешь и берешь женщину? Насиловать ее? Подумай: сейчас ночь, и Мария так близко, я могу совсем, совсем неслышно дойти до ее комнаты... И я хочу ее крика! А если Магнус закроет мне путь? Я убью Магнуса.

Вздор.

Нет, скажи, в чьей я власти? Ты это должен знать, человек. Сегодня перед вечером, убегая от себя и Марии, я бродил по улицам, но там еще хуже: везде я видел мужчин и женщин, мужчин и женщин. Как будто прежде я их не видал! Мне все они казались голыми. Я долго стоял на Монте-Пинчио и старался понять, что такое закат солнца, и не мог понять: предо мною двигались бесконечно мужчины и женщины и смотрели друг другу в глаза. Что такое женщина, объясни мне! Одна, очень красивая, сидела в автомобиле, ее бледное лицо розовело от заката, а в ушах горели две искры брильянтов. Она смотрела на закат, и закат смотрел на нее, и больше ничего, но я не мог вынести этого: мое сердце охватила такая тоска и любовь, такая любовь и тоска, как будто я умираю. Там, сзади нее, были еще деревья, зеленые, почти черные.

Мария! Мария!

19 апреля,

о. Капри

На море полный штиль. С высокого обрыва я долго смотрел на маленькую шхуну, застывшую в голубом просторе. Ее белые паруса были неподвижны, и она казалась счастливою, как я в тот день. И снова великое спокойствие снизошло на меня, и святое имя Марии звучало безмятежно и чисто, как воскресный колокол на дальнем берегу.

Потом я лег на траву, лицом к небу. Спину мне нагревала добрая земля, а перед закрытыми глазами было так много горячего света, точно я погрузился лицом в самое солнце. В трех шагах от меня была пропасть, стремительный обрыв, головокружительная отвесная стена, и оттого мое ложе из травы казалось воздушным и легким, и было приятно обонять запах травы и весенних каприйских цветов. Еще пахло Топпи, который лежал возле меня: когда он нагревается солнцем, от него начинает сильно пахнуть мехом. Он крепко загорел, точно намазался углем, и вообще это очень приятный старый Черт.

Это место, где мы лежали, называется Анакапри и составляет возвышенную часть островка. Солнце уже зашло, когда мы отправились вниз, и светила неполная луна, но было все так же тепло и тихо и где-то звучали влюбленные мандолины, взывая к Марии. Везде Мария! Но великим спокойствием дышала моя любовь, была обвеяна чистотою лунного света, как белые домики внизу. В таком же домике жила когда-то Мария, и в такой же домик я увезу ее скоро, через четыре дня.

Высокая стена, вдоль которой спускается дорога, закрыла от нас луну, и тут мы увидели статую Мадонны, стоявшую в нише довольно высоко над дорогой и кустарником. Перед царицей ровно светился слабый огонек лампы, и в своем сторожном безмолвии она казалась такою живою, что немного холодело сердце от сладкого страха. Топпи преклонил голову и пробормотал какую-то молитву, а я снял шляпу и подумал: «Как ты стоишь высоко над этою чашей, полной лунной мглы и неведомых очарований, так Мария стоит над моей душою...»

Довольно! Здесь опять начинается необыкновенное, и я умолкаю. Сейчас буду пить шампанское, а потом пойду в кафе, там сегодня играют какие-то «знаменитые» мандолинисты из Неаполя. Топпи соглашается лучше быть застреленным, чем идти со мною: его до сих пор мучает совесть. Но это хорошо, что я буду один.

23 апреля, Рим, палаццо Орсини

...Ночь. Мой дворец безмолвен и мертв, как будто и он лишь одна из руин старого Рима. За большим окном сад: он призрачен и бел от лунного света, и дымчатый столб фонтана похож на безголовый призрак в серебряной кольчуге. Его плеск едва слышен сквозь толстые рамы – словно сонное бормотанье ночного сторожа.

Да, все это очень красиво и... как это говорится? – дышит любовью. Конечно, хорошо бы рядом с Марией идти по голубому песку этой дорожки и ступать на свои тени. Но мне тревожно, и моя тревога шире, чем любовь. Стараясь шагать легко, я брожу по всей комнате, тихо припадаю к стенам, замираю в углах и все слушаю что-то. Что-то далекое, что за тысячи километров отсюда. Или оно только в моей памяти, то, что я хочу услышать? И тысячи километров – это тысячи лет моей жизни?

Ты удивился бы, увидев, как я одет. Вдруг мне стал невыносимо тяжел мой прекрасный американский костюм, и на голое тело я одел трико для купанья. Тогда я сразу как будто похудел, стал очень высок и гибок и долго пробовал свою гибкость, скользя по комнате, неожиданно меняя направление, как бесшумная летучая мышь. Это не я тревожусь, это полны тревоги все мои мускулы и мышцы, и я не знаю, чего они хотят. Потом мне стало холодно, я оделся и сел писать. Кроме того, я выпил вина и закрыл драпри, чтобы не видеть белого сада. Кроме того, я еще осмотрел, привел в порядок и зарядил браунинг, который я завтра возьму с собою на дружескую беседу с Фоמוю Магнусом.

Видишь ли, у Фомы Магнуса есть сотрудники. Так он называет этих неизвестных мне господ, которые почтительно дают мне дорогу при встрече, но не кланяются, как будто мы встретились на улице, а не в моем доме. Их было два, когда я уезжал на Капри, теперь их шестеро, как сказал мне Топпи, и они здесь живут. Топпи они не нравятся, да и мне тоже. Лица у них нет, я его странным образом не видел, – это я понял только теперь, когда захотел их вспомнить.

– Это мои сотрудники, – сказал мне сегодня Магнус насмешливо, нисколько не скрывая насмешки.

– Скажите им, Магнус, что они дурно воспитаны. Они не кланяются при встрече.

– Наоборот, дорогой Вандергуд! Они слишком воспитанны. Они просто не решаются на поклон, не будучи вам представлены! Это очень... корректные люди. Впрочем, завтра вы все узнаете, не хмурьтесь и потерпите, Вандергуд. Одна ночь!

– Как здоровье синьорины Марии?

– Завтра она будет здорова. – Он положил руку мне на плечо и приблизил свои темные, злые и наглые глаза. – Любовный жар, а?

Я стряхнул с плеча его руку и крикнул:

– Синьор Магнус! Я...

– Вы...– он хмуро посмотрел на меня и спокойно повернул спину, – до завтра, мистер Вандергуд.

Вот почему я зарядил револьвер. Вечером мне передали письмо от Магнуса: он извиняется, объясняет все нервностью и уверяет, что искренно и горячо хочет моей дружбы и доверия. Соглашается, что его сотрудники действительно невоспитанные люди. Я долго всматривался в эти неразборчивые, торопливые строки, на подчеркнутое слово «доверия» – и мне захотелось взять с собою не револьвер для беседы с этим другом, а скорострельную пушку.

Одна ночь, но она так длинна!

Мне угрожает опасность. Это чувствую я, и это знают мои мускулы, оттого они в такой тревоге, теперь я понял это. Ты думаешь, что я просто струсил, человеке? Клянусь вечным спасением – нет! Не знаю, куда девался мой страх, еще недавно я всего боялся: и темноты, и смерти, и самой маленькой боли, а сейчас мне ничего не страшно. Только странно немного... так говорят: мне странно?

Вот сижу я на твоей Земле, человеке, и думаю о другом человеке, который мне опасен, и сам я – человек. А там луна и фонтан. А там – Мария, которую я люблю. А вот – вино и стакан. И это – твоя и моя жизнь... Или я только выдумал, что я когда-то был Сатаною? Вижу, что это лишь нарочно, и фонтан, и Мария, и самые мои мысли о каком-то Магнусе-человеке, но истинного моего не могу ни найти, ни понять. Тщетно допрашиваю память – она полна и она безмолвна, как закрытая книга, и нет силы раскрыть эту зачарованную книгу, таящую все тайны моего прошлого бытия. Напрягая зрение, тщетно вглядываюсь в дальнюю и светлую глубину, откуда сошел я на эту картонную Землю, – и ничего не вижу в томительных колыханиях безбрежного тумана. Там, за туманом, моя страна, но кажется, но кажется, я совсем забыл к ней дорогу.

Ко мне вернулась скверная привычка Вандергуда напиваться в одиночку, и я пьян немного. Это ничего, в последний раз. Это тоже нарочно. Сейчас я видел нечто, после чего не хочу смотреть ни на что другое. Мне захотелось взглянуть на белый сад и представить, как мог бы я идти с Марией по голубой песчаной дорожке, – я закрыл свет в комнате и раздернул широко драпри. И как видение, как сон, встал передо мною белый сад, и – подумай! – по голубой, по песчаной дорожке шли двое, мужчина и женщина, и женщина была – Мария. Они шли тихо, ступая на свои тени, и мужчина обнимал ее. Мой счетчик в груди застучал бешено, упал на пол и почти разбился, когда наконец я узнал мужчину, – о, это был Магнус, только Магнус, милый Фома, отец, будь он проклят с своими отеческими объятиями!

Ах, как я опять полюбил мою Марию! Я стал на колени перед окном и протянул к ней руки... правда, что-то в этом роде я уже видел в театре, но мне все равно: я протянул руки, ведь я один и пьян, отчего мне не делать так, как я хочу? Мадонна! Потом я сразу задернул занавес.

Тихо, как паутинку, как горсть лунного света, я понесу мое видение и вплету его в ночные сны. Тихо!.. Тихо!

IV

25 мая 1914 г.

Италия

Если бы слугою моим было не жалкое слово, а сильный оркестр, я заставил бы выть и реветь все мои медные трубы. Я поднял бы к небу их блещущие пасти и выл бы долго, выл бы медным скрежещущим воем, от которого волосы встают на голове и пугливее бегут облака. Я не хочу лживых скрипок, мне ненавистен нежный рокот продажных струн под пальцами лжецов и мошенников – дыхание! дыхание! Моя глотка как медная труба, мое дыхание как ураган, рвущийся в узкие щели, и весь я звеню, лязгаю и скрежещу, как грудa железа под ветром. О, это не всегда гневный и мощный рев медных труб – часто, очень часто это жалобный визг перегорелого и ржавого железа, скользящий и одинокий, как зима, свист согнутых прутьев, от которого холодеют мысли и сердце завлакивается ржавчиной тоски и без-домья. Все, что может гореть в огне, выгорело во мне. Это я хотел игры? Это я хотел игры? Так вот – смотри на этот чудовищный остов сгоревшего театра: в нем сгорели и все актеры... ах, все актеры сгорели в нем, и сама гнусная правда смотрит в нищенские дыры его пустых окон!!

Клянусь моим престолом! – о какой еще там любви бормотал я, вочеловечившийся? Кому еще там протягивал мои объятия? Не тебе ли... товарищ? Клянусь моим престолом! – если я был Любовью на одно мгновение, то отныне я – Ненависть и остаюсь ею вечно.

Сегодня остановимся на этом, дорогой товарищ. Я давно не писал, и мне снова надо привыкать к твоему тусклому и плоскому лику, разрисованному румянами пощечин, и я немного забыл те слова, что говорят между порядочными и недавно битыми людьми. Пойди вон, мой друг. Сегодня и медная труба, и ты першишь у меня в горле, червячок. Оставь меня.

26 мая, Италия

Это было месяц назад, когда Фома Магнус взорвал меня. Да, это правда, он таки взорвал меня, и это было месяц тому назад, в священном городе Рима, в палаццо Орсини, когда-то принадлежавшем миллиардеру Генри Вандергуду, – ты помнишь этого милого американца с его сигарой и золотыми патентованными зубами? Увы. Его больше нет с нами, он внезапно скончался, и ты сделаешь хорошо, если закажешь о нем заупокойную мессу: его иллинойская душа нуждается в твоих молитвах.

Вернемся, однако, к его последним часам. Я постараюсь быть точным в моих воспоминаниях и передам не только чувства, но и все слова, сказанные в тот вечер, – это было вечером, луна уже светила. Очень возможно, что будут не совсем те слова, что говорились, но во всяком случае те, что я слышал и запомнил... если тебя когда-нибудь секли, уважаемый товарищ, то ты знаешь, как трудно самому запомнить и сосчитать все удары розги. Перемещение центров, понимаешь? О, ты все понимаешь. Итак, примем последнее дыхание Генри Вандергуда, взорванного злодеем Фомою Магнусом и погребенного... Марией.

Помню, после той тревожной ночи наутро я проснулся совсем спокойным и даже радостным. Вероятно, то было влияние солнца, светившего в то самое широкое окно, откуда ночью лился этот неприятный и слишком многозначительный лунный свет. Понимаешь, то луна, а то солнце? О, ты все понимаешь. Очень вероятно, что по той же причине я проникся самой трогательной верой в добродетель Магнуса и ждал к ночи – безоблачного счастья. Тем более что его сотрудники – ты помнишь его сотрудников? – кланялись мне. Что такое поклон? А как много он значит для веры в человека!

Ты знаешь мои хорошие манеры и согласишься, что внешне я был сдержан и холоден, как джентльмен, получивший наследство, но если бы ты приложил ухо к моему животу, ты услышал бы, что внутри меня играют скрипки. Что-то любовное, понимаешь? О, ты все понимаешь. Так с этими скрипками я и вошел к Магнусу вечером, когда уже снова светила луна. Магнус был один. Мы долго молчали, и это показало, что меня ждет очень интересный разговор. Наконец я заговорил:

– Как здоровье синьорины...

Но он прервал меня:

– Нам предстоит очень трудный разговор, Вандергуд. Вас это не волнует?

– О нет, нисколько!

– Хотите вина? Впрочем, нет, не стоит. Я выпью немного, а вам не стоит. Правда, Вандергуд?

Он засмеялся, наливая вино, и тут я с удивлением заметил, что сам он очень волнуется: его большие белые руки палача заметно дрожали. Не знаю точно, когда замолкли мои скрипки, – кажется, в эту минуту. Магнус выпил два стакана вина – он хотел немного – и продолжал, садясь:

– Да, вам не стоит пить, Вандергуд. Мне нужно все ваше сознание, ничем не затемненное... вы ничего не пили сегодня? Виски и сода? Нет? Это хорошо. Надо, чтобы сознание было светло и трезво. Я часто думал, нельзя ли в таких случаях применять анестезирующие средства, как при... при...

– Как при вивисекции?

Он серьезно мотнул головой:

– Да, как при вивисекции, вы чудесно схватили мою мысль, старина. Да, при душевной вивисекции. Например, когда любящей матери сообщают о смерти ее сына или... очень богатому человеку, что он разорился. Но сознание, как быть с сознанием... нельзя же его всю жизнь держать под наркозом! Вы

понимаете, Вандергуд? В конце концов, я вовсе не такой жестокий человек, каким иногда кажусь даже самому себе, и чужая боль часто вызывает во мне очень неприятные ответные судороги. Это нехорошо. У оператора рука должна быть тверда.

Он посмотрел на свои пальцы: они уже не дрожали. Улыбнувшись, он продолжал:

– Впрочем, вино также помогает. Милый Вандергуд, клянусь вечным спасением, которым и вы так любите клясться, что мне очень неприятно причинять вам эту маленькую... боль. Пустое. Вандергуд! Сознание, больше сознания! Вашу руку, дружище!

Я протянул руку, и своей горячей, большой рукою Магнус словно обнял мою ладонь и пальцы и долго держал их в этой странной ванне, напряженной, словно проникнутой какими-то электротоками. Потом отпустил с легким вздохом.

– Вот так. Бодрее, Вандергуд!

Я пожал плечами. Закурил сигару. Спросил:

– Ваш пример относительно очень богатого человека, который внезапно стал нищим, не относится ко мне? Я разорен?

Магнус медленно, смотря мне прямо в глаза, ответил:

– Если хотите, то да. У вас нет ничего. Ровно ничего. И этот дворец уже продан, завтра в него вступят новые владельцы.

– О! Это интересно. А где же мои миллиарды?

– У меня. Они мои. Я очень богатый человек, Вандергуд!

Я переложил сигару в другую сторону рта и выразительно сказал:

– И готовы протянуть мне руку помощи? Вы наглый мошенник, Фома Магнус.

– Если хотите, то да. В этом роде.

– И лжец!

– Пожалуй. Вообще, милый Вандергуд, вам необходимо тотчас же переменить ваш взгляд на жизнь и людей. Вы слишком идеалист.

– А вам, – я поднялся с кресла, – а вам следует переменить собеседника. Позвольте мне откланяться и прислать сюда полицейского комиссара.

Магнус засмеялся:

– Вздор, Вандергуд! Все сделано по закону. Вы сами передали мне все. Это никого не удивит... при вашей любви к людям. Конечно, вы можете объявить себя сумасшедшим. Понимаете? Тогда я, пожалуй, сяду в тюрьму. Но вы сядете в сумасшедший дом. Едва ли вы этого захотите, дружище. Полиция! Впрочем, ничего, говорите, это облегчает в первые минуты.

Кажется, я действительно не сумел скрыть моего волнения. Я с гневом бросил сигару в огонь камина и измерил глазами окно и Магнуса... нет, эта туша была слишком велика для игры в мяч. В ту минуту самая потеря состояния не вполне ясно представлялась моему уму, и возмущало меня не это, а наглый тон Магнуса, его почти покровительственные манеры старого мошенника. И еще что-то, очень беспокойное и даже зловещее, как угроза, смутно чувствовалось мною: как будто настоящая опасность была у меня не перед глазами, а за спиной. Я не знал, куда направить глаза, и это лишало меня самообладания.

– В чем дело наконец?! – топнул я ногою.

– В чем дело? – как эхо, отозвался Магнус. – Да, и я, в сущности, не совсем понимаю, что так возмущает вас, Вандергуд? Вы столько раз предлагали мне эти деньги, даже навязывали их мне, а теперь, когда они в моих руках, вы хотите звать полицию! Конечно, – Магнус улыбнулся, – здесь есть маленькая разница: великодушно предоставляя деньги в мое распоряжение, вы оставались их господином и господином положения, тогда как сейчас... понимаете, дружище: сейчас я могу просто вытолкать вас из этого дома!

Я выразительно посмотрел на Магнуса. Он ответил не менее выразительным пожатием широких плеч и сердито сказал:

– Оставьте эти глупости. Я сильнее вас. Не будьте дураком больше, чем обязывает к тому положение.

– Вы необыкновенно наглый мошенник, синьор Магнус!

– Опять! Как эти сентиментальные души ищут утешения в словах! Возьмите сигару, сядьте и слушайте. Уже давно мне нужны деньги, очень большие деньги. В моем прошлом, которое вам ни к чему знать, у меня были некоторые... неудачи, раздражавшие меня. Дураки и сентиментальные души, вы понимаете? Моя энергия была схвачена и заперта, как воробей в клетку. Три года неподвижно сидел я в этой проклятой щели, подстерегая случая...

– Это в прекрасной Кампанье?

– Да, в прекрасной Кампанье... и уже начал терять надежду, когда появились вы. Здесь я несколько затрудняюсь в выражениях...

– Говори прямо, не стесняйся.

– Можно на ты? Да, это удобнее. С твоей любовью к людям, с твоей игрою, как ты назвал это впоследствии, ты был очень странен, мой друг, и я довольно долго колебался, кто ты: необыкновенный ли дурак или такой же... мошенник, как и я. Видишь ли, такие необыкновенные ослы слишком редко встречаются, чтобы не вызывать сомнения даже во мне. Ты не сердись?

– О, несколько.

– Ты съешь мне деньги, а я думаю: ловушка! Впрочем, ты подвигался вперед очень быстро, и некоторые меры с моей стороны...

– Извини, что я прерываю тебя. Значит, эти книги твои... уединенные размышления над жизнью, белый домик и... все это ложь? А убийство, помнишь: руки в крови?

– Убивать мне приходилось, это правда, и над жизнью я размышлял немало, поджидая тебя, но остальное, конечно, ложь. Очень грубая, но ты был так мило доверчив...

– А... Мария?

Признаюсь, человеке, что я едва выговорил это имя: так схватило меня что-то за горло. Магнус внимательно осмотрел меня и мрачно ответил:

– Дойдем и до Марии. Как ты волнуешься, однако, у тебя даже ногти посинели. Может быть, дать вина? Ну, не надо, терпи. Я продолжаю. Когда у тебя началось с Марией... конечно, при моем маленьком содействии, я окончательно поверил, что ты...

– Необыкновенный осел?

Магнус быстро и успокоительно поднял руку:

– О нет! Таким ты казался только вначале. Скажу тебе правдиво, как и все, что я говорю сейчас; ты вовсе не глуп, Вандергуд, теперь я узнал тебя ближе. Это пустяки, что ты так наивно отдал мне все свои

миллиарды,— мало ли умных людей обманывалось искусными... мошенниками! Твое несчастье в другом, товарищ.

Я имел силы усмехнуться:

— Любовь к людям?

— Нет, дружище: презрение к людям! Презрение и вытекающая из него наивная вера в тех же людей. Ты видишь всех людей настолько ниже себя, ты так убежден в их фатальном бессилии, что совершенно не боишься их и готов погладить по головке гремучую змею: так славно гремит! Людей надо бояться, товарищ! Ведь я знаю твою игру, но порою ты искренно болтал что-то о человеке, даже жалел его, но всегда откуда-то сверху или сбоку — не знаю. О, если бы ты мог ненавидеть людей, я с удовольствием взял бы тебя с собою. Но ты эгоист, ты ужасный эгоист, Вандергуд, и я даже перестаю жалеть, что ограбил тебя, когда подумаю об этом! Откуда у тебя это подлое презрение!

— Я еще только учусь быть человеком.

— Что ж, учись. Но зачем же ты зовешь мошенником твоего профессора? Это неблагодарно: ведь я же твой профессор, Вандергуд!

— К черту болтовню. Значит... значит, ты не берешь меня с собою?

— Нет, дружище, не беру.

— Так. Одни миллиарды? Хорошо. Но твой план: взорвать землю или что-то в этом роде? Или ты здесь лгал? Не может быть, чтобы ты хотел только... открыть ссудную кассу или стать тряпичным королем!

Магнус с грустью, даже как будто с сочувствием посмотрел на меня и медленно ответил:

— Нет, здесь я не лгал. Но ты не годишься идти со мною. Ты будешь постоянно хватать меня за руку. Ты сейчас только кричал: лжец, мошенник, вор... странно, ты еще только учишься быть человеком, а уже так пропитался этими пустяками. Когда я подниму руку, чтобы бить, твое презрение начнет хныкать: оставь их, не трогай, пожалей. О, если бы ты мог ненавидеть! Нет, ты ужасный эгоист, старина.

Я закричал:

— Да черт тебя возьми наконец с твоим эгоизмом! Я вовсе не глупее тебя, мрачная скотина, и я не понимаю, что ты открыл в ненависти святого!

Магнус нахмурился:

— Прежде всего не кричи, или я тебя выгоню. Слыхал? Да, пожалуй, ты не глупее меня, но человеческое дело — не твое дело. Понял, розовая скотина! Идя взрывать, я иду устраивать мои дела, а ты хочешь быть только моим управляющим на чужом заводе. Пусть воруют и портят машины, а тебе только бы получать свое жалованье да поклоны, да? А я не могу! Все это, — он широким жестом повел рукою, — мой завод, мой, ты понимаешь, и обкрадывают меня. Я обворован и оскорблен. И я ненавижу оттого, что я оскорблен. Что бы ты делал в конце концов с твоими миллиардами, если бы я не догадался взять их у тебя? Строил бы оранжереи и делал наследников — для продолжения! Собственная яхта в две трубы и брильянты для жены? А я... дай мне все золото, что есть на земле, и я все его брошу в пекло моей ненависти. Потому, что я оскорблен! Когда ты видишь горбатого, ты бросаешь ему лиру, чтобы он дальше таскал свой горб, да? А я хочу уничтожить его, убить, сжечь, как кривое полено. Ты кому жалуешься, когда тебя обманут или собака укусит тебя за палец? Жене — полиции — общественному мнению? А если жена с лакеем наставит тебе рога или общественное мнение не поймет тебя и вместо сожаления высечет, ты тогда идешь к Богу? А мне не к кому идти, я никому не жалуюсь, но и не прощаю, понимаешь! Не прощаю, прощают только эгоисты. Я лично оскорблен!

Я слушал молча. Оттого ли, что я сел близко к камину и смотрел в огонь и только слушал, слова Магнуса слились с видом горящих и раскаленных поленьев: вспыхивало полено новым огнем – и вспыхивало слово, распадалась на части насквозь раскаленная, красная масса – и слова разбрызгивались, как горячие угли. В голове у меня было не совсем ясно, и эта игра вспыхивающих, светящихся, летающих слов погрузила меня в странный и мрачный полусон. Но вот что сохранила память:

– О, если бы ты мог ненавидеть! Если бы ты не был так труслив и малодушен! Я взял бы тебя с собою, и ты увидел бы такой пожар, который навсегда осушил бы твои дрянненькие слезы, выжег бы дотла твои слезливые мечты! Ты слышишь, как поют дураки во всем мире? Это они заряжают пушки. Умному надо только приложить огонь к затравке, ты понимаешь? Ты можешь спокойно смотреть, как за тоненькой перегородкой лежат рядом блаженствующий теленок – и голодная змея? Я не могу. Я должен пробуравить маленькое отверстие, маленькое отверстие... остальное они сделают сами. Ты знаешь, что от соединения правды с ложью получается взрыв? Я хочу соединять. Я ничего не буду делать сам: я только кончу их работу. Ты слышишь, как они весело поют? Я заставлю их плясать! Пойдем со мною, товарищ! Ты хотел какой-то игры – мы дадим необыкновенный спектакль! Мы приведем в движение всю землю, и миллионы марионеток послушно запрыгают по нашему приказу: ты еще не знаешь, как они талантливы и послушны, это будет превосходная игра, ты получишь огромное удовольствие...

Большое полено упало и рассыпалось множеством искр и горячих угольков. Огонь упал, и камин стал угрюмым и красным. Из потемневшего закопченного жерла несло молчаливым жаром, опалявшим мое лицо, и вдруг мне представился мой театр кукол. Это огонь и тепло строили миражи. Будто снова глухо затумпали барабаны, и весело звякнули медные тарелки, и веселый клоун пошел вверх ногами, а у бедной куклолки разбили ее фарфоровую головку. Потом еще головку, и еще. Потом я увидел мусорный ящик, и оттуда торчали две неподвижные ножки в розовых туфельках. А барабаны все тумпали: тумп – тумп – тумп. И я сказал задумчиво:

– Мне кажется, что им будет больно.

И за моей спиной прозвучал надменный и равнодушный ответ:

– Очень возможно.

...Тумп. Тумп. Тумп...

– Тебе все равно, Вандергуд, а я не могу! Пойми наконец, я не могу допустить, чтобы всякая двуногая мразь также называлась человеком. Их стало слишком много, под покровительством докторов и законов они плодятся, как кролики в садке. Обманутая смерть не успевает справляться с ними, она сбита с толку, она совсем потеряла мужество и свой моральный дух. Она беспутничает по танцклассам. Я их ненавижу. Мне становится противно ходить по земле, которой овладела чужая, чужая порода. Надо на время отменить законы и пустить смерть в загородку. Впрочем, они сделают это сами. Нет, это не я, это они сами. Не думай, что я как-то особенно жесток, нет, – я только логичен. Я только вывод – знак равенства – итог – черта под рядом цифр. Ты можешь называть меня Эрго^[5], Магнус Эрго! Они говорят: дважды два, я отвечаю: четыре. Ровно четыре. Вообрази, что мир застыл на мгновение в полной неподвижности, и ты увидишь такую картину: вот чья-то улыбающаяся беззаботно голова, а над нею – занесенный, застывший топор. Вот куча пороха, а вот падающая в порох искра. Но она остановилась и не падает. Вот тяжелое здание на единственной уже согнувшейся подпоре. Но все застыло, и подпора не ломается. Вот чья-то грудь, а вот чья-то рука, делающая пулю для этой груди. Разве это приготовил я? Я только беру рычажок и – раз! – двигаю его вниз. Топор опускается на смеющуюся голову и дробит ее. Искра падает в порох – готово! Здание рушится. Приготовленная пуля пробивает приготовленную грудь. А я только надавил рычажок, я, Магнус Эрго! Подумай: разве я мог бы убивать, если бы в мире были только скрипки и другие музыкальные инструменты?

Я захохотал:

– Только скрипки!

Магнус ответил смехом: голос его был хрипл и тяжел:

– Но у них другие инструменты! И я буду пользоваться их инструментами. Видишь, как это просто и интересно?

– А дальше, Магнус Эрго?

– Почему я знаю, что будет дальше? Я вижу только эту страницу и решаю только эту задачу. Я не знаю, что на следующей странице.

– Может быть, то же самое?

– Может быть, то же самое. А может быть, что это последняя страница... ну что ж: итог все равно нужен.

– Ты когда-то говорил о чуде?

– Да. Это мой рычаг. Ты помнишь, что я рассказывал о моем взрывчатом веществе? Я обещаю кроликам, что они станут львами... Видишь ли, кролик не выносит ума. Если кролика сделать умным, он повесится от тоски. Ум – это логика, а что хорошего может обещать кролику логика? Один вертел и непочетное место в ресторанном меню. Ему надо или обещать бессмертие за небольшую плату, как это делает мой друг кардинал X., или земной рай. Ты увидишь, какую энергию, какую смелость и прочее разовьет мой кролик, когда я нарисую ему на стене райские кущи и эдемские сады!

– На стене?

– Да, на каменной стене. Он весь, всей своей породой пойдет на штурм!.. И кто знает... да, кто знает... а вдруг он этой массой действительно сломает стену?

Магнус задумался. Я встал от потухшего камина и внимательно посмотрел на взрывчатую голову моего отвратительного друга... что-то наивное, какие-то две морщинки, почти детские по своему выражению, сложились на его каменном лбу. Я засмеялся и вскрикнул:

– Фома Магнус! Магнус Эрго! Ты веришь?

Не поднимая головы, он так же задумчиво, словно не слыхав моего смеха, ответил:

– Надо попробовать.

Но я продолжал смеяться, во мне уже начала разгораться дикая – вероятно, человеческая – насмешливая злоба:

– Фома Магнус! Магнус Кролик! Ты веришь?

Тогда он с силою ударил по столу своей тяжелой ладонью и заревел как иступленный:

– Молчи! Я говорю: надо попробовать. Откуда я могу знать? Я еще не был на Марсе и не смотрел на землю с изнанки. Молчи, проклятый эгоист! Ты ничего не понимаешь в наших делах. Ах, если бы ты мог ненавидеть!..

– Я уже ненавижу.

Магнус внезапно и странно успокоился. Сел – и внимательно, недоверчиво, исподлобья, осмотрел меня со всех сторон:

– Ты? Ненавидишь? Кого?

– Тебя.

Он еще раз так же внимательно осмотрел меня и недоверчиво качнул головою:

– Это правда, Вандергуд?

– Если они кролики, то ты самый отвратительный из них, потому что ты – помесь кролика и... Сатаны. Ты трус! Это не важно, что ты мошенник, грабитель, лжец и убийца, но ты трус. Я ждал большего, старина. Я ждал, что твой ум поднимет тебя до величайшего злодейства, но ты самое злодейство превращаешь в какую-то подлейшую филантропию. Ты такой же лакей, как и другие, но прислуживать ты хочешь человеческому задку: вот вся твоя мудрость!

Магнус вздохнул:

– Нет, это не то. Ты ничего не понимаешь, Вандергуд.

– А тебе не хватает смелости, дружище. Если ты Магнус Эрго – какая наглость: Магнус Эрго! – то и иди до конца. Тогда и я пойду с тобою... быть может!

– Правда пойдешь?

– А отчего мне не пойти? Пусть я Презрение, а ты Ненависть, мы можем идти вместе. Не бойся, что я буду хватать тебя за руку. Ты многое мне открыл, моя милая гадина, и я не стану удерживать твоей руки, если даже ты поднимешь ее на себя.

– Ты изменишь мне?

– А ты меня убьешь. Разве этого недостаточно?

Но Магнус недоверчиво качал головой и твердил:

– Ты изменишь мне. Я живой человек, а от тебя несет запахом трупa. Я не хочу презирать себя, тогда я погиб. Не смей смотреть на меня! Смотри на тех.

Я засмеялся.

– Хорошо. Я не буду смотреть на тебя. Я буду смотреть на тех. Моим презрением я облегчу тебе работу.

Магнус задумался и думал долго. Потом исподлобья взглянул на меня и тихо спросил:

– А Мария?..

Проклятый! Он снова уронил мое сердце на землю! Я дико смотрел на него, как разбуженный ночью огнем пожара. И три высоких волны перекатались через мою грудь. Первою волною поднялись умолкшие скрипки... ах, как взвыли они, точно не на струнах, а на моих жилах играл музыкант! Потом огромным валом с пеною гривой прокатились все образы, все чувства и мысли моей недавней и милой человечности: подумай, там было все! Там была даже ящерица, которая как-то лунной ночью прошуршала возле моих ног. Даже маленькую ящерицу я вспомнил! И третьей глубокой волною тихо вскатилось на берег священное имя: Мария! И тихо ушла, оставив нежнейшее кружево пены, и солнце из-за моря брызнуло лучами, и на одно мгновение, на одну минуточку, стал я белой шхуной с опущенными парусами. Где были звезды, пока единым словом не возжег их владыка вселенной? Мадонна.

Магнус тихо окликнул меня:

– Куда ты? Там ее нет. Чего ты хочешь?

– Простите, дорогой Магнус, но я бы хотел видеть синьорину Марию. Только на одну минуту. Мне не совсем хорошо, что-то сделалось с моей головой и глазами. Вы улыбаетесь, дорогой Магнус, или это

только кажется мне? Я слишком долго смотрел на горящие дрова, и теперь мне трудно понять, что передо мною. Вы сказали: Мария? Да, я хотел бы увидеть ее. Мы потом продолжим наш интересный разговор, вы мне напомните, где мы остановились, а пока я очень просил бы... Может быть, мы поедem на автомобиле в Кампанью? Там так хорошо. И синьорина Мария...

– Сядь. Ты сейчас ее увидишь.

Но я еще не кончил мою околесицу – что за черт случился с моей головою! Я еще долго плел ее и – теперь мне смешно вспомнить это! – раза два горячо пожал неподвижную и тяжелую руку Фомы Магнуса: вероятно, он казался мне отцом в ту минуту. Наконец я замолчал, стал кое-что соображать, но все еще покорно по приказу Магнуса сел в кресло и приготовился внимательно слушать его.

– Теперь ты можешь слушать? Ты очень разволновался, старина. Помни: сознание! Сознание!

– Да, теперь могу. Я... все вспомнил. Продолжай, дружище, я слушаю.

Да, я вспомнил все, но мне было безразлично, что говорил и что будет говорить Магнус: я ждал Марию. Вот как сильна была моя любовь! Почему-то глядя в сторону и отбивая такт ладонью по столу, Магнус медленно и словно неохотно произнес следующее:

– Слушай, Вандергуд. В сущности, для меня было бы всего удобнее просто выгнать тебя на улицу с твоим идиотским Топпи. Ты хотел испытать все человеческое, и я с удовольствием посмотрел бы на тебя, как ты зарабатываешь хлеб. Вероятно, отвык, а? Интересно бы и другое: посмотреть, во что превратится твое великолепное презрение, когда... Но я не зол. Странно сказать, но во мне есть даже чувство маленькой благодарности за... твои миллиарды и, кроме того, маленькая надежда. Да, надежда, что ты еще можешь стать... человеком. И хотя это несколько свяжет меня, я готов взять тебя с собою, но только – после некоторого испытания. Ты – все еще хочешь взять... Марию?

– Да.

– Хорошо.

Магнус тяжело поднялся с кресла и направился к двери. Но на половине дороги он внезапно повернулся ко мне и – до чего это было неожиданно со стороны старого мошенника! – поцеловал меня в лоб.

– Сиди, сиди, старина. Я сейчас ее позову. Слуг сегодня нет в доме.

Последнее он договорил, лёгонько стуча в дверь. На мгновение показалась голова одного из сотрудников и скрылась. Так же тяжело Магнус вернулся на свое место и, вздохнув, сказал:

– Сейчас придет.

Мы молчали. Я неотступно смотрел на высокую дверь, и вот она открылась. Вошла Мария. Я быстрыми шагами направился к ней навстречу и низко наклонился над ее рукою. И Магнус крикнул:

– Не целуй руки!

27 мая

Вчера я не мог продолжать. Не смейся! Это простое сочетание простых слов – не целуй руки! – кажется мне самым страшным из всего, что может произнести человеческий язык. На меня они действуют магически, как заклятие. Когда бы они ни прозвучали во мне, они прерывают меня, прекращают то состояние, в каком я был, и переводят в новое. Если я говорил, я умолкаю, как внезапно онемевший. Если я шел, я останавливаюсь. Если я стоял, я бегу. Если они прозвучат во сне, то, как бы ни крепок был мой сон, я просыпаюсь и больше уже не сплю. Очень простые, чрезвычайно простые слова: не целуй руки! Теперь слушай, что было дальше. Итак: я наклонился над рукой Марии. Но возглас Магнуса был так неожиданен и странен, в хриплом голосе его звучала такая повелительность и даже страх, что нельзя было не подчиниться! Но я не понял и с недоумением поднял голову, все еще держа руку Марии в своей, и вопросительно взглянул на Магнуса. Он дышал тяжело – как будто уже видел падение в пропасть – и на мой вопросительный взгляд тихо, слегка задыхаясь, ответил:

– Оставь ее руку. Мария, отойди от него.

Мария высвободила руку и отошла в сторону, далеко от меня. Все еще не понимая, я смотрел, как она отходила, уже стоял один, а все еще ничего не понимал. На одно коротенькое мгновение мне стало даже смешно, напоминало какую-то сцену из комедии, где влюбленные и сердитый отец, но тотчас же этот нелепый смех погас, и я с покорным ожиданием устремил глаза на Магнуса.

Магнус медлил. Тяжело встав, он два раза прошел по комнате, потом остановился прямо передо мною и, заложив руки за спину, сказал:

– При всех твоих странностях, ты порядочный человек, Вандергуд. Я тебя ограбил (он так сказал!), но я не могу дальше позволять, чтобы ты целовал руку у... этой женщины. Слушай! Слушай! Я уже сказал тебе, что ты должен сразу и немедленно переменить твой взгляд на людей. Это очень трудно, я сочувствую тебе, но это необходимо, дружище. Слушай, слушай! Ты был введен мною в заблуждение: Мария – не дочь мне... вообще у меня нет детей. И... не Мадонна. Она – моя любовница и была ею до вчерашней ночи...

...Теперь я понимаю, что Магнус был по-своему милосерд и погружал меня в темноту с нарочитой медленностью. Но тогда я не понимал этого и, задыхаясь медленно, дыша все короче, так же медленно терял сознание. И когда с последними словами Магнуса во мне погас последний свет и непроницаемая тьма объяла меня, я выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в Магнуса. Не знаю, сколько было выстрелов, помню только ряд смеющихся вспыхивающих огоньков и толчков руки, дергавших ее кверху. Совершенно не помню, как и когда вбежали сотрудники Магнуса и обезоружили меня. Когда я опомнился, картина была такая. Сотрудников уже не было в комнате. Я глубоко сидел в кресле у потухшего камина, волосы мои были мокры от воды, и над левой бровью сочилась кровью небольшая ссадина. Воротничка на мне не было, и рубашка была разорвана, был почти совсем оторван левый рукав, и мне все приходилось подтягивать его кверху. Мария стояла на том же месте и в той же позе, словно ни разу не двинувшись за все время борьбы. Удивило меня присутствие Топпи, который сидел в углу и странно смотрел на меня. У стола, спиною ко мне, стоял Магнус и наливал себе вино.

Когда я особенно глубоко вздохнул, Магнус быстро обернулся и сказал странно обычным тоном:

– Хотите вина, Вандергуд? Теперь вам можно выпить стакан. Нате выпейте. Видите, вы в меня не попали. Не знаю, радоваться этому или нет, но я жив. Ваше здоровье, старина!

Я коснулся пальцем лба и пробормотал:

– Кровь...

– Пустое, маленькая ссадина, она сейчас подсохнет. Не надо трогать.

– Пахнет...

– Порохом? Да, но и это сейчас пройдет. Здесь Топпи, вы видите? Он просил оставить его здесь. Вы ничего не будете иметь против, если ваш секретарь останется при дальнейшем разговоре? Он очень предан вам.

Я взглянул на Топпи и улыбнулся. Топпи состроил гримасу и нежно простонал:

– Мистер Вандергуд! Это я, ваш Топпи.

И заплакал. Этот старый черт, все еще пахнущий мехом, этот шут в черном сюртуке, этот пономарь с отвислым носом, совратитель маленьких девочек – заплакал! Но еще хуже то, что, поморгав глазами, заплакал и я, «мудрый, бессмертный, всемогущий!». Так плакали мы оба, два прожженных черта, попавших на землю, а люди – я счастлив отдать им должное! – с сочувствием смотрели на наши горькие слезы. Плача и одновременно смеясь, я сказал:

– А трудно быть человеком, Топпи?

И Топпи, всхлипнув, покорно ответил:

– Очень трудно, мистер Вандергуд.

Но тут я взглянул случайно на Марию, и мои сентиментальные слезы сразу высохли. Вообще этот вечер памятен мне самыми неожиданными и нелепыми переходами в настроении, ты, вероятно, знаешь их, человеке? То я ныл и звякал лирою, как слезливый поэт, то вдруг преисполнялся каменным спокойствием и чувством несокрушимой силы, а то начинал болтать глупости, как попугай, испугавшийся собаки, и болтал все громче, глупее и несноснее, пока новый переход не повергал меня в смертельную и бессловесную тоску. Магнус поймал мой взгляд на Марию и как-то нехотя улыбнулся. Я поправил ворот моей разорванной рубашки и сказал сухо:

– Не знаю еще, радоваться мне или нет, что я не убил тебя, дружище. Теперь я совершенно спокоен и просил бы тебя рассказать мне все... об этой женщине. Но так как ты лжец, то прежде всего я спрошу ее. – Синьорина Мария, вы были моей невестой, и в ближайшие дни я думал назвать вас своей женой, скажите же правду: вы действительно... любовница этого человека?

– Да, синьор.

– И... давно?

– Пять лет, синьор.

– А сколько вам лет сейчас?

– Девятнадцать, синьор.

– Значит, с четырнадцати лет? Продолжай, Магнус.

– О, Боже!

(Это воскликнул Топпи, старый черт.)

– Сядь, Мария. Как видишь, Вандергуд, – спокойно и сухо начал Магнус, словно демонстрируя не человека а препарат, – эта моя любовница – явление не совсем обычное. При ее необыкновенном сходстве с Мадонной, способном обмануть и не таких знатоков в религии, как мы с тобою, при ее действительно неземной красоте, чистоте и прелести она с ног до головы продажная, развратная и совершенно бесстыдная тварь...

– Магнус!

– Успокойся. Ты видишь, как она слушает меня? Даже твой старый Топпи ежится и краснеет, а у нее – все так же ясен взор и все черты полны ненарушимой гармонии... ты заметил, как ясен взор Марии? Он всегда ясен. Мария, ты слушаешь меня?

– Да, конечно.

– Хочешь апельсин или вина? Возьми там на столе. Кстати, обрати внимание на ее походку: она всегда как будто идет по цветам или шествует на облаках, – легкость и красота необыкновенная! Как старый ее любовник, могу прибавить еще подробность, которой ты не знаешь: она сама, ее тело, пахнет какими-то удивительными цветами. Теперь о ее душевных свойствах, как говорят психологи.

Если о ней говорить обычным языком, то она глупа, как гусыня, глупа непроходимо. Но хитра. Но лжива. Очень жадна к деньгам, но любит их только в золоте. Все, что она говорила тебе, говорила с моих слов, более сложные фразы заучивая наизусть... я таки порядочно намучился с нею. И все же я очень боялся, что ты, несмотря на любовь, увидишь ее слишком явную глупость, и потому все последние решительные дни скрывал ее от тебя.

Топпи простонал:

– О, Боже! Мадонна!

– Вас это удивляет, м-р Топпи? – спросил Магнус, повернув голову. – И не одного вас, добавлю. Помнишь, Вандергуд, я говорил тебе о роковом сходстве Марии, которое привело одного юношу к смерти. Тогда я солгал тебе только наполовину: юноша действительно покончил с собою, когда увидел сущность моей Марии. Он был чист душою, любил, как и ты, и не мог вынести... как это говорится! – крушения своего идеала.

Магнус засмеялся:

– Ты помнишь Джиованни, Мария?

– Немного.

– Ты слышишь, Вандергуд? – смеясь, спросил Магнус. – Точно так же и таким же голосом она сказала бы обо мне через неделю, если бы ты сегодня убил меня. Скушай еще апельсин, Мария... Но если говорить о Марии не совсем обычным языком, то она даже и не глупа. Просто у нее нет того, что зовется душою, совсем нет. Я много раз пытался заглянуть в глубину ее сердца, ее мыслей, и каждый раз кончалось у меня головокружением, как на краю пропасти: там нет ничего. Пустота. Ты, вероятно, замечал, Вандергуд, или вы, м-р Топпи, что лед не так холоден, как лоб мертвого человека? И какую известную вам пустоту, невольные друзья мои, вы ни вообразите себе, она не может сравниться с тем почти абсолютным вакуумом, что составляет ядро моей прекрасной, светоносной звезды. Звезда морей, – кажется, так ты однажды назвал ее, Вандергуд?

Магнус снова засмеялся и выпил стакан вина, он много пил в тот вечер.

– Хотите вина, м-р Топпи? Нет? ну, как хотите. Я выпью. Так вот почему, Вандергуд, я не хотел, чтобы ты целовал руку у этой твари. Не потупляй глаз, дружище. Вообрази, что ты в музее, и смотри на нее смело и прямо. Вы что-то хотите возразить, м-р Топпи?

– Да, синьор Магнус. Извините меня, мистер Вандергуд, но я просил бы позволения удалиться. Как джентльмен, хотя и... маленький, я не могу присутствовать при... при...

Магнус насмешливо прищурил глаза:

– При такой сцене?

– Да, при такой сцене, когда один джентльмен, с молчаливого согласия другого джентльмена, так оскорбляет женщину, – вспыхивая воскликнул Топпи и встал.

Все так же иронически Магнус обратился ко мне:

– А ты что скажешь, Вандергуд? Отпустить этого слишком маленького джентльмена?

– Останься, Топпи.

Топпи покорно сел. С того момента, как начал говорить Магнус, я как будто впервые перевел дыхание и взглянул на Марию. Что тебе сказать? Это была Мария. И тут я понял немного, что именно происходит в голове, когда люди начинают сходиться с ума.

– Можно продолжать? – спросил Магнус. – Впрочем, мне осталось немного. Да, я взял ее, когда ей было четырнадцать или пятнадцать лет, она сама не знает точно своих годов, но я был уже не первый ее любовник и... не десятый. Никогда я не мог узнать точно и полно ее прошлого. Либо она хитро лжет, либо действительно лишена памяти, но никакие самые тонкие расспросы, на которые попался бы даже опытный преступник, ни подкупы и подарки, ни даже угрозы – а она очень труслива – не могли принудить ее к рассказу. Она «не помнит», вот и все. Но ее глубочайшая развращенность, способная смутить даже султана, ее необыкновенная опытность и смелость в арс аманди^[6] подтверждают мою догадку, что она получила воспитание в лупанарии... или при дворе какого-нибудь Нерона. Я не знаю ее возраста, и на моих глазах она не меняется: отчего не допустить, что ей не двадцать, а две тысячи лет? Мария... ты все умеешь и все можешь?

Я не смотрел на эту женщину. Но в ее ответе прозвучало легкое неудовольствие:

– Не говори глупостей. Что может подумать обо мне м-р Вандергуд?

Магнус громко рассмеялся и стукнул стаканом:

– Слышишь, Вандергуд: она дорожит твоим мнением! А если я прикажу ей немедленно в нашем присутствии раздеться...

– Боже мой, боже мой! – простонал Топпи и закрыл лицо руками. Я быстро взглянул в глаза Магнусу – и надолго застыл в страшном очаровании этого взгляда. Его лицо еще смеялось, эту бледную маску еще корчило подобие веселого смеха, но глаза были неподвижны и тусклы. Обращенные на меня, они смотрели куда-то дальше и были ужасны своим выражением темного и пустого бешенства: так гневаться и так грозить мог бы только череп своими пустыми орбитами.

И опять потемнело у меня в голове, и, когда я опомнился, Магнус уже сидел, отвернувшись, и спокойно пил вино. Не поворачиваясь, он приподнял стакан на свет, понюхал вино, отхлебнул немного и сказал тем же спокойным голосом, как и раньше:

– Так вот, Вандергуд, дружище. Теперь ты знаешь почти все о Марии, или Мадонне, как ты ее называл, и я тебя спрашиваю: ты хочешь ее взять или нет? Я отдаю ее. Возьми. Если ты скажешь да, она сегодня же будет в твоей спальне и... клянусь вечным спасением, ты проведешь очень недурную ночь. Ну что?

– Вчера ты, а сегодня я?

– Вчера я, а сегодня ты! – Он нехотя улыбнулся. – Ты совсем плохой мужчина, Вандергуд, что спрашиваешь о таких пустяках. Или ты еще не привык, чтобы твою постель нагревал другой? Возьми, она славная девочка. Она все умеет.

– Ты кого мучаешь, Магнус: меня или себя?

Магнус иронически взглянул на меня:

– Какой умный мальчик! Конечно, себя! Вы очень умный американец, м-р Вандергуд, и я искренне удивляюсь, что вы сделали такую плохую карьеру. Идите спать, милые дети, спокойной ночи. Что ты так смотришь, Вандергуд: находишь, что час слишком ранний? Тогда возьми ее и прогуляйся по саду. Когда ты увидишь Марию при лунном свете, три тысячи Магнусов не в силах будут доказать, что это небесно чистое существо такая же тварь, как...

Я вспыхнул:

– Вы отвратительный мошенник и лжец, Фома Магнус! Если она получила воспитание в лупанарии, то ваше высшее образование, почтеннейший синьор, закончилось, видимо, в каторжной тюрьме. Откуда вы принесли этот аромат, которым так густо пропитаны все ваши истинно джентльменские шутки и остроты. Меня начинает тошнить от вашей бледной рожи. Сделав женщину приманкой, как самый обыкновенный трущобный герой...

Магнус ударил кулаком по столу, его глаза налились кровью и горели.

– Молчать! Ты невообразимый осел, Вандергуд! Разве ты не понимаешь, что я сам был обманут ею, – обманут, как и ты? Кто не обманется, встретив Мадонну? О дьявол! И чего стоят страдания твоей ничтожной, полосатой, американской душонки рядом с муками моей души? О дьявол! Остроты, шутки, джентльмены и леди, ослы и тигры, боги и черти! Разве ты не видишь: это не женщина, это орел, который ежедневно клюет мою печень! Мои муки начинаются с утра. Каждое утро, забыв вчерашнее, я вижу перед собою Мадонну и верю! Я думаю: что было со мною вчера? Вероятно, я ошибся, чего-то недоглядел. Не может быть, чтобы этот ясный взор, эта божественная поступь, этот пречистый лик Мадонны принадлежал проститутке. Это в твоей душе грязь, Фома, а она чиста, как облатка. И бывало так, что я на коленях вымаливал прощения у этой твари! Представляешь это: на коленях! И вот когда я был истинным и жалким мошенником, Вандергуд. Я жалко выдумывал ее, я подсовывал ей мои мысли и чувства, радовался, как идиот, чуть не плакал от счастья, когда она, шатаясь в словах, что-то повторяла. Как жрец, я сам раскрашивал моего идола, а потом падал ниц в упоении! Но правда была сильнее. Минута за минутой, час за часом сползала с нее ложь, и бывало так, что к ночи я бил ее. Плакал и бил, бил жестоко, как сутенер бьет свою любовницу. А потом ночь с ее вавилонским развратом, мертвый сон – и забвение. И опять утро. И опять Мадонна. И опять... О дьявол! Как печень у Прометея, за ночь вырастала моя вера, и как коршун, целый день она терзала ее. Ведь я тоже живой человек, Вандергуд!

Поеживаясь, как от холода, Магнус быстро заходил по комнате, заглянул в потухший камин и подошел к Марии. Мария вопросительно подняла на него свой ясный взор, и с осторожной нежностью, как ласкают попугая или кошку, Магнус погладил ее по голове, бормоча:

– Какая головка! Какая милая головка... Вандергуд, пойдй погладь ее!

Я подтянул надорванный рукав и иронически спросил:

– И этого коршуна теперь ты хочешь отдать мне? У тебя уже не хватает корму? Кроме моих миллиардов, тебе нужна и моя печень!

Но Магнус уже успокоился. Поборов волнение и заметно овладевавший им хмель, он неторопливо вернулся на свое место и вежливо приказал:

– Сейчас я отвечу на ваш вопрос, м-р Вандергуд. Пожалуйста, пойдй к себе, Мария. Мне еще необходимо поговорить с м-ром Вандергудом. И вас, почтеннейший м-р Топпи, я также попросил бы на время удалиться. Вы можете побыть в зале с моими друзьями.

– Если м-р Вандергуд прикажет... – сухо сказал Топпи, не вставая.

Я утвердительно кивнул головою, и мой секретарь послушно вышел, не глядя на Магнуса. Удалилась

и Мария. Если говорить всю правду, то в первую минуту нашего тет-а-тет с Магнусом мне снова захотелось заплакать – припасть к его жилету и заплакать: ведь все же этот грабитель был моим другом! Но я только глотнул слезы, сделал: ам! – и удовлетворился. Потом миг короткого отчаяния, что Мария ушла. И медленно, словно издалека, словно от каких-то давних воспоминаний, начало подползать к моему сердцу слепое и дикое бешенство, потребность бить и разрушать. Скажу еще, что меня очень раздражал надорванный, непрерывно сползавший рукав: мне надо было быть суровым и грозным, а он делал меня смешным... ах, от каких пустяков зависит на этой земле исход важнейших событий! Я закурил сигару и с умышленной грубостью бросил в спокойное и ненавидное лицо Магнуса:

– Ну ты! Довольно комедий и шарлатанства. Говори, что надо. Так ты хочешь отдать мне своего коршуна?

Магнус спокойно ответил, хотя глаза его гневно сверкнули:

– Да. Это и есть то испытание, которое я хотел предложить вам, Вандергуд. Боюсь, что я несколько поддался чувству бесполезной и бесплодной мести и в присутствии Марии говорил горячее, нежели следует. Дело в том, что все это, о чем я так живописно повествовал, страсть и отчаяние и все муки... Прометея, остались в прошлом. Теперь я смотрю на Марию без боли и даже с некоторым удовольствием, как на красивого и полезного зверька... Полезного в душевном хозяйстве, вы понимаете? Что такое Прометеева печень? Все это вздор! В сущности, я должен быть только благодарен Марии. Своими зубками она выгрызла всю мою бессмысленную веру и дала мне тот ясный, твердый и непогрешимый взгляд на жизнь, при котором невозможны никакие обманы и... сентиментальности. Вы должны это понять и испытать, Вандергуд, если хотите идти вместе с Магнусом Эрго.

Я молчал, лениво посасывая сигару. Магнус потупил глаза и продолжал еще спокойнее и суше:

– Пустынники, чтобы приучить себя к смерти, спали в гробу: пусть для вас Мария будет этим гробом, и, когда вам захочется сходить в церковь, поцеловать женщину или протянуть руку другу, взгляните на Марию и вспомните ее отца, Фому Магнуса. Возьмите ее, Вандергуд, и вы скоро убедитесь в пользе моего дара. Мне она больше не нужна. И когда ваша оскорбленная душа загорится пламенем истинно человеческой неугасимой ненависти, а не дряблого презрения, приходите ко мне, я приму вас в ряды моего воинства, которое уже вскоре... Вы еще колеблетесь? Ну тогда идите ловить другие обманы, но только бойтесь мадонн и мошенников, господин из Иллинойса!

Он громко рассмеялся и залпом выпил стакан вина. Напускное спокойствие покинуло его. В его покрасневших глазах снова запрыгали огоньки хмеля, то веселые и смешливые, как огоньки карнавала, то мрачно-торжественные и дымные, как погребальные факелы у ночной могилы. Мошенник был пьян, но держался крепко и только шумел ветвями, как дуб под южным ветром. Встав передо мною, он цинично выпрямил грудь, словно весь выставляясь наружу, и точно плюнул в меня словами:

– Ну! Ты еще долго будешь думать, осел? Скорее, или я тебя выгоню. Скорее! Ты мне надоел наконец, зачем я трачу на тебя слова? О чем ты думаешь?

В голове у меня зашумело. С яростью поддегивая сползающий проклятый рукав, я ответил:

– Я думаю о том, какое ты злое, надменное, тупое и отвратительное животное! Я думаю о том, в каких источниках жизни или недрах самого ада я мог бы найти для тебя достойное наказание. Да, я пришел на эту землю, чтобы поиграть и посмеяться. Да, я сам был готов на всякое зло, сам лгал и притворялся, но ты, волосатый червяк, забрался в самое мое сердце и укусил меня. Ты воспользовался тем, что у меня человеческое сердце, и укусил меня, волосатый червяк. Как ты смел обмануть меня? Я накажу тебя.

– Ты? Меня?

Рад сказать, что Магнус казался не только изумленным, но и опешившим. Его глаза расширились и округлились, раскрытый рот наивно выставлял белые зубы. Словно с трудом дыша, он повторил:

– Ты? Меня?

– Да. Я тебя.

– Полиция?

– Ты ее не боишься? Хорошо. Пусть все твои труды ничего не стоят, пусть на земле ты останешься безнаказанным, бессовестная и злая тварь, пусть в море лжи, которая есть ваша жизнь, бесследно растворится и исчезнет и твоя ложь, пусть на всей земле нет ноги, которая раздавила бы тебя, волосатый червь. Пусть! Здесь бессилён и я. Но наступит день, и ты уйдешь с этой земли. И когда ты придешь ко Мне и вступишь под сень Моей державы...

– Твоей державы? Постой, Вандергуд. Что же ты?

И вот здесь произошло самое позорное событие в моей земной жизни. Скажи: это смешно и стыдно, когда Сатана, хотя и вочеловечившийся, молитвенно склоняет колени перед проституткой и до нитки обкрадывается первым попавшимся проходимцем? Да, это смешно и стыдно для мудрого Сатаны, принесшего с собою дыхание вечности. Но что сказать про Сатану, который превращается в бессильного и жалкого лжеца и с треском напяливает на свою мудрую голову картонную корону театрального царя? Мне стыдно, человеке. Дай мне одну из твоих оплеух, человеке, которыми ты кормишь твоих друзей и наемных шутов. Или это оборванный рукав привел меня в такую безрассудную и жалкую ярость? Или это и было последним актом вочеловечения, когда дух нисходит до земли и дыханием своим метет пыль и навоз? Или гибель Мадонны, при которой я присутствовал, повлекла в ту же пропасть и Сатану?

Но вот что, – ты подумай! – вот что я ответил Магнусу. Выпрямив грудь в разорванной сорочке, незаметно поддерживая рукав, чтобы он совсем не свалился, сурово и грозно глядя прямо в глупые и, как я верил, испуганные глаза мошенника Магнуса, я торжественно ответил:

– Я – Сатана.

Одно мгновение Магнус молчал и затем рассмеялся всем смехом, какой только может вместить пьяная, отвратительная человеческая утроба. Ты, конечно, ждешь этого, человеке, но я не ждал, клянусь вечным спасением, совсем не ждал! Я что-то крикнул, но наглый хохот этого животного заглушил мой голос. Наконец, улучив минуту в раскатах его хохота, я быстро и скромно пояснил... как примечание внизу страницы, как комментарий издателя:

– Понимаешь: я вочеловечившийся Сатана. Вочеловечившийся!

Он выслушал меня выпучив глаза – и с новыми раскатами смеха, шатаясь от его порывов, направился к дверям, раскрыл и крикнул:

– Сюда! Идите сюда! Тут Сатана! Вочело... вочеловечившийся!

И скрылся за дверями. О, если бы я мог провалиться, исчезнуть, улететь, как истинный черт на крыльях, в эту бесконечно длившуюся минуту, пока он собирал свою публику для необыкновенного спектакля. И вот они появились все, будь они прокляты: и Мария, и все шестеро сотрудников, и мой несчастный Топпи, и сам Магнус, и в заключении шествия – его преосвященство кардинал Х.! Проклятая бритая обезьяна шла очень чинно и даже поклонилась мне, вслед за тем так же чинно уселась в кресло и расправила на коленях сутану. Все недоумевали, еще не зная точно, в чем дело, и смотрели то на меня, то на Магнуса, старавшегося быть серьезным.

– В чем дело, синьор Магнус? – благосклонно спросил кардинал.

– Позвольте доложить следующее, ваше преосвященство. Мистер Генри Вандергуд только что заявил мне, что он Сатана. Да, вочеловечившийся Сатана. Таким образом, наше предположение, что он американец из Иллинойса, падает. М-р Вандергуд – Сатана и, по-видимому, только недавно изволил прибыть из ада. Как же нам быть, ваше преосвященство?

Молчание еще могло спасти меня. Но разве можно было что-нибудь сделать с этим разъярившимся Вандергудом, у которого обида бурлила в сердце! Как лакей, присвоивший себе имя своего знатного господина, что-то смутно знающий о его величии, могуществе и связях, – Вандергуд важно выступил вперед и сказал с ироническим поклоном:

– Да, я Сатана. Но должен добавить к речи синьора Магнуса – не только вочеловечившийся, но и ограбленный Сатана. Вам не известны, ваше преосвященство, те два мошенника, что ограбили меня. Не вы ли один из них, ваше преосвященство?

Один Магнус продолжал ухмыляться, все остальные стали, как мне казалось, серьезны и ждали ответа кардинала. И он последовал: бритая обезьяна оказалась недурным актером. Сделав преувеличенно испуганное лицо, кардинал поднял правую руку и произнес с выражением крайнего добродушия, противоречившего жесту и словам:

– Ваде ретро, Сатанас![\[7\]](#)

Не стану рассказывать, как они смеялись. Ты сам можешь представить это. Даже Мария слегка открыла свои зубки. Почти теряя сознание от бешенства и бессилия, я обратился к Топпи за сочувствием и поддержкой, но Топпи закрыл лицо руками, ежился в углу и молчал. Среди общего смеха, покрывая его, раздался тяжелый и безгранично глумливый голос Магнуса:

– Смотрите на ощипанного петуха. Это – Сатана!

И новый взрыв смеха. Его преосвященство неистово бил крылышками, захлебывался, ныл, его обезьянья неприспособленная гортань едва пропускала каскады хохота. Я бешено дернул за свой проклятый рукав, оторвал его и, размахивая им, как флагом, на всех парусах пустился в открытое море лжи. Я знал, что где-то впереди есть рифы, о которые я разобьюсь, но ураган бессилия и гнева нес меня, как щепку.

Мне стыдно приводить эту речь, где каждое слово дрожало и выло от бессилия. Словно сельский поп, пугающий своих невежественных прихожан, я грозил им адом и его дантевскими муками литературного свойства. О, я таки знал кое-что, что могло бы действительно напугать их, но как я мог выразить необыкновенное, что невыразимо на их языке? И я болтал о вечном огне. О вечных муках. О неутолимой жажде. О скрежете зубов. О бесплодии жалоб и слез. И о чем еще? Ах, даже о раскаленных крючьях болтал я, все больше распаляемый равнодушием и бесстыдством этих плоских лиц, этих маленьких глаз, этих ничтожных душ, мнивших себя безнаказанными. Но уютно, как в крепости, сидели они за стенами своего ничтожества и роковой слепоты, и распылялись все мои слова об их непроницаемые лбы! И ты подумай, единственный, кто был действительно испуган, был мой Топпи и Топпи, который один только мог знать, что эти слова мои – ложь! Это было так невыносимо глупо и смешно, когда я встретил его молящие, испуганные глаза, что я сразу, на самом высоком месте, оборвал мою речь. Еще раз и два молчаливо взмахнул оторванным рукавом, заменявшим знамя, и бросил его в угол. Мгновение мне еще казалось, что несколько испугана бритая обезьяна: синева ее щек резче выделилась на бледном квадратном лице, и уголки глаз как-то подозрительно тлели под чернотой косматых бровей, но вот она не спеша подняла руку, и тот же кощунственный шутливый возглас прервал общее молчание:

– Ваде ретро, Сатанас!

Или за этой шуткой кардинал хотел скрыть свой действительный испуг? Не знаю. Ничего не знаю. Раз

я не мог ни провалить их, ни сжечь, как Содом и Гоморру, то стоит ли толковать о мурашках и гусиной коже? От этого спасает простой стакан вина.

И Магнус, как искусный целитель душ, спокойно предложил:

– Не хотите ли стакан вина, ваше преосвященство?

– Приму с благодарностью, – ответил кардинал.

– А Сатане мы не дадим, – дополнил Магнус, наливая вино, и шутливо покосился на меня. Но теперь он мог говорить и делать что угодно: Вандергуд иссяк и висел на ручке кресла, как тряпка.

Когда вино было выпито, Магнус закурил папиросу (он курит папирасы), обвел взглядом слушателей, как лектор перед началом лекции, приветливо кивнул совсем поблекшему Топпи и сказал следующее... хотя он был явно пьян и глаза его налились кровью, голос его был тверд и речь размеренно спокойна:

– Должен сказать, м-р Вандергуд, что я был очень внимательным слушателем, и ваша пылкая и страстная тирада произвела на меня большое художественное, сказал бы я, впечатление... минутами вы напоминали мне лучшие места из проповедей брата Джеронима Савонаролы. Вы не находите, ваше преосвященство, некоторого сходства? Но увя! – вы несколько отстали от времени. Те угрозы адом и вечными муками, которые могли повергнуть в панику веселую и прекрасную Флоренцию, звучат крайне неубедительно в воздухе современного Рима. Грешников давно нет на земле, м-р Вандергуд, – вы этого не заметили? – а для преступников и, как вы неоднократно выражались, мошенников простой комиссар полиции гораздо страшнее, нежели сам Вельзевул со всем его штабом чертей. Несколько странно, должен признаться, наряду с адскими муками и вечностью, прозвучало ваше обращение к суду истории и потомства, но и здесь вы оказались не на высоте современной мысли: теперь всякий дурак знает, что беспристрастная история с одинаковой любезностью заносит на свои скрижали как имена праведников, так и имена злодеев. Все дело в масштабе, м-р Вандергуд, вам, как американцу, это должно быть особенно понятно. И те невещественные розги, которыми история наказывает больших преступников, очень мало отличаются от ее лавров – на большом расстоянии, и эта маленькая разница положительно теряется, уверяю вас, Вандергуд, совершенно исчезает! И поскольку двуногое желает залезть в историю – а это желание есть у всех нас, м-р Вандергуд, оно может совершенно не стесняться в выборе двери: извиняюсь перед его преосвященством, но ни одна потаскуха с улицы не принимает так охотно нового гостя, как история нового... героя. Боюсь, что ни с адом, ни с историей дело у вас не вышло, Вандергуд: лучше прямо посылайте за полицией. Ах, но боюсь, что и с полицией у вас ничего не выйдет: я еще не успел сказать вам, что его преосвященство вступил в некоторую долю в тех миллиардах, что вы совершенно законно уступили мне, и его связи... вы понимаете?

Бедный Топпи: он только моргал глазами! Сотрудники весело рассмеялись, но кардинал сердито проворчал, сжигая меня своими угольками:

– Но он нагл. Он говорит, что он – Сатана. Выставьте его вон, синьор Магнус. Это кощунство!..

– Разве? – вежливо улыбнулся Магнус. – Я и не знал, что Сатана также принадлежит к лику...

– Сатана – падший ангел, – наставительно сказал кардинал.

– И, как таковой, он также у вас на службе? Я понимаю, – вежливо кивнул Магнус и с улыбкой обратился ко мне: – Слышите, Вандергуд? Его преосвященство недоволен вашей дерзостью.

Я молчал. Магнус лукаво подмигнул мне красными глазами и продолжал с искусственной важностью:

– Я думаю, ваше преосвященство, что здесь простое недоразумение. Я знаю скромность и вместе начитанность м-ра Вандергуда и полагаю, что к имени Сатаны он прибег как к известному художественному приему. Разве Сатана грозит полицией? А мой несчастный компаньон грозил ею. И разве

вообще кто-нибудь видал такого Сатану?

Он эффектным жестом протянул ко мне руку, – и новый смех был ответом на эту шутку. Залился смехом и кардинал, и только Топпи качнул своей премудрой головой, как бы говоря:

– Идиоты!..

Кажется, Магнус заметил это. Или хмель снова овладел им. Или то буйство, каким пылала его душа, не могло долго держаться ни в каких плотинах, рвалось наружу. Но он угрожающе качнул своей тяжелой взрывчатой головой и крикнул:

– Довольно смеяться! Это глупо. Откуда вы все знаете? Это глупо, говорю вам. Я ни во что не верю, и оттого я все допускаю. Пожми мне руку, Вандергуд: они все глупцы, а я готов допустить, что ты – Сатана. Только ты попал в скверную историю, дружище Сатана. Потому что я все равно тебя сейчас выгоню! Слышишь... черт.

Он погрозил мне пальцем и задумался, низко и тяжело опустив голову и сверкая красными глазами, как бык, готовый кинуться. Смущенно молчали сотрудники и обиженный кардинал. Магнус еще раз многозначительно погрозил мне пальцем и сказал:

– Если ты Сатана, то ты и здесь опоздал. Понимаешь? Ты зачем пришел сюда? Играть, ты говорил? Искушать? Смеяться над нами, людишками? Придумать какую-нибудь новую злую игру, где мы плясали бы под твою музыку? Но так ты опоздал. Надо было приходить раньше, а теперь земля выросла и больше не нуждается в твоих талантах. Я не говорю о себе, который так легко обманул тебя и отнял деньги: я – Фома Эрго. Не говорю о Марии. Но посмотри на этих скромных маленьких друзей моих и устыдись: где в твоём аду ты найдешь таких очаровательных, бесстрашных, на все готовых чертей? А они даже в историю не попадут, такие они маленькие.

Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночицаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врешь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-Богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врешь? — все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поежился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сноси! — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съездившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдешь! — И при каждом слове Феокиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох, как изобью! — кричала мать.

— Что же, избеи!

Феокиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феокиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, — продолжал отец.

Он хитрил, — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно

захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну, ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузье? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне все равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдется, — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален, — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной

жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый... милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тетя, а тетя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. — Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки, — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошел! — воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, на уж, на, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, — и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

III

Мать спала, обессилив от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

— Да, в нем есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокоей борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознательным движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной

груди.

— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скосил с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем все это?

— Ну, что еще? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду... не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя брошенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

11–16 ноября 1899 г.

Комментарии

Впервые — в газете «Курьер», 1899, 25 декабря, № 356 с посвящением Александре Михайловне Велигорской (1881–1906), ставшей в 1902 г. женой Андреева. Отдельным изданием выпущен в Ростове-на-Дону «Донской речью» (1904) и в «Дешевой библиотеке т-ва „Знание“», № 52 (СПб., 1906).

З. Н. Пацковская, родственница Андреева, вспоминала: «Елка эта была у нас, и наверху был восковой ангелочек; Леонид все на него смотрел, потом взял его себе (моя мать ему его подарила), и когда лег спать, то положил его на горячую лежанку, и он, конечно, растаял. Было ему в это время лет 8. Но в рассказе кое-что переиначено. Там выводится мальчик из бедной семьи. Леониду же отец и мать делали обыкновенно свою роскошную елку» (Фатов, с. 212).

Интересны размышления А. Блока о рассказе «Ангелочек» в статье «Безвременье». Говоря о разрушении устоявшегося мира (статья писалась в 1906 г.), поэт сожалел об исчезнувшем «чувстве домашнего очага». Праздник Рождества был «высшей точкой этого чувства». Теперь же он перестал быть «воспоминанием о Золотом веке». Люди погрузились в затхлый мещанский быт, в «паучье жильё». Это — реминисценция из Достоевского: Свидригайлов («Преступление и наказание») предполагал, что Вечность может оказаться не «чем-то огромным», а всего лишь тесной каморкой, «вроде деревенской бани с пауками по углам». «Внутренность одного паучьего жилья, — писал Блок, — воспроизведена в рассказе Леонида Андреева „Ангелочек“. Я говорю об этом рассказе потому, что он наглядно совпадает с „Мальчиком у Христа на елке“ Достоевского. Тому мальчику, который смотрел сквозь большое стекло, елка и торжество домашнего очага казались жизнью новой и светлой, праздником и раем. Мальчик Сашка у Андреева не видал елки и не слушал музыки сквозь стекло. Его просто затащили на елку, насильно ввели в праздничный рай. Что же было в новом раю?

Там было положительно нехорошо. Была мисс, которая учила детей лицемерию, была красивая изолгавшаяся дама и бессмысленный лысый господин; словом, все было так, как водится во многих порядочных семьях, — просто, мирно и скверно. Была „вечность“, „баня с пауками по углам“, тишина пошлости, свойственная большинству семейных очагов». Ал. Блок уловил в «Ангелочке» ноту, сблизившую «реалиста» Андреева с «проклятыми» декадентами. Это — нота безумия, непосредственно вытекающая из пошлости, из «паучьего затишья» (Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М. — Л., Гослитиздат, 1962, с. 68–69). Образ «большого серого животного» из сна другого героя Достоевского — Ипполита (в романе «Идиот») Блок применил к этому безумному смрадному миру. «Ангелочек» дал заглавие сборнику рассказов Андреева, переведенных на английский язык Г. Бернштейном (Нью-Йорк, 1915).

В темную даль

I

Уже четыре недели жил он в доме — и четыре недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно-громко и так же неестественно-громко смеялись, но, когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легкий и более беззвучен, чем если бы они шли на цыпочках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он», и так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других; слово же «он» точно и резко выражало страх, который внушала его высокая, сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей, но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившее весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепьяно, но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила, а, уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса.

Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул; он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедно и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне.

— Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антоныч Барсуков? — повторил вошедший свой вопрос.

Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он вполборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал:

— Вам что здесь нужно?

— Не узнал, отец? — насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший. — А ведь я Николай, по отчеству Александрыч.

— Какой... Николай? — отступил на шаг Александр Антонович.

Но, спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно страшной старческой бледностью, похожей на смерть, и руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холеная борода прикоснулась к черной мокрой бородке, и старческие, отвыкшие целовать губы искали молодых

свежих губ и с ненасытной жадностью впивались в них.

— погоди, отец, дай раздеться, — мягко говорил Николай.

— Простил? Простил? — дрожал всем телом Александр Антонович.

— Ну, что за глупости! — сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца. — Какое еще там прощение?

Когда они входили в столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому с такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. Но радость от свидания, хотя и отравленная, бурлила в груди и искала выхода, и вид сына, который пропадал неведомо где в течение целых семи лет, делала его походку быстрой и молодой и движения порывистыми и несолидными. И он искренне рассмеялся, когда Николай остановился перед сестрой и, потирая озябшие руки, спросил:

— А эта барышня — сестрица, что ли?

Ниночка, семнадцатилетняя девушка, бледненькая и худенькая, стояла у своего места и смущенно перебирала по столу пальцами, устремив на брата большие испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, которого она помнила больше, чем сам отец, и теперь не знала, что делать. И когда Николай, вместо поцелуя, пожал ей руку, она ответила крепким пожатием и чуть, по-институтски, не присела.

— А это господин студент Андрей Егорыч — Петькин репетитор, — знакомил Александр Антонович.

— Петька? — удивился Николай. — Да он уже учится! Важно!

Потом его познакомили с остролицей дамой, которая наливала чай и которую называли просто Анной Ивановной, и потом все стали жадно рассматривать его, пока он в свою очередь оглядывал комнату, желая узнать, все ли так, как было семь лет тому назад. Было в нем что-то странное, не поддающееся определению. Высоким ростом, гордым поворотом головы, пронзительным взглядом черных глаз из-под крутых, выпуклых бровей, он напоминал молодого орла. Дикостью и свободой веяло от его прихотливо разметававшихся волос; трепетной грацией хищника, выпускающего когти, дышали все его движения, уверенные, легкие, бесшумные; и руки без колебаний находили и брали то, что им нужно. Словно не сознавая неловкости своего положения, он смотрел в глаза каждому глубоко и спокойно, но даже и в ту минуту, когда взгляд был ласков, в нем чудилось что-то затаенное и опасное, что видится всегда в глазах ласкающегося хищника. И говорил он повелительно и просто, видимо, не обдумывая своих слов, точно это были не ошибающиеся, невольно лгущие звуки человеческой речи, а непосредственно звучала сама мысль. Чувство раскаяния не могло иметь места в душе такого человека.

Но если это был орел, то перья его были сильно помяты в схватке, из которой он едва ли ушел победителем. Об этом говорило платье, носившее на себе следы ночевки, грязное, непригнанное к телу; и было в этом платье что-то неуловимо-хищное, тревожное, заставляющее всех хорошо одетых людей испытывать смутное чувство опасения. И минутами по всему статному и сильному телу пробегала мгновенная дрожь странной боязни; тогда все тело как будто становилось меньше, и казалось, что волосы на затылке поднимаются как у ошетинившегося зверя; и глаза быстро и злобно обегали всех присутствующих. Пил и ел он с жадностью, как человек, которому долго пришлось голодать или который все время недоедает и поэтому готов бывает есть каждую минуту и все, что подано на стол. И, кончив, он сказал: «Важно!» — и погладил себя немного насмешливо по животу. Отказавшись от отцовской сигары, он взял у студента папиросу (у самого у него папирос не было) и приказал: — Рассказывайте!

Рассказывать стала Ниночка, именно о том, как она окончила институт и как ей жилось там. Сперва она робела, но так как рассказывать ей приходилось то, что она уже несколько раз передавала, то она легко вспомнила все остроумные слова и была очень довольна собой. Николай не то слушал, не то нет; он

улыбался, но не всегда в тех местах, где были остроумные слова, и все время водил по комнате своими выпуклыми глазами. Иногда он перебивал речь не идущими к месту вопросами.

— Что отдал за картину? — спросил он у молчавшего и также несколько насмешливо улыбавшегося отца.

— Не помню.

— Две тысячи, — с почтением к деньгам отозвалась до сих пор молчавшая Анна Ивановна и боязливо взглянула на Александра Антоновича.

И оба улыбнулись — отец и Николай, и в улыбке проскользнуло что-то враждебное. Теперь Александр Антонович уже не суетился и оттого стал строгим и важным.

— Дела как? — так же коротко спросил Николай у отца.

— Ничего. Идут.

— Новый дом купили. На Итальянской. Трехэтажный. И завод еще купили, — почти шепотом сказала Анна Ивановна.

Она боялась Александра Антоновича, но не могла удержаться, так как всегда была занята тем, что сравнивала свой капиталец в пятьсот пятьдесят шесть рублей, находившийся в сберегательной кассе, с капиталом Барсукова, у которого были дома, заводы и акции.

— Ну, Ниночка, продолжай, — сказал Николай. Но Ниночке давно уже стало скучно. У нее опять закололо в боку, и она сидела худенькая, бледная, почти прозрачная, но странно красивая и трогательная, как начавший увядать цветок. И пахло от нее какими-то странными, легкими духами, напоминавшими желтеющую осень и красивое умирание. Застенчивый рябой студент внимательно наблюдал за ней и тоже, казалось, бледнел по мере того, как исчезала краска с лица Ниночки. Он был медик и, кроме того, любил Ниночку первой любовью.

Но тут явился Феноген Иваныч, старый лакей. Рожа его выглянула из двери, как восходящая луна, и была так же широка, красна и безволоса. Он был в бане, после бани немного выпил и, придя домой, узнал от горничной о приезде барчука, с которым во дни оны играл в лошадки. Немного плача, то ли от водки, то ли от любви, он напялил фрак, надушил лысину, как это делал барин, и степенно пошел в столовую. За дверьми он немного постоял и с торжественно надутыми щеками, как при приезде самого губернатора, явился к Николаю.

— Феногешка! — весело крикнул Николай, и голос его прозвучал, как у ребенка.

— Барчук! — взвизгнул Феноген и, опрокидывая стулья, кинулся к Николаю.

Он хотел сперва поцеловать его в плечо, но так как Николай вместо того пожал ему руку, то Феноген важно откинулся назад и ответил крепким, до боли, пожатием. Он позволял себе думать, что он не слуга, а друг Николая, и рад был публичному признанию его в этом достоинстве. Но поцеловаться все же нужно было.

— И вдобавок пьян! — с веселым изумлением к постоянству Феногеновых привычек сказал Николай, ощутив запах водки.

— Разве? — строго отозвался Александр Антонович.

Мотая отрицательно головой, Феноген Иваныч благовоспитанно отступал задом и косил глаза, чтобы узнать, где дверь, но все-таки сперва попал в простенок и оттуда уже, на ощупь, добрался до двери. Все это заняло довольно много времени. В передней Феноген Иваныч приостановился, с нежностью осмотрел руку, которую пожал Николай, и, неся ее впереди себя, как нечто совершенно ему постороннее, хрупкое и

ценное, тронулся в людскую. Вообще он уважал себя, но в данный момент самой уважаемой частью его тела была правая рука.

В этот день Александр Антонович не поехал в правление и после обеда, за которым он выпил много вина, пришел в светлое и мягкое настроение. Обняв Николая за талию, он повел его в библиотеку, закурил сигару и, приготовившись к долгому слушанию, добродушно сказал:

— Ну, теперь рассказывай: где был, что делал?

Николай ответил не сразу. По телу его снова пробежала та же странная дрожь испуга, и глаза метнули взор к двери, но голос оставался спокойным и серьезным.

— Нет, отец. Я прошу тебя оставить разговор о моих приключениях.

— Я видел у тебя кошелек заграничной работы. Ты был за границей?

— Был, — коротко ответил Николай. — Но довольно, отец.

Александр Антонович нахмурил брови и встал с дивана. Заложив руки за спину, под скюртук, он прошелся по комнате и, не глядя на сына, спросил:

— Ты все такой же?

— Как видишь. А ты, отец?

— Как видишь. Ступай, мне надо заниматься.

Когда Николай вышел, Александр Антонович запер за ним дверь, оглянулся и, подойдя к камину, молча, но с силой ударил по белому, блестящему кафлю. Потом вытер платком руку, к которой пристала белая полоска извести, и сел заниматься. И опять лицо его белело той страшной бледностью, которая напоминает смерть.

Никто не видел свидания Николая с бабушкой, но вышел он от нее хмурый и как будто немного растроганным. И на минутку все почувствовали облегчение, когда за Николаем захлопнулись белые двери его комнаты, но с того момента он перестал быть гостем, и с этого же момента появилась та странная тревога, которая, разрастаясь, скоро захватила весь дом. Как будто вошел в дом и навсегда занял в нем место кто-то загадочно-опасный, более чужой, чем любой человек с улицы, и более страшный, чем притаившийся грабитель. И только один Феноген Иванович не почувствовал этого, так как с радости выпил еще и теперь спал на поваровой постели, и во сне сохраняя вид полного самоуважения и немного откидывая правую руку.

А в гостиной Ниночка тихо рассказывала студенту о том, что было семь лет тому назад. Тогда Николай за одну историю был уволен с несколькими товарищами из Технологического института, и только связи отца спасли его от большого наказания. При горячем объяснении с сыном вспыльчивый Александр Антонович ударил его, и в тот же вечер Николай ушел из дому и вернулся только сегодня. И оба — и рассказчица и слушатель — качали головами и понижали голос, и студент для ободрения Ниночки даже взял ее руку в свою и гладил.

II

Николай никому не мешал; сам говорил мало и других слушал не то чтобы неохотно, а с каким-то высокомерным равнодушием, как будто вперед знал, что ему могут рассказать. На середине рассказа он иногда уходил, и все время лицо его имело такое выражение, точно он прислушивается к чему-то далекому, важному и одному ему слышному. Он ни над кем не смеялся и никого не упрекал, но, когда он выходил из библиотеки, где просиживал большую часть дня, и рассеянно блуждал по всему дому, заходя в людскую, и к сестре, и к студенту, он разносил холод по всему своему пути и заставлял людей думать о себе так, точно они сейчас только совершили что-то очень нехорошее и даже преступное и их будут судить и наказывать. Теперь он был одет очень хорошо, но и в изысканном платье он не сливался с пышным великолепием комнат, а стоял особняком, как что-то чужое и враждебное. И если бы все эти дорогие вещи могли чувствовать и говорить, они сказали бы, что умирают от страха, когда он приближается или берет одну из них в руки и рассматривает с странным любопытством. Он никогда ничего не ронял и ставил вещь на место, как раз так, как она стояла, но как будто прикосновение его руки отнимало у изящной статуэтки всю ее ценность, и после его ухода она стояла пустой и ни на что не нужной. Ее душа, созданная искусством, таяла в его руках, и оставался только ненужный кусок бронзы или глины.

Раз Николай пришел к Ниночке во время ее урока рисования, когда она очень похоже и хорошо копировала с чьей-то картины фигуру нищего, просящего милостыню.

— Рисуй, Нина. Я не буду тебе мешать, — сказал он, садясь возле, на низенькой софе.

Ниночка робко улыбнулась и некоторое время продолжала водить кистью, беря не те краски, какие нужно. Потом бросила и сказала:

— Я устала. Тебе нравится?

— Да, хорошо. Ты и играешь хорошо.

От этой холодной похвалы впечатлительной Ниночке стало скучно. Она, критически наклонив голову набок, осмотрела свой рисунок, вздохнула и сказала:

— Бедный нищий. Мне так жаль его. Тебе тоже?

— Да, тоже.

— Я в двух попечительствах о бедных участвую. Ужасно много работы, — горячо сказала она.

— Что же вы там делаете? — равнодушно спросил Николай.

Ниночка начала рассказывать подробно, потом короче, потом остановилась совсем. Николай молчал и перелистывал альбом, в котором знакомые Ниночки записывали стихи.

— Я на курсы хотела, но папа не позволяет, — внезапно сказала Ниночка, словно ища пути к вниманию брата.

— Дело хорошее. Ну и что же?

— Не позволяет папа. Но я добьюсь своего.

Николай ушел, и в груди Ниночки стало пусто и тоскливо. Она отбросила альбом, печально посмотрела на начатую картину, которая ей показалась отвратительной и никому не нужной мазней. Не умея сдерживать своих порывов, Ниночка взяла кисть и крест-накрест перечертила полотно синей краской и отхватила при этом у нищего полголовы. С первого дня, когда Николай пожал ей руку, она полюбила его, а он ни разу не поцеловал ее. Если бы он поцеловал ее, Ниночка открыла бы ему все свое маленькое, но

уже изболевшееся сердце, в котором то пели маленькие, веселые птички, то каркали черные вороны, как писала она в своем дневнике. И дневник бы свой она отдала ему, — а в дневнике на каждой странице рассказывается о том, какая она никому не нужная и несчастная.

Он думал, что она довольна и рисованием своим, и музыкой, и попечительством, и ошибается: ей не нужны ни рисование, ни музыка, ни попечительство.

Смеялся Николай только на уроках студента с Петькой, и Петька ненавидел его за смех. В его присутствии он нарочно еще выше задирает колени, так что едва не заваливался со стулом на спину, щурил пренебрежительно глаза, ковырял в носу, хотя прекрасно знал, что этого не нужно делать, и хладнокровно говорил студенту невыносимые дерзости. Рябое лицо репетитора наливалось кровью и потело; он чуть не плакал и по уходе Петьки жаловался, что мальчишка совсем не хочет учиться.

— Не знаю, что из него выйдет, — говорил студент. — Теперь вот тоже горничная жаловалась мне, что он ей гадости говорит.

— Прохвост выйдет, — без видимого огорчения определил Николай будущее брата.

— Бьешься, бьешься, нервы тратишь, а что толку! — чуть не плакал студент, вспоминая длинный ряд унижений и стыда за себя, когда хотелось провалиться сквозь землю или избить ученика.

— Бросьте!

— А жрать-то надо! — в отчаянии воскликнул Алексей Егорович.

— Ну и жрите, что подносят.

Но в споры со студентом, несмотря на старания последнего, Николай не вступал. И Ниночка и Алексей Егорович делали частые попытки решить, что такое представляет собою брат Николай, и доходили до таких фантастических картин, что обоим становилось смешно. Но, расходясь, они удивлялись своему смеху, и самые фантастические предположения казались истинными, а на другой день оба со страхом и страстным любопытством ждали появления Николая, думая, что именно сегодня и решится томительный вопрос. Но Николай появлялся, а вопрос оставался все таким же далеким от решения.

Особенной яркости и неправдоподобности достигали те предположения, что делались в людской, и впереди всех рассказчиков стоял Феноген Иваныч. Когда он немного выпивал, фантазия его работала неудержимо и создавала такие картины, перед которыми он сам останавливался в недоумении и испуге.

— Он разбойник! — сказал однажды Феноген Иваныч, и красное лицо его побледнело от страха.

— Ну вот, разбойник!.. — не поверил повар, но тоже оглянулся на дверь.

— Который грабит только богатых, — ввел поправку Феноген Иваныч, слыхавший когда-то от самого Николая, тогда еще мальчика, о существовании подобных разбойников.

— А зачем ему грабить, когда у отца денег невпроворот? — усомнился кучер, очень основательный человек.

— Три завода, четыре дома, акции каждодневно обрезают, — прошептала Анна Ивановна, у которой находилось теперь в кассе ровно пятьсот шестьдесят рублей, так как четыре рубля она внесла на днях.

Предположение Феногена Иваныча рухнуло. Анна Ивановна обыскала все вещи Николая и ничего не нашла, кроме белья. И именно то, что она ничего не нашла, кроме белья, всего более пугало и тревожило. Если бы в чемодане нашлись ружья, пули и ножи и Николай действительно оказался бы разбойником, это было бы не так страшно, как не знать совершенно занятий человека, который так не похож на других людей лицом и ухватками: слушает, а сам не говорит и смотрит на всех, как палач. Тревога росла и переходила в суеверный страх, ледяной волной прокатывавшийся по дому.

Был подслушан один короткий разговор Николая с отцом — и не рассеял страха, но еще более сгустил туманную атмосферу недоумения и загадки.

— Ты сказал когда-то, что ненавидишь всю нашу жизнь, — отдельно выговаривая каждое слово, спрашивал отец. — Ты и теперь ненавидишь ее?

Так же размеренно и медленно звучал серьезный ответ Николая:

— Да, я ненавижу ее от самого дна до самого верху. Ненавижу и не понимаю.

— Ты нашел лучше?

— Да, нашел. Да, нашел, — твердо повторился Николай.

— Останься с нами.

— Это невозможно, отец. И ты это знаешь.

— Николай! — прозвучал гневный окрик Александра Антоновича.

И через минуту напряженного молчания тихий и немного грустный ответ Николая:

— Ты все тот же, отец. Вспыльчивый и — добрый.

И Рождество в этом богатом доме наступило смутное и безрадостное. Присутствие человека, который ни в чем не разделял мыслей и чувств окружавших его людей, мрачным кошмаром нависало над всеми и отнимало у праздника не только его радостный характер, но и самый смысл. Казалось, что и сам Николай заметил, как тягостен он для других, и почти не выходил из своей комнаты, — но за глазами он казался еще страшнее, чем на глазах. За несколько дней до Рождества, у Барсуковых случайно собрались гости; Николай не вышел к ним, как вообще не выходил ни к кому из посторонних, и, одетый, лежал на постели, прислушиваясь к звукам музыки. Смягченные толщей стен, они казались мелодичными и нежными, как далекое пение чистых и безгрешных голосов, и так мягко входили в ухо, словно пел самый воздух. Николай вслушивался и вспоминал то время, когда он был еще маленький, и была жива его мать, и у них собирались гости, а он так же издали прислушивался к музыке и грезил — не образами, а чем-то другим, в чем и образы и звуки сплетались в одно яркое и мучительно-красивое, и оно извивалось, как разноцветная, поющая лента. И он понимал тогда, что значит это яркое, но не мог никому объяснить, даже себе, и только старался дольше не засыпать — и засыпал. Раз он заснул таким образом, никем не замеченный, в прихожей, на шубах, и теперь ему ясно представился запах пушистого, щекочущего меха. И снова содрогание непонятного ужаса пробежало холодными иглами по его телу, — но и другое что-то, более мягкое и теплое, озарило его лицо, и словно ласкающая нежная рука расправила насупленные брови. Лицо стало неподвижно, но спокойно, кротко и незлобиво, как у мертвого. Нельзя было догадаться, бодрствует он или спит, жив он или мертв, но можно было сказать одно: этот человек отдыхает.

Наступил сочельник, и в сумерки к Николаю явился Феноген Иваныч. Он был почти трезв, мрачен и глядел в сторону, а на глазах замечались следы как будто слез.

— Пожалуйте к бабушке, — сказал он из дверей.

— Что такое? — удивился Николай.

Феноген Иваныч вздохнул и повторил:

— Пожалуйте к бабушке.

Николай пошел вверх — и только что переступил порог, как две тонкие девичьи руки охватили его шею; к лицу приблизилось нежное личико с широко раскрытыми влажными глазами, и голос, задышающийся от рыданий, зашептал:

— Коля, Коля, как ты нас измучил! Коля, Коля, братик милый, помирись с папой. И со мной. И останься с нами, Коля, Коля!

И маленькое, худенькое тело трепетно билось в его руках, и маленькое, никому не нужное сердечко стало таким огромным, что в него вошел бы весь бесконечно страдающий мир. Николай хмуро, исподлобья метнул взор по сторонам. С постели тянулись к нему страшные в своей бескровной худобе руки бабушки, и голос, в котором уже слышались отзвуки иной жизни, хриплым, рыдающим звуком просил:

— Коля, Коля!..

А на пороге плакал Феноген Иванович. Он потерял всю свою важность, и хлюпал носом, и двигал ртом и бровями; и слез было так много, они такой рекой текли по его лицу, точно шли не из глаз, как у всех людей, а сочились из всех пор тела.

— Друг мой! Николенька! — шептал он молитвенно, протягивая вперед руки с застывшим в них красным платком.

Николай беспомощно и жалко улыбался, не зная того, что из его орлиных, теперь померкших глаз падают редкие, скупые слезинки. И тогда из темного угла выступила на свет трясушая старческой дрожью, бессильная голова того, кто был его отцом и всю жизнь которого он ненавидел и не понимал.

Но теперь он понял.

С тем же безумием любви, каким была проникнута его ненависть, Николай рванулся к отцу, увлекая за собой Ниночку. И все трое, сбившиеся в один живой плачущий комок, обнажившие свои сердца, потрясенные, они на миг стали одним великим существом с единым сердцем и единой душой.

— Остался! — хриплым торжествующим звуком кричала старуха. — Остался!

— Друг мой! Николенька! — шептал молитвенно Феноген Иванович.

— Да! Да! — говорил Николай, не понимая, кому и на что он отвечал. — Да! Да! — повторял он, целуя дрожащую старую руку, которая с безмолвной нежностью гладила его по голове и лицу.

— Да! Да! — все еще твердил он, уже чувствуя, как в душе его вырастает грозное и неумолимое, короткое и тупое «нет!».

Уже надвигалась ночь, и весь большой дом, начиная с людской и кончая барскими комнатами, сверкал веселыми огнями. Люди весело болтали и шумно перекликались, и маленькие, дорогие, хрупкие и ненужные вещи уже не боялись за себя. Они гордо смотрели со своих возвышенных мест на суетившихся людей и безбоязненно выставляли свою красоту, и все, казалось, в этом доме служило им и преклонялось перед их дорого стоящим существованием.

Александр Антонович, Ниночка и даже студент сидели все еще в комнате у бабушки и то говорили о своем счастье, то молча прислушивались к нему. Феноген Иванович, еще немного выпивший от радости, вышел на воздух с целью слегка прохладить свою голову, и в то время, когда он поглаживал руками красную лысину, на которой снежинки таяли, как на раскаленной плите, он с удивлением увидел Николая. Держа в руках небольшой сачок, Николай шел из-за угла, где находился черный ход, и был также неприятно удивлен, увидев Феногена Ивановича.

— А, Феногешка! — тихо сказал он. — Ну-ка, проводи меня до ворот.

— Друг... — растерянно бормотал Феноген Иванович.

— Молчи. Там поговорим.

Улица в этот час была безлюдна, и оба конца ее терялись в белесоватой дымке медленно и бесшумно

падающего снега. Остановившись перед Феногеном Иванычем и прямо в глаза смотря ему своими выпуклыми, блестящими глазами, Николай положил руку ему на плечо и сказал медленно, точно обучая ребенка:

— Скажи отцу, что Николай, мол, Александрович велели кланяться и сказать, что они — ушли.

— Куда?

— Просто — ушли. Прощай.

Николай похлопал лакея по плечу и тронулся от него. Но Феноген Иваныч и без слов знал, куда идет Николай, и со всей силой, какая была у него в руках, схватил его:

— Не пущу! Бог свят, не пущу!

Николай оттолкнул его и удивленно посмотрел. Но Феноген Иваныч сложил молитвенно руки и хнычащим голосом просил:

— Николенька! Друг единственный! Плюньте, не ходите. Ну что там? Деньги есть. Три завода. Дома. Акции каждодневно обрезают, — бессмысленно повторял он слова экономки.

— Что ты городишь? — нахмурился Николай и быстро зашагал.

Но Феноген Иваныч, весь праздничный в своем новом фраке и весь развинченный и словно помятый, бежал за ним, хватал его за руки и молил:

— Ну и я! И меня возьмите. Что же, ей-Богу! Голубчик! В разбойники так в разбойники! — И Феноген Иваныч отчаянно махнул рукой, прощаясь с миром честных людей.

Николай остановился и молча взглянул на слугу, и в этом взгляде блеснуло что-то до того страшное, холодно-свиное и отчаянное, что язык Феногена Иваныча онемел и ноги приросли к земле.

Высокая фигура Николая серела и уменьшалась, словно тая в серой мгле. Еще минута, и он навсегда скрылся в той темной зловещей дали, откуда неожиданно пришел. И уже ничего живого не виделось в безлюдном пространстве, а Феноген Иваныч все еще стоял и смотрел. Крахмаленный воротник рубашки обмяк и прилип к шее; снежинки медленно таяли на красной похолодевшей лысине и вместе со слезами катились по широкому бритому лицу.

Декабрь 1900 г.

Комментарии

Впервые — в газете «Курьер», 1900, 25 декабря, № 357. Отдельным изданием выпущен в Ростове-на-Дону издательством «Донская речь» (1904) и в «Дешевой библиотеке т-ва „Знание“». № 60 (СПб., 1906).

М. Горький отметил в этом рассказе новые для Андреева ноты, свидетельствующие о дальнейшем сближении автора с революционным крылом русского освободительного движения. „В темную даль“ — хорошо! — писал он Андрееву из Нижнего Новгорода 26–28 января 1901 г. — Очень хорошо. Эх, как вы можете писать и как надо бы вздуть вас! Чтоб <...> вы к себе относились серьезнее, чтобы кислоту из души выпаривали, сударь мой, хорошей работой мозга, чтоб смотрели вы в жизнь глубже. Все это вам подобает, ибо — если вы можете отправлять человека „в темную даль“, — стало быть, можете провидеть в ней и свет...» (ЛН, т. 72, с. 82). Предложив далее в письме Андрееву несколько тем, М. Горький снова вернулся к рассказу «В темную даль»: «Дело жизни по нынешним дням все в том, чтоб, с одной стороны, организовать здоровый, трудящийся народ — демократию; с другой — чтоб дезорганизовать усталых, сытых, хмурых буржуев. Бодрому человеку только намекни — он поймет, и улыбнется, и увеличит бодрость свою, больного скукой мещанина — ткни пальцем — и он начнет медленно разрушаться.

Хорош этот Николай, ушедший в темную даль! Он, действительно, орленок, хотя и пощипанный! Пускай пощипанный — это еще лучше — умеет наносить удары, ибо — был бит (...) В темной дали этой есть нечто чрезвычайно определенное и крепкое — в ней разрастается чувство человеческого достоинства, здоровое, упругое чувство! Вырастает человек новый — личность, ясно — хотя может быть и узко — сознающая свое право творить жизнь новую, жизнь яркую, жизнь свободную, и уже теперь эта личность умеет ненавидеть всей силою души жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь скучную, жизнь уютно-мещанскую» (там же, с. 83). А. В. Луначарский в статье «О художнике вообще и некоторых художниках в частности», напротив, раскритиковал образ революционера Николая в рассказе «В темную даль» за схематизм и абстрактность: «Все черты крупного человека налицо, но чем занимается, что думает, что делает он — не видать» (Русская мысль, 1903, № 2, с. 62). Л. Н. Толстому рассказ Андреева понравился, и он оценил его высшим баллом: «5» (см.: Библиотека Л. Н. Толстого, с. 39).

В тумане

В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный, неподвижный туман. Он был легкий и прозрачный, он не закрывал предметов, но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет, и свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль: и темно и четко. К югу, где за пологом туч пряталось ноябрьское низкое солнце, небо было светло, светлее земли, а к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой и у самой земли становилось изжелта-черным и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сломанных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно-яркие цветы.

И сколько ни было людей на улицах, все торопились, и все были сумрачны и молчаливы. Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане.

В столовой уже пробило двенадцать часов, потом коротко отбило половину первого, а в комнате Павла Рыбакова было темно, как в сумерках, и на всем лежал отраженный, исчерна-желтый отсвет. От него желтели, как старая слоновая кость, тетради и бумаги, разбросанные по столу, и нерешенная алгебраическая задача на одной из них со своими ясными цифрами и загадочными буквами смотрела так старо, так заброшенно и ненужно, как будто много скучных лет пронеслось над нею; желтело от него и лицо Павла, лежавшего на кровати. Крепкие, молодые руки его были закинута за голову и обнажились почти до локтя; раскрытая книжка, корешком вверх, лежала на груди, и темные глаза упорно глядели в лепной раскрашенный потолок. В пестроте и грязных тонах его окраски было что-то скучное, надоедливое и безвкусное, напоминавшее о десятках людей, которые жили в этой квартире до Рыбаковых, спали, говорили, думали, делали что-то свое — и на все наложили свою чуждую печать. И эти люди напоминали Павлу о сотнях других людей, об учителях и товарищах, о шумных и людных улицах, по которым ходят женщины, и о том — самом для него тяжелом и страшном, — о чем хочется забыть и не думать.

— Скучно... Ску-у-чно! — протяжно говорит Павел, закрывает глаза и вытягивается так, что носки сапог касаются железных прутьев кровати. Углы густых бровей его скосились, и все лицо передернуло гримаса боли и отвращения, странно исказив и обезобразив его черты; когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смелые очертания пухлых губ, и то, что над ними по-юношески не было усов, делало их чистыми и милыми, как у молоденькой девушки.

Но лежать с закрытыми глазами и видеть в темноте закрытых век все то ужасное, о чем хочется забыть навсегда, было еще мучительнее, и глаза Павла с силою открылись. От их растерянного блеска в лице его появилось что-то старческое и тревожное.

— Бедный я малый! Бедный я малый! — вслух пожалел он себя и повернул глаза к окну, жадно ища света. Но его нет, и желтый сумрак настойчиво ползет в окна, разливается по комнате и так ясно ощущим, как будто его можно осязать пальцами. И снова перед глазами развернулся в высоте потолок.

Карниз потолка был лепной и изображал русское село: углом вперед стояла хата, каких никогда не бывает в действительности; рядом застыл мужик с приподнятой ногою, и палка в руках была выше его, а он сам был выше хаты; дальше кривилась малорослая церковь, а возле нее выпирала вперед огромная телега с такой маленькой лошадей, как будто это была не лошадь, а гончая собака. И морда у нее была острая, как у собаки. Потом опять в том же порядке: хата, большой мужик, церковь и огромная телега, и так кругом комнаты. И все это было желтое на грязно-розовом фоне, уродливое и скучное, и напоминало не деревню, а чью-то печальную и лишенную смысла жизнь. Противен был мастер, который лепил деревню и не дал ей

ни одного дерева.

— Хоть бы завтракать скорее! — прошептал Павел, хотя ему совсем не хотелось есть, и нетерпеливо повернулся на бок. При движении книга свалилась на пол и листы ее подвернулись, но Павел не протянул руки, чтобы поднять ее. На корешке золотом по черному было напечатано: «Бокль. История цивилизации», [8] и это напоминало о чем-то старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут; о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой необходимостью, и о том печальном и давящем, как совершенное преступление, о чем не хотел думать Павел. И так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах. Павел вскочил, обошел валявшуюся книжку и начал дергать драпри у окна, стараясь раздвинуть их как можно шире.

— А, черт! — ругался он и отбрасывал материю, но, тяжелая, она тупо падала назад прямыми и равнодушными складками. Внезапно устав и потеряв всю энергию, Павел лениво отодвинул ее и сел на холодный подоконник.

Туман стоял, и небо за серыми крышами было желто-черное, и тень от него падала на дома и мостовую. Неделию тому назад выпал первый непрочный снег, растаял, и с тех пор на мостовой лежала липкая и серая грязь. Местами мокрые камни отражали черное небо и блестели косым и темным блеском и по ним, вздрагивая и колыхаясь, катились экипажи. Грохота наверху не было слышно, — он замирал в тумане, бессильный подняться над землею, и это бесшумное движение под черным небом, среди темных, промокших домов, казалось бесцельным и скучным. Но среди идущих и едущих были женщины, и их присутствие давало картине сокровенный и тревожный смысл. Они шли по какому-то своему делу и были, казалось, такие обыкновенные и незаметные; но Павел видел их странную и страшную обособленность: они были чужды всей остальной толпе и не растворялись в ней, но были как огоньки среди тьмы. И все было для них: улицы, дома и люди, и все стремилось к ним, жаждало их — и не понимало. Слово «женщина» было огненными буквами выжжено в мозгу Павла; он первым видел его на каждой развернутой странице; люди говорили тихо, но, когда встречалось слово «женщина», они как будто выкрикивали его, — и это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово. Острым и подозрительным взглядом он прослеживал каждую из женщин и смотрел так, будто она вот сейчас подойдет к дому и взорвет его со всеми людьми или сделает что-нибудь еще более ужасное. Но когда он случайно наткнулся взором на хорошенькое женское личико, он весь подтянулся, сделал красивое и привлекательное лицо и приказал глазами, чтобы она обернулась, взглянула на него. Но она не обернулась, и опять в груди стало пусто, темно и страшно, как в вымершем доме, сквозь который прошла угрюмая чума, убила все живое и досками заколотила окна.

— Ску-у-чно! — протяжно сказал Павел и отвернулся от улицы.

В столовой, рядом, давно уже ходили, разговаривали и стучали посудой. Потом все затихло, и послышался хозяйский голос Сергея Андреича, отца Павла, горловой, снисходительный басок. При первых его округлых и приятных звуках будто пахнуло хорошими сигарами, умной книгой и чистым бельем. Но теперь в нем было что-то надтреснутое и покоробленное, словно и в гортань Сергея Андреича проник грязно-желтый, скучный туман.

— А юноша наш еще изволят почивать?

Ответа матери Павел не слышал.

— И к обедне в училище, конечно, ходить не изволили?

Ответа опять не было слышно.

— Ну, конечно, — продолжал отец с насмешкою, — обычай устарелый и...

Окончания фразы Павел не слышал, так как Сергей Андреич повернулся; но было сказано, вероятно, что-нибудь смешное, и Лиля звонко захохотала. Когда отец Павла имел против него какое-нибудь тайное неудовольствие, он бранил его за то, что в праздники он поздно встает и не ходит к обедне, хотя сам к религии был совершенно равнодушен и не был в церкви около двадцати лет, — с тех пор как женился. И с самого лета, когда они жили на даче, он имел что-то против Павла, и тот думал, что он догадывается. Но теперь угрюмо решил:

— Пусть его!

Взяв со стола тетрадку, он сделал вид, что читает. Но глаза его враждебно и сторожно были направлены к столовой, как у человека, который привык скрываться и постоянно ждет нападения.

— Позовите Павла! — сказал Сергей Андреич.

— Павел! Павлуша! — позвала мать.

Павел быстро встал и, вероятно, сделал себе очень больно: он перегнулся, лицо его исказилось гримасой страдания, и руки судорожно прижались к животу. Медленно он выпрямился, стиснул зубы, от чего углы рта притянулись к подбородку, и дрожащими руками оправил куртку. Потом лицо его побледнело и потеряло всякое выражение, как у слепого, и он вышел в столовую, шагая решительно, но сохраняя в походке следы испытанной жестокой боли.

— Что делал? — коротко спросил Сергей Андреич: у них не принято было здороваться по утрам.

— Читал, — так же коротко ответил Павел.

— Что?

— Бокля.

— То-то, Бокля, — сказал Сергей Андреич, с угрозой, через пенсне, глядя на сына.

— А что? — решительно и вызывающе ответил Павел и посмотрел отцу прямо в глаза.

Тот помолчал и многозначительно бросил:

— Ничего.

Тут вмешалась Лилечка, которой стало жаль брата:

— Павля, ты вечером будешь дома?

Павел молчал.

— Кто не отвечает, когда его спрашивают, тот обыкновенно называется невежей. Как ваше мнение на этот счет, Павел Сергеевич? — спросил отец.

— Охота тебе, Сергей Андреич! — вмешалась мать. — Ешь, а то котлеты остынут. Какая ужасная погода, хоть огни зажигай! И не знаю, как я поеду.

— Буду... — ответил Павел Лилечке, а Сергей Андреич поправил пенсне и сказал:

— Меланхолии этой я не выношу, мировой скорби... Порядочный мальчик должен быть бодр и весел.

— Нельзя, чтобы всегда было весело, — ответила Лилечка, которой всегда было весело.

— Я не требую, чтобы люди насильно веселились. Ты отчего не ешь? Тебя спрашиваю, Павел!

— Не хочу.

— Отчего не хочешь?

— Аппетита нет.

— А вчера где вечером был? Шатался?

— Дома был.

— То-то, дома!

— А где же мне быть? — дерзко спросил Павел.

Сергей Андреич ответил с ядовитою вежливостью:

— Откуда же мне знать все места, — он подчеркнул слово «места», — которые изволит посещать Павел Сергеевич? Павел Сергеевич взрослый; у Павла Сергеевича скоро усы вырастут; Павел Сергеевич, может, и водку пьет, — почему я знаю?

Завтрак продолжался молча, и все, на что падал свет из окна, казалось желтым и странно угрюмым. Сергей Андреич внимательно и испытующе глядел в лицо Павла и думал: «И под глазами круги... Но неужели это правда, и он близок с женщинами — такой мальчишка?»

Этот странный и мучительный вопрос, продумать который до конца у Сергея Андреича не хватает силы, явился недавно, летом, и он живо помнит, как это произошло, и никогда не забудет. За маленьким сарайчиком, где была густая трава и белая березка бросала прохладную синюю тень, он случайно увидел надорванный и скомканный листок бумаги. Было в этом листке что-то особенное и тревожное: так рвут и комкают бумаги, которые возбуждают ненависть и гнев, и Сергей Андреич поднял ее, расправил и посмотрел. Это был рисунок. Сперва он не понял, улыбнулся и подумал: «Это Павлов рисунок! Славно он рисует!» Потом повернул бумагу боком и ясно различил безобразно-циничную и грязную картинку.

— Что за гадость! — сказал он сердито и бросил бумажку.

Минут через десять он вернулся за нею, понес ее к себе в кабинет и долго рассматривал, стараясь решить едкую и мучительную загадку: рисовал ли это Павел, или кто-нибудь другой? Он не мог допустить, чтобы такую грязную, пошлую вещь мог нарисовать Павел и, рисуя, знать все то развратное и мерзкое, что в ней было. В смелости линий видна была опытная и развращенная рука, без колебаний подходившая к самому сокровенному, о чем неиспорченным людям стыдно думать; в старательности, с какой рисунок исправлялся резинкой и подцвечивался красным карандашом, была наивность глубокого и бессознательного падения. Сергей Андреич смотрел и не верил, чтобы его Павел, его умный и развитой мальчик, все мысли которого он знает, мог своею-рукою, загорелою рукою крепкого и чистого юноши, рисовать такую гадость и знать и понимать все то, что он рисует. И так как очень было страшно думать, что это сделал Павел, то решил, что это кто-нибудь другой; но бумажку спрятал. И когда увидел Павла, соскочившего с велосипеда, веселого, живого, еще полного чистых запахов полей, по которым он носился, — он еще раз решил, что это не Павел сделал, и обрадовался.

Но радость скоро прошла, и уже через полчаса Сергей Андреич смотрел на Павла и думал: кто этот чужой и незнакомый юноша, странно высокий, странно похожий на мужчину? Он говорит грубым и мужественным голосом, много и жадно ест, спокойно и независимо наливает в стакан вино и покровительственно шутит с Лилей. Он называется Павлом, и лицо у него Павла, и смех у него Павла, и когда он обгрыз сейчас верхнюю корку хлеба, то обгрыз ее, как Павел, — но Павла в нем нет.

— А сколько тебе лет, Павел? — спросил Сергей Андреич. Павел засмеялся.

— Старик уже я, папаша! Скоро восемнадцать.

— Ну, делегат еще до восемнадцати, — поправила мать. — Еще только шестого декабря будет восемнадцать.

— А усов нет! — сказала Лиля.

И все стали шутить, что у Павла нет усов, и он притворялся, что плачет; а после обеда налепил на губы ваты и говорил старческим голосом:

— А где моя старуха?

И ходил как расслабленный. И тут еще Лиля заметила, что Павел что-то особенно весел; после чего Павел нахмурился, снял усы и ушел в свою комнату. И с тех пор Сергей Андреич искал прежнего милого, хорошо знакомого мальчика, натыкался на что-то новое и загадочное и мучительно недоумевал.

И еще новое узнал он тогда в Павле: то, что сын его постоянно переживает какие-то настроения: один день бывает весел и шаловлив, а то по целым часам хмурится, становится раздражителен и несносен, и хоть и сдерживается, но видно, что страдает от каких-то неведомых причин. И было очень тяжело и неприятно видеть, что близкий человек печален, и не знать причин, и от этого близкий человек становился далеким и чужим. Уже по одному тому, как входил Павел, как он без аппетита пил чай, крошил пальцами хлеб, а сам смотрел в сторону, на соседний лес, отец чувствовал его дурное настроение и возмущался. И ему хотелось, чтобы Павел заметил это и понял, какую неприятность делает он отцу своим дурным настроением; но Павел не замечал и, кончив чай, уходил.

— Куда ты? — спрашивал Сергей Андреич.

— В лес.

— Опять в лес! — сердито замечал отец.

Павел слегка удивлялся:

— А что? Ведь я каждый день в лес хожу.

Отец молча отвертывался, а Павел уходил, и по его широкой, спокойно колышущейся спине видно было, что он даже не задумался о том, почему сердится отец, и совсем забыл о его существовании.

И уже давно Сергей Андреич хотел решительно и откровенно поговорить с Павлом, но слишком мучителен был предстоящий разговор, и он откладывал его со дня на день. А с переездом в город Павел стал особенно мрачен и нервен, и Сергей Андреич боялся за себя, что не сумеет говорить достаточно спокойно и внушительно. Но в этот день, за долгим и скучным завтраком, решил, что сегодня же поговорит. «Быть может, он просто влюблен, как влюблены бывают все эти мальчишки и девчонки, — успокаивал он себя. — Вон и Лилька влюблена в какого-то Авдеева; а я и не помню, какой он. Кажется, гимназист».

— Лиля! Авдеев сегодня будет? — спросил Сергей Андреич с усиленным, подчеркнутым равнодушием.

Лиля испуганно взмахнула длинными ресницами, выронила из рук грушу и прошептала:

— Ах!.. — Потом полезла под стол за грушей, и когда вернулась оттуда, то была вся красная, и даже голос ее был как будто красный. — Тинов будет, Пospelов будет... и Авдеев тоже будет.

В комнате Павла стало немного светлее, и лепная деревня на потолке выступила резче и глядела с тупым и наивным самодовольством. Павел сердито отвернулся и взял книжку, но скоро положил ее к себе на грудь и стал думать о том, что сказала Лилечка: гимназистки придут. Это значит, что придет и Катя Реймер — всегда серьезная, всегда задумчивая, всегда искренняя Катя Реймер. Эта мысль была как огонь, на который упало его сердце, и со стоном он быстро повернулся и уткнулся лицом в подушку. Потом, так же быстро приняв прежнее положение, он сдернул с глаз две едкие слезинки и уставился в потолок, но уже не видел ни большого мужика с большой палкой, ни огромной телеги. Он вспомнил дачу и темную июльскую ночь.

Темная была эта ночь, и звезды дрожали в синей бездне неба, и снизу гасила их, подымаясь из-за горизонта, черная туча. И в лесу, где он лежал за кустами, было так темно, что он не видел своей руки, и порой ему чудилось, что и самого его нет, а есть только молчаливая и глухая тьма. Далеко во все стороны расстился мир, и был он бесконечный и темный, и всем одиноким и скорбным сердцем чувствовал Павел его неизмеримую и чуждую громаду. Он лежал и ждал, когда по тропинке пройдет Катя Реймер с Лилечкой и другими веселыми и беззаботными людьми, которые живут в том, чуждом для него мире и чужды для него. Он не пошел с ними, так как любил Катю Реймер чистой, красивой и печальной любовью, и она не знала об этой любви и никогда не могла разделить ее. И ему хотелось быть одному и возле Кати, чтобы глубже почувствовать ее далекую прелесть и всю глубину своего горя и одиночества. И он лежал в кустах, на земле, чужой всем людям и посторонний для жизни, которая со всею своею красотою, песнями и радостью проходила мимо него, — проходила в эту июльскую темную ночь.

Он долго лежал, и тьма стала гуще и чернее, когда далеко впереди слышались голоса, смех, хрустение сучков под ногами, и ясно стало, что идет много молодого и веселого народа. И все это надвигалось толпою веселых звуков и стало совсем близко.

— Ох, батюшки! — говорила Катя Реймер густым и звучным контральто. — Да тут голову расшибешь. Тинов, светите!

Из тьмы пропищал странный и смешной голос полишинеля:

— Спички потерял, Катерина Эдуардовна!

Среди смеха прозвучал другой голос, молодой и сдержанный бас:

— Позвольте, Катерина Эдуардовна, я посвечу!

Катя Реймер ответила, и голос ее был серьезный и изменившийся:

— Пожалуйста, Николай Петрович!

Спичка сверкнула и секунду горела ярким, белым светом, выделяя из мрака только державшую ее руку, как будто последняя висела в воздухе. Потом стало еще темнее, и все со смехом и шутками двинулись вперед.

— Давайте вашу руку, Катерина Эдуардовна! — прозвучал тот же молодой, сдержанный бас.

Минута тишины, пока Катя Реймер давала свою руку, и затем твердые мужские шаги и рядом с ними скромный шелест платья. И тот же голос тихо и нежно спросил:

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?

Ответа Павел не слышал. Идущие повернулись к нему спиною; голоса сразу стали глуше, вспыхнули еще раз, как умирающее пламя костра, и потухли. И когда казалось, что ничего уже нет, кроме глухого мрака и молчания, с неожиданной звонкостью прозвучал женский смех, такой ясный, невинный и странно-лукавый, как будто засмеялся не человек, а молодая темная береза или кто-то, прячущийся в ее ветвях. И точно разбегающийся шепот шмыгнул по лесу, и все выжидающе смолкло, когда мужской голос, как золото, мягкий, блестящий и звонкий, запел высоко и страстно:

— Ты мне сказала: да — я люблю тебя!..

Так ослепительно-ярок, так полон живой силы был этот голос, что зашевелился, казалось, лес, и что-то сверкающее, как светляки в пляске, мелькнуло в глазах Павла. И снова те же слова, и звенели они слитно, как стон, как крик, как глубокий неразделимый вздох.

— Ты мне сказала: да — я люблю тебя!..

И еще и еще, с безумной настойчивостью, повторял певец все ту же короткую и долгую фразу, точно вонзал ее во тьму. Казалось, он не мог остановиться; и с каждым повторением жгучий призыв становился сильнее и неудержимее; уже беспощадность звучала в нем — бледнело чье-то лицо, и счастье так похоже становилось на смертельную тоску.

Минута черного молчания — далекий, тихо сверкающий, загадочный, как зарница, женский смех, — и стихло все, и тяжелая тьма словно придавила идущих. Стало мертвенно-тихо и пусто, как в пустом пространстве, на тысячу верст над землей. Жизнь прошла мимо со всеми ее песнями, любовью и красотой — прошла в эту июльскую темную ночь.

Павел поднялся из-за кустов и тихо прошептал:

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна? — и тихие слезы навернулись на его глазах.

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна? — повторял он и без цели шел вперед, во тьму крепчавшей ночи. Раз он совсем близко коснулся дерева и остановился в недоумении. Потом обвинил шершавый ствол рукою, прижался к нему лицом, как к другу, и замер в тихом отчаянии, которому не дано слез и бешеного крика. Потом тихо отшатнулся от дерева, которое его приютило, и пошел дальше.

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна? — повторял он, как жалобную песню, как тихую молитву отчаяния, и вся душа его билась и плакала в этих звуках. Грозный сумрак охватывал ее, и, полная великой любви, она молилась о чем-то светлом, чего не знала сама, и оттого так горяча была ее молитва.

Уже не было в лесу покоя и тишины: дыхание бури колыхнуло воздух, и сдержанно зарокотали вершины, и сухим смешком побежал по листьям ветер. Когда Павел вышел на опушку, ветер чуть не сорвал с него шапку и властно ударил его в лицо холодом, свежестью и запахом ржи. Было величественно и грозно. Сзади черной и глухо стонущей массой вздымался лес, а впереди тяжелая и черная, как мрак, принявший формы, надвигалась грозовая туча. И под нею расстилалось поле ржи, и было оно совсем белое, и оттого, что оно было такое белое среди тьмы, когда ниоткуда не падало света, рождался непонятный и мистический страх. А когда вспыхивала молния и облака вырисовывались тонкой встревоженной грудой теней, на поле от края до края ложился широкий золотисто-красный огонь, и колосья бежали, склонив головы, как испуганное стадо, — бежали в эту июльскую грозную ночь.

Павел поднялся на высокий вал, распростер руки и точно звал к себе на грудь и ветер, и черную тучу, и все небо, такое прекрасное в своем огненном гневе. И ветер кружился по его лицу, точно ощупывая его, и со свистом врывался в гущу податливых листьев; а туча вспыхивала и грохотала, и, низко склонившись, бежали колосья.

— Ну, иди! Иди! — кричал Павел, а ветер подхватил его слова и свирепо втискивал их обратно в его горло, и среди грохота неба не слышно было этих мятежных и молитвенных слов, с которыми маленький человек обращался к великому неизвестному.

Это было летом, в июльскую темную ночь. Павел глядел в потолок, улыбался умиленной и гордой улыбкой, и на глазах его выступили слезы.

— Какой я стал плакса! — прошептал он, качая головой, и наивно, по-детски вытер пальцами глаза.

С надеждою обернулся он к окнам, но оттуда угрюмо и скучно смотрел грязный городской туман, и все было от него желтое: потолок, стены и измятая подушка. И вспугнутые им чистые образы прошлого заколыхались, посерели и провалились куда-то в черную яму, толкаясь и стеная.

— Отчего вы так грустны? — говорил Павел, как заклинание, как мольбу о пощаде; но бессильна она была перед новыми, еще смутными, но уже знакомыми и страшными образами. Как гнилой туман над ржавым болотом, поднимались они из этой черной ямы, и разбуженная память властно вызывала все

новые и новые картины.

— Не хочу! Не хочу! — шептал Павел и метался и корчился от боли.

Опять дачу увидел он, но только был день — странный, нехороший и жуткий. Было знойно, и солнце светило, и пахло откуда-то тревожною гарью; а он прятался в прибрежных кустах и, дрожа от страха, смотрел в бинокль, как купаются женщины. И ярко-розовые пятна их тел увидел он, и голубое небо, казавшееся красным, и себя, бледного, с трясущимися руками и испачканными в земле коленями. Потом каменный город увидел он и снова женщин, равнодушных, усталых, с наглыми и холодными глазами. В глубину прошлого уходила вереница их раскрашенных и бледных лиц, и мелькали среди них усатые мужские физиономии, бутылки пива и недопитые стаканы, и в каком-то чаду кружились, танцуя, освещенные тени, и назойливо брэнчал рояль, выбрасывая тоскливые, назойливые звуки польки.

— Не хочу! — тихо, уже сдаваясь, шептал Павел.

А воспоминания врезались в его душу, как острый нож в живое мясо. И все были женщины, их тела, лишенные души, отвратительные, как липкая грязь задних дворов, и странно-обаятельные в своей нескрываемой грязи и доступности. И всюду они были. Они были в циничных, едких, как купорос, разговорах и бессмысленных анекдотах, которые он слышал от других и сам рассказывал так мастерски; они были в рисунках, которые он рисовал и показывал со смехом товарищам; они были в одиноких мыслях и сновидениях, тяжелых, как кошмар, и притягательных, как он.

И, как живая, как то, что никогда не может быть забыто, встала перед ним ночь — угарная, чадная ночь. В эту ночь, два года тому назад, он отдал свое чистое тело и свои первые чистые поцелуи развратной и бесстыдной женщине. Ее звали Луиза; она была одета в гусарский костюм и постоянно жаловалась, что у нее лопаются рейтузы. Павел почти не помнит, как он был с нею, и помнит хорошо только свой дом, куда он вернулся поздно, незадолго до рассвета. Дом был темен и тих; в столовой стоял приготовленный для него ужин, и толстая котлета была покрыта слоем белого застывшего жира. От пива его мучила тошнота, и когда он лег, лепной потолок, скудно озаренный свечой, заколыхался, завертелся и поплыл. Он несколько раз выходил, пошатываясь, стараясь не шуметь и цепляясь за стулья, и пол под непривычными босыми ногами был страшно холодный и скользкий, и от этого необычайного холода становилось особенно ясно, что давно уже ночь и все тихо спят, а он один ходит и мучится болью, чуждою всему этому чистому и хорошему дому.

Павел с ненавистью оглядел свою комнату и противный лепной потолок и, покорный перед нахлынувшими воспоминаниями, отдался их страшной власти.

Он вспомнил Петрова, красивого и самоуверенного юношу, который совершенно спокойно и без страсти говорил о продажных женщинах и учил товарищей:

— Я никогда не позволю себе целовать продажную женщину. Целовать можно только тех, кого любишь и уважаешь, но не эту дрянь.

— А если она тебя целует? — спрашивал Павел.

— Пусть!.. Я отвертываюсь.

Павел горько и печально улыбался. Он не умел поступать так, как Петров, и целовал этих женщин. Его губы касались их холодного тела, и было однажды, — и это страшно вспомнить, — он, со странным вызовом самому себе, целовал вялую руку, пахнущую духами и пивом. Он целовал, точно казнил себя; он целовал, точно губы его могли произвести чудо и превратить продажную женщину в чистую, прекрасную, достойную великой любви, жаждою которой сгорало его сердце. А она сказала:

— Какой вы лизун!

И от нее он заболел. Заболел постыдною и грязною болезнью, о которой люди говорят тайком, глумливым шепотом, прячась за закрытыми дверьми, болезнью, о которой нельзя подумать без ужаса и отвращения к себе.

Павел вскочил с постели и подошел к столу. Там он передвигал бумаги, тетради, раскрывал их, опять закрывал, и руки его дрожали. А глаза его боком, напряженно, вглядывались в то место стола, где заперты были и сверху тщательно заложены бумагами принадлежности для лечения.

«Если б у меня был револьвер, я сейчас же застрелился бы. Вот в это место...» — подумал он и приложил палец к левому боку, где билось сердце.

И, сосредоточенно глядя перед собою, думая о том, у кого из товарищей можно достать оружие, он дошел до измятой постели и лег. Потом он задумался о том, сумеет ли он попасть в сердце, и, раскрыв куртку и рубашку, стал с интересом разглядывать молодую, еще не окрепшую грудь.

— Павел, отвори! — услышал он за дверью голос Лилечки.

Испуганно вздрогнув, как он пугался теперь всякого неожиданного звука и крика, Павел быстро оправился и нехотя открыл задвижку.

— Чего тебе? — хмуро спросил он.

— Так, поцеловать тебя. Зачем ты постоянно запираешься? Боишься, что украдут?

Павел лег на постель, и Лилечка, сделав безуспешную попытку присесть около него, сказала:

— Подвинься! Какой злой: не хочет сестренке места дать.

Павел молча подвинулся.

— А мне сегодня скучно, — сказала Лилечка, — так, что-то нехорошо. Должно быть, от погоды: я люблю солнце, а это такая гадость. Кусаться от злости хочется.

И, осторожно глядя его по стриженной и колючей голове, она заглянула ему нежно в глаза и спросила:

— Павля! Отчего ты стал такой грустный?

Павел отвел глаза и бросил сумрачный ответ:

— Я никогда веселым и не был.

— Нет, Павля, ведь я же знаю. Это ты с тех пор, как мы с дачи переехали. От всех прячешься, никогда не посмеешься. Танцевать перестал.

— Глупое занятие...

— А прежде танцевал! Ты хорошо мазурку танцуешь, лучше всех; но и остальное тоже хорошо. Павля, скажи, отчего это, а? Скажи, голубчик, милый, славный, хороший!

И она поцеловала его в щеку, около покрасневшего уха.

— Не трогай меня!.. Отойди!.. — и, поведя плечами, тихо добавил: — Я грязный...

Лилечка засмеялась и, щекоча за ухом, сказала:

— Ты чистенький, Павля! Помнишь, как мы с тобою вместе в ванне купались? Ты был беленький, как поросенок, такой чистенький-чисте-е-нький!

— Отойди, Лилечка! Пожалуйста! Ради Бога!

— Не отойду, пока ты не станешь веселый. У тебя около уха маленькие бачки. Я сейчас только увидела. Дай, я поцелую их!

— Отойди, Лиля! Не трогай меня! Говорю я тебе, — глухо говорил Павел, пряча лицо, — я грязный... Грязный! — тяжело выдохнул он мучительное слово и весь, с головы до ног, содрогнулся от мгновенно пронесшегося и сдержанного рыдания.

— Что с тобою, Павля, родной? — испугалась Лилечка. — Хочешь, я папу позову?

Павел глухо, но спокойно ответил:

— Нет, не надо. Ничего со мною. Голова немного болит.

Лилечка недоверчиво и нежно гладила стриженный и крутой затылок и задумчиво смотрела на него. Потом сказала безразличным тоном:

— А вчера о тебе Катя Реймер спрашивала.

После некоторого молчания Павел, не обертываясь, спросил:

— Что спрашивала?

— Да так, вообще: как ты живешь, что делаешь, почему никогда не придешь к ним. Ведь они тебя звали?

— Очень ей нужно...

— Нет, Павля, не говори! Ты ее не знаешь. Она очень умная и развитая и интересуется тобою. Ты думаешь, она только танцы любит, а она много читает и кружок для чтения хочет устроить. Она постоянно говорит мне: «Какой умный твой брат».

— Она кокетка... и дрянь.

Лилечка вспыхнула, гневно оттолкнула Павла и встала.

— Сам ты дурной, если так говоришь.

— Дурной? Да. Что же из этого? — вызывающе сказал Павел, злыми и блестящими глазами глядя на сестру.

— То, что не смеешь так говорить! Не смеешь! — крикнула Лилечка, вся красная, с такими же злыми и блестящими глазами.

— Нет, ведь я дурной! — настаивал Павел.

— Грубый, несносный, всем отравляешь жизнь... Эгоист!

— А она дрянь, твоя Катя... Катя. И все вы дрянь, шушера!

У Лилечки сверкнули слезы. Взявшись за ручку двери, она подавила дрожь в голосе и сказала:

— Мне жалко было тебя, и оттого я пришла. А ты не стоишь этого. И никогда больше я к тебе не приду. Слышишь, Павел?

Крутой затылок оставался неподвижен. Лиля гневно кивнула ему головой и вышла.

Выражая на лице полное презрение, точно в дверь вышло что-то нечистое, Павел тщательно закрыл задвижку и прошелся по комнате. Ему было легче, что он обругал и Катю и Лилечку и сказал, какие они все: дрянь и шушера. И, осторожно прохаживаясь, он стал размышлять о том, какие все женщины дурные, эгоистичные и ограниченные существа. Вот Лиля. Она не могла понять, что он несчастен, и оттого так говорит, и обругала его, как торговка. Она влюблена в Авдеева, а третьего дня был у них Петров, и она поругалась с горничной, потом с матерью за то, что не могли найти ее красной ленточки. И Катя Реймер такая же: она задумчивая, серьезная, она интересуется им, Павлом, и говорит, что он умный; а придет к ним тот же Петров, и она наденет для него голубенькую ленточку, будет причесываться перед зеркалом и

делать красивое лицо. И все это для Петрова; а Петров — самоуверенный пошляк и тупица, и это известно всей гимназии.

Она чистенькая и только догадывается, но не позволяет себе думать о том, что существуют развратные женщины и болезни — страшные, позорные болезни, от которых человек становится несчастным и отвратительным самому себе и стреляется из револьвера, такой молодой и хороший! А сама она летом на кругу носила платье декольте, и когда ходит под ручку, то близко-близко прижимается. Быть может, она уже целовалась с кем-нибудь...

Павел сжал кулаки и сквозь зубы прошептал:

— Какая гадость!

Наверное, целовалась... Павел не осмеливается даже взглянуть на нее, а она целовалась, и, вернее всего, с Петровым, — он самоуверенный и наглый. А потом когда-нибудь она отдаст ему и свое тело, и с ним будут делать то же, что делают с продажными женщинами. Какая мерзость! Какая подлая жизнь, в которой нет ничего светлого, к чему мог бы обратиться взгляд, отуманенный печалью и тоскою! Почему знать, быть может, и теперь, уже теперь, у Кати есть... любовник.

— Не может быть! — крикнул Павел, а кто-то внутри его спокойно и злорадно продолжал, и слова его были ужасны:

«Да, есть, какой-нибудь кучер или лакей. Известны случаи, когда у таких чистых девушек были любовники лакеи, и никто не знал этого, и все считали их чистыми; а они ночью бежали на свидание, босыми ногами, по страшно холодному полу. Потом выходили замуж и обманывали. Это бывает, — он читал. У Реймеров есть лакей, черный и красивый малый...»

Павел резко поворачивается и начинает ходить в другую сторону.

Или Петров... Она вышла к нему на свидание, а Петров — он наглый и смелый — сказал ей: «Тут холодно, — поедemте куда-нибудь в тепло!..» И она поехала.

Дальше Павел думать не может. Он стоит у окна и словно давится желтым отвратительным туманом, который угрюмо и властно ползет в комнату, как бесформенная желтобрюхая гадина. Павла душат злоба и отчаяние, и все же ему легче, что он не один дурной, а все дурные, весь мир. И не такой страшной и постыдной кажется его болезнь. «Это ничего, — думает он, — Петров был два раза болен, Самойлов даже три раза, Шмидт, Померанцев уже вылечились, и я вылечусь».

— Буду такой, как и они, и все будет хорошо, — решил он.

Павел попробовал задвижку, подошел к столу и взялся за ручку ящика; но тут ему представились все эти глубоко запрятанные инструменты, склянки с мутною жидкостью и желтыми противными ярлыками, и то, как он покупал их в аптеке, сгорая от стыда, а провизор отвертывался от него, точно и ему было стыдно; и как он был у доктора, человека с благородным и необыкновенно чистым лицом, так что странно даже было, что такой чистый человек принужден постоянно иметь дело с нечистыми и отвратительными болезнями. И протянутая рука Павла упала, и он подумал:

— Пусть!.. Я не стану лечиться. Лучше я умру...

Он лег, и перед глазами его стояли склянки с желтыми ярлыками, и от них понятно стало, что все дурное, что он думал о Кате Реймер, — скверная и гадкая ложь, такая отвратительная и грязная, как и болезнь его. И стыдно и страшно ему было, что он мог так думать о той, которую он любил и перед которой недостойн стоять на коленях; мог думать и радоваться своим грязным мыслям, и находить их правдивыми, и в их грязи черпать странную и ужасную гордость. И ему страшно стало самого себя.

«Неужели это я, и эти руки — мои?» — думал он и разглядывал свою руку, еще сохранившую летний загар и у кисти испачканную чернилами.

И все стало непонятно и ужасно, как во сне. Он как будто первый раз увидел и комнату свою, и лепной потолок, и свои сапоги, упершиеся в прутья постели. Они были франтовские, с узкими и длинными носками, и Павел пошевелил большим пальцем, чтобы убедиться, что в них заключена его нога, а не чужая. И тут убедился, что это он, Павел Рыбаков, и понял, что он погибший человек, для которого нет надежды. Это он думал так грязно о Кате Реймер; это у него постыдная болезнь; это он умрет скоро-скоро, и над ним будут плакать.

— Прости меня, Катя! — прошептал он бледными пересохшими губами.

И он почувствовал грязь, которая обволакивает его и проникает насквозь. Он начал чувствовать ее с тех пор, как заболел. Каждую пятницу Павел бывает в бане, два раза в неделю меняет белье, и все на нем новое, дорогое и незаношенное; но кажется, будто весь он с головою лежит в каких-то зловонных помоях, и когда идет, то от него остается в воздухе зловонный след. Каждое маленькое пятнышко, оказавшееся на куртке, он рассматривает с испугом и странным интересом, и очень часто у него начинают чесаться то плечи, то голова, а белье будто прилипает к телу. И иногда это бывает за обедом, на людях, и тогда он сознает себя таким ужасающе одиноким, как прокаженный на своем гноище.

Так же грязны и мысли его, и кажется, что, если бы вскрыть его череп и достать оттуда мозг, он был бы грязный, как тряпка, как те мозги животных, что валяются на бойнях, в грязи и навозе. И всё женщины, усталые, раскрашенные, с холодными и наглыми глазами! Они преследуют его на улице, и он боится выходить на улицу, особенно вечером, когда город кишит этими женщинами, как разложившееся мясо червями; они входят в его голову, как в свою грязную комнату, и он не может отогнать их. Когда он спит и бессилен управлять своими чувствами и желаниями, они огненными призраками вырастают из глубины его существа; когда он бодрствует, какая-то страшная сила берет его в свои железные руки и, ослепленного, изменившегося, непохожего на самого себя, бросает в грязные объятия грязных женщин.

«Это оттого, что я развратник, — с спокойным отчаянием подумал Павел. — Да недолго им быть, — скоро застрелюсь. Повидаю сегодня Катю Реймер и застрелюсь. Или нет: я только из своей комнаты послушаю ее голос, а когда меня будут звать — не выйду».

Тяжело волоча ноги, как больной, Павел подошел к окну. Что-то темное, жуткое и безнадежное, как осеннее небо, глядело оттуда, и казалось, что не будет ему конца, и всегда было оно, и нет нигде на свете ни радости, ни чистого и светлого покоя.

— Хоть бы света! — говорит Павел с тоскою и, как последнюю надежду, вспоминает дневник. Он также далеко спрятан и не раскрывался с тех пор, как Павел заболел: когда мысли грязны и человек не любит себя, своей радости и своего горя — ему не о чем писать в дневнике. Осторожно и нежно, как больное дитя, Павел берет дневник и ложится с ним на кровать. Тетрадь красиво переплетена, и обрез бумаги золотой; сама белая, чистая, и на всех исписанных страницах нет ни одного грязного пятна; Павел осторожно и почтительно перелистывает ее, и от блестящих, туго гнувшихся страниц пахнет весною, лесом, солнечным светом и любовью.

Тут рассуждения о жизни, такие серьезные и решительные, с таким множеством умных иностранных слов, что Павлу кажется, будто не он писал их, а кто-то пожилой и страшно умный; тут первый трепет скептической мысли, первые чистые сомнения и вопросы, обращенные к Богу: где ты, о Господи? Тут сладкая грусть неудовлетворенной и неразделенной любви и решение быть гордым, благородным и любить Катю Реймер всю долгую жизнь, до самой могилы. Тут грозный и страшный вопрос о цели и смысле бытия и чистосердечный ответ, от которого веет весною и солнечным блеском: нужно жить, чтобы любить

людей, которые так несчастны. И ни слова о тех женщинах. Только изредка, как отражения черной тучи на зеленой и смеющейся земле, — короткие, подчеркнутые и односложные заметки: тяжело. Павел знает их тайный и печальный смысл, обегает их глазами и быстро перевертывает страницу, которая опозорена ими.

И все время Павлу казалось, что это писал не он, а другой какой-то человек, хороший и умный; он умер теперь, этот человек, и оттого так многозначительно все им написанное, и оттого так жаль читать его.

И тихая жалость к умершему человеку наполнила его сердце; и первый раз за много дней Павел почувствовал себя дома, на своей постели, одного, а не на улице, среди тысяч враждебных и чуждых жизней.

Уже темнело, и погас странный, желтоватый отблеск; окутанная туманом, неслышно вырастала долгая осенняя ночь, и, точно испуганные, сближались дома и люди. Бледным, равнодушным светом загорелись уличные фонари, и был их свет холоден и печален; кое-где в домах вспыхнули окна теплым огнем, и каждый такой дом, где светило хоть одно окно, точно озарялся приветливой и ласковой улыбкой и становился, большой, черный и ласковый, как старый друг. Все так же катились, колыхаясь, экипажи и торопливо двигались прохожие, но теперь как будто у каждого из них была цель: скорее прийти туда, где тепло, и ласковый свет, и ласковые люди. Павел закрыл глаза, и ему живо представилось то, что он видел перед отъездом с дачи, когда один, вечером, он ходил гулять: молчаливые осенние сумерки, вместе с пушистым дождем падающие с неба, и длинное, прямое шоссе. Своими концами оно утопало в ровной мгле и говорило о чем-то бесконечном, как жизнь; и по шоссе, навстречу Павлу, быстро двигались два жестянщика, запряженные в маленькую повозку. Повозка слабо погромыхивала; жестянщики напирали грудью и быстро шли, в такт помахивая головами; а далеко перед ними, почти на горизонте, светлой и яркой точкой блистал огонек. Одну минуту они были возле Павла; и, когда он обернулся, чтобы поглядеть им вслед, шоссе было безлюдно и темно, как будто никогда не проходили здесь люди, запряженные в тележку.

Павел видел шоссе и сумерки, и это было все, что наполняло его мысли. Это была минута затишья, когда мятежная, взволнованная душа, истощенная попытками выбиться из железного круга противоречий, легко и неслышно выскользнула из него и поднялась высоко. Это был покой, и тишина, и отрешение от жизни, что-то такое хорошее и грустное, чего нельзя передать человеческою речью. Больше получаса сидел Павел в кресле, почти не двигаясь; в комнате стало темно, и светлые пятна от фонарей и еще от чего-то заиграли на потолке; а он все сидел, и лицо его в темноте казалось бледным и непохожим на обычное.

— Павел, отвори! — послышался голос отца.

Павел вскочил, и от быстрого движения та же острая и резкая боль захватила ему дыхание. Перегнувшись, прижав похолодевшие руки к запавшему животу, он стиснул зубы и мысленно ответил: «Сейчас», — так как заговорить не мог.

— Павлуша, ты спишь?

Павел открыл. Сергей Андреич вошел, немного смущенно, немного нерешительно, но в то же время властно, как входят отцы, которые сознают свое право — когда угодно войти в комнату сына, но вместе с тем желают быть джентльменами и строго чтут неприкосновенность чужого жилища.

— Что, брат, спал? — мягко спросил Сергей Андреич и неловко в темноте похлопал Павла по плечу.

— Нет, так... дремал, — неохотно, но так же мягко ответил Павел, еще полный тихим покоем и неясными грезами. Он понял, что отец пришел к нему мириться, и подумал:

«К чему все это?»

— Зажги, пожалуйста, лампу! — попросил отец. — Только и спасения от тумана, когда огни зажгут.

Весь день сегодня нервничаю.

«Извиняется...» — подумал Павел, снимая стекло и зажигая спичку.

Сергей Андреич сел в кресло у стола, поправил абажур, и, заметив тетрадку с надписью: «Дневник», деликатно отложил ее в сторону и даже прикрыл бумагой. Павел молча наблюдал за движениями отца и ждал.

— Дай-ка спичечку! — попросил Сергей Андреич, доставая папиросу. Спички у него были в кармане, но ему хотелось доставить сыну удовольствие услужить ему.

Он закурил, взглянул на черный переплет Бокля и начал:

— Я радикально не согласен с Толстым и другими опростителями, которые бесплодно воюют с цивилизацией и требуют, чтобы мы вновь ходили на четвереньках. Но нельзя не согласиться, что обратная сторона цивилизации внушает весьма, — он поднял руку и опустил ее, — весьма серьезные опасения. Так, если мы посмотрим на то, что делается теперь хотя бы в той же прекрасной Франции...

Сергей Андреич был умный и хороший человек и думал все то, что думали умные и хорошие люди его страны и его времени, учившиеся в одних и тех же школах и читавшие одни и те же хорошие книги, газеты и журналы. Он был инспектором страхового общества «Феникс» и часто уезжал из столицы по его делам; а когда бывал дома, то ему едва хватало времени повидаться с многочисленными знакомыми, побывать в театре, на выставках и ознакомиться с книжными новостями. При всем том он улучал время побыть с детьми, особенно с Павлом, развитию которого, как развитию мальчика, придавал особенное значение. Кроме того, с Лилей он не знал, о чем говорить, и за это больше ласкал ее. Павла он не ласкал, как мальчика, но зато говорил с ним, как с взрослым, как с хорошим знакомым, с тою только разницей, что никогда не посвящал разговора житейским пустякам, а старался направить его на серьезные темы. Поэтому он считал себя хорошим отцом, и когда начинал разговаривать с Павлом, то чувствовал себя как профессор на кафедре. И ему и Павлу это очень нравилось. Даже об успехах Павла в училище он не решался расспрашивать подробно, так как боялся, что это нарушит гармонию их отношений и придаст им низменный характер крика, брани и упреков. Своих редких вспышек он долго стыдился и оправдывал их темпераментом. Он знал все мысли Павла, его взгляды, его слагающиеся убеждения и думал, что знает всего Павла. И он был очень удивлен и огорчен, когда вдруг оказалось, что Павел — не в этих убеждениях и взглядах, а где-то вне их, в каких-то загадочных настроениях, в каких-то омерзительных рисунках, о происхождении которых необходимо требовать отчета. Рано или поздно — но необходимо.

И теперь он говорил очень умно и хорошо о том, что культура улучшает частичные формы жизни, но в целом оставляет какой-то диссонанс, какое-то пустое и темное место, которое все чувствуют, но не умеют назвать, — но была в его речи неуверенность и неровность, как у профессора, который не уверен во внимании своей аудитории и чувствует ее тревожное и далекое от лекции настроение. И нечто другое было в его речи: что-то подкрадывающееся, скользкое и беспокойно пытающее. Он чаще обыкновенного обращался к Павлу:

— Как ты думаешь, Павел? Согласен ли ты, Павел?

И необыкновенно радовался, когда Павел выражал согласие. Он точно нащупывал что-то своими белыми и пухлыми пальцами, которые двигались в такт его речи и угрожающе тянулись к Павлу; к чему-то осторожно и хитро подкрадывался, и те слова, которые он говорил, были словно широкая маскарадная одежда, за которой чувствуется очертание других, еще неведомых и страшных слов. Павел понимал это и со смутным страхом глядел на спокойно блесевшее пенсне, на обручальное кольцо на толстом пальце, на покачивающуюся ногу в блестящем сапоге. Страх нарастал, и Павел уже чувствовал, уже знал, о чем заговорит сейчас отец, и сердце билось у него тихо, но звонко, как будто грудь была пустая. Широкая

одежда колыхалась и спадала, и жестокие слова судорожно рвались из-под нее. Вот отец кончил говорить об алкоголиках и закурил папиросу слегка дрожащею рукою.

«Сейчас!» — подумал Павел и весь сжался, как сжимается в своей клетке черный ворон с подбитым крылом, к которому протянулась сквозь дверцу чья-то огромная растопыренная рука.

Сергей Андреич тяжело передохнул и начал:

— Но есть, Павел, нечто более страшное, чем алкоголизм...

«Сейчас!» — подумал Павел.

— ...более ужасное, нежели смертоубийственные войны, более опустошительное, нежели чума и холера...

«Сейчас! Сейчас!» — думал Павел, сжимаясь и чувствуя все свое тело, как оно чувствуется в ледяной воде.

— ...это разврат! Тебе, Павел, приходилось читать специальные книги по этому интересному вопросу?

«Застрелюсь!..» — быстро подумал Павел, а вслух спокойно и с приличным интересом сказал:

— Специальных нет, но вообще-то да, кое-что встречалось. Меня, папа, очень интересует этот вопрос.

— Да?.. — Пенсне Сергея Андреича блеснуло. — Да, это страшный вопрос, и я убежден, Павел, что участь всего культурного человечества зависит от того или иного решения его. Действительно... Вырождение целых поколений, даже целых стран; психические расстройства со всеми ужасами безумия и маразма... Так вот... И наконец бесчисленные болезни, разрушающие тело и даже душу. Ты, Павел, даже представить себе не можешь, что это за скверная штука такая болезнь. Один мой товарищ по университету — он пошел потом в военно-юридическую академию, некто Скворцов, Александр Петрович, — заболел, будучи на втором курсе, и даже несерьезно заболел, но так испугался, что вылил на себя бутылку керосину и зажег. Насилу спасли.

— Он теперь жив, папа?

— Конечно, жив, но страшно обезображен. Так вот... Профессор Берг в своем капитальном труде приводит поразительные статистические данные...

Они сидели и разговаривали спокойно, как два хороших знакомых, попавших на очень интересную тему. Павел выражал на лице изумление и ужас, вставлял вопросы и изредка восклицал: «Черт знает, что такое! Да неужели твоя статистика не врет?» И внутри его было так мертвенно-спокойно, как будто не живое сердце билось в его груди, как будто не кровь переливалась в его венах, а весь он был выкован из одного куска холодного и безучастного железа. То, что он думал сам о грозном значении своей болезни и своего падения, грозно подтверждалось книгами, в которые он верил, умными иностранными словами и цифрами, непоколебимыми и твердыми, как смерть. Кто-то большой, умный и всезнающий говорит со стороны об его гибели, и в спокойном бесстрашии его слов было что-то фатальное, не оставлявшее надежд жалкому человеку.

Был весел и Сергей Андреич: смеялся, закруглял слова и жесты, самодовольно помахивал рукою — и со смятением чувствовал, что в правде его слов таится страшная и неуловимая ложь. С подавляемою злобою он поглядывал на развалившегося Павла, и ему страшно хотелось, чтобы это был не хороший знакомый, с которым так легко говорится, а сын; чтобы были слезы, был крик, были упреки, но не эта спокойная и фальшивая беседа. Сын опять ускользал от него, и не к чему было придраться, чтобы накричать на него, затопать ногами, даже, быть может, ударить его, но найти что-то нужное, без чего нельзя жить. «Это полезно, то, что я говорю: я предостерегаю его», — успокаивал себя Сергей Андреич; но

рука его с жадным нетерпением тянулась к боковому карману, где в бумажнике, рядом с пятидесятирублевой бумажкой, лежал смятый и расправленный рисунок. «Сейчас спрошу, и все кончится», — думал он.

Но тут вошла мать Павла, полная, красивая женщина, с напудренным лицом и глазами, как у Лилечки: серыми и наивными. Она только что приехала, и щеки и нос ее от холода покраснели.

— Ужасная погода! — сказала она. — Опять туман, ничего не видно. Ефим чуть не сбил кого-то на углу.

— Так ты говоришь, семьдесят процентов? — спрашивал Павел отца.

— Да, семьдесят два процента. Ну, как у Соколовых? — спросил Сергей Андреич жену.

— Ничего, как всегда. Скучают. Анечка слегка больна. Завтра вечером хотят к нам. Анатолий Иванович приехал, тебе кланяется.

Она довольно оглядела их веселые лица, дружественные позы и потрепала сына по щеке; а он, как всегда, поймал на лету ее руку и поцеловал. Он любил мать, когда видел ее; а когда ее не было, то совершенно забывал об ее существовании. И так относились к ней все, родные и знакомые, и если бы она умерла, то все поплакали бы о ней и тотчас бы забыли — всю забыли, начиная с красивого лица, кончая именем. И писем она никогда не получала.

— Болтали? — весело оглядывала она отца и сына. — Ну я очень рада. А то как неприятно, когда отец с сыном дуются. Точно «отцы и дети». И обедню ему простил?

— Это от тумана... — улыбнулись Сергей Андреич и Павел.

— Да, ужасная погода! Точно все облака свалились на землю. Я говорю Ефиму: «Пожалуйста, тише!» Он говорит:

«Хорошо, барыня», — и гонит. Где же Лилечка? Лилечка! Зовите ее обедать! Господа отцы и дети, в столовую!

Сергей Андреич попросил:

— Одну минуту. Мы сейчас.

— Да ведь уже семь...

— Да, да. Подавайте! Мы сейчас.

Юлия Петровна вышла, и Сергей Андреич сделал шаг к сыну. Так же невольно Павел шагнул вперед и угрюмо спросил:

— Что?

Теперь они стояли друг против друга, открыто и прямо, и все, что говорилось раньше, куда-то ушло, чтобы больше не вернуться: профессор Берг, статистика, семьдесят два процента.

— Павел!.. Павлуша! Мне Лилечка сказала, что ты чем-то расстроен. И вообще я замечаю, что ты в последнее время изменился. Нет ли у тебя неприятностей в училище?

— Нет. Ничего со мною.

Сергею Андреичу хотелось сказать: «Сын мой!» — но показалось неловко и искусственно, и он сказал:

— Мой друг!..

Павел молчал и, заложив руки в карманы, глядел в сторону. Сергей Андреич покраснел, дрожащею рукою поправил пенсне и вынул бумажник. Брезгливо, двумя пальцами он вытащил смятый и расправленный рисунок и молча протянул его к Павлу.

— Что это? — спросил Павел.

— Посмотри!

Через плечо, не вынимая рук из карманов, Павел взглянул. Бумажка плясала в пухлой и белой руке Сергея Андреича, но Павел узнал ее и весь мгновенно загорелся страшным ощущением стыда. В ушах его что-то загрохотало, как тысячи камней, падающих с горы; глаза его точно опалил огонь, и он не мог ни отвести взгляда от лица Сергея Андреича, ни закрыть глаза.

— Это ты? — откуда-то издалека спросил отец.

И с внезапной злобой Павел гордо и открыто ответил:

— Я!..

Сергей Андреич выпустил из пальцев рисунок, и, колыхаясь углами, он тихо опустился на пол. Потом отец повернулся и быстро вышел, и в столовой послышался его громкий и удаляющийся голос: «Обедайте без меня! Мне необходимо съездить по делу». А Павел подошел к умывальнику и начал лить воду на руки и лицо, не чувствуя ни холода, ни воды.

— Замучили! — шептал он, задыхаясь, пока высокая струя била в глаза и рот.

После обеда, часов в восемь, к Лилечке пришли гимназистки, и Павел слышал из своей комнаты, как они пили в столовой чай. Их было много; они смеялись, и их звонкие, молодые голоса звенели друг о друга, как крылья играющих стрекоз, и было похоже не на комнату в осенний ненастный вечер, а на зеленый луг, когда солнце смотрит на него с полуденного июльского неба. И басисто, как майские жуки, гудели гимназисты. Павел чутко прислушивался к голосам, но среди них не было полновзвучного и искреннего голоса Кати Реймер, и он все ждал и вздрагивал, когда заговаривал кто-нибудь новый, только что пришедший. Он молил ее прийти, и раз случилось, что он совсем ясно услышал ее голос: «Вот и я!..» — и чуть не заплакал от радости; но голос смешался с другими и, как ни напрягал он слух, больше не повторялся. Потом в столовой стихло, и глухо заговорила прислуга, а из залы принесли звуки рояля. Плавные и легкие, как танец, но странно скорбные и печальные, они кружились над головою Павла, как тихие голоса из какого-то чужого, прекрасного и навеки покинутого мира.

Вбежала Лилечка, розовая от танцев. Чистый лоб ее был влажен, и глаза сияли, и складки коричневого форменного платья будто сохраняли еще следы ритмических колыханий.

— Павля! Я не сержусь на тебя! — сказала она и быстро горячими губами поцеловала его, обдав волною такого же горячего и чистого дыхания. — Пойдем танцевать! Скорее!

— Не хочется.

— Жаль только, что не все пришли: Кати нет, Лидочки нет, и Пospelов изволил уйти в театр. Пойдем, Павля, скорее.

— Я никогда не буду танцевать.

— Глупости! Пойдем скорее! Приходи, — я буду ждать.

У дверей ей стало жаль брата, она вернулась, еще раз поцеловала его и, успокоенная, выбежала.

— Скорей, Павля! Скорей!

Павел закрыл дверь и крупными шагами заходил по комнате.

— Не пришла! — говорил он громко. — Не пришла! — повторял он, кружась по комнате. — Не пришла!

В дверь постучали, и послышался самоуверенный и наглый голос Петрова:

— Павел! Отвори!

Павел притаился и задержал дыхание.

— Павел, будет глупить! Отвори! Меня Елизавета Сергеевна послала.

Павел молчал. Петров стукнул еще раз и спокойно сказал:

— Ни у свинья же ты, братец! И молодо-зелено... Катеньки нет, он и раскис. Дурак!

И Петров смеет говорить своими нечистыми устами: «Катенька!»

Выждав минуту, когда в зале снова заиграли, Павел осторожно выглянул в пустую столовую, прошел ее и возле ванной, где висело кучею ненужное платье, отыскал свою старенькую летнюю шинель. Потом быстро прошел кухню и по черной лестнице спустился во двор, а оттуда на улицу.

Сразу стало так сыро, холодно и неуютно, как будто Павел спустился на дно обширного погреба, где воздух неподвижен и тяжел и по скользким высоким стенам ползают мокрицы. И неожиданным казалось, что в этом свинцовом, пахнущем гнилью тумане продолжает течь какая-то своя, неугомонная и бойкая жизнь; она в грохоте невидимых экипажей и в огромных, расплывающихся светлых шарах, в центре которых тускло и ровно горят фонари, она в торопливых, бесформенных контурах, похожих на смытые чернильные пятна на серой бумаге, которые вырастают из тумана и опять уходят в него, и часто чувствуются только по тому странному ощущению, которое безошибочно свидетельствует о близком присутствии человека. Кто-то невидимый быстро толкнул Павла и не извинился; задев его локтем, прошла какая-то женщина и близко заглянула ему в лицо. Павел вздрогнул и злобно отшатнулся.

В пустынном переулке, против дома Кати Реймер, он остановился. Он часто ходил сюда и теперь пришел, чтобы показать, как он несчастен и одинок, и как подло поступила Катя Реймер, которая не пришла в минуту смертельной тоски и смертельного ужаса. Сквозь туман слабо просвечивали окна, и в их мутном взляде была дикая и злая насмешка, будто сидящий за пиршественным столом оплывшими от сытости глазами смотрел на голодного и лениво улыбался. И, захлебываясь гнилым туманом, дрожа от холода в своем стареньком пальтишке, Павел с голодной ненавистью упивался этим взглядом. Он ясно видел Катю Реймер: как она, чистая и невинная, сидит среди чистых людей и улыбается, и читает хорошую книгу, ничего не знает об улице, в грязи и холоде которой стоит погибающий человек. Она чистая и подлая в своей чистоте; она, быть может, мечтает сейчас о каком-нибудь благородном герое, и если бы вошел к ней Павел и сказал: «Я грязен, я болен, я развратен, и оттого я несчастен, я умираю; поддержи меня!» — она брезгливо отвернулась бы и сказала: «Ступай! Мне жаль тебя, но ты противен мне. Ступай!» И она заплакала бы; чистая и добрая, она заплакала бы... прогоняя. И милостынею своих чистых слез и гордого сожаления она убила бы того, кто просил ее о человеческой любви, которая не оглядывается и не боится грязи.

— Я ненавижу тебя! — шептало странное, бесформенное пятно человека, охваченного туманом и вырванного им из живого мира. — Я ненавижу тебя!

Кто-то прошел мимо Павла, не заметив его. Павел испуганно прижался к мокрой стене и сдвинулся только после того, как шаги умолкли.

— Ненавижу!..

Как в вате, задыхается в тумане голос. Бесформенное пятно человека медленно удаляется, сверкнула около фонаря металлическая пуговица, и все растаяло, как будто никогда и не было его, а был только мутный и холодный туман.

Нева безнадежно стыла под тяжелым туманом и была молчалива, как мертвая; ни свистка парохода, ни всплеска воды не доносилось с ее широкой и темной поверхности. Павел сел на одной из полукруглых

скамеек и прижался спиной к влажному и спокойно-холодному граниту. Его прохватила дрожь, и застывшие пальцы почти не сгибались, и руки онемели в кисти и в локте; но ему было противно идти домой: в музыке и в чуждом веселье было что-то напоминавшее Катю Реймер, нелепое и обидное, как улыбка случайного прохожего на чужих похоронах. В нескольких шагах от Павла в тумане смутно проплывали тени людей; у одного около головы было маленькое огненное пятнышко, очевидно, папироса; на другом, едва видимом, были, вероятно, твердые кожаные калоши и при каждом его шаге стучали: чек-чек! И долго было слышно, как он идет.

Одна тень в нерешительности остановилась; у нее была огромная, не по росту, голова, уродливых и фантастических очертаний, и, когда она двинулась к Павлу, ему стало жутко. Вблизи это оказалось большой шляпой с белыми загнутыми перьями, какие бывают на погребальных колесницах, а сама тень — обыкновенной женщиной. Как и Павел, она дрожала от холода и тщетно прятала большие руки в карманчики драповой короткой кофты; пока она стояла, она была невысокого роста, а когда села возле Павла, то стала почти на голову выше его.

— Молодой красавец, одолжите папироску! — попросила она.

— Извините, молодая красавица, я не курю, — развязно и возбужденно ответил Павел.

Женщина крикливо хихикнула, ляснула от холода зубами и дыхнула на Павла запахом вина.

— Пойдемте ко мне, — сказала женщина, и голос у нее был крикливый, как и смех. — Пойдемте! Водочкой меня угостите!

Что-то широкое, клубящееся, быстрое, как падение с горы, открылось теперь перед Павлом, какие-то желтые огни среди колеблющегося мрака, какое-то обещание странного веселья, безумия и слез. А снаружи его пронизывал сырой туман, и локти коченели. И с вежливостью, в которой были вызов, насмешка и слезы смертельного отчаяния, он сказал:

— О божественная! Вы так хотите моих страстных ласк?

Женщине показалось обидно; она сердито отвернулась, ляснула зубами и замолчала, гневно поджав тонкие губы. Ее выгнали из портерной за то, что она не стала пить кислого пива и плеснула из стакана в сидельца; высокие калоши пробились на носках и протекали, и от всего от этого ей хотелось обижаться и кого-нибудь бранить. Павел сбоку видел ее сердитый профиль с коротким носом и широким, мясистым подбородком, и улыбался. Она была как раз как те женщины, что преследовали его, и ему было смешно, и какое-то странное чувство сближало его с ней. И ему нравилось, что она сердится.

Женщина повернулась и резко бросила:

— Ну? Идти так идти, — какого дьявола!

И Павел со смехом ответил:

— Вы правы, сударыня: какого дьявола! Какого дьявола нам с вами не пойти, не выпить водки и не предаться изысканным наслаждениям?

Женщина высвободила руку из карманчика и немного сердито, немного дружески хлопнула его по плечу:

— Мели Емеля — твоя неделя! Ну, я пойду впереди, а вы сзади.

— Почему? — удивился Павел. — Почему сзади, а не рядом с вами, божественная... — он немного запнулся: — Катя?

— Меня зовут Манечкой. Оттого, что рядом для вас стыдно.

Павел подхватил ее за руку и повлек, и плечо женщины неловко забилося об его грудь. Она смеялась и шла не в ногу, и теперь видно было, что она слегка пьяна. У ворот одного дома она высвободила руку и, взяв у Павла рубль, пошла добывать у дворника водки.

— Вы же поскорее, Катенька! — попросил Павел, теряя глазами ее контур в черном и мглистом отверстии ворот. Издалека донеслось:

— Манечка, а не Катя!

Горел фонарь, и к его холодному, влажному столбу прижался щекою Павел и закрыл глаза. Лицо его было неподвижно, как у слепого, и внутри было так спокойно и тихо, как на кладбище. Такая минута бывает у приговоренного к смерти, когда уже завязаны глаза, и смолк вокруг него звук суетливых шагов по звонкому дереву, и в грозном молчании уже открылась наполовину великая тайна смерти. И, как зловещая дробь барабанов, глухо и далеко прозвучал голос:

— Вот вы где? А я вас искала-искала... За кого ни хвачусь, все не тот. Уж думала, что вы ушли, и сама хотела уйтить.

Павел напрягся, что-то сбросил с себя и выбросил веселый и громкий вопрос:

— А водочки-то? Самое главное, водочки! Ибо что такое мы с вами, Катенька, без водочки?

— А как вас звать-то? Хотела по имени покликать, да вы не сказали.

— Меня зовут, Катечка, немного странно: Процентом меня зовут. Процент. Вы можете звать меня Процентик. Так выходит ласковее, и наши интимные отношения это допускают, — говорил Павел, увлекая женщину.

— Такого имени нету. Так только собак зовут.

— Что вы, Катечка! Меня даже отец так зовет: Процентик, Процентик! Клянусь вам профессором Бергом и святой статистикой!

Двигался туман и огни, и опять о грудь Павла бились плечи женщины и перед глазами болталось большое загнутое перо, какие бывают на погребальных колесницах; потом что-то черное, гнилое, скверно пахнущее охватило их, и качались какие-то ступеньки, вверх и опять вниз. В одном месте Павел чуть не упал, и женщина поддержала его. Потом какая-то душная комната, в которой сильно пахло сапожным товаром и кислыми щами, горела лампада, и за ситцевой занавеской кто-то отрывисто и сердито храпел.

— Тише! — шептала женщина, ведя Павла за руку. — Тут хозяин спит, дьявол, сапожник, пропащая душа!

И Павлу было страшно этого сапожника, который где-то за занавеской храпел так отрывисто и сердито, и он осторожно шагал тяжелыми мокрыми калошами. Потом сразу глубокая тьма, звук снимаемого стекла и сразу яркий, ослепительный свет маленькой лампочки, висевшей на стене. Внизу под лампою был столик, и на нем лежали: гребешок с тонкими волосами, запутавшимися между зубьями, засохшие куски хлеба, облепленный хлебным мякишем большой нож и глубокая тарелка, на дне которой, в слое желтого подсолнечного масла, лежали кружки картофеля и крошеный лук. И к этому столику приковалось все внимание Павла.

— Вот и дома! — сказала Манечка. — Раздевайтесь!

Они сидели, смеялись и пили, и Павел одною рукою обнимал полуголую женщину: у самых глаз его было толстое, белое плечо с полоской грязноватой рубашки и сломанной пуговицей, и он жадно целовал его, присасываясь влажными и горячими губами. Потом целовал лицо и, странно, не мог ни рассмотреть его как следует, ни запомнить. Пока смотрел на него, оно казалось давно знакомым и известным, до

каждой черточки, до маленького прыщика на виске; но когда отвертывался, то сразу и совершенно забывал, будто не хотела душа принимать этого образа и с силою выталкивала его.

— Одно скажу, — говорила женщина, стараясь снять с картошки прилипший к ней длинный волос и изредка равнодушно целуя Павла в щеку маслянистыми губами, — одно скажу: кислого пива пить я не стану. Давай, кому хочешь, а я не стану. Стерва я, это верно, а кислого пива лакать не стану. И всем скажу открыто, хоть под барабаном: не стану!

— Давайте петь, Катечка! — просил Павел.

— А если тебе не нравится, что я тебе в харю выплеснула, то пожалуйста в участок, а бить себя я не позволю. Характер у меня гордый, и таких-то, как ты, может, тысячу видала, да и то не испугалась, — обращалась женщина к обидевшему ее сидельцу.

— Бросьте, Катечка, забудьте! — упрашивал Павел. — Я верю, вы горды, как испанская королева, и прекрасно. Давайте петь! Хорошие песни, хорошие песни!

— И не Катечка я, а Манечка. А петь нельзя: хозяин у меня дьявол, сапожник, пропащая душа, — не велит.

— Все равно, Катечка ли, Манечка ли. Ей-Богу, все равно, — это говорю тебе я, Павел Рыбаков, пьяница и развратник. Ведь ты меня любишь, моя гордая королева?

— Люблю. Только я не позволю называть меня Катечкой, — упрямо твердила женщина.

— Ну вот! — качнул головою Павел. — Будем петь! Будем петь хорошие песни, какие поют они. Эх, хорошую я знаю песню! Но ее так петь нельзя. Закрой глаза, Катенька, ты закрой глаза, закрой их и вообрази, будто ты в лесу, и темная-темная ночь...

— Не люблю я в лесу. Про какой ты мне лес говоришь? Говори так, а не про лес! Ну его к черту! Давай выпьем лучше, и не расстраивай ты меня, — не люблю я этого... — угрюмо говорила Манечка, наливая и расплескивая водку.

У нее, очевидно, была одышка, и дышала она тяжело и трудно, как будто плыла по глубокой воде. И губы у нее стали тоньше и слегка посинели.

— Темная-темная ночь! — продолжал Павел с закрытыми глазами. — И будто идут, и ты идешь, и кто-то красиво поет... Постой, как это? «Ты мне сказала: да, — я люблю тебя!..» Нет, не могу я, не умею петь.

— Не ори, хозяина разбудишь. Какого дьявола!

— Нет, не умею я петь. Не умею! — с отчаянием сказал Павел и взялся за голову.

Огненные ленты свивались и развивались перед его закрытыми глазами, клубились в причудливых и страшных узорах, и было широко, как в поле, и душно, как на дне узкой и глубокой ямы. Манечка через плечо презрительно смотрела на него и говорила:

— Пей, какого дьявола!

— Да, я люблю тебя... Да, я люблю тебя... Нет, не умею!

Он широко открыл глаза и скрытым огнем их опалил лицо женщины.

— Ведь есть же у тебя сердце? Ведь есть, Катечка? Ну так дай мне твою руку! Дай! — Он улыбнулся сквозь навернувшиеся слезы и горячими губами припал к враждебно сопротивлявшейся руке.

— Перестань дурить! — гневно сказала женщина и выдернула руку. — Расстроился, слюняй! Спать так спать, а не то!..

— Катечка! Катечка! — шептал он умоляюще, и слезы мешали ему видеть сонное и злое лицо, которое с отвращением уставилось на него. — Катечка, голубка моя миленькая, пожалей меня, пожалуйста! Я так несчастен, и ничего, ничего нет у меня. Господи, да пожалей же ты меня, Катечка!

Женщина резко оттолкнула его и, шатаясь, встала.

— Убирайся к дьяволу! — крикнула она, задыхаясь. — Ненавижу!.. Нализался как сапожник и ломается... Катечка! Катечка! — передразнила она, поджимая тонкие синеватые губы. — Знаю я, какую тебе Катечку нужно. Ну и убирайся к ней! Лижется, а сам: Катечка, Катечка! У-у, мальчишка, щенок, кукольное рыло! Тебя к женщине подпускать не стоит, а тоже: Катечка, Катечка!

Павел, опустив голову и покачивая ею, что-то шептал, и стриженный затылок его тихо вздрагивал.

— Слышишь, что ли? — крикнула женщина.

Павел взглянул на нее мокрыми и незрячими глазами и снова закачался с равномерностью человека, у которого болят зубы, — вправо, влево. Презрительно фыркнув, женщина подошла к кровати и стала оправлять ее. На ходу с нее соскочила бумазейная полосатая юбка, и она ногами отбросила ее.

— Катечка! Катечка! — говорила она, сердито комкая подушку. — Ну и иди к Катечке! А меня крестили Манечкой, и таких щенков, как ты, я, может, тысячу видала, да и то не испугалась. Эка! Думает, рубль дал, так я ему всякие фокусы показывать буду. У меня, может, у самой три рубля в шкатулке лежат. Ну иди спать, что ли!

Она легла поверх одеяла и с ненавистью глядела на Павла, на его стриженный и крутой затылок, вздрагивавший от плача.

— Ух! Надоели вы мне все, черти поганые! Измучили вы меня! Чего ревешь? Маменьки боишься? — говорила она с ленивою и злою насмешкою. — Драть мальчика будут? Боишься, а сладенькое любишь. Любишь... Да. Знаю я вас, Процентов, дьяволов. Свое имя назвать-то стыдно, он и выдумывает. Процент! Чисто собака. А к Катечке своей сопливой пойдет, так уж, конечно, Васечкой велит звать: Васечка, душечка! А он ей: Катечка, ангелочек! Знаю я, хорош мальчик! Тоже — ручку позвольте поцеловать, а как этой самой ручкой да тебе по харе! Не смейся, щенок, не смейся!

Павел молчал и тихо вздрагивал.

— Ну иди, что ли, спать, тебе говорю! А то прогоню, Бог свят, прогоню! Мне двух целковых не жалко, а издеваться над собой я не позволю. Слышишь, раздевайся! Думает, два рубля дал, так всю женщину и купил. Эка, царь какой выискался.

Павел медленно расстегнул куртку и стал снимать.

— Не понимаешь ты... — тихо и не глядя, проронил он.

— Вот как! — злобно крикнула женщина. — Такая дура, что ничего и понять не могу! А если я к тебе подойду да по харе дам?

Из-за перегородки хриплый и раздраженный бас грозно окрикнул:

— Машка! Опять, сатана, за свое взялась? Не колобродь, а то живо у меня!..

— Тише ты, дрянь! — прошептал Павел, бледнея.

— Я дрянь? — сипела женщина, приподнимаясь.

— Ну ладно, ладно, ложись! — примирительно сказал Павел, не сводя горящих глаз с ее голого тела. — Я сейчас, сейчас...

— Я дрянь? — повторяла женщина, и задыхалась, и брызгала слюною.

— Ну будет, будет! — упрасивал Павел. Пальцы его дрожали и не находили пуговиц; он видел только тело — то страшное и непонятное в своей власти тело женщины, которое он видел в жгучих сновидениях своих, которое было отвратительно до страстного желания топтать его ногами и обаятельно, как вода в луже для жаждущего. — Ну будет! — повторил он. — Я пошутил...

— Убирайся вон! — решительно заявила женщина, отмахиваясь рукою. — Вон! Вон! Щенок!

Они встретились взорами, и взоры их пылали открытой ненавистью, такой жгучей, такой глубокой, так полно исчерпывающей их больные души, как будто не в случайной встрече сошлись они, а всю жизнь были врагами, всю жизнь искали друг друга и нашли — и в дикой радости бояться поверить себе, что нашли. И Павлу стало страшно. Он опустил глаза и пролепетал:

— Послушай же, Манечка. Пойми же наконец!..

— Ага! — обрадовалась женщина, оскалив широкие белые зубы. — Ага! Теперь Манечка стала! Вон! Вон!

Она соскочила с постели и, шатаясь, показывая Павлу свой толстый, волосатый затылок, начала поднимать его куртку.

— Вон! Вон!

— Слышишь ты, дьявол! — крикнул бешено Павел.

И тут произошло что-то неожиданное и дикое: пьяная и полуголая женщина, красная от гнева, бросила куртку, размахнулась и ударила Павла по щеке. Павел схватил ее за рубашку, разорвал, и оба они клубком покатались по полу. Они катались, сшибая стулья и волоча за собою сдернутое одеяло, и казались странным и слитным существом, у которого четыре руки и четыре ноги, бешено цеплявшиеся и душившие друг друга. Острые ногти царапали лицо Павла и вдавливались в глаза; одну секунду он видел над собой разъяренное лицо с дикими глазами, и оно было красно, как кровь; и со всею силою он сжимал чье-то горло. В следующую секунду он оторвался от женщины и вскочил на ноги.

— Собака! — крикнул он, вытирая окровавленное лицо. А в дверь уже ломились, и кто-то вопил:

— Отворите! Дьяволы, анафемы!

Но женщина опять сзади накинута на Павла, сбива его с ног, и они снова завертелись и закружились по полу, молча, задыхаясь, бессильные кричать от бешеной ярости. Они поднялись, упали и опять поднялись. Павел повалил женщину на стол, и под тяжелым телом ее хрустнула тарелка, а возле руки Павла звякнул длинный нож, облепленный хлебным мякишем. Левою рукою Павел схватил его, едва удержал и боком куда-то сунул. И тонкое лезвие согнулось. Он вторично сунул нож, и руки женщины дрогнули и сразу обмякли, как тряпки. Почти выбросив глаза из орбит, она закричала в лицо Павлу хрипло и пронзительно, все время на одной ноте, как кричат животные, когда их убивают:

— А-а-а-а!

— Молчи! — прохрипел Павел, и еще раз сунул куда-то нож, и еще. При каждом ударе женщина дергалась, как игрушечный клоун на нитке, и шире открывала рот с широкими и белыми зубами, среди которых вздувались пузырьки кровавой пены. Она уже молчала, но Павлу все еще слышался ее пронзительный, ужасный вой, и он хрипел:

— Молчи!

И, переложив нож из левой руки, мокрой и скользкой, в правую, ударил сверху раз, и еще раз.

— Молчи!

Тело грузно свалилось со стола и грузно стукнулось волосатым затылком. Павел наклонился и посмотрел на него: голый высокий живот еще вздымался, и Павел ткнул в него ножом, как в пузырь, из которого нужно выпустить воздух. Потом Павел выпрямился и с ножом в руке, весь красный, как мясник, с разорванною в драке губою, обернулся к двери.

Он смутно ожидал крика, шума, бешеных возгласов, гнева и мести, — и странное безмолвие поразило его. Ни звука не было, ни вдоха, ни шороха. В часах качался маятник, и не было слышно его движения; с острия ножа спадали на пол густые капли крови, — и они должны были звучать и не звучали. Как будто внезапно оборвались и умерли все звуки в мире и все его живые голоса. И что-то загадочное и страшное происходило с закрытою дверью. Она безмолвно надувалась, как только что проколотый живот, дрожала в безмолвной агонии и опадала. И снова надувалась она, опадала с замирающей дрожью, и с каждым разом темная щель вверху становилась шире и зловещее.

Непостижимый ужас был в этом немом и грозном натиске, — ужас и страшная сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери.

Торопливо и сосредоточенно Павел отбросил с груди липкие лохмотья рубашки и ударил себя ножом в бок, против сердца. Несколько секунд он стоял еще на ногах и большими блестящими глазами смотрел на судорожно вздувавшуюся дверь. Потом он согнулся, присел на корточки, как для чехарды, и повалился...

В ту ночь, до самого рассвета, задыхался в свинцовом тумане холодный город. Безлюдны и молчаливы были его глубокие улицы, и в саду, опустошенном осенью, тихо умирали на сломанных стеблях одинокие, печальные цветы.

Комментарии

Впервые — в «Журнале для всех», 1902, декабрь, № 12. Над рассказом «В тумане» Андреев работал летом 1902 года на подмосковной даче в Царицыно. 21 июня 1902 г. в «Курьере» (№ 169) в отделе «Маленькая хроника» появилось сообщение об убийстве молодым человеком двух проституток. Неустановленный автор писал в этой связи: «Это не простое убийство, это не простое помешательство. Это громадная трагедия, тайная, глубокая и неясная...» Рассказ «В тумане» и стал ответом на предложенную тему: раскрытие тайны «не простого» убийства. «Завтра, послезавтра, — известил Андреев К. П. Пятницкого 18 августа 1902 г., — я окончу рассказ „В тумане“ размером в 11/4 — 11/3 печатных листа, предназначенный для „Журнала для всех“. Миролюбов уже ждет его с нетерпением и гневом <...> Вопрос вот в чем: значителен ли этот рассказ <...> Этот вопрос я предоставляю решить вам и Максимычу, которому пошлю копию рассказа, ибо сам о рассказе невысокого мнения» (ЛН, т. 72, с. 159). В случае отказа В. С. Миролюбова Андреев предполагал поместить «В тумане» в «Русском богатстве» (см. его письмо Н. К. Михайловскому от августа — сентября 1902 г. — (ЛА, с. 56–57). Об окончании работы над рассказом Андреев сообщил В. С. Миролюбову в письме от 25 августа 1902 г.:

«Читал его хорошим людям, говорят — хороший; да и самому мне кажется — ничего. Тема: гимназист, чистый и порядочный по существу малый, но внешне развращенный, как и все, болеющий венерической болезнью, убивает проститутку и себя» (там же, с. 95). Еще через несколько дней, 29–31 августа 1902 г. автор написал М. Горькому: «В одну неделю, работая до судорог в пальцах, я накатал рассказ „В тумане“. Кажется, ничего шука — хотя тип, как и все, что я пишу, противен» (ЛН, т. 72, с. 159).

Рассказ, обращенный к молодежи и затрагивающий острые вопросы общественной этики и морали, был сразу же замечен, но даже Андреев был ошеломлен той полемической бурей, которую он вызвал. Как и следовало ожидать, первой набросилась на Андреева «за безнравственность» реакционная печать. Но помещенные в «Новом времени» 31 января 1903 г. (№ 9666) «Критические очерки» В. Буренина, написанные в обычном для него грубом, оскорбительном тоне, возможно, и не произвели бы такого резонанса, если бы 7 февраля 1903 г., тоже в «Новом времени» (№ 9673), не было помещено «Письмо в редакцию» С. А. Толстой. Жена великого писателя демонстративно протягивала руку В. Буренину и обвиняла Андреева в том, что он «любит наслаждаться низостью явлений порочной человеческой жизни». Противопоставляя произведениям Андреева сочинения Л. Н. Толстого, она призывала «помочь опомниться тем несчастным, у которых они, господа Андреевы, сшибают крылья, данные всякому для высокого полета к пониманию духовного света, красоты, добра и... Бога».

11 февраля 1903 г. А. П. Чехов писал О. Л. Книппер-Чеховой из Ялты: «А ты читала статью С. А. Толстой насчет Андреева? Я читал, и меня в жар бросало, до такой степени нелепость этой статьи резала мне глаза. Даже невероятно. <...> Теперь кто нагло задерет морду и обнахальничает до крайности — это г. Буренин, которого она расхвалила» (Чехов. Письма, т. 11, с. 150). Письмо графини С. А. Толстой как «сенсация» обошло все русские газеты и было перепечатано за рубежом. Вопрос, только ли свое мнение выразила С. А. Толстая, или это было еще и мнение Л. Н. Толстого как о рассказе «В тумане», так и об общем направлении творчества Андреева, занимал читателей и критиков. Не удивительно, что все взоры были обращены к Ясной Поляне. Однако Л. Н. Толстой не считал необходимым для себя вмешиваться в полемику вокруг рассказа «В тумане». Несколько позже в разговоре с навестившим его в Ясной Поляне Е. Соловьевым-Андреевичем Л. Н. Толстой дал сдержанно-одобрительную оценку этому произведению. Он сказал: «Это вот следовало сделать. Андрееву ли, или кому другому, во всяком случае следовало указать на факт этой ранней похотливости и того отвратительного выхода, который она себе находит. У Андреева это сделано грубовато, но в общем хорошо» («Одесские новости», 1903, № 6030, 17 июля).

В острых дебатах, развернувшихся вокруг рассказа «В тумане», отчетливо определились две точки зрения. Консервативная пресса, сознательно акцентировала внимание читателей на художественных погрешностях рассказа, на отдельных натуралистических подробностях, всячески стремилась ослабить содержащуюся в рассказе критику социальных условий, буржуазной морали. Некий «Дебютант» в «Петербургской газете» (1903, № 44, 14 февраля) назвал Андреева «нехорошим выдумщиком». Озаглавив свою рецензию «Грязь и красота», Я. Абрамов писал: «При чтении рассказа невольно несколько раз принимаешься отплевываться. В конце концов, от рассказа остается в душе след чего-то скверного, и всего менее рассказ наводит на мысли о нравственной и общественной стороне изображаемого явления» («Приазовский край», 1903, № 49, 22 февраля). Демократически настроенная критика, напротив, утверждала: «С редким мастерством автору удается вместить в рамки уголовного случая <...> огромное содержание большого социального вопроса, в нашей литературе после „Крейцеровой сонаты“, кажется, никем не затронутого» (Ветринский Ч. — «Самарская газета», 1903, № 7, 10 января). В основном эпизоде рассказа — убийство студентом проститутки — критика, отстаивающая правдивость изображенного Андреевым, не находила ничего невероятного. Подчеркивая связь сюжета «В тумане» с жизнью, критика отмечала, что подобные случаи происходили в Москве в 1901 году («Южный край», 1903, № 7690, 2 апреля), в Киеве («Нижегородский листок», 1903, № 50, 21 февраля). Рассказу «В тумане» посвятил статью критик А. Уманьский («Об ужасах жизни»). Он называл Андреева учеником Л. Н. Толстого, находил в рассказе некоторые совпадения с «Крейцеровой сонатой». «Рассказ г. Андреева, — писал А. Уманьский, — написан с большой психологической правдой и силой, хотя он и дробится местами излишней отрывочной передачей настроений героя <...> Произведение г. Андреева не только не порнографическое, но глубоко нравственное, протестующее против того уклада жизни, против которого протестовала и „Крейцера соната“. Вопреки утверждениям реакционных критиков о нетипичности героя рассказа, демократическая критика подчеркивала: „Павел Рыбаков не представляет какое-либо исключение, это обычное грустное явление в нашей жизни; его ни в каком случае нельзя назвать патологическим субъектом“» («Крымский курьер», 1903, № 32, 4 февраля). Павел погиб, «как гибнут сотни и тысячи подобных „Рыбаковых“» («Северозападный край», 1903, № 113, 16 марта). «Рассказ поражает своей реальностью, — но эта реальность есть правда жизни, которую не спрячешь за рядами точек. Не смаковать с цинизмом произведение Андреева должны были бы критики и не вопить на всю Русь о его безнравственности, а, наоборот, указать на высокое художественное и нравственное значение рассказа» («Двинский листок», 1903, № 304, 26 марта). Газета «Казбек» (1903, № 1530, 23 февраля) писала, что рассказ Андреева «дает новое освещение и заставляет глубоко задуматься над вопросами воспитания молодого поколения и сохранения им чистоты как физической, так и духовной».

Особый интерес представляют отклики на рассказ простых читателей и — прежде всего — молодежи. Петербургская газета «Новости» в 1903 г. провела на своих страницах дискуссию по поводу рассказа Андреева. Некто Николай Кронеберг заявлял: «Андреевы не поднимают нас духовно, а растлевают многих из нас, молодежи <...>, разве отдохнешь душою на подобных произведениях литературы» (№ 45, 14 февраля). Но примечательно, большинство участников заочной дискуссии поддерживало Андреева. Студент Петербургского университета Борис Палецкий сожалел, что С. А. Толстая — «советует закрыть глаза на темные стороны жизни молодежи» (№ 42, 11 февраля). Читательница, подписавшаяся «Русская женщина», имея в виду Андреева, восклицала: «Побольше бы таких здоровых борцов за нравственность» (№ 44, 13 февраля). Сходные по тону и содержанию отклики из номера в номер публиковала в феврале — марте 1903 г. и газета «Русские ведомости». «Мы, — говорилось в одном из обращений, — несем наше сердечное молодое спасибо писателю, давшему силою своего таланта такую бездну человеческого падения и отчаяния, мы верим, что под влиянием его открытого, смелого изобличения пошлости и порока, может быть, многие Павлы Рыбаковы в зачаточном состоянии найдут и силы в себе, и веру в людей, свернут на другую сторону» («Волжский вестник», 1903, № 65, 21 марта). Студенты Юрьевского

(Дерптского) ветеринарного института, принимая Андреева в почетные члены студенческого общества «Социетас», писали: «Ваши рассказы установили между Вами и нами крепкую связь <...> Вы смелой рукой рисуете ужасные, но правдивые картины и тем самым пробуждаете членов русского общества и заставляете их не так сонливо глядеть на то, что совсем близко около и в них совершается» (Исаков С. Г. Л. Н. Андреев — почетный член тартуского студенческого общества «Социетас» (1903). — Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 266. Тарту, 1971, с. 227).

К рассказу «В тумане» с одобрением отнесся А. П. Чехов, который в письме Андрееву от 3 января 1903 г. писал: «И „Иностранец“ и „В тумане“ — это два серьезные шага вперед. В них уже много спокойствия, авторской уверенности в своей силе, в них мало авторской нервности. Беседа отца с сыном „В тумане“ сделана спокойно, и за нее меньше не поставишь, как 5+» (Чехов. Письма, т. 11, с. 112).

В письме О. Л. Книппер от 1 февраля 1903 г. А. П. Чехов назвал рассказ Андреева «очень хорошей вещью» и отметил, что «автор сделал громадный шаг вперед» (Чехов. Письма, т. 11, с. 39). М. Горький предполагал написать специальную статью о рассказе «В тумане» — пояснить его основную идею (см. письмо Андреева к М. Горькому от 6...8 января 1903 г. — ЛН, т. 72, с. 174).

Особый интерес представляет подробная характеристика рассказа в письме Андреева к А. А. Измайлову от 11 февраля 1903 г.: «О „В тумане“. Рассказ не нравится мне в художеств<енном> отношении: длинен, в начале сух и искусственен, по языку как-то дробен, незначителен. Довольно слабо выражена и идея: женщина и мужчина, по существу друзья, в силу разных жизненных непорядков мучают друг друга, оскверняют и оба несчастны, становятся врагами. На воспитательное значение рассказ ни в коем случае не претендует. Одна умная дама заметила, что я в рассказе отношусь к читателю так же, как отец Павла к Павлу: не даю исхода. Это правда — но к счастью или несчастью — я не отец моих читателей. Кстати: отношения между П<авлом> и его отцом не основа, а только подробность рассказа.

Также подробность и только подробность — болезнь Павла). Здесь погребена собака. Дело в том, что своею необычностью болезнь резнула непривычный глаз, стала как будто на место целого и для многих нарушила перспективу. Кривое дерево на опушке загородило самый лес. Поставьте подробность эту на свое место — вся картина изменится в Ваших глазах.

Положительно не согласен с Вашей характеристикой проститутки — моего отношения к ней. Во внешнем отсутствии жалости к ней больше к ней уважения и сочувствия, чем если бы я солгал и наделил ее ангельским зраком. Разве она так плоха? Она вся проникнута чувством самоуважения. „Не стану лакать кислого пива“. — „Дал 2 р. — и думает, всю женщину купил“. — „Не говори о лесе“. — „Измучили вы меня“. — „Процентик“ и т. п.

Наконец, самая пощечина, к<отору>ю она нанесла П<авлу> — великий знак презрения купленной, измученной женщины к купившему ее мужчине, мучителю. Не П<авла> она ударила, а каждого из нас. Кто пользовался ее услугами, кто говорил ей о лесе, а сам... кто любит Катю, а для нее приносит свою болезнь. Смотрите: до сей минуты ни один из читателей не обратил внимания на то, что П<авел> шел к женщине больной, неся заведомую для нее заразу. Так велико наше пренебрежение к этим женщинам!» (РЛ, 1962, № 3, с. 200–201).

Публикация рассказа «В тумане» навлекла на «Журнал для всех» репрессии Главного управления по делам печати. 16 января 1903 г. оно уведомило Петербургский цензурный комитет, что приказом министра внутренних дел В. К. Плеве цензору «Журнала для всех» М. С. Вержбицкому за разрешение опубликовать «В тумане» объявлен выговор (ЦГИАЛ).

Губернатор

I

Уже пятнадцать дней прошло со времени события, а он все думал о нем — как будто само время потеряло силу над памятью и вещами или совсем остановилось, подобно испорченным часам. О чем бы он ни начинал размышлять — о самом чужом, о самом далеком, — уже через несколько минут испуганная мысль стояла перед событием и бессильно колотилась о него, как о тюремную стену, высокую, глухую и безответную. И какими странными путями шла эта мысль: подумает он о своем давнем путешествии по Италии, полном солнца, молодости и песен, вспомнит какого-нибудь итальянского нищего — и сразу станет перед ним толпа рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнёт на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен и которым он подал знак, чтобы стреляли. В первое время эта связь между представлениями была логичной и понятной и оттого не особенно беспокойной, хотя и надоедливой; но вскоре случилось так, что все стало напоминать событие — неожиданно, нелепо, и потому особенно больно, как удар из-за угла. Засмеется он, услышит точно со стороны свой генеральский смех и вдруг возмутительно ясно увидит какого-нибудь убитого — хотя он тогда и не думал смеяться, да и никто не смеялся. И услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе, взглянет ли на стул, самый обыкновенный дубовый стул, протянет ли руку к хлебу — все вызывает перед ним один и тот же неумирающий образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно он жил в комнате, где тысячи дверей, и какую бы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален: рабочие с пригородного завода, уже три недели бастовавшие, всю свою массу в несколько тысяч человек, с женами, стариками и детьми, пришли к нему с требованиями, которых он, как губернатор, осуществить не мог, и повели себя крайне вызывающе и дерзко: кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина, имевшая вид сумасшедшей, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда свитские увели его на балкон, — он все еще хотел сговориться с толпой и успокоить ее, — рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме и ранили полицеймейстера. Тогда он разгневался и махнул платком.

Толпа была так возбуждена, что залп пришлось повторить, и убитых было много — сорок семь человек; из них девять женщин и трое детей, почему-то всё девочек. Раненых было еще больше. Вопреки настояниям окружающих, подчиняясь чувству какого-то странного, неудержимого и мучительного любопытства, он поехал смотреть убитых, сваленных в пожарном сарае третьей полицейской части. Конечно, не нужно было ездить; но, как у человека, сделавшего быстрый, неосторожный и бесцельный выстрел, была у него потребность догнать пулю и схватить ее руками, и казалось, что если он сам посмотрит на убитых, то что-то изменится к лучшему.

В длинном сарае было темно и прохладно, и убитые, под полосой серого брезента, лежали двумя правильными рядами, как на какой-то необыкновенной выставке: вероятно, к приезду губернатора подготовились и убитых уложили в наилучшем порядке, плечом к плечу, лицом вверх. Брезент закрывал только голову и верхнюю часть туловища, ноги, точно для счета, оставались на виду — неподвижные ноги, одни в стоптанных, рваных сапогах и ботинках, другие голые и грязные, странно белеющие сквозь грязь и загар. Дети и женщины были положены особо, в сторонке; и в этом опять-таки чувствовалось желание сделать как можно более удобным обозрение трупов и их подсчет. И было тихо — слишком тихо для такого множества людей, и вошедшие живые не могли разогнать тишины. За дощатой тонкой

перегородкой возился около лошади конюх; видимо, и он не подозревал, что за стеною есть кто-нибудь, кроме мертвых, потому что говорил лошади спокойно и сердечно:

— Тпру, дьявол! Стой, когда говорят.

Губернатор взглянул на ряды ног, уходящих в темноту, и сдержанным басом, почти шепотом сказал:

— Однако много!

Из-за спины его выдвинулся помощник пристава, очень молодой, с безусым, угреватым лицом и, козыряя, громко доложил:

— Тридцать пять мужчин, девять женщин и трое детей, ваше превосходительство.

Губернатор сердито поморщился, и помощник пристава, козырнув, вновь пропал за его спиной. Ему еще хотелось, чтобы губернатор обратил внимание на дорожку между трупов, которая была тщательно прометена и слегка присыпана песком, но губернатор не заметил, хотя внимательно смотрел вниз.

— Детей трое?

— Трое, ваше превосходительство. Прикажете снять брезент?

Губернатор молчал.

— Тут есть разные лица, ваше превосходительство, — почтительно настаивал помощник пристава и, приняв молчание за согласие и внезапно перейдя на громкий шепот, распорядился: — Иванов, Сидорчук, живо, за тот конец, ну-ну!

С тихим шуршанием пополз грязно-серый брезент, и одно за другим выплыли белые пятна лиц, бородатых и старых, молодых и безбородых, все разных, но объединенных между собою тем страшным сходством, какое придает смерть. Ран и крови почти не видно было, они остались где-то под одеждой, и только у одного глаз, выбитый пулей, неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в темноте на деготь. Большинство смотрело совершенно одинаковым белым взглядом; некоторые жмурились, так же одинаково, и один закрывал рукою лицо, точно от сильного света; и помощник пристава страдальчески взглянул на этого мертвеца, нарушившего порядок. Губернатор знал наверное, что эти именно лица были сегодня в толпе, в ближайших к нему рядах, и на многих он, наверное, смотрел, когда разговаривал с ними, — но теперь не мог узнать никого. То новое и общее, что придала им смерть, делало их совершенно особенными. Они лежали мертвенно-неподвижно, прилипая к земле, как гипсовые фигуры, у которых один бок срезан плоско для устойчивости, и в эту неподвижность не верилось, как в обман. Они молчали, и в это молчание не верилось, как и в неподвижность; и так выжидающе-внимательны они были, что даже неловко было говорить в их присутствии. Если бы вдруг, сразу, окаменел город со всеми людьми, которые идут и едут, остановилось солнце, замерла листва и замерло все, — он, вероятно, имел бы такой же странный характер незавершенного стремления, внимательного ожидания и загадочной готовности к чему-то.

— Осмелюсь спросить, прикажете заказать гробы, ваше превосходительство, или же в братскую могилу? — громко, не догадываясь, спросил помощник пристава; важность события, переполох допускали, казалось ему, некоторую почтительную фамильярность. И он был молод.

— Какую братскую могилу? — невнимательно спросил губернатор.

— Это, ваше превосходительство, роется такая большая яма...

Губернатор резко повернулся и пошел к выходу; когда он садился в коляску, он слышал еще громкий скрип ржавых петель: то запирали мертвых.

На следующее утро, побуждаемый все тем же мучительным любопытством и желанием продолжить,

не давать совершиться, не давать окончиться тому, что уже совершилось и окончилось, он посетил в городской больнице раненых. Мертвые — те глядели на него, а от этих он не мог дожидаться взгляда; и в этом упорстве, с каким отводились от него взоры, он почувствовал бесповоротность совершившегося. Кончено, что-то огромное кончено, и больше не за чем и некуда протягивать руки.

И вот с этого мгновения для него как будто остановилось время и наступило то, чему он не мог прибрать имени и объяснения. Это не было раскаяние, — он сознавал себя правым; это не было и жалостью, тем мягким и нежным чувством, которое исторгает слезы и одевает сердце мягким и теплым покровом. Он спокойно, как о фигурах из папье-маше, думал об убитых, даже о детях; сломанными куклами казались они, и не мог он почувствовать их боли и страданий. Но он не мог не думать о них, он продолжал видеть их ясно — эти фигурки из папье-маше, эти сломанные куклы — и в этом была страшная загадка, что-то похожее на чародейство, о котором рассказывают няньки. И для всех людей со времени события прошло четыре — пять — семь дней, а для него как будто и часа одного не прошло, и он все там, в этих выстрелах, в этом взмахе белого платка, в этом ощущении чего-то бесповоротно совершающегося — бесповоротно совершившегося.

И он уверен, что скоро успокоился бы и позабыл то, о чем нет смысла помнить и думать, если бы окружающие меньше обращали на него внимания. Но в их обращении, в их взглядах и жестах, в почтительно участливых речах, обращенных точно к неизлечимо больному, звучит твердая уверенность, что он думает, не может не думать о происшедшем. Полицеймейстер через день успокоительно докладывает, что вот еще два-три раненых выздоровели и выписались из больницы; жена, Мария Петровна, каждое утро пробует губами его голову, не горячая ли, — как будто он ребенок, а убитые — зеленое, которого он перекушал. Какой вздор! А через неделю после события приехал с визитом сам преосвященный Мисаил, и после первых фраз ясно стало, что он заботится о том же, о чем и все, и хочет успокоить его христианскую совесть. Рабочих назвал злодеями, его — умиротворителем, и — хитрый! — не привел ни одного заезженного и выдохшегося текста, зная хорошо, что губернатор не особый охотник до поповского красноречия. И противен и жалок показался ему этот старик, бесцельно лгавший перед своим Богом.

Во время разговора архиерей обыкновенно подставлял собеседнику ухо; и, покраснев от гнева, — он сам чувствовал, как горячо стало его глазам, — губернатор сложил губы трубой и гулко загрохотал в наклоненное к нему бескровное, мягкое ухо, покрытое седеньким пушком:

— Злодеи-то — злодеи. А я бы, ваше преосвященство, будь я на вашем месте, отслужил бы панихиду по убиенным.

Архиерей отстранил ухо, развел над животом сухими, как гусиные лапы, руками и, склонив голову, кротко сказал:

— На всяком месте свои терния. Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем и стрелять-то бы не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами, да ведь что же поделаешь: злодеи!

Потом он любезно преподал благословение и, шурша шелком, поплыл к выходу, и вид имел такой, будто кланяется всему, мимо чего проходит, и все благословляет. В прихожей он долго и любовно возился с глубокими, как корабли, калошами и с одеванием, поворачивал ухо то направо, то налево; а губернатору, который с отвращением, из необходимой вежливости, помогал ему облачаться, твердил с убедительной ласковостью:

— Не утруждайте себя, ваше превосходительство, не утруждайте.

Из этого опять-таки выходило, что губернатор неизлечимо больной человек, которому вредно всякое усилие.

В тот же день приехал из Петербурга в недельный отпуск сын-офицер, и хотя сам он не придавал никакого значения своему необычному приезду, был шутлив и весел, но чувствовалось, что привлекла его сюда все та же непонятная забота о губернаторе. О событии он отозвался очень легко и передал, что в Петербурге восхищаются мужеством и твердостью Петра Ильича, но настойчиво советовал вытребовать сотню казаков и вообще принять меры.

— Какие меры? — удивился хмуро губернатор, но толку добиться не мог.

Тем более удивительны были все эти заботы, что в городе с того самого дня царило полное спокойствие. Рабочие тогда же приступили к работам; прошли спокойно и похороны, хотя полицеймейстер чего-то опасался и держал всю полицию наготове; ни из чего не видно было, чтобы и впредь могло повториться что-либо подобное событию 17 августа. Наконец из Петербурга, на свое правдивое донесение о происшедшем, он получил высокое и лестное одобрение, — казалось бы, что этим все должно закончиться и перейти в прошлое.

Но оно не переходит в прошлое. Точно вырвавшись из-под власти времени и смерти, оно неподвижно стоит в мозгу — этот труп прошедших событий, лишенный погребения. Каждый вечер он настойчиво зарывает его в могилу; проходит ночь, наступает утро — и снова перед ним, заслоня собою мир, все собою начиная и все кончая, неподвижно стоит окаменевший, изваянный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.

II

Губернатор давно закончил прием, собирается ехать к себе на дачу и ждет чиновника особых поручений Козлова, который поехал кое за какими покупками для губернаторши. Он сидит в кабинете за бумагами, но не работает и думает. Потом встает и, заложив руки в карманы черных с красными лампасами штанов, закинув седую голову назад, ходит по комнате крупными, твердыми, военными шагами. Останавливается у окна и, слегка растопылив большие, толстые пальцы, внушительно и громко говорит:

— Но в чем же дело?

И чувствует, что, пока он думал, он был просто человек, как всякий другой, Петр Ильич, а с первым же звуком голоса, с этим жестом он сразу стал губернатором, генерал-майором, его превосходительством. Становится неприятно, мысли разбиваются и бегут; и резко, по-губернаторски, дернув левым погоном, он отходит от окна и снова меряет комнату. «Так — ходят — губернаторы», — думает он нелепо, в такт крупным и твердым шагам, и садится опять, стараясь не шевелиться, чтобы каким-нибудь неосторожным движением снова не вызвать в себе губернаторского. Звонит.

— Не приезжал?

— Никак нет, ваше превосходительство.

И пока лакей, почтительно изогнувшись, мягко излагает титул, он внезапно вспоминает: «Ах, да, ведь там побиты стекла, а я еще не смотрел. До сих пор еще не смотрел».

— Когда приедет, скажи, я буду в зале. Рамы в высоких окнах делились по-старинному на восемь частей, и это придавало им характер унылой казенщины, сходство с сиротским судом или тюремной канцелярией. В трех ближайших к балкону окнах стекла были вставлены заново, но были грязны и хранили мучнистые следы ладоней и пальцев: очевидно, никому из многочисленной и ленивой челяди в голову не пришло, что их нужно помыть, что нужно уничтожить всякие следы происшедшего. И всегда так: скажешь — сделают, а не скажешь — сами никогда не пошевелинут пальцем.

— Сегодня же вымыть. Безобразие!

— Слушаю, ваше превосходительство.

Захотелось выйти на балкон, но неудобно было привлекать на себя внимание проходящих, и сквозь мутное стекло он стал разглядывать площадь, на которой тогда бесновалась толпа, трещали выстрелы и сорок семь беспокойных людей превратились в спокойные трупы. Рядом, нога к ноге, плечо к плечу — как на каком-то парадном смотре, на который глядеть снизу.

Спокойно. Перед самым окном стоял тополь с ободранною мочалившеюся корою, уже окрашенной осенью, а за ним, спокойная и сонная, лежала под солнцем площадь. По ней почти не бывало езды, и круглые камешки лежали ровно, как бусинки, и кое-где проглядывала между ними зеленая травка, густея в ложбинах и канаве. Безлюдная, глухая, немного наивная была площадь, но оттого ли, что он смотрел сквозь мутные и грязные стекла, все казалось скучным, бестолковым, изнывающим в чувстве тупой и безнадежной тошноты. И хотя до ночи было далеко, все это — и ободранный тополь и ровные камешки, по которым никто не ездит, — точно умоляло ночь прийти скорее и мраком своим погасить их ненужную жизнь.

— Не приезжал?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Когда приедет, проси сюда.

По-видимому, зала оклеивалась при старом губернаторе, а быть может, и еще раньше — так грязны и закопчены были дорогие тисненные обои; и от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись черно-желтые потоки, как из неаккуратного старческого рта. Зимой, при народе, при вечернем освещении все это не замечалось, а теперь лезло в глаза своим нарядным убожеством и мутило. Вот картина: какой-то итальянский лунный пейзаж — висит он криво, и никто этого не замечает, и кажется, что всегда висел он так, и при старом губернаторе, и при том, который был еще раньше. Мебель тоже дорогая, но просиженная, потертая, пропитанная пылью, — похоже вообще на номер в дорогой гостинице, где сам хозяин давно умер от удара, а дело ведут неряшливые, вечно ссорящиеся между собою наследники. И ничего не было своего: даже альбом с карточками был чужой, казенный или кем-то здесь позабытый: вместо лиц друзей и близких шли виды города — семинария и окружной суд, — четыре незнакомые чиновника, два сидят и два стоят над ними — какой-то выцветший архиерей — и круглая дыра до самого переплета.

— Какая мерзость! — громко сказал губернатор и брезгливо бросил альбом.

Рассматривал карточки он стоя и, повернувшись на каблуках, дернув погоном, сердито зашагал прямыми твердыми шагами: «Так ходят губернаторы. Так ходят — губернаторы».

Так ходил по этой казенной квартире и прежний губернатор, и тот, что был до него, и другие, неизвестные. Откуда-то являлись, ходили твердыми и прямыми шагами, а над ними боком висел итальянский пейзаж, устраивали приемы, даже танцы, а потом куда-то исчезали. Быть может, тоже в кого-нибудь стреляли — что-то в этом роде было при третьем до него губернаторе.

По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской, с ведром и кистью — и опять никого. С ободранного тополя внезапно оторвался желтый дырявый лист и, кружась, поплыл книзу — и сразу вихрем в голове закружились: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Встают ненужные подробности: как он приготавливал платок для сигнала. Он заранее вынул его из кармана и, зажав в маленький твердый комоч, держал в правой руке; потом осторожно расправил его и быстро махнул, но не вверх, а вперед, словно бросал что. Словно бросал пули. И вот тут он перешагнул через что-то, через какой-то высокий, невидимый порог, и железная дверь с громким скрипом железных петель захлопнулась сзади — и нет возврата.

— Ах, это вы, Лев Андреевич! Наконец-то, я вас заждался.

— Простите, Петр Ильич, но в этом дрянном городишке ничего не достанешь.

— Ну, едем, едем. Да, послушайте! — Губернатор остановился и раздраженно, сделав рот трубой, заговорил. — Почему это во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Или был как-то я в жандармском управлении — так ведь это что же такое! Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязи.

— Денег нет.

— Вздор! Отговорки! А это, — губернатор широко обвел рукою, — вы взгляните, что же это такое. Это же мерзость.

— Петр Ильич! Да кто же вам мешает переделать по-своему. Ведь уж сколько раз я предлагал это Марии Петровне, и ее превосходительство вполне разделяет...

Уже на ходу губернатор отрывисто бросил:

— Не стоит.

Чиновник сочувственно взглянул на его широкую спину, жилистую шею, двумя колонками подпирающую череп, и, вкладывая в голос беззаботность, сказал:

— Да, кстати. Встретил сейчас Судака, говорит, что вчера последнего раненого выписали. самого тяжелого, почти никакой надежды не было, что поправится. Удивительно живучий народ.

Судаком в губернаторском домашнем кругу назывался полицеймейстер — за свои вытаращенные бесцветные глаза, длинный рост и узкую рыбью спину.

Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осенней свежестью и солнечным теплом — как будто существовали они отдельно, и свежесть и тепло, и чувствовались также порознь. И небо было милое: нежное, далекое, неожиданное и прелестно голубое. Хорошо теперь на даче!

Он уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место влезавшему с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда, согнувшись, прошел какой-то человек. Снимая для поклона картуз, он закрыл локтем лицо, и губернатор увидел только его курчавый, белокурый затылок и загорелую, молодую шею и заметил, что шагает он осторожно и неслышно, как босой, шагает и горбится и прячется в себя и спина его словно смотрит назад. «Какой неприятный и странный человек», — подумал губернатор. То же подумали, видимо, два господина, поспешно усаживавшиеся впереди коляски на извозчика: привычным и согласным движением они заглянули прохожему в лицо, ничего подозрительного не нашли и понеслись впереди губернатора. Извозчик у них был лихач, на резинах, колеса подпрыгивали, и кузов пролетки колыхался, и сидели они наклонившись вперед, для быстроты, и скоро далеко ушли, чтобы не пылить губернатору.

— Кто эти двое? — спросил он чиновника, искоса подозрительно глядя на него, и тот равнодушно ответил:

— Агенты.

— А зачем это? — так же отрывисто спросил губернатор.

— Не знаю, — уклончиво ответил Лев Андреевич. — Судак все старается.

При повороте на Дворянскую улицу блеснул на солнце лаком сапог и молодежато козырнул безусый помощник пристава, тот, что демонстрировал трупы, а когда проезжали мимо части, из раскрытых ворот вынеслись на лошадях два стражника и громко захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовности, и смотрели они оба не отрываясь в спину губернатору. Чиновник сделал вид, что не заметил их, а губернатор хмуро взглянул на чиновника и задумался, сложив на коленях руки в белых перчатках.

Дорога на дачу шла через окраину города, по Канатной улице, где в полуразвалившихся лачугах и частью в двухэтажных кирпичных домах казенной стройки жили заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, как ночью, и даже не видно было детей. Один мальчишка мелькнул на заборе, в красных листьях рябины — и быстро скользнул вниз, за забор, притаившись, очевидно, у широкой щели. Летом попадались на Канатной куры и грязные поджарые поросята, привязанные к колышкам, но теперь не было и их, — очевидно, трехнедельная голодовка подобрала все. Непосредственно ничто не напоминало события, но в пустынности улицы, равнодушной к проезду губернатора, была тяжелая, сосредоточенная дума опущенных глаз, и в прозрачном воздухе чудился легкий запах ладана.

— Послушайте, — вскрикнул губернатор, хватая чиновника за колено. — Ведь этот человек...

— Какой человек?

Губернатор не ответил. Он крепко сжимал колено и всем лицом смотрел на чиновника — словно в запертом и заколоченном доме сразу распахнулись все двери и окна. Потом сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно, всем широким туловищем обернулся назад и внимательно

посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, одной стороной утонувшая в черной тени, на другой ярко освещенная солнцем, таилась в глубокой думе улица. Сбежавшись в кучу, как испуганное грозою стадо, жались друг к другу домишки с дырявыми крышами, переломанными коньками, выпертыми вперед, как стариковские подбородки, окнами. Потом пустырь, остатки забора, забитый колодец, с опустившейся вокруг землею — и огромные липы за высокой полуразобранной огорожей, большой барский дом, какими-то судьбами попавший в это захолустье, давно уже не жилой, дряхлый, с закрытыми ставнями и заржавевшей от времени железной дощечкой: «Сей дом продается». Дальше опять домишки и три подряд голые, кирпичные корпуса без орнаментов, с редкими ввалившимися окнами. Они еще новы; видна засохшая известь, и не заделаны углубления, на которых держались подмости, — но уже безнадежно грязны, запущены. На тюрьму они похожи, и жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме.

Вот и выезд в поле и последний домишко — без одного деревца вокруг, без забора; весь он остро наклонился вперед, и стена и крыша, как будто кто сильною ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около — ни одного человека.

— А трудно будет вам, Петр Ильич, ездить здесь осенью. Здесь ведь, наверное, грязь невылазная.

Губернатор смотрел в сторону и молчал. И лицо его медленно закрывалось — как будто вновь по одному закрывали все окна и двери в глухом заколоченном доме.

III

Было много веселых игр, смеха и песен — на следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича, офицер, и знакомые собрались проводить его. На зеленых лужайках и прогалинах, под золотом и багрянцем листьев, в изумрудной прозрачности освещенных лесных далей, рассыпались такими же гармоничными и яркими пятнами красивые платья женщин и мундиры военных. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк — громко трещающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Удушливый дым ползал под старыми, строгими деревьями, и, когда зажгли красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени.

Полицеймейстер Судак, сильно выпивший за обедом, благосклонно глядел на всю эту веселую суматоху, остроумно козырял дамам и был счастлив. И когда из дымной темноты рядом с ним послышался голос губернатора, ему захотелось поцеловать его в плечо, осторожно обнять за губернаторскую талию — сделать что-нибудь такое, что выражало бы преданность, любовь и удовольствие. Но вместо этого он приложил руку к левой стороне мундира, бросил в траву только что закуренную папиросу и сказал:

— Ах, ваше превосходительство, какой волшебный праздник!

— Послушайте, Илиодор Васильевич, — перебил губернатор сдержанным басом, — зачем вы посылаете каких-то агентов? К чему это?

— Злодеи злоумышляют на вашу священную жизнь, ваше превосходительство, — с чувством сказал Судак, прижимая обе руки к мундиру. — И помимо прочего, я обязан...

Треск лопающихся бураков, смех и испуганные крики заглушили его слова; потом посыпался дождь голубых, зеленых и красных огней, выделив из дымного мрака пуговицы и погоны губернатора.

— Я знаю это, Илиодор Васильевич, то есть догадываюсь. Но не думаю, чтобы было серьезно.

— Очень даже серьезно, ваше превосходительство. Весь город трубит, даже удивительно, до чего трубит. Я уже троих в части выдержал, да не те попались.

Новый взрыв выстрелов и веселых криков прервал его речь, а когда шум улегся, губернатора уже не было.

После ужина был веселый и шумный разъезд, и заправлял им молодой помощник пристава. Все: и фейерверк, на который смотрел он из кустов, и экипажи, и люди казались ему чрезвычайно красивыми, и собственный молодой голос поражал его своею силою и звучностью. Судак был совсем пьян, острил, хохотал и даже пел марсельезу, первые слова:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrive!

Наконец уехали.

— Что ты все хмуришься, милый папа? — сказал офицер и с покровительственной лаской положил руку на плечо Петра Ильича.

В семье губернатора любили, а губернаторша даже немного боялась его, но почему-то с некоторого времени его считали очень старым и слегка презирали за это.

— Вздор! Я ничего, — нерешительно ответил Петр Ильич. Ему и хотелось поговорить с сыном, и боялся он этого разговора, так как давно уже разошелся с ним во взглядах. Но теперь эта именно рознь

могла оказаться полезной. — Дело в том, видишь ли, — продолжал он, конфузясь, — что меня смущает этот случай, ну, с рабочими.

Он открыто взглянул на сына; тот ответил удивленным взглядом и снял с плеча руку.

— Но ведь ты же получил одобрение из Петербурга?

— Да, конечно, и я очень счастлив, но... Алеша! — С неуклюжей ласковостью пожилого и важного человека он заглянул в красивые глаза сына. — Ведь они же не турки? Они свои, русские, всё Иваны да тезки — Петры, а я по ним, как по туркам? А? Как же это?

— Они бунтовщики.

— Алеша! ведь на них кресты, а я, — он поднял палец, — по крестам!

— Насколько мне известно, ты никогда, папа, не придавал особенного значения религии. При чем тут кресты? Это хорошо для какого-нибудь приказа по полку, что ли, а...

— Конечно, конечно, — торопливо согласился губернатор, — не в крестах тут дело. А я о том, что свои. Понимаешь, Алеша, свои. Будь я немец, Август Карлович Шлиппе-Детмольд, а то ведь Петр, да еще Ильич.

Офицер становился все суше.

— Ты что-то путаешь, папа. При чем тут оказались немцы? Наконец, если хочешь, немцы тоже стреляли в немцев, французы во французов, и так далее. Отчего же русским не стрелять в русских? Как государственный деятель ты должен понимать, что в государстве прежде всего порядок, и кто бы ни нарушал его, безразлично. Нарушь его я, — и ты должен был бы стрелять в меня, как в турка.

— Это верно! — кивнул головой губернатор и заходил по комнате. — Это верно.

И остановился.

— Да ведь с голоду, Алеша! Если бы ты их видел.

— Зензивеевские мужики тоже с голоду бунтовали, а это не помешало тебе великолепно их выдрать.

— Одно дело выдрать, а другое... Этот дурак разложил их в ряд, как дичь, и я взглянул на их ноги и подумал: никогда эти ноги не будут ходить... Ты не хочешь понять меня, Алексей. Палач — тоже государственная необходимость, но быть им...

— Что ты говоришь, отец!

— Я знаю, я чувствую это: меня убьют. Я не боюсь смерти, — губернатор закинул седую голову и строго взглянул на сына, — но знаю: меня убьют. Я все не понимал, я все думал: но в чем же дело? — Он растопырил большие толстые пальцы и быстро сжал их в кулак. — Но теперь понимаю: меня убьют. Ты не смейся, ты еще молод, но сегодня я почувствовал смерть вот тут, в голове. В голове.

— Папа, я прошу тебя, выпиши казаков, потребуй денег на охрану. Тебе дадут. Я прошу тебя, как сын, и я прошу тебя от имени России, которой нужна твоя жизнь.

— А кто же убьет меня, как не Россия? И против кого я выпишу казаков? Против России — во имя России? И разве могут спасти казаки, и агенты, и стражники человека, у которого смерть вот тут, во лбу. Ты сегодня немного выпил за ужином, Алеша, но ты трезв, и ты поймешь: я чувствую смерть. Еще там, в сарае, я почувствовал ее, но не знал, что это такое. Это вздор, что я тебе говорил о крестах и о русских, и не в этом дело. Ты видишь платок?

Он быстро вынул из кармана платок, расправил его и, как фокусник, показал Алексею Петровичу.

— Вот. Смотри!

Он быстро махнул платком вперед, так что волна душистого воздуха дошла до неподвижно сидевшего офицера.

— Вот. Вы новые, вы академики, вы ни во что не верите, а я верю в старый закон: кровь за кровь. Увидишь!

— Так выходи в отставку, уезжай куда-нибудь.

Он точно ждал этого предложения и не удивился.

— Нет. Ни за что! — твердо ответил он. — Ты сам понимаешь, что это было бы бегство. Вздор! Ни за что!

— Прости, папа, но ведь это же получается такая бессмыслица, — офицер прижал красивую голову к плечу и развел руками, — ведь это же я не знаю, что такое. Мама охает, ты толкуешь о какой-то смерти — ну из-за чего это? Как не стыдно, папа. Я всегда знал тебя за благоразумного, твердого человека, а теперь ты точно ребенок или нервная женщина. Прости, но я не понимаю этого.

Он сам не был нервен и не был похож на женщину, этот молодой, красивый офицер с розовыми, гладко выбритыми щеками и спокойными, уверенными движениями человека, который не только уважает, но даже чтит себя. Когда он бывал в народе, он чувствовал себя так, как будто он совершенно один и других людей возле него нет; и нужно было быть очень значительным человеком, особой не ниже генерала, чтобы он ощутил его присутствие и испытал то легкое стеснение, чувство самоограничения, какое обычно испытывается на людях. Он любил и умел плавать; и, купаясь летом на Неве, в общей купальне, он так спокойно, внимательно и сосредоточенно изучал свое тело, точно никого здесь не было. Однажды в этой же купальне появился китаец, и все с любопытством рассматривали его — одни искоса, другие открыто, не стесняясь; и только он один даже не взглянул на него, так как считал себя и интереснее и важнее китайца. Все в мире для него было ясно и просто, все делилось без остатка, и он знал, что с казаками во всяком случае лучше, чем без казаков.

И в упреках его звучало искреннее негодование, смягчаемое только вежливостью да боязнью задеть стариковское самолюбие... То, что происходило с его отцом, хотя и не было для него полной неожиданностью, — он всегда знал отца за фантазера, — но возмущало его, как что-то грубое, варварское, атавистическое. Кресты, кровь за кровь, Петры да Иваны — как все это нелепо!

«Однако плохой ты губернатор, хотя тебя и похвалили», — медленно подумал он, провожая красивыми глазами шагавшего отца.

— Так как же, папа? Ты обижаешься на меня?

— Нет, — просто ответил губернатор. — Я благодарен тебе за твое чувство, и ты хорошо сделаешь, если успокоишь мать. Я же совершенно спокоен и только высказал тебе свои соображения. По-твоему — так, по-моему — иначе, а там увидим. Однако иди спать, тебе пора.

— Мне еще не хочется. Не пройдемся ли немного по саду?

— Хорошо.

Их сразу охватила тьма, и они исчезли друг для друга — только голоса да изредка прикосновение нарушали чувство странной, всеобъемлющей пустоты. Но звезд было много, и горели они ярко, и скоро Алексей Петрович там, где деревья были реже, стал различать возле себя высокий и грузный силуэт отца. От темноты, от воздуха, от звезд он почувствовал нежность к этому темному, едва видимому, и снова повторил свои успокоительные объяснения.

— Да. Да, — отрывисто отвечал Петр Ильич, и непонятно было, соглашается он или нет.

— Как темно, однако! — сказал Алексей Петрович, останавливаясь; они вошли в глубину аллеи, и дальше ничего нельзя было разобрать в сплошном мраке. — Ты бы, папа, фонари, что ли, велел поставить!

— Незачем фонари. А вот ты скажи...

Оба они стояли неподвижно, и шороха шагов не слышно было, и всеобъемлющая пустота царила безраздельно и властно.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Алексей Петрович.

— Говорит тебе что-нибудь эта темнота?

«Опять фантазии», — подумал офицер и наставительно заметил:

— Она говорит, что тебе одному здесь не следует ходить. За любым деревом может кто-нибудь сидеть и подстерегать!

— Подстерегать! Вот и мне она говорит то же. Вообрази, что здесь за каждым деревом сидят люди — невидимые люди — и подстерегают. Их много — сорок семь, сколько было убитых, — и они сидят, слушают, что я говорю, и подстерегают.

Офицеру стало неприятно. Он оглянулся кругом, ничего не увидел, кроме мрака, и сделал шаг, чтобы идти.

— Охота себя расстраивать! — недовольно заметил он.

— Нет, погоди! — И от легкого прикосновения пальцев офицер вздрогнул. — Вообрази, что и там, в городе, и везде, куда бы я ни пошел, меня подстерегают. Иду я, идет какой-то человек и меня подстерегает. Или сажусь я в коляску, а мимо проходит человек и кланяется — он меня подстерегает.

Тьма становилась зловещей, и голос, когда не видно было человека, звучал странно и чуждо.

— Довольно, папа, идем!

Офицер быстро, не ожидая отца, зашагал.

— Вот то-то! — с неожиданной шутливостью сказал Петр Ильич знакомым басом. — А ты не веришь мне. Я тебе говорю — вот она, во лбу.

Когда блеснул свет из окна, он показался так далек и недоступен, что офицеру захотелось побежать к нему. Впервые он нашел изъян в своей храбрости и мелькнуло что-то вроде легкого чувства уважения к отцу, который так свободно и легко обращался с темнотой. Но и страх и уважение исчезли, как только попал он в освещенные керосином комнаты, и было только досадно на отца, который не слушается голоса благоразумия и из старческого упрямства отказывается от казаков.

IV

Зимою и летом губернатор вставал в семь часов, обливался холодной водой, пил молоко и затем во всякую погоду совершал двухчасовую пешую прогулку. Еще в молодости он бросил курить, почти ничего не пил и при своих пятидесяти шести годах и седой голове был юношески здоров и свеж. Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади, глаза слегка подпухшие, но блестящие, и большой стариковски мясистый нос с красною вдавленною полоскою от очков. Пенсне он не носил, а когда писал или читал, надевал золотые, сильно увеличивающие очки.

На даче он много возился с землей. Цветов и всей садовой искусственной красоты он не любил, но устроил хорошие парники и даже оранжерею, где выращивал персики. Но со дня события он только раз заглянул в оранжерею и поспешно ушел — было что-то милое, близкое в распаренном влажном воздухе и оттого особенно больное. И большую часть дня, когда не ездил в город, проводил в аллеях огромного, в пятнадцать десятин парка, меряя их прямыми, твердыми шагами.

Размышлять он не умел. Мыслей к нему приходило много, и иногда очень живых и интересных, но не сплетались они в одну крепкую, длинную нить, а бродили в голове, словно коровы без пастуха. И случалось, что по целым часам шагал он, глубоко и сурово задумавшись, ничего вокруг не видя и не слыша — и потом не мог вспомнить, о чем думал. Вставали глухие намеки на какую-то большую, важную, иногда печальную, иногда веселую работу души, но в чем она заключалась, он узнать не мог. И только менявшееся настроение, то угрюмое, всему враждебное, то веселое, приятное, нежное, ищущее ласки, позволяло догадываться о характере этой сокровенной, загадочной работы где-то в недоступных глубинах мозга. После события обычное настроение — каковы бы ни были явные мысли — оставалось неизменно печальным, сурово безнадежным; и каждый раз, очнувшись от глубокой думы, он чувствовал так, как будто пережил он в эти часы бесконечно долгую и бесконечно черную ночь. Однажды в молодости он утопал в быстрой и глубокой реке; и долго потом он сохранял в душе бесформенный образ удушающего мрака, бессилия и втягивающей в себя, засасывающей глубины. И теперь было что-то похожее.

Через два дня после отъезда сына, в солнечное, безветренное утро он также ходил по аллее и думал. С аллеи уже успели смести напавший за ночь желтый лист, и на бороздках от метлы отчетливо ложились следы больших ног, с высоким каблуком и широкой — четырехугольной подошвой — вдавленные следы, точно к тяжести человека прибавилась тяжесть его мыслей и вдавливала его в землю. Минутами он останавливался, и тогда где-то над головой в путанице освещенных солнцем ветвей слышался отчетливый рабочий стук дятла. Раз в одну из остановок аллею перебежала белка, точно красноватый комок на колесиках перекатился с одного дерева на другое.

«Убьют меня, наверное, из револьвера, теперь есть хорошие револьверы, — думал он. — А бомб в нашем городишке и делать не умеют, да и вообще бомбы для государственных деятелей, которые прячутся. Вот Алешу, когда он будет губернатором, убьют бомбой, — придумал Петр Ильич, и левый ус его приподнялся легкой насмешливой улыбкой, хотя глаза оставались по-прежнему хмуры и серьезны. — А прятаться не стану, нет, довольно уже того, что я сделал».

Он остановился и снял с тужурки паутинку.

«Жаль только, что никто не узнает вот этих моих честных и храбрых мыслей. Все другое знают, а это так и останется. Убьют, как негодяя. Очень жаль, но ничего не поделаешь. И говорить не стану. Зачем разжалобливать судьбу? Судью разжалобливать нечестно. Ему и так трудно, а тут еще перед ним будут хныкать: я честный, честный».

Он впервые подумал о каком-то судье и удивился, откуда его взял, и, главное, взял так, как будто это

вопрос давно уже решенный. Словно он уже крепко спал, и во сне кто-то разъяснил ему все, что нужно, про судью и убедил его; потом он проснулся, сон позабыл, объяснения позабыл, а знает только, что есть судья, вполне законный судья, облеченный огромными и грозными полномочиями. И теперь, после минутного удивления, он принял этого неведомого судью спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого.

«Вот Алеша этого не понимает. По его — все государственная необходимость. Только какая же это государственная необходимость — стрелять в голодных. Государственная необходимость — кормить голодных, а не стрелять. Молод он еще, глуп, увлекается».

И вдруг, еще не закончив этой самодовольной мысли, он понял, что ведь это не Алеша стрелял, а он. И точно раскалился воздух и захватил дыхание, и одно огромное, чудовищно жестокое, бессмысленное:

— Поздно!

Он не знал, была ли это мысль, или чувство, или он вслух произнес его, как слово; оно прозвучало громко и отовсюду и удалилось быстро, как удар грома над головой. И наступили долгие минуты путаницы мыслей, их поспешного, разрозненного бегства, болячих столкновений — и мертвенное спокойствие, почти отдых.

Блеснули на солнце, сквозь деревья, стекла оранжереи, треугольник белой стены, как кровью окрапленный красными листьями дикого винограда; и, подчиняясь привычке, губернатор пробрался по тропинке между опустошенных уже парников и вошел в оранжерею. Там был рабочий Егор, старик.

— А садовника нет?

— Нету, ваше превосходительство. В город уехал, за прививками — нынче пятница.

— Ага! Хорошо идет все?

— Слава Богу.

Стекла были только что подняты, и свободные лучи солнца заливали оранжерею, выгоняя из нее душную, тяжелую влагу; и чувствовалось, как горячо солнце, как оно сильно, как оно ласково и добро. Губернатор сел, сверкая на солнце огоньками пуговиц, распахнул тужурку и внимательно взглянул на Егора.

— Ну как, брат Егор?

Старик вежливо улыбнулся на ласковый, но неопределенный вопрос; он стоял свободно, руки его были в свежей земле, и тихонько он потирал их одна о другую.

— Слышал я, Егор, будто хотят меня убить. За рабочих, знаешь, тогда...

Егор все так же вежливо улыбался, но перестал потирать руки — спрятал их за спину и молчал.

— Так как же думаешь, старик, убьют или нет? Ты грамотный? Да говори, чего там, наше дело стариковское.

Егор мотнул головой, рассыпав по лбу сизые курчавые волосы, поглядел на губернатора и ответил:

— Кто их знает. Пожалуй что убьют, Петр Ильич.

— А кто же убьет-то?

— Да народ! Общество — по-нашему, по-деревенскому.

— А садовник что говорит?

— Не знаю, Петр Ильич, не слышал.

Оба вздохнули.

— Плохо, значит, дело, старик? Ты бы сел.

Но Егор не обратил внимания на предложение и молчал.

— А я так думал, что надо, то есть, стрелять. Бросают камни, ругаются, чуть в меня не попали...

— От тоски это. Намедни на базаре один пьяный, мастеровой, что ли, кто его знает, плакал-плакал, а потом поднял каменюгу, да как бацнет. От тоски это, не иначе как.

— Убьют, а потом сами пожалеют, — задумчиво сказал губернатор, представляя себе лицо сына Алексея Петровича.

— Пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то: горькие слезы прольют.

Вспыхнула надежда:

— Так зачем же тогда убивать? Ведь это же вздор, старик!

Взор рабочего быстро ушел в какую-то неизмеримую глубину, оделся мглой, словно затвердел. И весь он на мгновение показался высеченным из камня; и мягкость складок кумачовой заношенной рубахи, и пушистость волос, и эти руки, испачканные землею и совсем как живые, — все это было словно обман со стороны безмерно талантливому художнику, облекшего твердый камень видом пушистых и легких тканей.

— Кто их знает, — ответил Егор, не глядя. — Народ, стало быть, желает. Да вы не задумывайтесь, ваше превосходительство, мало ли болтают зря. Поговорят-поговорят, а там и сами забудут.

Надежда погасла. Ничего нового и особенно умного Егор не сказал; но была в его словах страшная убедительность, как в тех полуснах, что грезились губернатору в его долгие одинокие прогулки. Одна фраза: «Народ желает» — очень точно выразила то, что чувствовал сам Петр Ильич, и была особенно убедительной, неопровержимой; но, быть может, даже не в словах Егора была эта странная убедительность, а во взгляде, в завитках сизых волос, в широких, как лопаты, руках, покрытых свежеею землею. А солнце светило.

— Ну, прощай, Егор. Дети есть?

— Будьте здоровы, Петр Ильич.

Губернатор застегнулся наглухо, выправил плечи и достал из кармана серебряный рубль.

— На-ка, старик, купишь там себе чего-нибудь.

Егор протянул дощатую ладонь, с которой монета должна была, казалось, скатиться, как с крыши, и поблагодарил.

«Странные эти люди, — подумал губернатор, рассекая блики и тени пронизанной солнцем аллеи и сам дробясь на светлые и темные кусочки. — Очень странные люди: у них нет обручальных колец, и никогда не поймешь, — женат он или холост. Впрочем, нет, есть кольца: серебряные. Или даже оловянные. Как это странно: оловянные. Человек женится и не может купить золотого кольца в три рубля. Какая бедность. Я не посмотрел: у них в сарае тоже были, вероятно, оловянные кольца. Оловянные с тоненьким пояском посередине, теперь я помню».

Все ниже и ниже, кружась, как ястреб над замеченным кустом, и суживая круги, опускалась мысль в глубину; и солнце погасло, и исчезла аллея — стукнул дятел, лист проплыл, и исчезло все; и сам он словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов.

Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет въевшаяся металлическая пыль, точно заранее намечая череп; рот открыт широко и страшно — он кричит.

Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и он рвет ее дальше, легко, без треска, как мягкую бумагу, и обнажает грудь. Грудь белая, и половина шеи белая, а с половины к лицу она темная — как будто туловище у него общее со всеми людьми, а голова наставлена другая, откуда-то со стороны.

— Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть.

Но белая обнаженная грудь слепо лезет на него.

— На, возьми! Вот она! А правду отдай. Правду отдай.

— Но где же я возьму правду? Какой ты странный.

Женщина говорит:

— Детки все перемерли. Детки все перемерли. Детки-детки-детки все перемерли.

— Оттого так и пусто у вас на улице.

— Детки-детки-детки все перемерли. Детки.

— Но этого не может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок, маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, но ведь у вас оловянные кольца.

— На нас железные кольца. Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца.

На черном крыльце, в тени, горничная чистит платье Марьи Петровны; окна кухни открыты, и за ними мелькает повар в белом. Пахнет помоями, грязно.

«Куда я пришел! — удивляется губернатор. — Ведь это кухня! О чем я думал? Вот о чем: нужно посмотреть час, чтобы узнать, скоро ли будет завтрак. Еще рано, десять. Им, однако, неловко, что я сюда пришел. Нужно уходить».

И еще долго ходил он по аллеям и все думал. И в том, как он думал, был похож на человека, переходящего вброд широкую и незнакомую реку; то идет он по колено, то надолго исчезает под водою и возвращается оттуда бледный, полузадохшийся. Думал он о сыне Алексее Петровиче, пробовал думать о службе, о делах, но отовсюду, где бы его мысль ни начиналась, она незаметно прибегала к событию, роясь в нем, как в неистощимом руднике. И даже странно было, о чем он мог думать раньше — до несчастия: все помимо его казалось таким пустым, ничтожным, совершенно неспособным вызвать мысль.

Зензивеевских крестьян он выпорол около пяти лет тому назад, на второй год своего губернаторства, и тоже тогда получил одобрение от министра; и с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание, как на сына очень энергичного и распорядительного человека. Он смутно, за давностью времени, помнит, что мужики насильственно забрали у помещика какой-то хлеб, а он приехал с солдатами и полицией и отобрал хлеб у мужиков. Не было ничего ни страшного, ни угрожающего — скорее что-то нелепо-веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними под шутки и смех развеселившихся полицейских и солдат. Потом они вскрикивали, дико взмахивали руками и, словно слепые, тыкались в загорожи, в стены, в солдат. Один мужик, оторванный от мешка, молча, трясущимися руками шарил по траве, разыскивая камень, чтобы бросить. На версту кругом нельзя было найти ни одного камня, а он все шарил, и, по знаку исправника, полицейский презрительно толкнул его коленом в приподнятый зад, так что он стал на четвереньки и так, на четвереньках, куда-то пополз. И как будто все они, и этот мужик и другие, были сделаны из дерева — так тяжелы, чуть ли не скрипучи были они в своих движениях: чтобы повернуть мужика лицом, куда надо, его ворочали двое. И уже став как следует, он все еще не догадывался, куда надо смотреть, а когда находил, то уже не мог оторваться, и опять двое людей с

усилием поворачивали его.

— Ну-ка, дядя, скидавай портки. Купаться будешь.

— Чего? — недоумевал мужик, хотя дело было ясно. Чужая рука расстегивала единственную пуговицу, портки спадали, и мужицкая тощая задница бесстыдно выходила на свет. Пороли легко, единственно для острастки, и настроение было смешливое. Уходя, солдаты затагнули лихую песню, и те, что ближе были к телегам с арестованными мужиками, подмаргивали им. Было это осенью, и тучи низко ползли над черным жнивьем. И все они ушли в город, к свету, а деревня осталась все там же, под низким небом, среди темных, размытых, глинистых полей с коротким и редким жнивьем.

— Детки все перемерли. Детки-детки все перемерли. Детки.

Ударили в гонг к завтраку. Быстрые веселые удары звонко разнеслись по парку. Губернатор резко повернулся назад, строго взглянул на часы — было без десяти минут двенадцать. Спрятал часы и остановился.

— Позорно! — гулко и гневно произнес он, скривив рот. — Позорно. Боюсь, что я негодяй.

После завтрака он разбирал в кабинете доставленную из города корреспонденцию. Хмуро и рассеянно, поблескивая очками, он разбирал конверты, одни откладывая в сторону, другие обрезая ножницами и невнимательно прочитывая. Одно письмо в узком конверте из дешевой тонкой бумаги, сплошь залепленное копеечными желтыми марками, подвернулось под руку и, как другие, было тщательно обрезано по краю. Отложив конверт, он развернул тонкий, промокший от чернил лист и прочел:

«Убийца детей».

Все белее и белее становится лицо; вот оно почти такое же белое, как волосы. И расширенный зрачок сквозь толстые выпуклые стекла видит:

«Убийца детей».

Буквы огромны, кривы и остры и страшно черны; и они колышутся на лохматой, как дерюга, бумаге:

«Убийца детей».

V

Уже на следующее утро после убийства рабочих весь город, проснувшись, знал, что губернатор будет убит. Никто еще не говорил, а все уже знали: как будто в эту ночь, когда живые тревожно спали, а убитые все в том же удивительном порядке, ногою к ноге, спокойно лежали в пожарном сарае, над городом пронесся кто-то темный и весь его осенил своими черными крыльями.

И когда люди заговорили об убийстве губернатора, одни раньше, другие — сдержанные — позже, то как о вещи уже давно и бесповоротно кем-то решенной. И одни, очень многие, говорили равнодушно, как о деле, их не касающемся, как о солнечном затмении, которое будет видимо только на другой стороне земли и интересно только жителям той стороны; другие, меньшинство, волновались и спорили о том, заслуживает ли губернатор такого жестокого наказания, и есть ли смысл в убийстве отдельных лиц, хотя бы и очень вредных, когда общий уклад жизни остается неизменным. Мнения разделялись; но в спорах, самых непримиримых, не было особенной горячности: как будто речь шла не о событии, которое еще только может совершиться, а о факте случившемся, в котором никакие взгляды ничего изменить не могут. И у людей образованных спор вследствие этого очень быстро переходил на широкую теоретическую почву, а о самом губернаторе они забывали, как о мертвом.

В спорах выяснилось, что у губернатора больше друзей, чем врагов, и даже многие из тех, кто в теории стоял за политические убийства, для него находили извинения; и если бы произвести в городе голосование, то, вероятно, огромное большинство, руководясь различными практическими и теоретическими соображениями, высказалось бы против убийства, или казни, как называли ее некоторые. И только женщины, обычно жалостливые и боящиеся крови, в этом случае обнаруживали странную жестокость и непобедимое упрямство: почти все они стояли за смерть, и, сколько им не доказывали, как ни бились над ними, они твердо и даже как будто тупо стояли на своем. Случалось, что женщина сдавалась и признавала ненужность убийства, — а наутро, как ни в чем не бывало, точно заспав вчерашнее свое согласие, она снова твердила о том, что убить нужно.

И в общем была все та же путаница мыслей и жестокая разногласица; и если бы кто-нибудь свежий со стороны послушал, что говорят, он никогда не понял бы, следует убивать губернатора или нет. И, удивленный, спросил бы:

— Но почему же вы думаете, что он будет убит? И кто убьет его?

И не получил бы ответа; а через некоторое время знал бы, как и все, черпая знание свое из того же неведомого источника, как и все, — что губернатор будет убит и смерть неотвратима. Ибо все, и друзья губернатора и враги, и оправдывающие его и обвиняющие, — все подчинялись одной и той же непоколебимой уверенности в его смерти. Мысли были разные, и слова были разные, а чувство было одно — огромное, властное, всепроникающее, всепобеждающее чувство, в силе своей и равнодушии к словам подобное самой смерти. Рожденное во тьме, само по себе неисследимая тьма, оно царило торжественно и грозно, и тщетно пытались люди осветить его свечами своего разума. Как будто сам древний, седой закон, смерть карающий смертью, давно уснувший, чуть ли не мертвый в глазах невидящих — открыл свои холодные очи, увидел убитых мужчин, женщин и детей и властно простер свою беспощадную руку над головой убившего. И, неосмысленно лживые в своем сопротивлении, люди подчинились велению и отошли от человека, и стал он доступен всем смертям, какие есть на свете; и отовсюду, изо всех темных углов, из поля, из леса, из оврага, двинулись они к человеку, пошатываясь, ковыляя, тупые, покорные, даже не жадные.

Так, вероятно, в далекие, глухие времена, когда были пророки, когда меньше было мыслей и слов и

молод был сам грозный закон, за смерть платящий смертью, и звери дружили с человеком, и молния протягивала ему руку — так в те далекие и странные времена становился доступен смертям преступивший: его жалила пчела, и бодал остроугогий бык, и камень ждал часа падения своего, чтобы раздробить непокрытую голову; и болезнь терзала его на виду у людей, как шакал терзает падаль; и все стрелы, ломая свой полет, искали черного сердца и опущенных глаз; и реки меняли свое течение, подмывая песок у ног его, и сам владыка-океан бросал на землю свои косматые валы и ревом своим гнал его в пустыню. Тысячи смертей, тысячи могил. В мягком песке своем хоронила его пустыня и свистом ветра своего плакала и смеялась над ним; тяжкие громады гор ложились на его грудь и в вековом молчании хранили тайну великого возмездия — и само солнце, дающее жизнь всему, с беспечным смехом выжигало его мозг и ласково согревало мух в провалах несчастных глаз его. Давно это было, и молод, как юноша, был великий закон, за смерть платящий смертью, и редко в забытии смежал он свои холодные орлиные очи.

Скоро в городе смолкли и разговоры, отравленные бесплодностью. Нужно было или принимать убийство, как святой факт, на все возражения и доводы приводя, подобно женщинам, одно непоколебимое: «нельзя же убивать детей», или же безнадежно запутываться в противоречиях, колебаться, терять свою мысль, обмениваться ею с другими, как иногда пьяные обмениваются шапками, и все же ни на йоту не подвигаться с места. Говорить стало скучно, и говорить перестали, и на поверхности не осталось ничего, что напоминало бы о событии; и среди наступившего молчания и спокойствия грозовой тучей нарастало великое и страшное ожидание. И те, кто был равнодушен к событию и странным выводам из него, и те, кто радовался предстоящей казни, и те, кто глубоко возмущался ею, — все одним огромным ожиданием, напряженным и грозным, ожидали неизбежного. Умри в это время губернатор от лихорадки, от тифа, от случайно разрядившегося охотничьего ружья, никто не счел бы это случайностью и за видимой причиной нашли бы другую, невидимую, даже несознаваемую, но настоящую. И по мере того как нарастало ожидание, все больше и больше думали о Канатной.

А на Канатной было спокойно и тихо, как и в самом городе, и многочисленные сыщики тщетно доискивались признаков нового бунта или какого-нибудь преступного и страшного замысла. Как и в городе, они наткнулись на слух о предстоящем убийстве губернатора, но источника также найти не могли: говорили все, но так неопределенно, даже нелепо, что нельзя было ни о чем догадаться. Кто-то очень сильный, даже могущественный, бьющий без промаха, должен на днях убить губернатора — вот и все, что можно было понять из разговоров. Сыщик Григорьев, притворяясь пьяным, подслушал в воскресенье в пивной лавке один из таких таинственных разговоров. Два рабочих, сильно выпивших, почти пьяных, сидели за бутылкой пива и, перегибаясь друг к другу через стол, задевая бутылки неосторожными движениями, таинственно вполголоса разговаривали.

— Бомбой убьют, — говорил один, видимо, более осведомленный.

— Н-ну, бомбой? — удивлялся другой.

— Ну да, бомбой, а то как же, — он затаился папиросой, выпустил дым прямо в глаза собеседнику и строго и положительно добавил: — На клочки разнесет.

— Говорили, что на девятый день.

— Нет, — сморщился рабочий, выражая высшую степень отрицания, — зачем на девятый день. Это суеверие, девятый день. Убьют просто утром.

— Когда?

Рабочий отгородился от залы пятью растопыренными пальцами, нагнулся, покачиваясь, вплотную к собеседнику и громким шепотом сказал:

— В то воскресенье, через неделю.

Оба, покачиваясь и странно расплываясь в глазах друг друга, таинственно помолчали. Потом первый таинственно поднял палец и погрозил.

— Понимаешь?

— Они уж маху не дадут, нет, не таковские.

— Нет, — поморщился первый. — Какой там мах! Дело чистое, четыре туза.

— Хлюст козырей, — подтвердил второй.

— Понимаешь?

— Ну да, понимаю.

— А если понимаешь, так выпьем еще? Уважаешь ты меня, Ваня?

И долго с величайшей таинственностью они шептались, переглядывались, жмурились глаза и тянулись друг к другу, роняя пустые бутылки. В ту же ночь их арестовали, но ничего подозрительного не нашли, а на первом же допросе выяснилось, что оба они решительно ничего не знают и по-вторяли только какие-то слухи.

— Но почему же ты даже день назначил, воскресенье? — сердито говорил жандармский подполковник, производивший допрос.

— Не могу знать, — отвечал встревоженный, три дня не кутивший рабочий. — Пьян был.

— Всех бы вас, ссс... — кричал подполковник, но ничего добиться не мог.

Но и трезвые были не лучше. В мастерских, на улице они открыто перекидывались замечаниями относительно губернатора, бранили его и радовались, что он скоро умрет. Но положительного не сообщали ничего, а вскоре и говорить перестали и терпеливо ждали. Иногда за работой один бросал другому:

— Вчера опять проезжал. Без солдат.

— Сам лезет.

И опять работали. А на следующее утро в другом конце слышалось:

— Вчера опять проезжал.

— Пускай поедит.

Точно отсчитывали каждый лишний день его жизни. И уже два раза было так, что внезапно, почти одновременно во всех концах Канатной и на заводе создавалась уверенность, что губернатор сейчас только убит. Кто первый приносил весть, доискаться было невозможно, но собравшись в кучку, передавали подробности убийства — улицу, час, число убийц, оружие. Находились почти очевидцы, слышавшие гул взрыва. И стояли все бледные, решительные, не выражая ни радости, ни горя, пока уже через несколько минут не приходило опровержение слуха. И тогда так же спокойно расходились, без разочарования — как будто не стоило огорчаться из-за дела, которое отложено на несколько дней — быть может, часов — быть может, минут.

Как и в городе, женщины на Канатной были самыми неумолимыми и беспощадными судьями. Они не рассуждали, не доказывали, они просто ждали — и в ожидание свое вносили весь пламень непоколебимой веры, всю тоску своей несчастной жизни, всю жестокость обнищавшей, голодной, задушенной мысли. У них в жизни был свой особенный враг, которого не знали мужчины, — печка, вечно голодная, вечно вопрошающая своей открытой пастью маленькая печка, более страшная, чем все раскаленные печи ада. С утра и до ночи, каждый день, всю жизнь она держала их в своей власти; убивая

душу, она вытравляла из головы все мысли, кроме тех, которые служат ей и нужны ей самой. Мужчины этого не знали: когда женщина утром, проснувшись, взглядывала на печь, плохо прикрытую железной заслонкой, она поражала ее воображение, как призрак, доводила ее почти до судорог отвращения и страха, тупого, животного страха. Ограбленная в мыслях своих, женщина даже не умела назвать своего врага и грабителя; оглушенная, она вновь и вновь покорно отдавала ему душу, и только смертельная, черная тоска окутывала ее непроницаемым туманом. И от этого все женщины Канатной казались злыми: они били детей, забывая их чуть не насмерть, ругались друг с другом и с мужьями; и их уста были полны упреков, жалоб и злобы.

И во время страшной трехнедельной голодовки, когда по несколько дней не топились печи, женщины отдыхали — странным отдыхом умирающего, у которого за несколько минут до смерти прекратились боли. Мысль, на минуту вырвавшаяся из железного круга, со всею своей страстью и силой прилепилась к призраку новой жизни — точно борьба шла не из-за лишних пяти рублей в месяц, о которых толковали мужчины, а из-за полного и радостного освобождения от всех вековых пут. И хороня детей, умиравших от истощения, и оплакивая их кровавыми слезами, темнея от горя, усталости и голода — женщины в эти тяжелые дни были кротки и дружелюбны, как никогда: они верили, что не может даром пройти такой ужас, что за великими страданиями идет великая награда. И когда 17 августа на площади, сверкая в солнечных лучах, к ним вышел губернатор, они приняли его за самого седого бога. А он сказал:

— Нужно стать на работу. Прежде чем вы станете на работу, я не могу с вами разговаривать.

Потом:

— Я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Становитесь на работу, и я напишу в Петербург.

Потом:

— Хозяева ваши не грабители, а честные люди, и я приказываю вам так не называть их. А если вы завтра же не станете на работу, я прикажу закрыть завод и разошлю вас.

Потом:

— Дети мрут по вашей вине. Становитесь на работу.

Потом:

— Если вы будете так вести себя и не разойдетесь, я прикажу разогнать вас силой. Становитесь на работу.

Потом хаос криков, плач детей — трескотня выстрелов, давка — и ужасное бегство, когда человек не знает, куда бежит, падает, снова бежит, теряет детей, дом. И снова быстро, так быстро, как будто и мгновения одного не прошло — проклятая печь, тупая, ненасытная, вечно раскрывающая свою пасть. И то же, все то же, от чего они ушли навсегда и к чему вернулись — навсегда.

Быть может, именно в женской голове зародилась мысль о том, что губернатор должен быть убит. Все старые слова, которыми определяются чувства вражды человека к человеку, ненависть, гнев, презрение, не подходили к тому, что испытывали женщины. Это было новое чувство — чувство спокойного и бесповоротного осуждения; если бы топор в руке палача мог чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же — холодный, острый, блестящий и спокойный топор. Женщины ждали спокойно, не колеблясь ни на минуту, не сомневаясь, и ожиданием своим наполняли воздух, которым дышали все, которым дышал губернатор. Они были наивны. Стоило где-нибудь громко хлопнуть дверью, стоило кому-нибудь, топая ногами, пробежать по улице, — они выбегали наружу, простоволосые, почти уже удовлетворенные.

— Убит?

— Нет, так. Сенька за водкой пробежал.

И так до нового стука и нового топота ног по притихшей, омертвевшей улице. Когда проезжал губернатор, они жадно из-за занавесок глядели на него; губернатор проезжал, и они снова возвращались к печке. Их не удивило, когда губернатор, всегда ездивший со стражниками, вдруг стал ездить один, без охраны — как топор, если б он мог чувствовать, не удивился бы, увидав голую шею. Так нужно, чтоб она была голая. Из серых нитей действительности они сплетали пышную легенду. И это они, серые женщины серой жизни, разбудили старый седой закон, за смерть платящий смертью.

Горе об убитых выражалось сдержанно и глухо: оно было только частицей общего великого горя и поглощалось им бесследно — как соленая слеза соленым океаном. Но в пятницу, к концу третьей недели после убийства, внезапно сошла с ума Настасья Сазонова, у которой была убита дочь, семилетняя девочка Таня. Три недели она работала, как и все, у своей печки, ссорилась с соседками, кричала на двоих оставшихся детей и внезапно, когда никто этого не ожидал, потеряла рассудок. Еще с утра у нее стали дрожать руки, и она разбила чашку; потом словно туман нашел на нее, и она начала забывать, что хочет делать, бросалась от одной вещи к другой и бессмысленно повторяла:

— Господи! Что это я!

И наконец замолчала совсем и молча, с дикой покорностью совалась из угла в угол, переноса с места на место одну и ту же вещь, ставя ее, снова беря — бессильная и в начавшемся бреде оторваться от печки. Дети были на огороде, пускали змея, и, когда мальчишка Петька пришел домой за куском хлеба, мать его, молчаливая и дикая, засовывала в потухшую печь разные вещи: башмаки, ватную рваную кофту, Петькин картуз. Сперва мальчик засмеялся, а потом увидел лицо матери и с криком побежал на улицу.

— А-а-а-й! — бежал он и кричал, полоша улицу. Собрались женщины и стали выть над нею, как собаки, охваченные тоской и ужасом. А она, ускоряя движения и отпихивая протянутые руки, порывисто кружилась на трех аршинах пространства, задыхалась и бормотала что-то. По-немногу резкими короткими движениями она разорвала на себе платье, и верхняя часть туловища оголилась, желтая, худая, с отвислыми, болтающимися грудями. И завывала она страшным тягучим воем, повторяя, бесконечно растягивая одни и те же слова:

— Не могу-у, го-о-лубчики, не мо-о-г-у-у-у.

И выбежала на улицу, а за нею все. И тогда, на мгновение, вся Канатная превратилась в один сплошной бабий вой, и уже нельзя было разобрать, кто сумасшедший и кто нет. И только тогда прекратился он, когда приказчики из заводской лавки поймали сумасшедшую и веревками скрутили ей руки и ноги и облили ее несколькими ведрами воды. Она лежала на дороге, среди свежей лужи от воды, плотно прилегая голой грудью к земле и выставя кулаки скрученных и посиневших рук. Лицо она отвернула в сторону и смотрела дико, не мигая; седоватые мокрые волосы облипали голову, делая ее странно маленькой, и вся она изредка вздрагивала. С завода прибежал муж, испуганный, не успевший отмыть закопченного лица; блуза у него была также закопченная, лоснящаяся от масла, и промасленной грязной тряпкой был завязан обожженный палец на левой руке.

— Настя! — хмуро и сурово сказал он, наклонившись. — Что это ты? Ну чего?

Она молчала, вздрагивала и смотрела дико, не мигая. Посмотрел на затекшие, побагровевшие руки, стянутые веревкой безжалостно, и развязал их, тронул пальцами голое желтое плечо. Уже ехал на извозчике городской.

Когда толпа расходилась, двое из нее пошли не к заводу, как все, и не остались на Канатной, а медленно направились к городу. Шли они, задумавшись, в ногу, и молчали. В конце Канатной они простились.

— Какой случай! — сказал один. — Зайдешь ко мне?

— Нет, — коротко ответил второй и зашагал. У него была молодая загорелая шея, и из-под картуза вились белокурые волосы.

VI

В губернаторском доме узнали о предстоящей смерти губернатора не раньше и не позже, чем в других местах, и отнеслись к ней со странным равнодушием. Как будто близость к живому, здоровому и крепкому человеку мешала понять, что такое смерть — его смерть; чем-то вроде временного отъезда представлялась она. В половине сентября, по настоянию полицеймейстера, убедившего Марию Петровну, что жизнь на даче становится опасной, переехали в город, и жизнь потекла обычным, много лет не меняющимся порядком. Чиновник Козлов, сам не любивший грязь и казенщину губернаторского жилища, почти самовольно приказал оклеить новыми обоями зал и гостиную и побелить потолки и заказал новую декадентскую мебель из зеленого дуба. Вообще он присвоил себе права домашнего диктатора, и все были этим довольны: и прислуга, почувствовавшая оживление, и сама Мария Петровна, ненавидевшая хозяйство и домостроительство. При всей своей огромности губернаторский дом был очень неудобен: отхожие места и ванная были чуть ли не рядом с гостиной, а кушанья из кухни лакеи должны были носить через стеклянный холодный коридор, мимо окон столовой, и часто видно было, как они ругаются и толкают друг друга под локоть. И это все хотел переделать Козлов, но приходилось отложить до будущего лета.

«Доволен будет», — думал он про губернатора, но почему-то представлял себе не Петра Ильича, а кого-то другого; но не замечал этого, охваченный порывом реформаторства.

По-прежнему Петр Ильич представлял центр дома и его жизни, и слова: «его превосходительство желает», «его превосходительство будет сердиться» — не сходили с языка; но если бы вместо него подставить куклу, одеть ее в губернаторский мундир и заставить говорить несколько слов, никто бы не заметил подмены: такую пустоту формы, потерявшей содержание, веяло от губернатора. Когда он действительно сердился и кричал на кого-нибудь и кто-нибудь пугался, то казалось, что все это нарочно, и крики и испуг, а на самом деле ничего этого нет. И убей он кого-нибудь в это время, то и сама смерть не показалась бы настоящей. Еще живой для себя, он уже умер для всех, и они вяло возились с мертвецом, чувствуя холод и пустоту, но не понимая, что это значит. Мысль изо дня в день убивала человека. Черпая силу во всеобщности, она становилась более могущественной, чем машины, орудия и порох; она лишала человека воли и ослепляла самый инстинкт самосохранения; она расчищала вокруг него свободное пространство для удара, как в лесу очищают пространство вокруг дерева, которое должно срубить. Мысль убивала его. Повелительная, она вызывала из тьмы тех, кто должен нанести удар, — создавала их, как творец. И незаметно для себя люди отходили от обреченного и лишали его той невидимой, но огромной защиты, какую для жизни одного человека представляет собой жизнь всех людей.

После первого анонимного письма, где губернатор назывался «убийцею детей», прошло несколько дней без писем, а потом, точно по молчаливому уговору, они посыпались как из разорвавшегося почтового мешка, и каждое утро на столе губернатора вырастала кучка конвертов. Как выходит из чрева созревший плод, так эта убийственная повелительная мысль, дотоле слышная только по глухому биению сердца, неудержимо стремилась наружу и начинала жить своей особенной, самостоятельной жизнью. В разных концах города, из разных почтовых ящиков, разными людьми выбирались рассеянные письма, затерянные в груде других; потом они собирались в однородную кучку и одним человеком приносились к тому, кто был их единственной целью. И раньше приходилось губернатору получать анонимные письма, редко с бранью и неопределенными угрозами, большею частью с доносами и жалобами, и он никогда не читал их; но теперь чтение их стало повелительной необходимостью, такую же, как неумирающая мысль о событии и о смерти. И читать их, как и думать, нужно было одному, когда никто не мешает.

Редко днем, а чаще вечером он крепко усаживался в кресло перед столом с разбросанными бумагами и стаканом остывающего чая, расправлял плечи, надевал золотые, сильно увеличивающие очки

и, внимательно оглядев конверт, обрезал его по краю. Теперь уже по одному виду он научился узнавать эти письма, ибо при всем разнообразии почерков, бумаг и марок было в них что-то общее, как у тех мертвых в сарае; и не только он, но и швейцар, принимавший личную корреспонденцию Петра Ильича, безошибочно узнавал их. Читал он внимательно, серьезно, с начала до конца каждое письмо, и если какое-нибудь слово было неразборчиво, то долго вглядывался и соображал, пока не разберет. Письма неинтересные или наполненные одной сплошной и неприличной бранью он рвал; также уничтожал он письма, в которых неизвестные доброжелатели предупреждали его о готовящемся убийстве; но другие он помечал номером и откладывал для какой-то смутно им чувствуемой цели.

В общем, при всем внешнем различии в языке и степени грамотности, содержание писем было утомительно однообразно: друзья предупреждали, враги грозили, и выходило что-то вроде коротких и бездоказательных «да» и «нет». К словам: «убийца», с одной стороны, и «доблестный защитник порядка» — с другой, он привык, так часто, почти неизменно повторялись они в письмах; как будто привык он и к тому, что все, и друзья и враги, одинаково верили в неизбежность смерти. И только холодно становилось и хотелось согреться, но нечем было: чай был холодный — теперь всегда почему-то ему подавался холодный чай, и холодна была высокая, казенная кафельная печка. Уже давно, с самого поселения своего в этом доме, он хотел сделать камин, но так и не устроил, а старая печь плохо прогревалась при самой усиленной топке. Безнадежно потершись спиной о холодные кафли, только внизу чуть-чуть теплевшие, он прохаживался раза два по холодному кабинету, согревал руку о руку и говорил своим великолепным, командующим басом:

— Однако как я стал зябок!

И снова садился за письма, доискиваясь в них чего-то самого важного и самого главного.

Улыбнувшись, — он тогда еще улыбался, — губернатор хотел разорвать тщательно выписанное письмо, но раздумал, пометил на широком поле номер: *43,22 сентября 190... г.*, и отложил.

Губернатор побагровел, скомкал письмо, сорвал с покрасневшего большого носа очки и громко произнес, точно ударил в бубен:

— Болван!

Потом, заложив руки в карман и оттопырив локти, заходил по комнате сердитыми, отбивающими такт шагами. Так — ходят — губернаторы. Так — ходят — губернаторы. Успокоившись, расправил письмо, прочел его до конца, пометил слегка дрожащей рукой номер и бережно отложил. «Пусть почитает», — подумал он про сына.

Но в тот же вечер судьба послала ему другое письмо, подписанное «Рабочий». Впрочем, кроме этой подписи ничто не говорило о человеке мускульного труда, малообразованном и жалком, каким привык представлять их себе губернатор.

Губернатор бережно положил на стол письмо, торжественно снял с носа затуманившиеся очки, торжественно и медленно протер их кончиком платка и с уважением и гордостью сказал:

— Благодарю, молодой человек.

Прошелся неторопливо по комнате и, обращаясь к холодной печке, веско добавил:

— Жизнь мою вы берите, она ваша, но моя честь...

Он не договорил и, закинув голову, несколько смешной в своей важности, вернулся к столу.

«Убьют!» — подумал губернатор, складывая письмо. Вспомнился на миг рабочий Егор с его сизыми завитками и утонул в чем-то бесформенном и огромном, как ночь. Мыслей не было, ни возражений, ни

согласия. Он стоял у холодной печки — горела лампа на столе за зеленым матерчатым зонтиком — где-то далеко играла дочь Зизи на рояле — лаял губернаторшин мопс, которого, очевидно, дразнили — лампа горела. Лампа горела.

VII

Несколько следующих дней прошло без писем. Точно по уговору, письма прекратились сразу, и наступившее безмолвие было необычно и жутко. Во внезапности безмолвия не чувствовалось конца, что-то еще продолжалось там, в тишине — как будто в новую фазу вступила мысль и таинственно творила что-то. И быстро шли дни, как взмахи огромных крыльев: вверх взмахнет — день, вниз повеет — ночь.

Два раза в необычные часы был принят губернаторшей полицеймейстер Судак. В прихожей, подставляя руки швейцару, чтобы тот стащил с них пальто, он вполоборота энергичным шепотом бранил его, как своего городского или извозчика. И, уже раздевшись и натягивая свежую перчатку, он наклонял прилизанную голову к пушистым бакам швейцара, скалил гнилые, прокопченные табаком зубы и в самый нос совал полуодетую перчаткою руку с болтающимися плоскими пальцами. То же, хотя в меньших размерах, проделал он с лакеем. Потом принял великосветский вид и поднялся по лестнице наверх. Раньше он ни в каком случае не осмелился бы бранить прислугу губернатора, но теперь выходило как-то так, что бранить можно, даже необходимо. Вчера у самого губернаторского подъезда вечером был арестован выслеженный агентами очень подозрительный человек: утром он издали провожал губернатора в его пешей прогулке, а потом весь день шатался у дома, заглядывал в нижние окна, прятался за деревьями и вообще вел себя крайне подозрительно. При аресте ни оружия, ни каких-либо подозрительных предметов и бумаг у него не нашли, и оказался он мещанином Ипатиковым, по профессии скорняком; но объяснения он давал запутанные и лживые, уверял, что только раз прошел мимо дома, и вообще, видимо, что-то скрывал. При обыске в мастерской ничего, кроме обыкновенных обрезков меха, начатого гимназического мехового пальто и других предметов мастерства, а также домашнего хозяйства, у него не нашли; ни оружия, ни бумаг — но случай оставался очень темным и неразъясненным. И никто из губернаторской прислуги — ни швейцар, ни другие — не заметили подозрительного субъекта, хотя он десятки раз прошел мимо парадного; а ночью один из агентов для опыта подергал дверь, и она оказалась незапертой, так что он походил по швейцарской, для доказательства сделал царапину на стене и незамеченный ушел. То, что дверь была не заперта, швейцар объяснил забывчивостью, но в такое время, когда все ждут преступления, подобное ротозейство было непростительно.

— Я в невозможном положении, ваше превосходительство, — жаловался губернаторше Судак, прижимая к надушенной груди белую перчатку. — От охраны их превосходительство решительно отказываются и даже не позволяют ни об чем говорить; агенты, извините за выражение, с ног сбились, ходивши за их превосходительством, и все без результатов, так как любой мерзавец из-за угла или даже через забор камнем может ушибить их превосходительство. В случае не дай Бог чего скажут: полицеймейстер виноват, полицеймейстер не уследил, а что же я могу поделать против священной воли их превосходительства? Войдите в мое положение, ваше превосходительство, прямо, извините за выражение, хоть в отставку подавать, ваше превосходительство.

Оказалось, что у Судака готов уже и план: пусть губернатор возьмет двух- или трехмесячный отпуск и уедет за границу на воды на предмет поправления здоровья; в городе все снаружи спокойно, к губернатору в Петербурге благоволят и никакой задержки не сделают.

— Иначе я ни за что не ручаюсь, ваше превосходительство, — с чувством закончил полицеймейстер. — Есть мера сил человеческих, ваше превосходительство, и со всей откровенностью говорю: иначе ни за что не ручаюсь. А пройдет два-три месяца, и все прекраснейшим манером позабудется, И тогда пожалуйста к нам, ваше превосходительство. К тому времени сюда и итальянская опера прибудет: мы будем слушать, а их превосходительство пусть себе гуляют на здоровье!

— Ну уж, какая это опера! — сказала губернаторша, но на предложение полицеймейстера согласилась, так как была очень обеспокоена.

Внизу полицеймейстер снова разнес швейцара, но на этот раз уже громко, не стесняясь:

— Я тебе покажу! Я тебе баки-то подрежу, жирная морда! Распустил баки, как тайный с-советник, сукин сын, и думает, что дверь можно не закрывать! Ты мне попляшешь! Ты...

В тот же вечер Мария Петровна попросила мужа ехать с нею и детьми за границу.

— Я прошу тебя, Pierre, — говорила она томно и закрывала глаза большими коричневыми веками, и желтая напудренная кожа обвисала на щеках, как у легавой собаки. — Ты знаешь, как у меня плохи почки, и мне положительно необходим Карлсбад.

— Но разве ты не можешь поехать с детьми, без меня?

— Ах, нет, Pierre, что ты говоришь. Без тебя я буду так беспокоиться. Я прошу тебя.

Она не сказала, отчего будет беспокоиться, да и так понятно было. К ее удивлению, Петр Ильич охотно согласился на поездку, хотя для возражений и спора, помимо даже исключительности обстоятельств, достаточно было того, что просила его она. Так у них бывало.

«Это не будет трусость, нет, — думал губернатор. — Я не сам придумал эту поездку, и, может, ей действительно необходимо полечиться: желта она, как лимон. У них еще достаточно времени, чтобы меня убить, а если они ничего не сделают, то, значит, прав буду я, а не они. И тогда я выйду в отставку, и уеду совсем, и устрою хорошую оранжерею».

Но, думая так, он не верил ни в за границу, ни в оранжерею — быть может, только поэтому он и согласился ехать. И, согласившись, тотчас же забыл об этом, как будто дело касалось кого-то другого, постороннего, непонятно медлил с написанием бумаги, назначал день, когда написать, и вспоминал о нем два дня спустя. И снова назначал, и снова настойчиво забывал. Успокоенная решением уехать, губернаторша вяло торопила его — она как-то запоздала в этот раз с своим осенним туалетом, и нужно было время, чтобы покончить с портнихами. Не была готова и Зизи.

В молчаливой пустоте, охватившей губернатора с внезапным прекращением писем, ему чувствовалось что-то неокончательное — словно намек на тихий голос, звучащий где-то вдалеке. Так чувствуется в пустой комнате, когда за стеною говорят и голосов не слышно. И когда получилось письмо — последнее запоздалое письмо, — он взял его, как будто только его и ждал, и только удивился тому, что было оно в нежно окрашенном узком конверте с изображением незабудки на обратной стороне. И пришло оно не днем, как другие, которые опускаются в ящик вечером или ночью, а с вечерней почтой, следовательно, было опущено несколько часов тому назад. Небольшой листок был также нежно окрашен, и наверху была голубая незабудка; почерк был четкий, старательный, но к обреза строчки часто загибались вниз, как будто писавшая не совсем верила в свое умение правильно переносить слова и предпочитала дописывать их маленькими сползающими буквочками. Иногда, еще задолго до обреза, предвидя, что слова не упишутся, она уже начинала сгибать строчку, и похоже было на снежную горку, с которой гуськом катятся на санках дети, самые маленькие спереди. Подписано было: «Гимназистка».

Гимназисточку он полюбил. Поздно вечером, уже перед сном, он прошел через темную залу и вышел на балкон, тот самый, откуда он подал знак белым платком. Уже началось осеннее ненастье и слякоть, и ночь темнела густым осенним мраком; и в тяжести этого мрака чувствовалось, как далеко солнце — как давно оно ушло и как еще не скоро вернется. Далеко налево, у подъезда, горели два яркие фонаря с рефлекторами; белый свет их вонзался во тьму, но не разгонял ее: тут же она и стояла, спокойная, густая, тяжелая. Город, вероятно, уже спал, так как, кроме редких фонарей на улицах, не видно было ни одного

освещенного окна и езды не слышно было. Под одним фонарем смутно блесело что-то — вероятно, лужа. В гимназии давно учатся, и она, вероятно, уже приготовила уроки и спит — где-то в этом черном пространстве, полном безмолвия. Оттуда шлют ему письма и угрозы, оттуда придет к нему смерть... — но там есть девочка, которая спит и которая будет о нем плакать.

Как спокойно, как темно — как тихо!

VIII

За две недели до смерти губернатора в губернаторский дом была доставлена посылка, обшитая полотном и оцененная в три рубля. Когда раскрыли ее, то оказалась она адской машиной — снарядом, начиненным порохом и устроенным так, чтобы взорваться при открытии. Но устроена она была плохо, неопытными руками какого-то любителя, только слыхавшего о существовании подобных вещей, и взорваться никаким образом не могла. И в этой наивности снаряда было что-то тупо-жестокое и устрашающее: точно слепая смерть выпускала щупальцы и шарила ими в потемках. Полицеймейстер поднял тревогу, а губернаторша настояла, чтобы Петр Ильич в тот же день отправил заявление в Петербург о болезни, сама съездила к своей портнихе и, кроме того, от себя послала сыну французское письмо, полное ужасов.

И никто не заметил, когда это случилось, в тот же день, или немного раньше, или немного позже — с губернатором произошла странная и решительная перемена, давшая новый образ на месте знакомого и привычного человека. Все тот же он был, но стал он правдив лицом и игрою его, и от этого казалось, что лицо у него новое. Оно улыбалось там, где раньше было спокойно, хмурилось, где прежде улыбалось, было равнодушно и скучно, когда раньше выражало интерес и внимание. И так же страшно правдив стал в чувствах своих и их выражении: молчал, когда молчалось, уходил, когда хотелось уйти, спокойно отворачивался от собеседника, когда тот становился скучен. И те, кто много лет были спокойно уверены в его любви и расположении, знали все его чувства и настроения, вдруг почувствовали себя покинутыми, отброшенными куда-то в сторону и совершенно не знающими ни его чувств, ни настроений. Вдруг исчезли куда-то все улыбки, поклоны, пожатия руки и ласковые взгляды, пропали все эти мимолетные вставки в речи: «Пожалуйста — голубчик — вы сделаете большое одолжение — дорогой», — все то, что составляло привычный и знакомый облик. — И люди были изумлены странной и даже страшной новизной явившегося. Так, вероятно, звери, привыкшие думать, что платье человека составляет самого человека, бывают поражены, увидев его голым.

Только вежливым перестал он быть, и сразу распалась связь, соединявшая его много лет с женою, детьми, окружающими, — как будто только улыбками и поклонами держалась она и исчезла вместе с поцелуями рук. Не осудил их, не возненавидел, даже чего-нибудь нового, отталкивающего в них не заметил, — они просто выпали из его души, как выпадают зубы изо рта, как вылезают волосы, как отпадает умершая кожа: безболезненно, нечувствительно, спокойно. Смертельно одинок он был, сбросивший покров вежливости и привычки, и даже не почувствовал этого — словно всегда, во все дни его долгой и разнообразной жизни одиночество было естественным, ненарушимым его состоянием, как сама жизнь.

Утром он забывал поздороваться, вечером — проститься, и когда жена подставляла свою руку, а дочь Зизи — свой гладкий лоб, он как-то не понимал, что нужно делать с рукой и гладким лбом. Когда являлись к завтраку гости, вице-губернатор с женой или Козлов, то он не поднимался к ним навстречу, не делал обрадованного лица, а спокойно продолжал есть. И, кончив еду, не спрашивал у Марии Петровны позволения встать, а просто вставал и уходил.

— Куда же ты, Pierre? Побудь с нами, нам скучно. И сейчас же будет кофе.

Он спокойно отвечал:

— Нет, лучше я пойду к себе. А кофе не хочу.

И невежливость ответа исчезала в его искренности и простоте. Отказывался смотреть новые платья Зизи, не выходил к гостям, предоставляя губернаторше выдумывать предлоги, и совершенно перестал заниматься делами и отказывался, без объяснения причин, выслушивать доклады. Но просителей раз в

неделю он принимал и внимательно выслушивал каждого, с интересом, несколько даже невежливым, оглядывая его с ног до головы.

— Вы уверены, что так будет лучше? — спрашивал он, выслушав.

И, получив удивленный, но утвердительный ответ, обещал просьбу исполнить. Вероятно, он не думал в это время о пределах своей власти или имел о ней преувеличенное представление, но часто разрешал дела ему неподведомственные; и впоследствии новому губернатору пришлось долго возиться с создавшейся путаницей, тем более что много дел было непозволительно кляузного характера.

Вечерами, чтобы несколько рассеять дурное настроение мужа, Мария Петровна приходила к нему в кабинет, пробовала ему голову рукой, не горячая ли, и начинала говорить о загранице. Но он просто и невежливо удалял ее:

— Ну хорошо, ступай. Мне хочется побыть одному. У тебя же есть свои комнаты, и я к тебе не хожу.

— Как ты изменился, Pierre!

— Вздор, вздор! — говорил он своим гулким командующим басом и прижимался спиной к холодной, негреющей печке. — Пойди, пойди, да уйми своего мопса, только и слышно в доме, что его лай.

От прежних привычек у Петра Ильича остались только карты; играл он два раза в неделю в винт, по маленькой, и играл с видимым удовольствием, серьезно, деловито и, когда партнер ошибался, подвергал его громовому разносу.

— Вы о чем же, сударь, думаете? Ведь я же показывал вам бубны? — гулко грохотал он, выговаривая «бубны» так, точно ударял в бубен, и Мария Петровна из гостиной с улыбкой ловила слова мужа и с томной снисходительностью покачивала головой. Желтые щеки у нее обвисали, как у легавой собаки, сыпалась пудра с лица, и коричневые, большие шарообразные веки спускались из-под лба, как железный ставень в магазине, и снова поднимались. И ей и другим казалось в этот миг невозможным, чтобы кто-нибудь решился убить человека, который так играет в карты.

И все две недели, до самой смерти, он ждал. Вероятно, были в его голове другие мысли — об обычном, о житейском, о прошлом, привычные старые мысли человека, у которого давно заостенели мышцы и мозг; вероятно, думал он о рабочих и о том печальном и страшном дне — но все эти размышления, тусклые и неглубокие, проходили быстро и исчезали из сознания мгновенно, как легкая зыбь на реке, поднятая пробежавшим ветром. И снова и всегда спокойною, черною водою омута стояло бездонное, молчаливое ожидание. Казалось, что и с мыслями, как и с людьми, его соединяла только вежливость и привычки, и, когда привычка и вежливость отпали, исчезли куда-то мысли. И в голове своей он был так же одинок, как и в доме.

Он ждал. Как и всегда, он вставал в семь, обливался ледяной водой, пил молоко и в восемь уже выходил на обычную прогулку; и каждый раз, переступая порог своего дома, ожидал, что обратно его уже не перешагнет и двухчасовая прогулка превратится в бесконечное падение куда-то. Одетый в генеральское пальто с красной подкладкой, высокий, широкоплечий, воинственный, несущий седую голову немного назад, он два часа величавым призраком кружился по городу — вдоль почерневших от дождя деревянных домишек, вдоль бесконечных заборов и пустырей, мимо магазинов и лавок с продрогшими, низко кланяющимися приказчиками. Светило ли подслеповатое октябрьское солнце, моросил ли настойчивый, тоскливый дождь, он неизменно появлялся на улицах — величавый и печальный призрак с размеренными и твердыми шагами, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы. Прямо по грязи и по лужам шагал он, блестя в них красной подкладкой расстегнутого пальто, прямо пересекал улицы, не замечая ни козырявших городских, ни экипажей и останавливая их движение; и если бы сверху проследить его ежедневный путь ожидания, то представился бы он причудливым сцеплением прямых и коротких линий,

вонзающихся друг в друга, спутывающихся в колючий, болезненно изломанный клубок.

Он мало смотрел по сторонам и никогда не оглядывался назад; но едва ли впереди себя видел он что-нибудь, поглощенный бездонным черным ожиданием — много поклонов оставил он без ответа, и много испуганных глаз встретил и пропустил сквозь себя его скользкий, невидящий взор, прямой, как его шаги. И когда он был уже убит и давно похоронен и новый губернатор, молодой, вежливый, окруженный казаками, быстро и весело носился по городу в коляске, — многие вспоминали этот двухнедельный странный призрак, рожденный старым законом: седого человека в генеральском пальто, шагающего прямо по грязи, его закинутую голову и незрячий взор — и красную шелковую подкладку, остро блистающую в молчаливых лужах.

Многолюдие главных улиц с его назойливым любопытством его утомляло, и чаще углублялся он в грязные глухие переулки, с их трехоконными домишками, заборами и узкими, деревянными, скользкими мостками вместо тротуаров. Было у него во все эти дни постоянное желание: заглянуть на Канатную и пройти всю, взад и вперед, с одного конца до другого, но осуществить его он так и не решился: казалось неловко и страшно, страшнее, чем смерть. И он смутно удивлялся, как это раньше, в сентябре, он так просто и безбоязненно ездил по этой улице и даже хотел кого-нибудь встретить, чтобы поклониться.

Но на одну улицу он заглядывал ежедневно и проходил ее неторопливо, и был похож на спокойно гуляющего старого генерала, добродушного и немного чудаковатого. Эта улица вела к женской гимназии, и по утрам, в девятом часу, по ней проходило много гимназисток; и первый он почтительно и серьезно кланялся девочкам, самым маленьким из них, у которых были коротенькие по колена коричневые платьица, тоненькие ножки и огромные ранцы, и они конфузливо отвечали. Его близорукие глаза не различали лиц, и все они, и у девочек и у взрослых, стройных девушек, казались ему одинаковыми розовыми лепестками в шапочках. Пропустив последнюю, он тихонько улыбался левым усом и смотрел хитро, а за поворотом снова превращался в мертвеца, церемониальным маршем ищущего могилы.

В первые дни, по тайному приказу полицеймейстера, за ним в некотором отдалении следовали два агента, которых он не замечал, так как не оглядывался назад. Вначале они добросовестно ходили за ним, подчиняясь всем его капризным движениям, но вскоре начали отставать: казалось, глупо ходить и смотреть в спину человека, который бестолково вертится в самых опасных местах. И то они останавливались у знакомых лиц, то болтали с городовыми, то на четверть часа забегали в трактир и, случалось, на целый час теряли губернатора из виду.

— Все равно ничего не поделаешь, — говорил, оправдываясь, один, похожий на консistorского чиновника, бритый, благообразный и в высшей степени трезвый. Он торопливо прожевывал горячий пирожок и, еще не доев, левой рукой поднимал металлическую крышку с ящика, чтобы достать новый. — Если человек от старости из ума выжил и сам на рожон лезет, то что же с ним поделаешь, скажите, пожалуйста?

— Одна форма, — сказал буфетчик.

— А Судак? — спросил второй, усатый, мрачный, похожий на пропившегося помещика, но в действительности бывший мелкий шулер-неудачник.

Он мрачно, большими собачьими глотками, глотал колбасу, селедку, все, что попадало под руку, и казалось, ест медленно, но на самом деле поглощал быстро и много. И водку он пил так же, но никогда не бывал пьян, как не бывал и сыт.

— Ну что ж Судак? Сам понимает, что мы не ангелы с небеси.

— Это как лошадь на пожаре: ее тащат, а она упирается. Так и сгорит, а не пойдет, — сказал буфетчик.

— Не ангелы мы, — вздохнув, повторил первый.

Правда, они не были похожи на ангелов, эти два приниженные человека, и не их рукам было отстранить гору, падавшую на человека.

Возвращаясь домой и перешагивая порог, губернатор не ощущал радости и даже не думал, что вот еще на один день он остался жив; он принимал это без размышлений, как будто забыв даже значение своей прогулки, — и ждал следующего дня огромным, темным ожиданием. И пустые, бездеятельные дни проходили страшно быстро, но время не подвигалось вперед: словно испортился механизм, подающий новые дни, и вместо следующего дня подавал старый, все один и тот же. И календарь на письменном столе, который он всегда переворачивал сам, чаще с вечера, точно призывая следующий день, — замер неподвижно на каком-то из старых, давно минувших дней; и, взглядывая иногда на эту застывшую черную цифру и даже не догадываясь, в чем дело, он ощущал жжение в груди, что-то вроде легкой тошноты, и быстро отводил глаза.

— Вздор! — говорил он сердито; теперь, оставаясь один, он часто вслух произносил отрывочные слова, не связанные ни с какой определенной мыслью, и особенно часто повторял два слова: «вздор!» и «позорно!».

Смерти он не боялся и представлял ее себе только с внешней стороны: вот в него выстрелят, а он упадет; потом похороны, музыка, несут ордена, и это все. Встретить ее он хотел мужественно. Не думал он совсем и о том, будет за гробом какая-нибудь жизнь и суд или нет; для него все кончалось здесь. И ел он хорошо, с обычным аппетитом, и спал крепко, без сновидений. Но однажды ночью — это было за три дня до убийства — ему, вероятно, приснилось что-нибудь очень тяжелое, и проснулся он от собственного глухого и хриплого стога. И, услышав этот свой необыкновенный и страшный голос, встретив перед глазами тьму, почувствовал смертельный ужас и истому. Укрылся одеялом с головой, сжался в узловатый комочек, подтянув костлявые колени к лицу, и, точно в одно мгновение пройдя весь обратный путь от старости к детству, — заплакал тихо и горько и стал просить мокрую, теплую, мягкую подушку:

— Пожалейте меня! Придите же ко мне кто-нибудь, придите. Пожалейте же меня! О-о-о!..

Но у него оставалось большое старое тело и гулкий грубый голос, и скоро сквозь слезы он почувствовал всего себя, всю свою странную позу, и смолк.

И долго лежал молча все в той же странной позе и широко открытыми глазами глядел в тьму под одеялом.

А наутро снова надел он генеральское пальто; и еще два дня мелькала, отражаясь в лужах, красная подкладка и крутился по улицам величавый призрак, мертвец, церемониальным маршем ищущий могилы.

Произошло это просто и быстро, точно картина передвинулась в панораме. На перекрестке, при выходе на маленькую грязную площадь, где по пятницам продавалось сено, — чей-то нерешительный голос окликнул губернатора.

— Ваше превосходительство?

— А?

Он остановился и повернул голову: к нему через дорогу, от глухого забора, расплзаясь ногами в грязи, торопливо подходили два человека, один в высоких сапогах, другой в ботинках, без калош, но с подвернутыми брюками. Вероятно, ему было холодно от промоченных ног: лицо у него было зелено-бледное, и белокурые волосы точно отделялись от кожи. В левой руке он держал свернутый четырехугольник бумаги, а правую глубоко запустил в карман.

И сразу стало понятно все: ему — что пришла смерть, им — что он знает об этом.

— Извините! — сказал один, и лицо его быстро передернулось.

— Прощение? О чем? — так же ненужно, но точно обязанный поддерживать игру, спросил губернатор. Но руки за бумагой не протянул.

А тот, все еще держа в левой руке никого не обманывающую бумагу и не отдавая ее губернатору, правой тащил запутавшийся в подкладке револьвер, морщась от усилий.

Губернатор быстро, искоса, огляделся: грязная пустыня площади, с втоптаннами в грязь соломинками сена, глухой забор. Все равно уже поздно. Он вздохнул коротким, но страшно глубоким вздохом и выпрямился — без страха, но и без вызова; но была в чем-то, быть может в тонких морщинах на большом, старчески мясистом носу, неуловимая, тихая и покорная мольба о пощаде и тоска. Но сам он не знал о ней, не увидели ее и люди. Убит он был тремя непрерывными выстрелами, слившимися в один сплошной и громкий треск.

Минуты через три прибежал городской, за ним сыщики и народ — как будто все они где-то поблизости, за углом, ожидали конца. И труп закрыли. А еще через десять минут ехала уже лазаретная фура с красным крестом — и по всему городу стучали, как камни, перекрестные вопросы и ответы:

— Убит?

— Наповал.

— А кто? Поймали?

— Нет, убежали. Неизвестные какие-то. Трое.

И весь день возбужденно говорили об убийстве, одни — порицая, другие — одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха: что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами, выступил в тумане грозный образ Закона Мстителя.

Гимназисточка плакала.

Август 1905 г.

Елеазар

I

Когда Елеазар вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочною властью смерти, и живым возвратился в свое жилище, в нем долго не замечали тех зловещих странностей, которые со временем сделали страшным самое имя его. Радуюсь светлой радостью о возвращенном к жизни, друзья и близкие ласкали его непрестанно и в заботах о пище и питье и о новой одежде утоляли жадное внимание свое. И одели его пышно в яркие цвета надежды и смеха, и когда он, подобно жениху в брачном одеянии, снова сидел среди них за столом, и снова ел, и снова пил, они плакали от умиления и звали соседей, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего. Приходили соседи и радовались умиленно; приходили незнакомые люди из дальних городов и селений и в бурных восклицаниях выражали свое поклонение чуду — точно пчелы гудели над домом Марии и Марфы.

И то, что появилось нового в лице Елеазара и движениях его, объясняли естественно, как следы тяжелой болезни и пережитых потрясений. Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена чудесной властью, но не уничтожена совсем; и то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Елеазара, было как неоконченный рисунок художника под тонким стеклом. На висках Елеазара, под его глазами и во впадинах щек лежала густая землистая синева; так же землисто-сини были длинные пальцы рук, и у выросших в могиле ногтей синева становилась багровой и темной. Кое-где на губах и на теле лопнула кожа, вздувшаяся в могиле, и на этих местах оставались тонкие, красноватые трещинки, блестящие, точно покрытые прозрачной слюдой. И тучен он стал. Раздутое в могиле тело сохранило эти чудовищные размеры, эти страшные выпуклости, за которыми чувствуется зловонная влага разложения. Но трупный, тяжелый запах, которым были пропитаны погребальные одежды Елеазара и, казалось, самое тело его, вскоре исчез совершенно, а через некоторое время смягчилась синева рук и лица и загладились красноватые трещинки кожи, хотя совсем они никогда не исчезли. С таким лицом предстал он людям во второй своей жизни; но оно казалось естественным тем, кто видел его погребенным.

Кроме лица, изменился как будто нрав Елеазара, но и это никого не удивило и не обратило на себя должного внимания. До смерти своей Елеазар был постоянно весел и беззаботен, любил смех и безобидную шутку. За эту приятную и ровную веселость, лишенную злобы и мрака, так и возлюбил его Учитель. Теперь же он был серьезен и молчалив; сам не шутил и на чужую шутку не отвечал смехом; и те слова, которые он изредка произносил, были самые простые, обыкновенные и необходимые слова, столь же лишенные содержания и глубины, как те звуки, которыми животное выражает боль и удовольствие, жажду и голод. Такие слова всю жизнь может говорить человек, и никто никогда не узнает, чем болела и радовалась его глубокая душа.

Так с лицом трупа, над которым три дня властвовала во мраке смерть, — в пышных брачных одеждах, сверкающих желтым золотом и кровавым пурпуром, тяжелый и молчаливый, уже до ужаса другой и особенный, но еще не признанный никем, — сидел он за столом пиршества среди друзей и близких. Широкими волнами, то нежными, то бурливо-звонкими, ходило вокруг него ликование; и теплые взгляды любви тянулись к его лицу, еще сохранившему холод могилы; и горячая рука друга ласкала его синюю, тяжелую руку. И музыка играла. Призвали музыкантов, и они весело играли: тимпан и свирель, цитра и гусли. Точно пчелы гудели — точно цикады трещали — точно птицы пели над счастливым домом Марии и Марфы.

II

Кто-то неосторожный приподнял покрывало. Кто-то неосторожным одним дуновением брошенного слова разрушил светлые чары и в безобразной наготе открыл истину. Еще мысль не стала ясной в голове его, когда уста, улыбаясь, спросили:

— Отчего ты не расскажешь нам, Елеазар, что было там?

И все замолчали, пораженные вопросом. Как будто сейчас только догадались они, что три дня был мертв Елеазар, и с любопытством смотрели, ожидая ответа. Но Елеазар молчал.

— Ты не хочешь нам рассказать, — удивился вопрошавший. — Разве так страшно там?

И опять мысль его шла позади слова; если бы она шла впереди, не предложил бы он вопроса, от которого в то же мгновение нестерпимым страхом сжалось его собственное сердце. И всем стало беспокойно, и уже с тоскою ожидали они слов Елеазара, а он молчал холодно и строго, и глаза его были опущены долу. И тут снова, как бы впервые заметили и страшную синеву лица, и отвратительную тучность; на столе, словно позабытая Елеазаром, лежала сине-багровая рука его, — и все взоры неподвижно и безвольно приковались к ней, точно от нее ждали желанного ответа. А музыканты еще играли; но вот и до них дошло молчание, и как вода заливают разбросанный уголь, так и оно погасило веселые звуки. Умолкла свирель; умолкли и звонкий тимпан, и журчащие гусли; и точно струна оборвалась, точно сама песнь умерла — дрожащим, оборванным звуком откликнулась цитра. И стало тихо.

— Ты не хочешь? — повторил вопрошавший, бессильный удержать свой болтливый язык. Было тихо, и неподвижно лежала сине-багровая рука. Вот она слегка шевельнулась, и все вздохнули облегченно и подняли глаза: прямо на них, все охватывая одним взором, тяжело и страшно смотрел воскресший Елеазар.

Это было на третий день после того, как Елеазар вышел из могилы. С тех пор многие испытали губительную силу его взора, но ни те, кто был ею сломлен навсегда, ни те, кто в самых первоисточниках жизни столь же таинственной, как и смерть, нашел волю к сопротивлению, — никогда не могли объяснить ужасного, что недвижимо лежало в глубине черных зрачков его. Смотрел Елеазар спокойно и просто, без желания что-либо скрыть, но и без намерения что-либо сказать — даже холодно смотрел он, как тот, кто бесконечно равнодушен к живому. И многие беззаботные люди сталкивались с ним близко и не замечали его, а потом с удивлением и страхом узнавали, кто был этот тучный, спокойный, задевший их краем своих пышных и ярких одежд. Не переставало светить солнце, когда он смотрел, не переставал звучать фонтан, и таким же безоблачно-синим оставалось родное небо, но человек, подпавший под его загадочный взор, уже не чувствовал солнца, уже не слышал фонтана и не узнавал родного неба. Иногда человек плакал горько; иногда в отчаянии рвал волосы на голове и безумно звал других людей на помощь, но чаще случалось так, что равнодушно и спокойно он начинал умирать, и умирал долгими годами, умирал на глазах у всех, умирал бесцветный, вялый и скучный, как дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почве. И первые, те, кто кричал и безумствовал, иногда возвращались к жизни, а вторые — никогда.

— Так ты не хочешь рассказать нам, Елеазар, что видел ты там? — в третий раз повторил вопрошавший. Но теперь голос его был равнодушен и тускл, и мертвая, серая скука тупо смотрела из глаз. И все лица покрыла, как пыль, та же мертвая серая скука, и с тупым удивлением гости озирали друг друга и не понимали, зачем собрались они сюда и сидят за богатым столом. Перестали говорить. Равнодушно думали, что надо, вероятно, идти домой, но не могли преодолеть вязкой и ленивой скуки, обессиливавшей мышцы, и продолжали сидеть, все оторванные друг от друга, как тусклые огоньки, разбросанные по ночному полю.

Но музыкантам платили за то, чтобы они играли, и снова взялись они за инструменты, и снова полились и запрыгали заученно веселые, заученно печальные звуки. Все та же привычная гармония развертывалась в них, но удивленно внимали гости: они не знали, зачем это нужно и почему это хорошо, когда люди дергают за струны, надувая щеки, свистят в тонкие дудки и производят странный, разноголосый шум.

— Как они плохо играют! — сказал кто-то.

Музыканты обиделись и ушли. За ними, один по одному, ушли гости, ибо наступила уже ночь. И когда со всех сторон их охватила спокойная тьма, и уже легче становилось дышать, — вдруг перед каждым из них в грозном сиянии встал образ Елеазара: синее лицо мертвеца, одежды жениха, пышные и яркие, и холодный взгляд, в глубине которого неподвижно застыло ужасное. Точно превращенные в камень, стояли они в разных концах, и тьма их окружала, и во тьме все ярче разгоралось ужасное видение, сверхъестественный образ того, кто три дня находился под загадочной властью смерти. Три дня он был мертв: трижды всходило и заходило солнце, а он был мертв; дети играли, журчала по камням вода, горячая пыль вздымалась на проезжей дороге, — а он был мертв. И теперь он снова среди людей — касается их — смотрит на них — смотрит на них! — и сквозь черные кружки его зрачков, как сквозь темные стекла, смотрит на людей само непостижимое Там.

III

Никто не заботился об Елеазаре, не осталось у него близких и друзей, и великая пустыня, обнимавшая святой город, приблизилась к самому порогу жилища его. И в дом его вошла, и на ложе его раскинулась, как жена, и огни погасила. Никто не заботился об Елеазаре. Одна за другою ушли сестры его — Мария и Марфа, — долго не хотела покидать его Марфа, ибо не знала, кто будет его кормить, и жалеть его, плакала и молилась. Но в одну ночь, когда ветер носился в пустыне и со свистом сгибались кипарисы над кровлей, она тихо оделась и тихо ушла. Вероятно, слышал Елеазар, как хлопнула дверь, как, не запертая плотно, она хлопалась о косяки под порывами ветра, — но не поднялся он, не вышел, не посмотрел. И всю ночь до утра свистели над его головою кипарисы, и жалобно постукивала дверь, впуская в жилище холодную, жадно рыскающую пустыню. Как прокаженного, избегали его все, и, как прокаженному, хотели на шею ему надеть колокольчик, чтобы избегать во время встречи. Но кто-то, побледнев, сказал, что будет очень страшно, если ночью под окнами послышится звон Елеазарова колокольца, — и все, бледнея, согласились с ним.

И так как и сам он не заботился о себе, то, быть может, умер бы он от голода, если бы соседи, чего-то боясь, не ставили ему пищу. Приносили ее дети; они не боялись Елеазара, но и не смеялись над ним, как с невинной жестокостью смеются они над несчастными. Были равнодушны к нему, и таким же равнодушием платил Елеазар: не было у него желания приласкать черную головку и заглянуть в наивные, сияющие глазки. Отданный во власть времени и пустыне, разрушался его дом, и давно разбежались по соседям голодные, блеющие козы. И обветшали брачные одежды его. Как надел он их в тот счастливый день, когда играли музыканты, так и носил, не меняя, точно не видел разницы между новым и старым, между рваным и крепким. Яркие цвета выгорели и поблекли; злые городские собаки и острый терн пустыни в лохмотья превратили нежную ткань.

Днем, когда беспощадное солнце становилось убийцей всего живого и даже скорпионы забивались под камни и там корчились от безумного желания жалить, он неподвижно сидел под лучами, подняв вверх синее лицо и косматую, дикуную бороду.

Когда с ним еще говорили, его спросили однажды:

— Бедный Елеазар! Тебе приятно сидеть и смотреть на солнце?

И он ответил:

— Да, приятно.

Так, вероятно, силен был холод трехдневной могилы, так глубока тьма ее, что не было на земле ни такого жара, ни такого света, который мог бы согреть Елеазара и осветить мрак его очей, — подумали вопрошавшие и со вздохом отошли.

А когда багово-красный, расплющенный шар опускался к земле, Елеазар уходил в пустыню и шел прямо на солнце, как будто стремился настигнуть его. Всегда прямо на солнце шел он, и те, кто пытались проследить путь его и узнать, что делает он ночью в пустыне, неизгладимо запечатлели в памяти черный силуэт высокого, тучного человека на красном фоне огромного сжатого диска. Ночь прогнала их страхами своими, и так не узнали они, что делает в пустыне Елеазар, но образ черного на красном выжегся в мозгу и не уходил. Как зверь, засоривший глаза, яростно трет лапами морду, так глупо терли и они глаза свои, но то, что давал Елеазар, было неизгладимо и забывалось, быть может, только со смертью.

Но были люди, жившие далеко, которые никогда не видали Елеазара и только слыхали о нем. С дерзновенным любопытством, которое сильнее страха и питается страхом, с затаенной насмешкой в душе,

они приходили к сидящему под солнцем и вступали в беседу. В это время вид Елеазара уже изменился к лучшему и не был так страшен; и в первую минуту они щелкали пальцами и неодобрительно думали о глупости жителей святого города. А когда короткий разговор кончился и они уходили домой, они имели такой вид, что жители святого города сразу узнавали их и говорили:

— Вот еще идет безумец, на которого посмотрел Елеазар, — и с сожалением цмокали и поднимали руки.

Приходили, бряцая оружием, храбрые воины, не знавшие страха; приходили со смехом и песнями счастливые юноши; и озабоченные дельцы, позвякивая деньгами, забегали на минуту; и надменные служители храма ставили свои посохи у дверей Елеазара, — и никто не возвращался, каким приходил. Одна и та же страшная тень опускалась на души и новый вид давала старому знакомому миру.

Так передавали чувства свои те, которые еще имели охоту говорить.

Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны — подобны светлым теням во мраке ночи становились они; ибо та великая тьма, что объемлет все мироздание, не рассеивалась ни солнцем, ни луною, ни звездами, а безграничным черным покровом одевала землю, как мать, обнимала ее; во все тела проникала она, в железо и камень, и одиноки становились частицы тела, потерявшие связь; и в глубину частиц проникала она, и одиноки становились частицы частиц; ибо та великая пустота, что объемлет мироздание, не наполнялась видимым, ни солнцем, ни луною, ни звездами, а царила безбрежно, всюду проникая, все отъединяя: тело от тела, частицы от частиц; в пустоте расстилали свои корни деревья и сами были пусты; в пустоте, грозя призрачным падением, высились храмы, дворцы и дома, и сами были пусты; и в пустоте двигался беспокойно человек, и сам был пуст и легок, как тень; ибо не стало времени, и сблизилось начало каждой вещи с онцом ее: еще только строилось здание, и строители еще стучали молотками, а уж виделись развалины его и пустота на месте развалин; еще только рождался человек, а над головою его зажигались погребальные свечи, и уже тухли они, и уже пустота становилась на месте человека и погребальных свечей; и, объятый пустотою и мраком, безнадежно трепетал человек перед ужасом бесконечного.

Так говорили те, кто еще имел охоту говорить. Но, вероятно, еще больше могли бы сказать те, которые не хотели говорить и молча умирали.

IV

В это время жил в Риме один знаменитый скульптор. Из глины, мрамора и бронзы он создавал тела богов и людей, и такова была их божественная красота, что люди называли ее бессмертной. Но сам он был недоволен и утверждал, что есть еще нечто, поистине красивейшее, чего не может он закрепить ни в мраморе, ни в бронзе. «Еще лунного сияния не собрал я, — говорил он, — еще солнечным светом не упился я — и нет в моем мраморе души, нет жизни в моей красивой бронзе». И когда в лунные ночи он медленно брел по дороге, пересекая черные тени кипарисов, мелькая белым хитом под луною, встречные дружески смеялись и говорили:

— Не лунный ли свет идешь ты собирать, Аврелий! Почему не взял ты с собою корзину?

И так, смеясь, он показывал на свои глаза:

— Вот мои корзины, куда собираю я свет луны и сияние солнца.

И это была правда: светила луна в его глазах, и солнце сверкало в них. Но не мог он перевести их в мрамор, и в этом было светлое страдание его жизни.

Происходил он из древнего рода патрициев, имел добрую жену и детей и ни в чем не терпел недостатка.

Когда дошел до него темный слух об Елеазаре, он посоветовался с женою и друзьями и предпринял далекое путешествие в Иудею, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего. Было ему немного скучно в эти дни, и надеялся он дорогою обострить утомленное внимание свое. То, что рассказывали ему о воскресшем, не пугало его: он много размышлял о смерти, не любил ее, но не любил и тех, кто смешивает ее с жизнью. По эту сторону — прекрасная жизнь, по ту сторону — загадочная смерть, размышлял он, и ничего лучшего не может придумать человек, как живя радоваться жизни и красоте живого. И имел он даже некоторое тщеславное желание: убедить Елеазара в истине своего взгляда и вернуть к жизни его душу, как было возвращено его тело. Тем более легко это казалось, что слухи о воскресшем, пугливые и странные, не передавали всей правды о нем и только смутно предостерегали против чего-то ужасного.

Уже поднимался Елеазар с камня, чтобы идти вслед за уходящим в пустыню солнцем, когда приблизился к нему богатый римлянин, сопровождаемый вооруженным рабом, и звонко окликнул его:

— Елеазар!

И увидел Елеазар прекрасное гордое лицо, осиянное славой, и светлые одежды, и драгоценные камни, сверкающие под солнцем. Красноватые лучи придавали голове и лицу сходство с тускло блистающей бронзой — и это увидел Елеазар. Послушно сел он на свое место и утомленно опустил глаза.

— Да, ты некрасив, мой бедный Елеазар, — говорил спокойно римлянин, играя золотой цепью, — ты даже страшен, мой бедный друг; и смерть не была ленивой в тот день, когда ты так неосторожно попал в ее руки. Но ты толст, как бочка, а толстые люди не бывают злы, говорил великий Цезарь, и я не понимаю, почему так боятся тебя люди. Ты позволишь мне переночевать у тебя? Уже поздно, а у меня нет приюта.

Еще никто не просил Елеазара провести у него ночь.

— У меня нет ложа, — сказал он.

— Я немного воин и могу спать сидя, — ответил римлянин. — Мы зажжем огонь...

— У меня нет огня.

— Тогда в темноте, как два друга, мы поведем беседу. Я думаю, у тебя найдется немного вина...

— У меня нет вина.

Римлянин засмеялся.

— Теперь я понимаю, почему так мрачен ты и не любишь своей второй жизни. Нет вина! Ну что же, останемся и так: ведь есть речи, которые кружат голову не хуже фалернского.

Движением руки он отпустил раба, и они остались вдвоем. И снова заговорил скульптор, но будто вместе с уходящим солнцем уходила жизнь из его слов, и становились они бледные и пустые, будто шатались они на нетвердых ногах, будто скользили и падали они, упившись вином тоски и отчаяния. И черные провалы между ними появились — как далекие намеки на великую пустоту и великий мрак.

— Теперь я твой гость, и ты не обидишь меня, Елеазар! — говорил он. — Гостеприимство обязательно даже для тех, кто три дня был мертв. Ведь три дня, говорили мне, ты пробыл в могиле. Там холодно, должно быть... и оттуда ты вынес эту скверную привычку обходиться без огня и вина. А я люблю огонь, здесь так быстро темнеет... У тебя очень интересные линии бровей и лба: точно занесенные пеплом развалины каких-то дворцов после землетрясения. Но почему ты в такой странной и некрасивой одежде? Я видел женихов в вашей стране, и они носят такое платье — такое смешное платье — такое страшное платье... Но разве ты жених?

Уже скрылось солнце, черная гигантская тень побежала с востока — точно босые, огромные ноги зашуршали по песку, и дуновение быстрого бега обвеяло холодом спину.

— В темноте ты кажешься еще больше, Елеазар, ты точно растолстел за эти минуты. Уже не кормишься ли ты тьмою?.. А я бы хотел огня — хоть маленький огонь, хоть маленький огонь. И мне холодно немного, у вас такие варварски холодные ночи... Если бы не было так темно, я сказал бы, что ты смотришь на меня, Елеазар. Да, кажется, ты смотришь... Ведь ты смотришь на меня, я чувствую, — ну вот ты улыбнулся.

Ночь пришла, и тяжелой чернотой налился воздух.

— Вот будет хорошо, когда завтра снова взойдет солнце... Ведь ты знаешь, что я великий скульптор — так зовут меня друзья. Я творю, да, это называется творить... но для этого нужен день. Холодному мрамору я даю жизнь, я плавлю на огне звенящую бронзу, на ярком, горячем огне... Зачем ты тронул меня рукой!

— Пойдем, — сказал Елеазар. — Ты мой гость.

И они пошли в дом. И долгая ночь легла на землю. Раб не дождался господина и пришел за ним, когда уже высоко стояло солнце. И увидел: прямо под палящими лучами его сидели рядом Елеазар и его господин, смотрели вверх и молчали. Заплакал раб и громко закричал:

— Господин, что с тобою? Господин!

В тот же день он уехал в Рим. Всю дорогу Аврелий был задумчив и молчал, внимательно оглядывал все — людей, корабль и море, и точно старался что запомнить. В море застигла их сильная буря, и во все время ее Аврелий находился на палубе и жадно вглядывался в надвигающиеся и падавшие валы. Дома испугались страшной перемене, которая произошла со скульптором, но он успокоил домашних, многозначительно сказав:

— Я нашел.

И в той же грязной одежде, которую не менял он всю дорогу, он взялся за работу, и мрамор покорно зазвенел под гулкими ударами молотка. Долго и жадно работал он, никого не впуская, и наконец в одно утро сказал, что произведение готово, и повелел созвать друзей, строгих ценителей и знатоков искусства. И, ожидая их, оделся пышно в яркие праздничные одежды, сверкавшие желтым золотом, красневшие

пурпуром виссона.

— Вот что я создал, — сказал он задумчиво.

Взглянули друзья его, и тень глубокой скорби покрыла их лица. Это было нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знакомых глазу форм, но не лишенное намека на какой-то новый, неведомый образ. На тоненькой, кривой веточке, или уродливом подобии ее, криво и странно лежала слепая, безобразная, раскоряченная груда чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого наружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти от самих себя. И случайно, под одним из дико кричащих выступов, заметили дивно изваянную бабочку, с прозрачными крылышками, точно трепетавшими от бессильного желания лететь.

— Зачем эта дивная бабочка, Аврелий? — нерешительно спросил кто-то.

— Не знаю, — ответил скульптор.

Но нужно было сказать правду, и один из друзей, тот, что больше любил Аврелия, твердо сказал:

— Это безобразно, мой бедный друг. Это надо уничтожить. Дай молоток.

И двумя ударами он разрушил чудовищную груду, оставив только дивно изваянную бабочку.

С тех пор Аврелий больше ничего не создал. С глубоким равнодушием он смотрел на мрамор и на бронзу и на свои прежние божественные создания, на которых почилла бессмертная красота. Думая вдохнуть в него старый жар к работе, разбудить его омертвевшую душу, его водили смотреть чужие прекрасные произведения, — но все так же равнодушен оставался он, и улыбка не согревала его сомкнутых уст. И только, когда много и долго ему говорили о красоте, он возражал утомленно и вяло:

— Но ведь все это ложь.

А днем, когда светило солнце, он выходил в свой богатый, искусно устроенный сад и, найдя место, где не было тени, отдавал непокрытую голову и тусклые очи свои сверканию и зною. Порхали красные и белые бабочки; в мраморный водоем сбегала, плескаясь, вода из искривленных уст блаженно-пьяного сатира, а он сидел неподвижно — как бледное отражение того, кто в глубокой дали, у самых врат каменной пустыни, так же неподвижно сидел под огненным солнцем.

V

И вот призвал к себе Елеазар сам великий, божественный Август.

Одели Елеазара пышно, в торжественные брачные одежды — как будто время узаконило их и до самой своей смерти он должен был оставаться женихом неведомой невесты. Похоже было на то, как будто на старый, гниющий, уже начавший разваливаться гроб навели новую позолоту и привесили новые, веселые кисти. И торжественно повезли его, все нарядные и яркие, как будто и вправду двигался свадебный поезд, и передовые громко трубили в трубы, чтобы давали дорогу посланцам императора. Но пустынные были пути Елеазара: вся родная страна уже проклинала ненавистное имя чудесно воскресшего, и разбежался народ при одной вести о страшном приближении его. Одиноко трубили медные трубы, и только пустыня отвечала протяжным эхом своим.

Потом повезли его морем. И это был самый нарядный и самый печальный корабль, который отражался когда-либо в лазурных волнах Серединного моря. Много людей на нем находилось, но, как гробница, был он безмолвен и тих, и словно плакала безнадежная вода, огибая крутой, красиво изогнутый нос. Одиноко сидел там Елеазар, подставляя непокрытую голову солнцу, слушал журчание струй и молчал, а вдали смутной толпою тоскующих теней бессильно и вяло лежали, сидели моряки и посланцы. Если бы в это время ударил гром, ветер рванул красные паруса, корабль, вероятно, погиб бы, так как ни у кого из бывших на нем не было ни сил, ни охоты бороться за жизнь. С последним усилием некоторые подходили к борту и жадно вглядывались в голубую, прозрачную бездну: не мелькнет ли в волнах розовым плечом наяда, не промчится ль, взбивая копытами брызги, безумно-веселый и пьяный кентавр. Но пустынно было море, и морская бездна была нема и пустынна.

Равнодушно ступил Елеазар на улицы Вечного города. Словно все богатство его, все величие зданий, возведенных гигантами, весь блеск, и красота, и музыка утонченной жизни были лишь отзвуком ветра в пустыне, отблеском мертвых зыбучих песков. Мчались колесницы, двигались толпы сильных, красивых, надменных людей, строителей Вечного города и гордых участников жизни его; звучала песня — смеялись фонтаны и женщины своим жемчужным смехом — философствовали пьяные — с улыбкой слушали их трезвые — и подковы стучали, подковы стучали о камень настилок. И, охваченный со всех сторон веселым шумом, холодным пятном безмолвия двигался среди города тучный, тяжелый человек и сеял на пути своем досаду, гнев и смутную, сосущую тоску. «Кто смеет быть печальным в Риме?» — негодовали граждане и хмурились, а через два дня уже весь быстротечный Рим знал о чудесно воскресшем и пугливо сторонился от него.

Но были и здесь многие смелые люди, желавшие испытать силу свою, и на их неосмысленный зов послушно приходил Елеазар. Занятый делами государства, император медлил с приемом, и целых семь дней ходил по людям чудесно воскресший.

Вот пришел Елеазар к веселому пьянице, и пьяница смехом красных губ встретил его.

— Пей, Елеазар, пей! — кричал он. — Вот посмеется Август, когда увидит тебя пьяным!

И смеялись обнаженные, пьяные женщины, и лепестки роз ложились на синие руки Елеазара. Но взглянул пьяница в глаза его — и навсегда кончилась его радость. На всю жизнь остался он пьяным; уже не пил ничего, но оставался пьяным, — но, вместо радостных грез, что дает вино, страшные сны осенили несчастную голову его. Страшные сны стали единственной пищей его пораженного духа. Страшные сны и днем и ночью держали его в чаду своих чудовищных созданий, и сама смерть не была страшнее того, чем явили себя ее свирепые предтечи.

Вот пришел Елеазар к юноше и девушке, которые любили друг друга и были прекрасны в своей любви. Гордо и крепко обнимая рукою свою возлюбленную, юноша сказал с тихим сожалением:

— Взгляни на нас, Елеазар, и порадуйся с нами. Разве есть что-нибудь сильнее любви?

И взглянул Елеазар. И всю жизнь продолжали они любить друг друга, но печальной и сумрачной стала их любовь, как те надмогильные кипарисы, что корни свои питают тлением гробниц и остротою черных вершин своих тщетно ищут неба в тихий вечерний час. Бросаемые неведомою силою жизни в объятия друг друга, поцелуи они смешивали со слезами, наслаждение — с болью, и дважды рабами чувствовали себя: покорными рабами требовательной жизни и безответными слугами грозно молчащего Ничто. Вечно соединяемые, вечно разъединяемые, они вспыхивали, как искры, и, как искры, гасли в безграничной темноте.

Вот пришел Елеазар к гордому мудрецу, и мудрец сказал ему:

— Я уже знаю все, что ты можешь сказать ужасного, Елеазар. Чем еще ты можешь ужаснуть меня?

Но немного прошло времени, и уже почувствовал мудрец, что знание ужасного — не есть еще ужасное, и что видение смерти — не есть еще смерть. И почувствовал он, что мудрость и глупость одинаково равны перед лицом Бесконечного, ибо не знает их Бесконечное. И исчезла грань между ведением и неведением, между правдой и ложью, между верхом и низом, и в пустоте повисла его бесформенная мысль. Тогда схватил он себя за седую голову и закричал исступленно:

— Я не могу думать! Я не могу думать! Так погибало под равнодушным взором чудесно воскресшего все, что служит к утверждению жизни, смысла и радостей ее. И стали говорить, что опасно пускать его к императору, что лучше убить его и, схоронив тайно, сказать, что скрылся он неизвестно куда. Уже мечи точились и преданные благу народа юноши самоотверженно готовили себя в убийцы, когда Август потребовал, чтобы наутро явился к нему Елеазар, и тем расстроил жестокие планы.

Если нельзя было совсем устранить Елеазара, то желали хоть немного смягчить то тяжелое впечатление, какое производило лицо его. И с этой целью собрали искусных художников, цирюльников и артистов, и всю ночь трудились над головою Елеазара. Подстригли бороду, завили ее и придали ей опрятный и красивый вид. Неприятна была мертвецкая синева его рук и лица, и красками удалили ее: набелили руки и нарумянили щеки. Отвратительны были морщины страданий, которые бороздили старое лицо, и их замазали, покрасили, загладили совсем, а по чистому фону тонкими кисточками искусно провели морщины добродушного смеха и приятной, беззлобной веселости.

Равнодушно подчинялся Елеазар всему, что делали с ним, и вскоре превратился в естественно-толстого, красивого старика, спокойного и добродушного деда многочисленных внуков. Еще не сошла с уст его улыбка, с какой рассказывал он смешные сказки, еще таилась в углу глаз старикинская тихая нежность — таким казался он. Но брачной одежды снять они не посмели, но глаз его они изменить не могли — темных и страшных стекол, сквозь которые смотрело на людей само непостижимое Там.

VI

Не тронуло Елеазара великолепие императорских чертогов. Как будто не видел он разницы между своим развалившимся домом, к которому подошла пустыня, и каменным, крепким, красивым дворцом, — так равнодушно смотрел и не смотрел он, проходя. И твердый мрамор полов под его ногами становился подобным зыбучему песку пустыни, и множество прекрасно одетых надменных людей становилось подобно пустоте воздуха под взорами его. В лицо его не глядели, когда он проходил, опасаясь подвергнуться страшному влиянию его глаз; но, когда по звуку тяжелых шагов догадывались, что он миновал стоящих, — поднимали головы и с боязливым любопытством рассматривали фигуру тучного, высокого, слегка согбенного старика, медленно углублявшегося в самое сердце императорского дворца. Если бы сама смерть проходила, не более пугались бы ее люди, ибо до сих пор было так, что смерть знал только мертвый, а живой знал только жизнь — и не было моста между ними. А этот, необыкновенный, знал смерть, и было загадочно и страшно проклятое знание его. «Убьет он нашего великого, божественного Августа», — думали со страхом люди и посылали бессильные проклятия вслед Елеазару, медленно и равнодушно входившему все дальше и дальше, все глубже и глубже.

Уже знал и Цезарь о том, кто такой Елеазар, и приготовился к встрече. Но был он мужественный человек, чувствовал огромную, непобедимую силу свою и в роковом поединке с чудесно воскресшим не пожелал опереться на слабую помощь людей. Один на один, лицом к лицу сошелся он с Елеазаром.

— Не поднимай на меня взоров твоих, Елеазар, — приказал он вошедшему. — Слышал я, что голова твоя подобна голове Медузы и превращает в камень каждого, на кого ты взглянешь. А я хочу рассмотреть тебя и поговорить с тобою, прежде чем превращусь в камень, — добавил он с царственной шутливостью, не лишенной страха.

Подойдя близко, он внимательно рассмотрел лицо Елеазара и его странную праздничную одежду. И был обманут искусной подделкой, хотя взор имел острый и зоркий.

— Так. На вид ты не страшен, почтенный старичок. Но тем хуже для людей, когда страшное принимает такой почтенный и приятный вид. Теперь поговорим.

Август сел и, допрашивая взором столько же, как и словами, начал беседу:

— Почему ты не приветствовал меня, когда входил?

Елеазар равнодушно ответил:

— Я не знал, что это нужно.

— Ты христианин?

— Нет.

Август одобрительно кивнул головой.

— Это хорошо. Я не люблю христиан. Они трясут дерево жизни, не дав ему покрыться плодами, и по ветру рассеивают его благоуханный цвет. Но кто же ты?

С некоторым усилием Елеазар ответил:

— Я был мертвым.

— Я слышал об этом. Но кто же ты теперь?

Елеазар медлил с ответом и наконец повторил равнодушно и тускло:

— Я был мертвым.

— Послушай меня, неведомый, — сказал император, отдельно и строго говоря то, о чем уже думал он раньше, — мое царство — царство живых, мой народ — народ живых, а не мертвых. И ты лишний здесь. Я не знаю, кто ты, я не знаю, что ты видел там, — но если ты лжешь, я ненавижу ложь твою, но если ты говоришь правду — я ненавижу твою правду. В моей груди я чувствую трепет жизни; в моих руках я чувствую мощь — и гордые мысли мои, как орлы, облетают пространство. А там, за моей спиной, под охраной моей власти, под сенью мною созданных законов живут, и трудятся, и радуются люди. Ты слышишь эту дивную гармонию жизни? Ты слышишь этот воинственный клич, который бросают люди в лицо грядущему, зовя его на бой?

Август молитвенно простер руки и торжественно воскликнул:

— Будь благословенна, великая, божественная жизнь!

Но Елеазар молчал, и с увеличенной строгостью продолжал император:

— Ты лишний здесь. Ты, жалкий остаток, не доеденный смертью, внушаешь людям тоску и отвращение к жизни; ты, как гусеница на полях, объедаешь тучный колос радости и извергаешь слизь отчаяния и скорби. Твоя правда подобна ржавому мечу в руках ночного убийцы, — и, как убийцу, я предаю тебя казни. Но раньше я хочу взглянуть в твои глаза. Быть может, только трусы боятся их, а в храбром они будят жажду борьбы и победы: тогда не казни, а награды достоин ты... Взгляни же на меня, Елеазар.

И в первое мгновение показалось божественному Августу, что друг смотрит на него, — так мягко, так нежночарующ был взор Елеазара. Не ужас, а тихий покой обещал он, и нежной любовницей, сострадательною сестрою, матерью казалось Бесконечное. Но все крепче становились нежные объятия его, и уже дыхание перехватывал алчный до поцелуев рот, и уже сквозь мягкую ткань тела проступало железо костей, сомкнувшихся железным кругом, — и чьи-то тупые, холодные когти коснулись сердца и вяло погрузились в него.

— Мне больно, — сказал божественный Август, бледнея. — Но смотри, Елеазар, смотри!

Точно медленно расходились какие-то тяжелые, из века закрытые ворота, и в растущую щель холодно и спокойно вливался грозный ужас Бесконечного. Вот двумя тенями вошли необъятная пустота и необъятный мрак и погасили солнце, у ног отняли землю, и кровлю отняли у головы. И перестало болеть леденеющее сердце.

— Смотри, смотри, Елеазар! — приказал Август, шатаясь.

Остановилось время, и страшно сблизилось начало всякой вещи с концом ее. Только что воздвигнутый, уже разрушился трон Августа, и пустота уже была на месте трона и Августа. Бесшумно разрушился Рим, и новый город стал на месте его и был поглощен пустотою. Как призрачные великаны, быстро падали и исчезали в пустоте города, государства и страны, и равнодушно глотала их, не насыщаясь, черная утроба Бесконечного.

— Остановись, — приказал император. Уже равнодушие звучало в голосе его, и бессильно обвисали руки, и в тщетной борьбе с надвигающимся мраком загорались и гасли его орлиные глаза.

— Убил ты меня, Елеазар, — сказал он тускло и вяло.

И эти слова безнадежности спасли его. Он вспомнил о народе, щитом которого он призван быть, и острой, спасительной болью пронизалось его омертвевшее сердце. «Обреченные на гибель», — с тоской подумал он. «Светлые тени во мраке Бесконечного», — с ужасом подумал он. «Хрупкие сосуды с живой, волнующей кровью, с сердцем, знающим скорбь и великую радость», — с нежностью подумал он.

И так, размышляя и чувствуя, склоняя весы то на сторону жизни, то на сторону смерти, он медленно вернулся к жизни, чтобы в страданиях и радости ее найти защиту против мрака пустоты и ужаса бесконечного.

— Нет, не убил ты меня, Елеазар, — сказал он твердо, — но я убью тебя. Ступай!

В тот вечер с особенной радостью вкушал пищу и питье божественный Август. Но минутами застывала в воздухе поднятая рука и тусклый блеск заменял яркое сияние его орлиных глаз — то ужас ледяной волною пробегал у ног его. Победенный, но не убитый, холодно ожидающий своего часа, он черною тенью на всю жизнь стал у изголовья его, владея ночами и послушно уступая светлые дни скорбям и радостям жизни.

На другой день по приказу императора каленым железом выжгли Елеазару глаза и на родину отправили его. Умертвить его не решился божественный Август.

* * *

Вернулся Елеазар в пустыню, и приняла его пустыня свистящим дыханием ветра и зноем раскаленного солнца. Снова сидел он на камне, подняв вверх лохматую, дику бороду, и две черные ямы на месте выжженных глаз тупо и страшно смотрели на небо. Вдали беспокойно шумел и двигался святой город, а вблизи было безлюдно и немо: никто не приближался к месту, где доживал дни свои чудесно воскресший, и уже соседи давно покинули дома свои. Загнанное каленым железом в глубину черепа, проклятое знание его таилось там точно в засаде; точно из засады впивалось оно тысячею невидимых глаз в человека, — и уже никто не смел взглянуть на Елеазара.

А вечером, когда, краснея и ширясь, солнце клонилось к закату, за ним медленно двигался слепой Елеазар. Натыкался на камни и падал, тучный и слабый, тяжело поднимался и снова шел; и на красном пологие зари его черное туловище и распростертые руки давали чудовищное подобие креста.

Случилось, пошел он однажды и больше не вернулся. Так, видимо, закончилась вторая жизнь Елеазара, три дня пробывшего под загадочной властью смерти и чудесно воскресшего.

Август 1906 г.

Тьма

I

Обычно происходило так, что во всех его делах ему сопутствовала удача; но в эти три последние дня обстоятельства складывались крайне неблагоприятно, даже враждебно. Как человек, вся недолгая жизнь которого была похожа на огромную, опасную, страшно азартную игру, он знал эти внезапные перемены счастья и умел считаться с ними — ставкою в игре была сама жизнь, своя и чужая, и уже одно это приучило его к вниманию, быстрой сообразительности и холодному, твердому расчету.

Приходилось изворачиваться и теперь. Какая-то случайность, одна из тех маленьких случайностей, которых нельзя предусмотреть, навела на его следы полицию, и вот теперь, уже двое суток, за ним, известным террористом, бомбометателем, непрерывно охотились сыщики, настойчиво загоняя его в тесный замкнутый круг. Одна за другою были отрезаны от него конспиративные квартиры, где он мог бы укрыться; оставались еще свободными некоторые улицы, бульвары и рестораны, но страшная усталость от двухсуточной бессонницы и крайней напряженности внимания представляла новую опасность: он мог заснуть где-нибудь на бульварной скамейке, или даже на извозчике, и самым нелепым образом, как пьяный, попасть в участок. Это было во вторник. В четверг же, через один только день, предстояло совершение очень крупного террористического акта. Подготовкою к убийству в течение продолжительного времени была занята вся их небольшая организация, и «честь» бросить последнюю решительную бомбу была предоставлена именно ему. Необходимо было продержаться во что бы то ни стало.

И вот тогда, октябрьским вечером, стоя на перекрестке двух людных улиц, он решил поехать в этот дом терпимости в — ом переулке. Он уже и раньше прибег бы к этому не совсем, впрочем, надежному средству, если бы не некоторое осложняющее обстоятельство: в свои двадцать шесть лет он был девственником, совсем не знал женщин как таковых, и никогда не бывал в публичных домах. Когда-то в свое время ему пришлось выдержать тяжелую и трудную борьбу с бунтующей плотью, но постепенно воздержание перешло в привычку, и выработалось спокойное, совершенно безразличное отношение к женщине. И теперь, поставленный в необходимость так близко столкнуться с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, быть может, увидеть ее голою — он предчувствовал целый ряд своеобразных и чрезвычайно неприятных неловкостей. В крайнем случае, если это окажется необходимым, он решил сойтись с проституткой, так как теперь, когда плоть уже давно не бунтовала и предстоял такой важный и огромный шаг, — девственность и борьба за нее теряли свою цену. Но во всяком случае это было неприятно, как бывает иногда неприятна какая-нибудь противная мелочь, через которую необходимо перейти. Однажды, при совершении важного террористического акта, при котором он находился в качестве запасного метельщика, он видел убитую лошадь с изорванным задом и выпавшими внутренностями; и эта грязная, отвратительная, ненужно-необходимая мелочь дала тогда ощущение в своем роде даже более неприятное, чем смерть товарища от брошенной бомбы. И насколько спокойно, бестрепетно и даже радостно представлял он себе четверг, когда и ему придется, вероятно, умереть, — настолько предстоявшая ночь с проституткой, с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, казалась ему нелепой, полной чего-то бестолкового, воплощением маленького, сумбурного, грязноватого хаоса.

II

Но другого выбора не было. И он уже шатался от усталости.

Было еще совсем рано, когда он приехал, около десяти часов, но большая белая зала с золочеными стульями и зеркалами была готова к принятию гостей, и все огни горели. Возле фортепиано с поднятой крышкой сидел тапер, молодой, очень приличный человек в черном сюртуке, — дом был из дорогих, — курил, осторожно сбрасывая пепел с папиросы, чтобы не запачкать платье, и перебирал ноты; и в углу, ближе к полутемной гостиной, на трех стульях подряд, сидели три девушки и о чем-то тихо разговаривали.

Когда он вошел с хозяйкой, две девушки встали, а третья осталась сидеть; и те, которые встали, были сильно декольтированы, а на сидевшей было глухое черное платье. И те две смотрели на него прямо, с равнодушным и усталым вызовом, а эта отвернулась, и профиль у нее был простой и спокойный, как у всякой порядочной девушки, которая задумалась. Это она, по-видимому, что-то рассказывала подругам, а те ее слушали, и теперь она продолжала думать о рассказанном, молча рассказывала дальше. И потому, что она молчала и думала, и потому, что она не смотрела на него, и потому, что у нее только одной был вид порядочной женщины, — он выбрал ее. Он никогда раньше не бывал в домах терпимости и не знал, что в каждом хорошо поставленном доме есть одна, даже две такие женщины: одеты они бывают в черное, как монахини или молодые вдовы, лица у них бледные, без румян и даже строгие; и задача их — давать иллюзию порядочности тем, кто ее ищет. Но, когда они уходят в спальню с мужчинами и там напиваются, они становятся как и все, иногда даже хуже: часто скандалят и колотят посуду, иногда пляшут, раздевшись голыми, и так голыми высказывают в зал, а иногда даже бьют слишком назойливых мужчин. Это как раз те женщины, в которых влюбляются пьяные студенты и уговаривают начать новую, честную жизнь.

Но он этого не знал. И когда она поднялась нехотя и хмуро, с неудовольствием взглянула на него подведенными глазами и как-то особенно резко мелькнула бледным, матово-бледным лицом, — он еще раз подумал: «какая она порядочная, однако!» — и почувствовал облегчение. Но, продолжая то вечное и необходимое притворство, которое двоило его жизнь и делало ее похожей на сцену, он качнулся как-то очень фатовски на ногах, с носков на каблуки, щелкнул пальцами и сказал девушке развязным голосом опытного развратника:

— Ну как, моя цыпочка? Пойдем к тебе? а? Где тут твоё гнездышко?

— Сейчас? — удивилась девушка и подняла брови.

Он засмеялся игриво, открыв ровные, сплошные, крепкие зубы, густо покраснел и ответил:

— Конечно. Чего же нам терять драгоценное время?

— Тут музыка будет. Танцевать будем.

— Но что такое танцы, моя прелесть? Пустое верчение, ловля самого себя за хвост. А музыку, я думаю, и оттуда слышно?

Она посмотрела на него и улыбнулась:

— Немного слышно.

Он начинал ей нравиться. У него было широкое, скуластое лицо, сплошь выбритое; щеки и узкая полоска над твердыми, четко обрисованными губами слегка синели, как это бывает у очень черноволосых бредущих людей. Были красивы и темные глаза, хотя во взгляде их было что-то слишком неподвижное, и

ворочались они в своих орбитах медленно и тяжело, точно каждый раз проходили очень большое расстояние. Но, хотя и бритый и очень развязный, на актера он не был похож, а скорее на обрусевшего иностранца, на англичанина.

— Ты не немец? — спросила девушка.

— Немножко. Скорее англичанин. Ты любишь англичан?

— А как хорошо говоришь по-русски. Совсем незаметно.

Он вспомнил свой английский паспорт, тот коверканный язык, которым говорил все последнее время, и то, что теперь забыл притвориться как следует, и снова покраснел. И, уже нахмурившись несколько, с сухой деловитостью, в которой чувствовалось утомление, взял девушку под локоть и быстро повел.

— Я русский, русский. Ну, куда идти? Показывай. Сюда?

В большом, до полу, зеркале резко и четко отразилась их пара: она, в черном, бледная и на расстоянии очень красивая, и он, высокий, широкоплечий, также в черном и также бледный. Особенно бледен казался под верхним светом электрической люстры его упрямый лоб и твердые выпуклости щек; а вместо глаз и у него и у девушки были черные, несколько таинственные, но красивые провалы. И так необычна была их черная, строгая пара среди белых стен, в широкой, золоченой раме зеркала, что он в изумлении остановился и подумал: как жених и невеста. Впрочем, от бессонницы, вероятно, и от усталости соображал он плохо, и мысли были неожиданные, нелепые; потому что в следующую минуту, взглянув на черную, строгую, траурную пару, подумал: как на похоронах. Но и то и другое было одинаково неприятно.

По-видимому, и девушке передалось его чувство: также молча, с удивлением она разглядывала его и себя, себя и его; попробовала прищурить глаза, но зеркало не ответило на это легкое движение и все также тяжело и упорно продолжало вычерчивать черную застывшую пару. И показалось ли это девушке красивым, или напонило что-нибудь свое, немного грустное, — она улыбнулась тихо и слегка пожала его твердо согнутую руку.

— Какая парочка! — сказала она задумчиво, и почему-то сразу стали заметнее ее большие черно-лучистые ресницы с тонко изогнутыми концами.

Но он не ответил и решительно пошел дальше, увлекая девушку, четко постукивавшую по паркету высокими французскими каблуками. Был коридор, как всегда, темные, неглубокие комнатки с открытыми дверями, и в одну комнатку, на двери которой было написано неровным почерком: «Люба», — они вошли.

— Ну, вот что, Люба, — сказал он, оглядываясь и привычным жестом потирая руки одна о другую, как будто старательно мыл их в холодной воде, — надобно вина и еще чего там? Фруктов, что ли.

— Фрукты у нас дороги.

— Это ничего. А вино вы пьете?

Он забылся и сказал ей «вы», и хотя заметил это, но поправляться не стал: было что-то в недавнем ее пожатии, после чего не хотелось говорить «ты», любезничать и притворяться. И это чувство также как будто передалось ей: она пристально взглянула на него и, помедлив, ответила с нерешительностью в голосе, но не в смысле произносимых слов:

— Да, пью. Погодите, я сейчас. Фруктов я велю принести только две груши и два яблока. Вам хватит?

И она говорила теперь «вы», и в тоне, каким произносила это слово, звучала все та же нерешительность, легкое колебание, вопрос. Но он не обратил на это внимания и, оставшись один, принялся за быстрый и всесторонний осмотр комнаты. Попробовал, как запирается дверь, — она запиралась хорошо, крючком и на ключ; подошел к окну, раскрыл обе рамы — высоко, на третьем этаже, и

выходит во двор. Сморщил нос и покачал головою. Потом сделал опыт над светом: две лампочки, и когда гаснет вверху одна, зажигается другая у кровати с красным колпачком — как в приличных отелях.

Но кровать!..

Поднял высоко плечи — и оскалился, делая вид, что смеется, но не смеясь, с той потребностью двигать и играть лицом, какая бывает у людей скрытных и почему-либо таящихся, когда они остаются наконец одни.

Но кровать!

Обошел ее, потрогал ватное стеганое, откиннутое одеяло и с внезапным желанием созорничать, радуясь предстоящему сну, по-мальчишески скривил голову, выпятил вперед губы и вытаращил глаза, выражая этим высшую степень изумления. Но тотчас же сделался серьезен, сел и утомленно стал поджидать Любу. Хотел думать о четверге, о том, что он сейчас в доме терпимости, уже в доме терпимости, но мысли не слушались, щетинились, кололи друг друга. Это начинал раздражаться обиженный сон: такой мягкий там, на улице, теперь он не гладил ласково по лицу волосатой шерстистой ладонью, а крутил ноги, руки, растягивал тело, точно хотел разорвать его. Вдруг начал зевать, истово, до слез. Вынул браунинг, три запасные обоймы с патронами, и со злостью подул в ствол, как в ключ — все было в порядке, и нестерпимо хотелось спать.

Когда принесли вино и фрукты и пришла запоздавшая почему-то Люба, он запер дверь — сперва только на один крючок, и сказал:

— Ну вот что... вы пейте, Люба. Пожалуйста.

— А вы? — удивилась девушка и искоса, быстро взглянула на него.

— Я потом. Я, видите ли, я две ночи кутил и не спал совсем, и теперь... — Он страшно зевнул, выворачивая челюсти.

— Ну?

— Я скоро. Я один только часок... Я скоро. Вы пейте, пожалуйста, не стесняйтесь. И фрукты кушайте. Отчего вы так мало взяли?

— А в зал мне можно пойти? Там скоро музыка будет.

Это было неудобно. О нем, о странном посетителе, который улегся спать, начнут говорить, догадываться, — это было неудобно. И, легко сдержав зевоту, которая уже сводила челюсти, попросил сдержанно и серьезно:

— Нет, Люба, я попрошу вас остаться здесь. Я, видите ли, очень не люблю спать в комнате один. Конечно, это прихоть, но вы извините меня...

— Нет, отчего же. Раз вы деньги заплатили...

— Да, да, — покраснел он в третий раз. — Конечно. Но не в этом дело. И... Если вы хотите... Вы тоже можете лечь. Я оставлю вам место. Только, пожалуйста, вы уже лягте к стене. Вам это ничего?

— Нет, я спать не хочу... Я так посижу.

— Почитайте что-нибудь.

— Здесь книг нету.

— Хотите сегодняшнюю газету? У меня есть, вот. Тут есть кое-что интересное.

— Нет, не хочу.

— Ну, как хотите, вам виднее. А я, если позволите...

И он запер дверь двойным поворотом ключа и ключ положил в карман. И не заметил странного взгляда, каким девушка провожала его. И вообще весь этот вежливый, пристойный разговор, такой дикий в несчастном месте, где самый воздух мутно густел от винных испарений и ругательств, — казался ему совершенно естественным, и простым, и вполне убедительным. Все с тою же вежливостью, точно где-нибудь на лодке, при катанье с барышнями, он слегка раздвинул борты сюртука и спросил:

— Вы мне позволите снять сюртук?

Девушка слегка нахмурилась.

— Пожалуйста. Ведь вы... — Но не договорила — что.

— И жилетку? Очень узкая.

Девушка не ответила и незаметно пожала плечами.

— Вот здесь бумажник, деньги. Будьте добры, спрячьте их у себя.

— Вы лучше бы отдали в контору. У нас все отдают в контору.

— Зачем это? — Но взглянул на девушку и смущенно отвел глаза. — Ах, да, да. Ну, пустяки какие.

— А вы знаете, сколько здесь у вас денег? А то некоторые не знают, а потом...

— Знаю, знаю. И охота вам...

И лег, вежливо оставив одно место у стены. И восхищенный сон, широко улыбнувшись, приложился шерстистой щекою своею к его щеке — одной, другою — обнял мягко, пощекотал колени и блаженно затих, положив мягкую, пушистую голову на его грудь. Он засмеялся.

— Чего вы смеетесь? — неохотно улыбнулась девушка.

— Так. Хорошо очень. Какие у вас мягкие подушки! Теперь можно и поговорить немного. Отчего вы не пьете?

— А мне можно снять кофточку? Вы позволите? А то сидеть-то долго придется. — В ее голосе звучала легкая усмешка. Но, встретив его доверчивые глаза и предупредительное: «Конечно, пожалуйста!» — серьезно и просто пояснила:

— У меня корсет очень тугой. На теле потом рубцы остаются.

— Конечно, конечно, пожалуйста.

Он слегка отвернулся и опять покраснел. И оттого ли, что бессонница так путала мысли его, оттого ли, что в свои 26 лет он был действительно наивен — и это «можно» показалось ему естественным в доме, где было все позволено и никто ни у кого не просил разрешения.

Слышно было, как хрустел шелк и потрескивали расстегиваемые кнопки. Потом вопрос:

— Вы не писатель?

— Что? Писатель? Нет, я не писатель. А что? Вы любите писателей?

— Нет. Не люблю.

— Отчего же? Они люди... — он сладко и продолжительно зевнул, — ничего себе.

— А как вас зовут?

Молчание и сонный ответ:

— Зовите меня И... нет, Петром. Петр.

И еще вопрос:

— А кто же вы? Кто вы такой?

Спрашивала девушка тихо, но сторожко и твердо, и было такое впечатление от ее голоса, будто она сразу, вся, придвинулась к лежащему. Но он уже не слышал ее, он засыпал. Вспыхнула на мгновение угасающая мысль и в одной картине, где время и пространство слились в одну пеструю грудку теней, мрака и света, движения и покоя, людей и бесконечных улиц и бесконечно вертящихся колес, вычертила все эти два дня и две ночи бешеной погони. И вдруг все это затихло, потускнело, провалилось — и в мягком полусвете, в глубочайшей тишине представился один из залов картинной галереи, где вчера он на целых два часа нашел покой от сыщиков. Будто сидит он на красном бархатном, необыкновенно мягком диване и смотрит неподвижно на какую-то большую черную картину; и такой покой идет от этой старой, потрескавшейся картины, и так отдыхают глаза, и так мягко становится мыслям, что на несколько минут, уже засыпающий, он начал противиться сну, смутно испугался его, как неизвестного беспокойства.

Но заиграла музыка в зале, запрыгали толкачиками коротенькие, частые звуки с голыми безволосыми головками, и он подумал: «теперь можно спать» — и сразу крепко уснул. Торжествующе взвизгнул милый, мохнатый сон, обнял горячо — и в глубоком молчании, затаив дыхание, они понеслись в прозрачную, тающую глубину.

Так спал он и час и два, навзничь, в той вежливой позе, какую принял перед сном; и правая рука его была в кармане, где ключ и револьвер. А она, девушка с обнаженными руками и шеей, сидела напротив, курила, пила неторопливо коньяк и глядела на него неподвижно; иногда, чтобы лучше разглядеть, она вытягивала тонкую, гибкую шею, и вместе с этим движением у концов губ ее вырастали две глубокие, напряженные складки. Верхнюю лампочку он забыл погасить, и при сильном свете ее был ни молодой ни старый, ни чужой ни близкий, а весь какой-то неизвестный: неизвестные щеки, неизвестный нос, загнутый клювом, как у птицы, неизвестное ровное, крепкое, сильное дыхание. Густые черные волосы на голове были острижены коротко, по-солдатски; и на левом виске, ближе к глазу, был небольшой побелевший шрам от какого-то старого ушиба. Креста на шее у него не было.

Музыка в зале то замирала, то вновь раздражалась звуками клавиш и скрипки, пением и топотом танцующих ног, а она все сидела, курила папиросы и разглядывала спящего. Внимательно, вытянув шею, рассмотрела его левую руку, лежавшую на груди: очень широкая в ладони, с крупными пальцами — на груди она производила впечатление тяжести, чего-то давящего больно; и осторожным движением девушка сняла ее и положила вдоль туловища на кровати. Потом встала быстро и шумно, и с силою, точно желая сломать рожок, погасила верхний свет и зажгла нижний, под красным колпачком.

Но он и в этот раз не пошевелился, и все тем же неизвестным, пугающим своей неподвижностью и покоем осталось его порозовевшее лицо. И, отвернувшись, охватив колена голыми, нежно розовеющими руками, девушка закинула голову и неподвижно уставилась в потолок черными провалами немигающих глаз. И в зубах ее, стиснутая крепко, застыла недокуренная потухшая папироса.

III

Что-то произошло неожиданное и грозное. Что-то большое и важное случилось, пока он спал, — он понял это сразу, еще не проснувшись как следует, при первых же звуках незнакомого, хриплого голоса, понял тем изощренным чутьем опасности, которое у него и его товарищей составляло как бы особое, новое чувство. Быстро спустил ноги и сел, и уже крепко сжал рукою револьвер, пока глаза остро и зорко обыскивали розовый туман. И когда увидел ее, все в той же позе, с прозрачно-розовыми плечами и грудью и загадочно почерневшими, неподвижными глазами, подумал: выдала! Посмотрел пристальнее, передохнул глубоко и поправился: еще не выдала, но выдаст.

Плохо!

Вздохнул еще и коротко спросил:

— Ну? Что?

Но она молчала. Улыбалась торжествующе и зло, смотрела на него и молчала — будто уже считала его своим и, не торопясь, никуда не спеша, хотела насладиться своею властью.

— Ты что сказала сейчас? — повторил он, нахмурившись.

— Что я сказала? Вставай, я сказала, вот что. Будет. Поспал. Будет. Пора и честь знать. Тут не ночлежка, миленький!

— Зажги лампочку! — приказал он.

— Не зажгу.

Зажег сам. И увидел под белым светом бесконечно злые, черные, подведенные глаза и рот, сжатый ненавистью и презрением. И голые руки увидел. И всю ее, чуждую, решительную, на что-то бесповоротно готовую. Отвратительной показалась ему эта проститутка.

— Что с тобою — ты пьяна? — спросил он серьезно и беспокойно и протянул руку к своему высокому крахмальному воротничку. Но она предупредила его движение, схватила воротничок и, не глядя, бросила куда-то в угол, за комод.

— Не дам!

— Это еще что? — сдержанно крикнул он и стиснул ее руку твердым, крепким, круглым, как железное кольцо, пожатием, и тонкая рука бессильно распростерла пальцы.

— Пусти, больно! — сказала девушка, и он сжал слабее, но руки не выпустил.

— Ты смотри!

— А что, миленький? Застрелить меня хочешь, да? Это что у тебя в кармане, — револьвер? Что же, застрели, застрели, посмотрю я, как это ты меня застрелишь. Как же, скажите, пожалуйста, пришел к женщине, а сам спать лег. Пей, говорит, а я спать буду. Стриженный, бритый, так никто, думает, не узнает. А в полицию хочешь? В полицию, миленький, хочешь?

Она засмеялась громко и весело — и действительно он с ужасом увидел это: на ее лице была дикая, отчаянная радость. Точно она сходила с ума. И от мысли, что все погребло так нелепо, что придется совершить это глупое, жестокое и ненужное убийство и все-таки, вероятно, погибнуть — стало еще ужаснее. Совсем белый, но все еще с виду спокойный, все еще решительный, он смотрел на нее, следил за каждым движением и словом и соображал.

— Ну? Что же молчишь? Язык от страху отнялся?

Взять эту гибкую змеиную шею и сдавить; крикнуть она, конечно, не успеет. И не жалко: правда, теперь, когда рукою он удерживает ее на месте, она ворочает головой совершенно по-змеиному. Не жалко, но там, внизу?

— А ты знаешь, Люба, кто я?

— Знаю. Ты, — она твердо и несколько торжественно, по слогам, произнесла: — ты революционер. Вот кто.

— А откуда это известно?

Она улыбнулась насмешливо.

— Не в лесу живем.

— Ну, допустим...

— То-то допустим. Да руку-то не держи. Над женщиной все вы умеете силу показывать. Пуст!

Он отпустил руку и сел, глядя на девушку с тяжелой и упорной задумчивостью. В скулах у него что-то двигалось, бегал беспокойно какой-то шарик, но все лицо было спокойно, серьезно и немного печально. И опять он, с этой задумчивостью своей и печалью, стал неизвестный и, должно быть, очень хороший.

— Ну, что уставился! — грубо крикнула девушка и неожиданно для себя самой прибавила циничное ругательство.

Он поднял удивленно брови, но глаз не отвел, и заговорил спокойно и несколько глухо и чуждо, будто с очень большого расстояния.

— Вот что, Люба. Конечно, ты можешь предать меня, и не одна ты можешь это сделать, а всякий в этом доме, почти каждый человек с улицы. Крикнет: держи, хватай! — и сейчас же соберутся десятки, сотни и постараются схватить, даже убить. А за что? Только за то, что никому я не сделал плохого, только за то, что всю мою жизнь я отдал этим же людям. Ты понимаешь, что это значит: отдал всю жизнь?

— Нет, не понимаю, — резко ответила девушка. Но слушала внимательно.

— И одни сделают это по глупости, другие по злобе. Потому что, Люба, не выносит плохой хороший, не любят злые добрых...

— А за что их любить?

— Не подумай, Люба, что я так, нарочно, хвалю себя. Но посмотри: что такое моя жизнь, вся моя жизнь? С четырнадцати лет я треплюсь по тюрьмам. Из гимназии выгнали, из Дома выгнали — родители выгнали. Раз чуть не застрелили меня, чудом спасся. И вот, как подумаешь, что всю жизнь так, всю жизнь только для других — и ничего для себя. Ничего.

— А отчего же это ты такой хороший? — спросила девушка насмешливо; но он серьезно ответил:

— Не знаю. Родился, должно быть, такой.

— А я вот плохая родилась. А ведь тем же местом на свет шла, как и ты, — головою! Поди ж ты!

Но он как будто не слышал. С тем же взглядом внутрь себя, в свое прошлое, которое теперь в словах его вставало перед ним самим так неожиданно и просто героичным, он продолжал:

— Ты подумай: мне двадцать шесть лет, на висках у меня уже седина, а я до сих пор... — он запнулся немного, но окончил твердо и даже с надменностью: — я до сих пор не знаю женщин. Понимаешь, совсем. И тебя я первую вижу вот так. И скажу правду, мне немного стыдно смотреть на твои голые руки.

Снова отчаянно заиграла музыка, и от топота ног в зале задрожал слегка пол. И кто-то, пьяный, отчаянно гикал, как будто гнал табун разъярившихся коней. А в их комнате было тихо, и слабо колыбался в розовом тумане табачный дым и таял.

— Так вот, Люба, какая моя жизнь! — И он задумчиво и строго опустил глаза, покоренный воспоминаниями о жизни, такой чистой и мучительно прекрасной.

А она молчала. Потом встала и накинула на голые плечи платок. Но, встретив его удивленный и словно благодарный взгляд, усмехнулась и резко сдернула платок, и так сделала рубашку, что одна, прозрачно-розовая и нежная грудь, обнажилась совсем. Он отвернулся и слегка пожал плечами.

— Пей! — сказала девушка. — Будет ломаться.

— Я не пью совсем.

— Не пьешь? А я вот пью! — И она опять нехорошо засмеялась.

— Вот если папиросочки у тебя есть, я возьму.

— У меня плохие.

— А мне все равно.

И когда брал папиросу, заметил с радостью, что рубашку Люба поправила, — явилась надежда, что все еще уладится. Курил он плохо, не затягиваясь, и папиросу держал, как женщина, между двумя напряженно выпрямленными пальцами.

— Ты и курить-то не умеешь! — сказала девушка гневно и грубо вырвала папироску из его рук. — Брось.

— Вот ты опять сердишься...

— Да, сержусь.

— А за что, Люба? Ты подумай: ведь я, правда, две ночи не спал, как волк бегал по городу. Ну и выдашь ты меня, ну и заберут меня — тебе какая от этого радость? Так ведь я, Люба, живой-то еще и не сдамся...

Он замолчал.

— Стрелять будешь?

— Да. Стрелять буду.

Музыка оборвалась, но тот дикий, обезумевший от вина, продолжал еще гикать; видимо, кто-то, шутя или серьезно, зажимал ему рот рукою, и сквозь пальцы звук прорывался еще более отчаянным и страшным. В комнатке пахло духами, не то душистым, дешевым мылом, и запах был густой, влажный, развратный; и на одной стене, неприкрытые, висели смято и плоско какие-то юбки и кофточки. И так все это было противно, и так странно было подумать, что это — тоже жизнь и такой жизнью люди могут жить всегда, что он с недоумением пожал плечами и еще раз медленно оглянулся.

— Как тут у вас... — сказал он раздумчиво и остановился глазами на Любе.

— Ну? — спросила она коротко.

И, взглянув на нее, как она стояла, он понял, что ее надо пожалеть; и как только понял, тотчас же искренно пожалел.

— Бедная ты, Люба.

— Ну?

— Дай руку.

И, несколько подчеркивая свое отношение к девушке как к человеку, взял ее руку и почтительно приложил к губам.

— Это ты мне?

— Да, Люба, тебе.

И совсем тихо, точно благодаря его, девушка произнесла:

— Вон! Вон отсюда, болван!

Он понял не сразу:

— Что?

— Уходи! Вон отсюда. Вон.

Молча, крупными шагами, она прошла комнату, достала из угла белый воротничок и бросила его с таким выражением гадливости, точно была это самая грязная, загрязненная тряпка. И так же молча, с видом высокомерия, не удостоивая девушки даже взглядом, он начал спокойно и медленно пристегивать воротничок; но уже в следующую секунду, взвизгнув дико, Люба с силою ударила его по бритой щеке. Воротничок покатился по полу, и сам он пошатнулся, но устоял на ногах. И, страшно бледный, почти синий, но все также молча, с тем же видом высокомерия и горделивого недоумения, остановился на Любе своими тяжелыми, неподвижными глазами. Она дышала часто и смотрела на него с ужасом.

— Ну?! — выдохнула она.

Он смотрел на нее и молчал. И, совершенно безумная от этой надменной безответственности, ужасаясь, теряя соображение, как перед каменной глухой стеною, девушка схватила его за плечи и с силою посадила на кровать. Наклонилась близко, к самому лицу, к самым глазам.

— Ну что же ты молчишь! Что же ты со мной делаешь, подлец, подлец же ты. Руку поцеловал! Хвастаться сюда пришел! Красоту свою показывать! Да что же ты со мною делаешь, да несчастная же я!

Она трясла его за плечи, и ее тонкие пальцы, сжимаясь и разжимаясь бессознательно, как у кошки, царапали его тело сквозь рубашку.

— Женщин не знал, подлец, да? И это мне смеешь говорить, мне, которую все мужчины... все... Где же у тебя совесть, что же ты со мной делаешь! Живой не дамся, да! А я вот мертвая — понимаешь, подлец, мертвая я. А я вот наплюю в твоё лицо... На... живой! На, подлец, на! Иди теперь, иди!

С гневом, которого больше не мог сдерживать, он отшвырнул ее от себя, и затылком она ударилась о стену. По-видимому, он уже плохо соображал, потому что следующим таким же быстрым и решительным движением он выхватил револьвер — точно улыбнулся чей-то черный, беззубый, провалившийся рот. Но девушка не видела ни его оплеванного, мокрого, искаженного бешеным гневом лица, ни черного револьвера. Закрыв ладонями глаза, точно вдавливая их в самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась в постель, лицом вниз. И тотчас же беззвучно зарыдала.

Выходило все не то, чего он ждал; получалась бессмыслица, нелепость, вылезал своей мятой рожей дикий, пьяный, истерический хаос. Передернув плечами, он спрятал ненужный револьвер и принялся ходить по комнате. Девушка плакала. Прошелся еще и еще — девушка плакала. Остановился над нею, руки в карман, и стал глядеть. Лежала ничком женщина и рыдала безумно, в отчаянной, нестерпимой муке, как могут только рыдать люди над потерянной жизнью, над чем-то большим жизни, потерянным навсегда. Заострившиеся голые лопатки то сходились почти вместе, точно снизу под грудь ей подкладывали огонь, горячие уголья; то раздвигались медленно, словно она уходила куда-то, к груди прижимала свою тоску и

горе свое. А музыка опять играла, и теперь играла она мазурку, и слышно было, как щелкают чьи-то шпоры. Должно быть, приехали офицеры.

Таких слез он еще не видал и смутился. Вынул зачем-то руки из кармана и тихо сказал:

— Люба!

Плакала Люба.

— Люба, о чем ты, Люба!

Девушка ответила что-то, но так тихо, что он не расслышал. Сел возле на кровать, наклонил стриженую крупную голову и положил руку на плечи — и безумным трепетом ответила рука на дрожь этих жалких, голых женских плеч.

— Я не слышу, что ты говоришь... Люба!

И далекое, глухое, налитое слезами:

— Подожди уходить... Там... приехали офицеры. Они тебя... могут... О, Господи, что же это такое!

Она быстро села на кровать и замерла, всплеснув руками, неподвижно, с ужасом глядя в пространство расширенными глазами. Это был страшный взгляд, и продолжался он одно мгновение. И опять девушка лежала ничком и плакала. А там ритмично щелкали шпоры, и, видимо, чем-то возбужденный или напуганный тапер старательно отбивал такты стремительной мазурки.

— Выпей воды, Любочка!.. Ну выпей, выпей. Пожалуйста... — шептал он, наклонившись.

Но ухо было закрыто волосами, и, боясь, что она не слышит, он осторожно отвел эти черные, слегка вьющиеся пряди, сожженные завивкой, и открыл маленькую, красную, пылавшую раковинку.

— Выпей, пожалуйста, я прошу тебя.

— Нет, не хочу. Не надо. Пройдет и так.

Она действительно успокаивалась. Прекратились рыдания — одно, другое глухое, длительное всхлипывание, и плечи перестали дрожать и стали неподвижны и задумчивы глубоко. И он тихонько гладил ее, от шеи к кружеву рубашки, и опять.

— Тебе лучше, Люба?.. Любочка?

Она не ответила, вздохнула протяжно и, повернувшись, быстро и коротко взглянула на него. Потом спустила ноги и села рядом, еще раз взглянула и прядями волос своих вытерла ему лицо, глаза. Еще раз вздохнула и мягким простым движением положила голову на плечо, а он также просто обнял ее и тихонько прижал к себе. И то, что пальцы его прикасались к ее голому плечу, теперь не смущало его; и так долго сидели они и молчали, и неподвижно смотрели перед собою их потемневшие, сразу окружившиеся глаза. Вдыхали.

Вдруг в коридоре зазвучали голоса, шаги; зазвенели шпоры, мягко и деликатно, как это бывает только у молоденьких офицеров, и все это приближалось — и остановилось у их двери. Он быстро встал, — а в дверь уже стучал кто-то, сперва пальцами, потом кулаком, и чей-то женский голос глухо кричал:

— Любка, отвори!

IV

Он смотрел на нее и ждал.

— Дай платок! — сказала она не глядя и протянула руку. Вытерла крепко лицо, громко высморкалась, бросила ему на колени платок и пошла к двери. Он смотрел и ждал. На ходу Люба закрыла электричество, и сразу стало так темно, что он услышал свое дыхание, несколько затрудненное. И почему-то снова сел на слабо скрипнувшую кровать.

— Ну, что там? Чего надо? — спросила Люба сквозь дверь, не отпирая, и голос у нее был немного недовольный, но спокойный.

Сразу, перебивая друг друга, зазвенело несколько женских голосов. И так же сразу они оборвались, и мужской голос, как-то странно почтительный, настойчиво стал просить.

— Нет, не пойду.

Опять зазвенели голоса, и опять, обрезая их, как ножницы обрезают развившуюся шелковую нить, заговорил мужской голос, убедительный, молодой, за которым чувствовались белые, крепкие зубы и усы, и шпоры звякнули отчетливо, точно говоривший кланялся. И странно: Люба засмеялась.

— Нет, нет, не пойду... Да, хорошо, очень хорошо... Ну и пусть зовут Любовь, а я все-таки не пойду.

Еще раз стук в дверь, смех, ругательство, щелканье шпор, и все отодвинулось от двери и погасло где-то в конце коридора. В темноте, нащупав рукою его колено, Люба села возле, но головы на плечо класть не стала. И коротко пояснила:

— Офицеры бал устраивают. Всех сзывают. Будут котильон танцевать.

— Люба, — попросил он ласково, — зажги, пожалуйста, огонь. Не сердись.

Молча она встала и повернула рожек. И уже не рядом с ним села, а по-прежнему на стул против кровати. И лицо у нее было хмурое, неприветливое, но вежливое — как у хозяйки, которая должна выждать неприятный, затянувшийся визит.

— Вы не сердитесь на меня, Люба?

— Нет. За что же?

— Я удивился сейчас, как вы весело смеялись. Как это вы можете?

Она усмехнулась, не глядя.

— Весело, вот и смеюсь. А вам нельзя сейчас уходить. Нужно подождать, пока разойдутся офицеры. Они скоро.

— Хорошо, подожду. Спасибо вам, Люба.

Она опять усмехнулась.

— Это за что же? Какой вы вежливый.

— Вам это нравится?

— Не особенно. Вы кто по рождению?

— Отец — доктор, военный врач. Дед был мужик. Мы из старообрядцев.

Люба с некоторым интересом взглянула на него.

— Вот как! А креста на шее нет.

— Креста? — усмехнулся он. — Мы крест на спине несем.

Девушка нахмурилась слегка.

— Вы спать хотели. Вы бы лучше легли, чем так время проводить.

— Нет, я не лягу. Я не хочу теперь спать.

— Как хотите.

Было долгое и неловкое молчание. Люба смотрела вниз и сосредоточенно вертела на пальце колечко; он обводил глазами комнату, каждый раз старательно минуя взглядом девушку, и остановился на недопитой маленькой рюмке с коньяком. И вдруг с необыкновенной ясностью, почти осязательностью, ему представилось, что все это уже было: и эта желтенькая рюмка, и именно с коньяком, и девушка, внимательно оборачивающая кольцо, и он сам — не этот, а какой-то другой, несколько иной, несколько особенный. И как раз только что кончилась музыка, как и теперь, и было тихое позвякивание шпор. Будто он жил уже когда-то, — но не в этом доме, а в месте, очень похожем на это, и как-то действовал, и даже был очень важным в этом смысле лицом, вокруг которого что-то происходило. Странное чувство было так сильно, что он испуганно тряхнул головою; и быстро оно исчезло, но не совсем: остался легкий, несглаживающийся след потревоженных воспоминаний о том, чего не было. И затем не раз в течение этой необыкновенной ночи он ловил себя на том, что, глядя на какую-нибудь вещь или лицо, старательно припоминал их, вызывал их из глубокой тьмы прошедшего или даже совсем не бывшего.

Если бы не знать наверное, он сказал бы, что уже был здесь однажды, — так минутами начинало все это казаться знакомым и привычным. И это было неприятно, так как слегка отчуждало его от себя и от своих и странно приближало к публичному дому с его дикой, отвратительной жизнью.

Молчать становилось тяжело. Спросил:

— Отчего вы не пьете?

Она вздрогнула:

— Что?

— Вы бы выпили, Люба. Отчего вы не пьете?

— Одна я не хочу.

— К сожалению, я не пью.

— А я одна не хочу.

— Я лучше грушу съем.

— Ешьте. Для того и брали.

— А вы грушу не хотите?

Девушка не ответила и отвернулась. Но поймала на своих голых и прозрачно-розовых плечах его взгляд и накинула на них серый вязаный платок.

— Холодно что-то, — сказала она отрывисто.

— Да, холодновато, — согласился он, хотя в маленькой комнатке было жарко. И опять стояло долгое и напряженное молчание. Из зала донеслись громкие, призывные звуки ригурнеля.

— Танцуют, — сказал он.

— Танцуют, — ответила она.

— За что вы, Люба, так рассердились на меня... и ударили меня?

— Так нужно было, вот и ударила. Не убила ведь, чего же спрашивать? — Она нехорошо засмеялась.

Девушка сказала: «так нужно». Смотрела на него прямо своими черными, окружившимися глазами, улыбалась бледно и решительно и говорила: «так нужно». И на подбородке у нее была ямочка. Трудно было поверить, что это ее голова — вот эта злая, бледная голова — минуту назад лежала на его плече. И ее он ласкал.

— Так вот как! — сказал он мрачно. Прошелся несколько раз по комнате, на шаг не доходя до девушки, и, когда сел на прежнее место — лицо у него было чужое, суровое и несколько надменное. Молчал, смотрел, подняв брови на потолок, на котором играло светлое с розовыми краями пятно. Что-то ползало, маленькое и черное, должно быть, ожившая от тепла, запоздалая, осенняя муха. Проснулась она среди ночи и ничего, наверно, не понимает и умрет скоро. Вздыхнул.

Девушка громко рассмеялась.

— Что вас радует? — холодно взглянул он и отвернулся.

— Да так. А ведь вы действительно похожи на писателя. Вы не обижаетесь? Он тоже сперва пожалеет, а потом начинает сердиться, отчего я не молюсь на него, как на икону. Такой обидчивый. Будь бы он Богом, ни одной лампадки бы не простил... — Она засмеялась.

— А откуда вы знаете писателей? Ведь вы ничего не читаете.

— Бывает один, — коротко ответила Люба.

Он задумался, устремив на девушку неподвижный, тяжелый, как-то слишком спокойно разглядывающий взор. Как человек, прошедший жизнь в мятеже, он и в девушке смутно почувствовал бунтарскую душу, и это волновало его и заставляло искать и догадываться: почему именно на него обрушился ее гнев? И то, что она имела дело с писателями и, вероятно, разговаривала с ними, и то, что она могла держать себя иногда так спокойно и с достоинством, и говорить так зло, — невольно поднимало ее и ее удару придавало характер чего-то значительно более серьезного и важного, чем простая истерическая вспышка полупьяной и полуголой проститутки. И, только рассерженный, но нисколько не оскорбленный вначале, — теперь, когда прошло уже столько времени, он вдруг минутами начинал оскорбляться — и не только умом.

— За что вы ударили меня, Люба? Когда человека бьют по лицу, то должны сказать ему, за что? — повторил он прежний вопрос хмуро и настойчиво. Упрямство и твердость камня были в его выдавшихся скулах, тяжелом лбу, давившем глаза.

— Не знаю, — ответила Люба так же упрямо, но избегая его взгляда.

Не хотела отвечать. Он передернул плечами и снова с упорством принялся разглядывать девушку и соображать. Его мысль в обычное время была туга и медленна; но, потревоженная однажды, она начинала работать с силою и неуклонностью почти механическими, становилась чем-то вроде гидравлического пресса, который, опускаясь медленно, дробит камни, выгибает железные балки, давит людей, если они попадут под него — равнодушно, медленно и неотвратно. Не оглядываясь ни направо, ни налево, равнодушный к софизмам, полуответам и намекам, он двигал свою мысль тяжело, даже жестоко — пока не расплывалась она или не доходила до того крайнего, логического предела, за которым пустота и тайна. Своей мысли от себя он не отделял, мыслил как-то весь, всем телом, и каждый логический вывод тотчас становился для него и действенным, — как это бывает только у очень здоровых, непосредственных людей, не сделавших еще из своей мысли игрушку.

И теперь, взбудораженный, выбитый из колеи, похожий на большой паровоз, который среди черной ночи сошел с рельсов и продолжает каким-то чудом прыгать по кочкам и буграм — он искал дороги, во что бы то ни стало хотел найти ее. Но девушка молчала и, видимо, вовсе не хотела разговаривать.

— Люба! Давайте поговорим спокойно. Надо же...

— Я не хочу говорить спокойно. Опять!

— Слушайте, Люба. Вы меня ударили, и так я этого не оставлю.

Девушка усмехнулась.

— Да? Что же вы со мной сделаете? К мировому пойдете?

— Нет. Но я буду ходить к вам, пока вы мне не объясните.

— Милости просим! Хозяйке доход.

— Приду завтра. Приду...

И вдруг, почти одновременно с мыслью, что ни завтра, ни послезавтра ему прийти нельзя, — явилась догадка, даже уверенность, почему девушка поступила так. Он даже повеселел.

— Ах, так вот как! Это вы за то ударили меня, что я пожалел вас, оскорбил своею жалостью? Да, глупо вышло... Правда, я этого не хотел, но, быть может, это действительно оскорбляет. Конечно, раз вы такой же человек, как и я...

— Такой же? — Она усмехнулась.

— Ну, будет. Давайте руку, помиримся.

Люба опять слегка побледнела.

— Вы хотите, чтобы я опять вам по роже дала?

— Да ведь руку, по-товарищески! По-товарищески! — искренно, даже басом почему-то, воскликнул он.

Но Люба встала и, уже отойдя несколько, произнесла:

— Знаете что... Либо вы дурак, либо вас действительно мало били!

Потом взглянула на него и громко расхохоталась:

— Ну, ей-Богу же, мой писатель! Совершеннейший писатель! Да как же вас не бить, голубчик вы мой!

По-видимому, слово «писатель» было для нее бранным, и вкладывала она в него свой особенный, определенный смысл. И уже с совершенным, с полным презрением, не считаясь с ним, как с вещью, как с безнадежным идиотом или пьяным, свободно прошла по комнате и кинула вскользь:

— А что, я тебя больно ударила? Чего ты хнычешь все?

Он не ответил.

— Писатель мой говорит, что я больно дерусь. Но, может, у него лицо поблагороднее, а по твоей мужицкой харе сколько ни хлопай, не почувствуешь? Ах, много народу я по морде била, а никого мне так не жалко, как писательчика моего. Бей, говорит, бей, — так мне и надо. Пьяный, слюнявый, бить-то даже противно. Такая сволочь. А об твою рожу я даже руку ушибла. На — целуй ушибленное.

Она ткнула руку к его губам и снова быстро заходила. Возбуждение ее росло, и казалось минутами, будто она задыхается в чем-то горячем: потирала себе грудь, дышала широко открытым ртом и бессознательно хваталась за оконные драпри. И уже два раза на ходу налила и выпила коньяку. Во второй

раз он заметил ей угрюмо-вопросительно:

— Вы же не хотели пить одна?

— Характеру нет, голубчик, — ответила она просто. — Да и отравлена я, не попью некоторое время, удушье делается. От этого и подохну.

И вдруг, точно теперь только заметив его, удивленно вскинула глаза и захохотала.

— А, это ты! Тут еще, не ушел. Посиди, посиди! — С диким выражением глаз она сдернула вязаный платок, и снова зарозовели ее плечи и тонкие, нежные руки.

— И чего-то я закуталась? Тут и так жарко, а я... Это я его берегла, как же, нужно... Послушайте, вы бы сняли штаны. Тут таковские, тут можно без штанов. Может быть, у вас грязные кальсоны, так я вам дам свои. Ничего, что с разрезом? Послушайте, наденьте! Ну, миленький, ну, голубчик, ну, что вам стоит...

Она хохотала и, захлебываясь от хохота, просила его, протягивала руки. Потом быстро соскользнула на пол, стала на колени и, ловя его руки, умоляла:

— Ну, голубчик, ну, миленький, я вам ручки расцелую!.. Он отодвинулся и с угрюмой тоскою сказал:

— За что вы меня, Люба? Что я вам сделал? Я так хорошо к вам отношусь... За что вы меня, за что? Разве я обидел вас? Ну, если обидел, простите. Ведь я совсем в этом, во всех этих делах... несведущ.

Передернув презрительно голыми плечами, Люба гибко поднялась с колен и села. Дышала она трудно.

— Значит, не наденете? А жалко, я бы посмотрела.

Он начал говорить что-то, запнулся и продолжал нерешительно, растягивая слова:

— Послушайте, Люба... Конечно, я... все это пустяки. И если вы уже так хотите, то... можно потушить огонь. Потушите огонь, Люба.

— Что? — удивилась девушка и широко открыла глаза.

— Я хочу сказать, — заторопился он, — что вы женщина, и я... Конечно, я был неправ... Вы не думайте, что это жалость, Люба, нет, вовсе нет... Я и сам... Потушите огонь, Люба.

Смущенно улыбнувшись, он протянул к ней руки с неуклюжей ласковостью человека, который никогда не имел дела с женщинами. И увидел: сцепив напряженно пальцы, она поднесла их к подбородку и точно вся превратилась в одно огромное, задержанное в поднятой груди дыхание. И глаза у нее стали огромные, и смотрели они с ужасом, с тоской, с невыносимым презрением.

— Что вы, Люба? — отшатнулся он. И с холодным ужасом, почти тихо, она произнесла, не разжимая пальцев:

— Ах, негодяй! Боже мой, какой же ты негодяй! И, багрово-красный от стыда, отвергнутый, оскорбленный тем, что сам оскорбил, он топнул ногою и бросил в широко открытые глаза, в их безбрежный ужас и тоску, короткие, грубые слова:

— Проститутка! Дрянь! Молчи!

Но она тихо качала головою и повторяла:

— Боже мой! Боже мой, какой же ты негодяй!

— Молчи, дрянь! Ты пьяна. Ты с ума сошла. Ты думаешь, мне нужно твое поганое тело. Ты думаешь, для такой я себя берег, как ты. Дрянь, бить тебя надо! — Он размахнулся рукою, чтобы дать пощечину, но не ударил.

— Боже мой! Боже мой!

— И их еще жалеют! Истреблять их надо, эту мерзость, эту мерзость. И тех, кто с вами, всю эту сволочь... И это обо мне, обо мне ты смела подумать! — Он крепко сжал ее руки и бросил ее на стул.

— Хороший! Да? Хороший? — хохотала она в восторге, будто обрадовалась безмерно.

— Да, хороший! Честный всю жизнь! Чистый! А ты? А кто ты, дрянь, зверюка несчастная?

— Хороший! — упивалась она восторгом.

— Да, хороший. Послезавтра я пойду на смерть для людей, а ты — а ты? Ты с палачами моими спать будешь. Зови сюда твоих офицеров. Я брошу им тебя под ноги: берите вашу падаль. Зови!

Люба медленно встала. И когда он, бурно взволнованный, гордый, с широко раздувающимися ноздрями, взглянул на нее, то встретил такой же гордый и еще более презрительный взгляд. Даже жалость как будто светилась в надменных глазах проститутки, вдруг чудом поднявшейся на ступень невидимого престола и оттуда с холодным и строгим вниманием разглядывавшей у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое. Уже не смеялась она, и волнения не было заметно, и глаз невольно искал ступенек, на которых стоит она, — так сверху вниз умела глядеть эта женщина.

— Ты что? — спросил он, отступая, все еще яростный, но уже поддающийся влиянию спокойного, надменного взгляда.

И строго, с зловещей убедительностью, за которой чувствовались миллионы раздавленных жизней, и моря горьких слез, и огненный непрерывный бунт возмущенной справедливости — она спросила:

— Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я — плохая?

— Что? — не понял он сразу, вдруг ужаснувшись пропасти, которая у самых ног его раскрыла свой черный зев.

— Я давно тебя ждала.

— Ты меня ждала?

— Да. Хорошего ждала. Пять лет ждала, может, больше. Все они, какие приходили, жаловались, что подлецы они. Да подлецы они и есть. Мой писатель говорил сперва, что хороший, а потом сознался, что тоже подлец. Таких мне не нужно.

— Чего же тебе нужно?

— Тебя мне нужно, миленький. Тебя. Да, как раз такой. — Она внимательно и спокойно оглядела его с ног до головы и утвердительно кивнула бледной головой. — Да. Спасибо, что пришел.

Ему, ничего не боявшемуся, вдруг стало страшно.

— Чего же тебе надо? — повторил он, отступая.

— Надо было хорошего ударить, миленький, настоящего хорошего. А тех слюняев и бить не стоит, руки только марать. Ну вот и ударила, можно теперь и ручку себе поцеловать. Милая ручка, хорошего ударила!

Она засмеялась и действительно погладила и трижды поцеловала свою правую руку. Он дико смотрел на нее, и мысли его, такие медленные, теперь бежали с отчаянной быстротой; и уже приближалось, словно черная туча, то ужасное и непоправимое, как смерть.

— Ты что сказала... Что ты сказала?

— Я сказала: стыдно быть хорошим. А ты этого не знал?

— Не знал, — пробормотал он, вдруг глубоко задумавшись и даже как будто забывши про нее. Сел.

— Ну вот, узнай.

Говорила она спокойно, и только по тому, как ходила под рубашкой грудь, заметно было глубокое волнение, сдушенный тысячеголосый крик.

— Ну, узнал?

— Что? — очнулся он.

— Узнал, говорю?

— Погоди!

— Погожу, миленький. Пять лет ждала, а теперь пять минуток да не погодить!

Она опустилась на стул и, точно в предчувствии какой-то необыкновенной радости, заломила голые руки и закрыла глаза:

— Ах, миленький, миленький ты мой!..

— Ты сказала: стыдно быть хорошим?

— Да, миленький, стыдно.

— Так ведь это!.. — Он в страхе остановился.

— То-то и есть. Испугался? Ничего, ничего. Это сначала только страшно.

— А потом?

— Вот останешься со мною и узнаешь, что потом.

Он не понял.

— Как останусь?

Удивилась, в свою очередь, девушка:

— Да разве теперь, после этого, тебе можно куда-нибудь идти? Смотри, миленький, не обманывай. Ведь не подлец же и ты, как другие. А хороший — так останешься, никуда не пойдешь. Недаром же я тебя ждала.

— Ты с ума сошла! — сказал он резко.

Она строго поглядела на него и даже погрозила пальцем.

— Нехорошо. Не говори так. Раз пришла к тебе правда, поклонись ей низко, а не говори: ты с ума сошла. Это мой писатель говорит: ты с ума сошла! — так на то он и подлец. А ты будь честный.

— А вдруг не останусь? — мрачно усмехнулся он побелевшими искривленными губами.

— Останешься! — сказала она с уверенностью. — Куда тебе идти теперь? Тебе некуда идти. Ты честный. У подлеца дорог много, а у честного одна. Это я еще тогда поняла, как ты мне руку поцеловал. Дурак, думаю, а честный. Ты не обижаешься, что я дураком тебя сочла? Да ты сам виноват. Зачем ты невинность свою мне предлагал? Думал: дам ей невинность мою, она и отступится. Ах, дурачок, дурачок! Сперва я даже обиделась: что же это, думаю, даже за человека не считает; а потом вижу, что и это тоже от хорошеи от твоей. И так ты рассчитывал: отдам ей невинность и оттого, что отдам, стану я еще невиннее, и получится у меня вроде как бы неразменный рубль. Я его нищему, а он ко мне назад. Я его нищему, а он ко мне назад. Нет, миленький, этот номер не пройдет.

— Не пройдет?

— Не-е-т, миленький, — протянула она. — Не на дуру напал. Я купцов-то этих достаточно насмотрелась: награбит миллионы, а потом даст целковый на церковь да и думает, что прав. Нет, миленький, ты мне всю церковь построй. Ты мне самое дорогое дай, что у тебя есть, а то невинность! Может, и невинность-то только потому и отдаешь, что самому не нужна стала, заплесневела. Невеста у тебя есть?

— Нет.

— А будь невеста и жди она тебя завтра с цветами, да с поцелуями, да с любовью — отдал бы невинность или нет?

— Не знаю, — сказал он задумчиво.

— Вот то-то и есть. Сказал бы: лучше жизнь мою возьми, а честь мою оставь! Что подешевле, то и отдаешь. Нет, ты мне самое дорогое отдай, такое, без чего сам не можешь жить, вот!

— Да зачем я отдам? Зачем?

— Как зачем? Да все затем же, чтобы стыдно не было.

— Люба, — воскликнул он в удивлении. — Послушай, да ведь ты сама...

— Хорошая, хочешь сказать? Слыхала и это. От писательчика моего не раз слыхала. Только это, миленький, неправда. Самая я настоящая девка. Вот останешься, узнаешь.

— Да не останусь же я! — крикнул он сквозь зубы.

— Не кричи, миленький. Криком против правды ничего не сделаешь. Правда, как смерть — придет, так принимай, какая ни на есть. С правдой тяжело, миленький, встретиться, по себе знаю, — и шепотом, глядя ему прямо в глаза, добавила: — Бог-то ведь тоже хороший!

— Ну?

— Больше ничего... Сам понимай, а я ничего говорить не стану. Только вот уже пять лет, как в церкви не была. Вот она, правда-то!

Правда, какая правда? Что это еще за новый, неизвестный ужас, которого не знал он ни перед лицом смерти, ни перед лицом самой жизни? Правда!

Скуластый, крепкоголовый, знающий только «да» и «нет», он сидел, опершись головою о руки, и медленно переводил глаза, будто с одного края жизни до другого края ее. И распадалась жизнь, как плохо склеенный запертый ящик, попавший под осенний дождь, и в жалких обломках ее нельзя было узнать недавнего прекрасного целого, чистого хранилища души его. Он вспоминал милых, родных людей, с которыми он жил всю жизнь и работал в дивном единении радости и горя, — и они казались чужими, и жизнь их непонятной, и работа их бессмысленной. Точно вдруг взял кто-то его душу мощными руками и переломил ее, как палку о жесткое колено, и далеко разбросил концы. Только несколько часов он здесь, только несколько часов он оттуда, — а кажется, будто всю жизнь он здесь, против этой полуголой женщины, слушает далекую музыку и треньканье шпор, и не уходил никуда. И не знает, вверху он или внизу, — знает только, что он против, мучительно против всего того, что только что, еще сегодня днем, составляло его жизнь и его душу. Стыдно быть хорошим.

Вспомнил книги, по которым учился жить, и улыбнулся горько. Книги! Вот она книга — сидит с голыми руками, с закрытыми глазами, с выражением блаженства на бледном, измученном лице и ждет терпеливо. Стыдно быть хорошим... И вдруг с тоскою, с ужасом, с невыносимой болью он почувствовал, что та жизнь кончена для него навсегда, — что уже не может он быть хорошим. Только этим и жив, что хороший, только этому и радовался, только это и противопоставлял и жизни и смерти, — и этого нет, и нет ничего. Тьма. И

останется ли он здесь, и вернется ли он назад, к своим — у него уже нет своих. Зачем пришел он в этот проклятый дом! Остался бы лучше на улице, отдался бы в руки сыщикам, пошел бы в тюрьму — что такое тюрьма, в которой еще можно, еще не стыдно быть хорошим! А теперь — и в тюрьму поздно.

— Ты плачешь? — спросила девушка беспокойно.

— Нет! — ответил он резко. — Я никогда не плачу.

— И не надо, миленький. Это мы, женщины, можем плакать, а вам нельзя. Если и вы заплачете, кто же тогда ответит Богу?

Да, своя; вот эта — своя.

— Люба, — воскликнул он с тоскою, — что же делать! Что же делать!

— Оставайся со мною. Со мною оставайся — ты ведь мой теперь.

— А они?

Девушка нахмурилась:

— Какие еще они?

— Да люди, люди же! — воскликнул он в бешенстве, — люди, для которых работал! Ведь не для себя же в самом деле, не для собственного утешения нес я все это — к убийству готовился!

— Ты мне о людях не говори! — строго сказала девушка, и губы ее задрожали. — Ты мне лучше о людях не говори — опять драться буду! Слышишь!

— Да что ты? — удивился он.

— Что я — собака? И все мы — собаки? Миленький, поостерегись! Попрятался за людей, и будет. Не прячься от правды, миленький, от нее никуда не спрячешься! А если любишь людей, жалеешь нашу горькую братию — так вот, бери меня. А я, миленький мой, — тебя возьму!

V

Сидела, заломив руки, вся в блаженной истоме, вся счастливая безумно — будто помешанная. Покачивала головою и, не открывая блаженно грезящих глаз, говорила медленно, почти пела:

— Миленький мой! Пить с тобою будем. Плакать с тобою будем, — ох, как сладко плакать будем, миленький ты мой. За всю жизнь наплачуся! Остался со мною, не ушел. Как увидела тебя сегодня в зеркале, так сразу и метнулося: вот он, мой суженый, вот он, мой миленький. И не знаю я, кто ты, брат ли ты мой, или жених, а весь родной, весь близкий, весь желанненький...

Вспомнил и он эту черную, немую траурную пару в золотой раме зеркала и свое тогдашнее ощущение: как на похоронах, — и вдруг стало так невыносимо больно, таким диким кошмаром показалось все, что он, в тоске, даже скрипнул зубами. И, идя мыслью дальше, назад, вспомнил милый револьвер в кармане — двухдневную погоню — плоскую дверь без ручки, и как он искал звонка, и как вышел опухший лакей, еще не успевший натянуть фрака, в одной ситцевой грязной рубашке, и как он вошел с хозяйкой в белый зал и увидел этих трех чужих.

И все свободнее ему становилось — и наконец ясно стало, что он такой же, как и был, и совершенно свободен, совершенно свободен и может идти куда хочет.

Он строго обвел глазами незнакомую комнату и сурово, с убежденностью человека, который очнулся на миг от тяжелого хмеля и видит себя в чуждой обстановке, осудил все увиденное:

— Что это! Какая бессмыслица! Какой нелепый сон!

* * *

Но музыка играла. Но женщина сидела, заломив руки, смеялась, бессильная говорить, изнемогающая под бременем безумного, невиданного счастья. Но это не был сон.

* * *

— Что же это? Так это — правда?

— Правда, миленький! Неразлучные мы с тобою. Это — правда. Правда — вот эти плоские мятые юбки, висящие на стене в своем голом безобразии. Правда — вот эта кровать, на которой тысячи пьяных мужчин бились в корчах гнусного сладострастья. Правда — вот эта душистая, старая, влажная вонь, которая липнет к лицу и от которой противно жить. Правда — эта музыка и шпоры. Правда — она, эта женщина с бледным, измученным лицом и жалко-счастливою улыбкой.

Опять он положил на руки тяжелую голову, смотрел исподлобья взглядом волка, которого не то убивают, не то он сам хочет убить, и думал бессвязно: «Так вот она, правда... Это значит: и завтра и послезавтра не пойду, и все узнают, почему я не пошел, остался с девкою, запил, и назовут меня предателем, трусом, негодяем. Некоторые заступятся, будут догадываться... нет, лучше не надеяться на это, лучше так. Кончено так кончено. В темноту так в темноту. А что дальше? Не знаю, темно. Вероятно, ужас какой-нибудь, — ведь я еще не умею по-ихнему. Как странно: нужно учиться быть плохим. У кого же? У нее?.. Нет, она не годится, она сама ничего не знает, ну да я сумею. Плохим нужно быть по-настоящему, так, чтобы... Ох, что-то большое я разрушу!.. А потом? А потом, когда-нибудь, приду к ней, или в кабак, или на каторгу, и скажу: теперь мне не стыдно, теперь я ни в чем не виноват перед вами, теперь я сам такой же, как вы, грязный, падший, несчастный. Или выйду на площадь, падший, и скажу: смотрите, какой я! Все у

меня было: и ум, и честь, и достоинство, и даже — страшно подумать — бессмертие; и все это я бросил под ноги проститутке, от всего отказался только потому, что она плохая... Что они скажут? Разинут рты, удивятся, скажут — „дурак“! Конечно, дурак. Разве я виноват, что я хороший? Пусть и она, пусть и все стараются быть хорошими... Раздай имение неимущим. Но ведь это имение и это Христос, в которого я не верю. Или еще: кто душу свою положит — не жизнь, а душу — вот как я хочу. Но разве сам Христос грешил с грешниками, прелюбодействовал, пьянствовал? Нет, Он только прощал их, любил даже. Ну, и я ее люблю, прощаю, жалею, — зачем же самому? Да, но ведь она в церковь не ходит. И я тоже. Это не Христос, это другое, это страшнее».

— Страшно, Люба!

— Страшно, миленький. Страшно человеку встретиться с правдой.

«Она опять о правде. Но отчего страшно? Чего я боюсь? Чего я могу бояться — когда я так хочу? Конечно, бояться нечего. Разве там на площади, перед этими разинутыми ртами, я не буду выше их всех? Голый, грязный, оборванный — у меня тогда будет ужасное лицо — сам отдавший все — разве я не буду грозным глашатаем вечной справедливости, которой должен подчиниться и сам Бог — иначе он не Бог!»

— Нет страшного, Люба!

— Нет, миленький, есть. Не боишься, и хорошо, но его не зови. Не надо.

«Так вот как я кончил. Не этого я ожидал. Не этого я ожидал для моей молодой, красивой жизни. Боже мой, но ведь это безумие, я с ума сошел! Еще не поздно! Еще не поздно. Еще можно уйти!»

— Миленький ты мой! — бормотала женщина, заломив руки.

Он хмуро взглянул на нее. В блаженно закрытых глазах ее, в блуждающей, счастливой, бессмысленной улыбке была неутолимая жажда, ненасытимый голод. Точно уже сожрала она что-то огромное и сожрет еще. Взглянул хмуро на тонкие, нежные руки, на темные впадины в подмышках и неторопливо встал. И с последним усилием спасти что-то драгоценное — жизнь или рассудок, или старую добрую правду — неторопливо и серьезно начал одеваться. Не может найти галстука.

— Послушай, ты не видала моего галстука?

— Ты куда? — оглянулась женщина. Руки ее упали с головы, и вся она потянулась вперед, к нему.

— Ухожу.

— Уходишь? — протяжно повторила она. — Уходишь? Куда?

Он усмехнулся угрюмо.

— Разве мне некуда идти. К товарищам иду.

— К хорошим? Ты обманул меня?

— Да, к хорошим, — опять усмехнулся.

Наконец он оделся; провел ладонями по бокам:

— Давай бумажник.

Подала.

— А часы?

Подала. Они лежали тут же, на столике.

— Прощай.

— Испугался?

Вопрос был спокойный, простой. Он взглянул: стояла высокая, стройная женщина, с тонкими, почти детскими руками, улыбалась бледно, побелевшими губами, и спрашивала:

— Испугался?

Как она менялась странно: то сильная, даже страшная, то вот как теперь, печальная, и больше на девушку похожа, чем на женщину. Но это ведь все равно. Сделал шаг к двери.

— А я думала, что ты останешься.

— Что?

— А я думала, что останешься. Со мною.

— Зачем?

— Ключ у тебя, в кармане. Да так: чтобы мне лучше было.

Уже щелкнул замок.

— Ну что же. Ступай. Ступай к своим хорошим, а я...

...И вот тогда, в эту последнюю минуту, когда оставалось открыть дверь и за нею вновь найти товарищей, прекрасную жизнь и героическую смерть, — он совершил дикий непонятный поступок, погубивший его жизнь. Было ли то безумие, которое овладевает иногда так внезапно самыми сильными и спокойными умами, или действительно — под визг пьяной скрипки, в стенах публичного дома, под дикими чарами подведенных глаз проститутки — он открыл какую-то последнюю ужасную правду жизни, свою правду, которой не могли и не могут понять другие люди. Но было ли безумием или здоровьем ума, было ли ложью или правдой новое понимание его, — он принял его твердо и бесповоротно, с тою безусловностью факта, которая всю прежнюю жизнь его вытянула в одну прямую огненную линию, оперила ее, как стрелу.

Провел медленно, очень медленно руками по щетинистому твердому черепу и, даже не закрыв двери, — просто пошел и сел на кровати. Широкоскулый, бледный, похожий с виду на иностранца, на англичанина.

— Что ты? Забыл что-нибудь? — удивилась женщина: так теперь не ожидала она того, что случилось.

— Нет.

— Что же ты? Почему ты не уходишь?

И спокойно, с выражением камня, на котором жизнь тяжелой рукою своею высекла новую страшную, последнюю заповедь, он сказал:

— Я не хочу быть хорошим.

Она ждала, не смея верить, — вдруг ужаснувшаяся тому, чего искала и жаждала так долго. Стала на колени. И, слегка улыбнувшись, уже по-новому, по-страшному возвышаясь над ней, он положил руку ей на голову и повторил:

— Я не хочу быть хорошим.

И радостно засуетилась женщина. Она раздевала его как ребенка, расшнуровывала ботинки, путаясь в узлах, гладила его по голове, по коленам, и не смеялась даже — так полно было ее сердце. Вдруг взглянула на его лицо и испугалась:

— Какой ты бледный! Пей, пей скорее. Тебе трудно, Петечка?

— Меня зовут Алексей.

— Все равно. Хочешь, я налью тебе в стакан? Только смотри, не обожгись, с непривычки трудно из стакана.

И, раскрыв рот, смотрела, пока он пил медленными, слегка неуверенными глотками. Закашлялся.

— Это ничего, ничего. Ты хорошо будешь пить, это сразу видно. Молодец же ты у меня! До чего же я рада!

Завизжав, она вспрыгнула на него и стала душить короткими, крепкими поцелуями, на которые он не успевал отвечать. Смешно: чужая, а так целует! Крепко сжал ее руками, вдруг лишив ее возможности двигаться, и некоторое время молча, сам не двигаясь, держал так, точно испытывал силу покоя, силу женщины — силу свою. И женщина покорно и радостно немела в его руках.

— Ну, ладно! — сказал он и вздохнул незаметно.

И вновь металась женщина, горя в дикой радости своей, как в огне. И так наполнила своими движениями комнату, как будто не одна, а несколько таких полубезумных женщин говорило, двигалось, ходило, целовало. Поила его коньяком и пила сама. Вдруг спохватилась и даже всплеснула руками.

— А револьвер! А револьвер-то мы и забыли! Давай, давай скорее, нужно его отнести в контору.

— Зачем?

— Ну его, боюсь я этих вещей. А вдруг выстрелит?

Он усмехнулся и повторил:

— А вдруг выстрелит? Да. А вдруг выстрелит!

Вынул револьвер и несколько медленно, точно меряя рукою тяжесть спокойного, послушного оружия, передал его девушке. Достал и обоймы.

— Неси.

И когда остался один, без револьвера, который носил столько лет, с полуоткрытой дверью, в которую неслись издали чужие, незнакомые голоса и тихое позвякивание шпор, — почувствовал он всю громаду бремени, которое взвалил на плечи свои. Тихо прошелся по комнате и, обратясь лицом в сторону, где должны были находиться те, произнес:

— Ну?

И застыл, сложив руки на груди, обратив глаза в сторону, где должны были находиться те. И было в этом коротеньком слове много: и последнее прощание, и глухой вызов, и бесповоротная, злая решимость бороться со всеми, даже со своими, и немного, совсем немного тихой жалобы.

Все также стоял он, когда прибежала Люба и с порога взволнованно заговорила:

— Миленький, ты не рассердишься? Не сердись, я подруг сюда позвала. Так, некоторых. Ничего? Понимаешь: очень мне захотелось им тебя показать, суженого моего, миленького моего. Ничего? Они славные, их нынче никто не взял, и они одни там. А офицеры по комнатам разошлись. А один офицерик видел твой револьвер и похвалил: очень хороший, говорит. Ничего? Миленький, ничего? — душила его девушка короткими, быстрыми, крепкими поцелуями.

А те уже входили, повизгивая, жеманясь, и чинно садились рядом, одна возле другой. Их было пять или шесть самых некрасивых или старых, накрашенных, с подведенными глазами, с волосами, навесом начесанными на лоб.

Некоторые делали вид, что стыдятся, и хихикали, другие спокойно и просто ожидали коньяку и глядели на него серьезно, протягивали руку и здоровались, входя. По-видимому, они уже ложились спать, потому что все были в легких капотах, а одна, чрезвычайно толстая, ленивая и равнодушная, пришла даже в одной юбке, с голыми, невероятно толстыми руками и жирною, словно распухшею грудью. Эта толстая и еще одна со злым, птичьим, старым лицом, на котором белила лежали, как грязная штукатурка на стене, были совершенно пьяны, остальные же сильно навеселе. И все это полуголое, откровенное, хихикающее окружило его, и сразу нестерпимо запахло телом, портером, все теми же влажными, мыльными духами. Прибежал с коньяком и портером потный лакей в обтянутом кургузом фраке, и все девицы хором встретили его:

— Маркуша! Милай Маркуша! Маркуша!

По-видимому, это было в обычае — встречать его такими возгласами, потому что даже и толстая, пьяная, лениво прогудела:

— Маркуша!

И все это было необыкновенно. Пили, чокались, говорили все сразу и о чем-то своем. Злая, с птичьим лицом, раздраженно и крикливо рассказывала о госте, который брал ее на время и с которым у нее что-то вышло. Часто ввертывали уличные ругательства, но произносили их не равнодушно, как мужчины, а всегда с особенной едкостью, с некоторым вызовом; все вещи называли своими именами.

На него вначале обращали внимания мало, да и сам он упорно молчал и выглядывал. Счастливая Люба сидела очень тихо рядом с ним на постели, обнимая его рукою за шею, сама пила немного, но ему постоянно подливала. И часто в самое ухо шептала:

— Миленький!

Пил он много, но не хмелел, а что-то другое происходило в нем, что производит нередко в людях таинственный и сильный алкоголь. Будто — пока он пил и молчал — внутри его происходила огромная, разрушительная работа, быстрая и глухая. Как будто все, что он узнал в течение жизни, полюбил и передумал, разговоры с товарищами, книги, опасная и завлекательная работа — бесшумно сгорало, уничтожалось бесследно, но сам он от этого не разрушался, а как-то странно креп и твердел. Словно с каждой выпитой рюмкой он возвращался к какому-то первоначалу своему — к деду, к прадеду, к тем стихийным, первобытным бунтарям, для которых бунт был религией и религия — бунтом. Как линючая краска под горячей водой — смывалась и блекла книжная чуждая мудрость, а на место ее вставало свое собственное, дикое и темное, как голос самой черной земли. И диким простором, безграничностью дремучих лесов, безбрежностью полей веяло от этой последней темной мудрости его; в ней слышался смятенный крик колоколов, в ней виделось кровавое зарево пожаров, и звон железных кандалов, и исступленная молитва, и сатанинский хохот тысяч исполинских глоток — и черный купол неба над непокрытой головою.

Так сидел он, широкоскулый, бледный, вдруг такой родной, такой близкий всем этим несчастным, галдевшим вокруг него. И в опустошенной, выжженной душе и в разрушенном мире белым огнем расплавленной стали сверкала и светилась ярко одна его раскаленная воля. Еще слепая, еще бесцельная, она уже выгибалась жадно; и в чувстве безграничного могущества, способности все создать и все разрушить, спокойно железнело его тело.

Вдруг он стукнул кулаком по столу:

— Любка! Пей!

И когда она, светлая и улыбающаяся, покорно налила рюмки, он поднял свою и произнес:

— За нашу братию!

— Ты за тех? — шепнула Люба.

— Нет, за этих. За нашу братию! За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью. За тех, кто умирает от сифилиса...

Девушки рассмеялись, но толстая лениво попрекнула:

— Ну это, голубчик, уже слишком.

— Молчи! — сказала Люба, бледнея. — Он мой суженый!

— ...За всех слепых от рождения. Зрячие! выколем себе глаза, ибо стыдно, — он стукнул кулаком по столу. — Ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо, — это уже не рай, девушки, а просто-напросто свинство. Выпьем за то, девушки, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!

Он слегка покачнулся и выпил. Говорил он несколько туго, но твердо, отчетливо, с паузами, выговаривая каждое слово. Никто не понял этой дикой речи, но всем он понравился — понравился он сам, бледный и как-то по-особенному злой. Вдруг быстро заговорила Люба, протягивая руки:

— Он мой суженый. Он останется со мною. Он был честный, у него есть товарищи, а теперь он останется со мною.

— Поступай к нам, на место Маркуши, — лениво сказала толстая.

— Молчи, Манька, я морду тебе побью! Он останется со мною. Он был честный.

— Мы все были честные, — сказала злая, старая.

И другие подхватили:

— Я до четырех лет была честная... Я и сейчас честная, ей-Богу!

Люба чуть не плакала.

— Молчите, дряни вы этикие. У вас честность отняли, а он сам отдал. Взял и отдал: на мою честность! Не хочу я честности! Вы все тут... а он еще невинненький...

Она всхлипнула — и все разразилось хохотом. Хохотали, как могут хохотать только пьяные, со всею безудержностью их чувств; хохотали, как можно только хохотать в маленькой комнатке, где воздух уже насытился звуками, уже не принимает их и гулко выбрасывает назад, оглушая. Плакали от смеха, валились друг на друга, стонали; тоненьким голоском кудахтала толстая и бессильно падала со стула; наконец, глядя на них, залился хохотом он сам. Точно весь сатанинский мир собрался сюда, чтобы хохотом проводить в могилу маленькую, невинненькую честность, — и хохотала тихо сама умершая честность. Не смеялась только Люба. Дрожа от возмущения, она ломала руки, кричала что-то и наконец бросилась бить кулаками толстую, и та еле-еле бессильно отводила ее голыми, круглыми, как бревна, руками.

— Будет, — кричал он, но они не слышали. Наконец понемногу стихли.

— Будет! — еще раз крикнул он. — Стойте. Я вам еще штучку покажу.

— Оставь их! — говорила Люба, вытирая кулаком слезы. — Их всех надо выгнать!

— Испугалась? — повернул он лицо, еще дрожащее от хохота. — Честности захотелось? Глупая, — тебе все время только ее и хочется! Оставь меня!

И, не обращая больше на нее внимания, он обернулся к тем, встал, высоко поднял руки:

— Слушайте. Погодите. Я сейчас вам покажу. Смотрите сюда, на мои руки.

И, настроенные весело и любопытно, они смотрели на его руки и послушно, как дети, ждали, разинув рты. — Вот, — он потряс руками, — я держу в руках мою жизнь. Видите?

— Видим! Дальше!

— Она была прекрасна, моя жизнь. Она была чиста и прелестна, моя жизнь. Она была, знаете, как те красивые вазы из фарфора. И вот глядите: я бросаю ее!

Он опустил руки почти со стоном, и все глаза обратились на землю, как будто там действительно лежало что-то хрупкое и нежное, разбитое на куски — прекрасная человеческая жизнь.

— Топчите же ее, девки! Топчите, чтобы кусочка не осталось! — топнул он ногой.

И как дети, которые радуются новой шалости, они все с визгом и хохотом вскочили и начали топтать то место, где невидимо лежала разбитая нежная фарфоровая ваза — прекрасная человеческая жизнь. И постепенно овладела ими ярость. Смолк хохот и визг. Только тяжелое дыхание, густой сап и топот ног, яростный, беспощадный, неукротимый.

Как оскорбленная царица, через плечо, глядела на него Люба яростными глазами и вдруг, точно поняв, точно обезумев, — с радостным стоном бросилась в середину толкущихся женщин и быстро затопала ногами. Если бы не серьезность пьяных лиц, если бы не яростность потускневших глаз, не злоба искаженных, искривленных ртов, можно было бы подумать, что это новый особенный танец без музыки и без ритма.

И сцепив пальцами твердый, щетинистый череп — спокойно и угрюмо смотрел он.

* * *

Говорили в темноте два голоса.

Голос Любы, близкий, внимательный, чуткий, с легкими нотками особенного страха, каким бывает всегда голос женщины в темноте, — и его, твердый, спокойный, далекий. Слова он выговаривал слишком твердо, слишком отчетливо — и только в этом чувствовался еще не совсем прошедший хмель.

— У тебя глаза открыты? — спрашивала женщина.

— Открыты.

— Ты думаешь о чем-нибудь?

— Думаю.

Молчание и темнота, и снова внимательный, сторожкий женский голос:

— Расскажи мне еще о твоих товарищах. Ты можешь?

— Отчего же? Они были...

Он говорил «были», — как живые говорят о мертвых, или как мертвый мог бы говорить о живом. И рассказывал спокойно, почти равнодушно, с похоронными отзвуками меди в ровно текущем голосе, как старик, который рассказывает детям героическую сказку о давно минувших годах. И в темноте беспредельно раздвинувшей границы комнаты, вставала перед зачарованными глазами Любы крохотная горсточка людей, страшно молодых, лишенных матери и отца, безнадежно враждебных и тому миру, с которым борются, и тому — за который борются они. Ушедшие мечтою в далекое будущее, к людям-братьям, которые еще не родились, свою короткую жизнь они проходят бледными, окровавленными тенями, призраками, которыми люди пугают друг друга. И безумно коротка их жизнь: каждого из них ждет

виселица, или каторга, или сумасшествие; больше нечего ждать, — каторга, виселица, сумасшествие. И есть среди них женщины...

Люба охнула и приподнялась на локтях:

— Женщины! Что ты говоришь, миленький!

— Молоденькие, нежные девушки, почти подростки, — мужественно и смело идут они по стопам мужчин и гибнут...

— Гибнут. Господи!

Люба всхлипнула и прижалась к его плечу.

— Что, растрогалась?

— Ничего, миленький, я так. Рассказывай! Рассказывай!

И он рассказывал дальше. И удивительное дело: лед превращался в огонь, в похоронных отзвуках его прощальной речи для девушки с открытыми горящими глазами вдруг зазвучал благовест новой, радостной, могучей жизни. Слезы быстро накалились на ее глазах и сохли, словно на огне; взволнованная мятежно, она жадно слушала, и каждое тяжелое слово, как молот по горячему железу, ковало в ней новую звонкую душу. Равномерно опускался молот, и все звончее становилась душа, — и вдруг в душном смраде комнаты громко прозвучал новый, незнакомый голос — голос человека:

— Милый! Ведь я тоже женщина!

— Чего же ты хочешь?

— Ведь я тоже могу пойти к ним!

Он молчал. И вдруг в молчании своем, в том, что он был их товарищем, жил вместе с ними — показался ей таким особенным и важным, что даже неловко стало лежать с ним, так просто, рядом и обнимать его. Отодвинулась немного и руку положила легко, так, чтобы прикосновение чувствовалось как можно меньше. И, забывая свою ненависть к хорошим, все слезы свои и проклятия, долгие годы ненарушимого одиночества в вертепе, покоренная красотой и самоотречением ихней жизни — взволновалась до краски в лице, почти до слез, от страшной мысли, что те могут ее не принять.

— Милый! А они примут меня? Господи, что это такое? Как ты думаешь, как ты думаешь, они примут меня, они не побрезгуют? Они не скажут: тебе нельзя, ты грязная, ты собою торговала? Ну, скажи!

Молчание и ответ, несущий радость:

— Примут. Очего же?

— Миленький ты мой! Какие же они...

— Хорошие, — добавил мужской голос, словно поставил тупую, круглую точку. И радостно, с трогательным доверием девушка повторила:

— Да. Хорошие.

И так светла была ее улыбка, что, казалось, улыбнулась сама темнота, и какие-то звездочки забегали — голубенькие, маленькие точки. Приходила к женщине новая правда, но не страх, а радость несла с собою.

И робкий просящий голос:

— Так пойдем к ним, милый! Ты отведешь меня, не постыдишься, что привел такую? Ведь они поймут, как ты сюда попал. На самом деле — за человеком гонятся, куда ему деваться. Тут не только что, —

тут в помойную яму полезешь. И я... и я... я уже постараюсь. Что же ты молчишь?

Угрюмое молчание, в котором слышно биение двух сердец — одно частое, торопливое, тревожное — и твердые, редкие, странно редкие удары другого.

— Тебе стыдно привести такую? Угрюмое, длительное молчание и ответ, от которого повеяло холодом и непреклонностью жесткого камня:

— Я не пойду. Я не хочу быть хорошим.

Молчание.

— Они господа, — как-то странно и одиноко прозвучал его голос.

— Кто? — глухо спросила девушка.

— Те, прежние.

И опять длительное молчание — точно откуда-то сверху сорвалась птица и падает, бесшумно крутясь в воздухе мягкими крыльями, и никак не может достичь земли, чтобы разбиться о нее и лечь спокойно. В темноте он почувствовал, как Люба молча и осторожно, стараясь как можно меньше касаться, перебралась через него и стала возиться с чем-то.

— Ты что?

— Я не хочу лежать так. Хочу одеться.

Должно быть, оделась и села, потому что легонько скрипнул стул. И стало так тихо, как будто в комнате не было никого. И долго было тихо; и спокойный, серьезный голос сказал:

— Там, Люба, на столе остался, кажется, еще коньяк. Выпей рюмочку и ложись.

VI

Уже совсем рассветало, и в доме было тихо, как во всяком доме, — когда явилась полиция. После долгих сомнений и колебаний, боязни скандала и ответственности, — в полицейский участок был послан Маркуша с подробным и точным докладом о странном посетителе и даже с его револьвером и запасными обоймами. И там сразу догадались, кто это. Уже три дня полиция бредила им и чувствовала его тут, возле; и последние следы его терялись как раз в — ном переулке. Даже предположен был на одно время обход всех публичных домов в участке, но кто-то отыскал новый ложный путь, и туда направились поиски, и про дом забыли.

Затрещал тревожно телефон, и уже через полчаса в октябрьском холодке, сдирая подошвами иней, по пустым улицам двигалась молча огромная толпа городских и сыщиков. Впереди, всем телом чувствуя свою зловещую выброшенность вперед, шел участковый пристав, очень высокий пожилой человек в широком, как мешок, форменном пальто. Он зевал, закрывая красноватый, отвислый нос в сидящих усах, и думал с холодной тоскою, что надо было подождать солдат, что бессмысленно идти на такого человека без солдат, с одними сонными, неуклюжими городскими, не умеющими стрелять. И уже несколько раз мысленно назвал себя «жертвою долга» и каждый раз при этом продолжительно и тяжело зевал.

Это был всегда слегка пьяный старый пристав, развращенный публичными домами, которые находились в его участке и платили ему большие деньги за свое существование; и умирать ему вовсе не хотелось. Когда его подняли нынче с постели, он долго перекладывал свой револьвер из одной потной ладони в другую и, хотя времени было мало, зачем-то велел почистить сюртук, точно собирался на смотр. Еще накануне в участке, среди своих, вели разговор о нем, о котором бредила эти дни вся полиция, и пристав с цинизмом старого, пьяного своего человека называл его героем, а себя старой полицейской шлюхою. И когда помощники хохотали, серьезно уверял, что такие герои нужны хотя бы для того, чтобы их вешать:

— Вешаешь — и ему приятно, и тебе приятно. Ему потому, что идет прямо в царствие небесное, а мне, как удостоверение, что есть еще храбрые люди, не перевелись. Чего зубы скалите, — верно-с!

Правда, он и сам смеялся при этом, так как давно позабыл, где в его словах правда, а где ложь, то, что табачным дымом обволакивало всю его беспутную, пьяную жизнь. Но сегодня — в октябрьском утре, идя по холодным улицам, — он ясно почувствовал, что вчерашнее — ложь и что «он» просто негодяй; и было стыдно вчерашних мальчишеских слов.

— Герой! Как же! Господи, да если он, — изнывал пристав в молитве, — да если он, мерзавец, пошевелится, убью как собаку. Господи!

И опять думал, отчего ему, приставу, уже старому, уже подагрику, так хочется жить? И вдруг догадался: это оттого, что на улицах иней. Обернулся назад и свирепо крикнул:

— В ногу! Идут, как бараны... с... с...

А под пальто поддувало, а сюртук был широк, и все тело болталось в одежде, как желток в болтне — точно вдруг сразу похудел он. Ладони же рук, несмотря на холод, были потные.

Дом окружили так, будто не одного спящего человека собирались взять, а сидела там целая рота неприятелей; и потихоньку, на цыпочках, пробрались по темному коридору к той страшной двери. Был отчаянный стук, крик, трусливые угрозы застрелить сквозь дверь; и когда, почти сбивая с ног полуголую Любу, ворвались дружной лавой в маленькую комнату и наполнили ее сапогами, шинелями, ружьями, то увидели: он сидел на кровати в одной рубашке, спустив на пол голые, волосатые ноги, сидел и молчал. И

не было ни бомбы, ни другого страшного. Была только обыкновенная комната проститутки, грязная и противная при утреннем свете, смятая широкая кровать, разбросанное платье, загаженный и залитый портером стол; и на кровати сидел бритый, скуластый мужчина с заспанным, припухшим лицом и волосатыми ногами, и молчал.

— Руки вверх! — крикнул из-за спины пристав и крепче зажал в потной ладони револьвер. Но он рук не поднял и не ответил.

— Обыскать! — крикнул пристав.

— Да ничего же нету! Да я же револьвер отнесла! Господи! — кричала Люба, ляская от страха зубами.

И она была в одной только смятой рубашке, и среди одетых в шинели людей оба они, полуголый мужчина и такая же женщина, вызывали стыд, отвращение, брезгливую жалость. Обыскали его одежду, обшарили кровать, заглянули в углы, в комод и не нашли ничего.

— Да я же револьвер отнесла! — твердила бессмысленно Люба.

— Молчать, Любка! — крикнул пристав.

Он хорошо знал девушку, раза два или три ночевал с нею и теперь верил ей; но так неожиданен был этот счастливый исход, что хотелось от радости кричать, распоряжаться, показывать власть.

— Как фамилия?

— Не скажу. И вообще на вопросы отвечать не буду.

— Конечно-с, конечно! — иронически ответил пристав, но несколько оробел.

Потом взглянул на его голые, волосатые ноги, на всю эту мерзость — на девушку, дрожавшую в углу, и вдруг усомнился.

— Да тот ли это? — отвел он сыщика в сторону. — Что-то как будто?..

Сыщик, пристально вглядывавшийся в его лицо, утвердительно мотнул головой.

— Тот. Бороду только сбрил. По скулам узнать можно.

— Скулы разбойничьи, это верно...

— Да и на глаза гляньте. Я его по глазам из тысячи узнаю.

— Глаза, да... Покажи-ка карточку.

Он долго разглядывал матовую без ретуши карточку того, — и был он на ней очень красивый, как-то особенно чистый молодой человек с большой русской окладистой бородою. Взгляд был, пожалуй, тот же, но не угрюмый, а очень спокойный и ясный. Скул только не было заметно.

— Видишь: скул не видать.

— Да под бородою же. А ежели прощупать глазом...

— Так-то оно так, но только... Запой, что ли, у него бывает?

Высокий, худой сыщик с желтым лицом и реденькой бородкой, сам запойный пьяница, покровительственно улыбнулся:

— У них запоя не бывает-с.

— Сам знаю, что не бывает. Но только... Послушайте, — подошел пристав, — это вы участвовали в убийстве?.. — Он назвал почтительно очень важную и известную фамилию.

Но тот молчал и улыбался. И слегка покачивал одной волосатой ногой с кривыми, испорченными

обувью пальцами.

— Вас спрашивают!..

— Да оставьте. Он не будет же отвечать. Подождем ротмистра и прокурора. Те заставят разговориться!

Пристав засмеялся, но на душе у него становилось почему-то все хуже и хуже. Когда лазили под кровать, разлили что-то, и теперь в непроветренной комнатке очень дурно пахло. «Мерзость какая! — подумал пристав, хотя в отношении чистоты был человек нетребовательный, и с отвращением взглянул на голую качающуюся ногу. — Еще ногой качает!» Обернулся: молодой, белобрысый, с совсем белыми ресницами городской глядел на Любу и ухмылялся, держа ружье обеими руками, как ночной сторож в деревне палку.

— Эй, Любка! — крикнул пристав, — ты что же это, сучья дочь, сразу не донесла, кто у тебя?

— Да я же...

Пристав ловко дважды ударил ее по щеке, по одной, по другой.

— Вот тебе! Вот тебе! Я вам тут покажу!

У того поднялись брови и перестала качаться нога.

— Вам не нравится это, молодой человек? — Пристав все более и более презирал его. — Что же поделаешь! Вы эту харю целовали, а мы на этой харе...

И засмеялся, и улыбнулись конфузливо городовые. И что было всего удивительнее: засмеялась сама побитая Люба. Глядела приятно на старого пристава, точно радуясь его шутливости, его веселому характеру, и смеялась. На него, с тех пор, как пришла полиция, она ни разу не взглянула, предавая его наивно и откровенно; и он видел это, и молчал, и улыбался странной усмешкой, похожей на то, как если бы улыбнулся в лесу серый, вросший в землю заплесневший камень. А у дверей уже толпились полуодетые женщины: были среди них и те, что сидели вчера с ними. Но смотрели они равнодушно, с тупым любопытством, как будто в первый раз встречали его; и видно было, что из вчерашнего они ничего не запомнили. Скоро их прогнали.

Рассвело совсем, и в комнате стало еще отвратительнее и гаже. Показались два офицера, не выспавшиеся, с помятыми физиономиями, но уже одетые, чистые, и вошли в комнату.

— Нельзя, господа, ей-Богу, нельзя, — лениво говорил пристав и злобно смотрел на него.

Подходили, осматривали его с головы до голых ног с кривыми пальцами, оглядывали Любу и, не стесняясь, обменивались замечаниями.

— Однако хорош! — сказал молоденький офицерик, тот, что сзывал всех на котильон. У него, действительно, были прекрасные белые зубы, пушистые усы и нежные глаза с большими девичьими ресницами. На арестованного офицерик смотрел с брезгливой жалостью и морщился так, будто сейчас готов был заплакать. На левом мизинце у того была мозоль, и было почему-то отвратительно и страшно смотреть на этот желтоватый маленький бугорок. И ноги были грязноваты. — Как же это вы, сударь, ай-ай-ай! — качал головой офицер и мучительно морщился.

— Так-то-с, господин анархист. Не хуже нас грешных с девочками. Плоть-то и у вас, стало быть, немощна? — засмеялся другой, постарше.

— Зачем вы револьвер свой отдали? Вы бы могли хоть стрелять. Ну, я понимаю, ну, вы попали сюда, это может быть со всяким, но зачем же вы отдали револьвер? Ведь это нехорошо перед товарищами! — горячо говорил молоденький и объяснял старшему офицеру: — Знаете, Кнорре, у него был браунинг с

тремя обоями, представьте! Ах, как это нелепо.

И, улыбаясь насмешливо, с высоты своей новой, неведомой миру и страшной правды, глядел он на молоденького, взволнованного офицера и равнодушно покачивал ногою. И то, что он был почти голый, и то, что у него волосатые, грязноватые ноги с испорченными кривыми пальцами — не стыдило его. И если бы таким же вывести его на самую людную площадь в городе и посадить перед глазами женщин, мужчин и детей, он также равнодушно покачивал бы волосатой ногой и улыбался насмешливо.

— Да разве они понимают, что такое товарищество! — сказал пристав, свирепо косясь на качающуюся ногу, и лениво убеждал офицеров: — Нельзя разговаривать, господа, ей-Богу, нельзя. Сами знаете, инструкции.

Но свободно входили новые офицеры, осматривали, переговаривались. Один, очевидно, знакомый, поздоровался с приставом за руку. И Люба уже кокетничала с офицерами.

— Представьте, браунинг, три обоймы, и он, дурак, сам его отдал, — рассказывал молоденький. — Не понимаю!

— Ты, Миша, никогда этого не поймешь.

— Да ведь не трусы же они!

— Ты, Миша, идеалист, у тебя еще молоко на губах не обсохло.

— Самсон и Далила! — сказал иронически невысокий, гнусавый офицер с маленьким полупровалившимся носиком и высоко зачесанными редкими усами.

— Не Далила, а просто она его удавила.

Засмеялись.

Пристав, улыбавшийся приятно и потиравший книзу свой красноватый, отвислый нос, вдруг подошел к нему, стал так, чтобы загородить его от офицеров своим туловищем в широком свисавшем сюртуке, — и заговорил сдушенным шепотом, бешено ворочая глазами:

— Стыдно-с!.. Штаны бы надели-с!.. Офицеры-с!.. Стыдно-с... Герой тоже... С девкою связался, со стервой... Что товарищи твои скажут, а?.. У-х, ска-а-тина...

Напряженно вытянув голую шею, слушала его Люба. И так стояли они друг возле друга — три правды, три разные правды жизни: старый взяточник и пьяница, жаждавший героев, распутная женщина, в душу которой были уже заброшены семена подвига и самоотречения, — и он. После слов пристава он несколько побледнел и даже как будто хотел что-то сказать, но вместо того улыбнулся и вновь спокойно закачал волосатой ногой.

Разошлись понемногу офицеры, городовые привыкли к обстановке, к двум полуголым людям, и стояли сонно, с тем отсутствием видимой мысли, какая делает похожими лица всех сторожей. И, положив руки на стол, задумался пристав глубоко и печально о том, что заснуть сегодня уже не придется, что надо идти в участок и принимать дела. И еще о чем-то, еще более печальном и скучном.

— Можно мне одеться? — спросила Люба.

— Нет.

— Мне холодно.

— Ничего, посидишь и так.

Пристав не глядел на нее. И, перегнувшись, вытянув тонкую шею, она что-то шепнула тому, нежно, одними губами. Он поднял вопросительно брови, и она повторила:

— Миленький! Миленький мой!..

Он кивнул головою и улыбнулся ласково. И то, что он улыбнулся ей ласково и, значит, ничего не забыл; и то, что он, такой гордый и хороший, был раздет и всеми презираем, и его грязные ноги — вдруг наполнили ее чувством нестерпимой любви и бешеного, слепого гнева. Взвизгнув, она бросилась на колени, на мокрый пол, и схватила руками холодные волосатые ноги.

— Оденься, миленький! — крикнула она исступленно. — Оденься!

— Любка, оставь! — оттаскивал ее пристав. — Не стоит он этого!

Девушка вскочила на ноги.

— Молчи, старый подлец! Он лучше вас всех!

— Он скотина!

— Это ты скотина!

— Что? — вдруг рассвирепел пристав. — Эй, Федосеенко, возьми ее. Да ружье-то поставь, болван!

— Миленький! да зачем же ты револьвер отдал, — вопила девушка, отбиваясь от городского. — Да зачем же ты бомбу не принес... Мы бы их... мы бы их... всех...

— Рот ей зажми!

Задыхаясь, уже молча, боролась отчаянно женщина и старалась укусить хватавшие ее жесткие пальцы. И растерянно, не зная, как бороться с женщинами, хватая ее то за волосы, то за обнажившуюся грудь, валил ее на пол белобрысый городской и отчаянно сопел. А в коридоре уже слышались многочисленные громкие, развязные голоса и звенели шпоры жандарма. И что-то говорил сладкий, задушевный, поющий баритон, точно приближался это оперный певец, точно теперь только начиналась серьезная, настоящая опера.

Пристав оправил сюртук.

1

До свидания, синьор, покойной ночи! (ит . — A rivederci, sighore, buona notte!)

2

...разум? Разве ты не знаешь, сын мой, сколь мала мудрость, царящая в мире? (лат.)

3

Небо облачное, ветер сильный, и море очень бурное (ит.).

4

Слава тебе, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)

5

Следовательно (от лат. ergo).

6

В искусстве любви (от лат. ars amandi).

7

Изыди, Сатана! (от лат. Vade retro, Satanas).

8

«Бокль. История цивилизации». — Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк и социолог. Его основной труд «История цивилизации в Англии» (1857–1861) в русском переводе вышел в 1861 г.